АНДРЕЙ
АЛДАН-СЕМЕНОВ

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

НА КРАЮ ОКЕАНА

АНДРЕЙ
АЛДАН-СЕМЕНОВ



РОМАНЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1979

Р2
А45

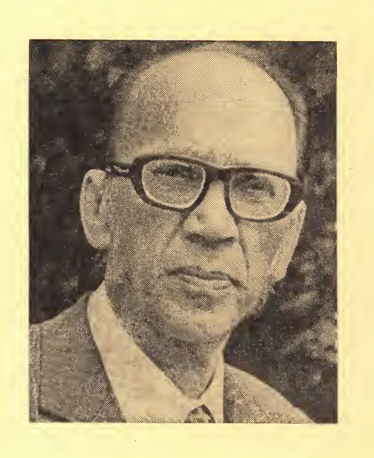
Аидрей Игнатьевич Алдан-Семеиов прииадлежит к старшему поколению русских советских писателей. В его творчестве большое место заиимают события граждаи-ской войны иа востоке нашей страиы.

В ромаие «Красные и белые», используя большой документальный материал, автор воссоздает широкую картину борьбы Красной Армии с колчаковщииой, разоблачает продажность адмиральской клики, показывает ту преступную роль, которая предиазначалась ей империалистами Антанты.

В основу сюжета романа «На краю океаиа» положеиы перипетии борьбы с иитервеитами и белогвардейщиной на крайнем северо-востоке нашей страны, завершившейся разгромом баид геиерала Пепеляева в Якутской тайге и на Охотском побережье в 1922—1923 годах.

ХУДОЖНИК Г. В. АЛИМОВ

А $\frac{70302-055}{083(02)-79}$ 69—79 4702010200



Ольге Антоновне
Алдан-Семеновой
посвящаю

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Шел девятьсот восемнадцатый год.

Наступало сто пятьдесят девятое утро революции.

Революции полны неожиданностей, и люди приходят к ним негаданными путями.

Было раннее апрельское утро, в солнечной дымке искрились березы, взблескивали ледком дорожные лужи, на обочинах бурел ноздреватый снег. Гомонили грачи, плакали чибисы.

Подпоручик гвардейского Семеновского полка Михаил Тухачевский возвращался в родное гнездо. Зарыв озябшие ноги в сено, переживая нетерпеливую радость возвращения в материнский дом, он поглядывал на знакомые и неузнаваемые от весенней распутицы поля и думал сразу о многом. Думал о том, что жизнь его похожа на непрестанно изменяющийся поток. Уже давно поток этот петляет по русским, польским, немецким дорогам войны, спутались в нем кровь и грязь, подневольное существование и радость возвращенной свободы. Ценою больших испытаний вернул он свободу, выбрался из Швейцарии в Петроград, к своему Семеновскому полку.

Среди гвардейских офицеров нашел Тухачевский полный разброд. Семеновцы, из века в век надежная опора монархии, перешли на сторону революции, не все, конечно, часть разбежалась по домам, часть — бескомпромиссные монархисты — отвергла власть народа.

Тухачевский командовал в полку ротой, что было большой честью для него: в Семеновском и Преображенском полках батальонами командовали полковники, и сам государь император считался полковником Серебряного батальона преображенцев.

Царь в лицо знал офицеров гвардейских полков, и все назначения в них зависели или от его желания, или от его каприза. Тухачевский был единственным, кто стал командиром роты на фронте, во время боя,— это выделяло подпоручика из числа остальных офицеров.

Солнце цвело в снежных кристаллах, ледок быстро плавился, стебли полыни влажно мерцали. Тухачевский вдыхал запахи талой воды, прелых листьев, оттаявшей земли и теперь думал о встрече с родными. Что они? Как они? Живут ли по-прежнему в своей усадьбе? Еще в дороге он узнал: в губернии происходило повальное выселение помещиков, сожжены чуть ли не все барские дома. Он представил мать с ее широким темным лицом крестьянки, сестренок, брата — без крыши над головой, и сердце тревожно забилось. Стараясь не волноваться, он вообразил иную встречу, и Машенька Игнатьева возникла перед ним с такой отчетливостью, что сразу стало жарко.

Дорога метнулась на косогор, с вершины его он увидел сельцо Вражское, темно-зеленую тучу соснового бора, тусклое зеркало пруда, сельскую церковь, похожую на облако из каменных кружев.

Вдоль пруда разметались избы, сараи, амбарушки, конюшни, виднелись сады вперемежку с огородами, соломенные ометы, скирды пщеницы, прясла изгородей с почерневшими снопами конопли.

На берегу, окруженный голыми вязами и яблонями, стоял просторный деревянный дом.

Бледная красота родных мест властно овладела душой. Тухачевский выскочил из кошевки и помчался к пруду, оскальзываясь на проталинах, раздавливая звонкий ледок в лужах. Он бежал мимо зарослей ольхи с желтыми, как цыплячий пух, сережками, мимо ивняка с красной корой.

Он взлетел на крыльцо, распахнул дверь прихожей, неожиданный и нежданный.

Его и в самом деле не ждали.

Встреча произошла такой, как мечталось ему, и все же не совсем такая. Были объятия, слезы, поцелуи, возгласы, удивленные, радостные, но он тут же заметил: мать выглядит совсем старой и измученной, брат вытянулся и посерьезнел, сестра стала краше, но суетливее. И дом уже был не таким, высокие когда-то потолки казались ниже, он ударился головой о притолоку.

Впервые за последние годы он сидел с матерью, сестрами и братом за одним столом.

— Я страшно боялся, что вас выселили из дома,— сказал он матери.

— В уезде не тронули только Тарханы да нашу усадьбу,—со вздохом ответила Мавра Петровна. — Ну, Тарханы — дело понятное. Мужички Лермонтова чтут, Михаил Юрьевич — народная святыня. А вот за что нас помиловали? Думаю, за отца. Николай-то Николаевич дружил с мужиками, а у народа дружба — вещь великая. Почему ты так странно одет? Где твой гвардейский мундир? — неожиданно спросила Мавра Петровна.

— Я теперь инструктор военного дела ВЦИКа и не ношу мундира.

— Что это означает — ВЦИК? Слово-то какое татарское.

Он объяснил.

— Это вроде бывшего сената?

— Вроде, да не совсем.

— Ты хоть надолго приехал? — переменила тему Мавра Петровна.

Он прочел в глазах матери беспокойство за его судьбу, деликатно ответил:

— Меня отпустили на три дня.

Мать грустно покачала головой.

— Где теперь Машенька Игнатьева? — спросил он у сестры.

— Переехала в Пензу. Ах, как она похорошела! И часто тебя вспоминает. Это ведь Маша сообщила нам о твоем подвиге...

— Что за подвиг? Впервые слышу.

— О тебе же «Русское слово» писало: подпоручик Тухачевский и поручик Веселаго взорвали мост через реку в тылу неприятеля. Расскажи, как совершаются подвиги? — потребовала сестра.

— Подвиги, подвиги! — уныло повторил он. — Это все, сестра, позолоченные, пустые слова. Уж лучше я расскажу тебе о бессмысленной бойне, на которой погибали русские люди.

...Вечером Тухачевский долго играл Моцарта, которого любил почтительно и нежно. А после игры никак не мог уснуть. Сидел на постели, любуясь Венерой, блестевшей в сучьях голого вяза. Почему-то думал: «А все-таки из всех звезд, сотворенных богом, самая бунтарская — Земля, на ней же самые непокорные бунтари — поэты. Если грех — это человеческий выпад против бога, то поэты грешат вдвойне. Они нападают и на бога и на земных тиранов».

Старый вяз, озаренный Венерой, помог ему сравнить поэзию с таким же могучим деревом. «Поэзию, как и этот вяз, обхлестывают метели, ломают вихри, обжигают грозы. Осыпаются листья — умирают поэты, набухают почки — нарождаются новые певцы, ибо корни дерева поэзии связаны с почвой свободы».

Он закрылся одеялом, зажмурился и, чтобы скорее уснуть, стал считать. На второй сотне сбился, начал счет заново, но память упрямо возвращала его к немецким лагерям для военнопленных. Он опять видел грязные казематы, овчарок, надрессированных, чтобы рвать человека, слышал ненавистное слово «хальт».

Трагические события, неудачи, надежды путались, пересекались, проникали одно в другое: он как бы жил в трех состояниях времени. Будущее становилось настоящим, настоящее обертывалось прошлым, прошлое казалось сегодняшним.

Он заново переживал свой плен, побеги, вспоминал товарищей по несчастью.

2

Природа хорошо потрудилась, создавая этого человека.

Михаил Тухачевский был красив открытой мужской красотой: русые волосы весело падали на высокий лоб, крепкий, широко очерченный подбородок говорил о твердой воле, серые глаза лучились ровным, влажным светом. Он иногда казался самоуверенным, но это было лишь проявлением сознания своей молодой силы и собранности; независимость же взглядов делала его значительной личностью.

Сын дворянина, он был образован в лучших традициях русской культуры: любил поэзию, обожал музыку, увлекался наукой, зачитывался биографиями Цезаря, Наполеона, Суворова. Испытывал особую симпатию к героям освободительных войн. Слово «свобода» не являлось для него пустым звуком, оно всегда стояло рядом с отечеством.

Весной четырнадцатого года Тухачевский с отличием окончил Александровское военное училище в Москве и был произведен в чин подпоручика. Ему предоставили право самому выбрать род войск для прохождения службы — он выбрал гвардейский Семеновский полк. Но не успел вновь испеченный подпоручик явиться в полк — Германия объявила войну России.

Царская гвардия отбыла в Восточную Пруссию, он догнал полк только в Вильно.

В первые дни войны такие символы, как вера, царь, отечество, в глазах молодых гвардейских офицеров имели определенную духовную ценность. Тухачевский не был исключением.

Со школьной скамьи война ему представлялась великолепнейшими батальными сценами. В воображаемой войне не только картинно ходили в атаку, но и картинно умирали. Потребовалось несколько месяцев тяжелого военного похмелья, чтобы у Тухачевского исчезло это парадное представление о войне. Он увидел кровь, страдания, смерть в их самых немыслимых проявлениях и понял, что царизм привел Россию на край гибели.

В феврале пятнадцатого года Тухачевский попал в немецкий плен, его заключили в лагерь военнопленных в приморском городке Штральзунде.

Потянулись долгие дни с постоянными тревогами, опасениями, раздумьями. «Фанатичной, официальной любви к царю у меня не хватило даже на год. Теперь я вижу царя, недостойного своего народа, вижу ввергнутую в военные страдания Россию. Лом одряхлевших истин отягчает мою голову, предчувствие всеобщего крушения поселилось в сердце»,— размышлял подпоручик. Раздумья вызвали желание бежать из Штральзунда.

План побега был по-мальчишески прост и наивен: на лодке выйти в Балтийское море, с попутным ветром достичь берегов Дании.

Побег не удался, Тухачевского захватили на берегу моря, и он стал приметным для лагерной охраны. Беглеца перевели в штрафной лагерь Галле — здесь было совсем голодно и беспросветно. В Галле, где содержались пленные офицеры, Тухачевский встретил капитана Каретского — земляка из Пензы.

— Россия проиграет эту войну. Как можно победить, если император слабоумен, императрица безумна, генералитет бездарен! Проклятый шовинистический угар! Он погубит и царя и его слуг,— негодовал капитан и не желал слушать каких-либо возражений.— Шовинизм хуже проказы, он разъедает нашу монархию.

— Шовинизм родился во Франции, и слово это французское,— заметил Тухачевский.

— Это вы откуда взяли?.. Впрочем, черт с ним, со словом, важен его смысл. Он привел царя к этой постыдной войне и кровавым страстям. А страсти в политике так же опасны, как и стихийные бедствия. Вот почему я говорю — Россия погибла.

— Не разделяю ваших опасений. Русские люди медлительны, нам нужна долгая раскачка, но никто не победит нашей выносливости, терпения, неистощимого резерва наших сил и нашей любви к отечеству. Возможно, из этой войны Россия выйдет иной, но только не побежденной,— сказал Тухачевский.

— Вы намекаете на революцию?

— Предположим, да.

— Чепуха! Тщеславие совершает революцию, тщеславие соседствует с монархизмом. Вспомните же Наполеона. Не верю я в полное бесстрашие,— верю в преодоление страха. Или я поседею от страха, или страх обратится в дым,— рассмеялся капитан. — Я военная косточка, а вот пришел к мысли, что война гнусная бойня. Мы, если у нас еще осталась капля совести, должны выступать против бойни. А для этого надо бежать...

— Я готов повторить побег.

— А если опять неудача?

— У нас больше шансов бежать, чем у тюремщиков охранять нас. Мы думаем о своей свободе ежечасно, тюремщики о нашей охране — только в служебные часы.

Капитану нравилось в Тухачевском чувство собственного достоинства и дерзкая прямота, с ним можно было идти на риск. Они стали готовиться к побегу с упрямством и одержимостью узников.

Счастье улыбнулось им, они бежали и добрались до реки Эмс. На мосту через Эмс патруль схватил Тухачевского. Капитан скрылся. Тухачевского перевели в Ингольштадт, заключили в штрафной каземат, в котором уже сидел какой-то французский капитан. Это был долговязый, почти двухметрового роста, молодой человек с крупным носом, одетый в немецкий

мундир весьма малого размера — брюки едва прикрывали ему колени, рукава обрывались у самых локтей.

— С кем имею честь, месье? — спросил француз.

Тухачевский представился.

— Капитан французской армии Шарль де Голль,— в свою очередь отрекомендовался сосед.

Тухачевский дурно знал французский язык, но это не помешало его дружбе с Шарлем де Голлем: в тюрьме сходятся быстро.

Капитан Шарль де Голль, как и подпоручик Тухачевский, несколько раз убегал из плена, в последний раз он бежал, переодевшись в мундир немецкого солдата.

— В этом дурацком одеянии меня опознали мгновенно,— говорил де Голль, повертываясь то боком, то спиной.— Задержали в двух шагах от крепости. Но мысль о новом побеге не дает мне покоя, я должен сражаться за честь Франции, а не сидеть в плену у тевтонов.

Мысль о побеге сжигала и Тухачевского, но из Девятого форта средневековой крепости было непросто бежать. Молодые люди изнывали от безделья, не помогали ни картежная игра, ни песни; тогда де Голль начинал пересказывать произведения древних и французских писателей или вспоминать школьные свои годы.

Тухачевский узнал, что де Голль из старинного дворянского рода, что его предки семьсот лет помогали королям создавать великую Францию.

— До революции девяносто третьего года мои де Голли были рыцарями шпаги, после революции стали приверженцами мантии и сутаны. Моя мать, ревностная католичка, отдала меня в иезуитский коллеж, а там учили уважению к власти и беспрекословному послушанию. Игнатий Лойола — основатель ордена иезуитов — требовал, чтобы человек был как труп в руках начальства, я же зачитывался Монтескьё. А тот утверждал: «Абсолютное повиновение предполагает невежество того, кто подчиняется, оно предполагает невежество и того, кто повелевает». Разве не правда, месье? — весело спрашивал де Голль, поводя носом из стороны в сторону.

— Так, только так,— тоже весело соглашался Тухачевский.

— Отцы иезуиты прививали нам какую-то мелкую, тупую злобу к вождям великой революции. Ученикам говорили: Марат похож на жабу, Дантон уродлив до ужаса, а Робеспьер гильотинировал всех, кто думал немножко иначе,— но ползучая ненависть вызывает повышенный интерес к тем, кого ненавидят. Я стал обожать и Марата и Робеспьера.

Как-то де Голль посоветовал Тухачевскому подучиться французскому языку.

— В тюрьме? Невозможно! — сказал Тухачевский.

— Тюрьма — идеальное место для образования. — Де Голль со смехом ударил кулаком в железную дверь.

Глазок в двери открылся, и надзиратель предупредил, что за нарушение тюремного режима посадит в карцер.

— Такой тип не задумываясь накинет на вас петлю и орден за свой подвиг потребует. Тюрьма губит принципы и уничтожает интеллекты,— грустно заметил Тухачевский.

— А все же, а все же подучитесь языку французов,— пропел де Голль и обломком мыла начертал на оконном стекле красивые зеленые слова. — Эмпрессион! Эгалите! Как хорошо пишется самое драгоценное для нас слово — либерте — свобода! Что за звучность, что за красота, какая в нем мощная сила! Свобода равноценна одной правде. — Де Голль написал и эту фразу и с удовольствием повторил ее.

— Стендаль говорил, что он долго искал правду, но ее нет ни у самых великих, ни у самых могущественных...

— Вы любите Стендаля? — Де Голль стер с окна налет пыли и написанные им слова.

За утренним окошком проходили снежные облака, круглые тени бежали по крепостной стене, Тухачевскому подумалось, что за окном даже тени пахнут свободой.

— Всякий умный человек любит Стендаля.

— А я предпочитаю Альфреда де Виньи,— возразил де Голль таким тоном, что Тухачевский не усомнился в искренности его. — Вы читали «Неволю и величие солдата»?

Тухачевский не читал этой книги.

— От всей души советую.

Де Голль прошелся по каземату, немного смешной в коротком мундирчике с чужого плеча, и стал декламировать прозу де Виньи, твердо выговаривая «р»:

— «Армия есть нация в Нации...»

«Солдат — самый горестный пережиток варварства среди людей, но нет ничего более достойного заботы и любви со стороны Нации, чем эта семья обреченных...»

Шарль де Голль декламировал, откинув голову, поднимая и опуская правую руку. На глазах Тухачевского он изменился — из простодушного и веселого стал надменным и заносчивым. Шарль де Голль был соткан из неожиданностей и противоречий: он то оскорблялся по самому ничтожному поводу, то, по-детски смеясь, пересказывал остроты друзей по его адресу.

— Они награждают меня прозвищами со школьной скамьи. У меня прозвищ — как у Стендаля псевдонимов, я и Гусак, и Петух, и Сирано. Почему Сирано, спросите вы? За величину носа получил эту кличку. Во Франции только два таких исторических носа — мой и Сирано де Бержерака.

— Вот это нос — на двоих рос, одному достался,— усмехнулся Тухачевский.

— Шутки в сторону, месье! Я не люблю сравнивать себя с Сирано ли де Бержераком, с Наполеоном ли,— у меня будет своя судьба. Она уже началась, судьба моя. Тяжело раненный

под Верденом, я потерялся среди убитых. В приказе по армии сообщили, что капитан де Голль, командир роты, пал в рукопашной схватке с бошами. «Это был во всех отношениях несравненный офицер»,— такими словами оплакивали мою смерть, а я выжил, и вернулся в полк, и сказал: «Господа офицеры, тот, кого сочли вы умершим, переживет вас».

Однажды утром тюремный надзиратель объявил де Голлю, что его переводят в другой лагерь.

— У Марка Валерия Марциала есть дружеская эпиграмма. Ею прощаюсь я с вами, Мишель,— говорил при расставании де Голль:

Трудно с тобой и легко, и приятен ты мне, и противен,
Жить с тобой не могу и без тебя не могу...

Тухачевский долго сожалел о Шарле де Голле, но судьба была милостива к нему: в каземат посадили другого француза — лейтенанта Моиза де Мейзерака, такого же неугомонного и темпераментного забияку, как и де Голль. Опять начались отчаянные споры, литературные темы перемежались с рассуждениями о музыке Моцарта, исторические анекдоты — с военными идеями, сухими и холодными, как штык. Узнав, что Тухачевский дважды бежал из военных лагерей, Мейзерак пришел в восторг:

— Мне по душе ваша энергия, месье Тука. — Мейзерак не мог полностью выговорить неодолимой для него фамилии. — Дважды бежать от бошей — лучшей аттестации не надо.

Они страстно обсуждали главную тему их жизни: кто победит в этой страшной войне.

— Германия проиграет войну, а проигранная война грозит революцией,— категорически изрекал Мейзерак; он любил категорический тон.

— Ну, не всегда,— возражал Тухачевский.

— Нашу революцию сотворил Жан-Жак Руссо.

— Один человек не может сотворить революции. Материалисты утверждают — революцию подготовила молодая буржуазия.

— Материалисты болтают — человека вывела в люди обезьяна, а я говорю — все звери, все птицы, и гады, и земля, и вода, и солнце протащили нашего брата в люди. Французский феодализм ко дню революции сгнил так же, как сегодня русская монархия. Николай Второй с тенью Распутина — это чудовищно!

— Распутин съел и божественный авторитет царской власти, и монархические чувства, и наше достоинство,— соглашался Тухачевский,— но и кроме Распутина есть причины, толкающие монархию в бездну. Одна из самых сильных — вот эта война.

— Сколько вам лет, месье Тука?

— Двадцать третий. А что?

— Завидую! Мне двадцать шесть, но я еще не генерал. У вас же есть время стать генералом.

— В семнадцать лет я клялся, что к двадцати пяти буду генералом. А если нет — застрелюсь. Срок приближается, но стреляться?.. Сейчас меня больше соблазняют поэзия и музыка, а не военная слава.

— Поэзия — это цветенье души человеческой,— произнес Мейзерак.

Март семнадцатого года обрушивался на старинную крепость морскими ветрами, сырыми метелями. В казематах было холодно, пленных угнетали тоска и бездействие. Немецкие газеты, случайно попадавшие к пленным, писали о сокрушительных победах кайзера над Францией, над Россией.

— Нигде не лгут с таким бесстыдством, как на войне и на охоте,— презрительно говорил Мейзерак. — Боши — фанатики, и победы и поражения у них приобретают сверхъестественный смысл. Тевтонская добропорядочность ходит в военном мундире, застегнутая на все пуговицы. — Мейзерак вскинул тоскливые глаза на запотевшее окно.

На решетках белым мхом нарастал иней, по стенам каземата зеленела плесень. Тухачевский провел пальцем по камням — в оставшемся следе появилась вода.

— Даже стены плачут по нашей неволе, а мы уже свыкаемся с ней. У меня стала гаснуть мечта о побеге.

— Немцы теперь вешают за побег. Вчера казнили английского моряка, мне об этом сказал комендант. Приговоренного на виселицу сопровождал поп.

— Церковь питает отвращение к крови, поэтому отцы инквизиторы сжигали еретиков на кострах,— начал в шутливом тоне Тухачевский, но шутки не вышло. Невозможно смеяться над смертью.

Как-то хмурым утром Мейзерак вбежал необычайно взволнованный.

— В России революция! Николай Второй отрекся от престола!

В его голосе, веселом необычно, слышался металл, и Тухачевский отозвался восклицанием:

— Да здравствует Его Величество — русский народ! Вы принесли невероятную новость, месье. Но откуда?

— От коменданта. Он полагает, что теперь Россия станет на колени перед его кайзером.

Крепость гудела, как пчелиный улей перед роением. Русские новости обсуждались в казематах, на прогулках, комментировались и пленными и охранниками. Комендант даже спросил Тухачевского, кто станет теперь править Россией.

— Это известно только одному богу. — Тухачевский в упор разглядывал коричневые, разрисованные белыми прожилками щеки коменданта. Казалось, комендант носит какую-то влажную маску.

Мейзераку же Тухачевский сказал:

— В России революционная буря. При первом удобном случае убегу.

— Буду счастлив вашей удачей. Между нами возникла хорошая общность идей.

— Да, да, вы правы! Великая французская революция установила эту связь через декабристов.

— О, декабристы! Их имена в новой России вспыхнут ослепительным светом,— восторженно сказал Мейзерак.

На следующий день он принес новое сообщение:

— В России создано Временное правительство. Вы не знаете, кто такой Керенский? Один из наших офицеров назвал его пламенным факелом русской революции. Так ли это? Месье Керенский объявил войну до победного конца. Странное решение для революционера.

Мейзерак ушел во двор. Тухачевский прилег на койку. Необыкновенные события в России требовали размышлений, но фактов было мало, слухам он не верил. «Отречение Николая Второго, Временное правительство... Неужели в России распалась связь времен?»

Вечером Мейзерак торопливо шептал:

— Мне нужна ваша помощь, Тука. Сегодня ночью я бегу, но успех зависит от вашего согласия.

— Чем могу быть полезен?

— Я избрал идиотский вариант исчезновения. После ужина из крепости вывозят всякий хлам, в том числе ящики из-под бисквитов. Я раздобыл немецкий мундир, переоденусь и спрячусь в ящике. Меня выбросят за ворота, и я — вольная пташка.

— Чем я-то могу помочь?

— На проверке отзовитесь за меня. Пока начальство хватится, я буду далеко. Понимаю — дело рискованное, на вас обрушит свой гнев комендант...

— Сделаю все, как вы просите,— сказал опечаленный Тухачевский.

— Вы благородный человек, Тука! Никогда не забуду вашей услуги.

Всю ночь пролежал Тухачевский на койке Мейзерака, одевшись в его мундир, накинув на плечи его шинель. Утром на проверке он отозвался за лейтенанта.

Его бросили в подземный карцер. Он упал было духом, преувеличивая все свои несчастья, как это бывает в трагических обстоятельствах. Он лежал на койке, привинченной к полу, под ногами плескалась гнилая вода, с потолка падали капли. На душе было пасмурно, ум работал вяло, желанная свобода обратилась в бесконечно далекую точку, еле мигающую из темноты. «Свет равноценен свободе, но он не является из сгущения тьмы. Светит все-таки солнце». Расплывчатая эта мысль не приносила утешения. «У меня есть терпение и выносливость, а ведь ими во многом определяется успех»,— изменил он ход своей мысли.

В карцере слоилась темная тишина, и он понял: молчание тюремных стен говорит больше, чем самые дикие крики.

Из карцера вышел он в начале мая, месяца струящихся трав, и сразу попал на этап. Штрафников переправили в городок Вормс, у швейцарской границы.

«Все лагеря одинаковы, хороших нет и не будет»,— решил Тухачевский, закидывая на верхнюю нару узелок с бельем, веревочными чунями и осматриваясь. Человеку с воли был бы невыносим дощатый, вонявший нечистотами барак, но он уже привык к отвратительным запахам. Тюремщики лишали пленных всего чистого, ясного, красивого, но одного они не могли отнять у них — альпийских вершин, стоявших в небе, подобно недвижимым облакам. Величие гор успокаивало, мощная их красота воодушевляла.

— Горные вершины здесь говорят с самим богом,— сказал Тухачевский, разглядывая Альпы из дверей барака.

— Зазнались, подпоручик, не узнаете? — раздался насмешливый голос.

Чья-то рука опустилась на его плечо, он обернулся — перед ним стоял капитан Каретский.

— И вы здесь? — поразился Тухачевский, целуя небритую щеку капитана.

— Поймали тевтонские рыцари и загнали сюда. Вас за побег, разумеется? — простуженно кашляя, спросил капитан.

— На этот раз за помощь другому. Он-то, кажется, скрылся, а меня — в штрафники.

— Вы молодец, Мишель. — Капитан впервые назвал его по имени.

— Что слышно нового из России?

— В Петрограде лидер партии большевиков Ленин опубликовал свои тезисы, немецкая печать много писала о них.

— В чем смысл тезисов?

— Мир — народам, земля — крестьянам, власть — Советам, хлеб — голодным,— проскандировал капитан. — Программа поражает политическим размахом. Если большевикам удастся ее осуществить, господин Керенский может укладывать чемоданы. Этот человек на классовых противоречиях революции вырос выше собственного роста. Но когда дело дойдет до классовых битв, он сморщится,— говорил капитан, радуясь, что снова обрел внимательного собеседника.

— Если Ленин хочет сделать Россию независимой и свободной державой, я пойду за ним,— с решительностью, уже знакомой капитану, объявил Тухачевский.

Они бежали из лагеря в июльскую грозовую ночь, когда молнии оплескивали альпийские вершины. Во время грозы потеряли друг друга...

Тухачевский появился в Петрограде накануне Октября. В первые дни революции он неприкаянно бродил по столице, жил в казармах Семеновского полка. Развал воинской дисциплины язвил его сердце. Старая армия разрушена, новой еще нет. Красногвардейские отряды полны энтузиазма, но им недостает военной организации, и это может стать опасным для самой революции. Печальные размышления привели Тухачевского к неожиданному для него самого решению.

Он явился в Смольный, к начальнику военного отдела. Разговор их был деловым и по-военному кратким. Из Смольного Тухачевский ушел инструктором военного отдела ВЦИКа.

Вскоре правительство переехало в Москву, и Тухачевский с радужным настроением сошел с поезда. Хорошее настроение погасло, когда он увидел грязные улицы, обшарпанные дома, бесконечные очереди у хлебных лавок. Москва его отрочества утратила свои краски: голодная и оборванная встречала она первую весну революции.

Тухачевский со всей страстью молодости отдался работе. Он формировал красноармейские отряды, выезжал в соседние губернии для устройства военкоматов. Начальник военного отдела с интересом следил за энергичным инструктором. Но еще больший интерес проявил к начальнику сам Тухачевский.

— Кем вы были до революции? — спросил он как-то.

— Машинистом на железной дороге, но жандармы угнали в Туруханский край.

— Откуда же знаете военное дело?

— Кто сказал, что я его знаю? Я учусь военному делу, несмотря на свою седину. — Начальник тряхнул густой шевелюрой.— К сожалению, бывшие офицеры не торопятся переходить на службу к народу.

— Я же перешел...

— А что вас привело к большевикам?

— «Земля — крестьянам, мир — народам»,— вот мне и стало ясно: мой путь пролегает к вам. Я ненавижу войну и убежден — земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает.

— Многие офицеры сейчас ненавидят царизм, приведший на край гибели Россию, и не знают, в чем спасение от полного крушения. И непонятно им, что большевики хотят этого спасения, но с существенной поправкой. Мы хотим построить в России новое общество. Радуюсь, что вы с нами,— подчеркнул последние слова начальник.

Тухачевский возвращался домой. Случай, великий устроитель человеческих судеб, столкнул его с другом юности Николаем Кулябко. Тухачевский потащил приятеля к себе.

— Ты военный инструктор ВЦИКа? Как же мы раньше не встретились? Ведь я член ВЦИКа и комиссар штаба московской обороны.

Возмужавший, повзрослевший, Кулябко оставался все таким же открытым и простодушным, каким знал его Тухачевский, но что-то новое, значительное и серьезное появилось в его лице.

— Штабу обороны позарез нужны специалисты. Я вырву тебя из-под крыла Военного отдела. Там могут найти другого инструктора, не гвардейского офицера.

— Я всего лишь подпоручик.

— Лермонтов тоже был только поручиком. — Кулябко вожделенно протянул руку к скрипке, висевшей в простенке между окнами.— Позабыл, когда и прикасался к ней. Теперь я слушаю одну музыку революции, но у нее другие ноты...

— Когда говорят пушки — смолкают музы.

— И я верил этому афоризму, но революции создают свою музыку. Вспомни «Марсельезу», вспомни «Смело, товарищи, в ногу» или «Интернационал».

Кулябко сменил тему, сказал тоном, не признающим возражений:

— Завтра пойду к Ленину и выпрошу тебя в штаб обороны. Ленин прилагает все усилия, чтобы создать вооруженные силы республики. Он мечтает о классовой, дисциплинированной армии.

— Это и мои мысли, кстати. Или я подслушал их у Ленина?

— Это делает тебе честь. А Ленин, к слову сказать, поражает всех энциклопедичностью своих знаний. Какой диалектический ум! Этот революционный стратег и философ очень гармоничен, последователен в своих идеях. Пока есть Ленин, за революцию можно не беспокоиться. Ты нашел бы с Лениным общий язык не только в делах военных. Он любит музыку, особенно Бетховена.

— Когда-то Авраам Линкольн мечтал о правительстве народа, из народа, для народа. Мечта осталась мечтой. А вот Ленин создал такое правительство. Из народа и для народа,— задумчиво повторил Тухачевский.

— Я Линкольна лишь по анекдотам знаю. Он чистит ботинки, а слуга ему: «Президенты не чистят своих ботинок, сэр». — «А чьи ботинки они чистят?» — Кулябко откинулся на спинку стула и захохотал, живот его заколыхался под выцветшей рубахой...

Тухачевского назначили военным комиссаром в штаб московской обороны. Ему было легко, было приятно работать с Николаем Кулябко.

3

Радужный круглый свет бил в глаза. «Откуда появился этот сверкающий шар?» Тухачевский приподнял голову: круглое туалетное зеркало поймало солнце и распространяло по комнате его сияние.

Он отбросил одеяло, вскочил с кровати. Комнату переполняли снопы солнца; старый вяз кидал на окна короткую узорчатую тень.

Ночью прошел сильный дождь, земля разбухла, покрылась дымчатым водяным бисером. Полая вода подперла сельскую площадь, церквушка повисла над ней несдуваемым белым облаком. Половодье захватило и огороды и сад; тополиные аллеи, блистая, уходили к березовой роще. Оттуда накатывался оживленный гомон грачей.

Тухачевский распахнул окно — утренний воздух опалил его холодком. Он глянул направо-налево, выхватывая из обширной панорамы отдельные, знакомые с детства предметы. И тут же подумал о Машеньке Игнатьевой. Сначала мысль о ней была смутной и сразу растаяла, потом возникла снова, уже веселая и настойчивая. Он вспоминал серые глаза, твердые губы, тонкое лицо, обрамленное русыми локонами. Теперь оно появлялось всюду, куда ни устремлялся его взгляд, на стене, на зеленых портьерах.

«А ведь я люблю в ней свое отрочество,— подумал он и поразился этой мысли. — Но я люблю и ее, самую милую из всех. — Он прислушался к сочетанию звуков «люб-лю». — Ну люб-лю, а что же дальше? Я должен увидеть Машеньку. Какой она стала? Похорошела, должно быть? А все-таки — что будет с моей любовью? Мне бы следовало жениться на Машеньке, но сейчас такое тревожное время...»

В коридоре застрочили каблучки, в комнату вбежала сестра.

— Завтрак готов, Мишель. Поторапливайся, а то ватрушки остынут.

Он сидел за столом, положив ладони на скатерть, и любовался ловкими движениями сестры: она разливала чай, янтарная струя изгибалась над стаканом. Занавески раздувались ветром, тень вяза переместилась с окон на стену. Мавра Петровна, вся в солнечных пятнах, принесла и поставила перед ним блюдо с ржаными ватрушками.

Он пил чай с сахаром, ел горячие ватрушки, но грустнел, думая о скорой разлуке с родными.

Весь этот день он провел в каком-то чаду: обегáл закоулки двора и сада, колол дрова, выбивал на дворе одеяла. Переделал уйму дел — и все казалось мало, и все хотелось больше.

Вечером пошел в рощу; здесь еще все было голо, мокро, между берез светились лужи, палая листва прогибалась под ногами. Дятел бесшумно пронесся над вершинами, промелькнул зайчишка, затрещали под чьей-то лапой сучки. И опять стихло, лишь слабо шуршали прелые листья под ногами. Очарование лесного вечера охватило Тухачевского. Он выбрался на берег болота. Закат стыл в ракитнике оранжевой дымкой, и почему-то подумалось, что больше не увидит он этого лесного болота, что детство прошло, и мысль эта болью отозвалась в сердце.

— Мир совершенно изменился, и я стал другим в изменившемся мире,— сказал он.

...Три дня отпуска промелькнули как минута. Мать провожала его без слез, только щурилась и смотрела поверх головы; брат хлопал по плечу, повторяя одно и то же:

— Поищи и для меня работу, Михаил, а то совсем закисну в деревне. Мы, дворяне, люди служилые.

Сестра подала брусок грушевого дерева:

— Материал для починки скрипок. Берегла для тебя, Мишель.

На бруске круглым ее почерком было начертано:

Не будь в походах глупой пробкой,
А будь в неведомое тропкой.

На вокзале в Пензе бродили толпы чехов, словаков, австрийцев, мадьяр: иностранные солдаты, отлично одетые, хорошо вооруженные, уязвляли военное самолюбие Тухачевского. «А наши обуты в лапти, одеты в зипуны»,— с горечью подумал он, прислушиваясь к разноплеменной речи.

Коренастый, широколицый чех, слишком правильно выговаривая русские слова, что-то рассказывал, и окружавшие его легионеры смеялись.

— Сражение кончилось из-за отсутствия сражающихся с обеих сторон,— долетело до Тухачевского.

Стены вокзала, двери пакгаузов были обклеены воззваниями и манифестами.

Национальный совет чешских и словацких земель призывал: «К оружию, братья! Только война принесет Чехословакии свободу, суверенитет и независимость».

Тухачевский знал: по соглашению с советским правительством чехословаки возвращаются на родину через Сибирь. Первые их эшелоны уже достигли Владивостока, последние находились в Пензе. Эвакуация шла медленно: игнорируя требования Советов, легионеры не разоружались. Военное превосходство их над молодыми красноармейскими отрядами было несомненным, и это тревожило Тухачевского.

Он шел по грязным улицам, мимо запакощенных домов, сгнивших заплотов, сожалея о нежных красках города его гимназических лет.

«Россия — страна бесконечных трагедий, а сейчас трагическая судьба русского интеллигента пересеклась с трагической судьбой русского пролетария,— подумал он. — Отчаяние или совершенно бессильно, или оно порождает ненависть. У наших монархистов отчаяние вызывало энергическую ненависть к большевизму. Если в России вспыхнет гражданская война, то начнут ее монархисты. Но не только они. Франция и Англия не признают Советской России и могут затеять военную авантюру

с помощью хотя бы чешских легионеров. Сорок тысяч иностранных солдат опасны для страны с неокрепшей армией».

Тухачевский углубился в привокзальные переулки, разыскивая домик своей возлюбленной. Он позабыл дом, но помнил три окна с белыми ставнями, крыльцо с деревянными резными колоннами.

Был поздний час, крыши и деревья заливал лунный свет, в канавах спала вода. В неверном, холодном свете все казалось слишком красивым, но отчужденным. «Вот я и приехал за тобой, Машенька. Все это время я мечтал о тебе, мечтания казались несбыточными, но все сбывается для того, кто умеет ждать». Он увидел знакомые колонны крыльца, узнал белые ставни, сквозь которые пробивался слабенький лучик, и, сдерживая заколотившееся сердце, постучал.

На крыльцо выскочила Машенька, в темном платье, с полушалком на худеньких плечах, вгляделась в сумрак, ничего не видя. Тухачевский позвал ее, она, вскрикнув, бросилась в его объятия.

Дома, кроме Машеньки, не было никого, родители уехали за хлебом и картошкой — в Пензе исчезли продукты. Машенька стала угощать Тухачевского чаем, счастливая возвращением его, но не знающая, о чем спрашивать, что говорить ему. Она села напротив, залюбовалась красивым, серьезным лицом его и видела все перемены, происшедшие в нем. «Волосы у него гуще и по-новому падают на лоб, и подбородок тверже, и губы энергичнее, и держится он очень уверенно, каждым движением подчеркивая свою силу. Только из глаз исчезла прежняя беззаботность».

А для него Машенька оставалась воплощением той самой свежести, что казалась незакатным состоянием юности. Он смотрел на нее сверху вниз, мысленно повторяя: «Если я не скажу сейчас же, что люблю ее, то поднимусь и уйду».

— Мне тебе надо что-то сказать, в одном слове трудно, я хочу сказать...— Он запутался в поисках нужных слов. — Я люблю тебя, Машенька! — выговорил он, сразу чувствуя облегчение. — Что мне теперь делать?

— Я тоже не знаю, что делать,— беспомощно ответила Машенька.

Он встал, забрал в ладони ее пальцы; подчиняясь, она приблизилась вплотную.

— А вот что мы сделаем! — воскликнул он, прижимая ее и целуя. — Когда вернутся родители? Завтра утром. Мы попросим их благословения и уедем в Москву. В нашей любви — наше будущее.

4

В мае вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса. Тухачевский не знал истории чешских легионов в России, а он любил

ясность и определенность во всем. Желание узнать историю возникновения корпуса привело его в библиотеку Румянцевского музея.

Перелистывая газеты времен монархии и Временного правительства, Тухачевский узнал, что в России живет сто тысяч чешских колонистов. Это были не столько мастеровые, сколько предприимчивые колбасники, пивовары, содержатели кабаков, владельцы кондитерских. Их устраивала возможность жиреть на русских хлебах, они были ярыми монархистами.

Началась война, царские манифесты провозгласили ее войной всего славянства против германцев. Русские чехи организовали «Союз чехословацких общин в России». Союз начал формировать свои полки, но чехи неохотно шли в добровольцы, они не хотели умирать за будущее королевство, за прибыли своих хозяев. А на фронте чешские солдаты, мобилизованные в австровенгерскую армию, сдавались в русский плен. Осенью тысяча девятьсот шестнадцатого года в России уже было двести тысяч пленных чехословаков — целая армия, упрятанная в болота мурманского севера и сибирские дебри. Но самые крупные лагеря находились на Украине.

Чем дольше безумствовала война, тем быстрее росли антиавстрийские настроения в Чехословакии. Настроения эти использовал буржуазный националист Масарик. Под крылышком Антанты был создан в Париже Национальный совет чешских и словацких земель, в Петрограде и Киеве открыты его отделения. После Февральской революции Масарик предложил свои услуги Временному правительству. Началось лихорадочное создание чешских легионов; в короткий срок был сформирован сорокатысячный корпус хорошо вооруженных легионеров. Корпус считался частью русской армии, но занял в ней особое положение.

Агенты Масарика закидывали легионеров воззваниями и прокламациями, на них обрушивались слова о демократии, независимости, национальной гордости, войне до победного конца — сотни тысяч, миллионы слов.

Октябрь развеял надежды чешских националистов. Масарик был в отчаянии, в нем пробудилась ненависть к Советам: он ринулся на поиски союзников, устанавливал контакты с царскими генералами, эсерами, меньшевиками. Заключил сделку с Борисом Савинковым, дал ему деньги на антисоветские заговоры и мятежи. Масарик вступил в секретные переговоры с Францией, Англией, Соединенными Штатами Америки.

Мартовским вечером во французском посольстве сошлись английские, американские дипломаты, царские генералы, высшие командиры Чехословацкого корпуса, представители левых эсеров. Обсуждали план вооруженного восстания против Советов.

Дипломаты и военные решили: с восстанием чехословаков начнется интервенция, выступят и силы русской реакции, не

признающие Советов. На подготовку восстания английское правительство выдало командирам корпуса семьдесят тысяч фунтов стерлингов, французское — одиннадцать миллионов золотых рублей.

Так продал Масарик чешских солдат державам Антанты. Теперь он был готов исполнить любой приказ своих хозяев. Масарик начал с обмана: заявил, что Чехословацкий корпус эвакуируется морским путем — через Владивосток. Эвакуация началась — чехословацкие эшелоны растянулись от Пензы до Владивостока.

Хорошо продуманное восстание разразилось. Капитан Гайда захватил Мариинск и Ново-Николаевск; за ними пали Самара, Челябинск, Омск. Легионеры, достигшие Владивостока, заняли и этот город. Вскоре военные действия начали японские, американские, английские интервенты.

Так была свергнута власть Советов на Волге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

...Тухачевский перелистывал газеты, а за окном ветер заворачивал тополиные листья, они оловянно взблескивали; возле канав приплясывали под ветром травы. На глаза попался серый, пахнущий пылью газетный листок «Чехословак». В подобострастных словах здесь кто-то изливал свои верноподданнические чувства: «Русский царь вводит нас в великую славянскую семью».

Какая фантасмагория! Русский император сослан в Екатеринбург, а легионеры чехи режут славянских братьев.

В штабе обороны Тухачевского ждал Кулябко.

— А я тебя ищу. С тобой хочет познакомиться Ленин.

Тухачевский явился на прием в поношенной, но аккуратной гимнастерке, синих заштопанных галифе, солдатских ботинках с обмотками. Подтянутый, дисциплинированный, без тени угодничества или развязности, он понравился Ленину.

На вопросы Владимира Ильича отвечал быстро, точно.

— Чтобы защищать революцию, необходима регулярная боеспособная армия. А без знатоков военного дела такой армии не создашь,— сказал Ленин.— Против мятежных чехословаков мы открыли Восточный фронт и главнокомандующим поставили бывшего подполковника Муравьева. В руках его сосредоточены четыре армии, но военных успехов пока не видно. Чехословаки в Самаре, в Сызрани, они угрожают Симбирску, оттуда рукой подать до Казани, где находится штаб Восточного фронта. Нам теперь архинеобходима армия, спаянная военной дисциплиной. Что вы думаете об этом?

— Без дисциплины нет армии. Но сейчас должна быть не палочная, а прокаленная революционным сознанием дисципли-

на. А вообще-то я сторонник высокой подвижности войск и ярый противник окопных действий,— ответил Тухачевский

— Вас рекомендуют на пост командарма Первой армии. Вы согласны?..

5

Поезд пришел в Казань ранним утром, и Тухачевский отправился в штаб Восточного фронта. В дежурной комнате, развалясь на диване, дремал какой-то военный в алой черкеске; правая рука свешивалась на пол, в левой дымилась сигарета. Он лениво поднялся, лениво отрекомендовался:

— Адъютант главнокомандующего Чудошвили. Ты кто будешь?

— Доложите обо мне главному,— сухо сказал Тухачевский, недовольный фамильярностью адъютанта.

Муравьев только что встал с постели и, натягивая хромовый щегольской сапог, сердито постукивал подошвой. Заспанный, с отекшим, смятым лицом, главком не понравился Тухачевскому, и совсем оскорбительными показались винные лужицы на столе с разбухшими в них окурками, грязные салфетки, обсосанные лимонные корки. Тухачевский представился, предъявил письмо Реввоенсовета Республики.

— Прекрасно! Рад, что вы офицер гвардейского Семеновского. Реввоенсовет приказывает назначить вас командующим Первой армии, боятся, не соображу, как лучше использовать гвардейского офицера,— рассмеялся Муравьев.

Появился адъютант с подносом на вытянутых руках.

— Кофе со сливками, с коньяком? Я предпочитаю с коньяком. А вы будете командующим Первой армии не потому, что так хотят комиссары, а потому, что пожелал я. Опека военных комиссаров ужасна! — Муравьев ребром ладони постучал по краю стола. — Я ежедневно подвергаю себя опасности, а комиссары не доверяют мне. Почему, спросите вы? Меня любит армия, у меня военная слава. Я победил генерала Краснова, я уничтожил Украинскую Раду. — Он снизил голос до доверительного шепота: — Знают комиссары, что популярность без власти — пыль, популярность, объединенная с силой,— всё!

Тухачевский отставил недопитую рюмку; стало неловко смотреть в красивое, но уже истасканное лицо главкома, слушать его осторожный, доверительный шепот.

— Комиссары воображают, что только они дерутся за идеалы революции,— говорил Муравьев быстро, ровно, без усилий подбирая слова. — Но идеалы революции — мои идеалы, враги революции — мои враги...

Главком открыл коробку сигар. В сигарном дыму клубились жирные купидоны на потолке, сиреневые обои на стенах. В раскрытые окна залетали чьи-то повелительные голоса, доносились

резкий звон шпор, телефонные вызовы: штаб фронта начинал беспокойную свою работу.

— Мне необходимо встретиться с председателем губкома партии, товарищ главком.

— Зовите меня Михаилом Артемьевичем. Но все же воинские звания большевики зря отменили,— сказал Муравьев.— Ладно. Ваша встреча состоится. Только не спешите.

Муравьев кончиком платка вытер полные губы, встал из-за стола.

— В полдень на фронт отправляется Казанский рабочий полк. Я должен сказать напутственное слово. Вы будете меня сопровождать.

Из-за портьеры выступил адъютант.

— Мой автомобиль к подъезду. Почему у тебя такой запакощенный вид? Пахнешь не то чесноком, не то гуталином.

Адъютант не отвечая вышел.

— Дрянной человечишка! И представьте — большевик!

— Я тоже большевик.

— А я левый эсе́р. Но мы же не ведем себя как содержатели притонов.

Тухачевский не мог избавиться от чувства, что встретился с человеком, носящим какую-то личину. В ожидании автомобиля они разговаривали уже стоя, красивые, жизнерадостные мужчины: юный командарм, у которого, как думалось ему, в запасе целая вечность, и сорокалетний главком, которому оставалось лишь несколько дней жизни.

— Белочехи из Сызрани могут стремительным рейдом захватить Симбирск, если мы не опередим их,— сказал Тухачевский.

— Белочехи?.. Это лишь макет противника,— улыбнулся Муравьев.

— Белочехи сильны. Мятежникам надо противопоставлять силу...

— Вот она, молодость! То ей море по колено, то лужи страшится. А что такое мятежники? Молодые люди всегда мятежники, они всегда надеются достичь своих целей.

— В политике мало одних надежд.

— А вот философия не украшает полководцев. Стрелять нужно не размышляя. Думать надо только об отечестве, ведь все мы — и живые и мертвые — дети России. — Муравьев посмотрел на часы.

— Автомобиль подан,— доложил адъютант Чудошвили.

— Не надо, мы пройдем пешком,— вдруг объявил Муравьев. Он все делал внезапно и вдруг, его противоречивые поступки часто ставили в тупик подчиненных.

Полк, уходивший на фронт, уже больше часа стоял на привокзальной площади. Муравьев браво прошагал вдоль строя,

звучно поздоровался и, прижав к сердцу пухлые кулаки, начал напутственную речь:

— Бойцы революции! Весь мир трепещет от топота ваших шагов. С этой площади вы уходите прямо на вечные страницы всемирной истории, алые знамена осеняют вас, отблески славы вашей не погаснут в веках! Победоносные орлы, вы и я, ваш полководец, спасем Россию от внешних, от внутренних врагов ее. Земля, заводы — все добро хищников станет нашим добром. У каждого бойца зазвенят червонцы в карманах, каждому раненому я выдам награду чистым золотом. Я не кидаю своих слов па ветер — слова мои обеспечены всем достоянием республики. В ста шагах отсюда, в кладовых банка, хранится золотой запас России, и все герои революции получат свою долю...

Муравьев вскинул над головой кулак, ожидая овации.

— Обувки нетути, босиком много ли навоюешь...— раздался робкий голосок.

Мастер фразы, Муравьев был еще и артистом мгновения. Он присел на мостовую, сдернул хромовые сапоги, протянул красноармейцу:

— Возьми, орел! Твой главком походит в лаптях до победы...

Восторженными криками ответили бойцы на неожиданную выходку Муравьева. Он же, босой, с растрепанными волосами, с правой рукой, прижатой к сердцу, смеялся; лицо его наливалось тугим румянцем.

Муравьев и Тухачевский вернулись в штаб. По дороге главком все вспоминал свое выступление.

— С солдатами разговаривай по-суворовски, умей их взбодрить, умей веселить: «Пуля — дура, штык — молодец! Заманивай врагов, солдатушки-братушки, заманивай!» Вот и все, что нужно солдату,— поучал главком Тухачевского.

В кабинет вошел адъютант:

— Политком полка по срочному делу.

Вошел бледный, растерянный комиссар полка, в котором только что выступал Муравьев.

— Какой дьявол за тобой гнался? — спросил главком.

— Красноармейцы отказываются идти на фронт. Устроили новый митинг, требуют жалованья за три месяца вперед и золотом,— заикаясь от волнения, доложил комиссар.

— Ах ты, провокатор! Осмелился позорить моих орлов, продажная душа! Адъютант, расстрелять эту шкуру!

Адъютант выдернул наган, но выстрела не последовало, произошла осечка. Он вновь вскинул наган, Тухачевский вышиб оружие из его руки.

— Дважды не расстреливают, товарищ главком,— сказал он, закрывая собой комиссара.

— Отставить! — скомандовал Муравьев. — Радуйся, пес! Счастливая баба тебя родила...

Вечером Муравьев и Тухачевский отправились в бывшее дворянское собрание, теперь Дом народных встреч.

Колонный зал был переполнен. Царские офицеры всех воинских званий пришли в партикулярном платье. Тухачевский затерялся в толпе: хотелось со стороны понаблюдать, как Муравьев станет разговаривать с офицерами.

Главком четким шагом прошелся по сцене, остановился у рампы.

— Граждане офицеры! Патриоты отечества! Доколе будем бесстрастно взирать на Россию нашу, гибнущую под ударами иностранных и внутренних врагов? Доколе нам терпеть позор и обиды от своих же военнопленных? Или уже привыкли наследники Суворова и Кутузова жить под немцами, обниматься с преступниками, прикрывающимися идеями Великой французской революции?

Опять политическая двусмысленность сквозила в словах Муравьева: он намекал на то, что опаснейшие враги России — большевики,— и Тухачевский подумал: «Главком ведет какую-то хитрую игру, его демагогия имеет подспудную цель. Он храбро нахален, а нахальство—самовлюбленность, не знающая предела».

— Что мешает вам, офицеры, поступать на службу победоносному народу? Оскорбленное честолюбие? Утраченные привилегии? Недоверие простых людей к золотопогонникам? Если только это, отбросьте сомнения! Моим армиям нужен ваш опыт, я использую вас для возрождения России. — Муравьев ткнул кулаком в сторону рыжеусого человека. — Вот вы, кто вы?

— Капитан инженерных войск. — Рыжеусый убрал с колен соломенную шляпу.

— Почему отсиживаетесь в тылу?

— Нашему брату не доверяют...

— Я доверяю, и этого достаточно! — Муравьев спрыгнул в зал, выхватил из рук капитана шляпу, швырнул в угол. — Срам какой — офицер в шляпе! Встать! — заорал он, пунцовея. — Встать, когда говорит главнокомандующий!

Офицеры поспешно поднялись.

— Приказываю вернуться в армию! — кричал Муравьев.

— Приказ есть приказ,— покорно ответили из зала.

— Мобилизую всех для защиты отечества!

— Если так, то повинуемся...

Главком и командарм возвращались из Дома народных встреч по улице, залитой лунным светом. С Волги веяло свежестью, из садов — терпким запахом мяты.

— Здорово я их раскатал! А как бы вы поступили на моем месте? — спросил, смеясь, Муравьев.

— Сделал бы то же самое, только без ругани. Когда прикажете выехать в Первую армию?

— Чем скорее, тем лучше.

6

Как это часто случается с молодыми людьми, председатель Казанского губкома партии Шейнкман и командарм Тухачевский сразу нашли общий язык. Их объединяли не только идеи, но и близкие духовные интересы. Тухачевский любил музыку, Шейнкман — поэзию; командарм преклонялся перед именем Моцарта, председатель губкома даже своего первенца назвал Эмилем в честь поэта Верхарна.

Шейнкману шел двадцать девятый год, но он давно жил бурной, опасной жизнью революционера. Свою партийную деятельность начал он на Урале, был сослан в Тобольск. Октябрь застал его в Петрограде. Шейнкман был председателем следственной комиссии, которая допрашивала арестованных членов Временного правительства. В начале восемнадцатого года Якова Семеновича Шейнкмана избрали председателем Казанского губкома партии.

Тухачевский без труда угадал в Шейнкмане редкую преданность революции. Шейнкман увидел в Тухачевском волю и недюжинный ум. Они сидели в губкоме партии, разговаривая об интервентах, о чехословацких мятежниках и, естественно, о Муравьеве.

— Он, бесспорно, способный полководец. Победы над генералом Красновым в Гатчине, над Украинской Радой в Киеве у Муравьева не отнимешь,— говорил Тухачевский.

— Победа — лучшая из рекомендаций,— согласился Яков Семенович. — Не нравится мне только, что Муравьев ведет себя как новоявленный Наполеон, но при самом диком счастье он был бы Наполеоном на час. Еще не нравится, что он воинствующий эсер. Я не из подозрительных, но воинствующая злоба эсеров меня тревожит; они ложные идеи принимают за истины, призраки за реальную опасность, по любому случаю грозят револьвером. Я давно наблюдаю за Муравьевым и думаю: он легко поставит на карту не только свою судьбу, но и тысячи жизней. Если таким, как Муравьев, взбредет на ум идейка единоличной власти, они прольют крови больше, чем дюжина Чингисханов. — Яков Семенович поглядел на ступенчатую башню Сююмбеки, на белые стены казанского кремля, поверх их, на далекую, в туманных полосах, Волгу. Как бы подытоживая свои рассуждения, сказал: — Около главкома должен быть бдительный политический комиссар. Принципиальный, бескомпромиссный, для которого нет ничего выше интересов нашей революции...

Тухачевский следил за изменяющимся выражением лица Шейнкмана, стараясь не нарушать течение его мысли.

— В Казани положение из напряженнейших. В начале мая мы ликвидировали заговор царских офицеров, заговорщики убили председателя губчека. Контрреволюция ушла в подполье, а теперь снова поднимает голову. В городе одних только членов

Союза защиты родины и свободы тысяч десять. А сколько всяких комитетов, лиг, корпораций расплодилось — и все с антисоветским душком. Есть в Казани и Комитет георгиевских кавалеров, и Лига воинского долга, и татарская буржуазно-националистическая партия. И все надеются, что чехословаки помогут им воткнуть нож в спину революции. В Казани находится золотой запас России, Муравьев часто хвастается им на митингах...

— Опасно хранить в Казани восемьдесят тысяч пудов золота и драгоценностей. Они кому угодно вскружат голову,— заметил Тухачевский.

— Казанские большевики обратились к правительству с просьбой перевести золотой запас в Нижний Новгород. Пока еще не получили ответа. Зато Муравьев долго убеждал нас, что золото под надежным щитом его войск, что он скорее погибнет, чем отдаст сокровища врагу, что искренность его слов свидетельствует о его неподкупности. О золоте он всегда говорит с многозначительной таинственностью. Но за тайнами в политике скрывается или ложь, или предательство. А Муравьев теряет представление о границах своей власти: грозный окрик, маузер, выхваченный из кобуры, стали атрибутами его деятельности,— сказал Шейнкман.

Они расстались поздней ночью, и Тухачевский выехал в Симбирск, в Первую армию.

Новый командарм разочаровал симбирских большевиков своей молодостью. Недовольны были и симбирские эсеры: до Тухачевского пост командарма занимал их человек. Фамилия нового командарма ничего не говорила и военным специалистам. Бывшие офицеры, перешедшие на службу в Красную Армию, не слыхали о гвардейском подпоручике Тухачевском. Но первые же приказы показали скептикам, что в армию пришел вдумчивый, знающий военное дело человек.

Не теряя времени, Тухачевский разработал план освобождения Самары из-под власти эсеров и чехословаков. Он решил нанести массированный удар по Самаре отрядами Сенгелеевской и Ставропольской групп; в помощь отрядам выделялись речная флотилия и бронедивизион. Командарм думал к середине июля завершить подготовку к наступлению, но Муравьев перепутал его планы. Он потребовал немедленного наступления и в то же время снял с позиции отдельные войсковые части.

Первая армия втянулась в тяжелые, неравные бои с чехословаками, а Муравьев продолжал снимать с фронта новые части и для чего-то отводил их в Симбирск. Первая армия, захватившая было Сызрань и Бугульму, начала отходить с большими потерями.

Тухачевский решил высказать Муравьеву все о трагическом положении армии. Вечером на маленьком полустанке, под орудийный гул вражеских батарей, он написал главкому: «Хотел еще вчера начать наступление всеми силами, но броневому дивизиону было Вами запрещено двигаться, а поэтому наше наступление на Усолье и Ставрополь велось лишь жидкими пехотными частями. Совершенно невозможно так стеснять мою деятельность, как это делаете Вы. Мне лучше видно на месте, как надо делать... Вы же командуете за меня и даже за моих начальников дивизий».

В этот час командарма вызвал к прямому проводу Иосиф Варейкис:

— Немедленно приезжайте в Симбирск. Происходят страшные события...

Поздней ночью Тухачевский уже входил в кабинет председателя Симбирского губкома партии.

— Левые эсеры подняли вооруженное восстание. Они обстреляли из орудий Московский кремль. Получены телеграммы, утверждающие, что власть перешла в руки мятежников,— сообщил Варейкис.

— Если эсеры возьмут верх, война с Германией неизбежна. Надо спешить с разгромом самарского Комуча, а Муравьев срывает наше наступление,— взволнованно ответил командарм.

— Я пытался связаться с Казанью, но телеграф неисправен. Что делает Муравьев — неизвестно,— Варейкис взъерошил курчавую пегую шевелюру. — Теперь уже можно сказать, после мятежа эсеров, одной революционной партией в России стало меньше. А вот Муравьев, Муравьев?

7

— Передайте Ленину, что я верен идеалам революции и выхожу из партии левых эсеров. Я отворачиваюсь от авантюристов и меч мой направляю против врагов Советской власти,— воодушевленно говорил Муравьев члену Реввоенсовета Механошину.

— Хорошо, передам ваше заявление.— Механошин пристально поглядел в мерцающие фосфорическим блеском зрачки главкома. — А сами не станете разговаривать с председателем Совнаркома?

— Спешу в штаб, надо успокоить армии. Красноармейцы возбуждены мятежом эсеров и не знают, что происходит. Вы информируйте меня о своем разговоре с Лениным. — Муравьев хотел еще что-то сказать, но повернулся и вышел из кабинета.

Механошин растворил окно — пахнуло влажным теплом июльской ночи, в небе меркли звезды; город, измученный постоянными страхами, спал.

— Москва, Кремль. Ленин у провода,— тревожным голосом сообщил телеграфист.

— У аппарата член Реввоенсовета Восточного фронта Механошин. Мы не знаем, что творится в Москве. Подавлен ли мятеж? Муравьев заявил о выходе из партии левых эсеров и подтвердил свою преданность Советской власти.

Механошин вслушивался в лихорадочное постукивание аппарата и напряженно размышлял: «Отчего Ленин в два часа ночи продолжает работать? Неужели с мятежниками не справились?»

Узкая желтая лента выползала из «юза». Телеграфист быстро, проглатывая слова, читал:

— «Я не сомневаюсь, что безумно-истеричная и провокационная авантюра с убийством Мирбаха и мятежом центрального комитета левых эсеров против Советской власти оттолкнет от них не только большинство их рабочих и крестьян, но и многих интеллигентов. Весь мятеж ликвидирован в один день полностью...»

— Так говорит Ленин... Вы слышите, это слова Ленина,— сказал телеграфист.

Механошин, слушая механическое постукивание аппарата, думал: «Надо будет сразу записать события этой ночи. События уходят, правда о них остается».

— Ленин обращается к вам, товарищ Механошин,— опять произнес телеграфист: — «Запротоколируйте заявление Муравьева о его выходе из партии левых эсеров, продолжайте бдительный контроль. Я уверен, что при соблюдении этих условий нам вполне удастся использовать его превосходные боевые качества...»

А в это время Муравьев ждал из Москвы сигнала. Седьмого июля у него появился агент заговорщиков.

— Колокол мятежа ударил поздно! Восстание раздавлено! — неистовствовал Муравьев.

Два дня и три ночи метался он, не решаясь бросить на весы случайной удачи свою жизнь. «Но удавались же самые немыслимые мятежи! Приходили же к власти Наполеоны! Судьба сосредоточила в моих руках четыре армии революции. Кто помешает мне? Большевики? Я выравняю их волю огнем и железом, я не оставлю ни одного живого большевика, ибо настоящий политик тот, кто переживает своих врагов. Надо немедленно ехать в Симбирск — там мои единомышленники. Жребий брошен!» — повторил он чужое, но любимое изречение.

И Муравьев решился.

Он посадил на царскую яхту «Межень» отряд личного конвоя, состоявший из черкесов и татар, и отправился в Симбирск.

Облитая лунным сиянием, Волга мерцала, молчаливо проходил высокий правый берег, луговая сторона освещалась зарницами далекой грозы.

На палубе яхты ходили, сидели бойцы, они не понимали друг друга, черкесы высокомерно поглядывали на татар, татары косились на косматые папахи и кавказские кинжалы.

Из салона выскочил Чудошвили с тугой кожаной сумкой. Затянутый в черкеску, он походил на огромную малиновую осу.

— Становись в затылок! Прынимай деньги! — проревел он, доставая из сумки горсть червонцев. — На каждое рыло по десятке. В Сымбирск прыдем — получите исчо!

А в царском салоне Муравьев мерил нервными шагами пушистый ковер; мысль, что он находится на яхте, еще недавно принадлежавшей русскому императору, тревожно пьянила. Муравьев сожалел, что мало людей вовлек в свою рискованную авантюру. Он умел в нужную минуту принимать нужные для себя решения, усваивать нужный тон поведения. Муравьев с упорством маньяка шел к намеченной цели: он изменил монархии и перешел на сторону Временного правительства, от Керенского переметнулся к большевикам. Изменить большевикам для него ничего не стоило.

— Адъютант! — негромко позвал Муравьев.

— Я здесь, Михаил Артемьевич.— Чудошвили появился в салоне.

— Садись за машинку. Продиктую несколько приказов.

Муравьев провел рукой с затылка на лоб, взъерошил только что зачесанные волосы. Стал диктовать:

— «От Самары до Владивостока всем чехословацким командирам! Ввиду объявления войны Германии приказываю вам повернуть эшелоны, двигающиеся на восток, и перейти в наступление к Волге и далее на западную границу. Занять по Волге линию Симбирск — Самара — Саратов — Балашов — Царицын, а в северо-уральском направлении Екатеринбург и Пермь. Дальнейшие указания получите особо.

Главнокомандующий армии,
действующей против германцев,
Муравьев».

Адъютант печатал быстро, механически ставя в словах букву «э» вместо «е».

— Приказ передать по радио, как только придем в Симбирск,— распорядился Муравьев, но тут же передумал: — Нет! Передадим, когда на яхту явится Тухачевский. Накрой стол, приготовь угощение, за рюмкой коньячка милее разговаривать на острые темы.

Муравьев опять заходил по салону. Воображение разыгрывалось прихотливо. На мгновение он попытался представить Восточный фронт от Волги до Тихого океана: панорама была необозримой даже для мысленного взора.

— Исчислено, взвешено, разделено! — произнес он неуверенно и удивленно.

— Что, Михаил Артемьевич? — переспросил адъютант.

— Я исчислил силы большевиков, взвесил собственные, разделил Россию на две части. Но и то, что сегодня достанется большевикам, завтра будет моим.— Муравьев выпил рюмочку коньяку, вытер губы салфеткой, на которой еще виднелась вышитая шелками корона.— Все завтра может стать моим, если не изменит фортуна.

Поздним вечером «Межень» пришвартовалась у пристани Симбирска. Муравьев послал связных за командиром Симбирского корпуса и командиром бронедивизиона. Это были свои люди, и он приказал им с броневиками и матросским отрядом явиться на пристань. За Тухачевским направил адъютанта.

Страх перед неизвестностью внезапно овладел Муравьевым, но он понимал, что начатую авантюру уже нельзя остановить.

На пристани раздались пьяные крики — кого-то приветствовали матросы. В салон вошел комкор.

— Мы потеряли самое драгоценное время,— начал он с ходу.— Восстание в Москве сокрушено...

— Не повторяй, что и так известно. Москва еще не вся Россия, а Симбирск станет точкой отсчета новых времен...

На пороге салона появился Тухачевский. Главком принял его как радушный хозяин, сдернул салфетку, прикрывавшую вино и закуски. Движением глаз, белозубой улыбкой, всем своим сердечным видом он как бы говорил: «А вот мы сейчас задушевно побеседуем».

Командарм вынул рапорт.

— Что это? — небрежно спросил главком.

— Доклад о наших фронтовых делах...

— Постойте, постойте! Выпьем-ка сначала за революцию! Вот так. А теперь рапортуйте, только, ради бога, короче.

— Сызрань нами оставлена. Наступление на Ставрополь кончилось неудачей. Невозможно так стеснять мою самостоятельность. Почему вы связываете мне руки? — спросил Тухачевский.— Хотя мы и оставили Сызрань, я не считаю положение безнадежным, у нас есть силы вернуть город. Если мы не сделаем этого, народ не простит нам...

— Я не нуждаюсь в прощении русского народа. Народ нуждается во мне больше, чем я в нем,— строго сказал Муравьев.— Ваши тревоги уже не имеют значения, слушайте, что скажу я. Мы прекращаем борьбу с чехословаками и объявляем войну Германии. Я обратился по радио к чехословацким войскам от Самары до Владивостока, в эти минуты они получили мой приказ...

Тухачевский вскочил с места. Они остановились друг против друга.

— Поручик Тухачевский! — торжественно продолжал Муравьев.— Я назначу вас на любой пост в революционной армии, которая спасет Россию от большевиков.

— Я сам большевик!

— Вы дворянин!

— Я не изменник...

— Если так, вы уже стали изменником!

Муравьев пинком распахнул дверь салона. В салон вбежал адъютант.

— Под арест этого предателя!

Муравьев вышел на пристань, где стояли красноармейцы бронедивизиона. За ним вывели Тухачевского.

— Бойцы! Герои! Орлы! — начал Муравьев. — Посмотрите на изменника знаменам рабоче-крестьянской власти! Царский офицер Тухачевский хотел арестовать вашего главкома. Но монархист, замаскированный под большевика, просчитался. Я разоблачил его, прежде чем он поднял на меня свою подлую лапу...

— К стэнке мэрзавца! — потряс маузером Чудошвили.

Командующий Симбирской группой войск презрительно пожимал плечами, штабные командиры смотрели на Тухачевского так, словно они предчувствовали его измену. Адъютант, наклонив черную тяжелую голову, исходил визгом:

— Смэрть прэдателю!..

— Мы еще успеем его расстрелять,— остановил Муравьев адъютанта.

Оставив Тухачевского под охраной, он отправился в город. В гостинице Муравьева ожидали симбирские эсеры — участники заговора. Уверенный в полном успехе авантюры, главком решил немедленно создать и свое правительство.

8

ЛЕНИН — РЕСПУБЛИКЕ

«Всем, всем, всем! Бывший командующий левый эсер Муравьев отдал войскам приказ повернуть против немцев... Приказ Муравьева имеет предательской целью открыть Петроград и Москву и всю Советскую Россию для наступления чехословаков и белогвардейцев. Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан застрелить его на месте...»

Варейкис получил радиограмму глубокой ночью, в губкоме находилась горсточка партийных работников да латышские стрелки, охранявшие здание. Он собрал их в зале заседаний, прочитал радиограмму.

— Надо обезвредить Муравьева и ликвидировать мятеж в зародыше. А как это сделать с нашими слабыми силами?

— Ленин приказывает застрелить главкома. Я исполню приказ,— решительно сказал красноармеец, которого звали Филей.

— Пока не разрешаю. Убийство Муравьева в этот опасный

момент ухудшит наше положение. Все коммунисты немедленно расходятся по казармам, по заводам — нужно поднять красноармейцев и рабочих против изменника. Какими силами мы располагаем?

— Латышские стрелки не пропустят Муравьева в губком,— заявил начальник охраны.

— Муравьева, наоборот, надо заманить в губком,— возразил Варейкис. — Итак, все в казармы, все на заводы! В нашем распоряжении минуты, не теряйте же попусту драгоценного времени.

Коммунисты покинули кабинет. Варейкис посмотрел на молодого шустрого редактора губернской газеты.

— Надо узнать, где сейчас Муравьев. Поручаю это тебе. Погоди,— удержал он редактора, двинувшегося к двери. — Если Муравьев явится в губком, то... Вот, смотрите,— Варейкис провел рукой по зеленому сукну стола. — В кабинет можно пройти только через зал заседаний. К залу справа и слева примыкают комнаты. В комнате налево разместим стрелков, в правой части посадим Филю с пулеметом. Муравьев проходит в кабинет, а стрелки занимают зал заседаний. Он, конечно, явится с охраной,— под любым предлогом не пропускать ее ко мне в кабинет...

— Недурно,— блеснул выпуклыми глазами редактор. — А если Муравьев не приедет в губком?

— Муравьев поступает всегда неожиданно. Я не рассчитываю на его характер, но надо выиграть время.

— Губком окружают матросы с пулеметами. Ими командует какой-то грузин,— сообщил вошедший стрелок.

Площадь и примыкавшие к ней улицы занимал матросский отряд под командой Чудошвили.

— Кто из вас болшэвики? Кто эсэры? Болшэвики отходят налэво, эсэры — направо. А, черт, наоборот! Болшэвики — направо, эсэры — налэво... — приказал Чудошвили.

— А кто тебе дал право устанавливать пулеметы? Кто ты такой? — спросил Варейкис.

— Адъютант главнокомандующего Муравьева.

— Я председатель губкома...

— Имэю приказ на твой арэст. Главком объявил войну немцам и заключил мир с чехами, вечный блажэнный мир — и долой болшэвиков!

— Прочь от крыльца, стервец! — схватился за маузер Филя.

Чудошвили трусливо попятился, Варейкис и Филя вернулись в здание. Прошло полчаса в напряженном ожидании, дверь приоткрылась, в кабинет вбежал редактор.

— Что нового? — спросил Варейкис.

— Муравьев в гостинице создает Поволжскую республику, распределяет министерские портфели.

— Великолепно! Пусть распределяет портфели. Ступай снова в гостиницу, скажи — мы готовы на определенных условиях поддержать его правительство...

В третьем часу ночи в губкоме стали появляться красноармейцы, рабочие, матросы с речных пристаней.

— Пулеметная рота поддерживает большевиков... Красноармейцы второго бронедивизиона выступают против Муравьева... Железнодорожники спешат на защиту губкома,— докладывали связные.

Зазвенел телефон, Варейкис снял трубку.

— Слушаю... Да, это председатель губкома. Кто это?.. Здравствуйте, товарищ Муравьев!.. Так, так, так! Громче, я плохо слышу... У меня нет иного выбора, как поддержать ваш поход на Москву?.. Вы предлагаете мне портфель министра? Это соблазнительно, но надо подумать... Что вы, я не умею быстро соображать! — Варейкис засмеялся в трубку. — Часы истории отсчитывают свои минуты?.. Все это верно, но речь идет о судьбе революции. Жду...

Варейкис хмуро стоял у телефона, члены губкома сидели вокруг стола. У всех были зеленоватые от усталости лица.

Варейкис направился в зал заседаний — там Филя закрывал газетами стеклянные двери. Председатель губкома заглянул в комнату — латышские стрелки разместились у стен, и у них были зеленые от зари лица.

— А что там? — повел глазами на другую дверь Варейкис.

— А там пулеметы,— ответил Филя.

У подъезда затарахтел автомобиль.

— Приехал. — Варейкис остановился посередине зала. — Ну что ж, не мы заварили эту кашу. Иди, Филя, к пулемету...

В зал заседаний со своими единомышленниками и охраной вошел Муравьев.

— Вы сделали свой выбор? — с ходу спросил он Варейкиса и коротко рассмеялся.

— Пройдемте в кабинет. Мы ожидаем вас...

Главком, глядя на всех и никого не видя, положил правую руку на грудь, вскинул голову. Снова, уже строго, спросил стоящего в дверях Варейкиса:

— Почему не пропускаете мою охрану?

— Фракция левых эсеров может договориться с большевиками без лишних глаз. У нас ведь нет охраны.

Муравьев поправил кобуру маузера, демонстративно вынул из кармана браунинг, сунул за пазуху.

— Итак, мы слушаем,— сказал Варейкис, проходя на председательское место.

— Вам уже известно, что я объявил войну Германии,— начал Муравьев. — Я заключил мир с чехами и повернул свои вой-

ска на Москву. — Муравьев движением руки обвел эсеров, рассевшихся у стены. — Я не могу больше терпеть, когда большевики продают немцам Россию.

Дверь приоткрылась, Филя делал какие-то знаки Варейкису.

Муравьев оттолкнулся от подоконника, ногой распахнул дверь — перед ним мерцали штыки латышских стрелков.

— Это предательство! — Муравьев выдернул маузер.

Филя прыгнул на главкома, Муравьев отшвырнул его и начал стрелять направо-налево, и злоба, и страх, и бешенство исказили его лицо.

Муравьева обступили со всех сторон. Филя вскинул наган, целясь в лиловый затылок главкома...

ВАРЕЙКИС — ЛЕНИНУ

«В три часа ночи Муравьев пришел на заседание губкома вместе с фракцией левых социал-революционеров и предложил присоединиться к нему. Я объявил, что он арестован. Муравьев начал стрелять. В этой перестрелке Муравьев оказался убитым».

Тухачевский стоял у броневика в расстегнутой гимнастерке, без ремня — его отобрал адъютант вместе с наганом. Предрассветная площадь была пустынной, вокзал словно вымер. В тополиной рощице уже брезжило, нежная заря появлялась сквозь листья.

— Еду в Совдеп, разнюхаю, что в городе творится,— решительно сказал шофер бойцам.

— Ты, парень, головы не роняй,— посочувствовал Тухачевскому боец в косоворотке и домотканых штанах.

— Мне кажется, что я во сне,— пробормотал тот.

Прошли еще томительные тридцать минут. Заря захватила весь горизонт, заметались над привокзальной площадью воробьи. Парили росой плетни, булыжники мостовой. Караульные дремали, прижимая к животам винтовки. Тухачевский услышал рычание мотора, и тотчас из-за каменного дома вынырнул броневик.

— В Совдеп скореича! — крикнул шофер. — Большевики Муравьева кокнули. Тебя, парень, ищут. Айда, садись...

Тухачевский не пробежал, он взлетел по ступенькам старинного здания, толкнул дверь в кабинет Варейкиса, его окружили комиссары, командиры.

— Рады видеть тебя здоровым-невредимым,— устало приветствовал Варейкис командарма. — В эту ночь мы победили правдой. Правда — грозный противник для врагов свободы.

— Заговорщики арестованы? — спросил командарм.

— Взяли начальника штаба, командира бронедивизиона...

— Чудошвили арестован?

— Этот успел скрыться.

— Опасного типа упустили. Надо бы сообщить Москве о наших событиях.

— Я уже телеграфировал Ленину о полном провале мятежа в Симбирске...

— Мятеж всегда обречен на провал. Победившие мятежники называются иначе,— сказал Тухачевский.

Все рассмеялись, и общий смех рассеял кошмар трагической ночи.

Измена Муравьева, подобно подземным толчкам, потрясла армии Восточного фронта. Получив сперва провокационные приказы о мире с чехословаками и новой войне с немцами, армии потом узнали о предательстве Муравьева. По воинским частям поползли слухи о новых изменах и предательствах, окружениях и обходах красных войск.

Мятеж Муравьева принес временные успехи белым.

Князь Голицын и полковник Войцеховский захватили Екатеринбург. В Ижевске эсеры свергли власть Советов.

Над республикой нависла смертельная опасность, каждый час промедления становился трагическим.

9

— Приведите арестованного,— приказал тюремному надзирателю ротмистр Долгушин и раскрыл пухлую папку: «Дело о злодейском убийстве его императорского величества государя Николая Александровича».

В большом купеческом особняке было тихо и пустынно: лишь вкрадчиво постукивали настенные часы да пахло нашатырным спиртом. Сизые тени спали на паркетных полах, кружевные гардины купались в солнечном свете, во дворе цвели липы — желтые лепестки сыпались в приоткрытые окна.

Ротмистр дрожащими пальцами перевернул страницу.

«...В ночь с 16 на 17 июля по постановлению президиума областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала расстрелян бывший царь Николай Романов...

Социалистическая революция натолкнулась на отчаянное сопротивление имущих классов. Постепенно это сопротивление перешло — при содействии иностранных империалистов — в открытое контрреволюционное восстание против Советской власти...

В местах, захваченных чехословаками и белогвардейскими бандами в Сибири и на Южном Урале, власть очутилась в руках черносотенных погромщиков, самой чистейшей марки монархистов...

Вокруг Николая все время плелись искусные сети заговоров. При поездке из Тобольска в Екатеринбург был открыт один из них. Другой был раскрыт перед самой казнью Николая. Участники последнего заговора свои надежды на освобождение убий-

цы рабочих и крестьян из рабоче-крестьянского плена связывали с надеждами на занятие красной столицы Урала чехословацко-белогвардейскими погромщиками...»

Долгушин вышел из-за стола, остановился перед портретом императора. Посмотрел снизу вверх: носки царских сапог пришлись на уровень глаз. Траурные ленты обвивали раму, известковая пыль припорошила лакированную фигуру царя.

— Странны пути человеческие,— прошептал Долгушин.— Давно ли я мчался в Екатеринбург, чтобы помочь государю освободиться из красного плена? Я опоздал! Теперь, по прихоти судьбы, я веду следствие по делу о злодейском убийстве государя. Допрашиваю цареубийц...

Июльское утро было таким зеленым и родниково-прозрачным, что Долгушину не хотелось приступать к допросу. Город пробуждался от тревожных снов. Скрипели ставни, распахивались окна. На улицах появились извозчики, сивобородый поп шагал к кафедральному собору.

Кафедральный собор взлетал на противоположной стороне проспекта, словно каменная песня богу и человеку. В синем воздухе особенно прекрасными казались его могучие, голубого и глубокого цвета купола, золотые звезды на них. Около собора толпились грязные лавочки, запакощенные магазины, белела вывеска на фронтоне полукруглого дома: «Шелка. Бархаты. Атласы. Бананы».

На мостовой валялись обрывки декретов, изодранные лапти, пустые бутылки. Старый козел сдирал с забора афишу, выгрызая жирные от клея буквы.

«Философия и практика анархизма. Лекция,— прочитал Долгушин.— Вход по предъ...» Козел сожрал остальные буквы.

Ротмистр болезненно поморщился: нервная злая гримаса исказила красивое лицо его. Всего лишь две недели назад он спешил из Москвы, чтобы спасти своего императора. По глупой случайности его задержали на вятском вокзале. По глупой доверчивости вятская Чека выпустила его и выдала пропуск для проезда в Екатеринбург.

Вятская Чека занимала массивный, желтого кирпича, украшенный шпилями, куполами, балкончиками, двухглавыми бронзовыми орлами дом владельца кожевенных заводов. В теплом свете мягко блестели чугунная решетка, каменные ворота. Долгушин заспешил прочь от страшного места, но крик мальчишки, продающего свежие газеты, пригвоздил его к месту:

— Расстрелян, расстрелян, расстрелян!..

Уже давно слышал Долгушин это проклятое черное слово, но не мог привыкнуть к нему. При слове этом он испытывал и острый озноб страха, и любопытство, и жалость к чьей-то уничтоженной жизни, и подленькую радость, что жив еще сам. Он купил газету, но мальчик опять восторженно выкрикнул:

— Казнь Николая Кровавого! Да здравствует революция!

Долгушин пошатнулся и прислонился к забору. Что это он кричит? Неужели? Невозможно! Немыслимо!

— Расстрел царя Николая! Да здравствует!..

Долгушин боязливо развернул желтый лист и почувствовал: земля ускользает из-под ног.

«Опоздал, опоздал! Что же теперь делать? В Петрограде украли мое прошлое, в Екатеринбурге казнили будущее». Он сунул в карман газету и пошел, сам не зная куда. Шумели березы, носился пух одуванчиков, а он брел, спотыкаясь о деревянные тротуары, о булыжники мостовых. Опрокинул корзину с ватрушками, торговка взвыла:

— Надралась, свинья, самогонки-тё, шары-тё ослепли! Чтоб тё, окаянного, в губчеку угораздило...

Курчавое, похожее на белого краба облако закрыло небо; ударил слепой ливень. Капли прыгали на листьях лип, радужные пузыри путались в траве, светлые прутья воды хлестали по лицу. Долгушин заплакал: слезы, смешиваясь с дождевыми каплями, ползли по грязной бородке. «Какой же сегодня день? Воскресенье сегодня. Когда же казнен император? Я опоздал. А что бы случилось, если бы не опоздал?»

Солнечный ветерок пролетевшего ливня дышал в губы, дождевые пузыри все еще лопались, трава искристо блестела. Долгушин вошел в сад, забрался под липы, сел на траву. Над ним, иссеченное ветвями и листьями, мерцало высокое равнодушное небо, сквозь ветви проходили пушистые облака. Долгушин прикрыл веки — пелена затянула и небо, и озаренные каплями деревья. «Несчастный государь, рожденный на ступенях трона, но не рожденный для трона! С его гибелью разбиты все мечты, потеряны все надежды».

Пелена стала оранжевой, издымилась, затускнела. Тело Долгушина наливалось болью, унылые мысли копошились в уме. Вспомнились чьи-то фразы — красивые, но беспомощные: «Если нужно, снимите с нас последнюю рубашку, но сохраните Россию». Смешные люди! Мы сами должны спасать Россию, а не ждать спасителя. Если уж случилась революция, надо было держать ее в своих руках. А мы и новой сути событий не поняли, и перемен, происшедших в народе, не уловили. Как теперь показать народу, что мы умеем действовать лучше большевиков?»

Едкие, неприятные мысли разбегались, отчаяние расслаивалось.

Долгушин казался себе бестелесным, расплывающимся существом: было странно думать, что он — все еще он, стоит лишь приоткрыть веки, чтобы убедиться в реальности своего бытия. Он поднялся с мокрой травы, присел на скамью. Шелест листьев, бабочка, запутавшаяся в солнечном луче, запах цветущей липы угнетали...

Долгушин очнулся от воспоминаний.

Скрипнула дверь: надзиратель ввел босого красноармейца. Грязный, обтерханный, в ссадинах и кровоподтеках, арестованный остановился у порога. Долгушин оглядел арестованного. «Цареубийца! Жалкий деревенский парень — цареубийца».

— Выйдите. И ждите, пока не позову,— сказал Долгушин надзирателю и сразу же спросил арестованного: — Комельков? Григорий?

— Так, кабыть, звали,— робко ответил тот.

— Сядь на стул и отвечай на мои вопросы. Только помни, Комельков, от правдивости ответов зависит твоя жизнь.— Долгушин взял листок, прочитал громко и внятно:

«Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что Комельков Григорий Степанович находился в отряде Особого назначения по охране бывшего царя и его семейства с 1 августа 1917 года по 18 мая 1918 года, причем нес службу образцово, беспрекословно выполняя возложенные на него обязанности солдата, бойца и гражданина Революции...

Тобольский исполнительный комитет рабоче-крестьянских и солдатских депутатов».

— Твое удостоверение, Комельков? — доверительным, ласковым тоном спросил Долгушин.

— Ну, бумага наша...

— Кто дал тебе эту бумагу? Да ты присядь, Комельков.

Красноармеец присел на краешек стула, положил на колени узловатые руки.

— Ну, в Тобольске мы получили. От комиссара Хохрякова, охранителя гражданина Романова, бывшего царя то ись...

— Комельков! — повысил голос Долгушин.— Нет никакого гражданина Романова. Есть только его императорское величество, государь Николай Александрович. Ясно?

— Кабыть, ясно,— согласился Комельков.

— Вот и хорошо! Ты сопровождал государя императора из Царского Села в Тобольск. Расскажи об этом как можно подробнее.

— А чево рассказывать-то?

— Ты знал, кого ты сопровождал?

— Ну, сперва — нет, опосля — да.

— Когда это — опосля? — презрительно переспросил Долгушин.

— В Тюмени, когда с вокзала на пристань шли. Вот тогда солдаты и признали царя.

— Что это был за поезд, Комельков?

— А было в нем два господских вагона. Остальное — теплушки для нас. Мы сперва кумекали — на фронт катим, а как до Вятки добрались, поняли — не туда. Поезд-то больно споро

шел; крупные станции насквозь пролетал. А на полустанках уголь-воду брали. Ну тогда нас из теплушек — вон и цепью вокруг поезда.

Долгушин пожевал губами, вяло подумал: «Князь Голицын торопит с окончанием допроса цареубийц, но как я могу спешить? Я должен выяснить все обстоятельства, предшествующие гибели государя».

— Ты узнал его императорское величество в Тюмени. А кого ты еще узнал?

— Ну, царицу, сынка, дочек царских,— равнодушно перечислил Комельков.

Долгушин подумал: «Ночью этого солдата расстреляют. Какое все же странное чувство разговаривать с живым мертвецом. Испытываешь и страх, и радость за себя: вот его не станет, а ты будешь жить».

— Как назывался пароход, на котором вы отправились в Тобольск?

— Дай бог память,— вскинул нечесаную голову Комельков.— Ну «Русью» пароход назывался.

Дрожь пробежала по скулам Долгушина. «Несчастный государь! Династия Романовых начиналась в Ипатьевском монастыре в Костроме, а закончилась в особняке купца Ипатьева в Екатеринбурге. И «Русь» везла в ссылку русского императора. Какие ужасные совпадения имен и названий!» Долгушин повернулся на стуле, стул резко скрипнул. Ротмистр невольно поджал ноги.

Под паркетным полом находился подвал: там расстреляли его императора. Еще позавчера он выпиливал в подвале половицы с царской кровью, вырезал из стены кирпичи со следами пуль. По просьбе английского короля и доски и кирпичи будут отправлены в Лондон.

— Где жил государь в Тобольске? — спросил Долгушин, сразу потемнев от злобы и подступившей тоски.

— В губернаторском доме. Большой такой домище, на целый полк места хватит.

— Тебе приходилось охранять его императорское величество?

— И это случалось.

— Ты разговаривал с государем?

— Ну, запрещалось нам спрашивать его. А ежели он спрашивал — отвечали: так, мол, и так, гражданин Романов...

— Ты все-таки болван, Комельков! Я тебя, скотина, предупреждал,— Долгушин вскочил со стула. «Быстро же русский мужик утратил любовь к монарху, но еще быстрее привык к непонятному для него слову «гражданин». Ловко поработали над мужичком большевики».— Тебя спрашивал о чем-нибудь государь?

— Единожды было, когда мы с ним, ну, в саду прохаживались...

— В саду про-ха-жи-ва-лись! Ты понимаешь, что болтаешь? Прохаживался... Комельков... в саду... с императором!

Долгушин сжал кулаки и недобрыми глазами уставился на Комелькова. Воображение вызвало смутную картину: осенняя аллея и на ней император.

Он медленно идет, загребая сапогами сырую пожухлую листву. На нем полковничья шинель без погон, в руке тонкая тросточка. Кружатся березовые листья, осыпаясь на грязную землю. Сквозь голые сучья лихорадочно синеет Иртыш, а вокруг ни души, кроме замызганного солдата. Царь и солдат! Самодержец всея Руси под охраной собственного раба...

Комельков тоже видел осеннюю тропинку в саду тобольского губернатора и узкоплечего рыженького человека с посиневшими губами, опухшими веками. Все в этом человеке было жалким, невыразительным. «Неужели он был моим царем?» — недоумевал Комельков...

— Так о чем же тебя спрашивал государь? — Долгушин теперь испытывал невольную зависть к Комелькову. «Как-никак, а этот мерзавец разговаривал с императором».

— Они спросили, в каком полку я служил до революции.

— И что же ты ответил?

— «В лейб-гвардии стрелковом, его императорского величества, гражданин Романов»...

Долгушин поморщился — бесполезно злиться на тупого солдата, но злоба накапливалась и искала выхода, а ротмистр не знал, на чем сорвать распалившееся сердце. Он взял список арестованных из отряда Особого назначения. Десятки фамилий, и перед каждой красный крестик. Крестики обозначали расстрел. Князь Голицын сам поставил эти маленькие смертные знаки; Долгушину оставались только формальные обязанности следователя. «Для истории Русской империи важно все, что касается гибели монарха и его убийц. О, большевики, большевики! Потоками крови не смоете вы одну-единственную каплю крови моего государя. Надо спросить, испытывал ли что этот болван, сопровождая его величество на прогулке?»

— О чем ты думал, Комельков, разговаривая с государем?

— Ну, дивились мы...

— Еще бы не удивляться. Если бы ты мог мыслить, если бы мог понимать и действовать. Ты бы мог спасти государя, а ты стал его палачом. Ты же — палач, кат, цареубийца! Чему же ты дивился?

— Ну, тому, как такой человечишко правил всей Россией.

Губы Долгушина перекосились, в глазах запрыгали змейки; он подскочил к Комелькову, стал хлестать его наотмашь по лицу, взвизгивая, матерясь и захлебываясь собственной бранью:

— Каин! Иуда! — Ударом ноги распахнул дверь кабинета. Заорал на влетевшего надзирателя: — Убрать этого подлеца!

Он долго не мог успокоиться. Ходил от стола к двери, пофыркивая, отхаркиваясь, разминая ушибленные пальцы. Споткнулся о стул, отшвырнул от себя. Стул с грохотом покатился по полу, и опять болезненное воспоминание возникло в уме. Там, в подвале, его императора...

Дымные картины недавних событий обступили ротмистра со всех сторон. Он метался по комнате, и бормотал, и проклинал свое бессилье.

Государь и его семейство были расстреляны в ночь на семнадцатое июля. А двадцать третьего числа чешские войска под командой полковника Войцеховского, Седьмая дивизия горных стрелков генерала князя Голицына захватили Екатеринбург. Они опоздали на семь дней. На семь дней опоздали они! И они же ускорили гибель государя. Ведь если бы они не угрожали Екатеринбургу, большевики не поспешили бы со своей расправой. Снова замкнулся круг истории — зловещий, безысходный, мистический.

По приказу Голицына белая контрразведка обрыскала заброшенные шахты, овраги, колодцы, даже выгребные ямы. В одной из шахт нашли алмазный крест царицы и пряжку от поясного ремня наследника Алексея. Контрразведка арестовывала всех охранявших царя в Тобольске и перевозивших его в Екатеринбург. Всех родственников и друзей тех лиц, что расстреляли царя. И всех, что подпадали под категорию большевиков, красноармейцев, советских работников. Не только городская тюрьма, но и подвалы и склады забиты арестованными.

— Поручаю вам, ротмистр, следствие по делу о цареубийцах. Нам нужен именно такой человек, как вы. Дворянин. Преданный и убежденный сторонник монархии. Образованный и понимающий историческое значение случившегося. Допрашивайте как хотите, но записывайте, записывайте правильно и точно. Пусть вас трясет от ненависти, но показания цареубийц записывайте совершенно точно. Помните, вы работаете на историю русскую,— говорил князь Голицын.

Никогда еще Долгушин не чувствовал себя таким необходимым, как в эти дни. Он делал свое дело солидно, убежденно, сосредоточенно; стало досадно, что сорвался при допросе Комелькова, но ведь идиот кого угодно выбьет из душевного равновесия.

Долгушин уже был спокоен, когда надзиратель ввел нового арестованного. Пожилой человек в косоворотке и охотничьих сапогах, с пепельной бородой, подпирающей уши, улыбнулся ротмистру бледной холодной улыбкой. Долгушин молча показал ему на стул; сам присел к столу, неторопливо закурил.

— Федор Игнатьевич Воронин, помощник начальника по

отряду Особого назначения. Большевик. Возраст — сорок пять. Так ведь?

— Совершенно верно,— согласился Воронин.

— Мы не станем, Федор Игнатьевич, попусту терять драгоценное время. Мне ни к чему вас уговаривать, вам незачем запираться.

— Вот это правда. Времени у меня в обрез.

— Ваша профессия?

— Сталевар златоустовского завода.

— Когда вы стали большевиком?

— В тысяча девятьсот пятом.

— Какое образование?

Пепельная борода Воронина заколыхалась от легкого добродушного смеха.

— Чему это вы смеетесь?

— Неожиданному совпадению вопросов. О моем образовании спрашивал меня и бывший царь.

— Что же вы ответили его императорскому величеству?

— Десять лет Александровского централа...

— Не мне судить о вашем остроумии,— сумрачно сказал Долгушин.— Каждый шутит как умеет.— Он замолчал, угрюмо рассматривая Воронина. «Типичное русское лицо. Курнос, русоволос, сероглаз. Давно ли такие мужики пахали, сеяли, убирали хлеб. Молились богу, плодили детей, пили водку. Были храбрыми солдатами, верили в бога и царя».— По каким причинам государь был перевезен из Тобольска в Екатеринбург? И как этот переезд происходил?

— Это очень существенно?

— Исторически необходимо...

— Из истории событий не выкинешь,— согласился Воронин.— Последние дни Николая Романова, конечно, еще одна грань среди других бесчисленных граней революции. Только мы, наверно, смотрим на казнь царя с противоположных точек зрения?

— Само собой разумеется.

— Что же вас интересует?

— Прежде всего, причины, побудившие большевиков вывезти государя из Тобольска.

— Причина одна — монархисты хотели выкрасть и переправить Романова за границу. В Тобольске возник заговор.

— Кто участвовал в заговоре?

— Начальник царской охраны полковник Кобылянский, тобольский епископ Гермоген, царские дочери, князь Долгорукий, граф Татищев, графиня Гендрикова. Всех не перечтешь.

— Как же они собирались переправить государя за границу?

— Увезти из Тобольска вниз по Оби, в Карское море. На

шхуне «Святая Мария» Николай Второй был бы доставлен в Лондон.

— Не торопитесь, я не успеваю записывать.

— Тобольск наводнили царские офицеры, купцы, монахи. Они или становились участниками заговора, или же помогали заговорщикам. Естественно, в таких условиях мы решили увезти царя.

— Да, кстати,— сказал Долгушин,— как жил государь в Тобольске?

— При Керенском жил припеваючи. Бывшему царю отвели особняк тобольского генерал-губернатора, и без того роскошные губернаторские хоромы обставили мебелью, привезенной из царских дворцов. Народ голодает, а бывший царь жил припеваючи...

— Одну минуту, постойте,— Долгушин порылся в бумагах, достал синюю квадратную карточку.— Государь жил припеваючи! — со злостью повторил он.— Вы морили его императорское величество голодом! Вы кормили его овсом!

«Тобольский продовольственный комитет.

Продовольственная карточка.

Фамилия: Романов.
Имя: Николай.
Отчество: Александрович.
Профессия: экс-император.
Норма продуктов: мука ржаная, овес, соль, мыло, крупы».

Долгушин швырнул карточку на стол.

— Вы смотрели на государя как на самого последнего человека в вашей Совдепии. Кто подписывал этот документик?

— Карточку подписывал я,— спокойно, почти весело ответил Воронин.— А что же вы хотели? Для нас царь был обычным гражданином. Странно было бы, если большевики поступили бы с Романовым, как господа из Временного правительства. В России миллионы граждан живут на голодном пайке, так почему же человек, ненавидимый рабочими и мужиками, почему он должен пользоваться особыми привилегиями?

— Вы ведете себя нагло даже на краю могилы! — остервенился Долгушин. Темным тягучим взглядом посмотрел на Воронина и по странному капризу мысли вспомнил такой же пестрый кабинет в вятской Чека. Увидел себя перед чекистами, услышал свой посиневший от страха голос: «Клянусь честным словом русского дворянина, что признаю Советскую власть». Долгушину внезапно захотелось, чтобы Воронин тоже упал на колени, вымаливая у него пощаду.

Он отыскал в списке фамилию Воронина и красный крестик перед ней: крестик показался кровавой каплей. «Если бы он

попросил пощады, один бы взмах карандаша, и я бы расквитался с большевиками. Ответил бы великодушием на их великодушие».

Воронин молчал, сложив на груди руки.

— Вы сказали, что ликвидировали заговор по освобождению его императорского величества. Как это было сделано?

— Уральские большевики направили в Тобольск специальный отряд; им командовал Павел Данилович Хохряков.

— Что же дальше?

— Мы переизбрали Тобольский исполком рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. Распустили городскую думу. И, конечно, арестовали главных вдохновителей заговора. Павел Данилович взял под постоянное наблюдение охрану бывшего царя.

— Кто такой Павел Данилович с плебейской фамилией Хохряков?

— Сын вятского мужика. Балтийский матрос. Юноша лет двадцати пяти. А разве фамилия украшает человека?

— Где он сейчас?

— Не знаю. Но уверен — дерется против вас.

— Он не уйдет ни от божьего, ни от мирского суда.

— От мирского суда не ушел бывший царь, а суд божий — дело десятое...

— Не будем спорить,— миролюбиво ответил Долгушин, но в нем разрастался раздраженный интерес к Воронину. В этом большевике была уверенность, которой так не хватало самому Долгушину. Он обеими руками передвинул на край стола желтую зловещую папку. — Почему вы так поспешно вывезли государя из Тобольска?

— В городе возник новый заговор. Держать Романова в Тобольске становилось все опаснее. Мы телеграфировали в Москву, и ВЦИК приказал вывезти бывшего царя в Екатеринбург.

— ВЦИК, ВЦИК, ВЦИК! Не слово, а разбойничий свист. Скажите лучше — вам приказал Ленин...

— Пусть так, если хотите. Ленин для нас и ВЦИК, и Совнарком, он — наш полководец и глава нашей партии.

— Кого вы агитируете? Меня? Напрасный труд! Я так просто не меняю богов...

— Я бы стал агитировать последнего белого солдата, но только не вас. Вы для меня враг классовый, самый беспощадный, с такими мы и сражаемся насмерть!

— Вот именно, насмерть! Пока что на краю могилы стоите вы, цареубийца.

— Можно убить меня, нельзя истребить народ.

— Попробуем! Уничтожим вас — большевиков, а народ поймет свои заблуждения. Но довольно политической болтовни! Вам приказали вывезти государя. А дальше?

— В Тобольск прибыл некто Яковлев-Мячин. С полномочиями ВЦИКа. Ему поручалось вывезти Романова в Екате-

ринбург. Был создан Особый отряд боевиков, в него попал и я. Яковлев-Мячин стал командиром.

— Почему вы его называете «некто»? — заинтересовался Долгушин.

— Он показался нам подозрительным. Не говорил боевикам, когда и куда повезет бывшего царя. Встречался с ним наедине и о чем-то долго беседовал. О чем — мы не знали, о своих беседах Яковлев-Мячин молчал. Завел он дружбу с офицерами, епископом Гермогеном. Одним словом, вел себя подозрительно.

— Опишите его внешность.

— Самая заурядная. Молодой человек, роста среднего, волосы темные, лицо рыхлое, одутловатое. На офицера не похож, скорее чиновник из департамента.

— И по таким ничтожным причинам вы не доверяли Яковлеву-Мячину? Ведь он — большевик? Разве ваш ВЦИК поручил бы не большевику такую важную миссию?

— Называл себя коммунистом. Да ведь мало ли кто выдает сейчас себя за коммуниста? Кстати сказать, Яковлев-Мячин переметнулся на вашу сторону.

— Это свидетельствует лишь об его уме и дальновидности. А вот вы — слепец! Вы могли бы отдать жизнь за государя, а стали его палачом. — Долгушин сконфузился, вспомнив, что уже говорил Комелькову точно такие же слова. — Чем мотивировал Яковлев-Мячин задержку в Тобольске?

— Говорил, распутица-де. Реки вскрываются-де...

— Кто же настоял на отъезде?

— Павел Данилович. Как председатель Тобольского исполкома, он потребовал отправки Романова. И он был прав, обстановка в городе опять накалялась. И мы решили ускорить отъезд. Ненадежная охрана была заменена большевиками. Николаю Романову объявили о предстоящей отправке, он согласился ехать, но заартачилась его жена...

— Что за выражение — заартачилась? Александра Федоровна — русская императрица.

— Бывшая, не забывайте.

— У вас были столкновения с ее величеством?

— Нет. Впрочем, да. Мне что-то понадобилось, и я вошел в переднюю залу. Там была она. Увидев меня, попятилась и смотрела ненавидящими глазами. Да, это был и палящий, и сверлящий, и еще черт знает какой взгляд.

— Я предупреждаю вас! — вспыхнул ротмистр.

— А-а, бросьте! Вы спрашиваете, я отвечаю. Но это все глупые мелочи. Когда мы наконец объявили Романову о выезде, бывшая царица сказала, что не поедет, что болен Алексей. Мы все же решили выехать. Отправились ранним апрельским утром по снежному насту. На одиннадцати тройках.

— Быстро ехали?

— От Тобольска до Тюмени — двести пятьдесят верст. Мы в самую распутицу отмахали их за двое суток.

— Народ знал, кого везете?

— В том-то и дело, что узнавал. В деревнях улицы были усеяны мужиками и бабами. Они кричали вслед...— Воронин прикрыл ладонью рот, покашлял в бороду.

— Что кричали люди?

— Отцарствовал! Отвоевался! Ну и так далее...

— Я вам не верю,— положил карандаш Долгушин. Зрачки его расширились, сердце подобралось к горлу. — Я не верю вам,— повторил он, понимая, что Воронин говорит правду.

— Ну зачем мне врать? Ну зачем?

— Никаких происшествий в пути не случилось? Даже мелочей? Не помните ничего?

— К чему мне помнить всякие пустяки?

— Все, что касается государя,— не пустяки.

— А бывшей царицы?

— Одно и то же.

— Тогда я вспомнил один пустячок,— язвительная усмешка появилась на губах Воронина. И растаяла. — Можете записать в ваши монархические анналы. Бывшая царица всплакнула и долго крестилась на одну избу в селе Покровском, которое мы проезжали...

— Село Покровское? Почему оно взволновало ее величество?

— В этом селе родился Григорий Распутин. Разве вы не знаете?

Долгушин вздрогнул. Язвительную усмешку Воронина он воспринял как личное оскорбление. Ненависть к Распутину он сразу перенес на своего подследственного, но все-таки нашел силу притушить ее. Как можно спокойнее сказал:

— Мне понятно ваше скверное торжество. Распутин — позор царственной фамилии и истории русской. Распутин — козырной туз в ваших руках, я это хорошо понимаю...

— А большевики не козыряют Распутиным. Мы только говорим, до чего докатилась монархия. Распутинщина всего лишь маленькое пятнышко зараженного неизлечимой болезнью организма.

Эти слова обожгли Долгушина: он опять выскочил из-за стола, поднимая кулаки, и прокричал сорвавшимся голосом:

— Распутин! Распутин! Если произойдет чудо и большевики победят — они должны поставить Распутину монументы. Из чистого, червонного золота! Да, да!

Тихий ручьистый смех остановил вскрики ротмистра. Воронин смеялся так обезоруживающе, что Долгушин опустил поднятую для удара руку. Крупными шагами прошелся по кабинету, мимоходом взглянул на портрет императора, но уже не почувствовал душевного трепета.

— Итак, вы прибыли в Тюмень. А потом что, потом что? Что у вас случилось в Тюмени? — стал спрашивать он торопливо, нервно и ожесточенно.

— А то, что Яковлев-Мячин попытался двинуть поезд с Романовым в Омск. Прямо в ваши руки. Но мы не позволили увезти бывшего царя. Яковлева-Мячина объявили вне закона, он успел перебежать на вашу сторону. Уральский исполнительный комитет приказал, если поезд все-таки пойдет в Омск, взорвать вагон с царским семейством...

— И вы бы взорвали?

— Да. Безусловно.

Долгушин присел на край стола, опустил голову, засунул руки в карманы. Он потерял всякий интерес к допросу, не хотелось спрашивать, не хотелось записывать. Потускневшим голосом поспешно досказал за Воронина:

— И государя вы привезли в Екатеринбург. И поместили его вот в этот самый особняк. И расстреляли его, когда поняли, что белая армия возьмет город...

— Бывшего царя, конечно, судили бы на глазах всего мира, — ответил Воронин. — Но вы хотели сделать Николая Второго знаменем борьбы с революцией. Мы уничтожили ваше знамя. И вы будете уничтожены, потому что невозможно бороться с народом.

10

Князь Голицын, улыбаясь длинной, чуть брезгливой улыбкой, встал из-за стола, протянул обе руки навстречу английскому консулу Престону. Провел его к креслу, осторожно усадил, сам присел на краешек стула, не гася гостеприимной улыбки.

Престон поудобнее уселся, вытянул ноги, заговорил, слегка коверкая русские слова:

— По пути к вам, ваше сиятельство, я заглянул на черный рынок. Там все продается и все скупляется. По высокой цене скупляется золото, произведения искусства, уральские драгоценные камни. Скупляются деньги, особенно фунты стерлингов. Меня прямо-таки поразило, что на черном рынке сегодня десять сортов денег и на каждый сорт свой курс.

— По тому, кто какие деньги сейчас покупает, можно узнать, к какому обществу он принадлежит, — печально ответил Голицын. — Мужики скупают гривенники, мещане и буржуа «керенки», дворяне — золотые червонцы и екатерининские ассигнации. «Катеринки» напоминают нам о недавнем величии Русской империи.

— О-о! «Катеринки»! Сторублевые ассигнации с портретом Екатерины Великой? В городе, носящем ее имя, естественно ценить ее деньги.

— Екатеринбург назван в честь Екатерины Первой,— мягко поправил Голицын.

— Благодарю за примечание к русской истории. — Престон вынул золотой портсигар, щелкнул крышкой. — Как продвигается следствие по делу о цареубийцах, ваше сиятельство?

— Следствие окончено. Мы же успели захватить только мелкую сошку, главные виновники бежали,— поморщился Голицын, и обычное брезгливое выражение вернулось на его худое лицо.

— Вы намерены судить эту сошку?

— Суд уже состоялся. Цареубийцы расстреляны. — Голицын поджал тонкие серые губы, вытер батистовым платком ладони. — Пусть казнь цареубийц послужит грозным предупреждением для красных. Хотя казни и не исправляют нравов, но эта, эта оправдана словами евангелия: «Мне отмщенье и аз воздам!» Возмездие совершено, теперь надо думать о будущем.

Наступила неловкая пауза: каждый думал о своем, теперь уже подыскивая дипломатическую форму выражения мысли. Первым прервал затянувшееся молчание Томас Престон.

— Вам так и не удалось обнаружить золото из уральских банков, похищенное большевиками? — спросил он. — Ведь большевики захватили что-то около тысячи пудов...

— Красные успели вывезти золото и другие ценности из Екатеринбурга, Алапаевска, Златоуста, с золотом им повезло,— меланхолически ответил Голицын. — Но что такое уральское золото по сравнению с русским золотым запасом, хранящимся в Казани? Капля в океане!

— Вы правы, вы правы,— завздыхал Престон. — В государственном запасе России, кажется, восемьдесят тысяч пудов золота, платины, серебра, не считая царских драгоценностей. Какой ужас, что это сказочное богатство в руках большевиков. — Престон стиснул в зубах мундштук папиросы.

— Офицерская бригада Каппеля заняла Симбирск и идет на Казань. Если Каппель будет действовать стремительно и смело, золотой запас можно отвоевать,— убежденно сказал Голицын.

— Да поможет бог полковнику Каппелю! Кроме офицерской бригады на Казань наступают чешские легионы. Шесть легионов, отборные части, ваше сиятельство. — Престон подобрал ноги, выпрямился в кресле. — У меня есть точные сведения, что Ижевск и Воткинск свергнут Совдепы. А ведь в тех местах крупнейшие военные заводы России...

— Новости великолепны; правда, я их уже знаю. Самарский Комуч развивает бешеную энергию.

— К сожалению, этого не скажешь об областном правительстве Урала. Правительство это — политический выкидыш кадетской, меньшевистской и левоэсеровской партий.

— Областное правительство Урала держится на моих штыках,— пренебрежительно заметил Голицын.

— Штыками можно делать что угодно, нельзя на них только сидеть, говаривал Наполеон. Мне совершенно ясно — России нужен свой Наполеон.

— Наполеоны не выдвигаются партиями, Наполеоны являются сами. — Голицын потер ладонь о ладонь, брезгливо отряхнул пальцы. — Пока у нас нет фигуры, достойной стать русским Наполеоном.

— А Савинков? — спросил консул. — Опаснейший враг большевиков и надежнейший наш союзник. Он самой судьбой послан для спасения России.

— Савинков причинил много зла и Русской империи, и царскому дому. Этот террорист не может стать русским диктатором. Монархисты его ненавидят, народ не понимает.

— Борис Савинков перестал быть социал-революционером. Теперь он — как ни странно это звучит — личный империалист. У Савинкова — могучая воля, он применяет любые средства, чтобы сокрушить большевиков. Не воспользоваться таким человеком — грех!

— Большевики раздавили его восстание в Ярославле. И в Муроме — тоже. Сам Савинков скрылся, и где он — неизвестно,— сказал Голицын.

— Савинков вынырнет и начнет поход на большевиков. — Престон откинул руку с дымящейся папиросой и произнес особо доверительным тоном: — Ярославский мятеж — всего лишь пролог гражданской войны. В Казани собралось несколько тысяч членов Союза защиты родины и свободы. Среди них и кадровые офицеры, и царские генералы, и все они — убежденные монархисты и простили Савинкову его прежние грешки.

— Но ведь Савинкова в Казани нет. — Голицын раскрыл ладони, но тут же сложил лодочкой. Задумался.

Томас Престон наблюдал за ним, пытаясь понять ход его мысли, это не удавалось.

— Лучше диктатура одной личности, чем политической клики. Хотя всякая диктатура несет беззаконие — я за нее. Она становится исторической необходимостью. Только военной диктатурой можно сломать диктатуру большевиков. И нам надо спешить, иначе белое движение погибнет. Все эти уральское и омское правительства — лишь тени на политическом экране России. Они больны дряблостью мысли, и — что самое страшное — они бессильны. Не думал я, что доживу до какого-то уральского правительства! Что за божественные завитушки появляются на фасаде русской истории? Областное правительство Урала! — желчно повторил Голицын и опять потер ладонь о ладонь. — Если этих правителей сегодня телега колесом не раздавит — завтра я их арестую...

— У вас чисто английский юмор,— расцвел в широкой

улыбке Престон. — Англичане не любят менять лошадей на середине брода, но в России это совершенно необходимо. Правительство его величества моего короля окажет белому движению любую помощь. Для этого нужна только уверенность, что белые вожди будут верными нашими союзниками. Да, а что вы думаете о чехах? — спросил консул.

— Чехи сделали свое дело, чехи могут уходить...

— Чешские парни не уйдут из Сибири, если бы даже вы и хотели. Я получил сегодня утром телеграмму из Вашингтона. Чехословацкий национальный совет, возглавляемый профессором Масариком, опубликовал заявление, что Чехословацкий корпус остается в Сибири. Профессор Масарик прекрасно понимает, что его парни принесут союзникам больше пользы в Сибири и на Урале, чем в другом месте Европы. Если вы дорожите нашей дружбой — цените чехов. Воздавайте должное их полководцам, особенно Рудольфу Гайде. Спрячьте вашу гордость, скверно стоять на коленях с гордо поднятой головой.

Голицын сидел насупившись, закусив нижнюю губу: с морщинистого лица исчезла даже тень дружелюбия.

— Лучше реальное настоящее, чем абстрактное будущее. Сегодня вам нужно больше рассчитывать на чешские штыки, чем на собственные,— голос консула звучал мягко, бархатисто. — Ваше сиятельство! Я рад, что Казань скоро очистится от красной скверны, я верю в это, как и вы. От души советую — установите контакт со всеми антибольшевистскими силами, скрывающимися в Казани. Офицеры, сенаторы, священники, помещики. Цвет русского общества! Самая мощная организация — Союз защиты родины и свободы, им руководит заместитель господина Савинкова генерал Рычков. Это имя вам известно?

— Старый мой приятель, Вениамин Вениаминович.

— И очень даже прекрасно! Пошлите к нему человека, которому доверяете. Поставьте перед своим эмиссаром две цели: захват государственного золотого запаса и немедленный вывоз его из Казани. Это первая и главная цель. Вторая — пусть ваш эмиссар помогает Союзу защиты родины и свободы; в русских социал-революционерах имеются еще силы, способные уничтожить большевизм. Есть у вас такой расторопный человек?

— Думаю, поищем — найдем.

— Когда я узнаю, кто станет вашим эмиссаром?

— Вечером постараюсь ответить.

— Тогда до вечера, ваше сиятельство!

После ухода консула Голицын приказал разыскать ротмистра Долгушина. В распахнутом окне светилась сочная синева неба, темнели цветущие липы, по ним, покачиваясь, стекали тени облаков. Голицын сидел в полном оцепенении. Опять все ему стало казаться туманным, зыбким, обманчивым, особенно будущее. Была зыбкой и неясная затея английского консула с поисками кандидата в русские Наполеоны.

— Легко произнести — военный диктатор! А кто станет русским Наполеоном? Борис Савинков? Политика все же дьявольское занятие, она приводит к самым противоестественным союзам. Попробуй вообрази союз русских монархистов с эсером — Савинковым,— Голицын поставил на стол локти, положил на ладони голову, закрыл глаза.

Владимир Васильевич Голицын был последним представителем древнего княжеского рода. Старый русский аристократ презирал народ, буржуазию, даже людей своего класса — мелкопоместных и служилых дворян.

После революции Голицын уехал в Тюмень, чтобы находиться вблизи сосланного императора. В Тюмени он тайно помогал монархистам, собиравшимся освободить Николая Второго из красного плена.

Мятеж Чехословацкого корпуса, свергнувшего Советскую власть от берегов Волги до Тихого океана, Голицын воспринял как призыв к гражданской войне и реставрации монархии. Поэтому с радостью принял он командование над сформированной в Тюмени дивизией горных стрелков. Без уязвленного самолюбия подчинился он командующему группой чешских и русских белых войск полковнику Войцеховскому, без звука уступил первенство младшему по чину офицеру, лишь бы захватить Екатеринбург и освободить Николая Второго.

Столицу Урала захватить удалось, но царя уже не было в живых.

Холодная ярость овладела Голицыным: его контрразведка хватала правых и виноватых, по подозрению и без всяких улик. Следователем по делу цареубийц Голицын назначил своего племянника Сергея Долгушина. В ротмистре Голицын ценил ум и решительность.

К остальным офицерам, как к русским, так и чешским, к министрам областного правительства Урала, толпам дворян и помещиков, занесенных революционной бурей в Екатеринбург, князь относился с нескрываемым презрением. Он вел себя надменно, разговаривал пренебрежительно, а после рукопожатий вытирал ладони носовым платком, не замечая обиженных физиономий и оскорбленного достоинства людей, его окружающих. За болезненную брезгливость Голицына ненавидели тихо, но люто.

В кабинет вошел адъютант, и Голицын очнулся от своего оцепенения.

— Ротмистр Долгушин по вашему приказанию...

— Почему такой мрачный вид? — спросил Голицын, широко раскинув руки и заключая в объятия вошедшего Долгушина. Родственные отношения избавляли обоих от ненужных церемоний.

— А потому, что я теперь кровавая собака Урала,—ухмыльнулся Долгушин. — Так величает меня один прапорщик из

свиты полковника Войцеховского. Он, видите ли, возмущен, что цареубийцы расстреляны без суда...

— А что же ты ему?

— «Надо же быть кому-то и кровавой собакой»,— ответил я и закатил прапорщику оплеуху. Грозится вызвать на дуэль, но это глупости. Досадно, что я сгоряча привлек внимание к контрразведке. Она должна работать в глубокой тишине, если хотим защищать наше будущее, а моя оплеуха нарушает эту тишину.

— Хорошо сказал — контрразведка должна защищать наше будущее,— Голицын произнес слово «наше» так, что оно прозвучало как их общее будущее. — Садись, Сергей, и слушай меня внимательно. Может, коньяку хочешь, у меня отличный «мартель».

Долгушин отрицательно замотал головой и повалился в кресло. Взял папиросу, но, не закурив, сломал ее между пальцами.

— Я познакомился с протоколами допроса цареубийц и доволен тобой,— продолжал Голицын, желая взбодрить ротмистра. — Но время, Сергей, захлестывает событиями. Мы не можем позволить времени течь поверх наших голов. — Князь по привычке потер ладони. — И у меня есть новое сек-рет-ней-шее поручение,— Голицын растянул и без того длинное словечко. — Но прежде всего — вопрос: ты говорил, что в вашем казанском поместье сейчас живет Евгения Петровна?

— До Совдепии мать жила там.

— Хотел бы повидаться с матерью?

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Даю тебе такую возможность. Поедешь в Казань моим тайным эмиссаром, а по пути заглянешь к матери. Будем надеяться, что большевики не тронули Евгению Петровну, если даже и отобрали поместье. А теперь, Сергей, слушай: суть нового сек-рет-ней-ше-го поручения в том, что ты... — И Голицын передал ротмистру разговор с Томасом Престоном.

— Почему союзники вздумали за нас решать, нужен нам военный диктатор или не нужен? — спросил Долгушин и, не дожидаясь ответа, съехидничал: — Опасаюсь диктаторов, они быстро делают преступниками собственных друзей.

— Лучше самая страшная диктатура, чем красное безумие,— похоронным тоном ответил Голицын и протянул руку к сейфу, вынул из него две толстые пачки. — Здесь двадцать тысяч рублей. Николаевских. Оружия с собой не бери, достанешь в Казани. Я напишу генералу Рычкову письмо: если его у тебя найдут — расстреляют сразу. Помни об этом!

— Слишком важное предупреждение.

Голицын прикрыл ладонью виски, из-под пальцев проследил за спокойным лицом племянника. Ему понравился твердый,

пронзительный блеск его глаз. Огладив бритую морщинистую свою щеку, произнес:

— Вопреки пожеланиям Томаса Престона я облегчу твою миссию. Одно, а не два поручения должен выполнить ты, Сергей. Пока в Казани большевики — всеми силами старайся сорвать эвакуацию из города золотого запаса. Но как только Каппель возьмет Казань — надо немедленно вывезти золото. На Волгу, на Каму, на Урал пароходами, поездами, но вывезти. Государственный запас должен быть в наших руках. И вот еще что, Сергей. Нужно энергично разжигать ненависть к еврейско-немецкому большевизму. Так разжигать, чтобы наш мужик пошел на большевиков с дубиной, с оглоблей, зубами перегрызбы им горло. И необходимо организовать голод. Голод — большой человек, говорят татары. Междуречье Камы, Вятки, Волги богато хлебом, нельзя допускать, чтобы его вывозили в рабочие центры. Пусть мужики сжигают хлеб, гноят в земле, травят на самогон... — Голицын запнулся, не зная, что еще сказать. — Голод — большой человек! — веско повторил он. — Передай самый почтительный поклон Евгении Петровне, смелая, умная она женщина. Будь и ты достоин своей матери. — Голицын поцеловал ротмистра. — Ну ступай. Нет, погоди! Я хочу знать, как вели себя на допросе цареубийцы?

— Если бы мы имели таких же фанатиков, монархия была бы уже реставрирована. Один из большевиков сказал мне: «Вы хотели сделать Николая Второго знаменем борьбы с революцией. Мы уничтожили ваше знамя». А знамя-то, знамя-то триста лет реяло над Россией. Но, Владимир Васильевич, что бы ни случилось, а я не желаю менять ни богов, ни знамен...

11

Легким зеленым полднем Долгушин сошел с поезда на маленькой станции Высокая Гора. До большого базарного села Зеленый Рой, где было его родовое поместье, оставалось верст десять. В поезде из случайных разговоров ротмистр узнал: Казань все еще у красных.

Успокоительно шелестели травы, речушки ласкали глаза голубым свечением, цветочные запахи наплывали со всех сторон, дубы темными фонтанами взлетали над поспевшей пшеницей.

Проселочная дорога вскидывалась на косогоры, вилась между борками, сползала в травянистые лощины: Долгушину вновь открывались знакомые с детства пейзажи родных мест. Сейчас эти мирные картины не трогали его:

«Застану ли мамашу? Может, большевики выгнали ее из дома? Слова-то какие татарские появились — большевик, совдеп, комбед, не слова — булыжники! — По неожиданной прихоти мысли он вспомнил военную академию Генерального штаба, своих однокурсников Каппеля и Войцеховского. — Вот ведь как!

Каппель и Войцеховский стали полковниками, а я все еще ротмистр. Правда, тот и другой — типичные «моменты», а я не умею ловить удачу за хвост».

«Моментами» в военной академии пренебрежительно величали офицеров, что использовали всевозможные связи и покровительство для карьеры.

«Я что, глупее Войцеховского, бездарнее Каппеля? — продолжал казниться Долгушин. — А Войцеховский командует Сибирской армией и взял Екатеринбург. Взял-то город мой дядя, но уступил честь победы Войцеховскому. А Владимир Каппель? Чем черт не шутит, вдруг этот властолюбивый курляндец овладеет Казанью? Тогда он — белый герой, спаситель Руси от большевиков и немцев. Из каких случайностей возникают военные и политические авторитеты!»

Пшеничное поле вливалось золотистыми затонами в сосновый бор. Ротмистр вошел под высокие медноствольные сосны: сразу повеяло соборной сумеречной прохладой. Он с удовольствием вслушался в приятное стенание желны, вдохнул запах поспевшей костяники. Сизая лужа на дороге четко отразила его силуэт: он наклонился над водой — на него глянуло грязное, со всклокоченными волосами и свалявшейся бородкой, лицо. Долгушин ощупал измятый пиджак, косоворотку, мерзко воняющую потом, проверил зашитое в пиджачной поле письмо князя Голицына генералу Рычкову.

В пяти верстах от Зеленого Роя отдельным хутором жил богатый хлеботорговец Афанасий Скрябин. Он все еще владел амбарами и складами, полными крупчатки, гороха, гречихи, конопляного и подсолнечного семени.

Афанасий Скрябин и Сергей Долгушин были хорошими знакомыми; купец когда-то одалживал ротмистру деньжонок и даже не брал процентов. Долгушин подошел к каменному обширному дому, постучал в ставню. Минуты через две ставня приоткрылась, старческий голос подозрительно спросил:

— Чаво надоть?

— Афанасий Гаврилович дома?

— А зачем тебе Афанаска? — Ставня раскрылась шире, на Долгушина уставилась безбровая замшелая физиономия. — Чаво шныряешь вокруг избы? Иди прочь, не то кобеля спущу.

— По важному делу я к Афанасию Гавриловичу.

— Опоздал маленько, Афанаска в усадьбу Долгушина укачал. Там чичас мужики барское добро делят, так и он туда подался.

— Кто делит барское добро? — поразился Долгушин. — А где сама барыня?

— Выгнали ее из дома-то. Вышвырнули, как дохлую кошку, комбедчики-варнаки.

— Да что ты, дед? Куда выгнали? — растерялся Долгушин.

— А шут их знает. Ты Афанаску спроси, он скажет, куда

барыню поперли. Ты што скис-то? Может, кваску испьешь? — Старик отвалился от окна, принес розовую японскую вазу с хлебным квасом. Тончайший фарфор слабо зазвенел под зубами Долгушина: он пил холодный, кислый квас, а думал о японской бесценной вазе.

— Откуда, дед, эта штука?

— Горшок-то? А бабы из барского дома приволокли. Последыш остался. Кои горшки ребятишки раскололи, кои сами полопались. Дерьмо — не посуда. Верно бают: што барину — услада, то мужичку — досада. — Старик по грудь высунулся из окна и, щурясь белыми глазами на Долгушина и радуясь негаданному собеседнику, уже спрашивал сам: — Правду бают — по деревням-то антихрист ходит? Наполовину красный, наполовину белый, а хвостище зеленый. И каждой православной душе на лбу хрест несмывающий ставит. Правда али враки? Ишо языками чешут — война эта самая распоследняя. Сын на отца, брат на брата кинулись. Куда ишо дальше. И опять всем убийством антихрист правит. И ведь, мать его за ногу, как ловко орудует. Голытьбе снега белее чудится, людям осанистым краснее крови обертывается...

— Кто вздумал барскую усадьбу делить? — перебил старика Долгушин.

— Мужики всем опчеством, а комбедчики супротив поперли. Правду баять — пашню там, луга, живность всякую голытьбе рассовали, а самое усадьбу — стой! Не подходи! Седни мужички вторижды порешили разделить. Раз комунию ввели, отдавай мужику, что следоват. Тому — тулуп, энтому — тележное колесо...

— Спасибо за квас, дед.

— Беги, сынок, поскореича. Может, чаво-нибудь и урвешь из барского добра-то...

Долгушин прошел через парк до заросшего кувшинками пруда. На неподвижной воде переливались солнечные пятна и круглые тени дубовых листьев. Где-то рядом постукивал дятел, под сапогами туго поскрипывал песок. Долгушин остановился, опустив голову; собственная безголовая тень на воде показалась страшной.

Окружающий мир отстранился от ротмистра, все сместилось, разорвалось, перепуталось: прошлое украдено, настоящее распалось, будущее темно. «Мы идем к цели кривыми путями. Но монархию в ее прежнем виде воскресить нельзя. Можно только мстить за гибель императора, за собственную безысходность».

— Мстить, мстить! — дважды произнёс он, вслушиваясь в злое свистящее словечко. — Я задушу в себе сострадание к людям. Для меня теперь нет России. Белые и красные. Если бы я мог знать — кто победит? Чем больше я размышляю об этом, тем сильнее охватывает меня смятение...

От пруда к каменной ограде дома вела желтая аллея акаций. За кустами Долгушин незаметно приблизился к толпе мужиков и баб, запрудившей площадь перед воротами. Гул мужичьих голосов, просекаемый женским визгом, колыхался над площадью. Матерились мужики, причитали бабы, орали ребятишки.

За оградой зеленела железная крыша барского дома. Тяжелые дубовые ворота были закрыты; казалось, за ними нет никого. «Мужики звереют, а дом не охраняется. Да и кто станет охранять барскую усадьбу»,— подумал ротмистр.

А толпа все напирала на ворота: высокий чернобородый мужик взял на себя верховодство.

— А ну, волоките бревно! — прикрикнул он, выталкивая из толпы мужиков. — Подымай, ребята, вон то — поядренее...

Долгушин узнал Афанасия Скрябина, с отцом которого только что разговаривал. Четверо мужиков подняли на руки толстое бревно, поднесли к воротам, начали плавно раскачивать.

— А ну-ка, вдарь! А ну! А ну!..

От сильного удара затрещали дубовые доски ворот, насыщенные жаждой разрушения крики снова взвились над площадью.

— Андрюшкя! Отпиряй воротя!..

— Шурмин, не иди против опчества...

Афанасий Скрябин, в желтой шелковой рубахе, подпоясанной цветным шнурком, опойковых сапогах с ремешками на голенищах, плисовых шароварах, с узкой длинной бородой, напомнил Долгушину очень неприятного человека. «Да ведь он похож на Распутина!» Всем нутром Долгушин ненавидел Распутина: с корнями выворочено трехсотлетнее династическое дерево, а зловещая тень Распутина по-прежнему падает на его — долгушинскую, монархическую — Россию. Ничтожные совпадения теперь воспринимались им как символы отрицательного значения. То, что Афанасий Скрябин походил на Григория Распутина, было тоже каким-то непотребным символом.

— Дуйте, мужички, через стену. Не посмеют они левольвертами пужать,— советовал бабий голос.

— Тебя, кобылу разэтакую, тройкой стоялых жеребцов не испугаешь...

— Ах растудыть их мать! — Скрябин подбежал к телеге, вывернул оглоблю, одним скачком взлетел на стену, исчез за оградой. Во дворе раздался его ржавый, требовательный голос: — Шурмин, швыряй револьвер!

Во дворе послышались хрипы, возня, матюки: створки ворот распахнулись, толпа испуганно попятилась. В воротах с «бульдогом» в руке стоял белоголовый, щупленький юноша, почти мальчик. За ним с охотничьими ружьями и берданками кучи-

лись комбедчики — десяток суровых, с решительными физиономиями, парней.

— Мужики, вы что, опупели? — спросил Шурмин. — Расходитесь по дворам, господское добро делить не станем. Здесь народная музея будет. А кто нахалом полезет, вот те крест, буду палить,— Шурмин перекрестился револьвером.

— Не посмеешь, сукин сын, по своим...

— А вить што это за комбед, мужички? Своих из штанов вытряхает, за барское добро левольвертом грозит.

— Вот те и комбеды, кому сласть, кому беды!

— Постой-ко, я эфтого коммунара по рылу огрею. — Конопатый парень покрутил над головой шкворень и, швырнув, вышиб из руки Шурмина револьвер. Тот охнул, отступил, толпа поперла на ворота. Комбедчики дали поверх голов нестройный залп, люди отхлынули.

— Народ! — снова крикнул Шурмин. — Христом-богом прошу: не разбойничай.

— Афанаску ослобони, окаянный!

Шурмин вытолкнул Скрябина из ворот.

— Все равно комбедчикам в господском доме не хозяевать! Харей еще не вышли. — Скрябин сел в плетеный тарантас, подобрал вожжи.

— Гаврилыч, подожди! — выступил из-под акаций на аллею Долгушин.

Скрябин попридержал жеребца, недоуменно уставился на ротмистра.

— Не узнаешь, Гаврилыч?

— Сергей Петрович! Ах ты, батюшка мой! Да откуда ж ты?

— С того света,— невесело пошутил Долгушин.

— Садись поскорее,— Скрябин испуганно оглянулся.

Долгушин сел. Скрябин пошевелил вожжами, жеребец понес тарантас прочь от барской усадьбы. Все мечты ротмистра встретиться с матерью, прожить хотя бы сутки в родном гнезде, подышать воздухом детства рассеялись. Он с ненавистью покосился на долговязую фигуру Скрябина. «Подлец, грабил наше поместье. Мерзавец! Позарился даже на фамильные сервизы». Захотелось схватить одной рукой за горло хлеботорговца, другой накидать полновесных оплеух. Скрябин, чувствуя скверное настроение ротмистра, не знал, как с ним держаться.

— Евгения Петровна где? Куда вы, сволочи, ее дели? — неожиданно и резко спросил Долгушин.

— Жива она, живехонька! — облегченно ответил Скрябин. — В Арске, у доктора Дмитрия Федоровича.

— Что ж ты молчишь! Гони в Арск, Гаврилыч...

— Не с руки мне в Арск-то.

— А нашу усадьбу грабить с руки? Я все видел, все знаю. Смотри, рассчитываться, Гаврилыч, придется.

— Батюшка ты мой, не подумай худова-скривнова. Я ведь

мужиков-то отговаривал от раздела усадьбы вашей, да разве они резон понимают? Побежали мужики, побег и я. Думаю, дай и я, может, что-ненабудь из барского добра сберегу. Вернется Евгения Петровна, а я ей — пожалуйте, мол...

— Не тараторь. Что за парнишка не пускал мужиков в дом?

— Про Андрюшку Шурмина спрашиваешь? Подрос, змееныш! С семнадцати лет в бандиты попер. Ни кола ни двора у христопродавца, а про комунию, про братство-равенство так языком чешет — ополоуметь можно. Да ты его, чай, не помнишь. Когда ты Зеленый Рой покинул, ему десяти лет не было. Пастушонок, варнак, разбойной души парнишка, и нате вам — комбедчик. На первой осине мерзавца повешу,— все больше распалялся Скрябин.

— Ладно, хватит,— остановил хлеботорговца Долгушин.— Сколько в селе комбедчиков?

— Рыл восемнадцать наберется. Они у меня, подлецы, в печенках сидят. Не только там пшеницу али рожь, даже овес выскребли из сусеков. По миру, христопродавцы, пустили. Теперь хотят позалетошний хлеб молотить. Мастеровой люд, говорят, с голоду издыхает, а у тебя хлеба в скирдах горят.

— Скоро они твоим хлебом подавятся.

— Неужто, батюшка мой?

— Не сегодня, так завтра, Гаврилыч.

— Черт те што отдам, лишь бы их с шеи стряхнуть.

Из неподвижного, как омут, пшеничного поля взлетел ястреб, через дорогу пробежала мохнатая тень. В стороне замаячили темные купола скирд.

— Твой хлеб, Гаврилыч?

— А чей еще?

— Сжечь.

— То есть как?

— Дотла.

— Эт-то всерьез или понарошке?

Долгушин выпрыгнул из тарантаса, вынул из кармана спички.

— Сергей Петрович! Да я же чист перед вами.

— Слушай, Гаврилыч! То, что усадьбу мою хотел разграбить, прощаю. Наши драгоценности к себе уволок, тоже прощаю. Луга наши, что сумел к рукам прибрать,— твоими пусть остаются, если комбеды исчезнут с земли.

— Я денно-нощно бога молю, а им хоть бы хрен!

— Совдепии приходит конец, Гаврилыч. Белые заняли Екатеринбург. Вот-вот будет взята Казань. После Екатеринбурга и Казани красным придется встать на колени, а чтобы они встали скорее, нужна помощь.

— Мы народишко без царя в башке, ни на что не потреб-

ной. Ежели бы приказание от настоящей власти, тогда и мы, с божьей помощью, за топоры.

— Кто в Зеленом Рою может выступить против комбеда? Отец Поликарп что?

— Намедни был у него. В случае чего, поп со святой хоругвью наперед пойдет...

— Кто еще?

— Маркелка-мельник. Спиридон Иваныч Храмов, у него комбедчики на пять тыщ золота замели. Братья Максим и Василий Быковы, что кожей торгуют. Их тоже начисто разорили. В селе, почитай, полсотни обиженных наберется. Народ все крупной, солидной...

— Теперь, Гаврилыч, заповедь одна: хочешь жить — дави коммунистов. И еще одна заповедь — под видом большевиков действуй против большевиков. Хлеб сгорел — большевики подожгли. Труп на дороге нашли — коммунисты убили. Девку изнасиловали — их работа. Большевики мир народам обещали, а сами опять с немцами воюют. Значит, обманули православный народ. Слухи, Гаврилыч, распространяй, слухи страшнее пожара. Говори, везде мужики требуют Советов, но без коммунистов...

— А то как разуметь?

— А так. Власть — Советам, земля — крестьянам, а коммунистов — к ногтю.

— Значит, царя не будет, буржуазов тоже?

— Не прикидывайся дураком, Гаврилыч. Сейчас нужно действовать умнее.

— Вам виднее, Сергей Петрович. Вы, батюшка мой, человек образованный.

Долгушин задумался, сжимая в ладони спичечный коробок. В пшенице вскрикнул перепел: пить-полоть, пить-полоть! Терпко пахнуло полынью. Долгушин улыбнулся своим, непонятным для Афанасия Скрябина мыслям.

— Как только белые займут Казань, зеленоройских комбедчиков — к стенке! А сейчас отправляйся домой, Гаврилыч.

— Я вас в Арск пешком не пущу. Берите жеребца, у доктора оставите.

— Хорошо. Оставлю. — Долгушин подошел к скирде, разворотил снопы, чиркнул спичку. Желтый одуванчик искр распушился в снопах, Долгушин подул — одуванчик заколебался, побежал вверх по скирде, становясь багровым и жарким.

Летний, с синими тенями вечер обволакивал Арск. В южной стороне неба, где-то над Волгой, полыхали неслышные сполохи, там, видно, уже разыгралась гроза. А в городе стояла пыльная духота: едкие запахи вяленой рыбы, кожи, дегтя подавляли аромат яблок.

Кобели кидались на тарантас, облезлые коты взвивались на телеграфные столбы, куры, треща крыльями, шарахались по канавам. Долгушин знал, где живет доктор Дмитрий Федорович, и лихо подвернул к воротам уютного, цвета небесной голубизны, дома. Не дожидаясь встречи, побежал в темную глубину сада. Бежал и видел вышедшую на крыльцо высокую женщину; сердце его радостно заколотилось.

— Мама, мама! — задохнулся он ликующим возгласом. — Здравствуй, мама!

Женщина откачнулась от грязного оборванца, потом, тихо вскрикнув, упала к нему на грудь.

— Бог мой, Сережа! Откуда, как? Что за счастливый ветер занес тебя? — Евгения Петровна отодвинула сына, не выпуская его плечи из рук. — В каком ты ужасном виде! — Засмеялась властно и весело. — В баню, друг мой, в баню! Смой с себя дорожную грязь, вздохи-охи потом...

Побритый, повеселевший, распаренный, размягченный встречей Долгушин сидел за ужином. Чистое белье ласкало тело, снеговой воротник рубашки оттенял крепкую загорелую шею, волосы шелковисто блестели. Он смотрел на улыбающуюся мать, и улыбался сам, и все говорил, и все не мог сказать самого важного. Как бы между прочим сообщил о зеленоройских мужиках, пытавшихся разграбить усадьбу. Евгения Петровна слушала.

— Нашим лапотникам музеи понадобились. Чего доброго, скоро потребуют балетов! А что до Афанасия Скрябина, то хотя он барышник и жулик, но это наш человек. — Евгения Петровна подняла на окно матовые холодные глаза. Между темными яблонями вспыхивали зарницы. — А что думаешь делать завтра, Сережа?

Вопрос застал его врасплох: он и хотел и боялся рассказать матери о своей секретной миссии. Ответил уклончиво:

— Я стремился домой. В этом пока и состояла моя цель.

— Цель, как и горизонт, все время отодвигается,— пошутила Евгения Петровна. — Пришли такие времена, когда надо бороться за свое место под солнцем, за отечество свое.

— Прости за глупый ответ, мама. Я одурел от радости, увидев тебя целой-невредимой. Можешь быть спокойна, я стану драться с большевиками за тебя, за себя, за Россию, насмерть! — Еще недавно абстрактная мысль о мести за погибшую монархию стала совершенно ясной, конкретной и острой. Он рассказал матери, как допрашивал в Екатеринбурге цареубийц, с какой миссией сейчас едет в Казань.

— Прекрасно, мальчик, и не мне уже учить тебя, что делать,— нежно поцеловала в лоб сына Евгения Петровна. — Князя Владимира Васильевича я помню и ценю — сейчас мало осталось таких, как Голицын. К сожалению, в нашем монархическом лесу торчат одни обгорелые пни,— нежная улыбка Ев-

гении Петровны сменилась жесткой и неприятной. — Служить под началом князя — честь, выполнять его особые поручения — честь двойная. А с генералом Рычковым, с Вениамином Вениаминовичем, я поддерживаю дружеские отношения. Напишу ему — он встретит тебя, как друга. — Евгения Петровна полюбовалась сыном, о чем-то вздохнула, заговорила снова, но словно колеблясь и сомневаясь. — Мои отношения с генералом Рычковым — это не простое знакомство; это, это, да, впрочем, ты сам знаешь, генерал Рычков — заместитель руководителя Союза защиты родины и свободы, созданного, как тебе известно, Савинковым.

— Все это мне известно. — Долгушин поднял настороженные глаза на мать: — А при чем здесь ты?

— В Казанской и Вятской губерниях сразу же после появления Совдепов возник тайный союз «Черного орла и землепашца», — продолжала Евгения Петровна, не отвечая на вопрос сына. — В члены его принимаются помещики, зажиточные крестьяне, купцы и, конечно, офицеры. Отделения союза работают в Арске, Чистополе, Елабуге, Малмыже, Уржуме.

— А все же, мама, при чем здесь ты? — опять спросил Долгушин.

— Я руковожу арским отделением союза «Черного орла и землепашца». Удивлен?

— «Удивлен» не то слово. Восхищен, но и встревожен! На этот раз самым серьезным образом. Я и не подумал бы, что ты так рискуешь собой.

— Когда-то говорили: мужчины действуют, женщины ждут. Настала пора женщинам действовать наравне с мужчинами. Плохой была бы я дворянкой, если бы только плакала на краю пропасти. А рискую я собой не больше, чем ты, или наш сосед Николай Николаевич Граве, или милый доктор Дмитрий Федорович.

— Кто же создал союз «Черного орла и землепашца»?

— Его создатель — Николай Николаевич. Ты его помнишь?

— Очень смутно. Помещик из Гоньбы, что на реке Вятке. Так ведь?

— Он самый. У Граве всепоглощающая ненависть к красным, он заражает ею даже самых мягкосердечных. В нашем уезде членами союза состоят Афанасий Скрябин, братья Быковы, мельник Маркел, начальник железнодорожной станции Воробьев, ну и, конечно, доктор. Милейший Дмитрий Федорович — непременный член всех союзов и лиг, какие возникают на казанской земле. Мы помогаем генералу Рычкову чем можем. Особенно информацией о Второй армии красных, а положение ее, к нашему счастью, катастрофическое...

— Ты рискуешь страшно. Малейшее подозрение арских совдепчиков — и всех вас по закону военного времени... — с тревогой заговорил Долгушин.

В дверь осторожно постучали.

— Это доктор. Он еще час назад наведывался. С ним можно быть откровенным, Сережа. Дмитрий Федорович хотя и краснобай, но не продаст, не выдаст.

Распахнувшуюся дверь закрыло голубое могучее брюхо, опоясанное шелковым витым шнурком. Шестипудовый старик вплыл в комнату, кивая голой, желтой головой. Распахнул жирные объятия, прижал к трясущейся бабьей груди Долгушина. Заахал:

— Ах, ах, каким молодцом стал! Илья Муромец, Редедя! Рад видеть невыразимо! Ах, как время летит, давно ли, кажись, под стол бегал, а теперь? Господи боже! Меня, старого черта, чай, совсем позабыл. А я этакого молодца лечил от коклюша. — Доктор склонил набок голову, сомкнул на животе короткие ручки.

Из-за его широкой спины выступил коренастый мужчина в чесучовом костюме, шляпе из панамской соломки, но за штатской внешностью угадывалась военная выправка. Долгушину сразу вспомнилось плоское, гладкое, с желтыми совиными глазками лицо.

— Ах, разрешите представить, наш духовный вождь Николай Николаевич Граве,— прокудахтал доктор. — Только что прискакал из своей Гоньбы.

— Рад познакомиться. Давние соседи, а не знаем друг друга,— заговорил Граве: буква «р» раскатилась в его голосе. — Что за паскудное время, добрым соседям нельзя выпить чарку наливки. — Он снял панаму и раскачивал ее в пальцах, не зная, куда деть.

Долгушин положил панаму на круглый столик, пододвинул стул.

— Что верно, то правильно! У русских есть время на уничтожение друг друга, и больше ни на что иное,— подхватил тему Долгушин. — А я вас, Николай Николаевич, все-таки помню. Мне было лет тринадцать, когда вы приезжали в Арск. Вы тогда вернулись из Парижа.

— Да, да, да! Я еще острил: пировали в Париже, опохмеляемся в Малмыже. — Граве засмеялся, и «р» снова раскатилась в его жестяном голосе.

На вятской земле помещиков жило очень мало, да и то в южных, граничащих с Казанской губернией уездах: они захватили громадные лесные участки, заливные пойменные луга. Граве слыл одним из самых богатых вятских помещиков, его лесные и пахотные земли граничили с владениями Долгушиных.

Евгения Петровна поставила на стол коньяк, наливки, фрукты, даже нарезанный ломтиками лимон.

— Остатки былой роскоши. Последний коньяк, последний лимон, все, господа, последнее!

— Воистину так! Это похоже на пир во время красной чумы. Ах, господа,— опять заахал доктор, усаживаясь на затрещавший стул. — Большевики отменили все человеческие законы, подняли руку на все идеалы. Мысль зарезана, искусство растоптано, культура в развалинах. Свобода, братство, равенство заменены ненавистью, завистью, злобой. Но, как сказано в священном писании, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза, потому что...

— Вы, Дмитрий Федорович, известный златоуст,— похвалила доктора Евгения Петровна. — Предлагаю тост за победу белых над красными...

Граве осторожно вытер платочком тонкие, необычно красные губы.

— Мы бы не нарушили первых часов вашей встречи, если бы не важные новости, Евгения Петровна. — Совиные глаза Граве остановились на Долгушиной, спрашивая — можно ли продолжать?

— У меня нет секретов от сына. Я ему уже рассказывала о «Черном орле...».

— Очень хорошо! — Граве быстро поглядел на почерневшие от ночи окна. — Вторая армия красных разбита нашими под Бугульмой. Авангардные части ее бегут в низовья Камы и Вятки. Они могут не сегодня-завтра появиться здесь. Но это не все. Это еще не все. Сообщили мне из Уржума, что по Вятке сплывает флотилия с каким-то Особым батальоном. Этот батальон сформирован в Вятке, в нем полтысячи бойцов, два орудия, пять пулеметов. Командуют батальоном латыш по фамилии Азин и штабс-капитан царской армии Северихин. Куда направляется батальон, пока неизвестно, но он скоро будет в Вятских Полянах. А в Вятских Полянах сейчас ни красных, ни белых — анархия полная.

— Куда же делись вятскополянские Совдепы? — спросил Долгушин.

— Разбежались в страхе перед мятежом.

— Я сегодня утром проезжал Вятские Поляны, там все было мирно и тихо. Никаким мятежом не пахло,— сказал с сомнением Долгушин.

— Ночью должны были выступить мои черноорловцы, но я запретил. Преждевременно! Подождем, пока у ворот Казани не появится Каппель. Теперь, Сергей Петрович, необходим трезвый расчет. Полковник Каппель и генерал Рычков взорвут казанскую Совдепию, мы доконаем ее по уездам. — Граве обвел глазами, приобретшими оловянный блеск, своих собеседников.

— Ах, ах! Если бы нам обойтись без крови. Собраться бы за одним столом красным и белым и тихо бы и мирно бы передать власть учредительному собранию. Ах, как было бы славно! Я — член самарского Комуча — снова и снова готов

продекларировать принципы учредительного собрания: свобода, братство, истина, правопорядок, справедливость.

— Не будьте смешным, Дмитрий Федорович,— резко сказала Евгения Петровна. — То вы негодуете на красных узурпаторов, то готовы сесть с ними за один стол. Где ваша принципиальность?

Граве как-то сбоку глянул на доктора, презрительно усмехнулся.

— Все течет, все изменяется, даже принципы. На этом постулате строят свою философию материалисты. Диалектика — закон железный, с ней ничего не поделаешь,— продолжал Граве. — Так вот, милые мои друзья, по железному закону диалектики в Ижевске и Воткинске на днях пролетарии свергнут диктатуру пролетариата. Ижевским пролетариям помогут офицеры. Меньшевики с левыми эсерами помогут. И мы придем ижевцам на помощь. От вас я немедленно выеду в Ижевск, завтра утром буду там. Если к завтрему еще пойдут поезда, а не пойдут, верхом доскачу. Теперь нам особенно нужны натиск и быстрота. Устрашающая стремительность нужна нам для победы, не забывайте про это, господа.

— Вы привезли чрезвычайные вести, Николай Николаевич! Я пойду запишу, их как можно скорее передадим генералу Рычкову.

Евгения Петровна поднялась со стула.

— А вы допивайте коньяк. Сережа, угощай гостей.

— Ваша матушка — смелая женщина,— одобрительно сказал Граве, когда Евгения Петровна вышла. И повернулся к доктору: — Дмитрий Федорович не закончил своей мысли о принципах. А я люблю слушать до конца, люблю доискиваться истины, хотя она, как и золото, скрыта под слоем песков.

— А истина теперь ясна — Комуч побеждает большевиков! Согласитесь, что добровольцы Каппеля и чешские легионы — это победоносные полки Комуча,— оживился Дмитрий Федорович. — Штандарты Комуча уже реют над Самарой и Симбирском, завтра они вознесутся над Казанью и Ижевском. Через неделю белокаменная Москва встретит наши штандарты малиновым перезвоном. Мы станем правительством мягкого сердца, будем обладать полной свободой действий. Власть без доверия народа ничего не стоит, а свобода — душа всех вещей. Без свободы все мертво. Комуч будет строить свою деятельность на принципах, истину которых не сможет никто опровергнуть, ибо истина неопровержима. Если разум заговорит о необходимости тех или иных социальных перемен, мы прибегнем к переменам. Предположим, что в интересах общества и прогресса нужно допустить какую-то большую социальную несправедливость. Я убежден — несправедливость допустима, если она приносит общую выгоду. Непростительна и вредна только бесполезная несправедливость. Повторяю: Комуч станет правительством

мягкого сердца, оно даст гражданам спокойствие духа, происходящее от уверенности в их собственной безопасности. Такого спокойствия, чтобы один гражданин не боялся другого, но все бы страшились нарушения правопорядка, установленного правительством. Ибо, как сказано...

— Прекраснодушнейший Дмитрий Федорович, я не знаю, что захотят левые эсеры от имущих классов. Я пока знаю, чего желают от нас большевики. Они провозгласили: кто был ничем — тот станет всем. Мы отвечаем: что мое — то мое, а что ваше — мы еще посмотрим! Да и думать долго не придется: три аршина земли предостаточно для любого из них. Вот и весь наш разговор с большевиками. Не вижу другого варианта и для левых эсеров, если и они будут болтать о свободе, братстве, равенстве,— Граве засмеялся.

— Простим нашему доктору его цветистые слова,— засмеялся и Долгушин.

Из спальни вышла Евгения Петровна с конвертом в руке.

— Точно ли я все записала, Николай Николаевич?

Граве для чего-то понюхал твердую желтоватую, как слоновая кость, бумагу. Рассмеялся:

— О женщины! Даже военные донесения пишут на бумаге, пахнущей духами. Дивный аромат вербены. Читать не стану, зная вашу память и любовь к точности, Евгения Петровна.

— А что, Николай Николаевич, известно вам о русском золотом запасе? — неожиданно спросил Долгушин. — Запас находится в казанском банке, большевики еще не успели его вывезти?

— Пока не успели. Я был в Казани неделю назад, тогда ходили слухи — золото будет эвакуировано в Нижний. Фантастическое количество ценностей в Казани, что-то до восьмидесяти тысяч пудов золота, платины, серебра, не считая царских сокровищ,— вздохнул Граве.

— Сердце начинает болеть, как подумаю о драгоценностях царской фамилии,— с темной злостью сказала Евгения Петровна. — Неужели мы не вырвем золото из рук немецких шпионов?

— Не беспокойтесь, Евгения Петровна, с головами комиссарскими оторвем...

Далекий короткий удар прокатился по ночному, дышащему августовской влагой саду. За ним второй, тоже короткий, злой и властный: на эти раскаты жалобным звоном отозвались оконные стекла.

— Гроза приближается,— зябко поежилась Долгушина.

— Это, мама, не гроза,— прислушался Долгушин. — Это похоже на артиллерийскую канонаду.

— Не похоже, а совершенно точно. Неужели Каппель у

ворот Казани? — сказал Граве, все еще не веря своему предположению.

Доктор блеснул золотой оправой очков, Евгения Петровна перекрестилась. Долгушин поглаживал пальцами русую бородку, думая и о золотом запасе, и о полковнике Каппеле.

В саду послышались торопливые шаги, в оконную раму два раза стукнули. Евгения Петровна отдернула гардину: на стекле смутно обозначились толстые губы и приплюснутый нос.

— Воробьев, он из Казани.

Евгения Петровна заспешила к двери. Вернулась с толстогубым и широколобым человеком. Еще с порога торжествующе произнесла:

— Полковник Каппель в семи верстах от Казани. Высадил с Волги десант. Господин Воробьев только что видел генерала Рычкова. Вот он сам расскажет.

— В городе как в сумасшедшем доме,— заговорил Воробьев с выражением недоброжелательства на конопатом лице. — Адмиралтейская слобода захвачена чехами. Краснюки дерутся отчаянно, особенно у банка и на вокзале. Генерал Рычков требует, чтобы мы немедленно сообщили — есть ли части Второй армии красных на Каме под Чистополем, на Вятке под Малмыжем. Предупредил: пока Каппель не овладеет Казанью, мятежа в уезде не поднимать. Сведения надо направить с нарочным, у меня готов паровоз...

— Я могу поехать в Казань,— поднялся со стула доктор. — Меня не тронут ни красные, ни белые. При такой комплекции я смешон, а смешной человек никому не страшен.

— Нет уж, в Казань поеду я,— сказал Долгушин. — Мне и воинский долг повелевает, и к генералу Рычкову надо попасть поскорее.

— Ты прав, Сережа. Хотя мне и не хочется расставаться с тобой, но дело прежде всего. — Евгения Петровна выдвинула ящик комода, достала новехонький маузер. Покачала на узкой ладони. — Для женщины тяжеловат, для тебя в самую пору. Храни тебя, Сережа, господь, но и сам остерегайся. Возьми письмо для Вениамина Вениаминовича.

12

«Для создания боеспособной Красной Армии все бывшие офицеры-специалисты призываются под знамена.

Не явившиеся будут преданы военному трибуналу».

Этот коротенький приказ, подписанный неизвестным командармом Тухачевским, вызвал в Пензе переполох. Шквал панических слухов прокатился по городу, но распространители их становились жертвами своих же собственных домыслов. В богатых особняках говорили, что большевики решили покончить со всеми приверженцами монархии, что губчека вылавливает и

расстреливает офицеров, помещиков, чиновников, купцов, а дети богачей свозятся в тюрьму как заложники, закрываются церкви, священники высылаются из города.

В комнатах архиерейского особняка, где помещался военкомат, толпились представители всех родов войск, всех видов оружия. Гвардейские высокомерные офицеры дружелюбно беседовали с армейскими нижними чинами.

За столом, покрытым кумачовым полотнищем, сидели командарм и работники губвоенкомата. К столу подошел невысокий, рыжий, кудрявый человек с погонами прапорщика и «Георгием» на груди — единственный офицер, явившийся при Кресте.

— Прапорщик Василий Грызлов,— представился он, обнажая в улыбке плотные зубы и улыбкой располагая к себе.

— Хотите служить в Красной Армии? — спросил Тухачевский.

— Когда призывают встать под знамена с помощью трибунала, рассуждать не приходится.

— Опасаетесь революционных солдат?

— Чего мне опасаться? Я не князь, я черная кость, плебейская кровь...

— Кем были на фронте?

— Командир третьей роты Первого Сибирского полка.

— Вшей покормили в окопах? — сочувственно заметил командарм.

— Кто в наши дни их не кормит...

— Георгиевский крест за какое дело?

— За штыковую атаку. Ношу, ибо горжусь своим «Георгием».

— Прекрасная гордость!

Независимый вид Грызлова понравился командарму.

— Предлагаю вам должность полкового командира.

— Я выше ротного не замахивался, да ведь не боги горшки обжигают.

— Именно — не боги. Я тоже армиями не командовал.

Командарм обратился к офицерам с краткой речью:

— Вы живете в состоянии странной раздвоенности и растерянности — ненавидите монархию, приведшую на край гибели наше отечество, но и не знаете, как спасти его от крушения. А ведь вам, русским патриотам, немыслимо видеть свой народ на уровне пещерного существования. Большевики, как и вы, хотят восстановления России во всем ее величии и славе, только с существенной поправкой — новая Россия станет государством народной демократии. Красноармейцы пока не доверяют царским офицерам. Неприятно чувствовать подозрение к себе, я испытал это, я прошел через это. Но офицер, что станет честно работать, заслужит доверие бойцов,— закончил свою речь командарм.

— Послужим отечеству,— сказал Грызлов капитану, только что вошедшему в зал.

— Поступили на службу к большевикам? — спросил капитан и, не дожидаясь ответа, добавил иронически: — Уже позабыли, что они расстреляли его величество, а вместе с ним и величие России...

— Можно расстрелять величество, нельзя расстрелять величие. Величие России — тем более,— возразил Грызлов, косясь сизыми глазами на капитана.

— Хорошо сказано, прапор! Люблю остряков — полируют кровь, придают вкус к жизни. Будем знакомы. Капитан Каретский.

При громком, самоуверенном голосе капитана Тухачевский выскочил из-за стола и зашагал к двери.

— Николай Иванович, здравствуйте!

— Вот не ожидал! Читал приказ, подписанный командармом Тухачевским, но в голову не приходило, что это ты. Ведь это надо же! Расстаться в Вормсе, чтобы встретиться в Пензе! Жив, здоров, невредим? — Каретский, не обращая внимания на любопытствующие взгляды офицеров, обнял командарма. — Хорош! Да что там хорош, просто великолепен! Командарм Тухачевский — это звучит как генерал...

— Пока что подпоручик, ставший командармом,— рассмеялся Тухачевский. — Вы теперь с нами, Николай Иванович?

— Если бы не с вами, был бы в другом месте. Но слышал, как меня прапор отбрил? Я ему про расстрел государя императора, про величие русское, а он: «Можно расстрелять величество, нельзя расстрелять величие». Здорово же прапоров большевики разагитировали!

После приема офицеров командарм пригласил Каретского в свой вагон.

Салон-вагон, еще недавно принадлежавший какому-то царскому сановнику, был застлан оранжевым, в черных цветах ковром, обставлен мебелью красного дерева.

За чаем командарм посвятил Каретского в военные дела:

— На фронте скверно. Белочехи наступают на Симбирск, связь с группой войск Гай Гая утеряна, левый фланг оголен. Анархия разъедает воинскую дисциплину, бойцы подозрительно относятся к царским офицерам. Восстановить боеспособность Первой армии — главная задача ее командования. Признаюсь, усилия требуются огромные, но уверен в конечном успехе. Мне сейчас нужны опытные, знающие военное дело командиры. Предлагаю вам пост начальника оперативного отдела армии.

— Сразу же и пост генерал-квартирмейстера? — недоверчиво спросил Каретский. — В царские времена о такой должности я и мечтать не смел.

— А теперь советские времена, можете мечтать сколько угодно.

Тени деревьев проносились по вагонным окнам, салон казался пестрым от непрестанного их мелькания. Был ранний час, на востоке только прорезывалась оранжевая полоска зари.

Командарм сидел в кресле, размышляя о бурных событиях, изменивших политический лик России. «Казнен царь. Его расстреляли как-то незаметно, тихо, но эта тихая незаметность теперь потрясает приверженцев монархии». Он вспомнил, как преклонялись офицеры Семеновского полка перед царской фамилией. Раз в году царь принимал семеновцев в Зимнем дворце. Офицеры готовились к приему, словно к престольному празднику. Чтобы преподнести царице букет из васильков, специальный курьер мчался в Берлин; зимой нет васильков в России, а они символизировали лазоревый цвет мундиров Семеновского полка.

Деревья розовели от зари, небо было плоским и сизым, как вода в дорожных канавах. «Русский царь казнен, как и король французский, есть закономерность в гневе революций. Революции казнят своих врагов, но они не должны убивать детей».

Новая мысль тут же завладела командармом: «Но нельзя оставлять и корни дерева, что три века высасывали соки из народной почвы. Три тысячи шестьсот месяцев — почти необозримый период времени кормила Россия династию Романовых и помещиков. Кормила? Значит, и деда, и отца, и меня самого?..»

Он старался утешить себя тем, что из дворян вышли декабристы, Пушкин, Герцен, Лев Толстой и другие славные сыны России, но утешение было слабым.

За окном пробегали перелески, поля, овраги, серые избы под соломенными крышами, деревянные церквушки. Он любил эти края нежно, по-детски. «Люди наших мест не знали войны со времен Разина и Пугачева». О чем бы сейчас ни думал командарм, мысли его возвращались к войне России с Россией. Он стал командующим одной из армий революции, многое зависит теперь от его опыта на полях сражений. Опыт его ничтожен, зато он верит в русский народ. Главная, решающая сила всех революций — простые люди, это открытие он совершил для себя исподволь. У него сейчас единственная цель — научить мужиков и рабочих искусству побеждать противника.

Утро вставало в своем великолепном сиянии. «К несчастью, военные трагедии начинаются вот в такие чудные летние зори»,— подумал командарм и приоткрыл дверь купе. Связной еще спал. Командарм умылся, вычистил сапоги и снова выглядел свежим, словно не было бессонной ночи. Он не терпел неряшливости и в любых обстоятельствах старался иметь аккуратный вид.

Поезд пришел в Инзу, на перроне командарма встретили работники армейского штаба. Начальник штаба доложил:

— Белочехи захватили Симбирск. Под угрозой захвата и

станция Инза. Противнику достаточно одного батальона, чтобы разгромить наш штаб.

— Где теперь отряд Гай Гая? — спросил командарм.

— Связи с Гаем по-прежнему нет.

— Какие силы имеем в Инзе?

— Особый стрелковый полк — и все.

— Кто командир полка?

— Бойцы прогнали командира. Митинговали два дня, да так и не выбрали нового.

— В Красной Армии больше не будет ни митингов, ни избираемых командиров. Среди офицеров, прибывших с моим поездом, есть Василий Грызлов. Найдите его,— приказал командарм.

Грызлов явился через две минуты.

— Назначаю вас командиром Особого стрелкового полка. Приказываю прикрыть наш левый фланг и разведать силы противника.

— Есть исполнить приказ! — козырнул Грызлов, всем своим стремительным обликом показывая готовность выполнить любое поручение.

13

В дырявых куртках, подпоясанных бечевками, в резиновых калошах и лаптях, стояли красноармейцы Особого полка перед Грызловым и полковым комиссаром Давидом Саблиным. Винтовки устаревших систем, револьверы от «смит-вессона» до «бульдога», собранные со всех армейских складов, расстроили Грызлова.

— Хороши орлы революции! — со вздохом сказал он после смотра.

— Это как же понимать прикажете? Всерьез? В насмешку? — спросил Саблин.

Грызлов по-своему истолковал вопрос комиссара: «Саблин мне, царскому офицеру, не доверяет, но боится показать свое недоверие». Ответил как можно равнодушнее:

— Понимайте, как хотите, а я еду в разведку. Вы со мной?

Раннее утро пахло полевыми цветами, курилось легкими испарениями. Грызлов на вороном гунтере, Саблин на чистокровной английской кобыле скакали по лесным росным опушкам, пересекали овраги, поднимались на косогоры. Уже больше часа ехали они в сторону Симбирска, не обнаруживая никаких следов противника. На одном из увалов остановились. Грызлов вынул бинокль — в окулярах побежали желтые и зеленые лоскуты полей, березовые и дубовые рощицы, овраги, холмы, опять овраги, кучевые облака, столпившиеся на востоке.

— Вон те облака стоят над Волгой,— сказал он, передавая бинокль комиссару.

— Идеальная местность для скрытого передвижения бой-

цов. Здесь не только полк — целую армию можно провести до самого Симбирска,— решил комиссар, опуская бинокль.

— А на земле-то красота и покой,— мечтательно сказал Грызлов.

Комиссар покосился на Грызлова: не терпел он любителей всяких красот.

— Нам советские конюшни надо от белой скотины чистить, а не любоваться красотами. Не гимназисты, чай,— решительно возразил он.

— Одно другому не мешает.

Грызлов не понимал озлобленности комиссара. А Саблин проповедовал целую философию жестокости.

— Беспощадностью отличается гражданская война от войн обычных,— рассуждал он. — Врага, одетого в иностранную форму, говорящего на чужом языке, распознать легко, а попробуй распознай его, одетого, как и ты, болтающего по-русски, как и ты. Потому убивай, никого не жалея, убивай во славу мировой революции!

С такой философией комиссар жил, работал, воевал. Философию эту он втолковывал каждому встречному, сейчас объяснил ее и Грызлову.

— «Бей своих, чтобы чужие боялись»? Мне твоя философия не по душе, злобой звериной от нее несет. Нет, не по душе! — с неожиданной обидой сказал Грызлов.

— А жалостливые пусть в монастырях грехи замаливают. Мы же старый мир должны разрушить до основания, а это значит — сотрем старое в порошок и пылью по ветру пустим. Со своими тоже приходится держать ухо востро, оборотней расплодилось — обезуметь можно!

— Может, и я оборотнем кажусь?

— Сохрани тебя бог от моих подозрений.

— Я не из трусливых, Давид, на мушку не возьмешь.

Они ехали шагом по лесной опушке. Проселок метнулся в дубовую рощу и вскоре вывел к переезду через железную дорогу.

— Куда эта дорога? — спросил Саблин.

— На Сызрань. Тут неподалеку станция Майна, прощупаем, что там? — предложил Грызлов.

Саблин согласился; они поскакали к станции, поглядывая по сторонам, но вокруг был все тот же цветной покой. Неожиданно из ракитника оловянно проблеснула река. Грызлов и Саблин придержали лошадей.

— Брод, что ли, поищем?..

— Тут курица пешком ходит. — Грызлов послал гунтера вперед.

Норовистый жеребец сделал свечу и так стремительно ринулся в реку, что Грызлов вылетел из седла. В тот же миг из кустов затрещали выстрелы.

Саблин повернул чистокровку и скрылся за косогором, а выбежавшие к реке солдаты схватили Грызлова.

— Белячок попалси! — радостно взвизгнул первый солдат.

— Гони его к командиру! — приказал второй.

Подталкивая Грызлова штыками, они направились к станции.

На станционной площади лежали и сидели бойцы; у одних на косоворотках алели ленточки, другие были совсем без рубах; загорелые тела лоснились от пота и грязи. «К своим попал»,— повеселел Грызлов.

Его провели в станционную комнату, где у телеграфного аппарата колдовал высокий горбоносый армянин в серой мерлушковой папахе.

— Белый офицер, да? Агент интервентов, да? — спросил он на дурном русском языке.

— Никак нет! Красный командир Василий Грызлов...

— Красные командиры в плен не попадают. Они стреляются, если положение безвыхода. Скажи: «Агент из Симбирска»,— честнее будет.

— Я командир Особого стрелкового полка Первой революционной армии...

— Кто командует Первой революционной?

— Михаил Тухачевский.

— Тухачевского не видел. Слышал, не видел! Кто член Реввоенсовета?

— Валерьян Куйбышев.

— Верно! А какие у него глаза? Волосы какого цвета?

— А я Куйбышева не видел.

— Хо! Командир полка не знает члена Реввоенсовета?

— Вы не видели Тухачевского, я — Куйбышева, значит, мы квиты. Лучше свяжитесь по прямому проводу с Инзой. Там сейчас и командарм, и штаб армии.

— Всю ночь сижу у этого проклятого аппарата. Не могу достучаться ни к красным, ни к белым,— молчат все, будто померли. Как, ты сказал, фамилия?

— Василий Грызлов.

— А я Гая Гай.

— Командир Сенгелеевской группы войск? А командарм думает, что вас уничтожили белые в районе Сенгелея. Так и говорят в штабе.

— Говорят, в Москве кур доят, а я не верю. Ты все же провокатор, придется тебя распылить...

— Красный расстреливает красного? За такие шутки ответите перед трибуналом, уважаемый Гая Гай.

Весь этот день Грызлова продержали взаперти, вечером, голодного, ошалевшего от духоты, вывели на перрон. У вокзальных дверей на его гунтере сидел Гая Гай.

— Беру твоего жеребца по праву победителя. Садись на мою конягу, скачем на станцию Чуфарово. Туда Тухачевский и

Куйбышев едут,— приказал он, небрежно поигрывая нагайкой.

— Я голоднее волка. Где ваше кавказское гостеприимство? — язвительно спросил Грызлов.

— Ты был пленник, а не гость. Теперь ты гость, а не пленник, только кушать будем в пути. Мы выступаем.

— Вы уверены, что командарм едет в Чуфарово?

— Я разговаривал с ним по прямому проводу.

— Спрашивал про меня?

— Спрашивал! Приказал нагайкой выпороть за то, что бросил полк и поехал в разведку.

Трехтысячный отряд на таратайках, на телегах пылил полевыми стежками. Грызлов ехал рядом с Гаем, приглядываясь к красноармейцам.

Они сидели, свесив ноги, обхватив руками винтовки, печально взирая, как под колесами путается поспевшая пшеница, осыпается желтый овес. Кое-кто вздыхал, кое-кто поднимал голову к небу, седому от знойного марева. На одной из телег беседовали бойцы, Грызлов прислушался к разговору.

— Большевики хотят мужика в комунию завлечь, чтобы все было обчее — и скот, и бабы.

— На черта мне комуния, ежели бабы обчие? Я свою отдавать чужому дяде не желаю.

— Зря русскую кровушку льем. Лучше собраться бы всем на сход и разделить Россию: мужикам — землю, дворянам — город, буржуям — фабрики.

— А тебе, ослу, ярмо!

— Пошто лаешься? Грех!

Среди русской окающей и акающей речи Грызлов слышал татарские, чувашские, осетинские слова. Отряд Гая показался ему каким-то сборищем. И как только эта разношерстная орава беспрекословно подчиняется командиру? Гай с явным неудовольствием ответил на вопрос Грызлова:

— Есть такая последняя мера — пуля. Паникер, трус, дезертир равны перед ней. Поэтому нет своеволия и непослушания в отряде.

Отряд подошел к Чуфарову поздним вечером, но еще розовело закатное небо и пахло нагретой пылью. Поезд командарма уже был на станции.

— Вот он, пропавший без вести,— сказал Куйбышев. — Рекомендую, Михаил Николаевич, своего друга.

— Мы ожидали опасного противника из Симбирска, а получили подкрепление в три тысячи бойцов,— рассмеялся командарм.

— А какие бойцы! Знают, почем фунт лиха,— подхватил Куйбышев.

Когда радость встречи улеглась, Тухачевский подозвал Грызлова.

— Командир полка не имеет права, рискуя собой, ходить в разведку. Объявляю выговор с приказом по армии. — И, нахмурившись, сказал уже Гаю: — Особый стрелковый полк входит в состав Симбирской дивизии.

— Какой Симбирской дивизии? Не знаю такой,— заговорил было Гай.

— Ваши отряды реорганизованы в дивизию.

— Без меня меня женили?

— Теперь в вашей дивизии девять пехотных полков, кавалерийский эскадрон и артиллерийская бригада.

— Если так, сию минуту брошусь на Симбирск.

— Еще не время. Пусть бойцы соберутся с силами, они совершили тяжелый поход по тылам противника.

Гай устроил обед в честь командарма и члена Реввоенсовета.

Обедали в просторной избе, за столом, накрытым домотканой скатертью. Окуневая уха, жареные куры, пироги с грибами, с земляникой, копченая свиная колбаса запивались черным домашним пивом, мутной, дурно пахнувшей самогонкой.

Завязался общий разговор: каждому было что вспомнить, недавнее прошлое еще казалось близким и болезненно острым.

— Умирать буду, а вспомню, как из царской ссылки освобождался,— смеясь, говорил Валериан Куйбышев. — Гнали нас по этапу в ссылку. В марте в красноярской тайге мороз такой, что дух захватывает; добрели мы до деревушки — ни почты в ней, ни властей, ни нашего брата ссыльного. Одни охотники в своих вежах да этапное помещение. Запер нас караульный начальник и ушел. Мы расположились на нарах, о воле мечтаем, царскую власть клянем. Вдруг входит конвойный солдат и зовет меня к начальнику. Прихожу. Начальник наш — мордастый фельдфебель — держит какую-то бумажку.

«Господин Куйбышев, этот документ в красноярской жандармерии дали, да я не спешил обнародовать. Прочтите и разъясните его солдатам...»

Я прочитал — и буквы завертелись перед глазами. В Петрограде революция! Новое, Временное правительство объявило амнистию. Я кидаю на стол документ и хочу бежать к товарищам — фельдфебель не отпускает:

«Объясни, как нам теперь быть?..»

«Да ведь все ясно. Царь свергнут, новое правительство амнистировало всех политических. Мы теперь свободные люди...»

«Э, нет, погоди! Я не убежден, что царь свергнут. Я присягал ему и запросто от присяги не откажусь. Когда уверую, что царь рухнул, тогда ступайте на все четыре стороны. Но ежели сейчас побежите, застрелю!»

Я поспешил в этапку — приятели чаи гоняют, сидя по-турецки на нарах. Я поднял руку и торжественно провозгласил:

«В России революция! Николай Второй отрекся от престола! Создано Временное правительство, и оно объявило амнистию. Мы свободны!..»

В ответ на торжественные мои слова кто-то крикнул:

«Наконец-то и у нас появился барон Мюнхгаузен!»

Я повторил свою новость таким ярким, ликующим, счастливым голосом, что все вдруг поверили мне. Приятели повскакали с нар, заговорили, зашумели, запели «Марсельезу». Потом вызвали фельдфебеля. Тот выслушал наши требования о немедленном освобождении и ответил:

«Может, власть действительно перекувыркнулась, но я присяги не нарушу. Освобождать не стану, забунтуете — застрелю...»

В ту мартовскую таежную ночь никто не мог уснуть. Утром же — вот проклятая рабья привычка — мы позволили заковать себя в кандалы и пошли дальше. В каком-то селе фельдфебель опять закрыл нас на замок, а сам отправился за новостями. Увидел в волостном правлении паренька с красным бантом, на стене портрет какого-то бородача.

«Это новый царь?» — спросил фельдфебель.

«Самый первый в мире марксист это, но он уже умер», — пояснил паренек.

«Как так умер? А как же теперь без царя? России нельзя без царя, кому же я присягать стану?»

Фельдфебель дрожащими руками швырнул на пол ключи от этапного помещения и скрылся. Когда нас освободили, я встретил его — он шел в поле, опустив голову, и что-то бормотал. Было тяжело смотреть на человека, для которого царь являлся главной осью России.

Разговор переметнулся на приключения последних дней. Гай с ужасным акцентом, коверкая русский язык, стал рассказывать об отступлении своих отрядов из Сызрани:

— Храбрецы мои шли по берегу Волги, я со штабом полз на буксирном пароходике. Было у нас две плохонькиx пушечки. Да ведь ты не хуже меня знаешь, как отступали, — повернулся он к Куйбышеву.

— Наш буксир «Владимиром Мономахом» назывался, — заметил Куйбышев, наливая черного пива.

— Ползли мы на этом «Мономахе», видим — догоняет пассажирский пароход. Решили — белочехи преследуют, — приготовились к бою, а тут с «Мономахом» что-то случилось. Завилял, завертелся на стрежне. У капитана, сказать откровенно, морда поганая, старорежимная, я к нему подскакиваю:

«В чем дело, душа любезный? Па-че-му по Волге буксиром виляешь?»

«Руль, должно быть, испортился...»

«А может, по старому режиму заскучал? Так станешь его искать на том свете! Если руль в исправности, я пули не пожалею...»

Побелел капитан, бормочет что-то невнятное, я же сапоги долой — и в Волгу. Нырнул под корму, вижу — свернулся руль.

Вылез из воды и думаю: нельзя на одно чутье полагаться, пусть у капитана морда старорежимная, но он, подлец, невиновным оказался.

— А пароход-то с беженцами был. От белочехов люди бежали. Они нас испугались еще больше, чем мы их,— добавил Куйбышев.

Василий Грызлов посматривал на Куйбышева, на Гая и Тухачевского, невольно сравнивая их между собой. Нервный, порывистый Гай, спокойный, уравновешенный Тухачевский, Куйбышев, полный достоинства, но без надменности,— каждый по-своему нравился Грызлову. Были по душе ему и темпераментное бахвальство Гая, и ровное спокойствие Тухачевского, и достоинство Куйбышева: Грызлову хотелось вместить в себе все эти качества.

Сам Грызлов был из тех молодцов, которых товарищи любят за отвагу, за готовность выручить из нужды, даже за успехи у женщин. Друзья в глаза и за глаза звали Грызлова «Васька — душа нараспашку», часто прибегали к его помощи и сочиняли про него же анекдоты.

Грызлов умел вести себя по-разному с разными людьми. Мог говорить вдохновенно и весело, взрываться яркой импровизацией и тотчас же переходить на деловой стиль, мог быть почтительным, иногда фамильярным. Он словно играл разные роли, прикидываясь то простачком, то хитрецом. С красноармейцами толковал задушевно, а приказы писал — бил на эффект.

Дружеская беседа текла непринужденно, но заговорил командарм, и все смолкли. Грызлов снова внимательно прислушался, теперь уже к словам Тухачевского.

Командарм говорил о том, что сегодня революция нуждается в регулярной, высокодисциплинированной, боеспособной армии.

— Это мечта всех командиров и комиссаров, и мы обязаны сделать Первую армию действительно п е р в о й армией революции. Во всех отношениях она должна стать образцом и примером. У нас есть неоспоримые преимущества перед противником. Самое важное преимущество — революционная сознательность наших бойцов. А русская сметка, а русская отвага и выносливость известны всему миру. Вы знаете, что победу и поражение разделяет тончайшая грань, но царские генералы думают: военное искусство состоит в том, чтобы не перейти эту грань в сторону поражения. Они думают: сила не знает ошибок; еще они думают: революционный дух народа — сила нематериальная и не может оказывать влияния на ход сражения. Генералы, к нашему счастью, заблуждаются. Дух революции движет вперед сильнее славы и золота. Но Первая армия еще материально и морально не готова к серьезным боям. Не теряя соприкосновения с противником, будем мы превращать полу-

партизанские отряды в боевые полки, пополнять их новобранцами. Мы проведем мобилизацию в полосе армии, обеспечим ее всем необходимым для боя и жизни.

14

В раскрытое окно салон-вагона лился запах цветущих лип, ночной ветерок шнырял между кустами; звякали буферами передвигаемые вагоны, посвистывали паровозы, но Тухачевский и Каретский не слышали ночных звуков, поглощенные разработкой операции по освобождению Симбирска.

Командарм исследовал по карте местность, прикидывал, где расположить пехоту, где сосредоточить артиллерию, измерял циркулем расстояние от исходных рубежей до рубежей противника. Потом принялся писать диспозицию предстоящей операции. Писал аккуратным почерком, красиво выводя буквы на александрийской плотной бумаге. Закончив, сказал:

— А теперь, Николай Иваныч, разбудите меня в любой час ночи и спросите, в чем суть нашего плана,— отвечу: «Наступление должно вестись по концентрическим в отношении Симбирска линиям. Соблюдая одновременность занятия рубежей и сокращая фронт, мы охватим оба фланга противника. Постепенно сжимая двойной обхват, мы перережем все вражеские линии и ликвидируем его живую силу...»

— Не зря трудились всю ночь. Отличная вышла диспозиция,— похвалил Каретский.

— «Гладко вписано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить»,— продекламировал Тухачевский. — Знаете, кто это сказал? Лев Толстой! А он-то понимал толк в военном деле. — Командарм встал перед окном, потянулся до хруста в костях. — А липа цветет, и голова кружится от ее аромата. Пожалуй, стоит нам и передохнуть, Николай Иванович.

В салон стремительно вошел адъютант командарма.

— Срочные, из Реввоенсовета Республики, от штаба Восточного фронта. — Адъютант подал Тухачевскому телеграммы.

Председатель Реввоенсовета Республики приказывал Тухачевскому начать немедленное наступление на Симбирск. Таких же действий требовал и штаб фронта.

— Фантастические приказы! — возмущенно сказал Каретский.

— Мы обязаны приступить к исполнению приказов хотя бы во имя принципа дисциплины,— сердито возразил Тухачевский, и начальник оперативного отдела впервые отметил его нервозность.

Восьмого августа дивизия Гая начала преждевременное наступление. Для поддержки Гая командарм выделил Курскую бригаду новобранцев — свой единственный резерв. Особому

стрелковому полку Грызлова он приказал перехватить пароходы.

Поначалу все было хорошо.

Части Симбирской дивизии энергично атаковали противника и захватили станцию Охотничья. На Охотничью прибыли командарм и Гай, чтобы руководить наступлением. Их штаб расположился в станционном буфете: сюда поступали донесения со всех участков фронта. Первое пришло от Грызлова — он сообщал, что встретил главные силы противника у приволжского села Гремячий Ключ и атаковал их.

— А где пароходы с золотом? Может, проскользнули мимо него? Грызлову башку оторву, если упустил! — рассвирепел Гай.

— Нельзя предусмотреть всех случайностей боя, не горячитесь, пожалуйста,— охладил пыл Гая командарм.

К станции подошел состав с Курской бригадой. Из вагонов выпрыгивали пареньки в лаптях, посконных штанах и косоворотках, неловко строились, неумело вскидывали на плечо винтовки. Сердце командарма сжалось от нехорошего предчувствия.

Гай решил выступить перед новобранцами с речью и стал диктовать машинистке воззвание. В этот момент грохот взрыва потряс вокзал, посыпалась штукатурка, из рам брызнули стеклянные осколки. Гай выскочил на перрон, машинистка побежала в лес.

Над станцией кружились самолеты белых. Они кинули всего пять бомб, но их оказалось достаточно — новобранцы побросали винтовки и, не слушая командиров, прикрывая головы руками, кинулись врассыпную. Никогда не виданные аэропланы показались деревенским парням крылатыми исчадиями ада.

Лишь в нескольких верстах от Охотничьей Гай остановил бегущих. Бойцы испуганно и внимательно поглядывали на страшного армянина, на своего комбрига — еврея с печальным обликом.

Гай стал ругаться, но чем больше бранился он, тем легче и увереннее чувствовали себя бойцы.

— Я вас, заячьи душонки, словом больше пройму, чем пулей. Пуля — дура, от нее дух вон и стыд вон! А крепкое слово и сердце лечит и душу калечит! Вы у меня будете лететь, свистеть да кланяться! — ярился Гай.

От имени бойцов комбриг произнес свою последнюю речь:

— Мы смоем позор решительными боями с мировым капиталом! Мы будем бить врага до его издыхания!..

Тем временем противник перешел в наступление. Развернулось ожесточенное сражение, и продолжалось оно с переменным успехом весь день. В сумерках бойцы Курской бригады выбили офицеров из соседнего села и расположились на ноч-

лег. Довольный победой, комбриг не выслал разведки, не установил связи с другими частями.

Батальон офицеров воспользовался оплошностью комбрига и напал на курян. В селе завязалась отчаянная рукопашная схватка.

Комбриг пытался создать оборону бивака, но уже было поздно. Офицеры овладели выгодными позициями и хладнокровно в упор расстреливали красноармейцев. Комбриг решил вырваться из смертного круга и с кучкой бойцов кинулся в атаку.

Офицеры встретили их частым огнем, красноармейцы залегли. Только один комбриг, хорошо видимый в лунном свете, размахивал гранатой и тоненько и горько кричал:

— Вперед! Смоем позор трусости перед революцией!..

Он упал в седую от росы траву, не успев кинуть последнюю гранату. Офицеры продолжали стрелять по мертвому, а красноармейцы снова побежали.

У железной дороги беглецы натолкнулись на Гая. Не получая донесений, он с конным отрядом спешил в Курскую бригаду. Встретив бегущих, Гай вздыбил своего гнедого, гунтера, дважды выстрелил из нагана и завопил:

— Не в ту сторону, мать вашу бабушку, драпаете! Прямо под белые пулеметы, сукины дети! Они перебьют вас, куропатки безмозглые! — Гай врезался в толпу, опрокидывая бегущих лошадью. — Наши у станции, шпарьте туда, если хотите спастись! В строй становись, коли штыком, отбивайся прикладом!

Опять, как это ни странно, его ругань отрезвила красноармейцев.

Бойцы последовали за ним и вместе с конным отрядом атаковали офицеров, но те, не приняв боя, оставили завоеванные позиции.

В полночь Гай появился в своем штабе, куда только что вошел комиссар дивизии.

— Противник остановлен, но вот надолго ли? Боюсь, утром снова полезет офицерье,— сказал комиссар утомленно.

— А где командарм?

— В полку у Грызлова. Там жаркая баталия.

Гай прилег на снопы овсяной соломы, закрыл лицо папахой и захрапел. Комиссар при тусклом свете коптилки писал, изредка прислушиваясь к чьим-то горьким всхлипам. В углу за печкой плакала женщина; комиссар недовольно почмокал губами.

Тухачевский приехал на зорьке. При его появлении Гай проснулся, стряхнул с себя овсяную солому и, как всегда стремительно, доложил о беспорядках в Курской бригаде, о гибели комбрига, о том, что противника с великим усилием отбросили от Охотничьей.

Командарм слушал, слегка наклонив голову, но вдруг легким движением руки остановил Гая.

— Кто это плачет? — Он шагнул за печку и увидел машинистку. — Почему вы плачете? Что случилось? Как вас зовут?

— Я перепугалась во время обстрела. С той поры и плачу от страха. А зовут меня Ксюшей.

— Сколько вам лет, Ксюша?

— Вчера исполнилось восемнадцать.

— Хотя и запоздало, но поздравляю с днем рождения. Цветы за мною.

— Ай-вай, Ксюша! Стыдно плакать в восемнадцать-то! У нас на Кавказе девки — огонь. Плакать начнут — слезы так и сгорают,— рассмеялся Гай.

— И в самом деле не стоит плакать. На войне не плачут, на войне воюют,— мягко сказал командарм. — Садитесь за машинку, я продиктую приказ.

Гай выжидающе посмотрел на командарма, тот понял немой вопрос его и ответил:

— Пароходы с офицерами прорвались через наши заслоны. Грызлов сделал все, что мог, но белочехи оказались сильнее.

На восьмой день наступление красных выдохлось, дивизия Гая вернулась на исходные рубежи. Командарм с горечью думал, что причину неудачного наступления — организационную неподготовленность и неизжитую партизанщину в армии — не принимают во внимание ни Реввоенсовет Республики, ни новый главком Восточного фронта Иоаким Вациетис.

Неудача сказалась на общем настроении: многие командиры впали в уныние, утратили боевой дух. Опять поползли слушки, что во всем виноваты золотопогонники во главе с подпоручиком, дворянином Тухачевским. Такие слухи с особенным остервенением распространял Давид Саблин. Узнав о них, Куйбышев вызвал полкового комиссара.

— Почему вы распространяете слухи, порочащие командарма, офицеров, поступивших в нашу армию?— сухо спросил Куйбышев.

— Они виноваты во всем! Их надо судить по закону военного времени.

Куйбышев, прислонившись к стенке салон-вагона, слушал комиссара, сцепив на животе тонкие, длинные пальцы. Подождав, когда Саблин выговорится, сказал:

— Ваши обвинения бессмысленны, подозрения бестактны.

— Тухачевский — дворянин, значит, классовый враг!

— Он — командующий Первой армией, вот кто он. Прошу это запомнить,— строго предупредил Куйбышев.

— Марат когда-то требовал у Конвента триста тысяч голов аристократов, чтобы спасти революцию,— уныло пробормотал Саблин.

— А разве наша революция погибает? И почему вы ме-

ряете русскую революцию аршином французской? Для чего такие поправки на события столетней давности? Не понимаю вас, Саблин, но советую не показывать своей злобы,— иначе попадете под трибунал вы.

Саблин сердито фыркнул и пошел к выходу. Куйбышев остановил его.

— Приехал член Реввоенсовета Восточного фронта. Вы найдете в нем могущественного союзника.

Через час в штабе разразилась гроза: член Реввоенсовета обрушил все громы и молнии на Тухачевского, обвиняя его в неудачном наступлении.

Тухачевский с трудом сохранял спокойствие, Куйбышев то бледнел, то краснел. Грызлов кусал губы. Гая Гай то вскакивал, то опять садился на стул, сокрушенно покачивая головой.

— Я требую отстранить Тухачевского и назначить командармом Гая,— закончил свою филиппику член Реввоенсовета.

— Этого делать нельзя. Неразумно это,— возразил Куйбышев.— Первая армия переживает младенческий период развития, она еще не освободилась от партизанщины. Ее командиры не имеют боевого опыта,— значит, и авторитета среди красноармейцев. А как вредит нам слепая подозрительность к военспецам! Нельзя терпеть, чтобы бойцы обсуждали вопрос, давать или не давать офицерам оружие. Как можно позволить такие оскорбительные поступки по отношению к офицерам?

Член Реввоенсовета принимался писать телеграммы Иоакиму Вациетису, но тут же рвал их и кидал в угол.

— Тухачевского немедленно под трибунал! — неистовствовал он.

— Да успокойтесь же наконец! — повысил голос и Куйбышев.— Мы обратимся к высшей инстанции...

— В армии Троцкий — высшая инстанция!

— Ну, почему же! Есть еще председатель Совнаркома и СТО...

Вечером того же дня Куйбышев разговаривал по телефону с Кремлем. Ленин приказал привести Первую армию в полный порядок и только тогда приступать к освобождению Симбирска.

— Никогда не надо рубить сплеча, а вы не дрова — хорошие головы хотели под топор,— говорил Куйбышев члену Реввоенсовета.— Комиссар Саблин мне на Марата ссылался: дескать, тот хотел казнить триста тысяч аристократов, чтобы спасти революцию. Я тоже сошлюсь на историю. Когда ученого Лавуазье подвели к гильотине, он произнес: «Человечеству потребовалось триста лет, чтобы вырастить такую голову. Палачу нужна одна минута, чтобы снять ее». Вот так-то, товарищ член Реввоенсовета...

Тухачевский читал младшим командирам не совсем обычную лекцию:

— Так что же такое гражданская война? Чем она отличается от войн религиозных, завоевательных?

И отвечал на свои же вопросы. Он говорил о том, что в гражданской войне борются не государства, а классы. Не отрицая вечных истин стратегии, наоборот, руководствуясь этими вечными истинами, командарм указывал на то новое, что принесла война классов.

По его приказу штаб армии создал школу подготовки среднего и младшего командного состава. Из батальонов и рот вызвали красноармейцев, командиров из бывших прапорщиков и унтеров.

— Мы собрали в этой школе самых смелых, самых смекалистых,— продолжал он.— Пусть многие из вас пока малограмотны, это не имеет особого значения. Суворов когда-то говорил: воюют не числом, а умением. Чтобы научиться искусству побеждать, мы обязаны узнать стратегию, тактику, фортификацию, топографию, овладеть строевой подготовкой, стрелковым делом.

Командиры слушали его, боясь пропустить хотя бы фразу, и лишь вздыхали, когда попадалось незнакомое слово. Командарм, взявший на себя главный предмет военной науки, назвал его «стратегией национальной и классовой».

— Бесконечен в разнообразии своем опыт войн. Со времен Александра Македонского историки описывают сражения, походы, военные хитрости, храбрость, трусость, привычки полководцев. Историки донесли до нас имя Александрова коня, масть мула, на котором ездил Евгений Савойский, крылатую фразу Наполеона по поводу тридцати веков, смотрящих с высоты пирамид. Только об одном не писали историки — о классовой сущности любой войны. Русские генералы всегда гордились аполитичностью своих солдат. «Армия — вне политики»,— это проповедовалось из века в век. Генералы не понимают и не желают понимать классовую суть гражданской войны. Нам же надо в походе, на марше, изучать новый опыт войны. Революция не признает окопов. Революция — всегда наступление, всегда натиск! Маневренность и подвижность — основа тактики нашей армии. На сегодняшнем этапе войны надо стремиться к штыковым схваткам, ибо моральное превосходство — у нас. Храбрость красноармейца, мужество командира принесут желанный успех. Сегодня, товарищи командиры, у нас не просто школьный урок, но и военный совет. Скоро, очень скоро мы начнем штурм Симбирска, и в основу нашей операции ляжет идея концентрического наступления...

— А что означает это слово? — спросил кто-то.

На него зашикали, потом стали смеяться.

— Прекратить неуместный смех! Приношу извинение за то, что употребляю малопонятные слова.

Командарм объяснил. Голос его звенел страстной убежденностью, глаза блестели, лицо порозовело.

— Спрашивайте, если чего-то не понимаете. Не стыдитесь своего незнания. Кончится война, и — я убежден — мы снова встретимся за партами, но уже в Военной академии. Не удивлюсь, если сегодняшние малограмотные бойцы завтра станут академиками и полководцами. Но вернемся к идее концентрического наступления. Наши части разбросаны вокруг Симбирска на очень большом расстоянии. Исходная линия отдельных полков достигает ста верст по фронту. Я думаю, к концу первого дня наступления фронт атакующих частей сократится вдвое. Продолжая концентрически сокращать фронт, мы зажмем город в плотное кольцо и возьмем его на третий день наступления. Почему такая уверенность? На чем она зиждется? В основу стратегических расчетов мы положили: во-первых, превосходство наших сил, во-вторых, выгодность обхода при намеченном концентрическом движении и, в-третьих, быстроту движения и внезапность...

Капитан Каретский сидел в заднем углу зала, с интересом следя за глубинным ходом размышлений своего юного друга, ставшего командармом. «Он ищет новые принципы революционной стратегии и этим отличается от многих военных практиков. У него есть свое понимание своеобразных условий гражданской войны, его намерения соответствуют реальным возможностям и моральному духу армии. Энтузиазм бойцов он проверяет дисциплиной и организованностью, а ведь обуздать анархию и партизанщину труднее, чем выиграть серьезное сражение»,— думал капитан, невольно заражаясь той страстью и уверенностью, что слышались в каждом слове командарма.

После лекции слушатели оживленно обменивались своими впечатлениями. Каретский, взяв под локоть Гая, сказал с неожиданной горячностью:

— План командарма, по существу, очень прост, но в этой простоте неотразимость его. Самое трудное — претворять простые планы в действительность. Противник опытен и хитер, он может разгадать все наши идеи, все ловушки...

— А мы устраним такое коварное преимущество быстротой, внезапностью, порывом. Забыл, душа любезный, о революционном порыве? Он горы сокрушает! Кроме всего, я верю в нашего командарма.

15

В сухой августовской мгле застряло распаленное солнце, теплый ветер продувал воду, запахи луговых трав — густые, пряные, томящие — текли над рекой. Медленно поворачивались на обрывах сосны, пароходики, шлепая плицами, изнемогали на

перекатах, огибали мели, волоча за собой вереницы вятских пейзажей.

На палубах пассажирских и буксирных пароходиков, на плоских крышах баркасов громоздились кубы прессованного сена, мешки с картошкой, ржаной мукой, овсом, гречневой крупой, ячменем. Связки лаптей, тюки с кожей, ящики махорки перемешивались с пулеметными лентами, кучи вяленой воблы лежали рядом с орудийными снарядами.

На палубах, в проходах и закоулках сидели и лежали бойцы. Перебрасывались солеными шутками, добродушно матерились, рассказывали побасенки. Полураздетые, в опорках, лаптях на босу ногу, бойцы мало чем отличались от мешочников, нахлынувших в эти августовские дни на вятские берега.

На пароходике, возглавлявшем речную флотилию, было особенно оживленно. В кольце бойцов гармонист наигрывал частушки, подпевая самому себе:

Ветер дует, дождь идет,
Парень девку в рожь ведет.
Девка бает — не хочу,
Парень бает — заплачу...

Хор молодых, здоровых, грубых голосов с оканьем и присвистом проревел:

Мы, робята, ежики,
В голёнищах ножики!..

Гармонь замолчала, снова послышались побасенки и прибаутки. Кто-то допытывался у кого-то:

— Ванчё, а Ванчё, ты из Котельничё? А чё, правда, в Котельничё три мельничё: паровичё, водяничё и ветреничё?

— Вяцкой — народ хвацкой! Толокном-те Вятку прудили, корову-те на баню тащили, колокол-те из лык плели. Ударят в колокол, а он шлык да шлык, а вяцкие бают — мало лык, подплетай, робяты, ишо...

— Дуб ты стоеросовый! И побасенка твоя хреновая. А потвоему, кто Америку-те открыл? Колумб, чтоличка? Когда Колумб-те в Америку прискакал, там артель вятских плотников бревна тесала. Вот оно чё, пень осиновый...

— И заспорили эт-то три поповны. Никак не могут решить, что такое мясо, жила и кость. Собачились, собачились, подозвали батрака своего:

«Што такое мясо, жила и кость, Иван?»

«А эт-то, разлюбезные барышни, все величается распроединым словом...»

На верхней палубе в ивовых плетеных креслах сидели командир Особого батальона Владимир Азин, его помощник Алексей Северихин и писарь Игнатий Лутошкин. Азин и Северихин хохотали, слушая анекдоты, писарь — старик с горбами на

спине и груди и оттого похожий на сплющенный глобус — неодобрительно фыркал.

— Вы чем-то недовольны, Игнатий Парфенович? — спросил Азин, поворачивая к писарю разрумянившееся от смеха лицо.

— Грустно мне от пошлости мира сего, юный ты мой человек,— ответил сочным, глубоким басом горбун. — Только и слышу поганые словечки, дурацкую матерщину да жеребячий смех. И стыдно становится мне, и гаснет мечта в душе моей...

— О какой мечте вы толкуете? — удивился Азин печальному тону Лутошкина.

— О вечной мечте по прекрасному. Подымите, юные вы люди, глаза на мир, вас окружающий. Вглядитесь в лесную красоту земли. Как хороша она, как свежа и чиста! А что я вижу? Сплошное хамство! А слышу что? Матюки да скабрезные анекдоты! Что, скажите-ка мне, что за дело вашим бойцам до прекрасного мира, в котором они живут?

— У кого они могли научиться понимать прекрасное? Не знаете, Игнатий Парфенович? — обиделся Азин на звучные, красивые слова, произнесенные звучным, красивым голосом. — Может быть, у деревенского кулака? У городского купчины, а?

— Чувство прекрасного свойственно не каждому,— сумрачно ответил Лутошкин. — Можно быть образованным, очень интеллигентным и не понимать красоты. И не ценить мечты о прекрасном...

— Это вы врете! Мечта о прекрасном свойственна всем людям, но одни могут о ней рассказать красиво и ясно, а другие нет. Вот в чем суть. Я же лично мечтаю о прекрасной жизни для всех людей на земле. На фронт ради этой мечты топаю, умереть за нее готов.

— Братоубийственная война не может стать мечтой нормального человека,— опять зафыркал Лутошкин. — Не признаю мечты разрушающей.

— А мы, разрушив этот поганый старый мир, создадим свой, справедливый и великолепный,— с жаркой убежденностью сказал Азин.

— Ах, юный ты мой человек! Гражданин Ленин талантливо, даже гениально разрушает старый мир насилия. Как-то станет он создавать новый мир — это никто не знает. Кто из нас доживет до той благословенной поры?

— А вы полегче на поворотах,— оборвал горбуна Северихин и, вынув фарфоровую трубочку, стал сердито набивать ее самосадом.

— Ай не нравится правда?

— Белогвардейская — нет.

— У вас есть своя, красная?

— У меня правда классовая,— отрезал Северихин. — Вам же с вашими рассуждениями к белым лучше податься.

— К белым мне не с руки. Мне сейчас коренной вопрос жизни

уяснить хочется: кто нужнее простому люду — красные, белые или буро-малиновые?

Азин испытывал к горбуну какую-то непонятную веселую симпатию. Независимому характеру Азина были по душе не только независимость суждений Игнатия Парфеновича, но и его трагической яркости бас, и наивное, почти детское преклонение перед красотой земли. Азин вспомнил, при каких обстоятельствах пришел в батальон Лутошкин, и невольно улыбнулся.

Всего три недели назад Азин и Северихин носились по уездным городишкам и лесным деревенькам. Гневом и страстью звучали их речи на рабочих собраниях, на мужичьих сходках. Они говорили о контрреволюции, поднявшей мятежи на Волге, на Урале, в Сибири, об интервентах, высадивших свои войска в Архангельске и Владивостоке, о кулацких бунтах, бушующих в Прикамье.

Настойчиво, но с легкой находчивостью юности вербовали они добровольцев в Особый свой батальон.

— Прежде чем записать, прочти. Что, неграмотный? Тогда я тебе прочитаю. — Азин читал жидким баритоном: — «Сознательно и бескорыстно и без всякого принуждения вступаю я в Коммунистический батальон. Вступаю и даю клятвенное слово — до последнего вздоха своего бороться с врагами трудового народа. Обещаюсь не просить у врага пощады ни в бою, ни в плену, с достоинством встретить смерть, как положено бойцу Коммунистического батальона. А если ради корысти или выгоды отступлю от своего клятвенного слова — считайте меня трусом и бесстыдным предателем. Значит, лгал я трудовому народу, товарищам по борьбе, лгал собственной совести...»

Доброволец слушал со строгим лицом, вытянувшись, опустив руки по швам.

— Понял? Подумал? Согласен? — спрашивал Азин. — Именем революции объявляю тебя бойцом ее...

Северихину церемония эта сперва казалась ненужной причудой Азина, но он быстро понял нравственное значение ее и даже позавидовал, что ему не пришла в голову такая идея.

Северихин был старше Азина, но подружились они с первых же дней знакомства. Спокойному, обстоятельному Северихину нравился порывистый Азин. Нравилось и то, что Азин образован, владеет французским и немецким языками.

— У него есть находчивость и ораторский дар,— восхищался Северихин своим другом. Северихину еще предстояло открывать в противоречивом характере Азина много новых, неожиданных — хороших и скверных — черт.

Июль был на исходе, земля парила, небо шумело грозовыми ливнями. В поисках добровольцев Азин и Северихин забрались в Котельнич — уездный дремотный городишко. Здесь среди светловолосых и сероглазых вятичей, пришедших записываться в батальон, Азин заметил горбатого старого человека. Опер-

шись спиной на заплот, расставив кривые, в валяных калошах ноги, засунув в карманы рваного пиджака руки, горбун терпеливо ждал.

— Тебе кого, старина? — спросил Азин.

— Не тебе, а вам, юный мой гражданин,— ответил горбун грустно и певуче. Приподнял мохнатые веки, и на Азина глянули черные, прекрасные, не защищенные для чужой боли глаза. Горбун протянул Азину бумажку.

— Что это?

— Мандат. Теперь любят козырять мандатами.

— «Настоящим удостоверяется, что гражданин Лутошкин Игнатий Парфенович действительно находится в ссылке в Вятской губернии, имеет заслуги перед революцией, как борец против царизма. По специальности — странствующий философ»,— прочитал Азин.

— Я решил поступить в ваш батальон,— снова звучно сказал Лутошкин.

— Стрелять умеете?

— Принципиально не признаю огнестрельного оружия.

— Агитировать за Советскую власть будете?

— Давно лишен страстей политических...

— А бомбы умеете делать, странствующий философ? — сыронизировал Азин.

— Наука служит мирным целям человечества.

— Вы не толстовец, случайно?

— В некотором роде разделяю учение Льва Николаевича.

— Что значит «в некотором роде»?

— Я уже ответил, юноша мой. Но кое-что я и отвергаю в учении его сиятельства. Ежели при мне какой-либо мерзавец ребенка бить вздумает, я могу и за ножик схватиться...

— Какая же польза от вас батальону?

— Могу лапти плести, кашу варить...

— У-у, такой спец нам нужен, как алмаз. Без лаптей с белыми воевать, да что вы!

— Люблю насмешников, они освежают,— рассмеялся Лутошкин. — Минуточку, юноша, что это с вашей кобылкой? — Он наклонился и, ухватив правую ногу лошади, приподнял от земли. — Ай, ай, подковка болтается, копыто надо обрезать. Лошадку загубить — что плюнуть. Я, между прочим, лошадей подковывать — мастак. Но это, по-вашему, тоже дело дерьмовое?

— Теперь иной разговор,— заулыбался Азин. — Знаток по лошадям нужен до зарезу. А за что вас преследовало царское правительство?

— За любовь к народу русскому...

Азина зачем-то позвал Северихин.

— Потом расскажете, Игнатий Парфенович. Возьмите ваш мандат. Странствующий философ — оригинально...

Азин вскочил с места, оперся спиной на палубные поручни, завел правую ногу за левую. Алые пузыри галифе топорщились над его хромовыми сапогами, серая гимнастерка плотно обтекала поджарую фигуру. Деревянная кобура маузера торчала справа, на левом боку висела казачья шашка. Мерлушковую папаху, перекрещенную алой лентой, несмотря на жару, Азин не снимал.

— Игнатий Парфенович, вы обещали рассказать, за что в царской ссылке были? — спросил он. — Долго вам пришлось просидеть?

— Десять лет с крохотной передышкой,— улыбнулся Лутошкин. — Самые славные годы вырубила из жизни охранка. Я ведь москвич, потомственный, можно сказать, рабочий. Тянул свою лямку, да со студентами схлестнулся. Подружился с одним пареньком, а он, как назло, оказался личностью гениальной. Из тех безвестных гениев, что рождаются и гибнут на земле русской. Леонидом Петровичем звали; был он замечательным химиком и поэтом, а съели его тюрьма да вятская ссылка. Вы, юные люди, еще под стол ходили, когда я с Леонидом Петровичем прокламации тискал. Конспирировались недурно — из-за нас жандармы не одну пару подметок истоптали. А все же изловили. Я лично, как дурак, на его сиятельстве графе Толстом попался. Сел в тюрьму за «Не могу молчать!». Не читали? Стыдно! Даже неприлично. Кого-кого, а графа Толстого надо читать, разрушители старого мира. Какое бы там общество свободы и братства вы ни построили, а без таких сиятельств, как Лев Толстой, жить в нем будет неуютно и скучно. Сцапали, значит, нас за статью графа, а Толстой к московскому губернатору с жалобой. И говорит их сиятельство их превосходительству:

«Статью писал я, а посадили молодых людей. Вы молодых-то освободите, а меня — в тюрьму...»

Отвечает их превосходительство их сиятельству:

«Все тюрьмы России не вместят вашей славы, граф...»

В конце концов выпустили нас из тюрьмы. И опять я на прекрасном попался. Тиснул на гектографе статейку гражданина Гейне. Уже и статью давно позабыл, лишь последние ее слова помню. — Лутошкин взъерошил косматые волосы, подался вперед, взбрасывая на Азина черные глаза. — Да, такие слова и не забываются: «Мир хижинам, война дворцам!» Хорошо сказал гражданин Гейне!

— Это, по-моему, слова Карла Маркса,— остановил горбуна Азин. — По-вашему, что, Маркс обокрал Гейне?

— Великие не воруют, великие заимствуют. Между прочим, Гейне позаимствовал эти слова у гражданина Шамфора. Вот так-то! Сел я вдругорядь за «мир хижинам, война дворцам»,— вернулся к прерванному рассказу горбун,— и опять судьба свела меня с Леонидом Петровичем. В одной камере год отбоя-

рили. Тогда-то и создал Леонид чудесную свою песню. — Лутошкин наморщился, кривя толстые губы. — Удивляюсь силе духа человеческого, мужеству ума его поражаюсь. Ведь Леонид Петрович — и чахоточный он, и жандармами искалечен, и тюрьмою придушен, и еле-еле душа в теле,— зато какая душа! — Глубокий бархатистый голос горбуна зазвенел нежностью и восторгом. — Как сейчас помню — сидел он на нарах, барабанил пальцами по доскам, насвистывал мелодию, а что за музыка получилась, что за слова родились! Мы его песню наизусть разучили, из камеры в камеру перестукивали. Когда же погнали нас в ссылку, с этой песней мы и пошли...

— Вы помните песню? — живо спросил Азин.

— Начисто позабыл. Меня за нее так часто били, что каждое слово вышибли. Загнали нас в вятские леса, и мы будто среди волков оказались. Кулаки, купчики, монахи — попробуй-ка им — мир хижинам, война дворцам. А ведь пробовали, дураки! Я одному кузнецу, за сельского пролетария его принял, стал «Коммунистический манифест» растолковывать. Ох и бил же он меня! До сих пор его кулачищи в глазах рябят. За что меня только не колошматили! За Гейне лупили, за Маркса хлестали, за графа Толстого молотили... — Лутошкин смолк, и грустное спокойствие разлилось по морщинистому лицу его.

Из дубовых рощ, из сосновых боров вставали тучи. По черному, круто изогнутому горизонту играли сполохи пока еще бесшумной «воробьиной» грозы. Пароход шел у берега — около палубы проплывали алые ягоды дикой малины, был виден сероватый сумрак в зарослях папоротника, белыми звездами подмигивали ромашки. Азин заметил на берегу родничок: вода в нем вздымалась и опадала.

— Как сердце родник-то,— сказал он и, услышав иволгу, внутренне сжался от ее прощального стона. А пароход уже шел мимо глинистого обрыва, просверленного аккуратными дырами. Их было множество — почти из каждой выносились стрижи, словно живые черные молнии; Азину стало жалко быстрых стрижей,— может, он уже никогда не увидит этих, именно этих отчаянных птичек.

Обрывы сменялись песчаными косами, заросли ежевики соснами, похожими на колонны, окрашенные охрой. И Азину померещилось, что плывет он в какие-то неясные, бесконечные дали, озаряемые сполохами «воробьиной» грозы. Озирая незнакомые вятские пейзажи, он мысленно уносился на запад, в маленький белорусский городишко Полоцк. Память его неожиданно зазеленела воспоминаниями: рыжим пятном промаячило городское училище, и новое видение встало перед Азиным. Он увидел себя на выпускном балу: из стенного зеркала смотрел на него юноша в щегольском костюме, под твердыми воротничками манишки чернела бабочка галстука. «На меня глазел розовощекий сосунок, сошедший со страниц рижского модного

журнала. Неужели он был мною?» — подумал о себе в третьем лице Азин.

Гроза обрушилась на речную флотилию: молнии прошивали реку, вода прищелкивала, пузырилась, кипела под ливнем. Береговые травы, алая малина, папоротники откидывались назад, и в страхе бежали, и все же оставались на месте.

Гроза отсияла, отшумела, свалилась за сосновый бор. Над отмелями и ярами повисли дымки испарений, травы заблестели, словно покрытые темным лаком.

Пароход еще настойчивее зашлепал плицами.

На корме забренчали котелками, запахло пригорелой кашей. Из камбуза на верхнюю палубу выбрался связной Азина — белокурый Гарри Стен — с котелками и сухарями. Ужинали молча, сосредоточенно, с наслаждением. Азин ел торопливо, Северихин с мужицкой степенностью, Лутошкин — бережно держа на ладони черный сухарь.

— Ничего не знаю вкуснее гречневой каши,— сказал он, облизывая деревянную ложку. Сладко, до хруста в костях потянулся, вытащил из кармана кисет. — А какими ветрами вас, юноши, занесло на вятскую землю? Хотя к чему спрашивать — ветра революции дуют над Русью и раскидывают людей, как пух.

На корме снова заиграла гармошка, и кто-то залихватски запел:

Ужо што это за месяц,
Колды светит, колды нет...
Ужо што это за милый,
Колды любит, колды нет...

— Брось ты, Васька, свои частушки! Сыграй настоящую песню, али не могешь?

— Мы вяцкие, все могем! — Гармонист яростно растянул алые мехи. Гармоника охнула, простонала и легко и свободно и очень торжественно вывела мелодию:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Азин и Северихин перегнулись через палубные поручни. Среди бойцов появился белокурый Стен. Вскинув руки, поддержал гармониста слабым серым голосом. Стену стали подтягивать, но неумело, робко: многие не знали ни слов, ни мотива. Нестройный хор не вздымал мелодию, слова беспомощно трепыхались над гладкой черной рекой. Азин, неистово любивший эту победоносную песню революции, подхватил мотив, но и его бесцветный баритон не помогал стать мелодии на крыло. Он покраснел от напряжения и злости — песня, реявшая, как знамя, над солдатскими окопами, сотрясавшая московские улицы, ведшая на штурм Зимнего,— песня не вспыхивала, не об-

жигала сердца. Азин покосился на Северихина — тот, не имевший ни слуха, ни голоса, лишь раскрывал беззвучно рот.

Необыкновенно глубокий, словно отлитый из сочного голубого металла, насыщенный болью, и страстью, и силой бас взлетел над палубой:

Долго нас в тюрьмах держали,
Долго нас голод томил...

Азина охватил сладкий озноб, почти болезненная радость потрясла его. И почудилось ему: сама земля со звучными всплесками реки, медным гулом сосен, рыжеватым свечением заката ожила в этом необыкновенном басе. Азин увидел, как встрепенулись, приподнялись бойцы, их нестройный хор окреп, мелодия приобрела уверенность, чистоту, силу. Собственный жидкий баритон стал неожиданно красивым и ярким. Азин не понимал, что его голос вошел, как струйка в родник, в чужой, глубокий и могучий.

Над вятскими берегами заторжествовала песня о свободе. Бойцы вложили в нее всю душу, все помыслы, все надежды. И эту песню вел, вздымая ее, ликуя в ней, освещая ее, поразительный бас старого горбуна...

Все, чем держалися троны,
Дело рабочей руки...

Горбун, похожий на сплющенный глобус, стоял в ивовом кресле, откинув голову. По впалым щекам его текли слезы, в глазах, не защищенных от человеческой боли, играло свечение заката. Азин очнулся от восторга и вдохновения, когда над рекой отзвенели последние слова:

И водрузим над землею
Красное знамя труда...

— Вот это песня! — выдохнул Азин. — Если бы ее создатель был в нашем батальоне, я берег бы его, как знамя.

— Он умер,— вздохнул Лутошкин.

— Кто умер? — не понял Азин.

— Леонид Петрович Радин. Создатель этой песни. Ведь это он написал ее в Таганской тюрьме...

— Что вы, Игнатий Парфенович! Создатель песни жив. Он только что был с нами...

Лутошкин наклонил косматую голову:

— Пожалуй, верно. Обыкновенные люди проходят по земле бесследно, но гении не умирают. Они не могут исчезнуть, даже если бы и хотели...

Вечереющая река приобретала винный оттенок, меркла, покрывалась пеплом. Сумерки становились темными, небо поднималось все выше, окрестности смазывались.

На палубе и в каждом закоулке парохода кучились бойцы. Азин проходил между ними, останавливался, расспрашивал о всякой всячине, но был недоволен собою. Он ведь еще не знал своих бойцов. Храбрец или трус развеселый гармонист Васька? Кто такой конопатый любитель прибауток — «эй, Ванчё, ты из Котельничё»? А белокурый, немножко нахальный Гарри Стен? Или единственный артиллерист при единственной пушке батальона? О чем он думает, на что надеется? Как покажут себя эти люди в первом серьезном деле? А он сам, Владимир Азин, то чересчур самоуверенный, то сомневающийся в своих способностях командовать полутысячной массой красноармейцев? «Хватит ли у меня ума, выдержки, смелости?» Мысль о собственной трусости не приходила ему в голову. Он мог испытывать страх, но думал: храбрость — это только преодоление страха.

Небо над правобережными холмами забагровело. Послышались всполошенные звуки набата, сразу наполняя тревогой и августовскую ночь и человеческие сердца.

— Горит Верхний Турек,— сказал Северихин. — Я ведь все тутошние деревни знаю.

Черные холмы, облитые зловещим багрянцем, ушли: флотилия обогнула длинный мыс, заросший тополями. Сквозь деревья мелькали кровавые языки огня; снова отчаянный колокольный звон, просекаемый редкими винтовочными выстрелами, рвал влажный, пропитанный ароматом сена воздух.

— А это горит Шурма,— опять сказал Северихин.

Всю ночь справа и слева на берегах вставали пожары, ревели колокола, хлопали одинокие выстрелы.

По нескольку раз в сутки над вятской землей проносились грозы, но не было после них ромашковой свежести, лесной, просвеченной солнцем тишины, чарующей ясности вод.

По деревням и селам проходили военно-продовольственные отряды, шныряли мешочники, беженцы просили милостыню. В чащобах прятались дезертиры. Мужики закапывали в землю зерно и тосковали, глядя на осыпающиеся поля. А рожь, а овес, а гречиху топтали сапоги все куда-то спешащих отрядов.

Приходили и уходили красные, появлялись и исчезали белые.

16

Время как будто бы уплотнялось.

Минуты становились часами, день казался полновеснее месяца. Трагические события рождались, взметались и распадались мгновенно, и сразу возникали новые, еще более трагические. То, что утром было ничтожным, к полудню вырастало до гигантских масштабов.

Красные сражались за власть с непреклонной уверенностью в исторической своей правоте.

Белые дрались за былое владычество и ускользающие привилегии с отчаянием и яростью обреченных...

В большом, обмершем от страха городе закрылись ставни, опустились шторы, замкнулись ворота. Аристократические и буржуазные кварталы ждали белых, пряча за шторами и замками свое нетерпение.

Небо, обложенное тучами, сотрясали орудийные залпы, треск пулеметов сливался с винтовочной стрельбой. Весь этот день над Казанью шумели ливни. Новая, необыкновенной силы гроза обрушилась на город: блеск молний сливался с орудийными вспышками, канонада и громовые раскаты перекрывали друг друга. Скользящая стена ливня, озаренная начавшимися пожарами, казалась то черной, то бордовой, крутые проулки превратились в водопады.

Долгушин шел к университету. У старинного барского особняка споткнулся о кусок жести, перевернул его носком сапога. «Губчека. Вход по пропускам». Истоптал мягкую жесть, отшвырнул ее на мостовую.

За гранитными колоннами и в подъездах университета прятались мужчины в круглых шляпах, клетчатых костюмах. Долгушину показалось неловким стоять между ними, он прошел в университетский сад. Каменная ограда белела среди деревьев. Долгушин влез на ее верх. Под ним — заштрихованные дождем — темнели задворки с выгребными ямами, отхожими местами, конюшнями, лишь один полукруглый дворик лоснился черным асфальтом. Прикрывая его от городских улиц, высилась серая громада Народного банка. У ворот стояла пара лошадей, запряженных в телегу, широкие их спины курились дождем и паром. С телеги, груженной мешками и ящиками, стекала грязная вода.

Долгушин спрыгнул со стены во двор и опять приостановился. Звуки боя подавили веселое громыхание грозы. Вопли, визг, скрежет металла катились по улице: рукопашные схватки возникали на мостовых. С особым ожесточением красные и белые сражались у подъезда банка.

На улице с удвоенной силой затрещали винтовочные и револьверные выстрелы. Стреляли из окон вторых и третьих этажей, с крыш магазинов и ресторанов. В окнах мелькали женщины в чепчиках на спутанных волосах.

Из банка во двор выбежали двое красноармейцев.

Долгушин почти в упор застрелил первого красноармейца, другой уже влез на телегу, но поскользнулся. Падая, опрокинул на себя ящики и мешки: один из ящиков раскололся — желтые кругляшки хлынули на асфальт. Монеты сталкивались, позванивали, разбегались по двору, падали в кровавые лужицы, кровь гасила жирное их мерцание.

— Золото! — Долгушин наклонился над ящиком: сургучные печати с двуглавыми орлами захрустели под пальцами. — Боже

мой, золото! — Он стал сгребать липкие монеты в блестящую кучу.

За спиной ротмистра раздались чьи-то утробные вздохи: хромовый сапог наступил на грудку монет. Долгушин выпрямился: лысый человечишка растопыренными пальцами тянулся к монетам, а из ворот спешили новые личности.

— Не подходить! — взревел Долгушин, подняв винтовку красноармейца, щелкнул затвором. — Назад!

Люди попятились, но тут же стали обтекать Долгушина с боков. Он, повертывая винтовку перед собой, следил за их передвижением.

— Оцепить банк! Перекрыть все выходы! — раздался визгливый, но властный голос.

Во двор вошла группа военных. Впереди шагал жирный старик в генеральском мундире: от него так и несло превосходством начальника над подчиненными. Рядом с генералом шел долговязый человек в потертой офицерской шинели.

— Убрать всех со двора! А вы что тут делаете? — грозно спросил генерал Долгушина.

— Охраняю русское золото, ваше превосходительство.

— Долгушин? Сергей? — удивился офицер в поношенной шинели. — Вот неожиданная встреча! Не узнаешь?

— Как не узнать Владимира Оскаровича Каппеля,— без особого воодушевления ответил Долгушин. — Встретились действительно не совсем обычно, но так и полагается солдатам.

— Ротмистр Долгушин, ваше превосходительство. Однокашник по военной академии,— отрекомендовал полковник Долгушина.

— Очень рад! — поднес генерал пухлую белую ладонь к козырьку фуражки. — Рычков, Вениамин Вениаминович. — На бабьем, в жирных складках лице генерала уже расцветало упоение вернувшейся властью.

— Ваше превосходительство! — щелкнул каблуками и вытянулся в струнку Долгушин. — Я привез вам письма от князя Голицына из Екатеринбурга и от Евгении Петровны, моей матушки.

— Отлично! Давайте письма, поговорим попозже. Лучших рекомендаций о себе вы не могли бы представить. — Маленькие, глубоко посаженные глазки Рычкова обежали сверху донизу Долгушина. — Находитесь пока при мне, ротмистр. — Рычков направился к выходу, по пути советуя Каппелю: — В ста шагах отсюда, в гостинице, окопался штаб красного главкома Вациетиса. Не упускайте крупной дичи, полковник, она хорошо увенчает вашу казанскую победу. А я займусь охраной золотого запаса. Вы вернули белому движению не только силу и веру, вы возвратили ему русское золото. Этой вашей заслуги, полковник, Россия никогда не забудет...

Молнии уходящей грозы оплескивали ночное небо, на Проломной улице возле гостиницы громоздились баррикады, за ними мелькали рабочие, латышские стрелки, студенты. Матрос в разодранной тельняшке хлопотал у легкого орудия, изредка хлопали одинокие выстрелы.

В обширном купеческом номере собрались партийные работники, комиссары, чекисты. Среди кожаных курток и солдатских, подпоясанных ремнями гимнастерок пестрело женское платье: молодая, русоволосая, очень красивая женщина стояла у окна, следя за Вациетисом.

Сам же главком лихорадочно названивал по телефону. Уже десять минут пытался соединиться он со Свияжском, где была бригада латышских стрелков. Еще три часа назад Вациетис приказал бригаде спешить в Казань, а латышских стрелков все не было. Не дозвонившись, главком положил телефонную трубку, вытер ладонью пот с бритой головы и толстых щек.

— Связь со Свияжском прервана, где теперь стрелки? Что с ними случилось? — спрашивал себя Вациетис и в то же время словно обращался за ответом к присутствующим. — У нас есть еще в кремле сербский батальон, есть курсанты военного училища. Сербам я верю, как и латышским стрелкам. Я берег их на самый крайний случай. Иванов!

Из-за угла выступил бывший поручик.

— Иванов! Иди в кремль. Немедленно сербы и военные курсанты должны быть здесь, у штаба.

— Есть, сию минуту! — Иванов направился к выходу, но в дверях столкнулся с человеком, одетым в штатский костюм. Поспешно уступил дорогу.

— Банк захвачен белочехами,— сказал вошедший Шейнкман. — На пороховом заводе рабочие дружины разгромлены, часть их попала в плен, часть бежала за город. Надо эвакуировать штаб.

— Мы продержимся до прихода латышской бригады,— упрямо ответил главком.

— Тогда пусть уйдут лишние люди. Вы почему еще здесь, Лариса Михайловна? — подошел Шейнкман к красивой женщине. — Уходите, пока не поздно, в Свияжск. Там и ожидайте наших.

Пронзительно проверещал телефон. Вациетис снял трубку. По его сразу опавшему, растерянному голосу все поняли — случилось что-то непоправимое. Главком швырнул на стол телефонную трубку.

— Звонил комендант кремля. Сказал, что сербы перешли на сторону белочехов и захватили кремль. Военные курсанты тоже на их сторону переметнулись. Пока нас не окружили — уходите, я со стрелками прикрою уход.

— Скорей, скорей! — повторил и Шейнкман. — Я сниму рабочих и студентов с баррикады и вместе с ними пройду в Свияжск.

Над Волгой начинался мокрый рассвет; вместе с рассветом в городе начались расстрелы. Толпы лавочников, смешавшись с каппелевцами, проносились по улицам, город стал лагерем добровольных сыщиков, доносчиков, палачей.

Яков Шейнкман шагал мимо домов, оглашаемых выстрелами, женскими воплями, детским визгом. Отчаяние исказило почерневшее лицо его, он невольно сжимался при виде выволакиваемых на расправу рабочих. Противный крик заставил Шейнкмана оглянуться: из окна перегибалась баба и указывала на него растопыренной пятерней:

— Вот он — жидовский комиссар! Держите его, самого большого большевика...

Шейнкман кинулся было во двор, но его ударили сзади, опрокинули на землю. Били прикладами, пинали, рычали над ним. Чья-то сильная рука приподняла его и поставила на ноги. Короткие усики, румяные губы мелькнули перед глазами Шейнкмана и, словно маятник, заходил вороненый ствол револьвера.

Его повели по тем же, но уже новым, не знакомым ему, странно изменившимся улицам — пьяным от убийства и крови. Подталкиваемый штыками, он поднялся в гору, прошел через кремлевские ворота к солдатской гауптвахте. Заскрежетала ржавая дверь, звякнул замок, Шейнкман очутился в сыром сумраке одиночки. Серый квадратик окна с черным крестом решетки и внезапная, опасная тишина принесли тяжелое успокоение.

Он закрыл распухшие веки, опустился на грязный кирпичный пол. «Теперь все! Расстреляют!» Мысль эта не вызывала ни страха, ни сожаления и не касалась сознания — была она очень отвлеченной и бесконечно далекой.

Захотелось курить — в кармане оказалась размокшая папироса. Он пожевал ее разбитыми губами, выплюнул жвачку. «Неужели это последняя папироса в моей жизни?» — опять та же, но чуть измененная мысль не затронула сознания. «Где теперь жена? А сын? Он никогда не увидит меня, Эмиль. — На смуглом лице его проступили тусклые желтые пятна. — Не часто наша любовь к неизвестным людям распространяется на близких. Я любил Эмиля Верхарна — поэта и человека. Почему я говорю о себе в прошедшем времени? Не любил, а люблю, продолжаю любить. И его именем я назвал сына». Он рассмеялся, и боль в разбитых губах напомнила о действительности. И все же было смешно и странно, что он недавно читал лекцию о Верхарне. В такие дни читать лекцию о поэзии? А все же дух революции живет в стихах великих поэтов.

Он прижался к сырой стене, вытянул на полу ноги. И тут же вскочил, пошарил в карманах, нашел спичку. Глаза уже привыкли к сумраку, он выбрал место повыше, нацарапал крупными буквами: «Умру спокойно. Прощайте!»

Спичка выскользнула из пальцев, Шейнкман поежился, ощутив заплесневелый холод. Прошелся по камере — пять шагов от двери до окна. Заходил неторопливо, отсчитывая секунды, потерявшие свое значение. Воспоминания нахлынули неудержимо — поток их был и светлым и темным: мелочь теснила события значительные, смешное соседствовало с величественным.

Он увидел себя в Петроградском военно-революционном комитете и рядом Моисея Урицкого. И вереницу людей, еще переполненных страстями проигранной схватки. Проходили перед его внутренним взором защитники империи, апологеты буржуазной республики. Когда же это было? Год назад? Полгода? Позавчера? Вот стоит Прокопович — все еще дышащий гневом министр Временного правительства.

— Опомнитесь, господа! Временное правительство сотрет вас с лица русской земли. Вы захватили власть случайно и на какую-то парочку дней.

— Слепец! — отвечает министру Урицкий. — Прислушайтесь к гулу революции. — Урицкий распахивает окно, в кабинет со свежим невским ветром врываются слова:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

— Слышите? Какая сила теперь свалит нас?

Прокопович хватается за голову, сотрясается от рыданий.

— Вы обещаете не выступать против Советской власти?

— Обещаю...

— Отпустим, Моисей Соломонович?

— Юридический факультет не засушил вашего сердца, — усмехается Урицкий и тут же кричит на Прокоповича: — Уходите! И помните про свое обещание...

Шейнкман прислонился к двери. Хотел погасить свои воспоминания, но, против его воли, вставали все новые и новые картины. Возник еще один из временных — министр иностранных дел Терещенко. Он говорит легко и ласково, с приятным прищуром, пухлые пальцы поигрывают на животе. Пальцы прямо убеждают: спрашивайте, мы готовы, мы рады ответить на самые интимные вопросы. И уже нет Терещенко: на его месте, откинув косматую голову, стоит министр Кишкин. Пренебрежительно растягивает и роняет слова:

— Вы не имеете права держать в тюрьме членов Временного правительства. Вы расплатитесь за свой произвол...

Камера расширяется до необъятных размеров, переполняется людьми. Что за народ? Откуда? Сытые глаза царских санов-

ников, холеные щеки министров. Международные авантюристы. Английские шпионы. Французские дипломаты. Суровые латышские стрелки. Какие-то мальчишки в офицерских шинелях. Балтийский матрос в бескозырке. Мальчишки жмутся к матросу, губы их кривятся, готовые к плачу; посиневшие пальцы спотыкаются друг о дружку.

— В чем обвиняются эти, эти... — Шейнкман хотел сказать «ребята», но выговорил: — юноши?

— Их заставили стрелять по рабочей демонстрации,— ответил комендант.

— Кто заставил?

— Офицеры...

— Где же они?

— Успели скрыться.

— А эти не успели?

— Не успели эти. Мы хотели их расщелкать на месте, да вот он,— комендант тычет пальцем в матроса,— закрыл грудью. Его тоже взяли, как изменника революции.

— Вы действительно закрыли их грудью?

— Кого же еще?

— Кто вы такой?

— Боцман из Кронштадта.

— Я спрашиваю — почему вы их закрыли собственной грудью?

— Дети...

— Эти дети стреляли в рабочих...

— Их научили. Дети же...

Шейнкман понимает одно — невозможно поколебать веру этого матроса в справедливость и чистоту революции.

— Заберите этих детей! Разведите их по домам. — Урицкий страдальчески морщит губы.

— Юридическая наука учила меня бережному отношению к людям. А вас?

— Революция, Шейнкман, революция...

Черное, похожее на паутину окно заиграло вспышками, снова короткие выстрелы забили по стене гауптвахты. «Им все еще мало»,— подумал Шейнкман, вспоминая сцены белого террора...

Большевики, расстреливаемые на церковных папертях, и попы, благословляющие убийц...

Сивая, в растрепанных буклях дама, целящаяся концом зонтика в глаз раненого красноармейца...

Тела рабочих, выбрасываемых на офицерские штыки...

Волосатый лавочник, раскачивающий в ладони окровавленную гирю...

Разве можно забыть эти разорванные видения? Эти искаженные лица, кричащие рты, скрюченные пальцы? Шейнкман сполз на пол; в голове возник грустный отдаленный шум. Он слышал легкие всплески, чувствовал нежное покачивание, что-

то прохладное и ласковое гладило по щекам и дышало спокойно, легко, свободно. Его стали заплескивать сизые, блестящие изнутри волны, над головой появились обрывистые берега. Кедры карабкаются в бесконечное небо, их ветви раскачивают солнечный диск. Мягкий шум в голове усилился — зелено, успокоительно шумела тобольская тайга...

Он стоит — босоногий, исцарапанный — на речном берегу, перед детскими глазами двигается речной поток. Папоротники шевелятся над ним, словно мохнатые крылья; на плечи осыпается шелуха кедровых шишек. Белка беззлобно цокает, в березняке трещит кедровка. Таежный мир трав, птиц, зверюшек манит к себе; он идет по сырому песку, и следы наливаются водой, он обнимает кедры, и смола пятнает ладошки. Он гукает — тайга отзывается эхом...

Шейнкман поглядел на светлеющее окно камеры. «Мне поздно выяснять причины и доискиваться до корней нашего поражения. Остается мне подумать, мне остается...»

Зазвякали двери, завизжали железные запоры. Замок скрежетнул противной резкостью, в распахнувшейся двери появилась усатая физиономия.

— А ну, выходи!

Шейнкман вышел в коридор: рядом с часовым стоял поручик Иванов — вчерашний военспец из штаба Восточного фронта.

Заря еще занималась за кремлевской стеной, предвещая добрый августовский денек. Между стеной и гауптвахтой шла узкая, всегда грязная канава: Шейнкман еще вчера перешагивал через нее. Сейчас канава тяжело и густо чернела. «Это же кровь казненных»,— тоскливо подумал он.

Поручик Иванов вынул портсигар, постучал папиросой по крышке. Сказал голосом, переполненным скверной радостью:

— Зная вас как выдающегося деятеля казанской Совдепии, я решил оказать вам предпочтение. Я расстреляю вас отдельно ото всех. — Иванов бросил в рот папиросу. — Могу исполнить ваше последнее желание. Разумеется, если оно реально...

— Я хочу покурить,— неожиданно для себя ответил Шейнкман.

Пряча невольную дрожь в пальцах, он взял папиросу. Затянулся глубокой, последней затяжкой, посмотрел на сизую струйку. Швырнул папиросу к ногам поручика.

— Я готов...

17

Особый батальон приближался к Вятским Полянам.

В рыхлой предрассветной полумгле слабо шелестела вода, всплескивалась рыба; на луговых росных гривах вскрикивали дергачи; свистя крыльями, проносились над пароходами утки.

Азин с непроспавшимся лицом смотрел на бугристую, отлетающую от бортов реку, Северихин раскуривал фарфоровую трубку, седые от росы ракиты так и манили в свои сонные заросли Игнатия Лутошкина.

— Лодка! — показал на левый берег Северихин. — А в лодке человек.

Гребец, энергично взмахивая веслами, направлялся к пароходу. Пароход сбавил скорость, на палубу поднялся рыжебородый босой мужик.

— Бог в помощь! — поприветствовал он осторожно.

— Помогай бог! — вскинул ожидающие глаза Азин.

— Чай, красные? Так кумекаю? — Мужик цепким взглядом обвел пушку со звездами на лафете, знамя тяжелого бархата, прислоненное к капитанской рубке, Азина с красным шарфом на кожаной куртке.

— Кому красные, кому малиновые. Тебе какие по вкусу?

— Кто из вас Азин?

— А ты что за птица?

— Я вторые сутки его караулю. Известно нам, Азин с верхов сплывает.

— Кто же это нас ожидает? Я — Азин.

— Што-то дюже молод, товарищ, — недоверчиво прищелкнул языком рыжебородый. — Совсем ребенок ишо. Ну да по всему видно — свои. Зовут меня Федотом Пироговым, я — член Ижевского ревкома. Беда у нас такая, что и сказать невозможно. Советская власть в Ижевске свергнута,— бессвязно, перескакивая с одного на другое, сообщил Пирогов.

— Погоди, погоди,— остановил его Азин. — Кто свергнул Советы?

— Мятеж поднял руководитель союза фронтовиков — фельдфебель Солдатов. Вместе с эсерами и меньшевиками... Я обо всех тайностях не знаю. Почему мастеровой люд к белым перекинулся, растолковать не могу. А што правда, то правда — пошли мастеровые против Советов.

— Пролетариат восстал против диктатуры пролетариата,— нервно сказал Азин. — Что случилось в Ижевске, не пойму, хоть убей...

А в Ижевске произошло вот что.

Августовским вечером на квартире фельдфебеля Солдатова собрались гости: полковник Федечкин, капитан Юрьев и только что приехавший из Арска помещик Граве.

Гости пили, закусывали маринованными рыжиками, слушали разглагольствования фельдфебеля.

— У меня все на мази, господа милейшие,— постукивал вилкой по столешнице Солдатов. — В любой момент могу ухватить местных большевичков за горло. Пока вы раздумываете да

колеблетесь, я гряну во все колокола, и власть очутится в моем кулаке. В Ижевске четыре тысячи фронтовиков, это же сила, господа! — Правый выпуклый глаз фельдфебеля блеснул бутылочным стеклом, левый, всегда прищуренный, заслезился.

— Вот не думал, что мы колеблемся,— хитро рассмеялся Граве, глядя на широкоскулую, в пегих лишаях и родимых пятнышках, физиономию фельдфебеля. Все казалось ему нехорошо в фельдфебеле: и разные глаза, и хриплый голос, и толстые, жирные губы. Пугала и дикая сила, скрытая в Солдатове. — Я пережил гибель монархии, на моих глазах разрушается Россия, чего мне еще бояться? Не так ли, капитан?

— Совершенно верно, голуба моя,— согласился Юрьев и вежливо сплюнул.

— Монархия развалилась. Россия погибла! — вскрикнул Солдатов. — А кто виноват? Генералишки поганые, аристократишки паршивые погубили Россию. Белая кость, голубая кровь, мать их распротак! Да и государь император, извините меня за грубость, хрен моржовый!

— Ну хорошо, хорошо, власть мы захватим, а что будем с ней делать? — Капитан Юрьев повел кокетливыми глазами по собеседникам и поднялся из-за стола. В бурой шерстяной куртке, синих чулках до колен, в рубашке с накрахмаленным воротничком он походил на актера. Юрьев до войны и в самом деле выступал в провинциальной оперетте. — Так что же мы станем делать, когда захватим власть? — повторил он свой вопрос и сплюнул в кадку с фикусом. — Есть ли у нас политическая программа?

— Мой кулак — моя политика! Скинем Совдеп и объявляем Прикамскую республику. По рукам? — Солдатов протянул через стол правую руку полковнику Федечкину, левую — Граве.

— Я еще не дал согласия,— пожал протянутую ладонь полковник. — Такие дела да наспех! Мне совершенно неясно, что за республику вы задумали?

— Выпьем и закусим,— предложил Солдатов. — У меня питие не чета всяким шампанским, еда — хоть и простая, а сытная. Умеют все же вотяки первачок гнать — ясный, как ребячья слеза, а крепость — уу! — Фельдфебель взял рыжик, почавкал.— Слушайте, милейшие господа. Большевики обратят Россию в пустыню, а я хочу, чтоб Прикамская республика стала оазисом в этой пустыне. Каковы, спросите, границы ее? А вот,— Солдатов вилкой провел по клеенчатой скатерти черту. — Сарапул на Каме — граница с Уралом. Городишко Мамадыш на Вятке — граница с казанскими татарами. К северу, на Глазов, и к западу, на Малмыж,— граница с большевиками. За Камой — там башкиры, пусть устраиваются как хотят. Не мое дело! В Прикамье кто живет? Вятский мужик, вотяк, черемис, ну татарва еще — с мильон голов наберется. Народ смирный, послушный, мягкий. Перед начальством за версту шапку сдер-

гивает. И будем мы править в Прикамье как князья или, выражаясь по-нынешнему, как диктаторы. — Солдатов постучал вилкой о граненый стакан, приподнял ее над головой.

— Вы большой мечтатель,— скептически улыбнулся Граве. — В нынешние времена не существует такой политической алхимии, что превращает свинцовые инстинкты в золотые нравы. Распалась великая империя, а вы хотите создать Прикамскую республику. Смешно!

— Народу наплевать, кто им будет править. Мужик не станет бунтовать, ежели сыт, пьян и нос в табаке,— хрипло и как бы лесенкой засмеялся Солдатов.

— Россию нельзя распотрошить на сотню республик. Ну, представим, что Совдепия свергнута и власть у нас в руках. Ведь нам необходимо какое-то правительство. Политические партии, всякие там кадеты, меньшевики полезут к власти,— дипломатично возражал Граве.

— Меньшевиков перетоплю в пруду. Они же когда-то были заодно с большевиками.

— А левые эсеры?

— Перевешаю всех, кроме господина... — фельдфебель подмигнул капитану Юрьеву.

— В Ижевском союзе фронтовиков много офицеров. Среди них есть убежденные монархисты.

— Заядлых монархистов перестреляю...

— Я — заядлый монархист.

— Вы — статья особая. Нас связывает дружба, Николай Николаевич.

— Одних — к стенке, других — в пруд, третьих — на осину, а все равно останутся недовольные. Этих куда?

— Остальных зажму в кулак! — Солдатов растопырил поросшие рыжим волосом пальцы, сжал их. Пристукнул кулаком по столешнице: тарелка с закусками и стаканы подпрыгнули. — Всякий, извините за выражение, задрипанный политический деятель будет верещать только из моего кулака.

— Оригинально! — сказал Граве и подумал: «Я вышибу из него весь этот вздор, и он станет отличным орудием в борьбе с большевизмом».

— У вас, симпатичнейшие господа, светлые головы. И меня бог умом-силой не обошел. Мы не одну Прикамскую республику сочиним. Если хотите, мы Россию со всех сторон подпалим. — Солдатов свел в куриную гузку губы, правый глаз опять заблестел зеленым стеклом. — Все у нас на мази, обстановочка в Ижевске наи-бла-го-при-ят-ней-шая! Судите сами — председатель Ижевского Совдепа наш друг-приятель. Его заместитель — хитромудрый меньшевик — тоже с нами, а большевики себя расшатали. Против белочехов они чуть ли не всех рабочих отправили. Сейчас в Ижевске сотня, от силы две большевиков наберется,— Солдатов оскалил в усмешке острые, ко-

ричневые зубы. — В городе болтались всякие субчики, я их тоже прибрал. Четыре сотни фронтовиков на оружейный завод устроил как мастеровых,— он глянул в окно на синевший огромный пруд.

Крутые штопоры заводских дымов узорили неподвижную воду, старые тополя висели темными облаками, в камышах противоположного берега сочно и ало отцветал закат.

— Густо мы кашу заварим, а расхлебывать придется большевикам,— с неукротимым самодовольством закончил Солдатов.

— Не логично отталкивать политических деятелей, что на время могут стать союзниками,— заговорил полковник Федечкин. — Без эсеров нам не обойтись. Ижевские мастеровые за царскими офицерами не пойдут. Знамя не то! Нет, как хотите, не логично...

— Не все логичное умно. Противоречие — ломаный путь логики, говорил Карл Маркс.

— Маркса не читал,— снисходительно ответил Федечкин.

— Мне один политикан толковал: Маркс, дескать, писал, что рабочие — классовые враги капитала. Пролетариат, дескать, станет могильщиком буржуазов. Одним словом, рабочий класс — хребет большевизма. Кажется, логично?

— Допускаю долю логики,— согласился Федечкин.

— Вот по этой самой логике в Ижевске все будет наоборот. Как только мы захватим власть, оружейники перейдут на нашу сторону. Я ведь здесь почти каждого заводского знаю.

— Вы уверены, что мастеровые пойдут против большевиков? — пощелкал ногтем по стакану Юрьев и сплюнул.

— Пойдут! Да еще как пойдут — с красным знаменем, с лозунгами — да здравствуют Советы! Почти каждый оружейник — наполовину мастеровой, наполовину домохозяин. У каждого свой домишко, свой огородишко, садик свой. Он и маслом, он и мясом, он и медом торгует, охотничьи ружья мастерит и продает. Он в собственное дело, как в зеркало, смотрит. Спит и видит себя хоть маленьким, а господинчиком. Такие люди к себе гребут — не от себя. А собственное хозяйство, милейшие мои господа, как пуповина материнская, рвать ее — ууу! — осторожно надо. Мой дом — моя крепость, сказано кем-то, а большевики лезут в эти крепости, как медведи в улей. Они для нас славно поработали, комбедами да продотрядами сами себе могилу вырыли. — Солдатов распахнул окно: в душную, окисленную самогоном комнату ворвались розовый отсвет заката и голубой ветерок. — Полюбуйтесь заводом, господа. Каждые сутки по тысяче винтовок выпускает. Тридцать тысяч за месяц — сила! Пока мы с вами самогонку пьем да закусываем, с завода-то наши парни кто затвор винтовочный в кармане выносит, кто ружейный приклад под рубахой волокет. С миру по нитке — коммунистам петля! Инженеры там, начальники цехов, завод-

ские мастера тайному выносу не препятствуют. Им ведь братство и равенство нужны как корове седло. Пока вы, полковник, лишь самих себя аристократами величали, на таких заводах, как наш, рабочая аристократия выросла. Ей тоже хочется греться под солнцем. Любезнейшие мои, да посмотрите же на плотину. Завод — ниже пруда по крайней мере сажен на десять. Ежели непредвиденный случай, парочку бомбешек в плотину — сразу потоп! Можно одну бомбешку в пороховые погреба — и к потопу землетрясение. На все божья воля и мой кулак, господа дорогие...

В ту же ночь Ижевск получил известия о падении Казани. На квартиру к Солдатову прибежали Граве, полковник Федечкин, командиры тайных офицерских отрядов. Долгожданная и все же неожиданная весть захватила врасплох заговорщиков: нужно было что-то немедленно делать, а что — никто толком не знал. Каждый страшился проявить инициативу: лишь один Граве выжидающе наблюдал, чувствуя собственную необходимость в стремительно надвигающихся событиях.

— Белочехи в Казани. Приспело наше время. Как же без особого риска свергнуть Ижевский Совдеп? Нельзя же действовать очертя голову, без хоть какого-то плана? — спрашивал всех Федечкин.

— Мои фронтовики искрошат коммунистов в капусту,— лихо ответил Солдатов. — Накроем голубчиков прямо в постелях. Самое разлюбезное дело — нападать ночью и сзади...

В дверь нервно постучали, Солдатов сбросил крючок, в комнату ввалился Юрьев.

— Большевики собираются в здании исполкома. Искали тебя, полковник, приходили за мной, но я скрылся. Ревком не доверяет и союзу фронтовиков, и нам. Каждую минуту могут арестовать. Что теперь делать? — испуганно заговорил Юрьев.

— Драться, черт возьми! Гирями, ножами, кулаками! — взвизгнул Солдатов. — Господа офицеры, поднимайте фронтовиков. У нас же есть винтовки, у нас — сила!

— К винтовкам, между прочим, нужны патроны,— сказал полковник Федечкин.

Заговорщики суетливо выдвигали всевозможные планы и тут же отвергали их. Солдатов вогнал острие кинжала в стол, стиснул в кулаке костяную ручку.

— Суки вы все! Говнюки трусливые! Еще шагу к цели не ступили, а уже...

— Господа! — властно сказал Граве. — Есть простой, но верный план действий.

— Какой? — Солдатов выдернул из столешницы кинжал.

— Капитан Юрьев сейчас вернется в исполком и потре-

бует созыва немедленного, чрезвычайного митинга. Пусть ударят в набат, поднимут на ноги всех. Под набат люди сбегутся за полчаса. И пусть на митинге коммунисты командуют; пусть создают боевые дружины, и тут же раздают оружие, и немедленно посылают добровольцев в Казань. Надо сделать так, чтобы коммунисты выехали из Ижевска. Тогда и город и завод попадут в наши руки без боя.

— Это хорошо! Это даже остроумно,— радостно согласился Юрьев,— но большевики не дадут оружия кому попало, тем более союзу фронтовиков.

— Мой план,— спокойно возразил Граве,— основан именно на этом отказе. Тогда Солдатов выступит на митинге. Он скажет — фронтовики тоже отправляются на борьбу с белочехами — и потребует оружия. Если большевики откажут — союз объявит их предателями Советской власти.

На рассвете тяжело, словно захлебываясь, загудел соборный колокол. Заревели заводские гудки, маневровые паровозы — от холодного металлического рева раскололась предрассветная тишина.

Сонные, полураздетые горожане спешили на просторную Михайловскую площадь: никто не знал, что случилось, но все догадывались — произошло что-то страшное.

Председатель ревкома Пастухов поднялся на трибуну и увидел фронтовиков, оцепивших трибуну, фельдфебеля Солдатова, продирающегося в первые ряды, служащих из конторы оружейного завода.

— Падение Казани — страшная опасность и для нас,— начал Пастухов.— Белочехи Казани и белочехи Екатеринбурга зажмут нас в клещи. Так можем ли мы быть равнодушными к судьбе революции и к собственной судьбе? — Голос Пастухова утратил свою спокойную ровность.

Над площадью носились неясные, но уже грозящие шумы, вскрикивал запоздалый паровозный гудок, хрипел медный бас колокола. Михайловский собор — суровый и темный — громоздился на зареющем небе.

— Я призываю всех рабочих записываться в добровольческие отряды,— призыв Пастухова утонул в яростном вопле.

— Открывай арсенал, раздавай винтовки!

Пастухов обрадовался мощной поддержке: не искушенный в политических хитростях — простодушное сердце,— он и не подозревал, что это кричат, возбуждая людей, фронтовики.

События на Михайловской площади развертывались, как и рассчитывал Граве. Гневные крики фронтовиков распалили толпу: над площадью засвистела метель противоречивых требований. Солдатов прыжком очутился на трибуне, вскинул над головой кулаки:

— Милые мои сограждане! Ижевские фронтовики встают на защиту нашей власти Советской. Подобно друзьям-товарищам коммунистам, мы пылаем желанием — бить белочехов. Волга-мать глубока, родная, в ней хватит места для всех врагов разлюбезной власти нашей. Я, красный солдат, требую — откройте арсенал, каждому из нас винтовку, и мы — на вокзал, мы — в вагоны, мы — на Казань! Вместе с дорогими коммунистами мы отдохнем только в Казани. Оружия, дорогие сограждане!

Тысячеголосый вой прокатился в утреннем воздухе: на Пастухова устремились жадные, жестокие, налитые злобой глаза. Он видел хищные рты, раздутые ноздри, вздыбленные ловкие, умеющие владеть винтовкой руки.

— Мы ждем оружия, дорогой партийный председатель,— повторил Солдатов.

Пастухов лишь теперь разгадал ловушку и понял таящуюся в демагогической речи фельдфебеля опасность.

— Уходящие на Казань получат оружие только в пути. В городе укрываются контрреволюционеры, партийный комитет и ревком не намерены вооружать врагов.

— Дорогие сограждане! — опять вскинул кулаки Солдатов. — Вы слышали, что говорит этот господин под видом милого товарища? Значит, это вы — враги власти нашей? Совет зовется Советом рабочих депутатов, а рабочие — его враги? Совет величается Советом солдатских депутатов, а солдаты — его враги? Мы — контра? Мы — предатели? Ловко, хитро! Нет, милейший господин Пастухов! Вот ты — изменник рабоче-крестьянской власти,— ткнул он кулаком в сторону Пастухова. — В арсенал, за оружием! — Фельдфебель спрыгнул с трибуны, кинулся к старинному, бесконечно длинному зданию арсенала.

Мятежники праздновали победу. Во дворе исполкома Солдатов чинил расправу над Пастуховым и его товарищами. Измордованные, исхлестанные шомполами коммунисты стояли, поддерживая друг друга. Перед помутневшими их глазами двоилась фигура Солдатова: фельдфебель пробовал пальцем острие шашки и ухмылялся, взглядывая на Пастухова.

На крыльце исполкома толпились офицеры: среди них выделялись полнокровный полковник Федечкин, напудренный, в бурой куртке и синих чулках, капитан Юрьев, всегда спокойный Граве. Солдатов взмахнул шашкой; сверкнув короткой молнией, она расщепила деревянные перила крыльца.

— Господин партийный председатель, вперед! — Опершись на шашку, фельдфебель встал перед Пастуховым — наглый, самодовольный, хмельной от победы. Они смотрели друг на друга: Пастухов уже отрешенными от жизни глазами, Солдатов правым — выпуклым и зеленым, левым — источавшим слезу.

— Не крепка, видно, разлюбезная Совецкая власть, господин

председатель? Слаба оказалась на ножки? — ласково спросил Солдатов.

— Поднимется снова Совет, а всех большевиков не перестреляешь...

— За мной дело не станет, лишь бы патронов хватило. — Солдатов приподнял шашку на уровень груди. — Спой, председатель, «Боже, царя храни», и вот тебе крест — отпущу к бабе под одеяло.

— Слова позабыл...

— А я подскажу. Повторяй: «сильный, державный, царствуй над нами...»

— Вот тебе боже царя! — Пастухов качнулся вперед и выхаркнул сгусток крови в пегую физиономию фельдфебеля.

— Плевок не пуля, не убивает. Тебе хочется легкой смерти? Не торопись на тот свет, там кабаков нет. Мешок! — крикнул Солдатов.

Кто-то швырнул к ногам фельдфебеля мучной мешок.

— Засуньте господина председателя в мешок. Завяжите веревкой и в колодец. Пусть висит до святого пришествия...

— Расстреляйте его — и все! — хмурясь, сказал Граве.

— Слабонервные могут удалиться. — Солдатов ждал с приподнятой шашкой, пока заталкивали Пастухова в мешок. Потом рванулся с места и начал сечь коммунистов: он рубил со всего плеча, приседая, ахая, матерясь. На губах его пузырилась пена, руки и грудь покраснели от крови. Обессилев от страшной своей работы, пошатываясь и спотыкаясь, Солдатов подошел к офицерам. — Я обещал искрошить коммунистов в капусту. Я своих слов на ветер не кидаю. Приказываю,— завизжал он,— начать облаву на коммунистов в городе, в деревнях, везде, где они укрылись. — Солдатов вытер окровавленную шашку о свой сапог. — Вы слышали? Кто посмеет возражать?

Граве спрыгнул с крыльца, подбежал к Солдатову, выдернул шашку из его подрагивающей руки.

— Успокойтесь! И не забывайте, здесь любой офицер старше вас чином. — Совиные глаза Граве презрительно сузились. — Убивать, даже своих врагов, надо опрятно.

— Что, что, что? — растерянно забормотал Солдатов.

— Я сказал — убивать надо опрятно.

Союз фронтовиков объявил, что власть в Ижевске переходит в руки Прикамского комитета Комуча. Командующим войсками Народной армии Комуча был назначен полковник Федечкин, фельдфебель Солдатов стал начальником контрразведки, а капитан Юрьев с группой офицеров отправился свергать Советы в Воткинске.

Граве долго беседовал с полковником Федечкиным и фельдфебелем Солдатовым. Бывший полковник генерального штаба и очень богатый человек, он внушал главарям мятежников невольное почтение; все они тихо трепетали перед ним. Федечкин

знал Граве еще со времен мировой войны, а Солдатов был польщен знакомством с дворянином.

— Мы захватили власть в прекрасной политической обстановке. Судите сами: Казань наша, в Архангельске англичане, князь Голицын из Екатеринбурга вот-вот двинется на Каму,— говорил Граве. — Союзники и чехословаки помогут нам, но воевать с красными мы должны сами. Сами, господа, сами! И побеждать еврейско-немецкий большевизм придется все-таки нам. А для победы мало шумливых фронтовиков, нужны полки и дивизии. Большевики сумели развалить старую царскую армию. Я повторяю — только армия, спаянная железной дисциплиной, послушная своим командирам, победит большевизм. — Граве произносил свои аксиомы с видом глубокого знатока, Федечкин и Солдатов почтительно слушали. — Пока не задавайтесь никакими социальными реформами. Не давайте спуску большевикам, но не устрашайте без нужды рабочего с мужиком. Безумны и жалки те правители, что беззаконие превращают в закон, произвол делают правом, казнями укрепляют общественные устои. Не только народ, даже отдельные личности нельзя устрашать бесконечно. Но для коммунистов не должно быть ни жалости, ни пощады. Или мы их возьмем за глотку, или они нас. На русской земле может быть только один цвет времени: или белый, или красный.

В ту же ночь Граве выехал на Вятку, в свое поместье. Он пообещал вернуться с большим и хорошо вооруженным отрядом членов союза «Черного орла и землепашца»...

Вот что происходило в Ижевске в начальные дни августа.

Обо всех этих событиях Азин и Северихин не имели ни малейшего представления. Из сбивчивого рассказа Федота Пирогова они уяснили одно: мятеж из Ижевска перекинулся в Воткинск и Сарапул, но еще не успел распространиться на правый берег Вятки. Вятские Поляны не заняты ни ижевскими мятежниками, ни белогвардейцами из Казани. Азин решил немедленно занять Вятские Поляны.

Началась высадка. Цокот копыт, стук орудийных колес, тревожное лошадиное ржание, возбужденные солдатские голоса сразу наполнили полевую тишину. Никто в селе словно не замечал появления Особого батальона.

Азин послал Северихина с ротой пехотинцев занять село и пристань, а сам с кавалерийской сотней помчался на вокзал...

Из окон спального вагона вылетали синие куски бархата, оранжевые лохмотья плюша, зеленые ковровые дорожки. Над перроном порхал пух из вывороченных подушек, шелковые шторки пучились в мазутных лужах, жирно сверкали осколки

зеркал. Под ногами толпы хрустели растоптанные абажуры, пепельницы, дверные ручки; в белом эмалированном унитазе дотлевала папироса.

В дверях мягкого вагона стояла крутозадая бабенка — серые гетры обтягивали ее ноги, плюшевая юбка алым колоколом покачивалась на бедрах. Из-под широкого лакированного ремня выглядывал наган, кокетливо украшенный розовым бантиком, на черных веселых кудрях топорщилась заломленная папаха.

— Краля ты наша, Авдотья Ивановна! Развесели боевую душу. Дай чево-ненабудь горло прополоскать!

Бабенка колыхнула алым колоколом юбки.

— Ванечка, подай четвертную! И чарочку комиссарскую высунь...

За ее спиной вырос мужчина в бухарском халате, узорчатых ичигах, с пестрым полушалком на шее. Жирная, в рытвинах физиономия лоснилась от зноя и хмеля. Прижимая к животу четвертную бутыль, он скомандовал:

— Подходи причащаться...

Ликующую очередь возглавил матрос, подпоясанный пулеметной лентой, за ним парочка сербских цыган в рваных гусарских ментиках. За цыганами встали чернобородый долговязый мужик, носатый и лупоглазый грузин в черкеске и одних грязных подштанниках. В конце очереди оказались четыре женщины в кожаных нараспашку куртках.

— Нашим мадамам конфетов кинь, Ванечка...

— Хто на золоте сидит, тот серебра не просит,— отрезал Ванечка.

Авдотья Ивановна сошла на перрон, подбоченясь, пристукнула каблучками.

— Вдарь чечетку, Дуся! Покажи, как белые раки становятся красными,— попросил матрос, подсовывая ладони под пулеметную ленту.

Послышался цокот копыт, и тотчас показались всадники. Ванечка, Авдотья Ивановна, грузин в черкеске, чернобородый мужик оказались под дулами маузеров.

— Не шевелиться! — приказал Азин. — А теперь здравствуйте! С кем имею честь?

— Отряд анархистов имени князя Кропоткина,— ответил Ванечка, запахиваясь в бухарский халат. — Уберите ваши пушечки, граждане. Ежели самогончику, то у меня для гостей — душа без костей.

Азин спрыгнул с седла и, раздвигая маузером анархистов, подошел к Ванечке.

— Слазь! — ухватил его за полу халата, сдернул на перрон. — Обыскать всех, Стен! Разоружить! — Азин вскочил на вагонную площадку, исчез в тамбуре.

Он заглядывал в купе с ободранными диванами, разбитыми зеркалами, вывернутыми дверными ручками. В глаза бросилось

полотнище с кудреватыми черными буквами: «Бить белых, пока не покраснеют. Бить красных, пока не побелеют».

Азин вышел из вагона, остановил тяжелый взгляд на Ванечке, на чернобородом мужике.

— Значит, здесь все анархисты? — недобро спросил он.

— Боевой отряд имени князя Кропоткина,— услужливо повторил Ванечка.

— А кто вожак?

— А ты что за цаца мое фамилие выпытывать? Меня, как Пушкина, зовут-величают. Небось слыхал про Сашку Сергеича?

— Выйди из строя! А ну, выходи, Азин дважды не повторяет. А ты что за личность? — обратился он к чернобородому мужику.

— Господин товарищ комиссар! Я — не анархист, я арский коммерсант Афанасий Скрябин. Не белый, не красный, самый обыкновенный. По своим делам сюда приехал и попал как петух в котелок.

— Становись рядом с Сашкой Сергеичем. Он тоже не признает ни красных, ни белых.

— Я же партикулярный, я же купец...

— С партикулярными не воюю. Снимай штаны!

— Чего изволите-с?

— Штаны, говорю, снимай. И ты, боров! На колени! Оба! — зашелся руганью Азин. — Помоги им, Стен.

Стен сорвал с плеч анархиста бухарский халат: на жирной спине заиграла неприличная татуировка. Азин протянул руку, догадливый Стен сунул ему в ладонь нагайку. Азин стал осыпать ударами татуированную спину Ванечки, вздрагивающий зад Скрябина.

— Я тебе покажу, как бить красных, пока они не побелеют. Ты у меня позабудешь имя-отчество Пушкина. А тебя, торгаш, научу отличать красных от белых!..

Лутошкин перехватил азинскую руку, выдернул нагайку. Тяжело дыша, Азин зарычал на Скрябина:

— Встань! Подтяни штаны и убирайся к чертовой матери!.. Мародеры! Расстреляю мерзавцев! Федот Григорьевич,— позвал он Пирогова. — Иголок и ниток. Пусть все, что содрали с диванов, на место пришьют.

Азин прошел из конца в конец станцию. На путях валялись опрокинутые паровозы, разбитые вагоны, вывороченные шпалы. Из погоревших хлебных складов тянуло дымом, с телеграфных столбов свешивались белые изоляторы, скрюченные кольца проволоки, из мазутных луж проглядывало скучное солнце.

Со Стеном и Лутошкиным поскакал он на пристань. Такое же волчье разрушение было и на пристани. Дебаркадеры наполовину погрузились в реку, всюду мокли мешки с пшеницей, крупами, сахаром. На песке валялись, распространяя запах зем-

ляники, куски туалетного мыла, в лужах конопляного масла тускнели кукморские, расшитые красными и черными нитями, валенки, сосновая живица смешалась с ячменным зерном.

Северихин разгонял толпы мешочников, красноармейцы выволакивали из воды мешки, собирали ящики.

— Все, что можно, спасайте. А хлеб? — окинул Азин взглядом штабеля мучных мешков. — А хлеб на пароходы и в Москву. Стен! — позвал он связного. — Ступай в село, подыщи помещение для штаба.

— Разрушение, всеобщее разрушение,— вздыхал Лутошкин, ковыляя за Азиным. — Кажется, вся Русь пошла по пути разрушения.

— Не вся, Игнатий Парфенович, не вся! Бросьте ныть да канючить, вы же умница, а прикидываетесь дурачком.

— Не тот дурак, кто умником себя почитает, а тот, кому все остальные дураками мерещатся.

— Любите вы говорить кудревато.

— Всякое время любит кудрявые фразы...

Азин зашагал на береговой обрыв, вздымая сивые клубочки пыли. Над рекой дрожало знойное марево, зеленые фермы моста скользили в струящемся воздухе, вода вспыхивала белесыми пятнами рыбьих косяков.

Азин всходил на обрыв, а под ноги опускались зеленые луга, сонные озера, сникшие дубняки. За протоками и озерами вставали леса, сочная синева их врезалась в дымное небо, и казалось немыслимым, что в тишине этих чащоб полыхает пожар ижевского мятежа.

Азин любил красоту земли. Красно-черные сережки бересклета, висящие над землей, родник, булькающий в траве, капля еловой смолы, ловящая солнечный луч, вызывали в нем нежное изумление. Еще на школьной скамье он мечтал стать лингвистом — звуки чужого языка вызывали желание постичь смысл незнакомых слов.

Все сложилось не так, как мечталось. Война, окопы, человеческая кровь огрубили Азина. После революции мир разделился на белое и красное. Только эти два цвета воспринимал он,— никаких тонов, полутонов, светотеней. Красное — то, что было придавлено, работало, страдало, а теперь приподнялось с колен и требует своих прав. Белое— то, что не позволяет подняться с колен красному.

Азин пока жил чувственным восприятием событий, интуитивно усваивал явления, скрытый смысл которых еще был неясен и более опытным людям.

— Свобода,— говорил он себе и понимал могущество этого слова.

— Равенство,— произносил он, и сразу же возникали вопросы.

Равенство всех? Богатых и бедных? Равенство ума и глупости, гения и бездарности, творца и твари, героя и труса? И это странное равенство не воспринималось им, как не улавливаются очертания летящего облака.

В сизой глубине вечера склоняли черные головки подсолнухи, лиловели колючие шишки чертополоха, пыль неслышно оседала на листьях крапивы. Густо и грустно пахло полынью.

Азин и Северихин шли по дороге. На обочинах сухо позванивала колосьями перестоявшая пшеница; Азин провел пальцами по усатому колосу — в ладони остались теплые зерна.

— Погибает хлеб, а в Москве, в Петрограде лебеду в мучку подмешивают...

— Ныне лето урожайное. А вот старики говорят — в будущем году жди недорода. Земля-то не любит, когда ее не охаживают. Серчает земля,— ответил Северихин и переменил разговор: — И когда же мы к ногтю буржуев прижмем? Кто только на мужика не вызверился: и буржуи, и кулаки, и чехи, и англичане. Выдержим ли, а?

— Воевать злее станем — выдержим. Посмотри на ижевцев — как сучки себя повели.— Азин сплюнул в дорожную пыль. — Может, из-за них перед революцией грешен.

— На каждом из нас грехов, как на черемухе цвету...

Смутный гул человеческих голосов хлынул из-за высокого плетня.

— На соборной площади шумят,— определил Северихин.

У собора толпились красноармейцы, мужики, бабы — происходил стихийный митинг: казанские беженцы рассказывали о белом терроре. Очередного оратора сменил высокий, рыжеволосый священник.

— Смотри-ко ты, попище,— удивился Северихин.

Священник поднялся на бочку, оправил холщовую рясу. Камилавка еле держалась на густой гриве, болотные сапоги были заляпаны грязью. Священник простер худую руку:

— Я есмь пастырь местного церковного прихода. Упросили меня мужики изречь свое слово — я не уросливый, согласился. И вот реку вам: Расея — мать наша многострадальная — на две половины раскололась. Трудящийся и страждущий народ к красным прислонился, а богатеи — к белым. А на чью сторону Иисусова правда перешла? Не знаете? Святая правда к Ленину подсунулась, ибо он за простой люд. И опять реку вам, дети мои, Расея, хотя на нее лезет двунадесять языков, непобедима, как на предмет ее квадратности, так и на предмет ее превеликих расстояний. Никому не надеть хомут на Расею, но, чтобы не лилась кровь православная, чтобы не терзали враги отечество наше, защищать его надо. А защита одна — большевики! А кто

есмь большевики? Они есмь красные апостолы, а самый первый апостол — Ленин...

Из толпы раздался чей-то молодой возражающий голос:

— А Ленин-то бает, бога-то нет? А ты баешь, Ленин — апостол? Что-то, батя, не так засупониваешь!

Священник боднул головой воздух, положил на грудь руку.

— Врешь! Я верно засупониваю! Но чтобы попусту не молоть языком, реку напоследок: защищайте Расею от всех, кто ее снова охомутать желает. А я, как пастырь ваш, пример подаю. Сан свой снимаю и добровольцем в красные подаюсь. Кто тут за самого главного комиссара? Али комиссары не пожелают с попом разговаривать?

— Нет, почему же? — Азин вышел из толпы, протянул руку священнику: — Я командир Особого батальона. Хорошо вы за Советскую власть агитировали. Только больно уж заковыристо; как это вы — Расея непобедима и на предмет ее квадратности, и на предмет ее расстояний? Не совсем понятно, простите, не знаю вашего имени.

— Отец Евдоким. А вятского мужика непонятными словами надо, как быка обухом, глушить. Ежели и не поймет, зато уверует...

— Я приму вас, отец Евдоким, бойцом в батальон. Только и рясу скинуть придется.

— В рясе, сын мой, сподручнее мне. Посмотрят люди — поп! Плохи, скажут, у белых дела, коли священнослужители к красным поперли! Токмо так! К тому же я оной рясой свое невольное непотребство прикрываю,— отец Евдоким распахнул рясу — радужно засияли расшитые серебряными крестиками парчовые галифе. — Пришлось мне пасхальную ризу на штаны искромсать.

— Не возражаю и против рясы. А стрелять умеете?

— Утишек пощелкивал, глухаришек случалось.

Азин вынул маузер, небрежно прицелился, выстрелил в черное пятно на телеграфном столбе.

— Это, считайте, шагов за тридцать. Ваша очередь, отец Евдоким.

Поп осторожно принял револьвер, покачал на волосатой ладони, крякнул и, не целясь, вогнал пулю в пятно.

Добровольные эксперты кинулись к столбу, послышались одобрительные возгласы:

— Ай да поп! Командирскую пулю покрыл...

Азин спал, постанывая и вздыхая. Снились ему то задубелые, изрытые морщинами, то молодые, свежие, лица, то оскаленные лошадиные морды, снился сам он — в белой манишке и черном цилиндре. Он проснулся, приподнял голову, покосился на распахнутое окно. Из рябиновых кустов тянуло утренней

свежестью, сквозь двигающиеся полосы речных испарений мелькало бесконечное водное пространство. У самого горизонта дыбились горные кряжи, округлые вершины, высокие пики. Весь этот невозможный на Вятке пейзаж изумил его; еще не пробудившимися глазами смотрел он на утренние миражи, пока горные вершины не начали свертываться. Водная гладь вошла в свои берега, появились уже знакомые леса, песчаные отмели, горбатые пролеты моста.

На полу спали Северихин, Лутошкин, Турчин. Обхватив руками телеграфный аппарат, дремал у стола Стен. Азин покашлял. Никто не проснулся, лишь Стен пошевелил головой.

Азин соскользнул с дивана, взял из-под подушки маузер, вышел на крыльцо. На перилах вспыхивала крупная роса, в дорожной пыли копошились воробьи. Азин поднял маузер,— выстрел развалил утреннюю тишину. В одних подштанниках, но с наганами в руках выскочили на крыльцо Северихин и Стен.

— Что случилось? — тревожно спросил Северихин.

— Преступление! — Азин опустил маузер. — Другого слова не подберу. Что ж это такое? Дрыхнем без задних ног, даже часовых у штаба не выставили. Нас можно голыми руками перехватать. Северихин! Где твоя рота?

— На пристани, допоздна же работали.

— Бойцы на пристани, а командир черт знает где! Делают там что хотят, а тебе наплевать? Сейчас шестой час, почему меня не разбудил, Стен?

— Пожалел. Ты же двое суток не спал.

— Ну знаете ли, ну знаете ли! Я бы вас всех под военно-полевой суд, да не могу, меня самого надо судить. За то, что дисциплины с вас не требую. Сам, как девка, на чужой постели дрыхну.

Толкнув плечом Северихина, он вернулся в комнату. Остановился у телеграфного аппарата, огладил его ладонью.

— Откуда «юз»?

— С почты перенес,— быстро ответил Стен.

— Надо ловить штаб Второй армии. Хлеб у нас есть? Хорошо бы еще луковицу на завтрак.

Они завтракали на крыльце. Выхватывали горячую картошку из чугунка, перекатывая ее в ладонях. С крыльца хорошо просматривались холмы правобережья: по холмам вилась белесая лента Мамадышского тракта.

С холмов скатывались в сторону Вятских Полян пыльные облака. Они то сгущались, то редели — из разрывов появлялись лошади, брички, люди, слышались неразборчивые крики.

— Поднять кавалерийский эскадрон! Это же белые...

— Это свои,— возразил спокойно Северихин. — Вон красное знамя, бойцы с бантами на гимнастерках. Без винтовок топают,— видать, побросали.

— Надо выяснить, что за люди,— Азин, простучав каблуками по крыльцу, рысью направился к человеческой лавине.

Авангардные части Второй армии, переправившись через Вятку у Мамадыша, продолжали свое отступление на Вятские Поляны. Командиры — бывшие царские офицеры — или переметнулись к белым, или разбежались. В этой толпе беглецов были остатки пехотных полков, кавалерийских эскадронов, добровольческих отрядов, орудийных батарей, санитарные части, хозяйственные обозы. Измотанные, голодные, утратившие боевой дух, брели красноармейцы: одни побросали оружие и уже подумывали о дезертирстве, другие созревали для разнузданного грабежа. Головная колонна вливалась в пыльную улицу, когда появился Азин.

— Стой, стой! — раскинул он руки, словно хотел перекрыть улицу. — Что за люди?

Полный стремительности Азин на секунду приостановил беглецов. Еще не исчезнувшее чувство дисциплины и своей виновности и невольное любопытство задержали первые ряды.

— Из какой части? Где командир? — переспросил Азин.

— Из той, что драпает...

— Мы теперь сами командёры...

— Ходи вперед, чево уперся! — подтолкнули сзади черненького оборванного бойца.

Боец подсунулся к Азину, тот отстранил его рукой.

— Вятские Поляны заняты Особым батальоном. Я командир батальона. Я требую...

— Ослобони путю...

— Хватит с нас командиров-комиссаров.

— Пощупайте штыком этого свистуна,— посоветовал кто-то шершавым басом.

— Дерни поганца в хайло!

— На груди бант — в башке аксельбант.

— Щупай его штыком, щупай! — продолжал советовать бас.

— Кто скажет, что я трус и дезертир,— я вобью эти слова в его же глотку! — вспыхнул Азин.

— А ну-кася посторонитеся,— опять сказал бас. — Дайтекася я с ним покалякаю. — Из задних рядов вывернулся усатый боец; на лацкане кургузого пропыленного пиджака полоскалась малиновая ленточка. Приседая, почти приплясывая, держа за дуло винтовку, надвигался он на Азина. — Вот с тобой максималист покалякает. У него засвистишь и закланяешься.

Боец вскинул над головой винтовку. Азин отклонился, подставил ногу. Боец упал, Азин сорвал с него ленточку, наступил на винтовку: приостановившиеся было красноармейцы начали его обтекать.

— Товарищи!

Голос Азина потонул в матерщине, проклятиях, улюлюкании. Он попятился, прикрывая грудь винтовкой, но услышал

за спиной железное дребезжание колес. Из соседнего переулка вынеслась таратайка, лихо подлетела к толпе беглецов. Азин увидел Лутошкина, сдерживающего лошадей, Северихина с подпрыгивающим пулеметом. Зеленое рыльце «максима» уставилось на толпу. Азин рассмеялся облегченно и весело, а толпа опять закружилась на месте.

— Солдаты революции! Будем знакомы, меня зовут Азиным. С этой минуты считаю вас бойцами моего батальона. Равняйсь! — скомандовал он, легонько подталкивая красноармейцев. — Равняйсь, равняйсь, живее, живее...

В этот жаркий августовский денек Азин спустил с себя семь потов. А новые части Второй армии все прибывали, подходили и разрозненные группочки, и одиночки. Измотанные, пропыленные, пропахшие пылью и потом, но бодрые и довольные Азин и Северихин вернулись в штаб. Стен весь день устанавливал связь со штабом Второй армии.

— Как дела? — спросил Азин. — Разнюхал, где командарм-два, где штаб?

— С Мамадышем разговаривал — не знают, до Соколок, что на Каме, достучался — тоже в неведении. Посоветовали в Чистополь толкнуться.

— Чистополь что?

— Молчит. Ты проголодался?

Стен стал жарить на сковороде яичницу и ощипывать курицу. Запах еды раздразнил аппетит, Азин полюбопытствовал:

— Откуда курица, Стен?

— Старушка одна принесла. Пусть, сказала, полакомятся алые освободители наши...

— А деньги уплатил?

— Предлагал два листа «керенок», отказалась старушенция. Избу, говорит, такими деньгами оклеивать, да клопов не оберешься.

— Смотри ты у меня! Без денег ничего не брать!

— У нас и «керенок»-то кот наплакал, вон висят под иконами.

Азин сощурился на желтые, подсвеченные голубоватой краской листы: в каждом было по двадцать сорокарублевок.

Сели обедать. Стен подал жесткую, недоваренную курицу.

— А хлеба нет? — спросил Северихин.

— А хлеба нет.

— Кто у вас, сынки, за старшого? — раздался за окном тусклый голос. Привалившись к плетню, на Азина сердито смотрела старуха.

— Что тебе, бабушка? — спросил Азин.

— Вот он, каторжник! — взвизгнула старуха, показывая пальцем на Стена. — Курицу у меня стибрил! Нет на вас управы, христопродавцы...

Азин швырнул в лицо Стена куриную ножку, вцепился в его

белокурые волосы. Стен ловко вывернулся и, опрокинув стол, кинулся к выходу. Азин настиг ординарца около сарая, прижал в угол.

— Мародер! Подарили ему? Сейчас же отдай деньги старухе. Ведь надо же, а? — Азин еще что-то хотел сказать, но увидел человека, идущего к штабу.

Человек приближался вразвалочку, и независимый вид его, и разболтанная походка вызывали в разгневанном Азине подозрение. Босой, в посконных штанах, перепачканной рубахе, незнакомец все же не походил на деревенского парня.

— Здесь, что ли, штаб? Ходим-ходим, никто толком не знает. Цыганский табор какой-то,— заговорил он небрежно.

— С кем имею честь? — с ядовитой вежливостью спросил Азин.

— Командир Малмыжского добровольческого отряда Ахмет Дериглазов. Мой отряд вырезан белобандитами, я сам едва ноги унес. А сегодня утром меня татары раздели донага и деньги отняли. — Дериглазов оперся мясистой ладонью на перила крыльца.

— И это все?

— А что тебе еще?

— Командир, говоришь? А по-моему, трус! Дезертир! Документы?

— Порвал я свои документы.

— Документов нет? Нашел простачка; думаешь, я пасть раскрыл и басням поверил? Белогвардейский шпион — вот кто ты! Стен! Расстрелять эту белую сволочь.

— Сам ты сволочь! Кому ты пулей грозишь? Красному командиру! Ах ты, мать твою...

— К стенке его, Стен! Именем революции на тот свет его!..

Дериглазов продолжал неистово материться, хотя почувствовал тупую боль в затылке. Ему мучительно захотелось почесать затылок, но он только пошевелил пальцами. На улице показался всадник. Стен ожидающе вертел в ладонях наган, поглядывая то на Азина, то на побелевшего Дериглазова. К Азину подъехал Турчин, что-то стал говорить ему.

— Почему эскадрон без хлеба? — раздраженно спросил Азин. — Купи хлеба у крестьян...

— В кармане — вошь на аркане,— так же раздраженно ответил Турчин.

— И у меня не монетный двор. А будешь грабить мужиков, поставлю к стенке, как вот этого дезертира.

— Эй ты, бандюга! Сколько тебе денег надо? Полмильона хватит? — отчаянно заорал Дериглазов.

— А где у тебя деньги? — быстро повернулся Азин.

— У татар мои деньги. Я же говорю, а ты не слушаешь. Полмильона у меня татары забрали. До деревни — рукой подать.

— А вот мы твое слово проверим. Показывай дорогу...

Азин, Северихин, Турчин, Дериглазов мчались по тракту, сивая пушистая пыль взметалась за ними, медленно оседая на пшеничное поле.

— Где ж ты полмильона взял? — допытывался Азин.

— Из Малмыжского банка вынес. Полмильона, мильон ли,— не считал. Пока татары пачки делили, я ускользнул,— сверкнул на Азина молочными белками Дериглазов.

— А что, если врешь?

— А что, расстреляешь?

— Думаешь, целоваться полезу?

— Свинья ты после этого.

— Поговори у меня!

Появилась деревушка с деревянной мечетью на зеленой с белыми ромашками площади. Из дворов выскакивали татары в грязных передниках, засаленных тюбетейках. Азин остановился у пожарного сарая.

Дериглазов жарко заговорил по-татарски с лысым, белобровым стариком; тот кланялся и сокрушенно качал головой. Дериглазов сорвал со стены сарая пожарное ведро, поставил на середину улицы.

— Сейчас же деньги в ведро. Десять минут сроку,— суетился он между татарами.

Плотные, перетянутые красными резинками пачки ассигнаций падали в ведро. Татары возвращали деньги, боязливо пятились и кланялись. Азин сидел в седле, поигрывая плеткой, с добродушной усмешкой следя за Дериглазовым.

— Все? — спросил он у лысого татарина.

— Все, все, знаком. Сапсем все!

Они возвращались по вечернему теплому тракту. В отуманенных далях горели бесчисленные костры, отовсюду несло варевом, дымом, навозом, запахом человеческих сборищ. Всюду сновали странно одетые и полураздетые люди, из теплушек вырывались сочная ругань и хохот, на перроне сидели бойцы. Два паренька — первый в красном гусарском доломане, второй в татарском бешмете — боролись друг с другом. С появлением Азина ругань стихала, бойцы вставали.

Требуются долгие годы, чтобы юноши созревали в мужчин. Революция с ошеломляющей быстротой делает из них талантливых полководцев, тонких политиков, крупных организаторов. Дух революции словно находит в юности материальное свое воплощение, в то же время раскрывая и обогащая весь ее внутренний мир. И юность стремительно двигается в рост: так зерно, дремлющее под снегом, жадно и сильно прорастает с первыми зелеными лучами весны.

В этот напряженный августовский день революция подняла на свой гребень Владимира Азина — никому не известного командира Особого батальона. Двадцатитрехлетний латыш встал

во главе группы войск, объединив вокруг себя тысячи красноармейцев.

Самое поразительное во всем этом, может быть, то, что никто не уполномочивал Азина останавливать и на ходу переформировывать части Второй армии. Он останавливал бегущих именем революции, пулеметами Северихина, конницей Турчина. Срывающимся голосом требовал он у старших по возрасту людей подчинения, и они подчинялись ему. Одних увлекала его убежденность, других — железная решительность, третьих — жаркое красноречие. Четвертые уступали перед угрозой расстрела, пятые подчинялись потому, что привыкли подчиняться. Шестые видели в Азине отчаянного храбреца, а солдата всегда увлекает лихость командира.

18

В России есть географические точки, ставшие нетленными символами революции.

Петроград, Иркутск, Перекоп, Волочаевка — можно ли вытравить их из наследственной памяти поколений?

В заглавном ряду этих незабвенных названий стоит и Свияжск — заштатный городок на Волге, возле Казани. В августе — сентябре восемнадцатого года Свияжск явился неодолимой преградой для белых в их стремительном марше на Москву. У стен этой древней, построенной Иваном Грозным крепости выветрился наступательный дух чешских легионов, Романовский мост через Волгу у Свияжска не смогли перешагнуть офицерские батальоны Каппеля.

Вся республика пришла в движение, революционная атмосфера накалилась. К Свияжску спешили московские, петроградские, курские, витебские, вятские полки, губернские комиссариаты перебрасывали запасы оружия, провианта, медикаментов. Балтийский матрос Николай Маркин создавал в Нижнем Новгороде Волжскую военную флотилию. На Волгу под Свияжск спешили балтийские миноносцы.

В эти трагические дни часть русских интеллигентов жила в состоянии духовного столбняка, другая в замешательстве выжидала, кто победит. Были люди, вещавшие о гибели всей нации, хотя гибли только они сами. Были и такие, что исповедовали полную бессмысленность разумного существования. Появлялись и терпкие умы, использовавшие события в собственных интересах. По разным извилистым, прихотливым дорогам шли русские интеллигенты в революцию. Шли колеблясь, многое не понимая и не принимая.

Лариса Рейснер была одной из интеллектуальных душ, принявших революцию сразу, полностью и навсегда. Лихорадочная атмосфера Свияжска захватила ее, со всей страстью юности отдалась она революционной работе.

Утром она явилась к начальнику штабной разведки Пятой армии.

— Вы решили пойти в Казань? — спросил он, когда Лариса замолчала.

— Я знаю город, а в городе меня не знают. В этом мое преимущество. Я могу принести пользу нашей разведке.

— В случае провала вас расстреляют. — Он мгновенно и новым голосом спросил: — Что вы ищете в Казани, мадам?

Голос, тон, лицо разведчика преобразились. Ларисе даже показалось — перед ней высокомерный, хитрый, вкрадчивый агент царской охранки. Она поняла и подхватила затеянную игру:

— Ищу своего мужа.

— Почему вы решили, что он у нас?

— Муж вышел на улицу и не возвратился.

— К нам попадают только красные бандиты да немецкие шпионы.

— Боюсь, что муж стал жертвой красных.

Импровизация продолжалась долго. Начальник разведки задавал хитроумные вопросы, придумывал ловушки, придирался к замедленным ответам, упрекал ее в растерянности, смущении, неточности.

— Нам нужны умные разведчики. Артисты перевоплощения, гении конспирации,— говорил он. — Без преувеличений — гении конспирации. Вот Борис Савинков конспиратор неустрашимый.

— Я видела Савинкова,— призналась Лариса.

— Где? Когда? Вы знакомы с ним?

— Нет. Слушала его в Петрограде на каком-то митинге.

— Он произвел на вас впечатление?

— В уме Савинкову не откажешь.

— В мужестве тоже. Он доказал его террористическими актами против монархии. Теперь Савинков — наш очень опасный враг. Он скрылся из Ярославля, но я не сомневаюсь — он вынырнет и начнет новую авантюру. — Начальник разведки поднял воротник, голова стала похожа на косматый шар. Поискал в ящике стола порошок хинина. Сглотнул хинин, постучал зубами о край заржавленной кружки: опять приступ лихорадки. — А конспиратор Савинков — удивительный. Красным разведчикам надо учиться у него конспирации. С вами я пошлю связного Мишу. Все важное, все особенно ценное передавайте через Мишу. И будьте осторожны, Лариса Михайловна...

В мокрой от росы роще смутно отблескивали деревья, пахло грибами, схлопывал сонными крыльями тетерев. Тишина, как омут, засасывала рощу, и было странно ощущать это полное безмолвие после орудийной пальбы.

Спотыкаясь о корни, Лариса брела за Мишей; дымчатая,

покрытая слизью трава хлестала по голым икрам. Изорванные башмаки сваливались с ног, она сбросила их. Ступни обожгла роса, стало свежо и приятно. Вдруг ей подумалось, что в этом безмолвном мире нет никого, кроме их двоих, и нет ничего на земле — лишь одна тишина.

И никогда не было Петрограда, роскошной квартиры, литературного журнала, который она выпускала. Куда делись блистательные салоны, жрецы чистого искусства, мистические писатели, поэты из школы акмеистов? «Их солнце давно закатилось. Только узкая полоска полярного света на их небе»,— подумала Лариса.

Лесную тишину озарило лиловое пламя; невидимый снаряд пронесся в невидимом небе. Шипение уходящего в сторону Свияжска снаряда напомнило об опасности. Лариса посмотрела на свои белевшие в траве ноги.

— Пошли быстрее, чего встала,— поторопил Миша.

Они пробирались луговыми гривами. На блеклом горизонте кровенела пожарами Казань, над холмами правого берега стояли дымы, река отражала их свивающиеся тени. Миша решил проскользнуть в город ночью; они залегли на картофельном поле. Здесь уже была ничейная зона: совсем близко находились заградительные посты белых.

Ночью они снова побрели к городу. Шли, пока не очутились на околице какой-то деревушки. За изгородью темнело строение, из него доносились чьи-то слабые вздохи. Печальный, болезненный голос бормотал по-татарски. Миша вынул наган.

— Там женщина,— прошептала Лариса.

— Проверю,— Миша перекинул ногу через прясло.

— Не надо. Зачем привлекать внимание?

Отчаянный, почти звериный вопль разорвал тишину. Лариса сразу поняла — так кричит женщина в родовых муках. Она перевалилась через изгородь, обжигаясь и путаясь в крапиве, побежала на крик.

В сырой бане на полу корчилась молодая татарка. Забыв обо всем, Лариса стала помогать роженице.

— Я могу быть полезным? — спросил Миша.

— Стой и молчи.

Роженица, разметав на полу черные косы, все бормотала, но теперь уже мягко и нежно. Лариса взяла ее жаркие пальцы, ощутила слабое, благодарное пожатие. Она прижимала к груди новорожденного, чувствуя себя и смешной, и удивленной, и очень счастливой.

Ежедневно на ее глазах война уносила здоровых людей. Смерть ходила по городским улицам, деревенским проселкам. Умирали красные и белые, друзья и враги, но Лариса воспринимала человеческую гибель как неизбежность. Теперь она держала на руках трепещущий комочек — ту самую жизнь, во имя которой совершена Великая революция. Младенец, появив-

шийся в грязной бане, под горячечный гул гражданской войны, казался ей необыкновенным, сохранить эту искорку жизни казалось совершенно необходимым делом. Так она и стояла, чувствуя на щеках слезы, пока Миша не вернулся с татарином.

Благодарный отец предложил отвезти в Казань. Он вез их росистым утром через сосновый борок. Из дорожной колеи выглядывала куриная слепота, вдохновенно постукивал дятел, заря струилась с темной хвои. Татарин привез их в Адмиралтейскую слободу к своему приятелю: по капризу случая приятель оказался слободским приставом. Наморщив плоский лоб, он почтительно принял красивую даму и ее спутника, пригласил побаловаться чайком. За чаем пристав рассказывал, как новая власть восстанавливает старые порядки, расстреливает комиссаров, усмиряет мастеровой люд.

— Оно конечно, самому больно смотреть, когда арестуют людишек. Но ведь что поделаешь? Не признают люди богоданную власть. Вы, мадам, благородная дама, понимаете, не можно жить без властей законных. Как христианин соболезную человекам, а как представитель власти не имею права укрывать краснюков...

Лариса бродила по знакомым и неузнаваемым улицам с чувством тоски и страха. К страху примешивалась злость на белых победителей. «Боже, как хорош белый режим на третий день своего сотворения»,— иронически думала она, шагая по Воскресенской улице.

Магазины отсвечивали стеклами, в витринах скорбели портреты казненного императора, на заборах толстыми пауками чернели буквы афиш и приказов.

Со всех сторон напирали — умоляя, требуя, приглашая — декреты, объявления, воззвания.

Союз защиты родины и свободы требует...

Оперный императорский театр приглашает...

Союз воинского долга настаивает...

Торговая фирма Крестовникова покорнейше просит...

Военная лига обращается...

Георгиевский союз советует...

Среди буйных и тихих, аршинных и незаметных афиш выделялся приказ военного коменданта: «Приговорены к расстрелу, как бандиты, палачи и немецкие шпионы, нижеследующие большевистские главари...» Рядом с приказом лиловело воззвание Иакова — митрополита казанского и свияжского:

«ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, О ГОСПОДИ, ЧАДА СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!

Враг, изгнанный из пределов Казани, еще не побежден. Все, способные носить оружие, становитесь в ряды Народной армии. Спешите на борьбу, спасите святыни наши от поругания, город

от разрушения, жителей от истребления. Благословение Божие да пребудет на нас и граде нашем. Аминь!»

Лариса прислонилась к забору, повторяя про себя фамилии расстрелянных.

По улицам сновала успевшая привыкнуть ко всяким приказам и воззваниям толпа. Мимо Ларисы прошаркал аккуратненький старичок, в снежных сединах, светящихся из-под мягкой шляпы. Старичка закрыла каменная спина лабазника. Успокоительно прошелестел рясой священник, позванивал шпорами кавалерийский ротмистр. Промелькнул гусарского полка корнет в красном доломане и синих чакчирах: его красная с желтыми кантами фуражка, ботики с позолоченными розетками гипнотизировали стайку гимназисток. Проводив влюбленными взглядами корнета, гимназистки умчались. Появился усатый фельдфебель с выпученными, налитыми ржавчиной глазами, развратно и вкрадчиво улыбаясь Ларисе.

Она медленно прошла до кремля. Площадь перед Спасской башней и кремлевский двор были забиты войсками. На кремлевских стенах торчали пулеметы «кольт» и «виккерс», длинные стволы орудий глазели в утреннее небо. Кремль охраняли солдаты из сербского батальона и чехословацкие легионеры. Чехословаки были одеты в серые гимнастерки и брюки,— лишь бело-красные ленточки на фуражках отличали их от русских солдат.

На взвозе у кремлевских стен густела толпа. Нарядные дамы, черные и пестрые господа, гимназистки, юнкера окольцовывали трех русских богатырей. Лариса поморгала ресницами: нет, не ошиблась, действительно — витязи.

На грузных битюгах сидели артисты оперного театра, одетые в кольчуги, бронзовые шлемы, зеленые и синие татарские ичиги. Они изображали Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, но больше смахивали на толсторожих лавочников.

Перед оперными богатырями стояла коляска, покрытая ковром, на ковре — кучка серебряных колец, часов, сережек, золотой крест с распятым Христом. Над коляской полоскался плакат: «Жертвуйте в фонд помощи Народной армии!» Цветные дамы и черные господа умиленно вздыхали, по медным физиономиям богатырей струился пот.

Лариса все боялась встретиться с чем-то страшным, с таким, к чему нельзя прикоснуться. Это что-то казалось неосязаемым, скользким, опасным: самое неприятное было в том, что она не понимала, чего страшилась.

Мимо загромыхала телега, прикрытая рогожами: из-под рогож подрагивали мертвые ноги, полз тошнотворный запах.

— Какая вонь!

— Напротив, милочка, труп врага хорошо пахнет.

— Боль-ше-вич-ков, что ли, везут?

— На свалку истории, милочка...

Рейснер обернулась: рядом с ней разговаривали хилый юнкер и пухленькая, в персиковом пушке на щеках, гимназистка. Ее золотистую головку обтягивала повязка сестры милосердия. «Это уже не сон, а сама охваченная белогвардейским бредом Казань»,— тоскливо подумала Лариса.

С высот казанского кремля открывались могучие волжские просторы.

По реке — густой и синей — сновали канонерки, чадили пароходы, буксиры, вооруженные пулеметами, несли сторожевую охрану. Беззаботное небо дышало светлым покоем, и Ларисе захотелось грозы, и чтобы гроза шла из Свияжска, молнии полыхали бы с батарей Пятой армии. Резкое жужжание проникло в ее уши: по небу ползла безобразная, с двойными крыльями этажерка. На матерчатых крыльях — черные от высоты — маячили красные звезды. Рявкнули кремлевские пушки — пегие шары разрывов лопнули около гидросамолета. Летчик проскочил опасное место и выбросил стаю листовок.

Листовка, как добрая весть от своих, упавшая с неба, приободрила Ларису: она еще напряженнее, еще внимательнее подмечала все, что могло интересовать штабную разведку. Женское любопытство, обостренная восприимчивость поэта, внезапно появившееся чутье разведчицы помогали ей сейчас с особой силой.

19

КОМАНДАРМ-ДВА — АЗИНУ

«С получением приказа и всего, указанного в нем, в совместном действии со 2-й группой тов. Мильке конными и пешими силами развивать наступление на Казань...»

— Странная телеграмма. — Азин перебросил серую ленту Северихину. — Или я дурак, или командарм! Если мы стали первой группой войск, где находится вторая? Наступайте, наступайте, не дав опомниться врагу! Да мы белочехов еще и не видели. Развивайте наступление совместно с товарищем Мильке, а Мильке — личность пока мифическая. Да ты что, в рот воды набрал? — накинулся он на Северихина.

Северихин уминал в фарфоровой трубочке махорочный лист. Не спеша раскурил трубку, не спеша задымил.

— Не люблю обсуждать неясные вещи. Телеграмма прислана с пристани Соколки на Каме, а Соколки от Вятских Полян в ста верстах. Значит, не сегодня-завтра загадочный Мильке появится, а за ним и командарм.

— Кому нужен командарм без армии? — Азин остановился перед Северихиным, поправил кавказский с серебряными насечками ремешок.

— Ты хоть папаху сними, жарынь! — посоветовал Северихин.

— Я спрашиваю — можно ли слушаться командарма, потерявшего право командовать?

— Командарм назначен Высшим военным советом. Ты обязан подчиняться ему.

— Да ведь никаких приказов нет.

— Есть телеграмма о высылке приказа.

— Я не желаю ждать.

— Торопливость хороша при ловле блох, Азин. Тебе никто не позволит самовольничать...

— Ну, знаешь ли! Не ожидал!

— Я хочу с тобой по душам покалякать,— Северихин подправил усы мундштуком трубки. — Что-то, Азин, ты перестаешь мне нравиться. Неожиданная власть ударила тебе в башку — еще ничего не совершив, ты уже воображаешь себя наполеончиком. Бонапарт волостного масштаба!

— Наполеончик? Волостной Бонапарт? Врешь!

— Ты ведешь себя будто анархист.

— Я борюсь с анархистами. Я собственной рукой расстреляю мародера или труса...

— Расстрелять человека — дело не хитрое.

— Трусов щадить? С мародерами цацкаться? Дезертиров гладить по головкам? Я действую именем Революции против ее врагов. Не ожидал от тебя, не ожидал! — Азин сорвал с головы папаху, швырнул в угол, выскочил на крыльцо.

Из сумерек проступали серые пятна берез, река была тусклой и скучной. Грязно дымили пароходы. Всюду виднелись людские толпы — разношерстные, разномастные, расхристанные. Слышалась похабная ругань, бабий визг, жирные шепоты.

Азин постепенно успокоился. Стычка с Северихиным показалась досадным недоразумением. С низовьев донесся характерный шум пароходных колес. По дробным звукам, гулко отлетавшим от воды, Азин догадался — идет несколько пароходов.

В полночь выяснилось: к Вятским Полянам подходит вторая группа войск Мильке. С Мильке прибыл и назначенный начальником штаба при группе Азина бывший штабс-капитан Шпагин. Мильке со скучной серьезностью изложил Азину приказ командарма-2:

— Надлежит совместными усилиями двух групп начать наступление на Казань. Под прикрытием тяжелой и легкой артиллерии надлежит занять село Высокую Гору, что вблизи Казани. Выбив из села противника и укрепив позиции, надлежит дать передохнуть войскам. Надлежит также выделить сильную разведку для выяснения сил противника. После всего этого нам надлежит...

— В штабе армии не знают, что на путях от Вятских Полян до Казани есть городишко Арск. По моим сведениям, его

вот-вот займут белые. Я не хочу доставить им этого удовольствия,— сказал Азин, оборвав скучную речь Мильке. Ему не понравился вялый, придавленный вид командира второй группы войск.

Азин занял городок Арск и железнодорожную станцию. На вокзале его почтительно встретил обрюзглый человек с толстыми бараньими губами.

— Воробьев, начальник станции,—отрекомендовался он.— Эшелонам дальше пути нет, за Арском железнодорожное полотно разобрано. А в Высокой Горе белые.

— Советы в городе здравствуют? — спросил Азин.

— Попрятались, да так, что с собаками не сыщешь,— с легким презрением ответил Воробьев.

Азин не обратил внимания на презрительный тон Воробьева, его отвлек Северихин.

— Неподалеку от Арска, в селе Зеленый Рой, бунтуют кулаки. Комбедчики к нам за помощью человека прислали,— сообщил Северихин.

Над большим цветущим селом носился пепел, пахло гарью, у ворот усадьбы помещицы Долгушиной чернели виселицы. Тела повешенных уже были сняты — семь обезображенных, вымазанных дегтем, осыпанных перьями трупов лежали у каменной ограды.

— Бандиты скрылись? — спросил Азин, подходя к толпе мужиков.

Мужики зашумели, заговорили, перебивая друг друга:

— Кое-ково успели перехватить...

— Маркела-мельника взяли, братьев Быковых повязали.

— Ишо Афанасия Скрябина, он хотя и в сторонке был, задержали...

— Афанаску-то зря засупонили. Мужик смирной, комбедчиков не касался.

— Верховодили всем братья Быковы. С них и заглавный спрос.

— Где арестованные? — остановил мужиков Азин.

— В барском доме заперты. Андрюшка Шурмин с револьвертом стоит.

Азин зашагал по песчаной аллее к барскому дому,— мертвые лица комбедчиков словно следовали за ним.

Азин остановился на ступенях, между колоннами, приказал Стену:

— Приведи арестованных. Я сам стану допрашивать.— Открыл парадную дверь, очутился в большом зале.

Сквозь синие портьеры пробивался рассеянный солнечный свет. Мраморные статуи были теплыми и розовыми, японские вазы казались странными тропическими цветами, на дубовом

паркете слоилась пушистая пыль, позолоченные рамы затянула паутина.

Азина провожала темная цепь портретов. В глазах зарябило от кружевных воротников, расшитых мундиров, платьев, каштановых, черных, рыжих париков. Строгие, надменные, осуждающие физиономии. Вкрадчивые усмешки. Лакированные глаза. Упрямые рты. Гусарские усы. Давным-давно истлели кости этих людей, но портреты отбрасывали на Азина свои неподвижные тени.

Под портретами были развешаны дуэльные пистолеты, кавказские кинжалы, старинные пищали. На одной из пищалей церковнославянская надпись горделиво напоминала: «С оной боярин Никита Долгушин ходил с государем всея Руси Иваном Васильевичем Грозным в казанский поход. Знай, потомок, сие и помни о сем».

Азин хлопал дверями гостиных, спален, кабинетов; с потолков осыпалась известковая пыль, в углах лежала коричневая труха, красное дерево мебели пучилось от сырости.

Азин проходил через этот ненавистный ему мир вещей, предметов, произведений искусства и все же волновался. Бронзовые амуры целились в него из маленьких луков, в длинных, красного и черного дерева футлярах угрожающе хрипели часы, люстры сердито переливали хрустальные подвески. Рыцарь в заржавленных латах перекрывал шпагой дорогу.

В Азине снова боролись два цвета времени: красное с пронзительной резкостью отделялось от белого и требовало возмездия. Все, что принадлежало белому цвету, вызывало яростное желание ломать и бить. Ему хотелось стрелять в лакированные глаза и напудренные парики, сшибать с постаментов алые и синие вазы, опрокидывать ломберные, в перламутре и позолоте, столы.

Азин распахнул дверь еще одного кабинета: за письменным столом сидел Стен, в углу кучились арестованные. Около них стоял Шурмин, сжимая в руке потный «бульдог»; тут же на кожаном диване валялась разорванная гармошка.

Азин сел рядом со Стеном, поставил на стол локти, уперся ладонями в подбородок. Обвел темными глазами арестованных: рыжие братья Быковы, безбровый и безбородый, с изрытой оспинками физиономией Маркел-мельник. Узнал долговязого Афанасия Скрябина, которого он выпорол в Вятских Полянах. Задержал взгляд на разодранных алых мехах гармошки.

— Почему гармонь? Для чего она здесь? — Собственный голос казался Азину неприятным и черным.

— Когда эти подлецы петли на комбедчиков накидывали,— показал Шурмин на братьев Быковых,— Маркел-то на гармошке «Вы жертвою пали в борьбе роковой» играл. Может, откажешься, сука? — подсунулся Шурмин к мельнику, перекладывая револьвер из правой ладони в левую.

— Жалею, Андрейка, не удалось сыграть и тебе отходную,— ответил с наглостью обреченного и не ждущий спасения мельник.

— Выведи их пока, Шурмин, кроме этого долговязого.

Азин снова, уже пристальнее, поглядел на Скрябина.

— Партикулярный коммерсант, не красный, не белый? Так? — спросил Азин.

— Так, гражданин товарищ.

— Я тебе не товарищ. Рассказывай, как все происходило?

— Я к самосуду не причастен. Расправу чинил Маркел да братаны Быковы, а мне еще с соседями жить...

— Не путай следов, не заяц.

— Говорю, как на исповеди, батюшка мой.

— При аресте комбедчиков били?

— Маркел-то Спиридоныч тяжел на руку, и братаны Быковы — люди лукавые,— уклончиво ответил Скрябин. — Поучили, конешно, было дело.

— Что значит поучили?

— Раздели догола, дегтем вымазали, в пуху вываляли, хомуты на шею вздели и по селу водили. Вожжами, конешно, учили, в дерьмо носами тыкали...

— Ты тоже участвовал во всех этих гнусностях,— убежденно сказал Азин.

— Ни боже мой! Я — безгрешен. Мое дело — хлебная торговля. — Скрябин опустил глаза на опойковые с ремешками сапоги, одернул шелковую желтую рубаху.

— Что ты крутишься, как береста на огне? — не вытерпел Стен и выложил на стол новенький, лоснящийся от масла наган. — У тебя при обыске нашли. Для чего оружие?

— Сейчас времена такие паскудные. Коммерсанту без нагана нельзя.

Азин повернул барабан со змеиными головками пуль, Стен подал какую-то записку. Азин прочитал:

«Афанасий Гаврилович! Ради бога, сообщите, что творится в селе? Потолкуйте с хорошими мужиками, готовы ли они, помогут ли нам? Наши передают поклоны. Евгения Петровна...»

Черная борода Скрябина затряслась на желтой рубахе, страх отразился в узком лице.

— Кто такая Евгения Петровна? О чем ты должен толковать с мужиками? На какую помощь надеется эта самая Евгения Петровна? — строго спрашивал Азин.

— Не повинен я. Кого угодно спросите, Шурмин и тот скажет — безгрешен.

— Стен, позови Шурмина. Да покарауль бандитов,— сказал Азин и подумал: «Или я заставлю его говорить, или я дурак».

Азин с удовольствием оглядел беловолосого Шурмина. Он напомнил младшего, любимого братишку, и Азин невольно улыбнулся.

— Какие против Скрябина улики, Шурмин?

— Оно конешно, подозрениев всяких полное лукошко накидать можно,— солидным баском сказал Шурмин,— а вот улик не имеем. Афанасий-то Скрябин вреда комбедчикам не чинил, против Советской власти не буйствовал. Ну и тут опять-таки закавыка — он же правая рука помещицы нашей, Евгении Петровны Долгушиной, но и хлеба своего мужикам он ужас сколь роздал. Вот тут и разберись,— неопределенно говорил Шурмин и заключил: — А все же Афанасий Гаврилыч — контра зеленая. Ты для чего хлебные скирды в поле пожег?

— Правда, скирды жег или врет парень?

— На собственный хлеб руки не поднимал. Обмишурился Андрюшка, скирды пожег Сергей Петрович, сын Долгушиной. А я — ни боже ты мой!

— Ступай на улицу, Шурмин,— заглянул Азин в безмятежные глаза паренька, синевшие под выгоревшими бровями.

Шурмин выскользнул за дверь, Азин прикрыл ладонью наган и записку. Наступило неприятное молчание. «Передо мной человек. Кто он? С одной стороны, от него за версту контрой воняет, с другой — свой хлеб мужикам раздает. И я должен решить его судьбу. Именем Революции вогнать ему пулю в лоб. Или выпустить на свободу, и тоже именем Революции? Я могу поверить или усомниться в Андрее Шурмине. У Скрябина найден наган и эта странная записка помещицы Долгушиной. Я заставлю говорить хлеботорговца!» В азинских глазах уже не было глубины, светящейся мыслью,— жестяные, с холодным коричневым блеском, они выражали одну ненависть.

— «Вы жертвою пали» играл, когда комбедчикам петлю накидывали? Издевался, подлец! По всем большевикам отходную не сыграешь. Молись богу, мерзавец! — выкрикивал Азин, тиская в пальцах новенький, отобранный у Скрябина наган.

— А чё мне молиться? Стреляй, коли твой верх. Был бы мой, я бы не лаялся. Ты бы у меня уже висел вниз головой,— скаля прокуренные зубы, ответил мельник.

Азин разрядил маузер в Маркела. Подгибая колени, мельник рухнул на пол. Азин шагнул к Скрябину:

— Минута тебе на правду! Соврешь — догонишь мельника на том свете...

— Я скажу, я все скажу,— всхлипнул Скрябин. — Заарканила она меня, охомутала, но я для вашей власти скверноватудова не делал. А вот она, сучка, она — и гидра, и контра...

— Кто это «она»? — прицыкнул Азин.

— Евгения Петровна. Как паучиха свою паутину сплела. С помещиком Николаем Николаевичем Граве союз «Черного орла» придумала, она и здешний бунт заварила в отместку за отобранное поместье. Она с генералом Рычковым в Казани дружбу водит.

— Кто с ней в заговоре, кроме тебя и помещика Граве?

— Братья Быковы, доктор Дмитрий Федорович, у которого она в Арске живет. Ну Воробьев — начальник станции Арск. Всех назвал, как на исповеди,— заплакал Скрябин.

— Если оклеветал неповинных людей, застрелю, собаку. Стен, стереги его! За этого типа мне головой отвечаешь...

Офицерский, со следами спороты́х погон, мундир аккуратно обтягивал плечи Азина. Начищенные сапоги сливались в один черный цвет с галифе, гладко зачесанные волосы прятались под каракулевой папахой.

— Хорош? — повернулся Азин вокруг себя.

— Очень плох! — рассмеялся Стен. — Кто поверит: офицер прибыл из Казани, а чистенький как гимназистка. Надень-ка растоптанные сапоги, папаху — долой. Поверх мундира накинь студенческую шинельку. Правдоподобнее...

Ночной сад дышал влажной зеленью, запахами малины, крыжовника, созревающих яблок, шишки чертополоха кололи руки, хватали за галифе. Азин и Стен остановились в вишневых зарослях.

— Предупреждаю, Стен, во флигель врывайся, если начнется стрельба.

Азин зашагал к флигелю, поднялся на террасу, прислушался к смутному говору за окном. Из неразборчивого говора вырвался женский голос, произносящий французскую фразу. Азин мягко постучал в дверь, голоса смолкли. Послышались грузные шаги, забренчала цепочка.

— Кто там? — опасливо спросили за дверью.

— К доктору Дмитрию Федоровичу из Казани...

Дверь открыл сам доктор. Недоуменно вскинул длинную бритую голову, колыхнул могучим животом.

— Дорогой Дмитрий Федорович! Я привез вам привет от генерала Рычкова. Прапорщик Соболев, адъютант полковника Каппеля, свидетельствую свое почтение.

— Проходите, прошу,— доктор пропустил Азина в темный коридор, провел в небольшую, загроможденную мебелью комнату. — Гость из Казани, Евгения Петровна.

— Очень рад, мадам,— сказал по-французски Азин, склоняя голову перед Долгушиной и прищелкивая каблуками.

Евгения Петровна приподняла брови, недоверчиво рассматривая Азина.

— У меня приятные новости,— перешел он с французского языка на русский. — Наши войска победоносно продвигаются вперед. В Казани от красного бешенства осталось одно воспоминание...

Доктор сочно хлопнул пробкой, поставил на стол бутылку домашней вишневой настойки.

— Мы сначала выпьем за ваш приезд, потом уже рассказывайте. Ваше имя-отчество, господин прапорщик?

— Сергей Сергеевич,— не задумываясь ответил Азин.

— За ваш приезд! — доктор прозвенел рюмкой. — Ох, это красное бешенство, как всякое — оно нелепо и неразумно. — Дмитрий Федорович бисерно засмеялся. — Я мужчина громоздкий, а все толстяки для краснокожих — первостатейные буржуи. Недавно какой-то залетный комиссар меня на станции прихватил. «Я тебя, контра, в Казань для выяснения личности повезу».—«Во мне семь пудов диабета, в вагон не поднимусь».— «Ага! Ты не просто буржуй, а иностранный. Что такое диабет?»—«Сахарная болезнь».—«Врешь, ты сахарином, размерзавец, торгуешь». Спасибо начальнику станции, выручил из беды господин Воробьев.

— Вы уже про это рассказывали, Дмитрий Федорович,— нахмурилась Долгушина.

Азин деликатно улыбнулся, чувствуя на себе испытующий взгляд Долгушиной. «Надо быть начеку».

— Как здоровье его превосходительства? — спросила Евгения Петровна.

Азин понятия не имел, о ком спрашивает Долгушина, но догадка проскользнула в уме: конечно же о генерале Рычкове! А что, если Долгушина спросит о его внешности: худой, толстый, рыжий, белый? Азин ответил почтительно:

— Я еще не имел чести быть представленным его превосходительству. Лишь полковник Каппель — мой непосредственный шеф — виделся с генералом. — Азин приподнял рюмку: — Ваше здоровье, мадам! Кстати, мадам, казанские народные комиссары — бывшие каторжники,— старался Азин увести Долгушину от опасного разговора о генерале Рычкове. — Даже самые высшие их начальники говорят между собой на непотребном языке. Мне рассказывали, как красный главком Вациетис со своими командирами беседует,— со смеху умрешь. «Что же ты, мать твою, Симбирск не удержал?» — «А разве ты, мать-перемать, не знаешь, что вся моя сволочь разбежалась?» Извините, Евгения Петровна, но стиль красных — стиль скотов...

— Сейчас неподходящее время для анекдотов,— остановила помещица Азина. — С какими же вы поручениями явились?

— Полковник Каппель интересуется всем: антибольшевистскими настроениями, крестьянскими мятежами, запасами провианта,— начал перечислять Азин. — И конечно, нам нужно знать о силах так называемого Особого батальона, который занял Арск. Наше командование, впрочем, не придает серьезного значения этому Азину,— скривил он в усмешке губы. — Азин — сопляк со способностями заурядного бандита.

— Этот мальчишка за два дня увеличил свою банду в десять раз,— зло возразила Долгушина. — Вам известно про это?

— Если Азин мне попадется, я его сперва высеку,— объявил Дмитрий Федорович.

— А потом что? — спросил Азин.

— Потом подорву бомбой.

— Перестаньте болтать чепуху, доктор,— поскучнела Евгения Петровна. — Странно, что Вениамин Вениаминович ничего не передал нам через полковника Каппеля. Посылать специального человека и не сговориться между собою? Не похоже это на генерала...

Азин понял: приближается развязка. Он приподнялся, отодвигая стул.

В окно дважды постучали: все насторожились. Стук повторился.

— Это Воробьев. Слава богу, я уже начал беспокоиться,— доктор вышел из комнаты.

— Сейчас мы узнаем кое-что новое об Особом батальоне,— сказала Долгушина.

Азин закрыл окно спиною. В комнату одновременно вошли Воробьев и доктор.

— Разрешите, Сергей Сергеевич, представить вам...

— Руки вверх! — скомандовал Азин, вскидывая над головой гранату. — Эй вы, седой террорист, не шевелиться!..

— Это, Азин, возмутительно! Это безобразно, Азин!—ругался Северихин.

— Что ты на меня остервенился? — беспечно спросил Азин.

— Случайно узнаю от Стена о твоих ночных похождениях. Что же это такое, а? Командующий целой группой войск ведет себя, как мальчишка! Экая доблесть, переодеться, словно в маскараде, чтобы арестовать тройку монархистов.

— Хотел убедиться, что это действительно преступники,— слабо защищался Азин.

— Тебе хотелось покрасоваться, смотрите, мол, на молодца. Молодец на овец! Нельзя больше мальчишествовать, Азин,— уже смягчаясь, выговаривал Северихин. — У тебя теперь заботы посерьезнее.

— Молодец, говоришь, на овец, говоришь,— громко рассмеялся Азин. — Мы пока липовые разведчики: нас белые заведут, проведут и выведут.

В салон-вагон вошел Стен:

— К тебе, командир, этот паренек из Зеленого Роя, Шурмин. Спрашиваю — зачем, отвечает — по личному делу.

— Какая опять беда, Шурмин? — спросил Азин у вошедшего улыбающегося паренька.

— Принимай к себе добровольцем. У меня теперь с кулаками со здешними рогатые отношения.

— Мамка с тятькой мне голову оторвут,— усмехнулся Азин,

глядя на светившиеся синью глаза, на босые в цыпках ноги Шурмина.

— Сирота я,— вздохнул Шурмин, гася сияющее выражение. — Я ведь с виду неказист, но мне уже восемнадцатый. Разведчиком могу быть, да и в писаря пригожусь. Ей-богу, Азин...

— Возьмем его, Северихин, в разведчики. Лихой разведчик должен быть, а? — Азин протянул руку опять расцветшему пареньку.

Шум подошедшего поезда заглушил азинские слова. На соседнем пути остановился не совсем обычный состав: его платформы и вагоны были обшиты двойным рядом досок, обложены мешками с песком, из узких бойниц выглядывали пулеметные дула.

— Это еще откуда? — спрашивал Азин, выбегая на перрон и сталкиваясь с Федотом Пироговым.

— Вот бронепоезд привел. Подарок вятскополянских железнодорожников, четверо суток без передыху трудились, а сделали. С виду неказист, а сработан прочно.

— В четыре дня такую махину! Не зря говорят, вяцкой — народ хвацкой,— Азин чмокнул Пирогова в рыжую бороду.

— А не запляшет бронепоезд на рельсах от собственных выстрелов? — деловито осведомился Северихин.

— Испытывали. Подрагивает,— согласился Пирогов.

— Прыжок влево, прыжок вправо и кубарем под откос?

— Ты это брось, Северихин! В хороводе все девки красивы. Четыре вагона, пять платформ, три пулемета,— подсчитал Азин. — Откуда пулеметы, Федот?

— У местных кулаков взяли. По овинам, собаки, распрятали.

— Азин, Азин! — раздался испуганный голос Стена.

— Что такое? Чего орешь?

— Скрябин сбежал...

— Как сбежал?

— Крышу в станционном складе разобрал и смылся. Часовые даже не слышали.

— Часовые виноваты? — вскинулся Азин. — Не поймаешь — пеняй на себя...

Под ногами Афанасия Скрябина лежала Вятка — сизая в зеленой раме лугов. По песчаным косам бродили долговязые кулики, дышали теплом перестоявшие травы, водяные лилии пьянели от собственного запаха. Над сонными озерцами висели поспевшие гроздья черемухи, ежевика осыпалась в воду. Несокрушимое, словно литое из голубого металла, небо казалось близким, но и неприкасаемым. Скрябин рыскал по берегам реки, обходя деревни, укрываясь в рощах. Опасался мужиков: как бы не выдали красным. Страшился пойти и к Граве: тот запретил без нужды приходить к нему членам союза «Черного орла и землепашца».

После долгих колебаний Скрябин все же пришел в Гоньбу. Сельцо уютно раскидалось по речному крутояру; мужичьи дворы утопали в яблоневых садах, зарослях черемухи, калины, шпанской ягоды. На самом венце крутояра стояли два белокаменных дома, соединенных между собою крытой галереей. К воротам усадьбы вела липовая аллея. Старые, еще екатерининских времен, липы плотно переплелись вершинами. Аллея гудела пчелами, вкусно пахло медом, на серой коре деревьев играли солнечные пятна.

Граве уже давно заприметил Скрябина — и, стоя в кустах бузины, следил за его приближением.

— Зачем пожаловали, господин Скрябин? — спросил он, выходя из кустов и не отвечая на почтительный поклон хлеботорговца. — Я, кажется, запретил приходить без крайней необходимости.

— Необходимость меня и пригнала, Николай Николаевич.

— Чепуха какая-нибудь. В чем дело, говорите без словесной шелухи.

— Беда, Николай Николаевич! Красные в Арске расстреляли Долгушину и начальника станции Воробьева. Мельник Маркел тоже приказал долго жить. Я чудом уцелел, удалось бежать из-под ареста,— сообщил Скрябин.

— Чего кричите? Идемте за мной. — Граве провел хлеботорговца в беседку. Бросил пробковый шлем на стол, опустился на деревянный топчан. — Кто их расстрелял? Когда расстрелял? А самое существенное — кто предал? — Злое, болезненно сморщенное лицо помещика напугало Скрябина.

— Азин учинил расправу над нашими. Красный бандит Азин.

— Уничтожены лучшие люди. А кто их предал, так и не сказали.

— Если бы я знал предателя — задушил бы собственными руками. — Скрябин печально поник головой. «Не дай бог, догадается о моем грехе. Умен ведь, хитер ведь, как бы не запутал расспросами».

— Азин! — задумчиво повторил короткую фамилию Николай Николаевич. — Что ж! Запишем Азина в наш поминальник. — Он подозрительно скосился на Скрябина: — А как вам удалось вырваться из красных лап? Крышу разобрали и скрылись? А часовые спали? А собаки не лаяли? Как все просто и легко получилось. Милее сказки...

— Бог помог, нужда заставила.

— А может, из вас провокатора сделали? Может, вы черноорловцев предали? А? Бывает? А?

— Бог с вами! Как можно подумать такое, батюшка мой?

— Что глаза прячете? Чего смущаетесь, господин Скрябин?

— Совестно, что про меня такие скверные мысли в голову приходят.

— Совесть — не голод, можно терпеть. Я еще не думаю, что вы стали предателем, пока еще нет. Но теперь на предательство мода. Мода пошла на все! Поносить покойного императора — мода! Радоваться разрушению России — мода! Говорить, что нас спасут интервенты,— мода! Никто тебя не спасет, кроме самого тебя. — Граве закусил тонкие, ярко-красные губы. — А для собственного спасения надо убивать других. Наступило время ужасать, теперь уже мало одного божьего страха. А кого невозможно убить — того купим. Деньги тоже бьют наповал.

— Так-то оно так, батюшка мой, да ведь всех-то не купишь. Особливо идейных.

— Идейных? — зашелся острым смешком Граве. — Идейные стоят подороже, только и всего. Идеи покупаются дешевле вяленой воблы. Как я купил главаря местных комбедчиков? Он мне объявляет: «Поместье ваше конфисковано, убирайтесь вон». Я ему отвечаю: «Вон так вон. А что вы будете иметь от конфискации?» Он мне с глупой ухмылочкой: «Поместье принадлежит народу». Я ему тоже с дурацкой улыбочкой: «А ты есть народ. Значит — поместье твое. Я пожил, ты поживи». Он сначала, как жеребец, взвился, а я ему ласково: «Это твое, и это твое. И вот это тоже твое». В три счета растолковал ему суть красного гимна — кто был ничем, тот станет всем. И он теперь исполняет мою волю. Но мой комбедчик — мелкая рыбешка. Нам надо ловить осетров покрупнее.

— Неужто, батюшка мой, красные долго продержатся?

— Всегда смотрите вперед. История русская способна на всякие немыслимые зигзаги. Я возвращаюсь завтра в Ижевск, а вы поезжайте в Чистополь, Мамадыш, Малмыж, собирайте черноорловцев. С оружием, без оружия ведите их в Ижевск, я буду там ждать. Действуйте моим именем, пусть знают все, что «Черный орел» объявляет тихую, но беспощадную войну большевикам. Мы будем всюду, нас — не находят нигде.

За оградой сада заиграла гармошка. Торжественно, но и печально гармонист вывел: «Вышли мы все из народа».

— Кто-то на деревне разгулялся. Вишь, красную молитву затянул, подлец,— выругался сквозь зубы Скрябин.

— Вышли мы все из народа, поют. А мы их загоним обратно в хлев, на конюшню. — Граве поспешно вышел из садовой беседки.

Скрябин последовал за ним, и они поднялись на самый венец крутояра. Вечерняя, в млеющей дымке река мерцала расплавленным оловом, желто лоснились песчаные косы, между береговыми кустами ракитника плясала мошкара. Тишина полностью завладела луговыми травами, сосновым бором, уходящим за горизонт. Над рекой, над заречными лесными просторами стояли отсветы всепокоряющего голубоватого свечения неба.

Граве, сдвинув на затылок пробковый шлем, засунув руки в карманы бриджей, молча смотрел на реку. И вдруг рассмеялся мелко, зло, словно издеваясь над чем-то:

— Мы с вами, господин Скрябин, стоим перед неизвестным, а неизвестное не может называться ни событием, ни фактом. Оно вызывает только страх. Вы читали Апокалипсис?

— Не приходилось.

— Жаль. Теперь самое время читать Апокалипсис. — Граве снял шлем, обмахнул разгоряченное лицо. — И появится всадник на белом коне, и начнется братоубийственная война. И восстанет сын на отца, брат на брата, и будут убивать друг друга со злобою непостижимой. Вослед белому всаднику проскачет всадник на красном коне, сея голод на голую землю. А потом появится черный всадник — чума, и проказа, и всякий мор поразят многострадальную нашу страну. Когда же люди увидят всадника на коне бледном — начнется светопреставление. Так предсказывает Апокалипсис, господин Скрябин. Советую прочесть — весьма полезно. А если не до чтения, то верьте мне на слово и толкуйте мужикам о близком светопреставлении. Наши мужички, да черемисы, да вотяки страх как боятся конца света и суда божьего. — Граве уныло усмехнулся, сморщив плоское желтоглазое лицо. — Все нужно использовать против красных: пушки, голод, священное писание. Собирайте же черноорловцев и поскорее ведите в Ижевск, господин Скрябин...

Сам Граве появился в Ижевске на следующий день, и даже он поразился размаху террора, начатого фельдфебелем Солдатовым.

Ни в чем не повинных людей расстреливали, бросали в тюрьмы. Тюрем не хватало, под них отводили амбары и лабазы, на заводских прудах железные баржи превратили в острова смерти. Доносительство стало почетным ремеслом, провокаторы поощрялись как спасители отечества, спрос на палачей поднялся. Монархисту Граве показалось странным, что главари ижевского мятежа обрушили террор на рабочих, поддержавших ихнюю власть. Так сумасшедший, завладев топором, рубит направо-налево, подсекая собственные силы.

В шабаше террора опасность красного наступления казалась нереальной, словно сполохи далекой грозы. Мятежники были уверены, что на Урале их прикрывают белочешские легионы генерала Голицына и полковника Войцеховского, а с Волги белая Казань.

Граве ходил по обмершим от страха улочкам Ижевска, и все вокруг было подозрительным. Были подозрительными заборы с ржавыми пятнами на досках: уж не расстреливали ли тут рабочих? С откровенной злобой поглядывали на штатский костюм Николая Николаевича часовые. С подозрительной быстротой на улицах вспыхивали беспричинные ссоры, зачинались бессмысленные драки.

Граве на минутку приостановился у заводского громадного пруда. Грязные волны, ломавшиеся на песке, угрожающе шумели, вороны раздражали своим карканьем, даже солнечные блики подмигивали из воды с какой-то подлой настойчивостью. Все было насыщено изнуряющей атмосферой тревоги, невидимой, но неизбежной опасностью.

Граве посетил командующего Народной армией полковника Федечкина. Полковник сразу стал жаловаться на слабость армии.

— Насильно мобилизовали десять возрастов. Согнали в Ижевск тридцать тысяч рабочих и мужиков, а многие даже стрелять не умеют. Смешно сказать, но шесть тысяч наших народоармейцев уже вторую неделю не могут ликвидировать партизанский отряд какого-то Чевырева. Я вынужден сам возглавить карательную экспедицию.— Полнокровное лицо Федечкина пошло сизыми пятнами раздражения.— Террор Солдатова мешает успешным действиям армии. Контрразведка стала хватать уже моих офицеров. Солдатов в каждом обывателе видит скрытого большевика.

— Вы пока имеете удивительную, просто неповторимую политическую комбинацию,— заговорил со снисходительной улыбкой Граве.— Подумать только — пролетарьят восстал против диктатуры пролетарьята. Белое движение получило за-ме-ча-тель-ней-шую возможность доказывать своим друзьям за границей, что русский рабочий класс отвергает большевизм. Под такое доказательство можно получать неограниченную военную помощь, а что вы делаете? Разбазариваете лучшие дни своего владычества на всякие бирюльки. Играете в Советы без коммунистов, в братство-равенство? Это все очень мило, но сейчас штык важнее идей. Если вы не раздавите того же красного партизана Чевырева, через месяц он задушит вас. А что поделывает капитан Юрьев? — неожиданно спросил Граве.

— Юрьев устроил в Воткинске какой-то вертеп и не признает ни меня, ни Солдатова. Самого Юрьева тоже никто не слушает, даже его адъютанты. Да и какой дисциплины можно ждать от опереточного артиста! Вот уж воистину — судьба играет человеком,— Федечкин скрестил на груди руки.

— Я поеду в Воткинск,— объявил Граве.— Или мы научим этого артиста воинской дисциплине, или вышвырнем вон. А вы займитесь обучением новобранцев, все эти добровольческие отряды, боевые дружины, охранные группы надо преобразовать в регулярные части. В роты, полки, дивизии. Не забывайте, полковник, с помощью толпы, даже вооруженной, властвовать невозможно...

Николай Николаевич заглянул в контрразведку. Солдатов встретил его с подобострастием.

— Говорят, что вы произвол красных комиссаров перекрыли своим беззаконием,— сказал Граве.— Массовым террором погасили недовольство рабочих Совдепией и талантливо раздули

их ненависть к белым? Зачем вы это делаете? Настоящий политик — а всякий контрразведчик — политик — должен организовывать стихийную ненависть.

За окном контрразведки смолисто поблескивал пруд с маячившими на его середине баржами. Граве представил себе вонючие, склизкие трюмы, и сразу стало погано.

— Советую съездить на баржи, выбрать человек триста, особенно семейных, и немедленно освободить. Это сразу придаст вам ореол справедливости и благородства.

— А если по ошибке коммунистов выпущу? На лбах-то ведь не написано, что это за лбы.

— Коммунистов посадите снова. А сейчас сделайте красивый жест.

— Все же страшно выпускать из тюрьмы мастеровых,— колебался Солдатов. — Сперва кинули людей в застенок, а теперь скажем—извините, погорячились, промашку дали. Освобожденные такую агитацию против нас разведут — на стенку полезешь.

— А мы из освобожденных создадим карательный батальон. Недавно сочувствующие большевикам будут отправлять их на тот свет. До сих пор каины убивали авелей, мы заставим авелей убивать каинов. Вот что такое политика! Да, что вы думаете о капитане Юрьеве?

— Капитан Юрьев — светлая голова, а мы не богаты светлыми головами. Федечкин любит шельмовать капитана, но он сам шельма. И бездарный командующий. У краснюка Чевырева тысяча головорезов, Федичкин против него послал целую армию, а толку никакого. А капитан Юрьев — герой! Вот кого надо в командующие армией.

— Возможно, Воткинск не вертеп, а капитан Юрьев — белый герой. Все возможно, и я буду объективен. Необъективность — это только личная ненависть политических соперников...

Поздним утром Граве подъехал к кирпичному домику управляющего воткинским военным заводом. У парадной двери его задержал грузин в красной черкеске.

— Куда и зачем? — раскинув руки и поигрывая смоляными бесстыдными глазами, спросил грузин.

— Моя фамилия Граве, я из штаба Народной армии. Где капитан Юрьев? С кем имею честь? — небрежно козырнул Граве.

— Адъютант командира воткинских отрядов Народной армии Чудошвили. Капитэн ожидает вас давно. Даже паровоз послали, а вы прискакали верхом. Прэлестно! Один момент, я доложу капитэну.

Граве не пришлось ждать; дверь тут же раскрылась, и в гостиную влетел Юрьев. Восторженно всхлипнув, заключил Николая Николаевича в объятия, потерся напудренным носом о его щеку.

— Голуба долгожданная! Меня Федечкин по телефону предупредил о твоем выезде. Жду-пожду — нет! Я уже испугал-

ся — не приключилась ли беда. Мои мушкетеры могли принять тебя за большевика. А у них разговор — пуля в лоб, петля на шею. Такие размерзавцы — мир не видывал! Только и требуют у меня: режь, круши, поджигай! Я им — режьте, но благородно, поджигайте, но чтобы красиво. Я в трагическом положении, голуба! Просто счастье, что ты приехал. Помоги советом и делом. Ты же дворянин. Голубая кровь! А я голубую кровь, а я русского аристократа люблю...

— Доброе утро, капитан! — сказал наконец Граве, ошарашенный бесцеремонностью Юрьева.

— Прошу, располагайся как дома. — Юрьев метнулся к дивану, скинул с него связки бумаг. — Адъютант!

Из-за портьеры выскочил Чудошвили.

— Коньяку и печенья! Живей, скотина! — Юрьев убрал со стола бронзовый бюст Петра Великого, малахитовый чернильный прибор, черный и рыжий парики. Бюст перенес на камин, парики швырнул под диван.

Граве с любопытством смотрел на живописный беспорядок кабинета. Возле камина, полуприкрытая ширмой, стояла кровать красного дерева, над ее изголовьем были приколоты неприличные фотографии. Стены, обитые синим шелком, почернели от винных пятен, в окнах переливались зеленые и алые стекла, ковер запакощен табачным пеплом, белыми пятнами пудры. «Артист оперетты, этого еще нам не хватало»,—грустно подумал Граве.

Юрьев взял тросточку, повертел ее, оперся на бронзовую голову Петра. В рыжей, верблюжьей шерсти, куртке, толстых синих чулках, башмаках с серебряными пряжками, свинцовощекий, напудренный, он действительно походил на артиста. Двинув губами, он плюнул, заговорил снова, с дымной злостью:

— Никак не справлюсь со своими мерзавцами. В городе — вертеп, в городе — шабаш, как в Вальпургиеву ночь на Лысой горе. Начальники отрядов не признают меня за командира. Я пишу приказы, они смеются над ними.

— Какие приказы?

Юрьев взял со стола листок, кинул вперед правую руку, левую отнес назад. Хорошо поставленным голосом прочел:

— «Граждане-солдаты! Помните, что скромность и воспитанность украшают человека, внушают к нему доверие. Бросайте большевицкие замашки и не пугайте жителей. Я требую, чтобы вы были жестоки в бою, вежливы в тылу...»

— Это приказ для гимназисток. У военных приказов особый язык. Вы же капитан царской армии, должны знать.

— Я случайно стал капитаном. Убили командира роты, и меня произвели в капитаны. А чем плох мой приказ? Слова не те? Тридцать веков смотрят на нас с высоты пирамиды тоже не те слова, а Наполеон написал, и ничего. Сто лет повторяют...

Граве выдернул из бумажной стопы лист.

— Берите перо, пишите. Так. Диктую. Приказ по гарнизону города Воткинска. Параграф первый: объявляю город на военном положении. Хождение по улицам разрешаю до двадцати двух часов. За нарушение приказа — расстрел. Написали?

— Не спеши, голуба!

— Параграф второй. Всем гражданам, имеющим огнестрельное оружие, сдать его в двадцать четыре часа. За неисполнение — расстрел. Параграф третий. Всем гражданам, всем воинским частям Народной армии соблюдать полный и образцовый порядок. За убийство, грабежи, поджоги — расстрел...

— Это звучит, голуба!

— Параграф четвертый. Всех коммунистов, красноармейцев, советских служащих, скрывающихся под видом мирных обывателей, немедленно арестовывать. Написали? Параграф пятый. Военным комендантом города назначаю... Есть подходящий человек на пост военного коменданта?

— Найдем! — встряхнул перо Юрьев.

— Этот, как его, Чудошвили не подойдет?

— Нестор? Его нельзя! Он — и адъютант мой и начальник тюрьмы, по совокупности. Зверь-человек, а незаменим, особенно в интимно-лирических делах. Я его, как хорошую роль, разучил. Он не только большевиков, он и нас за копейку прирежет. Подлец, но скажу — незаменим...

— Где вы его разыскали?

— Был у красных — перебежал к нам.

— Я не сторонник необходимости подлецов.

В кабинет танцующей походкой вбежал Чудошвили, прижимая к груди припотевшие бутылки, вазу с печеньем и блюдо с засахаренной морошкой. Поставил все на стол, приподнялся на цыпочки, держась за кинжал.

— Вот что,— строго сказал Граве, присматриваясь к его смуглому, изрытому оспой лицу. — Арестованным большевикам никаких поблажек. Держать их на самом строгом режиме.

— Ха! — осклабился Чудошвили. — Вы не знаете здешней турмы. Полсотни болшэвиков не влезет. А болшэвики у меня имеют прэлестный режимчик. Кушают овсяные снопы, спят друг на другэ, ходят под себя.

— Предупреждаю, самовольно расстреливать не смейте, мы будем судить большевиков, как врагов России.

— Ха! Какой может быть суд? Ризать надо! Всех ризать! — Чудошвили, сверкая горящими от гуталина сапогами, шагнул было к Юрьеву.

— Пошел прочь! Понадобишься — позову,— пригрозил Юрьев тростью.

Чудошвили выпорхнул из кабинета.

— Такой тип и почту ограбит, и храм божий подожжет,— с презрением заметил Граве.

— Я артист, голуба моя.

— Артист, артист! Политическая сцена лучше театральных подмостков. Вы играли Наполеона, сыграйте самого себя, и я уверую в ваш гений.

— А ведь дивная мысль — сыграть самого себя! Как же она мне в голову не приходила?

— Считайте, что появилась,— рассмеялся Николай Николаевич, наливая коньяку. — Вот наступили паскудные деньки, даже не знаешь, за что выпить.

— Император умер, да здравствует император! — воскликнул Юрьев, поднимая рюмку. — Выпьем за реставрацию монархии на святой Руси...

— Чтобы реставрировать монархию, нужна миллионная армия и выдающиеся вожди. Необходимы все военные символы, которые возникали веками и которым века поклонялись. Без званий, чинопочитаний, погончиков, мундирчиков, знамен, орденов нет армии.

— Но ведь это все уничтожено большевиками. У них «золотопогонник» хуже сукина сына.

— Пора из добровольцев делать солдат. Вы больше не начальник добровольческих отрядов, а командир Воткинской рабочей дивизии, капитан. А раз есть дивизия, должны быть у нее свои знамена, свои знаки отличия.

— Свои знамена? А какие? Знаки отличия? Что же это — погоны, эполеты, голуба моя? — встрепенулся Юрьев.

— Для рабочей дивизии царские погоны не годятся. Мы введем нарукавные повязки.

— Белые повязки с черным черепом и перекрещенными костями?

— Наоборот, красные. А на них белые перекрещенные револьверы. Пусть рабочие тешатся своим алым революционным цветом и думают, что никто не покушается на их свободу. А револьверы станут напоминать воткинцам родной завод. Люди любят вещи, которые они делают. Полковые же и дивизионные знамена будут из зеленого шелка. Мы начертаем на них: «Советы без коммунистов!» Или еще что-нибудь этакое красивое...

— Зеленые знамена и лозунги киноварью? Пурпурные на зеленом фоне, это звучит! А почему зеленые?

— Цвет родных полей и лесов. Пусть воткинцы знают, что борются за свои сады и огороды. За цветущую собственность веселее драться. Но это все чепуха, побрякушки для бородатых детей. Костяком дивизии будут офицеры, фронтовики, зажиточные мужики, состоятельные горожане. Ну и те рабочие, что исповедуют эсеровскую веру. Те навсегда останутся с нами. Идите, капитан, и соберите командиров своих отрядов.

Помахивая тросточкой, Юрьев вышел из кабинета. Николай Николаевич опустился на диван, закинул руки за его спинку. В стекла било солнце, синие и алые пятна играли на ковре, бронзовый царь Петр светился в солнечном косяке. Пахло

пудрой. Граве задумался: хотелось мыслить опрятно и ровно, но ум работал резко и грубо. «Какой-то Федечкин командует целой армией, а я? Почему бы мне не встать во главе этой самой Народной армии? Устранить здешних главарей не так-то сложно. Федечкин — рохля, Солдатов — дурак, Юрьев — военный невежда. Остаются левые эсеры, а левых эсеров надо вышвыривать, хватит с нас ихнего распутства мыслишек. Мавры сделали свое дело, мавров можно стрелять».

Вечером Граве прогуливался по улочкам Воткинска. Прогулка ограничивалась берегом пруда, площадью перед заводскими воротами, свериком кафедрального собора. Сонный, в зеленом сиянии берез по берегам, пруд был красив, но и здесь стояли безобразные «баржи-тюрьмы», убивая очарование природы. Люди, находящиеся в трюмах этих ржавых посудин, не вызывали в Граве сострадания: они казались какими-то нереальными существами. Он оправдывал себя тем, что эти красные должны быть уничтожены во имя великой России.

Площадь у заводских ворот сохраняла следы недавнего восстания: искрошенные пулями кирпичные ограды, заплесневелые лужи, булыжники, похожие на человеческие черепа, и на них — опрокинутый навзничь — большой царский герб. Бронзовый двуглавый орел загрязнился, звонкие крылья позеленели.

Граве потрогал пальцем покореженную, в рыжих потеках орлиную голову, ржавые когти, все еще сжимавшие обломанный скипетр. «Никто не догадался водрузить герб над заводскими воротами. Да и никому это не нужно. Надо приказать, чтобы водрузили».

Он вошел в кафедральный собор. Шло вечернее богослужение. Голубой легкий туман расслаивался под высоким куполом, грустный дым ладана, царские врата в игре теней и света растрогали Николая Николаевича. Голос священника — влажный, проникновенный — звучал по всему собору, тоже вызывая умиление.

Граве встал между колоннами. Торжественная, отрешенная от всего мирского атмосфера богослужения действовала успокоительно. Он залюбовался бледным чернобородым священником, вслушиваясь в его исполненный молитвенного экстаза голос. Слова священного писания казались прекрасными по своей значимости и поэтическому настроению.

— Приидите ко мне, все страждущие и обремененные, и аз упокою вы-ы-ы,— нараспев произносил священник. Граве мысленно повторял эти слова. «Как славно! Я завидую пастырю, во всем его облике нет ни злобы, ни ожесточения, мы для него только рабы божьи. «Приидите ко мне, все страждущие и обремененные, и аз упокою вы». Этот призыв бога — снисходительного и всепрощающего — сейчас особенно умилял. Граве поднял глаза на огромную, в золотом окладе, икону. Под ней были те же, начертанные церковнославянской вязью, слова.

Проповедь кончилась. Прихожане подходили под благословение. Священник с кротким выражением лица кидал по воздуху привычные благословляющие кресты.

— Помолитесь, батюшка, за грешную душу раба божьего Николая.

Священник перекрестил Граве, сказал шепотом:

— Подождите меня. Нужно мне побеседовать с вами...

В ожидании священника Граве ходил по скверику. Однотонно, раздумчиво звонил соборный колокол, неистовствовали воробьи, шелестела под ногами трава. Рябины висели у белых каменных стен, в конце аллеи густо синел пруд. «О чем будет со мной говорить священник? Может, о милосердии к арестованным? «Приидите ко мне, все страждущие и обремененные, и аз упокою вы»,— снова промелькнула в голове фраза, но почему-то не взволновала, как в соборе. Может, потому, что силуэты страшных барж разрушали всю ее прелесть. Светлое настроение Граве угасало, молитвенный экстаз выветривался.

— Прошу прощения,— раздался за его спиной влажный, мягкий голос. — Не имея чести знать лично, я тем не менее ищу встречи с вами. — Священник, шурша струящейся рясой, улыбался. — Хочу посоветоваться с вами по вельми супиозному делу...

— Слушаю, батюшка.

— Пройдемтесь немножко,— священник взял Граве под локоть. — Я ищу встречи, ибо славно наслышан про вас. Вы не жалеете живота своего в борьбе со слугами антихристовыми. В сии лихие времена каждый христианин должен поступать, как вы. Все нужно отдать для защиты православной веры и престола русского, все, что имеем. Пора повторить славные подвиги предков наших — Минина и Пожарского. Вот и я, следуя примеру их, задумал создать на свои скудные сбережения и милостыни прихожан Особый полк белого воинства, и чтоб назывался оный именем Иисуса Христа. Как и всегда, Христос — первое и последнее наше прибежище. Полк, нареченный именем божиим, верую, совершит нетленные чудеса...

Граве только сейчас заметил особую, дикую ясность в глазах священника: «Прежде такие попы шли на костры, этот пойдет в атаку с наганом в правой, с крестом в левой».

— С радостью поддержу вашу идею. Штаб Воткинской дивизии сформирует добровольческий полк имени Иисуса Христа, обещаю вам, батюшка. Полк имени Иисуса Христа? Чудесно! Мы не пожалеем животов своих за православную веру, а вы молитесь, молитесь, чтобы господь простил грехи наши.

Священник отпустил его локоть и сказал, словно поставил точку:

— Большевики — плевела диаволовы, а полющие бесовы сорняки — угодны господу...

20

Жирное, налитое кровью лицо генерала Рычкова дышало административным восторгом, толстые брови, похожие на черные усы, весело приподнимались, губы вкусно причмокивали. Пошел тринадцатый день, как Рычков стал командующим казанским гарнизоном. Все эти дни он испытывал радость от сознания своей значительности и необходимости.

— А хорошо все же на грешной русской земле! Мы, Сергей Петрович, спасаем отечество, и делаем это не так уж плохо. Сегодня — Казань, завтра — Нижний, а там и светлопрестольная. Душа переполнена пасхальным настроением,— весело говорил генерал Долгушину.

Они сидели в уютном кабинете генерала, и Долгушин переживал такое же пасхальное настроение. Генерал только что подписал приказ о назначении его военным комендантом города.

— В такие сумасшедшие времена умные люди делают карьеру. — Рычков сдвинул брови, лицо его приняло свирепое выражение. — У нас сейчас столько дел, мы же творим новое русское будущее. Сам видишь, на каком фоне его приходится творить: он соткан из кровавых событий, из всеобщего развала и не очень-то располагает к творчеству.

— Для меня даже собственное будущее стало астральным понятием,— вздохнул Долгушин. — Будущее из пессимизма и сигарного дыма — скверная вещь!

— Ну зачем же так мрачно. Мы победоносно наступаем, нас поддерживают союзники, с нами золотой запас. — Рычков закинул руки за шею и сытно потянулся.

— Кстати о золотом запасе. Я передавал вам пожелание князя Голицына на этот случай. Теперь, когда золото в наших руках, его необходимо отправить из Казани. Красные еще рядом, слишком много вожделенных взглядов устремлено на золото.

— Мой гарнизон надежно прикрывает государственный запас от красных,— кисло усмехнулся Рычков. — А вожделенные взгляды будут следить за ним и в Казани, и в Самаре, и в Екатеринбурге. Нет, мой милый, золото должно быть с нами, так оно сердечнее. Что тебе надо? — спросил он вошедшего адъютанта.

— Какой-то проситель, ваше превосходительство. По личному, говорит, делу.

— Я не принимаю на дому посетителей.

— Не упускаем ли мы драгоценного времени? — осторожно спросил Долгушин. — Красные окопались в Свияжске, красные захватили Арск. Недобитый враг может оправиться.

— Красные разгромлены вдребезги. Их части в Свияжске всего лишь пыль на ветру. А против шайки Азина выступили два чешских легиона капитана Степанова. Я даже посмеялся, не слишком ли много чести для рядового бандита.

В кабинет снова вошел адъютант:

— Посетитель передал записку.

— Да гони ты его в шею! Впрочем, подай записку. — Рычков небрежно, двумя пальцами взял записку, но тут же вскочил, раскрестил руки, молодцевато зашагал к двери.

Долгушин услышал стремительный стук чьих-то каблуков, радостные всхлипы Рычкова.

— Здравствуйте, генерал! Это я, и незачем приходить в дамский восторг. Вам бы надо стыдиться беспечности ваших караульных постов. Никто не поинтересовался мною, не задержал меня,— длиннолицый, коротко остриженный человек в английском френче и пыльных крагах махал ладонью, словно убирая со лба следы поцелуев.

— Знакомьтесь, господа: Борис Викторович Савинков,— голос Рычкова прозвучал горделиво, нежно, почтительно,— ротмистр Долгушин.

— Рад! — Савинков сунул крепкую ладонь Долгушину, кольнул его ореховыми глазами.

— Мы с вами встречались,— сказал ротмистр, не меньше генерала пораженный появлением знаменитого террориста.

— Когда и где? Не помню.

— В Гатчине.

— Нет, не помню. — Савинков бросился на стул, заскрипел крагами, перекинул ногу на ногу. — Устал я и грязен, как трубочист.

Пренебрежительность Савинкова не оскорбила Долгушина: он сразу понял всю значимость его появления. Правда, его немножко коробила суетливая угодливость генерала, но и тут нашелся оправдательный мотив: Рычков был заместителем Савинкова по Союзу защиты родины и свободы — генерал просто воздавал должное своему руководителю.

— Как, Борис Викторович, удалось вырваться из лап чекистов? После Ярославля, чай, обложили вас, будто медведя. Я даже в газетах читал: вам-де некуда деться. По вашему-де следу идут тысячи ног.

— Запутал следы, только и всего. Правда, под Нижним меня арестовали, не догадываясь, кто я такой. У меня были фальшивые документы, и я убедил большевиков, что тоже ловлю Бориса Савинкова. Мне дали и подводу, и денег для проезда в Нижний. Но это все глупости, а сейчас о деле. Я хочу собрать членов нашего союза, надо ознакомиться с военной и политической обстановкой. Я неприятно поражен — скоро две недели, как взята Казань, а дальше что?

— За эти дни мы сделали невероятное,— заметил Рычков.

— Восемнадцатый год — самый невероятный в истории русской, а мы уже потеряли его половину. Все наше будущее — в нескольких днях. Если сегодня я, вы, он,— показал Савинков

на Долгушина,— не станем хозяевами России, завтра окажемся ее временными постояльцами...

Приезд Савинкова обрадовал главарей белой Казани. Не только для генерала Рычкова, но и для них Савинков был самым беспощадным врагом большевизма.

Вечером у Рычкова сошлись высшие военачальники белых, а также мыльные, суконные, меховые тузы.

Долгушин с любопытством присматривался к казанским финансовым воротилам и промышленникам.

Багровые, желтые, белые физиономии, толстые затылки, бульдожьи челюсти. В зрачках искры электрического освещения, твердые, как слоновая кость, воротнички подпирают шеи, манжеты с дорогими запонками оттеняют кисти рук. Мыльный король так и излучает власть своих миллионов, суконный туз — крещеный татарин, похожий на черного курчавого барана во фраке, переполнен самоуверенной силой. Они сочувственно покачивали головами, добродушно улыбались, повторяли шепотом окончания фраз, сочно произносимых генералом Рычковым.

— Солнце нашей близкой победы скоро озолотит священные купола матушки светлопрестольной Москвы,— говорил генерал.

Взгляд Долгушина задержался на капитане Степанове: рыжее легкомысленное личико со вздернутым носиком, петушиный вид гуляки и бабника. «Экое ничтожество всесильный случай выбросил из революционного омута»,— завистливо подумал ротмистр. Полковник Каппель слушал речь генерала, теребя свою французскую бородку. «Владимир Оскарович — не чета Степанову. С волчьей хваткой, умница». Рядом с Каппелем невзрачен и мелковат даже адмирал Старк — человек корабельной каюты.

— Мы хотели бы послушать Бориса Викторовича,— закончил свою речь генерал.

— Я поражен вашей медлительностью, господа! Я просто не понимаю, как вы позволили большевикам зацепиться за Свияжск? Почему панически бежавший противник не разбит? Пока вы разглагольствуете о будущем России, Учредительном собрании и прочих милых вещах — большевики оправляются от поражения. Тысячи добровольцев едут в Свияжск. Мне известно, что из Кронштадта на Волгу переброшены балтийские миноносцы. — Савинков повернулся к Старку: — Что вы тогда противопоставите морским орудиям, адмирал? Пассажирские пароходы общества «Кавказ и Меркурий»? А вы, Вениамин Вениаминович? Где ваша стремительная сообразительность? В Казани собрались тысячи офицеров, самые отборные люди — не солдаты, а командиры. Вместо того чтобы бросить эту силу на Свияжск, вы занимаетесь мобилизацией необученных мужиков. Созданная наспех, не имеющая дорогих для нее целей, мужицкая армия развалится при первых же серьезных ударах.

Каппель, зажав в пальцы бородку, одобрительно кивал ру-

сой головой. Напряженное внимание и умная строгость полковника польстили Савинкову. Он уже говорил больше для него.

— Еще не поздно разгромить, опрокинуть в Волгу красных. Пятая армия в Свияжске пока беспомощна, внезапным ударом можно захватить и Свияжск, и штаб Пятой армии. Мы сможем, мы обязательно сможем,— голос Савинкова зазвенел страстно и резко,— уничтожить Пятую армию. Я зову вас вперед, торопитесь, господа, торопитесь. Уходящий день за хвост не удержишь. — Савинков вынул из карманов кулаки, разжал пальцы, оперся о стол. — У меня с Комучем теперь общие цели. Во имя их я распускаю Союз защиты родины и свободы. Почему я распускаю союз? Я веду войну только с большевиками и не хочу мешать тем силам, что могут восстановить Россию. Пусть восстанавливают ее на старых, новых или каких-либо других началах,— Савинков загадочно улыбнулся,— я не буду мешать. Можете создавать новую Россию с какими угодно партиями, кроме большевиков. С любыми партиями, кроме большевиков,— повторил он. — Сам же я простым солдатом стану сражаться с красными. В батальонах полковника Каппеля, надеюсь, найдется место для рядового Савинкова? — скокетничал он, понимая, что Каппель принимает его слова как милую шутку.

— Вот человек дела, не красных словес,— услышал Долгушин похвалу мыльного короля.

Широкое лицо Рычкова расплылось от удовольствия; поводя головой, он объявил:

— Справедливые упреки Бориса Викторовича мы воспримем как серьезное и своевременное предупреждение. Полковник Каппель, капитан Степанов и я сейчас разрабатываем план разгрома красных под Свияжском. Техническая, чисто военная сторона плана этого не представляет для вас интереса. А посему прошу, господа, отужинать...

Долгушин пил дорогие вина, ел вкусные блюда и опять прислушивался, теперь уже к работающим челюстям, чавканью, хрясту, общему гулу самоуверенных, почтительных, злых, вкрадчивых голосов. Произносились тосты, позванивали бокалы, потели физиономии, порхали салфетки, щелкали портсигары.

— Народной армии нужны оружие, обмундирование, провиант. Не забывайте про эти нужды,— обратился Каппель к суконному королю.

— Биржа уже ответила повышением акций на вашу победу,— ответил суконный король.

Со всех сторон к Долгушину летели отдельные фразы, обрывки фраз, намеки, смешки.

— Ловко ввернул генерал Рычков фразу о правительстве мягкого сердца.

— Восхитительная энергия ума!

— А по-моему, краснобай, дерьмо собачье.

— Вы Ваську Крестовникова знаете?

— Мастер финансовых афер. Родного отца догола разденет. Начисто разорил пайщиков Промышленного банка.

— Ну, это мы слышали.

— Пайщики спросили Крестовникова: «Правда ли, что мы накануне банкротства? Мы страшно волнуемся».— «Не волнуйтесь, господа! Мы уже обанкротились...»

— В условиях переживаемого момента приходится жертвовать благами свободы в пользу правопорядка...

— «Возможна ли подводная война на Волге?» — спросили меня. «Она уже в полном разгаре. Красные так быстро бегут, что приходится догонять их на подводах».

— Я бы всех наших златоустов, любителей повеличаться ради фразы — к большевикам! Пусть побрешут у комиссаров.

— Развратили народ либеральные пустобрехи.

— Сегодня утром я был у капитана Степанова. Ну, доложу вам, характер! Истинный полководец. Он смотрел на меня такими глазами, даже страшно стало.

— Сопливый мальчишка! Отставной козы барабанщик...

— В России теперь гуманные веяния. Цари вешали своих политических врагов, теперь их стреляют в затылки. Гуманизм побеждает...

— Тише, предупреждаю вас...

— А что, донесете?

— Стыдитесь, милостивый государь!

— Не растравляйте ран сердца. Вчера хуже младенца разрыдался на «Пиковой даме». Как оркестр грянул «Гром победы раздавайся», я — навзрыд...

— Теперь, как никогда,— спрос на людей стремительных и беспощадных. Только они спасут русскую нацию. Да, да! Нам нужна нерассуждающая стремительность.

— Савинков — все же азартный игрок.

— Совершенно верно, но вместо червонцев он ставит на кон собственную голову...

— Не терплю блаженных оптимистов. И не верю, что со взятием Москвы исчезнут красные бесы...

— С золотым запасом России, с помощью союзников, а союзники-то — англичане, французы, чехословаки, всю Европу можно бросить на колени.

— Союзники, союзники! Вчера Васька Крестовников для них попойку закатил — дым стоял коромыслом. Разошлись за полночь. А Васька этак горестно говорит: шуба на соболях исчезла. Кто бы мог подумать, союзнички...

— Воры и подлецы! Исчезли человеческие единицы, остались одни нули...

В раскрытых окнах виднелось нежное, как атлас, небо, тополя, темные от прошедшего дождя, стояли блистающими рядами; свежий воздух смешивался с запахами вина, табака, пота. У Долгушина закружилась голова, терпкая печаль сжала сердце. Фанфаронный многозначительный треп, легкомысленная болтовня, трещавшие как веселый костер, постепенно растравливали его ум. Легкая печаль разрасталась в злобную тоску: «Неужели эти самодовольные буржуа мечтают править Россией? Глухие и слепые ко всему, кроме наживы, они заменят нас, дворян? Как бы не так! Мы выбросим их, когда восстановим Россию».

Устав от пьяной болтовни и спертого воздуха, он вышел на балкон: там, опершись на перила, курил Савинков: распаленный глазок папиросы освещал его губы.

— И вы не вынесли глупостей, ротмистр?

— Ужасно! — Долгушину захотелось излить свою тоскливую злость перед человеком, которого он не знал, но уважал и в душе побаивался.

В наступивших сумерках их лица странно белели: над балконом клубились табачные дымки, уже погасли блиставшие дождевыми каплями тополя.

— Действовать надо, не то все пропало, — заговорил Савинков. — Невозможно надеяться на левых эсеров, пьянеющих от собственной болтовни и половинчатой политики. Вы человек действия, ротмистр?

— Я бы хотел, Борис Викторович, участвовать в готовящемся походе на Свияжск. Буду полезным, потому что люто ненавижу красных.

— Нам теперь необходимы лютые. Без лютости большевиков победить нельзя.

На балконе появился генерал Рычков, тихо попросил:

— Прошу пройти ко мне в кабинет, есть важные новости.

В кабинете уже находились полковник Каппель, адмирал Старк, капитан Степанов, поручик Иванов. Адмирал вытирал платком вспотевшую шею, Степанов фыркал и сопел, Каппель и Иванов тихо, но нервно разговаривали о чем-то неприятном для поручика.

— Только что стало известно, господа, — сказал Рычков, — на станцию Свияжск прибыли крупные политические деятели Совдепии.

— Прекрасно! — рассмеялся Савинков. — Есть возможность ухватить за хвост этих красных деятелей. Не правда ли, Владимир Оскарович?

— Крупный зверь — веселая охота, — тоже смеясь, согласился Каппель.

— Второе известие из Самары, — продолжал Рычков. — Комуч приказывает немедленно отправить государственный золотой запас. За ним уже вышел пароход. Что вы думаете, господа?

— Золото надо отправить в Самару, — быстро сказал

Долгушин. — Чем дальше оно будет находиться от передовых позиций, тем лучше.

— Золото — наша сила, а силы рекомендуется беречь. Я за отправку запаса в Самару, — поддержал ротмистра Савинков.

— В таком случае завтра прошу осмотреть золото, драгоценности и засвидетельствовать их полную сохранность, — предложил генерал Рычков. — История не простит нам, если мы без должного пиетета отнесемся к такому исключительному событию, как переброска золотого запаса России...

— История — баба распутная. Она забывает события поважнее, — сострил Савинков.

Государственный золотой запас России накапливался на протяжении столетий.

В горах Урала и Акатуя, в ленских, бодайбинских, алтайских чащах, на золотых приисках, серебряных рудниках, в платиновых шахтах бренчали кайлами и кандалами русские люди.

Крепостные мужики, декабристы, народовольцы, мыслители и поэты, бандиты и убийцы, политики и казнокрады в каторжных рудниках пополняли золотой запас империи. Они мокли под северными дождями, задыхались на пятидесятиградусных морозах, спали в замшелых землянках, ели впроголодь черный хлеб, мерли от цинги и шпицрутенов, — на смену приходили новые поколения.

Жильное и рассыпное золото переплавлялось в слитки и укладывалось штабелями в тайных хранилищах. Редкие по красоте, по причудливости форм самородки попадали в коллекции империи. Но государственный запас пополнялся не одним золотом и серебром.

Редчайшие алмазы, рубины, густые и алые как вино, дымчатые топазы, александриты, меняющие свой цвет, изумруды, зеленые будто молодая трава, жемчужины южных морей, кубки и чаши, перстни и ожерелья, украшенные драгоценными камнями, находили приют в сокровищницах запаса.

Старинные иконы, картины великих живописцев, хрустальные изделия, оформленные в золотые оправы, золотые кувшины и кубки, одетые хрусталем, ларчики из слоновой кости, малахитовые шкатулки, изузоренные паутиной причудливой резьбы, сервизы севрского, китайского, японского фарфора, ограненные, ошлифованные, оплированные безделушки — прекрасные в своем совершенстве, библии в переплетах, сияющих, как райские врата, кинжалы, похожие на кресты, и кресты, массивные словно старинные мечи, были в кладовых запаса.

Сокровища покоренных царств, княжеств, ханств, подарки императоров и королей, президентов, временных и пожизненных властелинов разных стран и разных народов, удивительные находки из разрытых гробниц, дары земных недр, морских глу-

бин, плоды гениального воображения — все, что имело непреходящую ценность и красоту, оседало в государственных тайниках империи Русской.

Золотой запас был символом ее величия, военной мощи, неиссякаемости, и был он безбрежен, как сибирская тайга, как среднеазиатские пустыни. Из этого запаса можно было взять десять, сто, тысячу пудов золота, но невозможно было растранжирить его полностью.

На второй год мировой войны царское правительство решило упрятать государственные ценности от случайностей и превратностей времени. Нужно было надежное место — им оказалась Казань.

Старинный город на Волге отвечал всем условиям для хранения запаса. Казань находилась в центре страны; со столицами ее связывали водные и железнодорожные пути. Казанский банк считался одним из лучших в России. И вот кладовые банка стали наполняться драгоценными грузами. Из губернских казначейств, из царских сокровищниц в Казань свезли драгоценности, золото, платину, серебро, монеты, денежные ассигнации.

После Октябрьской революции в Казань продолжали вывозить ценности из западных и центральных губерний. В кладовых банка нашлось место и самородкам Горного института, и ценностям Палаты мер и весов. К весне восемнадцатого года здесь было сосредоточено восемьдесят тысяч пудов ценностей.

Борис Савинков, генерал Рычков, полковник Каппель, капитан Степанов, адмирал Старк, ротмистр Долгушин, поручик Иванов спустились в подземелья банка. Стены вечной кладки, цементированные полы, потолки, бронированные двери, сложная система затворов и замков надежно укрывали ценности.

У золотой кладовой их ожидал финансовый контролер — большеголовый, лысый человечек с физиономией, как бы застегнутой на незримые кнопки. Замшелый, затхлый — он словно родился из плесени подвалов и никогда не видел божьего света. Контролер открыл стальную дверь.

Вдоль правой стены громоздились деревянные ящики, у левой — штабеля брезентовых мешков; сургучные, с двуглавыми орлами печати были кое-где сломаны. Разномастные мешки и ящики не вызывали в Долгушине благоговения, он небрежно слушал деревянный голосок контролера:

— В данных ящиках хранится российская золотая монета. Вышеозначенных ящиков шесть тысяч пятьсот семнадцать штук. Российская монета также размещена в одной тысяче восьмистах трех двойных и восьми ординарных мешках. Оной золотой монеты здесь на общую сумму четыреста девяносто девять миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей пятьдесят копеек. — Долгушин успел запомнить одни копейки. — Дальше двести двадцать ящиков, шестьсот пятьде-

сят семь двойных и ординарных мешков с иностранной монетой на общую сумму в пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто пять рублей сорок девять копеек...

В памяти Долгушина опять улеглось только сорок девять копеек. Он просто не успевал запоминать астрономические цифры, небрежно произносимые финансовым контролером. Контролер осторожно снял с одного ящика крышку. В слабом свете замерцали гладкие диски.

— С дисками или кружками имеется семь ящиков. Данный ящик поврежден при перевозке и требует замены. Здесь же,— хилая, с прыгающими пальцами ручка контролера уткнулась в груду почтовых посылок,— здесь хранятся золотые полосы, из коих чеканятся червонцы. Оных в наличии двадцать шесть единиц. Я должен, я обязан предупредить, что многие ящики и мешки пришли в негодность. Их следует заменить новыми, установленными по закону, с пломбами и печатями соответствующего образца,— скучные слова сыпались из ротика контролера.

Он шагнул в глубь кладовой, зажег новую лампочку. Пыльный свет упал на кучи золотых, искрящихся монет. Монеты невольно притягивали взгляды.

— А здесь собрана дефектная монета. От длительного хождения она потеряла частицы металла и требует переоценки. Тут мы имеем русские червонцы, американские и мексиканские доллары, британские гинеи, французские луидоры, итальянские лиры, японские иены, шведские кроны, ирландские дублоны, немецкие марки и другие, и прочие, и тому подобные курсовые единицы,— потрескивал голосок контролера.

В глазах Долгушина рябило от двуглавых и одноглавых орлов, полумесяцев, рыцарских крестов, хризантем, лотосов, львов с поднятыми лапами, профилей императоров, цариц, королей, президентов, завоевателей, корон и гербов, от всевозможных символов призрачной власти, наглого тщеславия, истлевшей славы, незаслуженного величия.

Маслянистый золотой отблеск играл в голубоватых глазах капитана Степанова; рыжее личико разрумянилось, руки дрожали.

Генерал Рычков кряхтел и сопел, стараясь своим добропорядочным видом показать равнодушие к золоту.

Адмирал Старк с его любовью к аккуратности и порядку был возмущен безобразным хаосом в золотой кладовой. Его оскорбляли и поломанные сургучные царские орлы на ящиках и мешках. Революции революциями, а золото золотом.

Невероятное количество золотого металла подавляло поручика Иванова. Перед ним струился золотой мираж, и было страшно — как бы мираж этот не испарился из зыбкого мирка, в котором жил недавний красный военспец.

Полковник Каппель думал, что мог бы обуть, одеть, вооружить свои батальоны. Мог бы купить пушки, пулеметы, снаряды, все, чем взрывают, убивают, кромсают противника. О том, что он использовал бы русское золото против русского народа, полковник не думал.

Савинков скептически улыбался. «Слишком много золота. Даже для такого человека, как я». Сквозь пальцы Савинкова просочились английские и французские миллионы: он брал и бросал золото на заговоры и мятежи, но деньги никогда не отягчали его жизни.

Долгушину самым интересным человеком показался финансовый контролер. Заплесневелый карлик будто преобразился: зябкие пляшущие пальчики расправились, зеленые глазки лучились, хрупкая голова покачивалась. Всем своим взъерошенным видом он утверждал: «Я, один я знаю, что такое золотой запас. Как вы будете без меня учитывать эти чудовищные груды золота?»

— Вы давно работаете финансовым контролером? — поинтересовался Долгушин.

— Я состоял при государственном запасе еще в царствование его императорского величества Николая Второго. Я буду состоять при запасе, в чьих бы руках он ни находился. — В голосе контролера звякнула удивленная нотка. — Но, господа, я не думаю, что вы станете осматривать серебряную кладовую. Там самое обыкновенное серебро. Тридцать тысяч пудов на общую сумму... — контролер опять выстрелил длиннейшей очередью цифр.

— Мы взглянем еще на драгоценности,— сказал генерал Рычков.

Контролер открыл новую дверь: все столпились перед оцинкованными широкими столами.

Долгушин уже не мог сосредоточиться на одном ящике или мешке с сургучными царскими орлами: внимание раздваивалось.

Мягко поблескивали пояса, сотканные из жемчужных нитей, фиолетовые, зеленые, кровавые искры перебегали по золотым чашам, по веерам, усыпанным бриллиантами. Лучились полосатые звезды, ордена, медальоны, табакерки, трубки из нефрита, из янтаря, из слоновой кости. Изумрудные кружева на чайных сервизах, алмазные грани безделушек и сувениров утомляли глаза. Сознание притуплялось от всех этих груд человеческого тщеславия и прихотей.

Скрипучий голос контролера вывел Долгушина из оцепенения:

— Кроме царских и музейных коллекций здесь хранятся платина, алмазы, сапфиры, карбункулы, бериллы Горного института, Палаты мер и весов. Здесь же коллекция золотых блюд и кубков русских князей, миллионеров, дворян, редчайшие

собрания золотых самородков генерал-губернатора Восточной Сибири. Я не могу сообщить общей стоимости означенных вещей, ибо они числятся отдельно от государственного запаса...

— Им нет цены,— весело сказал Савинков.

— Все имеет свою цену! — Контролер присунулся к поручику Иванову. Тихо, чтобы никто не слышал, пробормотал: — Положите на место бриллиантовое кольцо, господин поручик. Государственные ценности на сувениры не раздаются. Положите, умоляю вас, иначе я закричу...

— Твое золото — твое молчание, болван! — тоже шепотом ответил поручик.

21

Ядреное, ясное утро с петушиными вскриками, собачьим брехом вставало над Высокой Горой. Из печных труб вздымались спирали дымов, дышали росой капустные кочаны, пауки разносили по воздуху невесомые нити. Рощи темными островками плыли в желтых полях, подсолнухи повертывались к солнцу, в омутах раскрывались желтые мясистые цветы кувшинок. На станции Собакино пофыркивал белый бронепоезд, полевые орудия, прикрытые березовыми ветками, добродушно дремали...

В это же время в полуразрушенном сарае Азин и Шпагин корпели над военной картой.

— Северихин овладевает станцией Собакино. Кавалерийский эскадрон Турчина, помогая Северихину, атакует противника с левого фланга,— говорил Азин, водя карандашом по карте.

— У противника тройное преимущество в силах. Он может легко уничтожить броневиками и пехоту Северихина, и конницу Турчина. Белые броневики укрываются вон там и вот тут,— показал цигаркой на карту Мильке.

— Если будем канителиться, броневики могут оказаться вон там и вот здесь,— перебил его Азин. — В резерве у меня есть Национальный батальон Дериглазова, в случае необходимости я...

Игнатий Парфенович Лутошкин сидел в углу сарая, с грустной улыбкой поглядывая на молодых, порывистых, веселых людей. Эти порывистые молодые люди через час-другой будут убивать таких же молодых людей. Русские станут уничтожать русских со злобой отчаянной, с яростью непостижимой.

Игнатий Парфенович поворачивал косматую голову с черной щетиной на скулах и подбородке, похожий на взъерошенного, готового к прыжку кабана, и невольно раздумывал: «Что случится с рассудительным храбрецом Северихиным? Какая судьба ожидает полутатарина-полурусского, бесшабашного Дериглазова, чуть не расстрелянного Азиным? И тем же Азиным назначенного командиром Национального батальона? Или

создатель бронепоезда Федот Пирогов — суровый рыжебородый мужик. Неужели пуля свалит этого могучего вятского мужика? Даже не могу представить бездыханным его большое, налитое силой тело. А вон покачивается на кривых ногах командир кавалерийского эскадрона Турчин — донской казак, заброшенный случаем в казанские рощи. Андрейка Шурмин любуется своими хромовыми щегольскими сапожками. Забавный парень — восемнадцатый год, а не знает, что такое тротуар. Что ожидает всех этих людей?»

Игнатий Парфенович тяжело вздохнул и незаметно вышел на утренний, пахнущий полевыми цветами воздух.

После сумрачной духоты сарая волны спелой пшеницы, синяя тишина омутов, паучки со своими зыбкими паутинками успокоили Лутошкина: опять казалось невозможным, что эти пшеничные поля, эти омуты, насыщенные запахом кувшинок, будут разворочены, растерзаны горящим металлом, забрызганы кровью.

Красные и белые еще скрывались по оврагам, в перелесках, еще утреннее небо парило над окрестностями Высокой Горы, но Лутошкин, зная неизбежность сражения, с особой остротой переживал светлый покой этих минут...

Федот Пирогов неотрывно следил за железнодорожным полотном: станция была все еще невидимой, но уже и близкой, и желанной, и опасной целью. Нетерпение нарастало, Федоту хотелось как можно скорее войти в соприкосновение с врагом. До боли в ладонях тискал он ручку регулятора, а перед глазами струились дубы, вязы, ясени, пшеничное поле за ними. Солнечные блики бежали по рельсам, мягкий седой блеск неба стремительно освещал землю.

И этот мягкий блеск неба, и солнечные блики на рельсах, и тугие клубки паровозного дыма взбадривали Федота, и все казалось ему необычно прочным. Голая, в черном поту спина кочегара, швыряющего уголь в топку, была особенно надежной, платформы с орудиями и пулеметами несокрушимыми. Федот представил артиллеристов, лежащих у орудий, их вздрагивающие от тряски тела, и ощущение прочности еще больше усилилось.

Паровоз сильно рвануло, Пирогов ударился о стальную дверцу, кочегара отбросило к стенке. Федот не слышал выстрела вражеской батареи, но догадался — снаряд угодил в бронепоезд. Он высунул голову в смотровую прорезь — задняя платформа горела.

Паровоз опять содрогнулся, короткая молния сверкнула около Пирогова. С передней платформы ударила трехдюймовка.

— Так его, так его, так его! — с каждым новым выстрелом приговаривал Федот, подпрыгивая и покачиваясь у регулятора.

— А они ловко затаились! — крикнул кочегар, поворачиваясь грязным, распаренным лицом. — А толечко мы их накроем...

Пирогов усмехнулся в рыжую бороду: они говорили о белых в третьем лице, и это делало противника почти нереальным.

Взблескивая молниями, окутываясь дымом, бронепоезд продвигался вперед, Федот снова глянул на железнодорожное полотно и ахнул от неожиданности.

Навстречу, стеля в воздухе султан жирного черного дыма, мчался паровоз с платформой: пар выбрасывался из-под колес, платформа моталась из стороны в сторону. Федот ухватился за регулятор, изо всех сил потянул на себя. Бронепоезд сбавил бег, приостановился и замер. Федот дал задний ход — бронепоезд попятился, стал нехотя отползать.

— Поднимай пары! — Федот дернул на себя стальную дверцу.

Свистящий ветер ударил в лицо, откинул к плечу бороду. Пирогов прыгнул на зыбко дрожащие рельсы, еще не зная, что сделает в следующую минуту. В человеческой жизни бывают такие мгновения, что решают бесповоротно судьбу. Этими неуловимыми мгновениями потом оценивают храбрость, измеряют трусость. Федот никогда не думал о славе и бесславии, о подвигах во имя чего-то, о долге, который должно исполнять ради каких-то высших и особенных целей,— он просто стоял и ждал.

Белый паровоз приближался. Федот инстинктивно, как зверь, присел. Его обдало горячим паром, и он прыгнул, схватился за поручни, и ноги сами нашли стальную ступеньку. Федот просунулся в паровозную будку, перевел регулятор и стал тормозить — тормозить, наваливаясь грудью, словно хотел остановить своим весом железную махину.

Уже в обратном направлении замелькали кусты, деревья, пшеничное поле. Пирогову хотелось теперь одного — разогнать до всесокрушающей скорости паровоз с платформой. Земля и небо убыстрили свое вращение, солнечные блики подскакивали на рельсах, клубы пара растягивались рваными полосами. Как-то совсем неожиданно появились вагоны, паровозы, запасные пути, выросли и выбежали навстречу желтое здание вокзала, перрон с солдатами, офицер, склонившийся над орудием.

Красное пятно взрыва ослепило Федота: он зажал ладонями опаленное лицо. С огненными брызгами, лязгом паровоза и орудий столкнулись треск ломаемых вагонов, крики солдат, погибающих под обломками.

Судьба отсчитала Федоту Пирогову последние его секунды.

Азин нервно ходил у сарая, дожидаясь донесений от Северихина. Прошло сорок минут с начала боя, а Северихин молчал.

— Стен! — не выдержал Азин. — Скачи к Северихину, узнай обстановку. Да живей, крутись чертом! — Сам же, тиская в пальцах нагайку, взобрался на крышу сарая. Что там происходит?

Между станцией и селом, в широком овраге, укрылся Национальный батальон Дериглазова. Азин рассмотрел тюбетейки, фуражки, цветные пятна рубах. На голом обрыве, грузно осев в седле, торчал Дериглазов. Орудийный снаряд разорвался за оврагом, где укрывался Национальный батальон. Из березовой рощи появились и поползли к оврагу белые броневики, а на обрыве по-прежнему, как идол, торчал Дериглазов, придерживая руками бинокль: на груди его болтался другой, большего размера.

На обрыве вспыхнули желтые клубочки пыли, Дериглазов невольно откинулся в седле, но тут же выпрямился. «Пристреливаются, собаки!» Новая цепочка пыльных клубков прометнулась по обрыву, теперь уже около Дериглазова. Он натянул поводья, битюг неуклюже попятился.

Дериглазов взмахнул биноклем.

С обоих концов оврага ударили пулеметы, кусты зашевелились, из них поднялись, побежали на крутые склоны, устремились к броневикам бешметы, тюбетейки, зипуны, стеганые халаты.

— Парфеныч, гранаты! — Азин кубарем скатился с крыши сарая. — Где моя лошадь, старая ты кочерыжка? — Вспомнив, что на его лошади ускакал к Северихину ординарец, Азин побежал к оврагу. Он так и не добрался до Дериглазова, его увлекли за собой бойцы. Рядом с Азиным мчался татарин в генеральских штанах, но голый до пояса. Татарина обошел молодой парень в сдвинутой на затылке шапке. Сверкая черными босыми пятками, подпрыгивал бородатый мужик. За спиной Азина кто-то страшно матерился, от этой матерщины он невольно прибавил ходу.

Татарин в генеральских штанах кинул гранату — броневик вспыхнул. Красноармейцы расстреливали выпрыгивающих из машины офицеров. Азин понял: нет нужды воодушевлять бойцов, но в эту минуту к нему подскочил сам Дериглазов:

— Твое место не здесь, командир! Отчаливай с передовой...

— Ты это кому такие слова? — вскинулся было Азин.

— Смазали керосинчиком под белыми хвостами! До самой Высокой Горы чешут,— похвастался Дериглазов, придерживая огромный бинокль с пустыми окулярами.

— А ведь бинокль-то у тебя без стекол? — удивился Азин.

— Пустой, как обод без колеса. Я «цейсом» пользуюсь.

Татары мои требуют, чтобы я в большую трубу белых разглядывал, в маленькую, говорят, ни хрена не увидишь...

— Почему на глазах у противника торчишь? Ты у меня брось фасонить!

— Да разве я с умыслом? У меня мурашки по коже, а попробуй уберись с видного места! Татары сразу смекнут — командир пули боится. Я же их, приятелей, знаю. — Дериглазов соскочил на землю. — Садись на моего иноходца, командир.

— Все, что не окружено и не уничтожено, снова будет приведено в порядок,— назидательно и строго сказал Азин. — Не забывай об этом и лупи белых, пока не опомнились. — Он сел на дериглазовского битюга, повернул было к станции, но его остановила новая волна выстрелов. От станции, преследуемые конницей Турчина, бежали к селу чехи. Азин завертелся среди бегущих, опрокидывая чехов громадной лошадью. Белые уже не сопротивлялись: одни поднимали руки, другие прикрывали головы, третьи умоляли о пощаде. Битюг споткнулся, Азин, кренясь на правый бок, вывалился из седла. Попал руками в кровавую лужу. Нервно встал. Увидел Лутошкина и, почувствовав странную душевную пустоту, побрел по пшеничному полю. Всюду лежали убитые с молодыми, красивыми, еще не обезображенными смертью лицами. Белобрысый мальчик, обсыпанный срезанными колосьями, бессильно разбросал ноги. Рядом скорчился другой — с черных усов его капала кровь. И третий — фельдфебель неопределенного возраста,— из приоткрытого рта поблескивал золотой зуб. И еще, и еще, молодые люди — уже остывающие, уже успокоенные налетом смерти.

— Подберите раненых. Ихних тоже. — Азин пошел через изрытое, опаленное, пахнущее пороховой гарью и кровью поле к селу.

Красные, как и белые, понесли под Высокой Горой большие потери. Успех не радовал Азина, он хмурился, отмахиваясь от поздравлений.

— Это пиррова победа, друзья! Не знаете, что такое? Объясню на досуге. А противник до конца не уничтожен, а противник может собраться с силами. Мы утеряли все свои козыри.

Азин созвал на совет командиров. В просторном купеческом доме стало тесно и душно. Командиры, все еще ожидавшие похвал, переговаривались: веселой свежестью несло от этих здоровых людей, несмотря на тяготы ушедшего дня.

— Я стану говорить о наших ошибках,— начал Азин, и командиры приумолкли. Такое начало не обещало ничего хорошего. — В бою за Высокую Гору мы потеряли преданных сынов революции. Мы виноваты в несогласованности своих же действий. Многие командиры не умеют сами оценивать изменяющуюся обстановку и ждут приказа от меня, как будто я знаю, что происходит на их позициях каждую минуту. А Миль-

ке вообще не ждал никаких приказов. Вы трус, Мильке! Бесстыдный трус, и мне досадно, что не могу судить вас как труса...

— Как вы смеете! — чуть не задохнулся от возмущения и обиды Мильке. — Не мог же я атаковать противника, трижды превосходящего силой. Кроме того, я вынужден был покинуть тракт,— там оказался броневой заслон противника. Пришлось свернуть в лес. Вот почему я опоздал к Высокой Горе. — Желтый румянец обжег серое лицо Мильке.

— Испугались двух броневиков? А почему не испугался пяти белых машин Дериглазов? А Северихин атаковал более сильного противника и первым вошел в Высокую Гору. Да что толковать! Шпагин, пиши телеграмму командарму-два. — Азин облокотился о стол, положил на ладони голову. — Высокая Гора взята, путь на Казань открыт. Для штурма города необходимы резервы. Прошу срочно направить хотя бы пятьсот — семьсот штыков. — Азин приподнял голову, уперся кулаками в подбородок. — Ставлю вопрос жизни и смерти. —Проследил за быстро двигающимся карандашом Шпагина. Начальник штаба писал, недовольно выпятив губы: Азин по-своему расценил осуждающее выражение его лица. — Тебе стиль не нравится? Быть или не быть — таков вопрос? Жизнь или смерть, да? Драматическая лирика, да? Ну, вычеркни неуместные эти слова. Впрочем, нет! Пусть остаются. Пиши дальше. Виды на победу прекрасные. Много дел. Все. Добавь еще — немедленно жду ответа...

Успех порождал веру в собственные силы, но ум и приобретенный опыт подсказывали: можно разгромить белых под Казанью и даже захватить город, а без резервов его не удержать. Так не будь же авантюристом, не лезь очертя голову в пекло, жди подкреплений, узнай, наконец, что творится под Свияжском. Как дела в Пятой армии? Ты должен, ты обязан быть в курсе ее дел...

22

«Сперва громы все приближались. Потом откуда-то с другого берега выступили новые, отрыгивающие железо, железные глотки». Карандаш споткнулся о шершавую оберточную бумагу. Лариса Рейснер откинула со лба волосы, гул артиллерийской канонады еще слоился в ушах.

В подвале восстановилась тишина, но время уже обрело новое измерение, на события лег иной — голубой, манящий отблеск. Лариса спрятала записки за пазуху, выбралась из подвала: у калитки очумевший от страха пристав грозил небу кулаком и похабно ругался.

— Этот налет не принес нам ущерба,— успокоила пристава Лариса.

— Совершенно справедливо, сударыня, где им устоять

против оружия нашего. Но ведь они, подлецы, могли швырнуть и случайную бомбу.

— Если случайная бомба, то мы и костей не соберем...

Пристав почесал лоб, снова выматерился.

— На пороховом заводе мастеровые зашевелились. Ждут, окаянные, красных. Шушукаются по углам, гадкие слушки пускают,— доверительно заговорил он. — Вы, мадам, дама благородная, поостерегайтесь на улицу выглядывать. Пойду послежу за порядком...

Лариса сидела в горенке, рассматривая литографии царского семейства. Ночью связной Миша принес новость.

На станционных путях Свияжска уже несколько дней стоит поезд Высшего военного совета республики. С ним прибыли члены совета, военные специалисты, старые революционеры. В Свияжске идет формирование Пятой армии. Главком Вациетис с командармом Славеном готовят операцию против Казани. Из Нижнего Новгорода подошла Волжская флотилия, созданная Николаем Маркиным. Сегодняшний артиллерийский обстрел Казани возвестил об ее приходе убедительнее всяких тайных слухов о скором наступлении красных.

Миша принес еще одну новость: с северо-востока к Казани приближаются части Второй армии. Под командой Азина эти части наголову разбили белочехов у Высокой Горы.

Миша передал приказ начальника разведки — возвращаться в Свияжск — и сам ушел на рассвете. Перед уходом долго тряс руку Ларисы, повторяя:

— Береги себя, береги себя...

Рейснер больше никогда не видела Мишу. Себя он не уберег.

Вечером Лариса решила покинуть Казань: ее теперь неудержимо тянуло в Свияжск, к друзьям, к новым событиям, историческое значение которых она ощущает каждой клеточкой мозга.

Ларисе Рейснер выпала завидная доля — рассказать обо всем, что происходит в эти грозные, мучительные, неповторимые дни, все, что она видит и слышит. А видит она и металлический отсвет на лицах рабочих, и алые знамена революции, растоптанные белыми сапогами, и черные кресты на воззваниях епископов. А слышит она и пустопорожние речи эсеров, и бахвальство офицеров, мечтающих о скором взятии Москвы.

Прижимая карандаш к оберточной бумаге, она смотрела на портреты царя и царицы; занавески шевелились, и жужжали мухи, от крашеного желтого пола пахло воском. В этом тихом мещанском домике жил палач и провокатор, и Лариса записала: «По мере того как новая власть на телегах свозила к Волге голые трупы рабочих, на домик пристава слетали идиллические тени».

Пристав вернулся после обеда, радостно сообщил:

— Теперича, мадам, краснюкам крышка! Наши решили уничтожить Свияжск...

Рейснер похолодела от предчувствия новостей, а пристав, собрав морщины на пятнистом лбу, постучал ребром ладони о стол, другой провел по столешнице:

— По краснюкам ударят вот так и вот эдак, и с затылка и в лоб...

Набросив на шею платок, Лариса вышла из дома. На трамвайных остановках толпились люди, но пустые вагоны проходили, не останавливаясь. В центр города спешили такие же пустые вагоны, бежали обыватели, тряслись ломовые извозчики: эта необычная суета удивила Ларису; людской поток увлек ее на главную улицу, к зданию Народного банка.

У подъезда банка стояли броневики, между гранитными серыми колоннами маячили часовые, сновали озабоченные офицеры. Толпа любопытствуюших уже запрудила мостовую: мелькали шляпы, вуали, стеки, зонтики.

С непостижимой скоростью распространился слух о вывозе золотого запаса, и это была чрезвычайная новость для Свияжска. Белые увозят золотой запас — куда?

Лариса ловила торопливые, испуганные, завистливые фразы, разгорающиеся в толпе:

— Господи, золото отправляют!

— Говорят, восемьдесят тысяч пудов. Золото-с и серебро-с!

— Да еще с хвостиком, сударь мой. А в хвостике три тысячи пудиков. Драгоценные камни и платина не в счет. Они отдельно-с.

— А что, красные уничтожены под Свияжском?

— Вы сожалеете, профессор?

— Хоть бы одним зрачком поглазеть на золото. Узреть бы в первородном его естестве...

— А брусками оно, господин хороший. Брусками и дисками. Мне ли не знать — в банке казначеем служил.

— Ох-хо-хо! Царские драгоценности и священные реликвии наши скитаются по всей Руси.

— Все вернется на круги своя, в Зимний, в Кремль...

Сдвинутые брови, искривленные неутоленными желаниями рты, тяжело дышащие ноздри мелькали перед Ларисой. Она слышала шепот биржевых маклеров, уличных проституток, международных воров. Всех этих людей потрясала мысль, что совсем рядом хранится невообразимый золотой запас русской земли и невозможно урвать из него даже маленькую частицу. Всех тяготило мучительное сознание, что есть кто-то, распоряжающийся золотом, принадлежащим в какой-то доле каждому из них.

Двери банка распахнулись, на широкие ступени подъезда вышла группа военных; впереди всех был длиннолицый

плотный человек в английском френче и крагах. Из-под козырька серой фуражки толпу ощупывали строгие ореховые глаза.

Лариса узнала этого человека сразу, хотя и видела однажды в жизни; ее внимание сосредоточилось на Борисе Савинкове. Савинков в Казани! Это была такая же серьезная новость, как и отправка золотого запаса. Первостепенной значительности сведения эти нужно было как можно скорее передать в штаб Пятой армии.

Оврагами и борками Лариса спешила к Свияжску и злилась, что не успела узнать ничего путного о предстоящем налете белых. Увязая по щиколотку в прибрежных песках, торопилась она в штаб Пятой армии.

И все-таки она опоздала.

Рейд на Свияжск начинался удачно.

Полковник Каппель разработал несложный, но продуманный план операции. На правом берегу Волги, на станции Нижняя Вязовая, находился поезд Высшего военного совета. В восьми верстах от станции, в Свияжске, размещался штаб Пятой армии. Между станцией и городком стояли полки и отряды правобережной группы войск, разбросанные по деревням, они прикрывали и штаб Пятой армии, и поезд председателя Высшего военного совета. Романовский мост через Волгу охраняла рота латышских стрелков. Каппель решил обойти городок и станцию, перерезать железнодорожный путь на Москву, захватить штаб Пятой армии, Романовский мост.

Отряд Бориса Савинкова наносил удар по левобережной группе красных, разбросанных вдоль железной дороги, лишал ее возможности помочь своим на правом берегу.

Августовской ночью батальоны Каппеля бесшумно проселочными дорогами обошли Свияжск и кинулись на станцию Тюрлему. Красные были захвачены врасплох и уничтожены. Капитан второго офицерского батальона расстрелял и повесил всех пленных красноармейцев. На запасных путях капитан обнаружил два состава с орудийными снарядами.

— Салют в честь большевиков! Пусть знают, что пришли белые мстители! — Дымя папиросой, капитан наблюдал, как в огненных вихрях и металлических громах приподнимались и разваливались вагоны с артиллерийскими снарядами. От взрывов вздрагивала, уходя из-под ног, земля, срывались с деревьев тела повешенных.

Чудовищное рыканье взрывов прокатилось над завернутой в туман Волгой. Утробный гул вздрагивающей земли, лиловые вспышки, рвущие небо, насторожили членов Высшего военного совета. Для выяснения странных взрывов в Тюрлему отправился бронепоезд.

Каппель прискакал на станцию, когда она уже дымилась развалинами. Ярость охватила полковника; вскинув над головой капитана нагайку, Каппель завизжал:

— Как вы посмели! Надо же иметь башку на плечах! Салют в честь большевиков! Идиот! Вы предупредили красных своим салютом!

Каппель ходил по речному обрыву, тиская бесполезный бинокль. В предрассветной мгле едва угадывались горбатые фермы Романовского моста. Что там происходит? Орудийные вспышки и винтовочная перебранка то усиливались, то угасали; Каппель нетерпеливо ждал сообщений о захвате моста. Военный опыт подсказывал ему, что он уже утратил преимущество внезапного удара. Романовский мост он думал взять в три часа ночи; теперь — половина пятого: каждая минута приближала рассвет и отдаляла от цели.

Из зыбкой полумглы вынырнул всадник. По удрученному виду связного Каппель понял: мост по-прежнему в руках красных.

— Мост взяли? — все же автоматически спросил он.

— Первый батальон истребил охрану моста, второй захватил предмостные укрепления. Бой идет за переправу через Волгу,— докладывал связной.

— Мост взяли? — Каппель повторил свой вопрос.

Ничтожная географическая точка — Романовский мост — выросла до исключительной величины. В ней, как в фокусе, пересеклись для Каппеля военные, политические, личные интересы. Полковник поставил ва-банк судьбу Казани и белой армии, свой военный авторитет и свои надежды на стремительное движение к Москве.

— Это же мой Аркольский мост,— бормотал он. — Мой, мой Аркольский мост! — В мозгу Каппеля выросло ослепляющее видение: Наполеон с разорванным знаменем штурмует Аркольский мост. Каппель усилием воли стер соблазнительную картину, поднял бинокль — серая мгла и черный дым закрывали Волгу и левобережье. Где-то там, в луговых рощах, действует Савинков.

Металлический звук широко, властно и как-то особо торжественно прокатился по Волге. Наступило мгновение угрожающего покоя: Каппель слышал лишь всплески воды под обрывом. Эхо еще ускользало по воде, и, как бы настигая его, раздался короткий рык; рассветающее небо, Волга, мост пронзительно вспыхнули, подпрыгнули, погасли.

Залп миноносцев накрыл офицеров, штурмующих предмостные укрепления. Красные шрапнелью косили каппелевцев: черные волны их отхлынули за волжский обрыв.

Красные выбросили на правый берег десант; балтийские моряки и волжские матросы кинулись в штыковую атаку. Комиссар флотилии Маркин угадал, что офицеры залегли за

обрывом. Обойти их с обеих сторон, закидать гранатами, погнать к Волге — вот что было необходимо в эти минуты.

В самый нужный момент Маркин возник на обрыве — тяжелый, стремительный, страшный: связка гранат, описав кривую, рухнула на залегших офицеров...

Неожиданное, на которое никто не надеялся, произошло. Можно назвать это случайностью, объяснить тактической ошибкой Каппеля, или преждевременной его успокоенностью, или другими такими же резонными причинами, но неожиданное изменило весь ход событий.

Каппель решил, что помимо флотилии к станции подошли свежие силы красных; это заблуждение — одно из многочисленных военных заблуждений — стало катастрофой для его рейда. Страшась уже собственного окружения, Каппель приказал отступать от моста и станции. И опять-таки это отступление — лишь кажущаяся случайность. Для того чтобы сомнение Каппеля переросло в уверенность, горстке красных надо было проявить исключительную волю и мужество. Их отчаянное сопротивление рассеяло веру Каппеля в успех начатой операции...

Борис Савинков и ротмистр Долгушин с кавалерийским эскадроном, с пулеметами подошли к полустанку Обсерватория. Все в эту ночь помогало им: густой туман, наползающий с Волги, сосновый бор у железнодорожного полотна, беспечность красных дозоров. Вечером на полустанок прибыл эшелон с рабочим добровольческим полком.

Савинков взглянул на часы: было половина двенадцатого. Он оставил эскадрон, а сам с Долгушиным направился к полустанку. Мокрые ветки орешника били по лицу, сквозь испарения холодно поблескивали рельсы, на холме косматились багровые костры.

Савинков и Долгушин прислушались. С холма, еще не закрытого туманом, доносился слабый гул возбужденных человеческих масс. Это было хорошо знакомое и ценимое Савинковым возбуждение людей перед опасностью.

Прикрываясь ореховыми зарослями, Савинков и Долгушин еще ближе подобрались к холму. Общий неразборчивый гул стал распадаться на отдельные выкрики — гневные, ликующие, неодобрительные. Придерживая сучья, наклонив голову, Савинков шепнул:

— Я просто не верю своим глазам. Они митингуют, ничего не подозревая. Тем хуже для них...

Долгушин тоже поражался беспечности красных: он видел размахивающих руками ораторов, их тени, колеблющиеся на склонах холма, слышал то гневные, то восторженные крики.

Эту завороженную словами толпу можно было в упор косить из пулеметов, раскидывать лихой кавалерийской атакой.

— Идите за пулеметом,— приказал Савинков. Голос его прозвучал властно и совершенно спокойно.

Наступило темное скользкое затишье, и вдруг это затишье разорвала музыкальная нота. Она зазвенела таким острым трепетом призыва, была настолько пронзительной, гневной и прекрасной в своем гневе, что Савинков вздрогнул.

Вперед, сыны отчизны милой!..

Савинков зябко поежился от брызнувшей с веток росы. Сколько раз в тюрьмах он пел «Марсельезу»? Эта песня всегда воспламеняла его сердце, звала на борьбу. Он стал медленно повторять по-французски знакомые слова и переводить их на русский. Оттого что «Марсельеза» с одинаковой страстью звучала на обоих языках, Савинков распалился злостью.

Вперед, сыны отчизны милой, мгновенье славы настает!..

Савинкову казалось, что слова «Марсельезы» обрушиваются на него градом пощечин, бьют по голове, по сердцу, по нервам.

— Большевики украли у меня даже «Марсельезу»! — Все свои последние неудачи, все поражения Савинков приписывал большевикам. Постепенно, шаг за шагом разрушают они его замыслы, рвут все ловко сплетенные нити его заговоров.

Это какое-то потрясающее невезение! Савинков не верит ни в бога, ни в черта, а то мог бы подумать, что рок преследует его постоянно. Чего он только не делает, чтобы сокрушить большевиков, а они торжествуют. А Ленин побеждает. Савинков немало испортил крови большевикам: они не простят ему ни Ярославля, ни Рыбинска, ни добровольческой армии, ни Казани. Не забудут они и его террористических актов. Бомбами и пулями выжег он свое имя на теле двух революций; нынешний восемнадцатый год опален его мятежами.

— Я расстреляю их «Марсельезу» из пулеметов... — Озноб не прекращался, и Савинков пожалел, что не надел шинели.

В отблесках костров мелькали тени: красноармейцы все что-то кричали, но сквозь гомон и шум прорезывалась грозная мелодия «Марсельезы».

Савинков услышал легкий всплеск кустарника. Вернулся Долгушин; за ним пулеметчики несли на руках «виккерс». Савинков кивнул головой, встал на колени. Припал к пулемету; глаза его перебегали с одной фигуры на другую, и он нажал гашетку. В то мгновение, когда «виккерс» отчаянно задергался под руками, ничто не шевельнулось в душе Савинкова.

Савинков бродил по холму, покрытому телами убитых и умирающих, и трясся в ознобе. Сдернул с мертвого трубача

окровавленную шинель. Надел на себя. Вытер еще теплую кровь, шагнул вперед и запнулся за медную трубу.

Труба глухо зарычала, Савинкову почудился в этом рычании грозный зов:

— К оружию, граждане!

Ночное сражение под Свияжском показало не одно мужество и не одну стойкость красных — этим сражением они подвели черту партизанскому периоду своей армии. Бойцы революции поняли, что могут сражаться и побеждать, и приобрели уверенность в своих силах.

23

Черные стволы дымов росли над Волгой; миноносцы, впаянные в гладкую воду, казалось, дремали, равнодушные ко всему, кроме покоя. Но покой балтийских кораблей под тяжелыми сгибающимися стволами дымов был обманчив.

Этот обманчивый покой не одних миноносцев — всей красной флотилии — с особенной силой чувствовал Николай Маркин. Опершись локтями на борт буксира «Ваня», переделанного под канонерку, он молча любовался вечерней Волгой.

За бортом двигалась блестящая неутомимая вода, с лугов наползали белесые гривы тумана. С правого, высокого берега к реке сходили сосны, с невидимых полей доносился запах пшеницы; Маркин знал — у правого берега притаились суда адмирала Старка. И может быть, этой же ночью начнется бой между флотилиями, и никто пока не ведает, сколько людей погибнет в бою, но каждый уверен — погибнет кто-то другой, а не он.

— А они ведь рядом,— сказал Маркин, стряхивая с себя очарование засыпающей природы.

— Кто «они»? — не понял Маркина пулеметчик, которого, несмотря на его девятнадцать лет, матросы звали Серегой Гордеичем.

— Белые рядом,— ответил Маркин, доставая кисет с махоркой.

Серега Гордеич представил вражеские суда под обрывами Верхнего Услона — двухэтажные пароходы, истребительные катера, тяжелые баржи, готовые к бою. Представление было таким объемным, что Серега Гордеич прикрыл веки.

— Как здесь хорошо,— мечтательно вздохнул Маркин. — Так и хочется сойти на берег и остаться. Мне гадала цыганка, что проживу девяносто лет. Революции нет еще и года, а я уже прожил в ней целую вечность. Ты понимаешь, Серега Гордеич, что такое вечность в одном году?

Пулеметчик не отвечал: ум его пока не охватывал исторического пространства времени.

— Один год революции изменил всю мою жизнь. Говорят, слепые видят вспышку молнии, на какую-то долю секунды, но видят. Революция сделала зрячими мильоны слепцов, в том числе и меня. Не на секунду — до смерти.

— Ты штурмовал Зимний, комиссар? — почему-то шепотом спросил Серега Гордеич.

— Я занимал царские министерства...

— А что ты делал на второй день революции?

— Громил юнкеров в Инженерном замке...

— А на третий день? — все тем же таинственным полушепотом выспрашивал Серега Гордеич.

— На третий день создавал Комиссариат иностранных дел. Позвал меня Свердлов и объявил:

«Власть в наших руках, пора управлять Россией. Иди на дипломатическую работу, Маркин...»

«Какой же из меня дипломат?»

«А вот Владимир Ильич уверен, что ты справишься с этим делом...»

«Что тут поделаешь, если сам Ленин...»

Маркин сознавал историческое значение событий, в которых участвовал, но не ценил в них собственной роли. Нелегко говорить об истории правдиво, а Маркин не умел убегать от правды в пышное суесловие. Но ему не пришлось бы приукрашивать события,— они и так были невероятными. Невероятность часто приводит к легендам; к счастью, легенды разрушаются документами. Не потому ли документы революции ценнее ее легенд...

Снежным ноябрьским утром явился Маркин в министерство иностранных дел. Распахнул парадную дверь, взбежал на ступени мраморной лестницы. За ним, оставляя мокрые следы на коврах, шли балтийские матросы и питерские рабочие. Шли мимо чиновников в костюмах черных, словно графит, и воротничках чистых, как первый снег.

Маркин осматривал бронированные комнаты: в них хранились секретнейшие военные договоры. Зашифрованные, опечатанные, опломбированные договоры эти оберегались надежно: никто, кроме царя, министров и самых приближенных чиновников, не знал их содержания.

В министерском кабинете он остановился перед огромным и зеленым, словно лесное болото, письменным столом. Долго стоял в нерешительности: с чего начинать?

Для начала у бронированных комнат поставили часовых, проверили министерские погреба, вызвали чиновников. Напрасно Маркин уговаривал маленьких и средненьких дипломатов прекратить саботаж. Одни отнекивались, другие

посмеивались: матросы в бушлатах, рабочие в рваных полушубках казались им горячечным бредом больной России.

Маркин ночевал в министерстве на кожаном диване с наганом под головой. Его разбудил телефонный звонок; он встрепенулся, услышав отрывистый голос Свердлова:

— Как себя чувствуешь в самом вежливом из народных комиссариатов? Что, уже вывесил алый флаг революции? И с надписью «Да здравствует мир»? Прекрасное начало! Владимир Ильич просит подготовить к публикации царские секретные договоры.

Маркин уныло перелистывал документы: зашифрованные на английском, немецком, французском языках, они казались еще недоступнее. Маркин вызвал переводчиков и шифровальщиков из Военно-революционного комитета. И опять неудача — нет шифровального ключа. Бесконечные цифры в загадочных сочетаниях рябили перед глазами, вытягивались в сухие колонки, теснились на твердой александрийской бумаге. Как обратить их в ясные фразы?

Снежные вихри закручивались по Дворцовой площади, над Александровской колонной и ее обледенелым ангелом. В углах кабинета шевелились ночные тени: казалось, прошлое прислушивается к шагам балтийского матроса.

Отблеск сальной свечи пробегал по вишневым портьерам, помигивал в хрустальных подвесках люстр, таял в зеленой тине письменного стола. Бронзовые часы, заключенные в длинный футляр из черного дерева, напряженно отстукивали минуты, на стене в позолоченной раме медный всадник гнал куда-то бешеного коня, и Маркину было очень неуютно. Все казалось ему чужим, отстраненным и бесконечно враждебным в кабинете бывшего министра иностранных дел.

Первый расшифрованный документ лег на его стол только на четвертую бессонную ночь. Он долго держал в руках плотный, белый, словно спрессованный из снега, лист. Маркин читал, и бессонница его испарялась.

А шифровальщики приносили все новые документы. Тут были русско-французская военная конвенция, договоры о разделе Африки, Персии, Малой Азии, Греческих островов.

Маркин угрюмо читал секретнейшие, пропитанные кровью, пахнущие преступлениями, дышащие предательством документы, потом повез в Смольный к Ленину. На следующий день все советские газеты начали их публикацию, а через неделю появился первый сборник секретных документов с предисловием Маркина: «Долой тайную дипломатию! Все на свет божий! Все наружу!»

...В нарастающих сумерках всплескивалась вода: она шла неутомимо — все видящая и ничего не помнящая волжская вода. Но те исторические события, что происходят сегодня и произой-

дут завтра на земле русской, не смоет волнами, не заметет песками Волга...

Маркин и Серега Гордеич закурили: янтарные зрачки самокруток запорхали в темнеющем воздухе. «Комиссар старше меня всего на пять лет, но сколько он уже сделал для революции. А что я?» — с внезапной печалью подумал Серега Гордеич. Взгляд его остановился на серой громаде миноносца «Прочный»: флагман, еще недавно пустынный, сейчас ожил. К бортам причаливали шлюпки, по трапам взбегали командиры, на палубе озабоченно сновали матросы. Серега Гордеич подумал о Маркине: «С этими матросами он штурмовал Зимний, создавал Комиссариат иностранных дел, бродил по царским погребам, разбивая бутылки. По лужам старинного вина пробирался он, усмиряя толпы грабителей. С наганом в руке он сражался за трезвую революцию».

На мостике флагмана появился сигнальщик — замелькали флажки: «Комиссара флотилии к командующему».

— Шлюпку! Видать, есть важные новости,— сказал Маркин, швыряя за борт самокрутку.

Серега Гордеич поспешил на корму мимо пулеметов с патронными лентами, лежавшими словно желтые заснувшие змеи.

Штаб Пятой армии откомандировал Ларису Рейснер в распоряжение комфлота. Она снова жила в тревожно-радостной атмосфере готовящегося наступления. Лариса все яснеи понимала, что Свияжск становился школой регулярных армий революции. Ветер истории дует здесь в лица белых и красных, но побежденные быстро отвернутся от этого свежего ветра.

Минувшей ночью Лариса, как солдат, дралась на свияжском перроне с офицерами Каппеля. Она никогда уже не забудет эти самые страшные и самые значительные минуты своей жизни. В разодранной юбке, забрызганная кровью и грязью, воодушевляла и подбадривала она бойцов. Клялась им, что вот-вот подоспеет помощь, и, зная, что лгала, понимала необходимость своей лжи.

Этот слепой в прямом значении слова бой, происходивший в августовской сырой темноте, вызвал в Рейснер сознание исторической значимости сиюминутных событий.

С палубы «Прочного» Лариса видела рассыпавшуюся по речному плесу военную флотилию.

Эту военную речную флотилию создал Николай Маркин, перестроив пассажирские пароходы и баржи в боевые суда. Из Балтийского моря на Волгу были переброшены три миноносца — случай неслыханный в истории русского флота.

Лариса слышала звуки флотилии, бегущие по воде. С прозрачным звоном били склянки, ровно, маслянисто гудели машины, стучала о борт швабра. Было видно, как бегают оза-

боченные боцманы, пулеметчики проверяют свои «максимы», матросы рассовывают по карманам гранаты. Все делалось быстро, но не суетливо, тревожно, но без паники.

К «Прочному» причалила шлюпка: Лариса узнала Маркина. Он кивнул Ларисе и прошел в кают-компанию. «У него светлое и легко меняющееся выражение лица»,—подумала Лариса. В последнее время она училась по внешнему виду уяснять и характер и настроение людей. Это не всегда удавалось, но думать о человеке стало ее привычкой.

С приездом Маркина на «Прочном» моментально возникла атмосфера нетерпеливого ожидания. Ждали чего-то особенного, может быть приказа о штурме. И это ожидание накладывало на матросские лица особый отпечаток. Стали значительными не только их прокаленные ветрами физиономии, но и повороты голов, и движенье глаз, и позы. Взгляд Ларисы перебегал с тяжелых плеч на крепкие ноги, похожие на узловатые корни, вросшие в палубу. Балтийские моряки, штурмовавшие Зимний, и волжские матросы, собирающиеся штурмовать Казань, выросли из русской почвы, в их жилах струилась жаркая, перемешанная с древесными соками кровь, лесная сила таилась в их мускулах.

Перед Ларисой мелькали разные люди, но каждый с собственным выражением. Вот спокойный, теплый, коричневый профиль боцмана. Он отчетлив и строг, как парус, наполненный ветром. Рядом с боцманом стоит пулеметчик — остроносый, веснушчатый, с желтым пушком на юных щеках. Он полон удивления перед необъятным миром. А вот еще одно — курносое, широкоскулое лицо молодого человека: юноша будто находится в не осознанном еще полете.

Из кают-компании вышел Маркин. Чернобородое лицо Маркина было совершенно белым, голубые глаза светились странным фосфорическим светом.

Команда миноносца уже выстроилась на палубе, и Маркин шагнул к застывшему строю. Сдернул с головы бескозырку.

— Боевые друзья мои! Сегодня утром враги революции стреляли в Ленина...

Матросский строй дрогнул, подался вперед, опять замер.

— Контрреволюционеры дорого заплатят за кровь Ильича. Пусть офицерские батальоны Каппеля и чешские легионы Степанова вооружены лучше нас. Пусть адмирал Старк опытнее нас. Пусть! Тем больше чести для нас! Мы первыми будем искать встречи с адмиралом Старком и сокрушим его первыми. При штурме Казани прольется немало матросской крови. Многие из нас не увидят завтрашнего солнца, не вернутся к своим женам, невестам. Многих не встретят на пороге матери и отцы. Вы знаете это не хуже меня. Но революция требует победы. — Голос Маркина страстно зазвенел. — Тот, кто боится,— пусть уходит. Уходите! Сейчас! На рассвете будет поздно. Вот вам шлюпка, а вон берег,— Маркин показал на береговые обрывы. —

Мы все — добровольцы революции, а революция не принуждает. Она ценит героев и стыдится трусов. Поэтому кто боится драться за революцию — пусть сойдет на берег...

«Опаленный многими опасностями Маркин летел навстречу новой, может быть, последней опасности в жизни. У него уже ничего не оставалось для самого себя: он слился, он сросся со своими товарищами. Нет, слился — не то, и сросся — не то,— перечеркнула свою мысль Лариса. — Он такой же, как и матросы, кость от кости сын русского народа. Угрюмый и нежный, с веселым лбом жизнелюбца».

Маркин вскочил на снарядный ящик. Матросы знали и любили его, он тоже знал каждого из них и тоже молчаливо любил.

— Друзья! — вскинул Маркин руку со скомканной бескозыркой. — Пошлем телеграмму Ленину. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Гул, словно морской прибой, развалил волжскую тишину. Слабый голосок Ларисы утонул в этом самозабвенном гуле; всем своим существом ощущала она сейчас любовь к человеку, которого матросы никогда не видели. Ее прежние представления о популярности, славе, величии распались перед такой яростной силой восторга. В этих криках было не слепое поклонение новоявленному герою,— в них жило почти детское доверие людей к человеку, ставшему необходимым.

Августовская, переполненная звездами ночь повисла над Волгой: стволы орудий блестели от лунного ускользающего света. Флотилия шла по черной обманчивой реке: проползали обломанные снарядами сосны, затонувшие баржи, сгоревшие избы. За бортами по-прежнему журчала все видевшая и ничего не помнившая вода, сотни лунных тропок, вертясь и ломаясь, уходили на дно.

Прижимаясь к холодному борту, Лариса размышляла о том, как обыденно готовятся к бою рабочие и матросы. Неужели они не сознают значения подступающих минут?

Флагманский миноносец с погашенными огнями рассекал волжскую воду. Лариса едва различала на мостике фигуры капитана, штурмана. За «Прочным» чуть обозначались силуэты «Прыткого» и «Ретивого» и буксирных пароходов, переделанных под канонерные лодки. На всех эти «Ванях», «Ольгах», «Ташкентах» замерли в нетерпеливом ожидании десантники Маркина.

Для Ларисы тоже наступило мучительное ожидание сигнального выстрела. С этим выстрелом красная флотилия откроет ураганный огонь по Казани, по судам адмирала Старка. Она посмотрела на фосфоресцирующие часики: до сигнала оставалось четыре минуты. Появилась болезненная сухость во рту, перед глазами резко обозначились берега. Тугие всплески воды

трещали, как жесть,— неприятно и громко запульсировала настойчивая мысль — что принесет ветер случайности?

Налет красной флотилии был неожиданным и поэтому особенно страшным. Из Волги вздыбились кровавые фонтаны, на берегах вспыхнули нефтяные баки, над городом встала зловещая стена дыма и пепла.

24

Сивые полосы тумана колыхались над орешником, заливали лощины. Из туманной зыби смутно проступали нахохленные всадники. Азин ежился под мокрой буркой; с каждой ворсинки падали капли, к рукам прилипали пожухлые листья. Недовольно спросил Шурмина:

— Мы не заблудились?

— По-моему, нет. За этой рощей должны быть белые окопы,— неуверенно сказал Шурмин.

Подъехали Северихин и Дериглазов.

— Подались слишком влево,— предположил Шурмин.

— Вправо-влево, вперед-назад! Разведчик мне, а еще местный житель. Может, мы очутились в тылу противника? Вот будет весело...

— Неосторожность к добру не приводит,— проворчал Северихин...

Азин не спал, выматывая себя и командиров. Его коротенькие распоряжения, как тревожный звон, разносились по всем батальонам и ротам. Пешие и конные разведчики непрерывно следили за всякими переменами в расположении неприятеля, но все же Азин сам решил осмотреть позиции. Неожиданно навалившийся туман помешал разведке: Азин и его товарищи заблудились в роще. Вокруг них шептались капли, клубились испарения, мочажины казались бездонными ямами, сырая тишина подозрительной. Влажно стучали лошадиные копыта, глухо брякали стремена.

— Странное у меня ощущение, друзья,— заговорил Азин.— Прошел месяц, как мы покинули Вятку, а будто пронеслось десять лет. Что ожидает нас завтра? Если можно было бы заглянуть в собственное будущее! А ведь смешно — нам всем нет ста лет. Я еще девок-то не любил, только напевал: меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. Давно ли мы не знали о существовании друг друга. А теперь у нас и беда одна, и мечта одна — революция. И если я погибну, то за одно за это слово. Помолчи,— остановил он Северихина.— Знаю, скажешь — для революции надо жить...

— Вот именно!

— Да, жить охота. И девок любить охота, и самогонку пить, и делать что-то такое, что не пахнет ни кровью, ни порохом.— Азин вытер засеянные каплями щеки.

— А ведь как-то надо выбираться из рощи,— напомнил Шурмин.

Туман понемногу рассеивался, из вязкой белой мглы потянуло дымом, деревья поредели. Всадники выехали на опушку и натолкнулись на сторожевой пост белых. У костра сидели солдаты — дымные тени их раскачивались на траве. Еще можно было повернуться и скрыться, но, сдвинув на затылок папаху, Азин направился к костру. Солдаты повскакали с земли: предостерегающе звякнули винтовки.

— Кто такие? — спросил вислоусый фельдфебель.

— Что за часть? Где командир? — ответил на вопрос вопросом Азин. — Расселись, как в кабаке, Десять минут наблюдал за вами, а вы хоть бы хны. Ты — начальник поста? — надвинулся он на фельдфебеля.— Почему не вижу часового?

— Вон часовой и подчасок с ним,— слегка оробел фельдфебель.

— Ну и дурацкое место выбрали. От красных спрятались, а что творится рядом — не видите. С соседями связался дозором?

— Так точно! Левее, на берегу Казанки, чехи. А вправо, за рощей,— охранение кавалерийского полка. Место у них глухое,— того и гляди, азинцы пролезут. Может, проскочите, узнаете, начеку ли они? Закурить не найдется? — попросил фельдфебель.

— Бери всю пачку — пусть ребята покурят. Так, говоришь, надо проверить охранение кавалеристов? Не спят ли?

— Не должны спать,— отозвался фельдфебель. — Новый-то командир ротмистр Долгушин строг насчет дисциплины...

— Знаю его, знаю! С Долгушиным в одном полку служил. Строговат он, зато храбр! До свиданья! — Азин, сопровождаемый товарищами, поскакал в рощу.

На обратном пути Азин грубо выговаривал Дериглазову и Шурмину за легкомысленное отношение к полевой разведке. Необузданный характер, самолюбивая властность мешали ровным взаимоотношениям Азина даже с его лучшими друзьями. Он требовал от них большей изворотливости и военного умения, чем они обладали. Вчерашние рабочие и мужики не могли и не решались действовать так же смело и расторопно, как Азин. Ему самому помогали и ум, и отчаянная, почти нахальная смелость, и та врожденная сообразительность, что выводит человека из самых рискованных положений.

Друзьям Азина казалось странным, что на своевольную натуру его успокаивающе действовал старый Лутошкин. Азин действительно чувствовал себя с Игнатием Парфеновичем и легче и веселее. Он любил потолковать с горбуном на отвлеченные темы,— язвительный ум Лутошкина освежал, а иногда и взвинчивал его.

— Вернулись голодными как волки,— сказал Азин, скидывая

мокрую бурку. — Что дадите перекусить, Игнатий Парфенович?

— Закуска у меня царская: лук, огурец, есть и молочко от дикой коровки. — Игнатий Парфенович поставил на стол бутыль самогона. — Махорки в самогон шурум-бурумщик все же подсыпал. Для лихости. Вот народец! Ты им счастье завоевываешь — они тебе самогоночку с махоркой.

— Ну, ну! Пофилософствуйте, а мы пока поедим.

— Ты, юный мой человек, сегодня мужиков к общему счастью с маузером в руке не призывал? — ухмыльнулся Лутошкин, кромсая ножом каравай ржаного хлеба.

— А зачем же маузером в будущее гнать? Можно и словом. — Азин захрустел луковицей. — Сами говорите: словами убеждают, примерами воспитывают.

— Не созрели еще наши мужички для будущего рая. Эх вы, молодые мечтатели! Желаете всемирного счастья, а люди-то его хотят, но каждый для себя. Сколько живет на земле человеков — столько же есть и понятий счастья. Мое маленькое счастьице в том, когда исчезает боль, меня терзающая,— сочный бас горбуна прозвучал с ласковой, но неприятной уверенностью.

— Это вы врете!

— А правды единой нет. Вот вы, юные люди, говорите — все для счастья людского? Для блага народного, говорите, идем на последний, на решительный бой.

— Не только говорим — делаем! — рассмеялся Азин.

— А почему же ты расстреливаешь и белых и красных? Чужих и своих? По какому праву? Кто дал тебе это право, ставить к стенке человека? Человек-то носит в себе целый мир с надеждами и мечтами, а ты его — к стенке? Сказал — дезертир — и бабах! Объявил трусом и — шлеп? Ты же не человека, ты мир, заключенный в нем, убиваешь,— жарко говорил Лутошкин, и чувствовалось, что он своими словами гипнотизирует себя же. — Почему ты разговариваешь с человеком с помощью одного распроклятого маузера?

— Я говорю железным языком революции,— с твердой убежденностью ответил Азин.

— Железным языком можно договориться до пирамид из человеческих черепов. Страшно, что для таких юнцов убийство стало делом техническим. Вы не задумываясь уничтожаете интеллигенцию —мыслящую душу народа.

— Мы уничтожаем интеллигентов? — налился злым румянцем Северихин.— Интеллигентов, воюющих с собственным народом, мы станем расстреливать. Мы будем с корнями вырывать подобное зло.

— Вырывать зло с корнями — удобная ширма для любых преступлений. Об этом свидетельствует вся человеческая история.

— Историю человеческую писали бесчестные историки с несправедливых позиций,— азартно возразил Азин. — Историю нашей революции мы напишем совершенно иначе.

— Дай бог, дай бог! Жалко, не доживу до тех благословенных времен. Легче быть муллой — труднее правдивым историком.

— Вы досмеетесь до неприятностей, Игнатий Парфенович.

— Смеющаяся личность забывает о страхе.

— Если бы я верил, что вы сами верите тому, о чем говорите,— поставил бы вас к стенке,— сказал Азин.

— Вот мы и вернулись к уничтожению мира, заключенного в человеке. Придет, Азин, твой смертный час, и поймешь ты — какой мир в тебе погибает. Меня, конечно, как божью коровку,— щелкнул пальцем и — нет! А ведь народ не зря даже насекомое величает тварью божьей. Я согласен, что нет бога, кроме народа, но палачи — не пророки его. Запомни это, юный ты мой человек; заруби это на своем носу. Что касается отправки меня на тот свет, то вспомнил я слова апостола Иоанна: в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ея, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Мудрый был мужик апостол Иоанн. И не расстреляешь ты меня, Азин, ибо мне суждено умереть своей смертью. И смерть моя не удивит друзей моих — они уже давно считают меня умершим...

— Полтора миллиарда миров живет на земле. Но, Игнатий Парфенович, многие из этих живых миров мечтают лишь о том, как схватить за горло себе подобных,— уже сердито произнес Азин. — Вот эти самые миры — мои непримиримые враги. Вы преподносите мне какую-то жалкую толстовщину, а я не могу не сопротивляться злу. Сейчас напряжение социальных страстей достигло всех мыслимых пределов. Вопрос — мы буржуев, буржуи нас — висит как топор над вами, надо мной, над красными, над белыми! В гражданской войне невозможно с холодным любопытством ждать, кто победит. В такой войне трус становится предателем, дезертир губит героя, паникер уничтожает одержанную победу. Вот почему я расстреливаю трусов и дезертиров. Струшу я — и меня к стенке! Именем Революции к стенке труса по фамилии Азин!..

Темнота за окном казалась непроницаемой. На площади у костров грелись красноармейцы — общий говор проникал в избу, как отдаленный шум дождя. Ночь жила ожиданием новых опасных событий.

— Эти красноармейцы скоро будут штурмовать Казань. Сколько живых миров исчезнет во имя революции и народа? Вы об этом подумали, Игнатий Парфенович? — показал на окно Азин.

Огненный шар ударил в церковную колокольню: воздушная волна вышибла стекло из окна, осколок раскроил скулу

Шурмина. Азин еще видел, как церковный крест, перевертываясь и ударяя по куполу, падал на землю, и тотчас услышал отчаянную стрекотню пулеметов. Он прыгнул в разбитое окно, перемахнул через палисадник на улицу.

Чехи нанесли неожиданный удар по частям Мильке, прикрывающим с левого фланга позиции Северихина и Дериглазова. Не выдержав натиска, Мильке приказал отступать; отступление превратилось в бегство. Мильке показалось, что чехи обошли его, и он погнал связных к Азину.

Азин бросил на помощь Мильке батальон Северихина, конницу Турчина, добровольцев Дериглазова. Чехи были отброшены уже с околицы деревни и опять залегли в окопах. Азину удалось захватить два броневика, несколько полевых орудий. Но этот успех не принес радости: Азин не знал, как поступить с Мильке.

— Шурмин, пиши командарму-два: отряды, бывшие под командованием Мильке, проявили себя небоеспособными в силу неразумной распорядительности самого Мильке. Он оказался трусом и паникером... Написал?

Шурмин неодобрительно хмыкнул.

— Чего ты хмыкаешь? Не нравится резкость? Зачеркни труса и паникера. Пиши. Сегодня ночью во имя интересов дела принял под свое командование все отряды, оперирующие на Арском фронте. Отправляй телеграмму и не хмыкай. Мильке не подчиняется мне? Ну и что из этого? Я прогнал труса с командного поста. Вот и все!

25

— Азин теперь не только враг России, он мой личный враг,— сказал Долгушин, когда генерал Рычков сообщил о расстреле его матери.

Генерал глубоко и скорбно вздохнул, всеми складками лица выражая горестное сочувствие ротмистру.

— Я понимаю тебя, голубчик. Всей душой разделяю твое несчастье, но собери свои силы. Подтянись. Помни, что мы обложены с трех сторон и Казань под угрозой. А сдать город большевикам немыслимо, это вызовет самые гибельные последствия для белого движения. Но у нас еще есть силы. Командные высоты над Казанью в руках Каппеля, а Волгу еще, слава богу, охраняет адмирал Старк. Вот только против Азина, кроме тебя, голубчик, некого поставить. Хочу по-дружески тебя предупредить: Азин смелый и ловкий авантюрист,— генерал доверительно взял под локоть Долгушина.

— Я уже сказал, Азин — мой личный враг. Я накормлю его снарядами и пулями, я еще...

— Не сомневаюсь, голубчик. — Генерал остановился на краю ковра, разглядывая носки своих шевровых сапог. Недо-

уменно спросил то ли себя, то ли Долгушина:— И откуда у красных появляются Азины? Ведь талантлив, подлец! Как он со своими оборванцами разделал чехов под Высокой Горой!

— Азин, должно быть, из наших. Их сейчас много у красных. Докатилось русское офицерство — измена для него стала гражданской доблестью,— злая гримаса передернула красивое лицо Долгушина.

— Надо объявить награду за голову Азина,— предложил Рычков. — Если у нас есть предатели, то и красные имеют своих.

— Сколько же стоит голова Азина?

— Десять тысяч рублей. Плачу золотом, а не «керенками». Отпечатай и развесь афишки. Да, ты ведь не знаешь, что Борис Викторович нас покидает.

— Как так покидает?

— Сегодня Савинков уезжает в Уфу на совещание самарского, сибирского и уральского правительств. Англичане желают, чтобы самарское и уральское правительства уступили власть сибирскому...

— Правительств развелось как мухоморов после дождя,— сквозь зубы сказал Долгушин. — По крепкой руке истосковалась Россия. Нельзя жить в мутной политической атмосфере.

— Общество мечтает о диктатуре, не хватает только диктатора, как по-твоему, а? — Рычков взял папиросу, сломал ее нервно, швырнул в корзину, потянулся за новой.

В кабинет вошел Борис Савинков: после рейда на Свияжск Долгушин еще не видел его.

— Прощайте, Вениамин Вениаминович, и вы прощайте, Сергей Петрович! Мой отъезд в Уфу похож на бегство в самые трудные для вас минуты. Не правда ли?

— Что вы, Борис Викторович,— покачал головой Рычков. — Вы наше знамя, а пока сохраняется знамя, полк не погибает.

— Едва ли можно спасти Казань,— без колебаний ответил Савинков. — Да и стоит ли спасать этот проклятый город? Если Казань падет, Вениамин Вениаминович, перебирайтесь в Екатеринбург или Омск. Взамен уральского и сибирского правительств мы создадим нечто новое и жизнеспособное. Левые эсеры уже не годятся для борьбы с Лениным. — Савинков посмотрел в окно на шумящие вершины тополей. — Еще раз, генерал, прощайте! Проводите меня на пароход, ротмистр,— попросил он Долгушина.

Автомобиль с трудом пробирался сквозь толпы, забившие главную улицу. Паникующие обыватели вызывали в Савинкове и злорадство, и гадливость, и какую-то болезненную тоску. Он сидел прямой, окаменевший, с презрительно поджатыми губами.

Монахи волокли за оглобли лакированную пролетку, нагруженную иконами, ризами, крестами. Дама в розовом упала на четвереньки и мелко крестилась, вскидывая грузный зад.

Дама в голубом размахивала саквояжем крокодиловой кожи, рассеивая по улице жемчужные бусы. Мордастый маклер нес на вытянутых руках бюст Льва Толстого, старуха прижимала к плоской груди граммофонную трубу.

Дребезг стеклянных осколков привлек внимание Савинкова и Долгушина. Маклер расшиб бюстом витрину ювелирного магазина: люди хватали браслеты из поддельного золота, ожерелья из перламутра. Краснобородый мулла, вывалив из корзины куски многоцветного мыла, сгребал часы, брошки, кольца.

— В банях обнажены уродства телесные, в тюрьмах — душевные, в толпе — самые воровские,— сказал Савинков.

— Теперь самое прекрасное время грабить и красть,— согласился Долгушин. — Воры обеспечивают свое будущее.

— Вот еще мерзкое слово! Чем грозит мне будущее мое? Впрочем, не хочу я знать будущего, но страшусь забыть прошлое,— меланхолически заключил Савинков.

А толпы бегущих, обтекая автомобиль, спешили к Волге, на пароходы адмирала Старка.

Под защиту адмиральских орудий торопились царские сенаторы, дорогие проститутки, суконные, меховые, мыльные фабриканты, международные аферисты.

На адмирала Старка надеялись буржуазные националисты, оперные артисты, либеральные профессора.

Под крылом адмирала мечтали укрыться и члены Союза защиты родины и свободы, и члены Союза георгиевского креста, и участники Военной лиги.

Помещики и прасолы, епископы и монахи, переодетые в татарские азямы и мужицкие зипуны, бежали к адмиралу Старку.

Звериный страх перед красными гнал этих разношерстных людей к белой флотилии: каждый стремился как можно скорее покинуть несчастный город.

Автомобиль прорвался сквозь живые запруды и заспешил к пристани мимо горящих нефтяных баков и хлебных складов.

Адмирал Старк тоскливо приветствовал Савинкова. Рука адмирала была вялой и сырой, бледное, словно запорошенное снегом лицо запущено, на впалой груди мотался бинокль, кортик глухо позвякивал на бедре. Адмирал провел Савинкова и Долгушина в салон.

— Через часа полтора, Борис Викторович, можете отправляться. Я посылаю с вами быстрый пароход: за двое суток дойдете до Уфы. А пока милости прошу,— адмирал снял салфетку с бутылок и закусок и уже без всякой связи с только что сказанным произнес: — Что за страшные времена наступили.

— Распалась связь времен, адмирал,— с вымученной улыбкой сказал Савинков. — Да, вот именно, распалась связь времен, и все стало неладно в государстве Российском. — Савинков выпил рюмку «Голубой ленты», пососал ломтик засахаренного лимона.

— Одно вино еще и борется с эрозией времени,— пошутил Долгушин.

— Французский коньяк и русская водочка — плохие союзники,— вздохнул адмирал. — Не ожидал я от большевиков такой прыти. Как они ухитрились перегнать с Балтики миноносцы на Волгу — уму непостижимо. — Зубы Старка завистливо ляцкнули, морщинистый кадык заходил под воротником кителя.

— А надо бы ожидать, адмирал, надо бы,— жестко заметил Савинков.

Старк пропустил мимо ушей насмешливое замечание; он мог бы отплатить Савинкову его же монетой — неудачным рейдом на Свияжск, но промолчал.

— Большевики! И откуда они появились на русской земле? — горячо спросил он, но тут же убежденно добавил: — И все же, и все же русский народ не с ними.

— Эту песню я уже певал! Вы повторяете мою песенку сейчас, когда красные орудия бьют по Казани, а миноносцы топят ваши пароходы. Чуда не произойдет, адмирал. Не будет чуда! Налейте-ка еще. — Савинков нервно рассмеялся, обнажив плотные, великолепные зубы. Постучал пальцами по звонкому хрусталю рюмки. — Белая идея погибает от нашего безволия, легкомыслия и бездарности.

— Я так не думаю, Борис Викторович,— вяло возразил Старк. — Генералы Краснов, Алексеев, Голицын да еще кое-кто умеют действовать.

— Одно и то же, адмирал! Наших генералов объединяет то же ложное представление о большевиках как о временных захватчиках власти. Болтать и надеяться, что Ленин продержится еще день, ну два, ну от силы неделю,— смешно! К сожалению, адмирал, и я думал — русский народ не пойдет за большевиками. Но сознаюсь в том, что моя борьба с большевиками пока не дает результатов.

Влажная рука адмирала дрогнула, коньяк выплеснулся на скатерть.

— Вы действительно прекращаете с ними борьбу?

— За кого вы меня принимаете, адмирал? Я хочу только изменить тактику. Не Комуч, не мой террор, не чехи свалят большевиков. Их сокрушит только военная диктатура. Беспощадный, железный, облеченный военной властью диктатор спасет Россию. А я лично по-прежнему остаюсь врагом большевизма. Я не хочу быть рабом, даже свободным. Скажите, адмирал, вы — монархист? — неожиданно спросил Савинков.

— Конечно!

— Забавно! Трагедия, ставшая фарсом. — Савинков уже сам налил себе рюмку и выпил, не закусив.

— Какая трагедия, что за фарс?

— Я смеюсь над самим собой. Ведь надо же! Я, Борис Савинков, социал-революционер по идеям, террорист по призванию,

принципиальный враг монархической формы правления, оказался в одном лагере с монархистами. Не странно ли, а?

— Шли налево — пришли направо. Действительно, странно: к бывшим князьям и баронам прибавился бывший революционер...

— Остерегайтесь со мною шутить! И не спешите оказаться в числе моих врагов, адмирал,— ореховые глаза Савинкова уставились в дымчатые глаза Старка. — Ладно, не станем ссориться на прощание. — Савинков откинул коротко остриженную голову, закурил. Папиросный дымок закрутился в душном воздухе салона.

— Шутка моя неудачна,— извиняющимся голосом ответил Старк. — Даже остроумие — и оно пропало. — Адмирал взял рюмку. — Оставим надоевшую тему о большевиках и выпьем.

— Да, лучше выпить. И поговорить о себе. Люди всегда охотнее говорят о самих себе. Самая интересная тема. — Савинков посмотрел на молчавшего Долгушина, пододвинул ему коньяк. — Вспомнилась мне севастопольская тюрьма и одна пакостная ночь в ней. Меня должны были на рассвете казнить. Проще говоря — повесить на вульгарной мыльной веревке. Вам ведь, адмирал, не приходилось проводить ночь в ожидании петли?

— Не приходилось...

— А мне в эту ночь и жить не хотелось, и умирать не хотелось. Меня не беспокоило, что там, за темной гранью, но больше всего занимало — режет ли петля шею? Больно ли задыхаться? И долго ли я буду дрыгать ногами?

— Вас помиловали?

— Бежал за два часа до казни. Как бежал — длинно, скучно и не время рассказывать...

— Я сидел несколько дней в подвалах Чека. Меня больше всего угнетали грязь и вши,— меланхолически заметил Долгушин.

— А знаете, ротмистр, чем чище тюрьма и вежливее тюремщики, тем вы ближе к смерти. Тогда ваше «я» умирает, и вы становитесь совершенно другим человеком. И человек этот страшен. Ваше здоровье!

Долгушин с тревожным удовольствием слушал Савинкова: в нем были и цельность натуры, и необузданный характер, и сила воли — все то, что особенно ценил ротмистр.

— По моему приказу убивали русских моряков и немецких солдат. Но я лично, я не убил ни одного человека. И не понимаю, как можно убить живую душу ради личной цели? — Старк издалека, словно приманку, закинул свой вопрос.

— А я не понимаю, почему нельзя убивать? И не пойму, почему для идеи убить можно, для отечества необходимо, ради собственных целей нельзя? Почему во имя этого преступление, хорошо, во имя того — дурно? — спросил Савинков.

— Я не отвечу на ваш вопрос. А вы на самом деле распустили Союз защиты родины и свободы? — поспешил изменить адмирал странную тему разговора.

— Не для того я создал свой союз, чтобы ликвидировать его.

— Вы же объявили, что не хотите мешать Комучу в политической борьбе за власть?

— Обстоятельства изменились. Комуч уже бессилен, а мне нужно действие. Я — прагматик. Ликвидировать союз? — Савинков злорадно рассмеялся. — Я так упорно создавал свою организацию, что не хочу легко расставаться с ней. — Он вскочил с кресла, заметал скользящие шажки по салону.

Долгушин с нарастающей тревогой следил за Савинковым: его пугала и скользящая походка, и двусмысленный взгляд: что может выкинуть Савинков в следующую минуту?

Савинков же словно позабыл об адмирале и ротмистре. Сложив на груди руки, обхватив пальцами локти, он говорил, говорил, не в силах сдержать потока собственных слов:

— Большевики будут помнить меня так же, как монархисты. А вы, господа, помните многое из того, что сделал я. Адмирал изволил пошутить, что мы теперь в одном лагере. В одном ли, адмирал? Не почудилось ли вам, не приснилось ли? Я вам напомню Петроград, зеленое утро, камни Измайловского проспекта. А на камнях разорванное бомбой тело царского министра Плеве. Он был убит по моему приказу.

Вспомнилась мне и Москва: была зима, падал снежок. Москва встречала великого князя Сергея Александровича, а я в толпе целовал своего друга Каляева и говорил ему: «Вот великий князь. Не промахнись!»

Взрыв бомбы — и великий князь мертв...

И опять я вспомнил Москву, весеннее утро, оживленную площадь. Снова взрыв бомбы. Это я казнил московского генерал-губернатора Дубасова...

И еще я помню далекий туманный Глазго. Морской рейд и военный корабль «Рюрик». Так вот, адмирал, на самом монархическом из всех русских кораблей я хотел взорвать вашего государя — императора Николая Второго. Взрыва тогда не было, потому что был Азеф...

— Я помню все, о чем вы говорите,— ответил, бледнея, Старк. — Такие события не забываются. Мы тогда совершили роковую ошибку — всячески преследовали партию социал-революционеров. И она ответила нам Борисом Савинковым.

— Это вам кажется, адмирал.

— А потом мы совершили вторую ошибку — не купили вас.

Савинков провел ладонью по коротким волосам, потянулся к бутылке, но опустил руку.

— А чем бы вы могли купить меня? Деньгами? У меня их было достаточно. Властью? Что вы могли мне предложить

тогда? Портфель министра? Чин генерала? Я обладал большей властью — я казнил и ваших министров, и ваших генералов. После революции я был военным министром Временного правительства, я брал миллионы у Франции и Англии на мятежи против большевиков. Я и сейчас при желании могу взять из золотого запаса сколько мне надо. А мне нужно страшно много. У меня титаническая цель — уничтожить большевиков, поэтому я буду действовать любыми способами...

— Для идеи убивать можно, для отечества необходимо,— напомнил Старк.

— Я сказал совершенно иначе! Почему для идеи убивать можно, для отечества необходимо, для себя нельзя? Я удивлялся, а не утверждал.

— Для себя убивать невозможно! Тогда все станет позволено,— горячо возразил Старк. — И тогда законов нет, права нет, общества нет. Тогда — социальная, общественная, нравственная смердяковщина. Тогда бандит будет героем, убийца кумиром. Миром будут управлять сумасшедшие и преступники. Вы же этого не хотите? Вы же не можете этого хотеть, господин Савинков! У меня есть с вами главная и единственная точка соприкосновения — общая борьба с большевизмом. Какая теперь мне разница — будет Борис Викторович Савинков вождем ли народа, диктатором ли государства? Важна суть белой идеи нашей...

Отчаянный рев хлестанул по зеркальным окнам салона: тысячеголовый поток беженцев добрался до речных дебаркадеров, но, сдерживаемый охраной, заметался и заревел. Долгушин видел только головы, шляпы, платки, трости, зонтики, саквояжи да отдельные, обезображенные ужасом физиономии.

— Вот они, белые цветы Казани. Спасайте их, адмирал, от красных садовников. Большевики вырежут эти милые, эти бесполезные цветы вашего общества. А ведь они верят, адмирал, что вы теперь — их единственный защитник,— ехидно сказал Савинков.

В салон вбежал вестовой:

— Пароход, отправляющийся в Уфу, захвачен беженцами...

Старк машинально застегнул пуговицу на кителе, заморгал ресницами, ловя взгляд Савинкова, словно ища в нем поддержку.

— Что же вы, адмирал? Мне пора отправляться в Уфу...

— Картечью всю эту сволочь! Разогнать ее штыками и пулями! — взвизгнул Старк.

— Ценю вашу решительность, адмирал! — Савинков протянул руку Старку. — Прощайте, господа! Не знаю, что ожидает вас в Казани, но не желаю и знать, что меня ждет в Уфе.

На рассвете шестого сентября Волжская флотилия открыла ураганный огонь по судам адмирала Старка, по батареям Верхнего Услона.

В шесть часов утра Владимирский и Петроградский полки, несколько батальонов латышских стрелков бросились на штурм позиций полковника Каппеля.

В тот же час левобережные части Пятой армии, овладев станцией Красная Горка, завязали рукопашные бои с чешскими легионами капитана Степанова.

В то же самое время в садах Арского поля азинская группа войск ударила по ополченцам генерала Рычкова, по отрядам ротмистра Долгушина.

В полдень, не выдержав огня миноносцев, адмирал Старк отошел от города и укрылся за меловыми обрывами Нижнего Услона. Части правобережной группы ворвались в Верхний Услон. Вечером Азин соединился с левобережной группой Пятой армии.

Осенние сумерки остановили схватку за город. В дымной тишине было особенно тягостным молчание орудий, пароходных, заводских, паровозных гудков. Белые затаились в осажденном городе, красные ждали рассвета.

Азин объявил красноармейцам, что новое наступление начнется утром седьмого сентября, ждал приказа. Шло время, нетерпение Азина сменилось удивлением. Смутная боязнь противника могла вспыхнуть в красноармейцах, Азин страшился этой боязни, как заразы, уничтожающей боевой дух.

Ждали приказа рабочие отряды, волжские матросы, латышские стрелки, выбившие Каппеля с верхнеуслонских высот. Ждали и полки, вышедшие на городские рубежи, установившие локтевую связь с азинской группой войск.

Испытывали тревогу и на судах Волжской флотилии. Тревога постепенно росла, проникая на миноносцы, канонерные лодки, истребительные катера. Растерянное ожидание таилось в настороженных глазах Маркина, печальной улыбке Ларисы Рейснер. Недоуменно покуривали трубки комендоры, шепотом поругивались пулеметчики и кочегары.

Приказа о продолжении штурма не поступало...

Три дня и три ночи вокруг Казани была атмосфера томительного ожидания. Происходили мелкие стычки, винтовочная перебранка с обеих сторон — и только. Не шевелились белые, бездействовали красные. В бездействии перегорал наступательный порыв, серый дух равнодушия овладевал бойцами революции.

Десятого сентября начался новый штурм Казани.

Опять, и на этот раз с мучительной тяжестью, горели пароходы, баржи, дебаркадеры, бочки сосновой живицы, тюки шер-

сти, мочало, ивовое корье, вяленая вобла. Горела нефть, вытекая из распоротых баков. Пылала сама Волга — жирный, удушливый дым застилал берега и реку.

Красная флотилия начала высаживать матросский десант. Серега Гордеич со своим дружком Кузьмой ждал удобного момента, чтобы спрыгнуть на отмель. А с берега, из-за дровяных поленниц, с чердаков соседних домишек, вырывались короткие молнии. Пули вскидывали водяные дымки, гривастые фонтаны вспучивались на отмели.

— Кузьма, прыгай! — прохрипел Серега Гордеич.

Они оба прыгнули одновременно. Побежали к берегу, пригибаясь, спотыкаясь, думая лишь о том, как поскорее укрыться от вражеских пулеметов. Укрылись за железными бочками. Серега Гордеич оглянулся: вспухшая, в синяках и ссадинах физиономия друга рассмешила.

— Кузьма, не трусь! Живы будем — не помрем...

За мучным складом аккуратно через минутные интервалы рявкало невидимое орудие. Над матросами, гневно свистя, проносился снаряд, и Серега Гордеич невольно вбирал голову в плечи. Белый артиллерист пристреливался по канонеркам. Канонерка «Ташкент» резко качнулась, зарылась носом в воду, фонтанируя пламенем, стала тонуть.

Серега Гордеич выскочил из-за бочек, побежал по открытому месту; пули взвизгивали над ним, и почему-то казалось: каждая пуля предназначена лично ему. Он слышал истошные крики, выстрелы, грохот рукопашного боя, вскипающего за складами, и мгновенно растратил свое спокойствие: ярость боя стала его яростью, крики вырывались из его глотки.

Откуда-то появился чешский легионер, размахивающий револьвером. Серега Гордеич косым скользящим взглядом увидел, как легионер, прижимая ладони к животу, стал заваливаться на бок. Между пальцами вспыхнули кровавые пузыри, и только они отпечатались в памяти Сереги Гордеича. Убитый, но все еще не упавший легионер, вертящийся, разбрасывающий комья земли осколок снаряда, безобразные крики куда-то исчезли: Серега Гордеич потерял ощущение времени.

За углом склада работало легкое орудие белых. Номерные деловито подносили снаряды, артиллерист равнодушно ждал команды. Все было самым обычным делом войны,— необычно звучали лишь слова прапорщика. Рыженьким тенорком он командовал:

— Па-сав-де-пам — огонь!

Серега Гордеич смотрел на прапорщика, слышал его щупленький голосок. Это был голос его врага, слова, произносимые им, оскорбляли лично Серегу Гордеича. Бессмысленная ярость обрела осязаемую форму, стала цельной и ясной.

— Па-ка-мис-са-рам — огонь!

— Ах ты, гнида! — Серега Гордеич с темным восторгом ненависти разрядил наган в зеленую спину прапорщика.

Серега Гордеич и Кузьма перебегали с места на место, приближаясь к берегу Казанки. Речушка была еще одной преградой на пути к городу. Заградительный огонь заставил матросов залечь у каменной гробницы, сооруженной в память русских воинов, погибших при осаде Казани Иваном Грозным. Отсюда проглядывался казанский кремль: белые мощные стены с желтой узорчатой башней Суумбеки.

— Мать честная, сколько всяких препон! Казанку переплыви, на обрыв влезь, стены одолей. А беляки тебя из пулеметов, а они тебя из гаубиц.

— Иван Грозный Казань брал? — спросил Серега Гордеич.

— Когда это было! При Иване-то кулаками дрались.

— А ты вдоль обрыва глянь. Видишь, в него Проломная улица уперлась. Под этот самый обрыв Иван-то Грозный-то тыщу пудов пороха закатил и — стены в небо! Через пролом и пошли наши мужики, и дошли до самой до башни...

— Нету во мне хитрости на такую штурму...

— Комиссары тебя подшпорят, и осмелеешь. Они ведь как действуют? Сами вперед, ты за ними — и смело, товарищи, в ногу. Чудной ты, Кузьма, мужик! Страховито не тебе одному. Мне ведь тоже не до пляски. А что Ленин бает? Забыл, чтоличка? Ленин-то бает — истреблять белую контру.

— А ежели у нас кишка тонка? Гляжу я на эти стены, а душа в пятках.

— Иван Грозный брал — не боялся.

— На то он и Грозный. А я-то — Кузьма.

Всего лишь двадцать сажен грязной воды отделяло Кузьму от противоположного берега, но это были непроходимые сажени. Кузьма не мог оторвать от каменных ступеней гробницы свое сильное тело: ноги стали ватными, руки не приподнимались.

— Кузьма, едрит твою мать, вперед!

Серега Гордеич поднялся во весь рост и заспешил на запретный берег, бурля ногами мутную воду. Теперь Кузьме стало страшно без бодрящих ругательств Сереги Гордеича.

Словно незримая пружина подбросила Кузьму на ноги; он не помнил, когда пробежал свои неодолимые сажени. Он перепрыгивал через камни, через рытвины, прижимая к груди винтовку, видя только белого пулеметчика и конец своего штыка. Штык с хрустом вошел в чужое тело, Кузьма бросил винтовку, обжег руки о горячий ствол пулемета, повернул его в сторону противника.

Кузьма припал к «виккерсу» — пулемет не заработал. Кузьма растерянно оглянулся — в желтой россыпи расстрелянных патронов валялась граната. Он потянулся к ней. Граната показалась тяжелой и грозной, приближающиеся фигурки белых

солдат — легкими и нестрашными. Речной обрыв, опоясанный белыми стенами, утратил свою высоту, башня Суумбеки почудилась декорацией из тонкого картона.

Кузьма оперся левым коленом о землю и ждал со странной уверенностью, что теперь с ним уже ничего не может случиться. Легкие фигурки слились в темное бегущее пятно, Кузьма взмахнул гранатой.

Он оторопело смотрел на корчившихся, сучивших ногами людей, удивляясь тому, с какой быстротой уничтожил тех, что собирались уничтожить его. Закашлялся от порохового дыма, хотел встать с колена, но будто железный обруч упал на шею. Кузьма поперхнулся; каменная тяжесть нажимала на спину, на горло, пригибала к земле. Кузьма попытался сбросить неожиданную тяжесть, но чужие руки неумолимо сдавили кадык. Он все-таки выпрямился, вздымая висящего на спине врага. Ударил кулаком назад, но удар был вялым; Кузьма еще приподнялся, и вместе с ним стали подниматься речной обрыв, кремлевские стены, ступенчатая башня.

Ее огромная пирамида искривлялась, нависала, колебалась и обрушилась на Кузьму...

Сражение развернулось и за Арское поле; здесь против азинской группы войск были чешские легионы капитана Степанова, офицерские части Долгушина. Белые еще могли вывести войска из окружения через юго-восточную окраину города на берега Волги, Азин же перехватил именно эти пути.

Над Арским полем крутились гривы огня, разрывались и смыкались грязные полосы тумана. Оглушенный и ослепленный боем Лутошкин вдавливал свое хилое тело в землю. Еще несколько минут назад он видел Азина с перекошенным от крика ртом, ординарца Стена, кидавшего куда-то в туман гранату за гранатой, отца Евдокима, волочившего пулемет; только что мельтешил Дериглазов на окровавленном битюге,— теперь все исчезло в зыбком тумане, клубах дыма, растворилось в криках и стонах. Бой откатывался в туман, в сады, в провалы утренних улиц; люди возникали из тумана, сталкивались между собой, падали, поднимались и опять проваливались в туман.

Сзади Лутошкина разорвался снаряд. Игнатий Парфенович по-заячьи всхлипнул. Ослепительный свет проник в его мозг: стало жарко и больно. Игнатий Парфенович открыл глаза — рядом пылала кладбищенская часовня. Вокруг, колеблемые туманом, приплясывали кресты.

С протяжным звоном оборвался в трещавшую траву колокол. Пылающая часовня, пляшущие кресты, черный обелиск отрезвили Лутошкина. Он не понимал, как очутился на кладбище, он видел лишь развороченные снарядами могилы, горящую часовню.

— Бог, позволяющий сжигать свои храмы, недостоин имени бога,— прошептал Лутошкин, шагнул вперед и упал; руки

прикоснулись к лицу убитого офицера. Лутошкин глянул на мертвое лицо, смерть уже убрала злобу с окоченевших глаз. Игнатий Парфенович увидел откинутую руку с белой повязкой и надписью: «С нами бог и победа!»

Кто-то налетел на Лутошкина, схватил за грудь, приподнял.

— А, да это ты, горбун? О, да ты, горбун, молодчага — офицерика шлепнул! — Дериглазов поставил на землю Лутошкина и скрылся в саду.

Игнатий Парфенович добрел до кладбищенского забора, уперся лбом в мокрые доски. Туман уже испарялся от пожаров, выстрелов, сентябрьской зари. Лутошкин откинулся от забора — на него глазели крупные буквы: «10 000 рублей за голову Азина».

Игнатий Парфенович поднял руки и всеми пальцами, ломая ногти о доски, содрал афишу...

Дериглазов прорвался на Театральную площадь, штурмом взял Оперный театр и дом Дворянского собрания, перерезав связь между капитаном Степановым и штабом генерала Рычкова. Красные устремились к университету, в котором засели группы легионеров. К кремлю вела короткая Воскресенская улица, но у Дериглазова не хватало сил овладеть университетом.

Красные скапливались во дворах, прятались за стволами тополей, перебегали с места на место.

— Габдула, к Азину бы, за помощью бы,— уговаривал Дериглазов своего раненного в грудь связного.

— Кончали меня, шайтаны. Не серчай на меня, Ахметка,— харкнул кровью связной.

На площади появился Лутошкин. Около него зацокали пули, Лутошкин метнулся к памятнику Державину, трясясь всем телом, прижался к теплой красной плите.

— Это ты, горбун? — обрадовался Дериглазов. — Айда, горбун, к Азину. Скажи ему, Дериглазов помощи просит. Скажи, если сам Дериглазов требует помощи — то дело худо!

— Не могу я. Сил окончательно нет.

— Нельзя не могу, горбун. Я погибну, ты погибнешь, бойцы погибнут — Советам конец! Айда, горбун, через не могу...

Игнатий Парфенович со стоном оторвал свое тело от надежной плиты державинского монумента...

Азин ерзал в седле, хватаясь то за бинокль, то за маузер, но его удерживал на месте голос Шпагина:

— Полтавский полк вытеснил противника с Арского поля...

— Откуда известно?

— Пока по непроверенным слухам.

— Слухи — брехня! А дело-то идет добро,— радовался Азин, словно начальник штаба был счастливым виновником этих дел.

Вытянув шею, Азин завертел головой. Арское поле снова исчезло в завалах дыма: злобные вспышки огня, утробное рычание орудий, лихорадочная трескотня пулеметов раскачивались над невидимым теперь полем. Это была пропитанная кровью, болью, злобой музыка боя. Безумные звуки то накатывались на Азина, то отодвигались, и облик его менялся: губы подергивались, по скулам пробегала мелкая дрожь.

Показался всадник. Не выдержав, Азин помчался навстречу:

— Что, Арское поле?

Связной протянул окровавленный клочок с крупными, криво нацарапанными буквами: «Взял военный госпиталь. Офицеры отступили. Пленных нет. Офицеры в плен не сдаются. Северихин».

— Передай Северихину, пусть преследует офицеров. В плен не сдаются? Ну и молодцы, что рук не поднимают. Нам и не надо. — Азин приподнялся на стременах, ища глазами Шпагина и улыбаясь закопченным лицом. «Добро, Шпагин, добро!» — говорила его улыбка.

С левого фланга вынырнул новый связной. Едва не наскочив на Азина, удержал лошадь, приоткрыл спекшиеся губы.

— Что? Громче! Не слышу!

— Полтавцы бегут. Под натиском превосходящих сил противника...

— Скачи обратно! Скажи командиру полтавцев — вернуть утраченные позиции. — Азин обернулся к Шпагину: — Эх ты, размазня с квасом! Белые вышибли нас с Арского поля.

Припав к шее жеребца, почти распластавшись над седлом, Азин мчался к березовой роще, где укрывался эскадрон Турчина...

Когда Долгушину сообщили, что азинцы взяли Арское поле, он понял всю опасность случившегося и, подняв в атаку свой последний резерв, смял полтавцев. В азарте атаки Долгушин не заметил кавалеристов Турчина. Турчину представилась возможность ударить в тыл Долгушину. Пока Турчин колебался, подоспел Азин.

— Ты что? Ослеп? Упускаешь счастливый момент! — Азин выхватил шашку и, потрясая ею, захлебнулся ликующим криком: — Ка-ва-ле-рис-ты, в атаку!

Березы, кусты, люди завертелись перед глазами. Азина оглушали лошадиный топот, визг сабель. Сбоку взметнулась шашка Турчина и с коротким блеском обрушилась на убегающего офицера. Пуля жалобно жвыкнула у папахи, Азин машинально отклонил голову. Он вскидывал и опускал свою шашку, гнался за какой-то шинелью, прижимался к седлу, когда лошадь перепрыгивала канавы. Сознание его выхватило из общей сумятицы боя колодец и офицера на нем. Держась за колодезный журавель, он целился из нагана; Азин ткнул офице-

ра в грудь концом шашки, тот как-то сразу и бесследно исчез. Азин так и не понял, что офицер провалился в колодец.

Откуда-то появился еще офицер, торопливо вздымая на Азина наган. Азин метнулся в сторону, но выстрела не последовало. Офицер боднул головою воздух и, странно сгибаясь, упал в канаву.

Азин задержался над ним, не испытывая ни злобы к убитому, ни радости за свое спасение.

— Контратака отбита,— голос Турчина вывел Азина из оцепенения. Со вздохом и словно сожалея о чем-то, он вложил шашку в ножны.

— Контратаку отразили, а белых-то так и не сломили.— В этот момент его внимание привлек Лутошкин.— Чего тут болтаетесь? По белой пуле соскучились? — взвизгнул бешено Азин.

— До кремля пустяки осталось, без тебя, юноша, не хватает силенок... Дериглазов подкреплений просит...

В смрадном дыму мелькали магазины, дворянские, купеческие особняки. Перед Азиным возник бронзовый Державин, вросший в красный гранит. Азин промчался мимо; все, что называется самосохранением или страхом, померкло в нем. Все было придавлено новым, необычным «рефлексом цели», а целью являлся кремль. Перед целью этой не существовало ни страха, ни боли, ни гнева — было лишь ощущение огромного физического препятствия, которое необходимо скорее преодолеть.

— За мной, за мной, за мной! — надрывался он одной и той же фразой, не слыша собственных слов и понимая, что его не слышат бойцы, но видя всеобщее стремительное движение.

Кавалеристы врезались в скопище белых. Азин наносил во все стороны удары, сам увертывался от чьих-то ударов. С балкона соседнего дома в него выстрелили — острая боль вспыхнула под локтем левой руки. Как ни странно, боль придала ему новую силу. Он даже не заметил, что кто-то бросил гранату — балкон с офицером обрушился на тротуар.

Новое желание преследовало Азина — только бы не остановиться. Подавляя боль в руке, он рывком послал своего кубанца вперед.

Горящий, визжащий, воющий, содрогающийся, бесконечный коридор улицы кончился. Перед Азиным открылись белые стены с зияющим полукругом ворот; из сизой перспективы стремительно надвигалась башня Суумбеки...

Кремль оказался пустым. Генерал Рычков, капитан Степанов со своими штабами бежали на пароходы адмирала Старка. Белая флотилия ушла вниз по Волге, в устье Камы.

Ротмистр Долгушин с остатками эскадрона прорвался через Арское поле на Мамадышский тракт. Его никто не преследовал...

Казань праздновала освобождение.

Хотя все население города и красноармейцы тушили пожары, хоронили убитых, расчищали улицы и площади от завалов, Казань торжествовала победу.

Гремели всюду оркестры, а над городом лился могучий поток колокольного звона. В кремле на площади перед башней Суумбеки толпились люди — ожидался митинг. У шаткой трибуны Азин и Маркин впервые увидели друг друга. Грязные и потные, они все же сияли, и улыбались, и казались свежими от зеленой своей молодости.

— Целуй руку врага, если не можешь ее отрубить! Казанские попы встречали белых малиновым звоном, вернулись красные — и для нас такой же перезвон. Великолепная диалектика поповского лицемерия! — раздался мягкий, искрящийся иронией женский голос.

Азин обернулся: у трибуны стояла молоденькая женщина. Высокие, со шнуровкой до колен, ботинки, темная юбка, гимнастерка, подпоясанная солдатским ремнем, метили юную красоту женщины строгостью гражданской войны.

— Кто это? — спросил Азин.

— Ты не знаешь Ларису Рейснер?

— Откуда мне знать?

— Сейчас я тебя познакомлю,— сказал Маркин.

Но Лариса уже сама подходила к ним, протягивая маленькую ладонь. Серые глаза остановились на Азине; он смутился под этим светлым, проницательным взглядом.

— Слышите, как приветствуют нас попы? — улыбнулась Лариса милой раздвоенной улыбкой: доверчивой — Маркину, спокойной — Азину.

— Это не попы. Это мои бойцы по моему приказу звонят на всех колокольнях...

— Вот не думала, что Азин любит шумовые эффекты! А трезвонить в честь собственной победы — нескромно...

27

— Это что такое? — спросил Куйбышев.

— Как что? Приказ,— ответил Гай.

— Читайте вслух, да медленно, не торопясь. Я что-то не понимаю его смысла.

Гай взъерошил черные курчавые волосы, отставил назад левую ногу и стал громко читать свой приказ:

— «Всех покидающих свои посты, бросивших оружие, уничтожающих народное имущество — расстреливать на месте...»

— Черт знает что! С такими масштабами вы перестреляете всю дивизию! Ваш приказ — путь к беззаконию и произволу,— возмутился Куйбышев.

— Я думал, что борюсь за дисциплину...

— Пуля — мера редчайшая! Не дай вам бог сделать пулю повседневностью жизни. Мне известно, кое-кто из комиссаров расстреливает пленных солдат. От имени Реввоенсовета категорически требую прекратить подобную месть. Мы не можем превращать классовую борьбу в звериную злобу. Красная Армия будет уничтожать контрреволюционеров, но обязана щадить белых солдат. Ведь они — народ русский. — Куйбышев сделал паузу и повторил свою мысль: — Да, пуля — гнусное средство утверждения великих идей. Пуля убьет веру в идею, в цели, и тогда для чего нам будущее? Для чего революция?

— Я что-то перемудрил, кунак мой,— с пылом раскаяния сказал Гай.

— Каторжники таких торопыг прозывают хитромудрыми. Если бы я тебя, Гай, не знал, если бы мы с тобой одной буркой не укрывались, я бы....

— Ай-ай, зачем эти «я бы», «кабы»! Ты меня понял, я тебя понял!

Куйбышев приехал к Гаю, чтобы лишний раз убедиться в готовности Симбирской дивизии к наступлению. Гай уже получил приказ командарма выйти на исходные рубежи и девятого сентября начать наступление. До наступления оставалась одна ночь.

Куйбышев и Гай вышли из вагона. Наступал оранжевого свечения вечер, над вокзалом висели желтые тучи берез, носились стаи грачей, готовых к отлету. В природе был грустный покой, и с ним гармонировала тишина батальонов. Бойцы уже знали о завтрашнем наступлении и несуетливо, раздумчиво-тревожно сидели у костров, лежали под деревьями.

— Русские люди не терпят легкомысленного отношения к смерти,— сказал Куйбышев.

Гай, занятый какой-то своей мыслью, не откликнулся на его слова. Он только положил ладонь на его рукав и осторожно спросил:

— Как е г о здоровье?

— Новых телеграмм пока не поступало...

— Стреляла-то она отравленными пулями. Вот ведь стерва, забыл, как ее звать...

— Фанни Каплан.

— Стерва! — Гай отступил на шаг и, глядя в глаза Куйбышеву, твердо произнес: — Сегодня у нас два фронта: первый — Восточный, второй — у н е г о в груди...

Над землей нависли тучи, с Волги несло промозглой свежестью, мутный, рассеянный свет тревожил душу: командарм испытывал и нервную радость начавшегося наступления и

острое чувство опасности. Он приехал в штаб Гая еще перед рассветом, сейчас уже полдень, но донесения командиров все еще не давали полной картины штурма.

Она, эта картина, мгновенно менялась, и то, что час назад казалось движением вперед, теперь выглядело как топтание на месте.

По расчету командарма Пятый Курский полк давно должен обойти правый фланг противника, а куряне все еще на марше. По другому расчету Второй Симбирский только вечером должен был овладеть селом Каменки-Ртищево, а противник уже оставил это село. Командарм надеялся, что бойцы Первого Симбирского возьмут Охотничью через два часа после начала штурма, а противник отбивает атаки и все удерживает станцию. В резерве командарма находились Особый стрелковый полк Василия Грызлова и кавалерийский эскадрон; он рассчитывал на них в самый решающий момент штурма, когда город окажется в тесном кольце его войск. Но все же командарм был доволен общим ходом наступления: идея концентрического движения и обхвата противника становилась реальностью.

Белые не ожидали одновременного наступления с севера, юга и запада и теперь метались по всему обширному фронту. Они использовали овраги и холмы для обороны города, огонь их артиллерии не прекращался весь день. Самолеты совершали постоянные налеты на позиции красных, но уже не вызывали недавнего страха.

К вечеру фронт сократился до шестидесяти верст по кругу, только противник разгадал направление главного удара и начал перебрасывать свежие части к Охотничьей.

Полустанок Майна стал временным командным пунктом Тухачевского и Гая. Сюда стекались донесения, приходили разведчики, здесь кипела напряженнейшая работа. Поздним вечером, когда наступление остановилось, командарм получил новые сведения о противнике. К Охотничьей подтянуты офицерские батальоны, кавалерия, установлены проволочные заграждения.

— Противник перегруппировывает силы,— сказал командарм. — Он может ударить во фланг вашей дивизии, Гай, а противник в тылу — почти всегда паника.

— Паника — поганое слово! Ядовитое слово, хуже скорпиона. Но больше мы не допустим паники.

— Незаметно сосредоточьте всю артиллерию в одном месте. Мы совершим артиллерийский налет на расположение белых раньше, чем они пойдут в утреннюю атаку.

— Будет исполнено, товарищ командарм! Я прошу вас, вздремните часок, вот моя бурка.

Гай ушел. Командарм прилег на деревянный вокзальный диван. Чугунная усталость разлилась по всему телу, заныли

ноги и руки, вялые мысли мелькали в уме. «Сегодня девятое число, памятная дата»,— сонно подумал командарм.

Ему вспомнилась такая же сентябрьская ночь на Висле в четырнадцатом году. Шел второй месяц войны. Семеновский полк занимал позиции на правом берегу реки, немцы стояли на левом. На середине Вислы был маленький песчаный остров. «Попасть бы туда, высмотреть бы немецкие укрепления — славное было бы дельце»,— рассуждали офицеры, но никто не осмелился на разведку. На этот риск пошел подпоручик Тухачевский. Ночью девятого сентября на рыбачьей лодке пробрался он на остров, а вернулся поздним утром. Сведения, добытые им, оказались важными, за смелость его наградили георгиевским крестом.

Командарм улыбнулся воспоминанию и, как в омут, погрузился в сон.

Командарм почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Открыл глаза, сел на диване. Перед ним стоял Гай и показывал на часы.

— Половина шестого? — Командарм вскочил, оправил гимнастерку, надел суконный шлем. — Что в лагере противника?

— Там пока совершенная тишина.

— Тогда начинайте...

Ураганным огнем всех батарей начался второй день наступления. Самое ожесточенное сражение развернулось за Охотничью: противник весь этот день отбивал атаки Первого Симбирского, Третьего Московского, Интернационального полков, но красные теснили белых, все сжимая фронт. К вечеру он сократился до тридцати верст. Уже в темноте красные наконец овладели Охотничьей.

Командарм приказал Василию Грызлову совершить двадцативерстный обход и захватить Казанский тракт, отрезав пути отхода противнику на север. Всю ночь Грызлов и Саблин пробирались грязными полевыми дорогами; на рассвете они вывели свой полк на обрывистый берег Волги.

С крутояра открылись заволжские дали, пронизанные встающим солнцем. Блистала серая вода озер и проток, оранжево светились березовые рощицы, бурела нескошенная трава на луговых гривах. Солнечные лучи, словно светлые перья, расходились по небу, было свежо, легко, просторно.

Над Волгой дыбились зеленые горбы моста: издалека Грызлову показалось, что между небом и рекой висит легкая паутина. С веселым сердцем любовался он Симбирским мостом, не думая, не гадая, что в следующую ночь на этом мосту переживет страшнейшие испытания.

А пока Грызлов был доволен, что удалось незамеченным проскользнуть к Симбирско-Казанскому тракту. Этот тракт, обсаженный березами екатерининских времен, широкой прямой

полосой вытекал из города. За березами начинались поля неубранной конопли.

Колонны красноармейцев выходили на булыжную мостовую. Грызлов пропускал мимо себя утомленных, с отвердевшими от решимости лицами бойцов; их решимость усиливала его веру в успех.

По грохоту артиллерийского обстрела он понял — у Охотничьей началось столкновение главных сил и можно незаметно подойти к городу. Но не успели головные колонны скрыться за березами, как с конопляных полей по ним ударили вражеские пулеметы. Все сразу смешалось и перепуталось.

Грызлов с группой бойцов бросился вперед, чтобы ликвидировать зародившуюся панику. Он бежал, вздрагивая от страха и чувствуя, что преодолевает его, надеясь штыковой атакой опрокинуть противника. Оглянулся на бегу, поискал глазами Саблина, не нашел и позабыл о нем.

У Давида Саблина была одна, тщательно скрываемая им слабость: он боялся крови. При виде крови его начинало тошнить, душили спазмы, изнурительная слабость прохватывала все тело. Это можно было бы назвать болезнью психики, как паранойю. Стыдясь своей слабости, Саблин впадал в бессильную злобу, постепенно злоба обратилась в привычку, привычка стала причиной жестокости.

Саблин находился в арьергарде, когда начался артиллерийский обстрел. На тракте разорвался случайный снаряд, взрывной волной Саблина отбросило в канаву. Рядом упал красноармеец, осколок разворотил ему грудь, кровь забрызгала комиссара. Саблин лязгнул зубами, забился в судорогах. Потом пополз из канавы на конопляное поле, лег ничком между высокими стеблями. Волна боя укатилась на город, а Саблин все еще не мог прийти в себя. Он присел на корточки, тоскливо завертел головой, стараясь определить последствия своего припадка. Он обвиняет людей в трусости, подозревает по любому поводу в дезертирстве, а поверят ли сейчас ему самому? Сочтут ли уважительной странную его болезнь, не обвинят ли в том, что он — дезертир и трус? Холодок страха прокатился по сердцу. Саблин представил злорадствующего Грызлова, разгневанного Гая. Почему-то особенно подозрительной почудилась вежливая улыбка Тухачевского: кого-кого, а командарма на козе не объедешь. Саблин возненавидел его с первой минуты встречи. За дворянское происхождение, за военные знания. Щенок, червонный валет, паркетный шаркун в двадцать пять лет командует армией, а он в сорок — всего лишь комиссар полка. Если бы только его власть, он показал бы этому выскочке! Но все пока наоборот, и надо осторожничать, и надо хитрить, заискивать перед человеком, которого ненавидишь. А что делать сейчас, что делать?..

Земля задрожала под Саблиным, он услышал тяжелый кон-

ский топот. В сторону города, занимая всю ширь тракта, катилась лава кавалерийского эскадрона. Впереди, приподнявшись на стременах, подавшись грудью вперед, скакали Тухачевский и Гай с решительными, напряженными лицами. Саблин успел заметить суконный шлем командарма, кожаную фуражку Гая. Эскадрон промчался, опахнув Саблина ветром движения, брызги грязи опали, следы налились водой. «Наши штурмуют город. Скоро начнут праздновать победу. А я? Что же делать? А вот что я сделаю!» Саблин вскинул левую руку, обернул ее гимнастеркой убитого бойца и выстрелил из нагана. Опять подступила тошнота; преодолев ее, он перевязал рану.

Кавалерийский эскадрон, обгоняя пехоту, ворвался в город. Противник отступал поспешно и беспорядочно, главные его силы уже переправились на левый берег.

28

— Противник окопался за Волгой, на помощь к нему идут батальоны Каппеля, а полковник Каппель человек военного таланта, опыта и сильной воли. Его напористой смелости мы противопоставим наше мужество. Ночью вы захватите мост, переправитесь на левый берег, закрепитесь там до подхода всей дивизии,— говорил командарм Грызлову.

— Лупи, кунак, офицеров, пока не очухались,— напутствовал Грызлова и начдив. — Мы вышибли их из Симбирска, Пятая армия — из Казани, теперь надо доконать за Волгой.

В ночном небе багрово косматились гривы пожаров: город на высоком обрыве, железнодорожный мост, окрестные рощи пестрели в зловещих отсветах пламени. Но вот загорелась и сама Волга, смоляные ее волны раскалялись как бы изнутри, во все стороны разбегались лиловые змейки, ускользая в глубину, вылетая на отмели, даже речная пена вспыхивала кистями огня. Это занялись чудовищными кострами нефтеналивные баржи, подожженные белыми; они пылали мощно, яростно, высвечивая подступы к мосту, к железнодорожной насыпи.

Грызлов отшвырнул папиросу, вынул из кобуры наган, сказал решительно:

— Жмись не жмись, а надо на мост.

Он пополз вверх по насыпи, проскочил по шпалам на первую ферму, за ним осторожно, не глядя на горящую реку, начали карабкаться красноармейцы.

Железо слабо звенело, пахло ржавчиной, пролеты уводили в ночь, словно в непроглядный туннель; Грызлову было неприятно от высоты, от собственной беспомощности. «Заметят белые, поймают лучом прожектора, сорвешься в Волгу, булькнешь камнем — и как не жил на свете». Он прислонился к железной опоре, притих и ползший за ним красноармеец, приостановились остальные. Все знали, какое рискованное поручение исполняли: надо прокрасться на левый берег, захватить предмостье с

орудиями и пулеметами, отвоевать плацдарм для броска дивизии через реку.

Грызлов услышал далекий свисток паровоза, рельсы задрожали мелко и часто, в железе родился комариной тонкости звон, оно вибрировало, отзываясь тяжкими вздохами.

Бронепоезд мчался, ослепляя прожекторами ночь, небо, Волгу. Бойцы еще плотнее распластались на закраинах мостовой фермы.

— Спокойно, ребята,— шепотом заговорил Грызлов. — Прыгайте на платформы по одному, стреляйте только наверняка.— Он приказывал каким-то уговаривающим голосом, словно красноармейцы нуждались в его уговорах.

С грохотом, обдавая их горячими валами пара, пронесся бронепоезд, с левого берега ударил прожектор, вырывая из ночи кусок горящей реки, переплеты мостовых ферм. Меловой луч заплясал по рельсам, по шпалам, высвечивая красноармейцев, жарко заговорили пулеметы, зацвинькали пули.

Около Грызлова кто-то охнул и, сорвавшись со шпал, полетел в пропасть; раздался приглушенный всплеск. Грызлов напрягся всем телом, ожидая возвращения бронепоезда.

Бронированные платформы пятились медленно, как бы нехотя, башни уже неторопливо выплескивали огонь и гром. Бойцы бесшумно прыгали на подножки, цеплялись за поручни, переваливались через борта платформ. Грызлов едва успел ухватиться за поручень, повис на нем, теряя под ногами опору, но приподнялся, занес свое тело над бортом. Он оказался на платформе, лицом к лицу с артиллеристом и номерным.

Те, не ожидая появления человека, отшатнулись, артиллерист даже закрыл руками лицо: Грызлов выстрелил, артиллерист опрокинулся навзничь, номерной поднял руки. Грызлов разоружил номерного, сказал, не понимая для чего:

— Вот как, братец! Только что был белым, а теперь стал красным ваш бронепоезд. Как называется?

— «Георгий Победоносец»,— пробормотал номерной.

— Мы назовем «Звездой Победы».

...После захвата волжского моста на левый берег были переброшены части Симбирской дивизии.

А утром подошли офицерские батальоны Каппеля: полковнику удалось привести к Симбирску хотя и потрепанные, но хорошо вооруженные войска. Солдатами в них были поручики и прапорщики, командирами — капитаны и полковники. Всего лишь три месяца назад в Симбирске вступали они добровольцами в корпус Каппеля и вот вернулись обратно.

На офицерском совете Каппель произнес короткую речь:

— Если первое сражение проиграно, необходимо выиграть второе. Таков закон войны, господа! Но Симбирск для нас не просто сражение, он — символ власти и славы русских дворян.— Пронзительные глаза Каппеля обегали стоявших полукольцом

офицеров. — Чтобы вернуть власть и славу, нам надо отбросить всякие сантименты. Отдавайте же предпочтение ненависти и мести, а не глупому состраданию! Забудьте, что вы русские и деретесь против русских! Пусть вас воодушевляет лишь одно желание победы. Когда-то Бальзак сказал: «Желай — и желания твои будут исполнены». Я хотел бы, чтобы эти слова стали нашим девизом.

После артиллерийской подготовки офицеры двинулись в атаку. Они шли развернутыми цепями, широким, все убыстряющимся шагом.

У моста, за песчаными косами, за луговыми гривами, их поджидали красноармейцы. Они молчали, прильнув к песку, к травам; Грызлов и его бойцы сознавали, что в случае поражения им некуда бежать — за спиной Волга.

Красные и белые сошлись грудь в грудь в рукопашной остервенелой схватке. Дрались молча, штыками, прикладами, падали, вставали, опять падали, чтобы уже не встать. Они дрались в сером свете сентябрьского утра на берегах реки, родной для каждого русского, за одну и ту же Россию, счастье и славу которой понимали по-разному. В этой драке никто не желал ни пленных, ни трофеев, ни знамен: пленные бы только мешали, трофеи не имели значения.

Прошло полчаса, время казалось бесконечным, но вот белые начали отступать. Каппель уводил свои батальоны по заволжским степям на восток.

— «Двенадцатого сентября Симбирск взят. Прошу Совдеп возвратиться в Кадетский корпус и принять управление городом». Пошлите эту депешу Иосифу Варейкису, пусть поскорей возвращается. — Командарм подал телеграмму Каретскому.

Штаб армии разместился в Кадетском корпусе. Тухачевский прошелся по знакомому просторному кабинету, глянул в окно на мерцающую под осенним солнцем Волгу.

— Кажется невероятным, что в этом кабинете Варейкис сокрушил мятеж Муравьева, что здесь могла разыграться кровавая драма между большевиками и левыми эсерами...

— Но ведь драма-то была. Муравьев застрелил тут трех человек, пока самого не прикончили,— возразил Каретский.— Он и вас чуть-чуть не отправил на тот свет.

— Не знаю, что меня тогда спасло от расстрела. Уверенность Муравьева в победе своей авантюры, может быть? Отчаянно смелым, но безрассудным авантюристом был Муравьев. Одним словом, у меня о Симбирске есть и темные и светлые воспоминания. Больше светлых, чем темных, но сегодняшний день станет воспоминанием печальным. Куйбышев уезжает в Четвертую армию. Грустно расставаться с человеком, если сдружился, сработался с ним.

— И не говорите, вы правы, Мишель,— согласился Каретский (наедине он называл Тухачевского только по имени).

Командарм опять остановился у окна, сложил на груди руки, собираясь с мыслями. Ему и Каретскому, новому начальнику штаба, предстояло кропотливое и строгое дело — разработка плана Сызранско-Самарской операции. Она была значительно сложней, чем операция Симбирская.

— Вы говорили, Мишель, что надо сохранять материалы о боевой деятельности нашей армии. Я набросал вот такое письмо.

— Да-да, слушаю...

— «Русская революция всколыхнула весь мир. Она — начало новой истории человечества, и мы обязаны сохранить потомству исторические памятники войны классов в России. Прошу командиров и комиссаров прислать в штаб армии свои заметки — разборы операций, взгляды на ход военных действий, иллюстрируя их схемами и комментариями»,— прочитал Каретский.

— Хорошее письмо! Исторические события нужно закреплять немедленно, иначе они искривляются во времени. Искривленная история — наука безобразная и опасная. Кто там за дверью? Войдите! — крикнул Тухачевский.

Адъютант подал ему какую-то бумагу. Тухачевский пробежал текст: «Российский главный штаб командирует в распоряжение штаба Первой армии т. Энгельгардта А. П. Начальник штаба Раттель».

— Где этот товарищ? — спросил Тухачевский.

— Ожидает в приемной.

— Позовите.

В кабинет вошел светловолосый, синеглазый человек в потертом френче, артистически непринужденно вскинул руку к козырьку фуражки.

— Г'ажданин Энгельга'дт. — Синие влажные глаза его просияли еще сильнее, он невольно подался в сторону Тухачевского.

— Здравствуйте, Анатолий Петрович, — протянул руку командарм. Вошедший почтительно прикоснулся к ней. — Никак не предполагал встретиться с вами в Симбирске.

— Пе'ешел на сто'ону на'ода, как и многие наши пат'иоты. Служу ве'ой-п'авдой, как положено истинному г'ажданину своего отечества, — ответил, грассируя, Энгельгардт.

Анатолий Энгельгардт был не только земляком Тухачевского, но и сослуживцем; он командовал в Семеновском полку второй ротой. Энгельгардт имел славную родословную, его деду в Смоленске стоял памятник. Комендант Смоленска, генерал Энгельгардт отказался передать Наполеону ключи от города, за это и расстреляли его французы. Энгельгардт гордился славой деда, но среди гвардейских офицеров слыл бретером и себялюбцем. Между ним и Тухачевским были холодные отношения, но сейчас командарму пришлось отнестись к сослуживцу сердечнее. Он

представил Энгельгардта начальнику штаба. Каретский обрадовался еще одному знающему, опытному офицеру.

— Я подберу вам подходящую должность, — заговорил Каретский, когда они остались вдвоем. — Наш штаб дает возможность проявить свои таланты как офицерам, так и солдатам.

— Дивно, п'елестно начинать службу под вашим пок'овительством. Клянусь служить вам со всеми благо'одными по'ывами, — сказал Энгельгардт.

— Не мне, а народу, — вежливо поправил Каретский.

— Угощайтесь, будьте любезны. — Энгельгардт развалился в глубоком кожаном кресле, закурил пахучую сигарету. — Сига'еты из запасов начальника главного штаба. Ведь и он состоит на службе его величества на'ода...

— Я когда-то знавал полковника Раттеля. — Каретский закурил тонкую сигарету. — Не хватал он с неба звезд, я просто поражен его высоким постом.

— Умеет служить, умеет и п'ислуживаться, — Энгельгардт в упор рассматривал Каретского, но теперь глаза его были словно покрыты синим лаком.

— Вы давно знакомы с Тухачевским? — спросил Каретский.

— В Семеновском полку были закадычными това'ищами. П'елестные были годочки в нашем славном гва'дейском! Все тепе'ь стало фантастическим сном, — вздохнул Энгельгардт.

На проводы Куйбышева собрались все командиры и комиссары, актовый зал кадетского корпуса был переполнен. В ожидании Куйбышева и Тухачевского молодые люди шумно разговаривали о самых разных вещах. Саблин, с рукой на черной перевязи, переходил от группы к группе, меланхолически отвечал на сочувственные вопросы:

— Подстерегла белая пуля, поцеловала-таки меня, стервоза. Но ничего не попишешь, таков закон войны. А пули бояться — с волками не драться.

Никто, даже насмешливый Грызлов, не сомневался в честной ране Саблина. Комиссар услышал хохот Гая, окруженного командирами, подошел, прислушался.

— Э, нет, храбрость еще не героизм, друзья, — кому-то возражал Гай. — Храбрыми бывают и разбойники с большой дороги. Я знал одного храбреца, любого из нас за пояс заткнул бы. Однажды в самарский Совдеп явился мужчина: в двух карманах бомбы, в третьем наган, в четвертом — браунинг. И говорит Куйбышеву, что он, старый революционер, передает нам шесть тайных складов оружия. Куйбышев назначил его начальником охраны города, он проявил себя бесстрашным борцом против бандитизма. Белочехи взяли Самару, наши отступили в Симбирск, в Симбирске существовали гнезда белых

шпионов и диверсантов, с пароходами прибывали контрреволюционеры. Наш храбрец ловил шпионов, обыскивал спекулянтов, все шло чин чином. Вдруг Куйбышев узнает, что он отобранные драгоценности делит между своими помощниками. Куйбышев приглашает его для разговора.

«Золото берете? Для каких целей?»

«А когда чехи Совдеп свергнут, мы создадим партизанские отряды. Золото тогда пригодится».

«Почему должна пасть Советская власть?»

«Белочехи же берут город за городом...»

Революционный совет вынес решение: расстрелять «храбреца» со всей его дружиной. В это время белочехи подходят к Симбирску, революционный Совет решает взрывать пути в тылу противника. А для этого нужна диверсионная группа. Куйбышев предлагает послать «храбреца» с его дружиной.

«Они же приговорены к расстрелу!»

«Пусть искупят свою вину».

Куйбышев вызывает из тюрьмы «храбреца»:

«Хочешь жить — отправляйся на диверсии».

«Я свою жизнь не покупаю».

«Тогда искупи вину спасением Симбирска».

«Храбрец» задумался, потом спросил:

«Жизнь даруете и моим друзьям?»

«Безусловно».

«Храбрец» был специалистом подрывного дела. Не колеблясь он отправился в тыл противника, но белочехи уже захватили Симбирск, необходимость во взрыве путей отпала. Я вам про этого «храбреца» не все рассказал, но отчаянная, бесстрашная натура была, — закончил Гай.

— По-своему, он тоже герой, — сказал Грызлов.

— Мне омерзительны герои из мушкетеров, они совершали свои подвиги ради славы, денег да женских глазок. У людей рабочих к героизму подход по-рабочему прост. Буржуи посягают на твою жизнь — хватай буржуев за горло, мужики отказывают в куске черного хлеба — лупи по башкам мужиков, — вступил в разговор Саблин.

— По-твоему, да здравствует война города с деревней? — перебил комиссара Грызлов.

— Ты рассуждаешь как эсер. Это они трезвонят, что город пошел на деревню войной, они надеются свергнуть нашу власть, но мы-то все равно победим в мировом масштабе...

Все внимательно слушали Саблина: ведь они бредили мировой революцией.

— Диалектика, во всем диалектика! — произнес Саблин малопонятное для многих слово. — Нужно применять закон диалектики не только к классовому врагу, но и к самим себе. Не верю тем, что на словах бомбят буржуев, а на деле мечтают жить, как они. Такие обязательно станут новыми буржуями,

обрядятся в одежды поверженного врага, сочинят себе всевозможные чины да звания,— это уж как пить дать.

— Не всегда и не во всем действует закон диалектики, това'ищ Саблин, — раздался картавящий голос Энгельгардта.

Все повернулись к новичку, предвкушая перепалку между ним и Саблиным. Комиссара знали как заядлого спорщика.

— Как так не во всем? Все течет, все изменяется. Наполеоновский маршал Бернадотт был сыном конюха, а стал королем Швеции. Диалектика!

— Зато я не знаю ни одного шведского ко'оля, ставшего конюхом,— отпарировал Энгельгардт. — Кстати, конюх, ставший ко'олем, не подпускал к себе докто'ов.

— Это почему же?

— У него на г'уди была татуи'овка: «Сме'ть ко'олям и ти'анам»...

Командиры рассмеялись и еще теснее окружили спорящих.

— В этой надписи тоже закон диалектики. — Саблин поправил повязку на раненой руке. Ему понравился статный, высокий человек, не лезущий за словом в карман. — Мы с вами найдем общий язык. Вы уже получили назначение?

— Пока еще нет. Пока еще жду.

— Хорошо бы в наш полк. Сдружились бы, сработались бы. Не правда ли?

— Счастлив быть вашим д'угом.

В зал вошли Куйбышев и Тухачевский, и сразу воцарилась тишина.

— С сожалением расстаюсь я с Первой армией, с ее бойцами, с вами, товарищи командиры и комиссары,— заговорил Куйбышев. — Перед отъездом скажу несколько слов об историческом значении симбирского сражения. Это сражение явилось столкновением двух миров, двух классов. За нашей спиной стояли две революции, за спиной противника — старая империя эксплуататоров. Старое обречено и погибнет под ударами нового, а над симбирским сражением царил дух революции и военный талант нашего командарма. Пусть этот дух и талант сопутствуют вам в походе на Сызрань и Самару...

29

Красная флотилия бросилась в погоню за адмиралом Старком, уведшим свои суда на Каму. Азин получил приказ Реввоенсовета Республики — возвратиться в Вятские Поляны, в распоряжение нового командарма — Шорина.

— Старого командарма, значит, по шапке? Давно пора! Вот был командарм — не мычал, не телился. А кто такой Шорин? — спрашивал у начальника штаба Азин.

— Бывший царский полковник. И это все, что мне известно,— с холодной учтивостью ответил Шпагин.

На знакомом вокзале Азина встретили Шорин, члены Реввоенсовета Второй армии Гусев и Штернберг. Духовой оркестр сыграл «Марсельезу», в приветственных речах прозвучали похвалы по адресу Азина. Он слушал, и все в нем — от разрумянившихся щек до малиновых галифе — пело мальчишеским восторгом. Азин был очарован самим собой, но все же заметил: мужицкое, в резких морщинах лицо командарма очень сурово.

Шорин в черной суконной гимнастерке, таких же брюках, заправленных в солдатские сапоги, с суковатой палкой в руке, человек без военного фасона и форса, показался Азину грубым и черствым.

— Вечером явиться в штаб,— приказал командарм сипловатым баском. Опираясь на палку, сел в тарантас, уехал не попрощавшись.

Не понравились Азину и члены Реввоенсовета: Гусев с его полной белой физиономией и выпуклыми глазами, Штернберг, в широкой русой бороде похожий на купца.

— Какие-то старые шляпы,— шепнул Северихину счастливо улыбающийся Азин. Он не был по натуре нахалом или наглецом. Он благоговейно относился к ученым за их знания, к военным за их мужество, подражал Суворову, не замечая своего подражания. Война огрубила его юную восторженную натуру. Восемнадцатый год поднял его на большую высоту военной власти: командующий Арской группой войск, освободитель Казани — было от чего закружиться молодой, веселой его голове. В эти дни у Азина не оказалось авторитетного наставника из тех, что вошли в историю революции под легендарным именем комиссаров.

Беспомощность бывшего командарма усилила в Азине пренебрежительное отношение к высшим военачальникам, а своим командирам он старался показать, что понимает в военной науке больше и лучше их. С ложно понятой многозначительностью своего превосходства Азин и явился на прием к командарму.

В комнате кроме Шорина сидел Гусев. Азин щелкнул каблуками, козырнул. На нем густо цвели малиновые галифе, зеленела гимнастерка, блестела покрытая лаком деревянная кобура, солнечные зайчики порхали по хромовым сапогам. Азин думал: командарм обнимет его за плечи, усадит рядом с собой — и начнется военной совет.

— Это кто та-кой? — безулыбчиво спросил Шорин. — Артист императорского театра? Опереточный гусар? — Между бровями командарма обозначились крупные сердитые морщины. — Утром мы поздравляли тебя с победой, мы говорили, что ты талантливый молодой командир. Правду говорили! Сейчас я тоже скажу правду. Как ты, Азин, воюешь — больше воевать нельзя. Анархия, самовольство, самохвальство захлестывают тебя. Знаешь ли ты, какой ценой оплачены твои победы? Ты понес тяжелые потери под Высокой Горой, на Арском поле.

А знаешь почему? У тебя не было самой элементарной дисциплины. А дисциплина — закон армии! Я ценю личную храбрость командира, но человек, не требующий дисциплины и не признающий ее сам, не может командовать. Я одобрю любое наступление без моего разрешения, но расстреляю за самовольный отход без моего приказа. Ничто не поможет командирам, манкирующим моими приказами. Да, вот еще что! Говорят, Азин не берет в плен ни солдат, ни офицеров противника? Он расстреливает их на месте? — спросил Шорин, пристукивая палкой.

— Я не намерен целоваться с врагами революции! — крикнул Азин жидким баритоном.

— Смирно! Извольте молчать, пока говорит командарм!

— Слушаюсь,— пробормотал Азин неприятное и уже позабытое им слово.

— А кого ты считаешь врагами революции? Рабочих? Русских мужиков? Татар, вотяков? Они — народ! Тот самый народ, за свободу которого ты воюешь. Этих людей надо возвращать на сторону революции не пулями, а правдой. Правда сильнее пуль! Уничтожай врага, не бросающего оружия. Врага, поднявшего руки,— щади! Но расстреливать походя, не выяснив причин и обстоятельств,— не смей! По собственной прихоти не смей решать судьбу человека! Для этого есть трибуналы. А в трибуналах неподкупные судьи. Самые честные, самые благородные, самые справедливые люди. — Шорин еще раз пристукнул палкой и вернулся к столу.

— Кто-то здорово очернил меня,— облизнул иссохшие губы Азин.

— Здесь не принимают во внимание наветов,— звучно возразил Гусев. — А ты не красотка, любящая одни комплименты. Ты должен радоваться, что тебе хотят помочь. Василий Иванович Шорин назначен командармом по распоряжению Ленина. Если сам Ленин доверяет царскому полковнику Шорину, мы обязаны помогать ему. А как ты явился к командарму? Пришел переполненный самодовольством. Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма! Это не я сказал, это Ленин сказал о самодовольных коммунистах.

Румянец схлынул с азинских щек; он стоял навытяжку, вскидывая глаза на Гусева, на Шорина.

— У тебя только два пути,— сурово продолжал Гусев. — Первый — путь сознательной воинской дисциплины, второй — анархия. Анархия ведет в бандитизм. А ты коммунист, Азин. А сила большевиков в сознательности их штыков. И я, имеющий честь состоять в партии уже двадцать второй год, говорю тебе, юному большевику,— выбери правильный путь. А мы — или вышибем из тебя партизанщину, или же... — Гусев не договорил, но его мысль и так была ясной. Он положил руку на плечо Азина, будто пробуя, крепок ли тот на ноги.— Нам предстоит

огромная работа по созданию Красной Армии, и ты можешь стать славным помощником. Иди и подумай,— Гусев подтолкнул Азина к выходу.

Азин вернулся в штабной вагон, лег на нижнюю полку, закрыл глаза. Стен, крутившийся около, понял — у командира крупные неприятности. Не вытерпел, спросил:

— Что хорошего?

— Ничего, кроме характера.

— Не заболел ты?

— А тебе какое дело? Иди прочь!

Стен, не оглядываясь, вылетел из купе.

«Лучше бы командарм съездил мне по морде. Нехорошо вышло, погано,— размышлял Азин.— А этот Гусев-то, как он меня хлестанул. «Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма»! Снимут они меня, это уж ясно».

Азин перевернулся на левый бок — обида на себя не отпускала сердце. Ему было стыдно за каждое свое слово, он казался себе и гадким, и смешным, и униженным. Вагон дрогнул от грузных шагов.

В купе вошел Северихин; его домашний, дружелюбный облик привел в стройность растрепанные мысли Азина. Он приподнялся, сел, положил локти на столик. Сказал порывисто и насмешливо:

— Неужели глупость — болезнь неизлечимая? А? Как по-твоему, Северихин?

— Лекарства от глупости пока нет.

— Тогда я — неизлечимый дурак! Рассказать тебе, Северихин, каким идиотом предстал я перед командармом?

— Не надо, Азин. Мне уже все известно.

Задушевные друзья — они все же обращались друг к другу только по фамилии, а не по имени. Незабвенная манера юности, творившей революцию и защищавшей ее. Юность хотела казаться старше, суровее, непреклоннее и потому стыдилась собственной незрелости, и она была особенно прекрасна в этом неистребимом желании — казаться взрослее и самостоятельнее.

— Что тебе известно? — полюбопытствовал Азин.

— Как с тебя стружку снимали. Нас, грешных, не слушал, нашлись постарше, и власти у них побольше, и авторитета не занимать,— сказал Северихин.

— Как по-твоему, они меня — по шапке?

— Я бы тебя временно снял. Не сердись, но, честное слово, снял бы.

— Хорош друг!

— Я же сказал — временно...

— И пусть снимают! У меня еще вся жизнь впереди. Мне пока двадцать третий, а из них уж песок сыплется. Я бы сейчас самогону хватил и к девкам бы двинул.

Вечером командарм снова вызвал Азина. С чувством неприязни вошел он в штаб: Шорин и Гусев, работавшие за одним столом, подняли головы.

— Возьми стул и примащивайся,— сказал командарм. Выждав, пока Азин присядет, заговорил все тем же грубым, недовольным баском: — Мы решили группу твоих войск переформировать. Создать из разрозненных отрядов дивизию. Будет она называться Второй сводной, и войдут в нее два пехотных полка, артиллерийский дивизион, полк кавалерийский и бронепоезд.

Азин тоскливо подумал: «Сняли меня. Дали по шапке. Дофанфаронился».

— Командиром Второй сводной назначаешься ты,— объявил командарм.— Поздравляю тебя с новым назначением. Мы верим в тебя, Азин. А утренний наш разговор остается в силе.— Командарм оперся ладонью о стол, разглядывая Азина.— Вот, смотри,— Шорин обвел красным кружочком точку на карте.— Это узловая станция Агрыз. От нее ветка — на Ижевск, на Воткинск. А вот это — Сюгинская,— новый кружочек заалел на карте.— Где-то в лесах, между Агрызом и Сюгинской, дерется с ижевскими мятежниками Александр Чевырев. Сорок дней не давал он ижевцам соединиться с Казанью. Когда ты наступал на Казань, твой тыл охранял Чевырев. Сейчас тебе надо выручить его. Агрыз же станет плацдармом для нашего наступления на Ижевск,— командарм бросил на карту косые красные стрелки.— Лучшего плацдарма нет. С северо-востока территория, захваченная мятежниками, обрезается Камой. На Каме мятежников поддерживает флотилия адмирала Старка. Захватив Агрыз, ты пойдешь на Сарапул, со взятием этого города мы загоним мятежников в мешок.

30

На восток, среди сосновых боров и березовых рощ, текла, воспламененная одним наступательным порывом, азинская дивизия. Лесные опушки и тропки оглашались паровозными гудками, лошадиным ржаньем, звоном оружия, солдатскими голосами.

Азин и Северихин ехали верхами по лесной, засеянной опавшими листьями дороге.

Дорога вильнула в глубину леса, шум движущихся войск ослаб. Азин опустил поводья, жеребец остановился под рябиной. Гроздья ягод, словно налитых алой кровью, повисли над жеребцом; Азин ссёк одну плетью, она шлепнулась наземь, жеребец раздавил ягоды копытом. Северихин глянул на опечаленное лицо Азина:

— Что с тобой?

— Осень. Тишина. Давно я не слушал тишины.

— Да что с тобой? — опять недоуменно спросил Северихин.

— Вспомнил, как меня командарм гонял. Он хотя и царский полковник, а боевой старик.

— Полковник мужичьих кровей, Шорин — сын калязинского мужичка. Есть такой городок на Волге.

— А гонял он меня по-царски.— Азин поморщился, вспоминая разговор с командармом.— А вот Чевырева хвалил. Один Чевырев, сказал, держался, когда Вторая армия драпала...

— Он Чевырева хвалил, чтобы ты не задавался. А мне командарм толковал: Чевырев в Агрызе, Азин под Казанью спасли Вторую армию от полного уничтожения.

Шум движущихся войск снова приблизился. Невидимая из-за деревьев железная дорога огибала пригорок, многозвучное эхо катилось по лесу. Азин дал шпоры жеребцу и помчался по дороге, круто уходящей на лесной склон.

Под глинистым обрывом чернела ослепленная мягким сентябрьским светом река. Отраженные в омутах, бездымно пылали березки, на воде колебалось вялое золото опавшей листвы. Кленовые листья отбрасывали свой багрянец на темную стену дубов, каленые сережки волчьей ягоды кучились у воды. Рябины сгибались под тяжестью пунцовых кистей, желуди падали с веток, звучно булькая и взрывая воду.

За рекой по всему горизонту вставали рыжие, блестящие, высокие стволы дымов. Не было им числа и не было им конца. Сполохи лесных пожаров блуждали по тусклому небу, болезненным запахом гари несло от мочажин и листьев, осеннее многоцветье меркло в дымах и пепле.

Азин, подбросив ладонь к папахе, смотрел из-под нее на безмолвную битву огня и лесов; сразу стало не по себе при мысли о чудовищных размерах ижевского мятежа.

Сентябрь перевалил на вторую половину.

Дожди торопливо гасили многоцветные краски лесов, лихорадочно синели лужи, земля пахла кровью, порохом, гарью. Грустно перекликались отлетающие журавли, всполошенно трещали сороки.

Тоскливой, испуганной, неустойчивой жизнью жил Ижевск. В горожанах росло и крепло мучительное чувство безнадежности, мрачный пессимизм захлестывал и офицеров. Воспаленные шепотки сновали по кабакам, по базарам. Из ушка в ушко переливались слухи о наступлении красных. Говорили, что на Ижевск идет сам Азин, и, хотя никто не знал, кто он такой, слово «сам» устрашало. Во всех этих слухах таился страх, и люди уже не могли отличить правду от вымысла. Как всегда, больше верили вымыслу. Словно лесное пламя, вымыслы обжигали людей. Идет красный комиссар на Ижевск, в деревни, в

села, чтобы петлей и пулей наказать восставших. Расстреливает красный комиссар правых и виноватых, отнимает у мужика хлеб, разоряет церкви и мечети. Нет никому пощады: девкам вырезает на грудях кровавые звезды, старикам ставит на лбах каинову печать.

Божьи странники, убогие старушки клятвенно шептали: близится светопреставление. Праведники видели небесные знамения: в лесной ключ близ Елабуги упал огненный крест, и горькими стали воды источника, в полях Сарапула встретили всадников на вороном и бледном конях. Там, где проскакали они, следы налились человеческой кровью.

Над городом жалобно звонил соборный колокол: по мокрым деревянным тротуарам тащились купчихи, закутанные в шали, лавочники с постными физиономиями. Матерились подвыпившие офицеры, просматривая на заборах приказы начальника контрразведки Солдатова: «Если красные приблизятся к Ижевску на десять верст, я расстреляю всех арестованных».

Нервозная атмосфера царствовала и в штабе мятежников. Двухэтажный особняк миллионера-лесопромышленника трезвонил телефонами, звякал шпорами, гудел повелительными голосами.

В гостиных, спальнях, будуарах пахло псиной, сивухой, махорочными сигаретами, скверной пудрой и еще черт знает чем, не имеющим названия. Из мраморных каминов торчали связки военных приказов, на туалетных столиках валялись револьверы системы «веблей» и «кольт», по оттоманкам грудились гранаты.

От табачного дыма померкли розовые амуры на потолках, закоптились фарфоровые вазы; когда-то дышавшие девственной чистотой стены покрылись размашистыми завитками неприличных ругательств.

До падения Казани ижевские мятежники были относительно спокойны: полковник Федечкин командовал Народной армией и все надеялся освободить Агрыз от Чевырева, Солдатов кнутобойничал в контрразведке, капитан Юрьев и Граве создавали Воткинскую дивизию.

То, что происходило на Волге, на Урале, казалось ижевским главарям вспышками далекой, но не приближающейся грозы.

Граве повеселел было, когда узнал, что сибирское, уральское и самарское правительства уступили свою власть омской Директории. Уж лучше одно настоящее, чем тройка никем не признаваемых правительств! Может, Директория взнуздает выломившуюся из оглобель Русь?

Но вот совсем неожиданно под ударами красных пали Казань и Симбирск, на волосок от гибели Самара. Душная политическая атмосфера Ижевска сразу похолодела: между главарями началась распря.

Ротмистр Долгушин, бежавший из Казани, был радушно принят Николаем Николаевичем. После грустных воспоминаний о гибели Евгении Петровны, о своих разоренных большевиками поместьях они долго говорили про ижевские дела. Граве дал выразительные, подперченные иронией характеристики полковнику Федечкину, капитану Юрьеву, фельдфебелю Солдатову.

— У этих людей нет ни военных знаний, ни политического авторитета, ни личного обаяния. Мизерные личности, узколобые политики. Они могут шумно требовать победоносного наступления от своих войск, заглазно уничтожать красных целыми дивизиями, расстреливать мужиков и рабочих. Трусливые поганыши! Думают пустыми словесами отогнать грозные красные призраки. У них есть только недавнее сладкое прошлое: ах, как они пили, жрали, картежничали! Ах, как стреляли в ресторанные потолки, ах, как били зеркала в бардаках! Вчерашний день полон их преступлениями, а сегодняшнего дня они страшатся: как бы не пришлось отвечать за содеянное — вот и все, что мучает их.

— Тогда Ижевск обречен. Тогда к чему и огород городить,— горько сказал Долгушин.

— Вы меня неправильно поняли. Обречены на позорную гибель здешние вожаки, а само движение нуждается в талантливых руководителях. Можно сдать Казань, Самару, Симбирск, Ижевск большевикам, сдать им еще пять, двадцать пять городов, но это не вся Россия. Мать-Россия, насколько вам известно, необъятна и неохватна. Сдать ее на милость красным ли, белым ли в настоящий момент нельзя. Русская монархия развалилась не потому, что скверной стала монархическая идея, скверными оказались цари. От Николая Палкина до Николая Кровавого без исключения! Это говорю я — русский дворянин — вам — русскому дворянину! Возрождать великую Россию придется нам, русским дворянам. Я не признаю всяких правительств, возникающих сейчас на окраинах земли русской. Мне противны кадеты и эсеры из омской Директории, но ее военный министр Александр Васильевич Колчак симпатичен. Он человек наших воззрений. Колчаку можно верить, на Колчака можно положиться.

— Когда же он приехал в Омск? — заинтересованно спросил Долгушин.

— На днях. Из Владивостока. Колчака сопровождал отряд гемпширских солдат под командой полковника Уорда. Сие весьма знаменательный факт: из всех наших союзников англичане — самые надежные. Вы знакомы с Александром Васильевичем?

— К сожалению, нет.

— У Колчака славное морское имя. У него ничем не запятнанная репутация,— усилил свои восторги Николай Никола-

евич. — Вице-адмирал Колчак в омской Директории — добрый вестник нашего возрождения...

Атмосфера в Ижевске становилась все напряженнее, все тревожнее. Город притих, кабаки опустели, лавки прикрылись. Даже пьяные драки между фронтовиками не завязывались на улицах. На оружейном заводе, в железнодорожных мастерских прекратились митинги, с заборов исчезли призывы: «За власть Советов без коммунистов. Славься свобода и труд!»

В штабе с утра до вечера сатанели на заседаниях главари мятежников. По кабинету командующего армией бегал, матерясь, фельдфебель Солдатов.

— Это позор, полковник! Десять тысяч солдат не могли распотрошить двухтысячный отряд Чевырева. Вы же сорок дней обещали изловить и повесить самого Чевырева. А что получилось? Что вышло? Чевырев и Азин захватили Агрыз и угрожают Ижевску.

— У Азина всего пять тысяч бойцов. Надо быть идиотом, чтобы идти на Ижевск. У нас, слава богу, тридцать тысяч штыков,— багровея от обиды, возражал Федечкин.

— Смелость города берет, милейший мой! Вы же, извините за грубость, старая ж...! Вдарь кулаком — и мокренько!

— Господин фельдфебель! — завизжал полковник. — Если не возьмете своих слов обратно, я вызову на дуэль...

— Пошли вы, милейший, к бабушке!

— Не время ссориться, господа. Вы же государственные люди,— успокоил расходившихся главарей Граве. — Я лично полагаю, Азин пойдет на Сарапул и отрежет нас от Урала. А на Каме под Елабугой стоит вражеская флотилия, а в Вятских Полянах формируются свежие полки Второй армии красных. Нас возьмут в мешок, если... если Азин овладеет Сарапулом. Укрепляйте Ижевск, но спасайте Сарапул.

Поздней ночью, совершенно обалдев от споров, ругани, взаимных угроз, мятежники перетасовали свои посты. Командующим Народной армией был назначен капитан Юрьев. Полковник Федечкин стал командиром Воткинской дивизии, Николай Николаевич Граве принял на себя сарапульский военный гарнизон. Ротмистру Долгушину предложили пост командира Особого добровольческого полка имени Иисуса Христа.

31

Азин размашисто шагал в серых сумерках, проверяя посты. У вагонов, под вагонами, по канавам, окольцевав тлеющие костры, спали красноармейцы. У полевых батарей храпели номерные; положив головы на «максимы», дремали пулеметчики. Бормотали во сне вятские мужички, раскрестив руки лежали казанские татары. Отовсюду неслись храпы, вздохи, всхлипы, стоны.

— Вот орлы, на брюхе спят, спиной укрываются.— Азин перешагивал через спящих, понимая, что лишь смертная угроза может подбросить его бойцов на ноги.

Он прошел на околицу к опушке соснового бора. Здесь тоже горели костры, в сумерках всплескивались рыжие огни. Влажно шуршала палая листва, лошади звучно хрумкали овес, ползли по кустам сивые клубы дыма. В сторонке от костра, стоя на коленях, татарин страстно бормотал:

— Великий аллах, создатель всего живого! Не забудь меня, защити от белой пули.

Незаметный среди кустарников, Азин переходил от костра к костру. Останавливался в тени, слушая разговоры. Азину нужна была возбуждающая атмосфера движения и деятельности, он испытывал волнение от тысячи лиц, от потока событий. Этот поток людей и событий словно начался с самого детства и будет течь через всю его жизнь, ширясь и клокоча.

Азин не мог долго и спокойно сидеть на месте. Он или чистил маузер, или стрелял по телеграфным столбам, или спорил с кавалеристами о статях доброго коня. Отчаянная его храбрость, суровая доброта, даже то, что он очень молод, собачится на трех языках, ест что попало, спит на ходу, с труса может спустить шкуру, смелого расхвалить перед строем,— все расцвечивалось яркими, веселыми красками, обрастало грубоватыми солдатскими баснями. Вокруг Азина стали возникать легенды, в которых правда тонула в неудержимой фантазии.

Азин остановился в густом вереске, прислушиваясь к голосам спорящих бойцов. Чей-то бас непререкаемо утверждал:

— И приговорил военно-полевой суд парня к вышке: не насильничай девок. Не фулигань. Сообщают про это Азину, а он: ко мне подлеца. Привели: парень — кровь с молоком, рожа кирпича просит. Рыжий, ссукин сын, как дуб осенний. Азин даже языком пощелкал:

«Этакой молодец, а у девки попросить не сумел...»

И как почал его нагайкой обхаживать, как почал! А потом говорит: «Иди, едпот, к белым, достань «языка». Я тебя за это, может, у военно-полевого на поруки выпрошу...»

— Что-то ты заврался,— прервал рассказчика тоненький голосок. — Насильника али мародера Азин не пощадит. Они для него — самая белая контра. Видел, знаю, как он в Вятских Полянах начальника санитарного поезда в расход пустил. Начальник-то сам с потаскухой в мягкий вагон забрался, а раненых в товарные вагоны, будто дрова, покидал. А тут Азин нагрянул, аж почернел весь:

«Для тебя бойцы революции хуже скотов? Ах ты, собака! Да я ж тебя именем Революции к стенке...»

И все. И точка. И отправился начальник к генералу Духонину в гости...

Мелькали в дымных отблесках пламени головы, спины, пле-

чи. Пахло крепким самосадом, вареными грибами. Азин стоял в высоком темном вереске и улыбался: радостное настроение его подскочило еще выше: было приятно, что им восхищаются бойцы.

— Вот еще, ребятье, какая хреновина приключилась со связным Вятского полка. В Агрызе, здесь, позавчера дело было. Послал командир Северихин своего связного к Азину с важнецким пакетом. А тому Азина в глаза видеть не приходилось. Ну, явился, подает пакет. Азин взял, прочел бумагу, а потом ка-ак выдернет маузер:

«Руки вверх! Ты кому секретные документы приволок? Я не Азин, я белый полковник. Вашего губошлепа Азина кокнул, теперь и тебе конец...»

А потом засмеялся:

«Нельзя, парень, в такое сурьезное время растяписто-культяписто жить. Ты сначала убедись, что я за птица, а потом документики суй...»

Небо мигало зыбкими звездами, ночь была наполнена сырыми, таинственными шорохами, свежо и легко дышалось.

Азин шел через ночь и все улыбался: «Когда в невероятное веришь, словно в правду, тогда особенно хорошо жить». Между соснами вновь замаячил костер, Азин направился к нему.

— Ты про Азина что хошь болтай, а он в мою душу с ходу вошел: Герой!

— Ерой с дырой! Обыкновенный сукин сын!

— А за похабные твои слова я тебя в морду! Сразу перестанешь квакать...

Азин подошел к костру, красноармейцы смолкли. Боец, только что его поносивший, смущенно закашлялся.

— Повтори-ка, приятель, что ты сейчас говорил. Ты, ты, что сукиным сыном меня величал,— сказал Азин, сдвигая на затылок папаху; по его лицу засновали пестрые тени.

Красноармеец вскинул голову, отчаянным усилием встал на ноги.

— И повторю! И не испугаюсь. Кто тебе дал право бойцов плеткой лупить? Ленин дал? Почему ты людей судишь по своему хотению? Ленин велел? А может, врешь ты! Ежели я провинился — суди меня по закону, по правде суди, а не как тебе в башку взбрело.

Красноармеец тут же сник, вздрагивая от испуга, злости, собственной смелости. Азин резко вскинул руку, красноармеец откачнулся, ожидая удара.

— Молодец! Люблю прямых, ценю откровенных. Спасибо за правду!

Азин снова шел под осенними звездами, мимо спящих и мимо беседующих о житье-бытье красноармейцев. Остро и терпко пах вереск, с сосновых веток брызгала влага, чадили костры.

— Стой! Кто идет? — раздался свирепый окрик, и гневно щелкнул затвор винтовки.

— Свои, свои,— торопливо отозвался Азин.

— Парол? — выступил из темноты часовой.

— Кого порол? — уже насмешливо спросил Азин у щуплого, в лаптях и азяме, часового-вотяка. Шагнул вперед.

— Назад, кереметь!

— Я — командир дивизии...

— Вижу, ты сама Азин, а без парола нельзя.

— Позабыл я пароль. Запамятовал, понимаешь...

— Ага, ого! Сама Азин парол позабыла! Утром меня хоть по самую шляпку в землю вбивай, а сейчас не пущу,— часовой вскинул на руку винтовку.

— Вот леший! — восхищенно присвистнул Азин.— Влеплю ему завтра благодарность в приказе.

Он вернулся в штабной вагон, где его уже ждали Северихин, Чевырев, Шпагин, Лутошкин, Дериглазов, Шурмин.

— Есть хочу, Стен! — крикнул Азин счастливым голосом.— Стаканчик самогону тоже недурно.

Стен собрал на стол. Между картошкой в мундире, миской соленых грибов, ломтей черного хлеба появилось большое деревянное блюдо вареной конины.

— Прошу к столу, лошади поданы,— сострил Стен, скосив на Азина дерзкие глаза.

После самогона у всех разрумянились лица, развязались языки. Разговор стал непринужденным и общим: каждому хотелось сказать что-то свое, если не значительное, то хотя бы интересное.

— Я только что слушал, как пулеметчик Ахмет аллаху молился. Что ты, Чевырев, своих партизан от бога не отучишь? — шутил Азин, очистив и круто посолив картофелину.

— Пусть молятся. Мне недавно самому пришлось намаз совершить,— широко улыбнулся воспоминанию Чевырев.

— Да ты шутишь, ты же коммунист, Чевырев...

— А все же пришлось. Мои татары курбан-байрам праздновали. Все встали на колени, склонили головы, прижали руки к сердцу. Только один я, как идол, на ногах. Вижу, косятся татары. Пришлось и мне упасть на колени. Все остались довольными, а я, понимаешь, и верующих красноармейцев не оскорбил, и у них доверия ко мне стало больше.

— Коммунист совершил намаз, а? Может ли красный командир молиться богу, а? — блестя глазами, спрашивал у всех Азин.

— Ради революции допускаю! — сказал Дериглазов.— Я както хлебный поезд отправлял. Кулаки железнодорожный мост через речку взорвали, а у меня в отряде двадцать бойцов. Как мост восстановишь? Вокруг в деревнях живут одни татары, вот я и собрал в мечети всех мулл. Глубокочтимые, говорю, вы верные ученики Магомета и знатоки корана. А известны ли вам последние слова пророка, сказанные перед смертью?

«Как мы станем править народом, если ты уйдешь от нас?» — спросили его ученики.

«Создайте совет и через совет управляйте»,— ответил пророк.

Вижу, кивают башками муллы. Глубокочтимые, говорю, пришло время, и по всей России возникли Советы, о которых говорил Магомет. Скажите народу, что надо помочь Совету и его защитникам. Пусть правоверные отремонтируют мост...

— Но это же демагогия! — воскликнул Лутошкин.

— А что такое демагогия? — повернулся к нему Чевырев.

Игнатий Парфенович находился в блаженном состоянии духа: командиры то и дело обращались к нему за разъяснениями, призывали в свидетели своих споров: общее внимание льстило старому горбуну. Сейчас Лутошкин удивлялся не невежеству Чевырева, а его откровенному признанию в невежестве.

— Я ведь бездонный дурак,— с обезоруживающей улыбкой продолжал Чевырев. — Совершенно ничего не знаю. Вот слышал слово — философия. Для чего такое слово? Какой в нем смысл, поставь к стенке — не отвечу.

— Философия — наука о познании мира, в котором мы живем, и о познании самих себя, как живущих,— весело объяснил Игнатий Парфенович. — Вопросами познания мира и человека занимается философия, но, по-моему, она никогда не разрешит их.

— Философы только тем и занимались, что объясняли мир, а мир надо переделать,— ввязался в разговор Азин. — Так говорил Карл Маркс.

— Маркс требовал от философов действия, я же хочу, чтобы они размышляли.

— Бессильные и безвольные личности не переделают мира. Воля без решимости хуже бессилья,— сказал Азин.

— Согласен, бессилье приводит к отчаянию, но и отчаянье иногда порождает силу,— не отступал Лутошкин. — Но это уже безумство храброго отчаяния.

— Безумство храбрых — вот мудрость жизни! — патетически произнес Азин.

— Неправда! — отрезал Лутошкин. — Безумство даже самых храбрых не было и не будет мудростью жизни. — Лутошкин вышел из-за стола, оперся спиной на вагонную стенку. — Вы, юные мои люди, верите в каждую красивую фразу. А вам следует знать: абсолютной и обязательной правды для всех — нет! Каждый сочиняет свою правду. Есть господь бог — это правда поповская. Нет бога — ваша правда. Боги — всего лишь выдуманные попами идолы для обмана верующих, говорите вы. Хорошо! Пусть так! А сами вы, как и верующие, поклоняетесь идее коммунистического общества. Думать не хотите — нужно ли людям общее счастье. А счастье не дается насильно. Счастье — это желанье иметь то, чего нет, но человеческие желания

бесконечны. Полное удовлетворение всех желаний — погибель для человека. Впрочем, стремиться к всеобщему счастью все равно что подниматься в небо по солнечному лучу. Удивительно хорошо, должно быть, но совершенно невозможно...

— Я не зря вам советовал податься к белым,— сердито перебил горбуна Северихин. — Теперь в самый раз перекинуться к ним,— мрачно добавил он, отставляя стакан. — Мы еще можем, усмехаясь, выслушивать ваши рассуждения, а потолкуйте-ка с красноармейцами. Скажите-ка им, что к счастью стремиться глупо. Не знаю, что тогда спасет вашу душу, Игнатий Парфенович.

— Почему вы в каждом моем слове ищете враждебность? Почему отказываете мне в праве на самостоятельную мысль? Это очень опасно — лишать права на мысль,— защищался Игнатий Парфенович.

Азин, досадливо закусив нижнюю губу, поглядывал на Лутошкина, на Северихина: было неприятно, что Северихин задирает Игнатия Парфеновича. Шпагин сидел с непроницаемым видом, Дериглазов скручивал цигарку, Чевырев улыбался. Стен смотрел в потолок, сразу утратив интерес к спору. Лишь Шурмин, с восемнадцатилетней жадностью ко всему интересному, шумно вздыхал.

— Хорошо иметь знания! Грамотный любого тюху-матюху на лопатки положит. А какой из меня командир, ежили я трех классов церковноприходской не кончил? Я, что такое траектория, не понимаю. Мне толкуют — пуля летит по траектории, а я только ушами хлопаю,— снова заговорил Чевырев.

— Ты сорок суток отбивался от ижевцев, а ведь их силы десятикратно превосходили твои,— заметил Азин.

— Так это же до первого умного генерала. А разве ты не прочь поучиться? И у тебя, думаю, военные знания не ахти?

Азин хотел признаться, что и он — военно необразованный, но мелкий бес тщеславия удержал его. И он вдохновенно соврал:

— Я Елисаветградское училище окончил. Как-никак, а капитан царской армии. — Почему он назвал Елисаветградское училище, для чего присвоил чин капитана, Азин не мог бы объяснить и самому себе. Просто взбрело на ум, к тому же хотелось увидеть, как среагирует на его хвастовство Чевырев.

...Азин еще не выбрался из короткого сна, но сентябрьское утро с бесконечными заботами уже проникало в ум. В дверях купе появился Стен, завертел головой, не зная, будить — не будить командира.

— Ну, что тебе? — сонно спросил Азин.

— Проситель какой-то. Старик татарин.

— Что надо татарину?
— Подай ему командира — и только.
— Ну позови его.

Тотчас же в дверь протиснулся татарин в изодранном бешмете, настороженно остановился у двери.

— С чем пожаловал, старина?

Татарин снял засаленную тюбетейку, обтер ею лысину и быстро-быстро заговорил, мешая татарские слова с русскими:

— И чево я теперь стану делать? Избу мою чисто-начисто сдуло. Детишки без хлеба, баба померла, да успокоит аллах ее душу. Куда мне теперь деваться, скажи? Нет, ты скажи?

— Постой, я ничего не понимаю...

— Ты Агрыз брал? Брал. Вот твоя пушка начисто сдула мою избу...

— Ничего не попишешь, отец, война...

— Война войной, а где мне жить, скажи? Почему так: белый ходил — сарай сгорел, красный пришел — изба горит? Баба помирай и внуки, по-твоему, помирай? А мне сапсем помирать надо? Бедному человеку не стало житья! А почему, скажи? — старик сцепил на рваном бешмете скрученные, как вишневые сучья, пальцы.

Азин вышел на перрон, где испуганно топтались босые, со стеариновыми личиками ребятишки. Дети бросились к татарину, он прикрыл их черные головки мокрыми полами бешмета.

— Вот они, внучата. Сапсем мал-мала, ашать хотят, спать хотят, чево делать буду?

— Забери ребят, Стен! И разыщи мне Игнатия Парфеновича,— сердито приказал Азин.

Татарин привел его на свое пепелище. Лишь стайка обгорелых черемух да печная труба напоминали о гнезде старика. Азин отшвырнул ногой головешку, тронул голый черемуховый ствол: с головы до ног обдало водяной пылью. Расстроенный, он вернулся в штабной вагон, но на пороге салона удивленно остановился.

Лутошкин сидел у стола, по-бабьи подперев правую щеку ладонью. Стен стоял в картинной позе, выпятив грудь, откинув белокурую голову; татарчата, разинув рты, ухмылялись. Все слушали Шурмина, а тот, размахивая руками и подвывая, декламировал:

Мы с Камы, с берега крутова,
Тебе, буржуй, ответим снова:
— Прими, хозяин дорогой,
Поклон под задницу ногой!..

— А поклон под задницу ногой — здорово! — захохотал Азин. — Чьи стихи, Шурмин?

— Его собственного сочинения,— добродушно крякнул Лутошкин. — Мы и не подозревали, что наш Андрюша — поэт...

— Не одним буржуазам стихи писать,— насмешливые глаза Азина уставились в родниковые глаза Шурмина. — Игнатий Парфенович, дайте-ка мне пять тысяч...

— Для каких чрезвычайных надобностей? — осведомился Лутошкин.

— Деньги нужны для беды человеческой. Давайте, не кобеньтесь.

Лутошкин вытащил из-под лавки рогожный куль, вывалил на пол груду пачек. Взял одну — тугую, перевязанную голубой ленточкой.

— Держи, отец! — протянул татарину пачку ассигнаций Азин.— И черкани, ради аллаха, расписку. Что, неграмотный? Игнатий Парфенович сам напишет, а ты крестик поставь. И не кланяйся, не я — Советская власть дает.

— Души прекрасные порывы! Словами вдохновляют, примерами воспитывают. А мне ваш поступок нравится, гражданин Азин. Лучше дать хоть что-нибудь человеку, чем отнять у него,— разглагольствовал Игнатий Парфенович, пряча расписку в кобуру от нагана.

Татарин и дети ушли, Азин присел к столу, взял из чугунка картофелину. Покатал на ладони, очистил, посыпал солью. Съел и опять рассмеялся:

— Поклон под задницу ногой! Приодеть бы тебя надо, Шурмин. Сапоги бы по мерке, гимнастерку по росту. Игнатий Парфенович, вы же хвастались, что сапоги тачать умеете?

— Я мастер по лаптям. Могу русские, могу черемисские, но для Андрюшки сапоги соображу. Может, поэтом станет.

С того часа, как Андрей Шурмин встретился с Азиным, он подпал под его влияние. Юноша старался во всем походить на своего командира: как и Азин, он высокомерно носил бурку, заламывал набекрень папаху. Он научился работать на телеграфном аппарате и молниеносно передавал азинские послания штабу Второй армии. Неожиданно для себя юноша оказался в центре стремительного перемещения человеческих масс и был уверен — их движущей силой является Азин.

Еще год назад мир виделся Андрею лесными омутами, зеленой зыбью некошеных трав, коноплянниками, пахнущими теплой истомой, окуневыми стаями, грибными дождями. Теперь в жизнь Шурмина ворвались атаки, штурмы, погони, разрушенные села, горящие города, «кольты», «веблеи», маузеры. Его окружали храбрецы и трусы, герои и шкурники, хорошие и дурные люди, но все они сливались в одну непостижимую, удивительную толпу бойцов революции. Все, кроме одного Азина.

— Еще проситель, командир,— доложил Стен. — Вернее, просительница. Красивая, чертовка...

— Ну ты, жеребец!

Девушка в синем платье, высоких козловых ботинках появи-

лась в салон-вагоне, как являются лесные цветы из сумрачной тени на утренний свет.

Азин не мог бы определить, красавица или дурнушка она, но именно такого девичьего лица вот с таким высоким белым лбом, подвижными бровями, глазами черными, словно ночное стекло,— ждал он в последние дни. Теперь оно появилось, и должно случиться что-то очень хорошее.

— Вы хотите со мной говорить? — спросил Азин, вглядываясь в встревоженное лицо девушки.

— Я пришла из Сарапула. Я хочу сообщить...

— Как вам удалось пройти через позиции белых? Они же никого не выпускают из города.

— А вот я вышла,— невесело усмехнулась девушка. — Нужда заставила...

— Ваше имя, фамилия? — Азин взял стул, поставил перед собой, уперся о спинку локтями.

— Меня зовут Евой Хмельницкой. Я хочу сообщить... — Девушка взволновалась, не находя нужных слов. — Выше Сарапула на Каме, у пристани Гольяны, стоит баржа с арестованными большевиками. Их много, несколько сот человек. Белогвардейцы решили затопить эту баржу, если красные возьмут Ижевск. Спасите арестованных!

— Откуда вам известно о барже в Гольянах? — спросил Азин, чувствуя, что напрасно повысил свой голос.

— О барже знает весь город,— недоуменно ответила Ева. — На этой барже наши отцы, братья...

— У вас кто на барже?

— Мой отец, Константин Сергеич Хмельницкий, здешний врач. Его вся губерния знает, хоть кого спросите,— с печальной гордостью сказала Ева.

— А за что арестован ваш отец?

— За укрывательство красных. — Ева испытывала разочарование. Рискуя жизнью, пробиралась она из Сарапула и была уверена, что встретит опытного и смелого командира. А столкнулась с бледным юнцом, задающим пустые, ненужные вопросы.

— Почему вы решили, что белые собираются утопить арестованных?

— Так они же приказ по всему городу расклеили. Вы что, сомневаетесь в их угрозах? — срезала она неожиданным вопросом Азина.

Он выпрямился, отставил стул, покосился на Лутошкина, на Шурмина. Негромко приказал Стену:

— Позови Северихина и Шпагина. — Повернулся к Еве, пристукнув каблуком о каблук: — Я нисколько не сомневаюсь в угрозах белых. Но я не желаю принимать за веру любое сообщение. Откуда я знаю, кто вы такая?

— Я дочь потомственного дворянина.

— Ваш отец дворянин, да еще потомственный! — отшатнулся Азин, будто его ударили ножом в спину.

— Что же тут предосудительного? — насмешливо спросила Ева. — Ленин тоже из дворян...

Это был второй, неожиданный удар, нанесенный самолюбию Азина: он не знал, что Ленин дворянского происхождения.

— Ленин — это совсем другое дело,— возразил он не очень убедительно.

Приход Северихина и Шпагина вывел его из неловкого положения. Он объяснил, в чем дело, и как бы мимоходом заметил:

— Нет причин не доверять девушке.

— В таком возрасте еще не умеют обманывать,— согласился Шпагин.

— В подобных случаях ложь становится преступлением,— произнес Северихин, но не закончил своей сентенции, заметив выступившие на ресницах Евы слезы.

— Так что же мы предпримем? — спросил Азин. — Шпагин, что ты думаешь, а?

— Мы не сможем помочь арестованным, пока не освободим Сарапула. А спасти баржу мог бы Николай Маркин, ведь он стоит у Пьяного Бора. Надо известить Маркина, пусть подумает, как освободить арестованных.

— Хорошая идея,— похвалил Северихин.

— Хорошая идея та, что хорошо исполнена! — с жаром сказал Азин. — Пошли к Маркину толкового человека. Я напишу записку.

— Толковых разведчиков я направил в Сарапул, в Ижевск. Посылать кого попало — рискованно,— возразил Шпагин.

Азин окинул взглядом уравновешенного, подтянутого от бровей до ноготков начальника штаба.

— В дивизии есть ловкие ребята. Через час я найду тебе дюжину. Надо знать, на что способны бойцы, а не воображать опасности!

— Пишите письмо, гражданин Азин, я отнесу его к Маркину. Переоденусь нищим и пройду незаметно, и никто не заподозрит меня,— выступил из-за спины Северихина Игнатий Парфенович.

— Если вас задержат мятежники, вас расстреляют. Вы об этом не подумали, Игнатий Парфенович.

— Я думаю о людях, попавших в беду, юный вы мой человек.

Лутошкин шел перелесками, озаренными вспышками осени. Калиновые заросли сливались в кровяные озерца, лужи резали глаз свечением воды и солнца, непрестанно проносились утиные стаи: посвист их крыльев тревожил душу. Бледное пустынное небо висело над миром, равнодушное к любым страданиям, гне-

дые от умирающих трав увалы угрожали опасностью, зыбкие стены неубранной конопли казались подозрительными.

Под вечер Лутошкин вышел к Каме. На реке было просторно, свежо и одиноко. Лишь за речным поворотом струились слабые дымки: по ним угадывалось человеческое жилье. Игнатий Парфенович стал спускаться с обрыва, хватаясь за желтые валуны. Два валуна образовали почти круглую дыру, и в ней мерцал огромный синий шар воды. Игнатий Парфенович уставился на этот холодный, отдаленный водяной шар, но ничего не увидел, кроме него. Шар медленно зеленел, потом налился злым сургучным огнем,— солнце закатывалось, и вода мгновенно меняла свои краски.

«За поворотом должен быть Пьяный Бор. А чуть ниже — на Каме — стоит Маркин»,— думал Игнатий Парфенович, сходя к реке. Ракитовые безмятежные кусты, однозвучный шелест воды, оранжевая полоска заката успокаивали горбуна.

— Руки вверх! — Свирепый окрик ударил Лутошкина, как хлыст. Из кустов выступил белый патруль.

Игнатия Парфеновича привели к береговой батарее, замаскированной дровяными поленницами. У берега подрагивал на течении военный катер.

— Задержан подозрительный тип,— доложил старший солдат командиру батареи.

— Большевик?

— Я странник, я нищий,— торопливо ответил Лутошкин.

— Все большевики — нищие и голодранцы.

— Что там у вас? — строго спросили с катера.

— Краснюка поймали, господин капитан.

— Давайте его на борт, мы уходим в Гольяны...

Часа через три катер причалил к большой старой барже, стоящей на якоре посредине реки. Игнатия Парфеновича швырнули в темный вонючий трюм, до отказа набитый арестантами.

32

Николай Маркин проснулся от оглушительного звериного рева.

На ходу застегнув куртку, он выбежал на палубу — седую и студеную от росы. Вахтенный, смеясь, показал на береговой обрыв: там между соснами, откинув голову, гулко и призывно ревел сохатый. Эхо лесного голоса раскатывалось по реке.

Маркин поразился тому, как могучее, будто высеченное из серого гранита, тело напряжено, мускулы на груди переливаются, а широкая спина, засеянная пунцовыми листьями, вздрагивает в нетерпеливом желании.

Маркин знал: в октябрьские зори трубят сохатые, исходят страстным ревом олени — подступило время звериной любви.

Не зря же в народе чернотропный октябрь назывался «зарёвом».

Маркин, с наслаждением слушая трубный зов сохатого, встречал зеленоватый прозрачный рассвет. Небо над головой имело льдистый оттенок, одинокие облака слабо розовели. Желто лоснились песчаные косы, сквозь голые сучья ракитника лихорадочно синела вода. Правый обрывистый берег, сложенный из плит песчаника, слезился бесчисленными ручьями. По скалам над родниками карабкались покореженные, обросшие лишайниками сосны.

Это были древние сосны Пьяного Бора. Давно укрепились они корнями в плитняке и лезли в небо, и шли над рекой, и повисали над отмелями; с берега тянуло запахами смолы, вереска, белых грибов, только что опавшей ивняковой листвы.

В такое звонкое, зеленоватое, ясное утро Маркин особенно уверовал в свое многолетнее и великолепное будущее. У людей ведь нет опыта смерти, как нет и вечного праздника жизни, а предчувствия так же изменчивы, как игра солнечного света в траве.

Маркин закинул за шею руки, свел локти, с наслаждением потянулся. Хорошо и вкусно жить на земле!

Фуражка вломана в затылок,
Пыль разметают брюки клеш.
Такая дьявольская сила
В девизе пламенном — «даешь!»,—

раздался за его спиной беззаботный голос Сереги Гордеича. Пулеметчик выходил из гальюна, с ремнем на шее, застегивая брюки. Сразу осекся, увидев комиссара. Маркин не обратил внимания на нарушенный порядок,— слишком в раскованном и летящем настроении находился он сам.

Он взошел на капитанский мостик, взял у вахтенного бинокль. «Ваня-Коммунист» — после освобождения Казани буксиру присвоили такое наименование — стоял на якоре около Пьяного Бора. Здесь река особенно широка и многоводна; с левой стороны в Каму впадает Белая. В устье Белой находятся суда адмирала Старка. Адмирал жаждет реванша после поражений под Казанью, Елабугой, Набережными Челнами. Возможно, сегодня он попытается навязать бой красной флотилии. А красная флотилия стоит в трех верстах от «Вани-Коммуниста».

Обо всем этом Маркин был прекрасно осведомлен. Не знал он только о барже с арестантами, что обречена на гибель в Гольянах, да что выше Пьяного Бора, между дровяными поленницами, замаскирована вражеская батарея.

Маркин водил биноклем по камским берегам — в окулярах проплывали отмели, песчаные косы, луговые гривы, уже подпаленные встающим солнцем. Медный круг его торжественно выдвигался из сосновых макушек, последние ночные тени поспеш-

но убегали по реке; в белесых испарениях мелькал длинный рыжий остров, прикрывающий устье Белой. Маркин напрасно пытался разглядеть суда адмирала Старка, скрытые островом,— их не было видно. Маркин опустил бинокль и вдруг засмеялся тихо, потом все громче, все заливистей. Он хохотал так заразительно, что вахтенный, тоже заулыбавшись, спросил:

— Чему смеешься, комиссар?

— Вспомнилось, как я дипломатом был!

— Не понимаю, что тут смешного, комиссар?

— Да я не над дипломатической работой смеюсь. Мне смешно, как я послов царскими орденами награждал. Понимаешь, явился ко мне секретарь испанского посла — вкрадчивый, вертлявый, скользкий, будто налим. И задушевно так говорит:

«Мой посол оказал большевицкому правительству серьезную услугу. Он единственный из всех послов переслал в Испанию вашу ноту о мире».

«Ну и что же? Это его святая обязанность».

«Теперь мой посол возвращается в Мадрид и просил меня напомнить про его услугу. Он очень любит ордена: у него уже есть английский, австрийский, бразильский, мексиканский, американский, французский, еще шестидесяти двух государств высокие ордена, но очень бы хотел он иметь и русский орден...»

«Советская республика орденов еще не учредила. Нам нечем наградить господина посла...»

«Он не возражал бы против царского...»

«Ах, вот как! — Я открыл сейф, зачерпнул полную пригоршню орденов и медалей, высыпал на стол. — Вот Андрей Первозванный, вот Анна с мечами, а это крест святого Станислава. Можете выбрать не только послу, но и самому себе...»

Солнце поднималось все выше над октябрьскими, в последних алых и желтых знаменах, лугами, и бодрящий свет переполнял Маркина. Вспомнился свой же девиз: находить врага первыми — первыми нападать на него. Решение — высадить на левый берег десант и напасть на адмирала Старка — пришло внезапно. Оно было подсказано солнцем, звонким утром, верой в собственные силы.

В небе пронеслась стайка чирков, прошумели крыльями лебеди, обронив в реку прощальные клики. С правобережных сосновых круч падали блистающие снопы ручьев, взрывались в Каме и, крутясь солнечными колесами, уходили за песчаную косу. Слишком прекрасен был утренний мир, чтобы можно было усомниться в победе. И Маркин подозвал Серегу Гордеича.

— Бери шлюпку, отправляйся к командующему флотилией. Передай — я высаживаю десант на левый берег. Десантники обстреляют белых, и мы атакуем адмирала Старка.

С канонерских лодок, с истребительных катеров началась высадка десанта. Матросы высаживались бесшумно и быстро, неся на плечах «виккерсы» и «максимы».

«Ваня-Коммунист» поднял якорь и, работая плицами, еле удерживался на скором течении. Боцман торопливо перекрестил волосатый рот, комендор что-то насвистывал, поеживались от утренней свежести пулеметчики. Вахтенный не отводил напряженного взгляда от Маркина, ожидая его команды.

А сам Маркин с таким же напряжением ждал сигнального выстрела десантников. Он упорно шарил биноклем по левобережью, но десантники словно растаяли в чащобах дубняка и ракитника.

Маркин вообразил, с каким нетерпением ожидают сигнального выстрела бойцы на миноносцах, на речных пароходах. Уже давно примчался на флагманский миноносец «Прочный» Серега Гордеич; флотилия готовится к стремительному броску в устье Белой. Не знал одного Маркин: командующего флотилией еще вечером вызвали в штаб Второй армии.

В радужных переливах утра сигнальный выстрел прозвучал особенно громко. За ним сразу часто и гулко, словно радуясь, зататакали пулеметы — эхо их выстрелов отчетливо катилось по оголенным просторам. Десантники Маркина начали пулеметный набег на флотилию адмирала Старка.

«Следовать курсом за мной»,— поднял сигнал «Ваня-Коммунист». Стронулись с места истребительные катера и канонерки и пошли кильватерным строем, разрезая на зыбкие белесые полосы камскую воду. Ощущая всем телом движение буксира, Маркин приподнялся на цыпочки, покачивался, улыбаясь рулевому.

Стремительно бежали мимо рыжие обрывы, покореженные сосны, глыбы песчаника. Пьяный Бор лоснился светлыми бликами, бесконечные дровяные поленницы у кромки воды не привлекли внимания Маркина.

Вдруг из поленниц вырвалась багровая струя огня, и «Ваня-Коммунист» содрогнулся. Орудийный снаряд пробил пароходную трубу, сорвал сигнальные фары. Второй жестокий толчок в корпус — и по палубе запрыгали фугасные осколки, шипя, жаля, убивая матросов.

— По вражеской батарее — огонь! Два снаряда — огонь! — скомандовал Маркин.

Носовое орудие открыло огонь по невидимой батарее: на обрыве приподнялись и посыпались в воду поленья, сосновые сучья, камни.

Из-за острова появились белые суда: «Ваня-Коммунист» попал под обстрел флотилии Старка и береговых батарей,— его расстреливали в упор. Вышло из строя гребное колесо, вспыхнула рубка, у кормового орудия оторвало ствол. Погибли комендор, номерные, рулевой рухнул на палубу. Маркин кинулся к штурвалу, но буксир уже потерял управление. Он еще шел по инерции — пылающий, захлестываемый волнами, с убитыми матросами, принимая на себя все новые удары белой флотилии.

Маркин ловил ногами ускользающую, кренящуюся набок палубу: неуправляемый буксир сносило течением. Обрывы, сосны, отмели побежали назад, пенные бурунчики заклубились на палубе.

— Всем покинуть судно! — скомандовал Маркин.

Матросы прыгали в студеную воду, раненые боролись с течением, убитые уходили на дно. Над головами погибающих грохотали взрывы, меркло дымное солнце. Буксир опустел; на нем остались только комиссар и вахтенный.

— Комиссар, спасайся! — поднял на Маркина умоляющие глаза вахтенный.

— За борт! — крикнул Маркин вахтенному.

Вахтенный прыгнул, вытянув руки навстречу воде. Вынырнув на поверхность, он еще увидел комиссара, склоненного над пулеметом; мимо проскользнул «Ваня-Коммунист», волоча багровые полотнища дыма и пепла.

Над водой, над камскими берегами возник нечеловеческий вопль, приглушив и артиллерийскую канонаду, и всплески взрывающейся воды; вопль этот сверлил воздух, отскакивал от берегов, бился на отмелях. Ни страх, ни боль, ни отчаяние не издают таких жестоких, холодных, безысходных воплей. Ничто живое не могло рыдать и выть так неестественно и страшно.

Снаряд угодил в дальномер буксира; дальномер свалился на трос сирены и натянул его. И сирена взревела...

Протяжно и зло выла она — вой внезапно освобожденного пара перешел в исступленный рев. И некому было остановить металлический, режущий, скребущий крик сирены.

В нахлынувшей сразу тишине грохали орудийные выстрелы, раскатывались пулеметные очереди. Короткая схватка флотилий снова показала превосходство красных: адмирал Старк поспешно уводил свои суда в устье Белой.

Красные истребительные катера проносились над местом гибели «Вани-Коммуниста», возвращались обратно, и все искали, и все ждали — не покажется ли над водой голова Николая Маркина...

Лариса Рейснер записала в свой походный блокнот:

«Маркин не вернулся. Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом».

Записав эти строки, она заплакала впервые за весь восемнадцатый год.

— Мы сделали все возможное, чтобы разыскать Маркина,— сказал, утешая, боцман.

— А Маркина-то нет,— возразила Лариса, зажимая пальцами плачущий рот.

— Мы отомстим за его гибель...

— А Маркина-то нет,— печально повторила она.

Люди почему-то любят называть ласковыми прозвищами орудия смерти.

Черные морские мины лежали на палубе, похожие на рогатые ведра, но матросы называли их «рыбками». Лариса пощупала стальную оболочку: под ней дремала сила, способная взорвать дредноут.

Катер под номером двадцать три поднял якорь, матросы нетерпеливо посматривали на реку, комиссар Бабкин со строгим лицом слушал напутственные слова комфлота.

Закат уже отпылал, сумерки сгущались, река раскачивала отражения первых звезд. Восходящая Венера застряла в дубовых сучьях, мерцающий свет ее успокаивал и ободрял.

— От сегодняшней операции зависит завтрашняя победа. Поставьте мины невидимо и неслышно,— голос комфлота был тверд и ровен. — Пора, Андрей Васильевич...

Бабкин кивнул. Катер стронулся с места, с тугим шорохом раздирая воду.

— Вам-то, Лариса Михайловна, вроде и незачем с нами,— сказал Бабкин, и горячие от чахотки глаза его остановились на Рейснер. — Вам-то зачем рисковать?

— Ваш брат — помощник комиссара флотилии? Средний — командир «Пронзительного»? И еще, слышала я, самый младший из вас — машинист бронепоезда в дивизии Азина? Так это? — вопросом на вопрос ответила Лариса.

— Верно.

— А я разве спрашиваю, почему братья Бабкины рискуют своей жизнью для революции?

— Всей семьей воевать веселее,— отшутился Бабкин и закашлялся. «Ему немного осталось жить, и он по-царски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа»,— подумала Лариса.

Еле видные обрывы Пьяного Бора надвинулись на катер, у Ларисы опять защемило сердце. «Нет больше Маркина — неистового комиссара революции! Нет Маркина, но остался девиз его — «будем первыми искать противника — первыми атаковать его». А противник умен, хитер, беспощаден! Сколько холодного зверства совершили белые против собственного народа!»

На берегах русских рек воют осиротелые бабы, лежат посиневшие от тифа, от голода детские трупы, дотлевают мужицкие избы.

По всей Руси идет непримиримая борьба двух классов: кипят социальные страсти, рассыпаются в прах вековые основы, богатые и бедные, красные и белые стоят друг против друга, и между ними гигантская, как Уральский хребет, баррикада.

Белые отступают, но, собравшись с силами, опять кидаются в драку. Красные терпят поражения, но оправляются и вновь побеждают. За Казанью взят Симбирск, уже революционные

полки идут на Самару. Тухачевский гонит чехословацкие легионы, неистовый Азин рвется к Сарапулу. Блюхер совершает рейд по тылам белых в уральских предгорьях.

Тысячи больших и малых усилий подготавливают торжество красных. Безымянные герои умирают во имя этого будущего торжества. Неужели пески времени заметут их подвиги? Неужели потомки не узнают их тихих простых имен?

Создадут ли о помощнике комиссара Бабкине и его братьях песни, полные удивления, скажут ли о них слово историки? Поэты часто забывчивы, историки равнодушны.

Противоречивые мысли одолевали Ларису. Вода и берег запахли первым снегом, усатые мины уже индевели у ног. Они все еще спали — эти стальные чудовища смерти. Кто будет завтра растерзан их бессмысленной силой, чьи матери будут напрасно ждать своих сыновей?

К полночи катер добрался до устья Белой.

В нескольких кабельтовых от устья перемигивались огоньки судов адмирала Старка. Они были мирными, домашними, манили из темноты октябрьской ночи. Ларисе захотелось попасть в чистую, теплую адмиральскую каюту. Что делает сейчас Старк? Спит спокойно, или курит в бессоннице трубку, или же совещается с командирами?

— Я переживаю опасное и яркое приключение,— прошептала Лариса, но мысль, выраженная в фальшивой фразе, устыдила ее. Она поднялась с узкой скамейки.

— Эй, помогите! — сердито шепнул Бабкин.

Лариса ухватилась за мокрые бока мины и, напрягаясь, помогла опустить ее за борт. Ледяная вода опалила руки; в дегтярной темноте она не видела собственных пальцев.

Перед рассветом, закончив установку мин, истребительный катер опять вернулся на камский простор.

Ссутуленный командир у штурвала казался высеченным из плотного мрака, силуэт Рейснер раскачивался на корме, минеры молчаливо курили. За бортами с шершавым шорохом всплескивалась вода, и все сильнее пахло первым снегом.

Под утренним солнцем, пощелкивая, развертывался адмиральский гюйс.

Сам Старк, в парадном кителе, начищенный, отутюженный, выбритый до тугой синевы, беседовал с капитаном «Орла», поглядывая на флотилию, шедшую к устью Белой.

Впереди, прикрывая собой флагман, шел особенно праздничный на фоне голых обрывов, лучше всех вооруженный красавец «Труд». Внушительно выглядели пароходы «Ливадия», «Редедя», «Вульф», снискавшие у белых славу стойких бойцов под Казанью, под Елабугой.

Ночью адмирал отпраздновал победу над «Ваней-Коммунистом». Гибель Николая Маркина приободрила Старка: он решил внезапным ударом покончить со всей красной флотилией. Голубое, играющее солнечными бликами утро укрепило адмирала в его решимости.

— Расплата,— сказал адмирал.— Самая беспощадная месть...

— Что вы сказали, ваше превосходительство? — не понял капитан.

— Расплата будет ужасной,— адмирал скосил глаза на недогадливого капитана. — Я не оставлю от красной флотилии даже самого дрянного катера. Всю эту заразу я выжгу...

Смерч огня, воды, дыма вздыбился перед носом «Труда». Пароход отбросило в сторону, развернуло наискосок. Переднюю часть корпуса разворотило миной. Адмирал успел лишь заметить прыгающих за борт матросов. Через минуту «Труд» ушел на речное дно.

Новый, еще более сильный взрыв потряс берега: вторая мина подорвала «Редедю» — пароход выбросился на отмель.

Старк схватился за лысую голову, застонал от бессильной ярости.

33

Красные охватили Сарапул широкой подковой: на правом ее фланге находились вокзал и камский мост, на левом — высокий речной обрыв. Четвертый полк Чевырева трижды атаковывал железнодорожную станцию: мятежники отбили атаки. У Чевырева не хватало сил на четвертую атаку, и он погнал отца Евдокима за помощью к Азину.

Отец Евдоким приобрел в азинской дивизии популярность красного попа. Его высокую тощую фигуру, в галифе из парчовой ризы, с камилавкой на рыжих косматых волосах, знали все. Поп нравился бойцам и своим добродушием, и неиссякаемой верой в победу.

Азин, непрестанно менявший командные пункты, находился на речном обрыве. С красным широким шарфом, повязанным через плечо,— единственный знак, отличавший его от других командиров,— Азин топтался на круче. Только что примчавшийся от Дериглазова Шурмин сообщил, что сводный полк захватил городскую окраину около кладбища, но выбит офицерами. Белые пулеметы, установленные на каждом перекрестке, надежно прикрывают путь к центру города.

Неудача первых атак изменила Азина: внутреннее напряжение уничтожило его обычную самоуверенность. Острое чувство опасности овладело Шурминым, и он испуганно молчал, ожидая приказов Азина.

Сарапул лежал под ногами, словно огромная пестрая карта. Шурмин видел из конца в конец улицы, сады, здания в садах.

Были видны и линии окопов на окраинных улицах, и скопления войск в центре города.

Под самым ухом Шурмина била артиллерия; после каждого выстрела артиллерист рычал:

— Снаряд им в горло, чтоб башка не качалась!

Снаряд с сосущим тягостным звуком ушел в дождь и разорвался на кладбище.

— Чуть-чуть левее! — подсказал Гарри Стен, сидевший на елке и корректировавший стрельбу. — Снова промах. Давай чуть-чуть правей...

— А ну-ка, слезь с елки, корректировщик! — остервенился Азин. — Долго будете небо пахать? Левей, правей, а в колокольню когда?

Стен спрыгнул с елки, артиллерист поднял на Азина задымленное, в чешуйках пота лицо. Номерные поднесли новый снаряд. Черный султан дыма вскинулся над кладбищенской церковью.

— Здорово! — подпрыгнул Азин и похлопал в ладоши. — А ну поддай им еще, поддай еще! — Он увидел скачущего к нему отца Евдокима.— Чевырев взял вокзал — да?

— Чевырев просит подкреплений,— задыхаясь от скачки, ответил отец Евдоким.

— Эх, нет Северихина, давно бы на вокзале обед варили! Скачи к Турчину, передай мой приказ — пора бросать кавалерию на вокзал. Помни, от тебя сегодня зависит победа.

Это плотное, тугое словечко воздействовало на отца Евдокима, как глоток хорошего вина: таким оно было красивым и многозначительным. Сегодня должны победить и Азин, и Чевырев, и Дериглазов, и Турчин, сегодня одержат победу вятские мужики, казанские татары, латышские стрелки. Победит и он, отец Евдоким, меньше всех сделавший для красного торжества. В последний раз перед ним промелькнула каракулевая папаха, красный через плечо шарф, опять взмахнувшая сверху — наискосок — и вниз азинская рука.

В березовой роще, между кладбищем и речным обрывом, прятался кавалерийский полк. Турчин стоял у стремени, нетерпеливо грызя хворостинку: в его алебастровом, без кровинки, лице было и томительное ожидание атаки, и предчувствие опасности, и желание как можно скорее преодолеть эту опасность.

— С богом, ребята! С Христом, дорогие! Азин приказал выручать Чевырева! — крикнул во весь голос отец Евдоким, осадив жеребца.

Пестрая лавина всадников выплеснулась из березовой рощи. Завизжали выдергиваемые из ножен клинки, дождь палых листьев обдал отца Евдокима, пока он шарахался на пути кавалеристов.

Жеребец снова стелился над мокрой, пахнущей дымом и порохом землей, тело отца Евдокима наливалось стремительным ритмом движения, сердце стучало, в ушах гудело. Он мчался по широкой дуге от камского обрыва до вокзала, огибая кладбище, где все еще поднимались в атаку и опять ложились бойцы Дериглазова. Белые и красные перемещались очень медленно, отец Евдоким подумал, что без риска проскользнет между двух огней.

Цокот копыт, жирные шлепки грязи слились с поганым посвистом пуль. Священник рыскнул взглядом по голым деревьям, по колокольне, одетой в рваную завесу дождя. Впереди запрыгали бурые пучки травы, маленькие фонтанчики грязи. Отец Евдоким понял: белый пулеметчик бьет по нему — и повернул жеребца к церкви. «Не делай этого»,— сказал он себе, но тут же забыл про запрет.

Жеребец стал заваливаться набок, прыгающие травяные пучки и фонтанчики грязи исчезли, зато появилась церковная ограда, черный и курчавый, как негр, пулеметчик, «виккерс», дергающийся в его руках. Отец Евдоким соскочил с падающего жеребца, но что-то толкнуло его в грудь, опрокинуло на спину.

Отца Евдокима подволокли к командиру отряда черноорловцев. Афанасий Скрябин носком сапога пошевелил голову священника.

— Знакомое рыло. Кажись, малмыжский поп Евдоким. Когда же он, пес, к краснюкам переметнулся? А ну-ка, приведите-ка попа в чувство, я с ним по душам покалякаю.— Скрябин ударил ногой в грудь отца Евдокима.

От острой боли священник очнулся, посмотрел уже отрешенными от жизни глазами на Скрябина, стараясь вспомнить, где и когда видел этого носатого, узкобородого человека. Растопырив пальцы, он прижал их к левой щеке: кровавые следы отпечатались на скуле.

— Отбегался, батюшка мой,— почти ласково сказал Скрябин и, наклонившись, вытер кровяную слюну с губ отца Евдокима. — Отвоевался? Оно конешно, акафисты в церкви полегше петь, чем из винтовки пулять, это верно. А где же красный палач Азин? А сколько у вас пушек-пулеметов? Ну и на прочие иные вопросы ответить надобно, батюшка мой.

Фигура Афанасия Скрябина двоилась, троилась, вырастала до чудовищных размеров, укорачивалась, исчезала, опять надвигалась, покрытая светлыми мигающими змейками.

— Так где же Азин? — повторил свой вопрос Скрябин.

До угасающего сознания отца Евдокима дошло наконец то, о чем спрашивал хлеботорговец. Он поманил его пальцем, Скрябин склонился над ним.

— Сожалею, что тебя Азин допрашивать не при мне будет.

Не услышу, как отвечают христопродавцы,— прошептал отец Евдоким.

— Вот ты как поешь, долгогривая сволочь! Значит, невкусной стала житуха. Не горюй, батюшка мой, я тебе Азина для компании на тот свет пошлю.

Скрябин выстрелил в лицо отца Евдокима:

— Собаке собачья смерть. — Со свинцовым блеском глаз повернулся он к связному офицеру: — Ну, что еще?

— Красные просочились на базарную площадь. Там рукопашная схватка. Если не будет подкреплений... — начал связной офицер.

— У меня нет никого, кроме господа бога! — взбеленился Скрябин, суя наган в кобуру и не попадая в нее.

— Если не будет подкреплений, красные окружат штаб гарнизона,— поджал губы офицер.

— Леший с ним, со штабом! — закричал было Скрябин, но спохватился. — Хорошо! Отводите отряды к штабу. Скажите господину Граве — черноорловцы сделали все, что могли. — Скрябин подождал, когда связной офицер уйдет, и обратился к черноорловцам: — Разбегайтесь! Советую перебраться за Каму, на том берегу сойдемся.

Сопровождаемый небольшой группой офицеров, он прошел через дворы на улицу, ведущую к пристани. Укрытые полузатопленным дебаркадером, на реке стояли лодки и военный катер. Скрябин с двумя офицерами перешли на катер, остальные расхватали лодки...

Все складывалось не так, как хотелось командующему сарапульским гарнизоном.

Усилия Граве удержать Сарапул рассыпались песком. Красные легко разгромили два полка, прикрывавшие город по ижевской дороге. Серьезное сопротивление оказали только офицерские батальоны, защищавшие вокзал. Понадобилась лихая кавалерийская атака красных, чтобы выбить их из вокзала.

К удивлению Граве, с яростью дрались черноорловцы под командой Скрябина. Николай Николаевич даже не ожидал такой прыти от чистопольских, елабужских купцов, казанских, вятских помещиков, но именно они все еще защищают подходы к центру. Надолго ли хватит их упорства?

В штабе, расположенном в доме на углу набережной и базарной площади, уже не звонили лихорадочные телефоны, не раздавались повелительные голоса. Лишь осторожно побрякивали ножны шашек да постукивали о вощеный, заляпанный грязью пол каблуки. Штабные офицеры столпились в большой гостиной, тревожно переговариваясь. Ощущение надвигающейся беды испытывали все, у всех были серые, болезненные лица; каждому казалось, что чья-то невидимая рука вот-вот схватит

за горло. Молоденький пухлогубый прапорщик неестественно засмеялся и спросил, ни к кому не адресуясь:

— Кто это говорил — идущие на смерть приветствуют тебя, император? Вот ведь черт, учился в классической гимназии, а позабыл...

Штабисты суетились, бегали, выглядывали в окна, выходившие на набережную. Кама, засеянная лодками, яликами, катерами, ботничками, дымы пожаров, подпирающие низкие тучи, трупы в канавах, переполненных дождевой водой, сливались в безрадостный ландшафт.

Из кабинета вышел Граве, офицеры молчаливо повернулись к нему.

— Господа! — сказал Граве. — Я не имею права напоминать сейчас о присяге, о воинском долге. Бывают минуты, когда неуместны самые святые слова. Каждый из вас волен решить свою судьбу, но лично я защищаюсь до последней пули. — Граве вынул из кармана «веблей».

Офицеры все так же молча достали свои револьверы, разобрали валявшиеся по диванам гранаты.

— Поручик,— позвал Граве связного офицера,— на вас возлагаю последнюю обязанность: возьмите мой катер, отправляйтесь к железнодорожному мосту. Пока не поздно, взорвите мост, поручик. Он заминирован, а вы единственный здесь кроме меня знаете, в каком пролете.

— Я взорву камский мост. — Придерживая шашку, связной офицер покинул штаб.

— А-а, вспомнил! Это же гладиаторы говорили,— аве цезарь, мори-тури! — знобящим смешком зашелся пухлогубый прапорщик.

— Придержите язык,— остановил его Граве. — Ого! Вот и они...

Окна гостиной заволокло пороховым дымом: офицеры стреляли не целясь, гранаты швыряли наугад. На улице послышались торжествующие вскрики:

— Петькя, дай прикурить господам!

— Подсыпь им краснова перцу!

Офицеры перезарядили оружие.

— Внимание, внимание! — раздался на улице зычный, уверенный голос.— Предлагаю сдаться без боя. Обещаю сохранить жизнь. Две минуты на размышление...

Граве осторожно посмотрел в окно: на ступенях магазина стоял толстый высокий мужчина в полушубке. Прикрывая ладонями рот, снова выкрикнул свой ультиматум. Граве выстрелил.

— Молодец! Метко бьешь,— насмешливо нохвалил его все тот же голос. — Одна минута!

— Зачем я Цицерона штудировал? Не понимаю, зачем? — Прапорщик перегнулся через подоконник: — Не стреляйте, сдаемся!

Граве одним прыжком очутился около прапорщика, схватил его за ноги, перебросил через подоконник.

Снизу сухо затрещали винтовочные выстрелы, брызнули осколки оконного стекла, по железной крыше забарабанили пули. Красные карабкались по водосточным трубам, исчезали в лестничных проемах, перекрывали двор, проникали в подвал.

Дериглазов взлетел на площадку второго этажа. Размахивая уже пустым маузером, подбежал к приоткрытой резной двери; кто-то выстрелил в него. Промазал и скверно выругался. Дверь захлопнулась, Дериглазов со злостью заколотил маузером по бронзовой ручке. Потом ударом ноги распахнул дверь; вдоль стены, подняв руки, стояли офицеры, в проеме окна торчал Шурмин с гранатой, похожей на крупное серое яблоко.

— Входи, командир. Господа офицеры — они уже смирные,— Шурмин спрыгнул с подоконника.

— Кто тут старший? — спросил Дериглазов капитана с черной повязкой на левом глазу.

— Я не обязан отвечать на ваши вопросы.

Утробный тяжелый гул ворвался в разбитые окна: весь дом содрогнулся. За далекой речной излучиной, клубясь и развертываясь, выросла дегтярная туча.

— Молодец поручик! Успел-таки подорвать мест,— сказал офицер с черной повязкой.

— У вас храбрецы — одни поручики. А вы, по-моему, капитан? — съязвил Дериглазов.

За окном блистала лунная ночь, по спящей мостовой ползли речные испарения, часовые у штаба походили на темные статуи.

Лихорадочно застучал «юз», из аппарата поползла узкая лента, призывая и требуя:

«Сарапул — Азину. Говорит Агрыз! Белые перешли в наступление крупными силами. Северихин».

С телеграфной лентой Шурмин кинулся к спящему Азину.

Сквозь отлетающий дым плясала луна, мелькали звезды, ветер хлестал в солдатские лица. Паровоз и платформа пошатывались и гремели, мимо проносились сосны, хлебные скирды, откосы, заросшие вереском.

Азин, едва отрезвевший ото сна, помогал кочегару подкидывать в топку уголь, машинист, подняв до предела пары, опасался, что взорвется котел.

Телеграмма о нападении мятежников на Агрыз застала врасплох Азина: на неоседланной лошади он прискакал на станцию. Посадил на платформу взвод бойцов и помчался в Агрыз. Он не рискнул оголить только что освобожденный Сарапул, но и не мог допустить мысли о падении Агрыза.

А мятежники бросили на Агрыз несколько тысяч солдат. Внезапность ночной атаки принесла успех: в первые же минуты они сбили передовые части Северихина и стали обходить его с флангов. Ночные бои всегда сумбурны и полны случайностей. На этот раз у Северихина началась паника. Красные сперва отступали, потом побежали, натыкаясь на неожиданные засады, попадая под перекрестный огонь. Северихин потерял связь с командирами рот; он гнал к ним связных — те погибали в пути. Пушки были захвачены, пехотный батальон, прикрывающий станцию по ижевской дороге, уничтожен. Прошло больше трех часов, как Северихин отправил телеграмму Азину, умоляя о помощи. Азин не появлялся...

Страстный порыв солдат, идущих в атаку, мгновенная паника, охватывающая массы людей, таят в себе еще нераспознанные загадки. Не легко высекать искры коллективного порыва, страшно трудно тушить панику, обуявшую толпы. И все еще не выяснены причины психологического воздействия отдельной личности на целый коллектив; психологи и психоаналитики не могут дать убедительных и точных объяснений. На самом деле: почему появление командира задерживает обезумевших от страха солдат? В чем тут дело? Боязнь ли быть наказанным за свою трусость, чувство ли долга, вера ли в своего командира? Или же неожиданная надежда на его способность изменить трагический ход событий? Отчего за какие-то доли секунды происходит перелом в человеческом сознании? Ведь в критический момент командира видит какая-то горстка, а слышит несколько человек; остальные узнают о его появлении случайно или вовсе не узнают.

Говорят, настоящий командир чувствует, угадывает, понимает стремительно меняющуюся обстановку сражения и успевает принимать меры, превращающие поражение в победу. Решительность и умение командира ориентироваться в сложных обстоятельствах боя играют роль, но это только одна из причин среди великого множества прочих. Еще могущественнее солдатская вера в то, что с хорошим командиром не пропадешь. Он найдет выход из безвыходного положения, совершит что-то такое, что спасет всех. В солдатском сознании хороший командир тот, кому сам черт брат и друг.

Бой за Агрыз приближался к концу. Редели красноармейцы, смолкали раскаленные стволы пулеметов, иссякали патроны.

Алексей Северихин все еще удерживал станцию. Столько раз был он краю гибели, что погибнуть сейчас казалось невозможным, немыслимым. Все же он ощупывал за пазухой маузер с последней пулей, но тут же отдергивал руку: «Рано!»

— Азин! — раздался за его спиной испуганный голос.

— Азин, Азин! — пошло от бойца к бойцу короткое, легкое слово.

— А-зи-ин!

Это грозное и веселое имя встряхивало раненых, они выползали из своих прикрытий. Связисты, повара, санитары вместе с прибывшими азинцами пошли в лобовую атаку. Машинист не снимал ладони с паровозной сирены, и она пронзительно выла; Шурмин истошно кричал «ура» и бежал за Азиным.

Азин же в рубахе, разорванной до пупа, с красным шарфом, съехавшим с голого плеча, появлялся в самых опасных местах.

— Звездоносцы! Орлы! — хрипел он, размахивая маузером.

Ни звездоносцы, ни орлы не слышали его слов, но понимали, куда он зовет. В рядах мятежников произошло замешательство, они стали распадаться на отдельные кучки: исчез наступательный дух, лопнула незримая нить дисциплины.

Ничтожная частица русской земли, облитая русской кровью, корчилась в судорогах боя. Белые отходили на Ижевск, и теперь все было против них — даже скользкий, неверный лунный свет...

Пленных мятежников согнали на вокзальную площадь. Офицеров поставили в сторонке.

Перед Азиным были оборванные, истерзанные, ко всему равнодушные люди. Пыльные глазницы, впалые груди, скрюченные пальцы — всё мастеровой люд, ломаные мужичьи души. Эта покорная, безучастная толпа отрезвила Азина: ярость его перегорела. Он заговорил уже обычным, насмешливым тоном:

— Против кого поперли? Вот ты, например? — ткнул он пальцем в чахоточного парня. — Ты что, купец? Может, ты фабрикант? Или его сиятельство, граф?

— Оружейники мы,— пробормотал парень.

— Иуда ты недоделанный! На своих, словно пес, кинулся...

— Дак мы ж поневоле! Нас левальвертами благословляют, штыками перекрещивают. Куда ж денешься? И так, и эдак, а жизни нету. — Парень рванул воротник грязной рубахи. — Смотри, комиссар, я лебеду жру, мякиной закусываю. Нет правды и жизни нету мастеровому ни в армии Красной, ни в этой самой Народной. Лучше пристрели ты меня за-ради Христа.

От этого рыдающего голоса Азин оцепенел. Не зная, что сказать, повернулся к щупленькому татарину:

— А ты на кого, знаком, озверел?

— Я на большевиков, бачка, сердит,— снял с головы тюбетейку и развел руками татарин.

— Шурум-бурум большевики у тебя забрали?

— Чисто-начисто под метлу.

— Значит, ты против большевиков?

— Угадал, бачка! — обрадовался татарин. — Я за Ленина. Мне Ленин землю дал, я — за него.

— А ну тебя на... — весело выругался Азин. — Тебя бы плетью по заднице, да времени нет. — Он приметил в толпе пленных лохматого, в посконных штанах и рубахе человека: — Ты кто?

— Вотяк я, вотяк!

— Вотяк? А меня уверяли — вотяки воевать не любят. Значит, врали. Да, врали?

— Обманули нас белые начальники. Как кереметь в лесу, вокруг пенька обвели.

— Кереметь — что такое?

— Лешак! Не видел? Нечистая сила.

— Белая нечистая сила! Как же она тебя вокруг пенька обвела?

Вотяк опасливо покосился на офицеров.

— Говори, не бойся.

— А чево? А чево бояться? — проглатывая слова, спросил пленный. — Он хлеб палил, а сваливал на красных. Он наших девок портил, а красных винил. Он нас стращал — красные придут и каждому вотяку на лбу звезду вырежут...

— Кто «он»? — полюбопытствовал Азин.

— Этот самый белый начальник,— показал вотяк на одного из пленных офицеров.

Успокоившийся было Азин изменился в лице, рука поползла на кобуру маузера; Северихин и Шурмин настороженно следили за ним.

— Красные хлеб палят? Девок портят? Звезды на лбах вырезают? Я сейчас покажу, кто тут антихристы. Я покажу! Молись богу, сучья душа! — Азин выдернул маузер.

Северихин и Шурмин схватили его за плечи, почти повисли на нем. Азин вырвался из их рук, сунул маузер в кобуру.

— Пленных накормить. Офицеров отправить в штаб к командарму. Пусть он с ними цацкается, а мне некогда, некогда!..

34

Полукруглая зала была разделена на две неравные части. В большей помещалась домашняя библиотека сарапульского пароходчика, в меньшей — коллекции кустарных изделий.

Андрей Шурмин ходил от столика к столику, рассматривая причудливых человечков, зверюшек, леших, водяных, русалок. Вырезанные из липы, из клена, сотворенные из седых мхов, капо-корешка, карельской березы, они дышали таинственными трущобами, тиной озер, воздухом светлых полян.

В коллекции были портсигары, медальоны, бусы, бляхи, броши из уральских самоцветов, пестрых, словно весенний луг, детские игрушки, пламеневшие последними красками осени. Вятские и вологодские кружева казались сплетенными из лунного света и первого инея.

Красота этих произведений наполняла восторгом Шурмина и вселяла надежду: придет время — он сам сделает нечто подобное.

Но Андрей, еще сам не сознавая того, был поэтом, и библиотека, собранная пароходчиком, поражала его. Никогда еще он не видел столько книг. Высокие дубовые шкафы были заполнены книгами, пыльные фолианты валялись на полу, на шкафах, по углам. Каждая книга казалась Шурмину неисследованным миром, в любой заключен клад человеческой мудрости. Он осторожно трогал переплеты, сдувал пыль, расправлял помятые страницы. Шуршание страниц, особый запах книжного тлена, клея, типографской краски, порыжевшие рисунки радостно волновали юношу. В дверь сердито застучали, Андрей поспешил на стук.

— Чево заперся? Золото нашел, что ли? — спросил Дериглазов, входя в библиотеку.

За ним вошли Чевырев и Шпагин; начальник штаба, бросив на столик связку бумаг, холодно взглянул на Шурмина.

— Мы тут делами кое-какими займемся,— сообщил Дериглазов, садясь на венский стул и широко расставляя ноги.

— А где начдив? — спросил Шпагин.

— В Дом народных собраний ушел. Сегодня должна состояться встреча со Штернбергом.

— А что, борода уже приехала? — усмехнулся Дериглазов.

— Слушай, друг сердешный,— недовольно сказал Чевырев.— Член Реввоенсовета тебе не борода, Штернберг еще и небесный ученый, это же понимать надо! Я при профессоре плюнуть боюсь, а ты — эй, борода! Как делишки, борода! Нехорошо!

— Подежурь, Шурмин, у окна. Появится Азин — предупреди. — Шпагин разложил бумаги на столике. — Первая жалоба на изнасилование, вторая — на кражу...

— Поганое дело — жалобы разбирать,— сплюнул Дериглазов. — Может, это клевета врагов наших, а мы справедливость им показывай. Васька-артиллерист девку хотел изнасиловать. По-моему, сучка не всхочет, кобель не вскочит! Поганое дело!

— Погано не погано, а разбирать придется по справедливости,— нахмурил светлые брови Чевырев.

Шурмин просмотрел все же Азина: он вошел в библиотеку совсем неожиданно.

— Чем это вы так увлечены? — спросил он, снимая новенькую с алым верхом папаху, одергиваясь и поправляя трофейную шашку.

— Жалобы разбираем,— уклонился от ответа Шпагин.

— Какие жалобы? На кого жалобы?

— Бойцы пьянствуют, ну и всякое выкамаривают,— продолжал уклоняться Шпагин.

— А что же они выкамаривают? — голос Азина прозвучал мягко, добродушно.

— Я же говорю, пьянствуют, веселятся...

— Пусть повеселятся парни. Завтра снова в бой, сегодня пусть погуляют.

— Повеселятся? Жителей пограбят, девок поизнасилуют! — взорвался Чевырев. — Не мне от тебя слушать такое. — Он сгреб листы, потряс перед лицом Азина, швырнул обратно на столик.

Слова Чевырева произвели совершенно иное действие на Азина: он выдернул шашку и хлестанул по столику — перламутровые осколки брызнули вверх и по сторонам. Шпагин и Дериглазов испуганно вскочили.

— Вот так я поступлю с насильниками и ворами! — Азин кинул шашку на расколотый столик.

Чевырев ударом кулака сошвырнул ее на пол.

— Что дурно, то и фигурно. Стыдись! Твоя выходка и смешна и глупа. Смешно, что хулиганишь, как пьяный фельдфебель, глупо, что хочешь меня испугать...

Шпагин молча поднял шашку, положил на столик и вышел из библиотеки. За ним с неодобрительно оттопыренными губами последовал Дериглазов. Азин вытер папахой шашку, вложил в ножны. Вспышка внезапной ярости перегорела, стало стыдно за свой поступок.

— Ну? — все еще грозно начал он, подходя к Чевыреву.

— Не нукай, не запряг. За что ты обидел Шпагина, Дериглазова, вот его, Шурмина? Меня за что? Свинья ты после этого...

— Ну ладно, ну не сердись. Не вытерпел. — Азин взял разрубленные бумаги, положил в карман.

За окном послышались гневные голоса.

— Легкие удачи всегда опасны. От успехов и от власти у него кружится голова. Если не обуздать, он совсем обнаглеет,— заикался и картавил от ярости Шпагин.

— То, что было сейчас, для меня вообще не было,— послышался хриплый густой голос Дериглазова. — Погорячился он, так ведь дело-то больно поганое.

— Тебя в Вятских Полянах чуть не расстрелял Азин, а ты за него же...

— Повторяю, для меня ничего не произошло. И тебе беситься не след...

Голоса стихли. Чевырев убрал со своего мягкого лица злобное, несвойственное ему выражение.

— Шурмин,— обратился к юноше Азин,— ступай в Дом народных собраний. Надо подготовиться к встрече профессора Штернберга... Ты меня опередил со скандалом,— засмеялся Азин, присаживаясь к столику. — А это что такое? — вытащил он из кармана пригоршню кожаных кружков. Рассыпал их по столешнице. На каждом кружке был оттиск двуглавого орла. — Тебе такие штучки знакомы?

— Я их мужикам вместо денег давал. За постой, за хлеб

и сено,— объяснил Чевырев. — Обещал: придет время, и мы их обменяем на настоящие червонцы.

— Мужики эти монетки чевыревками зовут. Слышал? Лапти с подковыркой, чевыревки с дыркой. Меня сейчас на улице вотяк остановил. Сует твою кожаную монету: «Плати, не то самому Ленину жалобу подам. Твои, мол, помощники, товарищ Ленин, фальшивую деньгу чеканят. А за такие дела на осинах вешают». Вот ведь как получается: Чевырев — не командир, а фальшивомонетчик революции! Меня все же интересует, кто станет платить по чевыревкам?..

— Советская власть,— раздался негромкий, спокойный голос.

Азин и Чевырев оглянулись: в дверях библиотеки стоял профессор Штернберг. Азин вскочил — четкий и возбужденный, за ним встал Чевырев — смущенный и встревоженный.

— Советская власть заплатит,— засмеялся Штернберг. — Тем более что расходы были совершенно необходимыми. Здравствуйте, друзья! — спохватился профессор. — Вы меня так скоро не ждали? А я — вот он. — Штернберг погладил роскошную, начинающую седеть бороду. — Привез я важную новость. Передаю по секрету — Шорин намерен ударить по Ижевску седьмого ноября — в первую годовщину революции. И ваша дивизия должна нанести этот удар. Но одной вашей дивизии для штурма недостаточно. Сергей Иванович Гусев уехал за помощью к Ленину.

— Еще три недели ожидания, измучиться можно,— сказал Азин. — Нельзя ли поторопить командарма?

— Командарм сам жаждет наступления. Я даже прозвал его командармом удара. Дай бог, чтобы слова мои оправдались. А теперь о другом. — Штернберг наморщил белый большой лоб, словно отгоняя очень неприятную мысль. — Республика голодает. В Питере, в Москве совсем нечего есть, а здесь — хлеба вволю. Я приехал в Сарапул для того, чтобы что-то собрать для голодающих.

...Дом народных собраний был переполнен, а люди все шли. У подъезда теснились полушубки, зипуны, азямы, треухи, войлочные шляпы, полушалки, из блеклых сумерек проступали напряженные, суровые физиономии.

В зале стояла тяжелая тишина, нарушаемая только вздохами да звяканьем винтовок. Штернберг говорил без особого внутреннего напряжения, и все же слабый голос его проникал в отдаленные уголки зала.

Профессор понимал: люди, переполнявшие сумрачный зал, никогда не слыхали про астрономию, но это не огорчало его. Он говорил о вещах бесконечно более важных и нужных для народа, чем небо и звезды,— говорил о победе над контрреволюцией, над голодом.

— В России идет самая страшная из всех войн — граждан-

ская война. Уже близится закат ижевского мятежа. Скоро мы начнем штурм мятежного города: обманутые левыми эсерами рабочие вернутся под знамена революции. Это неизбежно, как восход солнца, как смена дня и ночи. Но против нас выступают не только угнетатели, а и голод. Его костлявая тень повисла над пролетариатом. Над стариками и ребятишками. Над революционными полками. Сейчас черный сухарь дороже нам всего золота на земле. Я встану на колени и приму черный сухарь из рук бедняка, что протягивает он голодающему ребенку. Но я схвачу за горло спекулянта, жиреющего на голоде. И задушу его вот этими старыми пальцами! — Профессор поднял над головой кулаки, потряс ими. — Буржуазные писаки вопят, что мы палачествуем над народом. Пусть клевещут! У клеветы — короткие ножки, клевета всегда идет по песку, чем дальше — тем труднее. Я — профессор астрономии и большевик — скорее отрублю себе обе руки, чем обижу сельского труженика...

Голос профессора, наливаясь гневом, усиливался, и гневные слова разносились по промозглому залу. Штернберг говорил о миллионах пудов хлеба, запрятанных в ямах, подпольях, по лесным оврагам. О сожженных скирдах, о муке, истравленной на самогон, о мешочниках, растаскивающих зерно, о кулаках, наживающих на спекуляциях по три тысячи процентов барыша. Говорил и о тех военно-продовольственных отрядах, что под веник выметают хлеб из мужичьих сусеков, обрекая бедноту на голод.

— Такие отряды — шайки разбойников под красным флагом. Это их преступные действия использовали левые эсеры и монархисты, поднимая мятеж в Прикамье. Мы будем беспощадны к грабителям, прикрывающимся знаменами революции.

Зал взорвался негодующим ревом:

— К стенке позорников!

— На осину грабителей!

— Робяты! — рявкнули в задних рядах. — Чё попусту баять? На пристанях, на вокзале хлеба — невпроворот. В поезд его, в Москву его, робяты!

— Чево рассусоливать!

Штернберг удовлетворенно поглаживал мягкую широкую бороду — никогда еще его слова не воздействовали на людей с такой возбуждающей силой.

Долгим и трудным был путь профессора от науки к народу, но он пришел к нему — земные дела оказались необходимее звезд. Профессор сознавал, что не скоро придут те времена, когда народ поймет и оценит его науку. Но может быть, в этом неуютном мрачном зале уже сидят его молодые наследники. Ведь великая революция не только свобода, она и непрерывное творчество. Революция, как и наука, нуждается в творцах. Пусть в эти минуты никто не желает знать его неба — неизъяснимое предчувствие будущего овладело профессором.

На сцене появился Азин: зал сразу притих. Красноармейцы влюбленно, а местные жители с любопытством следили за стариком и юношей. Они же, стоявшие рядом, как-то особенно дополняли друг друга.

— Не время рассусоливать, как сейчас говорил кто-то, и я согласен с ним,— сказал Азин. — В Сарапуле скопились десятки тысяч пудов хлеба, завтра мы погрузим его в вагоны и отправим в Москву и напишем Ленину: Красная Армия сумеет своей кровью добыть хлеб для голодающих пролетариев. А пока объявляю перерыв. После перерыва спектакль.

Все уже знали: профессор Штернберг привез из Вятских Полян театральную труппу и духовой оркестр. Многие из бойцов никогда не бывали в театре, не слышали духовой музыки. Никто пока не подозревал о новости, привезенной членом Реввоенсовета, никто не знал, что очень скоро начнется штурм Ижевска. И штурм этот по своей ожесточенности, трагической ярости, безумному мужеству станет немеркнущей страницей в истории великого восемнадцатого года.

Азин спустился в вестибюль. Здесь в длиннейшей очереди бабы, девки, подростки ждали, когда Шурмин примет от них черные сухари. А Шурмин передавал корзины и сумки Еве Хмельницкой, та ссыпала сухари в мешки. Гарри Стен укладывал эти мешки штабелями. Бабы истово крестились и уходили в ночь, подростки требовали театральных билетов.

— Клади сухарь и валяй в первый ряд,— говорил Шурмин.

— Как дела, Шурмин? — спросил Азин, глядя на Еву, узнавая ее, улыбаясь ей.

— Сухарями завалили. Все несут и несут, мешков не хватает,— бойко ответил Андрей.

Азин уже не слышал, что он ответил: встреча с Евой вызвала неприятное воспоминание. Азин сразу представил баржу у пристани Гольяны, отца Евы среди обреченных на смерть людей, Игнатия Парфеновича, ушедшего к Маркину и исчезнувшего неизвестно куда,— и расстроенный и опечаленный подошел к Еве.

— Я все понимаю, но не могу представить, что сотни наших не дождутся помощи. — Ева добавила печальным голосом: — А я ведь следую за вами из Агрыза. Все жду, все жду! Вот узнала, что приехал член Реввоенсовета Штернберг, хочу обратиться к нему...

— Я поговорю с ним сам. Сегодня же! Мы обязательно что-то придумаем. Пойдемте, спектакль начинается,— Азин взял Еву за локоть. Они поднимались по мраморной широкой лестнице; легкий стук Евиных каблучков веселил Азину сердце.

— Комедия! «Женитьба» Гоголя! Постановка русско-татарского театра,— надрывался со сцены молодой в бархатной шапочке татарин. — По ходу спектакля не курить, не плевать, не смеяться...

Несмотря на строгое предупреждение, зал повизгивал от хохота, подбадривая артистов репликами.

Черные окна Дома народных собраний озарились яркими вспышками, голоса артистов сникли в винтовочной перестрелке. Поднялся невообразимый шум, бойцы вскакивали с мест, в дверях началась свалка.

— Без паники! — Хлесткий голос Азина остановил сорвавшихся с места бойцов. — Это стреляют по ходу спектакля! Так у самого Гоголя написано,— соврал он, выбегая на сцену. Давка в дверях прекратилась, Азин исчез за сценой.

Он выскочил во двор, где столкнулся со Стеном и Шурминым.

— Что случилось? Почему стреляли?

— Да ну их к лешему,— отмахнулся Шурмин.

— Рота мятежников пришла сдаваться в плен, а наши не разобрались и подняли стрельбу,— объяснил Стен.

— Пришли сдаваться гуртом. Очень хорошо! Прекрасно даже! —с наивным торжеством сказал Азин. С этим торжественным выражением лица он вернулся в зал, рассказал о происшедшем Штернбергу.

— Вскормленная волчьим молоком беззакония власть эсеров не по душе народу,— ответил профессор.— Смотрите-ка, Лариса Михайловна! — обрадовался он, вставая.

— Ай-яй-яй! — укоризненно заговорила Рейснер, обеими руками обхватывая теплую ладонь профессора.— Как не стыдно, приехать с театром и не пригласить на спектакль. Я случайно узнала о вашем приезде.

— Ничего не бывает случайного,— возразил Штернберг.— Я к вам с приглашением особого курьера посылал. Только предупредил, чтобы он не говорил — для чего.

— Почему так секретно?

— Причины объясню позже.

— Азин все равно обязан был пригласить на спектакль,— не сдавалась Лариса.

— Виноват, оплошал.— Азин смотрел в смеющиеся глаза Ларисы и думал: «У нее лицо Венеры и сердце воина — невозможное сочетание таких качеств в молодой женщине».

Штернберг тоже любовался Ларисой: «Она словно яркий метеор на звездном небе нашей революции».

— У вас просто победоносный вид, Лариса Михайловна,— пошутил он.

— Еще бы! Я ведь теперь не простая журналистка, а новый комиссар флотилии.

— О, поздравляем! От всей души,— в один голос произнесли Штернберг и Азин.

— Где бы нам побеседовать? — спросил Штернберг.

— Пойдемте,— Азин взял под руку Ларису, увлекая в не-

большую комнату. — Здесь всяких комнатушек понаделано, как дыр в муравейнике.

— Теперь я раскрою свой секрет, о нем даже Азин не знает. Хотел сказать вам всем. — Штернберг потеребил бороду. — Штаб армии перехватил телеграмму, переданную из Ижевска. Этой телеграммой воткинской контрразведке поручается затопить баржу с советскими работниками. Баржа стоит у пристани Гольяны.

— Я уже занимался этой баржой,— сказал Азин.— Я даже посылал своего человека к Маркину, когда тот был в Пьяном Бору. Но посланный, вероятно, погиб, не донеся моего письма.

— От кого ты узнал про баржу?

— От одной девушки, дочери арестованного врача. Ее отец на той самой барже, а девушка и сейчас здесь.

— И много наших людей на барже? — спросил Штернберг.

— Человек шестьсот — семьсот.

— Мы должны спасти их! — воскликнула Лариса.

— Для этого-то я вас и пригласил,— сказал Штернберг.

— Под Гольянами войска мятежников. Они успеют потопить баржу прежде, чем мы их атакуем. Нужно придумать какую-то хитрость,— заговорила Лариса.— Я вижу только одну возможность. Миноносцы под видом кораблей из флотилии адмирала Старка проникают в Гольяны и уводят баржу...

— Великолепная возможность,— обрадовался Штернберг.— Спустите красный флаг, поднимите андреевский, переоденьте матросов в форму царского флота.

— Мы возьмем в союзники быстроту, хладнокровие и риск,— встал Азин, всем своим видом показывая ненужность дальнейшего разговора.

— Я за отчаянный риск и безумную дерзость. Но помните: и безумствовать надо с умом,— посоветовал профессор.

Лутошкин видел короткие цветные сны.

Ему снились цветущие лиловыми свечами сосны, шумящие на ветру березы, звездные скопления ромашек, предрассветные испарения над омутами.

Снились дремучие бороды, голые подбородки, лихие усы, кожаные куртки с тлеющими бантами, матросские в тигровых полосах тельняшки, деревянные кобуры, оттягивающие пояса. Кто-то подбегал к нему и торопливо произносил:

«Нет бога, кроме народа, но палачи — не пророки его!»

«Это же я говорил, юный ты мой человек»,— собирался ответить Игнатий Парфенович, но Азин уже растаял.

На Лутошкина надвигалось мягкое улыбчивое лицо Чевырева.

«Что за слово — индифферентный? Растолкуйте, пожалуйста».

Лутошкин не успевал раскрыть рта, а на месте Чевырева уже стоял Северихин, пристукивая о ладонь фарфоровой трубочкой.

«С вашими рассуждениями к белым бы податься...»

«К белым мне не с руки»,— прошептал Лутошкин и проснулся.

В трюме стояла темнота, пропитанная запахами грязных тел, нечистот, вонючей воды. Шуршала гнилая солома, поскрипывали лубяные рогожи, всхлипывали арестанты. Игнатий Парфенович сел, стараясь не потревожить соседей. Поджал к подбородку колени, обхватил руками, положил на них голову.

«Все сместилось в моей голове. Может, время начало обратный бег? На земле русской, как вода, льется кровь и обезумели все. Красные умирают за свой будущий рай, белые гибнут за утраченные привилегии. А между ними мечутся интеллигенты и не знают, к кому пристать. Одни надеются спастись, остерегаясь проявлять политические страсти; другие хватаются за наган. Я верил в Толстого, как в нового пророка, но пророки никогда еще не побеждали проповедями. Побеждают только вооруженные пророки».

Лутошкин приподнял голову, узкая полоска света падала в приоткрытый люк, за ржавым бортом шумела вода. Голова Игнатия Парфеновича — черная и страшная, как мрак этого трюма,— начинала проявляться в полоске света. Проявлялись и спящие — их неразличимые тела были всюду.

«Я перестал верить в рай на небе, как я могу поверить в рай на земле, как могу принять пророков, проповедующих насилие? Убивающих человека во имя человеческого счастья! В образе Христа была хоть форма, оправдывающая наше земное существование. В этом образе жила и мечта человека о собственном его бессмертии. Иначе к чему бы воскресать распятому богу? Утратив веру в Христа, могу ли я уверовать в комиссаров, не признающих бессмертия?»

Проснулся сосед — потомственный дворянин Константин Хмельницкий. Он подружился с Игнатием Парфеновичем, когда тот рассказал ему о его дочери Еве.

— Опять не спали, Игнатий Парфенович? Совершенно напрасно! Смертникам необходимо спать,— глухо сказал Хмельницкий. — А я, странное дело, все еще жив. Триста душ ушло на небо, а моя по-прежнему цепляется за мой скелет. Для чего бы это? Может, ей надобно еще раз перечувствовать старую ненависть и новые страхи? И терпеливо ждать, когда ее поведут на убой?

— Терпение — девиз политических трусов. А вы же не трус, Константин Сергеевич.

— И совсем не герой. И все же не хочу, чтобы меня утопили в Каме, как паршивую собаку. Странное дело, на моих глазах погибли самые крепкие и молодые, а я вот, поди ж ты, — губы

Хмельницкого скривились в жалкой усмешке.— Около меня спал председатель Сарапульского ревкома. Застрелили. Был балтийский матрос — камень на шею и швырнули в воду. Ох, подлецы! — тихо выругался Хмельницкий. — Они думают, что довели нас до состояния скотов, мечтающих об одной жвачке. Голод, конечно, замечательный способ убивания интеллекта, но, странное дело, на меня он уже не действует. Я испытываю только безмерную усталость...

Люк приоткрылся, чей-то голос отчетливо произнес:

— Мужички из деревни Июль на палубу! Хмельницкий, Лутошкин на палубу...

В трюме заохали, зашевелились, стали подниматься люди.

— Быстрей, быстрей!

Льдистая утренняя синева, река в прозрачной дымке, сосны, похожие на зеленые паруса, зернистый иней, блистающий на песке, вызвали в Лутошкине почти праздничное настроение. Все же Игнатию Парфеновичу было неловко при виде людей, прикрытых рогожами, мучными мешками, пучками овсяной соломы.

Арестантов выстроили у борта. Лутошкин украдкой посмотрел на офицеров из контрразведки. Их свежие, улыбающиеся физиономии казались добродушными, Лутошкину даже понравился молодцеватый грузин в косматой бурке. В левом кулаке его белел листок, у ног валялась дубовая колотушка.

Рядом с грузином стоял офицер в шинели и фуражке со следами кокарды. У него были разные глаза: правый — выпуклый и зеленый, левый — полуприкрытый и слезящийся.

— Пора начинать, Чудошвили,— сказал он.

— Есть, капитэн!

Грузин скинул бурку: малиновая черкеска и кинжал в серебряной оправе ножен вспыхнули в утреннем свете. Грузин заглянул в листок, приблизился к арестантам.

— Имя-фамилия?

— Будников Федор.

— Имя-фамилия?

— Будников Афанасий.

— Имя-фамилия?

— Будников Митька.

Перекличка продолжалась. Все арестанты носили фамилию Будниковых, и, пока грузин вызывал их по списку, Игнатий Парфенович невольно считал про себя: Будников — двенадцатый, семнадцатый, двадцать второй. На Будникове двадцать восьмом счет его оборвался.

— Имя-фамилия? — обратился к Лутошкину грузин и скомандовал: — Налэво! И ты — налэво,— приказал он Хмельницкому.

Игнатия Парфеновича и Константина Сергеевича оттеснили на середину палубы.

— Что делать с этими, капитэн? — Чудошвили по-женски вильнул бедрами.

— Пусть смотрят.— Офицер поймал пальцем слезу из левого глаза, пошевелил широкими ноздрями.— Милейшие сограждане! Я — начальник контрразведки Солдатов. Я знаю всю вашу подноготную и балясы точить не намерен. Выдайте мне большевика Будникова, он опаснейший преступник, бежал и скрылся в вашей деревне. Кто из вас большевик Будников, говори,— Солдатов ткнул кулаком в грудь Федора Будникова.

— Про большевиков мы не слыхали.

— Укрываешь, бандюга, красных! И ты не слыхал про большевиков?

— Слышал. Приезжал на деревню один оратель, растолковывал, кто такие большевики и меньшевики,— ответил Петр Будников.

— Тогда скажи, кто из вас Будников-большевик?

— Такого зверя не знаю...

Поиски таинственного большевика Будникова среди его однофамильцев казались Игнатию Парфеновичу смешными. «Солдатов мужиков обязательно отпустит. Ведь и дураку ясно, что они неповинны»; в Лутошкине опять ожила вера в элементарную человеческую справедливость. Он покосился на Хмельницкого: тот стоял опустив голову, ветер шевелил его львиную белую гриву.

— Суки, мерзавцы! — остервенился Солдатов.— Все вы немецкие шпионы, жидовские прихлебатели! А для шпионов и жидов у меня — кулак в морду, пуля в затылок. Чудошвили!..

Пламенея черкеской, грузин подскочил к начальнику контрразведки.

— Раздеть догола!

Чудошвили начал сдергивать с арестованных рогожи, мешки, пучки овсяной соломы. Все так же покорно Будниковы сбрасывали лохмотья — неровный строй посиневших тел с медными крестиками на шеях закачался перед Лутошкиным. Игнатий Парфенович понял, что сейчас произойдет что-то отвратительное и противоестественное, чего он не может остановить.

— Объявляю приказ командующего Народной армией,— громко сказал Солдатов. — В целях защиты Прикамской республики, а также ввиду наступления красных шаек на Сарапул и Ижевск, приказываю уничтожить арестованных большевиков, находящихся во всех местах заключения. — Солдатов повернулся на каблуках — зеленый глаз уперся в охранников, потом скользнул на деревянную колотушку. — Чудошвили!..

Лутошкин задрожал от ужаса и бессилья. С каждым коротким взмахом колотушки он жмурился и запрокидывал голову и вдруг рванулся вперед, упал на колени, покатился в припадке. Он очнулся от ледяной струи: его обливали водой, били сапогами. Он встал. Будниковых на палубе не было.

— Полюбовались, любезнейшие, на чистую работу? Завтра и вас ожидает такая же участь. Гони их в трюм, Чудошвили,— приказал Солдатов, обходя Лутошкина и Хмельницкого.

Игнатий Парфенович больше не видел коротких цветных снов. Он лежал в темноте, погруженный в бесконечную тоску. Необоримая эта тоска заполнила каждую клеточку мозга. Страх за собственную жизнь уступил место ужасу перед безумием террора. Игнатий Парфенович как-то сразу сморщился духовно, постарел физически. Прежние логические рассуждения — такие стройные и обтекаемые — теперь распадались, религиозное учение графа Толстого испарялось. Игнатий Парфенович еще пытался спасти остатки своей философии, но зло в его конкретных проявлениях оказалось неразбиваемой силой.

— Все приходит к концу. Жертвы умирают, палачи умирают, но палачи все же исчезают быстрее,— шептал он в лицо Хмельницкому.

Константин Сергеевич полусидел, прижимаясь спиной к ржавой стенке трюма. Лихорадочная дрожь Лутошкина передавалась ему, и он всеми силами сдерживал себя.

— Палачи исчезают быстро, это правда,— согласился он.— Но правда и то, что их подлые тени еще долго стоят над миром. В погибающем обществе с особенной силой злобствуют политические страсти и летят головы. Безумство какого-нибудь Солдатова — это судороги старого общества.

— Но ведь и большевики объявили террор,— возразил Игнатий Парфенович.— Ведь и они расстреливают заложников, ради политических целей уничтожают своих противников. Убивать человека за мысли — что это такое?

— Странное дело! Красный террор — ответ большевиков на террор белый. Помните, посеешь ветер — пожнешь бурю? Разве ликвидация Солдатовых или Чудошвили — убийство мысли?

— Солдатова — да! Чудошвили — да! Только при любом терроре проливается невинная кровь.

Заскрежетал открываемый люк.

— Арестанты, на палубу!

Люди с деревянной, оскорбительной для самих себя покорностью брели к трапу, поднимались на палубу. Стальная плита падала на люк, в трюме все замирало. И тотчас же гиблая тишина разваливалась от винтовочных выстрелов, злобных всплесков воды.

Игнатий Парфенович напрягался, странно вытягивался и разражался рыданиями.

— Успокойтесь, да ну, успокойтесь же...

— Разве можно быть спокойным, когда убивают людей?

Серая тоска опять захлестывала Лутошкина. И спешили, спешили неясные мысли, как время в своем обратном полете

к доисторическому порогу. Терпкий ум Игнатия Парфеновича, еще недавно умевший проникать в суть событий, схватывать обстоятельства, располагать в неожиданных комбинациях и анализировать их, теперь попал в незримый капкан. Все стало политикой, даже любовь. Даже в природе появились политические ландшафты.

Когда-то он умел быть недовольным всем, любил находиться в двусмысленном положении, лавировать между злом и добром, объективной и субъективной истинами. Теперь уже невозможно удержаться посредине. Все полетело вверх тормашками: истины, идеи, страсти, добро, зло. Рушатся религии, философские системы, понятия свободы и равенства, правда, закон. Все рассыпается прахом. Нет ласковой середины, стелющейся как зеленая травка; есть бурный поток между двух берегов.

Берег красный, берег белый!

На каком из этих социальных обрывов может находиться Игнатий Лутошкин, робкая тень религиозной мысли великого писателя? Толстой был неповторимым исследователем человеческого сердца, но учение его только закрепляет рабскую покорность народа своим господам. Как же ты, Игнатий Лутошкин, не понимал этого раньше? Он даже застонал, не замечая, что уже вслух говорит сам с собой:

— До чего еще могут дойти наши интеллигенты?

— Кого вы принимаете за интеллигентов? — спросил Хмельницкий. — Чудошвили или Солдатова? Может, опереточного артиста Юрьева? Нет, все честные интеллигенты переходят на сторону красных.

— Не все, Константин Сергеевич! Переходят отдельные личности, вроде вас.

— Я-то помогал большевикам еще до революции. Еще в шестнадцатом году помогал, на Двинском фронте.

— Вы тогда были офицером?

— Хуже, военным хирургом. Странное дело: пока я оперировал одного-двух солдат, в те минуты убивали сотни других. Я тогда чувствовал полную ненужность своей профессии. Это очень скверно — ощущать бессмысленность собственного дела. — Хмельницкий энергично почесал белую гриву.

— Вы ведь потомственный дворянин?

— До моего поместья отсюда рукой подать. Я внук девицы-кавалериста Дуровой, моя бабушка была знаменита в Отечественную войну тысяча восемьсот двенадцатого года...

— Война с Наполеоном — иное дело. Сейчас в России война классов. Мужики против дворян, рабочие против капиталистов. А вы, Константин Сергеевич, вроде белой вороны среди красных.

— Может, я — красная ворона среди белых?

— Все перепуталось в России. Дворянин, князь, поп переходят к красным, ижевские рабочие восстают против своей

власти, революционеры, вроде Бориса Савинкова, изменяют революционным идеалам. А где же классовое чутье? А где же классовая непримиримость? За что же вас кинули в этот трюм?

— За укрывательство большевиков: в квартире моей трое прятались. Они уже погибли, а я, странное дело, я живу и живу.

Миноносцы, рассекая и бурля воду, шли вверх по Каме. Матросы, комендоры, пулеметчики были переодеты в морскую форму царских времен. Постороннему казалось: корабли флотилии адмирала Старка прорвались из устья Белой и спешат к Гольянам, на помощь мятежникам.

Холодея на октябрьском ветру, Лариса Рейснер озирала камские ландшафты. «Все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками». В одном месте сбрасывали с кручи красноармейских жен, в другом убивали мужиков, в третьем комбедчиков. У багровых кленов расстреливали матросов — опавшие листья все еще чудятся ей следами пролитой крови. «Никогда никто не узнает, не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу».

Быстрота, хладнокровие, риск. Пока все идет благополучно, уже надвинулись вместе с берегами колокольня сельской церкви, серые избы, рыжие палатки. Из голых кустарников проглянуло шестидюймовое орудие, другое притаилось у пожарного сарая. Люди в офицерских шинелях, солдаты с красными повязками на рукавах: на повязках перекрещенные револьверы — символические знаки отличия ижевских мятежников. Они глазеют на морские суда с андреевскими флагами: ждут адмирала Старка.

Промелькнула гольяновская пристань. Закачался на сильной волне белый буксир, заплясали лодчонки. Лариса до рези в глазах рассматривала реку: где же плавучая могила, ради которой миноносцы пошли на риск?

Водовороты, перекаты, отмели, песчаный островок, за ним — приземистая грязная баржа. Часовые на палубе, пулемет у боцманской рубки. Она!

Флагман начал разворачиваться. Комендоры «Прыткого» навели орудия на береговую батарею. Сигнальщик передал на «Ретивый» и «Прочный»: «Не открывать огня без приказа». Как снять с якоря и вывести баржу? Перекаты не позволяют миноносцам подойти к ней вплотную. Комфлотилии поднес к губам рупор:

— Внимание! Именем адмирала Старка приказываю буксиру подойти к барже...

Лариса замерла, щеки ее посинели, иззябшие пальцы стиснули борта кожаной куртки. Комфлотилии отвел в сторону

рупор и напряженно ждал — выполнит ли буксир приказ. Двуглавые орлы взблескивали на медных пуговицах его шинели, жирно лоснилась расшитая золотом морская фуражка.

Буксир, шлепая колесами, направился к барже. И безмолвная — она ожила. Засуетились часовые, забегал боцман. Сам начальник караула подхватил сброшенную чалку, охранники подняли якорь. Плавучая могила, тяжело зарываясь тупым носом в воду, стронулась с места, буксир медленно выволок ее на камский простор.

— Приказываю следовать за мной! — проговорил в рупор комфлотилии.

— Как вам удалось пройти мимо Сарапула? Он же захвачен красными? — спросили с буксира.

— Город снова занят нашими войсками,— голос комфлотилии был и ровен, и в меру строг, и успокоителен.

На Каму опускалась слоистая мгла, желтые обрывы растворялись в ней, черные столбы дыма подпирали низкое небо. Баржа, переваливаясь на волнах, ползла вниз по реке, а на палубе по-прежнему ходили ничего не подозревающие мятежники.

«Что сейчас происходит в трюме? Что переживают наши товарищи? Думают, что наступил последний час их жизни». Лариса пыталась вообразить смятение арестованных и не могла, хотела представить себе окровавленный трюм — фантазия оказывалась бесплодной.

В вечерней мгле замигали городские огни. Прошел еще час мучительного томления, пока баржа причалила к дебаркадеру. Лариса прыгнула на палубу, но ее уже опередили матросы. Молниеносно скрутили начальника караула, обезоружили часовых. Серега Гордеич приподнял стальную плиту над люком.

— Выходите все на палубу! — крикнул Серега Гордеич, но на его зов трюм ответил проклятиями.

— Не верят! Страшатся! — Лариса наклонилась над люком, но голос ее захлестнула волна общего зова.

Из трюма стали выползать люди,— еле дышащие скелеты. Черные тени в рогожах, полуголые, совсем голые. Обросшие волосами, полуслепые от боли и тьмы, с обезумевшими, широко раскрытыми зрачками. Они выходили один за другим — живые улики белого, совершенно бессмысленного террора. Потом стали выносить мертвецов, окровавленных пытками, замученных голодом, задохнувшихся в смраде нечистот. Вынесли старика с белой гривой — он походил на сраженного льва.

— Константин Сергеевич! — взревел дико, протяжно какой-то горбун и рухнул перед мертвецом на колени: плечи и горб его затряслись от рыданий. Вдруг он распрямился, глянул на Ларису Рейснер умными глазами, подполз к ней.

— Я уже не раб, не раб, я свободен умереть по собственному выбору...

Этот голос, и звучный и жалкий, потряс Ларису: она подняла горбуна за плечи, спросила:

— Кто вы?

— Я из дивизии Азина, юная вы моя женщина...

А на дебаркадерах и набережной скапливались горожане, азинцы, бойцы красной флотилии. Толпы гудели, и гул их нарастал, как морской прибой. Лариса не увидела, но как-то ощутила — за ее спиной на мачте флагманского миноносца опять защелкал флаг революции.

Кто-то рядом с Ларисой сказал печально и гневно:

— Их осталось четыреста тридцать. Меньше половины осталось их... — И тот же голос громко запел. И всех — бойцов и освобожденных, матросов и горожан, реку и берег мгновенно воспламенила страстная мелодия «Марсельезы».

Лариса тоже подхватила грозную мелодию, не в силах удержать слез радости, страдания, любви к свободе.

35

Князь Голицын принадлежал к самой беспокойной группе белых главарей, захватившей Екатеринбург. Монархист всем своим существом, он со злобой маньяка мстил городу за расстрел Николая Второго.

Горные стрелки Седьмой дивизии и агенты контрразведки, которыми командовал князь, расстреливали красных от имени русского народа. Облавами, казнями, пытками Голицын до крайности раскалил общественную атмосферу Екатеринбурга. Закон, право, справедливость, и прежде очень шаткие, потеряли всякий смысл. Голицын был убежден: власть должна присваивать себе свободу политического террора. Хозяин вчерашнего дня — князь бешено работал по уничтожению смысла человеческой жизни.

Аристократ — он отменил все права, завоеванные народом в дни Октября. Со всей страстью старался он вытравить из народной памяти надежды на новую, без помещика и буржуя, жизнь. Сам же он не мог предложить никаких социальных реформ, хотя бы в сотой доле отвечающих интересам народным.

Генеральный штаб царской армии не знал более ярого противника любых политических идей, распространявшихся среди солдат, чем Голицын. «Сила армии — в ее безыдейности» — этот голицынский афоризм знал каждый прапорщик.

Теперь же князь жаловался, что солдаты не понимают идейных и политических принципов белой армии. Даже сердился, что офицеры избегают политических бесед с солдатами. Князь решил исправить ошибку.

Под бурное хлопанье ставни писал он приказ о политическом воспитании стрелков своей дивизии. Длинное, морщинистое

лицо скривилось в брезгливой улыбке, перо подрагивало, разбрызгивая на бумаге лиловые кляксы.

— Что же мне сказать солдатам? Как объяснить новобранцам, что мы ведем войну против немецко-еврейского большевизма? — спрашивал себя Голицын. — Немецко-еврейский большевизм? — Он тщательно вытер платком губы. — Вот с этого, пожалуй, и начну.

«Искони Русь православная богата доблестными воинами, стяжавшими ей славу и величие. Много у нее врагов — завистников, но среди них нет лютее врага, как Германия. Поработить Россию в честном открытом бою немцы не смогли: тогда они начали сеять смуту среди самих русских. И вот большевики завладели всей Россией. Они заключили позорный Брестский мир, отдав по нему и русские земли, и русский хлеб, русские деньги, русскую волю и честь». Голицын передернул губами, положил перо. В уме созрела новая фраза, но ее не хотелось писать. «Надо что-то ввернуть о вождях белого движения, о чехословаках, освободивших Сибирь». Князь не видел среди русских генералов истинных вождей белого движения, а без фразы о чехословаках в приказе не обойтись.

«Благодаря героическим усилиям отдельных лиц, при братской поддержке чехословаков русские люди взялись за оружие...» «Вот так-то лучше! Героические усилия отдельных лиц — и хватит! Не могу же я называть белыми вождями эсеров или меньшевиков. А братья-чехословаки? Черт с ними! Чего не скажешь ради политики. Еще несколько чувствительных слов, наш солдат любит патриотическую слезу...»

Царапая пером, Голицын написал: «У матери-родины есть верные дети, которые еще больше любят ее — поруганную, растерзанную, ограбленную, униженную. Молодые бойцы Всероссийской народной армии,— вы знаете,— против нас наглые, жадные немцы и переставшие быть русскими предатели родины. И вы сметете их всех с лица земли русской. Так должны мы идти все вперед и вперед, чтобы самим, без немецкой указки ковать свое счастье...»

Приказ вышел длинным. Голицын перечитал свое произведение. Остался доволен. Сказал все, что хотел, о многострадальной России и не пообещал ничего солдатам.

— Победим большевизм и будем ковать свое счастье,— повторил Голицын. — Надежда на счастье всегда утешительна. Перепечатать, только, пожалуйста, без ошибок,— сказал он адъютанту и капризно оттопырил губу.

— В приемной генерал Рычков,— доложил адъютант.

— Что же не сказал сразу?

— Генерал ждет всего четыре минуты.

Рычков в новой, хорошо сшитой шинели с новенькими, отблескивающими золотом погонами без усилий внес свое тучное тело в кабинет.

У генерала, побитого в Казани, был вполне победоносный вид. Ему удалось борзо и благополучно пробежать с Волги до Урала и попасть в сухие объятия князя Голицына.

Рычков даже шутил над превратностями судьбы. И на самом деле: давно ли Голицын просил у него покровительства тайному своему эмиссару Долгушину, а теперь уже князю пришлось устраивать генерала на хорошее местечко — главным начальником снабжения Сибирской армии.

Продвигая генерала на высокую должность в Сибирской армии, Голицын надеялся стать ее главнокомандующим. Омская Директория назначила главнокомандующим капитана Рудольфа Гайду, произведя его в чин генерал-майора. Голицын чувствовал себя униженным и уязвленным. Ему, царскому генералу, предпочли какого-то политического авантюриста.

— Почему такой сумрачный вид? — спросил Голицын.

— Я оскорблен как дворянин, как патриот, как, как... — трагически сказал Рычков, убирая с лица победоносное выражение.

— Да что произошло?

— Гайда возил меня в фотоателье на Покровском проспекте. Оно и не ателье даже, а прямо-таки художественная мастерская. Знаете, из тех, что изготовляют фотопортреты и в профиль и анфас, во весь рост, сидя, стоя, лежа, в любой позе. Я сперва был в недоумении: фотографироваться, что ли, приехали? Смотрю — все стены в фотопортретах вновь испеченного генерала. Гайда так и Гайда этак. Гайда жмет руки министрам Директории, приветствует легионеров, произносит тосты на банкетах, и всюду на столиках великолепные альбомы с фотографиями опять-таки Гайды. А крышки к альбомам изготовлены из уральских самоцветов, и на каждой — герб Гайды! Да какой: поверженные орлы русской и австрийской династий! Я чувствовал себя так, словно мне оплеух надавали. Как же мы позволили какому-то золотозубому жеребцу взобраться на свои плечи? Он же глуп от каблуков до ушей. А привез-то меня в ателье — повеличаться передо мной, побахвалиться...

— Мы получаем то, что заслужили,— Голицын презрительно потер руки. — Конечно, обидно для нашей национальной гордости, что Гайда одел свой конвой в форму личного конвоя государя императора. Носятся, прохвосты, по городу в егерских кафтанах, расшитых гвардейскими галунами, а вместо погон — золотые вензеля с инициалами Гайды. Постыдно все это и смешно. Но не так уж страшно. Страшно, Вениамин Вениаминович, то, что сам Гайда и его окружение имеют ничтожную боевую ценность.

— Да, да, да! — зададакал Рычков. — Ты бесконечно прав! Я как огня боюсь атаманщины, она же захлестывает нас. А что творится со снабжением армии? Вчера попался мне характерный документик: какой-то прохиндей обязался поставить Си-

бирской армии на двенадцать миллионов рублей повозок. Проверил я капитал этого владельца: в наличии перочинный ножик и огрызок карандаша. А двести тысяч рублей аванса из армейской кассы он все-таки выдрал. Такие аферисты вокруг Гайды табунятся стаями.

Ругая последними словами Гайду, они как бы говорили друг другу: если бы я стоял во главе армии, все было бы прекрасно.

— О гнусных этих аферах я написал рапо́рт военному министру Директории.

— Из ума вылетело, что Колчак приезжает в Екатеринбург через час,— спохватился Голицын. — Пора, пора на вокзал. — Он надел шинель и показался Рычкову еще длиннее и суше. — Официально Колчака пригласил Гайда на торжественное освящение чешского флага. Торжества торжествами, но Колчака сопровождает батальон британских стрелков под командой полковника Уорда. Англичане готовят Колчака в военные диктаторы. Да теперь я и сам вижу: России необходим мудрый правитель, армии — сильный вождь.

— Армии прежде всего нужны старые, освященные победами петровские и екатерининские знамена,— заметил Рычков.

— Старые знамена — это Русская империя, это дом Романовых. Мы, служившие при государе императоре в дни русской военной славы, мы, пережившие ее позор, не можем не быть монархистами. Когда мы говорим: у нас один враг — большевизм, одна цель — благо и величие России,— мы подразумеваем только величие императорской России. Я на этом стою, Вениамин Вениаминович. Если постыдные политические веяния не развратили вице-адмирала Колчака — я за его диктаторство. — Голицын звонко высморкался и, щелкая каблуками, направился к выходу.

На вокзале уже собрались высшие офицеры белогвардейских и чехословацких войск, иностранные консулы, сановники Директории, промышленники, биржевики.

Генерал Рычков — человек новый в этом екатеринбургском обществе — скромно стоял в сторонке, следя за пестрым собранием.

С князем Голицыным разговаривал английский ко́нсул Томас Престон.

— Согласитесь, ваше сиятельство, генерал Гайда — освободитель Сибири от красных — стал национальным героем России,— утверждал Престон.

— Иностранец не может быть нашим национальным героем,— неприязненно отвечал Голицын.

— Директория не случайно назначила Гайду командующим Сибирской армией. Он полон энергии, инициативы, я бы сказал — умной инициативы.

Голицын пошмыгал носом и промолчал. Некорректный тон консула покоробил генерала Рычкова больше, чем князя.

— Больно смотреть, когда новая военная сила подчиняется случайному баловню судьбы,— сказал Рычков: это обстоятельство почему-то особенно оскорбляло его. С мрачным видом он вышел на перрон. Уборщики поспешно сгребали нечистоты и снег в кучи, духовой оркестр прочищал свои трубы, швейцары расстилали красный ковер.

Из вокзала живописной оравой вывалили мордастые, рослые парни в коричневых кафтанах, расшитых алыми галунами, в мохнатых киверах. Позолоченные вензеля украшали их толстые плечи: это были «бессмертники» — телохранители Гайды.

— С какой помпой встречают военного министра. Когда все же Колчак успел заручиться дружбой англичан и чехословаков? — завистливо вздохнул Рычков.

На перроне, окруженный высшими чинами своего штаба, появился Гайда. Рычков примкнул к его свите, сразу потерявшись среди крикливой военной молодежи. В эти екатеринбургские дни из молодых особенно шел в гору двадцатисемилетний полковник Гривин. О его храбрости и жестокости рассказывались легенды, циничные поступки его смаковались, словно скабрезные анекдоты. Говорили, что Гривин, казнив своих солдат за трусость, издал приказ: «Расстреляно двадцать. Бог еще с нами! Ура!»

Молодым был и полковник Войцеховский. Голицын вместе с ним захватывал Екатеринбург, но Директория ценила полковника больше, чем князя. Он уже командовал группой чехословацких войск и тоже славился умопомрачительной жестокостью к красным. Недавно на рабочей окраине города по приказу Войцеховского был распят на кресте комиссар.

— Большевик, распятый подобно господу богу! Комиссар, как Христос, с раскрещенными руками! — поражался генерал Рычков. — Мы, воины за православную веру, уступаем заклятым своим врагам божественный крест. Мы оскверняем великий символ святого страдания.

Всю эту крикливую, кичливую, честолюбивую молодежь возглавлял Рудольф Гайда, вчерашний ветеринар чешского кавалерийского эскадрона. Длинноголовый, толстоносый, золотозубый блондин был кумиром всех карьеристов и честолюбцев. Человек весьма решительный при достижении личных целей, Гайда соединял в своем характере безрассудство, смелость, легкомыслие, заносчивость.

Вокзальный колокол возвестил о прибытии поезда. Зашевелился духовой оркестр, замер почетный караул. Гайда встал на край красного ковра, перебирая пальцами по эфесу шашки.

Поезд медленно подходил к перрону. Оркестр заиграл Егерский марш елизаветинских времен: «Ты хранил отцов заветы,

помнил честь и долг! Славься, сын Елизаветы, славься, храбрый полк!» Гайда вытягивался на краю ковра, Колчак уже занес правую ногу, чтобы сразу ступить на ковер.

Салон-вагон, не останавливаясь, прокатился дальше, ковер ускользнул из-под ног Колчака. Нарушая торжественность встречи, раздался чей-то хриплый бас по адресу машиниста:

— Морда поганая! Давай назад, растак тебя в бога-мать!

36

В особняке золотопромышленника Злокозова в честь Колчака был устроен банкет.

Колчаку шел сорок пятый год, но легкая седина уже тронула его виски. Он был тонок, сухощав, бледен. Карие запавшие глаза горели живым лихорадочным светом, а в уголках губ было что-то тоскливое, большой нос выдавался из ввалившихся щек. У воротника морского кителя поблескивал георгиевский крест.

«Он симпатичен и, бесспорно, не глуп. Его называют гордостью нашего флота,— думал Рычков. — Кто-то мне сказал: Наполеоны не выходят из корабельных кают. Забавное замечание!» Генерал внимательно прислушивался к бесконечным тостам.

Лилось шампанское, журчали гибкие, укладистые слова, то с оглаженными, легкими мыслями, то с занозистыми и злыми.

— Наш народ расплачивается за разгул темных страстей и преступное увлечение революцией. И, лишь пройдя через многие страшные испытания, народ вернется к монархии, Россия вновь станет великой империей...

Это говорил князь Голицын.

— Господин министр! Орудия мирного труда и оружие жестоких войн, алмазы и сталь, золото и железо суть продукты Урала — неисчерпаемой сокровищницы земли русской. Все, в чем нуждаются армии, Урал может дать, но сейчас заводы бездействуют, фабрики остановились, рудники залиты водами. Без денежной помощи Директории и наших союзников промышленники и капиталисты Урала не возродят заводы, фабрики, рудники для новой всероссийской власти! Вы — нам, господин министр, мы — вам!..

Это сказал золотопромышленник Злокозов.

— Божественным промыслом большевизм разбит как идейно, так и нравственно, но хвост красного дракона еще обладает опасной силой. Осени, господи, крестом своим защитников веры, престола и отечества в час роковой битвы с антихристом! Будь, о господи, наставником мудрых, защитником слабых, покровителем угнетенных духом! Да рассыплются пра-

хом все врази твои — слуги диавола, красные драконы, терзающие нашу мать-Россию. Аминь!

Это сказал митрополит вятский и слободской.

Самые разные люди говорили яркие, тусклые, длинные, короткие тосты, но все просили как можно скорее искоренить большевизм. Колчак слушал и молчал; его молчание казалось загадочным. Никто из ораторов не произнес откровенно и прямо, что военная диктатура должна сменить дряблую, беспомощную, велеречивую Директорию, но каждый вкладывал в свои слова эту мысль.

Наконец Колчак встал, и все смолкли.

— Господа! — сказал он. — Я считаю войну с большевизмом великим, честным и святым делом, которое выше всякой справедливости. Я уверен — война освободит мир от красного зверя, что пытается господствовать над миром. Такая война принесет каждому русскому счастье и радость. Поэтому во время войны с большевизмом не надо никаких реформ, кроме военных. Ваше внимание ко мне я рассматриваю как союз армии и русского общества.

Поздней ночью Колчак сидел перед камином в огромном кабинете миллионера Злокозова. Дрова в камине стреляли углями, языки огня подрагивали и сгибались, озаряя японский древний клинок.

Колчак потрогал пальцем холодное лезвие. «Долго же я разыскивал этот клинок в оружейных лавчонках Токио. Клинки работы мастера Майдошин изумительны, они — сама поэзия. Всякий уважающий себя самурай, когда ему приходилось прибегать к харакири, проделывал эту операцию клинком Майдошин».

Усмешка оживила пепельные губы вице-адмирала. «Токийские лавчонки предлагали мне клинки других древних мастеров, выдавая их за Майдошин. Нет, нет, отвечал я, этот клинок делал почтенный мастер Иосихиро или же Мазамуне, я же хочу только Майдошин. Лавочники кланялись, и складывали руки, и вздыхали, пока наконец не нашли этот великолепнейший Майдошин».

Пламя камина отбрасывало короткие тени на сухое зеркальное лезвие: оно же, сгущая жидкий свет, казалось совершенно черным и таинственным.

Колчак любил подолгу смотреть на японский кинжал, словно искал в нем какую-то мистическую силу. Он не верил никакой мистике, но события последних дней, развертываясь и нарастая вокруг него, выводили из душевного равновесия. Разорванный, мрачный и в то же время волнующий блеск этих событий освещал честолюбивые замыслы вице-адмирала.

За окном давно ревела метель: постоянный гул ее не мешал потоку воспоминаний. Память возвращала Колчака к по-

рогу юности. Он видел себя то гимназистом, то фельдфебелем морского корпуса, то лейтенантом на броненосном крейсере.

Перед мысленным взором вставали громады вод Тихого океана, мягкие очертания владивостокских сопок, ледяные торосы земли Беннетта. Эти, уже ставшие бесконечно далекими, картины юности сейчас умиляли его. Как все было ясно, просто, беззаботно в том невозвратимом мире.

Вспомнился отец — морской артиллерист, генерал-майор — непреклонный сторонник монархии. Образ отца не вызвал ни нежности, ни грусти.

Дворянские привычки, привилегии, атмосфера исключительности, аристократичности в Морском корпусе наложили на юного Колчака неизгладимый отпечаток. Подобно отцу он был монархистом, хотя в первые же дни Февральской революции стал служить Временному правительству.

Колчак сощурился на языки огня: они были светлыми, легкими, неуязвимыми и, переливаясь, все звали куда-то. Если бы он только понимал непостоянный, обманчивый возбуждающий голос огня!

Колчак зажмурился, силою воображения вызывая желанные картины...

Черное море до краев переполнено солнцем. Волны выбрасывают золотые слитки, и они, разламываясь, рассыпаются снопами брызг. Всюду брызжет, мерцает, лоснится солнце. Солнечные капли стекают с береговых скал, дышат теплой зеленью виноградников, спят в изломах розоватых камней. Тысячи солнц взлетают вместе с волнами и ходят по горизонту.

Колчак будто въяве видел круглые облака в морской воде, тени кораблей, пробегающие по облакам, себя на капитанском мостике крейсера «Георгий Победоносец». Перед ним опять мелькали матросские физиономии, раздавались голоса, полные ярости. Матросы, только что разоружившие офицеров Черноморской эскадры, подступали к нему, требуя сдать оружие.

Он же высился над всеми, сгибая и разгибая тонкую парадную сабельку. Почему-то казалось: как только он лишится бесполезного своего оружия — сразу и навсегда рухнут империя, дворянство, война до победного конца, слава, флот, он сам со своим будущим.

Смешной парадной саблей хотел он преградить путь революции. Бесконечно далекими и ненавистными были для него матросы его же эскадры.

— Требование сдать оружие я рассматриваю как личное оскорбление,— сказал он. — Море меня наградило золотым оружием, морю его и возвращаю!

Он швырнул свою саблю в море, ровно в полночь спустил с мачты гюйс командующего эскадрой и покинул свой флагман.

Это, конечно, был очень эффектный жест — золотая сабля, брошенная в море. Газеты захлебывались от восторга и писа-

ли, писали об Александре Васильевиче Колчаке, не пожелавшем подчиниться взбунтовавшимся матросам.

Буржуазные газеты, светские дамы, господа из Генерального штаба, из Морского корпуса, члены Временного правительства восхищались мужественным характером вице-адмирала.

Генерал Рычков разволновался, даже, как показалось ему самому, до неприличия: князь Голицын предупредил, что он приглашен на особый военный совет к Колчаку.

Приглашение было многозначительным: фортуна снова поворачивалась к Рычкову улыбающимся лицом. Будущий военный диктатор (в том, что Колчак станет диктатором, генерал не сомневался) нуждается в его военных знаниях, его опыте, генеральском авторитете его, наконец!

— Мне, старому вояке, пристало больше разговаривать со вражескими пулями, чем с походными кухнями, — сказал он Голицыну.

Погасшая было страсть — находиться на виду у высокого начальства — опять всколыхнулась в душе Рычкова. Он долго и беспокойно обдумывал, в каком виде явиться к Колчаку.

— Там будут все эти импульсивные мальчики — Гайды, Гривины. Прилично ли мне, георгиевскому кавалеру, прийти без крестов?

— Тогда надень свои кресты, — посоветовал Голицын.

— Но тактично ли? У меня два «Георгия», у Колчака только один?

— Тогда не надевай.

— Мои кресты боевые, чего мне их стесняться?

— Тогда надень...

К Колчаку явились действительно личности самые близкие: Рудольф Гайда, английский консул Престон, Гривин, Войцеховский.

Перед началом совещания Колчак спросил у Голицына:

— Следствие по делу цареубийц окончено, князь?

— Да, и цареубийцы расстреляны...

— Я бы начал повторное следствие. Его королевскому величеству Георгу Пятому небезынтересно знать, что мы вновь расследуем святотатственное преступление большевиков.

Голицын повел по Колчаку скорбными глазами, торопливо потер ладонь о ладонь.

— Его величество мой король будет признателен,— подхватил Престон, довольный, что Колчак коснулся темы, волнующей его самого.

— Главные преступники ускользнули от карающей десницы. Все обстоятельства злодейского убийства государя императора нами выяснены. Не понимаю, что еще надо выяснять,— раздраженно ответил Голицын.

— Мы еще вернемся к этому разговору,— глухим, неблаго-

звучным голосом пробормотал Колчак, проходя к столу. Сел, положил худые руки на яшмовую многоцветную столешницу, глянул в заснеженное окно.

Все ждали, когда Колчак заговорит, но каждый думал о том, какую роль он сам будет играть в приближающихся событиях. Каждый преувеличивал собственное значение и жаждал роли выдающейся.

— Россия и наши союзники ждут от нас решающего наступления,— начал Колчак. — Как русский я понимаю общее желание быстро и навсегда покончить с большевизмом. Это решающее наступление начнется в ближайшие дни. — Колчак подался вперед, узкий профиль его отразился в полированной яшме столешницы.— Оно начнется отсюда, с Урала, в северном направлении. Мы пойдем стремительным маршем на Пермь, на Вятку и дальше к Москве. В районе Вятки наши армии соединятся с английскими войсками, что наступают из Архангельска на Котлас. В борьбе с красными мы обопремся на твердую, дружескую руку англичан...

Престон сидел закинув ногу на ногу, сложив руки на коленях, загадочно улыбаясь. Генерал Рычков понял его сияющую улыбку как торжество Великобритании над всеми соперниками в Сибири и на Урале.

Генерал Рычков видел, как нетерпение охватывало Гайду. Он приоткрывал широкие лягушачьи губы, жмурился, ежился, приподнимался со стула. Когда Колчак замолчал, Гайда вскочил и, сверкая золотозубым ртом, патетически воскликнул:

— Ваше превосходительство! Сибирская армия предлагает вам принять верховную власть в России. Армия больше не доверяет омской Директории и не хочет сражаться за нее...

— Военные желают иметь военного диктатора,— поддержал Гайду Войцеховский.

— У вас славное имя, мы сделаем его популярным. Отныне наши сердца принадлежат вам, ваше превосходительство,— сказал Гривин.

Генерал Рычков решил, что наступил удобный случай напомнить о себе. Он вынул из-за отворота мундира аккуратный лист, жирные складки лица его засветились угодливой почтительностью.

— «При мысли о твердом правителе мы наполняемся светлой радостью. Это радость тех, кто отдает свою жизнь для блага России, погибающей под немецко-еврейским игом. Поэтому мы провозглашаем Александра Васильевича Колчака верховным правителем земли русской»,— прочитал генерал Рычков торжественным голосом. — Обращение подписано офицерами Особого казачьего полка, офицеры армии присоединяются к нему, ваше превосходительство.

Тогда все окружили Колчака плотным говорливым коль-

цом. Он не успевал поворачивать головы и отвечать. Наконец сказал:

— Благодарю вас, но дайте мне подумать...

37

После гибели отца Ева ушла из Сарапула к дяде — воткинскому священнику Андрею Хмельницкому.

Давно ли Ева жила жизнью, состоящей из домашних занятий, чтения, прогулок над Камой: ничто не нарушало спокойный ритм ее времени, даже скука. Девушка не скучала потому, что жила на природе, уносясь мечтами в будущее, неясное, как лесной дымок. Счастье ее было полным — она еще не научилась возвышать себя над природой, еще умела находить общий веселый язык с животными и птицами. Звери и птицы говорили с ней выразительными лесными глазами, мягкими, неугрожающими позами.

У Евы было два настоящих друга: старая вороная кобыла и молодой великолепный пес. Мятежники убили собаку, увели на живодерню кобылу. Каждую ночь Еве снились печальные глаза лошади и лукавые глаза собаки. Она просыпалась с ощущением боли, выскальзывала из дому, уходила в лес. В лесу бродили туманы, сосны возникали из тумана, словно из сна, розового от рассвета.

Четырех лет Ева осталась без матери; отец воспитывал дочку просто, но строго. Он сам учил ее грамоте и труду и был доволен, что Ева умеет косить сено, править лодкой, доить корову, скакать на лошади.

— Своим дворянством не кичись, а род помни, — говорил он дочери. — Не забывай: твоя прабабка — Надежда Андреевна Дурова...

К памяти героини 1812 года отец и дочь относились благоговейно. На стене кабинета висел портрет Дуровой в мундире уланского Литовского полка; в спальне дочери на рабочем столике стояла резная палисандровая шкатулка. В ней хранились два томика: книжка «Девица-кавалерист. Происшествие в России», изданная в 1837 году, и номер журнала «Современник». В номере был опубликован отрывок из записок Дуровой с предисловием Пушкина. Ева наизусть выучила пушкинские строки: «С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины столь необыкновенной, с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».

Гордость легендарной прабабкой была равнозначна только любви к отцу. Отец для Евы являлся самым справедливым, самым благородным. Когда контрразведка мятежников арестовала отца и бросила в баржу смерти на пристани Гольяны,

Ева без колебаний пошла в дивизию Азина. Спасти отца не удалось, но кровь его требовала возмездия.

— Я обязана отомстить. У меня не будет соглашения с убийцами, как нет его между раной и ножом,— шептала она перед портретом прабабки. — Я убью убийцу отца!

Ева взяла прабабкин пистолет: оружие восемьсот двенадцатого года сохраняло в себе вековую тяжесть, но казалось смешным. Проржавленный уланский пистолет напомнил Еве: в трагические минуты особенно нужны спокойствие духа и мужество сердца. А храбрость дремала в ней, как огонь в дереве.

Ева хотела дать клятву перед портретом прабабки, что будет мстить за отца. Клятвы не получилось: она не сумела выразить мысли,— общая беда всех смелых мужчин и женщин, не понимающих, что искреннему чувству не нужны слова.

Ева отвела взгляд от молодых мудрых глаз прабабки и вынула из палисандровой шкатулки браунинг. Патроны походили на мелкие желуди, и револьвер казался еще более смешным, чем длинноствольный пистолет прошлого века. Ева спрятала браунинг в сумочку, закрыла дом на замок.

С Камы дул ледяной октябрьский ветер, заречье косматилось пожарами, дороги, разбухшие от воды, покрылись льдом и были особенно противны своей голизной. Все стало голым и безобразным, кроме голого, но прекрасного неба.

Под Воткинском унылый бор все-таки развеселил Еву. По обочинам дороги на соснах виднелись свежие и старые затесы. Ева заинтересовалась ими: на побуревших от времени, забрызганных смолой затесах чернели стишки:

Красные! Смазывайте пятки
До самой реки Вятки!

Ева перешла к соснам со свежими затесами. На них крупный, еще не окрепший почерк вывел:

Белые ж...! Мать-перемать!
Вам до Байкала штанами мотать!

Ева рассмеялась. Ее не оскорбляла обнаженная грубость стишков: даже нравилось, что есть кто-то, безбоязненно издевающийся над убийцами.

Она пришла в Ижевск под вечер: ее пропустили сторожевые посты. Ева не разбиралась в военных укреплениях, но видела — мятежники создали сильную оборону. Линии колючей проволоки, опорные пулеметные гнезда, надежные блиндажи устрашали неопытных и робких.

Над городом разносился редкий грустный звон соборного колокола: богомольцы спешили к вечерне. Ева обгоняла купчих, закутанных в оренбургские платки, чиновника с обреченной на беду физиономией, но столкнулась с грязным, оборванным стариком. Старик взмахивал руками, как ворон; грудь его

была засеяна георгиевскими крестами, орденами Анны и Станислава, медалями страховых обществ.

— По безумным блуждая дорогам, нам безумец открыл новый свет! Что наша жизнь? Игра! Фельдфебели играют человеческими головами! Но кто играет — проиграет свою игру всегда! — Сумасшедший потряс над головой синими от стужи руками и скрылся за мокрым заплотом.

«Город стал притоном предателей, пристанищем сумасшедших,— со злорадством подумала Ева. — Подленькие людишки царствуют в Прикамье. Они боятся своего прошлого — прошлое преступно их преступлениями. Они боятся и будущего — будущее угрожает им возмездием. Все для этих людей кончится скверно».

Она без труда разыскала деревянный домик своего дяди. Отец Андрей поразился ее появлению не меньше, чем утопленнице, которая вышла бы из заводского пруда.

— Слава Иисусу Христу, пришла! Жива, цела, невредима. Знаю. Все знаю, и о гибели брата моего знаю,— голос отца Андрея прозвучал так проникновенно и горестно, что Ева зарыдала.

Отец Андрей смущенно высморкался. Он, всю жизнь утешавший русских баб евангельскими словами, не осмелился повторить их Еве. Стыд удержал его от лицемерия, потому что он сам осудил своего брата. Когда начальник контрразведки Солдатов сообщил отцу Андрею, что брат его Константин арестован за укрывательство большевиков, он ответил:

— Если это правда, его надо повесить. Но я надеюсь, что это — неправда...

Отец Андрей торопливо перекрестил Еву.

— Живи тут у меня, хозяйничай. В кабинете офицер, господин Долгушин, ночует, на постой его пустил. Человек высокообразованный, дворянин казанский, но при нем все же об отце разговаривать остерегись, Долгушин красных люто не любит.

Ева поселилась в угловой горенке; изразцовая печь в голубых теплых лилиях, фикусы в кадках, иконы в золотых и серебряных окладах, тишина, пахнущая сушеной мятой, казалось, отрешали от мирской суеты. Но все это только казалось. Уже давно нет на Руси покоя, не было его и в смятенной душе Евы.

А в Ижевске три человека вершили судьбу города. В этот триумвират входил командующий армией капитан Юрьев, начальник штаба Граве и командир полка имени Иисуса Христа ротмистр Долгушин. Начальник контрразведки, он же и военный комендант фельдфебель Солдатов был только исполнителем их воли. Он делал свое смертоубийственное дело, боясь триумвирата и тайно ненавидя его.

— Что скажете о новом приказе нашего фельдфебеля? — Капитан Юрьев подал ротмистру Долгушину и Николаю Николаевичу обширный, как цирковая афиша, приказ.

— «Все, от мала до велика, на рытье окопов! Лопатой преградим путь Ленину на Урал! Только лопата и штык спасут Ижевск!» — Долгушин отбросил приказ. — Стиль чисто фельдфебельский. Солдатов никогда не поймет, что часто оборона кончается поражением.

— Верно! Пассивная оборона смерти подобна,— подтвердил Николай Николаевич. — Красные коварны и храбры, в смелости их не сомневаюсь. Но ведь надо же помнить — мы вдвое превосходим красных числом. Правда, армия наша — толпы бестолковых мужиков и мастеровых, но ведь и у красных такая же! А двойное превосходство в силах — убедительнейшая вещь! Поэтому я — сторонник наступления...

— Наступление, атака, штурм — настоящие методы гражданской войны,— перехватил нить разговора Долгушин. — Маленькие, но дисциплинированные, хорошо вооруженные армии дороже полчищ сброда.

Капитан Юрьев, вытянув трубочкой губы, незаметно сплюнул, он предпочитал молчать, боясь выдать свою некомпетентность. А Долгушин вскочил с места, на лице его появилось мрачное выражение.

В последние дни ротмистр вынашивал всевозможные планы разгрома дивизии Азина на подступах к Ижевску. Были разобраны и отброшены разные варианты, но Долгушина внезапно озарила простая и великолепная в своей простоте идея. Сперва бледная, неопределенная, казавшаяся невозможной, идея эта постепенно приобретала жемчужный блеск победы. Для воплощения ее хорошо подходили офицерские роты его полка.

— Русские офицеры всегда отличались дисциплиной. Умри, но сохрани свое знамя! Умри, но спаси свою честь! Умри за веру, царя и отечество! Можно сколько угодно варьировать обстоятельства, в которых погибает русский офицер, но он погибает как рыцарь долга и чести. Рыцарский дух русского офицерства не исчез вместе с царской армией. Офицеры по-прежнему мозг и душа наших полков, во всяком случае моего полка имени Иисуса Христа. Коварству и смелости красных я решил противопоставить волю, мужество, презрение к смерти наших офицеров и... и... психологию! Да, и психологию, господа, и незачем удивляться. Я брошу своих офицеров в психическую атаку против красных. Что такое? А, да, вас поражает неожиданное сочетание слов: атака и психология! Военным специалистам еще не известен такой термин — психическая атака? Что ж, они скоро его узнают. Это мой термин. Я его выдумал для своей, еще никем никогда нигде не применявшейся атаки...

— Не представляю, что это будет? — сокрушенно спросил Юрьев.

— И мне не совсем ясно,— сказал заинтересованный Граве.

— Всем известно психологическое воздействие внешней, декоративной стороны войск на людские толпы,— ответил Долгушин. — И действительно, в слитности, в точности, согласованности движений, стремительном темпе марширующих войск, блеске знамен, возбуждающем реве оркестров таится гипнотизирующая сила. Она возбуждает солдат, опьяняет военачальников, устрашает обывателей.

Эта блестящая военная сила кажется неодолимой на всяких маневрах и парадах. Особенно страшной представляется она нашим мужичкам — серой и вообще-то очень мирной скотинке. А теперь вообразите, господа, как с развернутыми знаменами, под рев оркестров быстрым, парадным шагом пойдут офицеры полка имени Иисуса Христа? Одним своим видом, презрением к противнику, к собственной смерти они психически разоружат толпу. Они поселят страх, и все обернется паникой. А паника всегда гибельна для бегущих. Самое главное в такой атаке — выдержать нарастающий темп движения, неразрывность рядов, величавое спокойствие атакующих. Разумеется, командиры идут впереди.

— Это божественно! — воскликнул капитан Юрьев, и румянец заиграл на его припудренных щеках.

— Даже я увлекся вашим романтизмом войны,— сказал Граве. — Готов идти в психическую атаку...

В этот вечер Долгушин рано вернулся к отцу Андрею. Хотя священник и познакомил его со своей племянницей, Долгушин не обратил на нее внимания. Всегда сумрачному ротмистру была безразлична такая же пасмурная девица. Долгушин предпочитал пофилософствовать с отцом Андреем о событиях быстротекущей жизни за рюмкой вина.

Отец Андрей встретил постояльца собранным на стол ужином, бутылкой смородиновой настойки. Ротмистр и священник ужинали, громко разговаривая. Ева в полуоткрытую дверь слышала каждое слово.

— Тревожно на душе, Сергей Петрович, все боязнее жить,— жаловался отец Андрей. — Неужели господь оставит нас в роковые минуты? А ведь предчувствую — не только православному воинству, но и священнослужителям придется вставать против антихристова семени...

— Крест советую держать в левой руке, а в правой маузер. С крестом хорошо, с маузером надежнее,— мрачно заметил Долгушин. Он рассказал о задуманной им психической атаке.

— Иисусе Христе, помилуй мя грешного! — перекрестился отец Андрей.

— На бога надейся, да сам не плошай — старая пословица,

ваше преподобие,— усмехнулся Долгушин. — Я не люблю словесной шелухи, я — человек действия. Сам поведу свой полк в психическую атаку.

Ева невольно запоминала каждое слово Долгушина: слишком невероятной показалась ей картина психической атаки, только что нарисованная ротмистром. Вдруг она насторожилась: ротмистр уже говорил о другом.

— Солдатов и Чудошвили уничтожили несколько тысяч человек, половина из расстрелянных — никакие не большевики. Возьмите хотя бы баржу смерти в Гольянах, которую так ловко увели красные из-под носа нашей контрразведки. На этой барже Солдатов и Чудошвили успели погубить триста человек, в том числе и вашего брата...

Долгушин закурил папиросу и долго молчал, глядя на скорбный лик богородицы. Взгляд его упал на приоткрытую дверь в горенку: как ни тихо сидела Ева, ротмистр догадался о ее присутствии.

— Там кто-то есть,— указал он пальцем на дверь.

— Ева, это ты? — спросил отец Андрей.

Ева выглянула из-за двери; Долгушин встал и поклонился.

— Я мешаю вашей беседе? — сказала она. — Могу прогуляться.

— Нет, нет, что вы! — засуетился Долгушин. — У нас нет никаких секретов.

— Посиди с нами, побалуйся чайком. — Отец Андрей удивился тревожному виду племянницы.

С той минуты, как Долгушин заговорил о начальнике контрразведки Солдатове, Ева слушала все внимательнее, напряженнее.

— Фельдфебель Солдатов и его помощник Чудошвили приносят больше вреда белому движению, чем целая дивизия красных,— продолжал Долгушин, принимая от Евы чашку с чаем. — Негодяи, на которых негде ставить пробы. Душегубы! Я знаю одного полубезумного купчишку, больного манией преследования. Купчишка этот выдумывал себе врагов, даже письма, полные угроз, писал в собственный адрес. И кидал их в почтовый ящик. А когда письма приходили к нему, читал, закрывшись на затвор. Потом со страху бежал в полицию. Вот таков и Солдатов, только погнуснее, потому что обладает властью. Он и провокатор, и жандарм, и судья, и палач...

— Почему же его не уберете, если он такой мерзавец? — спросила Ева.

— Теперь все измерзавились, а в контрразведке особенно. Замените Солдатова хотя бы Чудошвили, но ведь один негодяй равен другому. Если Чудошвили убивает деревянной колотушкой мужичков на барже, так почему же ему не повторить такое убийство в масштабе всей России? Дорвется до власти и — раззудись рука, размахнись плечо.

— Этого не может быть! — категорически возразил отец Андрей.

— В России все может быть, ваше преподобие. Были Иван Грозный, Малюта Скуратов, были и другие. Почему же не появиться этакому новому Чингисхану? Я даже не могу вообразить последствия его убойной деятельности,— говорил, все более мрачнея, Долгушин.

Опасная мысль, запавшая в голову Евы, уже не покидала ее. Еве стало казаться совершенно необходимым уничтожение начальника контрразведки Солдатова. С этой мыслью она делала домашнюю работу, ходила на прогулки, читала книгу. Ева старалась смирить себя и жарко молилась, а наваждение не проходило. Образ отца возникал в ее памяти и властно требовал возмездия.

...Сутолока военного учреждения захлестнула Еву своими особенными нервными звуками, обманчивой самоуверенностью, тревожной деловитостью. У дверей вытягивались часовые, машинистки трещали ундервудами: из-под их розовых пальчиков выскальзывали приказы, неумолимые, как пули. Дежурный офицер за столом, испуганная очередь посетителей, парадный шик комендатуры как бы утверждали незыблемость белой власти.

Ева встала в очередь за женщинами, измученными бедой и бессонницей. Жители предместий испуганно смотрели на дежурного — от него зависело спокойствие нынешнего дня и надежда на завтрашний. Скажет, не скажет о судьбе родных и близких? Поручик, словно отчеканенный на таинственной военной машине — строгий и вежливый, ясный и замкнутый одновременно,— механически отвечал на робкие вопросы:

— Приходите завтра. Что с вашим мужем — пока неизвестно. Судьба вашего сына зависит от него самого. Вы зачем, мадемуазель? — Дежурный не мог скрыть своего восхищения при виде Евы.

— Я хотела бы видеть господина Солдатова.

— Он вызывал вас, мадемуазель?

— Да, вызывал,— солгала Ева, запотевшими пальчиками сжимая спрятанный за пазуху браунинг.

— Одну минутку, мадемуазель. — Поручик выскользнул в соседний коридор.

Ева видела, как ощупывали ее взглядами машинистки, часовой у двери, какие-то чересчур аккуратные офицеры. Подозрительно долго не возвращался дежурный. Наконец он вернулся, попросил уже равнодушно:

— Прошу пройти. Четвертая дверь налево.

Ева подошла к двери, на ходу перепрятав браунинг в карман шубки. Открыла дверь в просторную, сиреневую от обоев комнату и увидела Долгушина, стоявшего у окна. То, что Долгушин оказался в кабинете Солдатова, было совершенно

непредвиденным обстоятельством, и Ева растерялась. Ротмистра тоже озадачило появление Евы.

— Что вам угодно? — раздалось справа. Солдатов стоял в углу, опершись кулаками в спинку стула; разноцветные глаза следили за девушкой.

Не отвечая, Ева выдернула браунинг, но Долгушин ловко перехватил ее руку. От щелкнувшей пули посыпалась с потолка штукатурка.

— Ах ты, сволочь! — Солдатов приподнял стул, с размаху ударил им об пол. — Ты у меня сейчас запоешь, ссука! Я с тобой поговорю с пристрастием,— Солдатов шагнул к Еве.

— Я спас тебя от пули, поэтому я и допрошу ее,— твердо возразил Долгушин. — Думаю, юная террористка не станет запираться.

— Ладно, допрашивай,— согласился Солдатов и засмеялся нервно, хрипло.

Долгушин привел Еву в свой кабинет. Усадив вздрагивающую девушку, прикрыл двери.

— Ну? — спросил он с тихой злостью. — Что это вы затеяли? Для чего вам понадобилось стрелять в Солдатова? Тоже мне политическая фигура. — Он выбросил на стол браунинг Евы. — Из этого пистолетика вороны не убьешь, не то что Солдатова. Зачем такое глупое покушение? Скажите откровенно, я еще могу спасти вас от пули.

— Как спасли от моей пули палача и провокатора? До этой поры я ненавидела одного Солдатова, теперь ненавижу и вас...

— Все это вздор — ненависть, месть, любовь. Отвечайте на вопрос.

— Солдатов убил моего отца. Я хотела казнить палача.

Долгушин тут же вспомнил: «Азин расстрелял мою мать в Арске, я поклялся отомстить убийце». Он раздвинул штору, посмотрел в окно.

— Вам нельзя оставаться в Ижевске,— сказал он. — Уходите сейчас, немедленно, куда угодно. Не попадите только в лапы красных, они в пятнадцати верстах от города. Красные вряд ли будут снисходительны к дочери русского дворянина. Пойдемте, я провожу вас...

Пугаясь встречи с патрулями мятежников, Ева блуждала по окрестным лесам, пока не вышла к длинному, узкому озеру. За озером слышалось пыхтение паровозов, стук вагонных колес, но в дымных сумерках не было видно железнодорожной линии. Ева набрела на проселочную дорогу, пошла по ней к железной дороге.

Ее задержал красный патруль, привел в сторожку путевого обходчика. Дежурный придирчиво и дотошно стал выяснять, кто она такая.

— Я из Ижевска. Сообщите обо мне командиру дивизии Азину,— ответила Ева.

— Ишь ты,— присвистнул дежурный. — Доложи о ней Азину. А может, ты самая что ни на есть белая контра? — Дежурный добродушно рассмеялся и стал названивать по телефону.

Он звонил невыносимо долго, спрашивал, отвечал сам. Прикрыв ладонью урчащую трубку, обращался к Еве:

— Как твое божье имя-хвамилья? — И кричал в трубку: — Евой девку кличут. Чё, обратно не понял? Емельян, Василий, Антон... Во, теперь верно, Е — В — А... Ну чё ишо, чё ишо? Она же бает — самого Азина хорошо знает. Мало ли кто его знает? Тоже верно. — Дежурный уныло повесил трубку. — Не признают тебя, товарищ мадам. Придется до утра заарестовать. — Дежурный сбросил неловким жестом со стола листок.

Ева подняла бумажку, положила перед дежурным.

— А ты чти, чти,— посоветовал он, опять берясь за телефон. — Чти, полезно и девке прочесть.

— «Клятвенное обещание,— прочитала Ева крупные красивые буквы. — Если ты молод, силен и здоров, если ты не трус и не желаешь быть снова рабом, НЕ МЕДЛИ... Измучен борьбой и устал твой брат — красноармеец, защищай советскую землю. НЕ МЕДЛИ! Спеши на помощь к нему. Исполни свой долг перед ним. НЕ МЕДЛИ! Помоги ему в священной борьбе за свободу. Спеши на помощь. ИДИ, ИДИ!»

От проникновенных, задушевных слов возникало желание совершить что-то необыкновенное и хорошее. Но никто не нуждался в Еве: она чувствовала себя одинокой и чужой в этом ночном осеннем мире. Драматические события отлетевшего дня вызвали полное безразличие ко всему, даже к самой себе. Ева откинула голову и задремала. Поздней ночью ее разбудил дежурный:

— Проснись, девка, приехали за тобой. Сам Азин тебя в штаб востребовал...

Ева смотрела на Азина совершенно новыми, заинтересованными глазами. Было приятно видеть, как он разволновался, узнав о ее покушении на Солдатова.

— Разве можно так нелепо рисковать собой? Вас же спасло чудо, если можно назвать чудом прихоть белого офицера,— говорил Азин. — Ротмистр Долгушин? Мне знакомо это имя по Казани. Да, знакомо, и связано оно с неприятным воспоминанием.

— Я была невольной свидетельницей разговора Долгушина с моим дядей,— сказала Ева. — Долгушин готовит против вас психическую атаку.

— Что, что? — спросил Азин. — Как вы говорите — психическую атаку?

Ева, как могла, рассказала о психической атаке, задуманной Долгушиным.

— Очень интересно! Этот Долгушин совсем не дурак. Спа-

сибо вам,— поблагодарил девушку Азин. И, подумав, спросил: — А что вы думаете делать, Ева?

Она ответила сразу же, как о давно решенном:

— Поступлю добровольцем в вашу дивизию. Я могу быть телефонисткой, сестрой милосердия. Умею ездить верхом и даже, даже,— Ева смущенно покашляла,— даже стрелять из браунинга.

— Вы любите лошадей? Я тоже от них без ума. — Азин улыбнулся внезапно пришедшей веселой мысли. — У меня есть смирнейшая кобыла Юська. Лупил у нее под ухом из маузера, пока не приучил к выстрелам. Чудесная лошадка, я дарю ее вам.

38

По бревенчатым стенам лесного полустанка Юски хлестал ветер, косыми леденящими полосами пробегал дождь; в зыбких косяках раскачивались, глухо шумя, пихты.

Командарм одернул суконную гимнастерку, пригладил ладонью торчащие волосы. Все еще хмурясь — он не терпел эффектных фраз,— заговорил:

— Мы солдаты и знаем, что такое дважды превосходящие силы противника. А наш — умный, опытный, хорошо вооруженный — противник станет драться отчаянно. — Командарм приостановился, будто прислушиваясь к барабанящему в окно дождю. — У нас же есть мужество великой и справедливой идеи. Мы сражаемся за все, что нам дала революция. Завтра — седьмое ноября. Завтра на рассвете мы начнем штурм мятежного Ижевска. Командующим всеми войсковыми частями назначаю Азина. Предупреждаю: подкреплений не просить. Их нет. Патронов не требовать. Их нет. — Шорин чуть усмехнулся в жесткие усы. — Я хотел сказать — патронов самая малость, все равно что нет. Никаких дополнительных приказов не ждать, каждый командир действует по обстоятельствам. И каждый должен сделать все возможное и все невозможное для освобождения Ижевска. В добрый час!

Азин так и не уснул в эту предпраздничную ночь. Перед рассветом он почувствовал неясное беспокойство: все, казалось, было хорошо, все надежно, на исходных позициях стоят боевые полки. Центральную позицию перед городом между деревнями Завьялово и Пирогово занимают части Третьего сводного полка Северихина. В отваге его Азин не сомневался. Не волновался он и за Четвертый полк: Чевырев уже вышел на берег озера около оружейного завода. На правом фланге стоят Полтавский и Смоленский полки. Все казалось ясным и обоснованным: сперва артиллерийская подготовка, потом Северихин, Чевырев, Дериглазов начнут штурм.

При всей точности плана операции неясное беспокойство не

оставляло Азина. Все думалось: упущены какие-то мелочи, которые могут изменить ход событий. Азин с неохотой поставил на стыке центра и правого фланга только что прибывший из-под Казани Второй Мусульманский полк. Полк этот сформирован наспех из дезертиров, мешочников, спекулянтов. Сейчас уже нет времени что-то изменять в плане штурма, Азин лишь запомнил: Второй Мусульманский ненадежен. Да вот еще Воткинск! Чтобы лишить ижевских мятежников помощи из Воткинска, Шорин приказал перебросить Первый пехотный полк. Пехотинцы пройдут в эту ночь сорок верст, чтобы на воткинской дороге соединиться с матросским отрядом Волжской флотилии. Успеют ли они подойти, соединятся ли?

Азин не только нервами — кожей своей ощущал приближение грозных минут. Не выдержав беспокойства, он надел полушубок, вышел из вагона.

От земли поднимался туман, и был он новой непредвиденной случайностью. В сырых передвигающихся завесах все стало зыбким, неопределенным, угрожающим. Вязкая мгла скрывала рельсы, кюветы, лес, в котором есть безымянное озеро. На его берегу Четвертый полк Чевырева готовится к захвату оружейного завода.

Азин думал о том, что рядом, в сосняке, ивовых кустах, неубранной конопле, притаились красноармейцы. Вокруг сыро, промозгло, знобко; ни человечьего вскрика, ни железного лязга в этой туманной, полновесной, болезненной тишине.

Из кустов неслись слабые шорохи, трески, шепотки. За спиной Азина кто-то шумно вздохнул, и он увидел лошадиные ноги, шагающие к нему. За лошадьми выплыла легкая черная фигурка.

— Еще слишком рано, Шурмин,— сказал Азин. — Спал бы, я бы тебя разбудил.

— Не могу я спать в такую ночь.

Из тумана черными зеркалами проявлялись затоны извилистого озера. Начинаясь у железнодорожного полотна, озеро уходило к северной окраине оружейного завода. Там оно превращалось в непроходимое болото.

Если туман сердил Азина как неожиданная помеха, то Чевырева он радовал, словно добрый союзник. Туман позволял Четвертому полку перейти через озеро и незаметно подобраться к заводским цехам. Чевырев выслал разведчиков и, сидя на корточках, грел руки над робким, желтым, как цветок подсолнуха, костерком.

Азин и Шурмин появились из тумана бесшумными тенями.

— Озеро глубокое? — спросил Азин.

— По горло на самых мелких местах. Пулеметы над башками нести придется.

— Пора бы начинать переправу...

— Разведчиков жду, вот-вот вернутся.

— Ты не забыл, какой сегодня день?

— Пятница. А что?

— Праздник! Седьмое ноября. Годовщина революции, а не простая пятница.

— Смотри-ка ты, а я и вправду забыл,— удивился Чевырев.— Господи боже, кто-то выживет из нас в этот великий день?..

Послышались всплески воды, на берег вскарабкался полуголый разведчик. Фыркая, отряхиваясь, подпрыгивая на одной ноге, он сообщил вятским быстрым говорком:

— Прошвырнулся по тому берегу, значица. До самого до завода проколесил, чисто-начисто пусто. А на заводском дворе, значица, хоть лопатой беляков огребай. Видел своими глазами, до самого заплота доползал...

— Приготовиться к переправе,— отдал короткую команду Чевырев. По невидимым кустам прокатился настойчивый шепоток: приготовьсь, готовьсь, товьсь...

Чевырев стал раздеваться, не видя, но угадывая, что рядом разоблачаются его бойцы. Оттого что сотни людей вместе с ним войдут в студеную воду, он почувствовал себя бодрее. «Мятежники не выставили даже дозоров, уверены, что мы не полезем через озеро. А ведь в таком тумане нас можно накрыть, как перепелов».

Чевырев вошел в озеро: по телу побежали острые мурашки, озноб подобрался к горлу, ноги увязали в донном иле. Он видел только одни головы да пулеметы и винтовки, поднятые над ними.

Чевырев посмотрел на только что оставленный берег. Туман редел, выдвигая из своих глубин все новых и новых красноармейцев. Ухая от морозящей воды, они вбегали в озеро, поднимая на вытянутых руках оружие. Твердые, зоркие глаза Чевырева не смогли разыскать на берегу ни Азина, ни Шурмина.

...Часам к десяти утра туман стал расходиться. В дымном от непрекращающихся пожаров небе появилось чахлое, без золотого блеска, солнце. В его вялом, равнодушном свете особенно жалкими казались деревушки Завьялово и Пирогово, грязные холмы, голые березы на них.

За этими холмами был Ижевск.

За этими же холмами скрывались многоверстные окопы с пулеметными гнездами, опутанные колючей проволокой. Заграждения тремя ощеренными рядами с востока, юга и запада прикрывали мятежный город.

В это мокрое праздничное утро Азин, сопровождаемый Шурминым, объезжал позиции, хотя и без того знал расположение всех полков и рот. Он ехал рысью, весело поглядывая на своего юного связного, то и дело поправляя красный шерстяной шарф на груди. По широкому, бросающемуся в глаза шарфу бойцы отличали его от всех командиров.

Азин видел, как расслаивался, истаивал туман, а вместе с ним улетучивалось и недавнее беспокойство. В Азине появилась уверенность в успехе штурма. Как зародилась эта уверенность, он не мог бы объяснить даже себе, но она дала ему бодрость, ясную силу и ту легкую приподнятость, что так необходима в самые напряженные минуты.

Азин проехал на позицию Северихина. Красноармейцы узнали его, невыспавшиеся лица их улыбались.

— Твои бойцы измучились от одного ожидания, а, Северихин?

— Когда будет сигнал к штурму? — спросил Северихин.

— В одиннадцать часов. Жди орудийного залпа. Полчаса осталось,— сказал Азин.

— Самосаду нету. Перед штурмом покурить страсть как охота.

— Держите! — подал Шурмин пачку махорки. — Мой солдатский паек, пять дней в кармане таскаю.

— Вот это подарочек, да еще в день седьмого ноября!

Северихин сразу же набил трубку. Раскуривая, наклонил голову, к чему-то прислушался.

— Ты ничего не слышишь? — внезапно спросил он Азина.

— Нет, ничего. Нет...

— Духовой оркестр где-то играет...

Теперь уже все уловили звуки оркестра. Азин приподнялся на стременах, вытянул шею, завертел головой. Лутошкин сказал:

— А я и мелодию узнаю. «Наверх же, товарищи, все по местам». Ну да, мелодия «Варяга».

За бурыми холмами росла лихорадочная волна музыкальных звуков. Она катилась к Завьялову и Пирогову, и, как бы уступая ей дорогу, смолкали все посторонние звуки.

На одном из холмов сверкнули под солнцем медные трубы, тарелки барабанов и появились музыканты. За ними возникли черные, размашисто шагающие цепи. Первая, вторая, и пятая, и десятая — шли дворянские, купеческие, кулацкие сынки. В стремительном темпе взлетающих ног была какая-то твердая механическая сила.

— Они опередили нас! — крикнул Азин. — Давай, Шурмин, скачи к Дериглазову. Пусть подпустит офицеров как можно ближе, а потом из пулеметов их!.. А хорошо, черти, идут! Пьяны, что ли? Северихин, полное спокойствие. Собьешь их с парадного шага, кавалеристы довершат дело. — Азин помчался к полустанку, где находился кавалерийский полк.

Над передней цепью, шагавшей с особенным шиком, клубилось бело-зеленое знамя, открывая скорбный лик Иисуса Христа. Рядом со знаменем, вздымая над головой большой крест, шел чернобородый священник. Сбоку от него шагал офицер в кавалерийской фуражке, с маузером в руке. Северихин приме-

тил и правофлангового: грузин в алой черкеске самозабвенно вскидывал левую ногу.

— Не страшно, Игнатий Парфеныч? — спросил Северихин, становясь на колени перед пулеметом.

— Тоскливо до боли. Может, эта тоска и есть страх?

После возвращения из плена Лутошкин стал обучаться стрельбе из винтовки. Стреляя по деревянным человеческим фигурам, он испытывал неприятное ощущение: все чудилось, что, находясь в полной безопасности, расстреливает далеких, беззащитных людей. Теперь же, когда Игнатий Парфенович видел идущих офицеров, неприятного ощущения не было. Люди в приближающихся цепях превратились в удобные подвижные мишени. Они двигались все так же равнодушно, блестя штыками, загнанно вздыхая. Игнатий Парфенович скосился на побледневшее, со сжатыми губами и удивленными глазами лицо Северихина. Командир полка, опустив бинокль, смотрел на красноармейцев, притаившихся в кустах, буераках, ноябрьской грязи, освещенных чахлым солнцем, последними облачками испарявшегося тумана.

До передней офицерской цепи оставалась какая-то сотня шагов...

— Девяносто семь, девяносто шесть,— автоматически отсчитывал шаги ротмистр Долгушин. Он шел сбоку колонны, взмахивая маузером. Психическая атака, разработанная им в бессонные ночи, перестала быть болезненной мечтой,— она воплотилась в чудовищную действительность.

Теперь уж никто и ничто не остановило бы этих молодых, сильных людей со штыками, взятыми на руку. Они шли в психическую атаку не потому, что Долгушин опьянил их словами о воинском долге, любви к отечеству, бессмертной славе,— их гнала ненасытная злоба.

— Восемьдесят шесть, восемьдесят пять,— продолжал он отсчитывать шаги. — Я сам иду рядом со всеми. Мы все сейчас как герои. — Долгушин не хотел сознавать, что никогда не будет героев, сражающихся против своего отечества. Внезапно он уловил новый музыкальный ритм оркестра. Понял, что оркестр играет уже легкий, пританцовывающий Егерский марш. Как празднично ревут трубы, с какой удалью ухают барабаны! — Семьдесят восемь, семьдесят семь. — Долгушин убыстрил свой шаг, и вместе с ним ускорила ход и первая цепь. Еще звучнее защелкало бело-зеленое знамя, ярче просиял крест над головой отца Андрея. «Славно идет поп, у него военная выправка, а смелости хватит на двух фельдфебелей. Что за звериная сила в Несторе Чудошвили! Прохвост, каннибал, но в мужестве ему не откажешь». — Шестьдесят пять, шестьдесят четыре... — Долгу-

шин подался вперед, чтобы увидеть первого красноармейца. Красные озираются, испуганно вскидывают головы.

Долгушин уже не шел, а бежал с обезображенным злобой лицом...

Круглые огненные разрывы, дымные смерчи встали за спиной идущих офицеров.

Северихин поднялся из кустов во весь свой высокий рост...

— Огонь! — скомандовал он.

— Огонь, огонь, огонь! — пошло от бойца к бойцу короткое смертоносное слово. Заработали пулеметы, загрохали винтовочные залпы. Голос Северихина растворился в лавинном реве: красноармейцы вскакивали с земли, вырастали из-за кустов...

Дериглазов исполнил азинский приказ — подпустил офицеров на пятьдесят шагов. Он бежал над лежавшими в жидкой грязи бойцами, орал хрипло и грозно:

— Не поднимать башков!

После пулеметных очередей, когда офицерские цепи смешались, приостановились, закрутились на месте, Дериглазов швырнул в них гранату.

— За революцию!

Началась общая схватка: дериглазовцы дрались прикладами, штыками, хватали офицеров за горло, прыгали на них, сшибая на землю тяжестью тел.

Шурмин переживал незабываемый час своей жизни: минуты спрессовались в миги, но время будто приостановило бег. Потеряв ощущение времени и места, он обостренно видел разорванные картины схватки.

На него надвинулось шуршащее тяжелым шелком знамя. Шурмин схватился рукой за древко, знаменосец упал, увлекая с собой и его. Шурмин выбрался из-под знамени, наступил сапогом на лик Христа, отодрал зеленый шелк от древка. Кто-то властно дернул за знамя. Шурмин обернулся. Чернобородый священник замахнулся на него большим серебряным крестом, Шурмин выстрелил. Священник рухнул лицом в грязь.

Новая фигура привлекла внимание Шурмина: здоровенный барабанщик шел к нему, прикрывая грудь медной тарелкой.

Красноармеец-татарин с размаху всадил штык в живот барабанщика: тот, скорчившись, сел на землю. А Шурмин уже видел новую отвратительную картину: грузин, похожий на огромную алую осу в черкеске, застрелив красноармейца, собирался сокрушить прикладом второго. Сзади на грузина прыгнул Дериглазов.

Шурмин вертелся на месте, не выпуская из рук упругий шелк, пока не сообразил: вражеское знамя — прекрасный трофей. Он стал обматывать шелком грудь, но тут что-то ожгло его и швырнуло на убитого священника.

В глазах Шурмина вспыхнул белый слепящий свет, и все почернело.

Азин едва сдерживал желание кинуться в гущу рукопашной схватки. Еще вчера он так и поступил бы. Сегодня же он находил в себе силу — не поддаваться соблазну. Командарм возложил на него ответственность за штурм мятежного города, и страх за возможный неуспех удерживал, и этот страх был важнее самого отчаянного героизма.

Азин следил за психической атакой с высокого бугра около железной дороги. Под бугром в березовой роще стояли кавалеристы Турчина. Он ходил по узкому гребню бугра, поглядывал на далекие дымные, то и дело меняющиеся картины боя, ожидая, когда офицерские цепи попадут под перекрестный огонь Северихина и Дериглазова. Азин надеялся: как только офицеры побегут — кавалеристы Турчина станут рубить, колоть и гнать, и гнать их до самой смертной черты. Кавалерия побеждает внезапностью, и почти невозможно пехоте отбиваться от ее атак. Эту старую, любимую всеми кавалеристами истину знали Азин и Турчин и верили в нее. Но вот психическая атака сменилась рукопашной схваткой, схватка развернулась на трехверстной дуге перед городом, а офицеры все еще не бежали. Военный опыт помогал им больше, чем безумие психической атаки.

Азин почувствовал опасность изменившейся обстановки сражения. Словно подтверждая его опасения, у бугра появился всадник. Азин узнал Гарри Стена, которого он назначил командиром «дикой роты» Второго Мусульманского полка.

Стен без шапки, с лицом, залитым кровью, чуть ли не сваливаясь с седла, крикнул:

— Рота полностью истреблена! Офицеры обошли нас с правого фланга, бойцы Второго Мусульманского бегут...

Азин, готовый к неприятным известиям о Втором Мусульманском, все же был потрясен сообщением Стена. Оттянув на груди красный шарф, он одним махом очутился в седле.

Конная лавина хлынула за промчавшимся с бугра Азиным, вздымая тяжелую грязь. Турчин догнал Азина, и они поскакали к Завьялову, куда сместился центр боя.

Кавалеристы обрушились на офицеров, и началась схватка конницы с пехотой, в которой человеческая жизнь зависит от глупейших случайностей. Азин появлялся в самых опасных местах, но пули, клинки, штыковые удары миновали его.

Над смрадным, захмелевшим от крови, отяжелевшим от грязи, огня и пороха полем висело тусклое негреющее солнце.

Ни красные, ни белые не знали, что сражение продолжается пятый час, что число убитых и раненых с обеих сторон уже достигло двух тысяч. Бойцы Чевырева прорвались на оружейный завод и сражались на дворах, в цехах, на заводской плотине. Но чевыревцы не подозревали, что северихинцы и дериглазовцы

прикладами сбивают проволочные заграждения, рвут их голыми руками, ложатся на зыбкие колючие ряды, что они уже захватили три линии окопов, а теперь с помощью кавалеристов Турчина гонят офицеров в центр города. А все вместе они не ведали, что бронепоезд «Советская Россия» овладел станцией и стреляет из всех орудий по убегающим частям противника, что матросы Волжской флотилии и пехотинцы Первого сводного полка у деревни Динтем-Чабья разгромили воткинцев, спешивших на помощь ижевцам. О последнем событии не знал даже Азин, появлявшийся в самых нужных местах в самый необходимый момент. Связные настигали его то у Завьялова, то в Пирогове, то на вокзале. Торопливо и очень точно докладывали:

— В арсенале засели офицеры. Сдаваться не желают.

— Бить из орудий, пока не сдадутся.

— На плотине много мятежных войск. Можно ли хлестануть из гаубиц?

— Кто будет стрелять по заводу, того я сам расстреляю...

— Горит тюрьма, а в ней люди, тысяча голов...

— Что? Люди горят? — Азин огрел нагайкой кубанца.

Он мчался мимо грязных заплотов, серых домишек, голых тополей по разрытым, в черных блестящих лужах, улицам. Жеребец вынес его к высокой каменной стене, за которой укрывалось мерзопакостное здание с железными решетками на узких окнах. Пожар пока охватил караульные пристройки: часовые бежали, распахнув настежь тюремные ворота. Азин вынесся на просторный булыжный двор, взмахнул шашкой:

— Сво-бо-да!..

В пять часов мятежный город пал.

39

— Я назначаю вас командиром Вольской и Инзенской дивизий. Ваша задача — помогать Симбирской дивизии при штурме Сызрани. Не подведете? — спросил Тухачевский.

— Да пусть п'оклянет меня мать моя! Мой дед ключи от Смоленска Наполеону не сдал, как же я запятнаю свою биог'афию! Пусть буду последним подлецом, если не оп'авдаю вашего дове'ия, Мишель,— клятвенно заверил Энгельгардт, глядя увлажненными глазами на командарма.

— Тогда в дорогу! Действуйте смело, решительно и, главное, быстро,— напутствовал командарм.

Энгельгардт с чувством пожал руки Тухачевскому и Каретскому и, откозыряв, вышел. Они проводили его долгими взглядами и, словно боясь высказать друг другу сомнения, молчали.

— Если бы был другой опытный в военном деле командир, я бы назначил его,— пасмурно заговорил командарм. — Держите с Энгельгардтом постоянную связь, следите за всеми его действиями,— предупредил он Каретского.

Против Сызрани и Самары командарм уже двинул три дивизии и корабли военной флотилии. Главной ударной силой попрежнему была Симбирская дивизия. Получив приказ командарма окружить и взять Сызрань, Гай решил разведать оборону противника с воздуха. В его распоряжении имелся трофейный «фарман»; пилот Кожевников, затянутый в коричневый кожаный комбинезон, в шлеме, похожем на шлем богатыря, кожаных перчатках до локтя, рыжебородый и курносый, восхищал всех. Громыхающий самолет его казался загадочным, страшным, как змей из бабушкиных сказок.

— «Рожденный ползать летать не может»— написал поэт и ошибся. Ползал я по горам, а теперь решил взлететь в небо,— сказал Гай, укладывая в кабину пачки с прокламациями.

— Сперва смотрите на крылья, потом уже на землю,— посоветовал Кожевников. — Это чтоб голова не кружилась.

Они летели в легком голубом небе, над желтой октябрьской землей, над россыпью деревушек, тоскливых и серых.

Гай в бинокль разглядывал позиции белых; сплошные окопы, проволочные заграждения на север и на запад от города.

Самолет пошел на восток, к Волге. Под крыльями проплыли ажурные переплеты железнодорожного моста, путаница запасных путей большой приволжской станции. Здесь не было укреплений, но стояли слабые заслоны войск.

«Зачем атаковать в лоб, когда лучше обойти белочехов с востока»,— решил Гай.

Самолет промчался над Сызранью. Гай заметил людей, следивших за редкостной птицей, стал сбрасывать прокламации. Листовки, подхваченные воздушными вихрями, уносились в сторону. Ощущение от первого полета было острым, приятным и возбуждающим. Гай, словно опьянев, нетвердо шагал по земле.

— Для чего вы брали бомбы? — спросил летчик.

— Так увлекся, что позабыл швырнуть их на головы белых! — Гай отцепил от пояса гранату, передал Кожевникову. — Дарю тебе на всякий случай.

В тот же день начдив созвал совет командиров.

— Командарм приказал взять Сызрань, но для этого нужно форсированным маршем пройти полтораста верст. По полсотне верст в сутки придется шагать! У нас в Армении говорят: идущий в гору приближается к богу. Я переиначу пословицу: шагающий в бой приходит к победе. В нашем стремительном походе не должно быть уставших, отставших, изнемогших: за бодростью духа бойцов надо следить, как за исправностью оружия. После воздушной разведки мне ясно — атаковать противника следует с востока, от железнодорожного моста через Волгу. Приказываю Первой бригаде наступать через Сенгелей и выйти на третий день к Сызранскому мосту. Второй бригаде занять Ставрополь и по левому берегу реки идти на Самару. В поход выступаем сегодня же вечером,— закончил Гай.

...На рассвете третьего октября полки Первой бригады вышли к Волге, в тыл противника. Белые не ожидали нападения с востока, главные силы их вели бои южнее города с Инзенской дивизией. Противник не успел перебросить войска против Гая, красные полки ворвались в город.

Гай преследовал белых по железной дороге, на пароходах по Волге, пешком по левому берегу реки. Одновременно к Самаре подходили части Четвертой армии, в самом городе началось восстание рабочих. Паника охватила Самару, правительство Комуча с русским золотым запасом эвакуировалось в Уфу.

Штаб Первой армии перебрался из Пайграмского монастыря в Сызрань. Каретский разместился в здании частного банка, а для командарма и штабных работников занял особняк бежавшего купца. Особняк был самым красивым домом в Сызрани. Каретский осмотрел его роскошные гостиные, кабинеты, спальни с кроватями из карельской березы, текинскими коврами на полу. Заглянул и в библиотеку. У стен стояли большие, красного дерева шкафы, заставленные книгами. Корешки переплетов, тисненные золотом, поблескивали в сером утреннем свете. Каретский достал одну, вторую книжицу — они оказались мастерски сделанными пустыми корками.

— Форма без содержания, красота без знаний. Гнилой купеческий товарец,— усмехнулся Каретский, подходя к письменному столику, на котором стояли бронзовые часы с фигурками Амура и Психеи. Среди карельской березы и пустых книжных переплетов часы отстукивали минуты, убегающие в прошлое. Каретский положил пальцы на голову Амура.

Раздался певучий звон, головка завертелась, массивные часы отошли в сторону, открывая тайник в стене. Каретский увидел запыленные бутылки.

— Сюрприз славный! Давно не пил французского коньяка.

Каретский не успел вынуть бутылку — позвали к прямому проводу. Вызывал командарм. Каретский следил за телеграфной лентой с таким отвращением на лице, что телеграфист стал читать приглушенно.

«Энгельгардт оказался предателем. С частью работников своего штаба бежал из Кузнецка. Где скрывается изменник, неизвестно. Примите все меры к розыску и аресту Энгельгардта»,— сообщал Тухачевский.

— Мерзавец! Лично расстреляю, когда попадется в руки! — рассвирепел Каретский, но ругань не принесла успокоения. Победа в Сызрани, оскверненная предательством, теряла свой блеск в его глазах.

Вечером в штабе армии было весело и оживленно. Только что были получены вести о взятии Самары: в город вошли Вторая бригада Симбирской дивизии и полки Инзенской. Но раньше всех очутился в городе Гая Гай. Про сумасшедший его поступок рассказал Саблин, примчавшийся из Самары на паро-

возе. Польщенный общим вниманием, он говорил, взмахом руки подчеркивая слова.

— По Самаре еще разгуливают офицеры и спекулянты, еще на вокзале стоят чешские эшелоны,— говорил Саблин,— а над городом появляется самолет с красными звездами на крыльях, садится на каком-то пустыре, из него выходят двое в кожаных комбинезонах, перепоясанные накрест пулеметными лентами, обвешанные гранатами. Вот так и шагают они на почту и приказывают: «Отбейте-ка, барышни: «Всем, всем, всем! Идет народ, тираны, сойдите в могилу. Мы, красный командир Гай и летчик Кожевников, заняли белую Самару...»

— Великолепно! — крикнул Каретский. — Прямо хоть картину рисуй: Гай с маузером в руке диктует стихи Андре Шенье...

— Это не помешало тиранам отрубить голову вашему Шенье,— заметил Саблин.

— Почему вы злорадствуете по любому поводу? — спросил Каретский.

— Может, радоваться мне по случаю измены Энгельгардта? Я всем говорил, что он сукин сын.

На дворе стоял ноябрь — месяц черных троп и палой травы. В небе коченела белая легкая луна, оголенные деревья томились в предчувствии первых заморозков.

Штаб Первой армии тоже томился от ожидания перемен. Среди командиров и комиссаров ходили слухи об отъезде Тухачевского в Москву, о назначении Гая Гай командармом. Штабисты по вечерам собирались в купеческой библиотеке: все словно захмелели от побед, полноты и яркости жизни, от избытка сил. Они были полны надежд и энергии, и командарм стал их кумиром. Одни восхищались полководческим даром юного командарма, другие — его спокойным мужеством. Третьих покоряла его образованность, четвертые радовались, что командарм приказал собирать редкие картины, книги, музыкальные инструменты, охранять исторические памятники. Но были и такие, что не разделяли общего восторга.

— Не пролетарского гнезда воробей,— сказал о командарме Саблин.

Первую годовщину революции Первая армия отпраздновала парадом. Каретский стоял на трибуне рядом с командармом, любуясь недурной выправкой бойцов, тайно гордясь своим сопричастием к созданию не просто Первой по номеру, но первой и по доблести и дисциплинированности армией революции.

— Хорошо идут, а выглядят просто орлами,— шепнул ему командарм. Добавил с усмешкой: — Правда, у наших орлов больно уж затрапезный вид.

Первая армия революции шла в дырявых шинелях, в порыжелых кожаных куртках, в старых сапогах, башмаках, резино-

вых калошах. Шли бойцы, подпоясанные солдатскими ремнями,— двуглавые орлы на медных пряжках были замазаны красной краской; шли с винтовками всех систем.

— Каждому овощу свое время. Придет времечко и для мундиров и для блестящих парадов,— ответил Каретский.

После парада командиры и комиссары собрались в штабе. Каретский зачитал только что полученную телеграмму об освобождении Бузулука Симбирской, теперь официально названной Железной дивизией. «Население Бузулука встречало наши части восторженно, с колокольным звоном и музыкой»,— телеграфировал Гай. После телеграммы Каретский объявил постановление ВЦИК о награждении командиров и комиссаров. Отличившиеся в боях награждались золотыми часами, портсигарами, кожаными куртками и даже серебряными подстаканниками. ВЦИК наградил Тухачевского золотыми часами с надписью: «Храброму и честному воину». Торжественный этот день был отмечен дополнительной нормой питания: каждому бойцу выдавали полфунта черного и четвертушку белого хлеба. Красноармейцы передали белый хлеб в детские дома.

Вскоре операционный зал банка, где помещался штаб, снова был переполнен военными и партийными работниками: Первая армия провожала своего командарма. Командарм подождал, когда уляжется возбуждение, и ровным голосом зачитал прощальный приказ по армии:

— «Ввиду назначения меня помощником командующего Южным фронтом я сдал командование Первой Революционной армией товарищу Гаю... Расставаясь ныне с вами, с Первой армией, которой пришлось мне командовать более шести месяцев, я не могу, конечно, расстаться с легким чувством. Вместе выдержали мы первые жестокие удары контрреволюции, вместе создавали мы нашу армию, покрывшую себя славой революционных побед, выискивали новые формы, новый дух Красной Армии...

Я убежден, что на другом фронте я с той же радостью и столь же часто буду читать о победах нашей родной победоносной армии под руководством ее нового доблестного командующего...»

Наступила пауза. Все молчали в напряженном ожидании. Командарм разрядил напряженную атмосферу словами:

— У революции появился новый, еще более опасный враг, чем белочехи и эсеры. В Омске царский адмирал Александр Колчак объявил себя верховным правителем России и поставил своей целью уничтожить власть Советов. За Колчаком стоят державы мирового могущества и всепоглощающей ненависти к большевизму. Но какие бы бедствия ни принесли они на землю русскую, мы-то знаем: Революция непобедима!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Шел девятьсот девятнадцатый год.
Наступило четыреста восьмидесятое утро революции.
Над Сибирью мела вселенского размаха метель.

После парада георгиевских кавалеров верховный правитель устроил прием. В большом, украшенном трехцветными флагами, зале собрались союзные комиссары, посланники, министры, весь омский бомонд.

Тут был премьер-министр Петр Вологодский — пресыщенный жизненными удовольствиями старик. Он менял политические партии, как любовниц: был кадетом, потом либералом, потом эсером, опять стал кадетом. Завистники приписывали премьеру лукавое изречение: «Целуй ту руку, которую нельзя укусить». Офицеры ставки говорили о нем как о человеке с ясными глазами младенца и душою убийцы. Это он выпустил фальшивые царские ассигнации с предостережением: «Подделка преследуется по закону».

И военный министр барон Будберг был в зале: его квадратное, коричневого цвета лицо, седоватый бобрик волос, даже очки в черепаховой оправе служили мишенью для острот. Барона прозвали шаманом в генеральских штанах — предсказания его всем казались неоправданными и зловещими. В дни, когда войска адмирала продвигались на Вятку, на Волгу, барон, сверкая колючими, злыми глазами, изрекал: «Большевизм победоносно шагает по Сибири. Доберется и до границ Китая».

Все отшатывались от него, как от зачумленного.

В зале находились старые приятели — князь Голицын и генерал Рычков. Оба перебрались в Омск из Екатеринбурга. Голицын стал начальником военных коммуникаций. Рычков возглавил военное снабжение. Князь побеспокоился и о своем племяннике, бежавшем из Ижевска: ротмистр Долгушин был назначен адъютантом верховного правителя.

Долгушин и его новый друг — поэт Георгий Маслов — по праву молодости обсуждали всех находящихся в зале.

— Я буду представлять тебе, Сергей, омское общество, хочет оно этого или не хочет,— смеялся Маслов, беря под локоть Долгушина. — Здесь мы видим формы без содержания, маски, не одухотворенные никакой мыслью. Вон генерал Дитерихс,— показал он на долговязого пожилого человека. — Этот бравый хрен в генеральском мундире думает придать гражданской войне религиозный характер. Он называет себя воеводой земской рати и переименовал свои полки в священные дружины. Иконы, кресты, хоругви — его боевое оружие. Каждое свое обращение к солдатам он заканчивает предупреждением о пришествии антихриста на святую Русь.

— Раньше на Руси и дураки были крупнее, и невежды талантливее,— усмехнулся Долгушин. — А это кто? — спросил он о человеке в штатском костюме.

— У, это фигура! Это миллионер Злокозов...

Злокозов словно коченел от сознания своего превосходства над омскими министрами и молодыми, скоропалительно испеченными генералами. Румяная улыбка его как бы утверждала: «Я стою десять миллионов, а вы?» С миллионером беседовал атаман Дутов.

— Я не колеблюсь, когда дело касается саботажников. Недавно один кочегар заморозил паровоз, я приказал его раздеть догола и привязать к паровозу. Он тут же стал звонче железа,— отрывисто говорил атаман.

— А это что за шельма?

— Розанов, генерал-губернатор Красноярска. Садист и... и... — Маслов пощелкал пальцами,— я даже не подберу эпитетов. А рядом с ним жена, подруга любовницы адмирала.

— Как? Разве Анна Васильевна не сестра Колчака? — удивился Долгушин.

— Такая же сестра, как ты мой брат.

— Анна Васильевна молода и красива.

— Потому-то розановская жаба и льнет к ней. Я согласен, Анна Васильевна воплощенная юность, и пишет стихи, и знает толк в музыке, и умна, и очаровательна...

— Да ты влюблен, Маслов!

— А кто не влюблен в госпожу Тимиреву? По-моему, мир без любви — безглазый мир. Как поэт, я мечтаю о времени, переполненном одной любовью. Ради нежности и красоты я готов забыть все, но не могу рассчитывать на успех у возлюбленной адмирала. Поэтому хочу я одной тишины, но тишина не поселяется в моей душе... — Маслов оборвал речь. — А вот это одна из дочек великой княгини Палей. Страшно гордится, что ее брат Дмитрий участвовал в убийстве Распутина. Ты не обижайся, но все эти бывшие князья, графы, бароны, княгини, баронессы в

Омске утратили свой блеск, выцвели и как-то поблекли. Скверно быть бывшим...

— Омск перенасыщен ими, как лужа грязью,— пошутил Долгушин.

— Очко в твою пользу,— одобрил шутку Маслов и опять вернулся к княгине Палей: — Прелестная эта дама уверяла меня, что Февральская революция подготовлена английским послом Бьюкененом в Петрограде. По ее словам, государь во время аудиенции не пригласил сэра Джорджа Бьюкенена присесть. Посол обиделся и устроил дворцовый переворот, который и называется Февральской революцией. Просто и хорошо — никаких Керенских, никаких большевиков! Милая, прелестная княгиня. Подойдем поцелуем ей ручку...

— Позже,— остановил поэта Долгушин,— когда она покинет этого чешского гуся.

— Терпеть не могу генерала Сырового. Гонору в нем, дутого величья... Можно подумать, что именно он спас Сибирь от красных. Ему глаз выбили в кабаке, он же утверждает — в бою под Самарой.

Генерал Сыровой пучил правый, в кровавых прожилках, глаз. Он считал себя националистом-революционером, но сердечная беседа с русской аристократкой, родственницей царя, доставляла ему наслаждение.

— О, я помню, как началась революция! Сперва появились красные тряпки на улицах, потом раздались мятежные крики. Наш добрый народ любит государя, но его величество не успокоил взбунтовавшуюся чернь, и бонапартик Керенский поселился в Зимнем дворце. А теперь эти ужасные большевики, эти монстры...

— Будьте спокойны, княгиня, мы свернем шею большевикам.— Сыровой авторитетно крякнул, повел локтем, охраняя даму.

— Слышал рассуждения княгини Палей о революции? — спросил Маслов. — Каково?

— Дивные мысли! А это кто?

— Михайлов, министр финансов. Его прозвали Ванькой Каином, он больше любит допрашивать арестованных в подвалах полевого военного контроля.

В дверях появился зафранченный толстяк.

— Червен-Водали, но все шутя величают его Чернила ли, Вода ли. Во имя какой-нибудь взбалмошной идеи он может пожертвовать всем, даже своей жизнью. Поэтому адмирал держит его на посту заместителя премьер-министра.

Мимо прошел, не заметив Долгушина, недавно произведенный в генералы полковник Каппель.

— Вот это личность! — восхищенно сказал Маслов. — Поразительно способный полководец. Имей мы дюжину Каппелей, мы были бы непобедимы.

— Знаю Владимира Оскаровича, но почему адмирал держит его в резерве?

— Завтра резервы будут решающей силой!

— Скажи мне, Георгий, что там за странная пара — офицер в гимнастерке с георгиевским крестом и ожиревший мужчина?

— Да это же братья Пепеляевы! Виктор Николаевич — министр внутренних дел, Анатолий Николаевич — славный наш генерал.

— Про Пепеляева слышал. «Генерал-солдатом» величают его омские газеты.

— Адмирал очень считается с братьями. Пепеляевы — вечные заговорщики, они были самыми энергичными участниками переворота, приведшего Колчака к власти. Виктор Пепеляев сейчас правая рука адмирала, учти это. Он гибок, хитер, опасен...

Движение в зале оборвалось: вошел адмирал, сопровождаемый Морисом Жаненом — командующим союзными войсками в Сибири — и английским генералом Альфредом Ноксом.

Колчак был в кителе защитного цвета, адмиральских, золотых, с черными орлами погонах. Георгиевский крест словно держал его за горло. Острыми карими глазами Колчак быстро схватывал и замыкал в круг своего внимания многих, но казался утомленным, раздраженным, чем-то расстроенным.

Над фигурой Колчака высились элегантный, словно ангорский кот, Жанен и сухолицый, закованный во френч, краги, бриджи и черный галстук генерал Нокс. Все знали: между ними идет постоянная, невидимая, напряженная борьба за влияние на адмирала.

Колчак остановился во главе стола, заговорил решительным, уверенным голосом. Сказал о промысле божьем, открывшем пути к победе белых армий, и о Георгии Победоносце, вечном покровителе православного воинства, и о любви к отечеству, о славе русского оружия, о предсмертных конвульсиях большевизма.

— Белые орлы уже пролетели за Каму, завтра они пронесутся над Волгой. Скоро знамена наших армий взойдут над древним Кремлем, и тогда наступит новая, великая эра на русской земле — эра свободы и благоденствия, ибо пришло время русских следопытов, русских пионеров, русских исследователей, русских творцов. Я не знаю, какой будет наша Россия завтра, но я твердо знаю — она не будет такой, как вчера. Поднимаю тост за здоровье русского народа...

Присутствующие рявкнули здравицу в честь верховного правителя, кто-то сипло затянул «Боже, царя храни», на него прицыкнули, он замолчал. Маслов отставил бокал в сторону.

— Пить за здоровье русского народа, когда он вымирает от войны, голода, произвола? Это уже цинизм, ротмистр!

Долгушин укоризненно посмотрел в узкое, синеватое лицо поэта.

— Не фрондируй, Георгий. Болтай что угодно, но не касайся политики.

— Адмирал недавно сказал, что у него два ремесла — любовь и война. Я не могу назвать любовь ремеслом, в этом слове все же благословенный смысл.

— Ты преувеличиваешь потому, что поэт. Любовь и гений убиты войной. Впрочем, о гении я сказал для красного словца,— в России больше их нет.

— Неправда! В Омске живет Антон Сорокин. Счетовод и поэт. Он полугений, полубезумец, но встречи с ним полируют кровь. Его знает и адмирал. Как-то он заглянул в кабаре «Летучая мышь», я познакомил его с Сорокиным. Адмирал предложил ему стакан красного вина. «Ваше превосходительство, я не пью человеческой крови»,— сказал Сорокин.

— Это всерьез или в шутку?

— Совершенно серьезно. Кстати, в пику колчаковскому правительству, Антон Сорокин отпечатал и пустил в оборот собственные деньги. На них обозначил «Денежные знаки обеспечены полным собранием сочинений А. Сорокина. Подделыватели знаков караются сумасшедшим домом, не принимающие их — принудительным чтением рассказов А. Сорокина».

— Остроумно, хотя и небезопасно,— рассмеялся Долгушин. — А что же охранка? Не потревожила вашего безумца?

— Сорокина вызвали в управление полевого контроля. «Если бы я напечатал деньги от имени колчаковского правительства, я был бы фальшивомонетчиком. Но я — король местных писателей, Сибирь меня знает и охотно берет мои деньги»,— ответил Сорокин.

— Верховный может запросто расстрелять его за политические скандалы.

— Бесспорно, может, но пока воздерживается. Колчаку доставляет удовольствие иметь полубезумца, говорящего злую правду. Такие юродивые придают особый блеск диктатуре...

За банкетным столом все темпераментнее звучали тосты.

— Под святым знаменем Георгия Победоносца, под водительством верховного главнокомандующего его превосходительства Александра Васильевича Колчака наши земские рати и православные наши дружины очистят Русь от слуг дьяволовых,— говорил генерал Дитерихс.

— Не могу слушать высокопоставленных рамоликов. Пойдем в «Летучую мышь»,— предложил Маслов.

— Никак нельзя. А вдруг понадоблюсь адмиралу...

2

Маслов брел по улице, и перед ним непрестанно двигалось женское лицо, осыпанное солнечными пятнами. Маслов любовался милыми чертами, и отпадало все существующее вокруг, оставалось только одно лицо женщины, которую он любил.

Был уже вечер, когда он решительно зашагал в кабачок, но около банка его привлекли крики и ругань — какой-то ферт избивал тростью мастерового.

— Вчера торжествовала красная скотина! Сегодня мое время торжествовать,— приговаривал ферт.

Маслов вырвал из его рук трость, ферт ударился в бегство. Исчез и мастеровой. Маслов остановился перед колоннадой банка. За этими стенами находился золотой запас Русской империи. Здесь были спрятаны уникальные коллекции Ивана Грозного, Екатерины Второй, немецких герцогов, французских королей. Маслов был почему-то уверен, что легендарный алмаз «Шах» тоже хранится здесь. История этого алмаза была написана человеческой кровью. Он переходил из рук воров в руки перекупщиков, над ним тряслись индийские раджи. Сто лет алмаз украшал коллекцию персидского шаха. Но вот фанатики убили в Тегеране русского посла Александра Грибоедова, и, желая задобрить рассерженного царя, персидский шах подарил ему свой алмаз.

«Из всего золотого запаса хотел бы я иметь один этот алмаз,— думал Маслов. — Омытый грибоедовской кровью, он стал бы талисманом моей поэзии. Мне нужна всего лишь одна капелька крови гения, чтобы писать вдохновенно. Неужели я не создам ничего выдающегося — ни поэмы, ни вечной стихотворной строки? Чего-то мне не хватает, а чего — не пойму...»

Он постоянно сомневался в себе, часто уничтожал свои стихи, а потом ходил с темным беспокойством. «А ведь прав Долгушин, что в России больше не рождаются гении. Племя литературных гигантов вымерло, Россия опустошена преступлениями, прохвост и шпион стали ее героями. Пролетарий борется с буржуем за перераспределение прав и богатств, им нет дела до взлетов творческого духа, до поэзии, до истории». Маслов остановился, пораженный неожиданной мыслью. «Для чего же надо сохранять на бумажном листке движение истории? Она подделывается тогда, когда делается, и сам я тоже фальшивомонетчик истории. Куда же идти? Да, ведь я иду в кабак!»

Он пошел к городской площади, на которой вздымал в вечернее небо свои синие купола казачий собор. Закат, стекая с куполов, окрашивал стены в синее пламя. Маслов вспомнил, что в прошлом году атаман Анненков похитил из этого собора знамя Ермака.

«Стервец! Украл русскую реликвию и с ней воюет против русских».

А он, прапорщик Маслов, русский дворянин, поэт, против кого сражается он? Против своего народа?

Улюлюканье, гогот, свист оглушили Маслова. У собора толпились люди, а на ограде висели рисованные цветными карандашами портреты: Антон Сорокин — печальный, Антон Сорокин — улыбающийся, Антон Сорокин — плачущий. «Жизнь ко-

роля сибирских писателей»,— кровавыми буквами извещал плакат.

Увидев в кольце любопытных самого Антона Сорокина, поэт стал пробираться к нему. Агент из военного полевого контроля строго спрашивал, для чего Сорокин вывесил свои портреты.

— А почему повсюду портреты какого-то навозника? Я живу здесь двадцать лет и только что полез на забор, а навозник уже все стены запакостил...

— Это кто же навозник?

— Да хотя бы и ты. Навезли вас со всей России,— значит, навозники...

Озадаченный агент начал срывать портреты.

— Ну и свобода, ну и равенство! — насмешливо приговаривал Сорокин, и серое, чахоточное лицо его просияло.

— Пошли в управление контроля, там тебе покажут свободу, научат равенству,— сказал агент.

— Оставьте его в покое! — крикнул Маслов. — Привет Антону Сорокину!

Агент знал, что Маслов из ближайшего окружения адмирала, и, козырнув поэту, отошел. Толпа распалась.

— Ты куда? — спросил Сорокин.

— В «Летучую мышь» пойдем?

— Что станем делать?

— Пить вино, читать стихи.

Кабачок омской богемы находился в полуподвале, на редкость мрачном и скучном, и все же его любили поэты, певички, артисты. В «Летучую мышь» заглядывали дамы великосветского общества, офицеры, банкиры, филеры, здесь гуляли чехи, англичане, французы, японцы. Тайно торговали кокаином, опиумом, золотой валютой, женским телом.

Маслов и Сорокин заняли столик у маленькой сцены. Освещаемые колеблющимся дымным светом свечей, они пили скверное вино, спорили о поэзии, осыпали друг друга колкостями и как никто здесь нуждались друг в друге.

— У тебя не хватает раскованной дерзости, ты чересчур уважаешь авторитеты, — издевался Антон Сорокин. — Твой талант направлен к одной цели — как бы не обсказаться смелым словечком. Ты всегда будешь второстепенным поэтом третьего ряда.

— А тебе хочется жить в состоянии дикой свободы? Вот у тебя избыток бесцеремонности и демагогии, это ставит твою поэзию на уровень злобы дня,— возражал Маслов.

— То-то, что злобы дня! Стихи должны бить, как в морду подкова. За дешевую демагогию верховный загоняет в каталажку, на каждое честное слово надевает намордник. — Сорокин сдвинул на кончик облупленного носа очки, и глаза — черные, матового блеска, дьявольской глубины,— скользнули по Маслову. — В Колчаковии ложь стала необходимостью, правда опас-

нее революции, не потому ли вы устраиваете спектакли с виселицами на всех площадях Сибири?

— Политика не тема для поэтических бесед,— миролюбиво возразил Маслов. — И нельзя не верить в авторитеты.

— Самые передовые идеи стареют, самые великие авторитеты умирают. «Все подвергай сомнению»,— советовал Маркс. Я следую его совету.

— Ты сказал о наморднике на честное слово, Антон. Ну что же, цензура оберегает нас самих от себя, только и всего. А ты — намордник.

— Развитие мысли за всю историю человечества в глазах цензоров выглядело как ересь, — усмехнулся Антон Сорокин. — Только такие поэты, как ты, не боятся цензуры. Чего бояться блеска там, где ничего не блещет.

В кабачке пошумливали опьяневшие прапорщики, взвизгивали дамы, начинали затейливые споры чехи. На дощатой сцене вспыхнул огонь, появились и сели у костра четыре одетых в отрепья человека. Это был знаменитый в Сибири ансамбль «Бродяги». Четыре баса грянули: «Бродяга к Байкалу подходит, о родине что-то поет»,— и кабачок словно продуло ветром.

Антон Сорокин не сводил взгляда с темных, как бы высеченных из мрака певцов. Каторжная песня была для него родной и нетленной и вызывала тоскливую любовь к Сибири.

Маслов, прикрыв веки, тоже слушал песню. Кабак словно наполнился светлым туманом, кедры и сосны, и вершины хребтов, и байкальские воды возникали из него, как из сна. На какие-то мгновения Маслов унесся в будущее, неясное, как туман. Из этого тумана проступали только выразительные глаза Антона Сорокина да его сухой, страдальческий рот.

— У поэтов есть общий язык с природой, но мы не понимаем друг друга. Нас разъединяет политика, отталкивают идеи, — грустно сказал Антон Сорокин.

— Не хочу я спорить, потому что ты все переводишь в плоскость политики. Меня же интересует одна литература. Она, словно Тихий океан с его бесчисленными островами, неоглядна. Мой остров — лирическая поэзия.

— Тогда читай стихи.

Маслов отбросил со лба желтые волосы, в глазах, сизых и узких, зажглось отражение свечи.

Мы носим воду в декапот
Под дикой пулеметной травлей.
Вы рассказали анекдот
Об императоре, о Павле,
Не правда ль, странный разговор
В лесу, под пулеметным лаем?
Мы разошлись и не узнали —
Живет ли каждый до сих пор,
Но нас одна и та же связь
С минувшим непрестанно вяжет...

А кто о нашей смерти, князь,
С тоской грядущему расскажет?
От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
Ведь завтра тот, кто был так молод,
Был всеми славлен и любим,
Штыком отточенным проколот,
Свой мозг оставит мостовым...

— Последние строчки словно удар ножа. Ты, Маслов, все же поэт, и это роднит нас, хотя наши профессии исключают всякое духовное родство. Ты — официальный убийца в мундире, я — мирный счетовод. Но я говорю тебе — жизнь убить невозможно...

— Брось, Антон,— попросил, морщась, Маслов...— Я устал от пушечного грома и револьверного лая. Я хочу тишины. И еще тоскую по будничной мудрости жизни. — Подвижные брови Маслова напряглись, ноздри раздулись; он смотрел, не отрываясь, в иссушенное лицо Антона Сорокина, словно ждал от него неведомых истин.

— Поэты ищут краски и запахи, что придают жизни аромат и вкус. Поэтов всегда волнуют трепетные поиски истины. Любви! Счастья! Счастье заключено в поисках счастья, а ты толкуешь о какой-то будничной мудрости,— сказал Сорокин. — Вздор! Жить в одной созерцательной тишине невозможно. Как счетовод я живу бесшумно, как поэт готовлю новый скандал верховному правителю России. Бунтую против зла и несправедливости, а я ведь тоже люблю поэзию. И вот вместо лирических вечеров устраиваю скандалы политического характера, и каждая стерва может перегрызть мне горло. На днях обратился с воззванием закрыть сумасшедшие дома. Вся Сибирь сошла с ума, и нет нужды держать сумасшедших в заключении. А мания безумия совершенно небывалая — боязнь красного цвета. «Стоит пронести по улице красный флаг — моментально затрещат револьверы»,— писал я в своем воззвании.

— Зачем тебе это? — тоскливо спросил Маслов. — Ведь тебя действительно измордует первая шавка.

Маслов был свидетелем скандалов Антона Сорокина, дважды спасал его от полевого военного контроля. Маслов не понимал причин, толкавших застенчивого, скромного человека на скандалы. На опасные к тому же скандалы.

— У тебя отважное сердце, ты обладаешь острым умом. Для чего же тебе бессмысленные поступки, Антон?

— Сейчас лучше быть идиотом, чем мудрецом. Сегодня я спасаю большевиков от колчаковских жандармов, завтра спасу от красных тебя. Спасу лишь только потому, что ты поэт,— рассмеялся Антон Сорокин. — Я мягкий, я эластичный? Врешь ты все, Маслов! В моих жилах течет жаркая кровь авантюриста...

Звон гитар, разухабистый хор заглушили слова Антона Сорокина:

Наши наших в морду бьют,
Чехи сахар продают...

С разными вариациями хор исполнил такие же частушки про французов, англичан, американцев. Маслов морщился, словно от зубной боли, слух его оскорбляла балаганная грубость частушек.

Рядом с ними спорили полупьяные прапорщик и капитан. Сперва спорили приглушенно, боязливо, наконец прапорщик распалился:

— Адмирал — правитель, который есть, но которого не существует. Он виновник всех наших несчастий, а я еще должен улыбаться? Что за проклятие повисло над нами! С красными деремся мы, поручики и прапорщики, мы побеждаем, нас предают...

— Твоя болтовня — уже предательство,— сказал капитан.

— Чистого предательства нет, есть обстоятельства, вынуждающие к нему...

Капитан пристукнул кулаком по столешнице.

— Твое счастье, что я не шпион. Беда же адмирала в том, что каждый сопливый прапорщик вроде тебя делает у него политику. Прапорщики устраняют неугодных деятелей, прапорщики ужасают мужиков, прапорщики грабят буржуев. Ты забыл, какие фокусы вытворяет офицерская каста в Омске?

— А я и не помнил. Я кормил вшей на фронте, а тыловая сволочь закрепляла свои успехи моей кровью. Тыловые офицеры гоняются за призраком власти, хотят казаться сильными, вместо того чтобы быть сильными. Нас же, фронтовиков, адмирал обманул самым подлым образом.

— В чем ты видишь обман?

— Наше самопожертвование оплевано, наш патриотизм осмеян. Мы защищали Россию от немцев, защищаем ее от большевизма, а кланяемся своим же военнопленным. Раненый русский офицер умоляет чешского солдата взять его в товарный вагон — до такого срама мы еще не опускались. Я, прапорщик белой армии, должен козырять какому-то генералу Сыровому. Он и генералом-то стал по прихоти Колчака.

— Адмирал имеет право давать звания, на то он и верховный правитель. — Капитан опять пристукнул кулаком. — На то он и диктатор.

— В омской тюрьме ночью расстреливают арестантов, подозреваемых в партизанстве. На рассвете военный трибунал приговаривает расстрелянных к смертной казни. В полдень уже известно — расстрелянные не партизаны, а мирные обыватели. Вот и весь кодекс его диктатуры.

Дверь распахнулась, оркестр перестал играть, офицеры вставали, прищелкивая каблуками, отдавая честь.

В кабачок вошли Колчак и Анна Тимирева, сопровождаемые охранниками. Госпожа Тимирева прошла к столику так, словно пронесла хрустальный сосуд.

Маслов, задыхаясь от покорной нежности, не сводил взгляда с властных, веселых ее губ: казалось невероятным, что в пропахшей винным перегаром атмосфере молча улыбается женщина, одно слово которой сделало бы его счастливым.

На сцене опять заиграл оркестрик. Появилась рыжеволосая певичка, объявила надтреснутым голоском:

— «Гори, гори, моя звезда», любимый романс его превосходительства адмирала Колчака...

Адмирал слушал давно позабытый романс, упершись локтями в столик, подавшись вперед; Анна сидела прямо, победоносно, стараясь уловить смысл романса. Слова возникали и таяли — недоговоренные, непрочувствованные, оставляя легкое беспокойство.

— Современный романс на стихи Георгия Маслова, лучшего поэта Сибири,— объявила певичка.

Ее надтреснутый голосок стал унылым и плачущим, мелодия тускло замерцала в прокуренном воздухе. Маслов недовольно завертелся на стуле, к нему подбежал лакей с бутылкой шампанского, завернутой в снеговую салфетку. Хлопнула пробка, взыграла искристая струя.

— Презент от его превосходительства,— шепнул лакей.

— Вроде шубы с барского плеча! — Антон Сорокин поднялся со стула. — Тише, вы, навозники, когда говорит Антон Сорокин — мозговой центр Сибири! Я думаю — я великий писатель, но, возможно, я только хороший счетовод. Другие думают, что они новые наполеоны, а на деле обыкновенное дерьмо...

В зале стало неприятно тихо, все повернулись к Сорокину.

— Предлагаю тост за такого же великого человека, как я. За адмирала Колчака! Пожелаем адмиралу вернуться на военный корабль, а не томиться в степном городишке, где нет ни моря, ни эскадры.

— Я заткну тебе глотку! — Капитан вскочил со стула.

— Никто не поддерживает моего тоста? Тогда вы желаете зла нашему адмиралу. Я бы на его месте...

Охранники схватили за руки Сорокина, поволокли к выходу. Маслов бросился к столику адмирала.

— Он же безумец, ваше превосходительство! Он поэт, но он безумец. Что скажут иностранцы, если сажают в каталажку поэтов, ваше превосходительство!

— Не трогайте безумцев,— попросила Анна, кладя пальчики на рукав адмирала.

— Оставьте его! — Колчак вынул батистовый платок, брезгливо вытер ладони. — Пойдемте, Анна Васильевна. Здесь душно.

3

Пасмурный сидел адмирал в домашнем кабинете миллионера Злокозова.

Богатейший человек, Злокозов кроме золотых приисков на Урале имел сталелитейный завод в Златоусте, паровые мельницы в Петропавловске и Омске, большую дачу в урочище Боровом, под Кокчетавом. Теперь Злокозов гордился, что в его омском особняке поселился верховный правитель России: это придавало и дому, и фамилии фабриканта особый, исторический отблеск.

Десять великолепно обставленных комнат были в распоряжении адмирала и Анны Васильевны. Она, правда, усмешливо говорила, что обстановка похожа на смесь купеческого жирного тщеславия и мещанской изысканной лжи.

Квартиру адмирала охраняли стрелки Мильдсекского батальона, выделенные командиром английского экспедиционного отряда. Адмирал никому не доверял, кроме этих стрелков: англичане были самыми надежными его союзниками.

Адмирал нервно и торопливо курил, положив ноги на решетку камина. Неопределенная тревога овладевала им, словно в кабинете находилось что-то незримое, но угрожающее.

Адмирал обладал незаурядной храбростью, но дух его двигался только по узкой военной тропе; он не имел глубоко продуманных целей в своей борьбе с большевизмом и не знал, какой будет его новая Россия.

«Дом Романовых развалился, династию восстановить невозможно. Да и не нужно. Я создам в России империю воинствующего разума». Он поморщился при этой мысли и стал думать уже о себе.

«Почему-то я все чаще чувствую в себе постороннего. Он наблюдает и анализирует мои поступки совершенно иначе, чем я сам. Он постоянно и назойливо опровергает меня, называет мою мечту о власти похотью честолюбца. А ради власти я постоянно лицемерю, всем своим видом говоря подчиненным: «Я нуждаюсь в вас больше, чем вы во мне. Не покидайте меня в трудные часы моего правления». А ведь все они — пешки в моих руках, и только с одним человеком я могу быть искренним».

Колчак посмотрел на фотографию Анны Васильевны — она была снята в широкополой соломенной шляпе, с букетом роз. Ее юное, с тонкими чертами лицо казалось особенно значительным из-за темных блестящих глаз.

«Что ни говори, но Анна Васильевна редкостная женщина. Из тех женских натур, что следуют за своими возлюбленными на край света, жертвуют всем, что имеют, во имя их славы или победы. — Адмирал потрогал георгиевский крест. Он получил его в бою за храбрость в Порт-Артуре и гордился наградой. —

А ради таких возлюбленных мужчины способны и на подвиг и на предательство. Ради них мы становимся поэтами, шпионами, рыцарями, палачами. Анну Васильевну можно любить, можно ненавидеть, нельзя только не замечать ее. Она напоминает леди Гамильтон — так же хороша, сердечна и бескорыстна. Ее любовь помогает мне в самые трудные дни: она проехала из Ревеля в Омск через всю тифозную, голодную Россию, не пугаясь теплушек, вонючих нар, вшивых пассажиров. Любовь гнала ее неудержимо...»

Он опять почувствовал незримую опасность: что-то постукивало тихо, но четко, строго, как метроном. Он старался уловить, откуда идет этот странный, механический звук, но так и не уловил и забыл о нем.

Из окна был виден Иртыш, за ним бескрайняя равнина. Степной ландшафт казался необозримым, и только мыслью можно было достигнуть переднего края фронта. Войска сражались где-то под Вяткой, Сарапулом, Бугурусланом, линия фронта напоминала гигантский лук, и стрелы трех белых армий летели к Москве, направленные рукой адмирала.

Колчак удовлетворенно вздохнул и перевел взгляд на мачту радиостанции. Радио связывало его с Лондоном и Вашингтоном быстро, но ненадежно. Станцию и особняк охраняли стрелки Мильдсекского батальона, у парадного подъезда каменел часовой — румяный, высокий стрелок в морской шинели. Своим цветущим видом он как бы символизировал всех «томми», несущих свою нелегкую службу в колониях Британской империи. Адмирал видел заиндевелые брови часового, легкую куржавину на волосах, даже львов на медных пуговицах шинели: он любил все, что связывало его с английской историей, ее культурой, ее обществом. Любовь к Англии была равноценна его ненависти к немцам. Адмирал не только прекрасно говорил, но и часто мыслил по-английски. Вот и сейчас, думая об Анне Васильевне, он процитировал Редьярда Киплинга — любимого поэта: «Две вещи на свете словно одно: во-первых — женщины, во-вторых — вино; но слаще женщин, вкуснее вина есть для мужчин — война...» «Война прекрасна, война везде и всегда хороша. Я верю только в войну, она стала моим религиозным убеждением. А любовь — высшая награда мужчине, занятому ремеслом войны».

Девять месяцев назад Колчак под чужой фамилией выехал в Лондон. Его незамедлительно и секретно принял адмирал Джеллико — первый лорд Адмиралтейства.

— Ваша поездка в Англию и Америку принесет большую пользу русскому флоту. Временное правительство не способно воевать с немцами, мы возлагаем все надежды на вас,— сказал первый лорд.

Джеллико показал Колчаку новые подводные лодки, новые самолеты морской авиации и, чтобы польстить его честолюбию, усовершенствованные морские мины.

— В этих минах использована ваша идея, сэр,— ласково и почтительно говорил Джеллико. — Мы давно знакомы с вашими техническими идеями, но, к сожалению, русская техника бессильна сделать их реальностью. А вы для нас крупнейший авторитет минного дела.

Перед его отъездом Адмиралтейство устроило прощальный банкет. Джеллико и на банкете задушевно беседовал с русским гостем: оба чувствовали друг к другу симпатию. Любовь к самостоятельности, пренебрежение ко всему, не имевшему отношения к военным и морским делам, прочно соединяли обоих.

— Революция — холодный нарыв на теле России. Его надо вскрыть. — Джеллико взял сигару, протянул коробку собеседнику.

— Такая операция связана с политикой, а я презираю тех, кто ею занимается. Они для меня политиканствующие хулиганы или хулиганствующие политиканы, а я солдат, привыкший получать приказания и отдавать их. Если хотите, я поэт и раб военной дисциплины,— усмешливо ответил Колчак.

— Вы солдат-повелитель, солдат-вождь армий, народа, России,— подхватил Джеллико, стискивая крепкими зубами сигару, на тяжелых, бульдожьих челюстях задвигались желваки.

— Не стоит преувеличивать значение моей особы.

— Я говорю о вашем завтрашнем дне. Предсказываю только то, что будет, если вы станете разговаривать с русскими железным языком диктатуры. Русским недоступен язык трезвой логики, они понимают только наган и нагайку. — Джеллико стряхнул в хрустальную чашу сигарный пепел.

— Революционеры не представляют русской нации, сэр. Их породили западный материализм и пресловутая ваша демократия. Разговаривать языком нагана и нагайкой надо с ними, а не с русской нацией, — возразил Колчак сразу севшим, неприятным голосом.

— Но они разжигают низменные страсти в народе...

— В России есть дворянство с его аристократической верхушкой, есть буржуазия, есть военная каста и есть чернь — дикая толпа, ревущая бессмысленное «ура» всем демагогам, болтающим о свободе, братстве, равенстве, бесклассовом обществе и прочей чепухе. Вот с такой толпой я стану разговаривать языком кнута и нагана. А русский мужик, а русский мастеровой, этот самый народ,— всего лишь пыль на голенищах моих сапог,— сказал Колчак с яростной страстью. — Наша революция захлебнется в собственной крови, другой будущности у нее нет.

— Англичане верят, что Россия переживает кошмар революции, но как ее вернуть в старое русло? Только с помощью военной диктатуры, думаю я.

Колчак наклонил голову в знак согласия: слова Джеллико о военной диктатуре соответствовали его тайным планам.

— Россию не повернешь в старое русло, монархию не воскресишь. Россия вчера — страна помещиков, сегодня — империя Керенских, завтра — соединенные штаты мелких собственников. За такую Россию я стану сражаться..

— Отныне мы — вечные друзья...

— Нет вечных друзей, нет вечных врагов, есть вечные национальные интересы, говорил когда-то Пальмерстон. — Колчак прямо и твердо поглядел в лицо первого лорда Адмиралтейства.

— Теперь иные времена, и мы можем быть только союзниками и друзьями. Миру сегодня угрожают великие социальные потрясения, от них больше всех пострадают Англия и Россия, — заключил лорд Джеллико.

Колчак отправился в Америку на английском военном корабле, в сопровождении почетного эскорта миноносцев. Официальная Америка встретила его восторженно, Вашингтон устраивал в его честь приемы, газеты печатали о нем статьи. Колчака величали надеждой новой России, рыцарем двадцатого века, борцом за счастье народов. Он произносил улыбчивые речи, давал немногословные интервью, хвалил американцев, но разочарование уже одолевало его. «Эти торгаши не способны к активной войне. В боях с немцами потеряли трех убитых, четырех раненых, а кричат больше, чем о сражении на Марне. Мне нужны солдаты, а не лавочники. Я готов сражаться против немцев под любым знаменем».

С этой еще неясной, неоформленной мыслью он выехал из Сан-Франциско в Японию.

В конце октября Тихий океан был действительно безмятежным, огромный пассажирский лайнер уверенно рассекал водные равнины. Колчак наслаждался редким для него покоем — гулял по палубам, сидел в библиотеке, погрузившись в чтение древних китайских философов. Его особенно интересовал Конфуций; чтобы читать философа в подлиннике, он изучил китайский язык.

На второй день плавания Колчака остановил на палубе капитан лайнера и таинственно сообщил:

— В России новая революция, сэр. Временное правительство свергнуто, Керенский бежал, власть захватил Ленин — лидер партии каких-то большевиков...

Сразу улетучился весь покой, на Колчака налетели отзвуки далекой русской бури. Теперь он жадно слушал радионовости о событиях в России.

Каждое новое известие говорило, что у дворянской России, у монархистов появился новый опасный враг. Колчак сразу понял: большевизм грозит гибелью не только ему, но и всему близ-

кому, любимому, дорогому для него миру. Немцы потускнели, отошли на задний план.

Пароход еще швартовался к причалам Иокогамы, а Колчака уже обступили репортеры:

— Ваше отношение к большевикам? К выходу России из войны?

— Правительство Ленина, думающее заключить с исконным врагом России позорный мир, я не признаю. Вместе с союзниками стану бороться против Германии и большевиков,— ответил он резко и решительно.

Он сошел с парохода и отправился в Токио, к английскому послу Ричарду Грину.

— Прошу передать правительству его величества короля, что вице-адмирал русского флота Александр Колчак просится на службу в английской армии.

— Я передам вашу просьбу немедленно.

— Я согласен служить простым солдатом.

— Это невозможно, сэр! Вы флотоводец, а не матрос.

— У Англии много флотоводцев.

— Не каждого адмирала можно поставить в один ряд с вице-адмиралом Колчаком. Сегодня же вашу просьбу перешлю правительству моего короля.

Колчак жил в отеле британского клуба, нетерпеливо ожидая решения своей судьбы. Каждый день его могли пригласить в английское посольство и вручить приказ о назначении, пока же он писал грустные письма Анне Васильевне, заглядывал в бильярдную, рылся в книгах клубной библиотеки. Случайно ему попался трактат по военной стратегии древнего китайского мыслителя Суна.

Мало кто знает Суна на Западе, но он — основатель учения о войнах Востока. При всей затемненности формы, странности выражений военные мысли Суна произвели на адмирала глубокое впечатление. Колчак вновь представил и библиотеку британского клуба, и себя над книгой китайского философа.

Тогда-то бой и подал ему визитную карточку: «Иммоно Конкура Хизахиде». Он знал его еще по Порт-Артуру, когда попал в плен к японцам, сейчас Хизахиде был полковником Японского генерального штаба.

Хизахиде вошел с сердечной улыбкой на плоском желтоватом лице — весь учтивость, весь предупредительность. Они сели у камина и начали разговор, разумеется, о войне.

— Что вам делать в английской армии? Вам надо быть в Сибири, где все поднимается на большевиков,— в упор сказал Хизахиде.

— Откуда вам известно, что я собираюсь служить у англичан?

— Потому что мы знаем больше. — Хизахиде подразумевал

под «мы» международных шпионов. — В России сегодня буря, такие люди, как вы, должны быть в центре бури.

— Когда ходишь над пропастью, надо заглянуть в нее, чтобы избавиться от головокружения,— согласился Колчак. — Сражаться с опасностью легче, чем постоянно думать о ней. Война — самое великое дело мужчин...

— Война — наша религия, война — наше ремесло,— изрек Хизахиде, но в узких косых глазах желтело стылое спокойствие.

— Я люблю, во-первых, войну, во-вторых — женщину, поэтому одно ремесло не вдохновляет меня. Женская любовь — высшая награда за военную доблесть мужчины,— возразил Колчак.

Хизахиде покачал головой с черной, словно спрессованная сажа, прической, потрогал крошечные усики.

— Любовь — тема очень сладкая и неисчерпаемая, но вернемся к войне. Моральный кодекс самураев научил меня любить Японию и императора, и я только отражаю свет его глаз. Само собой разумеется, что я исполняю божественную волю императора во всем, вот почему наша преданность ему является и нашим патриотизмом. А всякая угроза японскому патриотизму — угроза жизни нации. Русский большевизм угрожает нам, поэтому я не спрячу своих клыков, пока он существует. Мы, самураи, будем убивать большевиков спокойно и хладнокровно, словно акул. Для этого необходимо военное государство. Такое государство не терпит демократических идей, а его дисциплина является свободой его граждан. Демократизм — враг дисциплины, значит, он враг свободы...

Хизахиде подобрался, подтянулся, будто росомаха, готовая к прыжку. Всем своим видом показывал он: война — основа его жизни, его цель, его мировоззрение.

— Что такое демократические силы? — продолжал он, не убирая с губ едкой усмешки. — Развращенные люди, рвущиеся к власти, но власть не может принадлежать большему числу в силу закона глупости числа...

Все, что говорил японский полковник, утверждало собственные идеи Колчака о войне, о демократии и народе. Он воспринял идею Хизахиде как свою, давно выношенную, хорошо обработанную идею о военном государстве.

— Каждый политический деятель знает закон глупости числа,— продолжал Хизахиде. — По этому закону решение двух хуже одного, решение трех хуже двух и так далее...

— Превосходно! — согласился Колчак. — Правда, мысль о законе глупости числа примитивна, как кулак, но и убеждающа, как кулак же.

— Абсолютная власть всегда будет принадлежать одному, если этот один — сверхчеловек. Мысль тоже не новая, но живет во все времена, у всех народов. — Хизахиде опять засмеялся мелким, тусклым смешком.

«Я был настороже, беседуя с Хизахиде. Японцы как-то проведали о моей переписке с правительством английского короля. Они знали обо мне больше, чем я сам». Адмирал вздохнул и снова прислушался.

Опять появился тихий, ритмичный звук — он исходил то ли из угла кабинета, то ли из камина. Заинтересованный таинственным звуком, Колчак решил разгадать его причину, но к парадному подъезду подлетели санки. Кучер откинул медвежью полость, и Анна Васильевна, стройная, румяная, заиндевелая, заспешила в дом.

Забыв про все, адмирал выскочил из кабинета, пробежал в прихожую, протянул руки навстречу возлюбленной.

В кабинете тяжело грохнуло, двери распахнулись, дымное пламя заволокло прихожую. В ту же минуту закричали часовые, забегали секретные агенты.

Колчак вернулся в разгромленный кабинет и увидел среди каминных обломков металлические части адской машины.

— Меня называют первым специалистом минного дела, а я не догадался по звуку часового механизма о самой вульгарной мине. Любовь к вам спасла меня от гибели,— добавил он, обращаясь к Анне Васильевне. — Как же мне не верить в чудодейственную силу любви?

4

Адмирал, возбужденный и злой, мерил торопливыми шагами ковровую тропинку кабинета, а Долгушин недоумевал: почему правитель расстроен в дни успехов на фронте? Неужели из-за сводки секретных донесений?

Полевой контроль сообщил о спекуляциях, аферах, заговорах, арестах, казнях, анекдотах, сплетнях.

«Захваченный контрразведкой красный комиссар заявил: «Пусть весь мир пойдет на нас войной, победа останется за революционным народом».

«Адмирал Колчак не понимает, что управлять Россией труднее, чем Черноморской эскадрой»,— говорит в кругу своих приближенных генерал Гайда».

— Почему я должен читать всякие глупости и скверную ложь? — возмутился адмирал, отбрасывая листки и подходя к окну.

За окном виднелась городская ветка, занятая личными поездами адмирала и высоких союзных комиссаров. Над их поездами самоуверенно пощелкивали французский и английский флаги. Адмирал еще сильнее обозлился.

— Набивают русским золотом карманы,— низким, противным самому себе голосом проговорил он. — Но напрасно думают, что я завишу от них, напрасно. Я обуздаю их аппетиты...

Он словно призывал Долгушина в свидетели своих действий по укрощению союзников, но тон его становился все неуверен-

нее, все тише. Адмирал не понимал, что он послушно исполняет волю генерала Нокса, уступает требованиям французов, и чем сильнее уступает, тем нахальнее генерал Жанен. Верховный правитель России удовлетворяет и прихоти чехов — всяких Гайд и Сыровых, он сделал этих человечков значительными личностями, они же платят ему интригами. Американцы воздействуют на него, японцы опутывают лукавыми сетями. А что за помощники окружают его! Заносчивые прапорщики, ставшие по его воле генералами, старые бездарные военачальники, проигравшие последнюю войну, позабывшие военное искусство рамолики, министры, еще недавно бывшие торгашами и, как от звезд, далекие от жизни. Они умеют только повторять афоризмы великих людей, живших за тысячелетие до них.

— У меня целый заповедник честолюбивых лбов, но нет людей дела. — Колчак остановился перед адъютантом, откинул горбоносую голову. Сердитое и в то же время жалкое выражение тлело в его зрачках. — Я только и слышу о необходимости строгих мер. Каратели мои восстанавливают тишину в Сибири, но я не желаю кладбищенской тишины.

Долгушин почтительно слушал.

— Есть какие-нибудь известия от Савинкова? — внезапно спросил адмирал.

— Господин Савинков молчит.

— Я дал ему золота на представительство в Париже, а он молчит. Странная манера исполнять свои обязанности! Ротмистр, вы пока свободны.

Долгушин ушел в приемную.

Колчак вспомнил свой разговор с Борисом Савинковым в этом же самом кабинете. Савинков приехал из Уфы, адмирал пожелал увидеть его.

Встреча началась с осторожного прощупывания: каждый знал о другом достаточно много, а Колчак даже читал книги знаменитого террориста. Оба были уверены в своей исключительности и в том, что им все позволено.

Савинков поздравил адмирала с успешным наступлением на Пермь.

— Я не испытываю радости от поражения красных. Как-никак я — революционер,— добавил он.

— Да, да, понимаю! Только теперь вы бросаете бомбы в тех, с кем прежде бросали бомбы.

Адмирал предложил Савинкову пост военного министра.

— Мы с вами личности, а не нули. Нам будет тесно в одной берлоге,— отклонил предложение Савинков. — А вам я все же советую остерегаться красноты в своем правительстве. Если станете вести какие-либо переговоры с большевиками — обманывайте их не стесняясь. Переговоры я понимаю только как военную хитрость. Я призываю вас, адмирал, выполнить свой

исторический долг перед Россией, — с холодным пафосом заключил Савинков.

Колчак слушал Савинкова и думал: «Он создает заговор за заговором против той самой России, за которую был готов умереть. Его политическое имя и ненависть к большевикам могут принести мне пользу».

— Будьте моим эмиссаром в Париже. Я очень верю вам, Борис Викторович.

— Не понимаю, как можно верить первому встречному,— рассмеялся Савинков.

— Вы первая личность среди равных вам,— ответил комплиментом Колчак...

...Снова вошел Долгушин, доложил осторожно:

— Какой-то Богачев просит приема. Говорит, вы его хорошо знаете.

— Не знаю никакого Богачева и никого не принимаю.

Долгушин исчез, но тут же вернулся:

— Простите, ваше превосходительство, я напутал. Не Богачев, а Бегичев Никифор Алексеевич просит принять его.

Колчак выбежал в приемную, обнял высокого человека, одетого в брезентовый плащ.

— Какими судьбами? Откуда приехал? Проходи, проходи. — И приказал Долгушину: — Ко мне — никого. Ты откуда прибыл, Никеша?

— С Енисея, с Дудинки,— ответил Бегичев, глядя то на узорчатый ковер, то на свои грязные охотничьи сапоги.

Адмирал усадил гостя в кресло перед четырехугольным столиком, сам сел напротив. Так было ловчее рассматривать скуластое, обветренное лицо Бегичева, принесшего с собой целый ворох юношеских воспоминаний.

Память вернула Колчака к началу века, когда он, юный лейтенант русского флота, мечтал стать полярным путешественником. В девятисотом году полярный исследователь барон Толль собрался искать загадочную землю Санникова, затерянную якобы в Ледовитом океане, и предложил лейтенанту Колчаку участвовать в экспедиции на его шхуне «Заря».

Плавание было опасным и трудным. У полуострова Таймыр «Заря» зазимовала. Вторую зимовку провели на Новосибирских островах. Весной девятьсот второго года Толль решил с тремя спутниками по льдам направиться к загадочной земле Санникова. «Заре» же он приказал пробиваться к острову Беннетта, где и ожидать его. Если он не придет на место встречи, «Заря» должна вернуться в Россию.

Толль на острове Беннетта не появился, «Заря» возвратилась в Петербург. Русская академия наук взволновалась за судьбу Толля и его спутников. Создавались всевозможные планы их поисков. Колчак предложил свой план. Он советовал искать Толля с Новосибирских островов, поочередно осматривая весь

этот район океана. Поиски должны закончиться на земле Беннетта.

Академия одобрила план Колчака, и он выехал в Якутск, где его ждал Никифор Бегичев с собачьими упряжками, провиантом, теплой одеждой...

— Давненько мы не видались, Никеша,— возбужденно сказал адмирал. — Лет пятнадцать, пожалуй?

— Семнадцать,— поправил Бегичев, исподтишка разглядывая роскошный кабинет. «Высоко взлетел Сашка Колчак, теперь его за волосы не ухватишь»,— простодушно подумал он.

Колчак словно угадал его мысль.

— Помнишь, Никифор, наши приключения на острове Беннетта?

— Как сейчас помню, — кивнул головой Бегичев. — Я шел передом, увидел трещину, перепрыгнул. А ты неловко разбежался — и под воду. Поспел я ухватить за воротник тебя, вытащил, а лед опять подломился. Ты вновь под воду — и уже захлебываешься. Я тебя за волосы выволок, чуть тепленького, перенес на песчаную косу. Свою кухлянку на тебя, трубку раскурил, в рот тебе сунул. Оклемался ты, я тебя маленько погонял по косе. Побегали, угрелись, ожили мы...

— До смерти этого не забуду,— отозвался адмирал, выслушав рассказ Бегичева. — Тяжелое было время, но счастливое. — Он почувствовал неожиданную зависть к зверолову и горькое сожаление об утраченном.

После долгих мытарств они добрались до земли Беннетта, осмотрели ее безрадостные берега. Наткнулись на гурий с запрятанной запиской: барон Толль писал, в каком месте схоронил документы и собранные коллекции.

Они нашли и это место.

Из предсмертного письма Толля узнали они о полярной трагедии. У путешественников кончилась провизия, охота и рыбная ловля оказались бесплодными. Страшась голода, они отправились к берегам Сибири — в полярную ночь, при пятидесятиградусных морозах, через ледяные торосы.

Пурга замела навсегда путь Толля и его спутников.

Колчак и Бегичев напрасно искали следы их, и лишь поздней осенью они вернулись в Якутск...

Долгушин вкатил столик, заставленный винами и закусками. Серебряный кофейник дышал ароматом бразильского кофе, верненские яблоки — горным воздухом Тянь-Шаня. Адмирал угощал Бегичева французским коньяком, предлагал гаванские сигары.

Бегичев ел, пил, курил, но тревога не покидала его. Он ехал в Омск с низовий Енисея по чрезвычайному делу, не думая, не гадая, что нынешний правитель Сибири — его давний знакомец. «Как теперь вести себя с ним? По-прежнему если — обидеться может. Сухо, по-деловому,— я не могу так». Бегичев был

человеком открытой души, не умел хитрить и выгадывать. Суровая жизнь полярного зверолова научила его сердечности, отзывчивости, он так и смотрел на всех людей.

— Что ты делаешь в Дудинке? Почему не хочешь в теплые края? — спросил адмирал.

— Обвык на севере, краше края не знаю. Женился ведь я, семья в Дудинке. Живу скудно, но на хлеб промышляю. Песца бью, лисицу серебристую, белого медведя.

— Нуждаешься в чем? — спросил Колчак, испытывая удовольствие от желания помочь Бегичеву.

— Порох, дробь, чай, мука,— стал перечислять зверолов. — Сам понимаешь: север, тундра — взять негде.

— Я прикажу, ты получишь все.

— А мне ведь много надо,— опять простодушно улыбнулся Бегичев.

— У меня есть все.

Бегичев сбивчиво, с болью заговорил:

— Инородцы, как мухи, мрут. Большой голод обрушился на тундру — род человеческий под корень косит. Я за помощью приехал. Услышал, в Омске теперь верховный правитель живет — не знал, что это ты. К нему ехал, инородец-то совсем вымрет...

Бегичев почувствовал: адмирал совершенно равнодушно слушает его. Замолчал, стряхнул пепел со своих колен на пышный ковер.

— Не могу я помочь туземцам,— сказал адмирал. — Я веду войну против большевизма, на учете каждый фунт хлеба.

— Но ведь тундра вымрет от голода!

— Сибирь вымирает на войне ради России,— грустно возразил Колчак.

— Война русских против русских! Такая война — болезнь ума. — Бегичев встал. — Ты, чай, денег-то не сосчитаешь, тебе изо всех стран всякие грузы шлют, а для охотников муки нет, пороху нет? Мне самому ничего не надо. Прощай, Александр Васильевич!

После ухода Бегичева адмирал долго и мрачно молчал. Упрек Бегичева, что он не сосчитает денег, уколол в самое сердце. Адмирал вызвал Долгушина.

— Позовите ко мне государственного контролера.

В последнее время он расточал золото целыми вагонами. А все же — сколько истратил? Одну, две, три тысячи пудов? Может, четыре? На этой цифре он остановился: больше казалось невозможным, немыслимым.

Государственный запас был особой заботой адмирала: при таком чудовищном количестве золота он чувствовал себя уверенно, прочно, незыблемо. Когда богаче всех, можно с кем угодно разговаривать на равных или в повелительном наклонении. «Что бы с тобой ни случилось, ничего дурного не произой-

дет, пока у тебя почти все русские драгоценности»,— уверил себя Колчак с той минуты, когда государственный запас оказался в его руках.

5

Золото русское продолжало свои полные превратностей странствия. Захваченное в Казани, оно было переправлено Каппелем и Борисом Савинковым в Самару, потом в Омск.

Золотой запас потихоньку ощипывали левые эсеры, меньшевики, кадеты, русские монархисты, чешские легионеры, охрана, его стерегущая,— каждый урывал, сколько мог. Но запас был еще неисчерпаем, как сама Россия, и казалось невозможным унести в «загашниках» все золото.

Недавно адмирал устроил выставку драгоценностей и пригласил на нее Жанена, Нокса, Сырового, всех высоких комиссаров и находившихся в Омске дипломатов. Ротмистр Долгушин, сопровождавший адмирала, видел темные, смятенные физиономии людей, очарованных золотым миражем.

У Мориса Жанена улетучилась обычная величавость, он тоскливо взирал на старинные, осыпанные бриллиантами потиры Ивана Грозного, на табакерки Петра Великого, на перстни Екатерины Второй.

С Альфреда Вильяма Фортефью Нокса сползла вся английская невозмутимость. Редчайшие жемчужины, испускавшие лунный свет, золотые блюда, похожие на солнце, ослепляли Нокса. Фарфоровые китайские вазы, синие сапфиры, жаркие яхонты, вишневые шерлы, зеленые изумруды разжигали желания; алчные огоньки взблескивали в глазах генерала, пальцы хищно цеплялись за пуговицы френча.

Генерал Сыровой только кряхтел, мычал, сморкался,— его бычьему воображению царские драгоценности казались лишь возможностью для бесконечного жранья, питья и прочих плотских удовольствий. У Сырового даже полиловели жилы на толстой, как бы обросшей мхом шее.

Высокие комиссары осмотрели подвалы со штабелями ящиков, опечатанных сургучными печатями. Двуглавые орлы грозили с каждого ящика, словно предупреждая о неприкосновенности сокровищ. Ящики, набитые золотыми монетами, полосами, кружками, слитками, платиной, не могли не возбудить у иностранцев трепетной зависти.

Колчак был доволен произведенным впечатлением. Показывая сокровища, он, сам того не желая, еще более разжег в союзниках их ненасытную страсть; золотой яд проникал в их кровь, воспалял мозг, каждый хотел поживиться от русского бесценного пирога.

Колчак подписал уже много документов на вывоз золота. Он подмахивал требования для Англии, для Японии, для

Америки, для Франции, но союзники требовали новых и новых платежей.

«Они скоро сожрут все, и тогда я гол!—сказал себе адмирал, постучав костяшками пальцев по столу. — Нет, я не такой дурак. В конце концов, я отвечаю перед Россией за это золото. История не простит мне, если я...»

Что не простит ему история, он не додумал — в кабинет вошли Долгушин и контролер государственного запаса.

Это был маленький человечек с презрительным выражением на сморщенном личике.

— Я хочу знать, сколько золота мы израсходовали,— сказал Колчак.

Человечек раскрыл портфель, выволок из его глубины связку бумаг, пронзительно произнес:

— За год израсходовано одиннадцать тысяч пятьсот пудов двадцать один фунт золота, ваше превосходительство...

— Не может быть! — растерялся Колчак. — Этого быть не может...

Контролер протянул акт. Адмирал склонился над актом, но колонки цифр оказались номерами ящиков.

— Вами все учтено правильно?

— А как же иначе? Вот, прошу, вот! В январе нынешнего, девятьсот девятнадцатого года в Америку отправлена одна тысяча двести тридцать ящиков с золотыми монетами. Это составляет шестьдесят девять миллионов рублей. Полевой военный контроль не позволил мне вскрыть ящики и пересчитать монеты, но я установил их курсовую стоимость по учетным книгам.

Колчака покоробило, что хилый человечек в полудетских синих брючках и кургузом пиджачке фамильярно разговаривает с ним, но он не сделал замечания.

— Продолжаю. В феврале Англии и Франции отдано шестьсот сорок два пуда золота. Вторично тем же странам, да еще Японии отправлено... В марте Япония получила еще пятьсот, Франция — семьсот пудов... Американской фирме «Ремингтон Армс» перечислено три миллиона золотых рублей. — Контролер сжал кулачки, покачал ими перед собой.

— Что же вы замолчали?

— Мне больно говорить. Как русскому, мне больно рассказывать о расхищении наших национальных богатств. Вы заключили с американским правительством контракт на поставку оружия. Для обеспечения заказа из кладовых банка пришлось вынуть тысячу двести пятьдесят ящиков и семьсот пятьдесят четыре мешка. Золото вывезено тайно, моему помощнику не позволили даже пересчитать ящики и мешки. Когда он запротестовал, его схватили и увели. Я так ничего и не знаю о судьбе его.

— Это все? — спросил адмирал, пропуская мимо ушей замечание о таинственном исчезновении помощника.

Контролер разжал кулачки.

— Нет, не все! Американскому правительству отгружено еще двадцать два ящика с золотыми брусками, семь ящиков платины, тридцать четыре ящика драгоценностей Монетного двора, Горного института...

— Надеюсь, ваш список не бесконечен?

— Все имеет конец, ваше превосходительство... Я обязан доложить: золото также расхищается офицерами из охраны запаса. Недавно было похищено шесть пудов золотых монет чеканки 1791 года.

— Это правда? — медленно и тихо спросил адъютанта Колчак.

— Я уже докладывал об этом печальном происшествии, — тоже тихо ответил Долгушин.

— Офицеры арестованы?

— Офицеры бежали, поиски пока безрезультатны. — Долгушин тут же пожалел, что сказал это.

Колчак ударил обоими кулаками по столу. Вскочил с места, забегал, тяжело дыша, хватаясь рукой за сердце. Долгушин и государственный контролер сторонились, боясь оказаться у него на пути.

— Какой срам! Офицеры из охраны золотого запаса — воры! И это дворяне русские, лучшие представители белой гвардии? Из чего строить новую Россию? Из праха, из тлена? Одиннадцать тысяч пудов! Это безумие, безумие! Что я говорю? — остановился он перед Долгушиным.

— Безумие это, ваше превосходительство,— робко ответил ротмистр.

6

Метель гнала снежные тучи, заносила буераки, заламывала обледенелые сучья, волокла деревья в низкое, косматое небо.

В реве метели жили и боль, и беда, и тусклая тревога. Белый дым обхлестывал фанерный щит, на котором неслись куда-то громадные черные всадники, вздымая сабли.

«Все на Колчака!» — требовали черные всадники.

На крыше станции вставало чудовищное насекомое, ветер осыпал его вертучей снежной пылью.

«Тифозная вошь грозит коммунизму!» — гласили косые буквы на щите.

Вагонные составы то появлялись из метели, то проваливались в нее, и нелегко было отыскать нужный вагон.

Молодой человек в собачьей дошке, в бараньей папахе остановился перед салон-вагоном с грозным объявлением на двери: «Без доклада не входить, иначе выпорю!»

— Чего тебе надо? — спросил появившийся в тамбуре паренек. — Кто таков, спрашиваю?

— Больно грубо спрашиваешь,— отозвался незнакомец.— Я к начдиву, фамилия моя Пылаев.

— Что из того, что ты Пылаев?

— Опять грубый вопрос. Мне нужен Азин.

— Я связной его, Андрюшка Шурмин.

— Это меняет дело. А я — комиссар вашей дивизии.

— Погоди-ка, постой-ка! Я же утром принял сообщение о твоем выезде из Вятских Полян. Когда же прикатить успел?

— На паровозе прибыл, как барин. А кто такой нахальный лозунг на вагоне начертал?

— Вагон-то ведь трофейный. Я хотел надпись вытравить, да Азин запрещает. Объявление-то, говорит, в нашу дудку дует, одно-распроединственное слово «выпорю», а из него буржуйская морда торчит.

Азин дремал на диване, но при появлении Пылаева сел, оправил гимнастерку. Пылаев представился, подал приказ Реввоенсовета армии.

Азин прочел и саркастически усмехнулся:

— Комиссар Пылаев? А на кой шут мне комиссар? Чему ты мог бы меня научить? Стрелять? Умею! За Советскую власть агитировать? Сам кого угодно распропагандирую.

— Не обязательно вас учить, можно у вас учиться.

— Чему же, комиссар?

— Храбрости хотя бы...

— Не терплю подхалимов. Шурмин! — громко позвал Азин. — Сообрази перекусить. Кроме вареной картошки, деликатесов не держим.

Во время завтрака они осторожно расспрашивали друг друга о жизни, но когда Азин узнал, что комиссар, его ровесник, уже дважды побывал за революционную деятельность в тюрьме, то пораженно воскликнул:

— Когда успел, когда успел?! Раньше меня загорелся мировой революцией? Я, комиссар, готов голову сложить за идеи революции, а вот у наших врагов своей большой идеи нет.

— И у них есть идея, но она безнравственна. Ее безнравственность заключена в стремлении поработить свой народ...

Азин внимательно — каким-то двойным, глубоким и скользящим взглядом — глянул на комиссара. Сказал не то Пылаеву, не то себе:

— Умирать за идеи революции нравственно и прекрасно, но умирать надо с сознанием, что выполнил свой долг. А у меня такого сознания пока нет.

— Это у вас-то нет?

— Откуда оно, если я воюю одной рукой? Левая занята отправкой хлеба...

— Да есть ли более благородная цель, Азин! Бить врагов революции и спасать от голода революцию. Нет ничего выше такой цели! Хлеб стал арифметикой революции. Ты только во-

образи — в Москву приходит десять вагонов муки. К комиссару продовольствия является представитель Реввоенсовета: «Чтобы революция победила, давай пять вагонов хлеба для Красной Армии».

Потом приходят профсоюзы: «Рабочие умирают от голода. Кто будет заготовлять для фронта снаряды, орудия, пулеметы? Погибнет рабочий класс — кому нужна его революция? Гони, комиссар, пять вагонов».

А в приемной толпятся железнодорожники, ткачи, обувщики, ученые, артисты, даже буржуи. Да, Азин, те, кто исполняют трудовые повинности. Они резонно требуют хлеба, ибо работают. Комиссару продовольствия надо быть новым Христом, чтобы разделить десять вагонов муки на миллионы голодных ртов.

Пылаев пощипал хилые рыжие свои усики, рассмеялся коротким невеселым смешком.

— Такие-то дела, Азин! Не тебе жаловаться, что скверно воюешь, не мне твои жалобы слушать...

— Я хлеба-то слезы отправил, а ведь все станции, все пристани на Каме завалены зерном. Миллионы пудов гниют, а народ умирает от голода. На полях скирды осинником поросли, а народ умирает...

Азин не терпел жалоб, сам не любил жаловаться, но тут как-то само собой вышло. Все еще недоверчиво он поглядывал на Пылаева.

— В нехороший час прислали тебя, комиссар. Мы отступаем-отступаем, и нет конца отступлению. За станцию Щучье озеро — она тут, рядом,— дрались неделю, а все-таки сдали. Теперь зацепились за Бикбардинский завод, пока держимся. Бикбарду защищает Дериглазов — командир он несокрушимый, надеюсь на него, как на себя. И вот тебе крест, комиссар, подохнет, а не отступит.

Сухо лопнуло оконное стекло, осколки брызнули по столу. Вторая пуля прошила вагонную стенку над головой Пылаева.

Азин вылетел из салон-вагона, Пылаев поспешил за ним. Прыгая с подножки на перрон, увидел, как рассыпаются цепью бойцы: мимо промчался Шурмин с пучком гранат, за ним — горбун в белом колпаке. У пакгауза пулеметчик разворачивал свой «максим».

На полустанок наступали белые лыжники — их неожиданный рейд свидетельствовал о неприкрытых флангах дивизии.

Пулеметчик дал по наступавшим короткую очередь, но тут же сам ткнулся в сугроб; снег у его головы загорелся красным. Пылаев подбежал к убитому, упал перед пулеметом. Лыжники то появлялись, то исчезали за березами, противно повизгивали пули. Пылаев утратил чувство опасности. Очнулся он от внезапно нахлынувшей тишины.

Из сугробов поднимались телефонисты, разведчики, повара. Горбун снял колпак, вытер бородатое лицо.

— Как я надел эту штуковину? — удивился он.

Вместе с горбуном Пылаев вернулся к салон-вагону.

— Вот черти, дали нам жару! Еще бы чуть-чуть — и висели бы мы на осинах,— встретил комиссара Азин. — С Игнатием Парфенычем уже познакомился? — спросил он, помогая горбуну снять задубевший полушубок. — Лутошкин, наш казначей, и писарь, и мудрец, и на гармошке игрец. Ах, черт их возьми! — вернулся Азин к колчаковским лыжникам. — Славный урок закатили, завтра и мы поставим на лыжи целый батальон.

— А где лыжи возьмете? — недоверчиво спросил Лутошкин.

— У мужиков. Тебя, Игнатий Парфенович, пошлю на поиски лыж. Хорошая идея!

— Эта идея сиюминутная, а я предпочитаю вечные.

— Вечность — понятие относительное.

— А что такое вечность, знаете, юный мой человек? — насмешливо спросил Лутошкин. — Раз в столетие птичка прилетает к Казбеку, чтобы поточить свой клювик. Когда весь Казбек источится, минует один день вечности...

Азин и Пылаев рассмеялись шутке Лутошкина: разговор перебрасывался с одной темы на другую.

— Правда ли, что вы переодеваетесь офицером и ходите на разведку в тыл белых? — спросил Пылаев.

— И такое бывает.

— Не дело начальника дивизии ходить в разведку.

— Комиссару тоже не следует соваться не в свое дело. Ты сам сейчас рисковал собой,— похвалил комиссара Азин.

Его похвалы всегда были сухими и краткими.

В салон-вагон влетел всполошенный Шурмин с телефонограммой в руке.

— Дериглазов оставил Бикбарду и бежит...

— Дериглазов без приказа оставил позиции? Шурмин, лошадь!

— Я тоже с вами,— заторопился Пылаев.

— Хочешь трусами полюбоваться? — спросил Азин, в сердцах хлопая дверью.

Снежные комья взметывались из-под копыт, встречные отскакивали с дороги; Пылаев и Шурмин едва поспевали за Азиным.

Показалась деревушка; у одной из изб стояли оседланные лошади. Азин подвернул к воротам, кубарем выкатился из седла. Ударом ноги распахнул калитку.

На крыльцо выскочил Дериглазов, с широкой улыбкой сунулся было к Азину, но тут же попятился.

— А, трус! А, подлец! — Азин замахнулся нагайкой.

Дериглазов поспешно нырнул в сени.

— Подлец, трус! Подлец, трус! — Азин рванул дверь, но в избу раньше его проскользнул Шурмин.

При появлении Азина бойцы повскакали с лавок; не замечая их, Азин пошел на Дериглазова с занесенной нагайкой. Шурмин перехватил его руку.

— Не смей его бить, не смей!

— Прочь, щенок!

Подоспевший Пылаев обхватил Азина за плечи.

— Ну что вы? Ну, хватит же! Ну, успокойтесь...

Азин так дернул ворот гимнастерки, что две медных пуговицы оторвались и покатились по полу. Бурка с него свалилась, красный шарф потерялся. Шурмин поднял бурку, принес из сеней шарф. Азин сел на лавку, оправил кобуру, поймал тревожный взгляд Дериглазова.

— Можешь не коситься на маузер. Тебя расстреляют твои же бойцы, как труса. Никогда бы не подумал, что в дивизии появились трусы. Что скажут московские рабочие, вятские мужики, латышские стрелки, если с поля боя бегут командиры? Что они скажут? «Военная дисциплина существует только на словах! Присяга только для красного словца! Мы погибаем за революцию, а комиссары с командирами драпают, спасая свои шкуры!» — выкрикивал он, снова ослепляясь злобой.

Азин арестовал Дериглазова, но осудить его как труса и дезертира и не хотел и не мог. Дериглазов все-таки остановил беглецов. Никакое следствие не могло бы установить, кто из бойцов третьего батальона побежал первым.

К третьему батальону была применена редкая, но страшная мера. Бойцов выстроили на околице деревушки, и арифметика случая решила судьбу каждого десятого.

Их оказалось девять, приговоренных случаем к смерти,— они должны были искупить вину батальона.

Они стояли перед своими товарищами, не понимая еще, что с ними случилось непоправимое: кто-то морщил в вялой улыбке губы, кто-то растерянно оглядывался.

Вдруг один из бойцов — высокий, белокурый, голубоглазый красавец — сорвался с места и побежал навстречу поднявшим винтовки, скидывая шинель, разрывая на груди рубаху.

— Братцы, братцы! — закричал он голосом, полным слез и отчаяния. — Стреляйте только в грудь! Не надо в лицо, не надо в лицо...

7

Весной девятнадцатого года Восточный фронт вновь стал главным фронтом республики. Колчак решил наступать на Вятку и на Казань,— северное направление казалось ему кратчайшим путем к Москве.

В ставке верховного правителя велась тайная борьба за северный и южный варианты наступления: от выбора варианта зависели интересы англичан и французов. Победили англичане: северный вариант спасал их оккупационную армию в Архангельске. Англичане думали по Северной Двине выйти на Котлас и в Вятке соединиться с войсками адмирала. Командующий иностранными войсками в Сибири генерал Жанен настаивал на южном варианте. Французские войска занимали Одессу, все интересы французов были на юге, но адмирал симпатизировал англичанам.

Против Вятки была брошена Сибирская армия Пепеляева, к Уфе устремилась армия Ханжина, а корпус Гривина, ударив в стык Третьей и Второй армий, захватил Оханск и Осу на Каме. Белые полки продвигались к Сарапулу, но на пути своем встретили бешеное сопротивление дивизии Азина.

Азинцы сражались за каждый полустанок, отбивали атаки противника, выходили из окружения, под артиллерийским огнем грузили в вагоны хлеб, отправляя его на запад. Колчаковцы начали обтекать дивизию Азина с флангов, она оказалась в коридоре, который с часу на час мог сомкнуться.

Солнце било из снеговых луж, леса густо чернели, дороги развезло. Под сугробами радостно гремели ручьи, прутья ивняка стали бордовыми, распушившиеся вербы походили на белые облачка, прогалины пахли пробуждавшейся землей, запах ее особенно тревожил сердца бойцов. Хотелось пахать, сеять,— они же все воевали, все воевали, и не было конца этой войне красных и белых.

Бойцы уныло брели по снежному месиву; злое и беспощадное словцо «отступление» угнетало: напрасными казались недавние победы, ненужными бесчисленные жертвы. Упадок духа исподтишка проникал в азинские полки, беспокойство овладевало всеми. Зачем гибли их товарищи в боях за Ижевск, Воткинск, Сарапул, если опять сдаются белым эти же самые города?

Панические слушки распространялись с легкостью лесного пожара. Захваченный в плен колчаковский офицер якобы говорил: «Колокола звонят в честь взятия Петрограда финнами». Мужичок из лесной деревушки клялся: «Ленин со всеми комиссарами бежал из Москвы и сейчас хоронится в дремучих вятских лесах».

Самые глупые слухи принимались на веру, ложь становилась правдоподобнее правды, басни приобретали политическое значение.

Штабной вагон тащился в хвосте товарного поезда, в штабе дежурили только Ева и Шурмин.

Ева и Шурмин, предоставленные самим себе, не зная настоящих причин отступления, чаще всего говорили об Азине — тема неиссякаемая для Евы.

— Люблю Азина за отчаянную его смелость. — Шурмин завертел головой, и его уши, просвеченные солнцем, вспыхнули.

— Азин — это глыба, вросшая в землю, а некоторые молодые люди — булыжники, валяющиеся на земле,— сказала насмешливо Ева.

Она старалась быть спокойной, но тревожное счастье выдавало ее. Ева испытывала постоянную неуверенность в своей любви, рожденной военным временем, но чем сильнее угрожала война человеческой жизни, тем безрассудней становилась ее страсть. Ева чувствовала себя необыкновенно легко с порывистым, безрассудным, добрым, великодушным, всегда неожиданным Азиным. Любовь дала ей остроту чувства и убыстренный ритм жизни, она же лишила ее способности размышлять. Ева гордилась своей победой над Азиным.

«Он вверг меня в круговорот постоянных опасностей»,— думала она, не сожалея, а радуясь своей неприкаянной жизни; часто неудобства оставляют самые незабываемые впечатления.

Азин вошел в салон-вагон, как всегда, неожиданно, но это был не тот стремительный человек, каким его знали Ева и Шурмин.

Серый, с пустыми глазами, опустился он на стул, вяло спросил у Шурмина:

— Ты почему молчишь?

— Жду, когда спросишь, почему я молчу.

— Вот дождался приказа командарма об отступлении за Каму. На том берегу нас ожидает райская жизнь в новеньких окопах. А наше бегство будет прикрывать Седьмая дивизия Романова. Знаешь Романова?

— Нет, а что?

— Романов — царский полковник, а его дивизия только что сляпана в казанском тылу.

— Ну, и что же из этого следует?

— Оставить завоеванные позиции и отойти за Каму — это же все равно что собственной рукой надеть петлю себе на шею. Оставьте меня одного. Идите, идите, оба уходите,— уже сердясь, повторил Азин.

Слоистые тени берложились в углах салон-вагона, на стенках проступала изморозь. Азин глядел в окно и будто впервые увидел запустение лесного полустанка. Валялись сброшенные с путей товарные вагоны, удушливый дым лениво клубился над цистернами с конопляным маслом, тлело пшеничное зерно в обугленных мешках, и над всем этим носился смрадный пепел.

«Командарм сказал — мое отступление по героизму равноценно победе. Хм! Как бы ни успокаивал меня старик, отступление есть сдача завоеванных позиций! Я расстреливал людей за бегство, а теперь сам, сам, сам...»

Он не мог выговорить «бегу сам», но воспоминание о Дериглазове, который ждет военно-полевого суда, не давало покоя. Храбрейшего Дериглазова расстреляют из-за трусов только потому, что существует приказ Троцкого: «Если из полка боец перебежит на сторону белых — комиссар и командир подлежат расстрелу».

Азин расстегнул кобуру, вынул маузер, проверил обойму. Опустив руку с маузером, прижался щекой к оконному стеклу. Он приложил ладонь к воспаленному лбу, вызывая в памяти Лутошкина. «Жаль, нет его сейчас. Что-нибудь да присоветовал бы! Человек может сделать многое, особенно молодой человек. Итальянец Христофор Колумб открыл Новый Свет. Молоденькая француженка Жанна спасла Францию»,— вспомнились ему слова Лутошкина.

Азин погладил тонкую кожу щек и тут же отвел руку, словно чего-то пугаясь. Снежный холодок сумерек прокрадывался в душу; сумерки все сделали серым, плоским, слякотным, скучным.

За полустанком на опушке вспыхнули костры. Азин представил, как лесной мир сжался до пределов ночного круга. Он любил сидеть у костров — огонь наполняет ум мыслями.

«Пламя имеет много оттенков и полутонов; красный цвет возбуждает. Почему бы это? Черный угнетает, зеленый успокаивает, но люди не могут жить на обесцвеченной земле. Только политические авантюристы поселяют людей в сером, без цветов и запахов мире! Все продумано природой, и мы зависим от нее наравне с тигром. Но мы не тигры. Что за вздорные мысли лезут в башку?»

Он всматривался в наступившую ночь, до боли в пальцах тиская маузер. Первоначальная мысль об отступлении появилась вновь.

«По приказу ли, без приказа ли, но я отступаю. Проще говоря, драпаю. Бегу без оглядки. Завтра ведь никто не скажет: Азин отступает по высшим тактическим соображениям. Не-ет! Вот как станут говорить: «Это тот Азин, что бежал от опереточного актерика Юрьева? Сукин сын, размерзавец ваш Азин! Герой с реки Вятки, пошел по шерсть — возвратился стриженым!»

Он распалялся все больше. Боль воображаемого позора обжигала сердце, костры стали казаться кровавыми пятнами. Что ему теперь делать? Никого нет рядом в эти минуты, он всех прогнал, даже Еву. Слезы обиды, стыда, жалости к себе выступили на ресницах; Азин знал: то, что он задумал, не геройство. Он был готов умереть за революцию, его смерть была бы

героической на поле боя. Теперь она — лишь постыдный уход от борьбы...

Он поднял маузер на уровень груди, начал повертывать его дулом к сердцу.

— Азин, Азин, Азин! — позвал знакомый испуганный голос.

Ева выдернула из его руки маузер, разрядила выстрелом в потолок салон-вагона. Заговорила с болью и гневом:

— Не узнаю моего Азина! Как ты мог, как ты мог поднять на себя руку? Это же предательство нашей любви, это — измена революции...

Она спрашивала, негодуя и понимая, что на ее вопросы не может быть ответа. Ей только хотелось вывести Азина из трагического тупика, разрушить его страх перед отступлением.

Азин смотрел на светящийся из сумерек снег, на дотлевающие костры, и глаза его обретали свою прежнюю ясность.

— Пусть это останется между нами. Между тобой и мной, — сказал он виновато.

8

Толпа богомольцев пестрым потоком текла к собору.

Мужики несли к ранней заутрене сивые, белые, рыжие бороды, шаркали лаптями бабы, смиренно плыли старухи, прошивая толпу черными зипунами.

У собора стояли нищие и монахи: в костлявых лицах нищих была мольба о подаянии, в тяжелых, словно отлитых из темной меди, монашеских физиономиях тлело ожидание благостных перемен. Среди богомольцев мелькали военной выправки фигуры; даже ненаметанный глаз мог увидеть — карманы их отягчены револьверами.

Афанасий Скрябин постоял, полюбовался синими куполами, вознесшими в свежее, в светлое небо кресты.

С заводского пруда дул сосновый ветер, густая, сочная заря заливала Воткинск; пунцовые ее крылья захлестнули полнеба, и пруд с тающим сизым льдом, и загородную дорогу, и сосновый бор.

По еще твердому насту Скрябин подошел к архиерейской даче. В сенях встретил его монашек, провел в переднюю.

— Как прикажете доложить?

Монашек исчез за резной дубовой дверью.

Скрябин сел на венский, с изогнутой спинкой стул.

Деревянные щиты прикрывали окна, крашеный пол застлан домотканой дорожкой, под матицей сухие пучки лекарственных трав, коричневые бревна чисты и покойны.

Солнечный лучик пробился сквозь щит, упал на Скрябина, он отвел голову, лучик соскользнул на шевровый сапог, голенище сверкнуло драгоценным камнем.

Опять появился бесшумный монашек:

— Просят в кабинет вас...

На краю зеленого, похожего на лесную трясину ковра Скрябина встретил Николай Николаевич Граве. Обеими ладонями потряс горячую ладонь хлеботорговца.

— Здравствуйте, Афанасий Гаврилыч! Вот и снова мы встретились, и рад я встрече.

— Я тоже, батюшка мой.

Граве придвинул стул, усаживая Скрябина поближе к венецианскому окну,— любил наблюдать за своими помощниками при сильном свете: так меньше лгали глаза их.

— Вот сигары, настоящие гаванские. Остатки княжеской роскоши.

Скрябин закурил; пахучий сигарный дым доставил неизъяснимое удовольствие.

— Неужто княжеские?

— Я не обмолвился. Сигары остались от великих князей Игоря и Ивана Константиновичей. Они жили на этой даче.

— Где же они сейчас?

— В раю. Большевики крепко повырубили монархический лес. У адмирала Колчака нашла пристанище лишь горсточка князей да баронов, но разве они представители древнего русского дворянства? Обгорелые пни истории. — Граве стряхнул пепел в малахитовую чашу. — Мы не успеваем подсчитывать потери, но, надеюсь, комиссары заплатят нам за них. Адмирал гонит большевиков на Волгу, на Каму. Наконец-то белое движение приобрело вождя, Россия — правителя. Победа — лучшая из рекомендаций. Колчак решил уничтожить большевизм на русской земле, я — на его стороне.

— Оно, конечно, так, батюшка мой,— уклончиво согласился Скрябин. — А не знаете, где полковник Федечкин?

— Убит полковник.

— Солдатов где?

— Про Солдатова не знаю. А вот ротмистру Долгушину повезло — добежал до Екатеринбурга. Еще артист Юрьев оказался удачливым — адмирал назначил его командиром Ижевской дивизии.

— Ежели Ижевская дивизия захватит Сарапул, нам ни к чему бунтовать в Воткинске,— неопределенно заметил Скрябин. — Восстание-то могут и подавить...

— Бунтовать надо! Даже обреченное восстание приносит пользу. А вам-то как удалось выскользнуть из Сарапула? — строго спросил, поджав тонкие красные губы, Граве.

— Я не выскальзывал из Сарапула, я был разбит Азиным, как и вы,— не удержался от шпильки Скрябин.

Граве пропустил это мимо ушей.

— Если Азин попадется в ваши руки, что вы с ним сделаете?

— Все зависит от обстоятельства, батюшка мой.

— Проявите милосердие?

Скрябин отставил руку с дымящей сигарой, повернул голову к венецианскому окну. Окно, словно рама, обрамляло синий сосновый бор, пруд с искристым льдом, оранжевое солнце в примороженном еще небе.

— Я его расстреляю,— ответил Скрябин.

В кабинете пахло сушеной малиной, валерьяновыми каплями, душистым дымом; дверные ручки с бронзовыми львиными головами разбрызгивали солнечный свет, усиливая впечатление полной отрешенности от мирской суеты.

— Вы мужчина серьезный,— сказал Граве. — Люблю людей действия, а не размышлений. К сожалению, среди нас расплодились осторожные.

— Чрезмерная осторожность — та же трусость.

— И я так думаю. Еще меня бесят чистоплюи. Им, видите ли, нельзя. Дворянин, гвардейский офицер, голубая кровь — и вдруг шпион. Мерзко? Да! Унизительно? Да! А ведь не понимают, что в нынешней войне позволительны самые мерзкие способы борьбы. Мы же стыдимся забрызгать грязью своих белых коней, а красных считаем то сплошными идиотами, то сионскими мудрецами.

Они сидели друг против друга и — непохожие — сейчас странно походили один на другого. У обоих были позеленевшие от бессонницы физиономии, из каждого выпирало все еще не утраченное превосходство над людьми.

— У них есть нравственные причины для мести, ничего не скажешь, но как я их ненавижу!

Граве коротко и криво усмехнулся.

— Слушайте меня, Афанасий Гаврилович, внимательно. В последние дни я чувствую себя все хуже и хуже, боюсь, не доживу до нашего торжества.

— Что вы, батюшка мой, что вы?

— В случае смерти завещаю вам Гоньбу. Знаю, в хозяйских руках будет мое имение. А если красные победят,— продолжал Граве, глядя мимо Скрябина,— то перебрасывайтесь на их сторону. Являйтесь в Чека с повинной: сочувствовал, мол, белякам, воевал, мол, с большевиками. Самую малость, конечно, наговаривать на себя никогда не стоит.

— А если они меня шлепнут? Я, батюшка мой, при одной такой мысли трепещу.

— Нам трепетать не положено,— жестко сказал Граве, останавливая на Скрябине совиные глаза, словно хотел прощупать, что же таится за узким лбом хлеботорговца.

Скрябин не мигая выдержал испытующий взгляд, но Граве все же подумал: «У него ненадежное, предательское выражение глаз». Поколебавшись, вынул из стола пять толстых радужных пачек.

— Это на расходы. В каждой пачке по десять тысяч. Катеринки-сторублевки,— опять криво усмехнулся Граве. — Восстание

в Воткинске начнем сразу же, как только начальник красной дивизии Романов выступит против Азина. Это случится, когда Азин станет переходить Каму под Сарапулом.

Граве постучал костяшками пальцев по малахитовой чаше.

— Был Романов полковник как полковник, но переметнулся к красным. Побыл у большевиков полгода и теперь переметывается к нам. Как тушинский вор...

— А может, наши посылали его с определенной целью? Может, он исполнил все, что ему положено, и возвращается? Предавать своих-то опасно. — Вспомнив, как он выдал красным самого Граве, Скрябин боязливо смолк.

— Возможно, так, возможно, этак. Но это в гипотезе. Сейчас в Воткинске наши кадровые офицеры, члены союза фронтовиков. Они — наши руки! Со своим отрядом вы захватываете завод, я ликвидирую гарнизон.

— Воткинский Совдеп может оказать вооруженное сопротивление.

— Никакого! В городе десятков пять коммунистов, вырежем их, будто цыплят. Мы провозглашаем власть Колчака и сразу же присоединяемся к Ижевской дивизии капитана Юрьева. Нам не впервые свергать Совдепы в здешних краях. — Граве выдернул из кармана маузер. — Кто там, за дверью?..

Дверь приоткрылась, на пороге появился архиерей.

— Фу, черт! Предупреждать надо, ваше преподобие, а то я бы и выстрелил.

Архиерей, шурша шелковой рясой, прошел к столу. Скрябин встал, склонив голову. Архиерей перекрестил его толстой, в мелких веснушках рукой, сцепил на груди пальцы. В смоляной бороде жирно струился золотой крест.

— Я зашел узнать: нет ли в чем нужды? — спросил он глубоким голосом.

— Нам пока ничего не нужно.

Архиерей вынул из-под золотого креста бумажку, подал Граве.

— Новые адреса офицеров, находящихся на тайных квартирах. Ждут вашего сигнала, Николай Николаевич. Я возвращаюсь в город. Что передать нашим друзьям?

— Пусть ждут сигнала.

— Сегодня вы, подобно изгнанникам, скрываетесь от злобы антихриста, завтра победите его. Изгнанные за правду побеждают всегда, ибо они — избранники божьи, ибо они — соль земли,— скорбно, с чувством сказал архиерей.

9

Измена командира Седьмой дивизии помогла офицерскому восстанию в Воткинске.

Успех восстания лишил устойчивости Вторую армию, Азину пришлось отступать, отдавая врагу Сарапул, Ижевск, Агрыз.

Предательство Романова и восстание офицеров вызвали в нем жесточайшую ярость сопротивления, угнетенное состояние сменилось бешеной энергией.

Азину удалось перехватить секретную директиву Колчака капитану Юрьеву. Адмирал требовал уничтожить красных, оперирующих к востоку от рек Вятки и Волги.

— Это нас уничтожить приказано. — Азин передал телеграмму Пылаеву. — Но рано пташечка запела!

— Колчак города берет, а его офицеры в плен сдаются. Одного такого героя только что привел Шурмин,— сообщил комиссар.

— Офицер сдался в плен? Где же он? Ко мне его! — крикнул Азин.

Шурмин ввел белоголового, белобрового, с голубыми прожилками на щеках и красными глазами человека. Перебежчик назвался поручиком Анненковым.

— Адъютант командира Воткинской дивизии Юрьева...

— Мы немного знакомы с капитаном Юрьевым. Били его осенью в Ижевске,— сказал Азин. — Почему перебежал к нам, его адъютант, ежели Юрьев успешно наступает?

— Буду откровенным, надеюсь, вы поймете меня.

— В ваших интересах, чтобы мы поняли вас. — Ответ Азина прозвучал и как предостережение и как призыв к искренности.

— С первого дня гражданской войны я живу в состоянии тревожной неопределенности,— заговорил Анненков. — Мы вот сейчас побеждаем, а меня не радуют эти победы. В них что-то эфемерное, что-то призрачное, я постоянно ощущаю обреченность белого движения. Правда, это пока психологическое ощущение. Колчак прекрасно вооружен, ему помогают Англия и Америка, у него отличные офицеры, но нет таких солдат, как ваши. Я, русский офицер, воюю с вами и чувствую себя преступником из-за того, что воюю с вами. Ведь вы — народ! А как воевать против собственного народа? Эта мысль мучает не меня одного в среде белых офицеров.

— Кто вы по происхождению? — спросил Пылаев.

— Из старинного дворянского рода Анненковых. Мой прадед был декабристом, а я вот... — Поручик тоскливо пожал плечами. — Двоюродный брат Анненков стал карателем, я же не могу. Я не хочу больше воевать за неправое дело.

— И решил переметнуться к нам,— съехидничал Азин.

Легким движением головы Пылаев остановил неуместное ехидство Азина, а поручик не обратил на него внимания.

— Одно преступление порождает другое. Служа Колчаку, я только увеличил бы число преступных деяний против народа. А с русской монархией кончено, монархия расстреляна, сожжена, развеяна по ветру...

— Хорошо сказано! — Азин даже крякнул от удовольствия.
— Правда всегда хороша.

— Если дорожите славным именем вашего прадеда, то обратитесь с воззванием к колчаковским солдатам. Пусть переходят на сторону революции,— предложил Пылаев.

— Как мой призыв попадет в их руки?

— Это уже не ваша забота. Пишите только так, чтобы безграмотные мужики поняли и поверили вам. Шурмин, ты же поэт, помоги поручику.

Вечером Азин читал «Листок белогвардейца», отпечатанный в дивизионной типографии, и чувствовал, что над воззванием поручика потрудились и Пылаев и Шурмин.

— Жарко написано! Люблю высокий стиль, люблю, когда каждое слово, словно пуля, бьет. «У Колчака одна цель — поработить снова народы». Четко, ясно! А это уже совсем здорово: «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель». Это кто же сочинил, поручик или Шурмин?

— Эту фразу вставил я,— ответил Пылаев.

— Ты просто поэт, комиссар.

— Фразу я у Карла Маркса взял...

— Сколько листков отпечатали?

— Десять тысяч штук.

— Солидно. А распространить такую уйму листовок — подумали? Разведчики много ли раскидают. С бронепоезда можно часть расшвырять, но ведь это почти в пустоту. По лесам, по полям! Такое воззвание — да собаке под хвост...

— Имею идею! — торжественно сказал Шурмин. — У Дериглазова бойцы возят оболочку воздушного шара. Если шар надуть, да листовками начинить, да к белым пустить...

— Лихая идея! — рассмеялся Азин.

— А что? Мне нравится. Воздушный шар можно и для разведки использовать,— поддержал Шурмина комиссар.

— Да чем ты его надуешь?

— Когда в одну кучу собрались двадцать тысяч человек всяких профессий, да еще с военной техникой, они вторую луну сделают.

Утром с головокружительной высоты Шурмин обозревал камские просторы. Над его головой пошатывался, плыл, склонялся огромный серый пузырь, под ногами подрагивала хлипкая ивовая корзина. До рези в глазах Шурмин смотрел и вверх и вниз, и казалось ему — он видит два совершенно неожиданных мира.

В первом мире был зеленый, омытый бледным, почти неземным светом росплеск сосновых, пихтовых, еловых лесов, черный разлив березовых и дубовых рощ. В этом мире жили сполохи, тугие облака, вербы с пушистыми желтыми почками,

бордовые тальники, овраги с клубящимися потоками полой воды, церквушки с блистающими крестами, розовые, нежные, как арбузный сок, горизонты.

Шурмин понимал этот веселый, ясный призывный мир. Он любил высокие седые стволы дымов из печных труб, избушки, сараи, амбары, бани, запрятанные в темень лесов, окруженные нагими от снега и грязи полями. Этот мир раздвигался во все стороны, теряясь в бочагах, чапыгах, речках, полянах, урманных опушках.

Но со светлым и прекрасным соседствовал мир — дикий, темный, затаившийся.

В этом мире по стальным рельсам, по разлохмаченным проселкам, едва заметным стежкам двигались длинноствольные орудия, бесконечные обозы со смертоносными предметами. По железной дороге катился вал паровозов, вагонов, платформ. Этот железом и порохом пахнущий, ревущий и лязгающий вал сокрушал деревни и села, сжигал боры, выворачивал многовековые дубы. Подобно чудовищному катку, он вбивал, вдалбливал в землю, перетирал все сущее на своем пути.

Андрей видел бронепоезда белых, ползущие по железной дороге, обозы, застрявшие в зажорах распутицы, солдат в синих, серых, черных, желтых шинелях. По одному цвету шинелей он мог определить нации, помогающие Колчаку в его наступлении.

Андрей покачивался в корзине аэростата, и наблюдал, и видел, и запоминал. Он видел железнодорожный мост через неизвестную реку, группу солдат возле моста, и вторую группу, сажен за пятьсот от реки, торопливо разбирающих шпалы и рельсы. Заметил и бронепоезд, которому белые отрезали путь. Бронепоезд ходил между мостом и развороченными путями, орудийные дымки плыли в сторону моста, и Андрей понял — бронепоезд стреляет вслепую. Противник недосягаем для его снарядов.

Этот бронепоезд строили бойцы из бригады Северихина, и сам комбриг обшивал паровоз листовым железом. Борта платформ наращены двойным рядом сосновых досок, междурядья забиты песком и щебнем. На каждой платформе стояло по два орудия и по два пулемета, по бортам пламенел плакат: «Мир — хижинам, война — дворцам!»

Самодельный бронепоезд с блеском проявил себя под Бикбардой, под Сарапулом, но теперь был обречен: как только он расточит все свои снаряды, колчаковцы возьмут его приступом.

Со своей сногсшибательной высоты Андрей увидел, что бронепоезд остановился. Сразу же с обеих сторон насыпи появились мелкие, пушистые, как одуванчики, винтовочные дымки, слабое эхо выстрелов катилось где-то под ногами Шурмина.

С бронепоезда прыгали фигурки и что-то кричали, все было мелким, хрупким, ничтожным на весенней, ускользающей из-под корзины аэростата земле.

Андрей решил: аэростат, набитый воззваниями, с попутным ветром можно пустить в тыл противника. В определенном месте корзина аэростата автоматически раскроется, и листовки свалятся прямо на солдатские головы. Он подал сигнал спуска. Его тотчас же потянуло вниз. Вскоре он уже стоял на мокрой земле, разминая затекшие ноги, а на его лице играл отблеск зари, высота синего неба светилась в глазах.

— Ну, что ты увидел? — спросил Азин.

Андрей рассказал о бронепоезде, попавшем в ловушку белых. Азин побежал ко второму и последнему своему бронепоезду «Свободная Россия». Потребовалось несколько минут, чтобы бронепоезд с Азиным вышел за семафор.

«Свободная Россия» дошел до разобранного пути; Андрей и Азин увидели — колчаковцы восстанавливают железнодорожный путь, а захваченный ими бронепоезд стоит у моста.

Азин скомандовал — бить по паровозу, по платформам.

Расстрел пленного бронепоезда был устрашающе точен: с каждым выстрелом взлетали доски, земля, щебень, колеса, клочья железа.

— Бей по дворцам, лупи по хижинам! — неистовствовал Азин, разглядев плакат на одной из платформ.

Прямым попаданием удалось подожечь мост, над ним взметнулись султаны дыма.

Бронепоезд «Свободная Россия» возвращался назад, и грохот его блиндированных платформ наполнял утренние рощи. Азин рассказывал оцепившим его артиллеристам и пулеметчикам бронепоезда о безумном азарте боев. Чем безудержнее говорил он, тем печальнее становился Андрей.

— Каких только глупостей не натворишь в азарте! Самые непристойные штуки выкидываешь,— признавался Азин, входя в легкомысленный раж. — Под Сарапулом случай был — стыдно вспоминать. Влетели мы со связным на вокзальный перрон, а поезд с убегавшими беляками только что стронулся, последний вагон еще у семафора виден. Связной ставит на рельсы опрокинутую дрезину и орет: «В погоню!»

Я с маузером в руке — на дрезину, и опомнились лишь у камского моста, верст за десять от Сарапула. Приказываю остановиться, а связной: «Весь фронт хохотать будет, как мы вдвоем поезд преследовали». Да ты что такой унылый? — спросил Азин у Шурмина.

— Я из пулемета человек пятнадцать скосил, а ведь они такие же парни, одетые в шинели, как и мы. Понимаю— борьба классов,— а свыкнуться с убийством людей не могу.

— Тот, кто видит много смертей, не говорит о смерти,— сурово возразил Азин. — Он или дерется, или исчезает с поля боя. Бесследно! Навсегда! И никто не вспомнит, что был такой сентиментальный осел. Всякая идеалистика до боя и после боя опасна.

А бронепоезд «Свободная Россия» все громыхал и громыхал блиндированными вагонами: двойной гул — колес и орудий — сотрясал мокрые весенние рощи.

10

Вечер был насыщен спиртовым запахом пихтовой хвои, в окно купе смотрела вечерняя звезда — спутница всех влюбленных. Азин оглаживал теплые, мягкие, как лен, волосы Евы, и слушал ее, и смотрел на блестевшие из сумерек глаза. Она же нежно укоряла его в грубости, духовной и физической.

— Но война же, война, война! — оправдывался он, сжимая ее голову своими сильными ладонями.

— Ты не задумываешься над своими поступками, не сдерживаешь своих порывов,— упрекала Ева. — Для чего ты стреляешь из маузера по дверям? За дверью может случайно человек оказаться. Смешно стрелять и над лошадиным ухом — животных так не дрессируют.

— А ты знаешь, как?

— Прекрасно знаю. Мой дядя Дуров самый знаменитый дрессировщик животных. Самый знаменитый в мире!

Он поцеловал ее в правый, потом в левый висок.

— Продолжай, продолжай перечень моих недостатков.

— Их бесконечно много,— засмеялась она, мерцая влажными молодыми зубами,— но я люблю тебя даже за твои недостатки. Чем больше их нахожу, тем сильнее люблю. Я только боюсь тебя потерять, ты так рискуешь собой. — Она приподнялась на локте, откинула набок волосы. — Смотри, Венера!

Вечерняя звезда, резкая, синяя, как осколок амазонского камня, сверкала в голых сучьях. Из осиновой рощи поднимались испарения прошумевшего дождя, деревья, рельсы, шпалы, вагонное окно были закрапаны дождем, и в каждой накрапине вспыхивал синий свет.

— Чего бы ты сейчас хотела? — спросил он, беря ее похолодевшие пальцы.

— Чего бы хотела? Одеть бальное платье и протанцевать с тобой вальс, и чтобы играл оркестр и все смотрели бы, как мы танцуем. — Она рассмеялась при мысли о несбыточности своего желания.

Он обнял за плечи Еву, прижал к себе. Впервые он был счастлив по-настоящему и хотел бы дать своей возлюбленной все.

А жизнь Евы казалась ей самой совершенно фантастической, мир стал похож на какой-то постоянно меняющийся ландшафт. В этом мире русские раскололись на белых и красных. Красные—герои, белые — злодеи! Прямолинейному, пронзительному, как острие клинка, разграничению людей на две социальные

категории Ева научилась у своего Азина. Любовь — великая учительница.

— Где он? Я хочу его видеть! — раздался за вагоном знакомый голос.

— Северихин! Вот гость нежданный! — вскочил на ноги Азин.

Северихин в брезентовом, заляпанном грязью плаще поднялся по ступенькам в тамбур, прошел в салон. Его обветренное, широкоскулое лицо снова показалось Азину земным и надежным; они обнялись, неловко расцеловались.

— Я проскакал двадцать верст по невозможной дороге,— заокал Северихин, усаживаясь на диванчик.

— Отмахал ради меня?

— Отчасти — да, но больше из-за Дериглазова. Правда ли, что ты арестовал его? Правда ли, что его будет судить трибунал?

Северихину, все эти недели ведшему арьергардные бои с колчаковцами, были неизвестны последние события в дивизии. Азин рассказал ему, что случилось под Бикбардой.

— Я бы давно выпустил Дериглазова из-под ареста, да дело то ушло в армейский трибунал. Поторопился, погорячился я тогда,— сознался он.

— Торопливость хороша при ловле блох,— постучал фарфоровой трубочкой Северихин. — Глупо, глупо, как в анекдоте. Как в анекдоте про эсера, которого посадила губчека. Спрашивают эсера: «Что делал до семнадцатого года?» — «Сидел и ждал революции». — «Что делаешь теперь?» — «Дождался и сижу...»

— Я виновен перед Дериглазовым, перед собственной совестью. Завтра Дериглазов снова будет комбригом,— окончательно решил Азин.

В салон вошел Пылаев, за ним мужчина — весь в черной хромовой коже. Не только куртка и брюки, но и фуражка и портфель были из черного хрома.

Пылаев представил незнакомца:

— Следователь особого отдела Саблин.

— Послан к вам для проверки классового состава командиров,— добавил Саблин.

— Прошу! — показал Азин на стул. Самоуверенный вид следователя насторожил его, он не терпел, чтобы кто-то пренебрегал им, и на самую легкую дерзость отвечал двойной дерзостью.

Саблин сел, скрипя курткой, поставил на колени брюхатый портфель. Выпуклые, маслянистые, черные глаза уставились на Азина.

Азин выжидающе молчал; ему все больше не нравился Саблин, даже его хромовая куртка и галифе — гладкие, гибкие, холодные, как лягушечья кожа.

— Я познакомился с классовым составом командиров ва-

шей дивизии в штабе армии,— начал Саблин, вытаскивая из портфеля пухлую папку. Шлепнул ею по столу. — Классовый состав удручил меня до невозможности, заявляю это со всей ответственностью. У вас командуют сплошь царские капитаны да поручики.

— Есть и фельдфебели, они заменяют нам фельдмаршалов,— иронически заметил Азин.

— Удивляюсь, как они еще не скомандовали вам: направо — кругом, марш на Москву! — продолжал Саблин, не обращая внимания на иронию Азина. — Начдив Азин только что изволил шутить — в дивизии, дескать, есть фельдфебели, равные фельдмаршалам. Одного такого фельдфебеля я увезу сегодня в штаб армии. Судить его будем, и немедленно, как опаснейшего врага...

— Это кого же? — спросил Азин, нервно передернув губами.

— Фельдфебеля Дерпглазова. Вот документы, уличающие его во многих преступлениях,— Саблин выбросил на стол бумажки. — Вот, и вот, и вот! В одном из прикамских сел этого контрреволюционера встречали колокольным звоном, в другом он сам, заметьте — сам, был на молебне в его честь. Это же дискредитация нашей пролетарской, антирелигиозной по своей сути власти! Вот жалоба на изнасилование женщины, а эта — на конфискацию самогона. А это... это его собственноручное письмо. Только обнаглевший враг может так грозить военному комиссару, человеку пролетарского происхождения. Нате, полюбуйтесь!

Азин прочел вслух строки с крупными, корявыми, падающими назад буквами:

— «С батальоном своим налечу на Мамадыш и не оставлю от города камня на камне. Тебя же, гниду, выпорю нагайкой, хотя ты и комиссар. Да и не комиссар ты вовсе, а дерьмо собачье. Дрожи, сукин сын, в своем Мамадыше!»

— Как вам нравятся угрозы классового врага?

— Мне стиль его нравится! — захохотал Азин, передавая письмо Северихину. — Тут что-то не то. Мы же Дерпглазова знаем.

— А как он малмыжское казначейство ограбил, знаете? Как миллион рублей татарам, своим дружкам, роздал, знаете? — резко спросил Саблин и ухмыльнулся.

Его белозубая ухмылка привела Азина в бешенство, он выдернул из рук Саблина портфель, швырнул к двери.

— Вон отсюда! Сию минуту вон!

Саблин выскочил из салон-вагона.

— Ты нажил себе смертельного врага,— сказал Пылаев.

— Плевал я на него! Кстати, откуда взялся этот тип? В штабе Второй армии я его не видел.

— Саблина перебросили к нам из армии Тухачевского. Он

был полковым комиссаром, и вот — назначили следователем особого отдела,— ответил Пылаев.

— Кто же назначил-то? Главком фронта, что ли?

— Реввоенсовет Республики. По личному приказанию Троцкого, потому-то Саблин и чувствует себя так уверенно.

— Самоуверенный гусь! А Дериглазова я не отдам ему в лапы и суда не допущу или сам вместе с ним на скамью подсудимых сяду. Возьми эти жалобы, комиссар, твое святое дело — очищать правду от грязи. — Азин выбежал из салон-вагона.

— Про этот миллион могу целую былину рассказать,— повернулся Северихин к комиссару. — Особенно, как Дериглазов из малмыжского казначейства этот миллион спас, как его татары нам возвращали.

— Каждое слово с ядом,— вздохнул Пылаев, просматривая жалобы. — Если мы станем верить доносам, то загубим лучших борцов революции.

Азин вернулся с Дериглазовым. Комбриг заключил Северихина в объятия; долго похлопывали друг друга по спинам, по плечам, пыхтели, хмыкали, потом уселись за стол. Из своих купе вышли Ева, Лутошкин, Шурмин.

— Забудем бикбардинское дело! Ты на меня не злись, а злишься, то на́! Дай в морду! Дай в морду! — азартно молил Азин, подставляя щеку Дериглазову.

— Зачем город Мамадыш грозились стереть с лица земли? — весело допытывался Пылаев.

— Пронюхали про мое письмо? — Блаженное удовольствие расплылось по шершавой физиономии Дериглазова, словно все признали его необыкновенные способности расправляться со своими врагами. — Мамадышский ворюга будет знать, как озоровать со мной. У моей супружницы коня конфисковал, разве не стервец он после этого? Что касаемо Мамадыша, ну, там камня на камне, так это в шутку. Я свой Мамадыш люблю.

— А вы в бога верите? — спросил Пылаев.

— Тыщи лет мудрецы бьются над вопросом, есть бог, нет бога, а ты хочешь, чтобы я с бухты-барахты ответил? Подумаю — нет бога,— а кто небо, а кто солнце, а кто землю придумал? Кто бабу сочинил? Если ее не бог создал, тогда кто же? Дьявол?.. Одним словом, вопрос о боге для меня еще в полном тумане.

— Почему вас попы с колокольным звоном встречают?

— А вот это са-вер-шенно иной вопрос! Уж так застращали мужиков антихристом, что в деревнях при нашем появлении все трясутся. Я же, как займу село, шлю нарочного за попом: «Звони в колокола, начинай обедню». Сам при всем народе в церкви морду крещу, бабы и старики смотрят: «Э, думают, какой же он антихрист!»

Разговор разгорался, легко перескакивая с одной темы на другую.

— Мы живем в век идейной борьбы,— говорил Пылаев.

— Страсти сильнее идей,— возражал Лутошкин.

— Всякая страсть социальна. Возьмите лозунг: кто не работает, тот не ест. В нем идея нашей революции, а какая бездна страсти в этой идее! Тут и борьба классов, и судьба народа, и судьбы отдельных людей, и воспитательное значение всякого труда...

— Ну уж, только не всякого,— запротестовал Игнатий Парфенович. — Труд будет бессмысленным, когда трудятся рабы, и преступным, если палачи и тюремщики. Бывает, что и они трудятся в поте лица своего.

— При социализме человек станет относиться к труду как к религии. Я верю в божественную силу труда,— упрямо повторил Пылаев.

— Божественная сила труда? — Игнатий Парфенович был поражен непривычным сочетанием знакомых слов. — Что же даст обожествленный труд людям?

— Всеобщее счастье...

— Общего счастья нет. У каждого свое представление о счастье.

— А мы дадим одно понятие, новое.

— Каким же оно будет?

— Я и сам пока не знаю. Произведем опыт, прикинем, примерим...

— Это невозможно, невозможно! — разволновался Игнатий Парфенович. — Невозможно, чтобы люди радовались и страдали одинаково.

— Ну, страдать-то может каждый по-своему,— неловко пошутил Пылаев. — В истории есть такие примеры.

— А-а, не говорите мне про историю! Ничто так не действует на людей, как страх перед опасностью. Люди всегда беззащитны перед бедой.

— Любит русский интеллигент выдумывать,— насмешливо заметил Пылаев. — Сочинять себе несуществующих врагов — постоянная его забота.

Ева слушала эти споры и смотрела на всех чистыми, проникновенными глазами. Тогда все они, словно по внезапному уговору, перестали говорить о политике и предались наивным воспоминаниям, как это часто бывает среди молодых людей.

Все вспоминали свое отрочество, и каждому казалось, что в голубой высоте неба поют звонкие трубы и струи звуков льются на землю. Это чувство захлестывало их целиком, и радость их была терпкой, как запах вереска.

Наступившая ночь дышала прелью прошлогодних листьев, бормотала ручьями, озарялась кострами. В час, когда утомленные бойцы спали где попало, аромат земли становился сильнее запахов пороха, ружейного масла, ржавого железа.

Азин, Пылаев, Ева, Северихин, Дериглазов, Лутошкин, Шурмин сидели, сдвинув головы, упираясь плечами друг в друга.

— Разве можно забыть луга перед рассветом? Бежишь по седой траве, а подошвы жалит роса. Выскочишь к озеру, да так и замрешь: кувшинки еще не раскрылись, листья круглые, толстые, не шелохнутся,— восторженно говорила Ева. Вздохнув всей грудью, уже совершенно некстати добавила: — Когда выйду замуж, стану рожать одних девочек.

— Это почему же? — спросил Пылаев.

— Девочки будут — войны не будет...

Тогда они заговорили о великой, неистребимой силе материнской любви.

— Не забуду я последних слов матушки,— вспоминал Дериглазов. — Перед смертью своей сказала она: «Когда, сынок, хоронить меня станешь, смотри шапку-то не снимай. Простудиться можно...»

Слова эти потрясли их. Они долго молчали, ведь никто еще не знал более сильной любви, чем материнская. Молчание нарушил Шурмин, прочитал по памяти чьи-то стихи:

Но дважды ангел протрубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет...

— «И сын от матери отпрянет»,— повторил последнюю строку Пылаев. — Заметьте: не мать, а сын отпрянет. Это подсознательно сказалось, поэт, может, и не думал, а сердце его сказало так. Не страшно умереть — страшно потеряться в памяти человеческой...

— Ты прав, Пылаев,— согласился Северихин. — Боюсь быть похороненным в чужой земле. Хорошо лежать у родных могил, но только солдата хоронят там, где он упал.

— Бросьте вы о смерти! — поморщился Азин. — Мы живем в дни великой социальной бури. Если нет поэтов, воспевших нашу юность, пусть явятся для прославления нашего натиска...

Они безотчетно старались уберечь в памяти все, что исчезало под действием новых впечатлений. Самая беззаботная часть их жизни уже окончилась, новая началась войнами, революциями. Еще никто из них не знал, что станет делать, когда окончится война, но все они верили в необыкновенное будущее. Жизнь после революции представлялась им продолжением их отрочества — все с теми же золотистыми горизонтами, синими ландшафтами, струями ясных звуков, льющихся с высоты.

Короткие светлые ночи озарялись трубными кликами, гоготаньем, стонами, свистом, писком, хлопаньем крыльев, а в затонах и заводях жила полнозвучная тишина. Опрокинувшись в водяную зыбь, цвело двойное небо. На мелком песчаном дне лежали тени дубов, со дна поднимались белесые горошины воздуха. Утки проглатывали их, словно жемчужины, пичуги пили с пихтовой хвои росу, соловьи прочищали горлышки перед песней любви и подступающего цветенья.

Но об этом весеннем сияющем мире не хотели знать люди.

Вторая армия, сжавшаяся почти до одной азинской дивизии, окопалась на правом берегу реки. Азин вернулся к тем самым Вятским Полянам, откуда прошлым летом его отряд начинал поход на Казань.

Штаб командарма Шорина тоже находился в Вятских Полянах, на пароходике «Король Альберт». Пароходик стоял у железнодорожного моста, под глинистым обрывом.

Азин взбежал по сходням на палубу, полюбовался горбатыми пролетами моста: головокружительно неслись воды, но с такой же быстротой летел вверх по реке и огромный мост.

Азин вошел в пароходный салон. Салон с трудом вмещал обеденный стол, кожаный диван, пару глубоких кресел, пузатый буфет, пианино.

Командарм разговаривал по прямому проводу.

Азин сел в кресло, оно подалось под ним, как моховой пласт. Он старался не слушать командарма, но улавливал его слова против своего желания.

— Катастрофы мы избежали, но какой ценой? В отдельных полках осталось по полсотни бойцов. Красноармейцы и командиры много раз участвовали в штыковых схватках, в рукопашных боях. Если бы я приказал умереть всем — умерли бы, товарищ главком. Но ведь нам надо жить для победы. — Командарм замолк. Запавшие его глаза мельком глянули на Азина, потом снова зазвучал его хриплый, отрывистый бас: — Составить списки для награждения никак не могу, товарищ главком. Или всех награждать, или никого...

Шорин, перестав диктовать телеграфисту, сел напротив Азина, собрал морщины на рыжем лице.

— Мой мальчик, ты мужаешь,— сказал он с неожиданной задушевностью. — Я рад! Ты теперь не просто воюешь, ты осмысливаешь каждый бой. Это осмысливание меняющихся во время боев событий очень важно. Для армии Колчака гражданская война — или все, или ничего, для нас — только все! Выйдем-ка на берег,— предложил командарм, вставая и беря суковатую палку.

В высоком небе пел жаворонок. Опершись на палку, командарм отыскал место, в котором самозабвенно звенела пичужка, ткнул палкой в эту недосягаемую точку.

— Заливается, пахать зовет. Бойцы тоскуют, мужики ведь.

Ты, Азин, парень городской, не знаешь, что такое тоска по земле. — Командарм поднял комок влажной земли, растер в пальцах, понюхал. — Пахать пора, Азин.

Они шли к мосту. С зеленой кручи хорошо проглядывался весенний разлив, отсеченный темной кромкой лесов. От моста прямой полосой уходила к горизонту железнодорожная насыпь, и только она да луговые гривы приподнимались над полыми водами. Левобережное предместье и насыпь удерживал Северихин,— противник не мог до спада воды начать переправу.

— Есть у меня мыслишка, Азин. — Командарм обвел палкой горизонт. — Белые выпустили из рук инициативу, они ведь тоже измочалены, но знают: скоро мы начнем контрнаступление. Вопрос только в том, где мы начнем наступать. Белые уверены, что с предмостного плацдарма,— ничего не скажешь, удобный плацдарм. Постараемся поддерживать это их заблуждение, а сами переправимся в другом месте.

Командарм снова повел палкой по горизонту.

— К мосту стянем воинские части, подведем пароходы, установим бутафорские орудия. Я издам приказ, по нему ты якобы начнешь отсюда наступление. Приказ этот попадет в руки колчаковского командования — он фальшивый. Одним словом, создадим иллюзию, что дивизия переправится и начнет наступление от моста. А на самом деле будем переправляться значительно ниже по течению. На хитрость врага нужна своя хитрость. — Командарм воткнул палку в землю и навалился на нее всем корпусом.

Так он и стоял, с мужичьим лукавством поглядывая на Азина.

— Да, мальчик мой, много качеств должен иметь красный командир. Тут и смелость, и хитрость, и благородство характера, и понимание революционного долга, и сильный ум. Во время боя командир — дирижер боя. Он должен чувствовать движение своих полков, предугадывать намерения противника. Помни об этом всегда!

11

Северихин сидел на пороге мельницы, околдованный ее сдержанными, успокоительными звуками. А на мельнице звучали стены, потолки, косяки, оконные рамы, сусеки, даже толстые жгуты мучной пыли. Полнозвучно шумел поток, вырываясь из-под водяного колеса, скрипели жернова, шелестела теплая струя ржаной муки, падавшая в сусек.

С мельничного порога Северихин видел особенно черный ночной бор, плакучие ивы на плотине, заросли черемухи по береговому обрыву, белесые столбы испарений, передвигавшиеся над камышами. От призрачного лунного свечения неузнаваемо изменился простой сельский пейзаж, под стать ему изме-

нилось и настроение Северихина. Прискакав на мельницу, он сперва обрушился на мельника:

— Хочешь красных бойцов без хлеба оставить! Почему мало муки мелешь, старый хрыч?

— Чево шумишь, комиссар? Если ты сам мужик, то смотри: может ли моя мельница молоть на целую армию, колды ейной силы только на роту?

Северихин обошел мельницу, проверил, убедился — не может. И, сразу успокоившись, залюбовался спорой работой старого мельника. Майская, полная запаха цветущей черемухи ночь, сонный, уходящий в синюю роздымь пруд, серое, начинающее зеленеть небо еще больше усиливали покой и томительную негу. Отошли куда-то бои и походы, бурные митинги и красноармейские, обозленные отступлением физиономии, и против воли Северихин погрузился в милые сердцу воспоминания.

Вспомнилась такая же водяная мельница в вятском селе. Она жила в памяти как неизбывное впечатление детства, а теперь выступила на первый план, завладела всем существом Северихина. Только его родная, далекая во времени мельница отличалась от нынешней, совсем незнакомой, совершенно иными разговорами помольцев. Сегодня Северихин не слышал страшных побасенок о водяном, о русалке, а без них он не мог представить себе мельницы.

Он вынул изо рта трубку, подумал: «А в самом деле, бродил ли по лесным берегам моего детства водяной Федор Иваныч, жила ли в глубокой яме под карасами русалка Ямаиха?» Северихин с детства верил, что в звездные ночи водяной и русалка катались по пруду на тройке. Как ржали тогда вороные, гремели бубенцы, ухал водяной, смеялась русалка!

До своей русалочьей жизни была она учительницей, но обманул ее проезжий купчик. Сошла с ума учительница и утопилась в глубокой яме возле карас. И прозвали ее Ямаихой. А водяной когда-то служил ямщиком, утерял казенные деньги и, страшась каторги, загнал тройку вороных в пруд, сам повесился на осине.

С той поры и жили под карасами русалка с водяным и катались по звездному, сонному пруду. Обмирало сердце от страха, но все же хотелось Северихину увидеть хоть раз черную тройку. Не довелось.

Нежно любил Северихин свое село, и мельницу, и муравейники, и диких голубей в сосновой тишине,— все живое водило с ним дружбу. Веселой этой дружбе с природой научил его мельник. В вятском крае каждая деревня имела своего праведника, своего еретика, своего мечтателя. Мельник бегал в черемушник слушать соловьев — бабы смеялись над ним. Мельник заступался за бродячего пса — парни лупили его. Он был живуч, как репейник, и обожали его мальчишки. Никто лучше

мельника не ловил щук, не гнал из сосны живицу, не мастерил манки на рябчиков.

Сквозь прикрытые веки Северихин снова видел мельника — долговязого, худого, белого с головы до лаптей. Подмигивал ему и шепелявил мельник:

— Вот тебе, Алешка, манок на рябков. Больно смешно рябки на свистки бегут. Ты посвистываешь, а они — бегом-бегом, только трава качается. Муторно из ружья палить, вроде как по малым детишкам. И ты, сынок, не пали, ты их приманывай, любуйся ими, но не омманывай. Грех омманывать зверя ли, птицу ли, ты завсегда человеком будь.

Как-то мельник явился с большим, плетенным из луба коробом, поставил короб посередине избы, приоткрыл крышку, и Северихин увидел книги.

А мельник, одетый в чистую посконную рубаху, новые лапти и войлочную шляпу, был как-то особенно торжественным. Он вынимал из короба растрепанные тома, вытирал рукавом плесень с корок.

— Тебе, Алешка, чти! Покойного пономаря книги-то. Наказывал мне: «Будешь помирать — пересунь другому. Глядишь, до книгочия дойдут». Чти, Алешка, может, человеком будешь.

Северихин читал на сеновале, в избе при свете лучины; отец отваживал его от чтения вожжами, братья хлопали по башке «Дон Кихотом».

Глаза Северихина смыкались, он уже не различал траву, полегшую от росы, не видел испарений, поднимавшихся от воды, лошадей, хрупающих овес у коновязи. Сквозь набегающие тени сна слышал он ворчливые разговоры. Знал Северихин: на мельницах создавались и рушились репутации, выносились приговоры добрым и дурным поступкам, здесь всегда било обнаженной мужицкой политикой.

— Под корень-то мужичий род хотят вывести...

— Толокна ишшо мало хлебали.

— Бога нет, царя не стало,— кто теперича правит Расеей?

— Ох, робята, робята! Языком бо́тать — на Чеку работать!

Северихин встал, расправил плечи, отряхнул с лица сладкую пыль. Мужик с красными от бессонницы глазами положил ему на плечо руку:

— Пошто с Колчаком воюете? Че не поделили?

— Долго объяснять, а мне некогда,— еще не освободившись от сна, ответил Северихин. — Прощайте пока! — Звеня шпорами, прошел к пряслу, где застоялся его буланый.

Луна уже склонялась к вершинам соснового бора, на пруду закрякали утки. Черемуховые сугробы уходили по берегу в ночь, белая роща казалась и густой, и очень глубокой, и прозрачной в то же время, и невесомо ускользающей вдаль и ввысь. Блеклые лепестки наискосок падали между стволами.

Северихин вдохнул дурманящий аромат лепестков, черемуховой смолы, этот аромат подавлял плотный запах конского навоза, приторный и гнилой — прошлогодних трав, чуть слышный запах ландышей. Все пропахло черемухой, даже лошадиная грива, даже повод в руке Северихина.

Опершись ладонью на лошадиную шею, он вглядывался в белесую глубину рощи, но мысленно видел свое село, свой двор, охваченные таким же мощным цветением черемухи, и услышал лихое щелканье соловьев.

От звучного свиста таяло сердце, и невозможно было бы выхватить маузер и открыть пальбу по соловьиным кустам. Северихин тискал повод и улыбался; исчезли настороженность и постоянное чувство опасности. Все стало легким, радужным, опять появилась надежда на скорое счастье. А счастье его состояло из мира и тишины. Мир и тишина были необходимы Северихину, чтобы мог он пахать, сеять, убирать урожай, любить свою бабу.

Огненная вспышка взорвалась перед глазами, Северихин схватился за грудь, между пальцами брызнула кровь. Он вонзил шпоры в бок буланого, жеребец понесся по предрассветной дороге.

Отряд «Черного орла и землепашца» крадучись вышел на берег Вятки, собираясь уничтожить железнодорожный мост. Разведчики случайно попали к мельнице, где и натолкнулись на Северихина.

Он примчался к мосту в разгар рукопашной схватки. Бойцам некуда было отступать: за спиной — река, впереди — насыпь, подпертая полыми водами и захваченная черноорловцами.

Северихин спешился и повел бойцов в штыковую атаку: зажимая рану рукой, он бежал по насыпи и стрелял под откос, где залегли черноорловцы, слышал топот множества ног, противный звон рельсов от пуль, угадывал роковую черту между собой и противником. Если он проскочит эту невидимую линию смерти, если сумеет, если, если...

Он вскинул руки: правую — выпустившую маузер, левую — огненную от крови; споткнулся о шпалу. Упал с размаху на рельсы.

...Ветреное утро вставало над Вяткой, в небе бежали разорванные облака, пахло порохом и кровью вперемешку с запахами мяты и медуницы. Азин сидел в ногах покойного, обхватив голову руками, выкатив белые от горя глаза. Гибель друга потрясла его; он долго плакал молчаливыми слезами, потом онемел у гроба. «Ежедневно гибнут мои друзья, а сколько их еще погибнет! Но пока я живу — Северихин бессмертен».

Он украдкой посмотрел на смуглое, приобретшее тяжесть камня лицо друга; в нем уже появилось выражение полной отрешенности от всего земного, спокойствие стыло в каждой черте. И это страшно дорогое лицо уже отодвигалось куда-то от Азина. «Революция вошла в его кровь, стала его страстью,

он был ее воплощением, всегда героическим». Как только он подумал о Северихине в третьем лице, тот утратил свою реальность. Теперь Азин не боялся говорить о комбриге самые высокие слова, Северихин редко пользовался ими, но ценил их силу. Многое не любил покойный: не терпел мягкотелости, но не признавал и жестокости.

— Наконец он свободен. Слава богу, совершенно свободен,— прошептал Игнатий Парфенович.

— Что ты шепчешь? — спросил тихо Азин.

— Он хорошо прожил свою жизнь и больше не нуждается в счастье...

12

«Звездоносцы, боевые орлы! Не одна лавровая ветвь вплетена вами в победный венец революции. Славные бои с чехословаками под Казанью, взятие Чистополя, Елабуги, Сарапула, Ижевска — вот те кроваво-красные рубины, которые вкраплены вашими руками в страницы боевой истории...»

Сидя на пеньке, положив на колени блокнот с картонными корками, Азин крупным почерком писал этот приказ.

Наконец-то начинается наступление. Дивизия пополнена свежими силами, люди отдохнули и не нуждаются в звонких словах. Но Азин любит все эти лавровые ветви и красные рубины, верит в силу слов «звездоносцы», «боевые орлы». Ему кажется, что все бойцы воспринимают эти слова, как и он,— романтически.

Было раннее утро двадцать четвертого мая. У причалов грудились пароходики, буксиры, баркасы, лодки, плоты. Бойцы тащили пулеметы, ящики с патронами, связки гранат. У воды выстроился кавалерийский полк Турчина. Торопливо курили всадники, нетерпеливо переступали ногами лошади.

Азин то расспрашивал, есть ли у левого берега мели, то скакал к Турчину убедиться, могут ли кавалеристы переправиться вплавь. Шурмин неотступно следовал за ним, особо стараясь привлечь внимание Азина к духовому оркестру. Оркестр блистал медными инструментами, на лицах музыкантов Азин увидел то же нетерпение, что испытывал сам.

В ответ на его приветствие грянула лихая мелодия:

Как наш Азин-командир
Боевой надел мундир.
Вышел грозно на крыльцо.
Глянул каждому в лицо.
Брызжут пеной удила,
Вихрем кони стелются.
К черту белых замела
Красная метелица!

Азин оторопел от неожиданности. Прихлестывая нагайкой по голенищу сапога, ждал, когда Шурмин остынет от возбуждения.

— Откуда песня?

— Слова Шурмина, музыка народная,— ответил с глупой улыбкой Шурмин.

— Слова чужие, и музыка краденая! Эту песню еще в Порт-Артуре пели. Но не в этом дело. Кто позволил тебе славословить меня? Я что, Суворов? Может, я фельдмаршал Кутузов? Тебя под арест бы, да времени нет! Ну, да я еще попомню тебе эту песенку...

С верховьев, из зеленого далека, донеслись короткие, плотные звуки. От железнодорожного моста по заречным позициям белых били тяжелые орудия; маскировка красных сводилась к одной цели — поддержать в противнике уверенность, что именно отсюда они нанесут удар. Приказ Шорина, называвший части Седьмой и Пятой дивизий, производившие маскировку, скрытно забросили в штаб белых.

Азин взбежал на палубу парохода.

Обжигающий зов «Марсельезы» возник над лесной рекой, от причалов на стрежень ринулись баркасы, буксиры, лодки, паромы.

Солнце желтым и синим светом пронизывало воду. Азин с подозрением всматривался в луговой берег — за травянистыми гривами могли таиться вражеские пулеметы.

А левый берег молчал. Ответит ли он свинцовым ливнем, Азин не знал. Но призывала к действию «Марсельеза»: «О граждане, в ружье! Смыкай за взводом взвод! Вперед, вперед!»

Бывают такие минуты, когда неслыханно прибавляются силы, люди обретают звериный слух и птичье зрение. Разношерстная флотилия быстро пересекла стрежень, но у левого берега ее подстерегали мели. Первым сел на мель пароход со штабом кавалерийского полка и полевыми разведчиками.

Шурмин прыгнул в воду. Коснувшись ногами дна, выпрямился; глубина доходила до шеи.

Еще не опал сноп брызг, поднятый Шурминым, а река уже вздыбилась радужными всплесками, над водой появились тысячи голов. Повсюду блестели штыки, пулеметные стволы. В этой суматохе был свой порядок; пестрые линии голов то выравнивались, то вновь разрывались. Отдельным косяком переправлялся полк Турчина. Кавалеристы, совершенно раздетые, стояли в седлах, темляки их шашек были украшены бантами, алевшими, словно цветы шиповника. Всадники подбадривали друг друга веселым гоготом, лошади фыркали, храпели, ржали.

— Они, чего доброго, нагишом в атаку бросятся,— сказал Пылаев, любуясь крепкими белыми телами.

— Почему колчаковцы не открывают огня? — удивлялся Азин.

Зеленая линия кустарника за песчаной косой стала казаться ему еще опаснее.

Шурмин между тем вышел на песчаную косу, отряхнулся и помчался к зарослям дубняка, за которыми находились окопы белых.

Окопы оказались пустыми. Колчаковское командование отвело войска к железной дороге.

Азин полевыми проселками пошел на Елабугу, выслав вперед конную разведку. Шурмин увязался с кавалеристами, за три часа они проскакали все расстояние от берега Вятки до Камы.

С камских высот Андрею раскрылись красочные ландшафты родных мест. Справа по горизонту извивалась Вятка, впереди голубой дугой лежала Кама, ее берег темнел липовыми рощами и назывался Святыми горами. Слева лежали зеленевшие поля, плотный глянцевитый блеск озимых радовал глаз.

Придержав дончака, Шурмин рассматривал в бинокль сизые, в сиреневых тенях, дали. Темные одинокие сосны, легкие стайки берез прошли в окулярах, над полевым простором струилось марево погожего дня.

— Ни единова сукина сына! — разочарованно выругался Шурмин.

Разведчики уже ехали не маскируясь, бряцая стременами, громко разговаривая. Ленивой рысцой спустились по угору к реке, очутились у сторожки бакенщика, где дотлевал непотушенный костер. Здесь они устроили перекур и задремали.

Стреноженные лошади щипали траву, в черемухе протяжно стонала иволга. Река терлась о берег, словно мощный зверь.

Ветерок приоткрыл дверцу сторожки, выпорхнул листок. Шурмин поймал его — листок оказался клятвой колчаковского солдата: «Обещаю и клянусь перед святым Евангелием и животворящим крестом Господа в том, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родством, ни ожиданьем каких-либо выгод, буду служить и правде, и Отечеству Русскому».

Шурмин разорвал бумажку, швырнул клочки в воду.

Сон сморил и его; он спал и не спал, но чудилось ему и прошлое и настоящее. Он видел себя одновременно и на Каме, и на Вятке, и в родном Зеленом Рою. Мир, расплываясь, отдалился, стал отуманенным и невесомым, будто во сне.

— Встать! — Жестокий удар сапога разбудил Шурмина.

Андрей затряс головой, новый удар окончательно вышиб его из сна. Он вскочил и увидел связанных товарищей.

Бежавший бакенщик сообщил отряду черноорловцев о красных кавалеристах. Граве незаметно окружил их.

Пленных построили на берегу реки. Шурмин перебирал ногами теплый песок, испытывая полное бессилие. Он был еще слишком неопытен, чтобы предугадать зигзаги жизни: в восем-

надцать лет не помнят, что было утром или вчера; юность не знает воспоминаний.

К пленным подошел Граве. Кобура «смит-вессона» выглядывала из-под полы его мундира, солнечные искры отскакивали от коричневых краг. Он встал перед пленными, забросил за спину руки.

— Кто желает вступить в мой отряд? Желающие отходят направо, нежелающие — налево, и да поможет бог нежелающим!

Андрей смотрел на этого человека с совиными глазами, а позади него все так же плотно звучала река, и он спиной ощущал ее уходящую силу.

— Думайте поскорей,— поторопил их Граве. — Жить или не жить — десять минут даю на размышление. Ты большевик? — спросил он Андрея.

— Комсомолец я.

— Это про вас распевают: «Пароход идет, вода кольцами, станем рыбу кормить комсомольцами»?

Шурмин молчал, переступая с ноги на ногу.

— Какое слово сочинили — комсомолец! Русскому смыслу наперекор,— говорил Граве, стоя перед пленными с видом человека, имеющего по револьверу в каждом кармане. — А ведь из таких пареньков можно надежный конвой для адмирала подобрать. Пойдешь в телохранители верховного правителя?

В голосе его Андрей почувствовал безграничное презрение к себе. Страшась за себя, ненавидя себя за безобразный этот страх, спеша подавить его, Андрей крикнул:

— Поцелуй в зад своего адмирала!

— Смелый, звереныш! Выйди из строя, щенок!

Андрей вышел из шеренги, холодея от мысли, что его сейчас расстреляют.

— Ну, а вы? — спросил Граве остальных. — Срок истек. Или вы ко мне в добровольцы, или я вас из пулемета...

13

«Пиши, Игнатий, о том, как дивизия освобождает город за городом, как летит она от Камы к Уралу. Тебе приказал комиссар Пылаев вести журнал боевых действий. С сухой точностью протоколировать события. Факты и даты. Сражения, трофеи, количество пленных. Пиши вот так: «После двухдневных боев освобождена Елабуга. Взято в плен восемьсот колчаковцев. Тридцать первого мая освобожден Агрыз. Семьсот пленных, тысячи винтовок, сотни тысяч патронов. Шестого июня подступили к Ижевску. Город обороняли две колчаковские дивизии. Они разбиты наголову, в плен взята тысяча человек».

Игнатий Парфенович отложил журнал, взял тетрадь в коленкоровом переплете — свой личный дневник. Параллельно с

журналом он записывал в тетрадь все самое интересное, на его взгляд.

«Люди любят вспоминать исторические события, в которых они участвовали. В воспоминаниях самое ценное — правда. Голая, жестокая, но только правда. Ее можно скрывать долго, но нельзя скрывать бесконечно. Некоторые думают: полезная ложь лучше бесполезной правды. Опасное заблуждение! Я пишу одну правду, потому что уже давно перестал бояться.

Я не очень-то доверяю людям, которые говорят и пишут красиво, но в то же время я противник плоских фраз, тусклых истин. Что такое факты истории? Всего лишь перечень совершившихся событий. Они сухи, хуже — они мертвы, как мертва сосновая ветка, окаменевшая в соляном растворе. Но вот ветка попадает в полосу солнечного света и начинает переливаться, как радуга. Так сверкают и сухие факты истории в произведениях истинных поэтов. Пусть я не поэт, но, сохранив правду времени в воспоминаниях, я заставляю сиять их всей своей сутью.

Я не желаю быть протоколистом истории. Мы деремся за будущее, не замечая, что сегодняшнее тоже становится историей и мы сами уходим в историю»,— размышлял Игнатий Парфенович, раскрывая дневник.

«При штурме Елабуги отчаянное сопротивление оказали офицеры полка имени Ильи Пророка. Они величали себя «братом ротмистром», «братом капитаном» и отбивались от наших саблями, штыками. В суматоху боя ворвался Азин, вздыбил лошадь, крикнул что есть мочи:

— Я Азин! Сдавайтесь!

Поразительно грозным для врагов стало имя Азина. А ему сопутствует военное счастье: он кидается в самые опасные свалки и выходит из них невредимым. И комиссара-то дали ему такого же сорвиголову. Пылаев уже дважды ранен, но и у него есть военное счастье.

Счастье — что за слово! Оно нуждается в новых определениях. Но возвращаюсь к Азину. Он смельчак с романтической душой, бесшабашный, отчаянный. Не уберегая себя от опасностей, он стал выше ценить чужую жизнь.

Благодатная перемена в Азине происходит, по-моему, под влиянием Евы Хмельницкой и комиссара Пылаева. Влияние Евы понятно — тут любовь, а вот как объяснить воздействие комиссара? У Азина слишком независимый характер. Впрочем, оба они активно участвуют в творчестве, в создании вечно изменяющегося мира».

Игнатий Парфенович оглянулся на окно, в котором поблескивали округлые сопки Урала. Они были мягкими, синими, и радость охватила Лутошкина.

«После освобождения Ижевска Азин поехал на оружейный завод. С белокаменной башни, венчающей главные ворота, группа мастеровых снимала двуглавого бронзового орла.

— Приятное занятие — сшибать орлов! — сказал Азин.

— Чего ты видишь приятного? Я измучился, поднимая и опуская эту птицу,— огрызнулся старый ружейный мастер.

— Почему так?

— С башни орла после революции кто скидывал? Я! При капитане Юрьеве кто его на башню волок? Опять я. Азин в прошлом году в Ижевск пришел — кто орла сошвыривал? Я! Колчаки в этом году Азина вышибли — опять я наверх орла тащил...

— Это меня-то вышибли из Ижевска?

— Меня, что ли? Теперь ты колчаков разнес, я царскую птицу вновь с башни спущаю. А что, если завтра колчаки снова сюда пожалуют?

Азин соскочил с лошади, ощупал позеленевшие орлиные головы.

— Эх, батя, усы как у хохла, а голова пуста. Сейчас мы орла утопим, и конец твой работенке.

Так и утопили в заводском пруду царский герб. Несокрушимый, вечный, казалось, герб. Нет, видно, ничего вечного на грешной земле нашей! Странно мне все же: Азин и Пылаев — люди героической души, а почему-то стыдятся возвышенных чувств. Пылаев все время предупреждает: «Художественные антимонии бросьте, пишите без украшательств. Воткинск освобожден восьмого июня. И все».

А Воткинск освобождался так.

Наши разведчики обнаружили замаскированный полевой телефон. Подслушали, узнали фамилии командиров полков, прикрываюших город. Сообщили Азину. Тот включился во вражескую линию, вызвал полковника Вишневского.

— Здравствуйте, Евграф Николаевич! Говорит полковник Белобородов. Трудно мне, теснят азинские бандиты. Сейчас мои разведчики привели краснокожего. Говорит, что в обход вашего полка Азин двинул свои части. Советую отвести полк на новые позиции, а то попадете в окружение...

Азин отчеканил все это на приятнейшем французском языке. Поверил ему полковник Вишневский. Да и как не поверить, кто из красных мог с ним по-французски беседовать? А поверивши, стал отводить свой полк и попал под азинские пулеметы...»

Игнатий Парфенович вызвал из памяти события последних дней. Он увидел, как продираются через лесные болота полки Дериглазова, крадутся бесшумно в лесах разведчики, проникая в тыл белых.

«Путь нашей дивизии — стремительный путь военных успехов. Дивизия висит за спиной противника, на его плечах врывается из одного завода в другой. Азин путает оборонительные планы колчаковцев, смелость и дерзость стали его стилем, и весь он — воплощение натиска.

«Разгромлено восемь полков белых. Нанесено по ним два сильнейших удара с криками «ура!», со знаменами и пушками на передовой линии»,— рапортует Азин о взятии Агрыза.

Его силуэт — всадник с красным шарфом за плечами, с шашкой подвысь — врезался в мою память под Агрызом.

Помню и другое, что особенно мило моему сердцу, хотя и немножко смешно было видеть в Азине неистребимое мальчишество.

По случаю освобождения Сарапула решили устроить парад. Кто-то сказал Азину: «Парады принимаются на белом или вороном жеребце». А у Азина гнедая кобыла. На время парада он приказал выкрасить ее в черный цвет. Ординарец разыскал ящик сапожной ваксы, и гнедая лошадь стала вороной.

Начался парад, и случился конфуз. Азин, отличный наездник, под бешеное ликованье мальчишек свалился с лошади. Не одни мальчишки хохотали — у него самого хватило духу посмеяться над своим наивным тщеславием».

Игнатий Парфенович писал и улыбался.

«Для меня Азин — молодой человек нашего бурного времени. С ним трудно спорить. Страсть в Азине сильнее логики. Азин, бесспорно, натура поэтическая, хотя он и не выражает себя в стихах. Он как-то сказал мне: «Поэты необходимы народу, как птицы лесам».

Сказано ясно, просто, убежденно. Между прочим, Азин уверен, что доживет до полного торжества коммунизма».

Игнатий Парфенович оглянулся на окно, от которого начиналась бесконечная цепь берез. Под окнами цвели липы, медовый запах плотно стоял в воздухе.

— В цветущей липе пуд меду,— сказал он, следя за солнечными пятнами, прорывающимися сквозь резную листву.

«Все чаще я слышу разговоры о героизме, сам записываю примеры исключительной храбрости. И все-таки не могу выяснить: что такое героизм? На каких весах взвешивается мужество? Какими словами оценивается храбрость? Еще недавно я верил: героизм — всего лишь преодоленье страха. Сейчас уже сомневаюсь в этом: есть иные категории героизма — любовь к отечеству, вера в идею, мужская честь...

Многим покажется, я записываю одни анекдоты. Но анекдот — правдивый спутник истории, из анекдота можно больше почерпнуть правды, чем из иного романа о войне. Я хочу познать историю нашей революции, борьбу красных и белых не только умом, но и сердцем. Но часто сердцем трудно оценивать человеческие поступки. Никто не знает, куда делся Андрей Шурмин. Бесследно исчез, как испарился. Странное исчезновение: изменил и ушел к белым? А где остальные разведчики? Тоже перекинулись на сторону колчаковцев? А может, дезертировали?

Человеческая подлость тоже безмерна, самые запутанные стежки ведут в нее, будто в пропасть».

Игнатий Парфенович откинулся на спинку стула, потускнел, забыв о своем правиле — осторожно касаться воспоминаний, вызывающих жгучую боль.

«Почему я так неравнодушен к злу? Ко всякой подлости и фальши? А мог бы жить безразлично — равнодушие сохраняет силы. Если бы царя не расстреляли, он прожил бы сто лет. Царь обладал завидным равнодушием и к судьбе народов империи и к судьбе собственной. Сразу же после отречения от престола он сел играть в карты со своим личным адъютантом».

В комнату без стука вошел Саблин, кинул на подоконник портфель.

— Где Пылаев? Мне нужен комиссар.

Пылаев слушал Саблина, косясь на его серую, в крупных оспинах физиономию, и раздражение нарастало в нем.

— Не верю я в повальную измену командиров. Как можно всех подозревать в предательстве? — сказал он.

— А у меня есть факты. — Саблин выволок из портфеля какую-то помятую бумажку. — Вот любопытный документик. Все мы думаем: Азин — латыш. На самом же деле он донской казак. Ему не двадцать четыре года, а тридцать пять. Учился не в полоцкой гимназии, а в елизаветградском военном училище. В царской армии служил не солдатом, а есаулом. Получил георгиевский крест, за что — неизвестно. Как нравится это вам?

— Кто дал такую идиотскую информацию? — спросил Пылаев.

— Вот именно — кто! Это биография Азина, написанная собственной его рукой. Узнаете?

— Почему он написал этот вздор, не понимаю.

— А вот я понимаю,— вмешался в разговор Игнатий Парфенович. — Азину не хотелось ехать в военную академию, он и сочинил себе фальшивую биографию. Он как-то хвастался, что сам может поучить любого генерала.

— А как насчет георгиевского креста?

— Тоже придумал, видно.

— Значит, слушок про Азина распустил сам... Азин? Та-ак...

Довольный произведенным эффектом, Саблин постучал трубкой по столу.

— Пусть все эти глупости сочинил про себя сам Азин, но человек определяется его делами. Странно, что вам, Саблин, не хочется взглянуть на дело именно с этой стороны,— сказал Пылаев.

— Я следователь. Раз появились подозрения в политической неблагонадежности Азина, пусть он и герой всенародный, я обязан до конца разобраться.

— Вести подкоп под Азина мы не позволим,— уже сердито

возразил комиссар Пылаев. — Азина вы не трогайте, он готовится к штурму Екатеринбурга.

— Наконец-то вы сказали то, что я жду. Азин, видите ли, готовится к штурму, а кто разрешил? Вы же знаете, что есть приказ — перебросить Вторую армию на юг, против Деникина. Как же смеет Азин нарушить приказ? Да за одно такое дело надо отдать под трибунал! — Саблин хлопнул ладонью по толстому боку портфеля.

— Тогда придется судить комиссаров и командиров многих дивизий. Они протестуют против приказа о переброске войск на юг... — Пылаев поднялся. — Не ищите у нас поддержки против Азина. И не советую соваться к нему в этот момент с нервическими вопросами, азинский характер вам уже известен. — Пылаев вышел, хлопнув дверью.

Игнатий Парфенович думал, что вслед за комиссаром дивизии уйдет и следователь, но Саблин сел на диван.

— Я у тебя заночую,— объявил он.

Поздним вечером выспавшийся Саблин сказал Лутошкину:

— Поужинать бы нам. Имею трофейную бутылку спирта. А что имеешь ты?

Саблин сидел у окна с трубкой в кулаке, голова его сливалась с ночным мраком. Правый угол комнаты прикрывала выцветшая ширма — на синем шелке маячили силуэты голенастых аистов.

— Скучная птица аист. На Илиме я любил стрелять по лебедям,— сказал Саблин.

— Что такое Илим? — без особого интереса спросил Игнатий Парфенович.

— Приток Ангары. Я там ссылку отбывал. — Саблин поправил спадавшую с плеч куртку и сразу представил себе тайгу, голые берега реки, хижины из кедра без крыш, с рыбьими пузырями вместо стекол в оконных рамах. Он видел и ездовых собак, роющихся в отбросах, и желтые лужи замерзшей мочи на снегу, и огромные, смахивающие на спрессованную сажу, каменные глыбы. — Сквернейшее место Илимск,— погасил он это свое видение.

— А я был сослан в вятские края. С превеликим риском бежал, но меня быстро поймали. — Игнатий Парфенович повертел в пальцах стакан.

— Я много бегал, и без особенного риска,— похвастался Саблин.

— Без риска? Редкая удача.

— Я вообще удачливый человек. Но все же любую удачу надо организовать. — Саблин раскурил трубку.

Живое воображение его опять вызвало запомнившуюся картину. Он увидел якутку: молодые красные губы улыбнулись

ему, и вся она, крепко сбитая, одетая в оленью парку, в длинные, до живота, торбаса, встала перед его глазами. Она помогла ему бежать, отдала лодку, свое ружье, насушила оленьего мяса. Как же ее звали? Он попытался вспомнить. Не вспомнил.

— Выпей еще,— предложил он Лутошкину, подмигивая по-приятельски левым глазом. Было в его подмигивании что-то нехорошее, словно он заманивал Игнатия Парфеновича в непозволительное, зазорное дело. — Не люблю Сибири,— после паузы сказал он. — Сибирь — помойная яма Русской империи.

— Стыдно историю России превращать в сплошную грязь.— Игнатий Парфенович отставил стакан.

— Ха! У таких, как вы, идеалистов смещено реальное представление о действительности. Всякий уважающий себя марксист должен воспринимать вас как личное оскорбление. Идеалистов мы тоже свалим в помойную яму.

— Вы мните себя новым человеком?

— Мы, большевики, люди особенные, а новые дали видят только новые люди. — Глаза Саблина засветились тусклой желтизной.

— Знаете, что вещает Библия?

— А что же она вещает?

— «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот новое,— но это уже было в веках, бывших до нас»,— щегольнул своей памятью Игнатий Парфенович.

— Библия книга мудрая, ее к любому деянию можно приспособить. Только надо ли? Но вернусь к роли личности в истории. Я совсем не отрицаю этой роли: Петр Великий фигура историческая, но и Малюта в своем роде тоже фигура историческая. Если Азин возьмет Екатеринбург, то и он станет личностью исторической. Тут уж ничего не попишешь,— сказал Саблин, и непонятно было, хвалит он или осуждает Азина.

— Любопытные у вас масштабы — от Петра Великого до Малюты. Палачи и мраконосители не могут стоять в одном ряду с преобразователями.

— Я же сказал, Малюта — историческая *в своем роде* фигура.

— В своем роде, в своем роде! Нет никакой разницы между бандитом и политическим убийцей.

— Вы дурной либерал, Игнатий Парфеныч. Для вас хороши все люди, но «как человек ни мил с лица, в душе ищи ты подлеца»,— процитировал Саблин. — Так гласит восточная мудрость.

— Сомневаюсь в мудрости такого изречения.

— Эти слова принадлежат великому поэту...

— Тогда сомневаюсь в величии его души.

«Саблин расточает насилие всеми порами своего сердца. Пусть этот или тот человек невиновен, но революции необхо-

димы жертвы — такова его философия»,— подумал тоскливо Игнатий Парфенович.

— Когда капиталисты грозят революции, нам нельзя беречь человеческие резервы. Народ практически неисчерпаем. Ненужные жертвы, скажете, неразумные потери? А кто посмеет взвешивать наши потери, подсчитывать жертвы, если мы победим? Революция спишет все издержки,— с удовольствием сказал Саблин.

— Так рассуждают одни каннибалы,— обозлился Игнатий Парфенович.

— Зачем говоришь шершаво? Неясные слова извращают идеи...

— Не люблю мрачных тем,— изменил разговор Лутошкин. — Уж лучше предаваться воспоминаниям. Вспоминая, я как бы раздваиваюсь и вижу себя и в прошлом и в настоящем сразу. Прошлое кажется прекрасным уже потому, что невозможно его пережить заново,— в этом его сила.

— Воспоминания неповторимы, прошлое прекрасно? — Саблин повел бровью. — Не согласен! Скверное детство и в памяти останется скверным. В моем мне помнятся одни подзатыльники. А гимназия, в которой учился? Учителя — пьяницы, ругань ихняя до сих пор уши сверлит: «Тупица! Паскудник! Хам!» Я без сожаления покинул гимназию и вспоминаю ее без удовольствия. А я вот не могу забыть одного события пятилетней давности. Получил посылку — рубаха, шерстяные носки, варежки. А в варежке записка: женским почерком получателя извещали, что посылочка предназначается ссыльному Давиду Саблину. Я долго ломал голову: кто бы мог ее послать? Вернулся мой сосед, прочитал записку: «Это же сестра моей жены. Это она о ссыльных беспокоится». Пустяк, а помню...

— Разве это пустяк? Благородство-то какое, смелость-то какая для девушки — помогать ссыльному,— восхитился Игнатий Парфенович. — Эта девушка — образец женского мужества, что ли...

Саблин сдвинул брови, сощурился: опять увидел городишко Сольвычегодск, светлую ночь над тайгой, озеро словно из расплавленной латуни, звездные брызги в его глубине. Еще увидел молодую, белотелую, жаркую мещанку и себя возле нее — на коленях, целующего ей руки.

Он вскочил с дивана, лихо притопнул ногой.

— Ох, бабы, волнуют они мою кровь!

14

— Вот так я ему и скажу: «Любезный друг, товарищ Ленин! Для спасения революции я ничего не жалею — даже свою башку поставил на карту. И привалили мне бубны-козыри — самого Колчака выиграл. В полон верховного правителя взял

и в Москву приволок». — Дериглазов блаженно улыбнулся и, вытащив кисет с махоркой, протянул Пылаеву.

— Что ты околесицу несешь? Чего ты мне голову морочишь? — не вытерпел комиссар.

— И никакая не околесица! Ты, комиссар, ни гугу, под строжайшим секретом скажу: скоро я Колчака, связанного по рукам-ногам, в Москву повезу.

Пылаев не знал, сердиться или смеяться ему, слушая Дериглазова. А тот обжигал его черным лихорадочным взглядом:

— Я поклялся изловить Колчака. Самые отчаянные из моих татар ходят за ним по пятам. Ждут минуту, чтобы выкрасть его, а не возьмут живым — башку долой, в мешок — и ко мне. Так и доложу: душегуба казнил. Ленин меня шубой со своего плеча одарит.

— Какой шубой? Ты что, бредишь?

— А ты думаешь, побасенки тискаю? — обиделся Дериглазов.

Пылаев промолчал, озадаченный его неуемной фантазией. А может, и в самом деле нужны вот такие люди, не знающие границы между действительностью и мечтой?

Они сидели на вершине перевала, беседовали, поджидая отставших бойцов. Бригада Дериглазова, по приказу Азина, тайно перебрасывалась с севера на юг, в тыл колчаковским войскам. Бригада должна была выйти на железную дорогу Екатеринбург — Челябинск около станции Мраморской. Пылаев отправился с Дериглазовым, чтобы помочь провести задуманную операцию.

Уже третий день шли они по лесному бурелому, болотистым падям, горным увалам.

Дериглазов вытирал ладонями шершавую, распухшую от комариных укусов физиономию и улыбался, все еще переживая свою мечту. Достал кисет и пачку царских червонцев, помял кредитный билет, свернул цигарку, раскурил, закашлялся.

— Мерзость! Царские не годны на курево, керенки — ни к черту. Я и американские пробовал. Тоже дерьмо! Скоро деньги совсем не понадобятся. После мировой революции зачем они?

Они заговорили на одну из своих любимейших тем. Мировой революцией бредили все — от комиссаров до красноармейцев; она была великолепной и, казалось, близкой мечтой. Чем успешнее Красная Армия била войска адмирала Колчака, тем ярче разгоралась эта их мечта.

Над Уралом стоял погожий июльский денек, в легком мареве хорошо просматривались просторные ландшафты. На севере с отвесной скалы срывался поток — вода клубилась, разбрызгивая цветную радугу.

На юге вставали поросшие лесами увалы, на востоке лежала долина, вся в кустарнике, похожем на зеленый каракуль. На дальнем ее краю тускло блестели пруды. Возле них — мерт-

вые заводские корпуса, мертвые трубы, опустевшие поселки с развалившимися хатенками, кособокими сараями, гнилыми заплотами.

Заводской Урал был в совершенном запустении.

И это особенно потрясло Пылаева; он с тоской смотрел на заросшие плесенью пруды, на окоченевшие в пепле и прахе, пустые, заброшенные заводские строения. Тяжелым и пыльным молчанием они говорили о разрухе, эпидемиях, белом терроре.

Пылаев не мог знать числа мертвых заводов, приисков, рудников, железных дорог. Не знал он, сколько здесь расстреляно, замучено, запорото людей в результате безумной деятельности монархистов, правых и левых эсеров, меньшевиков, чешских легионеров, английских стрелков.

Алмазный, платиновый, золотой, беломраморный пояс земли русской стал добычей для хищников всех мастей. Хищники мелкие выламывали яхонты из украшений, разбивали вдребезги чаши и вазы, стоившие часто, благодаря труду мастеров-умельцев, дороже украшающих их драгоценностей. Хищники крупные захватывали целые промышленные районы вроде Перми, Тагила, Златоуста. Прибирали к рукам золотые рудники, медные залежи, камские соли, сокровища горы Благодать, клады горы Магнитной. Скупали за бесценок лесные массивы, рыбные угодья, мраморные рудники, железные дороги, даже зарились на Северный морской путь.

На перевал взбирались полубосые и совсем босые, почерневшие от таежного гнуса, опухшие от голода бойцы. Они шли бесшумно, неслышно,— белые даже не подозревали о переброске большой группы войск.

Поднявшиеся на вершину перевала красноармейцы тут же падали и засыпали. Кое-кто курил, кто-то жевал овес: походные кухни пришлось бросить в лесах.

Поздним вечером бригада Дериглазова спустилась в долину.

Опять начались буреломы, завалы, бочаги, чащобы. Пихты, заросшие сивыми мхами, дергали за плечи, сухие сучки лезли в глаза, ежевика опутывала ноги.

В сыром, ноющем от мошкары воздухе плыла чадная вонь, пахло пеплом.

Пылаев, нагруженный пулеметными лентами, едва передвигал ноги, а Дериглазов легко нес на плече пулемет — его силы хватало на пятерых.

— Крепись, комиссар! Проползем болото — попляшем на травке. — Дериглазов обернулся к Пылаеву черным от гари лицом. — Я тебе анекдот расскажу о попе и купчихе. Обхохочешься, комиссар...

Он не успел рассказать анекдота. Болото сменилось горящим торфом,— огонь вырывался из-под земли тонкими струй-

ками и казался совсем не опасным, пока бойцы не вступили на обманчивую моховую зыбь.

После каждого шага взлетали фонтанчики искр, кочки прожигали подошвы. Матерщина, проклятья, потрескивание огня, чваканье колес встревожили ночь. Бойцы срывали тлеющую одежду, успокаивали обезумевших лошадей. Животные с разбитыми ногами, дымящейся шерстью дрожали от ужаса. Только перед рассветом бригада вышла из горящего болота.

— Похож я на черное привидение? — Пылаев похлопал себя по обгорелой одежде. — Зато нас отсюда не ждут. До железной дороги тут рукой подать. Пойду посмотрю, что там делается.

Пылаев подозвал телефониста, на шее у того болтался аппарат полевого телефона.

— Комиссар, обожди. Пойдем вместе,— сказал Дериглазов.

Они вышли к полотну железной дороги. Красноармеец-телефонист ловко взобрался на столб, зачистил концы телефонного провода, подключил к линии свой аппарат.

Дериглазов потянулся к аппарату, но ничего не услышал, кроме слабых шумов в телефонной трубке. Задел головой ракитник, росистые ветки обдали его брызгами, и это было первое приятное ощущение за всю ночь.

Пылаев жестом попросил не шуметь, стал внимательно слушать.

— О чем беляки болтают? — спросил Дериглазов.

— Обдумывают, как удобнее повесить нас — за шею или за ноги.

— Ты без шуток, комиссар!

— А я всерьез. Советуются, как поступить с нами. Красноармейцев, говорят, надо расстреливать, командиров и комиссаров вешать.

— Они знают о нашем рейде?

— Пока нет. Тише, не шебарши. — Пылаев распластался на земле, прижал ухо к трубке.

— Ну что они, что они? — не выдержал комбриг.

— Получили приказ полковника Гривина идти на Екатеринбург. Выступят из Мраморской в полдень. Мы должны сорвать их выступление...

Грустно пламенела вода, дымились сосны, бордовым цветом наливались мазутные лужи между рельсами. В утреннем свете Мраморская казалась мирным полустанком: дремали стволы орудий на железнодорожных платформах, блестели капли росы на зеленых щитках пулеметов. Часовые прикрывали ладонями невольные зевки.

Лысый полковник сидел у окна вагона, выпятив широкую бороду. Он был хмур и зол. Полковник Гривин отзывает его полк с этой спокойной станции на железной дороге и направляет под Екатеринбург.

— Целая армия не может справиться с одной дивизией красных,— ворчал полковник. Будь это в его воле, он развесил бы красных на березах от самого Екатеринбурга до Мраморской.

Полковник носил георгиевский крест, сам верховный правитель наградил его за отвагу под Кунгуром. Тогда он действительно лихо развернулся, заставил отступить несколько красных батальонов.

— «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!» — тихо напел полковник, и ему самому показалось странным это «ура-ура», спетое почти шепотом. Он вытер крепкую, как бильярдный шар, голову, скомкал в пальцах батистовый платок.

— Не шевелись, друг, не крутись!

Полковник всем телом круто повернулся от окна к двери. Глаза выкатились из орбит: в дверях вагона стоял громадный мужчина в обгоревшей одежде и целился в него из маузера.

— Тише, тише! Пели шепотом — отвечайте шепотом.

— Кто вы, что вы?

— Я командир бригады Дериглазов! Узнал, что собираешься меня повесить, вот и явился...

На перроне прогрохотал взрыв, всплеснулись крики. Заговорил пулемет. Новый взрыв ослепил окна, осколок, пробив тонкую стенку вагона, задел плечо Дериглазова.

Он выронил маузер, полковник выдернул свой наган, но подоспевший Пылаев схватил его за руку.

— Мерзавцы! Сволочи! Продались немчуре! — неистовствовал полковник. — Плюю я на вас, подлецы!

— Ведите себя поприличнее,— миролюбиво посоветовал Пылаев.

А на станции уже шла рукопашная схватка. Красноармейцы бригады Дериглазова дрались с белыми в вагонах, под вагонами, между складами в зеленой тени деревьев. Перрон, пути, кюветы, как осенними листьями, были засеяны желтыми офицерскими погонами.

Захватив Мраморскую, бригада Дериглазова устремилась к Екатеринбургу.

15

Вагонная дверь пошла вбок, плотный сизый свет воды, запах цветущего кедра ворвались в теплушку. На Шурмина дохнуло чем-то неизъяснимо сладостным и совершенно недоступным — свободой. Он уже перестал надеяться, что дверь теплушки когда-нибудь распахнется. Оглушенный ревом штормующего Байкала, он растерянно щурился на светлый, перемешанный с водой и небом простор.

— А ну, шевелись, а ну, прыгай! — подхлестнул его окрик конвоира.

Андрей прыгнул и упал на руки бывшего поручика, потом командира Красной Армии Зверева. Тот предупреждающе пожал ладонь Шурмина: «Что бы ни случилось, поступай, как я...»

Из теплушек прыгали арестанты, их строили по пятеркам. Большевики становились с эсерами, кадеты с анархистами; представители всех политических партий России были собраны в этом злосчастном поезде, прошедшем от уральских увалов до байкальских вод.

Песок с шипящими полукружиями пены уходил из-под ног Шурмина, кедры пошатывались на скалах, Байкал, приподнимаясь, сливался с горизонтом. Все вокруг было таким свежим, сочным, прекрасным, что казались просто невероятными этот поезд, мертвецы в вагонах, конвоиры на площадках.

Андрей напрасно отыскивал среди арестованных своих товарищей из дивизии Азина. «Неужели не выдержали дорожного ада?» — спрашивал он себя, хотя и понимал, что смерть так же естественна для этого поезда, как дым над трубой его паровоза.

Когда арестанты построились, подошел прапорщик — стройный, чистый, пахнувший хорошими сигаретами.

— Люди русские! — с сытой улыбкой начал он. — Правительство адмирала Колчака скорбит, что гражданская война приносит неслыханные бедствия. Земля наша с каждым погибшим лишается пахаря, фабрика — рабочего, родина — гражданина. Чем страшнее пламя войны, тем ниже опускается Россия.

Прапорщик прошелся вдоль шеренги, ввинтил кулак в утренний воздух. Постоял с энергично раскрытым ртом.

— Русские, ставшие слепым орудием большевиков, опомнитесь! Я верю в ваше благоразумие и призываю записываться в армию адмирала. Доброволец немедленно получает свободу. Никто не упрекнет его, не назовет врагом России. Я, командир отряда особого назначения Мамаев, даю честное слово дворянина: это будет именно так...

Утро сияло, озеро дышало необоримой силой, но серые, иссушенные голодом арестанты были равнодушны и к могучей красоте Байкала, и к заманчивым обещаниям прапорщика.

— Неужели среди вас нет благоразумных людей? — спросил Мамаев.

— Я иду в добровольцы, — сказал Зверев, выступая из шеренги.

— Кто вы такой?

— Бывший поручик.

— Дворянин?

— Сын мужика.

Андрей неуверенно топтался на мокром песке. Взгляд Зверева подсказал ему: «Что бы ни случилось, поступай, как я».

Андрей шагнул вперед и встал рядом с бывшим поручиком.

Прапорщик Мамаев вел свой отряд назад, в Иркутск. Солдаты лежали, ходили по палубе, разговаривали о пустяках.

Андрей восторгался славным сибирским морем. Байкал ежеминутно менял цвет, и вода его, как человеческое лицо, имела свое выражение. Только что она была лазурной, доверчивой — и вот уже стала зеленой, и гордой, и надменной. Андрею становилось не по себе от ее могучих всплесков.

Волны ходили на одной линии с вершинами Хамар-Дабана, небо цвело на сорокааршинной глубине. И это было совершенно ново для Андрея — видеть небо сквозь толщу воды.

С затаенным любопытством смотрел он на пейзажи Байкала. А в мозгу не угасали тоскливые мысли. «Прошло шестьдесят дней, как меня схватили на Каме». Андрею Шурмину казалось просто невероятным, что он жил в том далеком, теперь потерянном мире.

Подошел поручик Зверев, осмотрелся, сказал шепотом:

— Нас собираются бросить на подавление партизан.

— Пусть лучше меня расстреляют.

— Умирают без толку одни дураки. Я все хотел поговорить с тобой, да не было возможности.

Зверев посвятил Андрея в свой замысел: при первом удобном случае уничтожить карателей и уйти к партизанам.

— Когда ты это задумал? — оживился Андрей.

— Еще в поезде.

— Почему не сказал мне? Все смотрят на меня как на мальчишку.

— Если бы я так смотрел, не открылся бы. У нас тут группа из пяти красноармейцев...

— Что мы сделаем впятером?

— Даже один человек многое может сделать, если он настоящий человек! — ответил поручик.

Андрей воспринял его слова как упрек себе.

— Это верно, конечно,— согласился он. — Всегда с чего-то начинают.

В Иркутске грязные оборванцы — будущие колчаковцы — помылись, почистились и выглядели довольно сносно. Каждый получил американскую винтовку «ремингтон», подсумки с патронами, по одной японской гранате.

— Вот и поступили на службу к адмиралу Колчаку. А ты, Андрей, прямо раскрасавец в английских бриджах и крагах, — невесело пошутил Зверев.

— Красавцы в кавалерии, пьяницы во флоте, дураки в пехоте,— тоже шуткой ответил Андрей. Добавил сумрачным голосом: — Вот уж не думал, не гадал, что буду служить адмиралам да князьям.

— А ты не волнуйся, мы их переживем. Времечко-то сейчас наше.

Новоиспеченные белые воители пользовались относительной свободой. Их под присмотром даже отпускали в Иркутск.

Они бродили по улицам города. Жители сторонились их, одетых в чужеземные мундиры. Жизнь в когда-то богатом Иркутске едва тлела. В магазинах было пусто, в харчевнях подавали грибную похлебку. На толкучке из-под полы предлагали опиум, бабы продавали кедровые орехи и соленого омуля. Все по баснословным ценам, и менялись цены чуть ли не каждый час.

Как цены, изменчивыми были и базарные слухи. Люди шептались о мятеже арестантов Александровского централа. Говорили о каком-то анархисте, убивающем богачей и бедняков. С ненавистью и презрением говорили о перешедших на службу к Колчаку.

— Невесело про нас толкуют,— сокрушался Андрей.— Предателями зовут, иудами искариотскими.

16

Пароход с карательным отрядом прапорщика Мамаева тащился по Ангаре; солдаты не знали, куда именно направляется отряд. У редких пристаней обычно не останавливались, на берег не сходили. Мамаев на расспросы отвечал одними ухмылками.

Угнетенное состояние Шурмина несколько рассеивалось, когда между соснами открывались зубчатые лесные тени. Хотелось ему побродить по полянам, пахнущим багульником. Понежиться бы на солнце, помокнуть под дождем, согреться потом у ночного костра.

Зверев присел на пожарный ящик, закурил. Сказал понимающе:

— Тоскуешь, Андрей...

— Тоскую, Данил Евдокимович. Томит неопределенность и чувство вины.

— Это еще не вина, что поневоле в добровольцы пошли. Вина, если карателями стали бы. А такого не будет,— сказал Зверев.

— Что-то нет случая разделаться с Мамаевым.

— Экой ты нетерпеливый! Жди, крепись. Скрутим его — сок только брызнет.

На палубе появился Мамаев. Прошел между солдатами, угощая американскими сигаретами. Его длиннолобое лицо было помятым и бледным. Несмотря на свои двадцать пять лет, прапорщик казался совсем изношенным.

— Как поживаете, поручик? У вас роскошный вид, разъелись на адмиральских харчах.

— За харчи благодарю. Понемножку живем, ждем настоящего дела. — Зверев незаметным движением увел плечо из-под ладони Мамаева.

— Скоро будет дело! Тут пошаливает партизанский отряд Бурлова. Раскатаем его, вернемся в Иркутск — гульнем же, поручик. В «Модерн» девок позовем, пробками шампанского в потолки будем палить. Вы, поручик, вовремя в мой отряд поступили.

Выше девок и шампанского фантазия прапорщика не взлетала. Зверев запомнил имя партизанского командира Бурлова, оброненное прапорщиком.

— Девок любишь, солдат? — спросил затем прапорщик у Шурмина. — Или еще молоко на губах не обсохло? Тогда на, полюбуйся. — Мамаев развернул веером открытки. — Все с натуры снято.

— Я не разглядываю погани,— сказал Андрей.

— Ух ты мурло! — Мамаев повернулся вновь к Звереву: — Я доволен, что вы с нами, поручик. Люблю интеллигентных людей, а не шантрапу вроде тех жеребцов в черкесках,— показал он на живописную группу карателей, державшихся особняком. С солдатами они были заносчивы, с офицерами подобострастны. Целый день азартно играли в карты, хватались за кинжалы, угрожая друг другу.

— Где вы их подцепили? — спросил Зверев.

— Был тут некий анархист, человек бешеной отваги, но и грабитель высшей пробы. Банк ограбил и в тайгу смылся. А эти его дружки не успели скрыться, их расстрелять собирались, да я упросил губернатора — передал их в мой отряд. Только не очень-то я доверяю им, вероломные люди.

— Где партизанит этот Бурлов? — помолчав немного, спросил Зверев.

— Где-то на реке Илиме. А впрочем, леший его знает. Отрядик у него маленький, но растет. Растет...

Вечером пароход причалил у большого таежного села. Мамаев долго расспрашивал местных жителей о партизанах, о местах, где они живут, о дорогах. Потом собрал взводных командиров.

— Бурлов в низовьях Илима. Иногда заглядывает на Ангару, в окрестности торгового села Панова. В село соваться остерегается — там отряд капитана Рубцова. Я капитана знаю, с ним шутки плохи. Будем искать Бурлова. Пойдем по тропам до Илима и по реке — на лодках. Накроем партизан в самом устье,— решил Мамаев.

Ранним утром, когда над тайгой сплошным фронтом двигались тучи, карательный отряд уже шел по травянистой тропе. Люди вязли в болоте, из-под кочек выплескивалась грязь, в сыром сумраке утра гудел гнус.

Местный охотник повел было Мамаева в обход болота.

— Напрямик нельзя, что ли? — спросил прапорщик.

— Напрямик — гнус задушит.

— Гнуса бояться — за партизанами не охотиться,— отшутился Мамаев.

Скоро, однако, он пожалел об этой легкомысленной шутке. Серый туман мошкары опустился на солдат, как только они вышли на болото. Мошкара набивалась в рот, в ноздри, уши, глаза, облепляла головы и руки. Все исцарапались, искровенились, давя жгучих насекомых.

Каратели, заляпанные вонючей жижей, лишь после полудня выбрались из болота. Соскребли с себя грязь, разлеглись под соснами.

Шурмин был совершенно разбит переходом: в голове шумело, ноги налились свинцом. Померкло и его поэтическое представление о первобытной красоте тайги: она оказалась и грубой и страшной.

Андрей лежал у костра, чадящего смолью сосновых корней. В тусклом тумане времени вставали перед ним Азин, Пылаев, Лутошкин. Виделись мутная от половодья Вятка, берега Камы в цветущей черемухе. Где теперь его боевые друзья, какой уральский завод или город штурмуют сейчас азинцы? Все, чем жил Андрей еще недавно — шестьдесят дней назад,— как бы поросло травой забвения.

— Чего мы медлим, чего ждем? — шепнул он Звереву, сидевшему рядом.

— Не наступил час,— тоже шепотом ответил тот, вороша сучком угли костра. — Придем в Паново, посмотрим, где партизаны, на кого из крестьян опереться можно.

Единомышленников вербовали осторожно. Большевиков в отряде оказалось не много; все они вошли в штаб подготовляемого мятежа. Левым эсерам, анархистам Зверев не доверял. Опасался.

Через двое суток проводник вывел карателей к рыбачьей заимке на реке Илиме. Мамаев первым делом отобрал у рыбаков лодки, провиант и немудрящее их оружие — берданки, кремневки, даже рогатины.

— Для чего рогатины-то? — удивился Зверев.

Мамаев посмотрел на него внимательным, тягучим взглядом.

— Медведям брюхо вспарывать...

На вертлявых лодчонках каратели плыли вниз по Илиму. Три дня крутил лодки по тайге непроницаемый неприютный Илим. На четвертое утро он вынес их на быструю, просторную Ангару. Вечером каратели топтали прибрежный песок в Панове.

Здесь Мамаев узнал, что капитан Рубцов уплыл в низовья Ангары, усмирять восставших на приисках рабочих. Вместе с

ним отправилась и группа иркутских бойскаутов, прозванных «желтыми ласточками».

О бойскаутах Шурмину рассказал благообразный мужичок, с которым Андрей познакомился на улице.

— Это что же за «желтые ласточки»? — спросил он.

— Сынки золотопромышленников, скототорговцев, ишшо якутских князьков — тойонов. Про Александровский централ слыхал? Там восстание было — каторжников тьма-тьмущая разбеглась... Энти «желтые ласточки» живут на берегу Ангары, в вежах, в землянках. Кто по Ангаре вверх-вниз плывет — перехватывают. Ежели кто большевикам сочувствует — камень на шею и в Ангару. Не сочувствуй...

— Ты не боишься так говорить? Я ведь из белых тоже,— сказал Шурмин.

— У тебя, парень, глаза чистые. У меня на это нюх, как у лайки.

— Ошибиться легко.

— За такие ошибки собственной башкой расплатишься,— согласился мужик. — Прощевай покудова, а надумаешь в гости — милости прошу. Изба третья с краю, спросить Гаврюху.

Андрей рассказал о своем знакомстве Звереву.

— Остерегись, возможно, твой новый знакомец провокатор,— предупредил Зверев.

17

Кежма привольно раскинулась по крутому берегу Ангары.

Избы, темные, несокрушимые, как и кедры, из которых построили их, смотрели широкими окнами на реку. На крутояре толпились кузни, бани, амбары, сараюшки. За огородами сразу начиналась тайга.

С древних пихт свешивались пегие бородищи мха, кедры лезли в небо. Тайга казалась непроходимой: местами завалы из погибших деревьев громоздились, как баррикады, сопревшая хвоя зыбко выгибалась под ногами. Кое-где торчали обгорелые пни. Рассеянный свет слабо подсвечивал зеленую крышу тайги.

Пустынную тишину Кежмы нарушали только ребячий свист да собачий брёх. Но была эта тишина кажущейся, обманной — в Кежме началась с недавних пор новая, потаенная жизнь. Село стало местопребыванием партизанского отряда Бурлова.

Николай Ананьевич Бурлов создал партизанский отряд из жителей таежных деревень. В отряде были охотники, рыбаки, землепашцы; некоторые были вооружены дедовскими кремневыми ружьями, пули и порох они носили в бараньих роговицах.

Самому Бурлову шел тридцать пятый год, но, обросший бородой, он казался пятидесятилетним. Высокий, темно-русый, кареглазый, с неторопливой походкой следопыта, Николай Ананьевич являл собою образ коренного сибиряка-чалдона. Малогра-

мотный, но жадный до знаний, он обладал ясностью мысли и строгостью нравственных правил. Принимая новичков в отряд, Бурлов предупреждал:

— Ежели грабить мужиков станешь, расстреляю.

В прошлом, восемнадцатом году колчаковские милиционеры приехали собирать налог. Крестьяне отказались платить, милиционеры выпороли многих шомполами — оскорбление не знавшему крепостного ига сибирскому мужику страшное.

Бурлов с пятью товарищами устроил милиционерам засаду и перестрелял их. На усмирение бунтовщиков прибыл карательный отряд. Бурлов с товарищами скрылся в тайге. Каратели поймали лишь одного из группы Бурлова. Захваченного раздели догола и обливали на морозе водой, пока он не превратился в статую.

Поступок Бурлова нашел отклик по всей приангарской тайге. К нему в отряд стали стекаться мужики.

Кежму партизаны избрали своим опорным пунктом. Когда за ними гонялись карательные отряды, они уходили в тайгу.

Особым упорством в преследовании партизан прославился капитан Белоголовый — худой, одноглазый офицер. От Братска до Панова его прозвали «кровавым мальчиком»; он вырезал звезды на лбах пленных партизан, вешал их вниз головой на воротах, живыми бросал в костер.

Все лето Белоголовый гонялся за партизанами, но каждый раз они ускользали.

В жаркий день Бурлов беседовал с рыженьким благообразным мужичком из Панова. Они сидели за столом, покрытым суровой скатертью, пили густой кирпичный чай.

Отхлебывая из блюдца, Гаврюха рассказывал:

— К нам, значицца, прибыл из Иркутска отряд карателей прапорщика Мамаева. Поручение властями дано — вырвать твой партизанский корень, как черемшу. Уже десять дён живут в селе. Но, по моему разумению, люди там разные. — Гаврюха взял крупинку желтого сахара. — Я поглазел на них — какие-то не такие они. И подался к тебе, Миколай.

— А капитан Рубцов еще не вернулся?

— Дак ведь он где-то в ваших местах шландает. Беглых ловит, рабочих на приисках смиряет. И «желтые ласточки» с ним.

— Новые солдаты, говоришь, не такие? А какие они?

— Они кабыть вроде нас, мужики в шинелях. На сенокосе помогают, вдове-солдатке избу сработали. Не бесчинствуют. Правда, сам Мамаев волком глядит. Ко мне пятерых лбов на постой пригнали.

— Что они про партизан говорят? — поинтересовался Бурлов.

— Зашел я как-то в горенку, а на повети солдаты промеж себя разговаривали. — Гаврюха поставил блюдце на скатерть.— Толкуют, значицца, что разобьют в пух-прах красные колчаковцев и снова в Сибири Совдепы будут.

— Ладно, хорошо. — Бурлов встал из-за стола. — Иди в стайку, Гавря, поспи.

Бурлов ходил по избе, обдумывая возникшую мысль: была она соблазнительной и опасной. Все же он решил послать карательному отряду письмо. Нелегко далась ему коротенькая записка: «Мы — партизаны, воюем за Советскую республику. Чего вы ждете? Уничтожайте своих офицеров, переходите к нам. Мы вас не тронем, в этом даем свое партизанское слово».

Вечером он позвал к себе Гаврюху.

— Это письмо, Гавря, передай тем солдатам, что про красных толкуют. Но запомни: попадет письмецо прапорщику Мамаеву — висеть тебе на осине. Преаделенно так!

Гаврюха спрятал письмо в картуз.

— Жди меня дён через пять. Не вернусь — издох в дороге.

На легкой лодчонке он унесся по Ангаре. Бурлов ночью не мог уснуть, выходил из избы к залитой лунным сиянием Ангаре, прислушивался к шуму воды, тайги, совиным оглашенным крикам. Томился, неясное беспокойство овладевало им. Было предчувствие какой-то неотвратимой беды.

На рассвете разбудили его громкие крики. Полуодетый, с наганом в руке, выскочил он на улицу. Из-за обрыва на ангарскую быстрину выплывали шитики.

К Кежме подходил капитан Рубцов с отрядом карателей.

— Партизаны разгромили отряд Рубцова. Сам капитан бежал. Завтра я выхожу на усмирение партизан, в Панове остается одна рота. — Мамаев говорил без обычных легкомысленных шуточек. Уже не только пановские мужики, свои солдаты казались замаскированными партизанами.

Зверева обожгла радость: «Вот он, желанный час! Пора подниматься на восстание!» У него четырнадцать единомышленников. После ухода Мамаева в селе остается полсотни солдат.

— А где бойскауты? — решил уточнить Зверев.

— Верст пятнадцать отсюда по реке. Рубцов на Ангаре партизанского лазутчика перехватил. Нашему отряду воззвание вез. Когда лазутчика стали пытать на глазах у бойскаутов, один из мальчишек рехнулся.

— А где воззвание?

— Откуда я знаю? — взъерепенился Мамаев, сказал сердитым тоном: — Вы, поручик, наравне с фельдфебелем несете ответственность за отряд. Не дай бог, ежели что! Поняли, поручик?

— Так точно, понял,— поспешно ответил Зверев.

Улучив момент, он шепнул Шурмину:

— После ухода Мамаева начинаем восстание. Предупреди своих.

Шурмин ходил по избам, где стояли участники заговора. Мечтавший о неожиданном, необычном, невероятном, он опять попадал в фантастический водоворот событий. Но все произошло просто, без романтического ореола.

После ухода Мамаева фельдфебель собрал на поверку солдат. На ангарском обрыве, на виду у собравшихся, Зверев пристрелил фельдфебеля.

— Мы, красноармейцы и командиры, попавшие в плен, возвращаемся под знамена революции,— сказал он оторопевшим солдатам.— Кто желает сражаться с Колчаком, пусть присоединяется к нам. Не теряя времени, догоним карателя Мамаева и покончим с ним. Тебе, Андрей,— продолжал он, обращаясь к Шурмину,— придется в Кежму плыть. Письмо к партизанам везти. Бурлову все объяснишь на словах. Так объясни, чтобы он поверил в правду твоих слов.

Шурмину дали лодку, провианта на неделю. А вообще-то путь до Кежмы по Ангаре недолгий.

— Ты учти, Бурлов — чалдон,— наставлял Андрея Зверев.— Они тут из другого теста, чем крестьяне Центральной России. Если чалдон одет в волчью доху, то он и осторожен как лесной волк.

— А что значит «чалдон»?

— Человек с Дона. Слово-то еще со времен Ермака живет. Вместе с донскими казаками в Сибири появилось, а смысл приобрело новый. Чалдон — и свободный человек и сибирский старожил. Ну, счастливого пути!

Шумела Ангара, в волнах плыли вырванные с корнями деревья. На обрывах берега кедры раскачивали запутавшееся в них солнце, облака шли в небе, блещущем ледяной голубизною. Таежный простор велик, могуч. Первозданная красота земли вновь овладела сердцем Андрея, и тайга уже не казалась ему страшной.

Когда солнце скрылось за пиками гор, река в сумерках стала еще более широкой, еще более грозной. Шурмин причалил к берегу, не рискуя плыть ночью по Ангаре. Вздул костер, вскипятил воды, заварил смородиновым листом. Он пил крутой, пахнущий таежной свежестью чай и сам себе казался жалким, затерявшимся в таинственной тишине ночи.

Всходила луна, волоча по реке серебристые полосы. В восточной стороне стояло дымное, притушенное сиянием облако,

западная часть небосвода погрузилась в совершенную темноту. Где-то на границе света и угольной тьмы был Андрей со своим слабым костром да поблескивающим рядом, убегающим в ночь потоком.

«Где я? Что я? Как соразмерить меня с этими сопками, тайгой, реками? Вот нападет зверь, обрушится дерево или буря опрокинет лодку, и воспоминание обо мне проживет не дольше дождевой капли». Мысль эта ввергла Андрея в отчаяние. Он сидел, опустив голову, глядя на гнедые языки костра.

На рассвете, когда заря убрала все таинственные покровы, Андрей опять мчался по Ангаре. Проходили час за часом, а берега были все так же пустынны; лишь изредка сохатый провожал лодку непугаными глазами да глухарь, грузно взмахивая крыльями, перелетал поодаль через реку.

Ангара повернула на запад блистающей подковой; на правом берегу реки Шурмин увидел дымки. С берега на прибрежный песок сбежали двое, прыгнули в лодку, помчались наперерез ему.

Старик в болотных бахилах и веснушчатый курносый паренек быстро настигли Андрея. Старик зацепил лодку багром, паренек потребовал поднять руки. На берегу старик обыскал Шурмина, отобрал письмо.

— Шшенок, видать, из «желтых ласточек». Морда не деревенская,— сказал он.

— Кильчаковец, сукин сын! — определил паренек. — У него и ружье-то аглицкой выделки.

— Верни письмо,— потребовал Андрей. — Я отдам его только в руки самого Бурлова. Смотри, борода, за письмо ты теперь в ответе.

— Ладно. Мне оно без надобности, я грамоты не разумею.

С обрыва на берег спускались люди с алыми бантами на картузах, с охотничьими ножами на поясах. Осматривали с любопытством Андрея, спрашивали у старика:

— Што за парень? Откедова?

— Шпиён-кильчаковец...

— Да че ты, ну!

— Вот те и ну — полозья гну! Стою и гадаю, как его Бурлов сказнит,— расслововохотился старик.

— А че гадать-то? Можно петлю на шею, можно камень к ногам.

— Эк сколько охотников на чужую жизнь расплодилось!

— А кильчаки с нами целуются? Пирогами нас угощают, да? Забыл про капитана-карателя? Он с моим братом Васькой че сотворил? — спрашивал похожий на цыгана мужик, оттесняя плечом старика. — Он сердце у братана вырезал и на осине повесил. Еще бахвалился: «Так я и самого Бурлова подвешу».

— Что-то я не слышал про такую похвальбу.

— Ты не слышал, а люди свидетелями были. Проведал

Николай Ананьич про вырезанное сердце брательника моего, захотел сам познакомиться с капитаном. Вдвоем с дружком под видом охотников отправились они в деревню, где капитан-каратель стоял. Прибыли, значицца, а офицер в поповском доме гуляет. Как выманить зверя из логова? Николай Ананьич дружка у лодки оставил, а сам к поповскому дому. Вошел в горенку, низкий поклон отбил.

«Тебе чего, борода?» — спрашивает капитан-каратель.

«Медведя, ваше благородие, завалил, в подарок привез».

«Волоки ко мне».

«Чижол, дьявол, не под силу».

А поповна капитану: «Хочу на лесного зверя позыркать».

Капитан-каратель фуражку на лоб, поповну под ручку — и на улицу. А у реки Бурлов наган из кармана — и под ребро капитану:

«Ну, здравствуй, сучья душа! Хотел, значицца, мое сердце из груди вынуть? Оксти лоб — и до встречи на том свете. Камень на шею его благородию...»

Ни рассказчик, ни слушатели не знали, так было дело или не так, народная фантазия исказила подлинность события, но люди верили легенде больше, чем правде.

— А вот и Николай Ананьевич,— сказал кто-то в толпе.

Андрей быстро обернулся, увидел бородатого мужчину, размашисто шагавшего по прибрежному песку.

— Шпиёна изловили! — прокричал радостно курносый парень, подбегая к Бурлову.

— Откуда тебе известно, что шпиён? — Бурлов отодвинул в сторону паренька, подозрительно прощупал охотничьим взглядом Андрея. — Ты кто такой?

— Посыльный командира повстанческого отряда Зверева Данилы Евдокимовича,— стараясь казаться спокойным, ответил Андрей. — Привез письмо, да вот отобрали ваши...

Старик протянул Бурлову письмо.

— Прочти-ка, парень, сам. — Бурлов передал пакет Андрею.

Прослушав обращение Зверева, он постоял в задумчивости, чертя палкой фигуры по сырому песку.

— Коли это преаделенная правда, то вы молодцы! Обломали рога сохатому. Дзюгай, ребята, по лодкам, пойдем к эфтому Звереву,— сказал Бурлов.

Командиром объединенного отряда стал Бурлов, его помощником — Зверев.

Сибирь поднималась на борьбу с адмиралом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Летом девятнадцатого года бои на Восточном фронте достигли самого высокого накала.

Красные дрались с войсками адмирала на Вятке, на Каме, в предгорьях Урала, в Уфимских и Оренбургских степях. Вторая армия перешла Каму. Третья освободила Пермь, а Южная группа войск, под командованием Фрунзе, стремилась к Уфе.

В Южную группу входили Туркестанская, Первая, Четвертая и Пятая армии. Колчак прорвал фронт и успешно наступал, нанося удары по Пятой армии, которая прикрывала Уфимское направление — самый центр Восточного фронта.

В апреле командующим Пятой армией был назначен Михаил Тухачевский.

Фрунзе, а с ним и Тухачевский трезво оценивали обстановку. Они знали: войска белых обескровлены, боевой дух падает, коммуникации растянулись на сотни верст. Насильно мобилизованные мужики и рабочие убивали офицеров и перебегали на сторону красных. Все это вселяло веру в удачное контрнаступление.

Операция Фрунзе по разгрому белых под Уфой — одна из самых блестящих в истории гражданской войны. Фрунзе задумал ударить армиями правого фланга по растянувшемуся левому флангу противника с выходом в его тыл. Это поставит белых в опасное положение, страшась окружения, они будут отходить. Тогда-то красные и перейдут в наступление по всему фронту.

В начале мая был освобожден Бугуруслан, и армия Тухачевского двинулась на Бугульму. На правом ее фланге всех восхищал смелыми и решительными своими действиями Василий Чапаев. Его дивизия прорвала белый фронт и вклинилась в глубину почти на восемьдесят верст. В упорных боях Чапаев разбил Одиннадцатую дивизию и части Третьего корпуса белых. Против Чапаева белые бросили корпус генерала Войцеховского и Ижевскую дивизию — одну из лучших в армиях адмирала. В трехдневных боях под Бугульмой Чапаев разгромил и эти части.

На помощь генералу Ханжину поспешил корпус Каппеля. Но Каппель опоздал соединиться с Ханжиным. Из района Бугульмы Чапаев повернул на Белебей и во встречном бою отбросил Каппеля. Каппелевский корпус отошел к Уфе.

Тухачевский сразу же высоко оценил полководческий дар Чапаева. Он отмечал мужество и храбрость чапаевцев, ставил их в пример другим. Сам же смело, самостоятельно, не боясь риска и ответственности, руководил общим ходом боев. Он то изменял направление ударов, действовал то одной, то двумя охватывающими группами; его умелые маневры помогали быстрому контрнаступлению.

Победы Пятой армии дали Фрунзе возможность двинуть Южную группу на штурм Уфы. Девятого июня город снова стал советским.

После освобождения Уфы против Колчака были выдвинуты Вторая, Третья, Пятая армии. На главном направлении опять находилась Пятая армия. Перед Тухачевским стала трудная задача — освободить Златоуст и Челябинск,— но для этого надо было перейти Уральский хребет. Не теряя времени, он разработал план похода на Златоуст, положив в его основу стремительность, внезапность, скрытность своих действий от противника. Для обсуждения этого плана он созвал военный совет.

Утром в доме, где временно размещалось Сибуралбюро ЦК РКП(б), сошлось два десятка молодых людей. Среди них был и Василий Грызлов; командарм помнил его по прошлогодним боям за Симбирск. Теперь Грызлов, уже ставший комбригом, из Туркестанской армии снова попал под начало Тухачевского.

Сам того не замечая, Грызлов во всем подражал командарму. Он был чрезвычайно доволен, что Пятой армией командует человек, лишь на год старше его самого; это возвышало Грызлова в собственных глазах. «У Тухачевского военное образование, а мы не знаем азов военной науки. Командарм верит в свою счастливую звезду и в то, что пуля, предназначенная ему, еще не отлита».

Грызлов слушал, как Тухачевский ровным голосом читает план златоустовской операции, видел, как загораются глаза командиров от нетерпеливого ожидания похода. «У них избыток мужества, но недостаток опыта, они талантливы, но малограмотны. Смерть постоянно идет по следу их, но, дети революции, они не замечают ее»,— думал Грызлов. Он называл командиров мальчиками, хотя самому исполнилось только двадцать четыре. С высоты этого самоуверенного возраста он и смотрел на события, переоценивая достоинства и не замечая недостатков товарищей.

Этих энергичных, решительных людей связывала не только преданность революции, их соединяла сама молодость, несла их вперед на крыльях надежды, кружила в постоянных опасностях.

Последние месяцы они проводили в сражениях, наступлениях, отступлениях: деревни стали для них стратегическими точками, реки — тактическими рубежами, леса — позиционными линиями.

Молодость больше верит таланту, чем опыту. Вот почему командиры верили Тухачевскому. Они видели в нем своего сверстника, угадывали в нем недюжинный ум, считали его первым среди равных. Командарм был для них воплощением душевного благородства и высокой культуры,— ее особенно не хватало молодым мужикам и мастеровым.

Грызлов поглядывал на своих товарищей, стараясь угадать, что они сейчас думают.

На хрупком дамском диванчике развалился начальник Двадцать седьмой дивизии Александр Павлов. Он был непомерно толст, носил могучую черную бороду, под кустистыми бровями по-весеннему синели глаза.

Облокотившись на подоконник, дымил трубкой неразговорчивый Степан Вострецов — командир Волжского полка. Сын мужика, он стеснялся своей малограмотности и страдал оттого и часто был пасмурным.

Начальник Двадцать шестой дивизии Генрих Эйхе что-то записывал в блокнот, шепотом повторяя записи.

Еще один латыш — Альберт Лапин, человек стремительного облика, разговаривал с Витовтом Путной, таким же подвижным и решительным юношей. Обоим было по двадцать одному году, оба уже командовали полками, и все любили их за юношеское обаяние и смелость.

За спиной командарма горбился председатель Сибуралбюро Никифор Иванович; широкоскулое мягкое лицо посерело от бессонницы, на висках поблескивали капельки пота.

В окне призывно шумели березы, солнце то слепило стекла, то меркло в набегающих тучах,— город жил в атмосфере приближающейся грозы.

Тухачевский встал. Заскрипели придвигаемые стулья, замелькали блокноты; Вострецов потушил трубку, Грызлов глубоко, словно собираясь нырнуть в омут, вздохнул.

— План операции построен на стремительности, скрытности, неожиданности,— начал командарм. — Натиск и быстрота — наш девиз. Ударная группа в составе Двадцать шестой и Двадцать седьмой дивизий по реке Юрюзани выйдет в тыл противника и обрушится на Златоуст. Севернее ударной группы действует Тридцать пятая дивизия, а Двадцать четвертая идет на Троицк, связывая армию генерала Войцеховского. По железной дороге Уфа — Златоуст наступают пехотная и кавалерийская бригады, отвлекая на себя части генерала Каппеля,— раскрывал командарм свой план. — Армия, разбитая на три группы, в случае нужды не может быстро соединиться. Но внезапное появление ударной группы в тылу Каппеля даст наибольший боевой эффект. После потери Уфы белые деморализо-

ваны, нельзя допускать, чтобы они собрались с силами.— Тухачевский кинул ожидающий взгляд на Никифора Ивановича.

— Смелый план, даже дерзкий план! Но бывают случаи, когда дерзость обращается в мудрость. Одного боюсь: учел ли командарм географию? Я-то ведь знаю — путь на Златоуст закрывает хребет Каратау, а это тесные ущелья, голые обрывы, лесные болота. Юрюзань — бешеная река в крутых берегах. Юрюзанские высоты для засад — самые удобные места,— сказал Никифор Иванович.

— Южный Урал не Альпы, река Юрюзань не Чертов мост. Зато красноармейцы — потомки суворовских богатырей. Я сторонник быстроты и натиска, товарищ командарм,— коротко высказался Павлов.

— Мы так скверно одеты, что будем отчаянно драться за английские мундиры колчаковцев,— усмехнулся Эйхе.

Вострецов одобрительно кивнул и опять взялся за свою трубку. Лапин, Путна и Грызлов шумно выразили свое одобрение.

— Кто родился на Тоболе, тому не страшна Юрюзань! — воскликнул Грызлов.— А схлестнуться с Каппелем — руки чешутся. Били его под Казанью, били под Уфой, побьем и в Златоусте.

— Новорожденному теленку и тигр не страшен,— остановил комбрига Никифор Иванович.— Презирать военные способности Каппеля — значит принижать свои. Надо воспитывать в себе и в красноармейцах борцов, а не шапкозакидателей.

2

Никифор Иванович увел командарма к себе. Тухачевский уже перестал удивляться всякой всячине, разбросанной по обширному кабинету председателя Сибуралбюро. На стенах висели английские шинели, американские мундиры, чешские фуражки, польские конфедератки. Среди военной одежды виднелись манишки, косоворотки, азямы, пальто, полушубки, меховые боты, лапти, кукморские чесанки, барнаульские вышитые красными нитками пимы.

На подоконниках, на письменном столе лежали какие-то мандаты, пропуска, воинские билеты, царские ассигнации, листы керенок, похожие на желтые и зеленые обои. Аккуратными золотыми стопочками поблескивали пятерки, гинеи, доллары. Под массивным пресс-папье белела груда шелковых лоскутков. Тухачевский потрогал пальцем лоскутки.

— От тебя не имею секретов,— сказал Никифор Иванович.

Тухачевский прочитал: «Сим удостоверяется, что товарищ... является представителем Сибуралбюро ЦК РКП(б) по специальным заданиям, что и удостоверяется».

— С такими мандатами сибирские большевики принимают

наших товарищей как братьев. Сейчас наши есть в Челябинске, в Омске, у красноярских партизан. — Никифор Иванович взял шелковый лоскуток. — Его можно запрятать в подкладку пиджака или пришить заплаткой на рубаху. В моем гардеробе найдется смокинг для барина, сапоги для рабочего, азям для мужика. Хозяйство большое, всякая веревочка сгодится.

— Может, у вас и скрипка Страдивариуса найдется? — смеясь, спросил командарм.

— Страдивари — едва ли, а приличная есть. Могу презентовать.

— Скрипка — моя слабость. Мне бы скрипичным мастером быть, а я вот...

— Мне бы балеты ставить, а я тоже вот. И председатель бюро, и комиссар, и боец, и бог, и дьявол. Я людей так гримировать насобачился, что родная мать не узнает.

Сибуралбюро двигалось по военным дорогам Урала вместе с Пятой армией. Если бы командарм имел время приглядеться к деятельности бюро, он поразился бы сосредоточенной здесь энергии. Деятельность эта была и непрестанной, и напряженной, и очень нервной, ибо даже мелкие просчеты и ошибки вели к гибели людей, засылаемых в колчаковскую Сибирь.

Тухачевский разглядывал трости с костяными набалдашниками, не подозревая, что внутри их могут быть запрятаны секретные инструкции или денежные банкноты. Слышал он уже про тележные передки, в которые закладывались экземпляры ленинской брошюры, отпечатанные на папиросной бумаге. Только опытные агенты из управления полевого контроля адмирала Колчака могли заподозрить щеголя с тростью или мужика, едущего на телеге по своим делам.

Командарм не спрашивал, а Никифор Иванович не говорил о том, как представители Сибуралбюро пробираются через фронт в сибирские города, на прииски, заводы, как везут спрятанные в самых неожиданных тайниках политические директивы Центрального Комитета, шрифты для печатных станков, деньги. Как коммунисты и сочувствующие им устраиваются на работу в колчаковские учреждения, на военные склады, проникают в контрразведку. в штабы белых. Большая часть их рабочие или крестьяне, но есть и студенты, учителя, есть даже толстовцы, чешские легионеры, польские конфедераты и венгерские стрелки.

Командарм и председатель Сибуралбюро сидели в кабинете, из которого они оба скоро уйдут и никогда сюда не вернутся, пили кирпичный крепкий чай и грызли твердые, словно камень, баранки.

— Завидую молодому поколению. Старики ведь иногда хают молодых потому, что сами уже не принадлежат к ним,— шутил Никифор Иванович, наливая чай из закопченного чайника. —

А вам, Михаил Николаевич, завидую хорошей завистью. Знаете, это очень хорошо, что вы получили настоящее образование. Вы с детских лет приобщались к культуре. А я вот грамоте учился в тюрьмах. С Пушкиным, с графом Толстым только в ссылке познакомился. Прежде чем до них добраться, перечитал массу всяких книжонок. В голове моей уживались Руссо и Макиавелли, светлые идеи и самые темные, пока я не познакомился с марксизмом. Только тогда я избрал идею борьбы за освобождение человека от рабства.— Никифор Иванович отхлебнул глоток чая и о чем-то задумался.

— Это большое несчастье, когда у человека нет ни детства, ни юности,— посочувствовал командарм.

— Признаюсь, моя молодость была трудной. Но она зря не растрачена, была сражением за утверждение моего «я». Теперь я сражаюсь за народное счастье. Вот люблю Толстого и ненавижу толстовство,— сказал Никифор Иванович.— Своей философией он укрепляет силы зла, хотя жаждет победы добра. Удивляюсь, как граф сам этого не понимал! Кстати, Михаил Николаевич, вы представляете себе мужичка-толстовца, который становится террористом?..

— Парадокс!

— Какое там парадокс! В Челябинске живет мужичок — ревностный последователь Толстого. Этот чалдон-толстовец отказался от своих убеждений, когда каратели распяли его сына. Да, да, распяли на воротах! Нынешней зимой было дело. Сына распяли, отцу сказали: «Гордись, старик! Теперь твой сын похож на распятого бога!»

— После такого цивилизация теряет свой смысл...

— Старик пришел к нам и заявил: «Хотите, я Колчака казню? Его выродки не только сына, они в моем сердце бога убили». Вот вам и толстовец.

— Россия похожа на драгоценную вазу, разбитую вдребезги. Ее склеивают двадцать правительств, совершенно чуждых народу и враждебных друг другу,— грустно заметил Тухачевский.

— Те двадцать правительств не склеивают, а распродают осколки драгоценной вазы.

3

Река взрывалась пенными буграми, кипела на перекатах, образовывала глубокие, затягивающие в свои воронки омуты. На гневной, на коварной этой реке рыбаки опасались за свои лодки. Дикую, взбалмошную реку и звали таким же диким, резким именем — Юрюзань.

Несмолкаемый грохот стоял над Юрюзанью, с окрестных скал срывались водопады, искрящиеся облака водяной пыли оседали на заросли ежевики и жимолости, и все это пронизывалось светом заходящего солнца. От косых его лучей водовороты казались колесами пламени.

Лось выскочил на голый утес, попятился, ловко извернувшись, помчался к реке. Откинутые и прижатые к шее рога предупреждали об опасности, сойки тревожно заверещали. Лось влетел в реку, быстро перемахнул на другой берег, скрылся в каменных осыпях.

А сойки продолжали верещать. Откуда-то вылетел ястреб, низко пронесся над водой и ушел в скалы, черные на оранжевом небе. Тогда на утесе появилась белка, встала столбиком, потерла лапками мордочку и пронзительно зацокала. Из кустов зверобоя отозвался зяблик,— его свист, слабый и грустный, на мгновение осилил речной шум.

Все эти вскрики, свисты, неумолчный рев воды были естественными, даже необходимыми для каменных обрывов и замшелых теснин Юрюзани: они лишь подчеркивали неизбывное движение, вечную жизнь земли.

Но вот из-за реки донесся холодный, чуждый звук и сразу же окреп, стал плотным, тяжелым; что-то громадное надвигалось на реку. Появились запахи железа, пороха, человеческого пота. Тяжелый звук, приближаясь, распадался на сотни новых: слышались лошадиное ржание, человеческие голоса.

В поисках скрытной переправы бригада Грызлова вышла на берег Юрюзани в самом, казалось, неудобном для этого месте. Здесь берега взметывались на стосаженную высоту, а речной поток превратился в клокочущий водопад: через него нельзя было переправить ни людей, ни орудия.

Грызлов, запрокинув голову, глядел на отвесные скалы; к нему подходили артиллеристы, подъезжали подводчики.

— Приехали, братцы! Разувай лапти, суши онучи,— рассмеялся рябенький красноармеец.

— Переправу надо искать, а не хихикать! — обозлился высокий худой артиллерист. — Что за веселье?

— Я, брат, ничо, я пошутковал про онучи-то,— сразу же уступил рябенький.

Грызлов прицыкнул на спорящих, скинул сапоги, вошел в воду.

— У-ух ты мать честная! Мороз по брюху так и дерет. А глубоко-то! — Грызлов провалился в омут по горло и, отфыркиваясь, вылез на берег.

— Верно бают: не спросясь броду, не суйся в воду,— заметил косматоголовый, бородатый, похожий на лешего мужик-подводчик. — А Юрюзань-реку с пушками не одолеешь, через шиханы с ними не попрешься.

— По земле нельзя, по воде нельзя, а как же можно, борода? — спросил артиллерист.

— Никак нельзя, так-то куда басковитее...

— Ишь, заквакал, борода! Из тебя герой как из одной штуковины тяж!

— Epойство не в кулаке, а в сердце,— назидательно возразил подводчик.

— Ну, чего разгалделись? — опять вмешался в разговор Грызлов. — Сидеть, что ли, будем да ждать, пока черт эти скалы с пути нашего сдвинет!

— Что же делать, Василь Егорыч? — спросил артиллерист.

— Пушки на веревках через скалы перетащим, снаряды перенесем на собственном горбе. Вот так, господа-товарищи! — осклабился в широкой усмешке Грызлов.

— Господи боже мой! — перекрестился подводчик. — Дак кто пушки на скалы волочит? Никто!

— Ну и пусть никто! — подскочил к подводчику артиллерист. — А мы перебросим и пушки и тебя вместе с кобылой!

Из-за темного шихана выдвинулась луна, заливая усталых бойцов призрачным, красноватым светом. Грызлов стоял перед ними, раздвинув крепкие, как дубовые корни, ноги,— коренастая тень моталась в пенном потоке.

— Перекур, ребята! — крикнул он звонко и весело, опускаясь на валун.

Шесть задубелых рук протянули ему шесть кисетов с махоркой, из каждого он взял щепотку, свернул толстую цигарку. Красноармейцы закуривали, добродушно поругивались, посмеивались, тешили душу шутками.

— Вань, а Вань, девок любишь?

— Ой люблю!

— А они тебя?

— И я их!

Рябенький красноармеец отмахивался от шуток артиллериста, а тот уже рассказывал новую побасенку:

— Сошлись на дороге брехуны. Первый бает: «Лису подстрелил, так у нее три аршина хвост». Другой бает: «На свадьбе пировал и один съел три пуда перцю...»

Мужик-подводчик говорил лениво, с хрипотцой:

— Вяцкие толокном реку замесили. Стали толокно хлебать да и перетопли все — над водой только лапти торчат. «Што мужички робят?»— спрашивает у бабенки прохожий. «Дак вить они онучи на солнышке сушат...»

Было далеко за полночь, когда бригада начала штурм обрывистых берегов Юрюзани. Одни красноармейцы привязывали веревками скрученные ремнями орудия, другие их поднимали на скалы. Орудия втаскивались с утеса на утес под басовитое кряканье, под соленые шутки. Грызлов появился среди бойцов, подбадривая, покрикивая, смеясь. Он по-кошачьи взлетал на скалы, вертелся над обрывами, его голос действовал на красноармейцев словно хорошее вино: все работали ладно, дружно, быстро.

Когда красноармейцы одолели прижимы и вышли на плоскогорье, луна уже закатилась, восток посерел. Травы лежали

седые от крупной росы, валуны отбрасывали короткие круглые тени.

Промокшие бойцы валились с ног от усталости. Грызлов скомандовал привал, расставил часовых, сам лег в траву. И уснул сразу, словно провалился в бездну.

Спал Грызлов, спали бойцы, дремали стреноженные лошади. А плоскогорье уже просыпалось. Над спящими шли гусиные косяки, спеша на заревую кормежку. Гуси летели друг за другом строго и стройно. Когда прошел последний косяк, плоскогорье уже стало вишневым от зари. Из-под кочки выкатилась мышь, пробежала под носом Грызлова, а он все спал, и снилась ему синеглазая, рыжеволосая, как сам он, красавица. Она вставала неясная, словно туман, но и неугасимая, как солнечный луч.

Грызлов проснулся и не мог сразу сообразить, где он находится. Отовсюду бил прохладный розовый свет, трепетная заревая сетка была накинута на высокие шиханы, осока погрузилась в прозрачную малиновую волну, лучи разбрызгивали цветные искры. Такие же искры пробегали по лицу Грызлова.

Он вскочил, выбросил вверх руки, зычно скомандовал:

— Подъем!..

Все ожило, задвигалось, заговорило. Заржали лошади, зазвенели котелки, задымили костры. А через час Грызлов уже вел свою бригаду по широкому плоскогорью на север. Дымилась испарениями Юрюзань, впереди высились новые синие шиханы. В утреннем освещении они не казались такими неприступными, как ночью.

За Грызловым на плоскогорье Юрюзани поднимались ударные полки из дивизии Александра Павлова и Генриха Эйхе. Все они шли в полной тайне. Еще не замеченные белыми разведчиками, не ожидаемые колчаковскими генералами, заходили они в тыл древнего уральского городка Златоуста.

Замысел командарма Тухачевского, развертываясь словно пружина, воплощался в действиях его армии.

4

Утром тринадцатого июля в Златоусте празднично звонили колокола, на базарной площади играл духовой оркестр. Поручики в хорошо сшитых, с новенькими погонами мундирах строго покрикивали на солдат, марширующих по площади. На деревянных тротуарах, у пыльных лавок и магазинов, стояли девицы, стреляя лукавыми взглядами по офицерам.

В купеческих особняках распахнулись расписные ставни, топились большие, выложенные синими и белыми изразцами печи, громоподобно пели граммофоны.

В Златоусте у Злокозова скопилось несколько сот тысяч пудов первосортной стали: он приехал сюда, чтобы продать ее правительству Колчака. В городе Злокозов сошелся с капитаном Юрьевым: ему нравился этот, с артистическими манерами, верящий в свою карьеру, человек.

Василий Спиридонович ходил по кабинету, то и дело поглядывая в зеркало: он хорош был в смокинге и белоснежной манишке; черный шелковый галстук придерживала бриллиантовая булавка. Сытое лицо с румяными губами, рыжеватые и словно бы сдобные бакенбарды, пепельные волосы, падавшие на виски, говорили о безоблачной жизни коммерсанта Злокозова, несмотря на все бедствия войны.

Василий Спиридонович остался доволен своим видом. Снова открыл он длинный, палисандрового дерева футляр. Блеснула тонкая вязь золотых букв: «Мужественному охранителю жизни православной — капитану Юрьеву». Злокозов вынул из футляра обоюдоострый меч, сработанный из златоустовской булатной стали. Меч отливал влажной, мягкой синевой, был тверд, как алмаз.

«Умеют златоустовские мастера, подлецы этакие, варить булатную сталь. Давно она стала звонче и крепче дамасской. Бесценные руки у мастеров».

Василий Спиридонович потянулся за малахитовой шкатулкой, открыл ее, двумя пальцами достал золотые, весившие пять фунтов погоны, сдул с них невидимые пылинки.

«Ублажать надо вояк. Не польстишь тому, не подмажешь этого — и твое добро пропадет, как Россия! Куда она, мать наша, катится?»

Злокозову чудилось, что над Златоустом и над ним самим нависла какая-то грозная опасность и все живет ожиданием непонятной, неустранимой беды. Злокозов обмяк, показалось, что кто-то и сейчас наблюдает за ним исподтишка, ждет только случая, чтобы схватить за горло. Василий Спиридонович проверил свой саквояж — драгоценности и деньги были на месте. Он успел все же обменять царские кредитные билеты на доллары, но беспокоился за сохранность их.

В окна ворвались звуки походного марша: парад начался. Василий Спиридонович поспешил в обеденный зал, где уже накрывались столы. Он любил этот уютный, персон на тридцать, зал, отделанный мореным дубом, с фигурами граций на потолке. Зал обставлен старинной дорогой мебелью, в высоких стрельчатых окнах таинственно играют разноцветные стекла. Все здесь настраивало на отдохновение и насыщение — кусты чайных роз, цепляющиеся за шторы, картины фламандских живописцев, столы с накрахмаленными скатертями.

Официанты, неслышно ступая по коврам, расставляли серебряные бочоночки паюсной и зернистой икры, фарфоровые тарелочки с копченой осетриной, севрюжиной, индейками, откор-

мленными на грецких орехах. Астраханский залом, тающий во рту, славные вятские рыжики из бывших императорских заповедников, лимбургский сыр, уцелевший от дореволюционных времен, соленые, пропитанные водкой арбузы громоздились между винными бутылками. В хрустальных вазах шоколадно мерцали груши, светились верненские яблоки.

Груды еды и питья доставили неизъяснимое наслаждение Василию Спиридоновичу. «А большевики-то жрут мякину!» С этой мыслью он вернулся в кабинет.

На стене висела карта Урала; Злокозов отмечал на ней флажками все поразительно быстро изменяющиеся географические точки войны. Достаточно было мимолетного взора, чтобы определить неблагополучное состояние на театре военных действий.

Не успел Василий Спиридонович поразмыслить над картой, как послышалось тарахтенье экипажей: к подъезду особняка подкатывали гости. Хлебные тузы, начальники колчаковских департаментов чинно входили к богатейшему из них, здоровались степенно, садились в кресла уверенно. Злокозов пожимал руки, заглядывал в глаза, находя в них ту же тайную тревогу, что и в самом себе.

Сопровождаемый группой офицеров, появился капитан Юрьев. Он оставался все тем же импозантным, говорливым, напористым артистом оперетты, но власть уже наложила отпечаток на его напудренную физиономию. Слова, жесты, интонации стали величественнее, суждения беспрекословнее,— даже о самых обыденных пустяках Юрьев теперь говорил с необыкновенной авторитетностью.

Василий Спиридонович представил Юрьева гостям в словах возвышенных и почтительных. Это сразу воодушевило капитана. Его окружили, засыпали вопросами.

— Красные, говорят, совсем близко? Ходят слухи — они за рекой Ай?..

— То-то, что говорят! То-то, что разгуливают слухи! Я бы не устраивал парадного смотра своим полкам, а бил бы красных на рекей Ай,— насмешливо отвечал на это Юрьев.

— Где теперь корпус Каппеля? Где армия Войцеховского? — спросил Злокозов. — Надеюсь, это не военная тайна?

— Какая тут тайна! — Юрьев направился к карте. — Похвально, что вы следите за всеми фронтовыми перипетиями. — Юрьев хотел было сплюнуть, но сдержался. — На реке Ай генерал Войцеховский сосредоточил две дивизии. Если бы произошло чудо и красные прорвались через реку Ай, под Златоустом их встретит моя дивизия. А храбрость ижевцев хорошо известна! Настоящая опасность нам угрожает только со стороны железной дороги, но ее прикрывает корпус Каппеля. А Владимир Оскарович — наш боевой щит. Кстати, по железной дороге курсируют бронепоезда с английскими дальнобойными орудиями.

— Правда ли, что наши силы вдвое превышают силу красного поручика Тухачевского? — спросил седоволосый старик в золотых очках.

Юрьев пренебрежительно усмехнулся.

— Если бы против красных стояла только моя дивизия, Тухачевский разбился бы о нее, как о стену. Перепуганному воображению обывателей красный поручик кажется чертом.

— Капитан, вы командовали армией в Ижевске. Скоро ли мы вернемся в тот город? У меня гибнут крупные капиталы,— опять сказал старик в золотых очках.

— Очень скоро! — твердо, поверив на мгновение самому себе, ответил Юрьев.

Тон его был таким доверительно-искренним, надежда так обольстительна, что и присутствующие поверили ему. Поверили потому, что страстно хотели верить.

— Господа! — торжественно начал Василий Спиридонович, беря футляр с булатным мечом. — От имени прогрессивных деятелей нового русского общества разрешите преподнести, как память признательных сердец, этот острый меч из прославленной златоустовской стали нашему защитнику и охранителю капитану Юрьеву.

Юрьев обеими руками принял меч, поцеловал его синее, холодящее лезвие. Василий Спиридонович под дружные хлопки достал золотые погоны.

— Я уверен, что мы, господа...

Он не успел выразить своей мысли — в кабинет влетел дежурный адъютант:

— Красные на южной окраине города!..

Юрьев швырнул меч на обеденный стол, бросился на крыльцо. Гости кинулись следом. Злокозов схватил саквояж и через черный ход выскользнул на улицу.

Не успел Юрьев сесть в седло, как показался всадник. Он осадил перед ним лошадь, выкрикнул прерывающимся от волнения голосом:

— Красные подошли к Златоусту с севера...

— Проморгали, подлецы, краснюков! — Юрьев нагайкой ударил по лицу адъютанта. Тот откачнулся, закрыл ладонями глаза, кровь выступила между пальцев. — Всех штабников перестреляю! За мной, сволочи! — обернулся он к офицерам.

Напрасно Юрьев обвинял своих штабных в том, что они проморгали красных. Виноваты в этом были и генерал Войцеховский, и генерал Каппель, так и не сумевшие определить, где же войска красных нанесут главный удар.

Две дивизии Войцеховского, не считая Ижевской, были расположены на Уфимском плоскогорье, в районе южного и северного направлений, ведущих к Златоусту. Здесь, на линии реки Ай, Войцеховский ждал красных.

Корпус Каппеля, занимавший железную дорогу Уфа — Златоуст, поджидал основные силы Пятой армии Тухачевского на своем направлении. Оно казалось ему самым удобным, самым легким и разумным для наступления на Златоуст. Каппель пренебрег глубокой разведкой противника: почему-то ему в голову не приходило, чтобы красные могли на руках перенести орудия и боеприпасы через горные перевалы и пропасти, незаметно преодолеть стремительную Юрюзань.

И оба они, Войцеховский и Каппель, не могли подумать даже, что красные за трое суток проделают стодвадцативерстный переход по уральскому горному бездорожью.

Части Двадцать шестой и Двадцать седьмой дивизий Пятой армии теснили группу войск Войцеховского. В четырехдневном бою он потерпел поражение и отступил за реку Ай. Боясь оказаться отрезанным от Западной армии, отвел свой корпус и Каппель.

На дальних подступах к Златоусту белые попытались создать оборону. Однако после упорного двухдневного сопротивления они начали отступать дальше, на Челябинск.

Тухачевский приказал тринадцатого июля овладеть Златоустом. Исполняя приказ командарма, Александр Павлов бросил на штурм города три бригады.

Первая бригада Василия Грызлова двинулась на восток, затем у станции Арша повернула на юг и устремилась к Златоусту.

Вторая, меняя направление движения то на юго-восток, то на северо-восток, у станции Куса тоже повернула на юг, к Златоусту. Третья бригада вышла южнее Златоуста и у станции Молосна повернула на северо-восток. Все три бригады незаметно, скрытно, подошли с юга и севера к городу, который, казалось, надежно прикрывала Ижевская дивизия колчаковцев.

Захваченные врасплох ижевцы не могли оказать серьезного сопротивления и бросились на Челябинский тракт, за войсками Каппеля и Войцеховского. Только один Воткинский полк, под командой самого Юрьева, еще сдерживал бойцов Грызлова на южной окраине города.

Юрьев дрался с волчьей храбростью. Несколько раз он ходил в атаку впереди воткинцев, рискуя своей жизнью, стреляя в своих же бегущих солдат. В разгаре боя он увидел сперва десятки, а потом сотни поднятых рук. Воткинцы прекратили борьбу, сдавались в плен, поднимая руки, становясь на колени.

Тогда, проклиная бога, судьбу, своих солдат, Юрьев тоже помчался на Челябинский тракт.

5

Лучистым сгустком энергии назвал Азина Игнатий Парфенович в день тринадцатого июля.

Это был действительно необыкновенного напряжения день: до Екатеринбурга оставались считанные версты, но бездну препятствий нагромоздил противник на этом пути.

Еще вчера полки дивизии Азина овладели крупным Уткинским заводом под Екатеринбургом. В районе завода была разгромлена Сибирская дивизия белых. Уткинский завод представлял жалкое зрелище. Заводские трубы одиноко глазели в небо, корпуса чернели выбитыми окнами, старая плотина еле сдерживала воду огромного пруда.

Азин сидел на гранитном валуне, положив на колени картонную папку. Четвертую ночь подряд не спал он и казался совсем истерзанным, но весь был в порыве движения.

Быстрота маневров отличала его в эти дни. Обхваты, обходы, кавалерийские рейды, глубокие разведки стали системой в действиях дивизии; нанося неожиданные удары, он смело и ловко дробил силы противника, крушил его оборону.

Успехи Азина были уже не просто военной удачей — вдохновение его усиливалось растущим талантом полководца, он учился стратегии на поле боя, не пренебрегая опытом врага.

Азин послал бригаду Дериглазова в обход Екатеринбурга и теперь нетерпеливо ожидал от него донесений. Ева вынесла из избы кружку горячего чая. Азин стал пить, обжигаясь, между глотками взглядывая на девушку.

— Что ты смотришь так?

— Я счастлив, когда гляжу на тебя. Хочешь знать, какой я вижу тебя после войны? И букли у тебя, и пудра, и мушка на щеке, и непременно в соломенной шляпке и в синем платье. Вот какая у меня мечта.

— Смешная мечта.

— Я хочу ей счастья в синем платье, а она на дыбы! — Азин снова потянулся за карандашом. «Первому и второму эскадрону разведать дорогу до самого Екатеринбурга. Если позволит обстановка — ворваться в город»,— написал он и передал приказ Игнатию Парфеновичу. — Турчину в руки. Он мастак панику наводить...

— Это, может быть, самый важный твой приказ на сегодняшний день,— сказал Игнатий Парфенович. — Могу я поехать с Турчиным в разведку?

Азин иронически пристукнул карандашом по папке.

— Да осенит тебя в разведке имя графа Толстого...

Игнатий Парфенович ускакал с эскадроном Турчина. Азин продолжал писать свои стремительные приказы:

«К 14 часам 14 июля овладеть Екатеринбургом...»

— Ты так уверен, что город падет в такие-то часы такого-то дня? — рассмеялась Ева.

— Я убежден в мужестве и дисциплине красноармейцев. Мы сильны верой в народ, и это прекрасно понимают наши противники. Недавно разведка перехватила письмо английского генерала Нокса. Этот вдохновитель Колчака пишет, что можно победить миллионную армию большевиков, но нельзя уничтожить сто миллионов русских, желающих победы красных и не признающих белых.

— Генералы научились признаваться в своих поражениях с холодным пафосом,— пошутила Ева.

Эскадрон вылетел на светлую от ромашек поляну с гранитным столбом у дороги.

— Перед нами — Азия, за нами — Европа. Этот самый столбик — граница двух континентов, — сказал Игнатий Парфенович.

Кавалеристы окружили обелиск.

— На той стороне, значит, Колчаковия? — Турчин сбил на затылок фуражку.

— Колчаку за тыщей столбов не укрыться. Теперь земля в Европе ли, в Азии ли мужику принадлежит,— поигрывая нагайкой, сказал командир второго эскадрона.

— Даешь Азию, мать ее распротак! — выматерился кривоногий кавалерист. — Всю белую шатию стану мордовать до самого океана. Океан-то прозывается как, не знаешь, старый хрен?

— Но, но, без хамства! — Турчин спрыгнул с седла. — Привалимся на часок. — Он лег в высокие, густые ромашки, положил под голову руки.

— Разлегся-то как — башка в Европе, задница в Азии. Навыдумывали хитромудрые всяких штучек-дрючек. Откедова знают: тут Европа, там Азия? Чесал один языком — до Луны-де полмильёна верст. Он что, лазил на Луну?

— Семь верст до небес — и все лесом, а ты — полмильёна,— отозвался командир второго эскадрона, закуривая цигарку.

— Дай подышать махорочки. Эх-хе-хе, не желают люди запросто жить, все выкобениваются, все мудрят,— вздохнул кавалерист и снял сапоги. Сдвинул острые колени, обнял ладонями, переплел пальцы.

Его физиономия с вислыми щеками замерцала тускло, но мягко. Такие же тусклые глаза скользнули поверх ромашек, в сизое, неприступное небо.

Показалось Игнатию Парфеновичу: живет в этом матерщиннике простая, жадная до веселых желаний душа, но какая-то сила давит ее, останавливая на самом взлете.

— Больно ты сердит, парень,— миролюбиво заговорил Игнатий Парфенович. — Тебя жизнь крутила да мяла, вот ты и озверел.

— Ты что, поп? Исповедуешь? Не желаю!

— На жизнь зачем сердиться? И на меня огрызаться ни к чему, я постарше, могу и совет подать.

— Советчиков расплодилось... Тоже выискался профессор кислых щей,— криво усмехнулся кавалерист. Опрокинулся на спину, взял цигарку, почадил, жадно глотая махорочный дым. — Ты, горбун, на шмеля похож. Жужжишь под ухом, жужжишь! А шмель, мать его душу, бесполезная скотина! На кой хрен его бог сочинил? Не ответишь, горбун, куда тебе! Кишка тонка! На, докуривай! — Кавалерист воткнул в губы Игнатия Парфеновича мокрый окурок.

Лутошкин чуть не задохнулся от вонючего дымка, но, сдерживая отвращение, стал курить.

— Будь ты хоть семь раз профессор, а жизни меня не научишь, я сам академию каторжной жизни окончил. Такие уроки преподнесу — за нож ухватишься.

— Мы же братья по классу,— заметил Игнатий Парфенович.

— Не люблю хитромудрых, горбун.

— А кого любишь? Россию ты любишь?

— Расею — да! А за что — кто ее знает. — Кавалерист поймал губами травинку, перекусил, пожевал.

— А не любишь кого? — допытывался Игнатий Парфенович.

— Таких, как ты, горбун! Въедливый ты человечишка.

Игнатий Парфенович не огорчился грубостью кавалериста. Он лежал в траве, любуясь крупными ромашками, закрывшими всю поляну. Исчезло щемящее состояние духа, ушло в глубину памяти ощущение войны. Он созерцал высокое вечернее небо.

«Верю ли я в существование бога? Дух мой — бог мой, а храм мне не нужен. Нужнее звездный купол над головой и вот эти ромашки, синяя эта травинка с кузнечиками, эта трепещущая всеми листами осина».

Над ними никли затяжелевшие кисти трав; прогретые за день солнцем, они все еще излучали тепло. Сквозь стебли мерцало закатное небо.

— Меня смертным боем били, теперь я на людях отыгрываюсь,— снова, но уже приглушенно сказал кавалерист. — Я ведь не христосик, чтобы обе шшеки подставлять. Нет, горбун, я любую стерву за свою шшеку загрызу. И тебя, горбун, тоже, только захрустишь, как цыпленок. — Кавалерист обнажил в усмешке редкие зубы.

Религиозное настроение Игнатия Парфеновича улетучилось.

Турчин поднял эскадрон. Кавалеристы снова ехали тихо, осторожно. Лес кончился перед ржаным полем, оранжевое от заходящего солнца, оно обрезалось узкой рекой; на противоположном берегу бугрились заводские корпуса.

Игнатий Парфенович не отставал от кавалериста, идолом впаянного в седло. Поспевающая рожь обхлестывала стремена, дорога пылила. Подпрыгивающая спина кавалериста казалась Лутошкину надежной, как броневая плита; стало почему-то нужным быть рядом именно с этим диковинным человеком.

На грани окоема вырисовывался город. Позолоченные глыбы куполов, заводские трубы, словно стволы чудовищных орудий, темные просеки улочек омрачали Игнатия Парфеновича. Начнется бой, вспыхнут неизбежные пожары, снаряды разворотят стены домов, и обрушатся колонны банков и торжественные церковные купола. Игнатий Парфенович ловил последние пятна солнца, слушал колокольный звон, далекие, еле слышные гулы города.

. В сгустившихся сумерках вздыбилось дымное пламя. Эскадрон приближался к станции: уже были видны горящие вокзал, электростанция, паровая мельница, мучные склады.

На привокзальных улицах заметили колчаковцев. По эскадрону началась стрельба, пришлось отступать, было бы безумием ввязываться в драку с неизвестными, заведомо превосходящими силами противника. Колчаковцы погнались за убегающими.

Игнатий Парфенович вновь скакал по странно изменившемуся полю. Всадники находились в центре светлого необозримого круга. Безлунный свет лился с неба, из высокой ржи, из-под травы, высекался лошадиными копытами, сгущался над сосновым бором. Это невесомое, неуловимое, тревожащее свечение проникало в душу, освещало мозг.

Сквозь призрачный этот свет стреляли из винтовок, из наганов, в нем взрывались гранаты — кровавые всплески взрывов освещали поле. Осколки свистели над рожью, срывая колосья; те подпрыгивали, прежде чем упасть.

Раненые отчаянно ругались, ржали лошади, путаясь в поспевающем хлебе. Для Игнатия Парфеновича опять все стало противоестественным, отвратительным, даже эта белесая июльская ночь,— захотелось непроглядной тьмы, чтобы укрыться от настигающих шашек.

Лошадь споткнулась. Игнатий Парфенович перелетел через голову, но тут же вскочил и побежал, ныряя в рожь, как в омут. Увидел над собой занесенную шашку, искаженное злобой лицо колчаковца. Прикрыл руками голову, всем телом чувствуя слабо звенящую сталь клинка.

Удара не последовало. Чей-то выстрел вышиб всадника из седла.

— Прыгай на мою лошадь! — раздался над ухом голос кривоногого кавалериста. — Быстрей, мать тебя перемать!..

Игнатий Парфенович мгновенно оказался в седле; кавалерист рукояткой нагана ударил по лошади, она поскакала в ночь.

На кавалериста сразу насели трое. Игнатий Парфенович оглянулся, последним косящим взглядом увидел казаков, вскидывающих шашки над поверженным.

— Боже, боже, срубили человека, как дерево! — запричитал Игнатий Парфенович. — А я даже имени его не знаю, господи!

Екатеринбург горел.

Пожары вздымались во всех концах города, огненная буря свирепствовала на вокзале. Белые обливали нефтью вагоны с товарами и продуктами, языки пламени метались над вокзалом, над мельницей, трескавшееся зерно шумело проливным дождем. На берегах скручивались в черные трубки листья, жирный пепел заметал привокзальную площадь и дома, воняло паленой шерстью, мазутом, керосином, конопляным маслом.

Мародеры грабили склады, жажда поживы оказывалась сильнее пуль, спекулянты выхватывали из рук мародеров всякое добро. По ночным улицам бежали толпы, мостовые грохотали экипажами: начиналась паника — самое страшное, что может быть в осажденном городе.

По переулкам шла ружейная перестрелка, из распахнутых дверей выскальзывали тени: богачи спешили покинуть город раньше, чем в нем появятся красные.

Конные казаки останавливали беглецов нагайками, били шашками, топтали лошадьми. Но, как всегда, невозможно было остановить обезумевших людей, спасавших свою жизнь и еще не знавших, что хуже — бежать или оставаться.

На восточной окраине творилось уже совсем немыслимое. Регулярные колчаковские части перемешались здесь с беженцами, коляски, пролетки мешали полевым орудиям. Паника передавалась из батальона в батальон. Оборона города разваливалась, словно худая плотина в паводок.

В третьем часу ночи азинцы прорвались на центральную улицу. У здания телеграфа начальника дивизии встретил комиссар Пылаев.

— Екатеринбург наш! — крикнул ему Азин хриплым, счастливым голосом.

Над телеграфным аппаратом заколдовал телеграфист, вызывая штаб Второй армии.

— Красноуфимск, Красноуфимск, Красноуфимск! — выстукивал он.

Азин извлек из кармана листок:

— Прочти, комиссар.

— Приказ об освобождении Екатеринбурга и назначении меня комендантом помечен вчерашним днем. Почему ты всегда спешишь? Не люблю я подобного фанфаронства! — рассердился Пылаев.

— Я обещал командарму взять город четырнадцатого июля.

— Но не сдержал обещания: сейчас утро пятнадцатого...
Застучал телеграфный аппарат.

— У аппарата командарм Шорин,— сообщил телеграфист. «Кланяюсь доблестным орлам,— прочитал Азин. — Отличившихся представить к награде...»

— Отличившихся нет. Все бойцы, все командиры и комиссары дрались героически,— сказал Азин, вспомнив, как докладывал главкому о героях сам Шорин.

— Нет героев, но все герои. А где твой орден? — спросил Пылаев.

Азин схватился за грудь — на гимнастерке чернела дырка.

— Орден сорвала пуля? — Пылаев ощупал гимнастерку, увидел кровавую полоску на груди Азина. — Рваный след пули дороже самой боевой награды. Ты можешь гордиться, Азин...

В полдень Пылаев с удовольствием читал дивизионную газету, не узнавая слов, написанных его же рукой:

«Столица Урала в наших руках!

Знамя революции будет развеваться над всем Уралом!

Красные волны перекатываются с Урала в Сибирь!»

6

Поезд верховного правителя со всеми его вагонами-салонами, ресторанами, радиостанцией, канцелярией, пулеметами на вагонных площадках шел на Челябинск.

Вместе с адмиралом Колчаком ехали адъютанты, военные советники, штабисты, стенографистки, машинистки, повара, охранники — десятки тех безликих личностей, которым предназначается одна роль: оттенять значительность деятельности людей исключительных,— ведь пробравшиеся к вершинам власти всегда мнят себя сверхчеловеками.

Все последние дни Колчака были заполнены военными парадами, смотрами, тостами, ревом встречающих и провожающих его толп — всей этой пышной, но утомительной мишурой военной власти.

Колчак был утомлен и спал, в салоне сидели только военный министр Будберг да адъютант — ротмистр Долгушин. Они курили, поглядывали на пролетавшие перелески, вполголоса разговаривали.

Будберг, трезво смотревший на события, анализировал их с четкостью опытного стратега, но пессимизм давно разъедал его ум. Барон терял свои надежды, как осеннее дерево листья.

— Монархистам надо пересидеть, переждать безумные времена. Когда все партии, все революционеры утопят друг друга в крови и грязи, вернется наше время,— говорил барон.

— Время отбрасывает выжидающих. Упускающий время рискует потерять собственную голову,— возразил Долгушин.

— Я сперва тоже поддался обманчивому восприятию вре-

мени и согласился помогать Александру Васильевичу. Теперь сожалею.

— Адмирал — единственный, кто может восстановить русскую империю.

— Он не годится в диктаторы. Слишком безволен. В один час отдает десяток противоречивых приказов. Но беда его в том, что он не выдвинул привлекательных лозунгов. Политическое мировоззрение его сводится к уничтожению большевизма, военной диктатуре в мирные дни, всеобъемлющему тоталитарному режиму. К нашему счастью, его убеждения не обеспечиваются его делами. Настоящий диктатор не только расправляется со всеми врагами, он обуздывает и своих единомышленников. Пока же в политической стратегии адмирала главное оружие — ненависть. А какие люди окружают адмирала! Стыдно думать, неприятно смотреть! В самой ставке, в армейских штабах «лунные мальчики», скоропалительные на расправу, легкомысленные в решениях. Эти молодчики думают: если замордовали несколько тысяч большевиков, то восстановили старый порядок. Обычная психология фельдфебелей, уверенных, что они решают исход боя. Кое-кто из офицеров мстит народу за свою поруганную жизнь, но тогда надо мстить, не прикрываясь словами о борьбе с большевизмом...

Будберг стал нервно всаживать в янтарный мундштук сигарету.

— Наши армии истощены и не могут наступать. Резервы же, показанные адмиралу на парадах в Омске, Тюмени, Петропавловске,— сырые, необстрелянные толпы. Если бросить их на фронт, все это побежит при первом сильном ударе. А «лунные мальчики»,— опять и с удовольствием повторил понравившееся сравнение Будберг,— с блеском обманывают адмирала. Ах, какие мы волшебники, ах, мы из-под земли достаем новые дивизии! Адмирал же верит им: иногда приятнее обманываться, чем знать правду.

— У нас полтораста тысяч великолепно обученных иностранных солдат. Почему вы скидываете со счетов военной судьбы чехов? — спросил Долгушин.

— Чехи спешат домой, и никакие гайды их не удержат. Гайда! Гайда! Еще немало бедствий принесет нам этот чешский коновал, вылетевший в русские генералы. Я бы наградил Гайду по его блошиным заслугам — и пусть грядет куда угодно по своему блошиному пути.

— Чешские легионеры охраняют магистраль от Омска до Владивостока,— опять сказал Долгушин.

— Чехи охраняют награбленное в России добро. У генерала Сырового два вагона золота, фарфор-фаянса, медвежьих дох, лисьих шкур, соболиных мехов. Он возит даже семнадцатипудовую глыбу малахита. Украл, прохвост, в Екатеринбурге с гранильной фабрики. — Барон стиснул зубами янтарный

мундштук. — Чехи воюют на нашей стороне? Эх, вы, святая простота! С Нового года чехи ни разу не выстрелили в сторону красных. Да плати им адмирал хоть алмазами вместо золота, они уже драться не станут.

В салон вошли стрелки Мильдсекского батальона, охранявшего Колчака. Молодые англичане небрежно обежали глазами русских офицеров и вынули портсигары. Бесцеремонное вторжение их возмутило барона.

— Извольте выйти вон! — крикнул Будберг.

Стрелки пренебрежительно пожали плечами, но вышли.

— Ведут себя, подлецы, как завоеватели,— выругался Будберг. — Один их вид приводит в бешенство. Между этими субъектами и большевиками не вижу разницы.

— Большевики! Кто выдумал это распроклятое слово? — спросил Долгушин. — После реставрации монархии мы выкинем его как из русской истории, так и из русского словаря.

— Из словаря — можно, из истории —нельзя. Я назвал вас нетерпеливым монархистом, а все еще не знаю, на каких началах думаете воссоздавать монархию. Вам же придется строить Россию на новых началах. На каких же, ротмистр?

— Многие офицеры ставки верховного постоянно обдумывают этот вопрос. России необходима преторианская империя, говорят они...

— Та-ак! Императором, значит, станет военачальник, избранный представителями новой, преимущественно столичной, гвардии?

— Именно так! Император будет зависим от воли самой отборной, самой элитной части военных. Преторианство приносило неплохие плоды древнему Риму.

— Все это всерьез, на века, навсегда? — выпытывал барон.

— Все течет, все изменяется.

Они замолчали и снова закурили, вслушиваясь в перестук вагонных колес.

7

Адмирал лежал в купе совершенно разбитый. От недавнего радужного настроения не осталось и следа; пышный прием, устроенный в Петропавловске, отстранился в какую-то светящуюся даль. Впечатлительный адмирал снова все видел в печальных красках, разорванные картины мелькали перед глазами, ненужные мысли томили мозг.

Почему-то виделись земские дружины, создаваемые генералом Дитерихсом. Земские дружины — новая сила его, но дружинники пока скверно стреляют. Это огорчало.

Огорчали и министры. Эти люди провозглашают его освободителем России и новым законодателем, хотя он ясно сказал, что никакими реформами не задается, что требует только тех законов, которые нужны в условиях военного времени. Но ми-

нистры заискивают перед ним и склоняют его имя во всех падежах и всегда в превосходной степени. Это пока он одерживает победы, но что будет, если он потерпит поражение? Тогда он — погубитель России, из сверхчеловека он сразу станет сверхничтожеством.

Адмирал совсем одеревенел, лежа в неудобной позе, но не хотелось вставать: в ногах ныло и скребло, голубые полыньи неба, пробивающиеся сквозь туман, не радовали глаз.

«А что, если?..» — спросил он себя, но смутился и покашлял: было стыдно за свой тайный порок. Потерпел с минутку, открыл саквояж, достал ампулу морфия, шприц. Виновато поглядывая на дверь купе, уколол себя в бедро.

Солнце, освободившись из тумана, ударило в вагонное стекло; адмирал улыбнулся — таинственная сила морфия начала действовать. Мысли стали нережущими, мягкими, ровными, исчезли боль и смятение.

Адмирал снова подпал под власть пленительных видений. Опять, но освещенные новым блеском, исполненные иного значения, проходили парады, приемы, богослужения, ревущие толпы. А где-то в глубине сознания застучали музыкальные молоточки, выбивая строки любимого романса: «Гори, гори, моя звезда...»

Купе выносилось из солнечного косяка в тень и снова приплясывало в солнечном косяке, радужное настроение Колчака ширилось и росло.

Будберг и Долгушин поспешно встали, приветствуя вошедшего адмирала.

— Садитесь, садитесь, господа. Я чересчур долго спал. — Колчак оглядел угрюмую фигуру, седой бобрик волос над широким лбом барона. Вынул золотой портсигар, звонко щелкнул крышкой. — Вы завтракали?

— Ожидаем ваше превосходительство,— почтительно ответил ротмистр.

— Я не пойду в ресторан. Прикажите подать завтрак сюда, Сергей Петрович. — Адмирал называл своего адъютанта по имени-отчеству — это льстило Долгушину. — Мы не закончили вчерашнего разговора, барон. Надо признаться, у вас не очень-то приятная манера резать правду в глаза, но я люблю откровенность. Врущие друзья противны, лгуны — помощники опасные. — Адмирал раскурил папиросу.

— Всегда неприятно слушать правду,— уныло пробормотал Будберг.

— Вы все так же непреклонны к чехам?

— Они одни сегодня благоденствуют и ведут себя как победители. У них тысячи вагонов русского добра, но черт с ним, с добром! Пусть чехи помнят — они всего лишь наши

военнопленные. Вы хорошо сделали, что сняли Гайду с поста командующего Сибирской армией.

— Я расстаюсь с Гайдой. Пусть уезжает куда ему угодно.

— Позволю скромный совет...

Адмирал вскинул на барона вопрошающие глаза.

— Вышлите Гайду через Монголию, не пускайте его через Иркутск, Владивосток: в этих городах много чехов. Гайда может затеять новую авантюру, не удивлюсь, если он попытается организовать заговор против вас. Избавьте себя от хлопот со всякими гайдами.

— Он все же белый герой Сибири.

— У него ничтожная голова и пустое сердце. Каждый день его пребывания в Сибири удлиняет тропу наших бедствий.

— Хорошо, хорошо, я подумаю,— поморщился адмирал.— Чем объяснить военный успех большевиков на Урале? — неожиданно спросил он.

— Верой в свою идею! К тому же большевики ловко использовали произвол, что чинят наши каратели. Большевики издали строжайший приказ — не обижать населения.

— Я тоже опубликовал такие приказы.

— Не надо самообольщаться, ваше превосходительство. Вами был подписан приказ о запрещении мордобоя в армии, а знаете, что говорят офицеры?.. — Барон запнулся на фразе.

— Что же они говорят?

— «Колчак Колчаком, а морда мордой...»

Адмирал вспыхнул, но сдержался.

— Всех недовольных не перевешаешь. — Барон вздохнул, подыскивая слова. — Только чистые головы могут управлять грязными руками, но у нас уже не осталось чистых голов. Нам нужны умные, честные помощники, но где они, рыцари без страха и упрека? Пессимизм заволок ум. Пока нам сопутствовал успех, офицеры вели в бой солдат, переменился ветер удачи — началось повальное предательство...

Будберг замолчал, встревоженный мрачным видом адмирала. Колчак уставился в пол строгими карими глазами, пятна раздражения проступили на его скулах.

— Что еще видно сквозь черные очки, барон?

— Вижу трусов в роли прожектеров, с рецептами общественного спасения. Они — вестники надвигающейся катастрофы.

— Тогда почему вы против помощи иностранцев?

— Союзники необходимы как поставщики оружия. Но ради союзников нет нужды торговать Россией.

— Кто торгует Россией, барон? — гневно вскочил с места Колчак.

— Я не думал оскорблять вас, ваше превосходительство. Нет другого человека, кроме вас, кто может спасти Россию от большевизма.

Адмирал облизал обветренные губы, потер лоб тыльной стороной ладони. Потом он прошагал по салону, остановился на кромке ковровой дорожки. Цветущая, как лен, она вызывала непонятное раздражение; впрочем, все сегодня раздражало Колчака: горечь папиросного дыма, неуспехи на фронте, квадратная физиономия Будберга. Разговор с военным министром вывел его из душевного равновесия, он опять видел все в черном, разорванном блеске и не ощущал взаимосвязи событий. Но именно сейчас, когда события быстро менялись, хотелось полной неподвижности их.

На челябинском вокзале адмирала встречали командующий Западной армией Сахаров, командующий Южной группой войск Каппель, командующий Северной группой Войцеховский, командир Ижевской дивизии Юрьев.

Адмирал вышел из вагона, сопровождаемый начальником верховного штаба генералом Дитерихсом и бароном Будбергом.

Дитерихс, поджарый старик, был подчеркнуто замкнут, он как бы показывал свое превосходство перед генералами, одетыми в солдатские гимнастерки; сам он носил мундир, засеянный орденами, золотые погоны прочно вросли в худые его плечи, кровавые полоски лампас сбегали по синим брюкам на тупоносые ботинки. Всем иконостасным видом своим Дитерихс подавлял адмирала, одетого в черный английский китель.

Долгушин, не видевший капитана Юрьева больше года, с трудом признал в располневшем, осанистом человеке легкомысленного артиста провинциальной оперетки. Он сжал ладони и потряс ими, приветствуя капитана: Юрьев весело повел глазами в его сторону.

Военный оркестр грянул марш кавалергардского полка, послышались звучные слова команды, солдаты замерли в мучительном ожидании.

— Войска к параду построены, ваше превосходительство,— доложил генерал Сахаров.

С балконов свешивались ковры, в окнах стояли портреты адмирала,— он был молод и красив на этих портретах. По краям площади теснились дамы, сытые господа приветственно помахивали тростями.

Колчаку все вновь показалось молодым, красивым, особенно значительным, невольно подумалось: бесконечными будут и этот парад, и гром оркестра, и колокольный звон, и восторженные шепоты женских стай, и яркие, с пряным ароматом цветы.

Напряженно коченели солдаты — это доставило адмиралу тихое удовлетворение. Перед строем стыл капитан Юрьев, еле сдерживая подрагивание крутых ляжек. Колчак улыбнулся: было приятно подобострастие капитана.

Он протянул руку, нетерпеливо прищелкнул пальцами. Долгушин вложил в пальцы крест, адмирал поднес его к груди Юрьева.

— Я ценю вашу борьбу с большевиками,— сипло сказал он, протягивая Юрьеву белый эмалевый крест на георгиевской ленте.— Поздравляю, полковник...

Юрьев вздрогнул, радость свела судорогой толстощекое припудренное лицо. Он принял награду, трепеща от восторга и стараясь не подниматься выше верховного правителя. Но в горбоносом лице Колчака новый полковник увидел полное равнодушие к своей особе. На него пахнуло холодком пренебрежительности, и он стушевался.

Над солдатами похлопывало тяжелое, зеленого шелка с огненной каемкой знамя. Адмирал ненавидел красный цвет, но знамя с революционным оттенком сознательно было создано для Ижевской дивизии. В ставке верховного правителя полагали это и демократизмом особого шика, и торжественным символом восстановления единой, неделимой на классы Руси.

Адмирал опять сунул за спину руку, Долгушин снова вложил в его пальцы георгиевский крест. Колчак прикрепил крест к полотнищу. Юрьев, припав на колени, по-актерски красиво поцеловал край знамени.

А Колчак уже шел дальше, испытывая приятное головокружение от полноты власти. Ему нельзя пенять на свою судьбу. Что там ни говори, но из миллионов людей он один стал верховным правителем России. На него устремлены взоры сильных мира сего. Русский по национальности, космополит по духу, он создаст новую империю, и это будет империя воинствующего разума.

Колчак направился к депутации купцов, промышленников, банкиров. Впереди всех стоял седобородый старик, прижимая к животу серебряный поднос. Ветерок пошлепывал по голенищам его сапог, пузырил на спине голубую рубаху. Строй солдат, адмирал, свита генералов, медные трубы оркестра сливались в многоцветное движущееся пятно, и старик волновался. Колчак еще не дошел до него, а он, протягивая поднос, рухнул на колени.

— Слава богу, сподобился! Удостоился, Христа ради...

— Встаньте! — сердито приказал Колчак. — К чему такие церемонии? Я же не царь!

— Верховный правитель Расеи все равно што царь. Счастье-то какое, день-то ноне какой...

Сквозь приветственные крики толп Колчак услышал торопливый шепот Дитерихса.

— Скажите напутственное слово солдатам. Вдохновите молодцов на подвиг,— ласково, но и настойчиво просил генерал.

— Что я им скажу? «Бейте красных»? Но они это знают и без меня.

— Когда говорит верховный, это воодушевляет.

Адмирал оглядывал семиреченских, енисейских, даурских казаков, не зная, что им сказать. Он не умел и не любил го-

ворить откровенно с людьми, в которых не признавал интеллекта. «Казаки равнодушны к судьбе России, ко мне самому. Что-то надломилось в душе каждого человека, и умер в нем патриот». Эта мысль не воодушевила его, и адмирал заговорил хрипло, глухо.

Понимая, что говорит дурно, без душевного подъема, он смял свою речь, наградил еще трех солдат крестами и пошел в здание вокзала.

Офицеры дружно приветствовали адмирала, сердито, строго косясь на солдат. Солдаты поняли их косые взгляды и закричали «ура!», но адмирал все же расслышал шепотки:

— Кильчак-то — он кто? Армянин?

— Дурак ты, генерал аглицкой!

— Робяты баяли, что цигарки начнет раскидывать.

— Да ну тя...

В адмирале словно выключили солнечный свет.

Ротмистр Долгушин поздравлял Юрьева с новым чином.

— Только что был капитаном — и уже полковник. Завтра — полный генерал, и тогда к тебе не подступись,— бодро говорил Долгушин.

— Кто-кто, а ты подступишься, голуба моя! Мне страшно недоставало тебя в нынешний год.— Юрьев энергично сплюнул.

— Как ты очутился в Челябинске?

— Превратности военной судьбы. Из Ижевска отступал на Уфу, на Златоуст — докатился до Челябинска. Но теперь отступлению конец! Буду возвращаться обратно, на первой же осине повешу подлеца Азина.

— Азин захватил Екатеринбург, — вскользь сообщил Долгушин.

— Если захватил — вернет! — Юрьев сплюнул.— У нас могут быть случайные неудачи, но в полную нашу победу я верю.

— А вдруг не победим? — осторожно спросил Долгушин.— Тогда что?

— Стану партизаном. Сочиню какой-нибудь союз черного орла, как помещик Граве. Но это может быть так, может быть и иначе. Вырежем всю Россию, но победим,— ухмыльнулся Юрьев всей напудренной физиономией.

— Конец белой идее — конец нашему будущему, полковник. Тогда останется пуля в лоб.

— Стреляются одни дураки. Можно жить, наслаждаясь любовью, писать мемуары, свободно шагать вперед по широкой дороге...

— А ежели дошагаем до пропасти?

— Пропасти закидываются чем попало.— Юрьев энергично сплюнул.

— Человеческими трупами тоже?

— Самый хороший материал, голуба моя! Да брось ты

мрачную психологию, ротмистр! Тебя словно подменили, а ведь ты на лестнице, ведущей к вершинам власти. Уж тебе-то следует знать: за что неудачников клеймят позором, за то счастливцев осыпают наградами. Добейся победы — и ты великий человек!

— Ты всерьез веришь тому, что говоришь?

— Я давно уже ни во что не верю. Моя цель отныне — подыскивать предателям подходящие осины.— Юрьев почмокал, собираясь сплюнуть.

У стрельчатого окна беседовали Каппель и Войцеховский: новоиспеченные генералы обсуждали характер нового начштабверха Дитерихса.

— Он мистик и ханжа. Иконы, кресты, хоругви — вот его стихия,— говорил, злобно двигая треугольными маленькими ушами, Войцеховский.

Долгушину не нравился всех презирающий Войцеховский, но он ценил желчный, острый ум молодого генерала.

— Дитерихс — маска, не освещенная мыслью. Ведь надо же додуматься до священных дружин, до земских ратей! Политический плут, выдающий себя за русского патриота. Патриоты должны умирать за Россию,— с тихой яростью произнес Каппель.

В зал вошли Колчак, Дитерихс, Будберг, Сахаров. Колчак, не глядя на присутствующих, открыл военный совет и предоставил слово Дитерихсу.

Небрежным жестом начштабверх подал знак — адъютант вывесил карту военных действий. Дитерихс откашлялся и хорошо натренированным голосом начал обзор военных действий:

— На Архангельском фронте наши войска перешли в наступление. Нами занят город Онега. На Северо-Западном фронте наши войска под командованием генерала Юденича наступают в Лужском направлении. На Западном фронте польская армия...

Дитерихс выделил и обособил слова «наши войска»; Долгушину показалось странным, что начштабверх говорит об успехах Архангельского, Петроградского фронтов, игнорируя трагическое положение, сложившееся сейчас на Урале.

— Таким образом, оценивая общее положение фронта всех наших войск, находящихся под верховным командованием адмирала Колчака, следует признать, что оно неблагоприятно для большевиков. Но...

При этом «но» Долгушин взглянул на адмирала. Колчак сидел нахохлившись, сцепив и приподняв перед собою ладони, кисло усмехаясь.

— На Екатеринбургском, на Челябинском фронтах наши армии перешли на новые, более выгодные позиции. Противник имеет временный успех, ценою страшных потерь захватив Екатеринбург и Златоуст...

Отшлифованные фальшивым отпимизмом фразы скользили поверх сознания. Долгушин принимал их как неизбежность, хотелось только, чтобы Дитерихс скорее перешел к делу.

Адъютант повесил разрисованную красными и синими стрелками, кружками, крестиками карту Южного Урала.

Долгушин представил за этими стрелками и кружками горные обрывы, леса, болота. Увидел медные сосны, речки, пронизанные солнцем, ущелья, задернутые шевелящимся туманом гнуса. Он видел и челябинские степи с березовыми колками, полями поспевшей пшеницы, бронепоезда, черные вихри взрывов, опрокинутые повозки, мертвых солдат...

Слова Дитерихса потушили и эти видения.

— Пятую армию мы заманиваем в узкий коридор между Челябинском, озером Урефты и озером Синеглазово. Справа красных подстерегает Каппель, слева — Сахаров. У озера Урефты армия Войцеховского перекрывает коридор — и красные в западне. Мы уничтожаем Пятую армию, которой командует подпоручик Тухачевский, положение на Урале восстанавливается, белые орлы вновь полетят на Волгу, на Каму. Я вижу промысел божий в том, что, дав вкусить нам от горького плода неудач, господь даст нам радость вкушать и плоды великих побед. На наше счастье, у большевиков нет талантливых, умных полководцев, способных руководить крупными армиями...

— Почему же нет? — не выдержал Будберг.— Офицеры царского Генерального штаба, питомцы военной академии служат красным. На их стороне генералы Брусилов, Бонч-Бруевич, Самойло, Клембовский и еще,— всех не запомнишь. Они организуют войсковые соединения красных, они возродили военную академию, они поставили наши армии в тяжелое положение на Урале, они, они...

Генералы заговорили все сразу, перебивая друг друга.

— Мерзавцы! Опозорили честь военного мундира! — закричал Сахаров.

— Сахаров тревожится за честь мундира. Что еще важнее? — ехидничал в стороне Войцеховский.

— Нельзя же все переносить в плоскость личных обид. Некрасиво,— мягко выговаривал Каппель.

— Начали с Тухачевского — ругаем царских генералов,— криво усмехнулся Дитерихс.— Пятой армией командует все же ничтожный подпоручик.

— Этот подпоручик опасно талантлив! Глупо недооценивать противника. И смешно! — неожиданно рассердился Колчак.

8

Степной полустанок Кременкуль, находящийся в двадцати верстах от Челябинска, Степан Вострецов занял на рассвете. В бою под Кременкулем он захватил санитарный поезд и

штабную канцелярию Сибирской дивизии. Трофеям командир Волжского полка обрадовался, от пленных пришел в ужас: Кременкуль был битком набит тифозниками.

К полудню на полустанок прибыли командарм и председатель Сибуралбюро; их небольшой поезд, состоявший из двух спальных вагонов, двух теплушек и платформы с автомобилем, поставили на запасный путь. Вострецов встретил Тухачевского и Никифора Ивановича предупреждающим взмахом руки.

— Что случилось? — спросил командарм. — Не хотите нас принимать?

Вострецов многозначительно показал на перрон. На скамейках, вдоль стен, под заборами, в кустах пыльной акации вперемежку с мертвыми лежали больные.

Как и по всей стране, в Кременкуле свирепствовал сыпной тиф. Эпидемия наступала широким незримым фронтом, захватывая города, села, станции, рудники, заводы, армии красных и армии белых. Порождение войны, голода, разрухи — тифозная эпидемия стала каким-то особенным наказанием разоренной, обнищавшей стране.

Командарм, Никифор Иванович, Вострецов прошли на вокзал. Запахи крови, нечистот ударили в ноздри. Во всех углах раздавались стоны, мольбы, проклятия. Тухачевский было приостановился, потом решительно защагал между больными, серая пелена вшей шевелилась на соломе, на солдатских телах. Сдерживая отвращение, командарм спросил у Вострецова:

— Где пленные врачи?

Врачи находились тут же, под охраной бойцов, с испугом поглядывая на красных командиров. Молодой человек с чеканным профилем древнего римлянина казался им особенно страшным.

— Такой милый юноша, и он же настоящее чудовище,— потерянно вздохнул терапевт.

Тухачевский подошел к врачам, заговорил спокойным, ровным голосом:

— С этой минуты вы свободные граждане новой России. Но по роду своей профессии вам надо спасать людей от смерти, страданий и боли. В стенах университета вы давали присягу — спешить на помощь больным. Так выполняйте свою священную клятву! Мирные жители и солдаты тысячами гибнут от сыпного тифа. Эпидемия не признает границ, для врачей нет ни красных, ни белых, а есть больные, ждущие помощи. Я зову вас на борьбу с эпидемией.

— Морально ли атеисту говорить о святости? — спросил хирург.

— Морально, только когда люди поступают по-человечески.

Тогда заговорил терапевт:

— В дни народных бедствий врачи должны быть на своих постах. Я откликаюсь на ваш призыв.

— Вот это и человечно и благородно,— сказал Тухачев-

ский.— Приступайте к делу. Мы окажем вам необходимую помощь.

Затрещал автомобильный мотор, на площадь выкатил, выбрасывая из выхлопной трубы газы, потрепанный «левасор». Шофер лихо затормозил.

— Как дела, Ванюша? Поедем — не поедем на твоем драндулете? — спросил Тухачевский.

— Кажись, все в порядке. Можно рискнуть, Михаил Николаич,— тряхнул желтыми кудрями Ванюша.

— Куда это вы собрались? — поинтересовался Никифор Иванович.

— В рекогносцировку со Степаном Сергеевичем.

— Не подобает командарму ездить в разведку.

— Мы зарываться не станем, рисковать тоже...

Никифор Иванович постучал носком сапога по автомобильной шине.

— Прошьет пуля колесо — и загорай. Остерегайтесь в разведке, Михаил Николаевич...

Командарм уехал. Никифор Иванович пошел к вагону.

За вагоном лежала степь, вся в пестрых, по-утреннему благоуханных цветах. Матово белели ромашки, светился синим чабрец, легкими сизыми дымками катился по неоглядной дали ковыль. Никифору Ивановичу захотелось упасть в цветы, раскрестить руки, забыться от постоянных тревог, от опасных превратностей жизни. Он сорвал горстку степных цветов, вдохнул пряный их аромат, и покорная печаль овладела им. Пожав плечами, он поднялся в салон-вагон.

На столе лежали еще не разобранные документы штаба Сибирской дивизии, захваченные Степаном Вострецовым. Никифор Иванович стал просматривать их с острым интересом человека, проникающего в загадки и тайны врага.

Подобно натуралисту, восстанавливающему по одной кости весь облик доисторического животного, Никифор Иванович воссоздавал обстановку в стане противника по телеграмме, донесению или перехваченному приказу. Мелкие частности выстраивались в стройные порядки умозаключений, облекались плотью поступков, проясняли атмосферу событий. Никифор Иванович мысленно видел события, слышал разговоры, смысл которых едва угадывался в документах.

У каждого документа был свой язык: «Части полка имени девы Марии выбили противника из селения Усолье и закрепили его за собой»,— рапортовал командир белого батальона. Никифор Иванович саркастически усмехнулся: «Над Усольем уже второй день развевается наш флаг. Рапорт явно опоздал». А вот в телеграмме командира полка звучит горькая правда: «В последние дни усилились дерзкие налеты красной конницы на наши подразделения. Требую осторожности на походе, бдительности на отдыхе». Особое внимание Никифора Ивановича

привлек секретный доклад начальника штаба дивизии: «Наше наступление выдохлось. Армии катятся назад, и не за что уцепиться, и нет надежды на лучшее. Местные жители, мобилизованные в нашу армию, разбегаются, унося оружие и обмундирование. Перебегают к противнику даже офицеры, особенно младшие чины...»

«Положение у них хуже губернаторского.— Никифор Иванович придвинул к себе стопку новых документов.— На кого Колчаку положиться? Ему преданы только высшие офицеры, да богачи, да казачьи части, но и они идут за ним до определенной черты».

Вчера Никифор Иванович допрашивал пленных офицеров. Они рассказывали, что среди низших чинов растет ненависть к высшему командованию. Адмиральская контрразведка следит за настроениями офицерского состава, даже простой разговор со своими солдатами кажется подозрительным. Недоверие и страх проникли в ставку самого верховного правителя. Рассказы пленных подтверждаются приказом командующего Сибирской дивизии: «Ввиду требования надежных солдат для конвоя верховного правителя приказываю выслать таковых в мое распоряжение».

— Любопытный документ. Надо показать командарму.— Никифор Иванович отложил приказ в сторону.

За стеклянной дверью салона кто-то храпел, густо посвистывая носом,— в купе отдыхали бесшумные помощники Никифора Ивановича, которых он встречал часто в самое позднее время ночи.

Они приходили из колчаковского тыла всегда неожиданно. И исчезали внезапно, оставляя адреса подпольных явок, надежных лиц или же лиц, сочувствующих большевикам, разветвленную сеть рабочих дружин почти во всех крупных городах Сибири.

Дверь приоткрылась, вошел молодой человек, похожий на модного приказчика парфюмерного магазина. На нем был шоколадного цвета сюртук, белая с голубыми полосками рубашка, узкие брючки со штрипками, лакированные штиблеты. Смазанные бриллиантином волосы лоснились, от закрученных усиков пахло французскими духами «Мария-Антуанетта».

— Тьфу ты, какой ферт, прямо с картинки бульварного журнала! — расхохотался Никифор Иванович.

— Ваша школа! Целый час перед зеркалом проторчал. Парики и гримы у вас — пальчики поцелуешь.

— Второсортных не держим. Фирма солидная,— в тон вошедшему отшутился Никифор Иванович.— Отдохнул хоть немножко с дороги, Артемий?

— Какое там отдохнул! Мне хотелось сразу же поговорить, да вы заняты были. А сейчас не выдержал, без зова явился.— Артемий присел на диванчик около стола.

— Что-нибудь срочное?

— Имею важные документы.— Артемий достал из внутреннего кармана листок, положил на стол. На листке был нарисован план двухэтажного дома с крестиками на цоколе.— В Лысьве в подвале этого дома зарыто десять ящиков золотых монет на сорок миллионов рублей. Про клад знают член Реввоенсовета Третьей армии Трифонов да я. Но Трифонова в Лысьве нет, потому я и спешу сообщить о деньгах.

— Откуда у них такая прорва золота?

— А золото Трифонов у анархистов отбил. Весной восемнадцатого года анархисты ограбили банк. Шайку их разоружил Трифонов. Центральный Комитет партии предложил ему выехать немедленно в Пермь, к Третьей армии. Пока Трифонов добрался до Перми, белые захватили Екатеринбург. Опасаясь за ценности, Трифонов раздобыл десять железных ящиков, ссыпал в них золотые монеты и зарыл в подвале старого дома. Никто, даже красноармейцы, зарывавшие ящики, не знали, что в них. Так они там и лежат, золотые монеты старинной чеканки.

Артемий все это выпалил одним духом.

— А лежат ли? — усомнился Никифор Иванович.— Может, колчаковский полевой контроль уже давно выволок их?

— Должны лежать. Никто, кроме нас, не знает о кладе.

— Спасибо за сообщение. Наши люди извлекут из тайника народные деньги. А тебе придется ехать в Омск. Ты ведь омич?

— Родился на берегах Иртыша,— просиял Артемий.— Омск знаю как свои ладони.

— И хорошо! Ты самый подходящий работник для особого задания. Партийной организации в Омске надо помочь стать на ноги, ведь после куломзинского восстания Колчак уничтожил лучших наших людей. В Омске установишь связь с Настей Бердниковой и Шандором Садке, запомни их адреса. И еще одно дело щекотливое поручаю тебе. Есть у нас подозрение, что среди омских партийцев действует провокатор. Ряд самых неожиданных провалов свидетельствует об этом. Надо разоблачить негодяя. Никакой, даже маленькой, нити, ведущей к провокатору, я не могу тебе дать, надейся только на свой опыт. Не придавай особого значения личным симпатиям-антипатиям омских коммунистов, но помни — трагедии иногда начинаются с личных свар.

Никифор Иванович говорил, а перед его глазами то появлялся, то исчезал высокий, атлетически сложенный сорокалетний мужчина с короткой черной бородкой и черными живыми глазами.

В начале девятнадцатого направили его в Омск. «Работает хорошо, но слишком уж безбоязненно, слишком хорошо,— думал Никифор Иванович, разглядывая загримированного Артемия.— А вот этот омский парень мне ясен, как стеклышко.

Преданный всеми фибрами души революции. А тот, он произвел на меня приятное впечатление, но при повторных встречах я почувствовал в нем что-то неуловимое, ускользающее. А может, я ошибаюсь и предупредить о нем Артемия пока преждевременно?..»

В салон вошел дежурный, вопросительно посмотрел на Артемия. Перевел взгляд на Никифора Ивановича.

— Задержали подозрительного человека. Он просит передать вам вот это,— дежурный протянул белый шелковый лоскуток.

— «Сим удостоверяется, что товарищ А... является представителем Сибуралбюро ЦК РКП(б) по специальным заданиям, что и удостоверяется подписью и печатью»,— прочитал Никифор Иванович.— Приведите его ко мне.

9

«Левасор» катился пропыленным проселком, подскакивая на выбоинах. Над пшеничными полями стояли снеговой белизны облака, с обочин подмигивали синие огоньки васильков. Пахло теплой полынью, в колеях, взблескивая, рябилась вода. Волнистые холмы скатывались в овраги, замирали перед березовыми колками. Деревья, трава, пшеница нежились на солнце, в окружающем мире был великий покой. Командарм вспомнил степную станцию, набитую тифозными больными. «Страдатели за народ любят болтать, что страдание целительно: человек, дескать, очищается и возвышается через боль и душевные муки. Беспардонные вруны! Страдание превращает человека в послушного раба или опасного зверя».

Вострецов, покачиваясь на упругом сиденье, тоже размышлял, но о том, как хороша здешняя местность для скрытого передвижения войск.

— По таким оврагам незаметно подберешься...

— Что? Что ты сказал? — очнулся Тухачевский.

Вострецов пояснил свою мысль.

— Места великолепные,— согласился Тухачевский.— И для нас, и для противника. Белые ведь тоже умеют подкрадываться неслышно.

— Только боевого душка у них кот наплакал,— иронически заметил Вострецов.

— А что такое боевой дух? Он находится под постоянным влиянием разных обстоятельств. Белые генералы еще не поняли сути гражданской войны, не овладели изменяющимися ее формами. Им все кажется, что на русских просторах идет «малая война» немецких агентов и кучки заговорщиков, а не грандиозная битва классов.

Видя, как внимательно прислушивается к его словам Вострецов, командарм продолжал:

— Советская Россия еще только создает новую военную науку. Наши командиры зачастую не знают стратегии и тактики, все берут опытом, и часто трагическим. Но опыт накапливается...

— Правда, больше берем лихостью,— согласился Вострецов.— Для меня военная теория — тайна за семью печатями.

— Без знания военной истории нет командира.

— Имена Цезаря и Бонапарта я слышал, а за что они так прославлены, не знаю. Суворов — дело иное, он свой, он русский. «Пуля — дура, штык — молодец» — это я со школьной скамьи помню.

— «Ученье — свет, неученье — тьма» — это суворовское изречение важнее всех афоризмов,— улыбнулся Тухачевский.— Он словно завет нам оставил.

Машина взбегала с увала на увал, прошивая березовые колки. Между светлыми стволами брызнуло синим, «левасор» выехал на деревенскую околицу.

— Ванюша, остановись.

«Левасор» встал в седом облаке; сквозь пыль, вспыхивая, метался над радиатором красный флажок.

— В такой пылище целый полк не заметишь,— закашлял Вострецов. — Вот так наскочим на заставу. Очень даже просто.

— Ванюша, достань обмундирование,— попросил Тухачевский.

Шофер вынул из-под сиденья узел. Тухачевский надел мундир, сразу приобрел барственный вид. Вострецов и шофер нацепили солдатские погоны.

Командарм развернул на коленях полевую карту.

— Здесь, рядом, станица Шершни. Слева — Челябинск, а вправо, за рекой,— Каппель. По карте выходит, что мы прямо из его штаба в Шершни прикатили. Поедем дальше, Степан Сергеич?

— Рискнем,— отозвался Вострецов.

«Левасор» осторожно продвигался по широкой песчаной улице; Вострецов ощупал в кармане теплую гранату.

За станицей блеснула речка, появился горбатый мостик; перед «левасором» упал шлагбаум. Из кустов ракитника выскочил прапорщик:

— Ваши пропуска...

Прапорщик с зелено-желтыми погончиками на пропыленном мундире протянул руку к Тухачевскому, тот ответил властно:

— Полковник артиллерии, проверяю состояние дорог. Этот мостик выдержит тяжелые орудия? Завтра с утра занимать позицию будем.

Прапорщик осклабился в усмешке.

— Мост?.. Черт его знает, выдержит он — не выдержит.

Попробуем проехать. — Прапорщик вскочил на подножку и тут заметил красный флажок.

Водитель позабыл про него, и флажок раздражающе прихлопывал на теплом степном ветру. Тухачевский перехватил взгляд офицера.

— Это для осторожности: вдруг на краснюков напоремся, — пояснил он небрежно.

— Утром мы ихний разъезд видели. Отогнали пулеметным огнем,— сказал прапорщик.

— Пошли, значит, по шерсть, убрались стрижеными? Так, да?

— Не успели мы их остричь.

«Левасор», проскочив мостик, мягко закачался среди высоких луговых трав.

— Верст через пять еще мостик, побольше этого,— словоохотливо сообщил прапорщик.

Тухачевский толкнул локтем Вострецова, тот обвил рукой шею прапорщика, прижал голову к борту машины.

— Не кусаться! — строго предупредил он, стягивая, словно обручем, шею попавшего впросак офицера.

Была уже глубокая ночь, когда они вернулись в Кременкуль.

Никифор Иванович обрадованно встретил командарма:

— Истревожился, ожидая вас. Это молодечество, театральность! Не знаю, что вам удалось разведать, а я тут получил важные сведения. Доставили обращение Челябинского подпольного комитета большевиков: рабочие города восстанут, как только мы начнем штурм.

10

Двадцать четвертого июля начался штурм Челябинска.

Душную степную ночь пропороли орудийные взрывы, небо заметалось в багровых космах пожаров, стук пулеметов смешался с винтовочной трескотней.

Над городом несся грохот артиллерийской канонады, и, как всегда при ночных боях, была дикая неразбериха.

Красные оказывались в белом тылу, белые прорывались на улицы, уже занятые противником. Два участка стали ареной жаркого боя: мост через Миасс, который атаковал Грызлов, и железнодорожная станция, на нее вел наступление Вострецов.

Станцию защищали егерские части Каппеля, его бронепоезд «Георгий Победоносец» сорвал уже три атаки Волжского полка. Двигаясь от вокзала до реки и обратно, бронепоезд расстреливал картечью цепи красноармейцев.

Бойцы залегли по кустарникам и не поднимались для но-

вой атаки. Потери становились ужасающими, и Вострецов лихорадочно обдумывал, как обезвредить бронепоезд.

— Прижали нас беляки,— прохрипел в ухо Вострецову связной Сеня.

— Значит, нам надо прижать беляков,— отозвался Вострецов, приподнимая голову над кустами.

Справа в реку впадал глубокий овраг, за ним возвышалась железнодорожная насыпь; визжа колесами, над оврагом носился «Георгий Победоносец».

— Надо взорвать бронированную гадину,— прерывисто задышал в ухо командира Сеня.

— Есть добровольцы взорвать бронепоезд? — закричал Вострецов, вставая из кустов.

Сквозь залпы «Георгия Победоносца» красноармейцы не слышали зов Вострецова.

— Я его успокою! — прошептал Сеня, собирая рассыпанные гранаты.

Вприпрыжку он скатился в овраг, когда же появился на другой стороне, бронепоезд уже отошел к станции. У Сени оставались считанные минуты, чтобы подорвать рельс. Железнодорожное полотно вновь затряслось под тяжестью надвигающегося бронепоезда. Сеня распластался на земле, словно ища в ней защиты.

«Раз, два, три, четыре...» — считал он про себя.

Паровоз, вдруг озаренный вспышками взрыва, встал над рельсами, вагоны вздыбились, сминая друг друга, отскочившее колесо с размаху размозжило голову Сени.

Вострецов взялся за пулемет, его затрясло от заработавшего «максима».

Перед рассветом бойцы Вострецова захватили станцию.

В городе ревели фабричные гудки,— за оружие взялись кожевники, мукомолы, металлисты, пекаря, грузчики. В ход пошли ножи, топоры, булыжники,— в этой мешанине оружия сильнее всяких слов проявилась рабочая ненависть к войскам адмирала Колчака.

Поджигались купеческие особняки, лавки, лабазы.

— Рабочие атаковали колчаковцев,— сообщил комбригу адъютант.

— Откуда тебе известно? — спросил Грызлов.

— Разве не слышишь, поют «Интернационал»!

— А ведь в самом деле поют,— прислушался Грызлов.— Надо спешить на помощь! Именно теперь, а не после.

Грохот набата то приближался, то удалялся от реки, отблески пожаров сошлись в центре неба. Пение прекратилось. В тот же миг зыбкое пламя вскинулось над рекой, вновь отчаянный рев хлынул из переулков.

Колчаковцы побежали к мосту в надежде пробить себе путь. На узком мосту смешались красные и белые. Начался бой,

больше напоминающий кулачную схватку: люди дрались прикладами, опрокидывали друг друга. Лошади, шарахаясь, давили людей, пока не обрушили перила. Вместе с животными в воду полетели и люди.

На набережной лежали мертвые солдаты вперемежку с пестро одетыми мужчинами и женщинами, валялись шляпы, зонтики, саквояжи, дамские сумочки. Беглецы попали под перекрестный огонь той и другой стороны, и многие погибли на дороге из города.

Каппель и Войцеховский бросили на город свежие силы. Тринадцатая Сибирская дивизия, Четвертая Уфимская, Восьмая Камская, Казачья кавалерийская обрушились на Двадцать шестую и Двадцать седьмую дивизии.

Белые ударили сразу с двух направлений — с севера и северо-запада. Весь день двадцать пятого июля они пытались окружить две дивизии красных, но только к вечеру им это наполовину удалось. Сумерки приостановили наступление.

Войцеховский, находившийся весь день на передовой, сумрачно вслушивался в притихшую, тревожную степь. Белые офицеры по-разному относились к этому генералу, потомку немецких баронов, смотревшему на русскую землю как на свою вотчину. Ротмистр Долгушин такой фразой определил характер Войцеховского: «Он хитер, он умен, иногда мудр, всегда преступен».

В голове Войцеховского постоянно роились честолюбивые замыслы, но разные случайности мешали их исполнению. После взятия Екатеринбурга он пошел было в гору, однако против него интриговал князь Голицын. Он жаждал захватить Пермь — ее взял Анатолий Пепеляев. Войцеховский клялся, что, если бы на Сарапул послали его, а не генерала Гривина, он бы разгромил Вторую армию красных. Но его не послали, а генерал Гривин был разбит под Сарапулом Красной Армией.

«Сегодня у меня счастливая ситуация,— сказал себе генерал.— Я разорвал фронт красных, теперь только бы не упустить возможностей».

Войцеховский поморщился. «А ведь Тухачевскому, говорят, двадцать пять лет. Завидный возраст! Если проиграю это сражение, я стану тенью, отброшенной в прошлое». Он согнул пружинящий стек и тут же разогнул. У Войцеховского был скверный характер, он часто впадал в беспричинную ярость. Солдаты прозвали его «генералом Понужаем» за постоянную привычку кричать: «А ну же, вперед!»

— Нехорошо ведут себя казаки, ваше превосходительство,— встревоженно сказал подошедший есаул.

— Говорите ясней.

— Смутьян в моем эскадроне завелся, против войны с краснюками калякает.

— Распустил казаков, вот они и выламываются из оглобель. Дисциплина — железная баба в лайковых перчатках, есаул. Покажи мне своего заводилу.

Есаул провел Войцеховского к костру, казаки поспешно встали, есаул показал на тщедушного парня.

— Это ты не желаешь воевать? — вкрадчиво спросил Войцеховский.

— А на что она, война-то? Жить хочется, молод ишо,— простодушно ответил парень.

Мелкая судорога передернула треугольное лицо генерала.

— Ты один воевать не желаешь?

— Весь эскадрон хошь сейчас по домам.

— Есаул! — приказал Войцеховский.— Немедленно расстрелять этого мерзавца...

11

Прорыв генерала Войцеховского вызвал молниеносную реакцию в Пятой армии. Начальник дивизии Павлов предложил командарму свой план уничтожения прорвавшегося неприятеля: одна группа войск сдерживает белых у села Першино, а Волжский полк Вострецова, скрытно переброшенный на левый фланг, обрушится внезапно на противника у деревни Акбашево.

— Очень тяжело пройти тридцать верст утомленным красноармейцам. И все-таки лучшего у нас пока нет,— сказал Тухачевский.

Командарм и начдив направлялись в полк Вострецова, но из-за предосторожности отклонились в сторону и заблудились. Стояла угольной черноты степная ночь. Серебристое сияние недавних светлых ночей исчезло, в сумятице дел командарм даже не заметил перемены в природе.

— Где наши, где белые — не представляю,— шумно вздохнул Павлов.

Тухачевский замигал электрическим фонариком, выхватывая из темноты то массивный живот Павлова, то худенькую фигурку Ванюши. Павлов сказал с внезапной подозрительностью:

— Что, если ты, змееныш, задумал неладное. Умыкнуть командарма к белым затеял, а? Да я ж тебя, заразу, в расход пущу.

— Спокойствие, Александр Васильевич. Относитесь к происшествию юмористически, юмор учит терпению. Ванюша просто заблудился,— сказал Тухачевский.

— Остерегаться-то надо?

— Остерегаюсь, но не страшусь,— кажется, так говорили древние. Однако где же мы находимся?

Только перед рассветом они разыскали Волжский полк, стоявший в селе Харлушевском, восточнее Челябинска. Вострецов

хмурился и молчал, пока ему излагали план нападения на белых.

— Хорошо ли мы решили, Степан Сергеич? — спросил Тухачевский.

— Хорошо решение, которое приносит успех. Какая к черту тайна, когда потопают две тысячи человек, лошади, пушки, пулеметы? Тридцать верст перед линией фронта — попробуй проскользни незамеченным! Нелегкое дело мне подсунули.

— Нужда заставляет, Степан Сергеич.

— Всегда за меня решают нужда да судьба. Вы, чай, голодны? — спросил Вострецов и вышел во двор.

— Он самый способный из полковых командиров и очень достойный человек,— сказал Павлов.

— Пожалуйте перекусить,— позвал в окно Вострецов.

В маленькой хате их ждал накрытый стол. Павлов крякнул, оглядывая пироги с луком, малиной, жбаны с топленым молоком и хлебным квасом.

Хозяйка, русоволосая крепкая баба, говорила певуче:

— Пирожки-то с малиной испробуйте.

— Где твои мужики, хозяйка? — спросил Павлов.

— Сынок-от в красных бегает, муж-от к белым подался.

— Против народа пошел?

— Пошто супротив? Он сам из народа, как же ему супротив? — обиделась баба.

— Почему же сын у красных?

— Сам-от не старше моего сынка, а тоже у красных.

— Вам кто милее — красные, белые?

— Красные сердцем помягче. Только бы бога не тревожили. Сибиряки-от и без правителей обошлись бы как-нинабудь.— Хозяйка подняла василькового цвета глаза на божницу. — Поскореича кончайте воевать-от. Хлеб стоит неубранной, пары поднимать надо. А вы все друг друга колошматите, колошматите...

Надвигалась гроза, рассекая небо синими молниями. Погромыхивал гром, будто ворочая в полуночной тьме тысячепудовые тяжести, степь дышала распаренным воздухом, крепким запахом человеческих масс, шевелились травы, приминаемые ногами, копытами, колесами. В темноте скрипели повозки, раздавались голоса.

Сонно покачиваясь в седле, Вострецов слушал проперченные незлобивой руганью разговоры.

— Вот она мне и толкует: «За мной, мальчик, не гонись. Из тебя беляки котлету сделают, а я чахни да сохни?»

— Лапоть ты! Воробья омманывают зерном, бабу — словами.

Чей-то голос задушевно пропел:

Ох-ох, не дай бох
На кобыле воевать!

Рот разинет, хвост откинет —
Всю Ерманию видать!

Грубые шутки не принижали, не обескрыливали красноармейцев, идущих стремительным маршем к месту боя. Русские люди жили, трудились, умирали с шуткой-прибауткой, с крепким словцом.

Степан Вострецов был одним из них, выдвинутый революцией в командиры. Они понимали друг друга с полунамека. Был бодр Вострецов,— усталые, бодрились и они. Кидался в атаку Вострецов — они устремлялись за ним. Как и они, спал он на голой земле, ел затируху из ржаной муки, умел подковать коня, посмеяться над самим собой, похвалить смелого, отчитать труса.

С вечера и до самой утренней зари шел Волжский полк к деревне Акбашево. Шел степными проселками, густыми травами, по начинающей поспевать пшенице. С болью в сердце топтали мужики пшеницу, с тоской смотрели, как обкручивались колосьями пушечные колеса.

На заре устроили привал. Красноармейцы валились наземь и засыпали, сам Вострецов едва стоял на ногах, но не показывал усталости, боясь укоризны. Он присел на обочину проселка, склонил голову в пахнущую теплой сыростью пшеницу.

Сразу нахлынула степная тишина, но он все шевелился, все вздрагивал: вчерашнее сражение продолжало жить в нем, будоража нервы, тревожа душу. Внутренним зрением он видел взрывающиеся в наступающих цепях снаряды, окровавленные тела, горящие вагоны, слышал лязг колес и стоны.

Вострецов спал и не спал. Он то выключался из действительности, то возвращался в нее при малейшем шорохе. Жужжание жука, запутавшегося в траве, оглушало, а громы уходящей грозы больше не беспокоили.

Он проснулся мгновенно, как напуганный зверь, чувствуя невидимую опасность. Пшеничное поле обрезалось на горизонте березовой рощей, в ее зеленой тени чудилось что-то неверное, подозрительное. Вострецов послал в рощу разведчиков, но колебался — поднимать или не поднимать бойцов. Хотелось, чтобы люди отдохнули, еще хотелось продолжения блаженной тишины.

Небо над ним было как синий бархат — влажное, нежное, бессмертное небо детства. На остриях штыков заиграли солнечные искры, табачные дымки покачивались между колосьями.

Вернулись разведчики и доложили, что в роще вражеская конница. Вострецов скомандовал к бою, и все встрепенулось, и все пришло в движение. Застучали замки орудий, зазвякали пулеметные ленты, металлические звуки усиливали общее беспокойство. От полевой тишины не осталось и следа, лишь одно небо было по-прежнему сине и безмятежно.

Вострецов по опыту знал — кавалерия хороша для преследования. Но гражданская война создавала самые неожиданные комбинации, и в самой их неожиданности таилась жестокая сила.

Конная группа белых выплеснулась из рощи. Рослые всадники скакали на рослых лошадях, тяжелые и зловещие, несмотря на опереточное свое одеяние. Были они, как александровских времен гусары, в желтых расшитых доломанах, красных штанах с золототкаными лампасами. Это показалось бы смешным в иное время, при других обстоятельствах, но в жгучие минуты ожидания становилось жутковато при виде скачущих всадников.

Визжали выдергиваемые из ножен шашки.

По короткой команде Вострецова заработали пулеметы. Конная лава сразу распалась на части. Лошади срезались пулеметными очередями, подрывались гранатами. Выбрасывая всадников из седел, они вбегали в загорающуюся пшеницу и ржали безумно, отчаянно.

Покачивались черные грибы разрывов, пшеничное поле горело уже во всех концах. Все опять стало нереальным в степном мареве. Красноармейцы потемнели от гари. Вострецов поглядывал на солнце; прошло всего полчаса, но казалось — бой продолжается целую вечность.

Ухо Вострецова уловило далекое, глуховатое рявканье пушек. «Стреляют справа по линии фронта»,— определил он.

Орудия заговорили и впереди. Жаркий бой разгорелся у деревни Акбашево. Атака конницы была только вступлением к сражению с самой устойчивой у Колчака Ижевской дивизией. Ижевцы выходили из березовой рощи, развертывались цепями, убыстряя шаг.

Около Вострецова пули начали стегать по земле, подсекая пшеницу.

Вострецов обжег бойцов призывом в атаку и первым сорвался с места. Он бежал вперед, бежал, не оглядываясь и все же чувствуя, как падают в желтые омуты пшеницы поднявшиеся за ним красноармейцы, и понимал, что многим уже никогда не подняться. Желание скорее сблизиться с противником, штыковым ударом остановить его, опрокинуть неудержимо влекло их вперед.

Вострецов так и не уловил мгновения, когда красноармейцы столкнулись с ижевцами, но остервенение и страх исчезли.

Юрьев впервые дрался за собственную жизнь, и это были самые трудные его минуты, высшая точка его физических и нравственных сил. Он подгонял солдат бранью, грозил отставшим маузером, клялся и божился, что вот-вот к ним подоспеет помощь. Юрьев верил в случайности, мгновенно и счастливо изменяющие условия любого боя. Но помощь не приходила, па-

ника в рядах ижевцев разрасталась. Страшась потерять всю дивизию, Юрьев приказал отступать на восток.

Мешок, приготовленный белыми для Пятой армии, так и не завязался. Но еще целую неделю отборные полки Колчака упорно стремились отбить Челябинск. Потеряв в боях десять тысяч убитыми и пленными, армия Колчака стала отходить от берегов Миасса к берегам Тобола.

Солнце играло в цветных витражах окон, влажно блестел мраморный бюст Александра Первого, уютно поскрипывали кожаные диваны. В солнечной пыли особенно никчемными казались Долгушину мужчины в черных костюмах, в генеральских мундирах; не помогали им ни многозначительно поджатые губы, ни властное выражение глаз. Правда, Долгушин угадывал на лицах многих кичливую мысль: «Вот я бы! Если бы мне бы да власть...» Кто-то из этих людей для ротмистра обозначался достаточно выпукло, кто-то стушеванно. Долгушин давно уже оценивал всех по тому, как относился к ним верховный правитель. Иногда он ошибался, обманутый переменчивыми привязанностями адмирала. Сегодня из приглашенных особенно выделял братьев Пепеляевых: Виктора — министра и Анатолия — генерала.

Пепеляевы становились самыми авторитетными людьми в окружении верховного правителя. Они были честолюбивы, энергичны, упрямы, самомнительны. Выходцы из сибирских компрадоров, они, естественно, принадлежали к партии кадетов, мечтали о конституционной монархии и о собственной власти в Сибири.

Брат-министр с помощью тайных агентов устранял не только лиц, не угодных адмиралу, но и опасных для себя противников. Брат-генерал тоже держал в страхе своих соперников в армии.

Братья внешне не походили друг на друга. Виктор был коренаст, толст, медлителен. Анатолий отличался высоким ростом, поджаростью, стремительностью походки. Генерал любил декоративную демократичность: ходил в старой солдатской шинели, ел из котелка, спал на земле, положив в изголовье седло.

Члены особого совета нетерпеливо взглядывали на стенные часы. Десять утра. Верховный правитель почему-то запаздывал.

Колчак вошел в тридцать минут одиннадцатого, взвинченный, чем-то недовольный, с оскорбленными глазами. Легким кивком головы поприветствовал всех и тотчас заговорил:

— Времена политического романтизма прошли, мы стоим теперь перед самой грубой и трезвой реальностью. Над пропастью мы стоим с той минуты, когда красные ворвались в Сибирь. Всюду у нас заговорщики, в тылу нашем мятежи, правительство блуждает в тумане — вот результат челябинского поражения...

Адмирал перевел тяжелый взгляд с лысых, пышноволосых, прилизанных голов на мраморный бюст императора, продолжал глухим, некрасивым голосом:

— А как я был уверен, что наши знамена не склонятся перед большевизмом. Увы, я ошибся...

И уже свирепо оглядел членов совета.

— Война не присяжный поверенный, господа! Война не руководствуется уложением о наказаниях, ее правосудие не всегда понятно. Она признает только победу, только удачу. Горе побежденным — вот ее символ веры. Но война прекрасна, несмотря на все страдания и горе. Я страстно хочу гибели большевизма, потому что социальная революция в России — бессмысленная вспышка классовой злобы. Но всегда мало одних желаний! Спасти Россию от большевизма, анархии и бесславия остается нашим святым и великим долгом.

Адмирал подошел к карте военных действий, постучал по синим жирным стрелам, направленным на Москву.

— История преподала нам жестокий урок под Челябинском. Но история за нас, на ее весах мы более тяжеловесны, чем красные. Везде сейчас наступают мои армии: Деникин идет на Москву с юга, Юденич стоит у ворот Петрограда. Англичане — доблестные союзники наши — крепко держат русский Север, поляки теснят большевиков. За нами необозримые просторы Сибири и Дальнего Востока, у нас боеспособная армия, она будет упорно сражаться и одерживать победы. Нам не хватает только исконно русского патриотизма, сознания ответственности перед Россией и своим будущим...

Колчак забросил руки за спину, качнулся на носках.

— Я могу быть недоволен вами, вы — мной, но всеми нами недовольно время. А время — мера успеха. Поспевающий во времени всегда побеждает. Нам нужен всего-то месяц, чтобы дождаться полной победы на всех фронтах. Но, дожидаясь побед на западе, нужно дать красным сражение на востоке. Я объявляю новую мобилизацию, укреплю тыл, обновлю командование. Табуны бездельников с погонами и без погон пасутся по теплым местечкам — я погоню их на фронт. Генерал Дитерихс проповедует идею мусульманских священных дружин, добровольческих земских ратей. Где ваши дружины, где ваши рати?.. Создавайте их из кого угодно — из татар, бурят, киргизов,— пусть только они защищают свой скот и своих жен от красных.

Колчак вернулся к столу, нашел среди бумаг пергаментные, расписанные пышными арабскими буквами листы. Шелковые шнуры придерживали прикрепленные к листам сургучные печати.

— Я ищу новых союзников и не сомневаюсь, вы, господа, одобрите эти грамоты эмиру бухарскому, хану хивинскому. Я посылаю к ним князя Голицына и генерала Рычкова — пусть азиаты дадут мне солдат. Я возвожу эмира в ранг русского

принца, хану присваиваю чин русского генерала. Вы скажете: пока послы доберутся до Бухары, война кончится, или мы победим красных, или они нас,— так стоит ли связывать себя дипломатическими договорами? Но договоры заключают иногда и не исполняют, все зависит от обстоятельств. Еще я посылаю на Украину ответственное лицо для формирования особой дивизии из находящихся там сибиряков. Она будет пробиваться в Сибирь через Кавказ и Туркестан. Отныне военно-полевые суды руководствуются моим указанием: если арестовано сто подозреваемых в большевизме, десять расстреливается немедленно. Расстрелы без суда расшатывают закон, зато укрепляют мою власть.

Он так пристукнул по столу кулаком, что прозвенел серебряный колокольчик.

— Сто тысяч союзных войск находятся в Сибири. Пришли, казалось бы, помогать мне, но благодушествуют в тылу. Поляки стоят в Новониколаевске, итальянцы столпились в Красноярске, американцы любуются Байкалом, чехи расположились в поездах от берегов Оби до Ангары. Одним словом, союзники охраняют нас сзади, никто не бережет нас спереди...

Колчак коротко усмехнулся, обнажая белые плотные зубы.

— Союзников не радуют общерусские радости, не печалит общерусское горе. Американцы убеждены — русский порядок не стоит костей и одного их солдата. Чехи — эти перманентные заговорщики — вступают в тайные отношения с моими врагами. А французы говорят: «Колчак — хороший человек, но если найдется человек получше, то будет еще лучше». Одни англичане мои добрые друзья, но их здесь слишком мало. Посоветуйтесь, господа, и дайте мне рекомендации, что еще можно сделать для быстрой победы. Господин Пепеляев, прошу вас ко мне. — Адмирал повернулся и вышел, хлопнув массивной дверью.

В кабинете он сказал Пепеляеву:

— Хочу заменить Вологодского.

— Кем же, ваше превосходительство?

— Вами, Виктор Николаевич. Я не могу опираться на дряхлые пни, мне нужны молодые силы. Молодежь всегда против тех правителей, которые ограничивают ее порывы к государственной деятельности.

— Благодарю за честь,— сказал Пепеляев-министр,— но пока не время убирать Петра Васильевича с поста премьер-министра. Вас обвинят в реакционности: выгнали, дескать, последнего либерала. Пусть Вологодский еще побудет.

— Все равно пустой мешок не заставишь стоять.

— Советую убрать из правительства лиц, виновных в коррупции: министра финансов — вора и подлеца, министра иностранных дел — он предаст нас в удобную для него минуту. Избавьтесь от военного министра. Проклятый барон Будберг

действует всем на нервы,— сказал Пепеляев, улыбаясь складками широкого лица.

— Барон желчный старик, но старик толковый. Я почему-то боюсь его ухода,— сказал Колчак.— Судьба обидела белое движение деятелями крупного государственного размаха, у меня нет работников по плечу историческим временам. Что-то нехорошее колышется в сибирском воздухе, политическая атмосфера смрадна, язык военных действий безрадостен. Скоро год, как я верховный правитель, а союзники еще не признали меня. Сейчас только победа заставит их склонить голову передо мной.

— Но союзники нам помогают оружием.

— Я плачу им за это чистым золотом. — Колчак достал из кармана массивный портсигар. Закурил. Предложил курить Пепеляеву.— Табак успокаивает нервы, возбуждая их. Парадоксально! Ах, все теперь опирается на парадоксы!

Вошел Долгушин с папкой бумаг.

— Что там, в папке? Очередная неприятность? — покосился на папку верховный правитель.

— Письмо из Кокчетава. Какой-то киргизский князек Бурумбай предлагает вашему превосходительству тысячу всадников при полном вооружении. Он просит прислать офицера, которому передаст своих воинов. Князек желает, чтобы посланец был вашим особо доверенным лицом,— доложил Долгушин.

— У меня нет таких офицеров. Остались паркетные шаркуны.— Адмирал кинул письмо на стол.

— Письмо этого туземца пришло кстати и вовремя,— встрепенулся Пепеляев.— Оно свидетельствует о всеобщем доверии к верховному правителю. Это письмо — козырь в наших отношениях с союзниками. Великолепное письмо!

— Все равно мне некого послать в Кокчетав,— заупрямился адмирал.

— Пошлите ротмистра Долгушина,— посоветовал Пепеляев.

12

Долгушин все махал фуражкой, хотя пароход уже скрылся за иртышским мостом. С отъездом князя Голицына в Бухару оборвались последние родственные нити, отныне ротмистр один встречал переменчивые ветры судьбы. Правда, он не испытывал радости от мужской дружбы, но события последних двух лет прочно связали его и с дядей и с генералом Рычковым.

«Уехали — и, может, безвозвратно — мои генералы». Долгушин представил себе длинный, опасный их путь.

Ехать надо пароходом до Семипалатинска, дальше на лошадях по киргизской степи. Потом через голубое Семиречье, мимо Верного, Пишпека, через горные перевалы Тянь-Шаня, минуя древний город Алиуэ-Ату, на Ташкент, на Самарканд.

А на пути красные партизаны, басмачи, незамиренные еще с прошлого века кокандцы.

На улицах Омска толпились коляски, тарантасы, телеги, американские автомобили, в потоке экипажей и машин с равнодушным величием шагали верблюды.

Долгушин слышал чешскую, английскую, французскую, польскую речь, видел иностранцев, высокомерных, словно русские аристократы. Шли женщины под розовыми и синими зонтиками, мужчины в полосатых костюмах, шляпах из панамской соломки.

Его охватила злоба к этой фланирующей массе праздного люда. Эти сытые, хорошо одетые господа каждую минуту могут сорваться на безоглядный бег. Побегут, как только почувствуют колеблющуюся почву под ногами адмирала.

Долгушин дошел до кабака «Летучая мышь», двери оказались заперты амбарным замком. Это уже было неожиданностью.

— Добрый вечер, ротмистр.— Георгий Маслов, чуть-чуть навеселе, подошел к Долгушину. За ним появился Антон Сорокин.

— Здравствуй, друг! — обрадовался поэту Долгушин.— Почему закрыт кабачок?

— Ресторатор укатил во Владивосток. Скоро все навозники окажутся на Тихом океане,— сказал Сорокин.

— Шли в кабачок попить винца, поболтать о том о сем — и вот сюрпризец,— сказал сожалеюще Маслов.

— Я тоже хотел скоротать время до отхода поезда. Увы! — развел руками Долгушин.

— Идемте ко мне. Есть у меня бутылка спирта,— предложил Маслов.

Он жил в узкой, продолговатой, как гроб, комнате. Деревянная кровать прикрыта рыжим одеялом из верблюжьей шерсти, единственное окошко — газеткой «Заря», в которой Маслов сотрудничал. На подоконнике валялись писчая бумага, селедка, черствые корки, номер литературно-художественного журнала «Сибирские рассветы». В углу стоял высокий зеленый сундук.

Сорокин постучал кулаком по его крышке.

— Отличное сооружение! Хорош и как двуспальная кровать, и как стол, и как гроб. — Он присел на сундук.

Маслов поспешно сунул Сорокину стул.

— В этом саркофаге сокровища, из почтения к ним я не сажусь на сундук.

Маслов поставил на стол сервиз из розового фарфора, вылил в чайник спирт, положил на газету хлеб и селедку. Чайник, чашечки, блюдца были разрисованы японскими неприличного содержания сценками.

— Нехорошо. Похабно,— скривился Долгушин.

— Искусство неприличным не бывает,— отрезал Сорокин, глядя на ротмистра глубокими, черными, словно лесные омуты,

глазами. Прикрытые стекляшками пенсне, они казались отчужденными.

— Тогда порнография что такое?

— Порнография не искусство. Ваш брат военный умеет только гробить красоту и искусство.

— Не всякий военный — дурак и солдафон,— решил не обижаться Долгушин.

— Всякий! Люди, избравшие войну профессией, не могут понимать искусство. Иначе трудно убивать человека и его мыслящую душу,— яростно возразил Сорокин.

— Люблю принимать алкоголь из произведений искусства,— пошутил Маслов. — А на мой сервиз глаз не таращите, за него негоциант Злокозов давал тридцать тысяч царскими.

— Злокозову надобно искусство, как жеребцу подтяжки. Я сибирских разбойников знаю, по-родственному с ними знаком. Мой дед лошадиный косяк в одиннадцать тысяч голов имел,— сказал Сорокин.

— Выпьем, друзья! Питие определяет бытие,— переделал известную фразу Маслов.

— Ненавижу все же вояк,— вернулся к прежней теме Сорокин. — Если бы моя ненависть была реальной силой...

— В жизни, Антон, должно быть и прощенье,— с постной усмешкой заметил Маслов.

— Это кого же прощать-то? Убийц, палачей, тюремщиков?

— Надо же защищать Россию от врагов внешних и внутренних, — насупился Долгушин. — Нация обязана обороняться.

— А я, знаете, не принадлежу к литературным мародерам, что рисуют войну как праздник сердца. Раз, один лишь раз я написал книжку о войне «Хохот желтого дьявола...» и разослал императору германскому, микадо японскому, королю сиамскому и прочая, прочая.

— О чем же вы писали? — заинтересовался Долгушин.

— О запрещении войны как преступного деяния.

— Вам, конечно, не ответили.

— Нет, почему же? Откликнулся король Сиама. Извинялся, что не может прочесть моей книги по незнанию языка русского.

— Это же донкихотство, господин Сорокин.

— Почитаю за честь называться Дон Кихотом Сибирским,— просиял стеклышками пенсне Сорокин. — Только я Дон Кихот наоборот. Если Дон Кихот ветряные мельницы принимал за великанов, то я великанов современной политики принимаю за ветряные мельницы...

— Браво, браво!

— Жаль, что это сказал не я,— заметил Маслов.

— Не я тоже, а Генрих Гейне. Никак не могу понять: почему нехорошо быть плагиатором? Литературные воры способствуют популярности истинных поэтов. У рифмачей бездарных никто ничего не ворует.

— Пока есть преступники посолиднее, — хмуро возразил Долгушин.

Сорокин посмотрел на карманные, из вороненой стали, часы.

— Когда вам на вокзал?

— К часу ночи.

— Сейчас всего половина десятого. Вы бывали в Кокчетаве?

— Никогда в жизни.

— Там кочует мой приятель — манап Бурумбай.

— Так я к нему и еду! — Долгушин хотел было сказать о мотивах поездки, но, пораздумав, воздержался.

— Эту жирную скотину Бурумбая знаю хорошо. Кочует он в урочище Боровом, в ста верстах от Кокчетава. Местечко Боровое — яркое свидетельство того, что бог при сотворении мира был великим поэтом.

— У миллионера Злокозова в Боровом дача. Он там отдыхает с княгиней Еленой Сергеевной. Ты будешь в обществе великосветской дамы, Сергей,— опять заговорил Маслов.— Выжми из нее все, что можно.

— Даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что она имеет,— отшутился Долгушин.

— Антон, брат мой по поэзии, вот этот самый ротмистр,— показал на Долгушина Маслов,— в Екатеринбурге вел следствие по делу об убийстве государя императора. Для исторического писателя — он клад всевозможных интересных подробностей.

— В истории меня интересуют только поэты и поэтессы. Девками даже царского происхождения не интересуюсь.

— А может быть, он знает пикантные случаи из жизни царских дочерей,— рассмеялся Маслов.

— В тобольской ссылке у них любовных похождений не было.

— Кто знает, что у них было и чего не было,— не отставал от ротмистра Маслов.

— Белья не было. Я даже в протокол допроса занес этот прискорбный факт.

— Все это мелко и неинтересно,— сказал Сорокин.

— Царевна Ольга писала стихи. Это интересно? — спросил Долгушин.

— Хорошие стихи или дрянь? — спросил Сорокин.

— Я плохой ценитель поэзии. Помню отрывок одного стихотворения.

— Читайте!

Долгушин прочел равнодушно и вяло:

Владыка мира, бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.

— Не баские стишки,— дослушав, раздул редкие, китайские усики Сорокин. — Форма дерьмовая, содержание тоже. Кощунственна сентиментальность палачей...

— Я попросил бы, когда речь идет о членах царской фамилии...— вспыхнул Долгушин

— Все они сукины дети! Все эти императоры, диктаторы! Восхвалять диктаторов можно, обелять их невозможно! А ведь наше подлое, дряблое, безвольное поколение надеется с помощью палачества удержаться у власти, — прорычал Сорокин.

— Философ Сенека когда-то изрек: «Сегодня тиран душит отдельные личности, завтра — целые народы»,— пробормотал Маслов.

Долгушин подумал о Колчаке: постоянное общение с верховным правителем давало обильную пищу для размышлений. Ведь вот на его глазах адмирал, неврастеничный, помешанный на своей исключительности человек, достиг самой высшей власти. Теперь он живет тоскливой, всего опасающейся жизнью, не верит никому, презирает всех, боится каждого. А своих личных врагов считает врагами отечества. Все его наслаждение в том, что он зажал в кулак миллионы человеческих судеб. Он убежден, что лучше народа знает, какая жизнь нужна народу, и постоянно призывает надеяться на будущее, а людям мало одних надежд. Им еще нужны мир, хлеб, счастье. Пока что верховный правитель принес людям только горе да беды. Он стал исторической личностью благодаря гигантскому злу, учиненному им в России. «И все же я буду служить ему, поскольку он воплощает идею русского монархизма», — сказал сам себе Долгушин.

Маслов же распахнул свой сундук, извлек маленькую статуэтку.

— Знаете, что это такое? Статуэтка египетской царицы, она черт знает сколько веков пролежала в пирамиде, а теперь у меня в сундуке. Забавно? В моем саркофаге есть еще кое-какие игрушки. Я вам сейчас покажу, покажу...

В пьяном восторге он вынимал из сундука редкостные вещи. Сорокин и Долгушин с удивлением смотрели на кинжал дамасской стали с рукояткой из червленого серебра, на золотую табакерку с эмалевым портретом Екатерины Второй, на резные шкатулки сандалового, красного дерева, на модель парусной шхуны, выточенной из моржового, словно спрессованный снег, бивня.

Маслов начал выкидывать кресты, медали, ордена, старинные монеты. Зарябили в глазах чеканные профили императоров, двуглавые орлы, львы с поднятыми лапами, изогнутые полумесяцы, цветущие лотосы.

— Откуда все это у тебя? — спросил пораженный Долгушин.

— Государственный русский запас ограбил. Не веришь?

Ну, хоть на этом спасибо! — Маслов выцедил из чайника остатки спирта. Выпил. — Все это передала мне Елена Сергеевна. Вот в этой самой комнатушке она ласкала меня два дня. Что, ротмистр, снова не веришь? Фантазирую, скажешь, ибо поэт... Я люблю госпожу Тимиреву, а забавляюсь с княгиней, но и она, и она ушла от меня к Злокозову...

Маслов поднял на окно блуждающие, тоскливые глаза. В окне стояла молодая луна, разделенная переплетом рамы на четыре равных части. Маслов выпрямился, ткнул пальцем в рассеченную луну.

— Стишки у царевны Ольги действительно дрянь. В них нет философской мысли. По мне — уж лучше философия безнадежности, распада, но не совершенная пустота. Сочинять покоровьи бездумно... избави бог!

Маслов скрестил на груди руки с видом обреченного демона.

— Вот моя философия, милые господа. Солнце погаснет, земля остынет. И не будет ни людей, ни страстей, ни войн, ни искусств, ничего, кроме оранжевых пауков, на всей планете.

Сорокин вскочил, опрокинул стул.

— Врешь ты! Солнце не погаснет, земля не остынет, люди не вымрут. Издохнут гады, скорпионы, пауки, а человечество будет жить. Ты и сам сейчас похож на отвратительного паука, Маслов!

Ротмистру пришлось тушить ссору. Он погасил ее словами:

— Мне пора на вокзал, господа.

13

Долгушин проснулся от свежести, легкости, приятного ощущения во всем теле. Сквозь камышовые щиты сочился солнечный свет, под ухом баритонально гудел шершень, где-то рядом внятно произносила чечевичка: «Извините, вирр! Извините, вирр!»

Утренние извинения пичужки окончательно пробудили ротмистра.

«Где я нахожусь?.. Ах, я же в урочище Боровом, на даче Злокозова!»

Целых два дня тащился он товарно-пассажирским до Петропавловска. Дальше поезд не шел: на железной дороге хозяйничали партизаны, наводя страх на гарнизоны колчаковцев.

В Петропавловске Долгушину дали конный конвой, в сопровождении казаков он отправился в Боровое. Ночь застала его на берегу озера: была совершеннейшая темнота, Долгушин не видел своей руки, слышал же только шум сосен да плеск воды.

К даче Злокозова добрались за полночь. Хозяина дома не оказалось, Долгушина принял слуга. Он сказал, что коммерсант

находится в Петропавловске, вернется неизвестно когда. На даче одна княгиня Елена Сергеевна.

— Мадам сейчас почивает...

С давно утраченным чувством наслаждения ротмистр нежился в чистой постели, потом решительно спрыгнул с кровати, приподнял штору.

Окно вспыхнуло сапфировым блеском воды. Озеро Боровое было как гигантский сверкающий шар в каменной чаще котловины, на восточном берегу его вставали округлые, мягкие вершины сопок в зеленом каракуле сосновых боров. К югу сопки сдвигались в сплошную темную стену, на севере, беспорядочно толпясь, таяли в льющейся дымке. Западная часть скрывалась высоким обрывом.

А из озера поднимались отвесные пики, двойные столбы, причудливые скалы, напоминающие первобытных зверей, птиц, таинственные фигуры. Размеры их скрадывались расстоянием.

С горы, на которой стояла дача, спускались все те же сосны и причудливо изогнутые березы. Деревья казались откованными из позеленевшей меди, высеченными из цельного мрамора. Под окном лежала плоская гранитная плита, между стволами виднелись валуны, поросшие мхом. Все было причудливо, дико, поражало мощной красотой.

Долгушин втянул ноздрями настоянный на сосновой смоле, пахнущий прощальным августовским теплом воздух. Вереск кидал резные тени на гранит. Белочка подскочила к подоконнику; Долгушин протянул руку, она вскарабкалась на рукав, доверчивая, как ребенок.

— Мадам ждет вас к завтраку,— сказал неслышно вошедший слуга.

Елена Сергеевна встретила ротмистра как давнего товарища, улыбка ее была сердечной, немного нежной, слегка беззащитной. Она словно просила о сочувствии, о честном мужском покровительстве.

Долгушин поцеловал бледную, с синими прожилками ручку, скосился на высокую грудь, облитую белым шелком платья. Вспомнил, что княгиня любовница поэта Маслова, теперь содержанка фабриканта Злокозова, но усомнился и откинул свою мысль как лживую. Конечно же она не любовница Маслова, а здесь случайная гостья.

Осторожно, опасаясь попасть впросак, он передал привет от Маслова.

— Благодарю, он мой приятель. Я его помню,— просто ответила Елена Сергеевна. — Он славный поэт, но слишком чувствительный мужчина. Впрочем, это недостаток каждого стихотворца. — Тряхнула густыми, кудрявыми волосами. — Маслов иногда примешивает к своим стихам политику, а это уж вовсе непристойно.

— Ныне некуда деться от политики, мадам. Две революции и братоубийственная война научили политике даже самых очаровательных женщин.

Елена Сергеевна налила черный кофе, протянула чашечку ротмистру. В глазах ее, зеленых и тинистых, промелькнула усмешка.

— Политика и война погубили империю, династию, аристократическое общество. Ах, я хорошо помню рождение революции! Было двадцать четвертое февраля, когда на улицах Петрограда появилось красное знамя. Чернь призывала к свержению монархии...

— Вот вы и произнесли целую политическую тираду,— рассмеялся Долгушин.

— Если бы государь возвратился тогда с фронта, сел на белую лошадь и произвел бы торжественный въезд в столицу, революции бы не случилось. Народ, в сущности, добрый малый, но его величество не успокоил бунтующую чернь. И все пошло кув... кувырком,— запнулась она на трудном для нее слове.

— Ваше свидетельство о начале революции имеет большую ценность,— слукавил Долгушин.

— Вы что, вправду? Так вот, когда начался весь этот ужас, я была в гостях. Вдруг на улице выстрелы, крики. Я представила в пламени наш дворец, расхищенными наши коллекции и заплакала. Но дворец оказался нетронутым, коллекции целыми. И все же наша семья стала первой жертвой революции. Вначале исчез автомобиль — его конфисковали для Керенского...

Она закусила нижнюю губку.

— Керенский поселился в Зимнем дворце, спал на царской кровати, ел из династических тарелок. Мы жутко возненавидели его и, представьте, даже желали захвата власти Лениным. Ведь мы были уверены — большевики сломят себе шею на другой же день. Но вот уже второй год на исходе, а не видно конца...

— Что же с вами случилось после?— сочувственно спросил Долгушин.

— Мама и я жили в Царском Селе под арестом. Я навещала государыню, мое сердце разрывалось от печали. Офицеры охраны хорошо относились к нам. В присутствии солдат они были осторожны, бесстрастны, но без них целовали нам руки, клялись в своей преданности. Я ненавидела Керенского, но боялась Савинкова. Конечно, Распутин тяжелый крест нашей династии, но его ценила государыня.

Она посмотрела на Долгушина, их взгляды встретились и сказали друг другу больше, чем тысяча слов. Она продолжала механически говорить о Распутине, но уже думала, как деликатнее подготовиться к своему грехопадению.

— Я как наяву вижу государыню, стоявшую на коленях

перед гробом Распутина в Чесменской часовне. Что ни говорите, но Распутин был странным существом. Это существо прошло через все четыре стихии — воду, землю, огонь, воздух,— вздохнула Елена Сергеевна.

— Простите, я не понял вас.

— Застрелянного Распутина бросили в прорубь, потом предали земле. После революции тело его вырыли и сожгли, а пепел развеяли по ветру. Разве это не мистические превращения? Через все стихии прошло существо, именуемое старцем Григорием.

— Неужели вы не испытываете к нему ненависти? — поразился Долгушин.

— Что вы! Нет. Я сердилась только, когда брата хотели сослать на персидскую границу. Но мама написала прошение на высочайшее имя. Государь сперва наложил резолюцию: «Никто не имеет права убивать», потом помиловал брата.

Она поднялась из-за стола, тонкая, гибкая, соблазнительная.

— Что-то я разоткровенничалась. Такое со мной случается редко. Даже с Василием Спиридоновичем не говорю так откровенно...

— Кто это Василий Спиридонович?

— Да месье Злокозов же! — В ее голосе прозвучали пренебрежение к коммерсанту, досада на недогадливость Долгушина. — Он славный, он добрый, но все-таки торгаш. Ради каких-то барышей оставил меня и умчался в Петропавловск. А я скучаю, а мне страшно.

Долгушину расхотелось отправляться к хану Бурумбаю. Она же, угадав его мысль, сказала:

— Боровое чудное место, но я живу здесь словно в пустыне. Сюда приезжал киргизский хан — восемь пудов мяса и жира, с физиономией длинной и толстой, как дыня. Он целый день пил, ел, пил, ел и рассказывал скучнейшие истории. Но одна историйка премилая — это о том, как аллах создал Боровое.

Елена Сергеевна провела Долгушина на террасу, они сошли в высокую траву. Между березами сновали крупные, голубые с красными точками на крылышках бабочки.

— У вас неотложные дела к Бурумбаю? — спросила она, пригибая березовую ветку и закрываясь листьями.

Ее лицо умело моментально менять свое выражение; недовольство смывалось детским изумлением, строгость — игривостью, радость — робкой печалью. Эту непрерывную смену выражений Долгушин ловил с почтительной улыбкой.

— Бурумбай подождет, манапов я еще встречу, а таких, как вы,— никогда,— ответил он, наклоняя голову.

Ему хотелось привлечь ее и целовать теплые щеки, тяжелые, курчавые волосы, властные губы. Он онемел от напряженного желания, только сердце билось учащенно и гулко.

— Как же аллах создавал Боровое? — напомнил он, сдерживая себя.

— Прежде я покажу его. — Она пошла к озеру, светившемуся из кустов голубым ровным пламенем.

Тропка вывела к высокой скале. Блинообразные гранитные плиты были сложены одна на другую, верх скалы венчал причудливый, похожий на зверя камень.

— Это скала Медведь.

— Больше смахивает на бегемота. — Долгушин подивился прихотливой выдумке природы.

Она с легкостью взбежала на скалу.

— Идите ко мне. Здесь находится точка, с которой надо созерцать Боровое.

В западной, ранее невидимой стороне вставала темная от густой синевы гора, похожая на гигантскую пирамиду. Слоистое облачко трепетало над ней.

— Гора зовется Синюхой,— объяснила Елена Сергеевна.

Будто наложенный на грудь Синюхи, четко рисовался отвесный голый пик, похожий на застывший в воздухе водопад.

— А это Ок-Жетпес, по-русски — Стрела не долетит. Поэтично, правда? — Елена Сергеевна провела рукой линию от вершины Ок-Жетпеса к поверхности озера, где прямо из глубины вставала новая, еще более причудливая скала.

Бесконечно долго работала природа, чтобы выточить из громадной скалы фигуру сфинкса. Долгушин видел тот же непреклонный поворот головы, те же загадочные каменные глаза, ту же могучую грудь, что и у сфинкса египетского.

— Я покажу вам Боровое еще с одной точки. Идемте!

Они поднимались в гору, пока не вошли под зеленые своды бора. Сухая земля пахла перепрелой хвоей и грибами; здесь легко и вкусно дышалось.

Гора становилась все круче, сосны сбегали в ущелья, висли на обрывах, раскалывая гранит, а горизонт развертывался облаками боров, слюдяным светом озер, новыми вершинами. За ними угадывалась киргизская степь, но была она далекой, как блеклое августовское небо.

Гора стала ребристым гребнем, они вышли на маленькую площадку. К самому ее краю прицепились две сосенки и пошумливали, будто зеленые знамена. Под ногами была пропасть, справа мерцало Боровое, слева изогнутым сизым луком расстилалось Большое Чебачье. Тонкий перешеек разделял озера, над ними царствовала Синюха.

— Эти озера словно глаза земли,— мечтательно сказал Долгушин.

Елена Сергеевна присела на край плиты, спустила под обрыв ноги.

— Осторожней, умоляю вас...

— Здесь слишком прекрасно, чтобы пугаться. Разве вы стра-

шитесь красоты? — Она опять кинула на него обещающий взгляд. «Я красива, но добра, я буду благодарна вам за счастливый день».

Долгушин опустился рядом.

— Вот еще точка, с которой следует осматривать Боровое. Взгляните на эту плоскую, длинную гору рядом с Синюхой. Ее называют Спящим витязем. Вон голова в шлеме, вон брови, нос, а вот ноги, согнутые в коленях. А это гора Верблюд с рыжими своими горбами, еще дальше — Мамонт, вон его могучий хобот, ноги, хвост,— водила она рукой по линии горизонта.

Долгушин только успевал поворачивать голову; восхищение необычностью Борового все росло. Этот затерянный в степи горный, лесной, озерный мир походил на детскую сказку, не имеющую грустного окончания.

— Сотворив землю, небо, людей, аллах залюбовался делом рук своих. Вдруг он заметил недовольного человека в бешмете,— говорила Елена Сергеевна. — «Почему ты сердишься?» — спросил аллах. «Я еще не совершил ничего дурного, а ты уже обидел меня. Разве киргиз — худший из твоих детей? Ты дал мне степь в кипчаке и саксауле. Укрась хоть немножко землю киргизов». — «У меня уже ничего не осталось»,— ответил аллах, вывертывая карманы своего халата. Из кармана посыпались на степь крохи, оставшиеся от сотворения мира. Так возникло Боровое.

— Прелестно! — восхитился Долгушин, посмотрел под ноги и отвернулся: горные вершины, сосновые боры, голубые озера закружились медленной цветной каруселью.

Все вокруг было необычно, свежо, все настраивало на радостный лад, но сердце Долгушина сжала тоска. Ему бы наслаждаться жизнью, любовью, а он воюет. «Я один из тех, кто раздувает пожар. Где же мне черпать уверенность для победы?»

— Что-то вы загрустили,— сказала Елена Сергеевна и отступила от края бездны. — Почему мы живем в такое злосчастное время?

Они сошли в сосновые боры, дышащие сухим, смолистым покоем.

— Мужчины могут воевать целый век, но главное в жизни все-таки любовь. — Она протянула к Долгушину обе руки. — Женщины будут заниматься любовью даже в мире, оккупированном политикой и войной.

Тогда он обнял ее.

14

Небо дышало зноем, воздух потерял ясноту, переливалось марево, смазывая синие окружности вершин, сверкали солью такыры. Камни потрескивали и щелкали.

«Солнце заставляет кричать даже камни пустыни»,— вспомнил Долгушин азиатскую поговорку. Прикоснулся к седлу, украшенному серебряными бляшками, и отдернул руку — металл опалил ладонь.

Пока ротмистр наслаждался краткосрочной любовью с Еленой Сергеевной, манап Бурумбай откочевал на границу степной зоны.

Долгушин думал добраться до Бурумбая часа за три, но непредвиденное обстоятельство задержало его. На перешейке между Большим и Малым горькими озерами навстречу ему текли овечьи отары. Овцы шли курчавым белым потоком, сопровождаемые бородатыми козлами. Хрупкий перестук копыт, блеяние, плач ягнят оглушили Долгушина. Он остановился, пережидая проход отар. Но после овец пошли караваны верблюдов, табуны кобылиц, стада ишаков. Верблюжий стон, ишачий рев, лошадиное ржание, собачий лай густо текли над степью: Долгушин ошалело вертелся в седле, дергал поводья, но нельзя было трогаться с места.

— Экая прорва скота — и все Бурумбаев. Счета скоту не знает, азиатец проклятый,— выругался сопровождающий казак. — Большевики давно бы его порушили, а скот джетакам раздали бы.

— Кто такие джетаки?

— Вроде батраков, по-нашенски.

На закате Долгушин подъезжал к джейляу Бурумбая. Появились всадники в малахаях, женщины, закутанные до бровей.

— Я хочу видеть манапа Бурумбая,— обратился Долгушин к безбровому старцу.

Старик молча показал на юрту, но кто-то уже приподнял ковер над ее входом. Из юрты вышел толстый молодой человек.

— Рад видеть вас на своей земле,— правильно выговаривая русские слова, сказал Бурумбай. — Весть о вашем приезде, подобно беркуту, летит по нашей степи.

В юрте, усевшись на кошму, Долгушин с интересом посматривал на незнакомую обстановку. Самаркандские ковры цвели причудливыми узорами, атласные подушки возвышались пирамидами по окружности юрты, между ними стояли в бронзовых, в серебряных обручах сундуки. Высокие кумганы с тонкими горлышками толпились на сундуках, медными лунами мерцали тазы. Юрта тонула в засасывающей тишине кошм, ковров, паласов. В центре ее сидел Бурумбай, похожий на пестрого жирного фазана.

Женщины поставили низенький столик с угощениями: тут были баурсаки, жаренные в бараньем сале, зеленоватая кислая брынза, чарджуйская вяленая дыня, манкентский засахаренный миндаль, пропитанные водкой арбузы из Ак-Мечети,

душистые яблоки из горных садов Талгара. В бурдюке бродил кумыс из молока кокчетавских кобылиц.

— Хорошо ли здоровье верховного правителя? — спросил Бурумбай.

Ротмистр ответил.

— Мы желаем его превосходительству здоровья и успехов в борьбе с красными...

Отхлебывая из пиалы брызжущий пенными искрами кумыс, Долгушин пытался уловить в пожеланиях манапа коварную насмешку, но Бурумбай был величаво спокоен: при огоньке оплывающей свечи медленно гасли фазаньи краски его халата.

— Верховный правитель передает свою благодарность за священный мусульманский отряд, созданный вами. Верховный правитель зовет народ степей на общую борьбу с богоотступниками. Вы читали его обращение?

— В степи пока не бывает газет.

— Все люди, независимо от цвета кожи, вероисповедания, общественного сословия, призываются помогать белой армии. К спасению России, к ее величию и славе призывает верховный правитель...

— Я не думал, что у адмирала обстоят так скверно дела,— покачал головой манап.

— Разве я говорил о плохом состоянии дел? — нахмурившись, спросил Долгушин.

— Когда всех призывают к спасению России, то дело спасателей безнадежно...

Замечание Бурумбая было ядовитым, как укус каракурта. Долгушин досадливо прикусил губы, потом сказал угрожающе:

— Несдобровать вам, если сюда придут большевики.

— Я откочую в каркаралинские степи.

— Они могут оказаться и там.

— Тогда уйду к Озеру звонящих колоколов. Туда никто не найдет дороги, кроме киргизов.

— Русские хорошо знают Нор-Зайсан, который вы называете Озером звонящих колоколов.

Черненькие, похожие на запятые усики манапа чуть пошевелились. В халате с погасшими красками, он теперь больше походил на ворона, чем на фазана.

— Но я не желаю уходить с родовых пастбищ. Посмотрите вверх...

В отверстие юрты Долгушин увидел только черный круг с крупными, словно заиндевелыми, звездами.

— Что видит высокочтимый гость?

— Ничего, кроме звезд.

— Но звезды — это же вселенная! Среди бесчисленного множества звезд люди знают только Альдебаран, Орион, Сириус, Вегу. Ну, еще с десяток их знают люди. Род человеческий я

уподобил бы звездам — то же множество людей, а помнятся Искандер Македонский, Цезарь, Христос, Магомет, Чингис.

Бурумбай выпрямился на ковре, всем своим видом спрашивая: а как думает гость?

— Чингисхан — великий человек,— льстиво ответил Долгушин.

— Весь мир трепетал при имени Чингиса,— со странным сладострастием произнес Бурумбай. Узенькие глазки его излучали вкрадчивость, но в них жила и напряженная энергия.— Но и великие имена гаснут, как звезды. Умирают не только люди, умирают боги, а смерть богов — конец мира.

Второй раз за неделю слышал ротмистр слова о гибели мира. «Русский поэт и киргизский бай рассуждают о распаде вселенной. Вот печальные последствия войн — они убивают веру в бессмертие».

— Простые люди живут недолго, память о них исчезает, словно одинокая искра. Годы, отпущенные аллахом, я хочу прожить спокойно. Аллах наградил меня богатством, неужели я уступлю его джетаку? Если так, я недостоин милостей аллаха. Но я правоверный мусульманин и не поступлю против Корана. Каждая строчка Корана для меня священна,— сказал Бурумбай.

— Есть и другие священные книги,— не вытерпел Долгушин.

— Нет равных Корану. Если все книги противоречат Корану, они вредны, их надо сжечь; но если все книги повторяют Коран, то они тоже не нужны, их надо сжечь,— так гласит наша пословица.— Бурумбай перешел на сердечный, доверительный шепот: — Большевики подходят к моим кочевьям, я уже слышу дыхание их коней. Знает ли верховный правитель, что люди черной кости за большевиков? Русские и киргизы — нищие жители степей — говорят: «Пусть приходят красные. Может, они не станут разбойничать, как белые».

— Откуда вам известно это?

— О чем шепчутся джетаки, я знаю. О недовольстве мужиков мне рассказывают русские купцы. У меня много друзей среди русских аксакалов. Господин Злокозов мой старый приятель.

Долгушин вспомнил Антона Сорокина, спросил о нем, Бурумбай прикрыл жирные веки.

— Он скототорговец?

— Поэт он.

— Я кормлю только тех поэтов, которые славят меня.

Потрескивала догорающая свеча, из глубины ночи накатывалась тоскливая и бесконечная, как степь, песня.

— Войска адмирала грабят жителей Сибири, отбирают скот, отравляют источники, вырубают сады,— пожаловался Бурумбай.

— Есть приказ адмирала, запрещающий беззаконие.

Со скорбным выражением манап сообщил, что такой приказ был вывешен на дверях дома, в котором жил командир местного гарнизона. За неуважение к военной власти командир выпорол председателя земской управы.

— Не может быть! Не может быть! — вскрикивал Долгушин, не сомневаясь в правдивости манапа. Чтобы оправдать адмирала, он заговорил о ходе войны: — Отступающие армии особенно ожесточаются. Но мы теперь прочно зацепились за берег Тобола. В сентябре наши войска перейдут в контрнаступление, я уверен — оно будет победоносным. — И с хорошо разыгранным удивлением Долгушин спросил: — Если не верите в нашу победу, почему же вы нам помогаете?

— Может, мне помогать красным, чтоб они поскорее отобрали мое добро? — рассмеялся Бурумбай. — Вы устали, высокочтимый гость мой...

Утром Бурумбай устроил смотр своим воинам.

Всадники двигались мимо Долгушина и Бурумбая, над ними клубилось зеленое знамя с белым полумесяцем. Бурумбай сказал:

— Вот знамя священной войны правоверных. Я, манап Бурумбай, роду которого покровительствовал Егедей, внук Чингиса, поднимаю это знамя.

Степные джигиты были одеты в английские светло-зеленые мундиры. У каждого за плечом подпрыгивал короткоствольный «ремингтон»; в конских гривах трепыхались цветные ленты, седла взблескивали медными мгами.

Потом прошли повозки с легкими полевыми орудиями, пулеметами «гочкис» и «виккерс». Поднимая пыльные тучи, двинулись овечьи отары, лошадиные табуны, верблюжьи стада. Верблюды были нагружены куржумами с брынзой, сушеным мясом, войлоком и кошмами для кибиток.

— Война много ест. Я могу накормить мясом не только своих джигитов, но и английских, французских солдат, состоящих на службе адмирала,— самодовольно говорил Бурумбай.

Приняв команду над бурумбаевским отрядом, Долгушин довел его до Кокчетава. Здесь ротмистра ждала телеграмма: верховный правитель требовал его немедленного возвращения.

Долгушин вернулся в Омск, и город показался ему осажденным лагерем. Над Иртышом проносились американские гидропланы, пугая обывателей треском моторов. В пригородных рощах беженцы раскинули биваки: всюду горели костры, бродили бездомные, прося подаяния. В Казачьем соборе с утра до утра шли молебствия; в городе было пять бежавших архиепископов, их богослужения казались особенно торжественными и тревожными. Долгушин заметил на улицах военных с большими белыми, нашитыми на грудь крестами. Это были воины земских ратей, созданных генералом Дитерихсом. Маршировали дружины мусульман со знаменами священной войны.

Наливался зноем август — коренной месяц года.

Земля не принимала войны, земля шумела поспевшими хлебами, зелеными рощами, пахла грибами, тмином, мятой. Пунцовели яблоки, мерцали желуди, похожие на коричневые пули, созревала в лесах брусника.

На узорчатых перьях папоротников гудели шмели, в березняке стонала иволга, смолистым покоем дышал вереск. В небе скользили рваные облака, их тени пробегали по неубранным полям, пыльным проселкам; небо тоже не принимало войны.

Природа восставала против смерти, разрушения, пепла, и все же война врывалась в нежную полевую тишину, оставляла за собой выжженные деревни, расстрелянные города, опустошенные заводы. Жизнь морщилась, сникала от ее смертоносного запаха.

Печальной была и полноводная Кама, на пустынных плесах которой растянулся многоверстный караван судов. Этим караваном перебрасывалась на Волгу, против Деникина, Вторая армия красных.

В дни странствия по реке Ева мельком видела Азина: терпеливо ожидала его появления, ожидание полнилось думами о нем.

«Чем больше я узнаю его, тем сильнее моя любовь. Она помогает мне переносить тяготы военной жизни. Как бы я хотела быть не только нежной, но и храброй, и чтобы Азин гордился мной! Сегодня Игнатий Парфенович сказал: «Азин великолепен, но и он имеет недостатки». — «Все имеют его недостатки, никто не имеет его достоинств»,— гордо ответила я».

Ева сидела, положив голову на перила; солнце переливалось в речных струях, всплескивалась вода за бортом. «Азин сделал меня счастливой. В своей любви он не опускается до пустяков, но и понимает важность мелочей. — Ева вздохнула: она действительно переживала счастливое состояние и страшилась его утратить. — Если бы он спросил о самом заветном моем желании, я бы ответила: ребенок; мир без любви — мир слепой злобы и драки за право быть сильным. Неужели никогда не придут времена людей любви и радости?»

Поверх озаренной воды она посмотрела на берег, примечая несущественные, но милые вещи: черемуху, засеянную ягодой, гнездо ястреба в ветвях старого дуба... Стук пароходных колес, перебранка бойцов не мешали ее покою. Ева после непрестанных походов слушала тишину, и мысли ее были тихими, мягкими, улыбчивыми.

«Он может усомниться в моих поступках, но никогда — в моей искренности. Я могу быть ветреной, но не вероломной, ему не придется выяснять и объяснять наши отношения. Я понимаю:

у него нет времени любить меня,— но в этом виновато время, не он...»

Взрыв хохота разрушил ее размышления. Ева прошла на корму, где шумно беседовали бойцы.

— Ладно, построим социялизм, а потом што?

— Потом всемирную комунию.

— А за комунией што?

— Пошел ты знаешь куда?

— Прекратить ругань! — скомандовал Дериглазов, заметив Еву.

— Если охота ругаться, материте белых. Можно при мне.

— Мы тут расспорились о случайностях жизни,— подхватил Игнатий Парфенович. — Вот Дериглазов говорит, что все зависит от случая — жизнь, смерть, счастье, беда. Даже правда и та игрушка случая.

— А что, неправда? — вскинул на Еву запавшие глаза Дериглазов.

— Какое же это счастье — зависеть от случайности? — рассмеялся Игнатий Парфенович.

— Случайного счастья нет? Самого случая не бывает? — переспросил Дериглазов. — Да я сам чудесным случаем жив остался. Чудо-то, возможно, и есть случайное счастье.

Ева понимающе кивнула головой.

— Да вот хотя бы случай со мной,— с воодушевлением продолжал Дериглазов. — Меня прошлым летом в Вятских Полянах Азин уже к стенке поставил. Если бы случайно Турчин не появился, быть бы мне на том свете,— с каким-то странным удовольствием выговорил Дериглазов. — Но счастливый случай спас, а потом татары вернули миллион рублей, и стал я Азину закадычным другом.

Звонко, со стеклянным переливом, отбили склянки. Сложив на груди руки, Дериглазов следил за пенными водоворотами. Ева оглядывала бесконечную вереницу судов, разыскивая между ними истребительный катер, на котором объезжал флотилию Азин.

— Юный вы мой гражданин! — опять заговорил Игнатий Парфенович.— Страшно, когда от слепого случая зависит жизнь человека. Меня поражает ваше легкомысленное отношение к собственной жизни.

Берега Камы темнели, пенные гребни волн светились, как снег. Из-за буксирных пароходов выскочил истребительный катер, Ева увидела Азина. Он стоял, раскачиваясь в лад бегущему суденышку; ветер вскидывал над его головой легкие пепельные волосы, трепал и отбрасывал красный шарф.

Азин взбежал по трапу на палубу, с порывистой радостью обнял Еву. Она прижалась к нему: его плечо показалось сейчас единственно надежной опорой.

Кама, запаянная сумерками, стала таинственной, в воде дрожали звезды, река смягчала их пронзительный блеск. Затяжелевшие мглою вершины деревьев, трава, полегшая от росы, небо с отблеском зелени существовали для Евы потому, что существовал Азин. Он накинул на ее плечи кожаную куртку и с любовью вглядывался в лицо, смутное, потерявшее свои строгие очертания.

Впервые любовь вошла в его сердце, и он даже не воображал, что чувство любви было таким болезненно-счастливым, все время изменяющимся, необъяснимым в своих изменениях.

Он поцеловал ее темные, продутые ночным холодком волосы, шею, онемевшую от напряжения, стал повторять глупые, однообразные, но полные значения слова:

— Я тебя люблю. Так люблю, что не могу и сказать, как...

— И я тебя люблю...

Он закрыл глаза, вслушиваясь в ее слова, в самого себя, в напряженную ночную движущуюся воду.

— Я мечтал о самых соблазнительных путях к славе. Теперь моя задача — отказываться от них,— неожиданно сказал он.

— Не говори со мной загадками.

— Любовь выше славы — вот что я хотел сказать. Жизнь моя — сплошное сражение за счастье других, успею ли я сразиться за собственное?..

Опять стала медной поверхность реки, на лугах закурились испарения, каменные голыши радужно заиграли. Первый луч проколол воду, первая чайка наткнулась на него и, словно привязанная, полетела в небо; из омутов вставали одно за другим и двигались вверх солнечные ядра.

16

В Сарапуле на пароходе появился новый пассажир.

В кителе защитного цвета, неизменной хромовой фуражке, Давид Саблин прошмыгнул на верхнюю палубу, где и столкнулся с Игнатием Парфеновичем.

— А-а, старый приятель! Выручай, друг, я без места, а еду до самой Самары. Догоняю Пятую армию, задание сверхважное, устал, измучился в дороге.

— Я в каюте не один,— смутился Игнатий Парфенович.

— Это не имеет значения, я и на полу пересплю.

В каюте Саблин кинул на крюк фуражку, расстегнул воротник кителя, выволок из недр своего портфеля бутылку спирта и закуску.

— Выпьем для радости встречи. С вином, как с врагом, не стоит церемониться...

— По каким делам в Пятую? — спросил Игнатий Парфенович, осторожно принимая стопочку из руки Саблина.

— Скверная работа, Парфеныч, чистить советские конюшни от дворянской, от буржуазной скотины, но служу революции по-солдатски. Измену, дезертирство, трусость выжигаю каленым железом, особенно трусость — матерь всех пороков. Из-за нее даже неплохие люди становятся хамами и холуями. — Саблин закинул ногу на ногу, поймал носком сапога стайку солнечных зайчиков.

— Хамы и холуи, как правило, трусы,— согласился Игнатий Парфенович.

— Пятая армия засорена всякой сволочью, необходима развернутая борьба,— продолжал Саблин с сытой, самодовольной ухмылкой. — Но я устрою славную чистку, у меня все будут тонкими, звонкими да прозрачными...

В каюту вошел Дериглазов; от его мощной, неуклюжей фигуры сразу стало тесно.

— Мой сосед,— сказал Игнатий Парфенович.

— А мы знакомы. — Дериглазов стиснул руку Саблина, тот охнул от боли. — Вы хотели меня под трибунал подвести, да Азин не дал. Но я не обижаюсь. Каждый исполняет свой долг.

— Вот разумные слова настоящего человека! Выпьем за то, что нас объединяет. — Саблин разлил спирт по стопкам.

Выпили, закусили. Разговор снова вспыхнул и заметался, как костер, в который подбросили дров. Саблин развертывал самую приятную для него тему: о гражданской войне как средстве мировой революции.

— Если хотим победить в мировом масштабе, надо пропагандировать войну. Говорить о войне самые высокие, самые святые слова. Военные термины нужно впустить в нашу речь: фронт, штурм, атака, битва пусть звучат с утра до ночи. Хвалить героев, срамить трусов — обязанность всех, а за героями дело не станет: я герой, ты герой, он герой. В прошлом году я под Симбирском эскадроном командовал. Стою в засаде со своими кавалеристами, вижу — офицеры! Враз прикинул тактический рисунок боя. Конь у меня гнедой масти, на мне черная куртка, все бойцы меня знают. Вперед — на офицерские сабли! Скачу — вихрь, лечу — вихрь, бойцы за мной — и пошли, паш-ли, паш-ли!.. Проскочил сквозь противника, повернул коня — и бац налево, бац направо, по офицерам, по офицерам! Один, второй, третий — наповал! Офицеры руки вверх — и все! Точка! Конец! Игнатий Парфенович моему рассказу не верит? Не веришь, да?

— Больно пахнет Козьмой Крючковым, что по шесть немцев на пику вздевал.

— Правда всегда неправдоподобна.— Саблин вынул из кармана вересковую трубку. — Я, Игнатий Парфенович, презираю надклассовую правду...

Саблин вообще презирал всех, никого не любил, не ценил, не уважал. Революция стала для него широким, удобным мес-

том к карьере. Каким-то особым чувством ловца удачи он догадался: пришло подходящее время. Без колебаний убирал он со своего пути препоны и соперников. Жестокость он считал совершенно необходимой в борьбе за свое место в строительстве новой России.

Пока красноармейцы, командиры, комиссары сражались, Саблин что-то комбинировал, сталкивая лбами своих противников. Со всеми он разговаривал медленно, раздумчиво, оттого всякая ерунда приобретала сумеречную многозначительность. Товарищам по работе казалось, что Саблин делает какие-то необыкновенные дела, исполняет неслыханно трудную миссию. Грозный взлет народа на гребень революции дал ему призрачную возможность казаться выше собственного роста. Бывают такие минуты, когда честолюбцы видят себя как бы со стороны. Кажется им тогда, что все им позволено, что солнце светит только для них, люди на земле существуют лишь для того, чтобы оттенять их особенную жизнь.

В этот вечер Саблин чувствовал себя на вершине жизни. Он стоял, опершись о дверь каюты, держа стопку на отлете, и говорил с многозначительными паузами:

— Политика — моя судьба. Все — в политике, ничего без нее. Есть люди, меряющие исторический процесс метром личной судьбы,— я не принадлежу к ним. Не признаю личной драмы, когда разыгрывается мировая трагедия. Кстати, Парфеныч, что ты думаешь о сильных личностях, когда-то сжимавших в своих руках целые континенты?

— То, что я думаю о них, — непристойно, но только с их точки зрения. Доискиваться до смысла их деятельности — значит совершать измену, опять же с ихней точки...

— К сожалению, в мире вывелись сильные личности. Нельзя же принимать за них Бориса Савинкова или Александра Колчака. Первого я не признаю из-за его мнимой значительности, другого — из-за явной незначительности его. С подмостков жизни сошли центурионы Рима, грубые рыцари средневековья. Героизм средневековых завоевателей сменился вежливостью паркетных шаркунов,— жирным смешком зашелся Саблин.

Спорить со следователем было небезопасно. Игнатий Парфенович давно усвоил себе простую истину: только умный и благородный человек не злоупотребляет властью.

— Можно доказывать все, что угодно, но доказывать надо талантливо. Вдохновенный оратор ведет за собой толпу и может двинуть массы на штурм дворцов, может переманить к себе противника. Может натворить такое, что запомнится на веки вечные,— продолжал Саблин.

Игнатий Парфенович смотрел в окно: вечерний блеск деревьев, движущихся оконных стекол, белых пароходных стен приобрел силу и свежесть и очаровывал душу.

Саблин и Дериглазов в куртках из черного и желтого хрома взмахивали руками, повертывали из стороны в сторону головы, оглушали друг друга словами, хлесткими как оплеухи.

— Люблю молодость, уважаю ее порывы! — восклицал Саблин. — Еще юношей я избрал девиз — нарушайте, нарушайте, нарушайте тишину стоячих вод! Революция погибнет, если бурный поток ее превратится в омут. Только одна юность способна на благородство, а благородные поступки так же редки, как и великие творения искусства. Это странно, но не парадоксально. Разве не парадокс, что жертвы иногда влюблены в своих палачей, а люди принимают тупых идолов за античных богов?

Игнатий Парфенович смотрел исподлобья на Саблина, он иногда впадал в раздражение и тогда изменялся на глазах: печальный взгляд его становился угрюмым, лицо темнело.

— Боги? Цари? Идолы? Все они умирают, часто не оставляя даже следов на страницах истории. А если и оставляют, то следы преступлений... Ты говоришь о прошлом, я думаю о будущем. О новых исторических временах. Новую русскую историю надо начинать с нуля, в этом я совершенно убежден, и ее будут творить настоящие люди.

— Кого вы разумеете под настоящими людьми? Коммунистов? — спросил Игнатий Парфенович.

— Хороший коммунист тот, кто готов умереть за свои идеалы, хороший монархист — это мертвый монархист,— ответил Саблин.

— И больше никаких оттенков?

— Если для дела пролетариата нужен негодяй, он уже хороший человек.

— В борьбе за народное счастье негодяи не могут быть помощниками. Они вызовут ненависть людей.

— Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

— Вы знаете, чьи слова повторяете? Ведь это Калигула сказал.

— Мудрые слова, возьму их на вооружение.

Игнатий Парфенович подумал: «Саблин не только паскудник, он — провокатор из принципа. Он умеет казаться, а не быть. Это и просто, и очень трудно — казаться не тем, кто ты есть. Ты не большевик — кажись им, ты не патриот — кажись им! Липовым патриотам всегда уютно среди таких идейных фанатиков, как Азин, как Пылаев. Саблины и клевещут искренне, и обманывают правдиво, с непостижимой ловкостью выдавая себя за бдительных, разящих, громящих. У таких, как Саблин, запросто станешь контрреволюционером. Эти труженики лжи неправдой оправдают любую несправедливость. Они только тем и заняты, что разжигают низменные страсти. Но откуда у Саблиных всегда возвышенный вид, словно они несут людям какие-то неслыханные откровения?»

— Здесь очень жарко, паш-ли на палубу,— встал Саблин.

Они выбрались из каюты. Караван судов приближался к камскому устью, река все расширялась, уже виднелся высокий меловой берег Волги. Вода приглушенно мерцала, разламываясь на гибкие пласты под пароходными колесами.

Облокотившись на перила, Ева любовалась Камой, ветерок раздувал полотняное платье, обнажая стройные ноги.

Саблин, ценивший в женщинах, как в лошадях, только стать, поступь, темперамент, формы, покачиваясь, направился к Еве.

— Ух ты! Люблю! Особенно красотку нагую. Нагая красотка вооружена до зубов. — Саблин кинул потную ладонь на плечо Евы.

Девушка откачнулась и влепила ему оплеуху.

— Ах ты сучка!

Игнатий Парфенович и Дериглазов схватили за руки Саблина, на шум из каюты вышел Азин.

— Что тут происходит? — спросил он недобрым голосом, узнавая Саблина.

— Почему на пароходе бабье? Кто позволил военный корабль превратить в бордель? — перешел в наступление Саблин.

— Ты полегче на поворотах...

— Снять с парохода всех бабенок!

— Какое ты имеешь право приказывать мне?

— Я следователь особого отдела. Набрал в любовницы всяких потаскушек...

Азин надвинулся на Саблина, тот стал отступать, прижимаясь боком к поручням. Так продвигались они на корму. Азин — побелевший от оскорбленной гордости, Саблин — перепугавшийся собственной храбрости,— пока не дошли до трапа. Потеряв опору, Саблин чуть было не сорвался в воду.

Подбежала Ева, взяла под локоть Азина, успокаивающе поглаживая дрожащие его пальцы. Азин остановился на носу парохода, пересекавшего полосу слияния двух рек: светлые волжские струи сходились с желтыми камскими. Светло-рыжая полоса с пенными бурунчиками была словно отчетливая черта, за которой Азина и Еву ждала новая, еще более опасная жизнь.

17

В начале сентября Колчак бросил уральскую, уфимскую, волжскую, «партизанскую» армии, а также конный казачий корпус против армии Тухачевского. Пятую армию атаковали жаждавшие победы и мести враги, по тылам ее носилась казачья конница, громя штабы, захватывая обозы.

Красные упорно цеплялись за каждый полустанок, за каждую деревню, отбивали ожесточенные атаки противника, сами нападали на колчаковцев. Фронт с утра до вечера гудел сплошным гулом орудий, всполошенными криками, месил грязные осенние тропы.

На красных частях сказалось великое утомление от предшествовавших непрерывных сражений: уже полгода не знали они ни передышки, ни отдыха. Огромные потери ослабили все полки, и Тухачевский отдал приказ отступать за Тобол.

ЧЕРЧИЛЛЬ — КОЛЧАКУ

«Успех, который увенчал усилия армий вашего превосходительства, радует меня выше всяких слов...

Я глубоко сознаю, что это было достигнуто в столь тяжелых условиях только благодаря вашему непоколебимому мужеству и твердости...»

— От имени моего короля я поздравляю вас, сэр. — Генерал Нокс улыбался своей равнодушной, надменной улыбкой.

Колчак благодарно наклонил голову: из всех поздравлений телеграмма английского военного и морского министра была самой желанной.

Они сидели у камина из черного мрамора, вспыхивало в бокалах вино, в пепельницах дымились сигары. Было тепло и покойно. Барабанивший в окна дождь, волнистые разливы на стеклах усиливали уют, и покой, и сытое сочувствие солдатам, штурмующим в эту непогоду позиции красных.

— Хорошо, сокрушив врага, выпить бокал вина,— сказал Колчак.

— Мало одержать победу, надо удержать ее, сэр. Древние были хитрее нас, они лишили богиню Нике крыльев, и победа не улетала от них,— ответил Нокс.

Небрежная болтовня доставляла удовольствие обоим.

— Не скупитесь на раздачу наград, сэр. Мелкое тщеславие скорее умрет за орденок, чем за отечество,— весело посоветовал Нокс.

— Я и так посулил каждому солдату надел сибирской земли да по пятьсот золотых червонцев. Роздал вагон георгиевских крестов, произвел в генералы целую ораву полковников.

— Как в анекдоте, сэр? «Что есть генерал-майор?» — «Генерал-майор есть выживший из ума полковник»,— отрывисто и сухо рассмеялся Нокс. — Правда ли, что вы отдаете американцам весь бассейн реки Лены в концессию?

— Совершеннейшая правда.

— А кому вы передаете права на устройство пароходных линий между русским востоком и американским западом?

— Трансаляскинской пароходной компании.

— Что же остается англичанам, сэр?

— Бесконечно много. Урал, Северный морской путь, полиметаллические руды Алтая, лесные, рыбные, хлебные угодья. Можете выбрать концессии по вкусу.

— Благодарю, сэр, но я не делец, я военный. Мысль моя, как стрелка компаса, постоянно возвращается к войне. Хорошо, что ваши армии побеждают, но Черчилль в доверительном письме просит предупредить вас. — Нокс вынул из нагрудного кармана френча твердый белоснежный конверт. — Вот что пишет сэр Уинстон: «Надо принять все меры для достижения решительных результатов в этом году». Английские рабочие требуют увода наших войск из Сибири. Уход наш скоро станет неизбежным, потому надо победить большевиков быстрее. Избавьте мир от врагов человечества, и вы — Юлий Цезарь двадцатого века, сэр!

Нокс встал, прищелкнул каблуками и откланялся. Адмирал проводил его до двери, вернулся к столику, перелистал опять стопку телеграмм.

«Президент Соединенных Штатов Америки поздравляет и шлет материальную помощь...»

«Президент Франции радуется и обещает поддержку...»

«Японский император выражает восхищение...»

«Югославский посол счастлив...»

В груде поздравлений нет только телеграммы от чехов.

«После развенчания Гайды чехи уже не признают меня за верховного правителя. Ну и пусть, ну и бог с ними, чехи сделали свое дело, чехи могут уйти»,— перефразировал адмирал известный афоризм.

По-прежнему барабанил сентябрьский дождь, но солнечное настроение не угасало. Взгляд адмирала упал на карту полярных путешествий. Долгушин нанес разноцветными линиями маршруты полярных экспедиций Нансена, Пири, Амундсена, Толля, Колчака.

«Так ли, иначе ли, но я бы обессмертил свое имя»,— подумал Колчак в сослагательном наклонении. Он любил сослагательное: приятно думать о том, что ты мог бы сделать, если бы...

Вдруг, без всякой связи с этими мыслями и вопреки радужному настроению, он увидел себя на глухом морозном снегу: таежная ночь, хрусткий снег и он — в центре волчьего круга.

Видение было коротким, как далекая зарница.

— Барон Будберг в приемной,— доложил Долгушин.

— Что еще ему нужно?

— Барон пришел попрощаться.

— Просите.

Колчак неприязненно посмотрел на вошедшего барона.

— Не вспоминайте обо мне дурно, ваше превосходительство. Многие говорят, я постыдно бегу в час вашего торжества,— извинительно сказал барон.

— Я тоже так думаю. — Адмирал, поглаживая ладонью карту полярных путешествий, спросил: — Куда вы уезжаете?

— Пока в Харбин.

— Чем думаете заняться?

— Печально бытие без будущего. Большевики украли у меня все надежды, разбили все иллюзии, вряд ли я доживу до восстановления России.

— Вы сомневаетесь в успехе нашего оружия, а все радуются победе. В церквах служат благодарственные молебны.

— Это радость трусливеньких, ваше превосходительство. Обыватель славит тех, кто сегодня прогоняет грозные призраки. Завтра он так же будет ликовать, встречая красных.

— К чему чернить всех патриотов, барон? — недовольным тоном сказал Колчак.

— Обыватели — патриоты брюха! Да и кто теперь в нашем активе? Богачи, спекулянты, сибирские кулаки, гвардейские офицеры... Только те, что мечтают о возврате своих привилегий или ищут счастья в любых переворотах. Преторианцы из Охотного ряда,— добавил барон. — Красными армиями командуют решительные люди, а у нас нет мужей опыта и таланта, чтобы помогать вашему превосходительству.

— Я просто не верю вам, вы непостижимо озлоблены,— сказал Колчак. — Сея зло, не соберешь урожая добра. Так чем же вы собираетесь заняться на досуге, барон?

— Начну писать что-нибудь вроде воспоминаний белогвардейца...

— Не пишите только воспоминаний без размышлений. Не подчищайте истории. Военные любят обращаться с историей как с продажной женщиной.

— Я, пожалуй, откажу в мученическом венце многим героям новой русской истории,— серьезно ответил барон.

— Деньги получили? — спросил Колчак, заканчивая неприятный для него разговор. — Я приказал выдать вам в золотой валюте.

— Благодарю вас и желаю великих успехов вашему превосходительству.

После ухода барона Колчак долго стоял в растерянности. «Неужели он почувствовал близость моего конца? На этот раз старая крыса ошиблась. Боже, укрепи его ошибку!»

— Пригласите ко мне Пепеляева,— попросил он Долгушина.

В ожидании министра внутренних дел он вновь заходил по кабинету, все еще переживая радость победы. Груда поздравительных телеграмм тешила душу,— как все-таки высоко взлетел он на крыльях судьбы, властители мира потеснились, чтобы дать ему место. В уме опять прозвучала строчка любимого романса: «Гори, гори, моя звезда...» Адмирал остановился перед бюстом Александра Первого. Мраморный царь с холодным белым лбом был бесконечно далеким, непостижимым, страшным.

— Виктор Николаевич Пепеляев,— доложил Долгушин.

Адмирал резко спросил у министра:

— Я приказывал провести следствие о крестьянских волнениях в Канском уезде. Что нашла комиссия?

— Она нашла разбой и беззаконие, ваше превосходительство. На реке Ангаре каратели вешают людей совершенно без смысла, особенно безумствует атаман Красильников.

— Что же он такое делает?

— Вы объявили амнистию партизанам. Сто тридцать мужичков вернулись из тайги домой. Красильников тут же повесил их как большевиков.

— Этого не может быть!

— Простите, ваше превосходительство, но...

— Что еще вытворяет Красильников?

— Он расстреливает священников, сельских старост, жандармов, честно служивших нам. Лояльных к вашей власти людей величает потенциальными предателями. «Этот поп еще не изменил, но может изменить, посему попа лучше повесить». Красильников сжег даже нашу литературу, что рисовала ужасы красной России. «Эти книжонки порочат не красных, а наши белые войска».

— Его надо запереть в сумасшедший дом! — в бешенстве закричал Колчак.

— Но ведь он тот самый, который...

Колчак понял намек. Войсковой атаман Красильников и братья Пепеляевы привели к власти его самого. «Диктатура неизбежна,— значит, необходима»,— эта фраза Красильникова стала в Сибири крылатой.

— Но и другие атаманы не лучше Красильникова,— успокаивал адмирала Пепеляев. — Анненков, Калмыков, Семенов, Унгерн. Безумие власти, страх перед потерей ее, ненависть к людям... То, что вытворяет на Алтае Анненков, непостижимо человеческому уму. Я могу показать вам документы о чудовищных пытках, применяемых Анненковым. Он, например...

— Не надо, не надо. — Чувство бессилья перед слепой силой им же развязанного террора шевельнулось в душе адмирала. — Поражая врага в сердце, незачем рубить ему руки,— пробормотал он тоскливо.

18

Красная метель мела над тайгой.

По Илиму плыли желтые, с темными прожилками березовые листья, бурые травинки, лимонной окраски лиственничная хвоя. Вода торопливо гасила многоцветные вороха листопада.

Андрею Шурмину казалось — мир охвачен неугасимым, бездымным пожаром, отблески его колыхаются в затонах, струятся в протоках, трепещут в звериных следах, полных дождевой воды, взлетают оранжевыми фонтанами. Сквозь желтую хвою

было трудно разглядеть проталины неба, уже приобретшие седую чистоту первых заморозков.

С вершины кедра Андрей видел Илим, с ревом кативший валуны, переваливавший на своей волне коряги, но все же смирявшийся перед старинными башнями таежного городка.

Шурмин не знал, что Илимск воздвигнут первыми землепроходцами как крепость; когда-то воинственная, неприступная крепость теперь жила неприметно. С давних времен били илимцы соболя, белку да лису, собирали кедровый орех, мыли золотишко, рубили мачтовую сосну, крепкую, как сталь, желтую, словно масло. А по праздникам пили напропалую.

Так и дотянул Илимск до черного девятнадцатого года, когда все беды, все несчастья обрушились на илимцев.

Под метлу заметали у них провиант, пушнину и рухлядь, гнали чуть ли не всех в армию адмирала. За хулу белой власти пороли розгами, за тайную помощь партизанам вешали на триумфальной арке, воздвигнутой в честь трехсотлетия дома Романовых и все еще не убранной с базарной площади.

Пойманных партизан заставляли самих рыть себе могилы. На место казни их вели под колокольный звон, у триумфальной арки струнный оркестр играл похоронный марш, попы предлагали причастие приговоренным к смерти.

Тоскливо чувствовали себя илимцы в первое воскресенье сентября. В этот день, когда листопад заносил городок метелью, жителей вновь согнали на площадь: готовилась казнь граждан, помогавших партизанскому отряду Зверева.

— Так будет поступлено с каждым, кто противится верховному правителю. Сожалею, что здесь нет самого Зверева, а то бы увидел, какая участь его ожидает,— объявил комендант гарнизона.

Он ошибался. Зверев и Шурмин следили за казнью своих друзей с другого берега реки. Четверо суток пробирались они по таежным тропам к Илимску, но напасть на карателей пока не могли: не было средств для переправы.

Решили захватить паром, чтобы перебраться ночью. На захват парома вызвался Шурмин.

Он переплыл реку на бревне, поднялся по крутояру в городок. Прошел по улочкам,— на них еще торчали кедровые и сосновые пни,— полюбовался медной пушкой землепроходцев. Церковь, срубленная из кедровых бревен, деревянные башни с бойницами изумили его: он даже ощупал стены с волнением человека, физически осязающего неторопливый бег времени.

Никто не обращал на Шурмина внимания, и он заглядывал во дворы, где отдыхали солдаты, примечал, в каких домах живут офицеры. Осторожно расспросил о родственниках казненных. Отец одного из повешенных оказался паромщиком. Андрей отправился к нему.

— Здравствуй, батя,— поздоровался он.

Паромщик поднял косматую голову, морщинистое, будто вырубленное из корня, лицо было отчужденным, но Андрей решил говорить начистоту.

— Видел я, батя, как твоего сынка казнили. Мы за него расквитаемся...

— Кто это мы? — спросил старик.

— Партизаны красные...

— До бога высоко, до партизан далеко.

— Партизаны на том берегу. Им паром нужен. Ночью переправимся, и увидишь, что будет с карателями. Поехали к партизанам, отец.

Старик угрюмо встал, скинул чалку, взошел на паром.

— К тебе депутация, Данил Евдокимыч.

Зверев откинулся от стола, закрыл спиной окно, в котором проносились желтые листья. В выбоинах улицы выросли рыжие бугры, тигровыми полосами листопада была осыпана триумфальная арка. Веревочную петлю на ней раскачивал ветер. Зверев зацепил мимолетным взглядом желтый холодный ландшафт, сказал Шурмину:

— Проси!

Их было трое — хилый учитель словесности, земский врач неопределенного возраста и поп с ускользающими глазами на рыхлом лице.

— С чем пожаловали, граждане? — спросил Зверев учителя словесности, угадывая в нем главаря.

— С протестом против казней. — Учитель подал петицию.

Зверев взял лист, исписанный каллиграфическим почерком, спросил строго:

— Что еще скажете?

— Расстрелы вредят восстановлению Советов на Ангаре,— проглатывая окончания слов, ответил учитель. — Власть должна быть великодушна, добра, справедлива...

— Воистину так,— перекрестился поп.

— Памятуя эти принципы власти, мы просим помиловать граждан, приговоренных к расстрелу,— сказал врач.

— И воцарится на земле мир, и пребудет в человецех благоволение,— пробормотал поп.

— Значит, вы протестуете против казни людей, казнивших многих неповинных жителей Илимска? А вешали их вон на той триумфальной арке. Вы и тогда поднимали голос против этих казней, почтенные граждане? Приходили с такой же петицией к карателям? Протестовали? Требовали справедливости? Если так, ваш протест найдет отклик в моем сердце. Если так, созову партизан и скажу: вот честные, справедливые, бесстрашные люди, они не позволяли вешать своих сограждан, они не позволят и нам покарать других. Покажите вашу петицию на имя карателей.

Наступила длинная, томительная пауза.

— Нет у вас такой петиции! Нет и не могло быть! Это же вы осыпали цветами колчаковских бандитов, на банкетах пили за их здоровье. По вашему благословению, святой отец, звонили колокола перед казнью. — Зверев отступил на шаг. — А вы, господин врач, писали медицинское заключение, что повешение произведено по всем правилам. Я мог бы судить вас как пособников палачей, но я не сделаю этого. Шурмин, проводи их на улицу...

Зверев безмолвно смотрел на неутихающую красную метель листопада. А когда вернулся Шурмин, сказал ему:

— Учись отличать правдоподобие от правды. Ничто так не возмущает, как нарушение справедливости, но еще оскорбительней, когда справедливости требуют для палачей. Если же их милуют, совесть начинает тосковать по правде.

После освобождения Илимска молва о партизанах — народных мстителях — неудержимыми кругами расходилась по тайге. В отряд Зверева повалил народ из самых глухоманных мест. Партизаны не на шутку напугали иркутского губернатора, он послал капитана Белоголового на усмирение.

Местные охотники предупредили Зверева о приближении карателей. Партизаны устроили засаду на таежной тропе.

День выдался пасмурный, лил дождь, между густыми лапами елей клубился мрак, партизаны подошли незамеченными. Да и некому было их замечать, никто из карателей не выглядывал из шалашей в дождь.

Неожиданное нападение принесло партизанам успех. В короткой схватке погибла часть карателей, другие сдались в плен; успел кинуться в лодку и умчаться вниз по Илиму только капитан Белоголовый.

Партизаны стали освобождать от колчаковцев верховья Лены. Все таежные городки, все поселки переходили на их сторону. Зверев решил захватить Усть-Кут — поселение, бывшее центром Верхней Лены. Потеря Усть-Кута была бы для Колчака потерей всего сибирского севера от Лены до Охотского моря.

В Усть-Кут примчался капитан Белоголовый, рассказал о разгроме своего отряда, еще больше раскалив тревожную атмосферу, царившую в гарнизоне.

— Партизаны идут на Усть-Кут! — эти слова полетели с прииска на прииск, с охотничьей вежи на рыбачью поварню.

19

Вечерним небом, землей, Волгой овладела оранжевая мгла, вода меркла среди голых отмелей, у песчаных островов клубилось облако чаек.

Правый берег маячил красными шарами, черными дисками, предупреждающими о перекатах, под сигнальными стол-

бами сушились сети, на песке спали опрокинутые лодки. Левобережная сторона Волги утопала в сизых тенях, на горизонте стояли дымы азиатских кочевий. А ниже по реке затаился за железными зарослями колючей проволоки белый Царицын; его охраняли Кавказская армия барона Врангеля и донские казаки генерала Сидорина; на аэродромах прятались аэропланы, похожие на летающих ящеров, звероподобные танки, еще не виданные солдатами, урчали в оврагах и балках.

Азинская дивизия высадилась на правом берегу и заняла исходные позиции у пристани Дубовка. По приказу командующего Особой группой войск Василия Шорина Азин готовился к штурму Царицына; в помощь ему была придана Волжская военная флотилия.

В желтый вечерний час в пароходном салоне был один Игнатий Парфенович; он писал свой дневник, время от времени прислушиваясь к разговору женщин за окнами.

— Я двух мужей изжила, а теперь быть любовницей возраст не позволяет. В твои же годы любить господом богом велено. Мужчины-то все воюют да воюют, а наша сестра отцветет — кому станет нужна? Подпускай к себе мужчинов, не одного, так другого, сама понимаешь — голубь за голубкою, сапоги за юбкою.

— Я люблю Азина, другие мне ни к чему,— возразил молодой голос, и Лутошкин узнал Еву.

— Знаю я их любовь!

Женщина вышла из-за угла салона, Игнатий Парфенович увидел начальницу пароходного госпиталя. Он познакомился с этой женщиной при трагических для нее обстоятельствах.

На днях, еще на Каме, Азин решил проверить госпиталь. Вместе с Лутошкиным обошел он первый и второй классы; на двери почти каждой каюты висели аккуратные таблички: «Терапевт», «Хирург», «Аптекарь». Азин заглядывал в пустые каюты и спешил дальше, похлестывая нагайкой по голенищу.

— Где же раненые? — пасмурно спросил он.

Игнатий Парфенович почувствовал: Азин вот-вот взорвется злобой,— а тот спустился в четвертый класс. Зловонный запах крови, тучи жирных мух, окровавленные бинты на полу, грязные матрацы, на которых бредили раненые, привели его в ожесточение.

— Парфеныч! — заорал он исступленно. — Приволоки сюда эту суку!

Начальница госпиталя явилась. Не слушая объяснений, пропаляя ее злым, тяжелым взглядом, Азин сказал:

— Расстрелять!..

Игнатий Парфенович отшатнулся, потрясенный не меньше начальницы госпиталя. Он не мог ослушаться приказа, но не мог и исполнить его и молча потрусил за конвоем, но, к счастью, на палубе столкнулся с Пылаевым.

— Беда у нас, беда, Георгий Николаевич...

Пылаев выслушал Лутошкина и кинулся к Азину:

— Она только вчера утром приняла госпиталь. Это прежний начальник довел госпиталь до такого гнусного состояния, я отстранил его и отдал под трибунал...

Это происшествие вспомнилось Лутошкину, когда он слушал разговор женщин.

— Не надо так грубо про любовь,— жалобно попросила Ева.

— Твой Азин всех баб истребит — не зажмурится.

— Неправда! Нет благороднее человека, чем он...

— Дура ты, дура, ополоумела от любви. Только за это тебя еще и простить можно,— завздыхала начальница, но тут же показала рукой вниз по реке: — А вон и твой хахаль катит. Беги, встречай, держи букет. — Она сунула в руки Евы охапку рябиновых гроздьев.

К пароходу причалил катер; по трапу поднялись Азин и командующий военной флотилией, Лариса Рейснер, комиссар Пылаев и неизвестный мужчина, на черной его косоворотке краснел цветок боевого ордена.

Азин пригласил своих друзей из военной флотилии в гости. Перед штурмом Царицына хотелось ему заново пережить недавнее прошлое, потолковать о будущем.

Гости и хозяева расселись вокруг стола, у рояля, в кожаных креслах, заговорили обо всем сразу.

Лариса наблюдала за присутствующими, она постоянно искала в людях характерные штрихи. «Вот сидит Георгий Пылаев — рыжеватый человек с близоруким лицом мыслителя. Он всегда сдержан, уравновешен, спокоен, умышленно прячет свою будничность. По-иному выглядит начальник десантных отрядов. У него девичья фигура, шелковый голос, он и улыбается по-девичьи смутно, и веет от него приятными, как свежее сено, духами». Лариса давно убедилась в отчаянной храбрости начальника десантных отрядов.

За спиной его маячит Игнатий Парфенович Лутошкин, которого, встретив однажды, уже не забудешь. Лариса помнит этого косматого горбуна с прошлой осени. Как и тогда, у Лутошкина светлое выражение лица, не опьянил его доброй души бешеный хмель битв. Его натура по-прежнему не признает злобствующего истребления людей.

Склонила русую голову над роялем Ева Хмельницкая; дочь расстрелянного белыми дворянина, по воле случая попавшая к красным, она приняла революцию как свое бытие. Огонь, кровь, смерть сопровождают ее в походах, она перевязывает раны, хоронит мертвецов, и нет конца ее горькой работе.

В отчужденной позе сидит у окна Ахмет Дериглазов — его толстое, грубое лицо окоченело от удивления. Он впервые видит юную красивую женщину на посту комиссара военной флотилии и не верит такому небывалому случаю.

Закрыв собою окно, стоит Азин, бледный, вечно торопящийся: ему не сидится даже в кругу друзей. Завтра начнется штурм Царицына; все взвешено и решено на военном совете. План штурма утвержден, Азину остается исполнить его, но исполнение планов зависит не только от составителей их. Если бы это было так, не существовало бы ни кровопролитных сражений, ни пирровых побед. «Азин, Владимир Мартынович! Как мне рассказать Азина?» Лариса свела к переносице брови.

«Азин — это штабной вагон, освещенный сальными свечами, он — непролазный дым папирос, он — часовые, притаившиеся в ночи, он — шнур полевого телефона на кустах вереска.

Азин — это бешеная кавалерийская атака в лоб на шагающую, со штыками наперевес, офицерскую стену, вскинутая шашка над головой изменника.

Азин ходит в кавказской бурке по июльской жаре, носится на диких лошадях, сам себе устраивает парадную встречу при взятии Сарапула.

Азин учит пленных музыкантов играть «Интернационал» и выдумывает липовую автобиографию, чтобы не покидать дивизии ради военной академии, не пьет вина перед боем.

Азин плачет, как ребенок, когда, раненного, его уводят с передовой, пишет извинительное письмо, что при штурме Екатеринбурга пуля сорвала с его груди орден.

Как же рассказать Азина?»

Лариса вынула записную книжечку, занесла неразборчивыми закорючками:

«Над картой Азин стынет, как вода в полынье, слушается, как мертвый, длинных шоринских юзолент, вылезающих из аппарата с молоточной стукотней, с холодными и точными приказами, с отчетливо отпечатанным матом и той спокойной, превосходной грубостью, с которой старик Шорин умел говорить с теми, кого любил, кого гнал вперед или осаживал назад железной оперативной уздой.

Разве такого, как Азин, расскажешь?..»

Только что написанное не доставило ей радости: слишком цветисто, не выберешься из чащобы прилагательных. За словами не видно азинского лица. Впрочем, еще никто не удостоился лицезреть истинного лика революции: он изменчив, как пенный узор волны, как гонимое ветром облако.

— О чем задумались, Лариса Михайловна? — спросил Пылаев.

— Думаю: как получилось, что под мирной пароходной крышей сегодня сошлись самые решительные на Волге головы...

— Прекрасный ответ, клянусь собственной головой! — крикнул Азин.

— Не клянитесь по пустякам. Клятва должна быть всегда значительной,— остановил его комиссар.

Эта фраза дала новое направление общему разговору. Они заговорили о верности слову, о значении клятвы, о любви. У каждого нашлось свое определение этих вечных и вечно изменяющихся понятий. Мнения их разошлись в оценке любви.

— Некоторые женщины не понимают любви,— сказала Ева, вспоминая начальницу госпиталя. — А вот Лев Толстой понимал. Почему бы это?

— У гения, как и у влюбленных, прозорливость души. Гений и любовь не знают самообожания, потому они и прозорливы, — авторитетно сказал Игнатий Парфенович.

— Перехлест, Игнатий Парфенович,— рассмеялся Пылаев. — Влюбленные большей частью добровольные слепцы.

— В любви все многозначительно, даже слепота. А воспоминание о любви — неосязаемое ее продолжение. — Лариса взглянула на Еву.

Ева наморщила лоб, собираясь с мыслями. Ответила чистосердечно, но уклончиво:

— Для влюбленной самое важное — удержать все время ускользающее чувство счастья своей любви.

Ева не могла сказать, что любовь к Азину требует от нее постоянного напряжения. Она сама творила свою любовь, то замутняясь ночными порывами страсти, то становясь поразительно дневной и трезвой. Она уже вышла из атмосферы любовного романтизма, ее нетерпение становилось все острее, горше, устремленнее. Любовь давала ей новые силы и для сопротивления постоянному страху за жизнь Азина.

— Вы объяснили любовь как счастье, но ведь есть и другие оттенки,— сказала Лариса.

— Бесконечное множество! У каждого влюбленного сердца свой оттенок,— радостно согласилась Ева.

Вошел матрос с кипящим самоваром, разговор о любви угас, но тотчас вспыхнул новый, еще более волнующий,— о победе мировой революции. В неизбежность ее они верили, как в восход солнца.

— Я назову отступником каждого из нас, кто перестанет сражаться за революцию,— произнес горячо Пылаев.

— Золотые слова! Только таких стоит называть не отступниками, а преступниками! — воскликнул Дериглазов. — А драться за мировую революцию надо с безумной храбростью. У нас же кое-кто болтает о бесплодной лихости, о ненужной храбрости, треплются, что командир не обязан ходить в разведку, не должен вести бойцов в атаку. По-моему, это интеллигентская чушь! Командир — пример и для смельчаков и для трусов, сам аллах велел ему быть впереди! Так поступают настоящие командиры, если они не плюгавые хлюпики. Терпеть не могу интеллигентишек, они — чуть что — пролетарьят за понюшку продадут...

— Это ты от невежества болтаешь,— возразил Игнатий Парфенович. — В свое время гражданин Гёте хорошо сказал, что нет ничего страшнее деятельного невежества.

— Брехун твой Гёте! Паршивый немецкий интеллигент, а нам своих девать некуда. Наши-то все контрреволюционеры, а советским воздухом, сволочи, дышат.

— Свинья ты, свинья! — осердился Игнатий Парфенович. — Народ революцию совершил под водительством интеллигенции нашей. Профессор Штернберг, командарм Тухачевский — кто они? Интеллигенты! Перед тобой Лариса Михайловна сидит. Кто она? Дочь профессора. А сам Ленин кто? Образованнейший человек, философ! Я с тобой даже разговаривать не хочу.

Чтобы прекратить неприятный спор, Ева провела пальцами по клавишам, Лариса запела «Марсельезу».

Ей помогли Азин, начальник флотилии, командир десантных отрядов. Игнатий Парфенович мгновенно расцвел, сердитое выражение в глазах растаяло, лицо преобразилось. Мощный бас его приподнял и повел зажигательную мелодию.

Ларисе почудилось — сама Волга звучными всплесками, вскриками чаек, медным гулом ветра, шепотом чернеющих трав поет «Марсельезу», а тонкий голосок ее вливается в голубой, могучий бас Лутошкина.

Дотлевал закат, на фоне его особенно четкими казались отдаленные силуэты военных судов. В лицах старых матросов жило тревожное ожидание боев, они курили, загадочно улыбаясь необстрелянным пареپькам, а молодые испытывали непонятную бодрость, словно судьба уже принесла им пьянящее счастье победы.

Лариса вышла на палубу, приподнялась на цыпочки, вдохнула полынный воздух степи.

Степь начиналась с берегового обрыва: ржавая, в ломких стеблях неубранной пшеницы, в сером налете подорожника, над ней тоже клубились чайки, но среди кричащих белых хлопьев Лариса увидела раскрещенную тень ворона. «Черный ворон являлся Эдгару По в самые горькие часы его жизни. Ворон — страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынник и судья». Воображение Ларисы разыгралось прихотливо и бурно, она уже видела то, чего еще нет, но что будет в сумасшедшей ярости боя.

Ей виделись крылья ворона, благословляющие страх беглецов, трусы, бросившие оружие, храбрецы, сжигающие себя в атаках, лошади без седоков, лодки, на борта которых опрокинулись мертвецы.

Она видела косматые грибы орудийных взрывов, уродливые тени аэропланов, ползущие броневики.

Над ее видениями проносился черный ворон и каркал:

— Никогда! Никогда!

Кто он, этот ворон? Бредовый ли образ поэта, хранитель ли загробных тайн? Может, обрывок пиратского знамени, может, грозный символ бренности всего земного?

Чайки унеслись на Царицын, ворон — в осеннюю притихшую степь; завтра его час оплакивать злосчастный город на Волге.

Закат истлел, вставала тяжелая луна. Под ее резким, неприятным светом река блистала, словно движущаяся полоса крови.

— Кто из нас не доживет до послезавтрашнего рассвета? — вздохнула Лариса. — Кто ляжет под степным небом и уже никогда не встанет, над кем прокаркает проклятый ворон забвения: «Никогда, никогда!..»

Они уже сказали друг другу все милые, все глупые слова любви, но повторяли вновь, отыскивая в них вечно живой, божественный смысл.

— Ты меня любишь?

— А ты меня?

— Нет, скажи ты!

— Я же спросила первой.

В полусветлой тишине каюты они шептались, пересмеивались, развертывали картины будущей жизни, великолепной, как божий день. Отступили все тревоги, мир сузился до пределов пароходной каюты; в этом мире были только они, чумные от счастья.

— Маленькой я часто летала во сне. Иногда хочется летать наяву, я подпрыгиваю и падаю.

— У меня бывают похожие сны. Иногда снится: стою на краю пропасти, а кажется — стою на краю земли. Если сорвусь, то буду падать в бесконечность, но вечного падения не могу вообразить...

— Что это такое — вечность?

Он рассмеялся ее наивному вопросу.

— У Игнатия Парфеновича есть забавная притча. Раз в столетие маленькая птичка прилетает к Казбеку, чтобы почистить свой клювик. Когда Казбек источится, минует один день вечности...

Теперь уже рассмеялась она.

— Эту притчу я уже слышала. Не повторяй ее кстати и некстати. Меня подобная вечность не устраивает, лучше кратковременное счастье быть любимой.

Он прервал ее слова поцелуем.

— Игнатий Парфенович утверждает — надо любить человека, а не безымянное человечество. Счастье всех заключено в счастье каждого. — Азин любовался ее утомленным лицом, радужными зрачками, грудью, вздымающейся спокойно и ровно. Все женщины разделились для него на «они» и «она», и Ева

стала иной, единственной, неповторимой. Сегодня в ней он любил всех.

Женщины, что жили в сердце мужчины, что томились в душе, сегодня вошли в его любовь.

Он любил Пылаева за строгий облик мыслителя и фанатизм мечтателя, думающего преобразовать общество; Ларису Рейснер — за женскую красоту и железную комиссарскую волю; Ахмета Дериглазова — за непримиримость и прямолинейность, но больше всех любил Игнатия Парфеновича.

Он любил старого горбуна за его любовь к людям, за ненависть к звериному началу в человеке.

С нежностью гладил он тонкую кожу своей возлюбленной, под которой пульсировала жаркая кровь. Вся она — полуженщина, полудитя — вызывала бурное желание; он целовал ее нагие, полные, слегка приподнятые груди, потом, умиротворенный и благодарный, грезил наяву.

Ева обнимала его за шею, тоже умиротворенная и благодарная за любовь. Если и было на земле счастье, то сейчас принадлежало только ей.

Над Волгой шла ночь их первой и последней любви.

20

Волга содрогалась от железного рявканья, снаряды с воем уходили во мглу, ослепляя ночь короткими толчками взрывов. Из реки то и дело взлетали огненные смерчи, вертелись по бортам миноносца, опадали за кормой. Разношерстные суда возникали, как летучие призраки, чтобы тут же провалиться в темноту, резкие запахи горящего железа и пороха плыли над водой.

У Сереги Гордеича исчезло бодрое, праздничное настроение: невозможно быть веселым среди товарищей, растерзанных огнем и сталью. Он уже не помнил, когда начался этот бой с невидимым противником; оттого, что противник был неизвестно где, Серегу Гордеича не покидал страх. Он то вбирал голову в плечи, то сжимался в знобкий комочек у капитанского мостика.

Оглушительный взрыв пошатнул миноносец, рубка исчезла в дыму. Серега Гордеич замотал головой, откашливаясь, ощупывая себя. В оседавшем дыму мелькнуло белое платье Ларисы Рейснер, Серега Гордеич облегченно вздохнул. Уже второй год сражался он плечо в плечо с этой молодой красивой женщиной, не переставая удивляться комиссару военной флотилии. Лариса стала дорогой и понятной морякам: они как бы полюбили в ней свою мечту о красоте, о доблести.

— Приготовьте катер,— приказала Лариса.

— Есть приготовить катер! — Серега Гордеич бросился выполнять приказ.

Предрассветье было полно опасностей, но катер мчался навстречу им, вздымая снежные крылья воды. Лариса сидела на корме, положив на колени винтовку, Серега Гордеич сутулился около пулемета, моторист неистово крутил баранку руля.

Катер вылетел на широкий простор, и сразу открылись вражеские корабли. Лихорадочная заря убирала ночные тени, все изменялось на небе и на земле. Из-за обрывов вздымались мрачные дымы пожаров, в небе висели безобразные «этажерки»: самолеты продолжали бомбить реку. С подлым воем снаряды выворачивали из воды столбы брызг; осколки, шипя, падали в глубину.

Раздался железный вопль, но тут же смолк и сразу же повторился: миноносец предупреждал короткими гудками о появлении самолета.

«Фарман» опускался на катер рывками, будто падал, черная капля выскользнула из-под его матерчатых крыльев; неуловимым движением моторист кинул катер влево. Бомба взорвалась по правому борту. Река подбросила катер, он перескочил на другую волну, стал уходить от самолета.

Неуловимое время умеет уплотняться до тяжеловесных мгновений. Несколько минут летчик и моторист состязались в ловкости. Истребительный катер кидался вправо, влево, отступал назад, проскакивал вперед, замирал на месте. Человек и катер стали одним живым механизмом, руки моториста словно приросли к рулю, глаза следили за каждым заходом самолета.

Серега Гордеич дал пулеметную очередь по «фарману», тот, покачав крыльями, исчез за берегом. Серега Гордеич услышал звонкий смешок и оглянулся.

Лариса смеялась, но беззлобно, прощая ему страх перед самолетом.

— Пора привыкать! Страшно только до первого сбитого коршуна! — прокричала она.

Опять остерегающе завопил миноносец.

— Первый, второй, третий, четвертый,— торопливо подсчитывала Лариса самолеты.

Они сбросили груз на миноносец и, развернувшись, ушли на Царицын. Над миноносцем запарило белое облако, его орудия били наугад; огненные вспышки вырывались из длинных стволов, Сереге Гордеичу почудилось — корабль истекает кровью.

Оставляя пенистый ров, катер снова мчался вперед. Розовело небо, розовела вода, и рысистый бег катера по заревой реке возбуждал Серегу Гордеича. Стремительно приближались корабли противника, словно захватывая весь волжский простор: двигались пароходы, буксиры, баржи, баркасы, расшивы, шаланды, катера. Переделанные на военные, оснащенные орудиями, пулеметами, минометами, суда эти, казалось, надежно прикрывают белый Царицын.

Истребительный катер перескакивал с волны на волну, со-

дрогаясь от их тяжеловесных шлепков. Лариса придерживала рукой разлетавшиеся волосы.

Шумящий гейзер встал у борта — осколки просвистели над истребителем. Моторист, не выдержав опасного сближения, повернул обратно.

— Почему назад? Можно бы еще немножко вперед,— заворчала Лариса.

— У меня душонка в пятках, а ей еще немножко! — ругнулся моторист.

Катер шел у берега, где скапливались раненые красноармейцы и матросы.

Катер врезался в прибрежный песок, бойцы побежали ему навстречу. Двое несли тело, покрытое солдатской шинелью; изпод полы торчали женские башмаки.

— Кто это? — спросила Лариса.

— Сестричку пулей срезало. Перевязывала раненых и сама попала под пулю,— ответил боец.

Лариса приподняла полу шинели и увидела Еву.

Девушка была без сознания; от сильной потери крови щеки ее приобрели холодную чистоту мела, синяя жилка вспухла, волосы спутались на мокром лбу. Лариса едва нащупала пульс.

— Азин знает?

— Не знает Азин. В третью атаку бойцов повел. Белые окопались на Французском заводе, никак их не выковырнешь,— говорил боец, окровавленными пальцами вытаскивая кисет с самосадом. — Азин их и так и этак, а они за тройным рядом проволоки колючей, хоть бы што им.

Оттого ли, что красноармеец говорил о белых в третьем лице, оттого ли, что он произносил все слова с вялым равнодушием, белые показались Ларисе бесконечно далекими, нереальными, неопасными. Она старалась привести в сознание Еву. Раненая девушка была странно хрупкой и нежной, точь-в-точь былинка на осеннем ветру. «Ведь она совсем еще ребенок. Умирающим детям, вероятно, является вся их небывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом». Лариса представила вечер накануне, пароходный салон, Еву, играющую на рояле, и показалось невероятным, что девушка умирает.

— Перенесите ее на катер.

Серега Гордеич осторожно поднял на руки Еву, но тут же положил обратно.

— Она скончалась, Лариса Михайловна.

Смерть на поле боя давно не пугала Ларису. Уже стали обыденным явлением мертвые в мокрых от крови шинелях, с холодными, пустыми лицами, но в эту смерть она все не могла поверить.

— Еще одной жизнью мы заплатили за тебя, революция. — Лариса опустилась на колени перед мертвой.

Осенняя степь, окрестности Царицына, сама атмосфера были воспалены непрестанными боями. Неустанно и яростно атаковал Азин позиции Врангеля, но с каждым днем нарастало сопротивление барона.

Люди уже не успевали хоронить мертвых, но успели изодрать в клочья, сжечь, испепелить, развеять дымом все живое на многие версты вверх и вниз по великой реке.

Мелькали дни с черными дождями, пыльными бурями, а схватки за Царицын не остывали. Дивизия Азина при поддержке военной флотилии сковала армию барона Врангеля и генерала Сидорина; они не могли перебросить свои части под Орел и Кромы, на помощь Деникину.

Пушечный завод на окраине Царицына превратился в груду развалин: теперь в них укрывались бойцы Дериглазова и кавалерийский полк Турчина. В позднее сентябрьское утро было отбито семь вражеских атак: красноармейцы радовались наступившей передышке.

— Боже мой, боже! Ежели невредимым в родной Мамадыш вернусь, пудовую свечу поставлю,— клялся Дериглазов.

К нему, горяча саврасого жеребца, подскакал Азин.

— Танек-то не видели? — весело спросил он и, не дождавшись ответа, пояснил: — Врангелевец перебежал, говорит: «Таньки на рассвете пойдут». Жарко станет нам скоро, комбриг.

— С белыми броневиками дрались, колчаковские бронепоезда взрывали, неужто танков убоимся? Аллах не выдаст — свинья не съест,— захорохорился было Дериглазов.

— Я, кроме смерти, ничего не боюсь, да бойцы у нас не те, что Екатеринбург брали. Те-то — вятские мужики, да латышские стрелки, да татары твои казанские — спят в сырой земле,— нахмурился Азин, садясь на камень.

Рядом с ним сжался в комочек, притворился спящим Игнатий Парфенович: не хотелось, чтобы Азин заметил пасмурное его настроение. Он зашептал, словно молитву, случайно пришедшие на ум слова: «Господи боже, когда же ты вернешь мир на несчастную русскую землю, когда озарят людей добрая воля и радость мира?» Бессвязные слова успокаивали, а мысль, что он живет в век жестокости и насилия, постепенно угасала.

Среди красноармейцев разбегались шепоты о стальных заграничных машинах, из уха в ухо переливались слухи о несокрушимых «таньках» — смешное это словечко стало крылатым. Рассудительные успокаивали паникеров:

— Танька в час три версты проползет, что труса-то праздновать.

— Ежели мотузок гранат швырнуть, танька сядет на все четыре колеса.

— У ней ленты стальные заместо колес. Она не броневик на литых шинах, ткни шилом — и дух вон.

В сторонке, укрывшись в развалины заводского цеха, Азин и Дериглазов обдумывали план предстоящего боя с танками.

— Конные батареи поставим впереди пехоты и будем расстреливать танки только с близкой дистанции. Если, прикрываясь танками, пойдет пехота, то кинем на нее кавалеристов,— развертывал свой план Азин.

— Жаль, Пылаева нет, что-нибудь бы присоветовал.

— Комиссар ночью должен вернуться из штаба армии. Я сам его жду с нетерпением. Пылаев меня успокаивает, как хорошая погода. Ей-богу, правда,— рассмеялся Азин, но тут же сдвинул брови. — А ты больше про интеллигентов не ври! Не оскорбляй Игнатия Парфеновича, он у нас в дивизии вместо святого...

— Я попрошу у него прощения. Перед боем хорошо помириться со всеми, покаяться даже в том, в чем и виноватым не был,— с сердечной усмешкой сказал Дериглазов.

Кавалерийский полк Турчина скрывался в степной балке; кавалеристы спали, похожие в своих бурках на мохнатых черных зверей. Только Турчин не мог уснуть: неуютно было на промозглой осенней земле, томила мысль о завтрашнем бое. Завернувшись в бурку, Турчин курил, курил и старался представить себе предстоящее утром сражение.

Потом он стал перебирать в памяти события своей жизни: замелькали дни и ночи непрестанных походов. Не восемьсот дней и ночей, а целую вечность уже воюет он ради одной всепоглощающей цели — уничтожить белых, добиться победы Советов.

Турчин любил на земле хлебные злаки, травы, животных, птиц, но никогда не классифицировал их по виду, по роду. Зато людей он, как и Азин, разделял непроходимой чертой: рабы и господа, богатые и бедные. С ненавистью труженика сражался он против белых, ненависть его была совершенно конкретной: прожигатель жизни — враг, белоручка — враг, тунеядец — враг.

Над степью повисла серая, непроницаемая масса тумана. Земля побурела от росы, бурку словно обрызнули водой. Кавалеристы уже не спали: тревога прогнала сон. Все думали про танки: придется ли с ними драться или грозу пронесет?

Послышался лошадиный топот, из тумана вынырнул дозор.

— Танки идут, товарищ командир! Танки идут!

Турчин вскочил, накинул на плечи бурку, надвинул на лоб папаху.

— Сколько танков?

— Счесть не можно, туман...

— Вихрем к Азину! Доложить о танках. Всем приготовиться к бою! — скомандовал он зычным, сырым голосом.

Танки шли, пока еще не видимые в тумане, железный грохот

катился по линии фронта. Туман тоже плыл, рвался на клочья; с каждой минутой все шире открывался обзор.

Азин, ополоснутый утренней свежестью, крепко и бодро сидел в седле, нетерпеливо поглядывая вокруг.

Как в восемнадцатом году под Ижевском белые впервые применили против азинцев психическую атаку, так и сейчас впервые за время гражданской войны шли на них танки.

В полосе степи, освободившейся из тумана, появилось первое чудовище,— ползло, подминая землю, в кузовной башне торчало орудие, в боковых полубашнях — пулеметы. Азин то ловил в бинокль полубашни, то старался разглядеть тех, кто притаился за стальной броней. Чувство опасности еще не возникло в нем, но он рассматривал грохочущую машину с волнением.

— Скажи Турчину, что пора ему,— приказал Азин.

Игнатий Парфенович побежал к кавалеристам.

Азин уже почувствовал, что страх перед танками распространяется среди красноармейцев. Машины еще были далеко, а уже приподнимается кое-кто на колени. Особенная нервозность была на батареях, поставленных в открытой степи. Азин подскакал к первой из батарей, соскочил с коня, не спеша закурил, стал угощать папиросами артиллеристов.

— Закуривайте, а потом дадим прикурить белякам. — Азин махнул нагайкой в сторону танков: — Идут незваные гости...

Он сел на траву, снял сапог, перемотал портянку. Притопнул ногой, оправил галифе. Проделал все это с нарочитой медлительностью, с пренебрежением к танкам. Артиллеристы с напряженным вниманием следили за каждым его жестом.

Между тем Дериглазов с десятком добровольцев уже двинулся навстречу танкам. Кто-то, не выдержав, швырнул связку гранат, она взорвалась, не долетев. С танка саданула струя пулеметного огня.

— Не смей без команды! — заорал Дериглазов. — Подпускай на короткий вздох!

И вот, пробивая железный грохот, раздалась его команда:

— По танку гранатами разом!

Танк, скрежеща гусеницами, надвигался на добровольцев. Все видели, как шевелятся пулеметы в боковых полубашнях, поворачивается передняя башня с орудием, дружно и ровно идут за танками врангелевцы.

Степь задрожала от грузного топота: из оврага выплеснулась конная лава и под оглушительные, сливающиеся в сплошной рев крики начала, как было задумано, отсекать пехоту белых от танков. Впереди всех скакал Турчин, крутя над головой шашку, поднимаясь на стременах и как бы вырастая над лукой седла.

Танк неуязвимо прошел сквозь взрывы гранат, сквозь ряды добровольцев, смял проволочные заграждения, словно паутину. Неуязвимость танка Дериглазов принял как оскорбление. На-

метанным глазом он определил мертвую зону, которую образует вокруг танка устройство его башен, и, проскочив ее, теперь шел возле самой машины, не опасаясь пулеметов. Вскидывая бритую, заляпанную грязью голову, он кричал:

— Сволочь! Гадюка! Открой дверку, я тебе бомбу суну! — и стучал кулаком по броне.

Он видел, как пулеметные стволы опускаются вниз до крайнего предела, как отваливаются от гусениц ошметки грязи, как дрожит стальное тело машины. Он знал, что на него смотрят все красноармейцы, и понимал, что в единоборстве с танком он должен сделать все возможное и невозможное. Все, что делал в эти секунды он, Дериглазов,— и то, как он шел возле самого танка, это приобрело значение и оказывало уже психологическое воздействие на бойцов. Они сами увидели, что стальная машина не так уж страшна, и мужество уже рождалось у них в сердцах, и восхищение за своего комбрига.

Танк вдруг повернул и пошел на батарею. Азин отступил на шаг.

— На прицел эту таньку, мать ее в душу!

Командир батареи подбежал к первому орудию, отодвинул плечом наводчика, сам навел прицел.

Азин отшвырнул дымящуюся папиросу, словно говоря этим размашистым жестом: «Пора обломать рога зверю».

— Батарея, огонь!

— Первое! — отозвался наводчик.

Орудие, проблестев огненной струей выстрела, отскочило назад, накатилось вновь.

— Батарея, огонь!

— Второе!

— Батарея, огонь!..

Черные клубы дыма опутали передний танк. Заскрежетав гусеницами, машина остановилась, и тогда на ней скрестился огонь трех батарей...

Первое сражение с танками белых закончилось победой азинцев, но дорого обошлась им эта победа.

В то осеннее утро в степи в жестокой сече полегли почти все кавалеристы — младшие и средние командиры. Погибли Турчин и Дериглазов, а раненого, потерявшего сознание Азина вынесли с поля боя.

22

— «Красный шар с бешеной скоростью ударился о шар белый и в силу закона физики откатился назад. Обратное его движение будет безостановочным до самой Москвы»,— прочитал Тухачевский.

— Шар красный, шар белый, закон физики — и никакой

тебе классовой борьбы. Прочтите что-нибудь поновее,— усмехнулся Лапин.

— Ничего нового нет. Впрочем, соврал. Трепещите, Альберт, колчаковская газета предупреждает вашего брата: «Латышей в плен не берем. Расстреливаем их на месте».

— Чей орган эта газетка? Монархистов? Кадетов? — спросил Павлов.

— «Орган деликатной критики и смеха сквозь слезы»,— прочел Тухачевский. — Милейшие критики у Колчака! Где ты ее взял, Грызлов?

— У пленного прапорщика отобрал. Прапорщик весельчаком оказался, целый час анекдоты про Колчака выдавал.

— Люблю анекдоты. Хоть один запомнил? — оживился Павлов.

— Фельдфебель спрашивает у солдата: «Зачем верховный правитель опять на фронт поехал?» — «А штоб сдать новый город краснюкам».

Все рассмеялись, командарм вытер платком губы, откинулся на стенку салон-вагона. Еще ранним утром он прибыл в штаб Двадцать седьмой дивизии, находившейся на западном берегу Тобола. На другом стояли войска адмирала, только триста сажен мутной воды разделяли красных и белых.

Над Тоболом висело низкое, косматое небо, сеявшее снежную крупу, ветер выкручивал оголенные ветки берез, гнал к берегу волны.

— По сведениям нашей разведки, генерал Дитерихс собирается форсировать Тобол пятнадцатого октября. Он думает начать наступление на дивизию Павлова. Против вас, Александр Васильевич, сосредоточено пять дивизий, две казачьи бригады, батальон морских стрелков,— быстро перечислил Тухачевский. — План Дитерихса хорош своей простотой, но только мы опередим генерала. Мы начнем свое наступление тайно завтра на рассвете. Какие полки у вас будут первыми?

Павлов шумно вздохнул, сцепил на массивном животе руки.

— Карельский полк Путны начнет, но тайна переправы невозможна, товарищ командарм. Ведь белые заметят и наши приготовления и нас самих. — Начдив вынул из планшета аккуратно исписанный лист. — Мой приказ уже зачитан перед каждым взводом, повторю только последние его слова: «Бойцы, лихая конница, славная пехота! Мы прошли тысячи верст от Волги до Тобола, громя врагов революции. Мы почти у цели. Так вперед и — смерть Колчаку!»

За окном салон-вагона послышались громкие голоса: кто-то кого-то поучал развязно, нахально, пользуясь самыми неприличными выражениями.

— Мишка, сукин сын, обезьяна бесштанная, это ты?

— Это я, мать тебя,— отвечал молодой серебряный голос, чересчур правильно произносивший русские слова.

— Ах ты гад на мохнатых лапах! Бросай, стервец, ружье, перебегай ко мне.

Тухачевский поднял створку окна.

— Зайдите ко мне. Оба, сейчас же!

В салон-вагон вошли красивые парни: первый — с глазами василькового цвета, второй — черноглазый южанин.

— Какого полка? — с опасной вежливостью спросил Тухачевский.

— Командир четвертого батальона Карельского полка,— откозырял синеглазый.

— А вы?

— Связной командира Карельского полка Микаэле Годони.

— Вы всегда так разговариваете? — спросил Тухачевский у батальонного.

— Никак нет! Я его русскому языку с недавней поры учу.

— Ловко научил, слышал. Только кто вам позволил позорить честь командира? Семь суток гауптвахты ему. Идите, комбат!

Батальонный погас лицом и вышел.

— Он храбрый командир,— заступился за батальонного Грызлов.

— Храбрость не нуждается в хамстве. — Командарм повернулся к Годони: — Вы итальянец?

— Сицилийский матрос, синьор.

— Какие бури вас занесли в Россию?

— Одна буря, синьор,— военная.

Микаэле Годони взяли в плен австрийцы, но вместе с ними он был вторично пленен русскими. Годони долго брел под конвоем по России, пока не оказался в Петрограде. В дни Октября итальянский карабинер вступил в ряды Красной гвардии, потом попал в Пятую армию.

Командарм отпустил итальянца и долго смотрел на реку, уже запаянную сумерками. Потом сказал Грызлову:

— От смелости твоих бойцов и твоего умения зависит победа. Я уверен в успехе, если не случится непредвиденное...

— Мы готовы драться насмерть. — Грызлов застегнул кожаную, смолисто блестящую куртку.

Командарм, отпустив всех, остался один. Ветер утих, но река шумела, подчеркивая безмолвие надвигающейся ночи. В осторожной тишине смягчились воинственные мысли, улеглось возбуждение. Сейчас командарму хотелось покоя, освященного музыкой; он верил — нет ничего сердечнее музыки, она — его страсть, самая глубокая, все остальное — необходимость. По необходимости он стал военным, но с какой радостью он протянул бы над миром руку, голосуя за мир. К несчастью, за мир борются не музыкальными звуками, а железным рявканьем пушек.

У командарма нет даже времени вслушаться в самого себя. Ему, как и всем людям России, сегодня особенно некогда: он видит выражение торопливости на лицах бойцов, командиров,

комиссаров: все спешат победить врагов своих, никто не верит в собственную гибель и отвергает ее возможность.

«Стремление к вечности живет в человеке постоянно, а чувство вечного времени наиболее полно выражено в музыке Моцарта,— подумал командарм. — Он покоряет звуками, мыслями, красотой чувств; люди это понимают, но уже привыкли и не обращают внимания. Вот почему поколения уходят, а Моцарт остается, ибо он выражение их непрерывного творчества».

Командарм взял скрипку, сжал пальцами хрупкий, теплый инструмент, ощущая пробуждающийся звук.

Оттянул струну.

Скрипка протяжно вздохнула.

23

В час, когда красные начали переправу на восточный берег Тобола, белые стали перебираться на западный. Эта одновременная переправа спутала все планы командования враждебных армий, полетели вверх тормашками расчеты времени, пространства, топографических условий, стремительность прорывов, внезапность окружения. Все оказалось несостоятельным перед случайностью.

Витовт Путна прошел к ботику, где ждал его Микаэле Годони.

— Давай весла, Миша.

— Я человек моря, синьор!

Путна сел на корму, ботик заскользил, обгоняя плоты с бойцами, пулеметами, орудиями. Путна обхватил рукой борт ботика, не замечая пробившегося из тумана солнца. На середине Тобола туман сразу развалился, и Путна увидел плоты и лодки, движущиеся в противоположных направлениях.

От неожиданности он вскочил, ботик перевернулся. Годони кинулся на помощь, они выбрались на отмель. Здесь Путна столкнулся с командиром четвертого батальона.

— Взять холм с ветряками! А возьмешь — удерживай всеми силами. Даже мертвый удерживай! — Путна вспомнил приказ командарма — после боя посадить комбата под арест. Смешно даже думать про это, но ненужная мысль заслонила другие, более значительные...

Четвертый батальон стремительной атакой захватил холм с ветряками, но белые выбили красноармейцев и вернули утраченные позиции.

— Вот тебе и удержал холм,— обозлился Путна, узнав о потере выгодной позиции. — Я его не только на гауптвахту, а под трибунал, подлеца!

Путна поскакал наперерез бегущим. Годони тоже повернул свою лошадь на бойцов.

— Стой, стой, о дьяболо! Кого испугались, синьоры? Это же

Мадонна, это же Санта-Роза! — показывал он нагайкой на холм, где киноварью и золотом сверкала хоругвь с ликом Пречистой девы.

Останавливая бегущих, Путна налетел на повозку с возницей и раненым, узнал в нем командира четвертого батальона. Осколок снаряда разворотил молодое лицо, оно дымилось кровью, и лишь лихорадочно синели глаза.

— Где ранило? — спросил Путна, и все его озлобление на батальонного испарилось.

— На холме, у ветряков. Он все отстреливался, все отстреливался, потом упал. Где мне фершала разыскать? — спросил возница.

— Вези к Тоболу, там полевой лазарет. — Путна поскакал к красноармейцам, что столпились неподалеку.

Бойцы нехотя, будто спросонок, окапывались, щелкали затворами. Возле них крутился на пегом жеребчике Годони, надрывая горло:

— Эввива, Мадонна! Аванти, синьоры!..

Красные и белые думали молниеносным ударом захватить инициативу и продолжить наступление на Тобол. Красные мечтали о стремительном марше на Омск, белым грезился Челябинск, но молниеносный удар обратился кровопролитнейшим сражением на берегах сибирской реки; оно продолжалось сто часов. На пятые сутки красные прорвали фронт белых.

В прорыв хлынули полки Двадцать шестой и Двадцать седьмой дивизий. Карельский полк наступал по железной дороге на Петропавловск. Путна, как и все командиры, повторял в эти дни словаТухачевского: «Только непрерывный натиск победит Колчака».

Слова командарма стали девизом.

По непролазным дорогам шла оборванная, разутая армия, из солдатских сапог торчали пучки сена, головы были обвязаны грязными тряпками, залатанные штаны перехвачены веревками. Изредка мелькали бобровая шуба или волчья доха, снятые с какого-нибудь коммерсанта.

Витовт Путна мечтал о купеческом городке Петропавловске, словно о рае. Там, чудилось ему, бойцы сменят разбитые сапоги и рваные шинели на валенки, на полушубки. Пока же красноармейцы раздевали пленных офицеров; теплые английские шинели со львами на бронзовых пуговицах были в особом почете.

— Невесело воевать без штанов на морозе,— отшучивался Путна, но сам ходил в нагольном тулупчике с обрезанными полами.

У стремительно движущихся армий географические точки быстро меняются. Белые не обнаруживали красных там, где они были час назад, красные натыкались на белых у себя в тылу. Случались и трагикомические недоразумения.

Поздней ночью в большое сибирское село вошел Сорок пятый полк красных. В тот же час с восточной стороны в село вступил Сорок пятый полк белых. В ночной тьме красные и белые смешались, бойцы разбежались по избам, вместе курили, укладывались вместе спать.

Когда утро забрезжило в окнах, белые стали узнавать красных по алым бантам на гимнастерках, красные по погонам — белых. Вспыхнули рукопашные схватки, бой закипел по всему селу, пока не окончился поспешным отходом одних на запад, других на восток. Такое могло случиться только в гражданской войне, но мало кто верил случившемуся.

Бойцы Карельского полка грелись у костров на привале. Над снежной степью поднималась кровавая луна, костры выбрасывали дымное пламя в равнодушное небо.

— Нехорошо смеяться над смертью, синьоры. Мадонна плачет, когда умирают ее дети,— печально сказал Годони.

— Твоя Мадонна воюет на стороне белых! — крикнул в сердцах Путна.

— Это неправда, синьор,— запротестовал Годони. — Мадонна — защитница угнетенных, она всегда на их стороне. Разве Санта-Роза виновата, что ее именем аристократы гонят на войну простых людей?

— Ладно, не будем спорить о твоей Мадонне. Расскажи-ка лучше про Италию,— попросил Путна.

— Я родился под солнечным небом, синьор, а ваше придавливает мою душу. Небо Адриатики помогает высоко носить голову простому человеку,— мечтательно сказал Годони.

— У каждого свои небеса. Я вот люблю косматое литовское небо...

— Согласен, синьор, каждый любит свое, но я предчувствую, что умру под чужим небом. — Годони поднял на Путну глаза — глубокие, черные, меняющие от пламени свой цвет. — Зато я карабинер русской революции. Пусть я единственный итальянец в армии русского народа, но это ничего, синьор. Завтра, да святится имя Мадонны, нас будет больше. И мы станем, как это, синьор, по-русски? Да, побратимы...

Карельский полк преследовал потрепанную, но все еще сильную Ижевскую дивизию. Путь ижевцев дымился пожарами, дышал отравленными родниками, любой столб у них превращался в виселицу, каждый провод — в удавку.

Ижевцы дрались с наседавшими на них карельцами с мужеством отчаяния, но после каждого сражения отступали, все еще сохраняя боевые порядки. За Тоболом, в бездорожных степях, красные утеряли след полковника Юрьева. В поисках ижевцев Путна попал в село Давыдовское, а штаб его находился в станице Чернявской. Путна приказал протянуть полевой телефон между селом и станицей.

Со связистами отправился и Годони. В полдень в избе, где стоял Путна, зазвонил телефон:

— Все в порядке, синьор! Я звоню вам...

Откуда Годони звонил, Путна так и не услышал — телефон замолк. Зато через час прискакал сам карабинер на курящемся испарной жеребце. Задыхаясь, сбивчиво, возбужденно сообщил он о приближении ижевцев.

Путна приготовился к бою. Через несколько часов показались шеренги ижевцев. В унылой, занесенной первым снегом степи, красные и белые издалека заметили друг друга. Ижевцы, не ждавшие на своем пути противника, поразились ему, но не растерялись: под крупным, медленным снегом пошли они в атаку.

Белые и красные сошлись на сто сажен, и словно по уговору стрельба прекратилась. Загнанно дышали бойцы, шелестел снег, посвистывал ветер. Путна почему-то решил: еще минута — и начнется братание.

— Кидай оружие к черту! — неистово заорал он.

— Эввива, Мадонна! — поддержал Годони.

В ответ снова судорожно заработали белые пулеметы. Красные бросились в штыковую атаку: началась свалка.

Никто не знал, на чьей стороне перевес, все дрались ради собственной жизни. После получасовой драки ижевцы дрогнули, начали отходить, затем побежали в начавшуюся метель.

В Тобольской степи полегло их свыше тысячи, но бывший артист оперетты Юрьев вырвался из лап смерти, чтобы бежать все дальше от родных гнездовий.

Путна опустился на колени перед Годони: снег падал на широко раскрытые глаза итальянца и уже не таял в них. А Путна все гладил по кудрявым волосам юношу и все повторял:

— Миша, очнись! Да ну же, Миша! Пречистая дева, спаси его!

Над могилой Годони поставили столб с черной доской и начертали на ней:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРАБИНЕР —
ГЕРОЙ РЕВОЛЮЦИИ РУССКОЙ.

24

«Не только гения и каких-нибудь качеств не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно...

Избави бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо, что нет...»

— Вот это да! — восторженно застонал Саблин, бросая на

столик истрепанный том «Войны и мира». — Я твержу всем, что не стоит забивать голову гуманизмом да нежностями, увлекаться стишками да музыкой, Толстой — тоже!

— Что ты сам с собой разговариваешь? — спросил Никифор Иванович, открывая дверь в салон.

— Читаю «Войну и мир» и удивляюсь: Толстой написал то самое, про что думаю я. Поразительное сходство!

— В чем же ваше согласие?

— Толстой говорит: хорошему полководцу не нужны ни любовь, ни поэзия, ни искусство, ему противопоказаны жалость, философские раздумья. Иначе полководец не в состоянии одерживать победы, а ведь и я толкую про то же.

Никифор Иванович полистал книгу, перечел строки, восхитившие Саблина.

— Не могу согласиться с Львом Толстым. Наш командарм — живое опровержение его слов. В Тухачевском как раз есть достоинства, не свойственные, по мысли Толстого, хорошему полководцу. Но между взглядами Толстого на полководцев и твоей философией жестокости, Давид, нет ничего общего. Твоя философия — сестра мелкобуржуазного анархизма, и это меня беспокоит...

— Какой я буржуй! И я ненавижу анархистов, как всякий дисциплинированный революционер. А в Смольный я пришел сразу же после штурма Зимнего дворца. Явился в Реввоенсовет и предложил свои услуги. А вы про меня — буржуй, анархист! Ведь надо же, а!

— Извини за откровенность, Давид, но в революции такие люди, как ты, ищут выгоды, о карьере, о жирном благополучии мечтают такие архиреволюционеры.

— Нет, Никифор Иванович! Меня или Троцкого новыми буржуями вы не сделаете. Мы — единомышленники во всем.

— Единомышленники до первого крутого поворота. А там и дорожки врозь, и начнете талантливо бесчестить друг друга. Я Троцкого знаю давно, знаю, что он может и так, может и иначе. — Никифор Иванович достал из сейфа папку с бумагами. — Иди, Давид, прогуляйся, а я поработаю.

Саблин надел кожаное пальто и направился к двери.

— Подожди минутку. Вечером допроси колчаковских перебежчиков, да смотри, при допросе не хватайся за револьвер. Колчаковские солдаты — те же мужики, насильно мобилизованные, им надо глаза на революцию открывать, а не грозить трибуналами. От постоянных угроз люди звереют,— сказал Никифор Иванович.

Уже второй месяц Саблин служил в Особом отделе Сибуралбюро. Никифор Иванович был строг и не позволял своим сотрудникам своевольничать. Суровая дисциплина раздражала Саблина, но, побаиваясь Никифора Ивановича, он вел себя сдержанно.

Колчаковцы оставили в Петропавловске богатые запасы оружия, провианта, обмундирования. Командиры и комиссары Пятой армии весело, увлеченно одевали и вооружали красноармейцев: бойцы щеголяли в теплых заморских шинелях, ели американские консервы, курили японский табак.

На перроне Саблин столкнулся с Грызловым; комбриг куда-то спешил, но все же остановился.

— Эк вырядился! Пальтецо желтого хрома, сапожки со скрипом, наганчик — игрушечка. А хром-то первущего сорта. Народ в отрепьях гуляет, а ты словно старорежимный щеголь,— заговорил Грызлов.

— Каждому свое. Я властью облечен, мне нельзя в затрапезном виде. Курить хочешь? — Саблин достал из кармана коробку с сигаретами. — Японские, трофейные.

— «Мундир английский, погон российский, табак японский, правитель омский...» — пропел Грызлов модную частушку. — Еще верховного правителя в плен не взяли, интервентов из Сибири не вышибли, а в ихних мундирах щеголяем, табачок ихний покуриваем. Ты что сейчас делаешь?

— Вечерок свободный, можно и развлечься. У меня есть девочки на примете.

— Тоже трофейные? — усмехнулся Грызлов.

В нежных хлопьях тосковали голые деревья, дымы пожаров лениво передвигались над степным притихшим городком, в сумерках еще каркало воронье, брехали собаки.

Саблин, в добродушном настроении от случайной встречи с женщиной, возвращался чуть хмельной, сдвинув на левый висок фуражку, спрятав кулаки в карманы забрызганного грязью пальто, намокшие полы с шорохом терлись о голенища охотничьих сапог.

— Погодь немножко, товарищ комиссар,— остановил его какой-то человек. — У нас в мастерских сегодня семеро арестовано, за саботаж будто бы взяли, а напраслина это. Я к тебе с жалобой приходил, только денщик не пустил, а сейчас ты сам повстречался.

— Что ж тебе нужно?

— Как что? Освободить надо мастеровых-то! Зря их заграбастали.

— Без причин не заграбастаем, если взяли, значит, за дело,— строго ответил Саблин.

— Тогда пойду к этому, как его, председателю Сибура... бюра...

— Научись сперва слова выговаривать. За что-нибудь да взяли же мастеровых?

— На митинге маленько пошумели: дескать, Советская власть вернулась и сразу хлеб для голодающих погнала. А нам здесь одну селедку жевать?

— Вся республика сегодня одну селедку жует.

— Тогда всю республику под арест и возьми...

— Ты, вижу, на язычок-то остер. Ладно, приходи утром, разберемся с саботажниками.

Еще у вагона Саблин услышал голоса Тухачевского и Никифора Ивановича.

— Отдыхая, мы даем отдохнуть и врагу. А это опасно, Никифор Иванович. Лишь непрестанный натиск может сокрушить Колчака,— говорил командарм.

Саблин неприязненно подумал: «Везет же этому дворянчику. Командиры ему подражают, Никифор Иванович ему покровительствует. А ведь щенок-то не нашей породы. Ну, да поживем — посмотрим, где-нибудь да споткнется!»

— Я поддерживаю вас, командарм! Не поддерживаю только вашу ненужную храбрость: зачем вы, когда каппелевцы наступали на станцию, стали умываться у водокачки? Чтобы наши не трусили? Это не храбрость, а лихость! Кстати, Александр Васильевич Павлов уезжает на Южный фронт завтра, а кого взамен в Двадцать седьмую дивизию? Вы об этом думали? — спросил Никифор Иванович.

— Можно бы Витовта Путну, да больно молод. Хорош Степан Вострецов, да очень малограмотен. Пожалуй, лучше Блажевича не подберешь.

— Как белый гриб всем грибам полковник, так и Блажевич настоящий командир,— рассмеялся собственной шутке Никифор Иванович.

25

Управление полевого контроля Колчака раскрыло в Омске нелегальную организацию большевиков. Организация была разгромлена, многие члены подпольного комитета казнены, но оставшиеся на воле продолжали борьбу. С приездом в Омск Артемия эта борьба еще более усилилась. Артемий не покладая рук работал над восстановлением организации.

Теперь комитетчики сходились у молоденькой учительницы Настеньки: девушка жила в центре города, в большом доме, ее квартира имела запасный выход. Можно было приходить и уходить незаметно.

Создавались боевые партизанские группы в окрестных селах, рабочие дружины на предприятиях и у железнодорожников. Большевики работали на военных складах, в некоторых министерствах, отчаянный мадьяр Шандор Садке проник даже в колчаковскую охранку.

Был ранний ноябрьский вечер; сгущая сумерки, падал крупный снег, покрывая крыши, улицы, тротуары; грязные лужи приобрели синеватый отблеск.

Настенька из-за занавески смотрела на колонну арестантов, которых солдаты гнали по улице, подталкивая прикладами, покалывая штыками отстающих.

— В чем причина этой жестокости? — спросила Настенька. — Почему Колчак поощряет издевательства над людьми?

— Жестокость таится в презрении к человеку. Колчак и его сподвижники глубоко презирают народ — отсюда и жестокость их. Они и знать не желают, что из кровавых цветов террора вызревают лишь семена ненависти,— пояснил Артемий. — А ненависть помогает нам развертывать народную борьбу против Колчака. Послушай, какое воззвание я написал.

Артемий взял со стола ученическую тетрадку:

— «Сибиряки, рабочий люд, братья-крестьяне! Партия большевиков зовет вас к восстанию.

Бросьте дома, оставьте станки, забудьте о мирной жизни. Кто сможет достать ружье — стреляй в спину белому офицерью! У кого есть бомба — бросай в воинские эшелоны! Кто имеет одни голые руки — разворачивай гайки, снимай рельсы, рви телеграфную связь.

Пусть все встают в ряды борцов за освобождение от гнета колчаковщины и интервентов...»

— По-моему, до сердца доходит,— похвалила Настенька.

— Жаль, что печатного станка у нас нет. От руки много ли перепишешь.

— Жандармы нашу типографию первым делом разыскали. Кто-то донес, а кто — до сей поры не знаем. У провокатора — двойное лицо. Сразу не разглядишь,— сказала Настенька.

— Провокатор и предатель — братья. Но если не висеть им вместе, то все равно висеть им порознь.

— За нами следят и сыщики и провокаторы, но я не страшусь их,— сказала Настенька. — А если придется погибнуть, то знаю — не для себя жила, для народа. И не месть я буду завещать живым, а борьбу. Большевики умирают только за революцию. Революцию!..

В дверь осторожно постучали. Настенька сняла крючок. Стук повторился. Настенька приоткрыла дверь. Вошел член подпольного комитета — слесарь из железнодорожного депо.

— Я, кажется, самый ранний гость, а боялся, что опоздаю,— сказал он, распространяя в комнате свежесть первого снега, запахи машинного масла, железных опилок.

Вскоре появились новые люди: потаенная жизнь научила их ходить бесшумно, говорить вполголоса.

— А где Шандор Садке? — спросил Артемий.

— Ему не так просто уйти из охранки,— заметил слесарь.

— Красная Армия приближается к Исиль-Кулю, товарищи,— сказал Артемий. — Наша помощь ей становится совершенно неотложным делом. Вот воззвание, размножьте и расклеивайте, раздавайте всем...

На лестнице послышался грузный топот, в дверь замолотили прикладами, все вскочили. Артемий взмахом руки остановил товарищей.

— Исчезайте запасным выходом, я прикрою вас! — Сильным и ловким движением он толкнул обеденный стол к двери, вынул наган.

А дверь трещала и прогибалась под ударами, с потолка сыпались куски штукатурки. Настенька держала корзинку, в которой лежали «лимонки». Доска вылетела из двери, в проеме появилась чья-то красная физиономия. Артемий выстрелил, вопль прокатился по лестнице.

— Вы окружены! Сдавайтесь!..

Артемий швырнул гранату в дверной проем, от взрывной волны захлопали двери соседних квартир.

— Настя, гранату!

— Держи, Артемий!..

Снова вспыхнуло пламя, застучали в коридоре осколки.

— Гранату, Настя!

Еще один взрыв на лестнице. В корзине оставалась последняя граната. Артемий качнул ее на ладони.

— А теперь, Настя, беги!

Накинув на плечи шубку, она попятилась к запасному выходу. И в этот миг Артемий опрокинулся на стол, кровь хлынула из виска его. Зажав ладонью дрожащие губы, удерживая крик боли, Настенька выбежала во двор.

За углом, на соседней улочке, оказался извозчик. Настенька упала в кошевку.

— Ради бога, гоните!

Бородатый, благообразный старичок ожег вожжами конягу. Кошевка понеслась по первому, свежему снегу, выскользнула на главную улицу, промчалась по мосту через Омь. Настенька опомнилась, когда извозчик остановился.

— Слезай! К собору ходить остерегись, к гимназии — тоже. Там все оцеплено. Деньжонок-то, чать, нету? Ну, да бог с тобой, я ведь догадался, что ты пичужка красного цвета. Постучись в двери вон того дома, в нем чудной человек живет, но добряк...

26

— Мне снились птицы, летящие в утреннем воздухе, и я летел вместе с ними, и мне было хорошо, очень легко было мне, Антон. Проснулся — подумал: птица — реальность жизни, ставшая нашей мечтой, но жизнь скверная баба. Одной рукой зовет, другой по физиономии бьет...

— Не баско с рифмами-то,— погладил черные усики Антон Сорокин.

— Теперь мне уже не до рифм. Катимся в пропасть, какие, к черту, стихи.

— А видишь крылатые сны на краю пропасти. Что твоя любовь Анна Тимирева?

— Адмирал отправляет ее в Иркутск.

— И ты побежишь за ней на восток?

— Даже зайцем, даже на крыше вагона.

— Зря убегаешь, Маслов. Поэтам нечего бояться красных. Они — революционеры, значит, поэты.— Сорокин достал из буфета графинчик с водкой, настоянной на лимонных корках, тарелку с солеными маслятами.

Маслов энергичным жестом руки прервал Сорокина.

— Мне легче пулю в лоб, чем видеть, как русские вымрут от войны, голода, и произвола, и тифа. А, черт, опять на скорбную тему перескочили! Для чего ты Александровскую улицу в Антона Сорокина переименовал? Неужели для нового скандала Колчаку?

— Это двенадцатый скандал его превосходительству. Вызывали в охранку — ответил: «Александр Второй никогда не был в Омске, а я живу на этой улице двадцать пять лет. И я — единственный поэт в городе».

— Не считая меня, Антон.

— Ты навозник. Приехал — уехал. Омск и Сорокин неразлучны, я горжусь Омском, придет время — Омск станет гордиться мною.

— Когда у тебя, Антон, рукописи украли? Раньше ты про кражу не говорил.

— Какие рукописи?

— Я же читал твое объявление в газете: «У лауреата премии братьев Батырбековых Антона Сорокина похищено три пуда рукописей. Просьба вернуть за приличное вознаграждение».

— А хорошо звучит — лауреат премии братьев Батырбековых? Не знаешь, что за меценаты? На омском базаре брынзой торгуют, о литературе имеют такое же представление, как мы о марсианах,— Сорокин с удовольствием потер худые, бескровные пальцы.

Маслов прошелся по комнате, заставленной у стен письменными столами. На них валялись книги, рукописи, иллюстрированные журналы. С журнальной обложки на него смотрело жизнерадостное лицо президента США. Рядом лежал такой же журнал, но портрет президента был заклеен фотографией Сорокина; под ней стояла подпись: «Диктатор сибирских писателей».

— Это ты для чего делаешь?

— Хочу раскидать журналы по улицам для собственной популярности. Напишу в американскую миссию: «Американцы! Восхищайтесь, как Антон Сорокин сумел разрекламировать себя за ваш счет...»

Маслов кисло усмехнулся.

— Ты неисправим, Антон. Сбудется мое предсказание, ухлопает тебя пьяный прапорщик.

— Вши чаще всего убивают гениев. Я не мог бы жить, закрывая глаза на ваш белогвардейский бред. Ведь это вы, только вы довели своей антинародной войной до чудовищного озлобления сибиряков. Меня тошнит при мысли о диктатуре Колчака в Сибири. Вот почему даже скандалы я использую против вашей антинародной идеи.

— Дух творчества не терпит политики. Нельзя превращать поэзию в подголосок страстей политических.— Маслов приподнял на уровне глаз журнал, швырнул обратно на стол.

— Думаешь, ты сам вне политики? Как бы не так! Ты убегаешь в своей новой поэме в пушкинские дни, но страдаешь-то, но мечтаешь-то в наше кровавое время.

— Мне опротивела даже моя поэма! Не хочу ни правды, ни истины, хватит с меня поэзии, настоянной на грязи и крови. Не желаю быть ни трибуном, ни менестрелем, ни благородным, ни подлым украшением отечественной поэзии. Я засорил свою душу лукавыми пустяками и уже не ощущаю себя мыслящим. Нам позарез необходимы мыслящая тишина и светлый покой души.

— Все ты врешь! Все врешь! Одно желание новое для меня, вздох глубокий один — и уже грезятся иные горизонты. Наш брат сегодня переживает мучительную ломку своих представлений о России, о власти, правде, о смысле самого человеческого существования. Революция все перевернула; тот, кто этого не понимает, погиб! И не только ты, я или третий кто-то, погибнут целые общественные слои — дворяне, буржуазия. Оставайся, право, в Омске и спокойно жди большевиков...

— Они покарают меня за принципы.

— Вздор!

На улице послышались крики, топот бегущей толпы, грохнул револьверный выстрел.

— Опять кого-то пристрелили, словно собаку.— Маслов прислушался: — Кто-то скребется за дверью.

Он быстро снял крючок и распахнул дверь — у стены стояла женщина.

— Что вы тут делаете? Кто вы такая? — спросил Маслов.

— За мной гонятся охранники. Они меня ранили. Можете выдать меня им, я в вашей власти,— с трудом скрывая страх свой, произнесла Настенька.

— Среди поэтов не бывает предателей,— многозначительно сказал Сорокин.— Не правда ли, Маслов?

— Да, мадам,— подтвердил тот.— Я, Антон, пожалуй, пойду собираться в дорогу. На всякий случай, прощай, Дон Кихот сибирской литературы.

— Не поминай лихом, прощай! Да хранит тебя Аполлон!

27

Красные в Исиль-Куле!

Подобно грому эта весть прокатилась над Омском. Адмирал обратился к жителям города с последним воззванием:

«Пора понять, что никакие пространства Сибири не спасут вас от разорения и смерти...

Настал час, когда вы должны сами взяться за оружие и идти в ряды армии. Никто, никто, кроме вас самих, не будет вас защищать или спасать...»

Но те, на кого надеялся адмирал, не хотели умирать даже за свое имущество. Бесчисленные стада промышленников, банкиров, спекулянтов, попов, сановников, членов всяких партий и лиг, партикулярных щеголей, князей, переодетых в мещанское платье, столбовых дворян, прасолов, прожигателей жизни, министерских чиновников кинулись на восток.

Проездные билеты продавались по баснословным ценам, вагоны брались с бою. На улицах, в поездах начались грабежи, бандиты убивали открыто, мародеры раздевали свои жертвы на глазах у милиционеров.

Высокие комиссары союзных держав уехали в Иркутск, за ними отправились английская, американская, французская военные миссии. Чрезвычайный посол японского императора исчез так же внезапно, как и появился.

Генерал Сыровой вывел из Омска свой последний легион еще в сентябре — теперь чешские поезда забили железную дорогу от Оби до Байкала. Поссорившись с адмиралом, Сыровой объявил, что отныне цель его — вывезти чехов на родину.

С омских улиц исчезли офицеры с белыми крестами, нашитыми на шинели, мусульманские дружины с зелеными знаменами, ополченцы в бобровых шубах и оленьих дохах — они тоже были посланы защищать призрачную столицу призрачной империи адмирала.

Колчак метался, словно обложенный зверь. Все, что он делал сейчас, обращалось против него, генералы и министры действовали с поражающим непониманием хода военных событий и политической атмосферы. Генерал Дитерихс решил сдать Омск без боя, он даже наметил новую линию фронта и стал отводить армии. Но против сдачи Омска выступил генерал Сахаров, призывая защищать столицу адмирала до последнего солдата. Приказ Дитерихса об эвакуации Омска был отменен, главнокомандующим войсками Колчак назначил Сахарова.

— Бежать больше некуда, надо защищаться,— объявил Сахаров и устроил кровавую бойню в городе.

Тюрьмы разгружались с помощью расстрелов, казнили не только мирных обывателей, но даже членов правительства по подозрению в красном шпионаже. Закон — беззаконность (и прежде очень шаткие понятия) стали совершенно расплывча-

тыми в глазах Сахарова. Личность сомнительная и во всем сомневающаяся, он быстро губил ту самую власть, которую должен был защищать.

В Омске наступил полный хаос. Учреждения перестали работать, магазины — торговать, жители — выглядывать на улицу. Газеты не выходили, почта закрылась, погасло электричество. Распространялись самые невероятные слухи, но смысл был один и тот же: красные приближаются.

Ночью десятого ноября адмирал созвал совет министров. Министры робко входили в его кабинет, он встречал их какой-то весь потерянный и потухший. За адмиралом неотлучной тенью маячил министр внутренних дел Пепеляев.

На совет был приглашен и двадцатисемилетний генерал Войцеховский. Для чего он здесь, министры не знали, но по его печальному, сосредоточенному виду догадывались о плохих делах на фронтах.

Колчак заговорил, угрюмо скосив глаза на портьеру:

— Петр Васильевич Вологодский подал в отставку. Я принял ее. На пост премьера мною назначен Виктор Николаевич Пепеляев, но указ я опубликую в Иркутске, куда выезжает правительство. Оборону Омска я возложил на генерала Войцеховского, а сам остаюсь с армией.

— А как же золотой запас? — спросил министр финансов.

— Золото, я и армия неразлучимы.

— Осторожности ради золотой запас следует поставить на колеса.

— Вы предлагаете отдать его чехам? Тода уж лучше я подарю золото большевикам, они все же русские люди! — остервенился адмирал.

Все насупились при этой угрозе, только Долгушин насмешливо повел глазами на министров: он-то сразу понял угрозу верховного правителя как неудачную шуточку.

— До завтра, господа,— сухо распрощался Колчак с министрами.

В кабинете остались одни генералы и Долгушин.

— Мне опротивели эти господа со своими вечными вопросами, запросами и расспросами. Виктор Николаевич, что с золотом?

— Оно уже погружено в вагоны. Особый литерный эшелон состоит из двадцати девяти пульмановских вагонов с золотом, платиной, серебром, прочими драгоценностями. Эшелон пойдет под литерой «Д». Ваш личный поезд зашифрован как «58-бис». Всего сформировано семь литерных поездов для вашего личного конвоя, высшего офицерского состава, работников ставки, управления полевого контроля,— перечислил Пепеляев.

Адмирал слушал, сбычившись, наклонив голову. По ночному окну с шорохом проносилась снежная дробь.

— Как на Иртыше?

— Иртыш не замерзает. Боюсь, армия Каппеля не успеет переправиться через реку, а медлить с отъездом нельзя. Никак нельзя,— ответил Пепеляев.

— Я, верховный правитель и адмирал русского флота, не брошу на произвол судьбы русских солдат.

— А мы не можем рисковать жизнью вашего превосходительства,— почтительно заговорил Войцеховский.— Если вас не станет, Россия погибла.

В горле адмирала что-то булькнуло.

— Благодарю вас, но не надо преувеличивать значение моей личности. Долг повелевал мне спасти Россию от большевизма, но долг кончается там, где начинается невозможность. — Колчак поднял тяжелые глаза на Войцеховского.— А где сейчас Тухачевский?

— Вчера был в Исиль-Куле. Это все, что узнали наши разведчики,— ответил Войцеховский.

— Непрестанное движение красных к Омску производит ужасное впечатление. Движется неотразимая беда, и нечем остановить ее. От такого безумного марша красных мякнут характеры моих генералов, сникают солдатские сердца. Безостановочный марш господина Тухачевского превышает своим значением все предыдущие. Полководец, который имеет достаточно энергии, воли, умения проводить подобные марши, не может быть посредственностью. Еще по боям за Златоуст, за Челябинск я убедился в таланте этого подпоручика...

В словах адмирала Войцеховский и Долгушин чувствовали и горькое бессилие, и трудно скрываемую зависть к противнику.

Стремительное наступление Красной Армии действительно повлекло за собой массу важных событий, вело к быстрому изменению обстановки на фронте, требовало иного распределения времени, новых расчетов пространства, непрестанного обновления на военных картах географических пунктов.

— Все усилия моих войск раздробляются, воля к победе нарушена. Этот мрачный процесс разложения наших сил и ломки нашей воли — триумф подпоручика Тухачевского,— заключил адмирал свою мысль и оборвал разговор: — До завтра, господа!

Утром, когда Долгушин жег секретные документы, на глаза попалась телеграмма. Он спрятал ее в карман.

— Что вы прячете, ротмистр? — спросил вошедший Колчак.

— Телеграмму из Токио...

— От посланника Щепкина, да? Я предлагал ему пост министра иностранных дел. Он согласен?

Долгушин мялся и не отвечал.

— Ну, что же вы?

Долгушин подал телеграмму.

«Я скорее поступлю сторожем токийских ватер-клозетов. Эта служба вернее. Щепкин».

— Говнюк! — выругался Колчак и откинул портьеру на окне.

За ночь подморозило; небо было ясным, легким, снежные облака янтарно светились, оголенные деревья были покрыты тончайшими кружевами инея. Закованные льдом лужи блестели, как полированные зеркала.

Адмирал достал из шкафа саквояж крокодиловой кожи, постучал по серебряным застежкам.

— Здесь мои дневники, ротмистр. Опасаюсь потерять в суматохе.

— Я сохраню их, ваше превосходительство!

Сквозь примороженное окно Колчак пытался рассмотреть реку.

— Иртыш все еще не замерз?

— Сегодня подморозило. Еще сутки — и река станет.

— Сутки? Это целая вечность в нашем положении. Армия не успеет переправиться через Иртыш.

— Но ведь железнодорожный мост цел.

— Что?.. Ах, да, мост! Я приказал его взорвать. Моста не будет, как только мы покинем этот несчастный город...

Сердце Долгушина стукнуло и упало. Он представил десятки тысяч людей, истерзанных непрерывными боями, мечтающих о теплом, сытном Омске и теперь обманутых адмиралом. Колчак отрезает своей армии путь к спасению, чтобы спастись самому. У ротмистра погасла еще одна иллюзия о правителе-сверхчеловеке.

Конвой, оцепивший вокзал, не пропускал никого, пока Колчак шел к своему поезду. Он шагал мимо товарного состава, вагонные окошечки которого были забраны ржавыми решетками: через прутья за адмиралом следили чьи-то изможденные, обросшие физиономии. Глаза, горевшие ненавистью, перехватывали Колчака и будто передавали от одного вагона к другому.

— Что это за состав? — спросил он.

— Это поезд смерти, будь ты проклят! — раздался из вагона отчаянный вопль.

Двенадцатого ноября Колчак покинул Омск.

28

В тот же день Волжский полк вступил в село Гуляево: до Омска осталось сорок пять верст. Вострецов остановился на ночлег в домике иртышского рыбака.

В полночь хозяин растолкал его:

— К тебе посланец, паря.

При свете лучины Вострецов узнал Ванюшу, шофера Тухачевского. Розовый с ночного холода, Ванюша отчеканил твердо и звонко:

— Приказ командарма Тухачевского!

Принимая пакет, Вострецов завистливо подумал: «Молодого

командарма и окружают-то одни юнцы». Он не признался бы в том, что завидует всем этим Ванюшам, Альбертам, Васькам, Витовтам, их цветущей силе, их образованности, молодому напору.

Волжскому полку приказывалось совершить рейд по тылам неприятеля, как можно ближе к Омску.

— А почему не в город? Паники будет больше,— усмехнулся Вострецов.

— Да ведь Иртыш-то не замерз!

— Пусть хоть кожурой покроется — пройдем! Звезды станут трещать под ногами — пройдем! — воскликнул Вострецов и спросил уже спокойнее: — Что, машина твоя поломалась?

— В починке мой «левасор»,— с удовольствием выговорил незнакомое слово Ванюша.— Я ведь у командарма и шофер, и кучер, и связной. Приказал он к тебе скакать — я вихрем к тебе.

— Как же ты добрался?

— Проселками, сторонясь железной дороги.

— Беляков не повстречал?

— Они от дороги ни на шаг.

— Врешь, вчера мы их обозы обгоняли.

— А наши эти обозы разоружили. Кого же бояться-то?

— Какая неосторожность! Тебя могли захватить, узнали бы о готовящемся рейде.

— Меня не взяли бы.

— Почему так уверен?

— Я бы застрелился... Пакет бы уничтожил...

Ванюша произнес эти слова без тени бахвальства, и Вострецов поверил ему.

— Я не завидую нашим внукам, это они станут завидовать вот таким юнцам, делающим революцию,— с суровой нежностью сказал Вострецов.

Ванюша признательно улыбнулся. Знал: похвалу из Вострецова надо вытягивать клещами.

На рассвете хозяин снова растормошил Вострецова:

— Вставай, паря. Сам просил разбудить, так поднимайся. А на улице ветер, ложись грудью — удержит. И мороз — дай те боже!

— Слава богу, что мороз.— Вострецов приказал поднимать полк.— Передай командарму, Ванюша: если Иртыш стал, мы проскочим в Омск...

Ванюша натянул на шапку башлык, сел в седло и растворился в ревущем снежном ветру.

Волжский полк выступил в новый поход. Бойцы шагали, кренясь вперед, словно ввинчиваясь в ветер, лошади натужно тянули повозки. Белые струи бежали по унылой равнине, в замерзших болотах корчились ржавые кочки, издалека доносились паровозные свистки.

Уже совсем завечерело, когда Волжский полк вышел к Иртышу. Темнота скрыла реку, лишь редкие огоньки подрагивали на противоположном берегу; в воздухе расплывались громоздкие очертания железнодорожного моста. Ветер стих. Вызвездило.

Вострецов послал разведчиков к станции Куломзино. В ожидании донесений ходил он по хрусткому от первого снежка обрыву, курил трубку, слушал тревожные гулы далекого города.

Появился патруль с каким-то мужчиной.

— Захватили по дороге в Куломзино. В нашу сторону шел, командира ему нужно, вот и привели,— отрапортовал патрульный.

Задержанный торопливо заговорил:

— Я подпольщик-большевик. Колчаковцы собираются взорвать мост через Иртыш. Ежели взвод красноармейцев, еще успеем предупредить...

— Будешь проводником, но если провокатор, застрелим на месте,— приказал Вострецов.

— Скорей, скорей! — торопил задержанный.— Пока рассусоливаем, мост взлетит к черту!

Вернулись разведчики, сообщили, что Куломзино забито воинскими эшелонами с ранеными, с провиантом. Лед тонок, но если цепочкой проходить — выдержит.

Ветер выдул с реки снег, молодой ледок пугал смоляным цветом, и ускользал из-под ног, и опасно потрескивал. Вострецову стало казаться — ноябрьская эта ночь, тонко постанывающий лед, невидимый город за Иртышом полны страшных неожиданностей. Он невольно уторапливал шаг, но, проскальзывая с обеих сторон, осторожно, как бы на цыпочках, пробегали красноармейцы. Они выскакивали на берег, скапливались под обрывами, готовые к бою. Вострецов немедля повел их к вокзалу.

Быстро разрастались запасные пути, бесконечней становились товарные составы. Разведчики захватили первого колчаковского солдата.

— Куда шел? — строго спросил Вострецов.

— С донесением в штаб Сибирского казачьего полка...

— О чем донесение?

— В Куломзине, мол, все спокойно. Красных, мол, нет.

— Где же они?

— Верст за сто от Омска.

Привели еще двух пленных. Они сказали, что адмирал Колчак покинул город, а на вокзале десятки эшелонов, готовых к эвакуации. Вострецов приказал занимать подходы к станции, не открывая огня, разоружать всех, сам же с несколькими бойцами прошел на перрон.

Здесь царило нервическое оживление; сновали офицеры в поисках своих вагонов; размахивая факелами, пробегали смазчики, кондуктор отбивался от наседавших людей:

— Отправляю, господа, через час. Успокойтесь, все в полном порядке...

Вострецов, сжимая наган в кармане полушубка, шагал вдоль поезда; из теплушек неслись шепоты, вздохи, надсадный кашель, унылая ругань. За товарными стояли пассажирские вагоны второго и третьего класса.

— Куда прешь, скотина? — Заиндевелый подполковник в английской шинели и казачьей папахе остановил Вострецова.

— Виноват, ваше благородие! В темноте не заметил. Ищу командира Сибирского казачьего полка. Кажись, он в этом самом вагоне.

— На том свете свидитесь. А здесь вагон-ресторан.— Подполковник занес ногу на ступеньку.

Вострецов проследовал за ним. В тамбуре он оглушил подполковника ударом нагана и открыл дверь. В ресторане за общим столом сидели офицеры; огонек свечи — как блеклый цветок.

— Это еще что за явление Христа? — спросил кто-то.

— Здравствуйте, господа! Я командир красного полка. Станция окружена нашими частями, ваша жизнь зависит от вашей тишины и порядка.— Вострецов пропустил вперед красноармейцев.— Разоружить, охранять, не выпускать из вагона...

Не теряя времени, Вострецов стал вводить свои батальоны на станцию, расставляя их между воинскими эшелонами. Все делалось молчаливо, деловито, с непостижимой быстротой.

29

Город, пробуждающийся в морозных дымах, ничего не знал о красных батальонах, идущих по улицам. Обывательский Омск подметал дворы, топил печи, теснился в хлебных очередях, вел на Иртыш поить лошадей. Интенданты спешили на свои склады, связисты снимали телефонные провода, спекулянты торговали кокаином, долларами, кофе, чаем.

У подъезда гостиницы перебирал копытами запряженный в легкие санки рысак. Кучер топтался на снегу, поджидая начальника артиллерийских складов генерал-майора Римского-Корсакова, а генерал в гостиничном номере пил кофе и не спеша просматривал ведомости.

— Сколько оружия уплывает к большевикам! Только-только получили из Америки, будто специально для господина Тухачевского. — Генерал расправил длинную холеную бороду: он походил на композитора Римского-Корсакова и гордился этой похожестью.

Генерал все делал солидно, неспешно, его приятели эвакуировались с Колчаком, он же не торопился: хотелось достойно, без паники покинуть Омск.

Этой ночью Войцеховский показал ему телеграмму из Лон-

дона. Агентство Рейтер оповещало весь мир, что на запрос в английском парламенте о судьбе Омска Уинстон Черчилль ответил: «Красные в ста милях от города, и непосредственной опасности нет».

— Сидя в Лондоне, можно не знать, на чем сидят в Омске,— пошутил Римский-Корсаков.— А где на самом деле красные?

— Я и сам не знаю. Черчилль путает мили с верстами, то, что для него далеко, для нас близко.— Войцеховский тут же предупредил, что скоро покинет город.— Если не удалось остановить Тухачевского на Иртыше, я не пропущу его за Обь.

Генерал отставил недопитый кофе, закурил сигару, прислушался к утренним звукам. Внезапная острая и опасная мысль пришла в голову: «Куда я побегу? Может, дождаться красных?» Генерал завертел головой, отгоняя странную мысль: «А честь дворянина? А воинская присяга?»

«Поеду к коменданту, узнаю обстановку»,— решил он, вставая.

Кучер распахнул перед Римским-Корсаковым медвежью полость на санках, но внимание генерала привлек взвод солдат, вышедший из переулка. Они шли, не обращая внимания на его генеральские погоны.

— Что за распутство! Почему не отдаете честь? — взорвался Римский-Корсаков.

— Так ты, старый хрен, еще и генерал? — скаля прокуренные зубы, рассмеялся взводный.

— Да как ты смеешь?! Да я тебя...

Взводный ухватил Римского-Корсакова за воротник, подтянул к себе.

— Господин генерал еще не видел красных? Смотри и запомни первого большевика в своей жизни.

Римского-Корсакова доставили в тот самый кабинет, где он беседовал с Войцеховским. За знакомым письменным столом сидели толстый плешивый старик в штатском костюме и молодой человек в стеганом ватнике.

— Вы генерал Римский-Корсаков? — спросил старик.

— Так точно! Начальник всех артиллерийских складов Омска.

— При каких обстоятельствах оказались в плену?

— При самых дурацких, господин командарм.

— Я член Реввоенсовета. Вот командарм...

— Этот молодой человек командарм? — попятился Римский-Корсаков.— Простите, я принял вас за адъютанта.

Тухачевский и Никифор Иванович рассмеялись, и Римский-Корсаков почувствовал уверенность в благополучном исходе своего неожиданного пленения. Теперь он был доволен, что попал в плен, не нарушая воинской присяги.

— Чем могли бы помочь нам, генерал? — спросил Тухачевский.

— Я сдам армии победоносного народа военные склады в полном порядке...

— Хорошо! Сдавайте! Революция не может разъединять русских людей, если они честные люди и патриоты.

— Бесспорно — да! Бесспорно — так! Вижу, у красных можно дышать и царским генералам, если вы не поставили меня немедленно к стенке.

— Зачем же немедленно к стенке? — вздохнул Никифор Иванович.

Освобождение Омска обрушило на командарма и члена Реввоенсовета лавину неотложных дел. В штаб армии стекались люди с жалобами, просьбами. Восстановление Советов в Сибири, преследование отступавших армий адмирала требовали непрерывной деятельности. Оба спали тут же, в кабинете, на кожаных диванах.

— Телеграмма из Москвы,— доложил вошедший адъютант.

— Двадцать седьмая дивизия награждена орденом Красного Знамени. Дивизии присвоено звание Омской. — Командарм передал телеграмму Никифору Ивановичу, и опять праздничное выражение проступило на лице его.

— Чудесно! Надо представить к награде героев Омска, у меня и список составлен. Все правильно, а?

— Нет, неправильно! — Тухачевский вычеркнул из списка свою фамилию.— Первым героем Омска является Степан Сергеевич Вострецов, вот уж он действительно солдат и герой революции! Вторым я ставлю Александра Васильевича Павлова, ведь именно его дивизия раньше всех вошла в Омск. Что у вас еще? — спросил Тухачевский адъютанта.

— Командиры спрашивают, как поступать с пленными.

— Прежде всего накормить их.

— Какой-то старик требует приема. Задержан один подозрительный тип — отвинчивал дверные ручки у вашего автомобиля.

— Попросите сперва старика.

Беловолосый старичок в меховом тулупчике, остроконечной бархатной шапке монаха перешагнул порог.

— Кто здесь генерал Тухачевский? — запальчиво спросил он.

— Подпоручик Тухачевский слушает вас,— не обращая внимания на запальчивость посетителя, ответил командарм.

— Красные признают ли Суворова?

— С кем имею честь разговаривать?

— С праправнуком Суворова! Ваши чудо-богатыри вышибли меня из моего дома. Я пошел искать на них управу, заодно и правду. — Старик снял колпак, голова его с белым хохолком волос действительно чем-то напоминала Суворова.

— На подвигах Суворова Россия воспитывала поколения победителей. А вы имеете свидетельства родственных отношений с генералиссимусом?

Старик выложил на стол пачку изношенных документов.

— Мы проверим. Люди, обидевшие вас, извинятся за свое невольное невежество.

После ухода старика адъютант ввел посиневшую личность в драповом пальто, резиновых калошах на босу ногу.

— Это вы отвинчиваете ручки? — спросил Тухачевский.

— Это я отвинчиваю,— прохрипела личность. — За такие ручки любая торговка даст стакан самогона. Они позванивают на морозе, как трубы органа. Впрочем, для вас орган — инструмент бесполезный, а Бетховен, бесспорно, классовый враг.

— Вы кто по профессии? — осведомился Никифор Иванович.

— Музыкант. Если вернее, скрипач.

— Где же ваша скрипка?

— Пропил в страхе перед вашим приходом.

— Настоящий мастер не пропивает свой инструмент.

— Вижу человека, далекого от мира искусства. Можно пить водку и быть хорошим музыкантом. Дайте мне скрипку, и я сыграю вам бетховенскую сонату.— Сизое, опухшее лицо музыканта стало осмысленным, даже приятным.— Впрочем, я хочу от вас невозможного.

— Играйте! — Тухачевский достал футляр со скрипкой.

Музыкант отступил на шаг, взял скрипку, бережно погладил, произнес почти трезвым голосом:

— Прекрасная скрипка! Где вы, юноша, ее раздобыли? Прежде чем сыграть, я продекламирую вам стихи.

Он прочел хрипло, приглушенно:

Милый мальчик, ты так весел,
так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье,
отравляющем миры.
Ты не знаешь, ты не знаешь,
что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас
начинателя игры.
Тот, кто взял ее однажды
в повелительные руки,
У того исчез навеки
безмятежный свет очей...
Духи ада любят слушать
эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки
по дорогам скрипачей.
Мальчик, дальше! Здесь
не встретишь
ни веселья, ни сокровищ.
Но, я вижу, ты смеешься,
эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой,
погляди в глаза чудовищ
И погибни славной смертью,
страшной смертью скрипача.

— Чьи стихи вы читали? — спросил командарм.

— А, не все ли равно! — Музыкант поднял над головой смычок, резко опустил на скрипку.

Скрипка вскрикнула, словно от боли, потом запела. Тухачевскому почудилось — на заиндевелых стеклах вспыхивают синие, алые, оранжевые искры, мохнатые веточки инея трепещут, как звездный свет, а звуки бетховенской музыки перемещают, перестраивают нежную радугу красок,— синее становится алым, оранжевое — голубым. Властный голос скрипки уносил его в необозримые дали, манил к еще не открытым высотам.

Он очнулся, когда скрипка смолкла, а Никифор Иванович проговорил:

— Пушки могут стать обыденностью жизни, музыка — никогда. В музыке Бетховена слышен гром революции...

— Славный инструмент.— Музыкант с сожалением положил скрипку на стол.

— Я дарю ее вам! Пусть это будет подарок человека, который мечтает стать мастером скрипок, но пока лишь любитель музыки.— Тухачевский приказал адъютанту: — Выдайте этому товарищу валенки. Отвезите его домой.

— Что за талантище! — восторгался Никифор Иванович.— Будто обмыл мою душу в родниковой воде.

Тухачевский посмотрел на члена Реввоенсовета смеющимися глазами: музыка была для него и радостью жизни, и необходимостью, и той свободой, без которой невозможно жить и работать.

30

Давид Саблин снова ощущал себя значительной личностью: он наслаждался властью, и наслаждение тлело в каждой оспинке его тугого лица. Власть делала Саблина более ярким и броским: даже комиссары и командиры стали относиться к нему с повышенным почтением.

Саблин работал с утра до позднего вечера: допрашивал арестованных, рылся в архивах колчаковского полевого контроля.

В Особый отдел шли люди по самым неожиданным делам; в иных приходящих Саблин подозревал контрреволюционеров. Он обладал исключительной памятью на лица, помнил даже мимолетные встречи, при допросах любил постращать и унизить, показать свою власть над людьми.

В комнату вошел человек в бараньем полушубке, сдернул малахай, протер заиндевелые веки, но не успел открыть рта, как Саблин насмешливо воскликнул:

— Блудный сын Курочкин явился? Думал, что здесь его белогвардейские дружки дожидаются. Зачем пожаловал, Курочкин?

— Здравствуйте, товарищ Саблин! — растерянно улыбнулся вошедший.

— Эсер большевику не товарищ! Погончики-то с плечиков вон?

— Я у Колчака не служил,— возразил Курочкин,— я в подполье скрывался, а сейчас хочу вступить в Красную Армию.

— Красная Армия — армия классовая, а ты эсер. Ваш брат заговоры любит устраивать. Забыл? Контрреволюционные мятежи затевать. Не помнишь?

— Я ни в заговорах, ни в мятежах не участвовал...

— Кое-какие меньшевики да эсеры в помощниках у адмирала ходили,— говорил Саблин, сразу распаляясь злобой к Курочкину.— У нас еще до революции разногласия были. Вспомни ссылку. Ты тогда не верил в пролетарскую революцию, а такое неверие равноценно измене. Вот именно — измене! А как ты позже распинался в защиту Учредительного собрания, лобызался с Керенским!..

— Ни с кем я не лобызался, зря на меня клепаешь,— бормотал Курочкин, ошарашенный обвинениями Саблина, растерянно глядя на его низкий, широкий лоб.

— Стану я на такого паскудника клепать! — рассвирепел Саблин. Захотелось поставить к стенке Курочкина, но Саблин подавил свой жгучий порыв. «У меня нет формальных оснований для расстрела. Этот тип объявил при свидетелях о своем желании служить в Красной Армии. Если о расстреле узнают Тухачевский или Никифор Иванович, мне не поздоровится. А надо попугать его». Он приказал начальнику караула:

— Выведи этого субчика во двор — и в расход...

Начальник караула нехотя поднялся, не веря в серьезность саблинского приказа. Курочкин побелел, огоньки в зрачках потухли, руки опустились.

— Как ты смеешь измываться над человеком! — раздался глухой гневный голос Никифора Ивановича. Он стоял в полураскрытой двери с какой-то папкой в руке и слышал весь разговор Саблина с Курочкиным. — Как ты смеешь! Если этот человек в чем-то виновен, то надо доказывать вину, а не угрожать расстрелом. Оружие на стол! — крикнул Никифор Иванович.

Саблин торопливо вынул из кобуры маузер.

— А теперь отправляйся на гауптвахту. Десять суток! Я отстраняю тебя от обязанности следователя.

Выслав из комнаты Саблина и Курочкина, Никифор Иванович присел к столу, раскрыл папку. С горечью человека, обманутого в самых лучших чувствах, выдрал из папки шелковый белый лоскуток. На нем тушью мельчайшими буквочками было выведено: «Сим удостоверяется, что товарищ Садке Шандор работает представителем Сибуралбюро при ЦК РКП(б)».

— Подпись тут моя, ничего не скажешь.— Никифор Иванович отбросил лоскут.— Почти год действовал провокатор, а мы

верили ему, как самому надежному товарищу, и только случай помог разоблачить Садке.

С той минуты, когда Никифор Иванович убедился, что Садке провокатор, какая-то непонятная опасность постоянно чудилась ему: так бессознательно опасаются чучела гадюки.

Никифор Иванович приказал привести арестованного.

Высокий, атлетически сложенный, красивый человек встал у порога, окинул бархатистыми глазами кабинет, стол с грудой бумаг. Как и раньше, он произвел впечатление на Никифора Ивановича, только сейчас это было совсем иное впечатление. Ненависть и презрение испытывал он к разоблаченному теперь провокатору, виновнику гибели многих товарищей.

— Сибуралбюро направило в Омск двух представителей с крупной суммой для подпольного комитета партии. Деньги были запрятаны в выдолбленное сиденье кошевки. Что случилось с ними?

— Они расстреляны. Деньги,— кажется, три миллиона рублей,— поступили в адмиральскую казну...

— Старик крестьянин вез в Челябинск директивы Центрального Комитета партии. Он бесследно исчез.

— Это мое дело, мое дело,— поспешно согласился Садке.— Крестьянина повесили в Челябинске...

— Охранка летом арестовала видных деятелей омского подполья.

— Это я выдал их.

— Провал конспиративной квартиры в Омске и гибель Артемия тоже ваше дело?

— Да.

Никифор Иванович смотрел на матовое, чистое, с остроконечной бородкой лицо Садке. «Его физиономия — всего лишь маска, двоедушная, циничная, примитивная, но и страшная в своем примитиве. Время старого режима порождало таких моральных уродов, время белой тьмы утроило их уродство».

— Почему вы стали на путь предательства?

— Честолюбцы стремятся к власти, люди страстей — к удовольствиям.

— Клейма предательства с вас уже не смоешь, как с леопарда пятен.

— Зря вы сказали про леопарда. Лишь бы сравнить меня с зверем, сказали. А сравнение с Иудой уже устарело?

— Библейский предатель был все-таки человеком.

— Ну да, ну конечно, он предал только господа бога. Для меня ваши слова о предательстве не имеют никакого значения. Я боролся с вами с помощью лицемерия и ненависти: ненависть придавала силы, лицемерие служило ширмой. В борьбе с вами хороши любые средства, допустимы все способы, полезны всякие уловки, но я еще обладал незаметной, убийственной вла-

стью. Я скрывал свои тайны, но погружался в раскрытие ваших...

Никифор Иванович терпеливо выслушал провокатора, ответил с нескрываемым презрением:

— Могучие исторические явления не обходятся без грязной пены. С вами разговор будет не длиннее выстрела...

31

Командиры Пятой армии уже несколько дней ожидали этой новости: Тухачевский отзывался с Восточного фронта.

— На Кавказ нашего командарма посылают. Он свернул шею Колчаку, свернет шею и Деникину,— говорил Никифор Иванович начдиву Генриху Эйхе. — А вас Реввоенсовет назначает командармом Пятой. Возражать, надеюсь, не будете? — Лицо Никифора Ивановича осветилось широкой, сердечной улыбкой: ему доставляло удовольствие сообщать людям приятные новости.

В резиденции бывшего верховного правителя теперь стало шумно: командиры и комиссары Пятой армии собрались на прощальный вечер в честь отъезжающего командарма. Никифор Иванович молча прислушивался к спорам молодых людей. «Они не только сыновья своих отцов, они — дети нынешнего великого времени,— думал он. — Разрушая старое, они творят новое и творчеством этим совершенно отличаются от людей предыдущих поколений». Доносились до него и беспечные, глубокомысленные или хвастливые фразы. Говорили все сразу, утверждая свою, часто туманную, без точных очертаний, мысль.

— Ты все-таки ответь: бытие определяет сознание или ничто человеческое нам не чуждо?

— В жизни ничего нельзя восстановить иначе, как в форме искусства.

— А как же идеи?

— Идеи под пулями приобретают четкие формы.

— У тебя нет своего понимания будущего. Ты будущее представляешь по чужим словам.

— Смерть одного — трагедия, гибель миллиона — статистика.

— Стремление к счастью — прекрасно! Достижение полного счастья — катастрофа.

— Не произноси парадоксов!

— Парадоксами насыщена вся история. Сен-Жюст рубил головы во имя Республики. Наполеон делал то же самое ради личной власти.

— К черту наполеонов и сен-жюстов! Все они — прошлое, мы — новые люди истории. В человеке всегда живет ощущение будущего.

— Браво, новый человек! Ты повторил изречение Цицерона, жившего за тысячу лет до тебя.

— Я что, по-твоему, нуль? — хорохорился кто-то.— Я личность!

— Я не из тех, кто правой и левой ногами стоит на разных истинах.

— Поражен широтой мышления нашего командарма,— говорил Альберт Лапин.— Ценю в Тухачевском не только ум, ценю совесть. Она необходима полководцу, как поэту чуткость слова.

— Латышей люблю — нация отважных! — сказал Никифор Иванович.— Латыши войдут в легенды революции.

Ему было над чем поразмышлять в окружении этих молодых, страстных, отчаянно смелых людей с самостоятельными идеями и твердыми принципами. И это доставляло старому большевику-подпольщику удовольствие: недаром все-таки он и его товарищи жили на земле.

Вошел Тухачевский, и общий шум сразу улегся. Никифор Иванович подметил выражение будничной озабоченности на лице командарма.

— Простите, что задержался,— сказал Тухачевский.— Я выезжаю в Москву сегодня ночью. У всех у нас уйма дел и в обрез времени, а сейчас приходится особенно беречь время. Жизнь скупа на лишние минуты.— Командарм прошел к столу, выждал мгновение.— Весь девятнадцатый год мы сражались и побеждали. Предлагаю тост за победу над Колчаком. И за скорую встречу. Я убежден — скоро мы все соберемся на юге.— Тухачевский остановил взгляд серых ясных глаз на Витовте Путне. — Мой друг Путна недавно издал приказ по своему полку. Вот что он писал: «У наших врагов лучшие французские, английские и русские генералы, у них есть ученые, а мы простые рабочие и мужики. Если мы дадим генералам возможность думать, они нас передумают и победят. Не давайте им думать, товарищи красноармейцы!» Дорогой Путна, твой приказ оригинален, но ты неправ. Рабочие и крестьяне за год прошли такую школу войны, что многие из них стали комбригами, комдивами, командармами революции. Из солдат они превратились в стратегов, научились бить и царских и иноземных генералов. Лучшее свидетельство этому то, что мы в Омске. Мы «передумали» наших неглупых врагов и победили. Но, побеждая, мы не имеем права на зазнайство. Учиться надо нам всем — от комбата до главкома, ибо без военных знаний нет хороших командиров. Без точных наук невозможно создавать новую, победоносную армию народа. И еще в одном неправ Путна. Он полагает, что все ученые у контрреволюции, но лучшие-то умы русской интеллигенции с народом.

Никифор Иванович поднялся, сказал задыхающимся от волнения голосом:

— Счастливого пути, командарм. Я рад, что дожил до времени, когда революция вскормила своих орлов.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Восточный фронт, еще недавно разбросанный на необозримых пространствах, сократился до узенькой полосы между Сибирской трансмагистралью и Московским трактом.

Пятая армия преследовала отступающие войска Колчака. Под командование Генриха Эйхе, из Третьей армии в Пятую, перешли две дивизии; начальником Тридцатой дивизии новый командарм назначил Альберта Лапина.

Белые отходили на Новониколаевск, оставляя на своем вьюжном пути тысячи трупов. Умершие от тифа, от ран, замерзшие люди лежали в брошенных вагонах, в станционных залах, просто на перронах.

Под Барабинском белые приостановились: Каппель решил дать здесь бой наступающим красным.

В ночь на первое декабря, когда к Барабинску подошла бригада Грызлова, вовсю разыгралась метель. На Московском тракте, на железной дороге вырастали сугробы, казалось, земля и небо растворились в белом месиве. В метели и развернулся бой, больше похожий на скоротечную ожесточенную схватку.

Грызлов не мог применить пулеметы: в кожухах застыла вода. Красноармейцы дрались с белыми врукопашную. В эти ночные часы сам Грызлов был несколько раз на волосок от смерти, его спасало или собственное мужество, или бесстрашие бойцов.

К рассвету белые оставили Барабинск. Грызлов ввалился на станционный телеграф, чтобы сообщить о взятии городка. Пока колдовали над испорченным аппаратом, вбежал связной.

— Енерала пóймали! — торжествующе сообщил он.

— Что за генерал?

— Кабыть сами Кильчак, бородища до пупа!

— Давай его сюда, полюбуюсь твоим генералом.

Связной ввел сивобородого казака в одной гимнастерке; над

головой держал он свой полушубок и баранью папаху с кокардой.

— Ты откуда? — грозно спросил Грызлов.

— Из Семипалатного я, казак тамошний.

— Почему против народа идешь?

— Дак я же цареву службу несу. Верой-правдой отечеству служу.

— Верой-правдой? Ты царю с помещиками служишь, а царь-то уже на том свете. К стенке б тебя, старого хрыча, и дыма не останется. В какой части служил?

— У Анненкова, в Семипалатном. Про черного атамана слыхал, чать?

— Зверь, говорят, первостатейный?

— Не приведи бог! — Казак перекрестился.— Второго такого не токмо в сибирских краях, во всей России нет.

— Кем же ты у него был? Рядовой или поднимай выше?

— Знаменосец я. Святое знамя носил.

— Святое! Ух ты!.. Белое знамя — постыдное знамя!..

— Ставь меня к стенке хоть сей минут, а мое знамя — святыня русская.— Казак приподнял гимнастерку, сдернул с грязного тела выцветший зеленый шелк.— Вот оно! Из-за него я от колчаковцев к вам утек. Оно дороже моей и твоей жизни, с ним Ермак Тимофеевич в сибирский поход ходил...

Грызлов, уже бережно и любопытствуя, развернул знамя, пощупал упругое полотно.

— А ты не врешь?

— Упаси бог! Любой чалдон скажет, что Ермаково знамя в омском казачьем соборе хранится. Только атаман Анненков из собора-то его уволок.

— Ладно, будешь пока при моем штабе. Я еще с тобой потолкую,— объявил Грызлов.— А обратно побежишь — прикончат тебя...

Телеграфист доложил, что «морзе» наконец заработал.

— Я вызвал Татарскую. Сам начдив на проводе.

Грызлов отрапортовал начдиву, что Барабинск взят, много пленных, большие трофеи. Не удержался, добавил:

— Захвачено знамя Ермака, похищенное белыми из омского собора.

Замолчал, прислушиваясь к постукиванию телеграфного аппарата.

«Из соприкосновения с противником... не выходить,— читал ленту телеграфист.— Знамя Ермака... беречь... как свои глаза».

Бригада снова преследовала колчаковцев, без боя оставлявших все станции. Почти за двести верст от Новониколаевска железнодорожная линия была забита брошенными поездами.

Грызлов заглядывал в вагоны и видел ковры, тазы, самовары, пианино. На площадках стояли коровы, на крышах мостились клетки с курами.

Колчак не стал оборонять Новониколаевск: он спешил вывести как можно больше войск за Енисей. В Саянах или на Байкале адмирал думал отсидеться, подготовиться к контрнаступлению.

Тринадцатого декабря авангардные полки бригады Грызлова с ходу заняли Новониколаевск.

— У меня тринадцать — счастливое число. Тринадцатого числа родился, тринадцатого женился, тринадцатого вошел в Новониколаевск. Городок, правда, хуже некуда, зато трофеев набрали в обе руки,— хвастался перед друзьями Грызлов.

Трофеи были поистине неисчислимы. Полки бригады пленили штабы двух колчаковских армий, им сдались тридцать две тысячи солдат. Вся тяжелая артиллерия, автомобили, бронепоезда, радиостанции, авиационные мастерские перешли в руки красных.

Со взводом красноармейцев Грызлов разъезжал по городу, успевая вершить десятки дел: вылавливал переодетых офицеров, тушил пожары, выводил на чистую воду иностранных дипломатов, укрывающих на своих квартирах сибирских богачей. Комбригу донесли, что на станции грабят военные склады. Он помчался туда.

Люди, как в разворошенном муравейнике, толкались между складами.

Какой-то тип винтовочным выстрелом пробил цистерну со спиртом, стоявшую около винного погреба; ударила, радужно переливаясь на морозе, острая струя, под ней столпились люди. Они ловили струю ладонями, глотали снег, пропитанный спиртом, подставляли котелки и шапки. Чьи-то дюжие руки начали выкатывать бочки из погреба; желтые и алые лужи окрасили снег, запахло букетом вин, толпа радостно взвыла.

— Прочь с дороги! Круши бочки к чертовой матери! — проорланил Грызлов.

Красноармейцы разбивали прикладами бочки, хлестали винные потоки, пропитывая шинели густыми пряными ароматами. Грызлов, задохнувшийся от винного запаха, выскочил на свежий воздух и попал в озлобленную толпу.

— Ты пошто не по совести? Кильчак нас грабил, теперича мы его...

— Чево с ним рассусоливать, бей его в шею! — взревел парень и, размахивая железной палкой, пошел на комбрига.

Грызлов выстрелил, парень упал навзничь, толпа кинулась врассыпную.

2

— Разнузданные страсти так же опасны, как и стихийные бедствия,— сказал Никифор Иванович, выслушав сообщение о грабежах.— У толпы логика примитивна: «Колчак нас грабил, теперича мы его»,— вот и все ее мотивы.

Никифор Иванович долго чиркал зажигалкой, высекая синий огонек. Закурил самокрутку, закашлялся, чахоточные пятна проступили на его скулах. Глянул на знамя Ермака, висевшее на стенке салон-вагона, спросил Саблина:

— Вы допрашивали знаменосца из отряда Анненкова?

— Три часа толковал.

— Что же он говорит об Анненкове?

— Страшные вещи, Никифор Иванович.

— Можете нарисовать словесный портрет атамана?

— Анненков среднего роста, у него длинная голова, бескровное лицо, карие глаза, заостренный нос. Человек как человек с виду, а душою зверь. Нет, не то слово. Вурдалак, изверг, садист — вот кто такой Анненков. Впрочем, характер атамана остается для меня неясным. Он человек недюжинного ума, отличается звериной храбростью. В мировую войну Анненков стал полным георгиевским кавалером, получил британскую золотую медаль, французский орден Почетного легиона. Не пьет, не курит, избегает женщин. Но он — бретёр, ищущий любого повода для скандала, и приходит в бешенство по пустякам. А уважает только силу. Офицеры опасливо разговаривают с этим циничным человеком, готовым каждую минуту ухватиться за револьвер.

Ветры революции занесли Анненкова в Кокчетав, где укрывались царские офицеры, авантюристы да искатели приключений, сбежавшие от большевиков. Из них-то и создал свое братство кондотьеров Анненков, связав всех круговой порукой. Каждый вступающий приносит клятву преданности атаману.

«С нами Бог и атаман! Бог на небе, атаман на земле». На груди новичка накалывают татуировку: крест, под крестом череп и скрещенные кости; эмблему эту обвивают две змеи. Особые значки с крестом и черепом носят солдаты на фуражках, офицеры — на голенищах сапог. Девиз «С нами Бог и атаман» начерчен на полковых знаменах. Анненков заменил чинопочитание обращением «брат солдат», «брат офицер»; это, впрочем, не мешает братьям офицерам за малейшую провинность бить по скулам братьев солдат.

Зимой восемнадцатого года Анненков совершил налет на казачий собор в Омске, где хранились боевые знамена Ермака и Сибирского казачьего войска; с этими знаменами он ушел в Киргизскую степь. Мрачная его слава началась после подавления крестьянского восстания в Славгороде. На Анненкова обратили внимание интервенты и быстрехонько вооружили его; Колчак дал ему чин генерал-майора. «Братство степных кондотьеров» стало отдельной Семиреченской армией в десять тысяч сабель. Анненков одел свои полки и назвал их по цвету мундиров черными гусарами, голубыми уланами, коричневыми кирасирами. Анненков пытался восстановить монархию с помощью террора, изощренность пыток, надругательства над че-

ловеческим телом превзошли у него всякий мыслимый предел,— говорил Саблин.

В салон вбежал испуганный начальник караула.

— Красноармейцы на вокзале убивают пленных! — крикнул он.

Никифор Иванович, на ходу надевая полушубок, бросился на улицу, Саблин догнал его только у вокзала. Начальник караула преувеличил, побоища не было, но красноармейцы, щелкая винтовочными затворами, наседали на своих же товарищей из охраны. Пленные казаки жались друг к другу, безнадежно оглядываясь по сторонам.

— Это их, паскудников, дело! На штыки мерзавцев! — орали распаленные яростью красноармейцы.

Никифор Иванович прошел в пакгауз, и то, что представлялось ему только по документам о злодействах Анненкова, теперь стало явью. Жертвы колчаковского полевого контроля лежали штабелями вдоль стен, и следы жесточайших пыток были на них.

— Мы не можем устраивать самосуд по закону мести и злобы,— обратился он к красноармейцам.— Армия революционного народа побеждает на полях классовых битв. Военный трибунал покарает палачей, но совершит правосудие по закону. Не самосуд, а закон, не произвол, а меч нашей диктатуры приведут в исполнение приговор над палачами. Но то, что вы сейчас видели, запомните! Пусть это всегда напоминает вам о классовой ненависти врагов наших. Историческая память народа бессмертна, но временами ее стараются засеять травой забвения. Это случается по второстепенным причинам, по корыстным побуждениям. Чтобы этого не случилось — помните! Помните, ибо люди, забывающие свое страшное прошлое, рискуют пережить его заново.

3

Эта ночь в сухом морозе, волчьих звездах, с винтовочной перебранкой, окриками часовых, тревожными паровозными свистками казалась адмиралу особенно страшной.

Он сидел, упрятавшись за спинку высокого кресла, накинув на озябшие плечи шинель. На столике оплывала свеча, заиндевевшие стенки салон-вагона дышали волглой плесенью, у окна громоздились ящики с сургучными печатями.

Ящики хранили золото, платину, драгоценности царских дворцов и русских музеев,— они были бесценным, но роковым грузом Колчака.

И все-таки штабель из ящиков в его салон-вагоне — это ничтожная частица русского золотого запаса. Сам же запас, погруженный в двадцать девять пульмановских вагонов, стоит рядом с литерными поездами Колчака.

Уже месяц, как верховный правитель выехал из Омска в Иркутск, а добрался пока лишь до Нижнеудинска. Бесконечный поток эшелонов с чешскими легионерами задерживает поезда адмирала на маленьком тифозном вокзале. Колчак бессилен что-либо сделать, он — пленник, пленник! Верховный правитель России — сам пленник русских военнопленных; власть его сузилась до пределов салон-вагона.

Все направлено против него.

Колчака по пятам преследует Пятая армия, на его пути в Иркутск вспыхивают восстания, станции осаждают вышедшие из тайги сибирские партизаны. Мятежи в собственной армии Колчака приняли прямо-таки устрашающие размеры.

Колчак поднял голову, увидел свое отражение в зеркале: желтый, в морщинах, лоб, впалые, дряблые щеки, большой обвислый нос — все казалось нехорошо в собственной физиономии. Особенно раздражали белые нити в густых, еще крепких висках. Он помахал растопыренной ладонью, как бы стирая в зеркале свое отражение, болезненно нахмурился.

Все эти дни Колчак старался скрыть свою раздражительность, но нервное напряжение достигло предела — вчера за обедом он разбил четыре стакана. Адмирал вытянул шею, откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза. Не хотелось думать, не хотелось вспоминать, но смутные мысли, вернее — тени их, бродили в уме, воспоминания, злые, едкие, не отпускали. Он вяло шевелил губами, не замечая, что разговаривает с самим собой.

— Я бы отбился от красных, справился бы с партизанами, но бессилен перед разложением в своей армии. Против меня не только солдаты — против меня генералы, они организуют мятежи, возглавляют восстания. Гайда поднял мятеж во Владивостоке, в Новониколаевске восстали офицеры с полковником Ивакиным во главе. Восстание в Красноярске подготовил генерал Зиневич. Те же, кто еще верен мне, превратились в орду убийц и насильников. Не я уже — сама смерть стала их вождем! Генерал Гривин отказался защищать Новониколаевск, Войцеховский застрелил его как изменника. Прямо на военном совете. И я не могу наказать Войцеховского — он, да Каппель, да Пепеляевы еще верны мне. Но ведь завтра Войцеховский может пристрелить меня самого. Может — не может, может — не может? — дважды, как заклинание, повторил Колчак и сделал мрачное заключение: — Может.

Он отыскал под столиком саквояж из крокодиловой кожи, вывалил из него кипу донесений, рапортов, приказов, декретов, телеграмм, записей разговоров по прямому проводу, воззваний, прокламаций. Отложил в сторону пачку своих писем Анне Васильевне, выбрал два документа.

Перечитал их, дрожа и белея от бессильной ярости. Его вновь оскорблял меморандум руководителей чешских легионеров.

«Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадежности, составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию?

Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела, и она-то есть причина того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей, становимся соучастниками преступлений...»

Когда Колчак узнал о меморандуме чехов, то совершенно остервенился. Он послал в Иркутск телеграмму, полную неприличных ругательств. Он грозился перевешать руководителей легионеров на телеграфных столбах, приказал разоружить чехословацкие эшелоны.

Между Иркутском, где находилось его правительство, и поездом верховного правителя начались разговоры по прямому проводу. Пепеляев пытался примирить Колчака с чехословаками.

Адмирал взял дрожащими пальцами запись разговора со своим премьер-министром.

«Пепеляев. Полученные телеграммы приводят меня в сомнение, что они подписаны вами.

Колчак. Да. Удивлен вашему запросу.

Пепеляев. Необходимость требует, чтобы они были вычеркнуты из списка. Положение здесь критическое, если конфликт немедленно не будет улажен, переворот неминуем. Общественность требует перемены правительства. Настроение напряженное. Ваш приезд в Иркутск пока крайне нежелателен...

Колчак. Вычеркнуть из списка телеграммы я не могу. Я возрождаю Россию и в противном случае не остановлюсь ни перед чем, чтобы усмирить чехов — наших военнопленных. Я полагаюсь на вас, что сумеете устранить все препятствия к моему скорейшему приезду в Иркутск.

Пепеляев. Я этих телеграмм не принимаю и считаю их по крайней мере неполученными... Вы принимаете меры во имя чести и достоинства России. История наша свято чтит память также и тех собирателей Руси, которые умели терпеть обиды во имя сбережения сил...»

Адмирал отбросил запись переговоров, снял со свечи нагар, уставился невидящим взглядом в белую тьму вагонного окна. На вокзале наступило неожиданное безмолвие: не раздавались паровозные гудки, не скрипел снег под ногами часовых.

Колчак прочитал третий документ — телеграмму о

подавлении мятежа Гайды во Владивостоке. «Атака вокзала, где сосредоточились мятежные легионеры Рудольфа Гайды, была назначена на три часа ночи восемнадцатого ноября. Две батареи с Алеутской улицы должны были бить прямой наводкой в окна вокзала, но сохраняя мозаичные украшения стен.

После артиллерийского обстрела юнкера двинулись к вокзалу, убивая всех встречающихся на пути. Открыли огонь и наши корабли — транспорт «Якут», миноносцы «Лейтенант Милеев» и «Твердый».

В результате атаки захвачен поезд Гайды. Ворвавшиеся на вокзал юнкера закидали гранатами мятежников.

В поезде Гайды обнаружено огромное количество золотых, серебряных вещей, драгоценных украшений, картин, ковров, собольих мехов. В товарных вагонах находились кровные рысаки, а также автомобиль марки «кадиллак». Личная охрана Гайды, состоявшая из поляков и сербов, одетых в формы царского конвоя, разоружена...»

Какая-то фраза неприятно царапнула сознание, верховный правитель рыскнул глазами по тексту. Отыскал ее: «...бить прямой наводкой в окна вокзала, но сохраняя мозаичные украшения стен».

— Юнкера закидали гранатами мятежников,— повторил Колчак и попытался представить себе груду мертвецов. Не смог. Количество расстрелянных не трогало ума, не волновало сердца, зато он совершенно отчетливо представил цветы, травы, гроздья плодов, выложенные синими и зелеными плитками на стенах владивостокского вокзала.

Заиндевелое окно походило на экран синематографа и алмазно искрилось снежными звездами. Внезапно Колчак увидел на экране окна Рудольфа Гайду в длинной солдатской шинели, фуражке с прямым козырьком и бело-красной ленточкой на околыше. Толстоносое, золотозубое лицо его было болезненно-тусклым.

«Почему ты без знаков отличия?»

«Я лишен всех отличий вашим превосходительством».

«Ты оказался бесчестным предателем».

«Честных предателей не бывает, но есть неблагодарные политики. Я больше всех сделал, чтобы вы стали верховным правителем, я привез вас в Омск, я помог свергнуть Директорию. Впрочем, ваш переворот был переворотом без легенды».

«Зачем ты поднял мятеж во Владивостоке? Захотелось в русские бонапарты? Тоже мне Наполеон одной ночи!»— прошипел адмирал, испытывая к Гайде беспредельную злобу.

Трепыхался беспомощный язычок свечи, в салон-вагоне тянуло запахом плесени, сырости и еще чем-то, напоминающим трупный тлен.

На кого еще надеяться? Позавчера он надеялся на Гривина — его застрелил Войцеховский. Вчера возлагал надежду на

генерала Сахарова — его арестовали братья Пепеляевы. «Я назначил Каппеля главнокомандующим остатками армии,— может, этот не подведет?» — тоскливо подумал адмирал и опять поднял глаза на заиндевелое окно. Светлое пятнышко — отражение свечи — колебалось на нем, и вот из пятна вырос генерал Каппель. Адмиралу послышался его резкий, по-стеклянному ломкий голос:

«Я только что разговаривал по прямому проводу с генералом Сыровым. Он спросил, что мне угодно. Я сказал: «Мне угодно знать, правда ли, что задержаны поезда верховного правителя? Мне угодно знать, правда ли, что вы не даете ему паровозов?»

«Поезда адмирала срывают эвакуацию чешских войск. Из-за русской армии я не желаю вступать в арьергардные бои с большевиками».

«Это оскорбление армии и верховного правителя! Я требую внеочередного пропуска поездов адмирала!»

«Сперва мои эшелоны, потом все остальное».

«Если вы не исполните моего требования, я вызову вас к барьеру! Мы будем стреляться, господин генерал!»

Колчак потушил свечу, окно потемнело. Он встал, прислонился к ящикам с золотом, закурил.

Ночь за окном взорвалась похабной руганью, угрожающими окриками. У литерных поездов сменялись караулы: еще вчера смена их происходила тихо и чинно, сегодня даже офицеры позабыли о почтительной тишине у поезда верховного правителя.

— Кто идет?

— Свои, свои...

— Пароль?

— С нами бог и Россия.

Заскрежетали ступени вагонного тамбура, кто-то осторожно поскребся в дверь.

— Ну, да-да,— отозвался адмирал.

В салон проскользнул закуржавелый, лиловый с холода ротмистр Долгушин.

— Из Иркутска прибыл поезд председателя совета министров господина Пепеляева. Он просит, ваше превосходительство, срочно принять его.

4

Разговор у них начался на высоких, резких нотах и уже не мог перелиться в плавную беседу. Нетерпеливо, раздраженно, озлобленно слушал Колчак своего премьер-министра:

— Ваши телеграммы с угрозами в адрес чехов создали тяжелый конфликт. Расстрел легионеров во Владивостоке углубил пропасть. Чехи сражаться с красными больше не желают, охранять сибирскую магистраль не станут. С уходом послед-

него чешского эшелона дорогу захватят партизаны. Вокруг у нас одни недруги, союзники тоже стали врагами. Генерал Жанен помогает иркутским эсерам, генерал Нокс думает, как поджентльменски выдать ваше превосходительство большевикам. Наша армия бессильна остановить наступление красных. Атаман Семенов едва справляется с партизанами на востоке. Кто бы ни поднял сейчас восстание против вашей власти, он будет иметь успех.

— Если сам премьер-министр готов помириться с большевиками, то белое движение и в самом деле погибло,— угрюмо проговорил Колчак.

— Я никогда не примирюсь с большевиками! И хотя все требуют вашего отречения, я не могу на это согласиться. Сегодня нам особенно нужен символ государственного единства России, а вы и есть тот символ,— сказал Пепеляев. — Я сформировал новое правительство, оно будет правительством борьбы с большевиками. Правительственный аппарат от всероссийских масштабов перейдет к масштабам сибирским. С преданным сердцем приехал я к вам, еще не поздно спасти вашу верховную власть,— заключил Пепеляев, в душе не веря в правду собственных слов.

Адмирал догадался об этом и обрушился с упреками на Пепеляева. Чувствуя свою несправедливость, распалился еще больше:

— Все иуды встали в очередь, чтобы поскорее предать меня. Мои министры отдали меня мятежным чехам, те кинут на расправу большевикам. Все мечтают спастись ценою моей головы! — запальчиво выкрикивал Колчак. — Только просчитаетесь, господа! Я приказал атаману Семенову прибыть в Иркутск для усмирения и красных и белых. Он перевешает на столбах и министров вкупе с большевиками!

Ошеломленный этим взрывом бешенства, Пепеляев молчал. Адмирал же, мрачный, черный, дрожащий от злобы, вышел на середину салона.

— Я растопчу своих противников, утоплю их в грязи. Позор, позор! Пятитысячный гарнизон Иркутска не может справиться с бандами, с толпами мужиков, вооруженных топорами. Срам! Идите пока в свой вагон, я вызову вас.

Колчак снова остался один. Тоска его все росла, клещами сжимая сердце. Он навалился грудью на столик, слабо хрустнуло сукно кителя: раздавил в грудном кармане футлярчик, в котором хранилась иконка божьей матери — подарок покойной императрицы.

«Не уберег память о ее величестве»,— подумал он, и страх охватил его. Во всей голой неприглядности представил он себе собственную гибель.

— Я один, совершенно один! — громко сказал он.

— Я всегда с вами, Александр Васильевич...

Он повернулся на голос — в дверях стояла Анна Тимирева, придерживая пальцами оленью дошку, накинутую на плечи. Ее серые, подсвеченные синим светом глаза влюбленно смотрели на адмирала. Анна присела к столику, облокотилась, подперла кулачком подбородок.

— Что бы ни случилось, я всегда с вами,— решительно повторила она, и серые глаза ее непреклонно сверкнули.

— Меня страшит мысль о вашей судьбе, Анна.

— Что моя жизнь, если погибнете вы! Если Россия...

— Россия не может погибнуть, Анна. Скорее исчезнем мы, дворяне, проигравшие все, что столетиями приобретали наши предки... А, да что там! Не хочу ничего вспоминать!

— Хороши лишь одни воспоминания юности,— сказала она.

— Вот это правда,— оживился он. — Незабвенно то время, когда я был лейтенантом. — Румянец проступил на его впалых щеках. — Странно! Даже лучшие воспоминания моей юности связаны с трагическими событиями. Вот вспомнилась экспедиция барона Толля, погибшая в Ледовитом океане. Я искал ее.

— Это самая неизвестная для меня страница вашей жизни. Вы обещали рассказать.

— Сожалею о времени, растраченном попусту. — Адмирал прикрыл глаза, и мгновенно пронеслись перед ним воды Северного океана, вздыбленные торосы, голые скалы земли Беннетта. — Кажется, там был не я, кто-то похожий на меня. Совсем иной человек. — Он сверху вниз посмотрел на Анну; ее глаза из вагонной тени светились сочувственно и понимающе.

Рассветало. В сером сумраке завиднелись стены вокзала, кучи снега, припрыгивающие на морозе часовые. Мимо салон-вагона прошагал чешский капитан с ухмылкой на толстой физиономии.

Колчак свел к переносице брови. Он страшился думать о будущем, но не сожалел и о прошлом. Ему только хотелось прижаться головой к хрупкому плечу любимой женщины, сказать ей: «Все предали меня, кроме тебя. Лишь твоя любовь не знает предательства».

5

В салон-вагон с похоронным видом вошел Долгушин.

— Что с вами, ротмистр? — подозрительно спросил адмирал.

— Чешский военный комендант получил новые инструкции относительно вашего превосходительства от генерала Жанена.

— Какие инструкции?

— Поезда ваши и золотой эшелон взяты под охрану союзных держав.

— Дальше что? — резко спросил Колчак.

— Когда обстановка позволит, поезда пойдут в Иркутск под флагами Англии, США, Франции, Японии и Чехословакии...

— Золотой запас России не может следовать без русского флага.

— Генерал Жанен советует вам ехать одному, без золота.

— Что, что? — Адмирал резко повернулся, опрокинул свечу. Долгушин поднял ее; слабый огонек выхватил из темноты фигуру растерявшегося вдруг Колчака. — Напрасно они думают, что я, адмирал Колчак, брошу золото и конвой. Один я не поеду.

— Осмелюсь заметить...

— Я сказал— нет!

— Здешние большевики закидали конвой прокламациями. Они требуют, чтобы солдаты арестовали вас.

— А я верю своему конвою. Мы пробьемся в Иркутск.

— У нас теперь только два выхода: первый — подчиниться требованиям союзников...

— Я отбрасываю этот выход!..

— ...или уйти в Монголию,— закончил свою мысль Долгушин.

— В Монголию? Зачем в Монголию? — удивился Колчак.

— Я советую вам... — И ротмистр изложил свой план ухода из Нижнеудинска: — Отсюда до монгольской границы верст триста. К ней ведет старый почтовый тракт. По монгольским степям мы уйдем в Китай...

— А золотой запас? — вновь вернулся верховный к вопросу, больше всего занимавшему его.

— Немыслимо взять с собой двадцать девять вагонов.

— Я не оставлю чехам золото,— упрямо стоял на своем Колчак.

— Бог мой! Да разве оно достанется им? Этого не допустят наши более могущественные союзники,— иронически усмехнулся Долгушин.

— Хорошо, я согласен,— вдруг уступил адмирал. — Лучше уход в Монголию, чем опасное сидение в Нижнеудинске. Соберите офицеров конвоя, я скажу им несколько слов. Кстати, где эти прокламации?

Долгушин подал ему пачку листовок.

— Когда вам угодно встретиться с офицерами?

— Немедленно! — Колчак загорелся неожиданной надеждой вырваться из чешского плена.

Он развернул пачку листовок, прочел крупный заголовок: «Смерть Колчаку — врагу России!»

— Идиотские слова, даже не обидно! — сказал он таким тоном, что Долгушин понял, как задели Колчака эти листовки.

У вагона раздались шаги офицеров конвоя. Они вошли, почерневшие от грязи, небритые, исхудалые, в оборванных шинелях, замызганных полушубках.

— Господа офицеры, наше положение таково, что надо уходить в Монголию. Передайте солдатам — желающие могут остаться здесь. Я предоставляю каждому свободу выбора. У кого есть вопросы? — сказал Колчак.

— Ваше превосходительство, говорят, что союзники согласны вывезти вас одного в Иркутск? — спросил начальник конвоя.

— Да, полковник.

— Тогда вам лучше уехать без нас. Так и вам и нам безопаснее.

— Вы меня бросаете! — крикнул Колчак, словно его ударило током.

— Никак нет! Я говорю о том, как было бы лучше.

— Солдаты пойдут со мной без всякого принуждения, я убежден в их преданности. Вы пока свободны, господа...

Колчак опустился в кресло, с отвращением поглядел на затоптанный пол, побуревшие от угольной пыли стекла — еще недавно они были чистыми.

Почему-то подумалось: он уже все сделал — назначил главнокомандующим Каппеля, скоро передаст верховную власть Деникину, остается лишь незаметно раствориться в бушующем народном море.

Но от этого он не чувствовал облегчения. Не было и необходимого ощущения свободы. Да и как мог он избавиться от мысли, что он, Колчак, стал ныне символом массовых казней, порок, пепелищ, погромов, разгула палачей? Он — олицетворение диктатуры авантюристов.

Отныне его будут проклинать, ненавидеть, никто не скажет о нем доброго слова, не снимет с него даже тысячной доли вины. «В конце концов, я сам сделал насилие своей официальной политикой. Мне не в чем раскаиваться. Я служил войне — единственная служба, которую искренне ценю и люблю».

В салон вбежал испуганный Долгушин.

— Ваше прево... — выдохнул он. — Ваше... ваше...

— Что там еще стряслось? — хмуро и недовольно спросил Колчак.

— Солдаты конвоя ушли к большевикам...

— Как... ушли? Все ушли! Я верил своим солдатам, а они меня бросили и ушли...

— Пока нет причин остерегаться союзников.

— Предадут меня союзники, ротмистр,— печально сказал Колчак.

— Если вы сомневаетесь в них, переоденьтесь солдатом. Укроем вас в чешских эшелонах.

— Русскому адмиралу дурно переодеваться в чужой мундир. Скажите коменданту — я готов ехать в Иркутск.

— А как же золотой эшелон? — спросил Долгушин.

— Пусть его охраняют бог, дьявол, чехи, поляки! Мне теперь все равно! — Колчак ударил ногой в ящик, с треском

осыпалась сургучная печать с двуглавым орлом.— А эти ящики перенести в эшелон. Мне, русскому адмиралу, не нужно русское золото.

6

В Иркутске все помыслы вчерашних союзников Колчака вертелись вокруг русского государственного запаса: власть золота магнетически воздействовала на них. В вокзальном ресторане за сдвинутыми столиками, нахохлившись, сидели союзные комиссары и колчаковские министры. Заместитель премьер-министра Червен-Водали говорил трагическим голосом:

— Господа высокие комиссары! Правительство адмирала Колчака находится в критическом положении. В Иркутске незаконно возник Политический центр, состоящий из эсеров, он требует от нас передачи государственной власти. Но согласитесь, этого преступного деяния мы совершить не можем. Сибирские эсеры — единомышленники большевиков, их действия угрожают не только России.

— Сколько перемен, и все за один год,— покачал головой генерал Жанен.— Прошлой осенью Сибирь была против большевизма, теперь она ненавидит Колчака. А ведь во всем виноват он сам, его вина, его вина! Он ведет себя как маньяк, он одержим коварством помешанного. Правду я говорю?

— Совершенная правда! — с неприличной быстротой согласился Червен-Водали.— Но как трудно исправлять чужие ошибки!

— Чужие ошибки всегда хуже своих. Адмирал не оказался бы в столь плачевном состоянии, если бы прислушивался к советам разума. У него не было недостатка в советах,— подчеркнул Жанен.— Я советовал передать золотой запас под мою охрану. Адмирал отказался. Он, видите ли, не доверяет охране союзных держав, а теперь хочет, чтобы я охранял его самого. Я не злопамятен. Золотой эшелон и адмирал будут доставлены в Иркутск под флагами союзников. Над эшелоном надо вывесить и русский флаг. Не возражаю. Не в этом главное. Я жажду увидеть золотой эшелон — вот главное.— Жанен раздул пышные усы, устало положил на стол руки.— Меня беспокоит судьба золота. Ужасно волнует судьба русских ценностей,— повторил он сердито.

— Кстати, куда делись два вагона, отправленные во Владивосток? — осклабился в длинной усмешке полковник Ходсон — комиссар Англии.

— Это золото, сэр, передано Японии в уплату за понесенные нами расходы,— сказал комиссар Като, поднимая перед собой тесно сдвинутые ладони.

— Под чьей охраной, сэр?

— Под охраной генерал-лейтенанта Семенова. У него еще есть силы.

— Ценности, захваченные атаманом Семеновым, ничтожная часть,— заметил Жанен.

— Правительство адмирала просит комиссаров обеспечить золотому эшелону путь на восток,— опять заговорил Червен-Водали. — Если союзники думают получить долги по обязательствам адмирала,— добавил он многозначительно. — Господа высокие комиссары, представители союзных держав! Будьте же посредниками между нами и Иркутским политическим центром. Мы не желаем столкновений с мятежниками.

— У вас просто нет сил подавить мятеж,— заметил хладнокровно полковник Ходсон.

— Хочу предупредить, господа. Страшен не Политцентр, а большевики.

— Я не понимаю идеи, во имя которой иркутские эсеры подняли восстание,— сказал Като. — Зачем им расчищать путь Ленину?

— Это все так сложно, господа высокие комиссары! Но я снова осмелюсь просить... Можем ли мы питать надежду? История не ждет. Судьба правительства адмирала на волоске,— тоскливо бормотал Червен-Водали.

Бессвязная речь его покоробила комиссаров: все сердито смотрели в пол. Жанен пошептался с полковником Ходсоном и, глядя в черные круглые глаза Като, сказал:

— Высокие комиссары согласны стать посредниками...

— Мне нужно время на размышление. Прошу перерыва. — Като встал, низенький, жирненький, похожий на будду, одетого в мундир.

— А как же с отречением Колчака? Надо заставить его отказаться от звания верховного правителя,— заговорил все время молчавший генерал Сыровой.

— Телеграф с Нижнеудинском в ваших руках. Предоставьте министрам возможность поговорить с Колчаком. Они и получат его отречение,— посоветовал Жанен.

— Не возражаю, пусть поговорят.

— Адъютант, проводите министров на телеграф,— приказал Жанен.

Из-за колонн возник узколицый, длинноносый офицер:

— Прошу вас, месье, прошу.

Министры, возглавляемые Червен-Водали, прошли мимо стенографиста-офицера из американского экспедиционного корпуса — Юджина Джемса. Адъютант чуть не налетел на его столик и попятился. Джемс записал в протокол: «Объявлен перерыв до утра». Собрал свои бумаги и вышел на перрон.

Мороз продирал даже под волчьей дохой. Джемс поднял воротник, натянул на уши бобровую шапку. Из белой вечерней мглы на него надвинулись бронированные платформы «Мстителя» с заиндевелыми стволами орудий. Сердитое название бронепоезда вызвало невольную усмешку. Сколько таких «мстителей»

валяется по дороге? Партизаны ловко опрокидывают их под откос. Джемс добрался наконец до поезда полковника Ходсона.

Окна спальных вагонов были задернуты плотными шторами, в тамбурах маячили стрелки мильдсекcского королевского полка.

«Сэр Ходсон старается ничего не видеть в Иркутске. А жаль! Опасно быть слепым, когда подходят партизаны, когда рабочие могут обрушить на нас свой гнев,— думал Джемс.— Хорошо, что ребята из эсеровского Политцентра пока сдерживают обозленных людей. Хорошо, если адмирала Колчака свергнут без кровопролития. Может, партизаны и позволят нам проскочить за Байкал».

Джемс вошел в свой вагон, закрылся в купе. Здесь он отдыхал, писал статьи для американских газет. Он поужинал и долго чиркал спичкой, раскуривая сигарету. Морозная струйка прорвалась в оконную щель, ввинтилась в левую щеку. Джемс отвел голову, струйка переместилась на лоб. Эта настойчивая леденящая струя напомнила о холодной, непостижимой России. «Большевики! Из каких социальных недр появились эти люди? Каким путем выдвинулись они на арену русской общественной жизни, как завладели умами мужиков и рабочих? Неужели в Россию вернулись времена религиозного раскола, озаренные дикой фанатичностью и бурной активностью людей вроде неистового протопопа Аввакума?» Джемс еще в колледже изучал русскую жизнь по романам Достоевского, по старинным былинам. Особенно поражала его былина о Святогоре-богатыре, что рассекал врага пополам, а на него уже шли двое. Рассекал двоих — наступало четверо. Чем больше рубил Святогор, тем несметнее становился неприятельский стан. Вот так и у адмирала Колчака получается. Всевозможные диктаторы от бывшей монархии, правители от новоявленной демократии, выплеснутые случаем на поверхность борьбы, они так же быстро исчезают в волнах политического забвения. А большевики дерутся хорошо, умирают за свои идеи, если нужно. Вот чего нет у противников Ленина — идеи, за которую стоит умирать! Главная идея их заключена в порабощении своего же народа.

Зря, видно, он сýдил о русской душе по романам Достоевского: даже гений писателя не мог предвидеть таких событий. Можно выдумать Керенского, Колчака, еще какого-нибудь нового Чингисхана, но Ленина, Ленина?.. Как удивительна жизнь, какой поразительный авторитет у этого коммунистического лидера. Кто ему говорил о Ленине, как о новом пророке? Да, это же Буллит сравнивал Ленина с библейским апостолом, а Вильям не тот парень, что восторгается большевиками. Он предпочитает тушь пастели. Буллит беседовал с Лениным, а Джемс пока и в глаза не видел Колчака. И вряд ли увидит. Адмирал стоит на обрыве, все торопятся столкнуть его в пропасть.

Джемс стал думать о Вильяме Буллите, с которым десять

месяцев назад он ездил в Москву с секретной миссией американского президента.

«Вот так-то, мой милый,— сам себе сказал Джемс.— Философия учит ничему не удивляться. Красный мир пофантастичнее какого-нибудь марсианского, и я был в нем. Для недалеких людей этот мир пока непостижим, но я еще вернусь в Россию и разберусь во всем, что там произошло». Джемс усмехнулся губами, усами, ямочками на розовых щеках. Он был очень породистым джентльменом средних лет.

Упершись кулаками в щеку, Джемс увидел себя у гранитного парапета Сены. Давно ли он жил в праздничном Париже, и ничто не нарушало его спокойного существования. Безопасность его обеспечивалась еще и тем, что он находился в составе дипломатов, сопровождавших государственного секретаря Соединенных Штатов Америки на мирной конференции в Париже. Правда, он, Джемс, был всего лишь журналистом, зато дружил с молодым, идущим в гору дипломатом Вильямом Буллитом.

— Президент посылает меня в Москву, к Ленину. Поедешь со мной, Юджин? — как-то спросил его Буллит.

Через полчаса после этого разговора Джемс кидал на письменный стол вороха парижских газет. С каждой страницы навзрыд рыдали заголовки:

КРАСНЫЙ ТЕРРОР В МОСКВЕ!..
РАССТРЕЛЫ В ПОДВАЛАХ ЧЕКА...
ВСЕОБЩАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН...

Газеты сообщали о грабежах на улицах Москвы и Петрограда, о комиссарах, пирующих среди людей, умерших от тифа и голода, о чекистах, ходящих неотступно по следам иностранцев.

Джемс не особенно верил прессе, но все же надежное чувство личной безопасности исчезло.

И вот Джемс бродил по грязному, в снежных зажорах и дымных тенях городу, видел, наблюдал, запоминал. А видел он и бесконечные хлебные очереди, и очереди у театральных касс. Видел приказы, грозившие за их нарушение расстрелом, и афиши о литературных диспутах. Бросались в глаза вороньи стаи на крестах колоколен и черные цилиндры у подъездов клуба анархистов.

Он стоял перед букинистическими развалами, перелистывая старинные библии, дворянские альбомы, редкие книги петровских времен. Держал в руках отпечатанные на шершавой, с соломенными занозами, бумаге томики сочинений великих русских писателей. Эти книги были изданы по особому постановлению Совнаркома грандиозными тиражами, с весьма показательным эпиграфом: «Придет ли времечко? Скорей приди, желанное, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет».

Он посещал музеи, театры, вокзалы, барахолки, наивно судил о здоровье России по лихорадочному пульсу жизни в местах общественного назначения.

Джемс толкался среди торговок, барахольщиков, подозрительных личностей всех степеней и всех ступеней, примечал войлочные шляпы, картузы, шапки с длинными ушами, тулупы, собольи шубы, фуфайки, каракулевые манто, куртки, какие-то очень странные плащи — русские называли их зипунами и азямами.

— Что такое зипун? Что есть азям? — спрашивал он, записывая эти каменной тяжести варварские слова.

Записная книжка его наполнялась фактами, анекдотами, сплетнями, свидетельскими показаниями лиц, обиженных революцией. В его книжке бурлили ненависть буржуа и аристократов, зловещие предсказания монахов и кликуш.

Мимо Джемса проходили военные, похожие в своих суконных шлемах с красной звездой на средневековых рыцарей. «Они и сражаются с энтузиазмом участников крестовых походов,— записал он.— Как быстро приобрел гражданское достоинство русский солдат. Давно ли он походил на забитое царскими офицерами животное? А сейчас похож на свободного американца». Сравнение с американцем Джемс считал наивысшей похвалой для русского.

Джемсу непонятны, непостижимы были духовные нити, накрепко связавшие большевиков и народ. Мало что объясняли распространенные в новой России понятия — классовая борьба, диктатура пролетариата. Да он и не искал пока истоков политического влияния большевиков в народе, ему ясно стало одно: никакой действительный мир во всем мире уже нельзя создать без них.

Джемс пошел в номер Буллита и долго стучал, пока Буллит открыл дверь, показал ему на кресло и сказал поспешно:

— Секунду, Юджин, я только запишу мысль.

Толстая, в сафьяновом переплете тетрадь была раскрыта на середине, паркеровская ручка лежала на ней как символ наступающего автоматического века. Буллит встряхнул золотое перо над тетрадью.

— Вот моя мысль, Юджин: «Разрушительная фаза русской революции окончилась. Террор прекращен. На улицах Москвы и Петрограда полная безопасность. Только что был в картинной галерее. Залы переполнены рабочими, солдатами, учащимися. Гиды объясняют красоты живописи». Это еще только перечисление фактов, но мысль — вот она: «В просвещении народа большевики за год своей власти сделали больше, чем царизм в полсотни лет». Вот она, страшная мысль,— с неожиданным уважением и недоброжелательством к большевикам сказал Буллит.

— Это действительно страшная мысль,— согласился Джемс.— А когда же тебя примет Ленин?

— Ленину виднее — когда.

Буллит отодвинул кресло, встал у окна. За стеклом смутно желтели кремлевские стены, с башен взлетали двуглавые орлы, между ними клубилось красное полотнище.

— Я успел побеседовать со многими русскими о Ленине. Ведь я должен сказать что-то про этого человека нашему президенту,— продолжал Буллит.— Так вот, Юджин, каков итог моих разговоров: влияние Ленина на русский народ и его армию огромно. Простым людям он кажется понятнее и ближе остальных большевистских лидеров. Говорят, что немало царских ученых и инженеров пошло на службу к большевикам. Крупным знатокам своего дела они платят до сорока пяти тысяч долларов в год, но Ленин получает очень скромное жалованье, его дневной паек равен пайку солдата: полфунта черного хлеба и чай без сахара. Иногда Ленину привозят муку, масло, цыплят, но он передает эти продукты в детские приюты. Из деревень к нему приезжают какие-то ходоки, но я не понимаю, что они такое...

Джемс чувствовал, что Буллит составил о Ленине какое-то фантастическое представление, смешав протопопа Аввакума и Петра Великого с философом-материалистом. Ленин как человек и как явление не укладывался в сознании Буллита.

Вечером Буллит рассказывал ему о своей встрече с Лениным.

— На приеме был и комиссар иностранных дел Чичерин, с которым я вел переговоры о заключении мира. Ленин сразу же спросил о результатах их.

Я ответил, что союзные и объединившиеся страны предлагают приостановить военные действия на всех фронтах бывшей Российской империи. Все существующие в бывшей Российской империи правительства сохраняют полную власть и занятые им территории. Экономическая блокада России отменяется. Войска союзных стран удаляются, прекращается военная помощь антисоветским правительствам. Советские и другие правительства признают свою ответственность за финансовые обязательства бывшей Российской империи. Подробности уплаты царских долгов должны быть выработаны на конференции. Русское золото, захваченное чехословаками в Казани или вывезенное союзниками, рассматривается как частичная уплата долга Советской республикой...

«Господин Буллит не упомянул пункта пятого,— сказал Чичерин.— А пункт пятый гласит: мы и наши противники объявляем амнистию всем политическим преступникам. Амнистируются и русские, сражавшиеся против Советского правительства. Военнопленные возвращаются на свою родину. Настоящее соглашение мы можем принять или отвергнуть в течение месяца».

«Нам слишком дорога жизнь рабочих и крестьян, чтобы затягивать ответ»,— сказал Ленин.

И я понял: ради спасения своего народа этот человек готов подписать самый неравный договор.

«У вас есть еще вопросы?» — снова спросил Ленин.

«На Западе пишут, что большевики национализировали женщин. Правда ли это?» — спросил я.

Ленин рассмеялся так простодушно, что мне стало неловко за свой вопрос. Давно не слыхал я такого естественного смеха. Но я так и не уяснил для себя — кто же такой Ленин? Мечтатель, фанатик, пророк? Во всяком случае, необыкновенный вождь невиданной революции. Если мы хотим сокрушить эту революцию, надо срочно заключить с ней мир. С помощью мира мы взорвем большевиков изнутри, но вот беда — о мире с ними не желают слышать и русские контрреволюционеры и всемирные буржуа.

За окном гостиницы раздавались тревожные шаги, человеческие голоса, в темном провале рамы мелькали черные ночные силуэты. Наливалась сырой мартовской мглою московская ночь. Джемсу казалось, даже воздух в Москве насыщен электричеством революции, которую он не понимал и не принимал.

— Послушай, Юджин, что я написал президенту в отчете о своей поездке в Москву.— Буллит раскрыл тетрадь в сафьяновом переплете и стал читать, словно удивляясь тому, что он только что написал:

— «Советская форма правления установилась твердо. Самым поразительным явлением современной России является всеобщая поддержка правительства населением, несмотря на голод.

Советская форма стала, по-видимому, для русского народа символом его революции. Она так сильно действует на воображение населения, что женщины готовы голодать, а молодежь — умирать за нее.

Положение Коммунистической партии (большевики) также очень прочно. Единственно, кто оказывает энергичную оппозицию коммунистам,— это левые эсеры. Они бешено восстают против приема в армию буржуазных офицеров и против заключения мира...

Армия всегда поглощала лучшие умы и цветущие силы наций. Так и в красной России: армия революции насчитывает миллион триста тысяч бойцов, но большевики говорят, что могут довести ее до трех миллионов.

Ленин, Чичерин, большинство других руководителей партии настаивают на том, что основной задачей является спасение пролетариата от голодной смерти. Поэтому Ленин стоит за соглашение с Соединенными Штатами...

Обаяние Ленина в России так велико, что группа Троцкого вынуждена нехотя следовать за ним...

Несмотря на великие страдания, силы русского народа практически неисчерпаемы. Гражданская война, разруха не сломили революционного духа русских...»

Ночная тьма стояла в окнах, было тихо в коридорах гостиницы. Джемс постучал ботами, толстый ковер потушил стук его подошв.

— Вильям, ты веришь тому, что написал в отчете президенту? — спросил он Буллита.

— Да, безусловно! В одном я не уверен — удастся ли подтолкнуть большевиков на долгий мир с державами Антанты. Я бы хотел, чтобы они подписали такой мир на коленях...— сказал Буллит.

Утром следующего дня они возвращались в Париж, чтобы сообщить президенту о мирных переговорах с Лениным. Но политический ветер в Париже уже переменился. Президент США уверовал в белые призраки больше, чем в расстановку классовых сил в России.

Колчак начал свое весеннее наступление, мировая пресса затрубила о том, что большевикам приходит конец, что белый адмирал скоро торжественно въедет в Кремль.

О мире с Советами даже говорить стало неприличным.

7

Все так же неподвижно стояли у вагонов стрелки мильдсекского полка. Полоса лунного света упиралась в дверь купе, на Ангаре раздавались редкие выстрелы.

«Судьба носит меня, как пушинку. Ранней весной был я в красной Москве, поздней осенью скитаюсь по Иркутску. Увижу ли Колчака, бог весть, зато стал свидетелем исторических событий мирового масштаба,— думал Джемс.— Для такого, как я, хватит воспоминаний на всю жизнь».

Спать не хотелось, Джемс надел доху и снова вышел на перрон. Первый путь занимал поезд Мориса Жанена, отблески его огней блуждали по снежным сугробам. Джемс направился вдоль поезда. Когда спальные вагоны сменились товарными, его остановил караул.

— Дальше нельзя,— предостерег журналиста французский сержант.

Джемс и сам понимал, что дальше нельзя. Ему было известно, что там, в вагонах, русские ценности.

— У генерала Жанена вагон серебра, у адмирала Колчака чистое золото. Двадцать девять вагонов! Господи боже, двадцать девять! — тоскливо произнес Джемс.

Чудовищное количество золота вообразилось ему Ниагарой сверкающих монет, и водопад этот срывается с какой-то головокружительной высоты.

«Если бы я имел хоть тысячную долю этих богатств!» Неисполнимость желания вызвала злобу на Колчака, на Жанена, на красных, на белых.

Потухшие, потерявшиеся люди сидели друг против друга за столами вокзального ресторана и все казались серыми в неверном свете.

Юджин Джемс записывал в протокол: «Члены правительства извиняются за опоздание, говоря, что ввиду сильного тумана и бури в настоящее время по Ангаре переправа весьма опасна и пароход отказался ко времени перевезти их на эту сторону.

От правительства присутствуют: заместитель председателя совета министров Червен-Водали, военный министр Ханжин. От Политического центра: товарищ председателя Политического центра Ахматов, поручик Зоркин».

— Нам надо спешить, чтобы не рассеять свои усилия по ветру. Пора положить конец братоубийственной войне,— нервно заговорил Червен-Водали.

— Когда Колчак отречется от власти? Вы говорили с ним по прямому проводу, что он ответил? — спросил Ахматов.

— Адмирал уходит с политической сцены, но мы, его министры, настаиваем на передаче власти Деникину.

— Колчак — Деникин, Деникин — Колчак! Одного скверного диктатора хотите заменить еще более скверным.

— В борьбе против большевизма смешно ждать какого-то чуда. Никто не может отрицать, что большевики умеют действовать и достигать цели. Чем дальше вы отойдете за Байкал, тем сильнее и могущественнее будут большевики. Мы должны иметь время для передышки, позвольте нам употребить это известное теперь выражение. Мы, эсеры, дадим массам свободную и демократическую республику,— продолжал развивать свои мысли Ахматов.

— Это все одна болтовня. Большевики, эсеры! Расстрелять бы вас всех, умнее бы было! — разъярился Ханжин и, хлопнув дверью, вышел.

Юджин Джемс занес в протокол: «Общее движение. Союзники шепчутся, правительство смущено. Политический центр иронически посмеивается».

— Мне кажется, правительство без территории в гражданской войне не есть правительство,— язвительно заметил Ахматов, проводив взглядом Ханжина и обращаясь к Червен-Водали.

— Как только вручу вам власть, буду самым счастливым человеком,— со странным, икающим смешком ответил Червен-Водали.

— Исчезновение генерала Ханжина наводит меня на опасные размышления. Я не имею права оставаться ввиду подозрительного поведения генерала. Я несу военную ответственность

перед Политическим центром, поэтому удаляюсь,— встал из-за стола поручик Зоркин.

«Раскланивается и удаляется,— записал Джемс. — Все начинают разговаривать между собой. Сводится разговор в шутливой форме к тому, что власть Колчака, которая называет себя Всероссийской, распространяется лишь на иркутскую гостиницу «Модерн».

— Наша армия развалилась, наше золото стерегут иностранцы, наша судьба зависит от чехов!

— В Сибири воцарилось безумие...

— Когда вернется свобода, восторжествует разум. Вкусив плоды демократии, красные придут в замешательство и перестанут наступать.

— Почему бы это они заколебались? Отчего бы им прийти в замешательство?

— Мы любим Россию и умрем за нее.

— Не станем говорить о вашей любви к России. Смешно!

— Ну, это уже слишком, господин эсер!

— Вы пороли мужиков, вешали интеллигентов, своими беззакониями распространяли большевизм...

— А по-вашему, целоваться надо было с большевиками?

— Власть, не связанная законами, убивает себя.

— Вы еще не имеете власти...

— Мы возьмем ее! И тогда созовем съезд всех русских партий.

— Съезд — кто кого съест!

На Джемса никто не обращал внимания, и он пристально наблюдал за спорящими. Все произносили красивые слова о русском многострадальном народе, о какой-то своей особой ответственности перед историей, ругались, угрожали, вздыхали, просили. Они еще на что-то надеялись, верили в призраки и ждали чьей-то сильной руки. «Пока они грызутся,— думал Джемс,— рядом, в поезде генерала Жанена, союзные комиссары договариваются, как поприличней предать адмирала Колчака. Они воображают, что эсеры из Политцентра — серьезная сила, по-моему же, сильны только иркутские большевики. Они требуют и Колчака, и золото, и всю полноту власти в обмен на наш проезд за Байкал».

В зал вбежал длиннолицый адъютант Жанена.

— Месье, генерал Жанен приказал сообщить, что в городе неспокойно. В городе большие беспорядки начались...

— В таком случае от имени правительства прошу союзников занять город,— поспешно произнес испуганный Червен-Водали.

— Власть, которая еще господствует в Иркутске, обязана навести порядок. Там не наши войска, там ваши! — сказал обрадованный Ахматов.

Юджин Джемс записывал: «Члены правительства, не скрывая своего смущения, ежеминутно спрашивают то одного, то другого, что нужно делать. Никто им не отвечает. С ними больше не считаются, в зале шум, все говорят, громче всех только что вошедший поручик Зоркин».

— Положение кошмарное, господа! Что вы за правительство? Столько дутого величия, а в критическую минуту не знаете, что делать! Правительственные войска покинули позиции и разбегаются. Власть переходит в руки Политцентра.

Никто уже не сдерживал своих чувств, исчезла величавая сановная осанка, деликатности как не бывало. Тонкая ироничность сменилась руганью. Джемс не успевал записывать реплики:

— О боже, что же будет?

— Мы остановим красных с помощью чехов.

— Позвольте, генерал...

— Не желаю позволять, не позволю!

— Передайте свою власть Политцентру!

— Вы — Политцентр? Вы — Центропуп! Большевики оторвут у вас власть вместе с вашими же руками.

— Да как вы смеете?!

— Неужели нечем остановить красных?

— Пушки Японии! Танки Америки! Войска этих стран остановят большевиков!

В ресторан торопливо вошел генерал Жанен.

— В городе творится бог знает что, господа. Я отдал приказ чешскому гарнизону немедленно взять охрану города в свои руки. Приказал поставить охрану в Государственном банке и у тюрьмы. Из банка эвакуируется имущество. Караул обезоружил похитителей, когда ящики с золотом уже стали накладывать на повозки. Около тюрьмы происходит бой,— объявил Жанен.

В протоколе Джемса появилась запись о генерале Жанене: «Вид весьма суровый и рассерженный, при этом утомленный. Кланяется и удаляется. Все встают, подходят друг к другу, делегаты враждебных партий мирно беседуют маленькими группами, получается впечатление вечера, который заканчивается.

Слышно, как на перроне вокзала расставляется караул революционных войск...»

8

— Где мы сейчас? — спросил Генрих Эйхе, приподнимаясь на локтях.

Исхудалый, с запекшимися губами, он в эту минуту казался беспомощным ребенком. Командарм, как и многие бойцы Пятой армии, заболел сыпняком и несколько дней пролежал в тифозном бреду. Все эти дни Никифор Иванович часами не отходил от больного.

— Мы только что освободили Мариинск,— сообщил он, поправляя подушку в изголовье командарма.
— А где теперь белые?
— Откатились к самому Красноярску.
— А какие новости в армии?
— Новостями хоть пруд пруди. Двадцать седьмую дивизию перебрасывают на польский фронт. С ней уезжают Степан Вострецов и Витовт Путна. Жалко, боевые командиры. С ними не страшно было идти и в огонь и в воду. Но мне удалось отстоять Василия Грызлова. Его бригада теперь — авангард Тридцатой дивизии. Утром разговаривал с ним по телеграфу, он на станции Боготол перехватил секретный приказ Колчака об отводе армии за Енисей. Приказали Грызлову не выпускать за Енисей армию Каппеля, а уничтожить ее в Красноярске. Крупный командир выйдет из Грызлова: его действия по разгрому Пепеляева просто великолепны. Он разделался с его армией по частям. В районе станции Тайга белые сдавались в плен целыми полками.
— Передайте Грызлову мою благодарность,— сказал командарм. — Он в Боготоле, да?
Но в этот час Грызлов находился уже в только что освобожденном Ачинске. По телеграфному аппарату разыскивал он Альберта Лапина, чтобы сообщить о новой победе бригады.
В комнате телеграфиста было тепло, Грызлова морил сон, он с трудом следил за ползущей лентой телеграфного аппарата.
— Командующий колчаковскими войсками Енисейской губернии просит соединить его с вами,— неожиданно сказал комбригу телеграфист.
— Соединяй немедленно!
Телеграфист, постукивая ключом, стал вызывать Красноярск. В комнатушке потрескивали электрические разряды, шуршала бумажная лента.
— «Генерал Зиневич у аппарата,— прочитал телеграфист. — Предлагаю заключить перемирие, чтобы не проливать напрасно кровь».
«Завтра-послезавтра мы займем Красноярск. О каком мире может быть речь?» — отстучал он ответ Грызлова.
«К Красноярску подходит армия Каппеля. Я опасаюсь насилия и бесчинства со стороны каппелевцев, а также мести со стороны красных. Поэтому настаиваю на приостановке военных действий»,— прочитал затем телеграфист ответ генерала.
«Разоружите армию Каппеля, и дело с концом»,— продиктовал Грызлов.
«У меня нет сил для разоружения Каппеля...»
«Тогда сдайтесь сами, а с Каппелем справимся мы. Гарантируем полную безопасность всем офицерам вашего гарнизона».
«Я должен подумать».
«Думайте, только побыстрее. И сообщите ваш ответ...»

Генерал Зиневич откликнулся на рассвете,— видно, он всю ночь не отходил от телеграфного аппарата.

«Я принимаю условия капитуляции, но прошу оставить часть оружия для борьбы с грабителями...»

«Грабителей мы расстреливаем на месте, белые ли они, красные ли», —отклонил просьбу Грызлов.

«Тогда Красноярск открыт для красных. Позвольте узнать вашу фамилию и чин?»

«Василий Грызлов — солдат революции, без чина, без звания. У красных нет чинов, пора бы знать, генерал!»

Грызлов отошел от аппарата.

— Вот это речь не мальчика, а мужа,— похвалил усталый телеграфист. — Ваш разговор с колчаковским генералом войдет в историю войн. Это же неслыханный случай, когда хорошо вооруженный корпус сдается по телеграфу противнику, который находится от него за триста верст.

— Между нами еще пока армия Каппеля, а этот генерал сдаваться не станет.

Патруль привел задержанного — подозрительную личность.

— Сдаваться пришел? А может, ты белый шпион? — спросил Грызлов.

— Не угадал, товарищ! Я член Красноярского ревкома, мне бы Никифора Ивановича, председателя Сибуралбюро. Он за белогвардейца меня не примет.

— Никифора Ивановича здесь нет.

— Тогда выслушай ты меня, товарищ. Мы узнали про ваши переговоры с генералом Зиневичем. Колчаковский волк хочет дать Каппелю возможность уйти за Енисей. Революционный комитет Красноярска поможет вам овладеть городом. Как только Каппель подойдет к Красноярску, рабочие восстанут и белые окажутся между вашим и нашим огнем,— заключил посланец.

Четвертого января каппелевцы подошли к Красноярску. В городе началось вооруженное восстание, рабочих поддержали колчаковские солдаты.

Каппель, страшась окружения, решил обойти город с севера. Но это его решение запоздало: путь на Енисей белым преградила дивизия Лапина. Части генерала Сахарова, спешившие на помощь Каппелю, были разбиты во встречном бою бригадой Василия Грызлова.

Шестого января произошло последнее, решающее сражение войск Пятой армии красных и белых армий Сибири. Вечером остатки армии Каппеля — офицерские полки да Ижевская дивизия — прорвались за Енисей.

Каппель спешил в Нижнеудинск, к Колчаку, застрявшему там со всеми литерными поездами и золотым запасом России.

9

Было сорок пять градусов ниже нуля.

Устало передвигая лыжи, Шурмин брел по зыбкому, рассыпающемуся снегу. Подъемы и спуски измотали его, мороз перехватывал дыхание, сумка и ружье оттягивали плечи. Каждый новый шаг болью отзывался в коленях, и уже давно ему казалось, что он не дойдет до таежного поселения Шаманова.

Чем выше всходил он на перевал, тем плотнее становился морозный туман. На белых завесах замелькали цветные искры, еле уловимый шорох послышался рядом: шуи-инь, шуи-инь, шуи-инь! От холодного шептания веяло сном, оно убаюкивало, соблазняло сладким покоем.

— Что же это такое? — Андрей вскинул над головой лыжную палку. Да это же шуршит замерзающий воздух! На таком морозе заснешь — не проснешься. Он снял лыжи, перекинул через плечо, полез на кручу.

Сосновые лапы сбрасывали на него пушистые снежные хвосты, пихты хватали за плечи, стайка снегирей, словно брошенные в воздух красные яблоки, пронеслась над ним. Льдистое небо было голубым и пронзительным, а по распадкам всеползли тяжелые полосы тумана.

На перевале Андрей облегченно смахнул с подбородка куржавину.

Из-за дальней сопки выдвинулся солнечный круг, желтый и спокойный, поднялся над перевалом; белым сиянием налилась тайга, и чувство высоты, и великого простора, и безмерной бодрости овладело Андреем. Куда бы ни хватал глаз, светилась заснеженная тайга. Под ногами лежала гигантская извилина реки, очерченная темными, обрывистыми берегами. На противоположном берегу поднимались столбы дымков, позолоченные солнцем.

До Шаманова оставалось несколько часов пути. Уже седьмой день шел Андрей в это поселение из Усть-Кута. Бежал он с короткими остановками для ночевок у костров, страшась каких-либо случайностей. И больше всего опасался перехвата. Теперь уж ничего не может случиться. Андрей снял рукавицу, нащупал за пазухой пакет — он был холоден и тверд, как жесть. Пальцы сразу озябли.

«А теперь живее, живей!» — подбодрил себя юноша и сорвался с места.

Лыжи несли его между корней, валунов, коряг; солнечные искры подпрыгивали на снегу, кедры вылетали навстречу из-за поворотов и обрывов. Андрей всем телом ощущал стремительную гонку с перевала к повертывавшейся и вырастающей перед ним Окинской долине. Он не заметил, как очутился на речном льду. Поспешно пересек реку, вышел на берег, густо заросший елями. Все еще переживая радость бешеного полета, он вдруг

уловил рядом подозрительный шорох, сдернул с плеча ружье. Но удар в спину свалил его в снег.

Чья-то сильная рука подняла Шурмина за шиворот; он увидел перед собой закуржавелое бородатое лицо.

— Попался, пес? Кто такой и откеда? — Бородач уставился в Андрея добрыми, синими глазами, совершенно противоречившими его словам и грозному голосу.

Андрей вспомнил наказ Зверева: «Что бы ни случилось в пути — молчи!»

— Ты откедова? — опять спросил бородач.

— В Шаманово иду,— уклонился от прямого ответа Андрей. — Из Усть-Кута я...

— От кильчаков бежал, к партизанам попался.

Андрей облегченно вздохнул: «Хорошо, значит, скоро увижу Бурлова».

Бородатый партизан привел его на сельскую околицу, к пятистенному дому. У ворот стояли кошевки и сани с пулеметами, патронными ящиками, оленьими тушами. По двору ходили люди с ружьями за спиной, охотничьими ножами за поясом. Курили самосад, разговаривали о своих, непонятных Шурмину делах.

— Присмотри за парнишкой,— попросил партизан часового и скрылся в сенях.

— Где он, где? — раздался громкий голос, и на крыльцо выскочил Бурлов в меховой куртке-безрукавке, оленьих торбасах. Прижал к груди Андрея, обдал его избяным теплом. — Заколел, поди? Дзюгай в избу скорее!

В горенке Андрея встретил круглолицый парень.

— Федя,— представился он. — Начальник штаба. Примащивайся к столу, погрейся чайком.

— Пельменями его покорми, Хведор, а я письмом займусь.— Бурлов разорвал конверт, вынул стопку папиросной бумаги, густо засеянной лиловой машинописью. — Ого, оперативная сводка! Ага, приказ Зверева, Данилы Евдокимыча.

Андрей с наслаждением пил крепкий, бордовой окраски чай, поглядывая на изузоренное морозом окошко, на распаренную жарой физиономию Феди, и снова испытывал душевное томление. Что принесет ему завтрашний день? Куда его кинет судьба? «Вот бы изловить самого Колчака, вот бы отбить золотой эшелон! Покатился бы про меня слух по всей России»,— мечтал он, вздыхая от неисполнимости своих желаний.

— Ну и бумажки ты приволок! — крикнул Бурлов, наваливаясь грудью на стол. — Сам, наверно, не знаешь, что тащил?

— Откуда знать, Николай Ананьич? Зверев только предупредил: «Умри, но донеси до Шаманова».

— Тебя за эти бумажки колчаковцы сперва бы расстреляли, потом повесили. А ты шел, не боялся.

— Не боялся потому, что не знал.

— Молодец! — похвалил Бурлов, и черные искорки промелькнули в его зрачках. Четко выговаривая слова, он прочитал оперативную сводку главного штаба Северо-Восточного партизанского фронта:

— «Тулунский район. Преследование противника по направлению железной дороги продолжается. Белые солдаты сотнями переходят на сторону партизан.

Верхнеангарское направление. Наши войска успешно продвигаются вперед по направлению к Иркутску.

Из официальных источников. В Иркутске взорван понтонный мост через Ангару. Чехословаки от помощи Колчаку категорически отказались. Требуют выезда во Владивосток. Советские организации работают в Иркутске открыто...»

— У меня в башке словно свет включили,— рассмеялся Федя.

— Для того и читал, чтобы распогодилось,— пошутил Бурлов. — А теперь слушай и приказ Данилы Евдокимыча по нашей дивизии: «Верховный правитель Колчак с золотым эшелоном выехал из Нижнеудинска в Иркутск. Приказываю перехватить Колчака и золото на станции Тулун».

— Ты поспи-ка, Андрей, а мы станем готовиться к походу на Тулун,— посоветовал Федя.

10

Неужели все это было?

Неужели цвели майские вечера на Вятке, когда Шурмин служил ординарцем у Азина и выполнял его поручения?

И был тот скверный час на Каме, когда он попал в руки полковника Граве?

Неужели это он трясся в «поезде смерти» от берегов Камы до берегов Байкала?

И опять было зеленое утро, когда в грязную теплушку хлынул свет байкальской воды?

Неужто промелькнуло сто дней с той поры, как Зверев и Бурлов создали свои отрядики, а теперь на Лене, на Ангаре действует десятитысячная армия партизан?

Андрей лежал на широкой крашеной лавке, под бараньим полушубком, но уснуть не мог. Воспоминания захлестывали, а предчувствие новых событий все сильнее овладевало им.

Он стал вспоминать пережитое и опять увидел себя рядом с Данилой Евдокимовичем Зверевым, атакующим Усть-Кут.

В то зимнее утро несло дымом из труб Усть-Кута, трещали на морозе деревья, скрипел под ногами снег. Андрей шел с винтовкой наперевес, оглушенный грохотом деревянных трещоток — на каждый пулемет их приходилось по восемь штук. Гремели деревянные трещотки, гулко стреляла медная пушка,

прозванная «Петром Великим», нагоняя страх на колчаковцев, засевших в Усть-Куте.

Бой за Усть-Кут продолжался полдня: село несколько раз переходило из рук в руки, пока партизаны окончательно не овладели им. Колчаковцы сдались, оставив сотню убитых, потеряв все запасы оружия и провианта.

Вечером при проверке пленных партизаны узнали, что капитану Белоголовому удалось бежать в приленские леса. В погоню за ним Зверев отрядил Шурмина с пятью партизанами.

Ленские «прижимы» с реки были неприступными, но по берегу на них вела тропинка. Андрей шел впереди, зорко поглядывая по сторонам. Огненными пятнами заката была забрызгана Лена, на скалах чернели ели.

Когда тропинка выбегала на закраины обрыва, Андрей испуганно пятился, прижимаясь к скалам. След лыжни Белоголового часто прерывался, и Андрей с трудом находил его на голых камнях.

На тропинку сверху посыпались камни. Шурмин отскочил назад и увидел белогвардейца-капитана, прыгнувшего со скалы.

— Стой, стой! — закричал Шурмин, но Белоголовый уже юркнул за скалу.

Впереди щелкнул выстрел, пуля с визгом цвинькнула в воздухе.

— Стерегите тропу,— шепнул Андрей партизанам и полез на вершину скалы.

Вытянув голову, он отыскивал место, где мог укрыться Белоголовый. Он искал этого палача и одновременно видел огненные пятна на белой реке, треснувшую кожуру льда на камнях, первую вечернюю звезду в морозном небе.

— Белоголовый! — позвал Андрей. — Капитан, ты слышишь меня?

За скалой раздалась ругань, на тропу выступил Белоголовый с наганом в руке.

— Хотите живым взять? — спросил он. — Потешиться надо мной, как я над вашим братом тешился? Только я не хочу! Верно, откозырялся я, так до скорой встречи на том свете! — Белоголовый выстрелил в висок и, поворачиваясь корпусом вперед и вбок, рухнул под обрыв.

11

Андрей отбросил полушубок, сел на скамью. За морозными узорами окна скрипели сани, ржали лошади — партизаны собирались в поход на Тулун.

Бурлов выступил из Шаманова ночью, при полной луне. Тракт, соединявший поселок Братск с железнодорожной станцией Тулун, был едва заметной лесной тропой. Тропа виляла в тайге по руслам вымерзших ручьев, лошади по брюхо про-

валивались в снег, их то и дело приходилось выволакивать из сугробов. Партизаны шагали за розвальнями, стуча валенками, прихлопывая рукавицами.

Бурлов ехал в санях, набитых сеном, опираясь спиной на самодельную пушку. Шурмин шел сбоку и, посмеиваясь, говорил убежденно:

— Разорвет это чудище с первого же выстрела. Из водосточной трубы пушка-то — курам на смех!

— Преаделенно разорвет,— соглашался Бурлов. — Но не хотелось наших кузнецов обижать. Верят они — пушка в жар колчаков бросит. — Бурлов выскочил из саней. — Ух, и холодище!

Мороз к утру сменился пургой: тайга растворилась в вихрящихся сивых дымах. Надрывно шумели деревья; поземка переметала тропу; ветровые порывы доносили ноющие, слабые звуки, и Андрею чудилось, что в белой мгле ноют телеграфные провода, посвистывают паровозы.

Он брел, придерживая на ухабах самодельную пушку, холодный ствол ее жег пальцы сквозь холщовую рукавицу. «Моя жизнь превратилась в какую-то карусель, я попадаю из одного приключения в другое, события и люди проносятся вокруг с головокружительной быстротой. Вот иду наперехват Колчаку к Тулуну, а Зверев наказывал из Тулуна добираться до Иркутска. Ревком вызвал в Иркутск все партизанские отряды, кроме отряда Бурлова. Мы бредем по колени в снегу, и слухи опережают нас. Слухи, слухи метут по тайге, как пурга»,— думал Андрей, пристукивая валенками.

Действительно, всевозможные слухи катились по таежным поселкам, заимкам, поварням.

Разное говорили люди, но все сводилось к одному. В Иркутске-де кровопролитные бои, и в разных частях города действует разная власть. В Знаменском предместье правят большевики, в центре появился какой-то Политцентр, на вокзале хозяйничает французский генерал Жанен. В шахтерском поселке Черемхово власть перешла к рабочим, у станции Зима стоит партизанский отряд Ивана Новокшонова. Сам верховный правитель продвигается на восток с невероятным количеством награбленного золота.

Слухи о золотом запасе волновали особенно. Назывались цифры в десятки тысяч пудов золота, и все же молва людская была бессильна определить истинную ценность увозимых врагами русских сокровищ. Перед двадцатью девятью вагонами золота, платины, драгоценностей сникала самая безудержная фантазия.

Слух о том, что к Тулуну приближаются партизаны, напугал чехов: на станции застряло несколько их эшелонов. Чехи не хотели драться с партизанами и выслали к ним парламентеров.

Бурлов встретился с парламентерами в охотничьей заимке; чехи предложили перемирие и пригласили представителей партизан в Тулун, на переговоры с высшим командованием.

Бурлов созвал совет; разгорелся спор, кому ехать.

— Преаделенно мне,— заявил Бурлов.

— Тебе-то как раз и нельзя,— возразил Федя. — А если чехи устроят ловушку? Узнают, что мы не такие страшные,— и пожалуйте к стенке?

В конце концов совет решил послать в Тулун Федю и Шурмина. Делегатов своих партизаны одевали скопом: кто дал брюки поновее, кто гимнастерку посвежее.

— Разговаривайте с чехами как представители восставшего народа. Чехи должны знать: хотят они подобру-поздорову убраться домой — пусть ведут себя смирно,— напутствовал делегатов Бурлов.

В кошевке, застланной медвежьей шкурой, Федя и Андрей подкатили к Тулуну. Станция забита народом. Легионеры, колчаковские офицеры, господа в шубах и пальто с бобровыми воротниками потерянно бродили по перрону. На путях бесконечными рядами стояли эшелоны. На вагонных крышах — пулеметы, между вагонами горели костры, возле них бредили тифозные.

Федю и Андрея провели в вокзальный буфет. В разбитое окно виднелся паровоз, выбрасывавший шары дыма, шары лениво катились через прокопченные сугробы и словно утверждали: с этого вокзала никто никуда не уедет.

В буфет пришел чешский генерал со страдальческим выражением на заросшем щетиной лице.

— Я вас, господа партизаны, в Тулун пустить не могу. Вы помешаете эвакуации моих войск, а мы спешим домой. До русских нам теперь дела нет. — Генерал сложил на груди руки и грустно повторил: — Домой спешим, домой, домой!

— Партизаны не будут спрашивать у вас разрешения, что им делать,— рассердился Федя. — Я, начальник партизанского штаба, продиктую свои условия. Мы контролируем дорогу от Тулуна до Иркутска; если надо — взорвем пути, и тогда неизвестно, увидят ли чехи свой дом.

Генерал молчал, поглаживая ладонью небритую физиономию.

— В Тулун скоро прибудет Колчак с золотым эшелоном. Вы поможете нам арестовать его? — спросил Федя.

— Не стану помогать, но и защищать верховного правителя не буду,— ответил чешский генерал.

— Нет никакого верховного правителя. Колчак оставил в Сибири только зло, он вложил звериную душу в белую власть. Потому для Колчака все и кончилось быстро, и кончилось скверно.

— Давайте ближе к делу,— попросил генерал. — Меня аги-

тировать бесполезно. Я солдат, прикажет высшее командование повесить Колчака — повешу, прикажет целовать его в зад — поцелую. Пока же, учитывая обстановку, я вношу вот какое предложение...

И они подписали договор о перемирии. По этому договору партизаны могли разоружить поезда с колчаковцами, стоящими в Тулуне.

На заре снова разыгралась метель. Тайга и небо растворились в крутящемся месиве. Снег заметал вагоны. В теплушках непробудная темнота, в окнах пассажирских вагонов мигали тусклые фонари.

Андрей шагал за Федей, нацепив, как и все партизаны, красную повязку на левый рукав, красную ленту на шапку. Партизаны бесшумно окружили поезда на путях, подошли к вагону, в котором находились колчаковские офицеры и чиновники. Полураздетые, еще не проснувшиеся, они сдавались без сопротивления. Лишь какой-то полковник потянулся было к маузеру, но Федя вышиб из его рук оружие.

— Это измена! Предательство! — кричал полковник, натягивая дрожащими руками на плечи мундир.

— Ваше благородие, застегните штаны и освободите вагон.

В хвосте поезда послышались винтовочные выстрелы, ахнула граната, за ней другая. Это офицеры из последних вагонов успели занять оборону: началась рукопашная схватка в метели. Партизаны и колчаковцы дрались в вагонах, между путями, на рельсах. В белой мгле взблескивали выстрелы, появлялись и опять исчезали в метели люди.

Что-то прогрохотало, рваное пятно огня взлетело в снежный воздух.

— Нашу водосточную пушечку разнесло вдребезги,— смеясь и ругаясь, объяснил Андрей подбежавшему Феде. — С первого выстрела развалилась.

— Вечная ей память! Попугала кильчаков и успокоилась. И кильчаки тоже успокоились. Собирай пленных в колонну, поведем их к Николаю Ананьичу.

Сердитый полковник, раздувая гнедые усы, сказал Феде:

— Доложите обо мне вашему командиру. Хочу с ним поговорить по серьезному делу...

На заимке Федя вспомнил о полковнике.

— Коли просился, давай его,— сказал Бурлов.

Федя ввел полковника в избу, тот вскинул руку к виску, отрапортовал:

— Бывший начальник золотого эшелона...

— Почему же бывший? — спросил Бурлов.

— Я покинул адмирала.

— Почему так?

— Долго объяснять.
— Когда вы бросили Колчака?
— Два дня назад. У меня свежие сведения об адмирале и золотом запасе. Если сохраните жизнь, скажу...
— Жизнь за предательство?
— Я хочу помочь своему народу,— обиделся полковник.— Разве это предательство?
— Но вы же ставите условия.
— Не хочу умирать слишком рано.
А на дворе партизаны переодевались в теплую одежду, бородачи в хорошо сшитых английских шинелях выглядели помолодевшими. Шурмин наблюдал за переодеванием, но его позвали в штаб. Здесь полковник писал под диктовку Бурлова.
— «Друг мой, Иван Михайлыч. Командующий Восточно-Сибирской партизанской армией приказал мне перехватить Колчака на станции Тулун. Однако же изловить зверя не под силу нам, прошу тебя, приготовь ему ловушку на станции Зима. Расставляй капканы покрепче. Колчак — зверь матерый, когти у него не все пообломаны. Подробности расскажет наш посыльный...»
Бурлов взял под локоть Андрея:
— Становись, Андрей, на лыжи — и айда в Зиму, к Ивану Новокшонову. Передай ему это мое письмо.

12

При свете коптилки Андрей с любопытством разглядывал белобрысого, синеглазого парня в меховых штанах и рубахе с расстегнутым воротом. Парень сердито морщил брови и говорил нехотя, с непонятной Андрею досадой:
— Чехов в Зиме больше, чем надо. Ежели стенка на стенку пойти, расколшматят они нас, мать родная не узнает. Колчака и золото нужно хитростью брать.
— Где теперь Колчак? — спросил Шурмин.
— Есть слух — стоит он в Тулуне. Золотой эшелон тоже с Колчаком. Я сейчас поеду на станцию, новости разузнаю, а ты отдыхай. На хуторе здесь тихо, спокойно.
Новокшонов уехал, Андрей остался в землянке. Старик партизан принес ему вареной картошки, соленых груздей, краюху хлеба. Андрей поел и попросил самосаду.
— У нас чертова зелья нет. Грех! — нахмурился старик.
— Вера, что ли, запрещает?
— Правда, иудаисты мы...
Андрей разговорился с партизаном — таким же белобрысым и синеглазым, как Новокшонов. Узнав, что партизана зовут Юдой Соломоновичем, удивленно заметил:
— Ты на еврея-то совсем не похож.

— Дак мы ж псковские. Из Псковской губернии выходцы, но в Старой Зиме чуть ли не все Абрамы, Соломоны да Моисеи.

— Это почему же так?

И старик поведал ему необычную историю о псковитянах, ставших членами религиозной секты иудаистов.

В царствование Александра Первого в России возникали масонские ложи и религиозные общества. Псковский помещик Энгельгардт в поисках истинной веры сменил православие на католичество, потом основал секту иудаистов. Но напрасно Энгельгардт искал своих приверженцев среди соседей-помещиков, они наотрез отказывались вступать в секту иудаистов. Тогда Энгельгардт объявил иудаистами своих крепостных.

Крепостные чуть было не взбунтовались, но смекнули: иудаисты не признают рабства. Энгельгардт исполнил завет секты — освободил мужиков от крепостного ига.

Тогда возмутились псковские помещики: царю и святому Синоду полетели доносы на Энгельгардта.

По высочайшему повелению он был лишен дворянских прав и вместе с крестьянами сослан в Сибирь.

Три года новоявленные иудаисты брели под конвоем на место своего поселения. На берегу восточно-сибирской реки Оки Энгельгардт умер. Померли и конвоиры. Мужики похоронили помещика и конвоиров и основали поселок Зиму. От иудаистов они сохранили только еврейские имена.

Андрей невольно задумался над причудливостью человеческих судеб.

«Жизнь прямолинейна в радости и неисчерпаема на беды»,— вспомнились ему слова Игнатия Парфеновича. — Где-то теперь старый горбун? Где сражается Азин?» — подумал Андрей, укладываясь на лавку.

Его разбудили сиплые с мороза голоса. У порога отряхивались от снега Новокшонов и бурят в хорьковой шубе.

— Знакомьтесь, член Зиминского ревкома Бато. Потомок Чингисхана.

— Ванька врет,— осклабился Бато. — Я только внук тех внуков, прадеды которых умирали за Чингисхана.

— Утром Колчак прикатит в Зиму. Едет поездом «58-бис», под чешской охраной.

— Откуда узнал? — спросил Андрей.

— Дружки на станции сообщили. Теперь мы потребуем выдачи Колчака и золота. Чехи против партизан не попрут.

— А если попрут?

— Тогда мост взорвем.

— Мы взорвем, они починят.

— Колчаку зеленой улицы не дадим! Отплавался адмирал,— сказал Новокшонов с отчаянной уверенностью молодости в своей правоте.

— Держи карман шире, а то Колчак не влезет,— пошутил Бато.

— Явимся к военному коменданту станции с блеском. Я командующий зиминским партизанским фронтом, ты, Андрей,— мой адъютант, Бато — член Иркутского Политцентра.

— У чехов прямой провод с Иркутском. Уличат нас, Ванька,— предостерег Бато.

— Уличают одних дураков. Дай мне полотенце.

Бурят развернул холщовое полотенце с вышитыми красной ниткой словами: «Вся власть Советам!»

— Надену полотенце поверх полушубка. Для устрашения парочку «лимонок» по бокам. И ты, Андрей, прицепи на грудь плакат... Еще бы красные треугольники на шапки. Устрашать так устрашать,—весело посоветовал Бато.

Утром Новокшонов, Бато, Шурмин шли по перрону станции, за ними следили сотни глаз.

Военный комендант только что получил из Иркутска две телеграммы. Одна приказывала всячески избегать столкновений с партизанами, другая требовала строгой охраны Колчака и золотого эшелона. Появление партизан комендант сразу же связал с приездом Колчака и встретил Новокшонова подозрительно.

— До прихода поезда «58-бис» еще час. У нас есть время договориться о выдаче Колчака,— сказал Новокшонов.

— Откуда вам это известно, что Колчак прибывает? — спросил комендант, косясь на пламенеющее грозными словами полотенце.

— У нас хорошая разведка.

— Адмирал действительно прибывает. Но я не могу его вам выдать.

— Мы возьмем Колчака силой. Вы только не мешайте.

— Зачем вам адмирал, господин партизан?

— Он — враг русского народа.

— Если примените силу, я буду защищать адмирала. А наше превосходство несомненно,— почти ласково заметил чех-комендант.

— Партизаны взорвут мост, разберут пути, как вы поедете дальше? Через сколько лет будете дома?

— У меня приказ защищать Колчака,— упрямо повторил комендант.

— А если я добьюсь отмены приказа?

— Не представляю, как это можно осуществить.

— Можно поговорить по прямому проводу с генералом Жаненом? — спросил Новокшонов, понимая, что его операция уже на грани провала.

— Можете,— согласился комендант, стремясь выиграть время для своих целей. — Вас проводят на телеграф.

— Не надо провожатого. Дайте записку.

Комендант написал разрешение. Новокшонов пошел на телеграф.

— Доброе утро,— вполголоса поздоровался он.

— С добрым утром,— отозвался встревоженный чех-телеграфист.

Новокшонов оглянулся на дверь, на заиндевелое окно.

— Где теперь поезд? — тихо спросил он.

— На польпути к Зиме.

— Операция наша срывается, друже...

— Я могу чем-нибудь помочь?

— Надо передать телеграмму. Но ты, парень, рискуешь головой...

— Давайте телеграмму. Диктуйте. — Чех-телеграфист положил пальцы на ключ аппарата.

— Хорошо! Отбивай! «Всем начальникам партизанских отрядов и рабочих дружин. Всем, всем! — повторил Новокшонов и энергично потер нос. — Сегодня, тринадцатого января, в Зиму с поездом «58-бис» прибывает Колчак. Принимаю меры к его аресту. В случае неудачи перехватывайте его на других станциях. Точка».

— Еще что нужно?

— Свяжи меня с Иркутском, с поездом генерала Жанена.

Монотонно попискивал аппарат. Иркутск почему-то не отвечал. Новокшонов мучительно переживал задержку: каждую минуту чехи могли арестовать его, схватить сочувствовавшего партизанам телеграфиста.

— Черт знает, что у него на уме? — выругался он.

— Ви о ком ето?

— О военном коменданте. У него такая лукавая физиономия.

— Про него говорьят — возит с собой ящик медалей на грудь и три ящика пьетель на шею. Польтора года с ним — он, как это по-русски, сюкин син! Тише! Иркутск! Говорьит Зима, говорьит Зима. Пригласите к аппарату генерала Жаньен. Кто? У аппарата генерал Жаньен? С вами станет разговаривать командующий зимьинским фронтом красных войск... Перебивают, требуют, чтобы вислушали их,— сказал телеграфист.

— Пусть говорит.

— С красными не желаю разговаривать. Генерал Жаньен...

— Ну и гусь! Он еще полетит у нас, погогочет.

— Вам пора уходить. Ви и так подозрительно дольго пребиваите у меня.

За окном взревел паровозный гудок, задребезжали стекла. На перроне засуетились, забегали.

— Это «58-бис». Недаром суматоха. — Новокшонов выскочил из помещения телеграфа.

— Поезд пришел. Вагон Колчака сразу же оцеплен

войсками. Комендант станции помчался к Колчаку,— сообщил Шурмин.

Они тоже пошли к адмиральскому вагону, но столкнулись с выскочившим оттуда комендантом. Тот что-то приказывал своим часовым.

— Говорили с генералом Жаненом? — спросил комендант.

— Беседовал. Жанен попросил меня пропустить в Иркутск Колчака и золото. Я согласился при условии, что вместе с чешским конвоем адмирала станут сопровождать его и наши партизаны. Жанен не возражает.

— Зато возражаю я,— сказал недоверчиво комендант.

— Ваш телеграфист может подтвердить разговор. А вам я не советую капризничать.

— Сколько партизан собираетесь дать в конвой? — раздраженно спросил комендант.

— Человек десять.

— Меньше.

— Ну, пусть восемь.

— Нельзя, нельзя!.. Впрочем, можно двоих,— обмяк комендант.

— Торгуетесь, как на барахолке. Ладно, пусть будет двое. Вот они. — Новокшонов положил руку на Шурмина, другую на Бато. — Поедут в одном вагоне с Колчаком. Сейчас же я хочу взглянуть на верховного правителя. Действительно ли он тут.

— Снимите это полотенце, оставьте гранаты.

Новокшонов передал Андрею гранаты и полотенце, поднялся в вагон. Он шагал среди жмущихся к стенкам офицеров, высокий, устрашающий. Резко распахивал двери купе, резко захлопывал их.

Ротмистр Долгушин хотел было остановить Новокшонова, тот отстранил его плечом, приоткрыл дверь купе.

Колчак, горбясь, с папироской в руке стоял у окна. Глаза их встретились; карие потухшие глаза адмирала равнодушно посмотрели в синие пронзительные глаза Новокшонова.

13

Опять морозно светились сугробы, проваливались в белую тьму деревья. Золотой эшелон шел на восток, флаги шести держав трепыхались над каждым вагоном. На крышах торчали пулеметы, в тамбурах мерзли чешские часовые.

Адмирал сидел перед грудой собственных писем, адресованных Анне Васильевне. Пожелтевшие письма еще пахли соленым воздухом океанских далей, вызывая грусть. Он писал своей возлюбленной из самых разных мест, не думая о стиле, о логике, о ясности мысли. Он спешил поделиться с ней своими размышлениями о текущем моменте, об их собственных судьбах. Эти письма сочинялись в корабельных каютах, гостиничных номе-

рах, в английских и японских клубах. Он писал их, поглядывая на фотопортрет Анны, с которым не расставался, но она писем этих не получала.

Он посылал ей совершенно иные письма, в которых были только слова о любви, о разлуке. Была мужская тоска.

Что бы не сделал он ради нее, простил бы ей все, потому что любит ее. С этой оправдывающей его мыслью Колчак взял неотправленные письма и пошел в купе к Анне Тимиревой.

Она тихо улыбнулась ему: так улыбаются только влюбленные женщины.

— Вы знаете, что это такое, Анна? — сказал Колчак, показывая ей пачку писем.

— Откуда мне знать?

— Мои не отправленные вам письма. Придется их уничтожить.

— О нет, нет! Отдайте мне.

Адмирал передал ей блокноты и вышел.

Она стала читать письма. Мелкий, сливающийся почерк с недописанными словами был неразборчивым, но она угадывала смысл раньше, чем дочитывала фразу. Тревога ее росла с каждым письмом.

К тоске примешивался страх. То, что читала она, разрушало выдуманный ею образ Александра Колчака — смелого путешественника, романтического влюбленного.

Настороженный ум ее уловил опасность, заключенную в письмах: человеконенавистнические идеи, высказанные открыто в этих письмах, могли теперь обернуться против самого адмирала. Она испугалась за его жизнь.

Линкор «Свободная Россия»
4 мая 17 года. На ходу в море.

«Я получил письмо Ваше неделю тому назад, но до сего дня не мог ответить. Всю эту неделю я провел на миноносцах в переходах в северную часть Черного моря, ходил в Одессу на свидание с Керенским, а теперь возвратился в Севастополь.

Я чувствую себя точно после тяжелой болезни, она еще не прошла, мгновенно такие вещи не проходят, но мне не так больно. В часы горя и отчаяния я не привык падать духом — я только становлюсь жестоким и беспощадным...

Третья ночь в море. Тихо, густой, мокрый туман. Иду с кормовыми прожекторами. Ничего не видно. День окончен. Гидрокрейсера выполнили операцию, судя по обрывкам радио. Донесений пока нет. Миноносец был атакован подлодкой, но увернулся от мин. Крейсера у Босфора молчат — ни одного радио, значит, идет все хорошо. Если все как следует — молчат, говорят только, когда неудача. Кажется, все сделано и все делается, что надо. Я не сделал ни одного замечания, но мое настроение передается и воспринимается людьми, я это чувствую.

Люди распускаются в спокойной и бездеятельной обстановке, но в серьезном деле они делаются очень дисциплинированными и послушными. Но я менее всего теперь интересуюсь ими...»

Петроград
17 июня 17 года

«Я имел совершенно секретный и весьма важный разговор с послом С. Ш. Америки Рутом и адмиралом Гленноном, в результате которого было решение мое принять участие в предполагаемых операциях американского флота. Делу был придан решительный характер, и я ухожу в ближайшем будущем в Нью-Йорк.

Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру, предложившему чужой стране свой военный опыт, знания и, в случае надобности, голову и жизнь в придачу.

Я ухожу далеко и, вероятно, надолго; говорить о дальнейшем, конечно, не приходится...»

Петроград
24 июня 17 года

«Мне нет места на родине, которой я служил почти 25 лет. И вот, дойдя до предела, который мне могла дать служба, я нахожусь теперь в положении кондотьера и предлагаю свои военные знания, опыт и способности чужому флоту. Не ожидал, что за границей я имею ценность большую, чем мог предполагать.

Теперь я действительно холодно и спокойно смотрю на свое положение и начал, или, вернее, продолжаю, работу, но уже для другого флота...

Быть может, люди высшего счастья, доступного на земле, счастья военного успеха и удачи осветят чужой флаг, который будет для меня таким же близким и родным, как тот, который стал для меня воспоминанием...»

Лондон
20 августа 17 года

«Третий день, как я в Лондоне. Последнее письмо посылал Вам из Бергена. Переход Северным морем с конвоем миноносцев был прекрасен.

Простите меня за смелость, с которой я решился послать Вам несколько вещей, которых теперь нет в России и которые, может быть, Вам пригодятся. Я знаю, что Вы будете сердиться, но не мог не доставить себе удовольствия хоть немножко подумать о Вас. Я всегда буду счастлив служить Вам...

Я говорил сегодня в обществе весьма серьезных людей о великой военной идее, о ее вечном значении, о бессилии идеализации социализма...

И Ваш милый, обожаемый образ все время был перед моими глазами.

Но прекрасна война, если она дает такую радость, как поклонение Вам! Вот о чем я думал, говоря сегодня в обществе военных людей про идею войны, высказывая веру в нее...

Служение идее никогда не дает конечного удовлетворения, но в личной жизни я вспоминаю Вас, и да — война дала мне счастье и радость...»

16 января 1918 года
Иокогама

«Сегодня неожиданно я получил Ваше письмо, доставленное мне офицером, приехавшим из Америки. И, как всегда, когда я получаю Ваше письмо, я переживаю то состояние, которое называется счастьем... Никогда, кажется, я не верил так в индивидуальность войны, как теперь...

Вы знаете мою веру: виноват тот, с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чем не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, ее правосудие не всегда понятно, она признает только победу, счастье, успех, удачу. Она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем. Горе побежденным! Вот ее первый символ веры.

Я поехал в Америку, надеясь принять участие в войне, но когда я изучил вопрос о положении Америки с военной точки зрения, то пришел к убеждению, что она ведет войну только с чисто своей принципиальной психологической точки зрения — рекламы...

Мы проиграли войну. Кто ответствен за это? Правительство! Да, но не оно только. Ответственность за это несут прежде всего военные, главным образом офицерство. После революции 1905 года было ясно, что спасение России лежит в победоносной войне, но кто ее хотел? Офицерство — нет! Войны хотели отдельные немногие лица, которые готовились к ней как к цели и смыслу своей деятельности и жизни. Они точно указали на время начала войны.

В своей просьбе, обращенной к английскому послу и переданной правительству Его Величества, я сказал, что хочу предложить участвовать в войне на стороне Великобритании, так как считаю, что Великобритания никогда не сложит оружия перед Германией. Я желаю служить Его Величеству Королю Великобритании.

Пусть правительство Короля смотрит на меня как на солдата, которого пошлет туда, куда считает наиболее полезным....

Вопрос решен — Месопотамский фронт! Я не жду найти рай, который когда-то был там расположен, я знаю, что это очень нездоровое место, с тропическим климатом, с холерой,

малярией и, кажется, чумой, которые там никогда не прекращаются. Мне известно, что предшественник командующего Месопотамским фронтом умер от холеры...

Война прекрасна, хотя она связана со многими отрицательными явлениями, но она везде и всегда хороша! Не знаю, как отнесется Она к моему единственному и основному желанию служить Ей всеми силами, знаниями, всем сердцем и всем своим мышлением?..»

21 января 18 года
Иокогама

«Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти места. Это много даже для меня. От офицеров, уехавших с поручениями и письмами в Россию, нет также никаких известий. Нехорошие и невеселые мысли приходят в голову...

Поскорее бы к активной войне, где я буду чувствовать себя точно вернувшись домой. Другого дела теперь у меня нет и быть не может...

Моя вера в войну, ставшая положительно каким-то религиозным убеждением, покажется Вам дикой и абсурдной, и в конечном результате страшная формула, что я поставил войну выше Родины, выше всего, быть может, вызовет у Вас чувство неприязни и негодования.

Когда человек передает другому государству все, до своей жизни включительно (а в этом и есть существо военной службы), и является кондотьером с весьма сомнительным подражанием на идейную или материальную сущность этой профессии,— как посмотрите Вы на это, я не знаю...

Будем ждать новой войны, как единственного светлого будущего, а пока надо окончить настоящую, после чего приняться за подготовку к новой. Если это не случится, тогда придется признать, что смертный приговор этой войной нам подписан».

16 марта 18 года
Сингапур

«За эти полгода, проведенных за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиканов...

Мой отъезд на юг, Ваши письма, моя поездка в Петроград в апреле, когда я почувствовал, что война отвернулась от меня, и я решил, что и Анна Васильевна последовала ее примеру. Теперь мне даже немного смешно вспоминать свое обратное путешествие в Севастополь в вагон-салоне, свой приезд, прибытие на корабль, но тогда я был в состоянии отчаяния, а тут кругом шел последний развал и крушение всего.

Опять Петроград. Отъезд за границу. Лондон, теплые ночи в водах Гольфстрима на палубе «Пенсильвании», Чикаго, дальше Тихий океан, Сандвичевы острова, Япония...

Наконец, служба Его Величеству Королю, и вот я сижу в ожидании...»

20 марта 18 года
Сингапур

«Я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении.

Английское правительство нашло, что меня необходимо использовать в Сибири, в войне союзников и России, предпочтительно перед Месопотамией...

И вот я со своими офицерами перебрался в отель «Европа» и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Шанхай и оттуда в Пекин.

Моя миссия является секретной, хотя я догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней до прибытия в Пекин.

Вы понимаете, как это все тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы пережить это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару...

Не скрою, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы. Я почти успокоился, направляясь на Месопотамский фронт...

Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь каким-то сном. В такую тревожную ночь в совершенно чужом и совершенно ненужном городе я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти строки.

Даже звезды, на которые я смотрю, думая о Вас,— Южный Крест, Скорпион, Центавр, Арго — все чужое.

Я буду, пока существую, думать о моей звезде — о Вас, Анна Васильевна».

Анна почувствовала себя тенью без блеска, без мысли. Вся ее жизнь теперь обрекалась на жалкое прозябание в будущем. Если адмирал окажется пленником красных, то что делать ей?..

Она разворошила пальцем груду писем, в глаза кинулись строки: «Смертный приговор нам подписан этой войной. Виноват тот, с кем случается несчастье, даже если он юридически и морально не виноват. Война признает только успех, счастье, удачу... Неважно, что она сеет смерть и несет разрушения».

Радостное волнение Анны погасло, тщеславие ее насытилось любовными словами, стало и неловко, и больно: в письмах открылся ей совершенно новый, непонятный, даже страшный человек.

— Он сам назвал себя кондотьером. Он продал английскому королю ум, знание, способности, опыт и жизнь в придачу. Чужой флаг стал для него роднее русского знамени. — Ей вспомнились отдельные фразы из писем: «Я служу войне — единственная служба, которую искренне и бесконечно люблю. Война прекрасна... Она всегда и везде хороша... Будем ждать новой войны, как единственного светлого будущего!» — Господи боже! Он сошел с ума,— прошептала Анна. — Ведь только сумасшедшие могут написать: «Война выше личности. В ней вся надежда на будущее, наконец, в ней единственное моральное удовлетворение».

Она опять взяла одно из писем, выискивая строку, обращенную к ее чувствительности.

«Моя вера в войну, ставшая положительно каким-то религиозным убеждением, покажется вам дикой и абсурдной... Страшная формула, что я поставил войну выше родины, выше всего, быть может, вызовет у Вас чувство неприязни и негодования...»

Иголочка страха кольнула ее в сердце, а страх был не за себя — за адмирала. «Я прощаю ему все, потому что люблю. Прощу и его политическое безумие, которое ведет к катастрофе. Культ войны и проповедь новых войн во имя личной любви — это ужасно! Неужели адмирал — всего лишь убийца с романтизированным умом?» Но что бы он ни сделал, какие бы страдания ни причинил ей и людям, она прощала. Она уже беспокоилась, что эти письма могут попасть в руки его врагов. Она потрогала пальцем груду бумаги, разворошила ее. «Надо бы сжечь их, развеять пепел, чтобы ничего не осталось от этих писем, но я не могу расстаться с ними. Какая женщина уничтожит письменные свидетельства любви к себе?»

Поезд сбавил ход. Анна приоткрыла дверь купе — Колчак разговаривал с Долгушиным.

— Знаете, почему древнеримский полководец Марий плакал на развалинах Карфагена? — говорил он глухо и озлобленно.

— Видимо, сожалел о разрушенном городе...

— Смешной вы! Марий плакал оттого, что не он разрушил город. Подобно Марию, мне остается плакать на развалинах России. С русским народом случилось что-то такое, чего я не понимаю. Не могу постичь!

Адмирал посмотрел в окно, но, отшатнувшись, испуганно замахал руками:

— Что это, что это? Что там, на телеграфных столбах? Господи, что там такое?

По вагонному окну проходили двойные, тройные тени, черные, окоченевшие, страшные в своей неподвижности.

— Это партизаны. Они повешены от имени вашего превосходительства.

Золотой эшелон спешил сквозь ночь.

В вагоне не хватало места, офицеры разместились на полу. Расстелив шинели и полушубки, они перешептывались, посеревшие от страха, от горячечной, бессильной злобы. Железная печка мерцала в темноте малиновыми боками. Она была чем-то вроде угасающего солнца для кучки оборванцев, еще недавно составлявших блестящую свиту адмирала Колчака.

— После Красноярска мы бешено катимся в пропасть,— сказал прапорщик с монгольской, скуластой физиономией. — Ведь это неслыханно — Красноярск сдали красным по телеграфу.

— Как такое могло случиться, ротмистр? — спросил государственный контролер. Он сидел в углу салона на корточках, портфель с документами лежал рядом с ним.

— А так и случилось. Командующий гарнизоном, спасая свою шкуру, послал какому-то Ваське телеграмму, сообщил, что сдает город без боя,— зло ответил Долгушин. — Самое идиотское в телеграмме — вопрос о том, кому он сдается. Васька резонно ответил — у него нет ни чина, ни звания. Он-де солдат.

— Все как в анекдоте: «Кого, господа офицеры, ищете?» — «Краснюков». — «Зачем господам офицерам краснюки?» — «Мы сдаваться пришли». Зиневич теперь, поди, благоденствует у красных,—усмехнулся неопределенно государственный контролер.

— Они его расстреляли,— хмуро ответил Долгушин. — Если бы не это предательство, мы бы имели боеспособную армию. А сейчас осталось тридцать тысяч безумцев, которыми командует Каппель. Каппель — герой, но не спасут нас уже ни храбрецы, ни безумцы!

Долгушин открыл дверцу печки, помешал угли. Синие отблески упали на изможденное лицо его.

— Нас прикончат либо винтовки красных, либо тифозные бациллы и сибирские морозы,— захныкал прапорщик. — Об этом писал поэт Маслов.

— Откуда вы знаете Маслова? — поразился Долгушин.

— Я похоронил его в Новониколаевске.

— Маслов умер? — дрогнувшим голосом спросил Долгушин.

— Я бы тоже хотел умереть, как он, ничего не помня, в тифозном бреду,— сказал прапорщик, уклоняясь от прямого ответа. — Перед смертью он передал мне листок со стихами. Листок-то я потерял, но стихи запомнил. Они про нас, господа, эти его предсмертные строки. — Прапорщик уставился на блуждающие по углам огоньки и прочитал:

Тянутся лентой деревья,
Морем уходят снега.

Грустные наши кочевья
Кончат винтовки врага,
Или сыпные бациллы,
Или надтреснутый лед,
Вьюга засыплет могилы
И панихиду споет...

— «Грустные наши кочевья кончат винтовки врага»,— тоскливо повторил Долгушин.

— Стихией Маслова была лирика,— снова, уже обозленно, заговорил прапорщик. — Ненавижу патриотический трёп. Плачутся о судьбе России и продают ее иностранцам. Эх, ротмистр, ротмистр, всегда неприятно узнавать, что правитель отечества — сукин сын!

В соседнем купе, опершись подбородком на скрещенные ладони, сидел адмирал. Анна Тимирева лежала напротив, прикрывшись оленьей дошкой. Из-под полы, обшитой синим бисером, следила она за усталым, подурневшим, но все еще энергичным лицом Колчака.

— Человек до определенной грани распоряжается своей судьбой,— сказал он то ли себе, то ли Анне. — За последней гранью он становится игрушкой судьбы.

Она не ответила, и Колчак продолжал уже для себя:

— Неужели союзники выдадут меня большевикам или эсерам из Политцентра? Не может этого быть, не может быть. Союзники еще нуждаются во мне.

Поезд, дергаясь и скрежеща тормозами, остановился; за окном вагона раздались громкие крики, смешивались русские и чешские слова.

— Партизаны! Конечно, партизаны. — Колчак испуганно приоткрыл дверь купе.

Юноша в полушубке с полотенцем во всю грудь преградил ему дорогу.

— «Вся власть Советам!» — прочел Колчак огненно-красные слова на груди юноши.

— Вернитесь в купе! — спокойно и уверенно потребовал Шурмин.

Колчак отступил, окинув презрительным взглядом толпившихся позади юного партизана офицеров. Было досадно, что какой-то мальчишка так устрашает его приближенных. «Меня предали,— подумал он. — К чешскому конвою добавили партизан».

Шурмин же, прислонившись к вагонной стенке, заносчиво поглядывал на офицеров. Мимо по коридору прошмыгнул государственный контролер; из всех сопровождавших Колчака лиц он один понравился Шурмину своей независимостью. За окном слышались его удалявшиеся шажки.

«Куда это он побежал? Почему остановился поезд?» Андрей опять подумал о зигзагах своей судьбы. Ждал необычайного,

и вот оно появилось неожиданно. Все теперь вокруг него стало исключительным, исполненным нового значения и смысла. «Я конвоирую еще вчера всевластного диктатора Сибири!» Андрей самому себе стал казаться сильным, красивым.

— Опять преступление! — раздался на перроне знакомый ему визгливый голосок контролера. — Что не может быть? Исчезло тринадцать ящиков золота, а вы говорите — не может быть! Непостижимо, необъяснимо? А я объясню — охранители золотого запаса сами разворовывают этот запас! Все до примитива просто.

Тяжелый, ломающий русские слова бас возражал ему:

— Чьюдо какое-то. Три племби срезали, и никто не вьидел.

— Золото украл господь бог, да? Или его уперли партизаны?.. Оно провалилось сквозь землю? Да или нет? Кому вы морочите голову? Государственному контролеру, да?

Начинался рассвет, кроваво-темный от покрепчавшего к утру мороза. Грохот поезда разрывал сердце Колчаку. Он был готов разрыдаться, но присутствие Анны удерживало его. «Человеку нельзя без надежды. У меня есть еще, есть еще надежда выбраться из этого гибельного круга!» — думал он, понимая, однако, всю призрачность, шаткость этой надежды.

Грохот поезда снизился до ритмичного постукивания колес. «Есть еще, есть еще, есть еще!» — четко выстукивали колеса. «Надежда, надежда, надежда!..» — опять зачастили они.

Твердая, приятная фраза взбадривала. Но вот она стала распадаться и глохнуть. Поезд сбавил ход, появились станционные склады, депо, вокзал.

— «Черемхово», — прочитал Колчак и увидел тысячную толпу на перроне и красные знамена над ней.

Замелькали рты, искривленные криком, поднятые угрожающе кулаки, посиневшие на морозе лица и глаза, расширенные ненавистью. Мелькали молодые, бородатые лица — красивые и некрасивые, закуржавелые шапки, папахи, полушалки, воротники.

В морозном белом воздухе над головами людей плакаты:

«Смерть Колчаку!»

«Долой интервентов!»

«Да здравствует власть Советов!»

Телеграмма партизана Новокшонова привлекла к поезду верховного правителя всеобщее внимание. Теперь Колчак как бы передавался от одной станции к другой, и тысячи глаз следили за его продвижением.

В Черемхове пять шахтеров заскочили в салон-вагон; Шурмин и Бато встретили их как своих соратников. Шахтеры сказали немало страстных, решительных и осторожных слов; они проявили разное отношение к Колчаку, но все же сошлись на одном: лучше пропустить адмирала и золотой эшелон в

Иркутск, чем проливать кровь в неравной драке с чешским конвоем.

А пока что захлебывались ревом гудки всех угольных шахт, потрясали воздух свистками электростанции, железнодорожные мастерские, отчаянно выли все паровозы, гремели колокола всех церквушек, били в набат полустанки и все телеграфные аппараты от Черемхова до Иркутска выстукивали одно-единственное слово: «Задержать, задержать, задержать!»

Как бы отвечая им, опять грохотали вагонные колеса: «Задержим, задержим, задержим!»

Колчак при дневном свете увидел себя в зеркале, поднял руку и ухватил клок волос.

— Господи, я совсем поседел!

Он осмотрел сухую кожу на скулах, виски, покрытые изморозью седины.

— Поседел от бед и отчаяния!

Адмирал стал срывать свои с черными орлами погоны, сдернул с шеи георгиевский крест и зашвырнул его на верхнюю полку. Потом он осторожно выглянул из купе — Шурмин попрежнему стоял у дверей салона.

— Позовите ко мне ротмистра Долгушина.

Ротмистр пришел, поблекший, с мелкими лапками морщин под глазами, с какой-то вымученной, растерянной усмешкой на бескровных губах.

— Скоро Иркутск,— сказал адмирал. — Пусть офицеры скрываются, я освобождаю их от присяги.

— А как же ваше превосходительство?

— Мертвецам наплевать, что с ними сделают живые.

— Ну зачем же так мрачно, Александр Васильевич? — упрекнула его Анна.

— Подумать только,— горестно пожаловался Колчак,— год назад меня встречали в Сибири как освободителя. Сейчас те же люди провожают словно прокаженного. Завтра они обзовут меня кровавой гадиной. А мне все равно, мне наплевать! — Колчак снял с полки саквояж, вынул из него свои морские блокноты. — Эти письма станут уликой, когда меня арестуют. Уничтожьте их, ротмистр.

— Нет, нет! — испуганно запротестовала Анна.

— Пока я жив, письма будут со мной. — Долгушин спрятал блокноты за пазуху. — Прощайте, ваше превосходительство, прощайте, Анна Васильевна...

А на иркутском вокзале в это время царило необыкновенное оживление. Для ареста Колчака большевики привели сюда рабочую дружину и подошедший к городу партизанский отряд. Политцентр выставил офицерскую роту.

Золотому эшелону был освобожден дальний тупик; по сторонам его уже поставили проволочные заграждения. Генералу Жанену пришлось отодвинуть свой поезд на запасные пути.

Золотой эшелон еще не остановился, а из салон-вагона уже стали выпрыгивать офицеры свиты верховного правителя. Шурмин и Бато, прикрыв спинами купе адмирала, провожали настороженными взглядами его последних разбегающихся помощников.

Долгушин соскочил на перрон и зашагал прочь, энергично взмахивая правой рукой, словно подчеркивая безнадежность совершавшихся здесь событий. Вагоны медленно закатывались в тупик; ротмистру пришлось возвратиться на перрон.

Тут он столкнулся с государственным контролером — тот вприпрыжку шел вдоль вагонов, пересчитывая номера их, проверяя пломбы.

— Бегите, пока не поздно!— крикнул ему Долгушин.

Контролер оскорбленно скривил рот.

— Что вы говорите? Кому? Контролеру русского золотого запаса? Стыдно!

Долгушин еще раз взмахнул рукой и нырнул за вагоны. Но все же он успел заметить, как адмирала Колчака поставили в двойное кольцо охраны.

И это двойное кольцо двинулось к Ангаре, за которой виден был близкий Иркутск.

Колчак шел неловкой, ныряющей походкой, длинная черная тень его ломалась на снежных сугробах.

15

— Вы адмирал Колчак?

— Я адмирал Колчак.

— Вы считались верховным правителем России?

— Я верховный правитель.

— Сколько вам лет, адмирал?

— Сорок семь.

— Где родились вы?

— В Петербурге. Мой отец, генерал-майор, происходил из столбового дворянства, мать тоже дворянка.

— Вы женаты?

— Жена сейчас живет в Париже.

— Здесь добровольно заарестовалась гражданка Тимирева Анна Васильевна. Какое она имеет к вам отношение?

— Хорошая знакомая.

— Гражданская жена?

— Нет, нет!

Допрос начался в день, когда Политцентр передал всю полноту власти в городе Иркутскому ревкому. Только двадцать дней властвовали эсеры, но чрезвычайная следственная комиссия, созданная ими, осталась. Ее председателем был большевик Попов, членами — эсеры Алексеевский, Лукьянчиков, социал-демократ Денека.

Колчака допрашивал главным образом Алексеевский. Адвокат по профессии, он издавал в Иркутске эсеровскую газету; колчаковская цензура прикрыла ее, и Алексеевский считал адмирала личным своим врагом.

Иркутский ревком намеренно сохранил этот разношерстный состав комиссии: Колчак не считал эсеров своими последовательными врагами и в их присутствии мог говорить более откровенно.

Допрос происходил в тюремной канцелярии. Колчак сидел у столика посредине комнаты. Справа, под окном, расположились стенографисты, слева стоял начальник караула Шурмин.

Раздраженно следил Андрей за процедурой допроса. Ему казались ненужными вопросы, устанавливающие личность Колчака, место его рождения. Все это было, по его мнению, пустой тратой времени: «Где родился? Как крестился? Ясно, что перед ними Колчак. Ну, и во двор его, и к стенке именем революции».

Алексеевский же наслаждался выпавшей ему ролью и допрашивал адмирала по всем правилам юриспруденции. Он подчеркивал свою осведомленность в тайнах политики. Вежливый, доверительный голос его заполнял промозглую тюремную канцелярию.

— Кем работали после окончания Морского корпуса? Когда стали служить в царском флоте? Какого чина достигли? За что награждены золотым оружием? Как относились к императору, к императрице, пресловутому старцу Григорию Распутину? С какими чувствами встречали войну с Германией? Ваше отношение к большевикам? К левым эсерам? Для чего изучали китайский язык?

Вопросы Алексеевского иногда ставили в тупик адмирала, но чаще они помогали выбираться из опасных, скользких, запутанных положений.

Серое утро тосковало на голых тюремных стенах. В сером свете все казалось унылым, особенно люди, сидевшие за голым столом.

— Где вы узнали об Октябрьской революции?

— В Сан-Франциско. Я садился на пароход, уходящий в Японию,— осторожно ответил Колчак.

— Как вы отнеслись к перевороту?

— Не придал ему особого значения. Брестский мир я считал более страшным событием.

— Как все же реагировали на появление Советской власти?

— По прибытии в Японию заявил: правительство, заключившее мир с немцами, я не признаю.

— И это все?

— Нет, почему же! Я еще сказал, что вместе с союзниками буду драться против Германии.

— И против большевиков? — спросил председательствующий Попов.

— Большевики и Германия для меня синонимы,— мрачно обронил Колчак.

— Вы монархист, адмирал?

— Я служу отечеству... одно это слово возвышает душу.

— Прекрасное слово «отечество», но все же отвечайте на мой вопрос.

— Монархия не единственная форма правления, которую я признаю. Когда она пала, я счел себя свободным от всех обязательств перед ней.

— Это стало вашей потребностью — изменять своим обязательствам? — заметил председательствующий. — Освободились от присяги императору, изменили Временному правительству, перешли потом на службу к английскому королю...

Алексеевский опять перехватил нить допроса:

— Вы, адмирал, продали английскому королю свою шпагу...

— Пусть так.

— Свои военные знания продали вы.

— Да! Да!

— Вы поступили как кондотьер...

Колчак сумрачно, исподлобья посмотрел на Алексеевского. «Неужели они перехватили мои письма? Теперь будут бить меня моими же словами».

— А ведь это символично. Прежде чем стать верховным правителем, вам пришлось стать кондотьером,— продолжал Алексеевский.

— Символы, символы,— обозлился Колчак. — Мы бережем утратившие всякое значение символы, но не бережем людскую кровь. — Он замолчал, понимая, что говорит совершенно не то, что нужно.

— Вот-вот-вот! — сразу же подхватил его слова Попов. — Не бережем кровь — в этом-то все дело! Сотни тысяч загубленных жизней на вашей совести, адмирал. Итак, вы поступили на службу английскому королю. Как это произошло?

— Я получил из Лондона телеграмму. Мне предлагалось выехать в Пекин для встречи с бывшим царским послом.

— Вы встретились с ним?

— Посол передал мне инструкции английского правительства.

— Что это за инструкции?

— Мне предлагалось немедленно собирать силы для борьбы с большевиками. И я поехал во Владивосток.

— Когда у вас зародилась мысль о личной диктатуре?

Вопрос Попова показался Колчаку подозрительным, он отхлебнул холодного чая, собираясь с мыслями.

— Я стал диктатором по воле офицеров белой гвардии. Они избрали меня верховным правителем.

— История не знает личной диктатуры, которая покоилась бы на избрании,— немедленно возразил Алексеевский.— Где вы узнали о правительстве, именуемом омской Директорией?

— В Пекине. Я тогда же сказал: Директория — второе издание Временного правительства, она приведет в Сибирь большевиков.

— И все же вы стали ее военным министром! Для того, чтобы свергнуть ее?

— Во время войны страной должны управлять военные. Как они станут управлять — неважно, лишь бы одержали победу,— ответил Колчак.

Он говорил, слушал адвоката и поглядывал на стенографиста — тот вел свои записи на зеленоватых рекламах: «Покупайте цейлонский чай братьев Похабовых!»

— В своем манифесте вы писали, что не пойдете ни по пути партийности, ни по пути реакции. Но своим-то знаменем вы взяли самую мраконосительную реакцию,— продолжал Алексеевский.

«Этот адвокат ставит мне ловушки, словно я больше всего причинил вреда ему лично,— подумал Колчак.— Нет у них моих писем, а то бы они их уже цитировали».

Председательствующий объявил перерыв. Колчака отвели в тюремную камеру. «Спасения ждать невозможно. Стоит ли хвататься за соломинку, не лучше ли достойно уйти на тот свет?» Колчак вынул из матраца прибереженную для крайнего случая капсулу с ядом.

Заскрежетала дверь. Колчак швырнул капсулу под койку, но Шурмин уже заметил ее.

— Яд? — спросил он коротко.

— Яд! — так же коротко ответил Колчак.

Шурмин обыскал камеру и пошел к председателю губчека Чудновскому.

— Вот яд, отобранный у Колчака,— Андрей протянул капсулу.

— Стрихнин,— уточнил Чудновский.— Безотказный яд. Волков им травят. Почему Колчак не воспользовался им?

— Не успел.

— Не захотел. Значит, на что-то еще он надеется.

— Я бы расстрелял его немедленно.

— Остерегайся, юноша, психоза мстительности. Колчак, между прочим, живой нам нужнее.

Шурмин выслушал председателя губчека, не возражая, но и не соглашаясь с ним. Чудновский нравился ему уже тем, что напоминал чем-то Игнатия Парфеновича — такой же коренастый, волосатый и так же сильно сутулился. У Чудновского были, как и у Лутошкина, палящие, выразительные глаза, острый ум, независимость в суждениях. Может быть, ему не хватало сердечности, которую излучал Игнатий Парфенович.

— Придет время — и все, что мы совершили, станет достоянием истории. История потребует от нас правды о революции, о гражданской войне,— назидательно сказал Чудновский.— Ведь история смотрит на события не во временной, а в бесконечной перспективе. Вот почему следственная комиссия должна установить причины, вызвавшие колчаковщину, нарисовать портрет ее вдохновителя. — Он помолчал, подыскивая слова для выражения волнующей его мысли. — Всесторонний портрет палача революции,— изменил он формулировку. — Недавно в губчека явился человек, который профессиональным палачом был — вешал бóльшеви́ков в иркутской тюрьме. Он пришел предложить свои услуги, будучи совершенно уверен в том, что ни одна власть не может обойтись без палача. Его надо было сразу повесить, но пока жив Колчак, пусть поживет и палач. Мы сведем Колчака с пьедестала верховной власти и поставим его рядом с заурядным вешателем.

Шурмин вернулся в канцелярию тюрьмы. Вскоре туда пришел и Попов.

— Получена телеграмма от Реввоенсовета Пятой армии. После следствия Колчака надо отправить в Москву для суда над ним,— сообщил он членам следственной комиссии. — Колчак, кстати сказать, достаточно откровенен в своих показаниях и на допросе держится как военнопленный, проигравший кампанию. Этим он отличается от своего премьер-министра Пепеляева. Тот хитрит, вертится, трусит. Продолжим допрос, товарищи. Комендант, приведите арестованного.

16

Новое заседание следственной комиссии Попов открыл прямым, требующим тоже прямого ответа вопросом к Колчаку:

— Ваши каратели расстреливали рабочих, партизан, красноармейцев без следствия и суда. Что вы знаете об этом?

— Это неправда. Работали военно-полевые суды,— поспешно возразил Колчак.

— Сидело за столом трое офицеров, к ним приводили арестованных. Офицеры произносили: «Виновны» — и людей убивали. Вот что было.

— Про такое я не знаю.

— О таком беззаконии знает вся Сибирь.

— Я сам подписывал устав военно-полевых судов.

Сумрачный тон Попова и его вопросы насторожили Колчака. Попов же сидел прямой, жесткий, суровый, все в нем отвердело, сосредоточилось на своей, не понятной для адмирала цели.

— Даже у военно-полевых судов бывает делопроизводство. Хотя бы для формы пишется обвинительное заключение и приговор. Почему же этого не было у вас?

— Я не в курсе таких процедур,— тоскливо сказал Колчак.

— Верховный правитель и верховный главнокомандующий не интересовался тем, как его подчиненные убивали людей? Странно. А про судьбу Омского подпольного комитета большевиков, про восстание рабочих на станции Куломзино вы знаете? — спросил Попов, еще больше суровея.

— Это было в декабре прошлого года. Накануне восстания подпольный штаб большевиков был арестован, само восстание подавлено английским экспедиционным отрядом.

— А арестованные большевики? Какова их судьба?

— Их расстреляли по приговору военно-полевого суда,— неуверенно, опасаясь попасть впросак, ответил Колчак.

— Их расстреляли еще до суда, а потом лишь оформили приговор. Сколько, по-вашему, человек расстреляно в Куломзине?

— Восемьдесят или девяносто.

— Англичане заявили в печати, что восстание обошлось всего лишь в тысячу жизней. Какой цинизм — всего лишь тысяча жизней!

— Не слышал от англичан таких слов.

— О порке рабочих тоже не слышали?

— Я запретил телесные наказания.

— О пытках вам что-нибудь известно?

— Про них мне не докладывали, я считаю — их не было.

— Я сам видел людей, истерзанных шомполами. Их пытали в контрразведке при ставке верховного правителя. Но вернемся к восстанию. В Куломзине просто хватали людей на квартирах, на улицах и расстреливали.

— Такая точка зрения на куломзинское восстание для меня является новой,— смутился Колчак, отыскивая в словах Попова еще одну скрытую для себя угрозу.

Алексеевский ерзал на стуле: он выпустил из рук инициативу, а большевик, председательствующий, прижал к стене адмирала. Все попытки Колчака выгородить виновников массовых расстрелов казались адвокату наивными, беспомощными.

— Вам известно, что ваш уполномоченный генерал Розанов — генерал-губернатор Красноярска — расстреливал заложников? — спросил Попов.

— Я запретил подобные приемы.

— В Красноярске за одного убитого чеха расстреливали десять русских...

В этот морозный день следствие принимало более суровый характер. Адмирал слушал обнажающие всю трагичность событий вопросы председательствующего, но не понимал, почему так изменилось вежливое течение следствия.

— Офицеры выхватывали из камер арестованных и расстреливали их на тюремном дворе. Брали всех, кто попадался

на глаза, не заглядывали только к тифозникам,— с презрением говорил Попов.

— Откуда это известно вам? — недоумевая, спросил Колчак:

— Я сам сидел в тюрьме с тифозниками. Меня не расстреляли лишь потому, что офицеры побоялись заглянуть в камеру. Их страх дал мне возможность сейчас допрашивать вас. Скажу — ум не охватывает преступлений, совершенных вашим именем, адмирал.

17

После разгрома на Енисее у Каппеля оставалось еще тридцать тысяч отчаянных, способных на все солдат. Каппелевцы отступали по старому Сибирскому тракту, рядом с железнодорожной магистралью, которую оберегали чешские легионы. Чехи сейчас опасались не только красных, но и недавних своих союзников.

Сам Каппель был ранен, вдобавок обморозил ноги и схватил воспаление легких. Когда он приходил в себя, то требовал уничтожения всего мешающего их отступлению. Если ненависть вдохновляет, то Каппель, заражаясь этой низменной страстью, поддерживал свою угасающую жизнь.

Перед станцией Зима он созвал военный совет. Командиры частей собрались в домике путевого обходчика. Каппеля внесли сюда же на руках, усадили в углу, под божницей.

Худой, обросший бородой, с темными следами обморожения на изжелтевшем лице, генерал казался усохшим; только из-под нависших бровей тускло блестели карие глаза, — тоска, боль, отчаяние жили в них.

— Все слабые погибли в этом безумном ледовом походе. Остались самые выносливые. Воинский долг и честь повелевают мне привести их к победе, — заговорил Каппель. — А победа — это Иркутск, это освобожденный адмирал Колчак и возвращенный золотой запас России. Наконец, это заслуженный отдых для нас. — Каппель обвел глазами собравшихся и спросил недовольно: — Почему не вижу здесь генерала Пепеляева?

— Он в бегах. Переоделся кучером и бежал, — усмехнулся Войцеховский.

— В каких бегах? Я не понимаю вас

— Пепеляев распустил по домам свою армию и даже издал приказ о мотивах демобилизации: меч, дескать, не сломан, а только вложен в ножны. Когда он, Пепеляев, вновь появится в Сибири, то наступит час возмездия для большевиков. Вот такой приказ издал он по армии.

— Прямо-таки Георгий Победоносец, — сплюнул Юрьев.

— Сукин сын, а не генерал! — выругался Сахаров, поворачивая голову к Каппелю.

— Да, да! Я вспомнил. Видно, совсем я плох, если стал забывать про такие вещи. — Каппель вытер пот с висков. — Теперь мы не просто солдаты, мы мученики белой идеи, но мучеников не бывает без ореола, и потому каждый из нас заслужил орден или что-нибудь в терновом венце.

— А что нам делать сегодня? — спросил Войцеховский.

— У вас, я вижу, есть какие-то предложения. Говорите, — сказал Каппель.

— По-моему, надо идти на Иркутск, освободить адмирала, вызволить золотой запас и потом соединиться с атаманом Семеновым за Байкалом. Нас могут спасти только решительность действий и беспощадность к врагу,— с ожесточением сказал Войцеховский.

— Ненависть и смелость — наш девиз, — поддержал его полковник Юрьев.

Каппель перевел взгляд на генерала Сахарова.

— Отныне войско наше следует именовать каппелевским,— предложил тот, помолчав немного. — Имя генерала Каппеля — символ нашей непреклонности и презрения к смерти. Но вы, ваше превосходительство, тяжело больны и не в состоянии командовать. Назначьте себе преемника, — сказал Сахаров. — Я не согласен, что надо непременно уходить в Забайкалье. Мы освободим Александра Васильевича и дадим бой красным западнее Иркутска. Ни шагу за Байкал, ваше превосходительство! — решительным тоном закончил он.

Каппель тоскливо подумал: «Кого же мне назначить своим преемником? Войцеховского? Сахарова? Последнего не зря прозвали бетонной головой. Он храбр, но туп, а Войцеховский хитер и коварен, как гиена. И оба они ничего не смыслят в политике».

— Политические формулы большевиков о мире, о земле вытеснили наши представления о свободе, о демократии,— заговорил Каппель снова. — Еще недавно мы смеялись над призраком коммунизма. Напрасно смеялись, надо было энергично бороться, а мы больше злобствовали. Мы позвали на помощь иностранцев и оттолкнули от себя русских. В этом ошибка не только адмирала Колчака, но и моя и ваша! Я не знаю, как исправляются непоправимые ошибки. Словами? Пулями? Не знаю! Но если нам суждено уйти в небытие, то надо уходить, ни о чем не сожалея, ни в чем не раскаиваясь. Неудачники любят говорить, что их оправдывает история, я не верю в ее справедливость. Историю пишут победители. Единственное осталось у нас решение: спешить на помощь адмиралу Колчаку, собраться в Иркутске с силами и вновь двинуться в Россию. На случай моей смерти командующим армией назначаю генерала Войцеховского, — решил Каппель в самое последнее мгновение.

Короткая речь утомила Каппеля, он уже не мог сидеть. Его перенесли на кровать, укрыли тулупом. Военный совет оборвался, командиры разошлись. У постели больного задержался только полковник Юрьев. С бесцеремонной уверенностью артиста в своей обаятельности и нужности он сказал:

— Какой роковой человек Колчак! Ах, какой роковой человек! Пермь, Уфа, Сарапул, Воткинск, Ижевск лежали у наших ног. И все напрасно!

— Наши ошибки послужат уроком для потомков, — вяло возразил Каппель.

— Потомки больше будут вспоминать, как шли в психические атаки солдаты вашего превосходительства. Шли с развернутыми знаменами, под гром военных оркестров. О, черт возьми, почему я не погиб в такой атаке! Тогда хоть мажорно пели трубы, а теперь слышен только волчий вой. — И Юрьев яростно сплюнул.

Каппель прикрыл веки — ему было больно смотреть сквозь дымное пламя плошки на Юрьева.

Мысль о напрасных победах не оставляла Каппеля. Было страшно сознавать теперь ненужность той борьбы, которую он вел здесь, в Сибири. Зря, видно, надеялся, что от победы белой идеи может прерваться ход революции. Два года сражался Каппель против красных, и вот он умирает, побежденный, хотя и несломленный. Свербит в бедре пулевая рана, ноют обмороженные ноги, не достает воздуха воспаленным легким.

Каппель открыл глаза. Юрьев стоял перед ним в позе устремленного куда-то жизнелюбца; все их несчастья и все беды были для него такими же отвлеченными и далекими, как звезды. Юрьева волновала лишь его личная судьба: с веселой легкостью он называл ее то синей птицей успеха, то черным вороном неудач. Даже у постели умирающего он балагурил, будто люди должны уходить на тот свет, как актеры с театральных подмостков.

— Я хочу попросить вас об одном одолжении, — сказал Каппель. — Я умру скоро. Похороните меня в тайге, подальше от злобствующих глаз.

— Мы еще погуляем на этой грешной земле! — воскликнул Юрьев, но голос его сломался, и он закончил уже бесцветным тоном: — Если так случится, то клянусь исполнить вашу просьбу.

Обвалы орудийной канонады обрушились на землю. Осколки снарядов срезали кедровые лапы; падающие деревья вздымали снежные тучи. Из ледяных пробоин на реке выплескивалась вода. Зверье бежало как можно дальше от железного рева и порохового запаха.

Потом наступила стылая тишина, и каппелевцы пошли в атаку.

Чтобы задержать их продвижение, Иркутский ревком направил к станции Зима рабочие дружины. Кое-как вооруженные, плохо обученные люди столкнулись здесь с теми, кого гнали вперед отчаяние, голод и надежда пробиться в Иркутск. Каппелевцы дрались, как смертники. И они были профессионалами военного дела. Каппелевцы ворвались на станцию, убивая всех встречных. Пленных рабочих согнали на площадь, раздели всех донага, пороли шомполами и тут же убивали.

С непостижимой жестокостью каппелевцы мстили им за гибель царской империи, за свои утраченные привилегии.

— Доложите генералу Каппелю — мы победили, — сказал Войцеховский своему адъютанту.

Но тут появился полковник Юрьев.

— Его превосходительство скончался, — сказал он. — Генерал Каппель умер...

Они смотрели друг на друга в смятении, в растерянности.

— Генерал просил похоронить его где-нибудь в трущобе, чтобы никто не знал о месте его могилы.

— Нет! Нет! Заверните труп генерала в боевое знамя, и пусть Каппель сопровождает своих солдат до конца, — приказал Войцеховский.

18

На льдистом небе коченели купола Знаменского монастыря; ветер обхлестывал кресты; жалобно позванивая, они летели в снежных облаках. Белые струи скатывались со стен, сугробы росли у калитки; под крутояром на Ангаре чернела широкая прорубь.

Шурмин заметил прорубь случайно, остановился, глядя, как вспучивалась в ней и выгибалась воронеными боками вода. Еще шаг — и он угодил бы в прорубь. Торопясь и скользя, он поднялся на обледенелый обрыв.

Начинаясь у монастыря, Якутская улица вела мимо городской тюрьмы и обширного кладбища на сопке. Андрей спешил в ревком. Почти на каждом перекрестке приходилось предъявлять пропуска. Часовые выспрашивали, куда и зачем он идет.

На Большой улице остановил его очередной патруль; рабочий, прочитав в пропуске, что Шурмин начальник тюремного караула, спросил насмешливо:

— Кильчак от тебя, молокосос, не сбежал еще?

— Бежать ему уже некуда.

— У него тут дружков-приятелев — лопатой отгребай.

В первые дни февраля Андрей не выходил в город: не было свободного времени, да еще стало известно, что белые собираются освободить Колчака из тюрьмы. Пришлось заменить солдат егерского батальона, охранявшего тюрьму, надежной ра-

бочей дружиной. Шурмин сам трижды в ночь проверял караульные посты.

Иркутский ревком помещался в здании Русско-Азиатского банка. Двухэтажное каменное здание с крышей, похожей на богатырский шлем, было одним из красивейших в городе. Шурмин взбежал по парадной, с мраморными львами лестнице, остановился в приоткрытых дверях зала. Этот овальный зал с лепным потолком и золотистыми обоями на стенах стал знаменитым на всю Сибирь.

Сюда приходили рабочие, охотники, рыбаки, таежники записываться в дружины. Здесь давали они клятву восстановить Советы на сибирской земле. Сюда доставляли сведения о продвижении Пятой армии красных, о возникновении новых партизанских отрядов в таежных поселках, на золотых приисках. Здесь заседал ревком. Сегодня шло очередное заседание; выступал председатель ревкома Ширямов.

Александр Ширямов заканчивал речь, и Андрей видел ее воздействие на присутствующих. Была та минута, когда встревоженные приближающейся опасностью люди готовы были к самым неожиданным проявлениям борьбы.

— К Иркутску приближаются каппелевцы — страшный, ко всему безжалостный ком катится на город. Каппелевцев ведет генерал Войцеховский, сегодня он предъявил нам ультиматум. Генерал требует выдачи Колчака. Еще он требует двести миллионов золотых рублей и увода рабочих дружин из города. На этих условиях он согласен занять на три дня Иркутск, а потом проследовать дальше, за Байкал. В ответ на генеральский ультиматум ревком выносит такое постановление:

«Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных лент и проч. и таинственное передвижение по городу этих предметов боевого снаряжения. По городу разбрасываются портреты Колчака и т. д.

С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение сдать оружие, в одном из пунктов своего ответа упоминает о выдаче ему Колчака и его штаба.

Все эти данные заставляют признать, что в городе существует тайная организация, ставящая своей целью освобождение одного из тягчайших преступников против трудящихся — Колчака — и его сподвижников.

Восстание это, безусловно, обречено на полный неуспех, тем не менее может повлечь за собою еще ряд невинных жертв и вызвать стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не пожелающих допустить повторения такой попытки.

Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных следственного материала и постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР, объявившего Колчака и его

правительство вне закона, Иркутский военно-революционный комитет постановляет:

1. Бывшего верховного правителя адмирала Колчака и

2. Бывшего председателя совета министров Пепеляева — расстрелять.

Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».

Ширямов опустил руку с проектом постановления, поднял глаза на членов ревкома.

— Смерть! — произнес член ревкома Левенсон.

— Смерть! — сказал член ревкома Сноскарев.

— Смерть! — крикнул член ревкома Оборин.

— Есть какие-нибудь добавления? — спросил Ширямов.

— Есть! — встал Чудновский. — Вместе с Колчаком надо казнить и тюремного палача. Имя палача, вешавшего большевиков, и имя верховного правителя должны стоять рядом, как символы белого позора.

— Нет, этого нельзя, — возразил Ширямов. — Тюремный палач — ничтожная пешка в руках высокопоставленных палачей. Его надо судить отдельно.

— А как обстоят дела с золотым запасом? — спросил один из членов ревкома.

— Золотой эшелон находится в особом тупике, под охраной рабочих дружин. Рядом дежурит паровоз, при первой попытке вывезти вагоны он будет на них брошен. Если каким-нибудь способом эшелон выйдет со станции, его спустят под откос. Если он дойдет до байкальских туннелей, мы взорвем туннель, — твердо ответил Ширямов. — Золото, принадлежащее народу, останется у народа.

19

Колчак сидел, обхватив руками голову.

Над дверью тлела лампочка — красное пятнышко на заиндевелой стене; сквозь закуржавелую решетку падал лунный свет. Кто-то выстукивал буквы тюремной азбуки; адмирал, не понимая смысла передачи, ударил кулаком по стене. Снова стал думать о судьбе своей в сослагательном наклонении: «Что было бы, если бы я не оторвался от армии Каппеля? Если бы усмирил партизан, пригрозил генералу Жанену? Если бы чехи не посмели меня выдать?»

Колчак не знал, что Каппель умер, что ультиматум Войцеховского только ухудшил его положение и что генералу Жанену удалось уже проскочить за Байкал.

Он продолжал размышлять в сослагательном наклонении, и это было его единственным утешением. Прошелся до двери, обратно, опять до двери, засунул руки в рукава шинели, прижался к простенку.

Далеко за Ангарой раздался орудийный выстрел, второй, потом еще и еще. Выстрелы звучали приглушенно, Колчак не придал им значения, продолжая прислушиваться к внутренним звукам тюрьмы. В коридоре звякнула винтовка, пробежал торопливо надзиратель, заскрипела дверь соседней камеры. Сердце Колчака подпрыгнуло и упало, сразу заныл мозжечок и пересохли губы.

Он припал ухом к двери, но звуки стихли. Какое-то тоскливое томление охватило его, действительность стала смещаться, ускользать в небытие, сегодняшнее и будущее потеряли свои границы.

Колчак прилег на койку, зажмурился. Перед закрытыми глазами замелькали расплывчатые видения, смутные образы, что-то сдвигалось и раздвигалось в сухо блестевшей мгле.

Откуда-то внезапно появились люди. Медленно, молчаливо, наступали они со всех сторон, окружая адмирала сплошным кольцом. И он не видел ни одного спокойного, доброго лица среди бесчисленных толп.

Лязгнула отпираемая дверь. Колчак вскочил.

В камеру вошли Чудновский и Шурмин. Опять ударило сердце, и снова заныл мозжечок. Если до этой минуты Колчак верил и не верил в приближение конца, то сейчас понял — конец!

Чудновский вынул постановление ревкома, стал читать ровно и холодно:

— «Военно-революционный комитет постановил: бывшего верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя совета министров Пепеляева — расстрелять». У вас есть последние просьбы? — спросил Чудновский.

— Значит, суда надо мной не будет? — упавшим голосом спросил Колчак.

— Это вопрос, а не просьба. Нет, не будет.

— Я прошу свидания с Анной Васильевной Тимиревой.

— Невозможно, да теперь уже и не нужно.

Колчака вывели в коридор, провели в тюремную канцелярию. Чудновский и Шурмин направились к соседней камере. Шурмин отомкнул дверь — на койке сидел, покачиваясь из стороны в сторону, Пепеляев. Он встал, чтобы выслушать постановление ревкома, опустив плечи, затрясся, зашептал что-то.

— Есть у вас последняя просьба?

— Я не знаю... Не могу говорить. Я, я, я... — прерывисто шептал Пепеляев. — Разрешите записку... матери...

— Вам дадут бумагу и карандаш. — Чудновский вышел в коридор. — В какой камере Тимирева?

— Вот сюда, налево, — сказал Шурмин.

Она стояла в узкой полосе лунного света, падающего в окно. Овальное, тонкое лицо смутно белело в полутемноте.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Мне угодно, чтобы вы завтра покинули тюрьму,— сказал Чудновский.— Мы не держим в тюрьме лиц, не совершивших преступлений.

— Я арестовалась по собственному желанию.

— По собственной воле и уйдите из тюрьмы.— Чудновский прикрыл дверь камеры.

Опять они шли по узкому коридору. Из канцелярии вышел часовой и спросил, можно ли Колчаку закурить трубку. Чудновский разрешил, часовой ушел.

Все формальности были закончены, осужденных вывели за тюремные ворота. Мороз достигал сорока градусов, сквозь снежные облака прорывались длинные лунные полосы. В тишине за городом, за Ангарой, гулко раздавались орудийные выстрелы. Это шли на Иркутск каппелевцы.

Конвоиры взяли осужденных в двойное кольцо. Чудновский и Шурмин замыкали шествие. Еще утром Андрей проходил здесь, не обращая ни на что внимания, сейчас же примечал серые заплоты, и узкую, с высокими сугробами, дорогу, и грязные следы саней. Около кладбища Колчака и Пепеляева поставили на невысокий холм.

Шурмин смотрел на адмирала, опустившего голову, на премьер-министра с закрытыми глазами, и тягостное ожидание конца захлестнуло его.

Чудновский подал команду. В этот момент за рекой прогремел новый, особенно сильный выстрел. С эхом выстрела слился винтовочный залп.

Трупы подвезли к проруби на Ангаре, у стен Знаменского монастыря. Когда адмирал исчез подо льдом, Чудновский сказал:

— Тело предано воде, память — забвению...

20

Оловянно светилось небо над городом за Ангарой, в снежной мгле пробегали вспышки выстрелов, хрипящим ревом захлебывались паровозы.

Иркутск, затаившийся в ночи, казался недосягаемым, страшным. Город не ответил на ультиматум генерала Войцеховского, и это молчание каппелевцы стали воспринимать как угрозу.

Войцеховский решил штурмовать город двумя колоннами. Первая, под командой полковника Юрьева, захватит тюрьму и освободит Колчака, вторая, с генералом Сахаровым во главе, отобьет золотой эшелон.

Войцеховский сидел в станционном буфете, нетерпеливо постукивая оледеневшими валенками; голова его покрылась коростой грязи и лоснилась. Адъютант поставил перед ним фляжку с коньяком, он отодвинул ее.

— Парламентеров нет и нет. Почему же они молчат? — сердито спросил Войцеховский.

— Что-то выжидают, — уклончиво заметил адъютант.

— На войне молчание опасно, — Войцеховский отхлебнул из фляжки, подвигал треугольными сизыми ушами. — Еще час ожидания — и я начну штурм Иркутска.

За дверью послышался шум, часовые не пускали кого-то сюда.

— Узнайте, кто там, — приказал адъютанту Войцеховский.

Но тут дверь приоткрылась, в буфет ворвался высокий человек в полушубке. Заиндевелый башлык прикрывал его лицо. Сразу, как к хорошо знакомому, вошедший направился к Войцеховскому.

— У меня чрезвычайной важности дело. Я адъютант верховного правителя России. Здравствуйте, ваше превосходительство! Не узнаете?

— Ротмистр Долгушин! — вскочил с места Войцеховский.— Доброе утро, Сергей Петрович. Вот неожиданная встреча.

— Теперь никто не знает, что ожидает его. — Долгушин содрал с правой руки перчатку и, не желая щадить настроения генерала, сообщил: — Верховный правитель, адмирал Александр Васильевич Колчак, расстрелян большевиками...

Войцеховский охнул, размашисто перекрестился. Потом спросил недоверчиво:

— У вас, ротмистр, сведения верные?

— Вместе с адмиралом расстрелян премьер-министр Пепеляев. Это произошло два часа назад.

— Мы опоздали его спасти...

— Мы слишком торопились, ваше превосходительство, и спешка ускорила его гибель. Я там делал все, чтобы освободить Александра Васильевича. Сколотил группу смельчаков, подготовил нападение на тюрьму. Я установил связь с офицерами егерского батальона, охранявшего адмирала. Они должны были передать мне Колчака, когда его поведут на допрос. Увы! Ничего не получилось.

— Я разрушу этот проклятый город. каждую пядь его улиц я залью кровью красных! — забушевал Войцеховский.

— Одну минуту, ваше превосходительство, — остановил генерала Долгушин. — Соотношение сил изменилось в пользу противника. Ночью из тайги к Иркутску подошли партизаны, целая армия. По набережной Ангары воздвигнуты баррикады. Заминированы подходы к городу, да и сама Ангара тоже. Нам не овладеть городом без невосполнимых потерь. Если мы и победим, то это будет напрасной победой.

Войцеховский насупился при последних словах ротмистра.

— Генерал Каппель тоже сожалел о напрасных победах, — пробормотал он.

— Как? И Каппель умер?

— Смерть стоит у нас за спиной! Но то, что вы предлагаете, ротмистр, неприемлемо для нас.

— Я еще ничего не предложил.

— Что же вы советуете, ротмистр?

— Пробиваться на восток. Минуя Иркутск, идти на Байкал и дальше в Читу на соединение с войсками атамана Семенова.

21

Андрей проснулся от неестественной тишины: снег прекратился, костер погас, на зеленеющем небе темнели лиственницы. Лошади стояли, словно высеченные из белого мрамора. Спящих партизан замело сугробами. На другой стороне костра спал Бато, при каждом вздохе с острой его бородки осыпалась куржавина.

Андрей восстановил в памяти цепь событий вчерашнего дня. Все стало четким, приобрело очертания.

Как только в Иркутске узнали, что каппелевцы уходят на Байкал, ревком на преследование их направил партизанскую армию Зверева.

Каппелевцы уходили двумя отрядами: первый, под командой генерала Сукина, шел на северную сторону Байкала, другой, с генералом Войцеховским, полковником Юрьевым и ротмистром Долгушиным, — на юг, вдоль линии железной дороги.

Сукина преследовали иркутские рабочие дружины, Войцеховского — партизаны. Головным партизанским отрядом командовал Бато.

Не пропустить каппелевцев за Байкал, разгромить их как последнюю силу колчаковщины, — такую задачу поставил партизанам Иркутский ревком. Андрей Шурмин гордился тем, что участвует в ее решении.

Партизаны просыпались, вздували костры. Запахло махоркой, послышался сочный сибирский говор. Кто-то, проваливаясь по грудь в снег, пошел за сушняком.

Проснулся и Бато, размял затекшие ноги, натянул меховые торбаса. Спросил у Андрея:

— Дозоры давно проверял?

— Вскоре после полуночи.

Бато недовольно покачал головой:

— Смотреть надо, Андрей. Каппелевцы неслышно могут подойти, перебьют дозорных, как рябчиков. Водку пей — башку держи трезвой; с девками балуйся — врага не забывай!

Запахло жареной медвежатиной. Бато пил чай, разговаривал с партизанами, отдавал приказы. Он мог делать несколько дел одновременно.

— Каппелевцы не сойдут на какую-нибудь неизвестную тропиночку? Не ускользнут, не замеченные нашими дозорами? — спросил Андрей проводника-охотника.

— Куда им повернуть, паря? — усмехнулся проводник. — На Байкал, кроме этой, иных стежек нет. Как задует, закрутит култук или сарма, от нашей тропинки и следа не останется. Култук да сарма — спрыгнешь с ума.

— Любит каждый кулик свое болото хвалить.

— Байкал не болото. С Байкалом, паря, шутить не след, — обиделся проводник.

Четыре ветра издревле шумят над Байкалом. Самый страшный — сарма — буйствует на Малом море, во время сармы все живое скрывается в потайные места, омулевые косяки уходят в глубину, люди стараются не выходить из домов.

Из устья реки Баргузин дует одноименный ветер, он продувает всю серединную часть Байкала, разводя сильную волну. Бывалые рыбаки отсиживаются в этот час на берегу.

И третий ветер часто шумит над Байкалом. Он летит со стороны Верхней Ангары и называется ангарой.

А с юго-запада движется жесточайшей силы култук — с дождями, туманами. Грозен Байкал в час култука.

Бато перебросил через плечо винчестер, натянул меховые рукавицы.

— Посмотрим, Андрей, что на дороге?

Широкая долина, постепенно сужаясь, превращалась в ущелье. Ночью произошли перемены: сугробы, тянувшиеся вдоль, сейчас пересекали долину наискось. Искрилась изморозь.

Лыжи с хрустом взрывали снег. Андрей словно сливался с природой.

Бато обогнал Шурмина и уже приближался к синеющей на снегу тропе. Он выскочил на тропку и тут же повернул обратно.

— Беда, беда! — кричал он издали.

Каппелевцы убили дозорных, надругались над ними — вырезали на лбах звезды. Уничтожив дозоры, они бесшумно и невидно прошли под утро мимо отряда Бато.

Партизаны устремились в погоню. В ущелье они вошли, когда уже начал задувать култук. Сумеречно заблистал отполированный ветром лед. По нему змеились белые струйки, и лед будто шевелился и бежал навстречу идущим.

А култук все усиливался. Струйки обратились в снежные бичи, хлеставшие людей по лицу, воздух плотнел. Ветер уже не кидался из стороны в сторону, а дул с необоримой силой; что-то больно ударило Андрея по ногам, потом еще и еще. Маленькие камешки срывались со скал, разлетались, как снарядные осколки.

Андрей споткнулся, цепляясь лыжей за лыжу. Порыв ветра бросил его на колени, и сразу скалы, лед, партизаны промчались мимо. Его несло назад по ущелью.

Он поднялся, бросил сломанные лыжи и зашагал, выдвинув вперед правое плечо. Ветер валил его с ног, прижимая

к скале. Андрей боролся с култуком, как с ненавистным противником.

На исходе третьего часа удалось пройти ущелье, и ветровой поток оборвался так неожиданно, что Андрей чуть не упал, почувствовав всем телом отсутствие привычного уже сопротивления воздуха.

Увидев белую даль Байкала и многочисленную, растянувшуюся колонну бредущих по льду каппелевцев, партизаны, как и было задумано, вышли им во фланг.

Войцеховский тоже заметил партизан. Полковник Юрьев, беспрестанно матерясь, объявил ижевцам:

— Или погибнем, или отобьемся. Другого выхода нет.

Ротмистр Долгушин проверил патроны в нагане. «Одну пулю для себя», — решил он, становясь за повозки, на которых каппелевцы везли с собой больных и мертвецов, не успевая хоронить их в пути.

Снова с удвоенной силой подул култук. Он гнал на партизан, на каппелевцев тучи колючего снега. Было что-то негодующее, ужасающее в этом остервенении природы.

После короткого безрезультатного боя каппелевцы оторвались от партизан и побрели дальше на восток, увозя тяжелораненых и убитых, и мертвого Каппеля в том числе.

Партизаны прекратили преследование противника. Безмерная усталость укладывала людей на лед, и они засыпали сразу, будто сраженные насмерть. Андрей опустился на сани, прикрыл заиндевелые веки, но уснуть не мог, а память начала свою работу, уводя его на одуванчиковые берега реки Вятки.

Андрей вспоминал марши азинской дивизии, свой плен в отряде Граве, «поезд смерти», сибирские чащи, поселения на Ангаре, на Лене. Как на экране синематографа, мелькали разорванные видения. И вот возник перед ним всадник с красным шарфом, с шапкой, вскинутой подвысь. Андрей улыбнулся видению: «Где ты теперь, Владимир Азин?»

22

— Вот мы и встретились, батюшка мой. Долгонько я ждал, но, слава Христу, схлестнулись наши тропочки. — Афанасий Скрябин скорбно поджал губы, свел к переносице брови, пристально разглядывая Азина.

— Что-то я тебя не припомню, — ответил Азин, стискивая кулаки. Жгучая боль прошла по раненой руке, Азин поморщился.

— Неужто, батюшка, позабыли Зеленый Рой? — блеснул жестяными глазами хлеботорговец. — Мельника Маркела, помещицу Долгушину позабыли? Союз «Черного орла и землепашца» тоже из памяти вон? Напрасно, напрасно! Истребили моих друзей, как же этакое позабыть?

— А, теперь вспомнил, как ты своего главаря Граве выдал. Я мог бы о твоем предательстве сообщить, да не умею про иуд с каинами разговаривать...

— А вы не стесняйтесь. Сейчас сам Граве придет, вот и доложите про меня. Предатель, дескать, ваш помощник.

— Еще я вспомнил, как лупил вас обоих и в Сарапуле и под Воткинском.

— И мы сдачи давали. Северихина на тот свет мы отправили, офицерский мятеж в Воткинске — наших рук дело, — тускло рассмеялся Скрябин.

— Сожалею, что не могу за Северихина расквитаться.

— Сожаление — мать раскаяния, батюшка мой.

— Вот я и каюсь, что не расстрелял тебя в Зеленом Рою.

— Дерзите? Напрасно! Стоит ли дерзить себе в убыток?

Ветер пристукнул ставней, с потолка посыпалась труха, на окне вспыхнул белым пламенем снег. Азин представил, как в кубанской степи разгулялась метель, поежился от озноба.

В сенях хлопнула дверь, в горенку вошел Граве. Не торопясь откинул башлык, снял заснеженную папаху, расстегнул шинель.

— Метет, метет! Одним словом, февраль — кривые дорожки, но все равно пахнет весной. Нехорошо умирать в предвесенние дни. Не так ли, Азин, а? — сиплым с мороза голосом спросил Граве.

Азин презрительно повел плечом. Граве прошел к колченогому столу, сел напротив. В круглых, немигающих его глазах цвета спелого ореха жило кичливое сознание своей власти.

— Так что же вы надумали, Азин?

— Все то же. Я не продаюсь.

— Ты пленник собственной гордости и ложно понимаемой чести, Азин. Твоя надежда остаться благородным рыцарем революции не столько смешна, сколько наивна. Мне жаль тебя, я не хотел бы все разговоры сводить к смерти. К твоей смерти, Азин, — перешел на «ты» Граве. — Но ты парень не дурак, у тебя есть все шансы избежать проклятой стенки.

— Думаете переманить на свою сторону?

— Я же сказал: ты не дурак. Это самое я предлагаю тебе от имени генерала Деникина. Белому движению нужны умные, способные офицеры, поэтому мы дадим тебе и полное отпущение грехов и чин полковника.

— Что-что? — Азин приподнялся с табурета, но сел опять, по серым скулам пошли рыжие пятна.

— Если мы обменяем тебя, что станешь делать?

— Снова бить вашего брата.

— Не будет обмена! — Граве заглянул в окошко, по которому стекали снежные струйки, кивнул Скрябину — тот вышел из горенки. — О чем ты сейчас думаешь, Азин?

— Гадаю: какую казнь сочините для борца за свободу.

— О какой свободе речь, Азин? Любите вы болтать о свободе, о народном праве на власть, а право и власть — какое это трагическое соединение понятий! Право по своей природе противоположно власти, ибо в ней-то, во власти-то, основа всякого бесправия. Борцы за народное счастье? А это самое счастье, что оно такое? Абстракция! Если не мы, то какой-нибудь молодец завтра ликвидирует и революцию и самих борцов ее. Я же, монархист и помещик, всячески стану ему помогать. Его еще нет, но уже я засылаю в ваш тыл своих разрушителей. Вот только что вышел из горенки Афанасий Скрябин. Ты не расстрелял его вчера, он запытает тебя сегодня. Он спит и во сне видит, как режет большевиков.

— Вам не убить революции, господин Граве. Революция, как и природа, бессмертна, умирают только ее дети.

— Блажен, кто верует! Революция погибнет от вероломства, Азин, если не от нашего оружия. Вероломство растлит все мечтания о свободе, вероломство признает пулю самым веским аргументом в любом споре и деле. Стоит ли ради такого будущего идти на смерть? Подумай, Азин, — от правильного решения зависит твоя жизнь. Думай наедине, я дарю тебе еще одну ночь...

После ухода полковника Азин долго стоял в раздумье.

«Мне предлагают предательство, словно я какой-то Азеф. Я не святой, но разве я похож на предателя? Вот подлец, ах, подлец! — с ненавистью к Граве думал Азин. — Такие, как Граве, тушат в людях все огни, кроме огня злобы. У них нет чести, а ведь честь — это целомудрие солдата. Честь солдата требует от меня достойного поведения в час смерти. Я не имею права дать какому-то Граве даже минуту для скверного его торжества».

Отчаяние, тоска, ненависть захлестывали его. Теперь все воспалилось в нем, особенно память, каждым вершком кожи он чувствовал приближение смертного часа. Азин прижался лбом к ледяному стеклу, еще не воспринимая неизбежность своего конца. Думалось: обязательно случится что-то такое, что принесет освобождение, и снова увидит он своих друзей, и опять поскачет навстречу опасностям.

«Пока я живу — я живу вечно! Кто это мне говорил? — Азин провел ладонью по лицу. Голова разламывалась от мучительного желания вспомнить, кто же это сказал. — Игнатий Парфенович говорил же, вот кто! — вспомнил он, и душевное облегчение стало почти блаженным. — Это Лутошкин восхищался неповторимым миром, заключенным во мне самом». Память его, таинственно сработав, вернула из прошлого глубокий голос горбуна: «Придет, Азин, смертный час, и поймешь ты, какая вселенная в тебе погибает».

«Остался ли в живых Игнатий Парфенович? Прекрасной души человек ходил рядом! Жизнь — великая обманщица — в

разное время заставляет смотреть на вещи разными глазами. Пылаев как-то рассказывал о бойце, принявшем на себя вину своего друга. «Он слабее меня и не вынес бы наказания за проступок. Чтобы спасти его от позора, я взял на себя его вину».

Азин поморщился.

«Мне уже некого обманывать, кроме смерти. Грустно, печально, но друзья уходят из моей жизни, как кровь из вен. Кровь вытекает по капле, друзья исчезают по одному. Никогда, никогда не вернется ко мне Ева! Никогда больше не будет со мной, больше никогда», — повторял он, переставляя слова, вкладывая в них разные оттенки, по-разному воспринимая звучание их.

Он уперся взглядом в половик, размалеванный аляповатыми завитушками. Одна из завитушек напоминала удавку, он наступил на нее, опять раздражаясь от сознания своей обреченности. Сейчас ему хотелось найти ту нравственную высоту, с которой можно обозреть поток времени, осознать все происходящее.

«Мои чувства смяты, мои надежды оборваны, остался только страх перед смертью. Говорят, приговоренные к казни умирают от страха на несколько мгновений раньше. Я должен не пропустить в сердце страх. Я должен уберечься от страха... О, черт, я больше ничего никому не должен! Страх изживают или гордыней, или смирением. Смирение, как земля, принимает все — храбрость, трусость, цветы, отбросы. Нет, смирение не для меня!» Мысль о смерти становилась все навязчивее.

— Меня уничтожат, и не останется даже следа,— сказал он тихо, не веря в сказанное. Подергал шеей, оттянул пальцем тугой воротник гимнастерки. Ум его работал короткими вспышками, тасуя события, людей, случаи, факты. — Я не хотел бы, чтобы легендами подменили документы революции. Легенда всегда лишь красивый вымысел, а люди любят приукрашивать свою деятельность...

Он сорвался с места и забегал по горенке, но мысли обгоняли его бег. Вдруг он увидел осеннюю Волгу и столб белого пламени на далеком ее берегу. Пламя колебалось, пошатывалось, принимая странные очертания девичьей фигуры.

«Она помогала мне даже улыбкой. Как хорошо она улыбалась, возвращая мне волю и силу», — думал он, вызывая из памяти образ Евы. Она возникала, но, неясная, неопределенная, тут же раздваивалась и ускользала, пока не истончилась, не растаяла вовсе.

В горенке было смутно, затхло, сыро. «Я дарю тебе ночь, подумай хорошенько». Но он не желал думать о том, что предлагал Граве, он думал о своей дивизии, наступающей где-то за Манычем.

Дивизия — большое скопление разнородных людей — теперь живет вне его влияния, помимо его воли. Он отдален от товарищей непроходимой чертой. С особой остротой почувствовал он: жизнь кончилась, и уже больше не повторится еще один такой же вечер. По-прежнему будет мести поземка, скрипеть ставня, но он уже не почувствует их движения.

Люди не сразу осознают историческое значение времени, пережитого ими. Азин не знал, что история и время определяются деятельностью всего человечества и каждого человека в отдельности. Бескорыстный строитель нового мира, он не придавал значения своей личности в гражданской войне; народ и грядущее счастье были мерой его судьбы.

«У меня в запасе еще целая ночь. Не хочу засорять душу пустяками, лучше оглянусь на вчерашний день...»

Перед ним бесконечной вереницей проходили отуманенные видения.

Он видел разгромленный город, развороченные курганы, испоганенную степь.

Видел вонючие блиндажи, опрокинутые орудия, мотки колючей проволоки.

Видел искаженные ненавистью и болью физиономии, разодранные яростными криками рты, слышал вой, рев, свист, рыканье, лязганье — всю противоестественную музыку боя.

За дегтярного цвета окном разыгралась метель. Февраль торопился намести последние сугробы, ворочаясь, вздыхая, постанывая, словно большой тяжело раненный зверь.

Азин закрыл глаза. «Где теперь мои боевые товарищи?» Эта пронзительной остроты мысль возникла в мозгу, как тонкий луч.

Азин прижал к груди раздробленную пулей руку. «Теперь все равно, плохо ли, хорошо ли я буду бить из маузера! У меня в запасе одна лишь ночь...»

Больше ста дней осаждал он Царицын, связав армию барона Врангеля и армию генерала Сидорина, в эти дни Деникин напрасно ждал их помощи. Теперь армии Южного и Юго-Восточного фронта наносят Деникину удар за ударом. Новый командарм — Александр Васильевич Павлов — начал энергичное наступление в Донских и Сальских степях, по приказу его Двадцать восьмая дивизия была направлена к Дону.

Весь январь Азин дрался с белоказаками. В ожесточенных схватках таяли силы, сыпной тиф косил бойцов, поредели полки и батальоны, но Азин овладел Цимлянской, которую защищали отборные казачьи части Врангеля. Он был горд, счастлив и еще отчаяннее рвался к роковой черте своей — Манычу. В феврале он форсировал Маныч, отбросил кавалерийскую

бригаду белых. На Маныче его настиг новый приказ командарма: овладеть станцией Целина.

«Три дня назад это случилось», — вспомнил он и усомнился: показалось, уже промелькнула бесконечная вереница дней и ночей.

В то снежное февральское утро было особенно морозно и ветрено. Дивизия заняла исходные рубежи на степных хуторах; впереди — рукой подать — Целина. Там расположены вражеские батареи, там курсируют три бронепоезда, там свежие силы противника.

Только не подозревал он, что из глубины Сальских степей к Целине подходит еще казачья армия генерала Павлова. Одиннадцать тысяч сабель.

Над Манычем мотался сухой ковыль, свистели морозные прутья тала, и было холодно, и было до боли тоскливо утром семнадцатого февраля.

Спервоначала наступление на станцию развертывалось хорошо. Азинцы сбивали заслоны противника, медленно, но постепенно приближаясь к железной дороге. Азин с неотлучным Лутошкиным — связных он разогнал в части — следил за наступлением с кургана. Игнатий Парфенович дважды предупреждал, что они оторвались от своих; Азин только передергивал поводьями да приподнимался на стременах. Он волновался, хотя и не показывал виду; никогда еще за свою короткую жизнь не испытывал он такого обостренного чувства опасности.

Из глубины вражеского расположения появилась конница, на азинцев неслись конные лавы, охватывая их с флангов.

— Держись теперь, Парфеныч! — Азин поскакал с кургана, уходя от преследования.

Игнатий Парфенович увидел, как преследующий казак вскинул над головой Азина шашку, но тот выдернул из-за пазухи левой рукой маузер. Казак шарахнулся в сторону. Второй всадник размахивал шашкой, пытаясь зацепить и все не зацепляя Азина.

Азин подхлестнул жеребца, приближаясь к Лутошкину. Они снова поскакали рядом, но путь преградила канава. Лошадь Лутошкина перемахнула через препятствие, азинский жеребец споткнулся, подпруга лопнула, Азин вместе с седлом полетел на землю. Освободившаяся от седока лошадь поскакала в степь. Игнатий Парфенович погнался за ней.

На Азина насели казаки. Кто-то сорвал с него сапоги, кто-то сдернул ручные часы, закричал торжествующе:

— Важнецкая птица попалась!..

Метель улеглась, ветер прекратился, хутор безмолвствовал.

Лампа чадила, Азин потушил ее и сразу опустился в вязкую непроницаемую глубину. Память его мгновенно уснула, ум прекратил непрестанную нервную работу.

Он зажмурил глаза, нажал на веки пальцами — замелькали синие, красные круги, мягко сливаясь в узорчатое пятно. Нережущее цветное это пятно предостерегало о какой-то непонятной, близкой, неотвратимой беде.

Он увидел себя бредущим по теплой лесной тропинке. Ноги его в цыпках, руки в саднящих царапинах, волосы выгорели, скулы и нос облупились от загара. Над ним висит полупрозрачное, в сквозных солнечных косяках, небо, то и дело меняя свои невесомые очертания, — оно то становится беспредельно высоким, недоступным, ускользающим в вечность, то возникает из лесной лужи, и все голубое, и все дымчатое становится опять близким и милым.

Азин заворочался, пытаясь проснуться и не постигая, что видит лишь сон и от одного видения переходит к другому.

Он опять идет, но уже цветущей рожью, над ним звенит жаворонок, рядом бьет перепел. С каждого колоска стекает солнечная капля, с каждым шагом он из подростка превращается в золотоглазого, светловолосого юношу...

Предутренняя мгла посерела, синий квадрат окна выделился из нее почти с осязаемой выпуклостью: кто-то толкает Азина в плечо, он просыпается со счастливой улыбкой — перед ним в заснеженной папахе Граве.

— Доброе утро, Азин! Ночь истекла, я пришел за ответом.

— Я расстреливал ваших офицеров, расстреливайте и меня...

— Красивые, но глупые, пустые слова! Мы же тебя не просто ликвидируем, мы опозорим твое имя. Уже отпечатано воззвание к бойцам Двадцать восьмой дивизии. Я сам сочинил его, Азин!

Граве вынул из кармана листовку:

— «Звездоносцы, боевые орлы! К вам обращается Азин, ведший вас на Казань, Ижевск, Екатеринбург! Хватит крови! Довольно жертв! Бейте красных, переходите к белым!» Когда я поведу тебя на расстрел, наш самолет пролетит над красными, разбрасывая эти листовки. Что скажут твои дружки? Изменником станут величать своего славного командира. Люди забывчивы и неблагодарны, Азин.

— Что бы они ни сказали — это их дело. Я ведь все-таки знаю, что не струсил, не переметнулся к вам. Я, даже мертвый, сильнее вас... .

— Тогда отправляйся в ад!

— В раю хороший климат, зато в аду приличное общество...

23

Зарастали повиликой окопы, ползун-трава заполняла воронки. Пряталась в чертополохе колючая проволока, ржавели в полыни расстрелянные гильзы. Пустынно было на берегах Камы; вода лениво пошлепывала в разрушенные дебаркадеры, якоря позаметало песком.

Пароход, стуча колесами, полз против течения, разворачивая зеленую панораму Предуралья. Игнатий Парфенович ходил по палубе, закинув за спину руки, глядел на знакомые до сердечной боли места. Скоро должен появиться Сарапул. Лутошкин волновался и грустнел. Воспоминания одолевали его, и не хотелось вспоминать, и невозможно было не вспомнить.

Сумерки уже таились в тенях береговых обрывов, в темном блеске листвы. В западной стороне неба играли стожары, луговые дали левобережья были по-майски прозрачны. Из оврагов белыми сугробами вставала цветущая черемуха. Игнатий Парфенович пристально вглядывался в вечерние пейзажи, и вдруг тревога охватила его: в этих местах с ним случилось страшное происшествие. Ну конечно же это Гольяны!

Игнатий Парфенович вспомнил «баржу смерти», арестантов в рогожках, с лицами черными, словно ночной мрак, самого себя рядом с доктором Хмельницким. Еще увидел неровный строй босых мужиков с медными крестами на обнаженных грудях и палача Чудошвили с деревянной колотушкой в руке. Камская вода с глухим всплеском принимала убитых.

— Чудошвили, Чудошвили! — прошептал Игнатий Парфенович. — Палач вятских мужиков! Где ты сейчас, что делаешь? Что замышляешь? Ведь преступники всегда что-нибудь да замышляют.

Игнатий Парфенович вернулся в каюту, присел к столику, на котором лежал его дневник. Раскрыл его на одной из страниц: «Каждое утро я просыпаюсь с чувством удивления, что еще жив. Слишком много потрясений выпало на мою долю в последние два года. Я не могу сосредоточиться на своей внутренней жизни, подумать о новых временах России. Теперь все стало необозримо, как в мощном потоке без берегов, и революция явилась точкой отсчета новых дней. Что принесут они народу, как изменят землю русскую? Люди привыкли думать о золотом веке человечества только в прошлом времени, но сами-то они устремлены в будущее: значит, золотой век еще впереди»...

Игнатий Парфенович свел к переносице брови, насупился. Перевернул страницу дневника.

«Революция изменила мои представления о свободе, братстве, равенстве, незаметно для себя я стал пропагандистом материализма, хотя и не во всем согласен с ним. Материализм обращается к людям дальним, я же интересуюсь только ближними. Для меня счастье всех — это счастье каждого в отдель-

ности. По-моему, любить-то надо человека, а не человечество в целом. Материализм отрицает самое главное, чем я живу, — бога! Но, упраздняя бога, материализм должен возвышать человека до уровня творца: ведь творчество божественно в своей основе и вся деятельность человека — это восьмой день миросотворения. В каких-нибудь два года Россия стала новой, трудно понимаемой и объяснимой, народ взбудоражен, хлещут через край социальные страсти, идеи потрясают умы и сердца. События меняются с ужасающей быстротой, старый мир хватается за все, на что еще можно опереться и положиться, но революция опрокидывает и устои, и опоры, и надежды старого мира. А русский человек поднимается, встает в полный рост, в человеке возникает неодолимое, страстное желание творить. Творить, соревнуясь в творчестве с другими, и своей деятельностью вызывать сочувствие всего мира,— ведь если мировая революция произойдет, то лишь благодаря этому сочувствию. Тогда у людей появится общность цели, и это будет великолепно». Эти вчерашние мысли теперь не давали ему радостного сознания непреложности их.

В распахнутое окно залетел речной ветерок, нанося запахи цветущих рощ. Река гасила сочные краски заката. Игнатию Парфеновичу вспомнился Азин. «Такие, как он, накладывают печать личности на время, на события, на самое бурю. Азин проявил себя в военном деле так же, как поэт в эпосе, композитор в симфонии. У народа своя живая, не похожая на книжную, память. Имена его героев подобны погасшим звездам, чей свет все еще идет к нам из глубины вселенной и все сияет во времени. Азин погас, а имя его продолжает светиться...»

Игнатий Парфенович сошел с парохода в Сарапуле. Забросив за плечо вещевой мешок, зашагал по шпалам, между которыми росли сорные травы. Лунные полосы спали на ржавых рельсах, на опрокинутых вагонах — следы войны и разрухи казались размытыми в холодном их блеске.

На вокзале было полно народу, словно вся Россия сорвалась с места, но никто не знал, уходят ли с этой станции куда-нибудь поезда.

— Поездов на Казань не предвидится, — ответил дежурный.

— Может быть, товарный пойдет? — с робкой надеждой спросил Лутошкин.

— И товарных нет. Скоро пойдет военный, особого назначения. К нему соваться не думай — заарестуют...

Игнатий Парфенович присел на скамейку, вздыхая от неустройства своей скитальческой жизни. После боя на Маныче, тяжело раненного, его отправили в полевой госпиталь. Когда он вышел из госпиталя, азинская дивизия уже сражалась на Кавказе. Лутошкина демобилизовали, он решил вернуться в вятские края для тихой жизни, еще не понимая, что окончилась созерцательная жизнь всяких отшельников на Руси.

Подошел поезд особого назначения. В тамбурах маячили часовые, видно было, что поезд охраняется с особой тщательностью. Из трех пассажирских вагонов выпрыгивали красноармейцы.

— Эй, старик! Кинь сухариков! — попросил Лутошкина белобрысый боец.

Игнатий Парфенович повернулся на голос, боец пристукнул башмаками и вдруг обнял его.

— Нашелся, Андрюша, нашелся! — всхлипнул Игнатий Парфенович.

Не думали они, не гадали, что сведет их судьба снова на дорогах странствий. Паровоз дал свисток отправления, Шурмин схватил за рукав Игнатия Парфеновича, потащил к вагону.

— Айда, садись. Я же начальник золотого эшелона.

В вагоне Игнатий Парфенович столкнулся с Саблиным.

— Ха, старый знакомый! Ты, горбун, живуч, как репейник. Ну, здравствуй, ну, и рад, что дожил до мирных времен.

— У вас, Давид, вид цветущий. Очень уж я люблю жизнерадостных людей, это, вероятно, по закону контраста, — пошутил Игнатий Парфенович.

Поезд тронулся с места, набрал скорость, а они сидели в купе и говорили-говорили длинными, путаными отступлениями, вспоминая без конца, удивляясь своим воспоминаниям.

— Ты знаешь, как погиб Азин? — спросил Шурмин.

— Никто не знает, как он погиб, но я слышал разные рассказы о его трагической смерти. «Азина расстреляли в станице Ергалыкской»,— говорят одни. «Его возили в железной клетке по улицам Екатеринодара, и надпись предупреждала: «Осторожно! Красный зверь Азин». Потом забили его камнями»,— утверждают другие. Третьи, выдавая себя за очевидцев, клянутся, что на заимке под Тихорецкой казаки разорвали Азина лошадьми. Четвертые свидетельствуют — Азина повесили на базарной площади в самой Тихорецкой.

В четырех этих смертях я вижу бессмертие Азина...

Игнатий Парфенович замолчал, и все трое посмотрели на блестящие от лунного света речушки и озерца, мелькавшие за вагонным окном.

— Куда ты все-таки, Парфеныч, едешь? Что думаешь делать? — допытывался Саблин.

— Поедем с нами в Казань, — предложил Шурмин. — Сдадим золото и начнем новую жизнь.

— Мне осталось доживать свой век, размышляя о боге, революции и человеке. Давно ли я мучился вопросом — кто нужнее России? Красные? Белые? Революция теперь решила этот вопрос. Революция открыла новый путь России, но что ожидает на этом пути Россию?

1966—1973
Москва — с. Сугоново на Тарусе

НА КРАЮ ОКЕАНА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это происходило в Охотске, на краю океана, в штормовые дни революции...

Однажды в год, в именины Каролины Ивановны Буш, распахивались двери ее большого дома, и те, кто ловил рыбу, бил песца, искал мамонтов бивень, спешили засвидетельствовать свое почтение хозяйке.

Так было и на этот раз.

Золотоискатели, зверобои, русские коммерсанты, якутские купцы-компрадоры, представители американских торговых фирм, тунгусы-тойоны топтались в комнатах Каролины Ивановны. Задубелые физиономии, хриплые голоса, грубые шутки были характерны для этого сборища именитых и неименитых гостей, что и отметил про себя Андрей Донауров.

Он стоял у окна, в которое, словно в раму, было врезано солнечное море, и, поглядывая на входную дверь, прислушивался к разговорам. Он ждал нетерпеливо, нервно, выражение счастья и тревоги блуждало по его лицу.

— Эх, Колыма-река начисто меня разорила,— обратился к Андрею оймяконский купец Никифор Тюмтюмов.

— Что вы сказали? — спросил Андрей, не понимая, не слыша Тюмтюмова, даже не видя большеносой физиономии.

Купец пристально посмотрел на Донаурова и отвернулся к Дугласу Блейду.

— Две мои баржи ледоход раздавил, щелкнули, словно орехи, а третья застряла в Наяхане. Прямо беда!

— Это очень печально,— Блейд сочувственно наклонил белокурую голову.

— Где тонко, там и рвется. Ваши-то суда по всему Тихому океану странствуют, и хоть бы што. Благополучие и ажур! Крупные тузы жиреют на русских хлебах, а мелкота по зернышку клюет,— продолжал жаловаться Тюмтюмов.

— Зернышки-то все-таки золотые,— иронически сказал Блейд.

— Без американцев мы сидели на золоте и не видели его. Верно. Спасибо, научили червонцы с земли поднимать...

Дуглас Блейд не понял, благодарит ли за науку Тюмтюмов, или издевается над ним; он снял роговые очки, близоруко прищурился:

— Наша фирма ничего не берет за науку, кроме земли и воды...

— Русской земли и воды русской,— поправил Тюмтюмов.— Царь отдал вам Аляску, теперь верховный правитель уступает Чукотку с Колымой. В России сегодня братоубийственная война, русское величие растаяло, русские земли распродаются оптом и в розницу и нет нигде прежней тишины.

— Тишина нужна философам и поэтам, а мы деловые люди,— улыбнулся Блейд.

Вошла Каролина Ивановна в черном бархатном платье, с голубой лентой в волосах.

— Живите до ста и будьте такой же прелестной,— сказал Донауров, целуя ее руку.

— Вы льстец, Андрей. Смотрите на меня, а видите Феону...

К Каролине Ивановне подскочили четверо братьев Сивцовых — якутских купцов. Коренастые, с волосами черными, словно спрессованная сажа, в черных костюмах и манишках, они походили на пингвинов.

Сивцовы заговорили с именинницей о торговых делах, а Донауров стал разглядывать одну из картин, необычную по краскам. Сквозь бурный поток плывут в тихую заводь два карпа с крупными жемчужинами во ртах, на берегу поблескивает золотой крышей буддийская пагода.

Донауров знал, карп — символ делового успеха китайских мандаринов, буддийская пагода — символ семейного счастья. Символы были наивны, и не они поражали воображение,— изумляли краски: белые, палевые, сиреневые, они были нежными, трепетными, воздушными и в то же время осязаемыми, их хотелось потрогать, попробовать на вкус. Донауров почувствовал под пальцами что-то мягкое — картина была соткана из лебяжьего пуха.

— Картина отличная, особенно материал,— усмехнулся он и приоткрыл дверь библиотеки.

Угловая комната была заставлена книжными шкафами: у Каролины Ивановны имелось собрание редких старинных книг из времен великих географических открытий. История Охотска наложила свой отпечаток на ее библиотеку.

В глубине комнаты, скрытые книжными шкафами, спорили двое. По грудному глубокому голосу одного из спорщиков Андрей узнал отца Феоны, священника.

— И еще уподоблю коммунистов мифическому царю Сизи-

фу: они катят на крутизну глыбищу всеобщего счастья, а докатят ли? — говорил отец Поликарп.

— Время покажет... А вот про церковь все уже известно. Двадцать веков длится ее деятельность, и ничего не дала она людям, кроме страданий,— возразил Илья Щербинин, начальник охотской радиостанции.

— Это правда, христианство пролило много крови в борьбе с идолопоклонством, с еретиками.

— А потому выжигать его каленым железом?..

— Не призываю сжигать коммунистов, а токмо реку — вместо богов небесных появились земные идолы и думают принести людям счастье. А новые-то поколения-то, может, откажутся от ихнего общего счастья и поищут свое, особенное. Человек-то по натуре искатель, его готовенькое, но чужое, не очень прельщает.

— Нельзя говорить о будущем, думая о прошлом и приписывая свои думы еще неродившимся людям. Да и в думах-то у вас больше страхов и предрассудков, чем истины. Новое всегда кажется опасным, потому что неизведано,— упрекнул священника Щербинин.

— Нет ничего нового под солнцем,— вздохнул отец Поликарп.

Стало неприличным подслушивать чужой разговор, и Андрей вошел в библиотеку.

— Феоны моей не видели? — спросил священник, вскидывая на Андрея зеленые, выразительные, как у дочери, глаза.

— Нет, не видел,— ответил Донауров, а лицо говорило: «Я только и жду, когда она появится».— Как поживаете, Илья Петрович? — спросил он.

— Кто теперь похваляется жизнью? Одни дураки разве? Дураков развелось, на радость мошенникам,— страсть! — вздохнул сокрушенно Щербинин.

— Верно! Обезумели самые трезвые головы,— подхватил священник, но придал словам Щербинина совершенно иной смысл. — Безумие потрясает Россию, проповеди земного рая гасят христианские мечтания о небе. Тускнеет лик христианства — лик единственно нужной человеку веры.

— Всякая вера имеет множество ликов,— сказал Донауров. — Если любовь и прощение выдумал Иисус из Назарета, то свободу делать что угодно — Мефистофель...

Он хотел еще что-то сказать, но почувствовал приближение Феоны. В красной вязаной кофточке, белой шерстяной юбке Феона шла сквозь толпу гостей.

— Христианство сильно, лишь когда несет крест любви и прощения... — начал было священник, но Донауров уже не понимал его слов.

— Вот они где укрылись,— сказала Феона. — Идемте к столу, Каролина Ивановна в день своих именин угощает дарами Севера.

Донауров сидел за столом с Феоной и, хотя она говорила только о кушаньях, слушал ее, словно проповедницу.

— Попробуйте-ка пирожейников с печенкой ухтуйских налимов, аянскую куропатку с соусом из засахаренной морошки и кедровых орехов,— Феона налила рюмку водки, прозрачной как горная вода. — Этот напиток настоян на ягеле.

— Угостите и меня, очаровательная,— попросил Тюмтюмов. — Люблю из девичьих ручек алкоголь принимать. — Выпил, скривил губы: — Горько, кисло, а вкуса нет. Мох, он и есть мох, хошь ты его французскими духами взбодри. Так покупаете мою баржу аль другого покупателя искать? — повернулся он к Дугласу Блейду.

— О делах завтра, сейчас надо пить,— Блейд намазывал на хлеб кетовую икру, косясь выпуклыми стеклами очков на Феону. — Дайте и мне попробовать туземного блюда.

— Вот чукотские барабаны.

— О'кей, барабаны из красной икры! Я кушал их на Командорах.

— Кой черт заносил на Командоры? — спросил Тюмтюмов.

— Скупал там котиков.

— Одеваете своих баб в русские меха, а наши в шкурах щеголяют.

— Красивым женщинам идут дорогие вещи. Я бы осыпал красавиц золотым песком, а вы? — спросил Донаурова американец.

— Любовь дороже золота,— ответил Андрей и подумал, что сказал пошлость.

— А по-вашему, мисс?

— Любовь дороже золота,— повторила Феона,— но для нее требуется позолоченная рама.

— Любовь в шалаше, без хлеба, без мяса — дело зряшное. Умные да влюбленные сейчас в тайге золото роют,— согласился Тюмтюмов.

— В Якутске хозяйничают большевики. Они грозятся отобрать все прииски, говорят, таков закон их революции,— заметил Донауров.

— Революции рождаются и умирают, золото остается. Кстати, без него немыслимы никакие революции,— Блейд показал на окно. — Вон как бушует Кухтуй, но кончится морской прилив — и река успокоится. Так и с революциями — они лишь приливы-отливы наших страстей. Но вернемся к сладкой теме любви. Любовь — это глупость, которую совершают только вдвоем,— со смехом закончил Дуглас Блейд.

— Любовь, по-вашему, глупость? — возмутилась Феона.

— Это не я, это Наполеон сказал...

Андрей завороженно смотрел на Феону. «Я люблю тебя»,— хотелось ему сказать при всех, и все же, несмотря на свою смелость, он не смел произнести этой фразы. Любовь и сомнение в любви боролись в его сердце одновременно. «А люблю ли я по-

настоящему? Может, после стольких лет одиночества просто увлекся? Мог бы увлечься другой, если бы Феона не появилась на пути? Но тогда почему эта тоска, эта радость, это желание видеть ее постоянно?»

Он сожалел, что не может передать ей свои мысли. Значит, у него не такая уж сильная воля. Все вздор — и смелость, и воля, и решительность мужская, когда живешь в состоянии любви и только от нее зависит твое счастье. Даже мечта об этом счастье. Самое тяжелое объяснение в любви — молчание. Хочется говорить, убеждать, даже молиться, а ты стоишь и молчишь.

— Что же вы молчите, Андрей? — спросила Феона.— Неужели согласны с мистером Блейдом?

— Чужой опыт любви ничего не стоит перед нашим собственным. Женщина, которую я полюбил бы, не могла бы походить на какую-то другую,— ответил он.

— Женщина, которую полюбил бы... — повторила Феона. — Она должна быть только сама собой; а что, если будет похожей на Анну Каренину?

— Анна Каренина рождена мечтой великого художника о совершенстве любви так же, как человеческий порыв к небу породил крылья! — воскликнул Андрей.

Феона посмотрела на него широко раскрытыми глазами,— она чувствовала себя сильнее и значительнее в его присутствии.

Донауров ел, пил, тихо пьянея больше от присутствия Феоны, чем от вина. Теперь он был влюблен не только в Феону, но и в ее отца, Каролину Ивановну, даже в Тюмтюмова. Ведь влюбленные — поэты своей любви — распространяют ее на весь мир.

Тюмтюмов поднялся с места, держа бокал на отлете. Постучал ножом по бокалу.

— Господа, позвольте тост в честь именинницы! Дорогая наша Каролина Ивановна! Вы — редкая представительница прекрасного пола, показавшая нам не слабость, а силу. Факел цивилизации, зажженный такими женщинами, как вы, не погасят ни морозы, ни метели. За долгую молодость мужественной и очаровательной феи Севера!

Гости шумно выпили, и тотчас же встал один из братьев Сивцовых.

— Мы предлагаем тост за белого человека! Что бы делали мы — дети таежного народа — без просвещенной помощи Каролины Ивановны или мистера Блейда? Пасли бы оленей, жили бы в дымных чумах, ели хлеб с сосновой заболонью. Сейчас же мы добываем золото, строим радиостанции, тянем телеграфные линии на тысячи верст,— сказал он.

— Это который Сивцов? Они все на одну колодку,— заинтересовался Донауров.

— Сивцов Третий, его зовут Софроном,— пояснила Феона.

— Позвольте мне ответное слово,— рассмеялась Каролина

Ивановна. — Выпьем за тех, кто сейчас в тайге охраняет наши прииски и, если потребуется, грудью встанет за наше спокойствие. За здоровье нашего общего друга Ивана Елагина!..

Донаурову тоже захотелось сказать что-нибудь о первозданной красоте Севера, о прекрасных женщинах, живущих на морозной земле, но голова уже немножко кружилась, и как в легком тумане он видел лица, слышал голос священника:

— Люди должны быть прозрачны друг другу духовными помыслами. Если новое общество будет хоть на капельку лучше религии, я почту его лучом надежды человеческой,— говорил отец Поликарп.

— Не меряйте вы людей на церковный аршин, они не достойны ни бога, ни дьявола, их надо драть! Ваши надежды давно стали нашими воспоминаниями! — басил Тюмтюмов.

Феона заиграла на пианино, и Андрею в этой музыке почудились стук копыт, треск рогов, свирепая дробь шаманского бубна. Братья Сивцовы, положив друг другу на плечи руки, начали танец оленьей упряжки. Но вот, будто каюр вскинул хорей,— нырнули в глубокий снег нарты, застучали рога, бешеный бег захлестнул братьев. Со звериной яростью плясали Сивцовы, и Андрею стало тревожно от таежного танца их.

В библиотеке началась карточная игра: Блейд, метавший банк, выложил на стол пачку долларов, Тюмтюмов нацедил в хрустальный бокал золотого песка, Каролина Ивановна насыпала стопочку мелких самородков.

— Любите играть в карты? — спросила Феона, следя лихорадочными глазами за банкометом.

— Люблю, только избегаю. Опасная игра,— признался Андрей.

— Опасности создают мужчину. В игре, как и в любви, важнее всего уверенность.

— Мы играем только на золото. Если нет, займи у меня,— Каролина Ивановна протянула Феоне горсть самородков.

Блейд сдал. Феона заглянула в карты, передала Донаурову, сказала за него:

— Ва-банк, мистер Блейд.

— Принято!

— Три дамы и две семерки, мистер Блейд.

— Бито! Делайте новые ставки.

— Снова ва-банк, мистер Блейд.

— Принято!

— Три туза и джокер,— объявила Феона, бросая на стол карты и придвигая к себе доллары и золото.

— Везет тебе, девочка,— сказала Каролина Ивановна.

Феона вернула долг, посоветовала категорически:

— Если хотите выиграть в покер — бейте по банку. Когда-нибудь да сорвете, а мы больше не играем. Мы пойдем гулять...

Феона и Андрей вышли из дома на берег Кухтуя. В белой ночи двигалась бугристая полоса, словно какой-то неслыханной силы паровоз выбрасывал клубы пара,— Кухтуй оделся в испарения перед рассветом. На сизом от безлунного свечения небе выпукло стояли сопки, в реке таял тот же безлунный свет. Из тайги выбежало стадо оленей; увидев людей, животные шарахнулись в сторону.

— Это олени Элляя,— решил Андрей. — А почему олени не пасутся около воды? Элляй говорит, боятся своих отражений в воде. Так ли это? Может быть, ерунда? Страх животного перед собственным отражением — досужая выдумка Элляя.

— Ему стоит поверить, Элляй знает, что говорит. Дитя природы! — твердо ответила Феона. — Гляньте, какое облако повисло над прибрежной сопкой! Просто парус, утащит сопку в море...

Донаурову тут же показалось — сопка тянется за облаком и плывет по воздуху, и то, что Феона это подметила раньше, доставило ему удовольствие.

«Сейчас скажу, как люблю ее»,— он взял под локоть Феону, но она освободила руку.

— Вы все еще больны золотой лихорадкой и знаете, что такое сладкая тяжесть золота?

— Сладкая тяжесть золота легче безответной любви,— выпалил Андрей.

— Это объяснение в любви?

— Господи, да как же иначе понимать! — Он опять поймал ее руку.

— Подождите, Андрей. Мне дорого ваше признание, но если я шутила о позолоченной раме для любви, то сейчас говорю серьезно — не признаю рая в шалаше.

— Что же мне делать? Сперва разбогатеть, потом надеяться?

Феона посмотрела на него. Он стушевался под ее проверяющим взглядом, из памяти испарились все красивые слова о любви, он был счастлив без слов. Все, что бы ни делала в эти минуты Феона — ее улыбка, движение бровей, поворот головы, звук голоса,— казалось ему совершенством.

Они подошли к маленькой пристани: среди кунгасов и оморочек покачивался на привязи быстроходный катер Дугласа Блейда. Американец по-дружески разрешал Донаурову пользоваться катером в любое время.

— Я бы хотела прокатиться по взморью,— сказала Феона.

Андрей завел мотор, и катер рванулся вперед: от ходкого лёта засвистел в ушах ветер, брызги били в лицо, побережье начало разворачиваться сопками, черными от тайги. Феона сидела рядом, ее волосы касались щеки Андрея, легкое прикосновение их возбуждало.

— Как славно! Дух захватывает от такого полета! — Феона прижалась к Андрею и сказала, словно совершила открытие: —

А ведь мы живем на краю океана, в том самом месте, где землепроходцы приходили на свидание с историей. От одного этого я чувствую себя более значительной...

Катер с мокрым шорохом причалил к песчаной косе, Феона спрыгнула на берег, зашагала к кустам стланика. Андрей последовал за нею, думая об одном и том же: «Не нужно слов о любви, пора совершать поступки».

Темная пустыня моря мерцала, тайга была глубокой и призрачной, деревья лежали на земле, словно спящие звери, природа утратила свою дневную трезвость. Феона тоже приобрела какие-то неправдоподобные очертания и как бы светилась русыми волосами, расширившимися зрачками, белыми руками, прижатыми к груди.

Андрей приблизился к Феоне, дрожа от желания обнять ее и страшась ее возмущения. Взял за ладони, она качнулась навстречу, Андрей под пальцами почувствовал ее нервное напряжение.

— Феона! Милая моя Феона,— пробормотал он, целуя ее в губы.

Они вернулись в Охотск в третьем часу; проводив Феону домой, Андрей еще побродил у моря и все повторял:

— Боже мой! Как хорошо!

Он пришел домой, лег на кровать в ночном мраке — как часть его — невидимо, неслышно. Мечталось о том, что когда-нибудь напишет поэму о черном мраке.

«Моя мысль пробилась бы сквозь черную толщу, населяя ее всем, что дорого сердцу. Но без мощной мысли и покоряющих слов невозможно преодолеть мрака. Странно, что давно умершие великие поэты мешают нашему брату творить, мы живем среди их произведений, как в зеркальных комнатах. Я еще не успел и строки написать о Феоне, а уже сравниваю ее со смуглой леди сонетов...»

Он объединял любовь к девушке со своей любовью к природе. Дитя бурных времен, он хотел жить естественно и просто, но ничего не получалось из его стремления, возможно, потому, что хотелось быть чуточку выше природы.

Постепенно им овладела печаль, и тогда он ощутил пустоту своей прежней жизни,— все было в ней скверным: и петербургская богема, и дешевые кабаки, и таежные скитания. Он снова захотел, но уже не мог представить лицо Феоны, зато совершенно отчетливо услышал ее голос: «Живет одна природа, все остальное — тлен. Если я полюблю, то взаправду, разлюблю — тоже взаправду».

Андрей весь съежился: «Когда я умру, со мной умрет мое солнце, моя земля, моя Феона, а душа окажется без чувств, привязанностей, воспоминаний, с одним только страхом перед неведомым».

Размышления его стали неясными, неуловимыми, он будто перешел границы своего тела и в новом состоянии слышал чутче, видел зорче. Сквозь тьму он различал, как на родной Вятке кипят ливни, в сизых омутах мелькают щуки, с треском вырываются из трав тетеревиные выводки. Виделся и молоденький дубок, похожий на зеленое звучное кружево. Открыл глаза — зеленое кружево передвигалось по темноте, такое прекрасное, что он сел на кровати.

— Что придает жизни свежие, сильные краски? Борьба? Любовь? Поэзия? — спросил он темноту. — А может быть, идеи? Ну, едва ли? Страсти, по-моему, все-таки сильнее идей...

Мысль о собственном исчезновении больше не печалила его, он установил, что Феона принесла ему счастье, и все сразу приобрело красоту, он опять ощутил себя мыслящей точкой в центре безмолвного черного круга. Тогда, охваченный порывом, он стал сочинять стихи. Любовь, переполнявшая его сердце, требовала поэтического излучения, и он, раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал, похожий и на шамана и на сумасшедшего сразу, пока бормотанье не получило размер, ритм, рифмы. Он записал лихорадочные строки на клочке бумаги:

В лесном бараке, на мочале,
Я, тяжко раненный, кричал.
Ночь напряженная молчала,
И крик на крик не отвечал.
Я бредил. Медленно и вяло
Снег осыпался надо мной,
И лезли в небо перевалы,
Сгущая воздух ледяной.
Бывает что-то в каждом бреде
Как электрический удар.
Огонь в глазах! И вот миледи
С бровями черными, как вар.
Уже давно из твердой меди
Хочу иметь характер я,
Но в этой маленькой миледи
Характер лучшего литья.
По стенам стрельчатого зала
Плясала злая тень ножа.
— Смелей! — миледи приказала. —
Пока решительность свежа... —
И Макбет шел по деревянной,
По зыбкой лесенке, пока
На горле старого Дункана
Не застонала сталь клинка...
Мы через кровь идем к победе,
Мы эту кровь, как воду, льем,
Есть у меня моя Миледи
С ее недремлющим клинком...

Донауров перечитал написанное: стихи показались сумбурными, в них едва угадывалась мысль.

«Интересно, что сказала бы Феона? Если бы ты была со

мной, Феона!» От этой мысли его обдало жаром, он лег в кровать, закрылся с головой одеялом.

Он видел сон: Феона стоит у стола и читает его стихи. Он пытался обнять ее, Феона ускользнула из объятий и продолжала читать, вскидывая голову, притопывая ножкой. Он проснулся.

...Феона на самом деле стояла у стола и читала его стихи.

— Как ты попала сюда?

Феона повернулась к нему с выражением радости на лице. Это выражение было главной ее приметой, словно заботы никогда не омрачали ее существования.

— Почему ты не сравниваешь мой приход с появлением солнца? — рассмеялась она. — Ты не закрыл входной двери — и вот я перед тобой.

Из-под меховой шапочки на ее шею падали русые локоны, пальчики охорашивали блузку, и вся она — свежая, чистая — возбуждала в нем страстное желание. Ее приход был обещанием: «Вот явилась! Что будешь делать со мною?»

— Мне очень понравились твои стихи,— сказала Феона. — Миледи — это я? Правда?

— Бесспорно ты, — солгал Андрей и уверовал в свою ложь.

— Влюбленные всегда гениальны. Если бы ты писал даже скверные стихи, я все равно считала бы тебя великим поэтом. Даже перепевы Шекспира не сочла бы за подражание,— добавила она лукаво. — А вот что хотел сказать своим «Макбетом» Шекспир, для меня неясно. Макбет убил Дункана, чтобы самому быть королем, а стал хуже убитого. А вот с леди Макбет дело похитрее. Эта леди — женщина, которая может убить не только мужа, не только короля, но даже собственного любовника. Женщина редко стремится к власти над миром, потому что она сама — и мир и власть. За настоящую женщину дерутся мужчины, воюют государства.

— Такой взгляд на «Макбета» мне кажется новым,— сказал Андрей.

— Старое ценят одни дураки...

На улице послышались чьи-то шаги; Феона, не глядя в окно, сказала:

— Это отец. Отправился на охоту, вернется поздним вечером.

— Он не догадается, что ты у меня? Тебе не боязно? — опасливо спросил Андрей.

— Боюсь только одного — что наша любовь погаснет...

— Я буду любить тебя, пока живу.

— Приходи ко мне в два часа,— сказала Феона.

До встречи с Феоной оставалось еще несколько часов, Андрей отправился на прогулку. Он бродил по галечным косам, любуясь приливом, наступавшим на берег медленно, но неотвратимо.

Море кипело яростно, галька, отполированная водой, блистала, и Андрей невольно думал, что шагает по тем самым местам, где когда-то ходил русский командор Витус Беринг. При воспоминании о командоре в памяти Андрея зазвучали собственные стихи:

Снова брызги воды и луны
Океан выметает на лед,
Из охотской морской глубины
Командор одиноко встает.
И шагает за помощью в ночь
В соболиные, в волчьи леса,
Но Россия бессильна помочь
Командору поднять паруса.
Далеко Петербург, и ветрам
Не домчаться до северных гор,
И рассерженный голос Петра
Не услышать тебе, Командор!
Для России ты отдал себя,
Как поэт, ты прославил ее.
Вспоминают потомки любя
Незабвенное имя твое...

Андрей Донауров родился в семье вятского учителя, но рос и воспитывался в Петербурге. С юношеских лет завладели Донауровым любовь к поэзии и страсть к путешествиям. Правда, в поэзии он не был самобытным: то подражал классическим поэтам, то подпадал под влияние литературных течений вроде акмеизма.

Акмеизм особенно повлиял на молодого поэта: в своих стихах он громоздил мифологические образы, исторические события, заимствованные из древних пергаментов. Боги, рыцари, конкистадоры бесплотными тенями толпились на его страницах, природа состояла из пальм, баобабов, пантер, леопардов, жемчужных раковин, коралловых скал. Донауров писал о мире, давно погаснувшем, или же о совершенно незнакомом, но любил пофилософствовать о назначении поэзии.

— Поэзия — всегда мысль, а мысль — прежде всего движение. Поэзия обязательно высшая точка выражения художественной правды, таково кредо акмеизма. Только акмеизм — высшая степень чего-либо. Здоровый организм называют цветущим, значит, цветущая сила — высшая степень жизни. В женщине я ценю красоту, свежесть плоти, горячую кровь, а не звездную туманность,— разглагольствовал Донауров в кругу столичной богемы, состоявшей из разочарованных во всем, мятущихся юношей и легкомысленных, не знавших, чего они хотят, девиц.

В то же время Донаурова постоянно влекли жизнь, полная приключений, и звучащий, красочный, имеющий время и вес, реальный мир. Прочитав в газетах о золотой лихорадке, охватившей Охотское побережье, он, подобно своему любимому писателю Джеку Лондону, решил отправиться на Крайний Север.

За несколько дней до отъезда Донауров встретился с товарищем по гимназии гвардейским капитаном Лаврентием Андерсом. Капитан приехал из действующей армии по особому поручению верховного главнокомандующего генерала Корнилова.

Андерс пригласил Донаурова к себе и за хорошим обедом, потягивая из рюмки вино, пустился в разговор о бедственном положении России, об опасностях, грозящих Временному правительству от большевиков.

— Керенский — ничтожество, безвольный, бестолковый адвокат, большевики вырвут из его рук власть, и тогда все полетит вверх тормашками. Только железная диктатура может еще спасти положение, офицеры ставки и сам генерал Корнилов понимают это,— говорил Андерс, пронизывающими глазами обрыскивая Донаурова.

— Я не очень-то доверяю «народному главнокомандующему» Корнилову, как его величают газеты,— возразил Донауров.— Какой он выходец из народа,— подделывается под мужика, и это особенно низко. Нельзя доверять людям, что пытаются низостью и ложью править народом. России необходимы сильные, умные, добрые вожди, для которых народные интересы не лестница для личных успехов...

«Он сам заговорил на такую щекотливую тему. Теперь можно ему открыться»,— обрадовался Андерс и рассказал о корниловском заговоре.

— Ты предлагаешь мне вступить в заговор? — спросил Донауров.

— Тише,— остерег Андерс.

— Нас никто не услышит.

— Все равно тише, даже в моем доме. Чуть ли не все высшие командиры участвуют в заговоре Корнилова, три тысячи офицеров под разными предлогами перебрасываются с фронтов в столицу.

— Три тысячи? А сколько среди них саврасов в мундирах, способных на одну болтовню?

— Революция кое-чему научила русское офицерство, особенно гвардейцев. Теперь они поняли смертельную опасность солдатских комитетов, поняли, что не керенские страшны, а большевики, что судьба России, собственные их судьбы брошены на весы истории,— торопливо, будто сомневаясь в правде собственных слов, ответил Андерс.

— Многие офицеры, словно мотыльки, летят на огни революции. В них они и погибнут. Нет, я не хочу вступать в заговор генералов. Кроме того, уезжаю на Север, там сейчас золотая лихорадка, она охватила побережье Охотского моря. Золотая лихорадка, как и любовь, — самые прекрасные болезни для поэтов.

— Аморально оставлять отечество в тяжелые часы его истории.

— Борис Савинков, этот прославленный террорист, сказал: «Морали нет, есть одна красота». Хорошо сказал!

— Не желаешь быть в рядах спасителей России от чертей, именуемых большевиками?

— Эти черти не имеют ни шерсти, ни когтей. А я, между прочим, не хочу ставить свечу ни ангелу, ни дьяволу, моя свеча гореть будет только перед одним богом — Поэзией,— заносчиво ответил Донауров.

Он уехал из Петрограда накануне Октябрьской революции и с большими трудностями добрался до Владивостока. Во Владивостоке познакомился с артелью старателей, охваченных золотой лихорадкой,— они уезжали в Охотск.

Вместе с артелью Донауров отправился на поиски дикого счастья.

Пасмурным утром на охотском рейде бросила якорь шхуна «Беркут», и по трапам хлынули пассажиры, измученные штормовым рейсом. С легким вещевым мешком за спиной Донауров зашагал в бревенчатый городок, о котором так давно и так весело грезил. Сейчас действительность смывала голубые краски его грез, он видел запакощенные, покрытые седой плесенью дома, опрокинутые на галечной косе лодки, кучи нечистот, вонючие лужи. Охотск казался серым, мизерным, жалким, но поэт подавил свое разочарование, видя тревожное оживление в городке.

Над почерневшими домами и торговыми складами возносила свои зеленые купола церковь Преображения — единственная на тысячи северных верст. По краям церковной площади теснились лавки, магазины, кабаки; по вывескам Андрей узнал, что в городишке есть фактория американской фирмы «Олаф Свенсон», «торговый дом Сивцовых», представительства фирмы П. А. Холмса, «Аянской корпорации Пюргентона», «колониальные товары Каролины Буш», кабак «Золотая мечта».

Шумела гражданская война в России. Смертно дрались красные и белые, а на Охотском побережье свирепствовала золотая лихорадка. Здесь и прежде находили золотишко, но сейчас оно хлынуло звонким потоком, превращая в безумцев самые трезвые головы. В тайгу кинулись рыбаки, охотники, матросы, торговцы, проститутки, даже якуты и тунгусы взялись за кирки и лопаты.

Золото находили и на дне горных речушек,
И под пластами оленьего мха,
И под корнями стланиковых кустов,
И в шерсти убитых медведей,
И в зобах белых куропаток,
И когда прокладывали тропы по берегам рек.

В тайге, за Кухтуй-рекой, появились частные прииски, границы одного пересекали границы другого. Старатели рылись в земле в дождливые дни, в белые ночи, промывая золото

лотками, выковыривая мелкие самородки из синей глины, из кварцитовых глыб.

Жили они в землянках, сколоченных на скорую руку, в дырявых палатках, сшитых из корабельной парусины, ели ржаную затируху, пили спирт по цене: рюмка золотого песка за косушку, играли в карты, гуляли с женщинами, ценившими свои прелести только на золото.

Между приисками и Охотском по таежным тропам, по реке шло оживленное движение: в тайгу из города, из тайги в город ехали на лошадях, на оленях, сплавлялись плоты, поднимались оморочки и «ветки», раздавались человеческие голоса, ружейные выстрелы, собачий лай, лошадиное ржанье, оленье хорканье.

Охотск появился на географической карте три столетия назад, и, хотя был ничтожно малой величиной, весь мир знал о нем. Основали Охотск землепроходцы, когда в целеустремленном своем движении на восток вышли к Тихому океану. Охотск стал форпостом русского севера. Здесь строили корабли Беринг и Чириков для своей исторической экспедиции, отсюда отправлялись они, чтобы открыть море, названное морем Беринга.

Из Охотска уходили на Аляску, Чукотку, в русскую Калифорнию Шелехов, Баранов, Беллингс, здесь бросали якоря английский капитан Кук и французский мореплаватель Лаперуз.

В этом голом городке на краю океана каждый русский ощущает и могучее дыхание истории, и трагическую быстротечность жизни, и вечную славу мертвых, с особой остротой представляя, как землепроходцы в продолжение веков сделали Охотск символом русской славы...

В Охотске Донауров отделился от артели старателей, решив искать золото в одиночку; он не знал еще — это так же бесполезно, как определять стороны света без компаса в непроглядном тумане. О своем решении Андрей сказал новым знакомцам — Никифору Тюмтюмову, Каролине Буш, Илье Щербинину.

— Вы большой романтик,— рассмеялась Каролина Ивановна. — В тайгу? Одному? Промывать золото, не зная где? Это чистое безумие, но настоящие мужчины — всегда безумцы,— повела она лукавыми глазами по Донаурову. — Открываю на всякий случай кредит в моем магазине, у меня есть все для золотоискателей.

— Через полгода бросишь тайгу и вернешься на Побережье. Охотская тайга не проспект Невский, по ней ходи да оглядывайся. Не усмотришь, кто за кустом — хунхуз или росомаха! — бесцеремонно похлопывал по плечу поэта Тюмтюмов.

— Пусть посмотрит тайгу, комарье пусть покормит, вернется — я его на радиостанцию возьму. Мне ох как нужен грамотный человек,— объявил Щербинин.

Донауров закупил у Каролины Ивановны все необходимое для старателя, приобрел пару лошадок у оленевода — тунгуса

Элляя и отправился за Кухтуйский перевал. Подражая другим золотоискателям, он застолбил небольшой участок по соседству с прииском знаменитого охотского миллионера Ивана Елагина и принялся за работу.

Все, что он читал прежде о поисках золота — романы Мамина-Сибиряка, рассказы Брет Гарта, Джека Лондона,— оказалось скверными учебниками. Все — от поисков до промывки золотоносных песков — было делом непосильным, невозможным для одного. Промучавшись летний сезон, Донауров, законсервировав свой участок, вернулся в Охотск.

Общительный по натуре, он сошелся с Щербининым, и тот стал обучать его редкой профессии радиста. Андрей поселился в домике Ильи Петровича, много и весело работал, еще веселее ходил на охоту, на рыбалку.

Илья Петрович научил его ловить морозными ночами налимов, читать следы черно-бурых лис, и таежный мир стал приоткрывать ему свои секреты и тайны. Еще Щербинин познакомил Андрея со священником отцом Поликарпом и его молодой дочерью Феоной; с той счастливой минуты Охотск для Андрея оделся в радужные краски.

— У тебя вид именинника. По глазам видно, что влюблен. Такое скрыть невозможно. Люби, пока любится. Только юноше, влюбленному по уши, не стоит забывать о службе,— сказал Щербинин.

— Я разве забываю?

— Пока нет, но молодости свойственно непостоянство. А наша радиостанция — одна на полмира,— с гордостью заметил Щербинин. — Если она испортится — полмира погрузится в молчание. — Илья Петрович круто повернул разговор: — Ты знаешь, ведь и отсюда, из Охотска, русские люди шли открывать новые земли. Аляска, Калифорния, Курильские острова еще помнят русский флаг, а теперь иностранцы завоевывают наш Север. Я в Охотске двадцать лет, на моих глазах появились всякие Свенсоны да Пюргентоны. Чарли Пюргентон застолбил по Кухтую пятьдесят участков, да столько же Олаф Свенсон... А Каролина Ивановна, а Тюмтюмов? Со счета собьешься.

— Между прочим, Никифор Тюмтюмов утверждает, что теперь в России будет править желтый цвет — цвет золота,— сказал Андрей.

— Тюмтюмов и должен так думать, иначе какой же он к черту промышленник! Меня интересует твое отношение к золоту. Как-никак, но ты хотя и маленький, а хозяйчик. Собственный участок за Кухтуем имеешь,— рассмеялся Щербинин.

— Мое отношение к золотому тельцу? Да просто приятно швырять самородки на кабацкую стойку, еще приятнее

украшать драгоценностями любимую женщину. Мне Феона сказала: любовь нуждается в золотой оправе.

— В шутку или всерьез сказала?

— Пойди угадай, когда женщины шутят...

— Ну а если всерьез? Тогда что же?

— Брошу радиостанцию и снова уйду в тайгу.

— Несущественный ты человек. Такие хлопцы собакам сено косить начнут, трамбовкой дыма займутся.

— Вот и рассердился!

Щербинин был снисходителен к переменчивому в настроениях поэту, но сейчас сказал, подчеркивая каждое слово:

— Ты носишься по белу свету в поисках приключений. Любовь твоя — лихорадочное увлечение, а золото попахивает авантюрой. Я тоже когда-то любил путешествия и приключения, но с годами прошло. Каждый стремится пристать к своему берегу. И тебе надо, Андрей...

— Для меня, Илья Пётрович, любовь превыше всего,— беспечно ответил Донауров. — Я побежал к Феоне...

Феона хлопотала на кухне, и Андрей наслаждался, наблюдая ее тонкую фигурку, летящие движения, добрую и такую чарующую улыбку. На каждой вещи в комнате, от цветов на подоконниках до безделушек на туалетном столике, был отблеск ее личности. На стене висел портрет матери Феоны, у нее, как и у дочери, был тоже стремительный облик.

После завтрака Андрей и Феона присели на тахту.

— Почитай мне стихи,— попросила Феона.

Вместо ответа он стал целовать ее в губы, щеки, шею; Феона, забыв о стихах, отвечала на поцелуи.

Тогда он решился на большее, но Феона оказала неожиданное сопротивление. Она сопротивлялась упорно, молчаливо.

— Не надо, умоляю,— услышал он шепот, устыдился своего поступка и почувствовал страх за ее беззащитную доверчивость. Он выпустил ее из объятий и снова увидел портрет. Мать Феоны смотрела на него строго, презрительно, осуждающе.

Андрей выбежал на кухню, прижался разгоряченным лбом к окну, ничего не слыша, кроме стучащего сердца. Феона подошла сзади, положила ладонь на его плечо.

— Я тебя люблю, и ты не сердись. Все будет по-настоящему, когда я стану твоей женой. А для этого надо...

— Приобрести для любви позолоченную раму? — не дослушав, спросил Андрей.

— Надо, чтобы согласился отец.

— Я выпрошу у него согласие.

— Он сказал, мне еще рано замуж.

— Тогда я вырву согласие силой!..

— Ты не оскорбишь отца...

— Так что же делать?

— Не знаю. Ждать. Набраться терпения и ждать.

— Я живу в сплошном чаду тревоги, счастья, страха да тяжких предчувствий, а ты говоришь — жди!

Они вернулись в комнату. Андрей спросил:

— Как получить согласие отца?

— Продай свой участок кому угодно. Отец не хочет, чтобы ты был золотопромышленником, в годы войны красных и белых золото опасно...

— Это говоришь ты или твой отец? Не понимаю. Объяснись...

— Где золото, там и кровь, и лишние страдания, и ненужные страхи. Ты приехал к нам на поиски дикого счастья и не хочешь знать простых истин. Золотое счастье Ивана Елагина или Никифора Тюмтюмова оборачивается бедой для многих старателей. Почему люди должны страдать ради их золотого счастья?

— Мне без тебя нет жизни. Завтра уйду в тайгу и продам свой участок. Феона, Феона! — повторил он, чтобы доставить себе радость от ее звучного имени.

Перед уходом в тайгу Донауров пригласил Щербинина в трактир. Они пили спирт, болтали о всяких пустяках, потому что все важное было обсказано. Андрей отхлебывал из стакана и сердито следил за толстыми пальцами трактирщицы, небрежно ссыпающими в жестяной ящик наперстки золотого песка, горка которого была так же небрежно высыпана старателем на прилавок.

— Спирта на всю шатию! — приказал старатель, обводя рукой завсегдатаев трактира.

Посетители ожили, зашумели, одобрительный гул наполнил трактир.

— С фартом вас, Матвей Максимыч!

— За счастье-удачу, Максимыч!

— Паук, лешак этакой! Все пропьешь, и опять зубы на полку...

— Иди прочь, не оглядывайся. Не ворованное, чай, пропиваю! — огрызнулся Матвей Максимович. Он действительно походил на паука кривыми ногами и как бы вывернутыми в локтях руками. Глубоко запавшие глазки, хищный нос усиливали сходство.

— Что за птица? — спросил Донауров.

— Зряшная личность, но фасон давит,— пояснил Щербинин. — А на золото у него звериный нюх. Елагин и Тюмтюмов на его открытиях разбогатели.

— С таким бы знатоком золото поискать.

— Не советую. Пропьет при нужде и себя и тебя.

— Здоро́во, черт плешивый! — крикнул старатель Щербинину.

— Здравствуй, Матвей! Все гуляешь?

— Уже неделю, без отдыха, все спустил, что за Кухтуем добыл, остался один самородочек. — Паук вытащил из кармана золотого крошечного человечка.

Природа — великая выдумщица — создала своего Мефистофеля.

— Сколько он весит?

— Почитай, полфунта потянет. За бутылку спирта отдам, уж лучше пропить, чем снова Дуньке на пуп швырнуть.

— Что за Дунька? — спросил Щербинин.

— Приходи на прииск, увидишь. Сначала Дунькин пуп, а потом и Дуньку. Только теперь к ней не подступись, гуляет с Ванькой Елагиным, а нашего брата в упор не видит. С теми только водится, кто ейный пуп золотым песочком обсыпает...

— И в самом деле обсыпают? — опять спросил Щербинин.

— В очередь стоят, едиоты! Дунька на нашем золоте разжирела, а мы штаны пустыми поясами подтягиваем. Девки, конешно, отрава, но и золотишко — яд сладкий, — с ухмылкой добавил Паук. — Набредешь на какой-нибудь ручеишко, промоешь пару лотков — и от золотого блеска башка кругом, а взвесишь добычу на ладошке — ноги сами в пляс.

Донауров налил Пауку, тот выпил и продолжал, сладострастно причмокивая толстыми губами:

— Застолбил я как-то участок, ничего на нем не росло, кроме крапивы, да шиповник еще торчал, дохлый такой кусточек. Стал бить шурфы — и ни соринки тебе золотой, ни пылинки. В одном месте сажени на полторы в землю зарылся — хоть бы искорка! С горя напился, и стало благостно, и явился Иисус Христос и поманил меня пальчиком. И пошел я за ним по дождю, по грязи. Брел-брел да в собственный шурф и свалился. Отрезвел маленько, воротился в землянку свинья свиньей, в голенищах грязи по ведру. Утречком стал штаны полоскать, а с них золотинки, жирные, будто клопы, так и посыпались. Фунтов пять потом в шурфе взял! — Паук истово перекрестился, и в глазах его появилось угрюмое и сосредоточенное выражение.

Они рассмеялись — Паук от воспоминания, Щербинин от необычности его приключения, Донауров в надежде на свой фарт. Он купил у Паука золотого Мефистофеля.

Утром, до солнца, Андрей с парой груженых якутских лошадок тронулся в путь. Феона провожала его до тропы, вьющейся в береговых травах Кухтуя. На берегу Андрей подал Феоне золотую фигурку.

— Пусть этот Мефистофель охраняет тебя от случайностей жизни.

— Береги себя ради нашего будущего. — Феона поцеловала Андрея сперва в лоб, потом в губы.

И отвернулась, чтобы не видел ее слез.

Жизнь на Побережье постоянно сталкивала Илью Щербинина с ссыльными революционерами. Он встречался с социал-демократами, слушал их споры, сам спорил, соглашался с одними, отрицал идеи других, в конце концов воспринял большевизм как учение, близкое ему по духу.

После Февральской революции в Охотске возникла маленькая организация большевиков, преимущественно из ссыльных; из местных жителей членами ее были только Щербинин да Василий Козин, корабельный мастер охотской верфи.

Об Октябрьском перевороте Щербинин, как и полагается радисту, узнал первым и передал эту жгучую новость по радио Камчатке, Чукотке, на Аляску, в Японию. В Охотске сразу же был создан уездный Совет, его председателем стал Щербинин. Немедленно он объявил о национализации всех частных приисков, но для начала национализировал только прииск, принадлежащий Никифору Тюмтюмову. У Ивана же Елагина и Каролины Буш он конфисковал четыреста фунтов золотого песка и стал самым ненавистным для них человеком.

На прииске Тюмтюмова была создана кооперативная Горная артель: старатели избрали ее председателем Василия Козина — мужика трудолюбивого и сердечного.

В Горную артель повалили рабочие частных приисков, особенно от Ивана Елагина, который славился своим крутым нравом и зверским отношением к людям. Козин принимал всех, кто к нему приходил, но с каждым новичком беседовал долго, обстоятельно.

— Артель не интересуется твоим прошлым, но не потерпит ни скандалов, ни драк. Если у тебя есть карты — забудь их! Если куришь опий — выбрось его. Если покупаешь у спиртоноса водку — будем судить судом рабочей чести. Похабные привычки старателей-частников мы отвергаем. Помни про это...

Каждое утро Козин с лотком и кайлом уходил на поиски новых золотых месторождений, но к съемке возвращался. Производил он эту операцию сам; съемка была для него увлекательным занятием.

Маленьким скребочком Козин старательно снимал с проходнушки пески, складывал в лоток и начинал священнодействовать. Он погружал лоток в воду и двигал его от себя к себе, скидывая пустую породу. С каждым движением коричневая кашица оседала на дно, лоток послушно и ловко подчинялся напряженным рукам. Уходили последние частицы пустой породы, и лоток расцветал жирным, маслянистым цветом, среди желтых зерен сверкали самородочки в белых рубашечках кварцита, окаймленные пятнами синей глины.

Козин услышал позади вздох и обернулся. Над ним склонился Иосиф Индирский — его помощник по артели.

— Вот это подфартило! — Индирский разворошил пальцами золото. — С удачей, Вася! Сейчас я костерок вздую...

Козин выложил на жаровню снятое золото, поставил на костер, подсушил, сдул с золотых зерен пепел. Индирский внимательно следил за каждым его движением.

— Все-таки нельзя без охранителей снимать золотишко. У нас народец-то оторви да брось! Ты вот даже не заметил, как я подошел...

— Я верю в людей, Иосиф, иначе на кой черт артель создавали. — Козин покачал на ладони тугой мешочек. — А в золоте артельном моя и твоя часть, кого же нам опасаться?

— Если так, подай мою долю. Вот эту,— Индирский взял тонкий, похожий на смородиновый лист, самородок. — Ишь, будто икона, рассиянился. Но я шучу. Не надо мне золота, богатство — хорошо, свобода — лучше...

Они возвращались в поселок, еще издали заметив, что у конторы толпятся старатели. В Горную артель приехали Илья Щербинин и купец Софрон Сивцов. При появлении Козина старатели шумно заговорили:

— Уездный Совет в Охотске порушен...

— На Побережье новую власть сковырнули, теперь к нам подбираются...

— Здравствуй, Илья Петрович, и вам привет,— кивнул Козин Сивцову. — По каким делам пожаловали?

— Обстановка на Побережье самая гнусная,— сказал Щербинин. — Контрреволюционный переворот совершен в Петропавловске-на-Камчатке, и тамошние новые правители предъявили охотскому Совету ультиматум — самоликвидироваться. У нас нет силы противостоять камчатским правителям и своим богатеям. Что касаемо Горной артели, то вам решать, нужна ли рабочая власть, возвращать ли золотые прииски их прежним владельцам...

— А что скажет Софрон Сивцов? — спросил Козин.

— Господа старатели! Щербинин говорил сейчас как представитель несуществующего Совета, жители Охотска заменили его Комитетом общественной безопасности. Комитет возвращает хозяевам их прииски. Как его председатель, я требую исполнить это решение,— Сивцов приложил руку к сердцу и отступил в тень.

— Передайте новоявленным правителям и вашим друзьям: Горная артель признает лишь Совет Народных Комиссаров в Москве. Национализированные прииски возвращать не будем, добытое золото не сдадим, а Комитет общественной безопасности покорно просим нас не беспокоить,— отрезал Козин.

Наступила метельная зима, Охотск занесло снегами, рейд забили торосы. Побережье и прииски потеряли всякую связь с Россией, кроме радио. Днем и ночью Щербинин сидел на стан-

ции, принимая и передавая новости во все концы Северо-Востока, иногда перехватывал радиограммы разных правительств, адресованные Охотскому Комитету общественной безопасности.

А правительств расплодилось на Дальнем Востоке, словно грибов в тайге. Свои правительства были на Камчатке, на Сахалине, в Приморье, Приамурье, хотя адмирал Колчак и называл себя верховным правителем России.

В Приамурье свирепствовал Калмыков, объявивший себя атаманом Уссурийского казачьего войска, в Забайкалье разбойничал Семенов. Про них говорили: если атаман Семенов приказывает убивать, то атаман Калмыков убивает собственноручно.

Весной девятнадцатого года Щербинин получил из Владивостока от большевиков-подпольщиков радиограмму: его предупреждали, что в Охотск назначен новый начальник уезда — колчаковский полковник Виктор Широкий. У полковника большой отряд карателей для усмирения непокорных жителей Побережья, но в отряде есть и тайный эмиссар Сибуралбюро при Центральном Комитете партии большевиков. На этого эмиссара возложена вся ответственность за подготовку восстания против Колчака на Побережье. Владивосток просил Щербинина всячески помогать тайному эмиссару.

О радиограмме Илья Петрович сказал одному Василию Козину.

Белой июньской ночью на охотском рейде бросила якорь шхуна «Михаил»; жители Побережья не подозревали, что с ее приходом круто изменится их жизнь.

На другой же день полковник Широкий радировал верховному правителю, что Охотск занят правительственным отрядом, что население успокоено. Из всех успокоительных мер полковник предпочитал кладбищенскую тишину: он расстрелял всех, подозреваемых в сочувствии большевизму, провел массовые обыски, отбирая золото и пушнину, конфисковал ездовых оленей и лошадей.

По доносу Тюмтюмова в штаб карательного отряда приволокли Щербинина, сгоряча полковник приказал расстрелять его как большевика, но вовремя спохватился. С убийством радиста связь с Колчаком прекратилась бы. Илью Петровича помиловали.

Через несколько дней на радиостанцию явился мужчина и представился как Алексей Южаков. Радист мельком видел его в штабе карателей и спросил недружелюбно:

— Что вам угодно?

Южаков подал письмо, Щербинин прочел, оживился.

— Так вы тот самый эмиссар, о котором мне радировал Владивосток?

— Да, тот самый...

— Тогда, Алексей Иванович, я расскажу вам...

И Щербинин ввел Южакова в курс всех политических событий, происходивших в уезде. Он объяснил, что соотношение сил на Побережье в пользу колчаковцев и интервентов, что единственная реальная угроза для них — рабочие Горной артели.

— Я отправлюсь к старателям. Мое место там,— категорически решил Южаков.

Вскоре Василий Козин тайно увез Южакова в Горную артель. На бегство одного из своих карателей полковник Широкий не обратил внимания — роковая небрежность чересчур самоуверенного человека. Зато после душевных бесед с Каролиной Ивановной Буш, Тюмтюмовым, братьями Сивцовыми, Дугласом Блейдом полковник решил провести карательную экспедицию против Горной артели.

С сотней уссурийских казаков отправился он на прииск, потребовал ликвидировать артель и передать все золото в его распоряжение.

Козин и Южаков ответили отказом и оказали отчаянное сопротивление, но скверно вооруженные старатели разбежались, а Козину, Южакову, Индирскому пришлось укрыться в тайге. Полковник издал обращение к местным жителям — тунгусам и якутам, призывая убивать всех русских, что встретятся им на путях. За каждого убитого обещал награду порохом, дробью, солью, спиртом, но никто не отозвался на его обращение.

Стойбище называлось Кыгыл-Хая, что означало «Красные скалы». Здесь повсюду громоздились сопки из желтого железняка, высились скалы, пики, обрывы сургучного цвета; рыжие тропки сбегали в озеро, берега походили на спекшуюся кровь.

У озера издавна жили якуты — оленные люди, пасли свои стада, кочевали целыми семьями, но постоянным местом жизни своей признавали только эти печальные скалы.

В стойбище была дюжина яранг, хотоны для коров, сараи, амбары; на пряслах сушилась рыба, соболиные, беличьи, горностаевые шкурки. С приисками жителей этих мест соединяла еле заметная тропа, пробираться по ней через топи было делом опасным, лишь скупщики пушнины изредка проникали в Кыгыл-Хая.

Здесь-то и поселились беглецы. Корабельного мастера, уроженца Охотска, Козина знали оленные люди с малых лет и радушно приютили его с товарищами. Козин и Индирский пережидали смутное время, рыбача на таежных озерах, Южаков — человек мысли и действия — горел от нетерпения начать борьбу с колчаковцами.

Он целыми днями бродил по берегу озера, размышляя о превратностях своей жизни. Беспокойная судьба постоянно, с завидным упрямством, гнала его на Крайний Север России. Москва — Вятка — Котлас — Владивосток были этапами его пути

сквозь мятежи, восстания, заговоры, через заслоны белочехов, ловушки колчаковской охранки.

Царские власти кидали Южакова в тюрьмы, ссылали в глухие места. После Февральской революции он вернулся в Петроград и сразу же очутился в бурном водовороте революционных событий.

В первые дни Октября он дрался с мятежниками Керенского — Краснова под Гатчиной, потом с отрядом питерских рабочих выехал в Москву. Под руководством Михаила Фрунзе выбивал он юнкеров из гостиницы «Метрополь» и одним из первых ворвался через ворота Никольской башни в Кремль.

Когда весной восемнадцатого года иностранные интервенты, захватив Архангельск и Мурманск, двинулись вверх по Северной Двине, чтобы в Вятке соединиться с белочехами и белогвардейцами, Реввоенсовет послал Южакова на помощь Шестой армии. Вместе с командиром 18-ой дивизии Иеронимом Уборевичем Алексей Южаков дрался с интервентами на подступах к Котласу.

Центральный Комитет партии большевиков создал особую организацию, чтобы она могла вести подпольную деятельность в колчаковской Сибири и на Дальнем Востоке. Так появилось на свет Сибуралбюро ЦК; ему сразу потребовались опытные подпольщики, среди них оказался и Алексей Южаков.

...Днем пронеслась веселая гроза с кручеными молниями, ярой канонадой грома, всеочистительным ливнем, одела каждую ветку, и шишку, и лист в сети из разноцветных искр, наполнила тайгу мягким звучанием капель. Южаков тряхнул кедровую лапу, и она сразу погасла. «Вот так и человек: наливается силой, цветет красотой, а судьба ударит его наотмашь — и нет силы, нет красоты»,— подумал он и опять возвратился к трагическим событиям на золотых приисках.

Полтысячи человек работали в Горной артели — и вот их нет. Одни арестованы, другие разбежались, но разбежавшихся больше, чем арестованных; те, что остались, прячутся в частных приисках. Если бы собрать этих ребят да каждому в руки винчестер,— начался бы иной разговор с полковником Широким! Только где взять оружие, как достать провиант? И как ввести прокаленную жаром революционной идеи дисциплину среди разнузданных, своенравных старателей? Через кого установить тайное наблюдение за карателями и полковником Широким?

Чьи-то шаги насторожили Южакова, он увидел: от озера на тропу поднималась девушка, покачивая на вытянутой руке живого налима. Она остановилась, скосив на Южакова черные влажные глаза, налим лениво ударял хвостом по ее бедру.

— Где ты раздобыла налима?

— Большой нюча[1], а говорит, как ребенок,— рассмеялась девушка.

Южаков смутился: и впрямь глупо спрашивать такие вещи у жительницы тайги.

— Куда идешь глядя на ночь?

— К шаману с подарками. — Девушка вынула из-за пазухи мешочек с бисером. — Отец отдал за него трех соболей.

— Трех соболей за горстку бисера?! Это грабеж!

— Правда, нюча, шаман вчера еще собачью ляжку в зубах таскал, но сегодня уже лисий хвост на руках носит, и мы боимся его,— девушка ушла, покачивая заснувшего налима.

Южаков вернулся в ярангу Наахара за полночь; якут у погасшего камелька курил вересковую трубку.

— Бродишь в тайге, как рысь,— сердито сказал Наахар. — Устал кипятить чай.

— Ты лучше скажи, кто дерет с вашего брата за горсть бисера по три соболиных шкурки?

— Это Софрон Сивцов обирает своих сородичей. Я его маленького учил белку стрелять, думал, хорошим охотником станет, он же стал худой люди. Трех соболей за мешок бисера, однако, небольшой грабеж,— тусклым смешком зашелся Наахар и рассказал Южакову несколько историй о похождениях таежного компрадора.

Жители испокон веков брали в кредит у русских и американских купцов все товары, уплачивая долги пушниной. Честным охотникам казалось невозможным не уплатить собственного долга, за отцов и дедов рассчитывались их сыновья и внуки. Зная об этой честности, торговые фирмы скупали долги, и чем больше был список должников, тем успешнее шли дела фирм.

Софрон Сивцов собирал долговые расписки охотников и продавал их фирме «Олаф Свенсон», наживая баснословный барыш. Прошлой зимой он узнал, что в магазинах Охотска нет швейных иголок, и помчался по стойбищам, сообщая простодушным жителям:

— В тайгу пришло горе. Великий мастер, делавший иголки, умер. Белые нючи больше не привезут ни одной иголки, и снова придется шить рыбьей костью. Великий мастер был моим другом и когда-то подарил целую пачку иголок, в память о нем я уступаю каждому стойбищу по одной. Пусть она служит всем — мужчине и женщине, тойону и пастуху.

Софрон передавал иголку старейшине рода или шаману и замолкал: теперь каждый охотник одарит его за общую иголку своим подарком. Он вернулся в Охотск с несколькими нартами пушнины.

---

[1] Нюча — русский *(якутск.)*.

— Как можно терпеть такого прохвоста? — возмущался Южаков.

— А ты научи старого Наахара, как ему тягаться с Софроном? Наахар еще ходит один на медведя, но с чем он пойдет против Софрона?

— И научу. За мной дело не станет. А пока просьба — съезди в Охотск, купи несколько винчестеров да смотри, чтобы не задержали солдаты.

Узорчатые тени ветвей дремали на поверхности озера, на мелководье росли коричневые хвощи, слышалось чье-то сопенье,— Алексей Иванович увидел крупных, цвета темной меди, сазанов.

На озере виднелась оморочка: Наахар ловил рыбу сетью, стоя посередине лодки и как бы вырастая из нее. Заметив Южакова, он направился к берегу.

— Ухи хочешь, однако? А табак есть, нюча? — спросил Наахар.

После ухи, пахнувшей таежными травами и дымом костра, Южаков сказал, глядя в темное лицо Наахара:

— Мне помощь нужна. Не знаю, согласишься ли помочь?

— Оленные люди помогают всем попавшим в беду,— с гордостью ответил Наахар.

— В беду попал не я. В беде оказались такие люди, как ты.

Рыбак удивленно приподнял смоляные брови.

— Наахар в беде? В какой? — спросил он.

— Полковник Широкий расстрелял таких же бедных людей, как ты, купец Софрон ограбил еще больше охотников, чем ты думаешь. Ваши купцы-сородичи хуже голодных волков, зверь когда-нибудь да насытится, купец — никогда.

— Это правда, однако,— согласился Наахар, выбивая пепел из трубки. — Но у них есть товар, а нам нужны дробь и порох, чай и мука...

— Продавай нам — коллективу Горной артели. Лови больше рыбы, мы возьмем и вяленую, и сушеную, возьмем и ездовых олешек, и тех, что годятся на мясо. Платить станем дай боже как! За одного соболя мешок крупчатки, за десять беличьих хвостов медный котел.

— Я сам умею рассказывать сказки, нюча...

— Это не сказки, это — слово и дело людей, что называют себя большевиками...

— Откуда они придут в тайгу?

— Они уже пришли! Большевик — я сам, большевик — Васька Козин. Мы соберем всех разогнанных старателей Горной артели и пойдем войной на охотских богачей и полковника Широкого. Нам нужно много мяса и рыбы и оленьих упряжек для похода. Ты поможешь, Наахар?

— Помогать людям — закон оленных людей,— раздумчиво сказал рыбак.

— Солнечный закон! А теперь я тоже хочу половить рыбку...

Белые облака покачивались в глубине, по самому дну передвигались синеватые стаи хариусов, а поверхность воды вспарывали щуки. Неистребимая сила жизни чувствовалась и в озере, и в воздухе, и во всем, что окружало Южакова. Рыбак, шуршащий бахилами из прозрачной щучьей кожи, движущиеся облака и рыбы настраивали на лирический лад. Прищурившись, Южаков следил за скрученной из оленьей жилы леской, привязанной к корме, другой ее конец уходил в воду. Это был перемет с наживкой для щук и тайменей.

Резкий рывок накренил оморочку, жила натянулась, захлестывая и обжигая Южакова. От неожиданного толчка он сковырнулся в озеро, но тут же вынырнул и, наматывая на руку жилу, поплыл к берегу.

Наахар уже был рядом: после короткой борьбы они выволокли аршинного тайменя; разбрасывая хвостом песок, поблескивая крупной чешуей, таймень все еще продолжал сопротивляться.

— Я думал, ты только роешься в земле,— усмехнулся Наахар,— а ты вытащил хитрую и дорогую рыбу.

— Золото подороже тайменя...

— Оно не годится даже на утиную дробь. Только нючи без ума от золота, но они — глупые люди. Очень даже глупые, если хотят на золото купить счастье, но это все равно, что поймать свою тень.

Наконец для Южакова наступило время действовать. Он послал на прииски Индирского с поручением направлять в Кыгыл-Хая всех недовольных старателей; Козин ушел в Охотск для тайного наблюдения за военным гарнизоном. Раз в неделю Наахар путешествовал в город, незаметно, в разных магазинах покупая винчестеры и патроны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Моросил дождь, земля разбухла от воды, трава полегла по распадкам. Донауров не любил пасмурной погоды, в ненастные дни у него падало настроение.

Ручей метался по ущелью, то исчезая в ягеле, то выбираясь на прозеленевшие камни. Андрей, хотя и знал, что под моховыми пластами вечная мерзлота, все же не мог избавиться от ощущения, что шагает по трясине. Он вышел к мощным сланцевым сбросам; здесь галечник перемешался с кварцитовым песком.

Донауров набрал в лоток грунта и начал промывать, тщательно очищая гальку от глины; деревянное корытце скользило, ныряло, поворачивалось, выплескивая пустую породу. По-преж-

нему моросил дождь, все так же лежали травы, словно низкое небо окончательно придавило их к земле, но что-то произошло в Донаурове, изменив его настроение. Дождевые капли казались золотинками, деревья засветились каждым сучком, весь мир оделся в оранжевый легкий туман. Донауров увлекся работой, глаза смотрели зорко, руки двигались быстро. После десяти промытых лотков заломило поясницу, Донауров присел на глыбу. В месте, где появлялись спутники золота, не было его самого, но это не огорчало Андрея, из корыстолюбца он опять превратился во влюбленного поэта, и лицо Феоны, очаровательное в своей строгости, возникало из дождевой завесы. «Феона как солнце! Его еще нет, но я знаю, что оно сейчас прорвется сквозь тучи».

Этот день, как и вчерашний, не принес удачи. Устало брел Андрей в свою избушку, и даже черные, выпуклые на красном закате лиственницы, и тишина, переполненная шуршанием срывающихся с ветвей капель, не трогали его души.

В небе прорезалась полоска яркого света и, разрастаясь, стала выбрасывать разноцветные охапки лучей, и тотчас развернулись сполохи. Они перемещались, сливались, становясь красными оленями, зелеными птицами, оранжевыми рыбинами, и проваливались в темную пустоту, на месте их росли синие и лиловые травы. Андрей остановился, пораженный, что все вокруг стало многоцветным сном, что небо и земля разговаривают друг с другом, но таинственный их разговор ему не дано понять. Очарованный и растерянный, смотрел он на сполохи и уносился в страну своих мечтаний, где правили красота, поэзия и любовь.

На другой день Донауров работал у большой сланцевой скалы. Внезапно скала треснула, крупная глыба, медленно кренясь, опрокинулась в ручей, выплеснув на берег воду. К ногам Андрея упал маслянистого цвета комочек.

— Самородок! — Нетерпеливо и жадно перебрасывал он золото с ладони на ладонь, потом встал на колени, засунул руку под скалу, пошарил и разжал кулак: на пальцах желтели зернышки металла. Андрея охватил восторг: наконец-то удача, наконец-то подфартило!

Теперь ничего не существовало для него, кроме сланцевой скалы, нависшей над ручьем. Железным скребочком он выгребал из-под нее породу, складывая в лоток, присаживался к воде и начинал промывку.

Грунт все плотнее оседал в лотке, и все осторожнее становились движения Донаурова.

Раз-раз! — срывались с лотка частицы пустой породы. На дне остались одни пески — плотные, непроницаемые. Андрей отбивал лоток, с каждым взмахом коричневая полоска бурела

и наконец расцвела рыжим цветом — среди тяжелых зерен засверкали самородочки.

Солнце оранжевым пузырем повисло над безмолвными лесами, тени из сизых и гладких стали черными и мохнатыми, нарастающим гудением предупреждала о себе мошкара, а Донауров ничего не видел, кроме цветущего золотом лотка.

— Поздравляю с успехом! — неожиданно громко произнес кто-то за спиной Андрея.

Он вскочил на ноги, инстинктивно закрывая собой лоток. Перед ним стоял мужчина в брезентовом плаще, в кожаной широкополой шляпе.

— Иван Елагин, ваш сосед,— представился незнакомец.

— Как же Елагина не знать! — Андрей пожал крепкие пальцы человека, чье имя со страхом произносилось в тайге и на Побережье.

Был Елагин среднего роста, широкоплеч, коренаст, копна каштановых волос сваливалась на левую щеку, маленькие серые глазки поблескивали из-под густых бровей.

— Наслышан про то, что хотите продать свой участок. Не советую, смешно продавать счастье. Смешно и, извините, глупо.

— Вы это всерьез?

— Такими вещами не шутят.

— Я хочу уступить вам богатство, а вы отказываетесь от него. Странно!

— Во-первых, я и так богат, во-вторых, иметь соседом такого славного человека, как вы, очень приятно. О вас я знаю больше, чем вы думаете. В тайге нет золотоискателей, которые могли бы постоять друг за друга, мы живем, как волки, каждую минуту готовы загрызть друг друга, нас всех перебьют партизаны. Они уже объявились, вожак ихний Алешка Южаков только и ждет удобного случая. Завтра у меня собирается совет золотоискателей, есть кое-какие новости. Приглашаю и вас. Посидим, потолкуем о важных делах... — Елагин не договорил, оттолкнул Андрея в сторону и отбежал от ручья.

На место, где они стояли, с горной кручи хлынул поток камней.

— Еще бы секунда, и обоим каюк. Копаетесь здесь у смерти под носом! — Елагин выругался.

— Я в долгу перед вами, вы спасли мне жизнь,— растроганно сказал Донауров.

Оскальзываясь на мокрых камнях, Андрей шел на прииск Благословенный, мрачно поглядывая по сторонам; его настроение иногда зависело от случайных обстоятельств: то радовался он солнечным зайчикам в горном потоке, то впадал в тревогу от лунного света, встающего со дна того же потока. Неуравновешенность настроения сам Андрей объяснял поэтической своей

натурой — объяснение столь же легкомысленное, как и неубедительное.

Послышались истошные крики. На таежной поляне десятник бил старателя, приговаривая:

— Возверни самородок, собака!

Старатель корчился под ударами, но молчал, десятник развернулся для нового удара. Донауров перехватил его руку.

— Не смей бить человека!

— Может, целовать его?.. — Десятник отступил на шаг, взмахнул лопатой над головой Донаурова.

— Стой! — крикнул повелительный голос, и Елагин вышел из-за кустов.

Десятник бросил лопату, почтительно снял шапку.

— Это тебе за старателя! — Елагин ударил десятника по физиономии, тот взмотнул головой. — А это за то, что посмел поднять лапу на моего гостя. На своем прииске могу бить только я.

Десятник выплюнул зуб, ответил беззлобно:

— Напрасно бьешь, хозяин. Ахметка спер самородок. Сам видел, как из проходнушки выдернул. Я его за кражу приласкал, а меня за что?

— Где самородок, Ахмет? — спросил Елагин.

— Врет он, бачка, не брал я самородка, хоть секим башка, не брал.

— Подойди ко мне поближе...

Старатель опасливо приблизился к Елагину.

— Куда спрятал самородок?

— Обыщи — нет, башка под топор — нет!

— Я — обыскивать? Сам отдашь! Раздевайся быстро, мне ждать недосуг.

Старатель стал раздеваться. Елагин вынул трубку, закурил и ждал, словно не замечая Донаурова.

— Стой и не шевелись. Заберись на тот пенек и стой. — Елагин выбил пепел из трубки, повернулся к Донаурову: — Славно, что пришли. Сейчас тронемся на старательный совет.

Донауров смотрел на Елагина, а видел человека, черного от мошкары. Тот извивался на пеньке, размахивая руками, отбиваясь от гнуса.

— Не шевелись! — прикрикнул Елагин, но татарин заорал во весь голос, призывая на помощь.

На его крики сбежались старатели, послышались ворчливые голоса:

— Живого человека на съедение мошкаре!..

Елагин шагнул к старателям.

— Марш по забоям!

— Бери свой самородок, бачка! Сейчас его в кустах разыщу, — простонал Ахмет.

Елагин пододвинул ногой одежду татарина.

— Одевайся, дурак! Вы ступайте в «Дунькин кабак», я загляну на минутку к себе,— сказал таежный властелин Донаурову.

...Поселок старателей — горстка лачуг, пекарня, кабак, лавочка колониальных товаров — раскинулся на берегу речушки, у невысокого горного перевала. «Дунькин кабак» находился на самом приметном месте, и никто из старателей не проходил мимо.

Просторная изба, сработанная из неошкуренных, толстых лиственниц, была опрятной, по стенам висели зеленые лапы стланика, на столиках лиловели цветы кипрея. Подавали хорошенькие девочки, безотказно исполняя все капризы старателей.

Перешагивая порог, Донауров увидел Матвейку Паука в компании собутыльников. Паук тоже заметил его, вразвалочку пошел навстречу.

— Здорово, приятель! Ну давай, давай для встречи чеплашечку чекалдыкнем! — Паук с размаху сел на табурет, ущипнул Дуньку. — Спирту, живо! Друг-приятель из Охотска, угощай по-таежному.

— Сперва купи, потом лапай! — одернула его Дунька и скосилась рыжими нахальными глазами на Андрея.

— Ишь, стервоза, выломилась из оглобель. За фарт! — поднял кружку Матвейка и выплеснул в волосатую пасть неразбавленный спирт. — Ты в тайге новичок, тебя наши мужики зараз зануздают. Бери меня в напарники, тогда нам сам дьявол не брат.

— Боюсь, обманешь. И ручательства надежного не вижу.

— Мое честное слово.

— Маловато, Матвей Максимович.

— Ванька Елагин под мое честное слово мильен отвалит, не поморщится. Я раздет-разут временно, ты — постоянно.

В кабак вошел Иван Елагин, его встретил почтительный гул. С приходом Елагина задвигались табуреты, девочки засновали между столами, Дунька зажгла фарфоровую лампу, хотя в окна лился нежный закатный свет. Старатели подходили к Елагину, чокались кружками — жесть звякала пустынно и холодно, знакомились с Донауровым и уже только по одному тому, что с ним сидит сам Елагин, принимали Андрея в свое братство.

— Господа старатели! От нашего сегодняшнего согласия зависит судьба завтрашнего дня. Полковник Широкий приказывает создавать отряды самоохраны. Скоро начнем карательный поход против партизан Алешки Южакова,— звонко, властно, с леденящей визгливостью сказал Елагин. — Вопросы есть?

— Как не быть! — отозвался Матвейка Паук. —Что же теперь с россыпями Горной артели? Там ведь золотишко-то самое жирное.

— Теперича все участки Горной артели — собственность гос-

подина Елагина. Он и станет распоряжаться, не правда ли, Ванечка? — вставила словечко Дунька.

— Я разделю их между таежными мстителями. Так называется мой отряд самоохраны. Желающие записаться, прошу. Торопитесь, господа! Русские дворяне профукали революцию и очутились на задворках не только истории, но и России. Вы вступаете в отряд, господин Донауров? — спросил Елагин.

— Я мужик, а не дворянин.

— Вы из сословия золотоискателей, и это накладывает определенные обязанности,— нахмурился Елагин.

— Пиши меня. Подпись свою буду подкреплять вот этим,— Паук положил на стол револьвер.

За час был скомплектован отряд под водительством Ивана Елагина, и совещание превратилось в пирушку.

— Если понадобится мука, чай, табак, заглядывайте в мою лавку. Вы встали на путь частного предпринимательства, значит, товарищ по духу, а не какой-нибудь Южаков. Этот тип весь в политике, словно гусь в перьях, он классовую борьбу сделал смыслом жизни. Тут я с ним, пожалуй, согласен, людей надо больше давить, чем беречь,— говорил Елагин.

— На песке ненависти не построишь добра,— возразил Донауров.

— На золотом песке можно.

— Против кого действовать будут ваши мстители? — спросил Андрей.

— А против таких краснокожих, как Южаков. Он о войне с дворцами турусы разводит, среди старателей дураков немало, верят, что Южаков из хижин их в дворцы переселит.

Паук, уже захмелевший, закрякал:

— Верно, Вань! Едиотов не сеют, не жнут, а Южаков как сбежал с прииска, так в болотные кочки и забился. Думал козырным валетом наших королей побить, да карта-то подвела. Дунька, с приплясом ходи, толстопузая...

— Деньги на кон, отец дьякон, и я тебе голая чечетку отчебучу,— заявила Дунька, ставя перед Пауком белый, в розовых разводах, чайник со спиртом.

— Разослать бы тунгусам письма, пусть ловят большевичков, а нам волокут трофейчики — ну, уши там али пальцы, а мы станем недурненько платить,— постучал трубкой о столешницу Паук.

— Не понял, о чем это вы? — переспросил Донауров, чувствуя неожиданный ожог в сердце.

Матвейка Паук повторил.

— То, что вы говорите,— подлость!

— Матвей Максимыч пошутил, туземцы не знают грамоты, бесполезно писать им письма,— начал успокаивать Елагин.

— За такие шутки бьют по морде! — вскипел Андрей.

— А ты не больно-то квакай!

— Я привык к более деликатному обращению,— тяжело вставая, сказал Донауров. — Об отрубленных ушах, подлец, размечтался...

Коротким взмахом кулака он опрокинул Паука на пол. Тот вскочил, ухватился за револьвер, но Елагин вырвал у него оружие, выстрелил в потолок.

— Дунька, спирту! Пить будем, гулять будем до самого до утра. Матвейка, музыку!

Паук погладил ушибленную скулу, взял из-под стола гармошку и заиграл. Дунька притопнула ножкой, надвинулась на Паука, закрутилась вокруг него, девочки цветной метелицей понеслись между столами, старатели заухали, зарычали, заколотили кулаками по столешницам.

Дунька вспрыгнула на прилавок. Лихо приплясывая над пузатыми чайниками, на дребезжащей ноте пропела:

На Кухтуе я жила,
Золото копала,
Если б не было... ха-ха!
С голоду б пропала!

Старатели хором подхватили частушку, раскачиваясь на табуретах, стуча подкованными сапогами. Полотнища табачного дыма тянулись к окнам, да мигал, подпрыгивая, фитиль в лампе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Полковник Широкий жил в комнатах, предоставленных ему Каролиной Ивановной.

До революции Виктор Николаевич Широкий служил в царской охранке, занимаясь мнимой подготовкой покушений на видных государственных деятелей и «своевременным» их раскрытием. Умение играть роль «преданного без лести» приблизило Широкого и к верховному правителю. Колчак назначил его начальником контрразведки в управлении военного полевого контроля.

Это могущественное учреждение распухло до чрезвычайных размеров. В атмосфере гражданской войны, политических переворотов, иностранной интервенции контрразведчики чувствовали себя как щуки в пруду, переполненном карасями.

Управление полевого контроля пригрело целые табуны провокаторов, доносителей, сыщиков, жандармов, палачей; они стекались сюда, как кровавая грязь в клоаку. Колчак не обращал внимания на деятельность полевого контроля. На жалобы военного министра о произволе охранки адмирал отвечал: «В охранной деятельности надо, чтобы чистые головы руководили грязными руками и сдерживали их преступную похоть. У меня же чистых голов не осталось».

Женщин, вино, карты Широкий предпочитал служебным делам, на чужое добро смотрел, словно на военный трофей. Жен-

щин, особенно хорошеньких, тоже расценивал как награду за военные подвиги. Возможность разгульно жить и звучно шуметь на пирушках вскружила голову Виктору Николаевичу; он зарвался. После одного очень скверного происшествия адмирал приказал отдать полковника под военно-полевой суд. Спасли Широкого друзья-покровители, уговорившие верховного правителя ограничиться почетной ссылкой в Охотск.

Адмирал назначил полковника начальником Охотского уезда — богатейшего, пустынного, необозримого. С сотней уссурийских казаков и адъютантом гвардейским поручиком Боренькой Соловьевым полковник Широкий прибыл в Охотск, стал безраздельным его властелином и уверовал в незыблемость власти верховного правителя России и в то, что сам надежно обосновался на краю океана.

В кабинете стояла пустынная тишина, в окне, за церковными куполами, виднелись сопки, больше похожие на оранжевые облака. Наступил тот ломкий, прозрачный период осени, когда светится все, даже грязные лужи, старые пни, лишайники.

Виктор Николаевич любил этот ранний период осени, хотя испытывал непонятную грусть: глядя на сопки, он представил расстояние от Охотска до Петрограда, и стало знобко от бескрайности таежных троп. Тогда он открыл шкаф — под пышной грудой мехов прятались кожаные мешочки с золотым песком. Он пересчитал их: все те же девять мешков и в каждом по десять фунтов. Виктор Николаевич запер шкаф, посмотрел на себя в трюмо.

Длинное, с пятнышками рыжих усов, пресыщенное удовольствиями и утоленными страстями лицо не понравилось полковнику. Он не узнавал себя в этом скучном, придавленном какой-то незримой тяжестью зеркальном отображении.

В кабинет вошел Боренька Соловьев.

— В Булгине, что за Кухтуем, тунгусы на ярмарку съехались. Пушнины навезли — страсть! Отборная все пушнина — голубой песец, серебристая лиса,— сказал он.

— И что же из этого следует?

— А вот что! По закону военного времени всю пушнину надо конфисковать для правительственных нужд. Убьем сразу двух зайцев: и дорогие меха приобретем, и спекулянтов накажем.

— Недурно — двух зайцев сразу...

— Я возьму казаков — и в Булгино.

— Только не кнутобойничать у меня!

— За кого вы меня принимаете, господин полковник? Я, столбовой дворянин, стану марать руки?

Виктор Николаевич проводил Бореньку настороженным взглядом: он побаивался своего адъютанта, знал, что Бореньке Соловьеву покровительствовала царица. Сам Боренька про это рассказывал мало, предпочитал многозначительное молчание и

лишь под настроение говорил кое-что, и тогда Виктор Николаевич слушал, притаив дыхание.

Боренька Соловьев — петербургский аристократ, гвардейский поручик — начал свою придворную карьеру с женитьбы на Матрене Распутиной, дочери всесильного старца, но так счастливо начавшаяся карьера оборвалась в феврале семнадцатого года.

Временное правительство отправило императора с императрицей в Тобольск; Боренька Соловьев отослал свою жену в сельцо Покровское, что неподалеку от Тобольска, а сам укрылся в доме Вырубовой, царицыной фрейлины.

В кружке Вырубовой уже созревал план освобождения царской семьи. Видные монархисты, священнослужители, преданные престолу гвардейские офицеры собрали миллион рублей на подкуп охраны и приобретение оружия. Фрейлина решила тайно послать к царице Бореньку Соловьева. Хитрого, напористого мужа Матрены Распутиной можно было послать в Тобольск: кто-кто, а Вырубова знала фанатическую любовь царицы к Григорию Распутину, ко всему, что связано с ним.

Получив от Вырубовой двести тысяч рублей и рекомендательное письмо, Боренька отправился в опасный путь. С большими приключениями добрался до Тобольска, к командиру отряда особого назначения. Тот обрадовался еще одному деятельному заговорщику, прибывшему от Вырубовой, поздней ночью он привел Бореньку Соловьева в губернаторский дом, где жила царская семья. Царица была к нему милостива: зять Григория Распутина, друг Вырубовой — что лучше подобной рекомендации?

Боренька Соловьев развернул бурную деятельность. Он носился на перекладных между Тобольском и Тюменью, направляя работу подпольных монархических групп.

А тайные группы росли как грибы. Кроме Вырубовой, появились группы архиепископа Гермогена, офицера Крымского полка Сергея Маркова. Оружие, секретные письма, срочные инструкции Боренька Соловьев развозил по явочным квартирам заговорщиков, ему доверяли бриллианты, золото и фамильные реликвии не только царедворцы, сама императрица передала часть бриллиантовой коллекции на сохранение зятю Распутина...

«Какие карьеры рушатся, какие умы пропадают!» — вздохнул Виктор Николаевич, думая о судьбе своего адъютанта и глядя в окно.

По церковной площади с волчьей легкостью проносил свое поджарое тело Дуглас Блейд, на паперти, опершись на суковатую палку, отец Поликарп беседовал с Никифором Тюмтюмовым. Купец и священник степенно спустились с церковной паперти и зашагали к дому Каролины Ивановны. Из дверей радиостанции появился Илья Петрович Щербинин, из-за угла — Феона. Она шла с таким победоносным видом, что Виктор Ни-

колаевич приосанился. Феона ему нравилась, хотя краешком уха он слышал про ее любовную связь с Андреем Донауровым.

«Власть посильнее любовных слов,— решил Виктор Николаевич, присаживаясь к письменному столу.— Донауров мне не соперник».

Стопка папок с материалами высилась на столе: полковник держал в своих руках секреты как именитых, так и простых жителей Побережья. Никому не доверяя, он подшивал в каждое секретное дело письма и рапортички, которые могли стать уликами.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Виктор Николаевич.

В кабинет вошла Феона.

— Это вы? Даже не верится, что это вы.

— Каролина Ивановна приглашает к ужину...

— Счастлив видеть вас, Феона! Побудьте хоть минутку,— умоляюще попросил полковник.

— Потом когда-нибудь, сейчас ожидают гости. Каролина Ивановна получила письмо от Елагина, важные таежные новости.— Феона вышла из кабинета.

— Вас мучают тени прошлого,— услышал Виктор Николаевич, входя в комнаты Каролины Ивановны,— а я могу жить в тени сердца своего возлюбленного,— звенел голосок Феоны.

— Русский удел — всемирность, приобретенная не завоеваниями, а стремлением к воссоединению людей в христианской церкви, говаривал Федор Михайлович Достоевский,— сослался на великого писателя отец Поликарп.

— Христианство устанавливает мир уже два тысячелетия, а человечество все ходит по заколдованному кругу войн,— возражал Щербинин.

— Я устал от политики, я хочу мыслящей тишины,— думал вслух мистер Блейд.— Еще хочется созерцать внутренние ландшафты сознания.

— Бесцельная вещь — созерцание. Если у человека нет цели, у него нет и будущего. Вы можете представить науку без стремления к познанию природы? — кокетливо улыбалась Каролина Ивановна.

— Современная наука — враг искусства. Она убивает веру в непознаваемое...

Перед глазами Виктора Николаевича то вытягивались, то перекашивались самоуверенные лица; почему-то думалось: на них лежит печать обреченности и вырождения, им уготована гибель. Тихий, но не совсем обычный разговор Каролины Ивановны с Боренькой Соловьевым привлек внимание полковника. Он еще с порога, по тревожным глазам Каролины Ивановны, понял: сегодня не простой ужин с традиционной картежной игрой. Он мало пил, но внимательно прислушивался к общему

застольному разговору. Гости болтали о самых разных вещах с той непринужденностью, когда все знают друг друга, каждый понимает с полуслова, с полунамека. Голоса то распадались, то сливались в неразборчивый гул: всем хотелось выразить свое мнение, показать свое остроумие, проявить осведомленность, покрасоваться чужой, вычитанной из книги мыслью. Полковник наблюдал это суетное фразерство,— военная косточка, он красивому слову предпочитал дело.

— На святой Руси воцарилась классовая ненависть и тенью своей закрыла наше будущее,— разглагольствовал отец Поликарп.

— А надо мной стоят тени погибшей династии,— отвечал Боренька Соловьев.

— Да что там говорить! Свобода обернулась распущенностью, равноправие узаконило праздность,— возмущался Тюмтюмов.— Страха не стало, священные авторитеты поколеблены. Разве не так, отец Поликарп?

— Воистину так! Но если революция не съела войну, то война сожрет революцию, большевики исчезнут с лица земли, яко дьяволово наваждение.

— На аянских промыслах много рыбаков зимует? — спросил Боренька Соловьев.

— Душ двести, и все желтолицые. Япошки, китайцы, наши туземцы,— ответила Каролина Ивановна.

— Надежный народец?

— Надеяться можно, верить нельзя.

— Значит, сожрут, а косточки выплюнут?

— Что же вы хотите от них? Любви к представителям белой расы?

— Не хотелось бы мне сгинуть от пули тунгуса,— с наигрышем в тоне заметил Боренька Соловьев.

— Белку здешние туземцы бьют только в глаз, чтобы шкурки не попортить,— усмехнулась Каролина Ивановна, умеющая одновременно успокаивать и вызывать беспокойство.

— Азиаты, как и большевики, нашей шкуры не пожалеют. Желтолицые заражены расовой ненавистью и этнической психологией, а перед ними теряют силу все идейки. Когда пробьет их час, растопчут нашу Русь, как варвары Древний Рим,— сразу темнея лицом, сказал Боренька Соловьев.

— А русские разве не варвары? — приподняла тонкие брови Каролина Ивановна.— Разве Азия не наложила своего отпечатка на всю русскую жизнь? Или двести лет монгольского ига ничего не значат?

— Милейшая Каролина Ивановна, я вспомнил одного немецкого философа,— вмешался в разговор Виктор Николаевич.— Этот философ писал, что колыбель Москвы стоит в кровавой тине монгольского рабства. Он утверждал еще, что Рос-

сия играет роль раба, ставшего властелином. Не правда ли, живописное определение русской души?

— «Раб, играющий роль властелина» — сказано недурно,— согласилась Каролина Ивановна.

Все рассмеялись, громче всех полковник Широкий, но оборвал смех, услышав голосок Феоны.

— И войны, и революции — ничто перед любовью. Одна любовь — начало начал, без нее высыхают источники жизни. Ненавижу войну, презираю вояк! По их вине погибают мужчины, а женщины становятся продажными тварями...

Тогда все заговорили о любви; тема эта была возбуждающей и неисчерпаемой.

— Своим презрением к войнам вы убиваете во мне человека,— с нарочитой серьезностью возразил полковник Широкий.

— Нравственность во время войны снижается до нуля,— пробасил Тюмтюмов.

— Любовь нуждается в свободе и времени,— заметил Дуглас Блейд. — У меня как у человека делового нет времени для нее. Я покупаю новую или подержанную любовь. Вот и все.

— Любовь не может быть новой или старой, она была и будет вечной,— возразила Феона.

Виктор Николаевич с неожиданным сладким волнением слушал Феону. «Она излучает магнетическую силу, от нее кружится голова». Феона продолжала развивать свою мысль о любви, немного запутанную и прихотливую.

— Тот, кто любит, не может допустить оплошки перед любимой. Как это выразить на примере, что ли? — Феона приложила к стене ладонь, растопырила пальцы.— Если бы здесь оказался человек, который меня любит, я сказала бы: стреляй между моими пальцами. Уложи подряд пять пуль, любовь даст тебе меткость взгляда, верность прицела. Ты не поранишь моей руки, а я не боюсь...

— Попытаюсь, Феона,— посмеиваясь, полковник вынул из кобуры наган.

— Вам-то я и не могу довериться! Вас-то я как раз и боюсь,— Феона опустила руку.

— А я, между прочим, стреляю в туза на сорок шагов...

Каролине Ивановне не понравилось полушутливое объяснение полковника, она нахмурилась и обратилась к Бореньке Соловьеву:

— Расскажите, пожалуйста, о Григории Распутине и его отношениях с царской семьей! Вы так интересно рассказываете...

Боренька стряхнул пепел с сигары и без паузы, будто вспомнил, на чем остановился в прошлый раз, начал:

— «Наследник жив, пока я жив. Когда меня не будет, царского двора не будет. Моя смерть будет вашей смертью» — так

говорил он императрице, и сбылись вещие слова. Что там ни болтают про старца, а был он ясновидец, колдовской ум, маг и волшебник. Женщины обожествляли его все без исключения, от царицы до простой крестьянки. — Боренька влажными глазами повел по Феоне. — Лишь одна-единственная посмела поднять на Распутина руку, а звали ее редким именем Феония...

Боренька замолчал на полуфразе, выжидающе откинул голову.

— У любовницы Распутина такое же имя, как и мое? Имя редкое, а совпадение исключительное,— язвительно заметила Феона.

— Мало ли в жизни нелепых совпадений... Так вот, была эта Феония Гусева — жительница села Покровского, в котором родился и мой тесть, и тоже безоглядно верила в его святость, а в четырнадцатом году вонзила ножик в брюхо. Все лето провалялся тестюшко в тюменской больнице, потом царя с царицей корил, что без его разрешения войну с немчурой затеяли. А Феонию арестовали, и она показала, что мстила за поруганную свою честь...

— Правда ли, что у Распутина вместо паспорта была фотокарточка, на которой он снят с царицей? — спросила Феона.

— Что правда, то правда! Такой фотоснимок для полиции был поважнее паспорта, но Распутин им не спекулировал. И у него была совесть.

— Была осторожность,— возразила Феона.

— Когда я ездил в Тобольск на свидание с царицей, то она сказывала... — продолжал было Боренька, но в комнату вошел слуга.

— Господин Елагин, просит принять...

— Где он? Где он? — Каролина Ивановна и все удивились неожиданному приезду таежного властелина.

— Добрый вечер, господа! Я только что с приисков, не успел переодеться, даже причесаться. — Елагин провел ладонью по каштановой своей шевелюре. — Прошу извинить, но время не ждет, опасные события захлестывают тайгу. Южаков — этот красный волк белого Севера — собирается похоронить нас в вечной мерзлоте. Моим людям не устоять против банды Южакова. Расправившись с нами, они придут в Охотск и перевешают всех состоятельных, всех именитых граждан. Необходимо действовать немедленно и решительно...

— Совершенно верно! — подхватил полковник. — Только для решительных действий нужны солдаты и деньги.

— Раздобудьте солдат, за деньгами дело не станет! — крикнул Дуглас Блейд. — Фирма «Олаф Свенсон» готова снабжать ваших людей и оружием и провиантом.

— Солдаты! Мне жалко денег на туземных вояк,— заворчал Тюмтюмов.

— О ком вы говорите? Об якутах, о тунгусах? Им цена —

ломаный грош! Нанимайте уссурийских казаков, если хотите еще пожить, господин Тюмтюмов,— рассердился полковник, но все же попросил: — Если спокойная жизнь и богатство для вас не пустые слова, то давайте денег. На войну. У войны очень широкий рот. Или не дадите?

— Что за вопрос! Даю.

— Сколько?

— Пока не знаю.

— А все же?

Тюмтюмов отстегнул кожаный пояс, похожий на рыжего удава, шлепнул на стол перед полковником.

— Здесь ровно пятнадцать фунтов золотого песка. Для начала жертвую! — Тюмтюмов округлил толстые губы, распушил волнистую бороду.

— Я вручу вам чек на пятьдесят тысяч долларов, как первый взнос, мистер Широкофф...

— Вот это прелестно,— выдохнула Каролина Ивановна. — Мы тоже не поскупимся для общего блага...

— Люблю деловые разговоры,— задушевно сказал Елагин. — А солдат надо вербовать на аянских рыбных промыслах, господин полковник. И хорошо бы разорить разбойничье гнездо Алешки Южакова и уничтожить красного волка, в тайге и на побережье тогда воцарится мир.

— У меня ведь тоже не ахти какие силенки. Всего-навсего сотня уссурийских казачков, да и те разлагаются от безделья и пьянства.

— Новости с фронта есть? Мы, таежные медведи, ничего не знаем об успехах белого оружия,— сказал Елагин.

— Удача пока осеняет красных...

— Гражданская война — это буря и натиск, триста верст можно проскочить в три дня. Сам воевал, знаю. — Елагин взял из коробки сигару, торопливо чиркнул спичкой. — Совсем одичал в тайге, сигары разучился курить, позабыл вкус вина, про хорошеньких женшин уже и не думаю. — Он бросил мимолетный взгляд на Феону, на бархатные портьеры, на ковер, расшитый золотистыми цветами.

— Иметь миллионы и жить зверем лесным? Без удовольствий? Без наслаждений? К чему же тогда деньги? — заговорил Боренька Соловьев.

— Хотя бы для сознания собственного достоинства,— коротко рассмеялся Елагин.

— Миллионы не всегда поддерживают достоинство.

— У нас разный взгляд на богатство, но мое вторжение помешало вам что-то рассказывать,— спохватился Елагин.

— О-о! Боренька говорил увлекательнейшие веши. Сейчас подадут вино, закуску, и мы еще послушаем о тобольской ссылке императрицы,— восторженно сказала Каролина Ивановна.

— Все, что касается государя и государыни, интересно, тут каждая мелочь исторична,— живо согласился Елагин. — Кстати, я все еще не понимаю, почему именно Тобольск оказался местом царской ссылки?

— Опоздавший пьет двойную. — Каролина Ивановна налила вино Елагину. — Вам рюмочку для вдохновения, Боренька.

— Благодарю! Ваше здоровье! — Боренька сделал значительное лицо и продолжил: — Тобольск понравился Керенскому тем, что удален от эпицентра революционных бурь. В городке ушкуйников, старообрядцев, монахов, купцов тогда еше не разгорались революционные страсти и большевики не возбуждали народ. В Тобольске к тому же был губернаторский дом на восемнадцать комнат со всеми удобствами — императора ведь не поселишь в лачуге...

Боренька потянулся за сигарой: каждое движение его было продуманным — от строго изящного до снисходительно-небрежного.

— Архиепископ Гермоген — друг моего тестя —особенно настаивал на Тобольске, он был тобольским архиепископом. Да и государь его любил. В молодости Гермоген служил в Преображенском полку и был среди самых приближенных к императору офицеров. Архиепископ убедил Керенского, что лучшего места для царской семьи, чем Тобольск, не найти. И это действительно так. Когда я отправился к императрице, то еше по дороге понял, как ловко выбиралось место ссылки. Ловко, конечно, с точки зрения нашей, монархической, к сожалению, не все ловко начатые предприятия удачливо кончаются. Из Тобольска можно было увезти царское семейство по Оби в Англию или перебросить в Японию по зимней санной дороге через Томск. Императора в Тобольске охраняли преданные ему люди, туда съезжались со всей России гвардейские офицеры, знатные аристократы, высшее духовенство. Все, а я же больше всех, мечтали об освобождении их величеств. Я-то, пожалуй, являлся самым отчаянным, жизнью был готов пожертвовать, но судьба, но рок сильнее наших желаний...

Боренька сокрушенно развел руками, опустил скорбные глаза.

— Весной восемнадцатого года на перекладных я добрался до Тобольска, по дороге накатанной сто верст в сутки отмахивал. Если бы посмелее, порасторопнее были освободители, их величества жили бы себе за границей, Россия не превратилась бы в страну позора и бесславия,— подчеркнул Боренька и зашелся прерывистым нервным смешком. — Над чем смеюсь? Над своей памятью идиотской смеюсь! Важное забывается чуть ли не сразу, а пустяки помнятся. Из разговора с ее величеством остались в памяти какие-то обрывки фраз, а как императрица кусала губы, как ласкала своих собачек, помню. Даже собачьи име-

на — Джимми и Ортипо — помню, а царицыны напутственные слова забыл. Их величество прониклось ко мне доверием, и я стал ее связным между Тобольском и Тюменью. Без отдыха, в распутицу, в мороз носился, словно на крыльях, триста верст туда, триста обратно, передавал инструкции, деньги, оружие. Императрица часть своей бриллиантовой коллекции отдала мне на хранение. Я берег ее как зеницу ока, но читинский атаман Семенов отобрал. Не понимал, подлец, что царицыны бриллианты — исторические реликвии...

В рискованных предприятиях Бореньке Соловьеву ревностно помогал тюменский священник Алексий. Этот несокрушимый чалдон с метельной бородищей, с дьяволом в глотке, как будто являл собой конкретный образ русского монархизма. Ссылку Николая и Александры он воспринял словно вызов господу богу, как смертельный удар по всему, чем дышал. Большевики — враги царизма и церкви — стали личными врагами Алексия, дом его превратился в гнездо заговорщиков. Там составлялись планы освобождения царя и царицы, прятались оружие, деньги, драгоценности, необходимые на подкуп. Солидные суммы получил Алексий от князей и графинь, что последовали за Николаем и Александрой в Сибирь. Не всем из них удалось пробраться в Тобольск, многие осели в Екатеринбурге, Тюмени, но все они ждали своего часа и помогали заговорщикам.

Боренька Соловьев пришелся по душе Алексию, но полностью священник поверил ему, когда увидел Матрену — дочку Распутина, которую знал прежде. Между Алексием и Боренькой произошел задушевный разговор.

«Императора Михаила Романова венчал на царство костромской епископ Гермоген. Императора Николая Романова высвободит из дьяволова плена тобольский епископ Гермоген. В совпадении этих имен я вижу высшие таинственные предначертания, а нам, рабам грешным, надлежит исполнять их. А посему каждую копейку станем тратить токмо на освобождение божьих помазанников»,— говорил Алексий, строго пристукивая волосатым кулаком по столу.

Боренька морщился, глядя на страшный кулак, отвечал с постной улыбкой, но в тон:

«Воистину так, отче! Животы свои положим на алтарь святого дела. Их императорские величества воздадут сторицей...»

Боренька допустил непоправимую оплошку: решил вознаградить самого себя, не дожидаясь царской милости. С помощью Матрены начал из-под полы спекулировать царицыными драгоценностями, присваивать подарки и деньги, предназначенные на освобождение их величеств.

Отец Алексий узнал про эти проделки совершенно случайно, но возмутился беспредельно. При встрече с Боренькой он пропалил его уничтожающим взглядом, мрачно постучал кулаком и пригрозил жалобой в Губчека.

Боренька решил не дожидаться чекистов: забрав Матрену и царицыны бриллианты, бежал из Тюмени, но добрался только до Читы, где безраздельно правил атаман Семенов.

На первых порах Семенов отнесся покровительственно к Бореньке. Атаману, человеку плебейского происхождения, льстила мягкая подобострастность аристократа, а Матрена Распутина подружилась с атамановой любовницей Серафимой Маевской. Синеокая Серафима была большой любительницей драгоценных камней. Матрена предложила ей бриллиантовый кулон императрицы.

«Сколько же он стоит?» — спросила Серафима.

«Пятьдесят тысяч золотом»,— прошептала Матрена.

Серафима обратилась к атаману.

«Пятьдесят тысяч псу под хвост? — с солдатской непринужденностью захохотал Семенов. — Сделаю проще — и кулон будет твоим, и червонцы в моем кармане. Поставлю Соловьева к стенке...»

Бореньку арестовали. Чтобы спасти мужа, Матрена даром отдала царицыны бриллианты, но Боренька оказался неблагодарным. В ту же ночь, оставив жену на произвол судьбы, он скрылся из Читы и вынырнул только во Владивостоке. Там-то и встретился он с полковником Широким, стал его адъютантом и теперь в Охотске чувствовал себя в относительной безопасности.

Об этих подробностях смятенной своей биографии Боренька не любил рассказывать. Елагин, впервые слушавший его рассказы, заметил убежденно:

— Вам надобно писать мемуары. Когда-нибудь история потребует подробностей о гибели династии Романовых, а подробности-то зарастают травой.

— К тому времени из наших костей вырастет трава, именуемая чертополохом,— грустно ответил Боренька.

— Говорят, генерал Дитерихс многое сделал, чтобы восстановить историю последних дней царской фамилии,— сказала Каролина Ивановна.

— Да, адмирал Колчак поручил генералу Дитерихсу возглавить следствие по делу казненных. Дитерихс и следователь Соколов собрали огромнейшее количество документов, показаний, царских вещей в Екатеринбурге, Перми, Алапаевске, допросили сотни человек, в том числе и меня.

— Где сейчас генерал Дитерихс? — заинтересовался Елагин.

— В Харбине, на покое...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Водяная стена, вскипая пеной, играя прозеленью, обрушивалась в пропасть. Феона пробралась за водопад, остановилась на узеньком выступе.

Она смотрела в пропасть за водопадом, но не замечала радужных стволов водяной пыли, скал, изузоренных пеной, замшелых лиственниц, дрожащих от непрерывного грохота. Мысли сосредоточились на Андрее, и уже ничто больше не тревожило, не интересовало ее. От полноты любви Феона испытывала душевную легкость и ту особенную окрыленность, без которой нет вдохновения. Поэты — вечные труженики мечты — раньше других приближаются к состоянию влюбленных и пониманию страстей.

Феона нетерпеливо ожидала возвращения Андрея. Прошли намеченные сроки, Андрей не возвращался, и ей казалось, что он заболел или попал в какую-то беду. Мучило желание отправиться к Андрею, но одной было рискованно. Можно было ехать в сопровождении полковника Широкого, но в последнее время он настойчиво, даже прилипчиво стал ухаживать за нею.

Феона подшучивала над Виктором Николаевичем, иногда грозила пожаловаться Каролине Ивановне; о любовной связи охотской миллионерши и полковника сплетничал весь городок. Феона избавлялась от частых встреч с Виктором Николаевичем тем, что с раннего утра уходила в сопки; тайга, как и море, были ее родиной, она знала и любила их и не боялась одиночества.

Феона на вертлявой «ветке» переправилась через Кухтуй в поселение Булгино, где жили якуты, тунгусы, потомки русских землепроходцев. Лачуги и яранги были разбросаны между деревьями, на пряслах висели связки вяленой кеты, сырые оленьи шкуры, у дверей дремали собаки. Феона вошла в ярангу Элляя — давнего своего приятеля-оленевода. У Элляя сидел шаман — ржавый и сухой, с морщинистой, заостренной физиономией, похожий на деревянного идола.

— Капсэ бар, девка Феонка? — обрадованно спросил Элляй.

— Нет новостей, рассказывай ты,— ответила Феона традиционным приветствием.

— Хорош урожай на кедровые орехи, будет урожай на белку. Нынче много тетеревиных выводков — соболя много, а речки потемнели не от заморозков — от рыбы,— выложил свои новости Элляй.

Феона одобрительно кивала: было приятно, что старик посвящает ее в новости таежного мира. Шаман же вынул изо рта трубку, свел к переносице черные брови.

— Скажи, ты охотница?— спросил строго.

— Я не промышляю белки.

— Может, умеешь ловить рыбу, женщина?

— Рыбалкой не занимаюсь...

— Покупаешь звериные меха?

— У меня нет товара для обмена.

— Тогда зачем тебе знать наши новости, женщина? И для чего ты явилась в стойбище?

— Я пришла к своему старому учителю,— мягко ответила Феона.

Она не лгала. Элляй с детства учил ее своим охотничьим навыкам. От него узнала она, что стланик осенью ложится на землю, чтобы не погибнуть от северных морозов. Снегом засыплется, перезимует в тепле. Элляй научил ее разжигать костер на ледяном ветру и в проливной дождь, определять свое местонахождение по звездам, по деревьям, обраставшим мхом или вытянувшим свои ветви в одну сторону. Еще показывал он, как надо мастерить ледяные ловушки на горностая, как ловить белых куропаток. Как это просто и как интересно! Феона наливала в бутылку горячей воды и вдавливала посудину в сугроб, держала так минуты три, потом вынимала. Отверстие покрывалось ледком, в него нужно было бросить брусничную ягоду. Куропатка просовывает головку в отверстие, чтобы достать ягодку, но обратно выташить уже не может, лапки скользят и нет размаха для крыльев. Все эти и другие маленькие тайны тайги и сейчас волновали Феону и казались такими же сказочными, как полет во сне.

На закопченных стенах между пучками лекарственных трав и прозрачными щучьими кожами висел шаманский бубен, украшенный совиными перьями, расшитый розовым бисером. От крепких запахов ворвани, дикого чеснока, тюленьего жира у Феоны закружилась голова.

Слух о появлении гостьи разнесся по стойбищу, в ярангу заходили жители, рассаживались на корточки вдоль стен, закуривали трубки, сосредоточенно сплевывали на пол. Пожилая якутка подала Элляю какой-то сверток, он вынул из него запотелую флягу. Старики равнодушно глазели на флягу, и только напряженные складки в уголках губ выдавали их волнение.

Феона знала нравы таежных жителей, уважала обычаи, подчинялась неписаным, но непреложным их законам. По этим законам обязательна помощь в беде всем, даже злейшим своим врагам, так же как обязательно гостеприимство или честность. В простоте и заземленности таежных аборигенов Феона не видела трагедии. Не видели такой трагедии и сами жители стойбища.

Феона не принадлежала к поборникам социальных перемен в жизни малых народов Севера, она просто жила рядом с ними, помогала, чем могла, пользовалась их помощью. Старики стойбища, особенно Элляй, познали то, что Феоне еще предстояло познать,— борьбу за жизнь и любовь.

Но у стариков и у Феоны были разные небеса.

Если небо Элляя было его прошлым, в котором жили души сородичей да сонмища злых духов, то небо Феоны цвело всеми красками будущего. Небо ее состояло из голубых горизонтов, розовых облаков, поющих ручьев; в центре этих блистательных видений находился он — единственный и любимый.

Солнце жило в каждом кристалле инея, все: от полыни до серых валунов — словно покрылось крупной солью. Феону по самое сердце заливало сияние осеннего дня. В этот день она столкнулась на площади с полковником Широким.

— Что за счастье увидеть вас! — жмурясь от солнца, воскликнул Виктор Николаевич.

— Нечто подобное вы говорили Каролине Ивановне,— напомнила Феона.

— Больше не говорю.

— Не знаю. Не верю. Каролина Ивановна не скрыла бы от меня этого.

— Женщины редко открывают свои тайны. — Виктор Николаевич умоляюще заглянул в лицо Феоны.

— Кто кого бросил? Вы Каролину Ивановну, она вас?

— Дайте мне радость одной-единственной встречи,— сказал полковник, не отвечая на вопрос.

— Чего вы от меня ждете?

— Счастья! Могу я прийти в гости?

— Нельзя.

— Тогда приходите ко мне.

— А если увидит Каролина Ивановна?

— Придете или не придете?

— Возможно, приду,— пообещала Феона.

Вечером в камине метался огонь, мохнатые тени таились в углах кабинета, на письменном столе высилась стопочка досье, напоминая Виктору Николаевичу о важных делах, но он не мог заниматься делами. Он ждал Феону. Ожидание оказалось мучительным, полковник то взглядывал на окна, то прислушивался к женским шагам за стеной дома. Время шло, Феоны не было, беспокойство Виктора Николаевича возрастало, от напряженности ожидания заломило в висках.

Феона появилась, когда Виктор Николаевич перестал ждать. Она вошла, легкая и бесшумная, словно тень; полковник трясущимися руками снял с нее дошку. Давно не испытывал он такого нервного возбуждения при виде женщины, и это уже было маленькой наградой за мучительное ожидание.

В зеленых глазах Феоны мелькали искорки, волосы вздыбливались волной, губы улыбались, она была хороша той юной женственностью, для которой мужчины долго подбирают точные слова и не находят их.

— Наконец-то дождался,— заговорил Виктор Николаевич, держа Феону за кончики пальцев. — Проходите, садитесь, будьте как дома.

— Ну вот я и пришла,— сказала Феона, взглядывая на Виктора Николаевича. — Что скажет Каролина Ивановна, если увидит нас?

— Какое мне дело до Каролины Ивановны! Сейчас вы — моя сказка!

— Сколько у вас было таких сказок?

— Ну зачем знать ненужные вещи, ну зачем? — с ласковым упреком спросил Виктор Николаевич. — Хотите коньяку?

Феона улыбалась, но молчала.

— Значит, коньяк?

— Да, коньяк,— согласилась Феона.

— Оставлю вас на минутку. — Виктор Николаевич вышел из кабинета. Феона торопливо придвинула к себе секретные папки, стала перелистывать их, выхватывая из рапортов и доносов знакомые имена и фамилии.

«Дело корабельного мастера Василия Козина»,— прочитала она и, подкинув на ладони папку, швырнула в камин. — «Дело Ильи Щербинина — начальника радиостанции», «Дело старателя Донаурова Андрея». Ах, полковник, вы примеряете петлю на шею моего возлюбленного, а меня тянете в постель...»

Папки придавили было огонь в камине, но языки пламени прорвались из-под них, и рапорты, доносы, письма филеров вспыхивали, скручивались, чернели. Когда загорелась последняя папка, вошел Виктор Николаевич.

— Что вы наделали! — закричал он, подбегая к камину.

— Что я наделала? Сожгла клевету и доносы...

— Это преступление, преступление!

— Какое? Перед кем? Уж не перед вами ли? — спросила Феона.

— Вы уничтожили труды многих за долгие месяцы.

— Это всего-навсего похабный труд негодяев! Мне стыдно, что такая грязная стряпня находится на вашем столе.

— Не судите строго работенку филеров, моя милая,— смягчился полковник. — Я занимаюсь такими делами по долгу службы, но, если бы придавал значение доносам, жители Охотска давно бы переселились в тюрьму или на тот свет.

Полковник смотрел в отяжелевшее лицо Феоны, испытывая смущение и не находя слов для продолжения разговора. А хотелось сказать что-то интересное, значительное, вызвать к себе симпатию у несговорчивого сердца девушки.

— Вы любили Каролину Ивановну, сейчас говорите, что влюбились в меня. Нельзя же бесконечно вырезать любовные фестоны из своего сердца,— сказала Феона.

— Да, конечно,— поспешно согласился полковник. — Но я не виноват, что вы затмили Каролину Ивановну.

— Так вы ее разлюбили?

— Разве сердцу прикажешь? — Виктор Николаевич забрал в ладонь Феонины пальчики. Феона приподнялась со стула. Опасаясь, что она исчезнет, Виктор Николаевич прислонился к косяку двери.

— Я не могу без тебя, Феона...

— А Каролина Ивановна?

— Отдам тебе все, что имею...

— А Каролина Ивановна?
— Никто не посмеет сказать о тебе худого слова...
— А Каролина Ивановна?
— Да пропади она пропадом! — взвизгнул полковник.
Дверь распахнулась, на пороге стояла Каролина Ивановна. По улыбкам женщин полковник понял, что они подстроили это свидание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зима пришла в тайгу, как всегда, неожиданно, хотя природа уже приготовилась к встрече ее — стланик полег на землю, кедровки трещали с поразительной грустью, рыхлый снег укрыл грязь, тайга просветлела.

Донауров нервничал: хотелось в Охотск, но задерживал золотоносный участок; единственный серьезный покупатель Елагин еще не возвратился, и Андрей невольно жил мечтами о Феоне.

«В моей душе резцом нерукотворным изваяно прекрасное лицо»,— повторял он строки Камоэнса и спрашивал себя: «Что общего между мною и каторжником? Каторжник постоянно думает о свободе, я — о Феоне».

Как все влюбленные, он преувеличивал достоинства своей любимой и не видел ее недостатков.

Однажды, возвращаясь из тайги, он заметил над своей крышей дымок. Насторожившись, приоткрыл дверь: у камелька неизвестный пил чай. При появлении Донаурова он встал, расправил окладистую бороду.

— Незваный гость как в горле кость, не правда ли?
— В тайге не бывает незваных гостей.
— Алексей Южаков, председатель Горной артели. А вы Донауров?
— Наконец-то мы встретились,— сказал Андрей, напирая на «о» и оканьем выдавая свое вятское происхождение.
— Землячок вяцкой — мужичок хвацкой! В рай попадешь, там вяцкой плотник избу для ангелов ладит, в аду очутишься — он смолу для чертовых котлов гонит,— пошутил Южаков.
— Какими ветрами ко мне занесло?
— Только-только из Охотска. Был по неотложным делам, теперь вот и к вам дело.
— Как не заграбастала охотская охранка? За вашу голову полковник Широкий награду назначил,— сказал Андрей.
— Я в городе тайно был, у своего приятеля укрывался, полковничьи ищейки про меня не пронюхали. Вам письмо принес. — Южаков вынул из внутреннего кармана меховой куртки конверт.
— От кого бы это? — спросил Андрей, надрывая конверт.

«Я тебя люблю. Я по тебе тоскую. Без тебя живу, как без солнца. Возвращайся скорее. Феона».

— Где вы познакомились с Феоной? — просияв от радости, спросил Андрей.

— У Ильи Петровича Щербинина.

Донауров не поинтересовался, почему Илья Петрович оказался приятелем Южакову, его помыслами сразу овладела Феона. Он жадно, с подробностями выспрашивал у Южакова обо всем, что относилось к возлюбленной, и всякие пустяки приобретали значение. Южаков видел Феону, и одно это совершенно расположило к нему Андрея, он накормил гостя ужином, распил с ним последний спирт.

— Милый ты мой, а ведь Ванька Елагин тебе не компания. Он матерый хищник с душой рабовладельца, а ты поэт,— говорил Южаков.

— Кто сказал, что я поэт?

— А Феона и сказала. Поэты же всегда певцы свободы.

— Ну не все и не всегда.

— Должны быть, иначе на кой черт поэзия!

— Я ведь тоже из отряда Елагина,—напомнил Андрей.

— Так же похож на елагинского молодчика, как я на красного волка белого Севера,— рассмеялся Южаков. — А ведь меня красным волком окрестил Елагин. У меня просьба. — Южаков выволок из угла тугую кожаную сумку. Поставил перед Донауровым. — Тут сорок фунтов золотого песка, прими артельное добро на хранение.

— Доверяешь встречному-поперечному? Я, может, жулик первостатейный? — Донауров приподнял сумку, определил ее вес. — Да, фунтов сорок, не меньше.

— Если тебя любит Феона, если ты друг Ильи Петровича, если дерешься с Матвейкой Пауком из-за неотрезанных чужих ушей, то этакому жулику можно довериться...

— Ух ты, сколько «если»! Но я перебираюсь в Охотск, куда девать ваше золото?

— Суму к седлу приторочь. В конце концов и мы нынешней зимой на Побережье объявимся,— многозначительно сказал Южаков.

— Будете, когда рак на горе свистнет.

— А рак вот-вот да и свистнет. Последние события свидетельствуют: власть полковника Широкого на Побережье скоро лопнет. Время-то нынче оборотистое: сегодня наверху белые, завтра — красные.

— Откуда известно про события-то?

— Илья Петрович славные радиограммы перехватывает. Красные гонят адмирала, он покинул Омск и с золотым эшелоном тащится в Иркутск. Знаешь, сколько у Колчака русского золота? Почти семьдесят тысяч пудов, не считая драгоценностей из царских сокровищниц.

— Боюсь, у твоих артельщиков не хватит силенок сковырнуть полковника Широкого.

— Как знать, как знать! Про большевиков тоже трещали: захватили-де власть на три дня, а они уже четвертый год... Когда думаешь подаваться в Охотск? — спросил Южаков, меняя тему разговора.

— Зовет Феона, и я не стану задерживаться.

— Никому не болтай про наше золото. Упаси боже, а то твои же дружки тебя же к стенке.

Андрей забил жердями хижину, навьючил свое и чужое добро на лошадей и отправился в путь на заре, когда вспыхивали бликами сопки и напряженное безмолвие сдавливало тайгу.

Первые два дня он ехал, не замечая таинственных перемен в природе. На третьи сутки его неподалеку от Охотска настигла пурга. Сперва заколебался, застонал примороженный воздух, во всех направлениях помчались шепоты и вздохи, солнечный диск начал пересекать ржавые полосы, и потемнели окрестности, и мир погрузился в белую тьму. С горных вершин сорвался ветер, деревья согнулись, выпрямились, зашумели, вихрь опрокинул Андрея и поволок по снежным сугробам.

Андрей цеплялся за кусты таволожника, ветер отрывал и тащил, пока не скинул его в какую-то трещину. Андрей очнулся, когда уже воцарилась тишина, поднял голову, осмотрелся: «Попал в ловушку, из нее не просто выбраться. А где же лошади?» Теплая куртка из пыжика, толстые чулки, на которые он надел оленьи торбаса, спасали от мороза.

Андрей пошел было по дну трещины, но тут же уперся в ледяную стену. Присел на глыбу, слегка ошеломленный безвыходностью положения, в которое попал. Через полчаса пространство и время отодвинулись, и он перестал быть самим собой: стало чудиться — в ледяной ловушке сидит не он, а кто-то другой, и тот другой не звал на помощь, не искал выхода из своего бедственного состояния.

В трещину падал пушистый, мягкий снежок, в белом полусумраке возникли зеленые точки, чье-то упругое прикосновение к щеке вывело Андрея из оцепенения. Две лисицы стояли около, высунув языки. Андрей протянул руку, звери отскочили. Он вскрикнул, лисицы не испугались голоса. Андрей обессиленно растянулся на снегу, одна из лисиц лязгнула зубами. «Они меня не боятся. Как только замерзну, сожрут». Едва он представил такую картину — мгновенно приготовился к борьбе. В этот момент ледяная трещина наполнилась громким криком:

— Эй, кто тут, однако?..

— Это я, это я,— прохрипел Донауров.

Кто-то соскользнул на дно трещины, обхватил Андрея за

плечи, приподнял на ноги. Вскоре Донауров лежал на нартах, укутанный в оленью малицу.

— Ты сапсем дурной, в метель на таежной тропе один оказался? Сапсем глупый нюча. Кто и откуда?

Андрей назвал себя.

— А я Элляй из Булгина. Скоро в яранге согреешься. — Элляй привязал лошадей Донаурова к своим нартам.

Под резкое поскрипыванье полозьев Андрей устало смотрел в черное, с заиндевелыми звездами небо, слушал, как шуршит стылый воздух, но чувствовал, что озноб его сменился жаром.

— Неужели воспаление легких? — пробормотал он тоскливо.

В яранге Андрею стало совсем скверно, тело горело, и все казалось, что он куда-то падает и не может дождаться конца своего падения.

— Где это я? — спросил Андрей, отодвигая кружку крепкого чая, поданного Элляем.

— На тордохе [1] в Булгине.

Андрей обрадовался, что скоро увидит Феону: ведь от Охотска его отделяет только река Кухтуй.

— Болен ты, однако, а лечить нечем. — Элляй положил на его лоб сухую ладонь.

Новость о том, что Элляй спас человека, распространилась, как пламя; ярангу заполнили посетители и о чем-то разговаривали, сокрушенно покачивая головами. Дверь с визгом распахнулась, вошел новый посетитель, обобрал сосульки с бороды, спросил:

— Капсэ есть, Элляй?

— Нет новостей. Рассказывай сам, — сумрачно отозвался оленевод.

Вошедший с многозначительным видом раздвинул толпу, сел на скамью у камелька, покосился на Андрея плоским, в сетке морщин, лицом. Яранга притихла в ожидании новостей. Андрей знал великое значение капсэ — таежной почты, которая работала постоянно, быстро, безотказно.

Всякую новость первый услышавший ее человек спешит передать другому. Он садится на лошадь или запрягает в нарты оленей и торопится к соседу, иногда верст за полтораста. Метель, мороз, дождь, распутица не препятствия для передачи капсэ. Доброхотного почтальона встречают как почетного гостя, но в ярангу он входит медлительно, раздевается не спеша, люди же терпеливо ждут; проявлять нетерпение — верх неприличия к вестнику капсэ. Ему набивают табаком трубку, подают уголек для прикурки, угощают изысканным блюдом — нельмовыми пупками.

Насытившись, вестник выкладывает свои новости, его слушают в глубоком молчании. Но вот капсэ рассказано, почтальон

---

[1] Тордох — стоянка (*якутск.*).

откидывается на стену в полном изнеможении. Из круга слушателей встает новый почтальон, надевает торбаса, оленью малицу. Ему подают черное, с сизым отливом, перо ворона, теперь капсэ помчится с быстротой птичьего лета. Новый гонец прячет перо ворона на груди и едет к ближайшему соседу, живущему где-то в тайге.

Приподняв горящую голову, Андрей прислушивался к новостям.

— Белый правитель Колчак посажен в тюрьму, его схватили комунисимы. Красные нючи хотят сравнять всех живущих даже в тайге. Богатый станет равен самому бедному,— раздумчиво говорил прибывший.

— Можно ли уравнять умного с дураком? Умный имеет пушнину, дурак — глупость,— сказал Элляй.

— Большой начальник Широкий посылает солдат отбирать у охотников пушнину, у рыбаков — рыбу, у оленеводов — олешек.

— Ойе! — сокрушенно вздохнул Элляй. — Тогда таежные люди станут пить ягелевый отвар — пищу голодных. Начальник Широкий вреднее росомахи. Как по-твоему, а? — спросил он у рассказчика капсэ.

— Я не успел разглядеть его душу.

— Ты сказал правдивое слово. Разве увидишь душу у тени? Вор силен до рассвета, волк до капкана, но говори, однако.

Донауров подумал, что Элляй не нуждается в золоте, не интересуется политическими идеями, война красных и белых для него не имеет значения, события такого рода приобретают авторитет в тайге только тогда, когда становятся силой и властью.

Новый гонец помчался в ближайший наслег, жители разошлись. Элляй подал Андрею кружку мутного, с острыми таежными запахами отвара.

— Пей, грудь отмякнет. Оленина в камельке — ешь, табак на столе — кури. Лежи и жди, когда вернусь...

Элляй надел кухлянку и вышел; стало слышно, как он покрикивал, запрягая в нарты оленей. Андрей полулежал, печально поглядывая на тлеющие угли, перед глазами вырастали и таяли цветные круги, и стало досадно, что болезнь свалила его в нескольких верстах от Феоны.

«Попрошу Элляя съездить к Феоне»,— решил он, и болезненная нежность сжала сердце. Андрей упрекал себя, что занимался ненужными делами, тратил силы на поиски золота. «Я же оставил Феону среди таких типов, как полковник Широкий, как Боренька Соловьев».

Воображение разыгралось, с поспешностью рисуя Феону в объятиях полковника Широкого. Представлять этакие сцены было больно и обидно, но Андрей уже не мог отогнать мысль об измене Феоны. То ли усиливающийся жар болезни, то ли зелье Элляя подействовали,— он впал в полубредовое состояние. Вяз-

кая чернота ночи накрыла с головой, Андрей лежал обессиленный и сонный, словно змея, сбросившая кожу, и думал о совершенно отвлеченных вещах, не имеющих отношения к любви или измене. Он размышлял о вселенной, но мысли о необъятном не принесли успокоения. Тогда он опять вернулся к своей мозжащей ревности.

«Чем больше я люблю Феону, тем сильнее страдаю. Отчего бы это? Почему страсть опустошает душу, как пожар? За минуты наслаждения приходится платить постоянной тревогой. Беспокоиться за ее слова, поступки ее? Что она скажет сейчас, через час, завтра? Когда ее нет, я страшусь за каждый ее шаг, когда она рядом — блаженная радость охватывает меня, но в этой радости таится еще более опасный страх».

В темноте яранги возникали смутные, неосязаемые образы и набегали на Андрея, словно морские волны. Появилась Феона, и то гладила по волосам, то прижималась губами к воспаленному его лбу, и снова отодвигалась, зыбкая, как вода.

— Феона, Феона! — бормотал он, с трудом приподнимая опухшие веки, фитиль коптилки раздваивался на капли огня, из них смотрели ее глаза. Андрею и прежде казалось: в глазах Феоны бесчисленные оттенки чувства и мысли, но теперь в глубинном блеске их была равнодушная пустота.

Он вытянулся на оленьей шкуре. Причудливые видения исчезли, посторонние звуки растаяли. За ярангой выли собаки, прищелкивали замороженные лиственницы, но Андрей даже не слышал, как чьи-то руки подняли его, одели, осторожно уложили на нарты.

Элляй взмахнул хореем, погоняя оленей; на нартах, положив на колени голову Андрея, сидела Феона, снежные хлопья падали на ее заиндевелое лицо. Из сугробов, вспыхивая и мигая, струился звездный свет.

Андрей долго не мог сообразить, где он, и все разглядывал белый потолок, молочной свежести постельное белье, женский портрет на стене. У женщины был стремительный, летящий облик: Феона и не Феона, но что-то очень знакомое, похожее на Феону, виделось в портрете.

«Да это же ее мать!» — вспомнил он и невольно подумал, что у любимых женщин есть та неповторимая, принадлежащая только им особенность, которую мужчина чувствует на расстоянии. Она еще не пришла, но приближение ее уже передалось влюбленному, и ожидание нарастает, и все приобретает значительность и начинает окрашиваться в солнечные тона.

Из соседней комнаты послышались слова молитвы — сумбурной и страстной. Сердце Андрея забилось сильнее от просящего, с оттенком жалобы, голоса Феоны. По грудному голосу он мог представить ее лицо отчетливо, как на снимке.

— Три вещи непостижимы для меня, господи, и четырех я

не понимаю: пути орла в небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к сердцу женщины. Я не хочу знать путей орла, змеи и корабля, но мужской путь необходимо познать. Не казни меня, господи, ведь все мое преступление в том, что земную свою любовь ставлю выше небесной...

Скрипнула дверь, Феона на цыпочках вошла в спальню, склонилась над Андреем. Сквозь полуприкрытые веки он видел влажный свет ее глаз, чувствовал дыхание ее, и слезы благодарности подступили к горлу.

— Слышал твой разговор с богом...

— Тебе не понравилась молитва?

— Все, что ты сказала, хорошо! Нет слов, чтобы выразить любовь к тебе.

— Я понимаю без слов.

— Как узнала, что я заболел?

— Примчался Элляй, на его оленях я понеслась в Булгино.

— Одна?

— Когда тебе грозит опасность, нет времени на поиски спутников.

— В Булгине остались мои лошади и груз,— обеспокоенно сказал он.

— Твой груз в моем шкафу, лошади на конюшне у Каролины Ивановны. Сума с золотом в полной сохранности.

— Это золото Горной артели, его передал мне на хранение Алексей Южаков.

— Разлука научила меня ценить твою любовь выше золота. Если золото артельное, то надо беречь это, как тайну...

— Ты здесь, и полковник Широкий теперь уже не посмеет ухаживать за мной,— рассмеялась Феона.

— Я набью ему морду!

— Не смей вытворять глупостей.

— А сплетников заставлю просить у тебя прощения.

— Сплетники бывают двух родов: фотографические и гиперболические. Сплетни убиваются или насмешками, или презрением к ним.— Феона обняла Андрея, прижалась щекой к груди, стала считать удары его сердца, радуясь, что они ровны и спокойны, и шептала первые, взбредшие на ум слова; они звучали в его душе, как ветер в майской листве берез.

— Я полюбила тебя, и как-то незаметно явился опыт любви. Он учит скрытности, хитрости, чарующей лжи, всему, что жизнь отвергает, а любовь считает необходимостью. Иногда думаю: любовный опыт — это арка, через которую виден неведомый мир. Смотри же на меня, смотри, без глаз нет сердечного разговора, как нет приказа для любви...

— Любят только по приказу сердца,— поправил Андрей.— По любым другим можно совершать подвиги, можно идти на смерть, но не любить.

— Любовь еще учит стремиться к цели. Цель, достигнутая

через любовь, дает устойчивое счастье, особенно женщинам,— продолжала Феона. — В одной лишь любви каждый человек достигает своей вершины...

Андрей перевел взгляд на узкую кровать под белым покрывалом. Все вещи и безделушки в комнате приобрели для него значение — на них отблеск ее личности. Андрей сидел, прислушиваясь только к пощелкиванию каблучков на кухне, и это пощелкивание наполняло его целиком, им овладело желание — острое и пьянящее, как запах цветущего багульника.

После обеда Феона села на подлокотник кресла, к Андрею; он стал целовать ее в губы, лоб, шею, она отвечала на поцелуи. Тогда он положил ее на постель; она отвернула голову, скрывая от него сияние полузакрытых глаз.

— Не надо этого, умоляю,— услышал он ее шепот и устыдился, и опять увидел портрет матери со строгим, осуждающим лицом. Он оторвался от Феоны, она положила руки на его плечи.

— Ну не надо сердиться...

С кровати было убрано покрывало, со стены портрет матери.

— Феона! — сказал он. — Феона, Феона! — повторял он.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Илья Петрович просил передать, что лучшее время для выступления — ночь. Младшие чины гарнизона перешли на нашу сторону и не поднимут тревоги, караулы пропустят в Охотск без единого выстрела. Илья Петрович советует окружить штаб-квартиру полковника Широкого и факторию Дугласа Блейда. Там допоздна засиживаются все богачи, можно взять их без возни. И еще одну новость передает Илья Петрович: верховный правитель арестован большевиками в Иркутске. С падением Колчака теряет свои полномочия и полковник Широкий,— заключил Василий Козин, вздыхая и откидывая голову на бревенчатую стену. — Весь день тащился, снегу намело — страсть, совсем из сил выбился. На тропе хорошо бы поставить часовых и не пропускать никого с приисков на Побережье. Особливо людей от Ваньки Елагина.

Козин широко зевнул и уронил на грудь голову.

— На ходу уснул, бедняга. Положите его на лавку, накройте полушубком,— приказал Южаков, вывертывая фитиль в плошке с медвежьим жиром.

Дымный свет выхватил из сумерек напряженные лица партизан; облокотившись о стол, сидел сам Южаков, рядом с ним, обдумывая что-то свое, смотрел в потолок его заместитель Индирский, безмятежно покуривал трубку член ревкома Наахар.

Труды Южакова зря не пропали: за время вынужденного свидания в Красных скалах он собрал и объединил в партизанский отряд сто двадцать старателей. Пришли в партизаны кро-

ме членов Горной артели и люди с других приисков, но от Елагина перебежал только Ахметка.

— Не хочу на Елагин-бая спину гнуть. Он душу сильно мотает, кушать мало дает, комарами меня травил. Я ух как зол на Елагин-бая! — говорил Ахметка, объясняя свой переход к партизанам.

— Сколько елагинцев в отряде? — спросил Алексей Иванович.

— Да весь прииск, кроме меня, бачка.

— Командует отрядом Елагин?

— Он за главного, но в помощниках Матвейка Паук гуляет. Вот кому секим башка надо раньше Елагин-бая!

В конце осени Южаков вывел партизан из Красных скал на старое, насиженное место — в Горную артель. Партизаны поселились в заброшенных хижинах прииска, но вели себя тихо, чтобы не привлечь внимания елагинцев. Каждый старатель умел обращаться с оружием, Алексею Ивановичу приходилось только сдерживать воинственное нетерпение, и он выжидал удобного момента.

Поздним вечером по приказу Южакова партизаны собрались у приисковой конторы.

— Пора, ребята,— строго сказал Алексей Иванович, обходя ряды старателей. — Мне сообщили, что половина охотского гарнизона сочувствует нам и в эту ночь на часах стоят наши люди. Это хорошо, но на бога надейся, а сам не плошай. Каждому нынче действовать надо быстро, ловко, бесшумно. Вася, знамя! — скомандовал Алексей Иванович.

Козин вынес из конторы красное полотнище. Алексей Южаков перекинул винчестер через плечо, встал в головную шеренгу отряда.

Партизаны двинулись в путь на Охотск.

— Что, опять неприятные новости? — спросил полковник.

— Верховный правитель России расстрелян в Иркутске,— печальным голосом сообщил Щербинин.

Полковник пошатнулся, поднес левую ладонь к виску. Спросил сдавленно:

— Это вы точно?..

— О расстреле адмирала трезвонят радиостанции всего мира.

— Вечная память Александру Васильевичу Колчаку! Он искренне любил Россию и хотел спасти ее от большевизма. Не сумел. Не смог. Вечная ему память! — повторил Виктор Николаевич, осеняя себя размашистым крестом.

— Белая идея лишилась высшего принципа власти,— заметил Илья Петрович.

— Идеи да принципы — вздор перед длинными ножами.

Алешка Южаков может прирезать нас раньше, чем мы его, но я не положу покорно голову под топор,— остервенился полковник.

— Елагин перекроет путь партизанам на Охотск,— сказал Щербинин.

— После расстрела верховного на Дальнем Востоке начнется чертова кутерьма,— решил полковник.

Щербинин ушел; полковник угрюмо разглядывал морозные пальмы, расцветшие на стекле. Было над чем поразмыслить, из-за чего взволноваться, ведь вся власть его — начальника Охотского края — держалась на авторитете верховного правителя.

Виктор Николаевич правил необозримыми своими владениями именем адмирала, пока это имя было пусть призрачным, но символом Русской империи. И вот символ рассеялся, словно дым. Кто же теперь он, полковник Широкий? Авантюрист, уголовный преступник, каждый туземец может пристрелить его, словно расомаху. А партизаны Южакова повесят на первой лиственнице, это уж точно. Даже на якутских купцов Сивцовых нельзя положиться, полковник грабил их размашисто, они отомстят со звериной хитростью. Единственный человек, кто бы еще вызволил из опасного положения,— это мистер Блейд. Некуда деться полковнику в снежных пустынях Севера.

А сотня уссурийских казаков, с которыми он приехал в Охотск? А головорезы Ивана Елагина? А японские рыбаки с промыслов фирмы «Айрам Гуми»? Награбили пушнины и золота, и одна думка — благополучно удрать в сторону южную. И ему, Широкому, осталась лишь надежда, что не скоро большевики доберутся до Тихого океана, есть еще время для стремительного исчезновения.

Приняв такое неопределенное решение, полковник немного успокоился и пошел коротать вечер к Дугласу Блейду. После неприятной истории с Феоной и Каролиной Ивановной он предпочитал холостяцкое общество: у Блейда собрались братья Сивцовы, Тюмтюмов, Боренька Соловьев. Хозяин щедро угощал гостей вином, допоздна играли в карты.

У Блейда полковник застал одного Софрона Сивцова; они сидели за столиком, заставленным струганымй дощечками, палочками, свернувшейся в трубочку берестой. На дощечках и бересте виднелись крестики, на палочках — зарубки, в углу высилась стопочка песцовых и соболиных шкур, на ней валялись куски все той же бересты.

— Олл райт, мистер Широкофф! — взблеснул очками Дуглас Блейд. — Наш бойе[1] Софрон уезжает в тайгу, и мы решили устроить славную гулянку...

Блейд ухитрялся разговаривать на смеси русского, тунгусского, якутского языков. Софрон оскалился в широкой усмешке,

[1] Бойе — друг (*эвенк.*).

ухватил обеими ладонями руку полковника и встряхнул с такой силой, что она хрустнула в предплечье.

— Мы просветляем, кто кому и сколько должен. Кость на кость — кость долой,— просыпал скороговоркой Софрон, беря сухой, в зазубринах, тальниковый прут. — Вот долг Элляя из Булгинского стойбища. Покойный отец его должен пятьдесят соболей да сам Элляй семьдесят, тут в каждой зазубринке десять шкурок. Понял, однако?

— Что же тут непонятного, бойе? Я покупаю долги Элляя и его покойного отца. — Очки Дугласа Блейда опять радостно просияли.

— Не спеши, однако. За соболиные шкурки Элляя и его отца давай хорошую цену.

— О цене столкуемся. Как дела с оленьими связками?

— Пасутся олешки около Аяна. Там богатый ягель, олешки теперь в теле.

— Когда перегонишь связки в Охотск?

— Пошлю капсэ — оленеводы примчатся ветром.

Полковник без особого интереса следил за беседой Дугласа Блейда и Софрона Сивцова, он давно знал, что якутский компрадор продает американскому коммерсанту расписки охотников и оленеводов, что оба торговца наживают на этой сделке чудовищные проценты. Еще знал Виктор Николаевич: ни якут, ни тунгус не откажутся от долга своих отцов, которые умерли, задолжав какую-то малость тойонам или пришельцам из заморских стран.

Дуглас Блейд бережно сложил в кучу берестяную кору, струганые дощечки, зазубренные палочки, прикрыл их оленьими кожами. Отряхнул от пыли ладони, удовлетворенно спросил:

— Что нового на свете, мистер Широкофф? Мы только у вас и черпаем новости.

«Ошарашить его вестью о расстреле адмирала Колчака? Бабахнуть, как быка, топором между рогами?»— со странным злорадством подумал Виктор Николаевич, но ответил:

— На Восточном фронте красные потихоньку нажимают, мы негромко отступаем...

— Мистер Колчак не пустит мистера Ленина дальше Байкала. Нашей фирме невыгодно, чтобы большевики оказались на Тихом океане. Слышу шаги Тюмтюмова. Сегодня он что-то поздно,— склонил набок голову Блейд.

В облаке морозного пара ввалился Тюмтюмов, за ним стучал мерзлыми торбасами Боренька Соловьев.

— Явились поразмять душу, погорячить сердчишки. Выпивка есть? — спросил Тюмтюмов, сбрасывая медвежью доху. — Бабу бы еще сюда...

— Если начал с бабы, то всех нас подремизил Андрюшка Донауров,— оттопырил нижнюю губу Боренька Соловьев.

— Соловьев завидует поэту,— рассмеялся Тюмтюмов.

— Все мы поэты чужой судьбы, но не своих страстей,— сказал полковник, как всегда впадая в минорный тон, когда заговаривали о Феоне.

— Было времечко, бабенки льнули ко мне, как мухи к меду. Теперь покупаю баб, словно черно-бурых лисиц,— грустно вздохнул Тюмтюмов. — Летом во Владивостоке столкнулся с одной — дамочка черняvенькая, лукавоглазая, округлости спереди и сзади, и выражение на губах: «Я вся для вашего удовольствия!», но полез к ней, такой визг подняла — святых выноси! А мне заниматься насилием? Да я ж Тюмтюмов, для меня силком — радость не та! Слава богу, осенило — пачкой червонцев румяный ротик закрыл, чтоб не орала. И представьте, стихла. Нет, видно, ничего сильнее презренного металла! Все куплю, сказало злато...

— Все куплю, сказало злато? — задумчиво переспросил полковник. — Надо же цитировать до конца. Все возьму, сказал булат, говорил поэт...

— И верно говорил! Золото, булат да еще крест правят миром. Когда-то конкистадоры шпагой увеличивали земли Испании, отцы-иезуиты крестом расширяли владения церкви, а мы золотишком утверждаем свои права на жизнь. А посему карты, мистер Дуглас! — пристукнул кулаком Тюмтюмов.

Одним движением пальцев Блейд подал Тюмтюмову нераспечатанную колоду карт, выложил на стол пачку долларов. Тюмтюмов достал мешочек с золотым песком, Боренька Соловьев с небрежностью дворянина кинул горстку самородков, Софрон Сивцов на куске бересты проставил карандашом «100 руб.».

— Тройка, семерка, туз! — открыл свои карты полковник.

— Вам сегодня везет,— позавидовал Блейд.

— В карты везет — в любви не везет, старая, но верная поговорка. — Виктор Николаевич перетасовал карты. — А ведь без любви нет измены. Не потому ли сколько живет на земле женщин, столько же существует измен. Наш брат изменяет в порыве необузданных желаний, а женщина в измене хитра, коварна, мстительна, расчетлива...

— Карты-то сдавайте,— напомнил Тюмтюмов, собирая на столе самородки...

— Ты рассказывал, я слушал. Теперь выслушай меня,— осердился Виктор Николаевич. — Нет причудливее вещи, чем женский каприз. Со мной приключилась историйка в еще добрые старые времена. Познакомился с одной семейкой, он — чиновник министерства финансов, она — синеокая милочка. Розанчик в самом тревожном бальзаковском возрасте. Ну, гуляли мы, на луну любовались, мололи чушь несусветную о платонической любви, а ее сухарь где-то с кем-то в преферанс резался. Однажды вечером синеокая просит, чтобы я в окно одного домика заглянул, подсмотрел, не гуляет ли ее финансовый туз.

Если да — то она отомстит мужу тем же самым! Меня опалило от предвкушения счастья, прямо-таки походным шагом ринулся к злополучному домику, а там окно распахнуто, ветерок занавеску покачивает, с нею и тень загулявшего финансиста. Я — к синеокой, она меня под руку и обратно. Увидела мужа — и ко мне...

Под окном раздались звучные шаги, скрип снега, женский смех.

— Еще кого-то бог несет,— решил, вставая со стула, Блейд.

В факторию вошли Каролина Ивановна, Феона, Донауров.

— Не ждали? — ломким с мороза голосом спросила Каролина Ивановна.

— Они землю, золото и души свои проигрывают, есть причина полюбоваться таким зрелищем,— сказала Феона.

Блейд снимал с женщин шубки, Тюмтюмов прятал порожние бутылки, только Виктор Николаевич сидел недвижно, зажав между пальцами сигару. Феона равнодушно скользнула по нему счастливыми сияющими глазами.

— Вы сегодня опустошительно хороши,— пробасил Тюмтюков, целуя ручку Феоны.

— Начинайте снова игру,— приказала Каролина Ивановна, вынимая шелковый, расшитый бисером, кошелек.

— Вся-то наша жизнь — игра,— пропел Дуглас Блейд, распечатывая свежую колоду карт. — Предлагаю покер...

— Чует мое сердце — играю в последний раз, ибо живу в страхе перед вселенской катастрофой,— пошутил Тюмтюмов.

— Послушать вас, так и Россия завтра погибнет,— возразил Донауров.

— Она, матушка наша, погибла еще вчера. Как подожгли ее большевики с четырех сторон, так и сгорела дотла. Одни головешки дымятся.

— Раскаркался, будто ворон. Каркает — и все о политике, а при дамах дурно ворошить политические темы,— с сердцем сплюнул Софрон Сивцов.

Игра возобновилась. Банк держал полковник; звякание золотых самородков, шелест ассигнаций смешивались с азартными восклицаниями. Главным противником полковника был Блейд и Донауров, но Андрей скоро проигрался. Опростав карман, он растерянно поглядывал на Феону: та молчала, насупив брови.

— Делайте вашу ставку! — напомнил Виктор Николаевич.

— Отвечаю золотоносным участком,— спазматическим голосом объявил Андрей.

— Принято! — Полковник играл в покер с тонким расчетом на неустойчивую психологию противника. Он увеличивал ставки, словно понукая Донаурова следовать его примеру против собственной воли и желания. Жесткие правила покера —

азартнейшей и любимейшей игры богатых американцев — бросали невыдержанных игроков в безоглядную авантюру.

— Откроем? — предложил Виктор Николаевич.

Андрей согласился: у него была третья комбинация, у полковника — пятая.

— Ваша карта бита. Такова судьба всех, кого любят женщины. Только куда я дену золотоносный участок? — ехидно рассмеялся полковник.

— Мы купим. Пора якутским купцам иметь золотые прииски в собственной тайге,— с убежденностью в правоте своих слов сказал Софрон.

— Игра продолжается,— с тихим злорадством объявил Виктор Николаевич.

Донауров накинул на плечи полушубок и без шапки выбежал из фактории, Феона даже не успела спросить, куда это он.

— Любовь недолговечна, счастье изменчиво,— заметил Виктор Николаевич.

— Добавьте еще: на севере цветы без запаха, женщины без совести, а вы — лучший моралист среди нас,— в тон полковнику съязвила Феона.

Вернулся Донауров, вывалил на стол пригоршню золотых, похожих на рыжую фасоль, самородков.

— Никакого покера, хочу играть в очко,— сказал он с подчеркнутой резкостью.

— Воля ваша! Перейдем на двадцать одно. — Полковник сдал карты.

— Ва-банк! — объявил Андрей. — Еще карту. Так, еще одну. — Он сердито отшвырнул карты.

— Перебор! — с сочувствием сказал Виктор Николаевич, подгребая к банку самородки.

— Еще ва-банк! — У Андрея оказались валет и семерка. Он прикупил девятку.

Виктор Николаевич открыл туза, за ним девятку.

— Двадцать. Наша бьет вашу, господин Донауров...

Андрей полез в карман за новой порцией золота, но Феона положила ладонь на его плечо:

— Довольно! Ты проигрываешь чужое золото.

— А чье золото он проигрывает? — спросил Тюмтюмов. Феона не ответила.

— Желание Феоны — закон. Игра прекращается. — Виктор Николаевич сгреб со стола доллары и золото. — Господин Донауров, вы меткий стрелок?

— Какое это имеет отношение к игре?

— Самое прямое. Даю шанс отыграться, верну весь проигрыш, если всадите из револьвера пять пуль между пальчиками Феоны...

— Что, что? Я вас не понял.

— Зато я поняла! — вскрикнула Феона. — Я говорила Вик-

тору Николаевичу, влюбленные-де не могут причинить вреда друг другу, любовь, говорила, охраняет их в минуту опасности, а он посмеялся над моими словами. Докажи правоту моих слов. — Феона прижала к стене левую ладонь, широко расставила пальцы.

— Не смейте стрелять! — возмутилась Каролина Ивановна. — Что за дурацкие шуточки! Запретите такое баловство, мистер Блейд!

— Я очень люблю смелых девушек и настоящие приключения. Если Феона верит мистеру Донаурофф, то чего нам страшно? — возразил Дуглас Блейд, и в стеклах его очков вспыхнули огоньки.

— Что же ты медлишь, Андрей? Стреляй! — приказала Феона, отбрасывая со лба волосы, и лицо ее сразу приняло и умоляющее и надменное выражение.

На улице раздался топот многочисленных ног, кто-то сильно застучал в дверь, Блейд откинул крючок. В факторию вошли Алексей Южаков и трое неизвестных старателей.

— Именем революции вы арестованы! — властно сказал Южаков. — Ни с места, полковник! Вы тоже руки на стол! — приказал он Блейду.

— Что означает ваш налет? — спросил полковник Широкий, краснея от своей беспомощности.

— Партизаны захватили Охотск, ваши казаки арестованы.

— Вы будете отвечать за такое беззаконие,— пригрозил полковник.

— Можете жаловаться военному трибуналу,— ответил Южаков, оглядывая факторию и словно не замечая ни Феоны, ни Донаурова.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Метель терлась о бревенчатые стены, громыхала жестью вывесок, над столом чадила керосиновая лампа. Щербинин подвернул фитиль, в ламповом стекле распушился чахлый одуванчик огня. Из дымного полусумрака выступили, резко обозначились рыжие, русые бороды, пестрые физиономии, непреклонные лбы, упрямые подбородки.

— Власть-то мы захватили, а вот как удержать ее? Как не выпускать вожжей из собственных рук? — спрашивал Алексей Южаков и отвечал на свой же вопрос: — Колчаковских главарей и местных богатеев судить по закону военного времени, но за Кухтуем, в поселении Булгино, укрылись банды Елагина. Их много, они хорошо вооружены, драться будут, как волки...

— И на матерого волка есть собачьи клыки,— обронил Индирский.

— Вчера на митинге мы объявили о восстановлении власти Советов по всему Побережью, но Советы на просторах Севера пока что радужная фикция. У нас нет армии, чтобы незыблемо

утвердить свой авторитет и свои идеи. Нет и опытных командиров для отпора японским интервентам, что могут появиться здесь. Поэтому необходимо покончить с бандитами в Булгине, а если явятся интервенты — начать дипломатическую игру. Остается ждать, когда большевики освободят от белых все Приморье, но в Охотске всякое сопротивление должно быть раздавлено,— заключил Южаков, и в лице его появилось напряженное ожидание то ли новых непредвиденных опасностей, то ли тревожного торжества. Он предоставил слово Индирскому, тот выбил из трубки пепел на пол и строго спросил:

— Ревком дает мне чрезвычайные полномочия для расправы с врагами?

— Для борьбы, а не для расправы,— поправил Южаков.

— Теперь один закон: всех, кто против нас, именем революции — к стенке,— ответил Индирский.

— А я вот приказываю освободить из-под стражи Донаурова, девушку эту Феону и Дугласа Блейда, американца,— распорядился Южаков.

— Ежели их на свободу, то кого под замок?

— Нет нужды наживать неприятности с Америкой из-за какого-то Блейда, а Донауров и девушка тебе только мерещатся врагами.

Индирский долго в упор рассматривал американца, потом сказал:

— Вы свободны, мистер Блейд.

— О'кэй! — вежливо, но холодно поклонился Блейд.— Я умею быть благодарным.

— Большевики не нуждаются в признательности капиталистов,— ответил Индирский.

Он называл себя анархистом, стоящим на платформе коммунистов, хотя о коммунистической платформе не имел никакого представления. Отпустив американца, он вызвал Феону и спросил, разглядывая ее маслеными глазами:

— Дочь местного попа?

— Мой отец — священнослужитель.

— Что в лоб, что по лбу! Русские попы и мусульманские мулы яро поддерживали кровавого диктатора Колчака.

— А какой диктатор не кровавый? — отрезала Феона.

— Ну мы к этому еще вернемся. Можете идти домой.

После ухода Феоны он поцокал языком: девка прямо-таки рахат-лукум...

Когда охранник ввел Донаурова, Индирский что-то читал, не обращая внимания на арестованного, потом вскинул голову, пробарабанил пальцами по столу.

— Куда вы запрятали золото Горной артели? — строго спро-

сил он. — Мы взяли только ваше, а где артельное? Сорок фунтов. Где?

— Эти сорок фунтов и есть золото Горной артели. Мне его передал на хранение Алексей Южаков,— как можно спокойнее ответил Андрей.

— О том, что передано вам на хранение, я знаю. Только неведомо, куда вы золото спрятали. Наш разговор будет коротким: не вернете золото — шлепнем,— пригрозил Индирский и вышел из-за стола. — Кто там подслушивает? — Ударом ноги распахнул дверь.

На пороге стоял Южаков.

— Не подслушиваю, а случайно услышал. Это кого же ты шлепнешь, не интересуясь ни именем, ни фамилией? Донаурова, что ли? Смотри, Индирский, не позволяй себе лишнего, а то засвистишь и заквакаешь! У Донаурова было наше золото, он и привез его в полной сохранности, а мы вместо спасиба его же под замок? — Южаков повернулся к Донаурову: — Не сердись, землячок, что пришлось посадить в каталажку.

— Преподлая вещь — политика. Мудрости никакой, зато пропасть предательства,— авторитетно изрек Индирский.

— Это когда политику творят авантюристы,— раздраженно заметил Донауров. — Сейчас военные ветры выбрасывают на политическую сцену спекулянтов, наживающихся на страданиях народных...

— Довольно рассусоливать, давайте чай пить,— вошедший Илья Петрович поставил на стол чайник.

— К чему чай, коли есть спирт? Вот всем по рюмочке. — Индирский выволок из кармана дохи запотевшую бутылку. — Остатки прежней роскоши, конфискованные у миллионера Тюмтюмова,— расхохотался он.

— С чего веселишься? — спросил Щербинин.

— Вспомнил Феону,— Индирский повел лиловым взглядом по Донаурову. — Хотя бабе ум ненадобен, но Феона неглупа, убедился, когда освобождал из каталажки. Я ей толкую: Колчак был кровавым диктатором России, а она в ответ такое с усмешечкой резанула, что я и рот раскрыл.

— Кто прошлое вспомнит — тому глаз вон! — кисло усмехнулся Донауров. — А вот Феону забирать совсем не стоило бы.

— При классовых схватках о мушкетерской галантности не думают. Женщины иногда опаснее мужчин, не все конечно, Феона не из их числа, при случае извинюсь перед ней,— сказал Южаков.

Индирский любил женщин, пил вино, предавался пороку, жаркое солнце горело в его крови.

Чтобы весело жить, необходимы деньги. Индирский ловчил, хитрил, обманывал, как умел, изворачивался, как мог. В поисках

приключений он сошелся с аферистами: они совершили несколько краж и ограблений и в конце концов попались. Индирского осудили на три года каторги. После отбытия наказания он был сослан в Восточную Сибирь на поселение. Местом поселения оказался таежный поселок Баяндай, в котором жила колония политических ссыльных: эсеры, большевики, анархисты. Кто-то подсунул Индирскому книжицу Макиавелли «О государе». Из всех мыслей средневекового философа в ум его запала одна — «цель оправдывает средства». Эта простая, но опасная мысль стала его девизом.

После Февральской революции Индирский решил вернуться в Россию, но добрался только до Тюмени. Там встретился он с особоуполномоченным ВЦИК Яковлевым-Мячиным, которому было поручено перевезти царское семейство из Тобольска в Екатеринбург. На самом же деле Яковлев-Мячин замышлял тайно перебросить царя на Дальний Восток. В кружок заговорщиков Яковлева-Мячина вступил и Индирский, но после неудачи бежал в Иркутск.

Город золотых миражей жил буйно и весело: в ночных клубах звенело золото, лилось шампанское, звучали фривольные песенки, продавались и покупались золотые прииски, красивые женщины, земельные угодья. Индирский привлекал женское внимание той своеобразной красотой, когда широкие плечи, осиная талия, лиловые глаза, душные усы кажутся признаками настоящего мужчины.

Его облюбовала богатая вдова, он стал сорить деньгами по всем злачным местам Иркутска. Сладкая жизнь продолжалась до раскатов Октябрьской грозы, любовница Индирского лишилась своего состояния. Он укатил в Якутск и впал в запустение; опять не хватало счастливого случая — великого устроителя судеб.

В Якутск приходили оборванные старатели с алчным отблеском золотой лихорадки на иссушенных лицах и приносили соблазнительные вести о золоте на Охотском побережье. С партией искателей приключений Индирский отправился в верховья Кухтуя и очутился на прииске Горная артель. Грамотный, ловкий, напористый, он быстро стал помощником Южакова сперва по прииску, потом по партизанскому отряду.

Попытки партизан уничтожить елагинцев не имели успеха. Елагин отбивал недружные атаки, сам наносил ощутимые удары.

На радиостанции каждый день сходились Южаков и Индирский. Щербинин, избранный председателем восстановленного Совета, передал связь Донаурову.

Андрей перехватил радио о намерениях японцев оккупировать русское побережье океана. Японские корабли появились

у берегов Сахалина, Камчатки, видели их неподалеку от Охотска, но ледяные поля мешали приблизиться к городу.

— Море вот-вот очистится ото льда, и ждать нам непрошеных гостей,— предупредил Щербинин.

— Тогда мы между двух огней и окажемся,— заметил Индирский.

— А какой огонь хуже? — спросил Южаков. — У нас и людей мало и боеприпасов кот наплакал. Одна пушка командора Беринга на берегу.

— Помощь можно ждать только из Якутска, но до Якутска больше тысячи верст. Когда придет помощь — одному богу известно. Как там дело с полковником Широким? — спросил Щербинин.

— Все по форме: вопросики, ответики, признание, непризнание вины. Каждого из арестантов хоть сейчас под пулю,— торопливо сказал Индирский.

— Откуда у тебя такой цинизм? Как ты можешь ерничать в таком деле? — возмутился Щербинин.

— Радиограмма из Верхнеудинска,— сказал вошедший Донауров.

Радиограмма сообщала, что создана Дальневосточная республика в пределах Забайкалья и Дальнего Востока и установлена в ней власть демократическая, представляющая все слои населения. Совет Народных Комиссаров РСФСР признал ДВР, отношение к новой республике должно быть самое благожелательное, особенно необходимо воздерживаться от столкновений с японцами.

— Положение хуже губернаторского,— сказал Южаков. — Одной рукой лупи белых, другой — обнимай их союзников. Я так не умею. Не дипломат.

— Учись дипломатии у японцев. Они мастера на поклончики, на улыбочки,— пошутил Щербинин. — Новая политика требует новых приемов борьбы.

Южаков посмотрел в темное лицо Индирского: было в этом лице что-то, что настораживало его.

Они собрались уходить и стояли посредине комнаты: Южаков, застегнутый на все пуговицы, и Индирский в распахнутой дохе, от нее исходил душный запах таежного зверя.

— Чем больше тебя узнаю, Иосиф, тем меньше понимаю: хочешь обижайся, хочешь нет, а с двойным смыслом ты человек,— сказал Южаков.

— Алексей Иванович, нельзя же так! — вмешался в разговор Щербинин.

— Что нельзя?

— Бросаться походя политическими обвинениями...

— Я его извиняю, он погорячился, а сгоряча родного отца обидишь,— сказал Индирский.

Он вернулся к себе, не раздеваясь лег на диван, положил под голову руки. «Я не принадлежу к руководителям высшего типа, слишком незначительна история революции на краю океана. Мне не дорваться до высоты, на которой можно стать рядышком с великими мира сего»,— подумал Индирский.

Хотя его постоянно угнетало сознание собственной второсортности, завистливая надежда жила в сердце. Он был убежден, что в жизни преуспевают лишь те, кто не признает никаких моральных препон. «Морально все, что помогает продвижению по лестнице успеха. Маленький человек неожиданно может стать у кормила власти, потому что неожиданность — самая мощная прислужница замысла. Надо только приспосабливаться к обстоятельствам и не быть чересчур прямолинейным, политика не терпит прямых линий, откровенных поступков. Я должен как можно больше желать, ибо желание — мать мысли и действия. Ненависть — тоже только желание убрать все лишнее с пути, а зависть — великолепное желание управиться со своими соперниками»,— рассуждал Индирский, перенося свои личные убеждения на всех людей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Донауров стоял перед Феоной, страшась заглянуть в ее глаза... Он только что сообщил о приговоре трибунала — расстрелять полковника Широкого, Никифора Тютюмова, Ивана и Софрона Сивцовых, Каролину Буш. Одного Бореньку Соловьева приговорили к пяти годам тюрьмы.

Феону ошеломил приговор трибунала. Андрей пожалел, что сказал о нем, и на цыпочках вышел из спальни, Феона села на кушетку, уронила на колени обессилевшие руки.

— Боже мой! Партизаны освободили меня, Андрея, Дугласа Блейда. Так, думала я, они освободят и других.

Феона понимала только одно: безоблачная жизнь кончилась. Теперь, если в Охотск придет отряд Елагина, то учинит расправу над партизанами. Мысль о возможности победы елагинцев вызывала страх; сердцем Феона сочувствовала любому страданию. Она всегда испытывала жгучую жалость не только к попавшим в беду людям, но и к больным животным, и к раненым птицам, переживала несчастье других, как собственное, и сочувствие ее было искренним.

«Я жила одной любовью, и счастье любви заменяло смысл самой жизни. Я и сейчас думаю: счастье любви—это чудо, и красота его в том, что не знаешь, из чего же оно состоит. Из поступков ли, из слов ли любимого, из твоего ли желания уступать ему во всем?..»

Предчувствие непонятной, неотвратимой опасности оплеснуло ее сердце. Она накинула на плечи шубку, выглянула на улицу. В сумерках стены храма Преображения казались высечен-

ными из алебастра, колокольный звон мягко струился над Побережьем.

Феона вошла в переполненный храм. Темные лики скорбно взирали на молящихся, потрескивали свечи, синий дым ладана покачивался в воздухе. Феона не узнала отца: в серебряной ризе с золотыми крестиками, он почудился ей совершенно иным, новым и как бы чужим, и только голос, грудной, глубокий, был родным и любимым.

Она сперва прислушалась к голосу, не разбирая слов, пока не поняла смысл молитвы: отец Поликарп провозглашал многие лета председателю Совета Щербинину. Это было неожиданно и смешно. Феона прикрыла ладонью рот, чтобы не улыбнуться. Прихожане истово крестились, повторяя слова молитвы, и не удивлялись.

Вечером Феона спросила отца:

— Почему ты стал молиться за безбожника?

— Народ во здравие Ильи Петровича молебен заказал, якуты с тунгусами особливо просили, я многие лета и провозгласил,— ответил отец Поликарп.

— За какие такие добродетели?

— За новые цены на пушнину. Что поделаешь: поп — слуга господен. — Отец Поликарп в раздумье поласкал свою бороду. — Меха бы надо проверить да в амбаре заодно прибрать. Займись-ка этим, Феона!

Прилив взломал припай, береговой ветер угнал льды, мир сразу стал необъятным, веселым и синим, блеск моря и неба сливался с сиреневой дымкой сопок.

На берегу не суетились люди, как в пору рунного хода сельди, но напряженное ожидание чувствовалось во всем. Наступили самые золотые дни, а нынче наверняка упустишь дорогие мгновения рунного хода. Заботы рыбаков не волновали Донаурова. Он шагал по сырому песку, подставлял лицо соленым брызгам, испытывая радость от хорошего майского дня.

Феона перебирала в амбаре связки песцовых и беличьих шкурок. При виде Андрея ее глаза просияли, но она не позволила ему приблизиться.

— Я воняю рыбьим жиром. — Она отступала в угол и взмахивала руками, отгоняя Андрея.

— Зачем тут хранится мамонтова кость? — спросил Андрей, с трудом приподнимая трехаршинный бивень.

— Подарили... Нам иногда живых мамонтов дарят...

Феона хотя и шутила о живых мамонтах, но таежные жители действительно щедро одаривали священнослужителей. Охотский храм Преображения был единственным на тысячи верст Побережья, а отец Поликарп — особенно чтимым священником: его знание народных нужд, посильная помощь ценились охотскими жителями. Отца Поликарпа одаривали не только мамон-

товой костью и пушниной, но и оленями; животные становились священными, содержались у даривших, и приплод от них считался собственностью церкви.

Отец Поликарп из храма, Андрей с радиостанции пришли на обед одновременно.

— Сказывают, передаешь какие-то воззвания в Америку и Японию. Это что, манифесты собственного сочинения? — спросил отец Поликарп.

— Воззвания Москвы да еще иркутского ревкома я принял и передал. Если любопытствуете, то, пожалуйста, вот! — Андрей выложил на стол листок.

— Любопытствую, любопытствую! — Отец Поликарп взял заскорузлыми пальцами лист, прочел вслух: — «Груды костей и пепла, дым пожаров, море рабочей и крестьянской крови — вот та дорога, по которой прошли в Сибирь объединенная буржуазия и ее наемники...» Это кто к кому обращается?

— Рабочие Сибири к рабочим Америки...

— Дойдет ли слово сие до простого американца?

— С американской радиостанцией на Аляске у нас связь.

— Связь-то связью, а передают ли там такие воззвания?

— Этого я не знаю. Вот вам еще одна радиограмма. Уполномоченный Совнаркома по иностранным делам Сибири сообщает из Иркутска, чтобы мы воздержались от всяких столкновений с японцами, и подтверждает: у Москвы к временным буферным образованиям на Востоке отношения доброжелательные.

— Создана какая-то Дальневосточная республика — не красная, не белая, окрещена почему-то буферной. В составе ее правительства коммунисты, эсеры, меньшевики, частную собственность и свободу торговли признают, а парламентский строй не допускают. Словом, по-моему, эта ДВР ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса,— пошутил отец Поликарп.

— Илья Петрович разъяснение «буфера» даже в словаре Брокгауза искал,— заметил Андрей.

— И что же, нашел?

— У Брокгауза «буфер» — пружинящее устройство между вагонами. О буферных же государствах — ни звука.

— Буферная республика — государство, расположенное между территориями или сферами влияния крупных держав,— пояснил отец Поликарп. — Охотское побережье входит в состав ДВР?

— Если нас предупреждают о доброжелательном отношении к буферным образованиям, то мы не отошли к ДВР.

— А если отошли?

— Зачем гадать на кофейной гуще?

— Туманны ныне политические горизонты. Ой-ей как туманны!

Над Побережьем даже в исходе мая знобило от студеного неба, но уже сочным синим светом налились наледи, звездисто взблескивает галька. Колдуют белые ночи.

Андрей никак не мог привыкнуть к белым ночам Севера. С обостренной наблюдательностью поэта он видел спящий свет на камнях, выпуклые сопки на горизонте, лужи, переполненные белесым сиянием, голые, но уже с набухшими почками лиственницы.

Белые ночи очаровывали и манили к морю, само море было затянуто паутиной блеклых красок, у причалов подрагивали кунгасы, вместе с волнами раскачивались и опускались сонные чайки.

«Мой дух устремляется в неведомые дали, белыми же ночами особенно»,— подумал Андрей, возвращаясь домой.

Феона ожидала его.

— А я тебя жду, а тебя все нет и нет. Мне теперь страшно одной, особенно ночью.

— Что ты, Феона! Не нужно бояться.

— Я за тебя боюсь. Что я без тебя?.. Былинка на ветру... — Она потерлась щекой о его плечо, отбросила мешавший локон.

...Они лежали, прижимаясь друг к другу: Феона, томная и ослабевшая, Андрей, продолжавший думать о своей юной жене с поэтической приподнятостью. Вдруг он рассмеялся.

— Ты это чего? — спросила она.

— Нашел забавное сравнение.

— Кого и с чем?

— Тебя с цветком. Ведь наш брат смотрит на женщину как на живой цветок: что ни день, то новая окраска. Если женщина умеет постоянно являться новой, ей можно не тревожиться за семейное счастье...

— Где же я найду столько новых красок?

— Тебе не стоит волноваться, моя зеленоглазая. Ты неисчерпаема...

Феона уперлась подбородком в перекрещенные руки и посмотрела на Андрея немигающе: ее глаза походили на лесные омуты, бог знает, что таится на дне таких омутов!

— Если ты заведешь любовницу, я отошью ее, как это делала Каролина Ивановна,— неожиданно сказала Феона. — Когда муж стал ей изменять, Каролина Ивановна наняла парня и научила, как отбить у него любовницу...

— Женское коварство беспредельно,— пошутил Андрей,— но мелковато. Вы всегда в мелочах, как гусыни в перьях...

Любовь Феоны была как белые ночи Севера — нежной и беспокойной. В этой любви были и непрестанная изменчивость настроения, и романтическое отношение к жизни, и трагическое восприятие событий. Феона казалась Андрею то девчонкой-подростком, то опытной женщиной, то неприступной девушкой и как бы подтверждала мысль о женщине-цветке.

— У тебя сильное сердце,— сказала она, приложив ухо к груди Андрея. — А сильное сердце — смелое сердце.

— Смелость моего сердца зависит от твоей любви.

На Донаурова обрушилась радиолавина запоздалых новостей. Андрей перехватывал их из Москвы, Владивостока, Токио, Вашингтона, и, хотя эти сообщения не адресовались Охотску, они имели к нему отношение.

Из угрожающих, умоляющих, панических радиограмм Андрей воссоздавал пока еще пунктирную картину военных и политических событий на Дальнем Востоке.

С волнением записывал он сообщения об уходе американцев с Дальнего Востока. Интервенты — помощники верховного правителя России — после его казни и разгрома его армий спешили покинуть Сибирь. Только Япония не желала уходить, наоборот, она усилила численность своих войск, помогая белым генералам и атаманам: под Читой японцы сражались плечо в плечо с атаманом Семеновым, весной двадцатого года захватили Владивосток. Члены Военного совета НРА Сергей Лазо, Алексей Луцкий, Всеволод Сибирцев были арестованы. Японцы передали их казачьему есаулу Валерьяну Бочкареву. По его приказу Лазо, Луцкого и Сибирцева живыми бросили в паровозную топку.

— Есаул Бочкарев, есаул Бочкарев!.. — повторял Андрей фамилию неизвестного уссурийского казака. — Не хотел бы я встретиться с тобой на лесной тропе...

С пачкой радиограмм он отправился к Щербинину, тот проводил заседание Совета. Что делать, если в Охотск придут японцы? Этот вопрос вызывал разногласия среди партизан.

Алексей Южаков настаивал на обороне города — ему казалось постыдным уйти в тайгу без боя.

Щербинин требовал уклоняться от столкновения с японцами и напоминал, что в Булгине сидит Елагин и ждет японцев.

— Елагин ликвидирует нас с помощью интервентов. Уж лучше уйдем в тайгу и сохраним свои силы. Предлагаю, не теряя времени, послать нарочного в Якутск за помощью,— говорил Щербинин.

Андрей показал ему радиограммы.

— Только безумец может совершать такие злодеяния, но все равно отныне фамилия сжигателя живых людей войдет в анналы нашей революции. Обшаривай небо, Андрей, перехватывай все, что сумеешь. О появлении японцев нам необходимо знать как можно подробнее. Ты справляешься с работой?

— Где там! Иногда засыпаю за рацией...

— Рекомендую в помощники Василия Козина — я его радиоделу немножко учил.

Индирский предпочитал работать по ночам.

— Ночью легче допрашивать! Страху у арестованного больше, всякая ерунда ловушкой чудится, кожей начинает чувствовать опасность,— говорил он, выпуская изо рта красивые колечки табачного дыма.

Дуглас Блейд слушал, почтительно улыбаясь, роговые очки плотно прикрывали его студеные глаза. Блейд умел слушать собеседника и, хотя Индирский все еще не ответил на его странное и очень рискованное предложение, был сосредоточенно внимателен.

— В ночном допросе есть страх и тайна, а поздний час обостряет ненависть,— согласился Блейд. — Так я жду ответа.

— То, что вы предложили, называется изменой. — Индирский выбил о край стола трубку. — Что мне мешает арестовать вас, не понимаю?

— Измена большевикам еще не измена Отечеству. Я произнес Отечество с большой буквы, ибо за ним вижу Россию, а мое предложение на пользу Русской империи,— сказал Блейд.

— Русская империя давно стала нашим воспоминанием. Так что же вам надо, мистер Блейд? — спросил Индирский.

— Господину Елагину и его людям надо быть в курсе всех дел в Охотске. О появлении японских военных кораблей, о планах Совета мы надеемся иметь самые свежие сведения. Ведь с приходом японцев елагинцы пустят в ход длинные ножи. В списке приговоренных к ножу вы второе лицо...

— Еще бы, воображаю! Но беда обостряет ум, ловкость побеждает судьбу, говорит пословица. — И Индирский сразу, как само собой разумеющееся, спросил: — Чем гарантирует безопасность моей жизни Елагин?

— Вы убрали с его дороги опасных конкурентов. Сейчас на Побережье остались две силы международной коммерции: Иван Елагин и Олаф Свенсон...

— Мне сохранят жизнь, если переметнусь на вашу сторону, но только жизнь — мало,— сказал Индирский небрежно, словно о постороннем и незначительном факте.

— Вы хотите золота?

— Смешной вопрос!

— У вас больше пуда артельного золота, того самого, что конфисковали у Донаурова. У отца Поликарпа есть семьсот песцовых шкурок. Замечательные шкурки, с голубоватым отливом, шерсть как пух.

— Откуда вы знаете о поповской пушнине?

— Поп сам показывал мне песцов. Если и есть у него что-то путное, то это дочь и пушнина.

— Верно! Феона выше всех похвал, но около нее Донауров. Впрочем, его можно и под замок...

— А кто станет перехватывать радио?
— О радио не подумал. Ну что ж, для начала получайте! — Индирский подал американцу копии последних радиограмм. — Пусть господин Елагин готовится к приходу японцев, уж им-то он обрадуется. Скажите ему, что сегодня уйдет в Якутск с важным письмом наш посланец: Щербинин и Южаков просят отряд против Елагина. Думаю, посланца можно перехватить на переправе через Кухтуй.
— О'кей! Есть еще одна маленькая просьбица.
— Если по силам, пожалуйста...
— Один мой знакомец сидит в вашем подвале...
— Боренька Соловьев, царицын освободитель?
— Он самый. Очень милый, очень приятный человек. Устройте ему побег.
— С какой такой радости? И что мне за прок от побега царицына прихвостня, сукина сына, бриллиантового вора?
— После скажете большое спасибо за идею. — Блейд так вкрадчиво улыбался, что Индирский отвалился от стола, и глаза его засветились рысьей желтизной.
— Ну что ж, пусть будет по-вашему.
— Человек часто не знает своей судьбы и кружится-кружится, пока найдет путь к самому себе. Но вы из тех, кто умеет брать за горло судьбу.
— Если спросят, зачем были у меня, то говорите, отбирают, мол, катер. Между прочим, ваш «Альбатрос» мне скоро понадобится.
— Ради бога! — Блейд распрощался и покинул кабинет.
Индирский в окно проследил за легкой, решительной походкой американца, пересекавшего площадь. Как это он сказал? «Измена большевикам еще не измена Отечеству»? Индирский распахнул окно, лег грудью на подоконник, вгляделся в ясную, с переливами ночь, в темную дышащую массу океанской воды. Позабытые видения вставали из ночных испарений, заставляя заново переживать их.

Перед Индирским возникла бревенчатая хижина, на пороге ее стояла молоденькая якутка, гибкая, ловкая, словно куница. Стояла на снежном ветру, переполненная тревожным ожиданием. Женщина ждет его, но он уже никогда не возвратится. В тот день якутка отдала ему все, что имела: лодку, ружье, сушеное мясо, меховые вещи отца. Он обещал вернуться за ней, но что такое обещание женщине в его глазах? Курицу обманывают зерном, бабу — словами,— старинная эта пословица очень по душе Индирскому.

Якутка, стоящая на ветру, погасла, теперь он видел новую женщину.

Он видел Феону с зелеными, такими волнующими глазами, и терпкая судорога прошила сердце. Желание обладать Феоной было пока неисполнимым и оттого усиливалось беспредельно.

«Неужели любовь — дар, которым я не владею? Почему какой-то паршивец Донауров внушил к себе любовь, а на меня Феона смотрит как на гнилой пень? Однако не существует женщины, равнодушной к преклонению перед ней, и чем сильнее преклонение, тем податливее она. Феона только тем и отличается от других, что ее надо брать исподволь, а не штурмом. Ее нужно удивлять умом, силой, славой, бабье удивление приносит успех, когда мы уже смирились с поражением...»

Мечтая о Феоне, он входил в новый, неизвестный, но триумфальный мир, в котором, кроме карьеры и могущества, существуют красота, и любовь, и счастливая тоска по недоступным женщинам.

Он закинул руки за голову, потянулся до хруста в костях, прогоняя томление. Вышел из кабинета, спустился по четырем ступенькам, отпер заржавленную железную дверь. Туча мрака хлынула из подвала, кто-то невидимый зашевелился на полу.

— Соловьев! — позвал Индирский.

На тихий зов откликнулись невнятным мычанием.

— Выходи, Соловьев...

...Они сидели в кабинете с опущенными шторами. В свете керосиновой лампы лицо Бореньки Соловьева казалось пестрым; серая грязь покрывала щеки, шею, в нечесаных волосах торчала труха.

— Ешьте и пейте, разговаривать на сытый желудок веселее,— советовал Индирский.

Соловьев ел, почесываясь, отвечая на расспросы короткими кивками.

— Я решил освободить вас, Соловьев...

Боренька кивнул.

— С одним условием: вы сейчас же уйдете в Булгино.

Боренька снова кивнул.

— Вот наган, вот патроны к нему! — Индирский подал берестяной коробок с патронами и револьвер. — Но перед уходом прошу ответить на несколько вопросов.

Боренька согласно закивал.

— Вы знали Яковлева-Мячина — охранителя царя и царицы в Таврическом дворце?

— Василий Васильевич был мне хорошим приятелем,— приглушенно ответил Соловьев.

— Он был и моим другом, да разошлись наши дорожки. Состояли в одной партии — анархистов. За участие в каком-то заговоре он был приговорен к смертной казни, но сумел бежать в Канаду.

— Всей биографии Василия Васильевича я не знаю,— грустно заметил Боренька.

— В семнадцатом году вернулся в Петроград, потом стал командиром Особого отряда, охранявшего императора в Тобольске.

— Отрядом командовал полковник Кобылинский.

— Ну да, а Яковлев-Мячин его заместитель.

— Я снова встретился с ним в Тюмени, когда он ехал за их императорскими величествами.

— Это в восемнадцатом году, в апреле? И я находился в Тюмени. Как мы с вами не столкнулись?

— Я встречался только с монархистами. Мы же готовили похищение.

— С этой же целью и я жил в Тюмени...

Оловянный налет в глазах Бореньки Соловьева сменился живым блеском.

— Но вы же анархист?

— Был анархистом, завтра, возможно, пойду в монархисты. Они самые цельные люди и верны даже мертвым идолам,— с легким хохотком ответил Индирский. — Но вернемся к нашим баранам, как говорят французы, вернемся к попытке увезти царя и царицу из Тюмени. Пока Яковлев-Мячин собирал в путь-дорогу Николая и Александру, я с небольшим отрядом ждал в Тюмени. Мы мечтали захватить царский поезд, повернуть его во Владивосток вместо Екатеринбурга. В успехе не сомневались, ведь Яковлев-Мячин являлся особо уполномоченным ВЦИК.

— К сожалению, я покинул Тюмень, когда Василь Васильич привез их величества. Губчека начало охоту за моей головой, пришлось скрыться. Почему же вам не удалось похищение?

— Рабочие закрыли семафоры, поставили свою охрану у поезда. Нам пришлось спасаться бегством. Куда утек Яковлев-Мячин, не знаю, я умчался в Иркутск,— сказал Индирский.

— Как странно! Мы, служившие одной и той же цели, встретились с таким опозданием. И где встретились — на краю океана!

— Не сошлись в Тюмени — познакомились в Охотске. Можете рассказать Елагину о моей попытке спасти царя и царицу, это не повредит. А теперь пора уходить, у галечной косы лодка, на ней переправитесь в Булгино. Поклон господину Елагину, но помните: вы обязаны мне жизнью...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Японский крейсер идет в Охотск! — прокричал Андрей, вбегая в Совет.

— Откуда известие? — спросил Илья Петрович.

— Токио радирует командующему оккупационными войсками во Владивостоке.

— А если это провокация? — подозрительно спросил Индирский.

— Не вижу в ней смысла. Надо установить наблюдение за морем, если японцы высадятся, мы уйдем в тайгу,— сказал Илья Петрович.

— История не простит нам, если оставим город без боя,— возразил Южаков.

— Плюнь на историю и готовься к походу. Я не окажу сопротивления японцам. Лучше временно отступить, чем погибнуть бессмысленно,— заранее отметая все возражения, решил Щербинин.

В городе начался переполох: партизаны упаковывали пушнину, ценности, провиант, не желая оставлять японцам ни мехов, ни ржаной муки, что была дороже бриллиантов. Наблюдатели следили за морем, но в нем мерцала бездымная яснота, одни буревестники носились над охотскими водами.

Индирский, улучив минуту, встретился с Дугласом Блейдом.

— Итак, уходите в тайгу? — спросил американец.

— Лично я или партизаны?

— Вы свой человек. Уж кого-кого, а вас не дадим в обиду ни японцам, ни партизанам, но вы пока нужнее нам на посту у красных. А потому советую уйти вместе с партизанами, я дам знать, когда можно вернуться. Что касается партизан, то их ошибки — наши достоинства. Они опасаются японцев, но японцы без согласия Америки не присвоят Охотское побережье. А здесь Америка — это наша фирма, и я — ее представитель.

— Партизаны все еще не понимают, кому подчиняются, кто теперь их хозяин: Москва или Верхнеудинск? Этакое незнание на руку японцам.

— И нам на руку это незнание, и Елагину, и всем белым силам от Читы до Владивостока.

— Елагин перехватил нашего посланца? — спросил Индирский.

— Нет, не поймал. Не удалось заколотить в землю по самую шляпку. Канул в таежные чащи, надеюсь, утонет в болотах...

— Для якута таежные болота — родной дом,— усмехнулся Индирский.

Багровый, с воспаленными веками, с разметавшейся на груди бородой, лежал отец Поликарп. Феона сутками сидела у постели больного.

— Дети мои,— сказал отец Поликарп. — Уходите в тайгу с партизанами.

— Я не оставлю тебя одного,— возразила Феона.

— Приказываю как отец...

— Не подчинюсь твоему приказу! — В голосе ее была такая твердость, что отец Поликарп понял: не послушается.

Сердце Феоны разрывалось между отцом и возлюбленным, она была уверена, что с приходом японцев в Охотске появятся и елагинцы. Так думал и Андрей: то, что его работу на радиостанции Елагин расценит как измену, он не сомневался.

Прошло несколько дней, японские корабли не появлялись, но партизаны не оставили наблюдения за морем. На дежурство ходил и Андрей. Он взбирался на мыс Марекан, разводил костер и коротал часы, обшаривая биноклем качающуюся морскую пустыню.

Окрестные сопки буйно цвели, бутоны шиповника походили на густые пятна крови, одуванчики казались солнечными лучами, свернувшимися в клубки. Под обрывами Марекана пенилась зеленая бездна, из нее часто поднимались тюлени, их любопытствующие морды нравились Андрею. Раньше он не отличал одного тюленя от другого. Феона научила его этому.

На прибрежных камнях грелся соломенного цвета лахтак, около него распласталась акиба — коричневая, с черными пятнами на спине, в воде мелькала серая ларга — милая и доверчивая, словно ребенок.

Из пучины вставали солнечные снопы, и весь воздух был просвечен солнцем, и во всем была сила красоты.

«Истинная поэзия может быть грубой, но не жеманной, действенной, но не нравоучительной. Ненавижу монахов в русской поэзии: они не привьют людям ни гуманизма, ни любви. Сердце поэта должно вмещать как можно больше добра и любви»,— говорил себе Андрей.

О любви он не мог рассуждать общими, хотя и возвышенными словами: его любовь воплощалась в совершенно конкретный образ Феоны. Она накладывала свой отпечаток на мысли, являлась его представлением о счастье, казалась ему идеалом женского изящества. Хвалить перед ним Феону было можно, охаивать — безнадежно.

Наступил вечер с терпким запахом таежных трав, появился сквозной, тонкий, как паутина, туман, деревья плыли в нем, словно фантастические рыбы, все становилось нереальным, обманчивым, берег и море погружались в сон.

Андрей смотрел на длинные полосы гальки, но воображал их грудами старых корабельных парусов; в глазах двоилось — галечная коса отодвигалась в туманные дали.

Зыбкая громада обрушилась на Андрея, студеные брызги ударили в небо. За первой волной грохнули вторая, третья, а с четвертой появился черный фрегат. Он вылетал из самого центра горизонта, волны передавали его друг другу, как эстафету времени и пространства; скрип снастей, тугое пощелкиванье парусины, мокрое гудение канатов как бы говорили — на Охотский рейд спешат корабли землепроходцев. Кочи, фрегаты, корветы слетаются на этот открытый всем ураганам рейд, чтобы еще раз подтвердить свое свидание с историей.

«Какие капитаны отдавали здесь якоря, какие тут шли разговоры! На этом пустынном рейде впервые были произнесены слова «Берингово море», «Командорские острова», «Алеутская гряда», «Аляска», «Форт Росс», «Калифорния»! Произнесенные

впервые здесь названия эти разлетались по всему миру и оседали на географических картах,— с гордостью за предков, с завистью к ним прошептал Андрей, склоняясь все ниже над костром. — Мы окажемся недостойными потомками, если позволим чужеземцам стать на здешних берегах России...»

Волосы его коснулись дотлевающих углей, ожог молниеносно вырвал из забытья.

Андрей вскочил на ноги.

На горизонте стояли черные фонтаны корабельных дымов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Японский крейсер дал орудийный залп, снаряды с омерзительным свистом промчались над городом. В полдень появился на рейде и отдал якорь русский пароход «Астрахань». От крейсера и парохода одновременно отвалили шлюпки, и на берег, нога в ногу, вступили японец и русский. Японец в военной форме был командиром крейсера.

На пристани собрались любопытные, японец и русский направились к ним. Оба низенькие, толстенькие, но один яркоглазый и смуглый, другой с толстым унылым носом. Они остановились перед толпой.

— Господа русские! — заговорил японец. — От имени моего императора и Приморского земского правительства приветствую вас! Ваше правительство направило в Охотск своего представителя, наделенного чрезвычайными полномочиями. Господин Алексей Сентяпов с этого часа — верховный начальник Охотского края, который является неотъемлемой частью Приморского земского государства...

Алексей Сентяпов поклонился, спросил с визгливой строгостью:

— Где же представители уездной власти?

— Попрятались в страхе перед вами,— ответил из толпы Дуглас Блейд.

— Странная манера встречать начальника,— повернулся Сентяпов к американцу.

— Я подданный иного государства, в русские дела не вмешиваюсь.

— И правильно поступаете! — сумрачно ответил Сентяпов и направился в город.

Между тем с «Астрахани» сходили на берег прибывшие с Сентяповым люди. В толпе искателей приключений были старатели, матросы, плотники, весь тот бездомный люд, что волнами перекатывался в те годы по стране.

В первый же день Алексей Сентяпов составил обращение к ушедшим в тайгу партизанам, призывая их вернуться под крыло законности и правопорядка, гарантируя неприкосновенность и безопасность. Он нанес визит вежливости Дугласу Блей-

ду, американец встретил его почтительно, как и подобает встречать нового хозяина богатого края.

— У меня к вам просьба,— сказал Сентяпов. — Одолжите катер, хочу посетить Булгино.

— Сочту за честь представить вам господина Елагина,— белозубо улыбнулся Блейд.

В Булгине гостей встретили сердечно. Елагин познакомил Сентяпова с Боренькой Соловьевым, со знаменитым старателем Матвейкой Пауком, с еще более знаменитой «Дунькой — Золотой пуп». Кличкой этой она гордилась, как вояка медалью.

Дунька угостила Сентяпова пирожейниками с печенью налимов, строганиной из лосося. После коньяка Сентяпов размяк. Обскурант по натуре, он тянулся к характерам зверским и смелым в достижении собственных целей и без колебаний отправился к океану, надеясь найти поприще для своей карьеры.

Сентяпов пил и слушал, приглядываясь к собеседникам.

— Всю зиму мы накапливали силы, чтобы вышвырнуть партизан из Охотска,— говорил Елагин,— но глупо просчитались. Уважали врагов больше, чем они заслуживали, а достаточно было появиться вам — и партизаны бежали в тайгу...

— Они бежали перед японцами,— скромно возразил Сентяпов. — Японцы пришли и уйдут, вы останетесь. Останетесь как полновластный правитель. Они рабы и не могут жить без власти.

— И без веревки на шее,— съязвил Боренька Соловьев. — О веревке я анекдот роскошный знаю. Захватили каратели уездный городишко, собрали на площади митинг. Говорят: «Завтра на этой площади всех подряд вешать станем. Явка без опозданий. Вопросы есть?» — «Есть вопросец! — поднимает руку один простодушный. — Веревки-то казенные будут али свои приносить?..»

— Типичный представитель открытой и доверчивой породы дураков,— почмокал губами Сентяпов.

— Война — помните германскую? — доводит людей до кровожадности, если взвинчивать социальные страсти да разжигать психоз национальной вражды. Что ни говори, а несколько поколений стали навозом для будущего,— угрюмо произнес Елагин.

— Навоз для будущего? Я — навоз, вы — навоз, и нет иной альтернативы? Неужели нет? — забормотал Боренька.

— А я вот не желаю быть навозом даже для вечности! Мой идеал — сам большой да щей горшок. Не так ли, Дунечка? — похлопал кабатчицу по жирной спине Елагин.

— Я когда-то предпочитала идеальную любовь, но потом поняла — любовь начинается идеалом, кончается под одеялом,— затараторила Дунька.

— Хватит болтать, господа, пора думать о борьбе с большевизмом. Японцы пришли и уйдут, вы останетесь,— повторил Блейд. — А мы вам поможем.

— Если так, то мы станем друзьями. — Сентяпов протянул рыхлую ладонь Блейду. — С большевиками делить власть не желаю, а буду опираться на вашу помощь, господа.

Над морем стояла ночь и опять сияли небо, воздух, морские волны. Катер Дугласа Блейда скользил над бездонными глубинами, сопки проходили медленно, величаво, черная вода лениво обламывалась у бортов, за кормой клубился бугристый след. Хлопья пены выбрасывались на колени Сентяпова, он был погружен в неясные ему самому думы. Изредка поглядывая на светящуюся равнину моря, он чувствовал себя угнетенным. Угнетало сознание собственной малости в огромном северном мире, и казалось невозможным, что вот он — сын калужского скорняка — стал полновластным правителем.

— Моей власти могут угрожать одни большевики.

— Вы что-то сказали? — спросил американец.

— Я спросил: слово может быть оружием?

— Слово божие, разумеется...

— А человеческое?

— Если бог вкладывает его в наши уста...

— Я буду сражаться с большевиками божьим словом.

— Сражайтесь с ними делом, мистер Сентяпов! Война слов самая бесполезная и самая смешная из войн,— посоветовал Блейд.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Хмурый, исхудавший после воспаления легких отец Поликарп то читал Библию, то беседовал с Донауровым. Тот же, вернувшись из тайги, не показывался на улице, а коротал время со священником да наслаждался своей любовью к Феоне.

— Сколько новых людей у нас появилось, страсть! Делят святую Русь. Забыли, видно, что Русь-то единая, неделимая, нельзя ее на сто кусков распотрошить,— говорил отец Поликарп.

— И Россию, батюшка, можно распотрошить, только вот надо ли? Стоящее ли это дело? — спрашивал Андрей.

В комнату вошла Феона с тряпкой в руке. Она мыла окна, двери, стены, обмахивала пыль с мебели; Андрей любовался ее летящими движениями и видел, как стекла приобретают родниковую ясноту, бревна стен желто лоснятся, кровать под лоскутным одеялом стала похожей на цветочную поляну. Он испытывал признательную нежность и к ловким рукам Феоны, и к родниковым стеклам, и к цветному одеялу...

С моря ползла грозовая туча, от каждой молнии вода вспыхивала, словно подожженная. Грозы — редкое явление в высоких широтах — вызывали в Андрее беспричинную радость то ли своим могуществом, то ли дикой красой. Сегодняшняя гроза была необычной: на востоке небо и море соединяла сплошная стена

ливня, на северной стороне стояла радуга, в южной — солнце. Ливень, радуга, солнце усиливали радость Андрея, и без того настоянную на любви к Феоне.

— Как хорошо! — воскликнул он.

Феона положила ему на грудь ладони, прижалась головой и зарыдала.

— Что с тобой, Феона?

— Я плачу от страха, что скоро окончится наше счастье,— проговорила она сквозь слезы.

— Наше счастье не окончится до нашей смерти...

Она вздрагивала при каждом ударе грома, в отблеске молний лицо ее становилось то зеленоватым, то лиловым. После грозы наступила тишина, и Феона успокоилась.

Пробуждение ее начиналось обычно с недоуменного вздоха: она приоткрывала веки и видела на подоконнике странный шар в короне лучей. Откуда он появился? Требовалось усилие, чтобы понять — это же ее круглое зеркальце, в котором запуталось солнце.

Феона осторожно, чтобы не разбудить Андрея, выскальзывала из-под одеяла, потягивалась, жмурилась на стекла в дробинках прошедшего дождя, на занавески, что раздувались от морского бриза. Как ни осторожно вставала она, Андрей пробуждался одновременно, несколько мгновений следил за ней, потом бросался к Феоне.

— Да здравствует солнце! — Он обнимал ее и кружил на месте.

Феона в тысячу первый раз торжествовала свою победу над ним.

— Не все любят красоту, но все хотят есть, в том числе и ты,— говорила она, разливая чай: янтарная струя изгибалась над стаканом, пахло горячими булочками, кетовой свежепосоленной икрой.

— Вот оно — обыкновенное счастье, необходимое всем людям. В страхе потерять его плакала ты вчера,— сказал Андрей.

Окно закрыла фигура солдата.

— Вас просит зайти Сентяпов,— сказал солдат.

— Зачем я понадобился?

— У него и спросите, мое дело передать.

— Пойдешь к Сентяпову? — спросила Феона.

— Он предложит вернуться на радиостанцию.

— А ты как?

— Пить-то, есть-то нужно...

В кабинете Сентяпова Андрей столкнулся с Дугласом Блейдом, которого не видел с той злосчастной ночи, когда они были арестованы.

— Добрый день, мистер Донаурофф! Рад встретить вас в полном здравии,— приветствовал американец. — Вы еще не знакомы, рекомендую, Донаурофф — славный человек.

— Я потому и пригласил его, что наслышан. Предлагаю должность начальника радиостанции,— сразу перешел к делу Сентяпов.

— Так с ходу и в начальники? Надо поглядеть, в каком состоянии станция.

— Садись за столик и выстукивай: всем, всем, всем...

— Соглашайтесь, мистер Донауροфф! Я уже говорил господину Сентяпову, что, кроме вас, другого радиста нет на всем Побережье. А радио необходимо вот так,— Блейд провел ребром ладони по своему горлу. — Буду дополнительно платить за информацию, интересующую нашу фирму. Я только что рассказывал господину Сентяпову о том, как американский Запад относится к русскому Востоку. Авантюристы всех мастей уже готовятся к броску на Охотское побережье, их соблазняют русское золото, русские меха, моржовый бивень, морской зверь. В Сиэтле снаряжаются экспедиции, из Нома выходят шхуны, тучи барышников собираются перелететь на русские берега,— говорил Дуглас Блейд.

— Эти прощелыги одинаково опасны как русской коммерции, так и фирме «Олаф Свенсон»,— нахмурился Сентяпов. — Хотя, по правде говоря, я даже не знаю, имеет ли солидную базу на Побережье ваша фирма?

Дуглас Блейд обидчиво оттопырил губы.

— «Олаф Свенсон из Сиэтла» постоянно торгует с русскими на мысе Дежнева, в Анадыре, бухте Корфа, Петропавловске. Наши пароходы бросают якоря в Оле, Охотске, Аяне, шхуны наши ходят от мыса Дежнева до устья Колымы, у нас регулярные рейсы между Петропавловском и Владивостоком. Агенты Свенсона скупают пушнину и золото в чукотской тундре, якутской тайге, они постоянные гости в Верхоянске и Оймяконе. Среди наших агентов есть и тунгусы и якуты, мы платим хорошо, они работают великолепно. Агенты из туземцев покупают у охотников голубого песца за двенадцать рублей, мы им даем шестьдесят. Сколько же процентов наживают таежные компрадоры? И кто грабит охотников: наша фирма или туземные купчики?

— Неужели это правда? — поразился Андрей.

— А почему мои слова должны звучать ложью? И если это ложь, то что же такое правда? И ведь что обидно — нас величают белыми колонизаторами и зовут желтых и черных на борьбу с нами,— возмущенно постучал костяшками пальцев о столешницу Дуглас Блейд.

— Кто же зовет на борьбу? — спросил Андрей.

— Такие же белые люди, вернее — красные...

— Я эсер,— холодно напомнил Сентяпов,— но не копаю могилу белому человеку.

— Потому-то мы и готовы сотрудничать с вами. Мы окажем вам любую помощь, если вы станете охранять наши торговые

интересы на русском берегу океана. Мистер Донаурофф, вы будете полезны нашей фирме, и она отблагодарит,— напомнил Блейд.

— Значит, я слуга Земской управы и «Олаф Свенсон»? — с иронией сказал Андрей.

После ухода Донаурова Сентяпов сказал:

— Этот Донауров странный какой-то: не поймешь, чего хочет. Вот Индирский другое дело: был красным, стал белым — и дело с концом.

— И это есть прекрасно! Нам очень необходимо держать в тайне перемену цвета Индирским, с его помощью мы узнаем замыслы наших врагов,— заключил Блейд.

За окнами ворочалось ночное море, обдавая брызгами стекла. Оно гневно шумело, но люди, погруженные в свои дела, не слышали, не замечали шума. К Илье Петровичу сошлись на совет коммунисты.

— Сентяпов составил и вручил Елагину список, по которому все поименно приговорены к расстрелу. — Южаков вынул мятый клочок бумаги, бережно расправил углы.

— Кто раздобыл этот списочек? — спросил Индирский.

— Мальчик один, сын рыбака.

— Этот парнишка бежал из Булгина. Возможно, он провокатор?

— Ему шестнадцать лет. Слишком юн для такой роли. Но вернемся к делу: мы должны быть в курсе всего, что творится в штабе Сентяпова, у Елагина в Булгине. Это славно, что тебе удалось войти в доверие к Сентяпову.

— В глазах жителей Охотска я, мягко выражаясь, предатель,— вздохнул Индирский, прикрывая припухшими веками глаза.

— Интересы революции требуют умной тактики,— ответил Южаков. — Сейчас судьба Побережья ложится на наши плечи. И нам нельзя ошибиться, за ошибку можем заплатить дорогой ценой.

— Это верно. Кстати, Сентяпов собирается избрать самоуправление города из представителей Булгина.

— Не допустим! Категорически! — сказал Южаков.

— И еще одна новостишка. Сентяпов установил строжайший контроль на радиостанции. Мы будем жить в полной темноте, если так захочется Сентяпову. — Индирский придал своему сообщению сумеречную многозначительность.

— А нельзя ли Донаурова перетянуть на нашу сторону? Надо только разузнать, чем сейчас он дышит.

— Бабьей лаской дышат такие подлецы! — распалился Индирский. — Ради своей Феоны пойдет на преступление...

— В этом я вижу достоинство настоящего мужского характера,— рассмеялся Щербинин.

— Достоинство в готовности совершить преступление? — спросил Индирский, справившись со своей запальчивостью. — Может быть, на Донаурова лучше воздействовать через Феону?

— Где кровь, где преступление, там всегда женщины. Почему бы это, отчего бы это? — спрашивал Южаков.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Заиндевелый до бровей Елагин с порога протянул руку Донаурову.

— Ну, здравствуй, дружище! Не ожидал!

— Ты рискнул появиться в Охотске?

— А я инкогнито.

— Тебя знает каждая собака.

— Собаки промолчат, люди испугаются,— Елагин сел на диван, пружины застонали под его телом.

— Зачем бравировать собственным мужеством?

— Какое это мужество — нетерпение погулять в Охотске? Настоящее мужество — в терпении.

— Ты, я вижу, стал юмористом.

— Юмор учит терпимости. Поэтому приходится шутить, когда вовсе не до шуток.

— Что за нужда привела ко мне?

— Сперва напои чаем, после спрашивай.

Феона встретила Елагина как старого знакомого, но без прежней душевности,— Елагину показалось, что она стала строже.

— Она славная, твоя Феона! Ты счастливый муж, а вот я, видно, обручусь со смертью. Невеселая невеста...

— Почему такое мрачное предположение?

— Не по душе мне эта непрестанная драка, а выбора нет. И тебе пора выбирать между красными партизанами и моим отрядом.

— Надоели мне советы о выборе причала. Я стараюсь быть поближе к добру.

— Бесклассовое добро хуже подлости,— судорожно передернул губами Елагин. — Кто не понимает такой истины, тот испытает ее на собственной шкуре.

— Мне свойственна жалость к людям,— возразил Андрей.

— Жалеть надо себя, близких своих, свой класс, на худой конец. Большевики подкупают идеей классовой борьбы рабочих да мужиков. А нас вышвырнули на край океана. Боюсь, завтра утопят в океане,— говорил, раздражаясь от своих слов, Елагин.

— Зачем ты все-таки пришел ко мне?

— Затем, чтобы вернуть тебя к борьбе за класс предпринимателей. О дворянах уже не думаю, они обречены, а мы боремся, на нашей стороне японцы, американцы, такие могущественные фирмы, как «Олаф Свенсон», «Гудзон Бей», «Нихон-Мосхи»,— начал перечислять Елагин.

— Даже не слыхал про такие...

— Потому что невежда в торговом деле. Все эти фирмы кровно заинтересованы, чтобы Побережье не попало под власть Советов.

— Боритесь себе на здоровье...

— О, черт! Не думал, что люди так глупеют от любви. Сейчас ты служишь наемником Приморской земской управы, получаешь жалование от Сентяпова.

— Ну и что же?

— Завтра Южаков повесит тебя вместе с Сентяповым на одних воротах. Разве не знаешь, что Сентяпов уже не начальник Охотского уезда?

— Откуда ты взял?

— Неведомо тебе и то, что само правительство ликвидируется?

— Рассказывайте сказки другому!

— Неужели ты не принимал радио из Владивостока о переходе Камчатской области и Охотского уезда под начало Москвы? Японцы и большевики договорились о ликвидации земства как правительства, взамен его создано Приморское управление Дальневосточной республики, той самой, у которой романтическое прозвище — «розовый буфер».

— Я не принимал такой радиограммы,— растерянно признался Андрей.

— Принял ее ночной радист Козин. Скажи спасибо, что он передал трагическую весть прямо Сентяпову. Кроме Козина, да меня, да Блейда, новости пока не знает никто. А если она распространится, охотские большевики дадут Сентяпову по шапке.

— Оригинальная ситуация. Что же мне делать?

— Не стоять между чумой и холерой,— съязвил Елагин.— Я разговаривал с Сентяповым, он решил объявить себя представителем Дальневосточной республики.

— Он самозванец и обманщик!

— Тебе-то что за печаль? Этого самозванца я поддержу, а ты объявишь, что получил радио о назначении Сентяпова.

— У меня нет такой радиограммы.

— Выдумай, сочини, объяви.

— В таком деле я умываю руки...

— А Понтий-то Пилат все-таки распял Христа! Забыл? На днях Сентяпов созовет собрание жителей и объявит о своем назначении представителем «розового буфера». Ты должен выступить в его поддержку.

— Не люблю, когда со мной разговаривают в приказном тоне.

— Это совет, не приказ. Поразмысли, обдумай свое положение,— смягчился Елагин.

Феона подала завтрак и, словно догадываясь о неприятном разговоре между Елагиным и мужем, обеспокоенно вышла.

— Ты должен солгать хотя бы ради ее безопасности,— предупредил Елагин.

На улице лютовала метель, а в тесном зале кипели страсти, разделившие жителей Охотска на две части: первая держала руку Алексея Южакова, вторая склонилась на сторону Сентяпова. У второй была военная сила — казачий отряд и елагинцы. Они по-прежнему сидели в Булгине, но незримое присутствие их чувствовали собравшиеся в зале.

Митинг начался заявлением Сентяпова о том, что его назначили в Охотске представителем Дальневосточной республики. Он уже радовался успеху своего самозванства, но слово взял Южаков.

— Самый наглый авантюрист и самозванец может править нами по своему похотливому хотению. Да, есть политиканы, ухитряющиеся быть сразу и на чердаке и в подвале, господин Сентяпов из таких ловкачей. Не успев сложить с себя звания уполномоченного Приморской земской управы, он уже принял обязанности представителя Дальневосточной республики. Не спросив нашего желания, на основе одного нахальства...

Сентяпов сидел, зажав ладонями голову. «А ну, какие гадости ты еще наболтаешь?» — говорил его взгляд, следивший за Южаковым.

— Сентяпов даже не спросил, устраивает ли граждан такой правитель, как он? Устраивать-то устраивает, но кого? Толстосумов-барышников, да местных националистов, да таких, как Иван Елагин. Они его и поддерживают, кто деньгами, кто штыками, за их спиной японцы и «Олаф Свенсон». Сентяпов — самозванец, вроде тушинского вора, на побережье Тихого океана...

Гул и одобрительных и протестующих голосов прокатился по залу:

— Чего врешь? А радиограмма?

— Самозванец! Тушинский вор!

— Южаков — агент большевиков!

— Сентяпов — правитель спекулянтов!

— Вы принимали радиограмму, Донауров, о назначении Сентяпова уполномоченным Дальневосточной республики? — на весь зал спросил Южаков.

Все повернулись к Андрею, сидевшему в последнем ряду. Он встал, растерянно, даже испуганно, не зная что ответить.

— Скажи людям правду,— настаивал Южаков.

— О такой радиограмме мне ничего неизвестно. Зато получил я от Камчатского ревкома вот такое распоряжение. — Андрей вынул из кармана и развернул листок: —«Уполномоченный Приморской земской управы Сентяпов от участия в управлении уездом устраняется. За пользование властью, которая отпала, привлечь его к уголовной ответственности...»

— Плевал я на приказы Камчатского ревкома! — рассвирепел Сентяпов. — Вот моя власть! — Он поднял правую руку, растопырил пальцы, сжал в кулак и грохнул им по столешнице.

Вечером Сентяпов посоветовал Индирскому:

— Сокруши Донаурова, не вызывая подозрений, что мстим.

— Я сокрушу его через Феону,— веско ответил Индирский.

В ту же ночь он арестовал отца Поликарпа. Феона кинулась к Южакову, но вместо него застала Индирского. Он принял ее замкнутый, строгий, застегнутый на официальные пуговицы формалиста. Феона стала умолять Индирского, чтобы он отдал отца ей на поруки.

— Ну зачем же на поруки? Ежели ваш отец невиновен, выпустим,— наслаждаясь ошеломленным видом Феоны, сказал Индирский.

Выпроводив Феону, он тут же вызвал на допрос отца Поликарпа. Его привела Дунька — Золотой пуп; по совету Елагина, Индирский взял ее на службу.

— Садитесь,— показал Индирский на стул.

Отец Поликарп сел, отбросил длинные волосы, выправил из-под бороды серебряный крест.

— Так, начинайте давать показания. — Индирский с дымящейся папиросой в зубах остановился перед священником.

— Я ни в чем не повинен,— со скорбным достоинством ответил отец Поликарп.

— Крутитесь не крутитесь, а признаваться придется.

— В чем меня обвиняют?

— Про свою вину сами расскажете. А если будет необходимо, скажу. Всему свое время и место...

— Теперь мое место не только у креста, но и на кресте,— стоически возразил отец Поликарп. — Господь бог свидетель, что я неповинен.

— Я уже окончил допрос свидетелей. Даже такой свидетель, как бог твой, не нужен.— Индирский щелчком вышвырнул окурок в раскрытую форточку, подсунул пальцы под мышки. — Поп учит меня достоинству, я научу попа откровенности...

Отец Поликарп снова томился в подвале, ожидая, когда его вызовет Индирский. Через день Дунька распахнула дверь.

— На допрос, красавец мой, на допрос, батюшка,— пропела она.

Отец Поликарп опять смотрел мимо Индирского в утреннее окно, освещенное солнцем; морозные цветы на стекле искрились с особенной нежностью. Грязный, нечесаный отец Поликарп как бы весь съежился и сник перед чистеньким Индирским.

— Напиши дочери записку, чтобы взяла на поруки,— сказал Индирский с сердечной улыбкой.

Через час он послал Дуньку за Феоной. Феона пришла встревоженная, печальная, села на стул напротив Индирского и была так близка — протяни руку и прикоснешься, но по-прежнему недоступна.

— Отец написал, что вы согласны отпустить его на поруки. Это очень хорошо с вашей стороны, я не знаю, как отблагода-

рить,— начала Феона, но тут же смолкла, пораженная жарким блеском в глазах Индирского.

— Зато я знаю чем,— развязно и возбужденно ответил Индирский. — Знаю чем! Мне не нужно ни молитв, ни золота, я хочу, мне надо... Неужели ты не догадываешься, что надо мужчине от женщины? — переходя на «ты», спросил он.

Хотя Феона уже поняла, но все еще делала вид, что не понимает, чего хочет Индирский.

— Если любишь отца, докажи свою любовь. Ты же умница, понимаешь все. Понимаешь ведь, а? Все останется между нами, ни одна душа не узнает про это,— шептал Индирский, подходя к Феоне и кладя ей на плечи дрожавшие пальцы.

Феона наклонилась вперед, пряча в ладонях покрасневшее от обиды, возмущения, гнева, страха лицо. «Боже мой! Что делать? Ценой измены Андрею я должна спасти отца? Что дороже — его жизнь или моя честь?»

Индирский приподнимал за плечи Феону, и она автоматически следовала его усилиям. Он провел ее из кабинета в угловую комнату-спаленку, правой рукой снял дошку, левой опустил плотную штору.

...Феона обессиленно поправляла спутанные волосы, Индирский, торжествуя победу, стоял у окна. «Надо сдержать свое слово. Против попа все равно нет никаких улик, а я сокрушил Донаурова». Он приоткрыл дверь, позвал:

— Эй, Дуня! Где ты там, Дуняша?

— Я хотела сказать, но вы были заняты... У нас неприятное происшествие,— испуганно затараторила вбежавшая Дунька.

— Приведи сюда арестанта священника.

— Его-то и нетучки...

— Как это нету? Где арестованный?

— Они померли утречком. Сердечко не выдержало...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Пора кончать с Сентяповым, а заодно и с Елагиным. Пока они в силе, Советам на Побережье не существовать. Для руководства восстанием предлагаю создать ревком,— говорил Южаков.

— Нас слишком мало для успеха восстания,— осторожно возразил Индирский.

— Их тоже не очень много. С приисков придет партизанский отряд, и мы кинем его против елагинцев.

— Кто арестует Сентяпова? — спросил Щербинин.

— Индирскому поручим это дело.

— Ваше решение — закон для меня, но обеспокоен одним обстоятельством,— торопливо заговорил Индирский. — Мы все еще не знаем, кому подчиняемся: Камчатскому ли ревкому, правительству ли Дальневосточной республики, или же якутским

большевикам. Потому-то наша акция может принести больше вреда, чем пользы, японцы используют это как предлог для нападения. Одним словом, задуманный мятеж выпадает из хода революционного процесса...

— Прежде всего у нас не мятеж, а восстание, разница принципиальная. А в ДВР правят большевики, и наше восстание не противоречит общему ходу революционного процесса,— твердо сказал Южаков.

— Когда же начнем? — опять с вкрадчивой осторожностью спросил Индирский.

— В ночь на восемнадцатое апреля...

— Значит, послезавтра. Ночью я арестую не только Сентяпова, но и всех его помощников. Как быть с Дугласом Блейдом?

— Американца не трогай. Бери только отпетых контрреволюционеров. Кстати, Донауров жаловался на незаконный арест его тестя. Арестовать, дескать, арестовали, а никаких обвинений попу не предъявляют. Кто его арестовал?

У Индирского похолодело сердце: он не посмел доложить, что отец Поликарп скончался. А если Южаков еще узнает о его насилии над Феоной!..

— Мятеж начинается сегодня ночью. Мятежниками командует Южаков, он же председатель только что созданного ревкома. Утром из тайги подойдут партизаны, теперь у большевиков подавляющее превосходство в силах,— беспокойно оглядываясь, говорил Индирский.

— Так что же делать? Что делать? — запричитал Сентяпов. — Я могу незаметно уйти из города? Не схватят мятежники?

— Ступай якобы на охоту. На берегу Кухтуя тебя будет ждать Дунька и отвезет в Булгино.

Индирский заглянул к себе, наказал Дуньке, в каком месте ждать ей Сентяпова, и присел к столу в нерешительном раздумье.

«Чем объясню смерть попа, как опровергну жалобу Феоны?..»

В дверь постучали, Индирский открыл. В кабинет вошел Козин.

— Что тебе надо? — сухо спросил Индирский.

— Зовет по срочному делу Южаков,— тоже сухо ответил Козин и тут же исчез.

Встревоженный Индирский спрятал наган за пазуху, вышел на улицу. С моря дул пронзительный ветер, черная завеса тьмы рассекалась летящими полосами снега.

Едва перешагнув порог ревкома, Индирский увидел Феону, потом Щербинина, Южакова и Козина, прислонившегося к стене. «Почему здесь Феона? Неужели пожаловалась?» Индирский сунул руку за пазуху.

— Явился по вашему приказанию,— начал он, обращаясь к Южакову.

— Именем революции ты арестован! — крикнул Южаков, вставая. — Оружие на стол, подлец!..

Индирский выхватил наган, молниеносным ударом сбил висячую керосиновую лампу и, стреляя наугад, выскочил на улицу.

Ревком напасть на Булгино не решился: предупрежденные Индирским, елагинцы приготовились к обороне, а сил для решающего штурма у партизан по-прежнему недоставало.

В начале мая в ревком явился иссушенный голодом и долгой таежной дорогой охотник. Пошатываясь, прошел он от двери до стола и рухнул на скамью. Южаков кинулся было к нему, но охотник, путая русские слова с якутскими, сказал:

— Я проводник Джергэ — привел из Якутска отряд комунисимов охотскому собиской ревэикому[1]. Неподалеку от Охотска на нас напали белые...

Два месяца шел отряд, но на Кухтуе его заметил Матвейка Паук, промышлявший в тайге белку. Он-то и сообщил о приближении красных. Елагин устроил засаду, и перебил почти всех бойцов.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Море было беспредельным и синим, воздух влажным и звучным, но Андрей не замечал утренних красок, внимание его приковал силуэт японского крейсера, выраставшего из воды медленно, но непреклонно.

Несмотря на ранний час, жители высыпали на берег: первые корабли Охотск всегда ждал как престольного праздника. На этот раз радость ожидания сменилась тревогой: крейсер бросил якорь и навел орудия на городок.

Напрасно Южаков разглядывал крейсер: на палубах было пустынно, обессиленно висел флаг с восходящим солнцем островной империи.

— Вот ведь душемотатели! Сидят по каютам, а пушками пугают. Как называется крейсер? — спросил Южаков.

— «Ибараги»,— ответил Андрей.

— Что это такое?

— Не знаю.

От «Ибараги» отчалила шлюпка с двумя парламентерами: они пригласили представителей городской власти на крейсер. На переговоры отправились Илья Щербинин и Василий Козин.

Все оказалось необычным на японском крейсере: перед кают-кампанией пришлось снять сапоги и надеть матерчатые туфли и потом много кланяться, отвечая на поклоны командира, и неловко было сидеть на камышовых татах, держа на отлете палочки для еды, завернутые в папиросную бумагу, и пить бренди из крошечных рюмочек.

---

[1] Советский ревком (*якутск.*).

Василий даже позавидовал Щербинину — тот, не замечая цветных фарфоровых тарелочек с непонятными кушаньями, с интересом смотрел на японца: скуластый, с седым бобриком волос, полковник был весь предупредительность. Василий прислушался к его сюсюкающему голоску, пытаясь угадать, куда же он клонит.

— Корусак был прохим черовеком,— говорил командир крейсера. — Он присинил много вреда и русским и японсам, даже своим офисерам. — Японец взял из вазы с фруктами нож, стал кромсать ананас. — Корусак резал всех, резал безразборсиво, пока самого не приконсили борсевики,— улыбнулся он широким ртом. —Но борсевики тозе не хотят друзбы с нами и постоянно нарусают согласие. Особенно недрузелюбны к японсам во Владивостоке, но теперь уже все консено. Теперь все консено: в Приморье русские купсы братья Меркуловы свергли борсевиков...

— Это правда? — спросил Илья Петрович.

— Засем скрывать такую новость? Братья раздвигают границы своей врасти,— развел руками японец. — Они готовят военную экспедисию на Охотское поберезье. Не верите мне, так вот газета...

«Экспедиция в Охотск и на Камчатку под начальством есаула Бочкарева предпринимается в целях расширения территории Приморской земской управы»,— прочитал Василий и подумал: «Есаул Бочкарев? Неужели тот самый, что сжег в паровозной топке комиссара Лазо?»

— Ваш визит мы рассматриваем как вмешательство в русские дела,— без обиняков заявил Щербинин.

— Мы хотим полусить компенсасию за собственность подданных нашего императора...

— Рыбные промыслы грабил Сентяпов.

— Кто сейсас здесь правит, тот и отвесает.

— Коммунисты не несут ответственность за разбойничьи грабежи.

— Я надеюсь, мои орудия будут крепсе моих слов...

Не желая осложнений, Щербинин начал торговаться о сумме компенсации, пока не сошлись на шести фунтах золотого песка.

— Хоросо, хоросо, японсы — люди сивиризованные и не станут спорить по пустякам. Вазен принсип, господа! Принсип — верикое дело,— говорил японец, провожая Щербинина и Козина до трапа.

В эту минуту с правого борта показался катер: Козин узнал в человеке, сидевшем рядом с мотористом, Ивана Елагина. Катер красиво развернулся и пристал к «Ибараги». Лицо командира крейсера расплылось в улыбке, он снова был весь почтительность, весь доброжелательность и прижал руки к сердцу.

— Их встреча не предвещает ничего хорошего для Охотска,— сказал Василий.

— Что же тут хорошего, если ворон к ворону летит,— согласился Щербинин.

Для городка наступило бессонное время: «Ибараги» с утра до вечера курсировал по взморью, по ночам его прожекторы ощупывали каждый квартал.

Через день в океане опять появились черные стволы дымов. Они приближались к берегу, пока не превратились в грязно-серые пароходы, на их палубах, слегка прикрытые брезентом, стояли морские орудия. «Свирь» и «Кишинев» кинули на рейде якоря, но капитаны высадиться на берег не спешили. Тогда Щербинин решил послать к ним парламентером Блейда.

На своем щегольском катере американец помчался к сумрачной громаде «Свири», впаянной в вечернюю воду взморья. Орудия, нацеленные на город, угнетали: к неизвестности всегда относятся настороженно. Парламентера встретил низенький, с бульдожьими челюстями, есаул.

— Здравствуйте, мистер Блейд! Рад вас видеть своим гостем. Вы меня пока не знаете, но это ничего. Скоро узнаете...

— Откуда известно мое имя? — спросил Блейд, опасливо пожимая мясистую ладонь есаула и наметанным глазом замечая, что грозные орудия — фанерная бутафория и только одно настоящее.

— Я привез вам письмо от Олафа Свенсона...

— С кем имею честь разговаривать? — спросил Блейд.

— С начальником Северного экспедиционного отряда Валерьяном Ивановичем Бочкаревым.

В кают-компании есаул объяснил цели экспедиции.

— Правительство братьев Меркуловых решило взять под свою руку Охотское побережье, Камчатку и Чукотку. Мне поручено навести здесь порядок. И я наведу его! — самодовольно хрипел Бочкарев. — Сейчас жду приезда господина Елагина, чтобы совместно начать действия против Охотска, если город не подчинится добровольно. Вы знакомы с Елагиным?

— Иван Иннокентьевич — мой друг.

— Ваши друзья — мои друзья. Попрошу свезти Охотскому ревкому ультиматум о безоговорочной сдаче, а пока вот письмо от Олафа Свенсона.

Свенсон советовал своему представителю не жалеть золота, не скупиться на оружие, быть щедрым на провиант и товары. Фирма идет на любые расходы, чтобы помочь успеху Северного экспедиционного отряда.

Пока Дуглас Блейд читал письмо, Бочкарев, развалившись в кресле, курил сигару.

— А теперь взгляните на это,— протянул он Блейду плотный лист, усеянный машинописью, с размашистыми подписями и печатями.

«Мы, нижеподписавшиеся, заключили настоящий договор о нижеследующем,— прочитал Блейд. — 1. Я, начальник Северно-

го экспедиционного отряда Бочкарев, предоставляю все преимущества перед иностранными подданными в отношении торговли в Охотско-Камчатском крае Олафу Нильсовичу Свенсону, а также разработки золотых приисков. 2. Я, американский подданный Олаф Нильсович Свенсон, взамен предоставленных мне в вышеизложенном пункте прав и преимуществ снабжаю отряд Бочкарева всем необходимым за наличный расчет золотом или сырьем. 3. Все грузы, идущие в адрес Северного экспедиционного отряда от Олафа Нильсовича Свенсона, свободны от налогов и пошлин».

— Что скажете, мистер Блейд?

— Олл райт! Колоссально! Это то самое, о чем я мечтал на русском Севере еще до революции. Теперь мечты сбываются. Если бы еще сокрушить наших соперников «Гудзон Бей» да «Кунст и Альберс»,— эти ловкачи прямо из-под носа выхватывают пушнину,— пожаловался Дуглас Блейд.

— Я согну их в бараний рог...

— У меня есть список всех соперников.

— Подберу петлю на шею каждому подлецу...

— Мешают нам и японские фирмы.

— С ними придется поделикатничать. Братья Меркуловы снарядили мою экспедицию на иены. Ничего не попишешь — политика!

Дуглас Блейд подумал: «Он устремился в политику, словно в бандитский набег», а вслух сказал:

— Да, политика! Ради нее не только самураям, но и большевикам улыбаемся.

— Передайте мой ультиматум без улыбок. Если не выкинут белого флага, я расстреляю их городишко. Кстати, не проговоритесь про фанерные пушки, ведь заметили мои декорации.

— Не беспокойтесь, раздую панику! Но городу и так и этак не устоять против вас, господин же Елагин станет драться с красными, как лев...

Ревком долго обсуждал ультиматум Бочкарева. На тех, кто предлагал сдаться, как ушат холодной воды подействовало сообщение, что именно Бочкарев сжег в паровозной топке Сергея Лазо. Угроза артиллерийского обстрела также повлияла на решение; чтобы сохранить город и избежать кровопролития, ревком решил покинуть Охотск.

Партизаны уходили в тайгу с надеждой на скорое возвращение и взяли с собой только самое необходимое. Феона и Андрей прихватили теплые вещи да недельный запас провианта.

Бочкарев и Елагин разграбили все дома, все торговые склады, кроме фирмы «Олаф Свенсон». Бочкарев предложил догнать ушедших партизан и ликвидировать их как опасных преступников. Елагин, Сентяпов, Индирский согласились. В Охотск привезли несколько тунгусов, собрали русских рыбаков и от

имени их постановили: «Вся суверенная власть на Охотском побережье принадлежит съезду представителей населения. Молить господа бога о возвращении на престол государя императора...»

— Это вы сочинили такое постановление? — спросил Елагин у Бореньки Соловьева.

— Вам не нравится стиль?

— Мне его глупость не нравится. Молить бога о возвращении на престол государя императора, когда он уже пятый год на том свете? Бред сумасшедшего — такая мольба!

— Я имел в виду бессмертную монархическую идею,— оправдывался Боренька.

— Идите-ка к чертям с вашей бессмертной идеей! Управлять Побережьем станем я и Бочкарев, вот это и надо отразить в протоколах монархического съезда.

Бочкарев снарядил карательный отряд под командой Матвейки Паука.

— Беглецов догнать и вернуть в Охотск. Большевиков лучше сразу отправить на тот свет. За малейшее сопротивление — пулю в лоб, и хранит вас господь! — напутствовал карателей Бочкарев.

— Приведи мне Феону живой и невредимой,— приказал Елагин Матвейке Пауку.

Пятнадцатый день вел партизан охотник Джергэ на Маю-реку; болота сменялись лесными завалами, тропу пересекали бурные потоки, люди спали у костров, под моросящим дождем. Обувь развалилась, одежда изодралась, провиант кончился. Начались болезни, на тропе замаячили могилы.

Феона поражала своей выносливостью Андрея, на ее потемневшем, исхудалом лице лихорадочно горели глаза, между бровями пролегла резкая морщина.

— Почему ты все время молчишь? — спрашивал Донауров.

— Я теперь словно камень при дороге. Существую безмолвно,— признавалась она. — Жить по-настоящему — это изменяться, к лучшему ли, к худшему ли, но изменяться, я же окаменела.

К исходу шестнадцатого дня Джергэ привел беглецов на Аллах-Юнь, где стояли две хижины. Аллах-Юнь было таким печальным, затерянным местом, что даже эхо в его ущельях звучало зловеще. Южаков разместил женщин и больных в хижинах, мужчины стали вязать плоты, Джергэ советовал спускаться на плотах до Алдана, который вынесет их на Лену.

Большой привал продолжался два дня, люди отдохнули и воспрянули духом.

— Мы здесь как осужденные на смерть, только не знаем, когда исполнят приговор,— сказал Андрей.

— И осужденные на смерть надеются на чудо,— ответил Южаков, поворачиваясь к подошедшему проводнику. — Якутск не скоро замаячит, Джергэ?

— До него еще сто кесов, если тайгой шагать.

— Семьсот верст по оленьим тропам, а сколько водой?

— Не знаю, однако. В Якутск людей посылать надо. Двух-трех посылай, один умрет, второй дойдет, а все вместе не успеем до зимы добраться. Морозы ударят, пропадай тогда люди,— предупредил Джергэ.

— Кто одолеет такой путь до Якутска? Кого я могу послать почти на верную гибель? — спросил Южаков.

— Я мало-мало вынесу...

— А второй кто? С кем бы ты пошел, на кого бы положился в такой дороге?

— Вот на него можно положиться,— показал проводник на Донаурова.

— Что ты скажешь на это, Андрей? — осторожно спросил Южаков.

— Джергэ и ты — самые выносливые среди нас, я уверена, вы дойдете до Якутска и вернетесь с помощью. Спасая всех, ты спасешь и меня,— сказала Феона.

Андрей наклонил голову в знак согласия. На рассвете Джергэ и Донауров отправились в свой далекий опасный путь. Вечером того же дня к Аллах-Юню подошли елагинцы. Они незаметно окружили почтовую станцию, устроили по кустам засады и ждали, когда люди улягутся у костров.

Отличные охотники, они стреляли без промаха, убивали наверняка. Под пулями их винчестеров первыми пали Илья Щербинин и самые опытные из партизан, лишь Алексей Южаков оказал отчаянное сопротивление. Елагинцы уничтожали захваченных врасплох, измученных и голодных людей, подвергая их самым подлым пыткам. Вскрывали животы, вытаскивали кишки и развешивали по деревьям, вырезали на лбах кровавые звезды, женщин вешали вниз головой над огнем.

Матвейка Паук несколько раз предлагал Южакову сдаться: тот отвечал выстрелами.

Паук оцепил ночные кусты надежным, как показалось ему, караулом, но на рассвете он не обнаружил Южакова.

— На берегу лежала оморочка, сам видел,— выругался Паук. — Вывернулся, подлец, из моих лап, да недалеко уйдет. Я не прикончил; тайга доконает. Сколько мы в плен похватали?

— Одна баба осталась,— отозвался кто-то.

Паук посмотрел на Феону и вспомнил наказ Елагина доставить ее в Охотск целой и невредимой.

— Скажи спасибо Елагину, что одной тебе жизнь уберег. Уж лучше с ним спать в кровати, чем в могиле,— цинично добавил он.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В дымчатом небе, на распростертых, как пиратское знамя, крыльях, носился ворон и пронзительно каркал:

— Беда, люди, беда!..

И разворачивался, и мчался над унылыми сопками, над таежными трущобами, резкая тень его мелькала всюду, и раздавался везде рыдающий голос птицы:

— Горе идет по тайге!..

Над оленеводами, и охотниками, и рыбаками простирал свои крылья ворон, и падало с высоты яростное предупреждение:

— Некуда деться людям от боли!..

Ворон опускался до самой земли, но тут же взмывал к ложным не греющим солнцам, что стояли по сторонам настоящего.

Ложные и настоящие солнца казались призрачными видениями Полярного круга и, подобно ворону, предупреждали о власти зимы, голода на тусклых просторах Севера...

Якутская тайга жила на привозном хлебе и товарах: все — от муки до швейной иголки — завозилось русскими, американскими, японскими коммерсантами. За ружье охотники расплачивались соболями, за табак и чай отдавали голубых песцов. Беличьи хвосты и черно-бурые лисы были разменной монетой при расчете за муку, дробь или порох.

В годы мировой и гражданской войн привоз товаров в тайгу прекратился: необозримые ее районы оказались в отчаянном положении. На таежных жителей бременем легли всякие повинности и налоги; почтовая гоньба, перевозка войск, принудительные разверстки на мясо, молоко, рыбу, пушнину разоряли охотников, оленеводов, рыбаков.

Голод обрушился на таежных людей.

Голод шагал по берегам Лены, Алдана, Маи, по голым плоскогорьям Улахан-Чистая, по гиблым болотам Олы.

И где касался он костлявой рукой становищ — там коченели трупы, дымились развалины, чернел пепел забвения.

Пароходные гудки не оглашали северных морей, шхуны не привозили товаров, карбасы не высаживали искателей золота.

Проводники не пробивали новых троп в зарослях, купцы не торили старых трактов.

Зато шаманы колдовали по стойбищам, предсказывая час, когда крылья ворона закроют красную звезду.

Зато от наслега к наслегу, из улуса в улус спешило капсэ о начале мятежей и восстаний.

Во главе мятежей становились тойоны, за оружие брались шаманы. Якутские купцы объединялись с русскими богачами, белые офицеры становились вожаками повстанцев.

Уже давно плели тайную сеть антисоветского заговора якутские буржуазные националисты. Они обратились за вооруженной помощью к белогвардейскому правительству братьев Меркуловых, окопавшихся во Владивостоке, к японским оккупантам, американским миллионерам, грабившим сказочные сокровища русского Севера. Таежные князьки — тойоны, купцы — компрадоры, русские золотопромышленники снабжали заговорщиков деньгами и оружием.

В то же время якутские руководители извратили решения по национальному вопросу, которые принял Десятый съезд партии большевиков.

Они начали ликвидацию кулаков и тойонов, принудительное кооперирование бедноты. Кулаки, тойоны, шаманы лишались своих земель, имущества, гражданских прав, выселялись за Полярный круг. Убогие хозяйства кочевников закрепляли на постоянном месте, звероловов заставляли пасти оленей, оленных людей посылали на золотые прииски.

Загибщики думали, что пришло время сокрушить старый мир тайги, сломать и сжечь обычаи, привычки, сложившийся веками уклад жизни.

Левацкими загибами советских руководителей Якутии воспользовались контрреволюционеры всех мастей. Во главе мятежа встали колчаковские офицеры, служившие в военных организациях Якутска.

Мятеж начался с побега группы офицеров. Двадцатилетний корнет Васька Коробейников с товарищами захватил на реке Мае караван барж с промышленными товарами и увел их в поселок Нелькан, где жил, тоскуя по политическим авантюрам, Петр Андреевич Куликовский.

Всю жизнь кидался он из одного приключения в другое, подпольничал, конспирировал, принимал участие в борьбе революционеров против самодержавия. Шаг за шагом отступал он от революционных идей, пока не превратился в непримиримого

врага большевизма. В конце двадцатого года Куликовский оказался в Якутске, надвигающаяся старость погасила его мятежный пыл. После разгрома колчаковщины он забрался в глухоманное поселение Нелькан и стал скромным экспедитором кооперативного товарищества «Холбос». У него было время поразмыслить над печальным вопросом: жизнь прошла, мечтания о переустройстве России обратились дымом и прахом.

Осенью двадцать первого года в Нелькане появилась группа мятежных офицеров. Петр Андреевич воскрес для приключенческой жизни, когда к нему явился Коробейников,— в старом эсере опять забушевала страсть к политическим комбинациям.

Петр Андреевич устроил банкет в честь корнета и спросил у гостей: как офицерский мятеж превратить в народное восстание? И сам же ответил на него: левацкие загибы якутского ревкома, губчека, ревтрибунала — хорошие козыри в руках мятежников.

— Фунт кирпичного чая, аршин ситца дивные дела сотворят в борьбе с большевиками. Грешно их не использовать, дважды грешно не раздуть пожар восстания при таких обстоятельствах. Да здравствует право свободно жить на свободной земле — вот девиз, под которым пойдут в бой инородцы,— вдохновенно проповедовал Петр Андреевич. — Раздувайте пожар восстания! Пусть выгорит вся тайга, зато мы озарим половину мира...

От имени якутского народа собравшиеся создали военную и гражданскую власти. Петр Андреевич возглавил власть гражданскую, а корнет Коробейников двинулся на Якутск.

Восстание распространялось с ужасающей скоростью, мятежники свергали Советы по наслегам, громили гарнизоны по улусам. Поздней осенью Коробейников с трех сторон осадил Якутск. Гарнизоном города командовал нерешительный человек, он пассивно оборонялся, страшась вступить в открытую схватку с мятежниками, но и корнет не мог взять Якутска штурмом, теряя драгоценное время и боевой дух на мелкие набеги и засады.

Куликовский сообразил, что без опытных, знающих свое кровавое ремесло вояк не свергнуть Советов, и решил обратиться за помощью во Владивосток, к правительству братьев Меркуловых.

Нельканские купцы собрали депутацию и в своем обращении написали, что народности севера восстали против красных угнетателей, просят Меркуловых послать им военачальников и взять под свою руку якутскую тайгу.

Депутация, возглавляемая Петром Андреевичем, с сумками золотого песка, с тюками драгоценной пушнины выехала в Охотск.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Второй месяц Джергэ и Андрей Донауров брели в Якутск. Давно остался позади Аллах-Юнь, а цель по-прежнему была недосягаема.

Андрей потерял представление о времени, усталость и голод подавляли все мысли, даже Феона стала далеким, неясным видением. Иногда хотелось лечь на снег и погрузиться в белое безмолвие, но Джергэ убивал такое желание шуткой:

— Работай, догор[1], ногами, если хочешь жить. Не вымрет рыба от щуки, человек от работы...

— Где мы теперь, Джергэ?

— Одолеем еще перевал, и будет Чурапча, пройдем от Чурапчи еще два дня, две ночи — и Якутск...

Ночь застигла их на перевале. Снег плясал по обрывам, поднимаясь вертучими столбами, в волчьей проседи тумана скрывались пропасти. Джергэ зажег костер, сварил еще днем убитых куропаток, двух отдал Андрею, одну взял себе.

— Надо поровну делить, я без тебя все равно пропаду. — Андрей проглотил кусочки белого мяса, разжевал хрупкие косточки и еще сильнее почувствовал голод. — Куда подевались таежные люди? Ни одной живой души на тропе!

— Тайга не город. Это в городе людей как комаров на болоте,— рассмеялся Джергэ.

Андрей тоскливо подумал: «У Феоны не осталось продуктов и нет зимней одежды. А что, если Бочкарев пошлет погоню за ушедшими?» Он напрасно отгонял эту мысль, опять вспомнилось, что именно Бочкарев сжег в топке паровоза комиссара Лазо. «Гиена в образе человека! И такие люди ходят по земле? С кем-то живут, любят кого-то?»

Он прилег у костра, поджав ноги, старался уснуть и не мог: все рассматривал звезды, зеленые, словно рысьи глаза. Проснулся от холода, костер погас, на востоке кровенела заря. Джергэ уже встал и, как голодный зверь, нюхал воздух.

— Дымом пахнет, кто-то оленину варит. Нам поспешай надо.

Они опять шагали, оскальзываясь на обледенелых скалах. Когда сошли с перевала, Джергэ заметил серую струйку дыма на белом фоне сопки. Вскоре они стояли перед охотником-якутом.

Охотник встретил их опасливо, но все же накормил олениной, дал махорки. Лишь после длительных расспросов, узнав от них все капсэ, сообщил:

— Комунисимы отобрали у таежных людей олешек, ружья, пушнину. Сапсем все отобрали, воевать их надо. Теперь собираются у всех тойонов языки резать...

— Языки? Комунисим? — рассек вопросами свою фразу

[1] Догор — друг (*якутск.*).

Джергэ и в ужасе повернулся к Донаурову: — Зачем комунисиму чужой язык?

Андрей объяснил, что старейшины-тойоны лишаются права голоса на народных собраниях. Джергэ сокрушенно покачал головой и все повторял:

— На сходке голоса нет, а в яранге? Как с бабой разговаривать, как детишек ругать?

— Пропадет сапсем тайга, народ тоже помирай. Воевать надо, я вот иду в Чурапчу на помощь Саха-Омук[1]. Теперь каждый якут помогает Саха-Омук,— убежденно сказал охотник, затаптывая костер.

В Чурапче их задержали часовые, Андрея повели в штаб мятежников. Он торопливо обдумывал, за кого себя выдать, что говорить, когда его втолкнули в тесную, грязную хижину, украшенную царскими флагами. На стене рядом с иконами висел портрет Николая II, за дощатым столом в полушубке и шапке сидел молодой человек — кудрявый, с чувственным ртом, сизыми, студеными глазами.

— Кто вы такой? — с надменной усмешкой спросил он, снимая шапку: кудрявые волосы рассыпались по плечам.

— Торговый агент фирмы «Олаф Свенсон» из Охотска,— солгал Андрей.

— Как очутились в Чурапче?

— Ехал по торговым делам в Якутск.

— На чем же ехали?

— Олени пали от голода.

— Разве не знаете, что Якутск осажден моими войсками?

— Охотск не имеет связи с Якутском, а я уже второй месяц в пути.

— И Охотск не знает о народном восстании против большевиков?

— Вероятно, нет.

— Странно! Я послал нарочных с воззванием к жителям Побережья переходить под знамена моего восстания,— подчеркнул два последних слова молодой человек. — Мне известно, что Охотск захвачен есаулом Бочкаревым, красные бежали в Аллах-Юнь. Мне известно это, а что происходит в Якутске, вы не знаете. Я вам не верю...

— Может быть, ведь я так давно из Охотска,— согласился Андрей.

— Вы шли через Аллах-Юнь?

— Другой тропы из Охотска нет.

— В Аллах-Юне были до резни или после? — как о чем-то совершенно обыденном спросил молодой человек.

— О какой резне речь? — сразу похолодев, спросил Андрей.

[1] Саха-Омук — «Якутская нация» — националистическая организация, существовавшая в Якутии до 1928 года. *(Прим. автора.)*

— Отряд Елагина догнал красных в Аллах-Юне и перерезал всех.

— Как всех? И мужчин и женщин?

— Над бабами потешились, для того и бабы,— молодой человек смачно сплюнул и похабно выругался. — А вы знаете, с кем разговариваете? Корнет Василий Коробейников, командующий народной армией Якутии...

Но Андрей уже не слышал, что говорил Коробейников, кровь отхлынула от его лица, в глазах почернело, он сполз со скамьи на пол.

— Что с ним? Положите его на скамью,— приказал Коробейников. — Приведите в сознание...

Андрей пришел в себя, сказал упавшим голосом:

— Я обессилел от голода и усталости.

— Вас накормят и отправят в Якутск на олешках. Никто из повстанцев не задержит на дороге, если доставите якутскому ревкому мой ультиматум о сдаче. Своих офицеров послать не могу — повесят,— словно оправдываясь, добавил Коробейников.

Предложение было таким неожиданным и счастливым, что Андрей согласился без колебаний.

— Со мной шел проводник. Его тоже арестовали. Прошу освободить.

— Он якут? Пусть едет с вами как представитель восставшего народа. Даю сутки на отдых, а завтра в путь. — Корнет мягко, по-волчьи ступая, прошелся по избе. — Возможно, вы и не торговый агент, а большевик и мне следует вас повесить, но я подожду. Захвачу Якутск, и люди позабудут даже звук этого проклятого слова,— серебристо рассмеялся Коробейников, не убирая с лица надменного выражения. — Если вы действительно работник фирмы «Олаф Свенсон», то сработаетесь и со мной. Скоро я стану полным хозяином тайги и Побережья, и фирма ваша не пожалеет для меня ни долларов, ни оружия.

С пропуском в кармане Андрей и Джергэ спешили в Якутск, их не задерживали патрули, не останавливали заставы мятежников. По обочинам тракта горели костры, то и дело сновали лыжники, к Якутску и в Чурапчу ехали всадники, шли вооруженные охотники, на оленьих нарах везли туши мороженого мяса, связки сушеной рыбы.

— Пропуск Коробейникова кое-что значит. Никто нас не задерживает,— сказал Андрей. — Поражаюсь, что этакий юнец стоит во главе многих людей.

— Земля черна, да на ней трава растет, снег бел, да его собаки пачкают,— философски отозвался Джергэ.

В каждой снежинке сияло по солнцу, но дымчатые тени деревьев, черные стены тайги, пронзительный визг нарт были

сильнее негреющих солнц. Андрей вновь погрузился в безысходную свою тоску. «Неужели Феона погибла в Аллах-Юне?» От этой мысли сжималось сердце и жизнь превращалась в бессмыслицу, ничего не оставалось, кроме жестокой тоски и мести.

Под Якутском их опять задержали, на этот раз уже красные, но Джергэ ухитрился бежать. Андрея доставили в Чека, дежурный не стал тратить время на расспросы и посадил его в одиночную камеру. Только через три дня Андрея вызвали к председателю Губчека.

— Белый шпион, — уверенный в своем предположении, сказал председатель.

Андрей объяснил, кто он, зачем шел в Якутск, передал не отобранный дежурным ультиматум корнета Коробейникова. Председатель прочитал ультиматум, небрежно отшвырнул, сказал убежденно:

— А все-таки шпион!

Андрей не стал спорить, торопясь вызвать сочувствие к людям, оставшимся в Аллах-Юне; он рассказал об их трагическом положении и попросил о помощи.

— Им уже ничего не нужно. Все уничтожены врагами, кроме одной женщины...

— Как ее зовут? — быстро спросил Андрей, и робкая надежда встрепенулась в его сердце.

— Мне не передали ее имени. А вам-то какое дело до женских имен?

— В Аллах-Юне я оставил жену.

Какая-то светлая искра промелькнула в свинцовых глазах председателя.

— К сожалению, не знаю имени женщины, оставшейся в живых. Бандиты увели ее в Охотск, а всех остальных прикончили, так донесли охотники — свидетели расправы в Аллах-Юне, — ответил председатель, но, спохватившись, спросил подозрительно: — Почему оказались у корнета Коробейникова?

Андрей снова объяснил.

— Сомнительный вы человек. А нам сомнительные и подозрительные не нужны, пока попридержу до выяснения личности.

А восстание тем временем ширилось. Несколько тысяч мятежников готовились к штурму Якутска. Гарнизон и горожане попали в тяжелое положение: не хватало бойцов, оружия, боеприпасов. Ревком объявил город на военном положении, по ночным улицам ходили патрули, всех подозрительных отводили в комендатуру. Ревком обратился за помощью к Реввоенсовету Пятой армии. Из Иркутска радировали, что посылают большой, хорошо вооруженный отряд под командой партизана Каландарашвили. Отряду предстоял трехтысячеверстный путь в суровых условиях зимы, в опасной атмосфере засад и тайных ловушек противника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стояла заиндевелая ночь.

На почтовой станции было многолюдно, по лавкам сидели полураздетые вооруженные люди, в дымном свете коптилок взблескивали кинжалы, рукоятки сабель, насечки кавказских поясов, ордена. Русская речь перемежалась грузинскими словечками, чеканным говором латышей, сюсюкающим акцентом бурятов.

В центре общего внимания находился длинноволосый, с роскошной бородой, пожилой человек с красивым лицом, с черными веселыми глазами. Был он в черкеске, но в меховых пыжиковых торбасах, поверх черкески еще была безрукавка из желтого хрома; орден боевого Красного Знамени мерцал на груди.

Нестор Каландарашвили — новый командующий войсками Якутии и Северного края — со своим штабом ночевал на почтовой станции таежного тракта. До Якутска оставалось несколько переездов, долгий путь близился к концу. Командиры и бойцы экспедиционного отряда страшно устали от изнурительной дороги, и командующий приказал устроить продолжительный привал. Бойцы плотно поужинали, выпили по стопке спирта, выданной из неприкосновенных запасов, и улеглись спать по домам таежного поселка.

Командующий со штабом разместился в школе, но теснота, чад коптилок, спертый воздух угнетали и командиров, и самого Нестора.

— Что приуныли, орлы? — спросил Нестор, обращаясь ко всем сразу. — Недурно бы сейчас по стаканчику доброго кахетинского, да нет у меня солнечного вина. Кацо,— обратился он к интенданту,— что там у тебя осталось?

Интендант подал жестяные кружки, соленые грибы и ломтики черного хлеба.

— Поднимаю тост за боевой дух, за прошлые и будущие победы! Еще выпьем за окончание нашего похода. Сколько походов мы совершили, а сколько придется еще совершить! — Сочный, вкусный баритон Нестора звучал душевно и ободряюще.— А почему не весел Строд, отчего приуныл Асатиани?

— Что-то тревожно на сердце. Разведчики постоянно доносят: на нашем пути появляются подозрительные личности. Не сомневаюсь, лазутчики мятежников,— ответил начальник штаба Асатиани.

— Тогда усиль боковую разведку. Высылай разведчиков вперед отряда. Нас же две тысячи человек, даже в якутской тайге не укроешься.

— Я так и делаю, но разведчики возвращаются с пустыми руками. Еще не задержали ни одного лазутчика.

— Они ж лесные люди, встали на лыжи — и поминай как

звали,— сумрачно отозвался начальник головного эшелона латыш Ян Строд.

— У меня самые храбрые, самые умные командиры Асатиани да Строд. И что же они сегодня скисли? А кого мы только не били, орлы! Колчаковских генералов били, японцев под Ганготой лупили, чешских легионеров гнали, барону Унгерну шею накостыляли,— рассмеялся Нестор. — Прошли по забайкальским сопкам, через монгольские степи, тогда я не видел у вас унылых физиономий. Выпей, Строд, выпей, Асатиани, для подъема духа. — Нестор похлопал по плечу командиров, и большие глаза его заискрились.

Командиры выпили.

— Выйду на воздух,— поднялся Строд.

— Нам ли пугаться, Строд, мятежников с пистонными ружьями! Мятежных охотников да рыбачков станем разоружать словом правды, а не пулями. Якутов я видел, а тунгусов не видел. Якуты — добрый, простодушный народ, и тунгусы, думаю, их не хуже. Приедем в Якутск, разберусь кто враг, кто друг. Революционным чутьем определю,— добавил Каландарашвили.

— К революционному чутью нужен строгий расчет,— все с той же сумрачностью возразил Строд.

— У тебя расчет, у меня порыв. Сердце часто подсказывает лучшие решения, чем самый трезвый ум,— возразил Нестор.

Строд вышел на мороз и глубоко вздохнул, воздух, выдохнутый им, предостерегающе зашуршал, шуршание снежных кристаллов послышалось со всех сторон. В небе, непроницаемом от черноты, стояла белая луна, косяки ее света висели между пихтами. Следы копыт, человеческих ног казались выпуклыми на снегу, заиндевелые лошади дремали у распряженных саней.

От призрачного света душа Строда наполнилась белым безмолвием Севера. Он стоял как в забытьи, удивляясь тому, что снова оказался в тайге и, бог весть, выберется ли из нее.

Резко заскрипел снег. Строд обернулся. К нему подходил Асатиани.

— Тоже решил подышать свежим воздухом, но сразу дух перехватило. Черт знает какие морозы стоят! — сказал Асатиани.

— Дыши, но не говори. При «шепоте звезд» можно опалить легкие, и ты — жертва чахотки.

— Шепот звезд,— очень тихо и почему-то печально повторил Асатиани. — Поэтическое название дали якуты самым страшным таежным морозам. Почему?

— Не знаю, но думаю, они просто обожествляют грозные силы природы.

— Ты весь закуржавел, Строд.

— Сейчас и ты побелеешь. Стой и молчи.

Они подняли головы к звездному небу, и каждый вспоминал свои небеса. Строду чудилось косматое от сивых туч латвийское небо, Асатиани видел влажный густой синий бархат грузинских высот, но каждый думал об одном и том же — о тайге, таящей неожиданные опасности. Здесь можно ожидать всяких случайностей — от снежных ураганов до нападения мятежников.

— Меня удивляет, почему молчит Якутск. Что там происходит? Возможно, мятежники заняли город и перебили всех наших? — снова заговорил Асатиани.

— Да, странно. Очень странно. Молчат и командир якутского гарнизона, и губревком. Если мятежники перехватывают телеграммы, можно бы послать навстречу нам гонцов,— заметил в раздумье Строд.

— И гонцов можно перехватить. Не терплю неизвестности, предпочитаю встречаться с врагом лицо в лицо.

— А в тайге будет особая война. Война засад, ловушек, лесных хитростей, налетов из-за кустов.

— Дед-то, пожалуй, прав. Мятежники не солдаты, а простые охотники,— сказал после паузы Асатиани, с нежностью называя командующего «Дедом».

Почтительное прозвище «Дед» дали Каландарашвили его же партизаны, он гордился им как наградой, хотя ему не было и пятидесяти лет.

— Прав, да не совсем наш Дед. Мятежниками руководят опытные офицеры, офицерами — ненависть к нам и безумие отчаяния... Ну вот и ты побелел, как мраморная статуя, а я совсем закоченел в своей дохе.

Морозный туман опускался на вершины деревьев, закрывая строения почтовой станции, заиндевелых лошадей, понуро стоявших у кошевок.

Строд и Асатиани вернулись в школу. Здесь уже разгорелось веселье. Командиры замкнули в кольцо танцора, дружными хлопками поощряя его. В центре кольца плясал лезгинку Нестор, плясал самозабвенно, поднимаясь на цыпочки, крутясь волчком, длинные волосы закрывали лицо, подкладка черкески вспыхивала куском пламени.

— Асса, асса! — выкрикивал Нестор и, еще раз проплясав на цыпочках, сел на скамью. — Хватит, дети мои, душа меру знает, повеселились, и хватит. Пора спать.

Командиры улеглись на полу, Нестор — на узкой скамье, положив под голову мешок, укрывшись волчьей дохой. Он лежал, вглядываясь в черную завесу мрака, прислушиваясь к сонному бормотанию командиров.

...Худенький, большеглазый подросток сидит на скале, опершись спиной на теплые камни. Перед ним бескрайняя даль с опрокинутым в нее небом и далекие корабли, будто вырезанные из картона. Они висят между морем и небом, захватывая внимание, будоража воображение. Странные желания тревожат

мальчугана, ему хочется пробраться на грузовой пароход, стоящий на рейде,— это, должно быть, особый, таинственный пароход.

Нестерпимое желание обжигает мальчика, он срывается со скалы и бежит вниз; море поднимается перед ним, горные вершины опускаются, вокруг дремлет распаренный зноем зеленый мир.

Мальчик выбегает на мокрый песок, волны — голубые издалека, зеленые вблизи — обрушиваются на него. Соленые брызги, узорчатая пена, пляшущее солнце ослепляют; он вертится на песке, не спуская глаз с таинственного парохода.

— Ты что тут делаешь? — спрашивает молодой человек в соломенной шляпе.

Мальчуган иногда исполняет его поручения: совсем недавно выносил из порта какие-то пачки и прятал в своей сакле.

— Хотел бы я попасть на тот пароход.

— Это «Святой Георгий» из Одессы. На нем мой друг-кочегар привез подарки, но к нему мне ехать нельзя. Бери лодку и поезжай. Я напишу записку и буду ждать тебя дома. Ты ведь знаешь, где я живу?

Таинственный человек посылает его на таинственный пароход! Вечером мальчик передает тяжелый чемоданище, не каждый сможет приволочь такой.

— Вижу, хочется посмотреть, что в нем. Будешь хранить тайну?

— Я люблю все таинственное.

Молодой человек открывает чемодан: револьверы, патроны. Настоящие револьверы и патроны настоящие. В глазах мальчугана восторг, он трогает пальцем новенькие револьверы.

— Ты сын Александра Каландарашвили?

— Я сын князя Каландарашвили,— с гордостью поправляет мальчик.

— Тоже мне князь! Не выпускает мотыги из рук, ходит в рваных штанах.

— Хорошие штаны носят только богатые.

— Придет время — и отберем все лишние штаны у богачей,— смеется молодой человек, мальчик тоже, серебряный его смешок наполняет темную саклю,— что-то загадочное заключено в словах молодого человека, и новая тайна наполняет трепетом душу подростка.

...Нестор заворочался на узкой скамье, доха соскользнула на пол. Он проснулся, надел торбаса, закутался и, бесшумно ступая между спящими, вышел на двор.

Тьма между деревьями посерела, но перед рассветом стало еще холоднее. Тяжелое, опасное безмолвие сдавливало окрестности, даже не слышно шагов часового.

«А где же он? — тревожно подумал Нестор. — Должен стоять у крыльца, а его нет».

Он обошел школу и увидел часового, прислонившегося к изгороди, винтовка валялась на снегу. Нестор подошел к часовому.

— Почему спишь? Почему не требуешь пароля?

Часовой не отвечал, не шевелился, лицо его светилось из мглы, как алебастровая маска.

— Па-че-му не спрашиваешь пароль? — уже сердито повторил Нестор и толкнул часового. Тот покачнулся и упал на снег.

— Да он же замерз! Черт возьми, замерз, а начальник караула дрыхнет, не сменив постов.

Ярость оплеснула командующего, он вбежал в школу, вздул коптилку, глянул на часы: седьмой час, а караул должен смениться в шесть.

— Подъем! Довольно спать, подъем! — прокричал Нестор, и командиры проснулись.

Нестор присел к столу, прерывисто дыша, барабаня пальцами по столешнице.

— Что случилось? — спросил Асатиани, подходя к командующему, но тот властно отодвинул его в сторону.

— Где начальник караула?

Откуда-то из угла выступил обросший, обрюзглый мужчина.

— По твоей вине, негодяй, замерз на посту человек! Принесите погибшего в школу... Он не покинул поста, а ты спал. Ты позабыл про свою обязанность, негодяй! — Нестор повернулся к Строду, к Асатиани, обвел погасшими глазами командиров.— Отдать его под суд!

Поздним утром первый эшелон со штабом командующего двинулся в путь. Нестор был недоволен запоздалым выходом — до Якутска еще десять почтовых станций, на каждой нужно менять лошадей. Только для первого эшелона требовались сотни подвод, а добывать их у населения приходилось с трудом. За первым эшелоном двигались основные силы экспедиционного отряда с пулеметами, с горными орудиями.

Мела поземка, подпрыгивала на ухабистой дороге кошевка, храпели лошади. Строд, прислонившись плечом к Нестору, до ряби в глазах вглядывался в проползающие заснеженные стены тайги.

Нестор молчал, приподняв воротник дохи. Строду не хотелось его беспокоить, о самом же главном между ними уже была четкая договоренность. Главное — это поскорее добраться до Якутска и на месте выяснить обстановку, прежде чем приступить к военным действиям.

— Строд, а Строд,— заговорил Нестор, откидывая воротник,— знаешь, о чем я сейчас размышлял? О том, брат мой, какими сложными путями многие из нас пришли в революцию, в партию большевиков. Сколько сил, времени зря потеряли, чтобы выйти на правильный путь!

— Это ты о ком же? — заинтересовался Строд.

— О самом себе хотя бы. Ведь я с юных лет участвую в революционной борьбе. В партии левых эсеров был, с социалистами-федералистами возился. Они мои романтические порывы нацеливали на частности, я же мечтал о свержении всего несправедливого строя. Эсеры толкали меня на боковые тропинки, а я рвался на магистральный путь. К революции Пятого года шел с большевиками, выполнял их задания, сопровождал партии оружия для рабочих дружин, дрался на баррикадах, участвовал в восстании грузинских крестьян. Но революция была подавлена, большевики изменили тактику, а я решил, что они отказались от борьбы. Революция была подавлена,— повторил Нестор. — Ты помнишь такие стихи о Парижской коммуне? «Так, Коммуна раздавлена, мир обнищал, всюду пепел, и кровь, и тоска, как проказа. На стене Пер-Лашеза танцует овал — усмиренная ярость светильного газа». Поэты иногда выражают в двух строках наши чувства и мысли сильнее любых прокламаций.

— На то они поэты. А стихи написал Артюр Рембо.

— Не слыхал даже его фамилии, а стихи помню. Живут в сердце и обжигают... Ну так вот, остался я на распутье после Девятьсот пятого года. Раздумывал, под чьи знамена встать, с кем за народные судьбы драться, и соблазнился анархизмом. Исповедовал анархическую веру, но это не вера вовсе, а болезнь...

— Да, болезнь, вроде кори для молодых, неопытных революционеров. Я и сам ею переболел,— согласился Строд.

— А когда увидел, что русские анархисты стали врагами революции, то выздоровел, хотя и не сразу. А давно ли, давно ли в Иркутске... — Нестор скривил губы в язвительной усмешке. — Стыдно вспомнить, что творили анархисты в Иркутске! — Он нахлобучил шапку с длинными ушами из беличьих шкурок, откинулся на стенку кошевки.

Поземка белыми вихрями крутилась по обочинам тракта; неслись оголтелые снежные тучи, тайга погружалась в метель. Строд искоса посмотрел на Нестора и, хотя тот снова напряженно молчал, догадывался, о чем он вспоминает. Все последние годы Строд находился при нем, и только на некоторое время расставались они.

После свержения Советов в Иркутске отряд Каландарашвили последним покинул город и ушел на Байкал. Нестор начал партизанскую войну с войсками адмирала Колчака, нападал на воинские эшелоны, взрывал железнодорожные пути, портил телеграфную связь. В яростных схватках с регулярными войсками одерживал частые победы. Дерзкая смелость его воодушевляла сибиряков, толпами шли они в отряд Деда, и, маленький поначалу, он вырос до двух тысяч штыков.

«Все мы люди, не ангелы,— думал Строд. — Все совершают ошибки, да не все признаются, а Нестор нашел мужество не

просто признаться, но и исправить их. Если на одну чашу весов положить недостатки Деда, на другую — его достоинства, другая перетянет. Да еще как перетянет!»

Он опять глянул на белую стену тайги: вдоль нее проносились снежные полосы, тугие как полотно, и вот стало казаться, чудиться стало: по снежному полотну проносятся всадники, мелькают люди, пулеметы, повозки. Вздыбливаются смерчи разрывов, орудийный грохот сливается с ревом метели.

...Десять тысяч колчаковцев, обойдя Иркутск, прорвались на Верхнюю Лену. Ушли офицерские батальоны, остатки Ижевской, самой боеспособной колчаковской дивизии, казачьи сотни. Иркутский ревком послал в погоню отряд Каландарашвили.

По непролазным снегам, охотничьим тропкам, неся на себе пулеметы, партизаны обогнали колчаковцев и устроили засаду на берегу Лены.

Ждали противника несколько дней. Чтобы не выдать своего присутствия, не разжигали костров, спали с винтовками в руках, ели мерзлый хлеб.

Колчаковцы появились на лесной просеке, растянувшись нескончаемой цепочкой, Нестор решил пропустить их на Лену и, когда последний солдат сошел на речной лед, открыл пулеметный огонь.

Все перемешалось у белых: лошади давили солдат, сани, переплетаясь оглоблями, двигались живой стеной по скользкому льду. Лена покрылась убитыми, снег покраснел от крови, лед стал проламываться, увлекая в глубину людей и животных.

Нестор бросился в атаку. Фигура его мелькала всюду, звучный голос гремел, воодушевляя партизан.

Последние полки белых перестали существовать.

...Май. Двадцатый год. Войска атамана Семенова, поддержанные японскими интервентами, перешли в наступление. Под напором превосходящих сил противника части Народно-революционной армии стали отступать от Читы на Верхнеудинск.

На помощь из Иркутска был послан отряд Каландарашвили.

В середине мая у станции Гонгот произошло сражение, окончившееся поражением семеновцев и японцев. Потеряв восемьсот солдат, противник бежал. Через несколько дней Нестор вынудил японцев заключить перемирие и отвести войска на восток.

В гонготском бою он показал себя находчивым, решительным командиром, проявил отчаянную храбрость. Рискуя жизнью, бросался он в самые опасные места и был тяжело ранен. Бойцы вынесли его на руках в укромное место, командование отрядом принял Асатиани.

После гонготской победы отряд расположился в забайкальских казачьих станицах на отдых. «Жили мы дружно, помогали населению косить сено, убирать хлеб, строили избы для стариков, для сирот»,— с удовольствием подумал Строд.

Был на исходе август, когда японцы нарушили перемирие. По их требованию барон Унгерн начал свой мрачный поход в Монголию с целью отрезать Сибирь от Забайкалья.

Главком Уборевич двинул навстречу барону партизанскую группу Катерухина, в состав которой вошел и отряд Каландарашвили. Строд и Асатиани командовали Таежным и Кавказским полками каландарашвилевцев.

«Не знаю, что тогда было труднее — бои с головорезами Унгерна или путь через тайгу. Мы шли по топям, по лесным завалам, переправлялись через бесчисленные потоки, от ненастной погоды испортились запасы муки, иссякла соль. Мы ели мясо, посыпая его порохом, страдали от ран, сильнее страданий физических были душевные. Барон Унгерн оставлял в станицах следы ужасающего разбоя. Мы находили обугленные черепа и кости мирных жителей, трупы женщин с отрезанными грудями, выколотыми глазами. Ненависть обжигала наши сердца, ярость наша становилась оружием». Строд невольно поежился от воспоминаний.

...На пограничной полосе, около станицы Каринской, партизаны столкнулись с бандами Унгерна. Главный удар по унгерновцам нанесли каландарашвилевцы, и от этого удара разбежались бандиты барона. «Нестора тогда не было с нами, он формировал новые воинские части из корейских крестьян, но имя его воодушевляло нас. Он стал не только вожаком партизан, но и знаменем их. Вот так, от боя к бою, очищал он себя от анархических замашек, на моих глазах превратился в коммуниста, и воинская дисциплина становилась его первой заповедью», — продолжал размышлять Строд.

Приказом Иеронима Уборевича командующим революционными корейскими войсками был назначен Нестор Каландарашвили. Реввоенсовет вызвал его в Москву для отчета о формировании корейских частей.

«Вскоре я получил от Нестора телеграмму: «Готовьте наших орлов к новому походу». Прошло девяносто дней, а мы с ним уже отмахали три тысячи верст. До Якутска подать рукой, а там новые походы и последние бои за революцию»,— заключил Строд.

Метель разыгралась вовсю, изнуренные лошади остановились. Нестор заворочался, вылез из кошевки, к нему подошли Асатиани и якут-кучер.

— Почему стали? — спросил Нестор.

— Дорогу перемело, не видно ни зги,— ответил Асатиани.

— Далеко до почтовой станции? — обратился Нестор к якуту.

— До поселения Покровского остался один кес,— сказал кучер.

— Сколько это по-русски?

— Семь верст,— объяснил Строд.

— Семь верст до небес, и все лесом,— хмуро усмехнулся Нестор, обирая с бороды снеговую куржавину.

В сельце Покровском Нестор приказал собрать жителей на сходку. Среди собравшихся были и якуты — лазутчики из штаба мятежников, но никто не догадывался об их присутствии.

Нестор выступил с речью. Позванивая кавалерийской саблей, он ходил около стола и говорил о Ленине, о борьбе красных и белых, о близкой победе, черные влажные глаза его сияли, черные волосы взметывались над желтым лбом.

— Я пришел вернуть похищенную у вас свободу. Я верну ее даже ценой собственной жизни. Если останусь в живых, буду счастлив вашим счастьем, если погибну, вспомните обо мне как о верном сыне революции,— закончил он и вдруг выдернул из ножен саблю.

Все вздрогнули от провизжавшей стальной струи, он же подбросил саблю, поймал ее на кончики пальцев, поцеловал и рассмеялся. Обитатели тайги рассмеялись ответно: они обожали эффектные сцены.

Во время собрания телеграфист подал Нестору телеграмму. Он никому не показал ее, но предупредил Строда:

— Приготовься к немедленному выступлению. Якутск в опасности, мятежники усиливают натиск. Уйми бандитов, я со штабом еду следом за тобой.

Строд подчинился его приказу без расспросов, головной эшелон выступил на двое суток раньше.

В тридцати верстах от Якутска Лена образует Табагинскую протоку. Под крутыми обрывами протоки петляет тракт, с обоих берегов хорошо следить за путником, едущим в Якутск или из Якутска. В чащобе охотники настроили вежи, в одной из таких веж морозной ночью сидели два офицера. Нервно покуривая, они прислушивались к каждому шороху и, хотя, кроме них, никого не было, разговаривали полушепотом.

— Лазутчик из Покровского был? — спрашивал Семен Михайлов, командир отряда ротмистра Николаева — организатора засады.

— Еще утром. Он видел, как телеграфист подал Каландарашвили телеграмму, а тот приказал Строду спешить в Якутск.

— Сработала наша приманка. Когда Строд проехал Табагу?

— Сегодня в полдень.

— Он не заметил ничего подозрительного?

— Мы вели себя как мыши.

— Строд шел с пулеметами?

— Я насчитал шесть.

Офицеры помолчали с минуту.

— Строд давно отдыхает в Якутске,— сказал Михайлов.

— Он уже не сможет помочь своему Деду. А что думает наш корнет?

— Уничтожение Каландарашвили и его штаба Коробейников считает решающим делом. Тогда Якутск окажется у его ног, думает корнет.

— Это он так и говорит?

— Именно он, а не я.

— Сопливец, оседлавший счастливый случай,— сплюнул и вытер плевок Николаев.— Ведь мы даже не знаем, что станем делать, когда покорим Якутск.

— А потом что?

— А потом? Тише! Кто-то идет...

Офицеры вынули наганы, замерли в ожидании. У дверей трижды покашляли.

— Заходи! — крикнул Николаев.

В вежу неслышно протек якут-лазутчик.

— Я прискакал из Техтюра. Туда приехал большой красный начальник, с ним много других,— путаясь в русских словах, сообщил он.

— Когда он был в Техтюре? — спросил Михайлов.

— Часа два назад.

— Он там заночует?

— Он скоро появится в Табагинской протоке.

— Посылает ли вперед разведку? — опять спросил Михайлов.

— Нет-нет!

— Прекрасно! Идем в засаду,— Михайлов застегнул на все пуговицы полушубок.

Офицеры вышли из вежи.

Блистала морозная луна, окольцованная полосами своего же света, тени деревьев лежали в сугробах, в пронзительном сиянии протока проглядывалась от берега до берега. Офицеры спустились в заросли, к замаскированным пулеметам.

— Ничего не слышно? — спросил у пулеметчиков Николаев.

— Пока тишина, но не беспокойся, ваше благородие. Здесь за версту скрип полозьев услышишь. А ночь какая светлая, хоть рукавицы штопай,— отозвался пулеметчик.— Закурить не найдется?

— Вот махорка, держи,— подал кисет Николаев.

— Ты оставайся здесь, я пойду на левый берег. Начинаем по сигналу. Закричу филином — и тогда с богом. С богом тогда,— повторил Михайлов, выбегая на тракт, особенно черный на сумеречной белизне протоки.

— Табага! Что означает это слово по-русски? — спросил у себя ротмистр Николаев.— Что бы ни означало, но сегодня оно означает Смерть с большой буквы.— Николаев постучал обледенелыми валенками.— Мороз до костей продирает, в такую ночку с бабенкой бы под одеяло. Что это такое, господи?

Пронзительный визг, будто звук стекла, раздираемого алмазом, пронесся над протокой.

— Снег скрипит под полозом,— пояснил пулеметчик, туша цигарку. — Кажись, едут...

Из тени береговых скал появилась кошевка, за ней другая, третья.

В первой кошевке ехали Нестор Каландарашвили и Михаил Асатиани, оба сидели, подняв закуржавелые воротники дох, опершись на пулемет, припорошенный снегом.

Под призрачным лунным светом, над безмолвной протокой заухал филин, и тотчас с обоих берегов ударили пулеметы. Они расстреливали ехавших в упор. Нестор выпрыгнул из кошевки, но пуля пробила ему голову; раскинув крестом руки, он упал на спину, шапка слетела с головы, снег стал наливаться темным огнем.

Пулеметы косили всех, выехавших на протоку. Вздыбливались лошади, опрокидывались сани, стонали раненые; наповал был сражен Асатиани, начальник штаба Бухвалов спрятался в кустах лозняка, но замерз перед рассветом.

Весь штаб с начальниками его отделов, адъютантами, врачами, шифровальщиками, поварами, возчиками погиб в табагинской западне, устроенной якутскими мятежниками.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пошатываясь от слабости, брел Донауров по улице, пьянея от воздуха, настоянного на запахе кедровой хвои, от нежного чистого света.

«Феона, Феона! Где ты теперь, Феона?» — спрашивал он себя, веря и не веря в ее гибель; мысль его постоянно, как стрелка компаса на север, повертывалась к Феоне.

За две недели Андрея только дважды вызвали на допрос. И вот сегодня:

— С вашим арестом недоразумение вышло. Пройдите к командующему вооруженными силами Якутии,— сказал председатель Чека.

— А где теперь охотник Джергэ? — спросил Андрей.

— Повел красноармейцев в тайгу...

Командующий что-то писал, но при появлении Андрея встал, шагнул навстречу.

— Карл Артур Некундэ-Байкалов. А это командир Особого отряда Строд. Приношу извинения от имени Советского правительства за незаконный арест. Ведь надо же бросить в тюрьму человека, шедшего с важнейшим донесением! — Байкалов предложил Андрею стакан чая и, меняя тему, спросил: — Вам известно, что случилось в Аллах-Юне?

— Слышал вскользь. Неужели там все погибли?

— Все, за исключением женщины.

— Вам известно ее имя!

— Нет! Но знаю, что она — дочь охотского священника.

— Слава богу! — Андрей перекрестился. — Это моя жена,— пояснил он, перехватив удивленные взгляды Байкалова и Строда. — Где теперь она?

— Бандиты увезли ее в Охотск, и это все, что нам известно. Разделяю вашу радость, сожалею, что еще долго не попадете в Охотск. Между вами и женой тысяча верст тайги и банды мятежников. Нам сообщили из Охотска самые добрые сведения о вас, я предлагаю работу в ревкоме. Позарез нужны грамотные, честные люди,— подчеркнул Байкалов.

— Согласен, но с условием: при первой возможности отпустите в Охотск. Буду выполнять самые опасные поручения, лишь бы вернуться на Побережье,— сказал Андрей, думая о Феоне.

— Обещаю! Чем-чем, а опасностями и приключениями будете сыты по горло,— рассмеялся Байкалов. — Вам, конечно, нужен угол для жилья?

— Пусть живет у меня, все равно комната пустует, — предложил Строд.

— Что вас привело в таежную глухомань? — спросил Байкалов.

— Смешно говорить, но жажда приключений.

— Юность часто не понимает, что в годы войны сама жизнь — сплошное приключение...

— А вас какой ветер забросил в тайгу?

— Ветер революции. Революция — это люди, ее совершившие, но сами-то люди несовершенны, есть такие, что прочно связаны с той самой жизнью, которую с такой энергией разрушают. Они или отстают, или забегают вперед, или же оказываются в пустоте и тогда становятся опасными для самой революции. — Байкалов потянулся за папиросами. Закурил. Предложил Андрею. Опять заговорил неторопливо, раздумчиво: — Якутские перегибщики хотели одним махом покончить с феодализмом, тойонством, патриархальными отношениями кочевников. Только представьте — они ссылали тойонов за Полярный круг! Почему бы не на Северный полюс? Авантюристы творили свои глупости, уверенные в их необходимости, ослушников объявляли саботажниками, а темные, несчастные люди верят всякому навету и готовы на все, чтобы избавиться от страхов. Вот нате-ка, почитайте листовки, которыми Васька Коробейников запугивает мятежников...

— «Неделя всеобщей любви в Якутске. Заготовка женского молока для красных»,— прочел Андрей. — Глупо и не смешно. Кто поверит этакому вздору, разве дети?

— А таежные жители в таких делах — дети. Они верят каждому напечатанному слову,— возразил Байкалов. — Вот именно как дети! Так неужели этих детей срезать из пулеметов? Нет!

И еще раз нет! Наша цель — показать несчастным людям, что революция совершена для них. Мы убрали с ответственных постов левых загибщиков, Якутии предоставлены суверенные права автономной республики, из Иркутска на помощь идут войска, Центральное правительство предложило сложить оружие, и тогда мятежники получат полное прощение.

Когда Байкалов замолк, Андрей спросил:

— Какую же работу буду я исполнять?

— А вы уже работаете. Из всего, что я сейчас наговорил, надо составить воззвание к мятежникам. У меня нет времени на сочинительство, а вы, если верить слухам, поэт.

— Слухи сильно преувеличены, я не владею бойким пером. Для военных воззваний нужен слог, неотразимый как штык...

Строд и Андрей ушли. Байкалов остался один. Берложились сумерки, бездонно чернели окна; командующий зажег керосиновую лампу, мохнатые тени качнулись и отползли, зато другие — властные тени воспоминаний — обступили его. Перед мысленным взором вставали друзья, с которыми ходил он в атаки, спал под одной шинелью у таежных, у степных костров. Вспоминался монгольский монастырь, за стенами которого еще недавно укрывался его отряд. Много дней продолжалась осада, но выдержали ее бойцы, хотя уже варили и ели лошадиные шкуры.

«Откуда мы брали тогда силы? Какие источники питали нашу волю? — спросил самого себя Байкалов. — Может быть, больше идеями побеждали? Ведь идеи под пулями приобретают особенно четкую убедительность».

Для Карла Некундэ, сына латышского рабочего, революция была таким же естественным состоянием, как дыхание. Карла трижды арестовывали, держали в тюрьме, наконец сослали в Сибирь. Восемь лет отбывал он ссылку, работал то грузчиком, то забойщиком в каменноугольных копях Черемхова.

Осенью восемнадцатого Карл создал партизанский отряд; скрываясь в прибрежных сопках Байкала, он нападал на колчаковцев и вскоре подчинил себе огромный район. В память о Байкале он взял себе псевдоним Байкалов.

Весной двадцать первого года Байкалов стал начальником экспедиционного отряда в Монголии, там бесчинствовали барон Унгерн и генерал Бакич.

После ряда малозначительных стычек Байкалов встретился с казачьим корпусом генерала Бакича. Силы противника в двенадцать раз превосходили силы красных, при таком перевесе было безрассудно думать о сражении. Байкалов укрылся в монастыре Саруль-Гунь.

Монастырь находился в центре огромной котловины, окольцованной высокими голыми сопками; здесь сорок четыре дня стоял Байкалов против белоказаков. И выстоял. Подоспевшие части красных отогнали Бакича от стен Саруль-Гуня.

Белоказаки рассеялись по степям, сам генерал, переодевшись монахом, с крестом на груди, с посохом в руке, скрылся среди мирного населения.

Байкалов вернулся в Иркутск.

Не успел он отдышаться, как его назначили командующим вооруженными силами Якутской губернии и Северного края.

После побега из Аллах-Юня Алексей Южаков долго спускался на оморочке по Мае. Северная осень истлевала листопадом, по речным обрывам темнели кусты таволжника, настороженные лиственницы роняли желтую хвою. Подозрительные шорохи, злое ворчание воды, вздохи ветра раздражали, и Южаков испытывал то отвратительное состояние духа, когда особенно чувствуешь тоскливое одиночество.

Проходили дни за днями, но не было конца глухоманной реке. Южаков берег последние патроны: удалось подстрелить лося, он жарил сохатину и ел, вместо соли посыпая мясо порохом. Ночевал у костра, положив около себя винчестер, но часто просыпался то от пронзительного холода, когда угасал костер, то от стрелявших во все стороны угольков.

Однажды очнулся от мокрой тяжести, — ночью разбушевалась первая пурга и намела над ним большой сугроб. Южаков увидел синюю до болезненности белизну, по реке шла шуга, ветви деревьев, оттягченные снегом, печально свисали над Маей. Южаков невольно подумал, что его одинокий путь закончится на этой нелюдимой реке. Он развел костер, перекусил холодной сохатиной и собрался в путь, когда неслышные, словно призраки, появились охотники-якуты.

После удивленных восклицаний и бессвязных расспросов Южаков узнал, что до Алдана осталось два перехода, но сплывать на оморочке уже нельзя — Мая не сегодня-завтра встанет, и на лыжах можно идти вниз к Алдану и дальше на Лену. Якуты предложили Южакову пожить у них в охотничьей веже, он согласился.

Он жил у охотников, не зная ничего, что происходит на белом свете; отголоски мятежа не долетали до берложных мест. Лишь поздней зимой охотники вывели Южакова на Алдан.

Он благополучно миновал все посты мятежников по якутскому тракту, пришел в город в начале марта и сразу явился в штаб нового командующего красными войсками. Байкалов имел сведения о гибели партизан в Аллах-Юне,— по ним Алексей Южаков считался пропавшим без вести.

— Отдыхайте, набирайтесь сил, мы найдем для вас дело,— говорил Байкалов. — Я готовлюсь к быстрой и решительной операции по ликвидации мятежников, но к печальному настоящему Якутии надо относиться с таким же спокойствием и беспристрастием, как и к ее печальному прошлому. Я уверен, что вдохновители мятежа не избегнут революционного правосудия, будут наказаны, как и вожаки мятежников.

— Из Аллах-Юня я послал к вам за помощью одного русского юношу по имени Андрей Донауров и проводника — якута Джергэ. Вы что-нибудь знаете про их судьбу? — спросил Южаков.

— Донауров в Якутске, а где проводник, не знаю. Все партизаны и жители Охотска, что ушли с вами, уничтожены бандитами в Аллах-Юне. Вам, товарищ Южаков, остается только борьба за освобождение Побережья.

Через два дня Байкалов назначил Южакова командиром Особого отряда и направил под Чурапчу, где находились основные силы таежников.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда-то французский философ Монтень говорил о войне, что «она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой, она хочет покарать неповиновение, и сама же дает пример его». Во время войн, утверждал Монтень, народу приходится страдать «не только от настоящих бедствий, но и от бедствий грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто еще не родился». Враги революции, всякого рода авантюристы объединялись в шайки, силой стремились пополнить свои ряды, избирая девизом слова: «Если не хочешь быть нашим товарищем по убийству — мы раскроим тебе череп».

Одной из самых мрачных фигур на Дальнем Востоке был Валерьян Бочкарев. Его экспедиция оставила кровавые следы на Охотском побережье от Аяна до Анадыря. Бочкарев грабил море, зорил берега, истреблял человеческие жизни легко и бездумно. Своим постоянным местом пребывания избрал он маленький порт Наяхан.

В Охотске он оставил часть своих казаков, но Иван Елагин отказался от совместных с ними действий. Сентяпов тоже организовал свою банду, к нему примкнули Индирский и Матвейка Паук.

В то же время в Охотск приехал Петр Андреевич Куликовский с якутскими купцами Семеном Поповым и Гавриилом Никифоровым. Губернатор Якутской провинции застрял в Охотске в ожидании парохода на Владивосток. Через несколько дней пришел «Мазатлан» с Бочкаревым на борту: он объезжал свои призрачные владения на шхуне фирмы «Олаф Свенсон».

Мир без Андрея стал для Феоны будничным и бесприютным, она перестала замечать движение жизни и не видела, как на Север пришла весна. Опять в час прилива боролись река и море, Кухтуй приостанавливал свой бег, вздыбливался и клокотал, но, сломанный приливом, обращался вспять — на это титаническое зрелище Феона не кидала даже равнодушного взгляда.

Утратили для нее красоту и белые ночи, и сопки, словно висящие в светлом воздухе, и рунный ход сельди у берегов. Феона жила затворницей — не ходила в церковь, не посещала знакомых.

«Война разрушила мою любовь, вокруг остались одни обгорелые пни, и будто не было никогда вечнозеленого дерева жизни. Война убила во мне и женщину-мать, я еще могла бы родить, но возненавижу ребенка, рожденного без любви»,— с мучительным постоянством размышляла Феона.

Сидя у окна, смотрела она на силуэт «Мазатлана», особенно черный на зеленоватом море. Чья-то тень упала на нее; Феона, вздрогнув, отшатнулась.

Под окном стоял Елагин.

— Здравствуй, Феона, — по-приятельски, на «ты», как прежде, сказал он. — Я по тому самому делу...

Феона открыла дверь. Елагин вошел в комнату, волоча за собой целую охапку таежных запахов. Равнодушие Феоны несколько смутило таежного властелина, привыкшего к подобострастным улыбкам, почтительным взглядам.

— Садитесь, Иван Иннокентьевич. Что у вас нового для меня?

Он подумал: «И глаза у нее утратили свой жизнерадостный блеск, и вся она повернута в прошлое».

— Новости есть, но скверные это новости...— начал он и остановился на полуфразе.

— Говорите же! Пусть самая страшная правда, чем неведение,— приказала Феона.

— Мне сообщили из Якутска, что Андрей Донауров расстрелян чекистами...

— Простите, но я не верю.

— Почему, Феона?

— Сердце подсказывает, что Андрей жив. А вам просто выгодно говорить неправду.

— Какая же выгода вас обманывать? — Елагин обиженно поджал губы.

— Устраняете главное препятствие на пути ко мне,— откровенно сказала она.

— Феона, Феона! Как можно думать, что я...

— Не надо, Иван Иннокентьевич. Чем больше вы говорите о своей искренности, тем меньше я верю вам.

— Я предлагаю уехать в Булгино.

— Какая разница, где жить? Я везде могу стать игрушкой насилия, ведь и вы тоже смотрите на меня как на предмет наслаждения...

— Только и слышу — насилие, насилие! Я что — человек без сердца, без привязанностей, без юношеской памяти? Да, насилую, но не женщин, и не оправдываю свое насилие любовью к людям. Живу в трещине между классами, но я уже не чисто-

кровный белогвардеец, а какая-то помесь белого, зеленого и черного — цветов времени. Мщу красным за потерянное богатство, но стреляю и белых, бессильных отстоять свои привилегии. Продаюсь и американцам и японцам, но душой ближе к Блейду, чем к японскому императору,— с неожиданной злобой произнес Елагин.

— «Живу в трещине между классами»? Умно сказали, но перевернули вниз головой чужую фразу,— слабо улыбнулась Феона.

— Как чужую? Почему вниз головой?

— Поэт говорил: мир раскололся надвое, а трещина прошла через его сердце...

Елагин даже не знал, что есть такой афоризм, но поразился его силе.

— Настоящие поэты во все времена совершают один и тот же подвиг — остаются мечтателями. В дни социальных потрясений они поют свои романтические песни, за романтизм даже в политике я уважаю их, но, к сожалению, революции не выдвигают эпохальных поэтов. Полководцев — да, поэтов — нет.

— Почему вы так думаете?

— Великих поэтов создает одна любовь... — ответила Феона.

Он опять заглянул в ее меловое, без кровинки, лицо, в пустые глаза, в которых так и не зажигался знакомый зеленый свет. Как и раньше, Феона была опустошительно хороша, но опустошение теперь поселилось в ней самой, и Елагин понял: все, что он говорит, проходит мнмо ее сознания, что ей нужна какая-то особенная встряска.

— Да, чуть не забыл. Вечером банкет в честь господина Бочкарева. Устраивает Дуглас Блейд, он приглашает и тебя.

— Я не пойду.

— Ради своей безопасности сходи.

Ощущение обмана и реальности испытывала Феона, разглядывая лиственницу: дерево трепетало зеленым облачком, она подошла ближе — лиственница оказалась еще голой, но с лопнувшими почками, из которых торчали иголочки хвои. Отошла — и снова заиграло зеленое облако. Этот обман весны расстроил Феону. Не похожа ли она сама на не успевшую зазеленеть лиственницу? В двадцать лет она так же исковеркана, истоптана, и если еще зеленеет, то только в силу биологического закона жизни.

Феона подошла к особняку Каролины Буш — двухэтажное здание, срубленное из вечных лиственниц, покрылось плесенью, почернело от непогод, у крыльца плескалась лужа. В знакомом овальном зале на столах — порванные скатерти, на пожухлых обоях — винные пятна.

Из библиотеки послышался приглушенный смех, Феона приоткрыла дверь. Приглашенные на банкет окружили Бореньку Соловьева: тот, кокетничая и рисуясь, что-то рассказывал.

Рядом, сложив на груди худые руки, повернув вбок узкобородое лицо, замер Петр Андреевич Куликовский; стыли, навалившись на спинки стульев, якуты-богачи Попов и Никифоров; Елагин у окна курил трубку; заметив Феону, он направился к ней, усадил около себя.

Гости с интересом разглядывали женщину; среди них были люди в меховых куртках, яловых сапогах, с грубыми, жесткими физиономиями, но изо всех выпирала уверенность в своей значительности.

Боренька Соловьев знал, какими рассказами завлечь слушателей. Перед ним сидели русские, якутские купцы, царские офицеры, чиновники, но был и старый террорист Куликовский. «Вряд ли взволнуется он рассказом о казни императора и его семьи»,— думал Боренька. Он ошибался. Петр Андреевич, хотя и был террористом, оставался рабом в душе. Царское величие и абсолютная власть ослепляли его, как солнце, пусть и закатившееся за горизонт истории. Вот почему все, что касалось последних дней Николая и Александры, вызывало у Петра Андреевича жгучее любопытство и умиленную грусть.

Воспоминания о царе и царице Соловьев разрабатывал, как богатую золотую жилу: они не только кормили-поили его, но и придавали ему значительность.

— У меня зреет одна мысль,— наклонившись к Елагину, шепнул Куликовский. — Не взять ли господина Соловьева во Владивосток? Там сейчас цвет русского дворянства, там видные царские генералы и адмиралы. Там гвардия! Такой аристократ, как господин Соловьев, усилит авторитет нашей депутации.

— Очень мило! Одобряю идею,— согласился Елагин.

В библиотеку, шумно сморкаясь, вошел Валерьян Бочкарев, за ним Дуглас Блейд.

— Простите, что заставил ждать. К сожалению, дела превращают нас в своих рабов,— грубым, надсадным голосом сказал Бочкарев.

— Прошу всех к столу, господа! За столом легче извиняться и проще извинять,— радужно взблеснул очками Блейд.

Гости повалили из библиотеки.

— Хочу побеседовать с вами конфиденциально,— начал было Куликовский, беря Бочкарева под локоть.

— Даже слова такого мудреного не знаю. Дипломатических выкрутасов не люблю, но понимаю одно: кого все боятся — тому нечего бояться. После рюмочки-другой потолкуем без секретов.

Елагин отвел Куликовского в сторону, предупредил:

— Ничего не говорите о целях вашей поездки, Бочкарев может обидеться: он ведь корчит из себя полярного Наполеона, а вы ищете новых полководцев для какого-то дикарского восстания. Обидеться может, уязвленное самолюбие дураков — опасная вещь...

Феона впервые близко разглядывала Бочкарева; не нравились ей в этом человеке и толстые губы, и серые волосы над низким лбом, и судачьи глаза. Бесцеремонный голос есаула действовал на нее как удар хлыста.

Банкет начался тостом Дугласа Блейда:

— Американский Запад охвачен лихорадочным интересом к русскому Востоку. Из Америки идут корабли в Анадырь, Петропавловск, Охотск, чтобы предложить помощь таежным аборигенам, их защитникам от красного рабства. Среди самых бескорыстных друзей особняком стоит имя Олафа Свенсона, шведа, ставшего американцем, а теперь становящегося сказочным викингом России. Но если вчера Олаф Свенсон помогал русскому Северу в полном одиночестве, то сегодня его поддерживает сила господина Бочкарева — храброго представителя приморских правителей Меркуловых. Я рад подчеркнуть этот факт дружбы булатного меча и червонного золота...

Бочкарев, сбычившись, слушал Дугласа Блейда.

— Дружба эта приносит невиданные плоды. Фирма «Олаф Свенсон» разрабатывает планы преображения русского Севера. Мы желаем построить крупный морской порт в Охотске, железную дорогу между Аяном и Якутском. Мечтаем о грандиозной по масштабам добыче золота, железных руд, якутского леса. Дух захватывает, когда я вижу все это наяву. Олаф Свенсон достойно использует возможности, предоставленные ему мистером Бочкаревым,— закончил Блейд.

Бочкарев слушал похвалы, пил коньяк, но не пьянел и так взглядывал на Феону, что она невольно краснела и зябко поводила плечами. Бочкарев, расплескивая коньяк из рюмки на свой мундир, поднялся со стула.

— Я человек простой, говорить не умею, ежели что и брякну невпопад, то извиняйте. Приморские правители братья Меркуловы — мои друзья и благодетели — послали меня отобрать у красных побережье океана. И я это делаю. Иногда меня упреждают: такой-то и сякой-то еще не красный — он еще розовый, а мне все равно. Порозовел? Становись к стенке, подлец! И про меня пущают слушки, что я тигр лютый — рву, вешаю людей. Запираться не стану, тяжел на руку, беру за горло интеллигентиков поганых. Ходит по моим пятам слушок, что в паровозной топке сжег красного комиссара Лазо. Да, сжег! На станции Муравьев-Амурский, на реке Хор, сжег, но то ведь одна половина правды. Вторую-то знаете?

Феона нервно перебирала конец скатерти, кровь отхлынула от ее лица, и оно посерело, будто сразу состарилось, в глазах зажегся злой зеленый свет. «Господи, и этот палач так спокойно рассуждает о своих злодеяниях?»

— На реке Хор красные партизаны расстреляли наших офицеров. Вот я и отомстил. Я правды не боюсь,— повторил Бочкарев,— но правду можно повертывать так и эдак. Ежели по

правде рассуждать, то надо признаться — комиссара Иванова, что приказал офицеров убивать, партизаны расстреляли. Как врага своей идеи прикончили, а я всего лишь мститель. Мне награда положена...

Феона вскочила и выкрикнула в неожиданном порыве бешенства:

— Вот негодяй, он еще и похваляется!..

— Замолчи, шлюха! Твое дело юбку задирать, а не чесать языком,— рассвирепел Бочкарев.

— Ах ты кат! — рванулась к Бочкареву Феона. — Я подлые твои глаза выцарапаю...

Елагин, ухватив ее за руку, придержал около себя.

— Можно пристрелить тебя, можно на потеху казакам отдать. Пожалуй, отдам. У кого есть желание? — спросил, поворачиваясь из стороны в сторону, Бочкарев.

— Да, есть! — громко сказал Елагин. — Пошли со мной. — И потащил Феону из овального зала.

В дверях они столкнулись с радистом «Мазатлана». Поискав глазами Дугласа Блейда, радист объявил:

— Перехвачена важная радиограмма, сэр...

— Что в ней, объявляй! — приказал Бочкарев, не дожидаясь согласия Дугласа Блейда.

— Во Владивостоке свергнуто правительство братьев Меркуловых. Правители бежали в Японию. Власть перешла в руки генерала Дитерихса...

Феона с порога повернулась к оцепеневшему Бочкареву и показала кукиш:

— На-ка выкуси! Теперь тебя, ката, вздернут на первой попавшейся мачте!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда-нибудь русский писатель, равный, быть может, по дарованию Льву Толстому, напишет о гражданской войне новую эпопею.

Он исследует, изучит, осмыслит, воссоздаст исторические события во всей их величественной объемности, неповторимом блеске, социальной глубинности, вечном, непреходящем значении для человечества.

Воскресит характеры красных и белых полководцев, политических деятелей разных партий, борьбу идей и страстей.

Нарисует картины сражений, героических походов, панических отступлений, гибели во славу идеи одних и постыдной смерти ради собственного блага — других.

Расскажет об умирающих с голоду в местах, полных изобилия, о сожженных дотла городах, полях, политых кровью, о чьих-то несбывшихся надеждах, неожиданных свершениях.

Раскроет трусость, измену, предательство, и ловцов личной удачи, и интриганов политической мысли, заговорщиков, что под личиной радетелей за счастье народное думали только о своем праве на власть.

Извлечет из архивных досье удивительные истории, невероятные события, документы, похожие на незаконченные поэмы поэтов, бравших перо в самые напряженные часы своей борьбы и вдохновения.

И тогда-то снова предстанут события и люди революции в исторической масштабности, обусловленной веком двадцатым...

Михаил Константинович Дитерихс начал свою карьеру пажом императрицы и восходил по лестнице успеха легко и уверенно. Потомок обрусевшего немецкого барона, он был монархистом бо́льшим, чем сам монарх, и не мог вообразить иной формы правления в России, кроме монархической.

С юности Дитерихс увлекался религиозным мистицизмом, увлечение наложило свою печать на всю его жизнь и деятельность. Он верил в непосредственное общение человека с богом, в религиозные чудеса, таинственные культовые обряды. Сверхъестественное и сверхчувственное восприятие жизни, смерти, реального и ирреального мира переплетались у него с религиозным ханжеством и аристократическим презрением к простому человеку. В дни перед расстрелом Романовых он жил в Екатеринбурге затаившись, не привлекая к себе внимания. Когда дивизия горных стрелков князя Голицына заняла город, Дитерихс вынырнул из своего невольного небытия.

С помощью офицеров контрразведки он вылавливал участников расстрела царской семьи, в его руках оказались протоколы допросов, свидетельские показания, полицейские рапорта, документы екатеринбургской Чека, царские реликвии — иконы, хоругви, кресты, дароносицы, библии, молитвенники. Все это генерал возил с собой, с ними прибыл в Омск, к новому верховному правителю России.

Адмирал Колчак встретил Дитерихса как человека своего круга, оба болели монархической идеей, только Дитерихс мечтал восстановить дом Романовых, Колчак же думал о новой русской династии. Он назначил Дитерихса начальником военного штаба, и тот сразу придал своей деятельности религиозный характер. Генерал формировал мусульманские отряды под знаменем Газавата — священной войны с неверными, из сибирских казаков создавал добровольческие полки имени Иисуса Христа и девы Марии.

Девятнадцатый год был годом возвышения и падения верховного правителя. Возвышаясь, Колчак поднимал с собой и Дитерихса, наконец даже назначил его главнокомандующим всеми своими войсками.

После разгрома белого движения в Сибири и гибели Колчака генерал Дитерихс бежал в Харбин.

В Харбине Дитерихс завязал дружеские связи с японским консулом Ямаучи. В дни их встреч Ямаучи, после улыбчивых поклонов, повторял одну и ту же фразу:

— Генерал, вы слишком значительны, чтобы находиться в тени.

Весенним вечером двадцать второго года консул пригласил Дитерихса и от имени японских оккупационных войск во Владивостоке предложил возглавить новое белогвардейское правительство.

— А братья Меркуловы? — не показывая своей радости, спросил Дитерихс.

— Не будем вспоминать о Меркуловых. Они сгнили на корню. Ваше имя, генерал,— боевое знамя, под которым можно собрать серьезные силы.

Дитерихс принял предложение.

Правители Меркуловы были свергнуты, главой нового и последнего белого правительства стал Дитерихс.

...В летний полдень над бухтой Золотой Рог плыли малиновые перезвоны колоколов, на Светланской — главной улице города — кипел, колыхался озаренный иконами, крестами, хоругвями, ризами человеческий поток. Золотые архиепископы, серебряные архиереи, чернорясное монашье воинство занимали несколько рядов пышной процессии. Впереди шествовал высокий худой старик, выбритый до синевы. Был он в тяжеловесной одежде времен царя Михаила Романова, шагал, четко печатая шаг, боярская одежда не могла укрыть его военную выправку — генерал Дитерихс вел за собой русских дворян, казачьих атаманов, каппелевских и семеновских офицеров, дам высшего света, отставных урядников, бежавших жандармов, капиталистов, лабазников. Осколки разбитого вдребезги привилегированного общества шли на открытие Земского собора.

Земский собор, созванный в городе, на берегу бухты Золотой Рог, должен был восстановить на русском престоле династию Романовых. Военные оркестры играли «Боже, царя храни», цвели женские наряды, чернели фраки, взблескивали погоны, даже небо над городом напоминало сизый бархат театрального занавеса.

Петр Андреевич Куликовский из окна гостиницы следил за пышной процессией и грустно вздыхал — ему казалось невозможным восстанавливать на Руси погибшую монархию, и оперная чертовщина, затеянная Дитерихсом, раздражала.

Куликовский, Дуглас Блейд, Боренька Соловьев, якутские компрадоры Попов и Никифоров уже второй день жили во Владивостоке. Блейд и Боренька с утра до полуночи пропадали в городе, купцы пили водку в своих номерах, и Куликовский находился в полном одиночестве. Он заказал визитные карточки

на русском, английском, французском языках: «П. А. Куликовский — губернатор Якутской провинции».

Явился Дуглас Блейд и шумно объявил — назавтра они приглашены к генералу Дитерихсу.

— Земский собор провозгласил восстановление дома Романовых на престоле и предложил корону вдовствующей императрице Марии Федоровне. В случае ее отказа намечен в цари великий князь Николай Николаевич, пока же до приезда во Владивосток нового монарха Земский собор избрал главой русского государства Михаила Константиновича Дитерихса. К сожалению, мы опоздали и не смогли попасть на открытие собора.

— Да, да, опоздали! Жаль, конечно, но мне, пожалуй, было бы неприлично присутствовать при возрождении монархии. Я же, как социал-революционер, боролся с царизмом. А где наш Боренька? — Куликовский поспешно накинул носовой платок на открытки, которыми он только что сладострастно любовался.

Блейд безнадежно махнул рукой.

— Дорвался Боренька до вина, до карт, затянул и меня в какой-то притон. Курят опиум, пьют отвратительную водку, на столе кучи денег и карты. Я ретировался, но Боренька там как рыба в воде.

— Пожалуй, он нам и не нужен, без него встретимся с кем надобно,— согласился Петр Андреевич. — А доброе дело сделали — вывезли из таежной глухомани русского аристократа. Отсюда ему пути за границу открыты, пусть там порезвится.

— Компрадоры водку пьют? — осведомился Блейд.

— Беспробудно...

Блейд позвонил, вбежала горничная.

— В соседнем номере пьянствуют два якута. Приведите их в божеский вид.

Они сидели друг против друга — монархист и эсер, религиозный фанатик и безбожник, самозваный приамурский воевода и самозваный губернатор Якутской провинции.

— Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру,— цитировал на память Библию Дитерихс, и морщины разглаживались на узком лице, и вдохновение расширяло зрачки выцветших глаз.

Петр Андреевич, давно не читавший древней книги, с большим интересом прислушивался к образному ее стилю, внутреннему движению во фразах, плавному ритму, вызывающему ответные ассоциации. Волновала его и словесная канва, расшитая цветами изречений.

— Всему свое время. Время войне и время миру. И время ненавидеть...— повторил Дитерихс. — Мы слишком слабо ненавидели большевиков, не сумели объявить им истребительную войну, и вот печальные результаты. От них не спасли нас ни

царская армия, ни республика Керенского, ни диктатура Колчака.

— Припомнилась мне легенда о Христе, который, босой, исходил святую Русь, благословляя ее на подвиги во славу православной церкви. Не было ли это церковное утешительство трагической ошибкой? Постоянно напоминая о боге, церковь забыла о дьяволе, и вот по тем дорогам, что исходил Христос, теперь со свистом да с гиканьем носится дьявол,— сказал Куликовский.

— Да, это ошибка! Страшная, но все же поправимая ошибка,— умиленно согласился Дитерихс.

— Библия, по-моему, сильна тем, что она — история возвышения и гибели многих народов,— сказал Петр Андреевич.

— Вы смотрите на Библию как на художественный памятник человеческой истории, а я — как на слово божие. Вот вы говорите о Христе, что он ходил по Руси, благословляя на подвиги. А ведь в этой легенде спрятаны ключи нашей победы! Да, да, Петр Андреевич! Пришло время, и русский мужик спасет нас от гибели, ибо душу его не отравили ни западные демократы, ни русские комиссары. Они, развязавшие политические страсти в горожанине, не успели еще добраться до мужика. Теперь я исправлю страшную нашу ошибку и меч возмездия вкладываю в руки мужичка русского. Я вызываю православную старину к жизни и борьбе, ибо сильна она верой своей. Вот почему я назвал себя воеводой, полки русские переименовал в земские рати и объявил крестовый поход на Москву.

— О, это прекрасно и мудро — опереться на русского право́славного мужика! Но что же решите по поводу просьбы таежных народностей? — деликатно напомнил Куликовский.

— Благословляю вас на победоносную войну с большевиками! Буду надеяться, очистите тайгу от плевел дьяволовых. Как средневековые рыцари шли на освобождение Иерусалима и гроба господня, так и вам надобно пройти снежные пустыни и лесные дебри, чтобы восстановить престол царя небесного и царя земного на Руси...

— Благодарю, ваше превосходительство, но инородцы ждут помощи. У них есть деньги — нет оружия, есть солдаты — нет полководцев.

— Японцы обещали дать оружие и не поскупятся. Дадут и морские суда, чтобы перебросить отряды добровольцев. Из своего фонда выделю двадцать тысяч золотых рублей, и, уверен, раскошелятся американские коммерсанты. Вас утверждаю губернатором Якутской провинции, а вот полководцев лишних у меня нет. Генерал Молчанов, генерал Смолин, генерал Бородин заняты московским походом, а других, достойных вашего дела, не имею. Впрочем, постойте. — Дитерихс откинулся на спинку стула, наморщил лоб, вспоминая: — Есть такой генерал...

— Кто он? Имя его? — встрепенулся Куликовский.

— Анатолий Николаевич Пепеляев. Живет в Харбине.

— Сибири хорошо знакомо это громкое имя,— подхватил Петр Андреевич.

— Генерал томится в Харбине в ожидании серьезного дела. Поезжайте к нему, возможно, соблазнится вашим предложением. Я же черкну письмецо старому другу.

— Очень славно, ваше превосходительство! Еду к генералу Пепеляеву...

— Да благословит вас бог!

Петр Андреевич вернулся в гостиницу, заглянул в купеческий номер. Попов и Никифоров опохмелялись.

— Хватит пить, уезжаем в Харбин к генералу Пепеляеву.

— О-о! — в один голос воскликнули Попов и Никифоров. — Генерал Пепеляев — большой генерал, с ним мы всю тайгу вверх дном опрокинем.

— Передайте генералу Пепеляеву, что наша фирма не пожалеет денег для военной экспедиции на Побережье. С нетерпением ждем его приезда во Владивосток. Счастливого пути и большого успеха,— провожал Блейд своих охотских друзей на вокзале.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Харбин захлестывался потоками беженцев, а среди них — дворяне, купцы, священники, офицеры, командиры и солдаты Сибирской армии, которой еще совсем недавно командовал генерал Пепеляев. Бок о бок с князьями Голицыными, Кропоткиными, Ухтомскими, царскими сенаторами, миллионерами, шулерами, сутенерами прозябали обманутые колчаковцами рабочие Ижевского, Воткинского заводов, вятские, казанские, уфимские мужики. Они бродили в поисках случайного заработка, терзаемые все той же мыслью о работе. Чего-то ждали, на что-то надеялись, казалось им — явится кто-то, власть и силу имеющий, и позовет их в поход. Но генералы жили тихо, окончательно покорившись свирепой судьбе.

Правда, покорились не все. Был один генерал, беспокойно мечтавший о новом русском походе. Каждое утро Пепеляев, грузный не по возрасту, пристукивая суковатой палкой, шагал по бульварам с выражением ожидания на лице. Как и офицеры, генерал надеялся и ждал, что кто-то позовет его на последний подвиг во имя России. Генералу постоянно казалось: вот если бы он встал во главе хоть небольшого отряда, то этот отряд рос бы, как снежный ком, потом обратился в лавину и пронесся от Харбина до Урала, все сокрушая на своем пути.

Пепеляев был сторонником областничества и мечтал о своей Сибирской республике с сохранением крестьянского патриархального уклада жизни.

Бывшие русские аристократы и царские сановники, осевшие в Харбине, чуждались Пепеляева, его пренебрежительно

называли «розовым демократом», расшатавшим белую идею единой, неделимой России. Пепеляеву ставили в вину его областничество: ведь он всем говорил, что необходимо отколоть Сибирь от России и сделать самостоятельной.

После прогулки генерал садился за чтение «Записок белогвардейца», переданных ему автором — бароном Будбергом. Барон — царский генерал и бывший военный министр Колчака — был старым другом Пепеляева. Желчные записки барона Пепеляев читал с упоением: все, о чем писал Будберг, было знакомо, во многих событиях он участвовал лично, это придавало особый привкус чтению.

— К тебе какие-то люди, Анатоль,— сказала жена, приоткрывая дверь кабинета.

— Люди? Знакомые?

— Я их не знаю. Какой-то старик и двое мужчин, не то буряты, не то татары.

Пепеляев отложил рукопись, открыл входную дверь, пригласил гостей в кабинет.

— Мы из Владивостока, от его превосходительства воеводы Приамурского края Михаила Константиновича Дитерихса. Я губернатор Якутской провинции Куликовский, это Семен Попов и Гавриил Никифоров — представители якутского народа,— сразу заговорил Петр Андреевич.

Через полчаса хозяин и гости уже беседовали как давнишние приятели. Петр Андреевич рассказал о крестном ходе монархистов на улицах Владивостока, о генерале Дитерихсе, в одеждах русского боярина открывшем Земский собор, о переименовании полков в земские рати и московском походе.

— Дитерихс и при Колчаке создавал полки имени Иисуса Христа да магометанские священные отряды. Возил с собой походную церковь; ее, к слову сказать, красные захватили где-то под Курганом,— вспоминал Пепеляев, а сам думал о причинах появления Куликовского в Харбине: «Что-то, видно, передал с ним Дитерихс?»

— Воевода принял меня незамедлительно, подтвердил мое губернаторство. Еще сказал: если в Якутии есть губернатор, то нужен и полководец, который освободил бы край, и назвал ваше имя, господин генерал. И вот мы у вас...

— А есть доказательства, что дети тайги мечтают избавиться от красных? — спросил Пепеляев.

— А как же, а как же! —в один голос воскликнули Попов и Никифоров.

Пепеляев смотрел, как Попов выкладывал из баула школьные тетради, исписанные чернильным карандашом; Никифоров выволакивал на край стола деньги, а тетради подал Пепеляеву.

— Что это такое?

— Нельканские протоколы...

— А что такое Нелькан?

— Поселок, где происходило совещание представителей народностей Севера,— соврал Петр Андреевич. — В протоколах этих записано: просить помощи у русских генералов и у командующего японскими оккупационными войсками.

— Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и володейте нами,— заискивающе произнес Никифоров, придвинув пачки ассигнаций к Пепеляеву.

— Вы недурно выучили историю отношений русских с варягами,— рассмеялся Пепеляев. — Что касается меня, то готов пойти в кондотьеры к якутам, тунгусам, лишь бы свести счеты с красными. Продаюсь, но за хорошую цену!

— «Продаюсь, предаюсь...» Есть более деликатные слова: любовь к России хотя бы. Мы же не изменяем себе, мы просто используем все возможности для себя,— вежливо возразил Петр Андреевич.

— У вас есть политическая программа, господин губернатор? — Пепеляев покосился на пачки ассигнаций.

— Кто нынче не имеет программы! Мы создадим Якутскую республику и скрепим ее военной дисциплиной. Граждане нашей республики будут одновременно и воинами, защищающими свою землю от чужих посягательств. Охотники, звероловы, рыбаки — прирожденные воины.

— Военные поселения насаждал в России еще Аракчеев...

— Умные идеи не стареют. Республика без военной дисциплины — тело без позвоночника. Дитерихс обещал поддержать нас материально и политически, для начала он выдал двадцать тысяч рублей. К этому я добавлю еще шестьдесят тысяч золотых из губернаторского фонда. Во Владивостоке представитель американской фирмы «Олаф Свенсон» даст еще сто тысяч долларов.

— Что это за фирма? Почему она заинтересована в нашем походе на Якутск? —спросил Пепеляев, подчеркивая слово «нашем».

— Фирма «Олаф Свенсон» вложила большие миллионы в русский Север,— пояснил Куликовский.—Еще нам помогут охотский золотопромышленник Иван Елагин, якутские купцы, тунгусские тойоны. — Петр Андреевич отщипнул от булочки мякиш и стал скатывать шарик, ожидающе поглядывая на Пепеляева.

— Какими же силами вы располагаете?

— Несколько тысяч повстанцев, а командует ими неопытный корнет Коробейников. На Побережье действует большой отряд Елагина, есть казачьи части у есаула Бочкарева.

— Мало, мало! Это же необученные охотники да оленеводы. Нужна, так сказать, преторианская гвардия, а не таежная Вандея.

— В Харбине много ваших соратников по прежним походам,— намекнул Куликовский.

— Черт возьми, вы читаете мои мысли! — развеселился генерал. — Гвардию я наберу в Харбине,— сказал он как о совершенно решенном деле. — А теперь выпьем «Голубой ленты», где-то у меня притаилась бутылочка французского коньяка.

В квартире Анатолия Пепеляева наступили суетливые дни. То и дело хлопали двери, в комнатах толпились военные и штатские люди с юркими жестами. Были и мастеровые, занесенные вихрями революции в чужой ненужный им город.

Первым явился на генеральский зов Юрий Энгельгардт — офицер Семеновского гвардейского полка, перебежавший к Колчаку от красных; он пользовался в свите верховного правителя скандальной славой. Пепеляев знал Энгельгардта по Омску, считал его бабьим угодником, бретером, готовым по любому поводу затеять скандал, и недолюбливал таких фертов.

— П'едставьте мое состояние, господин гене'ал, когда я п'очитал в газете ваше объявление,— грассируя, заговорил Энгельгардт. — Это было состояние полного счастья, наконец-то, наконец-то п'обил час моего нового служения отечеству. Для меня большая честь служить под командованием такого полководца, как ваше п'евосходительство...

За Энгельгардтом пришел полковник Андерс; скверные слухи сопутствовали этому высокому красивому человеку: он пытал людей перед их расстрелом, раздевал догола женщин, прежде чем заморозить на дворе, но невозможно было угадать в нем садиста по безмятежному голубому взгляду.

— Полковник Лаврентий Андерс, кавалер георгиевских орденов и золотого оружия,— представился он.

— Наслышан про вас, полковник. О храбрости вашей рассказывают чудеса. Ведь вы были соратником атамана Дутова.

— Были времена, прошли былинные.

— Рано, полковник. Нас призывает родная Сибирь...

— Вся надежда на этот зов,— почтительно подхватил Андерс.

Явился фельдфебель Вяткин, проделавший всю сибирскую военную кампанию с Пепеляевым. Оружейный мастер Ижевского завода, не разобравшись толком, с кем ему по пути, участвовал в мятеже против власти Советов, потом, боясь кары, бежал в Сибирь, после многих мытарств докатился до Харбина.

— Скажи мне, Вяткин, с какой целью в поход отправляешься? Чего ждешь, на что надеешься? — спросил Пепеляев.

— Ежели правду баять, так уж ничего не жду. Хочу только родные места повидать и помереть. Лежать-то русскому надо в русской земле.

— Пожалуй, ты прав, Вяткин. И Пушкин писал, что ему хочется почивать поближе к милому пределу. Читал?

— Слыхать слыхали, читать не довелось.

Последними пришли генералы Ракитин и Вишневский. Пепеляев ценил обоих. Ракитин командовал дивизией в его Сибирской армии и взял Глазов, когда войска адмирала стремительным маршем шли на Москву. Это была самая крайняя точка на Западном фронте, захваченная колчаковцами у красных, ближе к Москве они уже не продвинулись.

— Если суждено погибнуть в якутском походе, то знайте: Ракитин был до последнего вздоха предан России,— с чувством сказал Ракитин.

Вишневский ничего не сказал: он был ярым сторонником Пепеляева, страстно поддерживал идею создания крестьянской республики в Сибири, до отчаяния ненавидел большевизм.

В добровольческую дружину записалось свыше тысячи человек. Пепеляев был доволен. Куликовский потирал руки, якутские купцы лоснились от радости и пили водку.

Воскресным вечером от перрона харбинского вокзала отошел воинский состав. С подножки салон-вагона Пепеляев махал шляпой отбегавшим — вокзалу, домам, улицам Харбина, меланхолически повторяя:

— Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В окнах ресторана «Золотой Рог» густо синела бухта, японский крейсер глазел на город жерлами дальнобойных орудий, как всегда печально кричали чайки.

Командиры добровольческой дружины сидели за банкетными столами, нетерпеливо ожидая очередного тоста. После решительных слов генерала Пепеляева, витиеватой риторики Куликовского встал Дуглас Блейд, похожий скорее на поэта, чем на коммерсанта, и восхитил всех коротким, но выразительным тостом:

— Господа офицеры! Ваш поход грандиозен. Это предприятие колоссального размаха. Фирма «Олаф Свенсон» вменила мне в приятную обязанность вручить вам на дорожные расходы сто тысяч долларов...

Блейд с лучезарной улыбкой, сверкая очками, протянул чек Пепеляеву. Наконец встал генерал Дитерихс, от шеи до живота усеянный орденами, офицеры, прищелкивая каблуками, поднялись, приветствуя воеводу.

— Господа члены священной Сибирской дружины. Наш общий друг Блейд сейчас на деле доказал свою любовь к свободе. Помните же: у нас нет более преданных союзников, чем американские и японские друзья, с их помощью ваш путь будет не крестным путем, а крестовым походом против слуг антихристовых. — Подняв над головой пальцы, Дитерихс произнес с религиозным экстазом: — Ночь прошла, а день приблизился,

так отвергнем дела тьмы и облачимся в оружие света. Этими словами провожаю вас в великий крестовый поход...

Дитерихс раскланялся и ушел, и сразу началось застольное пиршество. Все быстро подвыпили, разгорелись разговоры на темы от наполеоновского похода в Египет до офицерских похождений по харбинским притонам. Любовная тема приперчивалась политическими сентенциями, разбавлялась философскими афоризмами, каламбурами, скабрезными анекдотами.

— Генерал Каппель мог бы стать великим полководцем, живи он в эпоху мушкетеров...

— У Каппеля прежде всего бросались в глаза коротенький плащ и козлиная бородка...

— Белая идея похожа на дуплистое дерево. Еще цветет, но уже не плодоносит...

— Любители болтать, что теперь не время сводить счеты с красной Россией, забыли, что любое время — время для всего!

— Если боишься смерти, она одолеет тебя, герой!..

— Почему заповедь «Возлюби ближнего своего» так и не стала реальностью за две тысячи лет? Да потому, что она противоречит биологическому закону природы. Все стремятся к существованию за счет своего ближнего...

— Тебя всегда, как атамана, окружают одни разбойники...

— А ты одинок, как палач...

— Мы уже не можем жить неторопливо, нас тянут приключения во славу кровавой фантастики. Ведь Якутский поход — это фантастический бред...

— В России появились целые табуны личностей, одинаково ненавидящих белых и красных. Вот печальные примеры исторического опыта...

Из общего говора вырвался грассирующий голос Энгельгардта:

— Я смоленский дво'янин и го'жусь своими п'едками. Мой дед не выдал ключей от Смоленска самому Наполеону, за что был повешен. Деду памятник в Смоленске стоит, а вы обвиняете меня в отсутствии пат'иотизма...

— При этакой-то родословной вы служили у красных,— ехидничал полковник Андерс. — Вы же были в армии подпоручика Тухачевского...

— Был, чтобы вызнать военные тайны и п'инести их своим. А когда войду в Москву, то повешу Тухачевского на К'асной площади у Лобного места...

— Если бы у красных не было Тухачевского, как бы они воевали?

— Кто такой Куликовский, по зову которого отправляемся к чертям на кулички?

— На Куликовского наплевать, это штрюцкая шляпа...

— Ты знаешь, кто командовал красными под Волочаевкой, кто командует ими под Спасском?

— У красных кузнецы да конюхи командуют. Правда, Волочаевку штурмовал Блюхер, немецкий генерал, сукин сын...

— Блюхер — немец, не спорю, а кто собирается стукнуть нашего воеводу под Спасском?..

— Какой-то конюх Остряков...

— И маршал Мюрат был сыном конюха...

— Мюрат учился военному искусству у Наполеона! А этот Востряков у кого? У деда Вавилы хвататься за вилы...

— Вы имеете в виду Степана Вострецова? — спросил генерал Ракитин.

— Да, именно, господин генерал...

— Не люблю, когда опасного противника делают дураком. А знаете ли вы, что этот самый кузнец был награжден тремя георгиями? А известно ли вам, что он геройски показал себя в сражении за Челябинск? Тоже не слышали? Стоило бы помнить: именно Вострецов ворвался в Омск и разоружил на вокзале несколько наших эшелонов. За все это я бы наградил Вострецова георгиевским крестом, а потом повесил бы. А храбрец храбрецом остается...

Столики, цветные витражи, офицерские физиономии, бухта, словно литая из синего металла, пыльные кактусы по углам зала завертелись перед Ракитиным.

Сместились, понеслись в пропасть годы, события, люди.

За мгновение ока он прожил двадцать последних лет — от парадной лестницы гимназии до грязных окопов под Митавой — и ошарашенно вертел головой, пытаясь что-то вспомнить.

Ничего не вспомнил.

Хмурым утром из Владивостока вышли пароход «Защитник» и канонерская лодка «Батарея», на них отправилась в свой поход Добровольческая дружина Пепеляева. Во Владивостоке остался генерал Вишневский: ему надлежало взять дополнительные военные грузы.

Шумело море, северный ветер гнал дождевые тучи. Генерал Ракитин тосковал на палубе; уже девятый год проводил он в военных наступлениях, отступлениях, приказывал убивать, сам убивал, а во имя чего эти бесчисленные убийства? Монархия погибла, буржуазная республика пала, Колчак казнен, белое движение погасло.

«Почему я решился на этот странный поход? Ведь наша экспедиция — всего-навсего кровавая фантастика, как изволил выразиться один офицер. Признаться, я согласен с ним и если отправился на Север, то от бессмыслицы собственной жизни. Кем же я стану командовать? Я, боевой генерал? Какими-то тунгусами да якутами, у которых пистонные берданы, и вот этих-то вояк поведу в бой против красных пушек? Смешно!

Сам себя отбрасываю к эпохе первобытных войн. Ратую горячо за шкуру через плечо!»

Ракитин продрог на ветру и спустился в кают-компанию: за утренним чаем оживленно беседовали Пепеляев и Куликовский.

— Вот, кстати, и ты. Послушай, Петр Андреевич подал интересную мысль, я сразу подумал о тебе,— оживленно сказал Пепеляев.

— Интересные мысли приятно слушать,— Ракитин присел к столу.

— Я предлагаю вот что,— немедленно заговорил Куликовский.— Надо нам разделиться на две группы. Первая под командованием Анатолия Николаевича высаживается в Аяне и по старому тракту пойдет на Нелькан, вторая отправится в Охотск. Там сейчас отряд Ивана Елагина, ежели к нему прибавить туземцев, наберется тысяча голов. По якутским условиям — мощная сила. Их необходимо объединить в один отряд и, не теряя времени, поспешить на помощь Сибирской дружине...

— Заманчиво! А кто возглавит охотский десант? — спросил Ракитин.

— Ты, мой генерал! Кому, кроме тебя, доверить такое дело,— весело объявил Пепеляев.

— Не нравится мне моральное состояние добровольцев. Заглядывал к ним — пьют, играют в карты, буянят. Военная дисциплина утратила свой смысл, обращаться же к пьянице и называть его «брат-солдат» выше моих сил,— пристукнул костяшками пальцев по столику Ракитин.

— Восстановить чинопочитание теперь невозможно. В Якутском походе особенно важно братство дружинников, но если «брат-солдат» ослушается приказа «брата-генерала», можно и по уху,— чертыхнулся Пепеляев.

Генерал Ракитин отобрал себе группу офицеров, а в адъютанты взял Энгельгардта.

На траверсе Аяна он распрощался с Пепеляевым и Куликовским, канонерка «Батарея» взяла курс на Охотск.

Пепеляев пошел на Аян.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Карл Байкалов развернул энергичные действия против мятежников.

Красные отряды отбросили войско Коробейникова от Якутска и повели наступление на его опорные пункты. Мятежники проигрывали один бой за другим, Коробейников отошел на берег Лены, в село Никольское, и там создал укрепленный район.

Андрей Донауров работал в штабе Байкалова, писал всякие прокламации и воззвания, но жил потаенной надеждой пробраться в Охотск и разыскать Феону. В комнату Строда он приходил только ночевать, сам Строд приезжал на один-два дня и снова спешил в тайгу исполнять оперативные замыслы Байкалова. В один из своих наездов Строд задержался, и Андрей спросил, когда очистится путь на Охотск.

— К осени с мятежным корнетом будет покончено,— уверенно ответил Строд.

— Где теперь Коробейников?

— Где-то в верховьях Алдана, сил у него уже нет совершенно. Каюк корнету. А ты скоро в Охотске у своей Феоны будешь писать стихи,— пошутил Строд.

— Мало шансов разыскать Феону.

— Нельзя жить без надежды, дружище.

— Надежда, как река, обещает много, но оставляет на своих мелях...

Строд распахнул окно — при солнечном свете необозримо, бескрайне блистала, как расплавленное стекло, Лена.

— Удэгейцы называют Амур Млечным Путем, сошедшим на землю. С таким же правом можно величать и Лену.

— У этой реки даже больше прав на такое величание,— подхватил Андрей, но не испытал никакого удовольствия от пышной своей фразы.

С той поры как он утратил Феону, исчезло и вдохновение. Самые причудливые образы не будоражили сердца, в уме не рождались поэтические мысли, строки были пустыми и серыми. Творчество, особенно поэтическое, немыслимо без любви, его не оплодотворяют ревность или зависть; Андрей же мог писать, только когда возлюбленная была рядом и вдохновляла улыбкой, словом, лаской.

— Если бы я был писателем, то уже сейчас бы думал, как правдиво и точно запечатлеть революцию в историческом романе,— неожиданно сказал Строд.

— А меня мучает совершенно иная тема...

— Скажи, если не секрет?

— Тема океана и его капли, народа и его детей. Человеческая судьба может ведь отторгнуться от народного корня и отлететь в сторону, как отлетают в океанский прибой брызги. Но брызги снова сливаются в каплю, она возвращается в океан, а человеческая личность в прежнее состояние уж не вернется. Личность-то прошла через многие необратимые изменения. Человек вне народа — такой вопрос поднял бы я в романе.

— И как бы ответил на него?

— Дело поэта ставить вопросы, отвечать на них обязано общество.

— Нет, не согласен. Поэт должен учить народ правде и справедливости. Нельзя уходить от народа, как невозможно

уйти от самого себя или поставить точку в движении материи. В жизни общества, как и в творчестве, последних точек не бывает. Люди умирают за свои идеи, а значит, во имя будущего...

— Люди должны же спросить у себя: для чего мучились их предки? Новые поколения, занятые разрушением старого мира, могут позабыть предков. Это вас не тревожит?

— Из опыта предков мы возьмем все ценное и прекрасное. Моцарт, Пушкин, Саади войдут в послереволюционное будущее на равных правах с новыми поколениями,— ответил Строд.

— Вы любите поэзию Востока?

— Я люблю вообще поэзию, хотя, по-моему, восточная поэзия — это караван, нагруженный пряностями и жемчугом, но не имеющий воды и хлеба.

— Но вы же берете в будущее Саади...

— Саади — философ в поэзии. Мудрец, боровшийся против зла и неправды. — Строд помолчал, потом, взглянув на Донаурова светлыми холодными глазами, продекламировал на память:

Не помню, в какой-то я книге читал,
Что Некто во сне Сатану увидал.
Как ангел прекрасен, как бог он велик,
Как солнце, сиял ослепительный лик.
Спросил человек: «Неужель это ты?
У ангелов нет ведь такой красоты!
Тебя ж представляют рогатым, кривым,
Бесчестным, преступным, поганым и злым...»
На этот наивный по-детски вопрос
Низвергнутый бес в ответ произнес:
— О, друг мой! Да я же совсем не таков,
Да кисть, мне на горе, в руках у врагов...

— Прекрасные стихи! Конечно, Саади будут ценить наши потомки как Пушкина, как Шекспира,— согласился Андрей. — Я бы хотел, чтобы хоть одна моя строчка принадлежала будущему.

— Кстати, вот вы почему помогаете большевикам?

— Вы люди из будущего, а я тоже хочу новой жизни для России. Если перестану верить в это, тогда... — Он остановился, не находя нужных слов для выражения мысли.

— Что же тогда?

— Тогда незачем и жить.

На окнах спали занавески, спал лунный свет на полу, сонно отражались вещи в прямоугольном трюмо, дремотное тиканье стенных часов приостановило время.

Андрей лежал в темноте и думал о Феоне. Думал очень грустно, и было тревожно на сердце; чем явственнее представлял он глаза, губы, голос Феоны, тем тревожнее становилось. Впервые по-настоящему любил он женщину и впервые познал

тревогу любви. Постоянное стремление к любимой, страх за нее, смятение чувств хороших и недобрых называет он любовью, без этого чувства блекнет мир. Андрею стало жаль своих молодых лет, прожитых без любви; он странствовал, искал золото, попадал в опасные приключения, но рядом не было любимой женщины, что могла бы вселять надежду в его сердце. Теперь у него есть Феона. Он любит ее глубоко, осенняя земля расцвечена красками его любви, и все — от далекой утренней звезды до березового листка — входит в его любовь.

Неожиданно Донаурова вызвал Байкалов, сказал:

— Собирайся, пойдешь с экспедиционным отрядом в Нелькан, оттуда проберешься в Охотск.

— На все согласен, лишь бы в Охотск,— обрадовался Андрей.

— Желаю найти жену живой-здоровой,— сказал Байкалов, поняв причину его радости,— но я посылаю тебя по особому делу. В Охотске необходим свой человек, ревком верит тебе. После захвата Побережья Бочкаревым мы утратили связь с подпольщиками. Ты должен восстановить эту связь, снабжать нас информацией о замыслах контрреволюционеров и японских оккупантов. Это опасно, но необходимо. Отправляйся в трудный путь, но не считай его за подвиг.

Речные пароходы «Революционный», «Соболь», нагруженные до отказа боеприпасами и провиантом, двое суток спускались по Лене, потом вошли в Алдан. После Лены, просторной и величественной, Алдан показался Донаурову особенно мрачным и пустынным. Тайга медвежья, волчья тайга подступала к бурным стремнинам, стаи уток покачивались на волнах. На сизом небе чернели сопки, все вокруг было торжественно и печально, и Андрей невольно впадал в меланхолию. Скука — сестра одиночества и безделья — еще не проникла в каюту его, и он неостановочно жил мечтой о Феоне, и противоречивые чувства овладевали им: нежная, не имеющая исхода любовь смешивалась с низкой ревностью, восторг перед женской красотой — тоской по только что расцветшим и уже утраченным иллюзиям.

«От настоящего глупо ждать улыбок, завтрашнее — без просвета. А вот если Феона стала любовницей Бочкарева или Елагина, подчинилась насилию или изменила мне? Почему я не подумал о таком несчастье раньше? Противоречивость женских поступков общеизвестна, она — ломаный путь их логики. Коварство губит душу, измена развращает любовь, а женщина всегда желанный трофей для вояк».

Чем несправедливее он думал о Феоне, тем желаннее становилась она, и вот облик ее выступил из речного тумана. Почудилось: протяни руку — и коснешься ее веселого, теплого тела. Андрей даже покачнулся в сторону обманчивого видения, но оно исчезло.

Мерно стучали пароходные колеса, хриплые гудки разносились по окрестностям, но Андрей, не видя и не слыша, стоял, облокотившись на палубные перила, снова вызывая образ Феоны. Она больше не появилась.

У пристани «Охотский перевоз» первый отряд высадился на берег, ему предстоял пеший путь к морю. Где-то на этом пути красные думали перехватить мятежников, если они пойдут в Охотск. Второй отряд направился вверх по Алдану, потом свернул в мелководную Маю. Плыть стало труднее: перекаты, мели, пороги перекрывали фарватер, пароходы часто садились на мель. Только через месяц после выхода из Якутска экспедиция достигла Нелькана. Разведка донесла, что мятежники не подозревают о появлении красных.

Ночью красные высадились в трех верстах от Нелькана, а утром пошли в наступление. Мятежники не приняли боя и бежали по Аянскому тракту.

Красные заняли Нелькан, но бескровная победа не радовала: преследовать мятежников по болотам, по горным тропам было невозможно, до Аяна еще полтысячи верст, а тайга уже цепенела от заморозков, кровенела от листопада. В тот день выпал снег такой белый и чистый, что вороны каркали от счастья, опьяненные его светом.

— Не советую рисковать жизнью и уходить в Аян. Здешние проводники сбежали с Коробейниковым, и шагать одному — шагать на гибель. Если и дойдешь до Аяна — расстреляют мятежники, они теперь злее голодных волков,— предупредил Андрея командир отряда.

— Мне необходимо попасть на Побережье,— твердил Андрей, понимая справедливость слов командира, но не принимая ее.

В этих словах была правда, но любовь сильнее разума толкала Андрея в путь. Стремление его могло оборваться лишь каким-нибудь невероятным происшествием.

И невероятное случилось. Было уже за полночь, когда командир разбудил Андрея.

— Что-нибудь произошло? — встревожился он.

— Ты проводника по имени Джергэ знаешь?

— Еще бы! Мой друг. А что известно о нем?

— Если бы он нес околесицу, ты бы ему поверил?

— Джергэ в Нелькане, да? Откуда он пришел? — вскочил со скамьи Андрей. — Джергэ в Нелькане — это невероятно!

— Он расскажет тебе еще более невероятные вещи.

Командир приоткрыл дверь в соседнюю комнату и позвал. Тотчас порог переступил Джергэ.

— Здравствуй, догор! — Джергэ стиснул ладонь Андрея, рукопожатием выказывая свое удовольствие от встречи. — Ты собрался в Аян, но я говорю: в Аян нельзя! Там теперь много белые люди...

— Откуда тебе известно? — спросил Андрей.

— Я пришел из Аяна.

— Кой черт занес тебя туда?

— Носил капсэ от совиэскей ревэикома. В Аяне стоят белые корабли. Я поспешил в Нелькан, боялся, что белые люди обгонят. Не обогнали, однако, но они скоро будут здесь.

— Есаул Бочкарев в Аяне? Да?

— Нет. Их привел из Владивостока Пепеляев-генерал, а другой, Ракитин-генерал, занял Охотск.

Новость была важности чрезвычайной. С какой целью прибыли на Побережье генералы? Много ли у них солдат, какое оружие, куда пойдут из Аяна, из Охотска? Над экспедиционным отрядом красных нависла беда, связи с Якутском не было, пароходы из-за резкого обмеления реки пришлось спустить на триста верст вниз по Мае, к тому же кончились продукты. Командир красной экспедиции решил возвращаться в Якутск.

Перед самым уходом в Нелькане появился перебежчик из пепеляевской дружины.

— На Побережье Аяна высадились белые генералы с большим запасом оружия и провианта. Пепеляев берет под свое начало остатки мятежной армии Коробейникова, банды Бочкарева и Елагина. Из Владивостока прибыл генерал Вишневский с новым отрядом, Ракитин в Охотске собирает все антиреволюционные силы. Генералы думают захватить Якутск и двинуться вверх по Лене,— сообщил перебежчик.

Экспедиционный отряд покинул Нелькан и благополучно добрался до села Петропавловского на Алдане. Там красные стали гарнизоном, а Джергэ и Андрей помчались в Якутск.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Третьи сутки спешили к югу гусиные косяки, и Пепеляеву казалось, нет конца их великому перелету. Он отвел глаза от окна, сказал, щурясь на Коробейникова:

— Продолжайте, господин корнет, я слушаю.

— Под Нельканом мои люди дрались, как львы, сам водил их в атаку. — Коробейников говорил и видел себя на Аянском тракте спасающимся верхом на якутской лошадке. — Мы оставили Нелькан и направились на Побережье в надежде поймать хотя бы случайную шхуну и уехать в Китай. А встретили ваше превосходительство...

Пепеляев чувствовал, что Коробейников лжет, стараясь выпятить свою отвагу, но не останавливал его; с первых слов корнета он понял, что армия мятежников перестала существовать, а с разложившимися частями любой армии тяжело начинать новую военную кампанию.

— Кто командует красными войсками в Якутске? — спросил он.

— Кажется, какой-то Байкалов.

— Господин корнет! — вспыхнул Пепеляев. — Нужно знать биографию противника, как свою собственную. Где сейчас экспедиционный отряд красных?

— По-моему, в Нелькане...

— Что красные предпринимают?

— По слухам, намерены прорваться на Побережье и покончить со мной. О вашем появлении они не знают.

— Ну, это слухи. А на самом деле?

— Вряд ли они рискнут шагать шестьсот верст по осенней распутице,— ответил Коробейников, зябко кутаясь в меховой воротник шинели.

— Мы должны идти на Нелькан, если мы чего-нибудь стоим,— жестко сказал Пепеляев.

— Я устал. Я морально разгромлен. Снова идти в тайгу нет сил.

— Почему вы так пали духом, корнет?

— Я истосковался по родной земле и уже не верю в победу.

— Истосковался по родине,— печально повторил Пепеляев. — Но родина — это мы сами, корнет! Где бы мы ни находились, Россия в сердцах наших. А вы мечтаете о Китае!

— Из Китая не так далеко до Сибири. А в тайгу не пойду, вы не представляете, какой ужас — зимняя тайга!

— Я сибиряк, мне ли бояться тайги! А вот какая ожидает в походе неизбежность, я действительно не представляю. Перед неизбежным молчит все, даже самый осторожный опыт,— четко выговорил Пепеляев.

— Я теперь бесполезный командир, ваше превосходительство...

— Тогда убирайтесь во Владивосток! У меня в дружине больше офицеров, чем солдат, обойдусь без вас,— презрительно сказал Пепеляев.

— Депутация аянских тунгусов, брат-генерал,— доложил адъютант.

— Проси их. Счастливый путь, корнет. — Пепеляев, не подавая руки Коробейникову, вышел из-за стола.

Комната наполнилась людьми в лисьих малахаях, пыжиковых дошках, оленьих унтах. Тойон — глава депутации — подал Пепеляеву черное перо ворона.

— Весть о твоем походе в Нелькан, нюча генерал, помчится как ворон, и таежные люди выйдут на тропу, чтобы присоединиться к тебе,— проглатывая слова, сказал тойон.

— Что думают о моем походе охотники, рыбаки? — спросил Пепеляев.

Они заговорили сразу и вместе, будто повторяя заученные, еще не остывшие слова:

— Наша знает, куда идет ваша. Разгоняй комунисимов...

— Совиэский — худые люди, воевать их надо...

— Будь могучим медведем...

— Мы дадим тебе потакуи, полные сушеного мяса, ездовых оленей — оронов и верховых оленей — учуге, только верни тайге тишину и покой, нюча генерал...

Пепеляев стоял широко раздвинув ноги, переводя пронзительные глаза с тунгусов на тойона и опять на тунгусов. Повертел перо ворона, положил на стол.

— Я пришел спасти вас от красных, вернуть утраченный покой,— сказал он с холодным пафосом.

Пепеляев идет на Якутск!..

Это тревожное капсэ наполняло город, как полые воды реку, его разносила торбасная почта, оно катилось на собачьих нартах, скакало на взмыленных лошадях. Этой новостью жили бессонные люди в ревкоме, и Байкалов совещался с комиссарами почти непрерывно.

На Якутск шел не какой-то корнет с оравой скверно вооруженных охотников, а опытный генерал с такими же опытными, мастерски знавшими свое дело добровольцами.

После долгих размышлений Байкалов решил направить против Пепеляева Сводный отряд Строда. Он вызвал к себе Строда и Донаурова. Разговор происходил в декабрьских сумерках, в чадной, смутной тишине.

— Ценою собственной жизни, Строд, не пропусти Пепеляева на Якутск. Не сомневаюсь в твоем мужестве, но вдохни решимость в красноармейцев. — Байкалов взял со стола запечатанный конверт, постучал по нему пальцем. — А тебе, Донауров, поручаю старое, но слегка измененное задание: в этом письме обращение ревкома к генералу Пепеляеву. Мы предлагаем ему прекратить поход и сложить оружие под гарантию полной неприкосновенности. Ты вручишь генералу обращение, скажешь, что переходишь на его сторону, а потом проберешься в Охотск. Все просто и ясно, как жизнь и смерть. Проводником с тобой идет, конечно, Джергэ?

— Кто же кроме? Правда, Джергэ не успел еще просушить свои торбаса от прежних походов, но он сушит их на охотничьей тропе,— ответил Строд.

— Джергэ — лучший проводник наших отрядов. Да будет лебяжьим пухом снежная ваша постель, да не обледенеют ваши торбаса, да хватит пороху до самой победы. За победу!— Байкалов сдернул салфетку со столика, стоявшего в красном углу, разлил по стаканам спирт.

Андрей поднял стакан — рыжие точки огня заиграли в прозрачной влаге, Байкалов уловил его грустный взор и добавил:

— За здоровье твоей Феоны!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В морозном тумане потрескивали сосны, ухал лед, разламываясь на речках, скрипел под полозьями нарт снег. Путь становился все непролазней, и все чаще приказывал Строд браться за топоры. Бойцы пробивали просеку в зарослях, оленей и лошадей непрестанно выволакивали из сугробов.

Страшную опасность представляли наледи: вода, выступавшая из-подо льда, шипя и дымясь, разливалась на многие версты. Нельзя отступиться и нельзя упасть в эту воду: пришлось бы разводить костры, спасая пострадавшего.

На ночлег останавливались, только когда зажигались звезды. Наступало сладостное время, бойцы раздували костры, кипятили чай, варили кашу с оленьим салом. Озаренные дымным огнем, копытили снег олени, добывая ягель, звучно хрумкали овсом лошади.

После ужина бойцы, окольцевав костры, укладывались спать на еловых лапах и засыпали, будто проваливались в пропасть. Бодрствовали только Строд, Андрей, Джергэ да часовые на своих постах. Джергэ запевал песню; протяжная, она отвечала душевному настроению Донаурова, и думалось ему: песня рождалась из белизны и безмолвия таежного мира, и, хотя мир был безлюден и равнодушен ко всему, Андрей не чувствовал себя в нем одиноким и приниженным. Песня говорила о единстве неба, тайги и человеческого сердца.

Джергэ пел, скашивая на Андрея белки своих ночных глаз. Он пел о времени, что уходит в вечность, о родном наслеге, в котором ждет его жена. Пел о своих оленях, что копытят снег в поисках ягеля, о ягоде бруснике, что поспевает под снегом, о северных морозах, о которых шепчутся звезды.

Андрей лежал на еловых лапах, продолжая слушать охотничью песню, а мечта его снова и снова улетала в страну по ту сторону звезд, где правят красота, поэзия и любовь. Белая тайга и звездное небо приобретали какое-то магическое значение. «Цель магии — заставить природу служить человеку. Когда совершаются всякие магические ритуалы, люди начинают верить в чудодейственную волю прорицателей и шаманов. Магия всегда была орудием религиозного устрашения. Говорят, есть любовная магия, она возвращает утраченную любовь. Достаточно спалить на огоньке свечи волосы любимой, или подбросить под ее подушку одолень-цветок, или вырвать ее след с корнем папоротника — и будет восстановлена вся свежесть любви. Правда ли это, возможно ли это? Я продал бы дьяволу душу, лишь бы немедленно вернуть Феону, ее улыбающиеся губы, весь ее стремительный облик...»

Андрея разбудили выстрелы. Он вскочил с заиндевелых веток, увидел окруженного бойцами всадника.

— Кто вы такой? — спрашивал пленного Строд.

— Разведчик из дружины генерала Пепеляева,— отвечал пленник, нелюдимо оглядывая бойцов. — Ездил по улусам с воззванием к населению, ночевал на этой поляне, сегодня думал, что подошел наш авангард, но ошибся.

— Дайте-ка воззвание генерала... — Строд с кипой прокламаций присел к костру. Джергэ подбросил дров. Взметнулось пламя, и Строд прочел:

— «Братья-красноармейцы! Мы и вы — русские люди, нам одинаково дороги интересы родины, мы гордимся ее величием, а те, кто вас посылает расстреливать народ, убегут в первую трудную минуту...

Перешедшим к нам до боя и во время боя предоставляется право вступать в наши ряды под бело-зеленое знамя свободы...» [1]

— Воззвание написано со слезой, только вот автор его, Куликовский, не заслуживает доверия. Авантюрист с размахом. К тому же самозванец,— презрительно сказал Строд.

— Какой же он самозванец? Он не самозванец,— возразил пленный.

— Куликовский величает себя губернатором Якутской провинции.

— Его назначил на этот пост Дитерихс.

— И Дитерихс — самозванец. Расскажите-ка лучше, прапорщик, как Пепеляев захватил Нелькан?

— Мы шли к Нелькану двадцать дней, в пути съели все, что взяли в Аяне. Потеряли и весь транспорт, но генерал надеялся внезапным ударом захватить красные пароходы с продовольствием. Однако мы вошли в пустой и голодный поселок, осенняя распутица мешала и возвращению в Аян. Одним словом, оказались в ловушке, добровольцы съели бродивших по Нелькану собак, перестреляли ворон, сварили все невыделанные кожи.

— А генерал Пепеляев сидел и смотрел на гибель своих дружинников? — удивленно спросил Строд.

— Хотите, чтобы я возвел напраслину на генерала? Стреляющий по орлу попадает в самого себя.

— Даже так! Что же совершил генерал Пепеляев для спасения вашего?

— Он разыскал тунгусов, заставил их снабжать нас олениной, а сам отправился в Аян, одолев триста верст по бездорожью за неделю. Через двенадцать дней из Аяна прибыл транспорт с провиантом, угроза голодной смерти исчезла. Разве это не подвиг?

— Сожалею, что такой человек, как Пепеляев, воюет против своего народа. Но Пепеляев надеялся совершить

[1] Воззвание Пепеляева, хранится в Центральном музее Советской Армии. (*Прим. автора.*)

увеселительную прогулку из Аяна в Якутск, верил, что победу достанет легко и бескровно...

— Напротив, генерал постоянно говорит дружинникам, что борьба будет ужасной. Но он убежден в победе. — И вдруг прапорщик широко улыбнулся.

— Вспомнили что-то смешное?

— Земский собор во Владивостоке припомнился, когда Дитерихс и его генералы в одеждах думных бояр, увешанные иконами, совершали крестный ход. Средневековье в двадцатом-то веке,— опять простодушно улыбнулся прапорщик.

— С такими боярами русской монархии не восстановишь...

— А мы не восстанавливаем ее, наша цель — создать мужицкую республику в Сибири.

— Мужичья республика в Сибири так же смешна, как и думные бояре во Владивостоке.

— Почему же возможна русская Совдепия, но не земская Сибирь?

Строд не ответил на вопрос, а продолжал спрашивать сам:

— У Пепеляева теперь два пути на Якутск: через Амгу и поселок Петропавловский. По какому пути он пойдет?

— В Петропавловском стоят ваши люди, генерал может послать против них Вишневского, а сам пойдет на Амгу.

— Вы были в Амге?

— Немного не дошел, ночевал в Сасыл-Сасы.

— Джергэ, что такое Сасыл-Сасы?

— Лисья Поляна. Три юрты. Там, однако, живет мой приятель.

— Лисья Поляна! Красивое название, дышит тайгой,— восхитился Андрей.

За дверью охотничьей вежи лаяли собаки, хоркали олени, ругались дружинники. В это утро все казалось неприятным Пепеляеву, угнетала и мысль, что придется шагать тысячу верст до Якутска по звериным тропам.

«После пятнадцати дней изнурительного похода занят Нелькан. Красные, не приняв боя, ушли вниз по реке Мае. Полагаю, что начальники их найдут способ поднять дух своих войск, и перед нами предстанут боеспособные части. Борьба будет упорная и серьезная. Если господь даст успех и мы возьмем Якутск, то постараемся связаться с вами по радио»,— закончил Пепеляев письмо и надписал: «Его высокопревосходительству Дитерихсу Михаилу Константиновичу». Поднялся, сразу загромоздив собой вежу. Высокий, толстолицый, обросший смоляной бородкой, генерал больше походил на звероловова, и у него было в избытке все, что определяет мужчину: ум, воля, решительность.

— Когда воевода получит мое письмо? Возможно, он рас-

печатает его во Владивостоке, возможно, в Иркутске, крестовый поход на Москву может претерпеть самые неожиданные изменения, как и мой путь на Якутск...

Скрипнула дверь, в вежу протиснулся генерал Вишневский.

— Посланец собрался, брат-генерал.

— Пусть заглянет ко мне.

Тотчас вошел закутанный в оленьи меха тунгус.

— Письмо отвези в Аян и передай на любую шхуну. В нем важное капсэ для белых ючей,— сказал Пепеляев.

— Ойе! Капсэ быстро помчится в Аян, у меня самые сильные собаки.

— Что везешь кроме моего письма?

— Пушнину.

— Много?

— Ойе, много!

— Это чья пушнина? Твоя? — спросил Пепеляев, переводя тяжелый взгляд на генерала Вишневского.

— Наша, брат-генерал. Это все, что удалось забрать у нельканских охотников. Только зачем отправлять пушнину в Аян, когда идем на Якутск? Обратно в Аян нам пути не будет.

— В походе предпочитаю везти боеприпасы, а не соболей,— уклончиво ответил Пепеляев. — А я написал Дитерихсу, что выступаем на Якутск.

— Где сейчас Дитерихс? Он еще в сентябре грозился взять Хабаровск.

— Благими намерениями вымощена дорога в ад. А где воевода, услышим, когда войдем в Якутск.

Генералы и не подозревали, что в этот октябрьский день Иероним Уборевич начал штурм Спасских укреплений.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Буржуазные историки любят рассказывать о знаменитых полководцах были и небылицы, обрамлять подлинные события легендами и невероятными, но якобы решающими судьбы сражений случайностями. Любят порассуждать и о том, что было бы, если бы в день Бородина Наполеон не схватил насморка или маршал Груши не опоздал к началу битвы под Ватерлоо.

Рок, судьба, случай, гений одного военачальника, бездарность другого, упущенное мгновение, личная храбрость или трусость подчиненных играют, по мнению таких историков, чуть ли не решающую роль.

В подобных мнениях есть частица истины, но обо всей истине эти историки говорят сквозь зубы. Классовую сущность всякой войны, социальные, экономические, религиозные, национальные отношения или они обходят молчанием, или намеренно искажают.

Английский писатель Честертон тонко заметил, что, «сообщая факты, так и тянет их исказить. Беспристрастных историков нет: одни говорят половину правды, другие чистую ложь».

Владимир Ильич Ленин писал: «Марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата».

Для советских историков война — это продолжение политики того или иного государства иными, насильственными средствами, это борьба классов, в которой решающую роль играют народы, а не отдельные, пусть и гениальные полководцы. «Для марксизма важно,— писал В. И. Ленин,— из-за чего ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни, то другие войска». Из-за чего ведется война — эта ленинская концепция стала основой советской исторической науки.

Но если отдельные личности не творят истории, они выражают ее.

Течет неумолимое время, отодвигая в прошлое события первых лет революции, но освещая их вечными отблесками истории.

На страницах ее сверкали и продолжают сверкать имена героев революции.

Среди самых молодых полководцев революции особенно выделялся своей одаренностью Иероним Уборевич.

Тысячелетняя история России богата войнами.

Русские сражались с половцами, татарами, турками, поляками, немцами, французами, англичанами, японцами — враги лезли на Россию с востока, юга и запада и никогда с севера. Ледовитый океан, северная тайга, полярная тундра, казалось, навечно замкнули пути в Россию для вражеских полчищ.

В эти дни революции широко раздвинулись географические границы войн — впервые развернулись боевые действия на шестьдесят третьем градусе северной широты.

Чтобы задушить большевизм, союзники бывшей царской России в войне против немцев высадились в Мурманске и Архангельске. Интервентов прельщала идея — из Архангельска подняться по Северной Двине, захватить Котлас и по железной дороге выйти на Вятку. Там думали они соединиться с белочехами и осенью восемнадцатого года взять Москву. Одновременно интервенты наступали по железным дорогам Архангельск — Вологда, Мурманск — Петрозаводск.

Армия интервентов уверенно продвигалась вверх по Северной Двине к Котласу, надеясь взять Вятку и, соединившись с белыми войсками, войти в Москву. Кого только не было среди солдат генерала Айронсайда! Англичане, американцы, францу-

зы, поляки, сербы, чехословаки, итальянцы. Под их опекой формировались белогвардейские полки — Архангельский, Мурманский, Онежский, Холмогорский, возникали славяно-британские легионы, русско-французские отряды.

По требованию Ленина был спешно создан Северный фронт, вместивший в себя тысячи верст, лесов, болот, великих озер, больших и малых рек. Линия фронта проходила через Онежское озеро, Северную Двину, по ее притокам Ваге, Пинеге, Печоре,— на этих необозримых пространствах терялись слабо вооруженные отряды красных.

Шестнадцатитысячной оккупационной армии генерал-майора Айронсайда противостояла разутая, голодная Шестая армия красных. Была она вдвое меньше, страдала от партизанщины. Многих офицеров, перешедших на сторону революции, красноармейцы подозревали как предателей и изменников.

Пренебрежение к офицерам было особенно сильным в Нижне-Двинской бригаде — там командиры побаивались своих бойцов. Только один двадцатидвухлетний, но не по возрасту хмурый подпоручик вел себя с бойцами без подобострастия. Был он строг, но справедлив, славно знал свое артиллерийское искусство, со спокойной храбростью бился в рукопашном бою. Ходил подпоручик в офицерской шинели, хромовых сапогах, носил пенсне, вызывая восхищенную зависть бойцов.

Есть люди, которые становятся необходимыми для других в самые трагические часы. Люди эти как бы аккумулируют общую энергию, ставя конкретные цели, открывают новые неожиданные перспективы, совершают героические поступки или, без колебаний и сомнений, наводят порядок.

Таким человеком и был подпоручик гаубичной батареи Нижне-Двинской бригады Иероним Уборевич.

Бригада отступала в таежные дебри, с каждым часом теряя боевой дух. Отступление всегда деморализует, а тут, как бы завершая все несчастья, погиб комбриг. Бригада без командира стала превращаться в ватагу; взбунтовался Первый Вологодский полк, бойцы покинули позиции и, бесчинствуя и грабя таежных жителей, отправились в Котлас. Иероним Уборевич принял под свое начало бригаду и устремился в погоню за бунтовщиками. Проводники обходными тропами вывели его вперед; он поставил в засаду кавалерийский эскадрон Хаджи-Мурата и пулеметную команду, а сам поехал навстречу бунтовщикам. Встретил их посредине тропы, появление его было таким неожиданным, что передние ряды остановились.

— Смирно! — скомандовал Уборевич. — Слушайте меня внимательно. Своим самовольным уходом с передовой вы совершили ошибку, граничащую с преступлением. Но у вас есть еще возможность исправить ее — возвращайтесь на позиции!

— Кто там крутится? Гони его в шею,— послышались угрожающие голоса.

— Шаг вперед — и я открою пулеметный огонь! — крикнул Уборевич.

Как бы в подтверждение его угрозы с правой стороны из кустов показались двуколки с пулеметами, с левой вымчался эскадрон осетина Хаджи-Мурата, известного всем своей лихой бесстрашностью. Бунтовщики попятились.

— Винтовки на плечо, направо кругом, шагом марш обратно! — властным голосом скомандовал Уборевич.

Оттого ли, что бунтари увидели пулеметы и кавалеристов, выросших словно из-под земли, оттого ли, что голос командира был совершенно спокоен, но таил в себе власть и силу, они начали исполнять его приказ.

Штаб бригады располагался в охотничьей избушке, на речном обрыве. В реке истаивала вечерняя заря, при ее свете Уборевич писал свой первый приказ:

«Именем векового народного горя требую проявлять стойкость и храбрость в сопротивлении врагу. Никогда не склоним наших знамен перед противником!»

Это был приказ — клятва на верность революции и на рыцарское ей служение, и возвышенные слова появились сами собой, хотя Уборевич избегал их в разговоре.

Неслышной походкой подошел следователь Особого отдела, таинственно прошептал:

— Они во всем признались...

— Кто это «они»? — не понял Уборевич.

— Подстрекатели из Первого Вологодского.

— Что за люди?

— Вятские мужички, вологодские мужички, здешние охотнички,— зачастил следователь.

— Грамотный народец?

— Помилуй бог, темнее ночи!

— Они хоть понимают, в чем сознаются?

— Крестятся да говорят — бес попутал, сер подбил...

— Откуда у вологодцев сэры появились? Мужички еще англичан и не видели.

— Не серы, а эсеры, товарищ комбриг.

Невеселая улыбка тронула губы Уборевича.

— Вот теперь все ясно. Эсеров арестовал?

— Так точно!

— А бойцов освободи. Безграмотные мужики обмануты эсерами...

Выдался редкий час фронтового затишья, английские канонерки не обстреливали позиций красных, самолеты не сотрясали воздух ревом моторов, бойцы дремали в окопах. Над речными обрывами повисла пустынная, щемящая сердце тишина.

Уборевич давно не испытывал такого удовольствия, оглядывая дебри, похожие на зеленое море. Под ногами лежала большая река с протоками, заливчиками, старицами, березы и ветлы на ее берегах уже оделись в золотистую дымку первоначальной осени, вода напоминала расплавленное олово и шла ровно, мощно, неукротимо.

Над Уборевичем пролился ясный, словно из горного хрусталя, возглас, потом другой, за ним третий — такие же звонкие и прозрачные. Лебединая стая проходила в черном небе, и Уборевич встрепенулся, и увидел он озеро, заросшее по берегам камышами, и белых лебедей своего детства. В уме прозвучали слова: «Белый лебедь летит, напрягая крыло, белый лебедь под небом далеким. Ты уйдешь и обронишь меня, как перо, и оставишь меня одиноким...»

...Старому крестьянину Петрясу Уборявячусу не просто было воспитывать большое потомство. Иероним — одиннадцатый ребенок в семье, но отец, перебиваясь с хлеба на квас, все же послал его в гимназию. Иероним проявил пристрастие к точным наукам, особенно к математике, уехал в Петербург, поступил в политехнический институт, но мировая война помешала учению, его послали на краткосрочные курсы офицеров. Вскоре подпоручика Уборевича назначили командиром гаубичной батареи на Румынском фронте.

Весной восемнадцатого года судьба забросила его в таежный край, о котором он знал меньше, чем о джунглях Амазонки.

Бурая трава покрылась инеем, недвижно висели оранжевые березы, за ними темнела стена сосен, рассвет рождался из речной воды. Крякали неисчислимые стаи уток, птица табунилась перед отлетом и казалась пестрой тучей, упавшей в Северную Двину. Уборевич проснулся от характерного постукивания пароходных плиц. Вскочил на ноги: «Уж не англичане ли решили попугать перед рассветом?» Но перестук катился с верховьев, и вот из-за мыса вывернулся буксирный пароходик с двумя баркасами.

— Это из Котласа, это свои,— решил Уборевич и услышал выстрелы караульных. Тотчас пробудились бойцы и рассыпались по обрыву.

Буксир долго разворачивался, чтобы пристать против течения, бурный поток относил баркасы, у бортов толпились люди, что-то кричали, размахивая винтовками. С буксира еще не сбросили трап, а какой-то бородач в шинели, с алой лентой на шлеме, выпрыгнул на берег.

— Вятский добровольческий отряд прибыл в помощь Шестой армии. По приказу командарма поступаем в распоряжение Нижне-Двинской бригады. Где комбриг? — заговорил он торопливо.

— Вот командир, пожалуйста! — осклабился Хаджи-Мурат.

— Вы комбриг? — недоверчиво спросил бородач.

— Меня зовут Иероним Уборевич. С кем имею честь?

— Командир отряда Алексей Южаков. Уж больно молоды, сразу не поверишь, что самый старший здесь.

— Нычего, пожалуйста,— бесцеремонно ответил за комбрига Хаджи-Мурат.

— Молодость такой недостаток—оглянулся, а его уже нет,— ответил Уборевич. — Я много наслышан про вятских.

— На Клондайке с вяцкими я хижины рубил, после нашей смерти еще тыщу лет простоят,— заметил Хаджи-Мурат.

— Вятка прислала вам в подарок толокна да самосада,— сказал Южаков под восторженный рев бойцов.

— Лошадиный помет сушим да курим. Дай табачным дымком подышать...

Южаков протянул полный кисет махорки, десятки рук молниеносно опустошили его.

— Что еще кроме провианта и махорки привезли вятичи? — спросил Уборевич.

— Дух оптимизма, веру в скорую победу...

Исходил листопадом сентябрь, свинцовела, подернувшись холодком, речная вода, леса оглашались журавлиными кликами, на утренних зорях трубили сохатые.

Английские суда прилагали все силы, чтобы прорваться на Котлас, но красные орудия держали под убийственным обстрелом фарватер. Англичане высаживали десанты, пытаясь обойти полки Уборевича, он перекрывал все пути на полузамерзших топях.

Над позициями красных появился английский самолет, долго и смело кружил, покачивая фанерными крыльями, на которых отчетливо виднелась эмблема — лев со щитом, но зря стреляли полевые орудия, напрасно матерился Хаджи-Мурат — летчик ушел безнаказанным.

Вечером Хаджи-Мурат влетел в штаб с торжествующим воплем:

— Охотники шпиона поймали! Английский летчик, бравый, сукин сын, прямо-таки джигит...

Уборевич вышел из землянки и увидел бледного, с рыжими бакенбардами летчика.

— Вы англичанин? — спросил он.

Летчик отрицательно помахал ладонью.

— Тогда шотландец?

— Дайте мне папиросу. Не курил целые сутки,— с московским аканием сказал летчик.

— Так вы русский?

— Московский дворянин и гвардейский офицер.

— Как попали в плен?

— Случилась авария, пришлось приземлиться, а они тут как тут,— показал летчик на зырян-охотников, стоявших в стороне.

— Как же вы, русский дворянин и гвардейский офицер, стали изменником своего отечества и перешли к интервентам?

— Они не интервенты, а союзники и спасают Россию.

— От кого спасают? Какую Россию спасают?

— От комиссаров, от тех самых, что уничтожают все лучшее, что создала Россия за тысячу лет своего существования. Мы — дворяне российские — не позволим большевикам...

— «Не позволим, не потерпим!»— перебил летчика Уборевич, махнул рукой и, пригласив с собой зырян, ушел в землянку. Все интересовало Уборевича в жизни лесных людей, он расспрашивал об охоте, запасе провианта и оружия, таежных тропах и способах передвижения по ним.

Охотники показали ему пистонные ружья, самодельные пульки, волосяные силки на рябчика, на всякий случай висевшие на поясах, пожаловались, что негде достать пороха. Говорили медленно, обдуманно, ничему не удивляясь, только один старик спросил, для чего командир носит стеклянные глаза.

— Лучше вижу, когда по тайге хожу,— пошутил он.

— Ой-ей-е! — сокрушенно покачал головой старый охотник. — Совсем почти мальчик и уже нету глаз. Как же стрелять белку?

— В голову бью,— соврал он, надеясь на похвалу.

— Ой-ей-е! — опять простонал охотник. — Зыряне бьют только в глаз, чтобы шкурки не портить.

Охотники дружно посмеялись над скверной стрельбой его, он же порадовался в душе: «Незаменимые проводники, отличные снайперы».

Одно смущало комбрига: как объяснить зырянам классовую сущность гражданской войны в их лесах, растолковать разницу между красными и белыми; зыряне или невозмутимо молчали, или же покачивали лохматыми головами.

Командующий оккупационной армией генерал Айронсайд оставил бесплодные попытки захватить ключевые позиции красных у слияния Сухоны и Вычегды и решил ждать сильных морозов, что скуют воду и землю. А морозы были не за горами.

Генерал, попыхивая сигарой, просматривал донесения штабной разведки. С интересом прочитал сообщение о новом красном командире, перекрывшем путь по Северной Двине.

«Бывший царский подпоручик Иероним Уборевич, 22 лет, прибыл на Северный фронт в июне. Военная специальность — артиллерист. Математический склад ума. Строг с солдатами, но подкупает их знанием военного дела, особенно артиллерии. Мало найдется английских офицеров, которые будут отрицать,

что он превосходно знает свое дело. Артиллерия Уборевича топит наши канонерки, сбивает самолеты»,— сообщал шпион.

«Умный, а потому особенно опасный враг. Об умных врагах всегда надо знать, как о себе. Недопустимо презирать или недооценивать своих противников»,— подумал генерал Айронсайд.

Адъютант прервал его размышления:

— В приемной мистер Джером-Джером, сэр...

— Тот самый, который писатель?

— Тот самый. Известный юморист

— Мне сейчас не до юмора. Не до шуток, даже самых остроумных.— Генерал тыкал сигару в хрустальную пепельницу, не попадая в нее, ища слова для выражения мысли и не находя их.

— Как вам угодно, но Джером-Джером — представитель почтенной «Таймс». Такой почтенной газеты, сэр,— адъютант, прищелкнув каблуками, направился к выходу.

— Пригласите его ко мне,— приказал генерал. «Лучше принять. Знаменитый писатель, «Таймс», общественное мнение. Надо принять».

Багровый от морского снежного ветра, с улыбкой на сочных губах вошел Джером-Джером, недавно прибывший в Архангельск.

Это был приземистый, с широким лицом старик в черном длиннополом сюртуке. Он больше походил на грубоватого матроса, чем на рафинированного джентльмена.

Айронсайд ожидал, что писатель начнет с неприятных расспросов о неудачах оккупационной армии, но ошибся, Джером-Джером много и вкусно рассказывал о разных разностях лондонской жизни, об остроумных выходках соперника по перу Бернарда Шоу.

Айронсайд кисло усмехался, слушая каламбуры, якобы принадлежащие Шоу, потом осторожно спросил:

— Что пишут газеты о нашей военной кампании на русском севере?

— Газетные мнения и политические выступления ничего не стоят. Я приехал в такую даль, чтобы писать о храбрости наших томми, о наших генералах, жертвующих собой ради чести, славы, престижа Великобритании, сэр. Вот для чего я приехал, а не пересказывать чужие мнения, и буду рад получить новости из первых рук. Из ваших рук, сэр...

Длинное усатое лицо Айронсайда просветлело.

— Война потому и война, что самые свежие новости растут как грибы и гниют как они же — молниеносно! Месяц назад мы шли вперед, не встречая сопротивления красных, теперь сидим на берегах Северной Двины и ждем мороза. Реки и топи застынут, и тогда можно обойти противника.

— Ждете генерала Мороза? А Лондон уверен, что Мороз — самый умный русский генерал. Если вспомнить историю, то всех

врагов России побеждал именно генерал Мороз,— пошутил Джером-Джером.

— Да, да,— согласился Айронсайд.— Это когда историю войн пишут побежденные.

— Историки, военные особенно, разучились рассказывать о великих событиях просто, прямо, правдиво,— согласился писатель.— Мой друг Честертон тонко заметил: «Пылкий историк видит одну сторону вопроса, спокойный не видит ничего, даже самого вопроса».

— Я не читал Честертона,— признался Айронсайд.— Не люблю истории, самой необязательной из наук. История подделывается тогда, когда она делается, я же намерен сказать правду. Ваше дело, как с ней обращаться, сэр, но вот что я скажу: если за июль — август мы прошли на Северной Двине триста миль, то в сентябре — ни одной, и виноват в бесплодности наших усилий какой-то подпоручик Уборявячус, которого для легкости произношения зовут Уборевичем.

— Что за варварская фамилия!

— Этот варвар перекрыл все пути на Котлас и связал нас по рукам,— Айронсайд взял донесение шпиона, перечел запомнившуюся фразу: — «Мало найдется английских офицеров, которые будут отрицать, что он знает свое дело...»

— Мнение наших офицеров — высокая оценка. Очень лестная оценка!

— Объективность в оценке противника — национальная черта нашего характера,— философски заметил Айронсайд.— Если быть до конца объективным, то нам необходимы свои Уборевичи. Ему двадцать два года. Дивный возраст! Завидую таким юношам, у них есть время оставить свой след на земле.

— Я хотел бы проехать к передней линии фронта. Это можно? — спросил Джером-Джером.

— Можно, но нужно ли? Сейчас на Северном фронте полное затишье. Мы готовим удар по двум направлениям и думаем зимой быть в Москве, тогда я с удовольствием увидел бы вас на параде британских войск...

Джером-Джером беседовал не только с командующим оккупационной армией, но и с рядовыми ее, он сопоставлял и сравнивал мнения не одних англичан, а шотландцев, американцев, французов.

Питерский отряд под командой Петра Солодухина незаметно подошел к Троицкой, в которой стоял Шотландский батальон. Солодухин приказал разбить бивак и ожидать утра, не привлекая внимания противника. По уговору с Уборевичем штурм деревни решили начать, когда на левом берегу взлетят сигнальные ракеты.

Потянулись часы томительного ночного ожидания. Солодухин прислушивался ко всем звукам, летевшим из лесной темноты: доносились слова отрывистой иностранной речи, ржание лошадей, потрескивали от мороза сосны, разламывался с шелестящим гулом лед на реке.

Ранним утром на левом берегу началась винтовочная перебранка, просекаемая басовитым аханьем пушек, в заснеженном небе появился самолет — неуклюжая крылатая этажерка долго висела над биваком.

Над белой пустыней севера одна за другой взлетели три ракеты, сразу наполнив снежную мглу зловещим светом. Сигнал Уборевича означал: «Мы начали дело, очередь за вами».

Питерцы бросились на штурм Троицкой в то самое время, когда Южаков повел вятичей в атаку на Селецкую. Пять дней продолжались упорные бои на левом и правом берегах Северной Двины и закончились поражением интервентов.

Англичане поспешно отступили в Шенкурск.

Командование Северного флота реорганизовало свои войска. Вместо боевых завес были созданы регулярные дивизии и полки. Из разрозненных отрядов возникла 18-я стрелковая дивизия, командиром ее назначили Иеронима Уборевича.

Новый комдив принялся властной рукой наводить дисциплину в полупартизанских отрядах, которыми командовали эсеры. В сопровождении Южакова и Хаджи-Мурата он отправился по деревушкам, где квартировали отряды, ставшие ротами и батальонами его дивизии.

Был солнечный денек, искрились разузоренные инеем деревья, кошевка, запряженная парой сытых «вяток», мчалась по накатанной дороге. Хаджи-Мурат в закуржавелом башлыке то обгонял кошевку, то ехал рядом, перекидываясь шутками с Уборевичем и Южаковым.

Уборевич стал рассказывать Южакову о своей Литве, о том, как мечтал быть математиком.

— Но революция сделала меня солдатом, только не могу я похвастаться, как Наполеон, что военная профессия — моя вторая натура. Наполеон говорил о себе, что где бы ни был, всюду командовал. Двадцати трех лет командовал при Тулоне, в двадцать пять водил солдат в итальянскую кампанию. Он жил войною, как иные живут любовью. И все же он блистательный учитель военного искусства, у него следует учиться особой уверенности в праве подчинять себе солдат, распоряжаться их судьбами. Эта наполеоновская уверенность нравится мне, но при условии, если есть большая и прекрасная цель. Для меня такая цель — борьба за народ,— говорил Уборевич.

Тревожно пел под полозьями снег, светились ускользающие в солнечную дымку деревья, было бело, искристо, морозно. Под

вечер Уборевич, Южаков и Хаджи-Мурат подъехали к таежному сельцу, где был на постое третий батальон. На околице темнела убогая деревянная церковь, рядом сутулилась еще более убогая школа, занятая под казарму.

Они вошли в школу, набитую бойцами, в нос ударили запахи грязной одежды, дурной пищи, сырости, гнили. Чадил фитиль в плошке с барсучьим салом, из полутемноты смутно виднелись обросшие, серые физиономии.

— Что за часть? — спросил Уборевич.

— Первая рота третьего батальона,— прохрипел кто-то из угла.

— Я из штаба дивизии,— слукавил Уборевич. — Мне нужен командир.

— Он в поповском доме на постое, туда топай,— посоветовали бойцы.

Проваливаясь по колени в сугробах, они перебрались на другую сторону улицы, постучались в двери поповского дома. На стук никто не вышел, хотя в освещенных окнах мотались человеческие тени, слышался говор и хохот. Уборевич толкнул дверь, она открылась.

За столом, на котором стояла четвертная бутыль самогона, валялись хлебные корки, соленые грузди, полураздетые мужчины играли в карты. На деревянной кровати, с папиросой в зубах, лежал рыжеволосый человек.

Южаков и Хаджи-Мурат остановились у порога, Уборевич шагнул к игрокам, те молча посмотрели на него.

— Здравствуйте! — поздоровался Уборевич таким недобрым голосом, что рыжий приподнялся. — Кто командир батальона?

Рыжеволосый обмахнул лицо ладонью, словно убирая липкую паутину.

— Ты чё болтаешься в штабе? Пошел вон!..

— Встать! — гаркнул Уборевич.

— Чё, чё! Очумел, чё ли, сукин сын?

— Ах ты негодяй! — Уборевич распахнул шинель, расстегивая кобуру маузера.

Игроки увидели на груди его орден Красного Знамени: все знали, что орденом высшей воинской славы, недавно учрежденным, награжден пока один человек в дивизии — ее командир. Рыжий затряс головой, вытряхивая из нее хмель и тугую боль, игроки вскочили с мест, вытянув руки по швам.

Уборевич схватил четверть с самогоном и швырнул к порогу, стеклянные брызги разлетелись в разные стороны, на полу разлилась вонючая лужа. Хаджи-Мурат поджег ее спичкой, синее пламя жадно забегало по половицам, выжигая запах сивухи.

— Не нахожу слов для оценки вашего поведения. — Уборевич застегнул кобуру. — Стыд и позор — не те слова, которыми надо клеймить отношение к дисциплине. Завтра же — слыши-

те? — завтра утром отдам всех вас под военно-полевой суд, и первым командира батальона! — Хлопнув дверью, Уборевич вышел из комнаты.

Проливные дожди сменялись мокрыми метелями, леденящие ветры приобрели ураганную силу, топи покрылись пеленой рыхлого снега, под которой таились бездонные провалы.

В такую распутицу Уборевич начал широкое наступление на укрепления интервентов в таежных деревушках Ивановской, Селецкой, Троицкой. На штурм укрепления в Ивановской он послал питерский отряд под командой Петра Солодухина, питерцев поддерживали вятские добровольцы Алексея Южакова и эскадрон Хаджи-Мурата.

Англичане отбивали атаку за атакой, сами бросались в штыковой бой, отступали в прикрытия, снова отчаянно сопротивлялись. Наступление красных приостановилось в версте от вражеских позиций.

Ночью приехал Уборевич и у костра, под снежные вихри, долго совещался с командирами.

— Давайте размышлять совершенно конкретно, без ссылок на особые обстоятельства или безмерные трудности,— говорил Уборевич. — Перед нами деревня Ивановская, до нее всего одна верста. На этой версте — окопы, пулеметы, орудия. Деревню защищают англичане, французы, шотландцы, но она для них всего-навсего населенный пункт в диком месте на краю света. У иностранцев нет к этим местам ни любви, ни привязанности, нет ничего, за что стоило бы драться,— следовательно, противник не дорожит этой самой Ивановской и оставит свои позиции, как только почувствует опасность. Для нас Ивановская — это Россия, это такое же родное место, как Москва или Питер. Освободить тысячу Ивановских — спасти революцию и народ от поработителей. Вот все, что хотелось вам перед завтрашним штурмом сказать,— заключил Уборевич.

Метались в ночи языки костров, красноармейцы, скорчившись, лежали вповалку, кое-кто курил, молчаливо глядя в костер, тая от посторонних заветные думы. Валил вязкий снег. Алексей Южаков сидел около Хаджи-Мурата, пытаясь представить завтрашнюю атаку, но она казалась непостижимой, как звезды. Кто-то завтра, может быть сам он, погибнет при штурме Ивановской, и никто, даже родные не узнают про его могилу. Одиночество и тоска овладели Южаковым от этих мыслей.

Где-то рядом рухнуло дерево, его падение вывело из забытья Хаджи-Мурата. Он приподнялся, сел на корточки, вытащил кисет с махоркой.

— Сосна свалилась! Жалей не жалей, пропала сосна,— видно, не уберечь дерева в лесу, а девки в людях. Давай закурим.

— Потише, разбудишь Уборевича,— предупредил Южаков.
— Я разве ишак? Он — мой кунак, настоящий джигит, я его сон берегу. Ему завтра командовать надо, а меня предупреждать не надо...
Южаков глянул на темное, горбоносое лицо и подумал, что совершенно не знает осетина. Почему этот человек оказался в армии красных?
— Ты давно с Кавказа? — желая вызвать Хаджи-Мурата на откровенность, полюбопытствовал он.
— Забыл, когда аул покинул. Я и в Россию-то вернулся в шестнадцатом году, а меня— за шиворот и на фронт. С той поры из седла не вылажу,— словоохотливо заговорил Хаджи-Мурат.
— Где же ты странствовал?
— По Америке колесил, на Клондайке счастье искал. Золотая лихорадка трясла меня, как мальчишка грушу, а денег нет. У меня деньги — гости, а не хозяева...
— Не подфартило, что ли?
— И фарт, и денежки были, но остался гол, как кинжал без ножен.
— Что ж такое приключилось?
Хаджи-Мурат выхватил из костра уголек, подбросил на шершавой ладони, в глазах его проплясали точки огня.
— Тебя золотая лихорадка не трясла? А баб ты любишь? А в картишки играешь? Я всегда по банку бью — рюмками золотой песок на кон ставлю,— с вдохновенной яростью выдохнул он.
— И много у тебя золотишка скапливалось?
— Не люблю потери считать, люблю слушать золотой звон в кармане.
— А я вот никогда не видел золота в чистом виде. Часики да кольца щупал, а чтобы самородки — не приходилось.
— Ца, ца, ца! — поцокал языком Хаджи-Мурат. — Кто золота не мывал — тот и жизни не видал, а кто мыл, того снова тянет. Это, кунак, как вино.
— Почему же Клондайк покинул?
— До Юкона слушок докатился: в России, на Охотском побережье, бешеное золото открыли, аляскинские старатели двинули на Камчатку, в Охотск, и я захотел, но на Кавказ потянуло. Душа по аулу истосковалась, сперва решил дома побывать, а потом уже снова на север. Приехал в Россию и попал на фронт. В дикой дивизии лямку тянул до самой революции...
— В какой «дикой дивизии»? — встрепенулся Южаков.
— В Третьем конном корпусе наша дивизия находилась. Вместе с генералом Красновым на Петроград шли...
— Ты участвовал в мятеже Корнилова?
— Я тогда эскадроном командовал, до Гатчины с мятежниками дошел. Под Гатчиной моих джигитов большевики так об-

работали, что я вместе с эскадроном к ним перебежал. — Хаджи-Мурат зевнул, обнажая хищные зубы, поднял воротник полушубка. — Спи, кунак, и пусть пошлет тебе аллах лукавый сон...

Канонада началась на рассвете, снаряды с воем уходили в заснеженную полумглу, снопы огня вставали над английскими окопами.

Уборевич прямой наводкой бил по окопам, потом перенес огонь на деревню, где скопились части противника. Еще рвались снаряды, когда пошли в атаку питерцы, за ними поднялись вятичи.

Англичане встретили красных в штыки. Шеренги атакующих сломались, разорвались, начался хаос рукопашного боя, когда поражение или победа зависит от случайностей, или всплеска чьей-то храбрости, или властного окрика командира.

Сломанные отчаянным сопротивлением, питерцы и вятичи попятились. В этот момент появился Уборевич. Полы длинной шинели его хлестали по сапогам, пенсне моталось на шнурке у левой щеки, сползшая на затылок шапка открывала юное, упрямое, отвердевшее в решимости лицо.

— За мной! — закричал он так, будто от его крика зависел весь успех атаки.

Красноармейцы, повинуясь чувству долга и приказу своего командира, рванулись вперед, навязав противнику новый рукопашный бой. Англичане не выдержали ошеломляющего натиска, оставили Ивановскую и переправились на левый берег реки.

Уборевич, закрепляя успех наступления, приказал Солодухину продвигаться по правому берегу, вятских добровольцев перебросил на левый берег, чтобы обойти с тылу англичан в деревне Селецкой.

В быстром темпе, с короткими привалами вел Солодухин питерцев по заснеженным, но еще не замерзшим болотам. Лошади проваливались по брюхо в ледяную воду, бойцы с трудом вытаскивали и орудия, и лошадей.

Англичане обнесли Шенкурск несколькими рядами проволочных заграждений, понастроили блокгаузов с пулеметными гнездами, на разных высотах установили орудия, снятые с морских кораблей. Шенкурский гарнизон насчитывал три тысячи английских, американских, шотландских солдат, вооруженных отлично, одетых прекрасно.

Уборевич тщательно обдумал шенкурскую операцию и решил штурмовать городок с трех сторон тремя сводными отрядами.

Накануне нового, девятнадцатого года первый отряд в составе Нарвского, Гатчинского, Рязанского батальонов направился на Шенкурск с железнодорожной станции Няндома.

Отряду предстояли многодневные переходы при тридцатиградусных морозах, в безлюдной тайге. Отряд вели местные охотники, знавшие тайгу как собственную вежу. Следом выступил второй отряд, состоявший из Питерского рабочего, Инженерного батальонов, его путь из погоста Кодема на Шенкурск пролегал еще более глухими лесами; третий отряд был составлен из Морского, Северного полков, четырнадцати тяжелых и легких орудий, кавалерийского эскадрона. С этим отрядом был сам Уборевич: он надеялся по реке Ваге незаметно подойти к Шенкурску.

Отряд подошел к Шенкурску двадцать пятого января. Разведка донесла, что противник уже знает о приближении красных.

Уборевичу тоже не терпелось узнать об англичанах, Хаджи-Мурат вызвался проникнуть в Шенкурск.

— Иди, но будь осторожен. Если поймают, висеть тебе на первых воротах,— остерег Уборевич.

— Ха! Что нам Шенкурск, мы Клондайк видали!

Хаджи-Мурат ушел ночью, пообещав вернуться к рассвету. Время летело, Хаджи-Мурата не было. Утром Уборевич решил хотя бы издали взглянуть на городок, о котором так много думал в последние дни. Сопровождаемый проводником, он пробрался на таежную опушку.

Шенкурск показался ему старинной гравюрой на зимнем фоне. Над улицами и домиками возвышались голубые, с золотыми звездами купола кафедрального собора; всюду росли прямые от мороза стволы дымов. Деревянные петушки на коньках крыш, резные ставни, узорчатые столбики крылечек и калиток были погружены в белый сон. Уборевич увеличил резкость, и в бинокле поплыли ворота, амбары, сараи, улочки с походными кухнями, пулеметы, поставленные на лыжи, пушки, глазевшие в небо.

Он вернулся на бивак и, не дожидаясь Хаджи-Мурата, послал в Шенкурск новых разведчиков. Вечером, в звездной темноте бойцы приволокли пленного английского офицера, за ним, прихрамывая, подошел Хаджи-Мурат.

Пленный показал, что командование гарнизона, узнав о подходе красных отрядов, решило сдать Шенкурск без боя и отступить на Северную Двину.

— Когда англичане покинут город? — спросил Уборевич.

— Сегодня ночью,— ответил пленный.

Утром отряды Уборевича заняли Шенкурск. В тот же день он получил телеграмму из Москвы: боевые его друзья Петр Солодухин и Алексей Южаков отзывались в распоряжение Реввоенсовета, ему же приказывалось готовиться к новому походу против интервентов на реку Онегу.

Уборевич пригласил к себе Южакова, грустно сказал:

— Друг Алеша, мы расстаемся. Тебя отзывают в Реввоенсовет, но я уверен, что мы еще увидимся. До скорой встречи!

...После победы над английскими интервентами в лесах Севера молодой начдив Иероним Уборевич был назначен командующим Четырнадцатой армией.

Он разгромил Добровольческий корпус генерала Кутепова, потом вместе с Тухачевским добивал Деникина, с Фрунзе сокрушал барона Врангеля.

На него возложили операцию по уничтожению банд Махно и Петлюры, он ликвидировал их.

Его молниеносные и смелые действия привели к полному поражению Вторую армию белых под Мелитополем.

Летом двадцать первого года Уборевич стал командующим Пятой армией. К тому времени Пятая армия уже прошла блистательным путем от берегов Волги до Байкала, непрестанно сражаясь и побеждая колчаковцев и многочисленных иностранных их союзников.

Уборевич принял Пятую армию, когда она очищала Монголию от разноплеменных разбойников барона Унгерна. Еще в дороге молодой командарм узнал о пленении Унгерна; барона арестовала его же охранка и выдала красному командиру Константину Рокоссовскому. «Желтого дьявола монгольских пустынь» привезли в Иркутск.

Уборевич много слышал о жестокостях атаманов Анненкова, Семенова, Калмыкова, но слухи о бароне Унгерне показались ему бредом больного воображения. Он решил сам, и как можно беспристрастнее, допросить Унгерна.

Перед ним предстал высокий тридцатипятилетний мужчина в цветном халате; белокурые волосы обрамляли желтый выпуклый лоб, длинные усы свисали по углам тонкогубого рта. Спокойно, с подчеркнутым хладнокровием, сел Унгерн на предложенный стул, закинул ногу на ногу.

Уборевич протер платочком пенсне и тоже спокойно разглядывал барона. Потом спросил:

— Ваша фамилия?

— Роман Унгерн фон Штернберг.

— Социальное происхождение?

— Потомок древнего рода прибалтийских баронов.

— Чем занимались предки?

— Были членами ордена меченосцев. Участвовали в крестовых походах. Сражались с русскими в разные времена истории...

— И с Александром Невским?

— Проявили чудеса храбрости в бою на Чудском озере.

— Рыцари были разбиты в том бою.

— В разбитых армиях тоже есть храбрецы и герои. Вот я пленник, но кто посмеет обвинить меня в трусости? — усмешка промелькнула в рысьих глазах барона.

— В храбрости и выдержке вам не откажешь. Кстати, почему на вас такой необыкновенно яркий халат? — полюбопытствовал Уборевич.

— Подарок монгольского богдогэгэна.

— Он глава ламаизма в Монголии?

— Верно, но ему принадлежит и вся полнота светской власти. Ламы же почитают его как живого бога. Но халат — мелочь, халат — пустяк! За особые заслуги богдогэгэн присвоил мне особые символы высшей власти.

— Что это за символы?

— Я имел зеленый паланкин, желтые поводья, трехочковое павлинье перо — знаки отличия для самых высокопоставленных лиц. Получил высший княжеский титул «ван» и звание «Дающего развитие государству Великого Героя».

Унгерн попросил разрешения закурить, подправил мундштуком белые усы. Тихая безмятежность стыла в его тонком узком лице.

— За какие же заслуги такие высокие знаки власти?

— Я прогнал китайцев, захватил монгольскую столицу Ургу, восстановил на престоле богдогэгэна. Разве этого мало, чтобы стать вторым лицом в государстве?

— Он был вашим пленником. Полновластным диктатором в Монголии являлись вы, барон. Теперь богдогэгэн называет вас палачом монголов и распутным вором.

— Так он же теперь ваш пленник! Такова диалектика трусости любого труса, даже если он живой бог на земле.

— Диалектика трусости? Вы склонны пофилософствовать даже в самый неподходящий момент. Как очутились в Монголии?

— Александр Федорович Керенский послал меня в Восточную Сибирь для формирования добровольческих бурятских отрядов. Когда Колчак объявил себя верховным правителем России, я поступил к нему на службу...

— Кем, позвольте узнать?

— Усмирял мятежи мужиков и рабочих. После гибели адмирала атаман Семенов взял меня своим помощником, но мы быстро расстались. Я собрал собственную армию.

— Из кого она состояла?

— Как из кого? Даурские казаки, буряты, монголы, японцы, корейцы...

— Одним словом, кондотьеры и авантюристы всех мастей. Палачи и разбойники, каких не видывал свет, — резко сказал Уборевич, не выдержав небрежного тона Унгерна.

— Можете обзывать меня самыми последними словами, я не обижусь, только не говорите, пожалуйста, о совести, справедливости, добре или зле — для меня они не существуют. Я стою на одном конце нравственной жизни, вы на другом, и этим все сказано. Вы представляете власть демократии, я — власть монархическую. По-моему, всякое государство крепко только монархом и его верными помощниками — аристократами. В старые времена цари на Руси были живыми богами, как и богды-

хан в Китае. В монгольских степях я мечтал восстановить во всем прежнем блеске божественность царской власти...

— Разбойничая в Монголии, хотели восстановить царя в России? Так, да?

— Нет, не так! Русский народ, в глубине души своей преданный вере, царю, отечеству, под влиянием революционных идей Запада сбился с пути. Большевики казнили Николая Второго, и тогда я придумал новый план борьбы с ними. Я выдвинул идею союза народов монгольского корня и создания Срединной Азиатской империи, возглавляемой императором Маньчжурской династии. Эта империя должна объединить Китай, Маньчжурию, Монголию, Тибет, Туркестан. Да, я мечтал установить монархию не только в Монголии, но и во всем мире...

— Ваши монархические теории не отличаются большой оригинальностью. Все одно и то же со времен китайских богдыханов, и те же религиозные бредни, приперченные изуверством. А вот ваше изуверство, помноженное на палачество, страшная вещь! Изуверство звучит в каждой букве, написанной вами,— Уборевич взял бумажный листок. — Вот приказ по армии, сожми его в кулаке — и хлынет человеческая кровь. В приказе о наступлении против Красной Армии вы требовали: «Коммунистов, комиссаров, евреев уничтожить вместе с семьями. Мера наказания может быть только одна — смертная казнь разных степеней». Я правильно цитирую?

— Не отрекаюсь от своих приказов. Я ни от чего не отрекаюсь,— нахмурился Унгерн.

— Как понимать ваши слова «смертная казнь разных степеней»?

— Топор, петля, пуля — разные степени смертной казни, но ведь можно еще сжигать на костре, и садить на кол, и разрывать лошадьми, и забивать кнутом. Большой арсенал казней накопило человечество, и каждая степень не хуже другой.

— Ваши пути, барон, усеяны тысячами трупов, покрыты пеплом, политы кровью. Дым от костров, на которых сжигали людей, все еще висит под небом, и все еще белеют человеческие кости, разбросанные на степных просторах...

Унгерн молчал, положив правую руку на край стола, левую засунув за борт расшитого золотыми цветами халата. Тонкие пальцы еле слышно пристукивали по столешнице, брови изогнулись, под ними поблескивали глаза, ясные как небо, но и пустые как оно же. Белокурые колечки волос прикрывали уши, и было в серповидном лице барона такое детское простодушие, что Уборевич почувствовал холодок в сердце. «Зачем я трачу свой гнев на эту гадину?»

— Ради чего совершали ваши разбойники свои гнусности над человеком? — спросил он.

— Я хорошо платил. Золота не жалел, разрешал и грабить население, а это всегда возбуждает жестокие чувства.

— Как же вы справлялись с ордой, не признающей ни командиров, ни дисциплины?

— Нарушителей моих приказов сажал на кол, сжигал живьем перед строем. Иногда выгонял голыми на мороз или заставлял лежать на горячих железных листах. При такой строгости как не быть дисциплине? Отменная дисциплина была.

— Вас самого надо бы посадить на кол, Роман Унгерн фон Штернберг,— сказал Уборевич.

Он вышел из-за стола, заглянул в окно. Унгерн сидел, вжав голову в плечи, и больше походил на мертвеца, чем на живого. «Контрреволюция не знает пощады не только для нас — ее врагов, но и для своих защитников. Во имя дисциплины и послушания контрреволюция сажает своих солдат на кол, сжигает живьем. До такой подлости опускались только инквизиторы средневековья».

Уборевич позвонил, вошел адъютант.

— Уведите арестованного,— приказал он и распахнул окно. Почудилось ему, даже воздух в кабинете пропитан запахами крови и дымом костров, на которых сжигали людей.

Барон Унгерн был расстрелян, но шайки его продолжали бесчинствовать. Только через год Уборевичу удалось покончить с ними.

В двадцать втором году Уборевич был назначен главкомом Народно-революционной армии и военным министром Дальневосточной республики.

В те дни он вступил в двадцать шестую весну своей жизни.

Пасмурным сентябрьским утром командир Особой ударной группы войск Степан Вострецов был вызван к главкому.

Сорокалетний кузнец Вострецов был талантливым и отчаянно смелым командиром. В последние годы ему везло: в Восточном походе против Колчака его учил искусству побеждать командарм Тухачевский, с ним он совершил и Польский поход. А теперь вот Уборевич, его победы были хорошо знакомы Вострецову.

Уборевич показал глазами на стул и, как бы продолжая начатый разговор, спросил:

— Читал, как нашу Дальневосточную республику расхваливает наша же газета? Нет? Ну так послушай. «Россию можно сравнить с орехом. Ядро — Москва, Приморье — скорлупа. Скорлупе приходится терпеть сырость, и жар, и вражеские удары, защищая ядро. Дальневосточная республика переносит всяческие лишения, но защищает Россию от японских интервентов и белогвардейских шаек». Вот златоусты! Орех, ядро, скорлупа и все — пустопорожние слова. Не терплю пустой болтовни, мелкого слова. Настоящее слово, Степан, не бывает пустопо-

рожним, народ говорит: словами лечат — словами и калечат. Вот как писал командарм Блюхер генералу Молчанову перед штурмом Волочаевки: «Какое солнце предпочитаете вы видеть на Дальнем Востоке? То ли, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности? Какая участь вам более нравится — Колчака, Врангеля или Унгерна? Или жребий честного гражданина своей революционной Родины?..»

— Каждое слово продумано и взвешено,— похвалил Вострецов. — Такие слова убеждают...

— Не всегда и не всех. Обращение Блюхера воздействовало на белых солдат сильнее, чем на генерала Молчанова. С этим обращением бойцы переходили на нашу сторону под Волочаевкой, но генерал предпочитал бой разумному слову.

— Молчанов-то был разбит под Волочаевкой.

— Разбит, но не добит. Добивать Молчанова, как и Дитерихса, придется нам,— ответил Уборевич, кладя руку на плечо Вострецова.

Они стояли друг перед другом — невысокий, хрупкий, с тонким бледным лицом главком и длинный, жилистый комдив. Первый обладал математическим складом ума и волей, другой — житейским опытом и силой.

— Дитерихс уверен в полной неприступности Спасска,— снова заговорил Уборевич. — В припадке классового бешенства воевода расстреливает рабочих, в свои земские рати насильно загоняет мужчин, схваченных на улицах или в кабаках. Его земские рати всего лишь разношерстные толпы: достаточно одного поражения, и они побегут. Этот удар должны нанести мы. — Уборевич снял пенсне, и выражение детской изумленности появилось в его серых с голубоватым отливом глазах. — Дитерихс затеял свой крестовый поход на Москву без подготовки. Ему снятся легкие победы на всем пути от Владивостока до Москвы...

— Лиса и во сне ворон ощипывает,— умехнулся Вострецов.

Уборевич раздвинул шторы. В окне зазеленели округлые уссурийские сопки, рассеянный свет сизой пеленой покрывал их.

— Надо собрать командиров, я хочу поговорить с ними,— сказал он.

Командиры сошлись в просторном сарае. Среди рослых здоровяков главком казался подростком, зато пронзительные глаза пытливо прощупывали из-под круглых стекол пенсне каждого и как бы оценивали, на что тот или иной человек способен.

— Я хочу вам напомнить, что необученная армия — всего лишь толпа. Как превратить толпу в боеспособную армию? В армию победоносную? Воля к победе — это не физическое, а психологическое состояние, на воспитание духа и воли к победе в народоармейцах должны вы обращать все внимание,— начал главком сухим отчужденным тоном,— а воспитание духа заклю-

чено в политической сознательности, в военных знаниях бойцов, но дух необходимо облечь в материю. Для этого есть у нас удивительный материал — революционные идеи, каких не знал мир. Каждый народоармеец должен понимать идеи, за которые он борется. И еще единая мысль и единая воля, господство вашей инициативы, принцип частной победы имеют чрезвычайное значение. Что такое принцип частной победы? Очень важно разбить противника на одном из участков его обороны, когда во вражебной армии, как в живом организме, начинается упадок воли, веры в свои силы, в свой успех. У солдат, даже не пострадавших в бою, зарождается опасное чувство поражения...

Главком прошелся вдоль полукруга командиров, пытливо изпод пенсне оглядев каждого. Командиры тоже поглядывали на него, но почтительно, с сознанием превосходства его интеллекта. Мысли главкома и его манера выражать их прельщали командиров своей новизной и свежестью.

— Есть еще один военный принцип,— продолжал главком. — Принцип внезапности наступления. Эта внезапность достигается скрытностью передвижения войск, неожиданностью удара, быстротой его развития, искусным и ловким маневром, стремительностью натиска, разложением вражеского тыла, наконец. Все, о чем я говорю, уместно в лекции о военной науке в более спокойные времена, а мы — на марше. Что поделаешь, если нам надо воевать и учиться военному искусству одновременно. Итак, товарищи, завтра Ударная группа Вострецова начнет штурм Спасского укрепленного района. Японцы и Дитерихс уверены в его несокрушимости, мы — в его падении. Спасск для нас — ворота в Приморье и символ оконченной гражданской войны...

Рассвет брезжил над уссурийскими сопками, накладывая на них серые краски. Над речками дымились седые испарения, поникшие кустарники были пепельного цвета, окрестности ржавели от вывороченной земли.

Семь невысоких сопок окружали Спасск, и были они изрезаны бесконечными окопами, опоясаны пятью рядами колючей проволоки. Семь фортов прикрывали город и все пути, ведущие на Владивосток. Болота, озера, обрывы, заросли уссурийской аралии —«чертова дерева» с острыми и прочными шипами — составляли тяжкие препятствия для войск. Укрепленный Спасский район таил в себе орудийный огонь, пулеметный свинец, неутолимую злобу белых, хватающихся за последний клочок русской земли. Они считали Спасск неприступной крепостью — обычная ошибка вояк, не умеющих оценивать моральный дух противника.

По приказу Уборевича перед Спасском развернулись Вторая Приморская дивизия, Дальневосточная кавалерийская бригада, две отдельные Ударные группы.

Ночь на четвертое октября главком провел в поле.

— Противник укрепился солидно, надо искать самое уязвимое место в его обороне,— сказал он.

— И тогда начнет действовать принцип частной победы,— напомнил Вострецов слова из лекции главкома.

— У тебя недурная память. Да, именно так и проявится принцип частной победы, но еще я верю в трезвость военного расчета и страсть революционного порыва,— ответил главком и спросил неожиданно: — Смерти не боишься, Степан?

— Смерти не боятся одни идиоты, но для меня не смерть страшна, страшно умирание...

Уборевич прицельно посмотрел на Вострецова: знал, что во всей Народно-революционной армии не было более бесстрашного человека. Вспомнилось главкому, что Вострецов однажды сказал бойцам: «Того, кто бросит оружие во время боя,— убейте на месте. Струшу я, ваш командир, расстреляйте и меня».

— Ты прав, Степан, умницы не лезут на рожон, не играют со смертью.

К главкому скользящей походкой подошел разведчик Петя Парфенов, с вечера вызвался он сходить в Спасск и вернулся только на рассвете.

— Что ты в Спасске разузнал, Петро? — спросил главком.

— По приказу генерала Молчанова жители всю ночь вырубали кустарник, не разрешается даже курить. Генерал приказал расстреливать тех, кого задержат без пропуска,— скороговоркой доложил Парфенов.

— Еще что? — спросил главком, угадывая по выражению лица Парфенова, что есть еще новости.

— Генерал Молчанов не торопится с подтягиванием резервов, уверен в неприступности спасских фортов. Он бросит свежие силы только туда, где определится главное направление нашего удара,— щеголяя стилем военных реляций, сообщил Парфенов.

— Что ж, прекрасно! Генерал узнает о главном направлении нашего удара, когда мы его нанесем. Поздно узнает генерал. — Уборевич вынул из кармана серебряные часы. — В пять часов начнем штурм. Как говорится, успех дня решает утро.

В назначенный час все орудия и все бронепоезда Народно-революционной армии открыли огонь по фортам Спасска. Ударная группа Покуса пошла в наступление на деревню Анненки, Вострецов атаковал под селом Буссевкой.

Первый день штурма не принес народоармейцам успеха. Уборевич остановился в маленькой деревушке, освобожденной Вострецовым, и вместе с ним вошел в офицерский штаб.

За столом сидел полковник, прижимая руки к окровавленной груди, с равнодушием обреченного посмотрел на Уборевича.

— Что здесь происходило? — спросил главком.

— По-моему, они перестреляли друг друга,— сказал Вострецов, показывая на лежащих на полу офицеров.

— Сомневаюсь в этом. Не дураки же они...

— Офицеры играли в «ку-ку»,— прерывающимся голосом заговорил полковник.

— Что это значит? — не понял Уборевич.

— Перепились, потушили свечи и затеяли свою фатальную игру. Один спрячется в угол и закукует, другой стреляет на голос. Пытался урезонить, и меня подстрелили. — Полковник прижался грудью к краю стола. — Раньше умирали в суворовских походах, теперь в пьяных похождениях. Все промотали русские офицеры — и честь, и военную славу отцов...

В полночь главком, Вострецов, Петя Парфенов вышли на свежий воздух. С сопки, обозначенной на военной карте как «форт № 1», до них долетели звуки оркестра и слова песни. Офицеры громко и дружно пели:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

— Сильно, черти, поют! — восхитился Вострецов.

Главком, склонив голову набок, тоже прислушивался, стекла его пенсне мерцали, словно маленькие луны. «Он мне ровесник,— невольно подумал Петя Парфенов. — Ровесник-то ровесник, а не мне чета. Победы исторического значения одержал он. Вот и эта самая ночь может стать для нас исторической...»

— Штурмовые ночи Спасска,— негромко произнес он, поражаясь значительности своей фразы.

— Ты с кем разговариваешь? — спросил Уборевич.

— Сам с собой, Иероним Петрович. Наступит время — и напишут про эту ночь и про штурм Спасска песни. Ведь бывает и так: люди и события забываются, а песни про них остаются,— ответил Петя Парфенов[1].

— Верно говоришь, только поэтов-то между нами не вижу,— рассмеялся Вострецов.

— На все события люди смотрят глазами того времени, в котором живут. Тогда и события, и герои тех событий становятся современниками новых поколений. Нас не должно страшить забвение, мы люди из народа и живем в народе. А память народная сильнее памяти исторической,— веско, уверенный в правоте своих слов, сказал Уборевич.

Девятого октября взвились сигнальные ракеты, освещая пронзительным блеском предрассветную тьму.

---

[1] Несколько лет спустя Петр Парфенов написал песню, которую знает весь мир: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с бою взять Приморье — белой армии оплот... Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход». (*Прим. автора.*)

По сигналу Уборевича начался новый штурм Спасска.

Загремели полевые орудия, заговорили пулеметы, народоармейцы ползли по болотным трясинам, рвали проволочные укрепления, вели рукопашные бои в окопах. До этой сокрушительной атаки шесть дней и ночей земские рати генерала Молчанова удерживали свои позиции перед Спасском. Их защиту можно было бы сравнить только с мужеством отчаяния или безумием смертников.

Особенно сильное сопротивление оказали офицеры на правом фланге. Они сорвали все атаки Шестого Хабаровского полка и сами перешли в наступление.

Народоармейцы дрогнули, подались назад, начали отходить. Уборевич появился среди бойцов, когда отступление уже перерастало в панику.

Увидев главкома, бойцы приободрились. Уборевич сам повел в атаку Первый батальон.

Он бежал с наганом в руке, на бледном лице были решимость и непреклонное желание ворваться в форт № 1 — самое важное укрепление Спасска.

После многократных атак народоармейцы наконец выбили противника из форта, и главком первым поднялся на его бетонную твердыню.

Генерал Молчанов оставил город и начал отводить полуразбитые полки по южной дороге на Владивосток.

К трем часам дня Спасск полностью перешел к Народно-революционной армии.

...И в то же самое время Пепеляев выступил из Нелькана. Генерал был уверен, что без особых заминок совершит тысячеверстный марш на Якутск.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Океанским приливом захлестывали Охотск трагические события. Власть в городе переходила из рук красных в руки белых до той поры, пока не очутилась у таежного властелина Ивана Елагина, но люди из его отряда были обыкновенными бандитами, для которых насилие и нажива являлись главной привлекательной идеей.

— Ты возвел насилие в принцип власти над людьми, поэтому жди одни проклятия,— сердито сказала Феона Елагину.

— Какое же это насилие, если ради тебя я отказываюсь от всех других женщин? Это любовь! К тебе, Феона, любовь...

Феона печально подумала: «Ради спасения отца я уступила Индирскому, но почему еще должна уступать Елагину? Отца не воскресить, Андрей, возможно, расстрелян, а я все чего-то жду,

на что-то надеюсь. Или, утратив высокие чувства чести и верности, не хочу лишать себя низменных?»

Решение Феоны казнить Индирского — виновника ее бед и позора — утверждалось в ее сердце постепенно, но решительно, и стало как бы смыслом ее отношений с Елагиным. Банда, созданная Индирским и Сентяповым, ушла в тайгу. Феона потеряла ее следы.

С болью наблюдала она разгул белых в родном городке. Есаул Бочкарев оставил в Охотске часть своих сторонников, бочкаревцы не признали власти Елагина, сами занялись грабежами, грязным развратом. Жизнь человеческая на Побережье стала дешевле гальки, ценность имели лишь золото, спирт, женщины. Дунька — Золотой пуп создала «союз общедоступной любви», девки ее разгуливали в собольих шубах, шапочках из голубых песцов, из серебристых лис, но плясали голыми во всех кабаках.

— В тайге сто рублей — не деньги, семьдесят лет — не старуха,— смеялся Елагин.

Он спрашивал Феону, о чем она постоянно думает, устраивал своего рода проверку ее мыслям и чувствам. Жестокий со всеми, он вел себя с Феоной мягко, нежно, словно ее чистотой надеялся смыть с себя кровавую тину. Иногда ему хотелось свести ее до уровня уличной девки, и он с ревнивой злостью говорил:

— Почему нет прежнего яркого блеска в твоих глазах? Куда подевались твои очаровательные улыбки, где твоя легкая походка, твой стремительный облик? Что с тобой, Феона? Ты любила хорошие меха — хочешь, подарю целую гору? У меня есть золотой самородок — «кровь дракона», бери! Есть редчайшие гранаты, ониксы, сердолики — возьми их. Они украсят тебя, Феона...

Она даже не улыбалась на его слова, и не загорался прежний свет ее глаз, который Елагин так обожал. Он все больше запутывался в паутине своей любви и был готов отказаться от славы таежного властелина — мстителя за утраченные права и привилегии, если бы Феона ответила взаимностью на его любовь.

В таком опьяненном состоянии встретил он генерала Ракитина. Генерал высадился в Охотске с группой офицеров и объявил себя военным начальником Побережья.

— Я реквизую всех лошадей для военных целей, а вам предлагаю слиться с нашей дружиной и вместе шагать в Якутск,— заявил генерал.

— Лошади к вашим услугам, я же останусь на Побережье,— сурово ответил Елагин.

— Не подчинитесь даже приказу генерала Пепеляева?

— Я подчиняюсь только господу богу...

— Позвольте, позвольте! Куликовский заверил генерала

Дитерихса, генерала Пепеляева, меня лично, что туземцы ждут не дождутся опытных командиров.

— Куликовский — старый болтливый дурак. Сам небось остался во Владивостоке.

— Он в Аяне с генералом Пепеляевым.

— Не ожидал от него такой прыти. А где же Дуглас Блейд?

— Вот он-то остался во Владивостоке, всякие торговые дела задержали. От имени фирмы «Олаф Свенсон» он вручил генералу Пепеляеву сто тысяч долларов.

— Когда загребаешь у нас миллионы, можно отваливать и побольше. Но не в Блейде дело и даже не в фирме «Олаф Свенсон», дело в том, что нет людей, готовых серьезно бороться. Кто руководил здешними мятежниками? Авантюристы, невежды, неудачники, им и деваться-то некуда. Таежные кондотьеры, дешевые как уличные девки. Вот почему я со своими людьми выхожу из этой идиотской игры в восстание, я теперь только таежный волк и, поверьте, умею хватать за горло...

Ракитин слушал Елагина с чувством уважения к этому сильному, волевому человеку и со страхом перед его лесной властью. Ссориться с ним было опасно, довериться — невозможно.

— Что из себя представляют люди Бочкарева? — спросил он.

— В отдельности каждый головорез, вместе — шайка разбойников. Но бочкаревцы — ангелы в сравнении с Индирским. Он переметнулся к нам из стана красных, но этот тип — предатель по призванию. Вот кого повешу с наслаждением, если поймаю!

Ракитин курил, слушал, думал о Елагине: «У него ненависти хватит на целый полк, жаль, что не верит в успех нашего похода». Но мысль его тут же изменилась. «Сам-то я верю? Называю поход кровавой фантастикой, но иду потому, что некуда больше шагать. Как все усложнилось, все перепуталось в русской судьбе!»

На другой день в штаб Ракитина явились человек с винчестером за плечом и кривоногий бородач со зверским выражением в лице.

— Как вас п'едставить гене'алу? Кто, откуда, с какой целью? — спросил Энгельгардт, подозрительно оглядывая пришельцев.

— Командир белого партизанского отряда Индирский...

Ракитин незамедлительно и с нескрываемым интересом принял Индирского.

— Запоздало узнал о вашем приходе, господин генерал, а то давно бы уже был в Охотске. У меня двести орлов, стреляющих без промаха, я и мои орлы готовы разделить с вами все тяготы, все радости великого похода, — высокопарно выговорил Индирский.

— Рад иметь таких союзников! Кстати, в вашем отряде был правитель Охотского края Сентяпов. Где он?

— Разошлись в политических взглядах, и Сентяпов покинул отряд. Думаю, пошел к Бочкареву, что сидит в Наяхане.

— Вам знаком путь из Охотска на Якутск?

— Похвалиться не могу, зато Матвейка Паук знает как свои пальцы. Старатель. Орел первой величины. Он дожидается в вашей приемной.

Ракитин пригласил Паука в кабинет; тот вошел, покачиваясь на кривых, обутых в унты ногах. Косматые волосы и борода усиливали и так зверский вид его, а оловянные глаза неприятно настораживали. На вопрос генерала Паук отвечал не задумываясь и даже покровительственно:

— Знаю ли тропу на Якутск? Еще бы спросили, знает ли Матвей Максимович разницу между золотым самородком и бронзовой втулкой! Будьте спокойны, с Матвеем Максимовичем в тайге пропасть не можно.

— Прекрасно! — сказал Ракитин. — Вы русские патриоты, а вот Елагин наотрез отказался участвовать в нашем походе.

— И вы уговаривали этого савраса? — ахнул Индирский. — У борова больше любви к своему хлеву, чем у Елагина к отечеству. Лесной бандит! Морской пират! Попадись он мне, живьем сожгу и пепел развею!..

Ракитин сардонически улыбался, слушая гневную филиппику Индирского и вспоминая вчерашнюю брань Елагина.

После месячной канители Ракитин сколотил дружину добровольцев, оставил своим заместителем капитана Энгельгардта и выступил в тысячеверстный поход на Якутск. Перед выступлением послал с оказией письмо воеводе Дитерихсу.

«В глубине якутской тайги, на военной тропе древних охотничьих племен, верящих в бога нашего так же, как все православные люди, я встречусь с генералом Пепеляевым. Под священными знаменами Иисуса Христа возьмем Якутск и пойдем дальше через Сибирь — к светлопрестольному граду Москве», — писал генерал.

Он передал послание командиру канонерки «Батарея», уходившей во Владивосток, не думая, не гадая о том, что по иронии судьбы в этот же самый час Дитерихс бежал на японском крейсере в Токио.

Ракитин обладал ясным умом и едва ли начал бы безумный поход, который сам называл фантастическим бредом, если бы знал о бегстве последнего белого правителя.

Два цвета времени — красный и белый — полыхали в Восточной Сибири, постепенно достигая самых глухоманных мест. Острота классовых схваток достигла своего предела и в больших армиях, и маленьких отрядах, оружием становилось не число бойцов, а социальные страсти.

Историки любят описывать события крупномасштабные, с огромным количеством человеческих масс, армий, стран, городов, охваченных водоворотом войны. Чем больше вовлечено судеб в войну, тем монументальнее, историчнее становится она, полагают историки, и это почти бесспорно, но бесспорно и другое.

В тайге, под замороженным небом, шли навстречу друг другу две небольшие армии. Шли к какой-то Лисьей Поляне — ничтожной географической точке,— чтобы сразиться: одни — за свои идеи, другие — за свои привилегии. Эта таежная схватка красных и белых — маленький, но совершенно необходимый штрих в эпопее войны, без него была бы неполной трагическая картина народных потерь.

Только через месяц после выхода из Якутска Строд достиг таежной слободки Амги; здесь узнал он о тяжелом положении гарнизона в селе Петропавловском.

— Пепеляевцы одержали победу на Алдане, неподалеку от Петропавловского. Наши понесли крупные потери,— рассказывал начальник гарнизона. — Пепеляев со всей дружиной сейчас на реке Миле...

— Это далеко от Амги? — спросил Строд.

— Верст двести.

— Куда же он направится?

— Пепеляев может захватить сперва Петропавловское, если пронюхает, что там большие запасы провианта и оружия.

— А если генерал пойдет на Якутск? Центр-то Якутии ему важнее какой-то Амги,— возражал Строд, стараясь представить себя на месте Пепеляева: «Как бы я поступил в таком случае?»

Строду одно было ясно: Пепеляев не минует Амги, и у него, Строда, есть приказ — погибнуть, но не пропустить генерала на Якутск. С такими размышлениями он улегся спать. Рано утром Строда разбудил начальник гарнизона.

— Нарочный из Якутска с приказом от командующего войсками...

Байкалов приказал немедленно выступить на Петропавловский и сменить командира гарнизона Дмитриева, в случае нужды оставить Петропавловский и действовать в тылу Пепеляева. Дмитриеву приказывалось вернуться в Амгу и там держать оборону.

— Теперь все ясно. Ты остаешься в Амге или со мной? — спросил Строд Донаурова.

— Иду с тобой. Ведь надо же передать воззвание Пепеляеву,— ответил Андрей.

— Оно уже не играет серьезной роли. Гораздо важнее тебе попасть в Охотск.

— Если придется действовать в тылу Пепеляева, мой уход облегчен,— согласился Андрей и тут же подумал: «Мой путь на Охотск — это путь к Феоне и к самому себе».

Вечером того же дня отряд Строда вышел из Амги. Джергэ, и прежде бывавший в этих местах, показал на равнину, с трех сторон окруженную тайгой:

— Вот она, Сасыл-Сасы...

— Лисья Поляна! — воскликнул Андрей, пытаясь разглядеть в холодном сиянии луны равнину, и вдруг тоска овладела им, сердце защемило от предчувствия близкой и потому особенно грозной опасности.

На пятые сутки Строд подошел к Петропавловску. Беспечность командира Дмитриева возмутила его, он долго разгуливал по наслегу, заглядывая в избы: крепко, по-домашнему спали бойцы. Спал и сам Дмитриев, укрывшись с головой одеялом. Строд сорвал одеяло, вытащил из-под подушки командира наган.

— Твоя беспечность граничит с изменой! За этакое дело отдают под военно-полевой! — не сдерживая ярости, распекал он Дмитриева.

— Пепеляевцы врасплох не застали бы, у меня разведчики зоркие,— оправдывался Дмитриев, торопливо надевая штаны и от спешки путаясь в них.

Строд созвал командиров на военный совет, в избе сразу стало душно, шумно, под потолком повисло облако табачного дыма. Андрей слушал разговор командиров, стараясь по внешнему виду определить их характеры: занятие обманчивое и неблагодарное.

Рядом со Стродом сидел Дмитриев — свежий, веселый от сознания, что с него снята ответственность за отряд. Он уже был весь на обратном пути в Амгу, и происходящее мало интересовало его.

Запрятался под божницу яйцеголовый фельдшер Капралов; у него непроницаемое, будто застегнутое на незримые застежки, лицо.

Адамский, командир взвода, юркий как ртуть, вертел нечесаной головой, заглядывая в рот, ловя каждое слово Строда.

Кто они, эти люди? Храбрецы, трусы? Как поведут себя в минуту опасности, за пулеметом, в рукопашной схватке, в плену, на допросе? Все было загадкой для Андрея.

В избу в клубах морозного пара ввалился пулеметчик.

— Беда, беда! Пепеляев захватил Амгу, наши разгромлены, командир Амгинского гарнизона бежал...

— Да ты рехнулся! Да я за такие шутки!.. — остервенился Строд.

— Вот они расскажут,— показал пулеметчик на троих красноармейцев.

Строд повернулся к вошедшим, но даже он, часто попадавший в таежные передряги, почувствовал себя не в своей тарелке. Бойцы с почерневшими физиономиями, распухшими носами, скрюченными пальцами пошатывались от голода, от изнурения.

Они рассказали о гибели почти всего амгинского гарнизона.

— Нужно спутать планы Пепеляева,— решил Строд. — Мы возвращаемся в Амгу, чтобы преградить генералу путь в Якутск.

Порхал мелкий снежок, курились наледи, хрустели под ногами сугробы, таежное безмолвие нарушали треск, скрип, храп, человеческая ругань, оленье хоркание, лошадиное ржание,— от катящегося вала звуков разбегалось зверье, одни вороны мелькали между деревьями, сопровождая отряд.

Донауров брел за розвальнями, на которых полулежал больной красноармеец. Время от времени тот просыпался, изумленно глазел на Андрея и начинал свой сбивчивый рассказ о гибели амгинского гарнизона.

Андрей слушал и представлял, как захваченные врасплох красноармейцы выскакивали на улицу и попадали под пулеметы пепеляевцев. Над Амгой в ту ночь стоял морозный туман, люди не отличали своих от чужих, и не было с ними командиров, которые могли бы приостановить панику.

— Молчат они и лезут, молчат и лезут,— повторял боец. — Перед самым рассветом мы впятером спрятались в тайге. Пошагали в Петропавловский, изголодались, обморозились, совсем ослабели. Неподалеку от Петропавловского два бойца легли на снег и не встали, а мы на карачках, но доползли...

Над Андреем посвистели распахнутые крылья, прозвучало карканье, и ворон умчался в тайгу, как раскрещенная тень смерти.

— Ворон да ворона — самые добрые птицы, только и советуют: «Кра-ди, кра-ди, кра-ди»,— сказал боец, и это было совсем неожиданно.

Андрей поглядел в седое, с оранжевыми разводами небо. Справа в морозной мгле стояло солнце, окруженное полосами ложного света; слева, над темной зеленью елей, высились горные вершины. Может быть, оттого, что вершины походили на облака, у Андрея появилось радужное настроение.

Горные вершины, в своем величии равные только богу, манили к себе, хотелось взвиться над миром, встать на одной из таких вершин и оттуда увидеть все скрытое от сердца, от ума. Еще хотелось тишины, близкой к безмолвию Севера.

Строд решил устроить привал, но Джергэ посоветовал пройти еще несколько верст.

— Ночевать надо на Лисьей Поляне. Там юрты есть, там сено и вода, однако.

К вечеру тайга расступилась, открывая широкую равнину с разбросанными по ней стогами сена; между стогами чернели юрты, слабые дымки курились над остроконечными крышами. Бойцы зашагали веселее, лошади заржали, звонче зацокали копытцами олени.

Опыт научил Строда быть осторожным, перед ночевкой он решил осмотреть Лисью Поляну: якутское, со свистящими согласными, название Сасыл-Сасы резало слух, и почему-то настораживало, и словно в чем-то обманывало.

— Не признаю предчувствий, а все-таки Сасыл-Сасы — это скверно звучит,— сказал он.

С востока Лисья Поляна обрезалась сопкой, покрытой густым ельником, на западе соединялась с безымянным озером, и там находилось самое открытое место. С севера поляну прикрывала березовая рощица, на юге она сливалась с тайгой.

Чадила коптилка, потрескивали дрова, куржавела от мороза юрта. Разговоры угасли, командиры погрузились в сон. У ледяного окна, положив голову на щиток, дремал пулеметчик, светила легкая, как облако, луна.

У березовой рощицы, на дороге, ведущей в Амгу, часовые зябко постукивали валенками, черной стеной поднималась тайга, из ее глубины донесся волчий вой и злобно взметнулся над Лисьей Поляной.

Потом все стихло.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Сняли три поста часовых. Красные расположились в четырех юртах. Из труб идет слабый дымок, по-видимому, все спят».

Генерал Вишневский прочел донесение, широко перекрестился, сказал полковнику Андерсу:

— Пора начинать, брат-полковник...

Андерс отдал команду, продрогшие до костей дружинники расправили плечи, проверили оружие. Полковник вынул маузер из кобуры и первым, оступаясь в снег, зашагал на Лисью Поляну.

Генерал Вишневский, наконец, дождался своего звездного часа. Еще с вечера он стоял в засаде у Лисьей Поляны, разведчики аккуратно доносили ему о приближении отряда Строда.

Вишневский слышал, как красные вышли на Лисью Поляну. Все разнообразные звуки большой массы людей улавливал он, принюхиваясь к едкому запаху разводимых костров. Решил взять красных перед рассветом, когда сон особенно беспробуден Всю ночь держал генерал в напряжении себя и добровольцев, не позволяя ни вздувать костров, ни курить.

Все складывалось так, как хотелось Вишневскому. красные часовые убиты бесшумно, Строд и его бойцы спят, Андерс с офицерами беспрепятственно приближаются к юртам. Он взглянул на часы: бледные от фосфорического свечения стрелки показывали пять минут шестого.

Дружинники окружили яранги с красноармейцами, но и сами не заметили стоявшую поодаль юрту, в которой были Строд,

Джергэ, Донауров. Они входили в юрты, вздували камельки, собирали между спящими их винтовки. Кто-то обнаружил груду мильсовских гранат, вынес из юрты, швырнул в сугроб, словно гнилой картофель, кто-то будил красноармейцев: те приподнимали головы, зевали, потягивались. Один из бойцов попросил цигарку.

— Закуривай и молчи. — Офицер сунул ему в рот папиросу.

— Что за человек? Ты откуда взялся? — недоуменно спросил боец, удивляясь длинной тонкой папироске.

— Не шевелись, болван! — с жестяной холодностью скомандовал офицер. — Комиссары арестованы, а вам ничего дурного не будет. Всех солдат Пепеляев возьмет в свою дружину.

В юрту вошел полковник Андерс, подозрительно оглядел проснувшихся красноармейцев.

— Что, проспали свободу, голубчики? Кто командир? — спросил он.

Из-за печки вылез Дмитриев, встал перед Андерсом.

— Я командир, а Строда тут нет.

— Где же он?

— А вот где! — Дмитриев ударом ноги опрокинул полковника, выскочил из юрты, на выходе столкнулся с дружинником, тот выстрелил в него, но не попал.

От выстрела проснулся пулеметчик, вышиб из окна льдину, заменявшую стекло, ударил из «люиса» длинной очередью в ночь.

Лисья Поляна ожила, заговорила, задвигалась. Красноармейцы вываливались из юрт, падали в сугробы, сухо защелкали револьверные выстрелы, зло заработали пулеметы.

Быстрота измученных таежными переходами бойцов поразила даже Строда; он вздохнул облегченно: замешательства нет, паника не вспыхнула. Всемогущий случай спас от разгрома его отряд, сознание воинского долга предупредило панику, но еще никто, даже сам Строд, не понимал: спасение на Лисьей Поляне определено всем логическим ходом событий.

Уже два месяца скитались красноармейцы по снежным лесам Севера: спали у костров, ели мерзлый, твердый как гранит хлеб, постоянно, напряженно ждали встречи с противником. По ночам их не оставлял инстинкт самосохранения, сколько раз бойцы просыпались с криками «Белые, белые!», и долго не приходило успокоение, и таежная ночь переполнялась опасными шорохами.

Было еще одно обстоятельство, подготовившее спасение на Лисьей Поляне, — ненависть. Победа или смерть — девиз древний, но для бойцов Строда этот девиз имел психологическое значение.

Победа означала спасение себя вместе с утренними зорями, любимыми женщинами, смерть — конец света не только для

них, но и всего живого — сущего. Все это и еще многое иное, чему нет определения на языке страстей, сделало бойцов Строда хозяевами положения.

Но пепеляевцы продолжали владеть своим преимуществом: используя стога сена как прикрытие, они приближались к юртам. Строд уже слышал их прерывающееся сопение, в этот миг кто-то швырнул гранату в один из стогов. Сено вспыхнуло, стог кровавым фонтаном раздвинул туман. При ярком свете Строд сперва увидел Донаурова с новой гранатой в руке, потом черную цепь пепеляевцев: они шли молча, увязая в глубоком снегу.

— Андрей дал огоньку, молодец! — похвалил Строд и оглянулся.

Пулеметчик колдовал над своим «люисом»— перекосило патрон, и он зубами пытался выдернуть его из ленты, в спешке сломал зуб и хрипло дышал, выплевывая на снег кровавые сгустки.

— Сейчас, сейчас, подождите, я сейчас,— бормотал он, но открыть огня не успел.

Пуля разворотила ему голову. Строд шагнул к пулемету, но Джергэ опередил. «Люис» в ловких пальцах проводника заработал нервно, торопливо, Джергэ бил в упор, не целясь, пылающие стога хорошо освещали пепеляевцев.

— Так, так, так! — бессмысленно, с ненужной усмешкой повторял Джергэ, и Строд улавливал его слова сквозь пулеметный лязг.

Он что-то крикнул изо всех сил, но не услышал своего голоса: его толкнуло в грудь и обдало жаром. Он хотел бежать — ноги не повиновались, хотел выстрелить — маузер выпал из ладони. Строд покачивался, не двигаясь с места, раскачивались и стога, и туман, и бойцы, и рваные пятна взрывов, потом все стало разваливаться на части.

Строд открыл глаза и с удивлением увидел перед собой цветы и листья, они искрились, поблескивали, освещая память студеным сиянием. «Что за цветы, где я?»

Цветы погасли, на их месте чернел лед, вставленный в раму окна, в юрте слоилась мгла, за оленьими шкурами слышались негромкие голоса. Строд прислушивался, но не мог понять, о чем говорили.

— Я ранен в грудь, никого нет, неужели пепеляевцы победили и я в плену? — прошептал он, приподнимаясь со скамьи. Плотная повязка на груди мешала, Строд сдвинул ее с места.

В юрту вошел Донауров.

— Где мы? Что с нами? — спросил Строд.

— Сидим на Лисьей Поляне.

— А где пепеляевцы?

— Они потеряли свыше сотни человек убитыми, теперь зализывают раны.

— А мы? — с усилием спросил Строд. — А мы? — повторил он вопрос.

— И мы потеряли многих

— Нельзя ли поточнее?

— Пятьдесят пять человек потеряли мы, не считая раненых.

— Ты это взаправду?

— Как можно лгать при таком несчастье?

— Еще одна подобная победа, и мы погибли.

В юрту вошел Дмитриев, принявший командование над осажденным отрядом. Его обросшая бородой физиономия плотно заиндевела, в глазах затаилась печаль.

— Генерал Пепеляев ультиматум прислал...

— Читай,— приказал Строд, зажимая пальцами рот: пуля застряла в легком, и кашель вызвал кровотечение.

— «Вы окружены со всех сторон. Сопротивление бесполезно. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю сдаться. Гарантирую жизнь красноармейцам, командирам и коммунистам. Окончательный ответ к двенадцати часам дня», — прочел Дмитриев.

— Не рано ли празднует победу генерал? Прежде чем ответить, я хотел бы осмотреть наши позиции.

Дмитриев и Донауров под руки вывели его из юрты, он зажмурился от снежного света. В голубом небе невозмутимо плыли облака, так же невозмутимо стояла темная на голубом небе тайга.

Строд горько подумал: «Природа равнодушна к нашим страданиям и бедам и не заметила, что произошло на Лисьей Поляне». Он перевел взгляд на искрящуюся равнину, по которой были разбросаны мертвые.

— «Генерал! Вы бросили вызов всей Советской Сибири и России. Вас пригласили сюда купцы-спекулянты и предатель — эсер Куликовский. Народ не знал вас... Сложить оружие наш отряд отказывается и предлагает вам сдаться на милость Советской власти, судьба которой не может решаться здесь...» — Написав последнюю строку, Донауров украдкой глянул на искаженное болью лицо Строда.

— Отнеси ответ Пепеляеву и там останься. Разрешаю говорить о нашем положении что угодно, но самое главное — постарайся уйти в Охотск и наладить связь с тамошними большевиками. Мы больше не увидимся. Прощай! — Строд горячими пальцами пожал ладонь Андрея.

Дружинники задержали Донаурова на таежной опушке и вызвали из вежи полковника Андерса.

— В чем дело? Что случилось? Шпиона поймали? Так вздерните его на пихте,— заворчал Андерс.

— Это красный парламентер...

— Парламентер? — Андерс отвернул воротник оленьей дохи и вгляделся в Донаурова.

— Черт побери, не может такого быть! Не может быть! — растерялся он. — Неужели это Андрей Донауров?

Донауров тоже не верил своим глазам: казалось совершенно невероятным встретиться с петербургским приятелем на Лисьей Поляне, в центре якутской тайги. Несколько мгновений они рассматривали друг друга, потом бросились в объятия.

— Не буду спрашивать, как очутился в тайге, скажи только: ты красный? — спросил Андерс.

— У меня нет цвета времени. Я человек, обстоятельствами поставленный в безвыходное положение. Как попал в отряд Строда, расскажу после, теперь проведи к Пепеляеву.

— Пойдем, представлю генералу...

В просторной яранге, около железной печки, сидели пять офицеров, шестой стоял заложив руки за спину. Был он в красной шерстяной фуфайке, меховых штанах и торбасах; на лице, обросшем черной бородой, тлели умные и непреклонные глаза.

— Брат-генерал! Строд прислал парламентера, но это мой петербургский друг. У красных оказался по чистой случайности, готов поручиться своей головой,— с ходу начал Андерс, но Пепеляев остановил его движением ладони.

— О друзьях-приятелях потом, брат-полковник. Вы принесли мне письмо?

Андрей подал пакет, Пепеляев похлопал им по своей ладони с апломбом военного, ожидающего весть о полной капитуляции противника. Спросил:

— Какой у вас чин?

— У красных нет чинов.

— У нас тоже вместо чинов «брат-генерал» да «брат-солдат». Орлам нужны крылья, солдатам — военное братство, а то, что вы случайный человек в отряде Строда, уже облегчает вашу участь. — Пепеляев вскрыл конверт, скривил в усмешке губы. — Строд предлагает сдаться на его милость. Он что, рехнулся? Спятил? Спрыгнул с ума? — Пепеляев поставил ногу на табурет, вынул записную книжку и карандаш. Написал, выдрал листок, подал Андрею. — Передайте Строду: переговоры закончены, продолжаются действия...

— Я не желаю возвращаться обратно,— пробормотал Донауров.

— Такое я называю предательством, а предателей расстреливаю. Не надо завязывать парламентеру глаза, пусть видит, сколько у нас солдат и пулеметов, и сообщит Строду. Авось они образумятся,— сердито ответил Пепеляев.

Андерс привел Донаурова в свою землянку, угостил спиртом, накормил жареной олениной. И говорил без передышки,

перескакивая с одной темы на другую, путаясь и тяжело вспоминая.

— Прошло всего-навсего пять лет, а что сталось с Россией, с нами что? Можно ли было вообразить нашу встречу в якутской тайге, на какой-то Лисьей Поляне? Неисповедимы пути твои, господи! Из Петрограда сюда? В волчьи заросли, в медвежьи берлоги, на край океана? Помнишь нашу последнюю встречу у меня на квартире? Кажется, это было сто лет назад...

Андерс говорил и видел Невский проспект, дворцы, театры, магазины, Донауров ел и видел те же, теперь недосягаемые, проспекты и здания столицы.

Андрей распрощался с Андерсом и вернулся на Лисью Поляну.

Строд сидел у печки, кутаясь в оленью малицу и грея озябшие руки. Было больно говорить и больно дышать, но сознание ответственности за бедственное положение отряда превозмогало боль и тоску.

— Жаль, что генерал не принял тебя за перебежчика, но ты все равно должен уйти в Охотск. Ты просто обязан уйти. — Строд откинулся от печки, прислонился к заиндевелой стенке юрты.

Андрей проследил за тонкими солнечными лучиками, проникшими в пулевые отверстия в кожаном верхе. Лучики, словно бледные линии, разрезали темный воздух.

— Необходимо известить Байкалова о нашем положении,— сказал он.

— Напиши письмо, пошлем Джергэ. Одна смерть помешает ему добраться до Якутска,— согласился Строд.

Глубокой ночью, прикрываясь туманом, Джергэ выбрался на якутский тракт. От его быстроты, выносливости и мужества зависела теперь судьба Лисьей Поляны.

Темнота постепенно белела, стыли в караулах часовые, стонали раненые. Строд, полулежа на узкой скамье, слушал их стоны и все напряженнее ожидал новой атаки.

— Почему тихо? — удивился Андрей. — Может, Пепеляев снял осаду и двинулся на Якутск? Зачем ему тратить на нас дорогое время?

— Господи, хоть бы скорей они начинали! — простонал кто-то из раненых. — Лучше смерть, чем ужас без конца...

Строд хотел возразить, но передумал,— бывают положения, когда слова не имеют цены, он только приподнялся на локтях и своим движением разбудил Дмитриева. Тот повел ладонью по волосам:

— Даже башка к юрте примерзла! Сегодня пепеляевцы из тайги и носа не высунут.

— А ты все же проверь караулы,— посоветовал Строд.

Дмитриев оделся и вышел во двор, за ним выскочил Донауров. Морозный туман скрывал не только окопы, но и тайгу. Дмитриев вздохнул и, словно обожженный, сплюнул; слюна звякнула ледышкой у его ног.

Морозную тишину разорвал сухой, неприятный звук выстрела, потом еще и еще, и вот из тумана появились человеческие фигуры. Снежная пелена, утрамбованная прежними атаками, стала плотной, и офицеры шли в полный рост. Чем увереннее и безогляднее шли они, тем сосредоточеннее становились красноармейцы.

Дмитриев и Донауров следили за приближающимися пепеляевцами: теперь уже нечем остановить их — остался только небольшой резерв, спрятанный в загоне для скота. Юрта с ранеными и загон находились в центре обороны, жалкие укрытия обстреливались с трех сторон. Пули прошивали оленьи шкуры юрты, сплетенные из краснотала стенки загона, убивая и калеча бойцов.

Держась обеими руками за грудь, Строд вышел из юрты, когда дружинники уже были у окопов. Увидев командира, красноармейцы бросились в атаку, под неожиданным их ударом пепеляевцы отступили.

— Тебя ранило? — спросил Строд.

Дмитриев не ответил.

— Позови командира взвода Адамского.

— Он убит...

— Тогда начальника пулеметной команды.

— И он убит...

— Где фельдшер?

— Убит...

— Если мы продержимся дня два-три, то это хорошо, но если... — Строд не досказал своей мысли.

— В тайге, но без дров, кругом снег, а мы без воды, нет хлеба, и нечем перевязать раненых,— уныло ответил Дмитриев.

— Чего же ты хочешь? — подозрительно спросил Строд.

— Умереть, как солдат...

— Избавь меня от глупых слов, следи за действиями Пепеляева и предупреждай их. Помни: предупрежден — значит вооружен. Генерал обязательно что-нибудь выкинет, не удалось взять в лоб, попробует хитростью. Ночью придется делать вылазки за снегом.

— За глоток воды мы платим кровью...

Дмитриев и Донауров зорко следили за каждым подозрительным движением белых. Иногда из юрты выходил Строд и, пошатываясь, вглядывался в звездную темноту.

С таежной опушки донесся хриплый голос:

— Эй, краснюки!

— Что нужно? — откликнулся Донауров.

— Подожди... Пусть говорят,— остановил его Строд.

— Из Охотска генерал Ракитин подходит, у него дальнобойное орудие есть. Пальнем из пушечки — от вас мокрого места не останется.

Неустанно, неусыпно с рассвета до сумерек пепеляевцы пулеметными очередями били по окопам красных, в ледяных валах появились большие бреши, разрушались все прикрытия. Иногда они прекращали стрельбу и орали:

— Вылупим из окопов! Доконаем голубчиков!..

— Если не заложим бреши в окопах, то конец нам,— прошептал Дмитриев.

В его голосе была такая безнадежность, что Строд откинул оленью шкуру со входа, оглядел Лисью Поляну. В сером свете зимнего дня черные трупы, красный снег, разрушенные окопы вызывали тоскливое чувство обреченности.

— Ночью соберем убитых и сложим баррикаду перед окопами. Баррикаду из своих, из чужих,— сказал Строд неверным, нетвердым голосом. — Построим такую баррикаду, и пусть меня обвиняют в надругательстве над мертвыми. Пусть обвиняют! Гранаты и патроны сложить в юрте, насыпать на них порох, когда пепеляевцы сделают первый орудийный выстрел, выкинем белый флаг, потом вместе с ними взлетим на воздух...

— У них нет пушки,— возразил Дмитриев.

— Орудия могут оказаться у генерала Ракитина.

— Джергэ уже дошел до Якутска. Если Байкалов поспешит, то еще выручит нас.

В юрту просунулся Донауров:

— К нам парламентер.

Строд сел на скамью: не хотелось, чтобы противник увидел его совершенно обессиленным. Парламентер — русоволосый и голубоглазый офицер — отдал честь Строду, заговорил со значительным выражением лица:

— Генерал возвращает письмо ваше, посланное командующему вооруженными силами Якутии. Мы перехватили вашего посланца охотника Джергэ на якутском тракте. К письму генерал приложил свой приказ, который сегодня зачитан перед всей дружиной. Генерал снова предъявляет ультиматум — капитулировать завтра в полдень...

Строд не мог скрыть нервного дрожания пальцев, разрывая злосчастный пакет. Вынул свое письмо Байкалову, пробежал приказ Пепеляева: «Необходимо разбить противника в кратчайший срок»— и кинул на угли камелька. Письмо и приказ занялись синими огоньками и растаяли, и Строд спросил:

— Что вы сделали с охотником Джергэ?

— Поступили по закону военного времени...

— Расстреляли?

— Повесили. Мы расстреливаем только военных,— с особым щегольством ответил парламентер, и глаза его налились ледяным блеском. — Что же передать генералу?

— Я пришлю ответ со своим парламентером. — Строд показал на Донаурова. — Вот с ним...

Парламентер ушел. В юрте повисла тяжелая тишина, прерываемая стонами раненых. Особенно мучительно стонал пожилой боец, как-то странно ухая. Его уханье надрывало душу всем. Хозяйка юрты — молоденькая якутка — вылезла из своего угла, зачерпнув кружку воды, подала раненому.

Боец отказался.

— Пей! Ты же просил воды,— требовательно сказала якутка.

— Он ухает от боли,— возразил санитар, знающий по-якутски, и, повернувшись к Строду, пояснил: — По-якутски «уу» значит «вода», вот хозяйка и дала ему напиться. Боец скоро умрет, я вынесу его от раненых, смерть удручающе действует на людей.

Дверь приоткрылась, свежий воздух обдал леденящим дыханием. Невидимый из-за белого облака пара человек сказал простуженным басом:

— Окоченел я, братья! Позвольте согреть душу,— попросил бородатый богатырь в сером, из солдатского сукна, френче с погонами фельдфебеля, но без полушубка и шапки.

— Садитесь к камельку. Что с вами? — спросил Строд.

— Под пули угодил, кровью истекаю, ну, да теперь уже все равно. Жил — мотался на чужбине, а подыхать приполз в медвежью берлогу,— фельдфебель закашлялся.

— Перевяжите его,— приказал Строд. — Ваша фамилия?

— Вяткин, Федор Панкратыч...

Андрей и санитар сняли с Вяткина френч: плечо и грудь были пробиты пулями. Санитар перевязал раны. Тепло камелька и кружка горячего чаю взбодрили фельдфебеля, собравшись с мыслями, он нервно заговорил:

— А для чего все это, господа товарищи? Омск—Иркутск—Харбин для чего? Сколько тысяч верст по России протопали, и России у нас нет, и сами пропадаем на какой-то Лисьей Поляне. Да, господа, бывают положения, из которых нельзя выйти с честью. Старик, старик! — схватил он за руку санитара. — Сколько я таких на тот свет отправил, подумать страшно, а ты мне раны перевязываешь...

— Успокойся, разбередишь раны, хуже станет,— санитар положил ладонь на плечо Вяткина.

— Мертвому худо не бывает! Исповедаться хочу перед смертью. Может, подвернется случай, будете в Ижевске, поклонитесь моему городу. Я ведь оттуда, мастер оружейного завода. Жена там, дети, свой дом, а я в тайге издыхаю. Словно гроза за грозой, накатились на меня две революции и выдули из родного гнезда, первая, Февральская, непонятными словами захлестнула: братство, равенство, война до победного конца. Не успел уяснить, для кого Февральская, на Руси большевики

появились. Свою, Октябрьскую, совершили. Только у нас в Ижевске большевики недолго продержались, скинули их эсеры. Тут, на беду мою, Колчак власть захватил, из ижевцев Особую дивизию создал, полковник Юрьев ею командовал, артист, ловкач, не приведи бог! Он таким, как я, окончательно затемнил сознание, и дрались мы, будто бешеные, и лютовали от Камы до Байкала. Когда бежишь, огрызаешься да снова бежишь, не замечаешь, как лютым становишься. Вот так и бежали, пока не очутились в Харбине, где столпились дворяне, купцы, попы, царские офицеры да сановники, а среди них и я — вятский мужик, ижевский мастеровой. Что делать, чем жить, не знал, а тоска по дому стала такая — хоть вой! Два с лишним года проболтался в Харбине, а прошлым летом встретил на улице полковника Андерса. Он с ходу новостями ошарашил: по всей Сибири, сказал, восстания против большевиков. Сибиряки, сказал, к Пепеляеву за помощью приехали, генерал собирает добровольцев и зовет всех, особенно ижевцев, в новый поход. «Я иду! Лучше со славой погибнуть на родине, чем по-муравьиному существовать на чужбине. Иду и зову тебя»,— уговаривал Андерс, соловьем, подлец, разливался...

Фельдфебель прижал почерневшие ладони к перевязанной груди и снова заговорил, но уже прерывисто, истомленно:

— Я согласился не потому, что уговаривал полковник Андерс. Захотелось взглянуть, как теперь живут там, в России. И решил из Харбина домой через какой-то Аян, через Амгу какую-то топать! И вот притопал в тайгу, чтобы под красный пулемет угодить. Не в Ижевске, не в Иркутске, а на Поляне Лисьей, в бою с такими же русскими рабочими, как сам, получил в награду семь золотников свинца. Придет весна, и вырастет из моих костей крапива. Ну и пусть, ну и ладно, а умирать все же надо спокойно...

Вяткин покачнулся и чуть не упал на горящую печку. Санитар уложил его на скамью, он вытянулся, только вздымалась и опускалась грудь. Вдруг он порывисто поднялся и стал срывать окровавленные бинты и швырять их в печку. Санитар кинулся было к нему, но он прокричал:

— Не подходи! Умираю, но не страшусь! Стыдно только, что долго обманывал свою совесть, а жить на одном обмане нельзя! Проклятые людишки охомутали, взнуздали, пять лет послушно в упряжке ходил. Я! Мастер-оружейник! Золотые руки! Теперь ничего нет — ни рук, ни сердца, ни жены, ни детей! Не там умираю, где надо бы, не за то, за что стоило бы...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Андрей долго и осторожно тряс за плечо Строда.

— Что такое? Что еще случилось? — испуганно приподнялся Строд.

— Ты просил разбудить, когда это будет готово,— стараясь не привлекать внимания раненых, многозначительно сказал Андрей.

— Ах, да, да! Дмитриев где?

— Там, где баррикада,— по-прежнему многозначительно, но переходя на шепот, ответил Андрей.

Они вышли из юрты. В морозном, тусклом, каком-то мохнатом свете все казалось смещенным, сдвинутым с привычных мест. Кривыми и приподнятыми были тени деревьев, над окопами неподвижно висели лиловые пятна костров, одинокие выстрелы щелкали приглушенно. Весь этот мрачный пейзаж поражал своей нереальностью, но особенно странными казались красноармейцы, переползавшие с места на место. Они ползали по узенькой тропке; это была единственная не поражаемая пулями часть окопа, и Строд невольно ускорил шаги.

И вот он увидел то, что приказал сделать.

За ледяной броней смутно угадывались человеческие фигуры; мороз сцементировал своих и чужих, красных и белых.

Строд стоял перед баррикадой, не отрывая глаз от смутных фигур в ледяной глубине ее, и разорванные мысли роились в отяжелевшей голове. Они появлялись и исчезали, как дым на сквозняке, неосознанные, необъяснимые, и Строд все сильнее чувствовал угнетенное состояние духа. Эта баррикада, и темная стена тайги, и красный снег, и седое небо давили на его сознание, он испытывал острую боль за живых, мучительный стыд перед мертвыми, но к боли, но к стыду примешивалось тревожное чувство сомнения в исходе борьбы.

— Наступает восемнадцатое утро на Лисьей Поляне, а так ли необходимы все наши жертвы и наши страдания? — спросил Строд, с трудом переводя дыхание и обжигая гортань морозным воздухом. Вопрос его был обращен к Дмитриеву, Донаурову, но те молчали, и Строд понял: ответ может дать только он сам. — Мы сделали все — измотали, обескровили противника, многие из наших легли на его пути, но они и мертвыми продолжают сражаться. — Мысль о мертвых, продолжающих борьбу, показалась ему кощунственной. — Я должен только просить прощения у мертвых, что не мог иначе поступить...

В замороженной тишине просвистела пуля, прокатился выстрел, и вот, словно им вызванное, над Лисьей Поляной, над красными, над белыми, над всем ночным миром вспыхнуло и разыгралось северное сияние. Переливаясь, всплескиваясь, оно моментально менялось — только что мелькало зеленым и алым, и уже синие опахала, уже белые перья раскачиваются между звездами. Они растут, захватывают небо, но тут же обрушиваются с высоты. Кажется, чья-то невидимая рука швырнула драгоценные камни на Лисью Поляну и подожгла ее живым лихорадочным пламенем. Та же рука одним взмахом выбросила гигантские кольца, они развернулись в струящуюся спираль, но

распались на багровые пятна, а пятна обратились в косматые гривы дыма.

В темной пустоте неба замелькали очертания новых абстрактных видений, и в Строде появилось болезненное ощущение невосполнимой утраты. Под нежными неземными вспышками все, что происходило на Лисьей Поляне, показалось удушливым, бессмысленным, наваждением.

Северное сияние погасло сразу, будто его выключили во всех точках неба. Опять надвинулась ночь — слепая, леденящая, равнодушная.

Молчали красные, не шевелились белые.

Над тайгой вскипали снежные вихри, от пурги попряталось зверье, только люди продолжали сражаться. Время от времени раскатывались пулеметные очереди, плясали в пурге костры.

— Может, это наша последняя ночь,— бормотал Донауров.

— Ты не очень-то каркай,— остановил его Строд. — И без твоих пророчеств тошно.

В юрту вошел заснеженный Дмитриев: бессонница осады высушила до черноты румяное его лицо.

— Метель-то, кажись, стихает, я все ждал, полезут пепеляевцы или нет. Не полезли. Почему бы это? — Дмитриев осторожно, чтобы не потревожить раненых, пробрался к камельку.

— Они ведь тоже не железные,— ответил Строд. — Утром нужно ответить на ультиматум Пепеляева, ты готов, Донауров?

— Я сделаю все, что могу...

— Ты должен сделать больше: перехитрить Пепеляева и уйти. Пиши ответ: «Генералу Пепеляеву. Вы думали в феврале взять Якутск, а весной победоносным маршем пройти всю Сибирь, но суровое лицо жизни — железная действительность, а не сказка из «Тысячи и одной ночи». Не приходится говорить о Москве, Иркутске, даже Якутске, если вы не можете своими силами взять небольшой отряд. Вторично предлагаю сложить оружие». Ну, вот и все, и на этом точка. Нам больше глупо толковать с генералом...

Донауров распрощался с товарищами и, проваливаясь в сугробы, побрел к пепеляевцам. Пурга замела все следы осады, но Донауров мысленно видел окровавленные окопы и страшную баррикаду, и, хотя старался не думать про нее, мысль упорно к ней возвращалась. «Там лежит командир Адамский, подаривший мне свою трубку, и там фельдшер Капралов, выносивший на себе раненых, и пулеметчик Сеня, по юности удивлявшийся самым обыденным и простым вещам. Я тоже могу оказаться там». Стало не по себе, и Андрей поспешно поднял над головой белый платок.

Его заметили, на опушку выскочил офицер, оскалился в беззлобной усмешке.

— Здорово, приятель! Опять сдаваться пришел? Ах, ответ на ультиматум! Генерал в Амге, но мы домчимся к нему быстрехонько...

Через час Донауров был в штабе Пепеляева. Генерал ходил от окна к двери и обратно, скрывая свое раздражение под напускным добродушием.

— Ваш Строд — фанатик. Или он надеется на помощь Якутска? Ждет, когда Байкалов пришлет войска? Я оборвал все его надежды, ваш посланец казнен, генерал Ракитин взял Чурапчу. Строду надо бы сдаться, он же пишет какой-то вздор. «Суровое лицо жизни — не сказка из «Тысячи и одной ночи». Смешно!

Донауров, не возражая, глядел в передний угол, Пепеляев остановился перед ним.

— Завтра я разнесу в пух и прах все живое и мертвое на Лисьей Поляне! Думал сохранить жизнь коммунистам, но теперь уничтожу их. Так и передайте Строду...

— Я не вернусь на Лисью Поляну,— поспешно и твердо ответил Донауров.

— Почему, позвольте спросить? Впрочем, я понимаю, какой идиот вернется в ад.

— Совершенно верно, господин генерал.

— Ладно, оставайтесь,— неожиданно решил Пепеляев. — Будьте свидетелем гибели ваших друзей...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Мы ждем последнего ответа,— сказал новый парламентер, посланный Пепеляевым.

— Вот наш ответ! Поднять знамя! — приказал Строд.

Над обледенелыми окопами, похлопывая на ветру и пламенея, поднялось знамя. На бруствере появился боец с гармошкой в руках, и неожиданно громкие звуки «Марсельезы» зазвучали в морозном воздухе; их подхватили болезненные голоса, и словно что-то изменилось на Лисьей Поляне.

Пепеляевцы слушали растерянно, потом просто осатанели и долго били по огненному полотнищу из пулеметов, наконец пошли в атаку. Осажденные закидали их гранатами.

— Скачите к Пепеляеву! — приказал генерал Вишневский полковнику Андерсу. — Скажите ему: осажденные знают, что нет у них другого выхода, и все-таки не сдаются. Подняли красный флаг и поют «Марсельезу». Они сошли с ума, но что же делать нам? Мужество безумцев подавило волю дружинников, даже я чувствую трепет.

— Сегодня я понял — есть вещи выше всякого понимания. Защита Лисьей Поляны приобретает у красных какой-то символический смысл. — Полковник Андерс сунул ногу в стремя, метнул свое тело в седло.

Вишневский опустился на срубленную пихту; раньше Пепеляева и Андерса и всех дружинников он понял: после Лисьей Поляны идти на Якутск невозможно.

— Может, и доползем, но там нас возьмут голыми руками. Мы дали России гражданскую войну, а что в итоге? Мы, дворяне, сидим в тайге, на какой-то Лисьей Поляне. Страшный итог!

Наступило утро двадцатого дня обороны. Оно было метельным, на поляне передвигались снежные вихри, метались в них сосны и пихты. Под стать пасмурному утру было настроение красноармейцев: в сером свете все обострилось, все стало болезненно ощутимым.

Строд безнадежно думал о том, что лошадиного мяса осталось на пару дней, и нет дров, и нечем сменить подстилку для раненых. Если сегодня пепеляевцы пойдут в очередную атаку, то конец их обороне. Он всю ночь слышал какое-то движение в стане противника, Вишневский то ли получил подкрепление, то ли готовится к наступлению.

Но шли часы, атаки не было. Метель улеглась, опали снежные вихри, в тайге возникла торжественная тишина, та самая, что иногда называется безмолвием Севера. И вот это безмолвие лопнуло от далекого, круглого, плотного звука, он прокатился над сопками — неумолимый, властный, беспощадный. Что-то тяжело ахнуло, земля содрогнулась, по тайге пронеслись тысячи угрожающих шорохов.

— Орудийный выстрел! Генерал Ракитин подходит к Лисьей Поляне. — Строд выбежал из юрты. Красноармейцы повернулись к нему, ожидая последнего приказа.

— Сейчас начнется атака. Мы взорвем их и себя, когда они окажутся здесь,— сказал Строд.

Орудийная канонада продолжалась весь день, но пепеляевцы так и не пошли в свою решающую атаку.

Это было непонятно и поразительно.

Строд опасался какого-то подвоха и все чего-то ждал, взглядывая на пробитое пулями знамя, что развертывалось и пылало на вечернем ветру. Сумерки смешались. Из них вылетело четверо всадников. Они покрутились на опушке и в карьер поскакали к окопам. Строд поднял бинокль.

Всадники ворвались на площадку перед юртой — неожиданные вестники освобождения.

— Байкалов захватил Амгу, Пепеляев отступает на Аян, генерал Вишневский снял осаду Лисьей Поляны, Ракитин бежал в Охотск! — поспешно, словно торопясь избавиться от новостей, выкрикивали они.

...В небе, просторном, раскованном, словно отлитом из перламутра, играло пять солнц, одно настоящее и четыре ложных, косяки негреющего света наполняли просторную избу; Строд наслаждался и светом, и запахом пихтовых лап, и чистой одеждой, в которую переоделся после бани.

В избу с чемоданом вошел Карл Байкалов. Строд отметил новые глубокие морщины на его лице: «Видно, не сладко пришлось ему в эти дни».

— Как себя чувствуешь? — спросил Байкалов.

— Будто новорожденный, легко и бездумно,— рассмеялся Строд.

— Легко — верю, бездумно — сомневаюсь. — Байкалов поставил под лавку чемодан. — Это, брат ты мой, «канцелярия губернатора Якутской провинции» Куликовского. А куда делся сам губернатор? Среди убитых нет.

— А что с Пепеляевым, с Вишневским?

— Пепеляев с Вишневским отступают на реку Милю. Я отдал приказ преследовать пепеляевцев, надеюсь отрезать путь на Аян. Надеюсь, но и боюсь: красноармейцы измучены переходами, многие обморозились. Вы совершили невозможное на Сасыл-Сасы,— назвал Байкалов Лисью Поляну по-якутски, этим подчеркивая ее уже историческое значение. — Вы приняли на себя всю тяжесть осады и не пропустили генералов в Якутск.

Дверь кто-то дернул, в избу вошли охотник и дрожащий от холода старик.

— Вот привел к тебе. Обещался заплатить золотом, если отвезу к Пепеляеву, но я привел к тебе,— сказал охотник.

— Что за человек? — спросил Байкалов.

— Перед вами несчастный Куликовский,— озираясь, прошептал старик. — Замерз, ужас какая была ночь!

— Где же вы прятались, господин губернатор?

— В стоге сена. Боже мой, что за ужасная ночь! Я промерз до самых костей и голоден...

— Вас накормят и согреют. Выспитесь, и мы поговорим, а сейчас один только вопрос: вы царский политкаторжанин?

— Это было давно. Я не отдаю себе отчета в происходящем...

— Я тоже политкаторжанин. Не странно ли, как разошлись пути царских ссыльных?

— Да, да, вы правы.

Куликовского увели в лазарет, Байкалов раскрыл чемодан, вынул бело-зеленое шелковое знамя, пачки этикеток для винных бутылок, сверток бумаг, псалтырь, несколько шприцев, визитные карточки.

— Даже позолота с карточек стерлась. Вот она, пыль тщеславия,— усмехнулся Строд. — Бывший революционер с псалтырем. Забавно! А для какой цели винные этикетки?

— Расплачивался ими с местными жителями вместо денег. Смотри, на хересе цена — двадцать пять рублей, на портвейне — десять. Даже «имеют хождение наравне со всеми денежными знаками» написано. — Байкалов развязал бумаги, в них оказались письма, незаконченные деловые записи.

В избу с испуганным лицом вошел фельдшер.

— Куликовский морфием отравился.
— Где он взял морфий? — спросил Байкалов.
— У него был пузырек с морфием, а при обыске сумел припрятать...
— Жалкая смерть! Схожу в лазарет, проведаю раненых,— сказал Строд. — Каждый, кто пережил осаду Лисьей Поляны, мне стал роднее брата...
Байкалов начал писать рапорт о разгроме добровольческой дружины, но писал без особого удовольствия. Хотя Пепеляев и разбит, но не побежден, и пусть панически отступает, у красных нет сил преследовать его.
Генерал Пепеляев раньше красных вышел на старый тракт и беспрепятственно устремился к Аяну.
Вместе с ним уходил и Андрей Донауров.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Где вы, что с вами? Где вы, что с вами? «Ставрополь», ваши координаты? Сообщаем пункты Охотского побережья, в которых расположены отряды пепеляевцев...»
Василий Козин записал обрывки случайно пойманной радиотелеграммы и не знал, что делать с нею. Доложить генералу Ракитину о появлении каких-то таинственных кораблей или же скрыть? Но долго скрывать такую важную новость рискованно.
Козин спрятал радиограмму в карман и вышел из радиостанции. Снег, еще вчера белый и плотный, стал синим и рыхлым; от тальников, покрытых красноватым пушком, тянуло горьковатым запахом. Стайка синичек с щебетанием пронеслась над Козиным, щебет их весело предупреждал о весне.
Между радиостанцией и Охотском было меньше версты, но на коротком пути Козин увидел лисицу, легкую и бесшумную, как оранжевый шар дыма, черного ворона, дремавшего на лиственнице. Козин прошмыгнул мимо штаба генерала Ракитина, постучался в двери Феоны.
— Что произошло? — испугалась Феона. — По глазам вижу: происшествие какое-то...
— Чрезвычайной важности новость. Вот отрывок из телеграммы. В Охотск идут чьи-то корабли, но только чьи, не знаю. Наши, или белые, или японцы?
— Какие же японцы, если пароход называется «Ставрополем»?
— Самураи могут прикатить и на «Ставрополе», у них наши пароходы.
— Радиограмму генералу показывал?
— Пока нет.
— Ракитин не должен видеть ее.
— Шила в мешке не утаишь.
— Если невозможно скрыть новость, скажи, принял сооб-

щение: японцы посылают военный корабль за ними. Пепеляевцы мечтают убраться восвояси, да не на чем. Так и скажи Ракитину, что в Охотск идут японцы,— повторила Феона.

Козин и Феона были друзьями детства, вместе учились во Владивостоке. Никто, кроме Феоны, не знал, что Козин оставлен Ильей Петровичем Щербининым в Охотске перед уходом партизан в тайгу. Козину удалось передать якутскому ревкому, что радиостанция снова работает, ревком же известил его, что в Охотск для связи с большевиками направлен Андрей Донауров. С большим опозданием Козин сообщил Феоне эту новость.

— Андрей жив? Андрей пробирается в Охотск? Когда ты получил такое известие? — спрашивала обрадованная Феона.

— В декабре прошлого года.

— Он бы уже давно был здесь, он бы не стал дремать в дороге,— разочарованно протянула Феона.

— Из Якутска к нам можно пройти только через Нелькан или через Аян, но обе дороги заняты Пепеляевым,— напомнил Козин.

Феона не верила в смерть Андрея, и надежда ее снова зазелепела. Без колебаний согласилась она помогать Козину, прятала в погребе дома все, что он приносил. А тот приносил винтовки, гранаты, даже редкие книги по истории великих географических открытий. Василий гордился тем, что он потомок русских землепроходцев и рожден на северной земле, открытой его предками.

— Люблю наш голый городок, ощущаю здесь и дыхание истории, и трагическую быстротечность жизни, и вечную славу землепроходцев. Они сделали Охотск символом упорства, мужества, славы русского человека. А что ожидает Охотск завтра? Что будет с ним, когда вернутся красные? Они не могут не возвратиться, они обязаны это сделать. Для меня возвращение их как солнце после полярной ночи,— говорил Козин.

Для Феоны же солнцем был Андрей, ради встречи с ним она помогала Козину. Дня через два Козин снова пришел к ней.

— Новая радиограмма таинственному «Ставрополю». Теперь уже из Наяхана радируют, что у Пепеляева в Аяне пятьсот дружинников, у генерала Ракитина в Охотске четыреста, у Елагина в Булгине до трехсот.

— Кто-то еще работает на красных. Этот «Ставрополь» отвечает Наяхану? — спросила Феона.

— Пока не перехватил ни одной радиограммы. Вот еще что, Феона, вчера меня вызывал генерал, спросил, исправлен ли «Альбатрос», он собирается в Аян, на встречу с Пепеляевым.

— Нельзя везти Ракитина в Аян,— категорически сказала Феона.

— Я тоже так думаю, Феона.

— Думать, как я, этого мало.

— Когда я думаю о деле, то делаю его. Но пора на радиостанцию, возможно, еще что выхвачу из эфира.

Генерал Ракитин из сорока лет своей жизни десять провел в решающих наступлениях, панических отходах, составлении победных реляций, рапортов о «незначительных потерях», после которых армия становилась небоеспособной.

И на самом деле все оказалось враньем в походе на Якутск. Никто не присоединялся к отряду Ракитина на пути из Охотска до Чурапчи, якутские, а также обещанные тунгусские повстанцы не выходили на военную тропу, оленеводы прятали своих олешек, проводники разбегались. Не хватало нарт для перевоза боеприпасов и провианта, и чем дальше в глубь тайги продвигался Ракитин, тем быстрее таял его отряд. Мелкие шайки рассеивались по тайге.

О поголовном восстании против большевиков уже не могло быть и речи, Ракитин убедился в этом трагическом для него факте, расспрашивая всех, кто попадался.

— Якут покраснел, тунгус покраснел, сибиской ревэиком стал добрым, белый нюча стал худым,— отвечали простодушные дети Севера.

Новые руководители Якутии не повторяли левацких перегибов своих предшественников.

Под Чурапчей к генералу Ракитину явились парламентеры и сказали, что командир сводного отряда Алексей Южаков предлагает сдаться, за что сохранит жизнь и свободу.

— Передайте Южакову — русские генералы не сдаются,— гордо ответил Ракитин.

А на другой день он узнал о разгроме пепеляевцев на Лисьей Поляне. И сказал Индирскому:

— Я боролся с красными до последней возможности. В этой борьбе прошел от берегов Камы до Тихого океана. Да, я ошибался в оценке революции, теперь осталось — или вернуться в добровольное изгнание, или умереть, как медведю, в таежной берлоге.

Он распустил мятежных якутов и тунгусов и с небольшой группой офицеров вернулся в Охотск; вместе с ним возвратился Индирский.

Был конец мая, сырой снег сменялся дождем, потом снова мела метелица; Ракитин сидел дома, испытывая мучительный зуд беспокойства и тревожных предчувствий; время от времени, заложив руки за спину, ходил по кабинету, равнодушно поглядывая на площадь.

На площади среди нечистот рылись собаки, ворон ковылял по церковной паперти, «братья-солдаты» топтались у закрытых

дверей торговой фактории. Ракитин представил расстояние, разделяющее Охотск и Москву, и поежился от бескрайности лесов, сопок, болот. Никогда, пожалуй, не увидит он ни Москвы, ни Петрограда, не пройдется по Невскому проспекту, не посидит в опере. Прошлое провалилось в какую-то пропасть, будущее темнее полярной ночи, вся жизнь теперь похожа на лесную тропу, заросшую травой забвения.

Из-за церкви вынеслась собачья упряжка, подлетела к резному крыльцу штаба, с нарт спрыгнула Дунька, собаки замкнули ее в рычащее кольцо. Растолкав собак, раскачивая в руке связку куропаток, Дунька вбежала на ступеньки крыльца. Следом появилась вторая упряжка, с капитаном Энгельгардтом на нартах, и тоже повернула к штабу.

— Вот и все мои трофеи, стреляю еще плохо. А ты снова пьешь, Ракитин,— сказала Дунька с укоризной, кладя на стол белых птиц.

— Стрелять не умеешь, красные появятся, что станешь делать, Дуняша? — спросил генерал.

— К тому времени научусь палить не хуже Энгельгардта. Он с полсотни шагов из нагана картуз пробивает. Почему такой скучный, Ракитин?

Вошел Энгельгардт с охапкой мехов, свалил их в угол.

— У кого конфисковал меха?

— У охотников Кухтуйского стойбища, б'ат-гене'ал. — Энгельгардт приподнял и встряхнул льющийся, серебристого цвета, мех. — П'елестная лисица...

— Не бунтовали якуты?

— За ножи хватались, да я успокоил. Сказал, п'иедем, забе'ем не только пушнину, но и мясо и муку. Пост'ащал, они и обмякли. Отдали пушнину, я им поименные квитанции накатал. Пусть бе'ут вместо денег.

— Дунечка, ступай в спальню. Мы с капитаном поговорим о мужских делах,— попросил Ракитин.

Дунька фыркнула и, на ходу расстегивая дошку, вертлявой походкой вышла.

— Пепеляев прислал нарочного с письмом. Требует, чтобы мы срочно собрали сто пятьдесят тысяч рублей золотом и готовились к отъезду в Китай. Только где взять такую сумму: туземцы уже обобраны, склады торговых фирм опустели. Если в июне не придет пароход, то голод ликвидирует и нас с вами, брат-капитан...

— Я не ждал ничего от этого п'есловутого похода. С одной тысячей самых отчаянных голов не завоюешь Якутии. Что мы нашли в том же Охотске? Голово'езов Елагина? У них всех-то мечтаний — золотишко да ка'тишки. Низменные ст'асти — опасная за'аза, они обожгли и наших солдат. Вот стоят у факто'ии и ждут водки. Не выдай им по стопочке — факто'ию снесут, нас пе'едушат...

— Пепеляеву без нас туго, но и мы без него не проживем.
— Только бы дождаться судна. Японского, китайского, канадского, я с удовольствием покину область вечной ме'злоты.
Раздался осторожный стук в дверь, Энгельгардт открыл.
— Важная радиограмма, господин генерал. Из Токио сообщают, что в Охотск идет торговая шхуна,— с порога заговорил Козин.
— Слава богу, слава богу! Прекрасная новость, а то уже надоело сидеть у моря, ждать погоды.
— У меня мурашки по телу от мысли, что вы покинете Охотск, господин генерал.
— Я, Козин, не господин, а брат. Не нарушай демократических правил нашей дружины. — Ракитин снял салфетку, прикрывающую на столе бутылку спирта. — За славную новость следует выпить.
— Покорно благодарю, брат-генерал.
— Последний спирт допиваем. Все стало последним: вино, война, успех. И этот злосчастный поход на Якутск обернулся последним. Теперь дай бог ноги унести из Охотска.
— Печальные, худые дела,— согласился Козин.
— Хуже некуда. Следи за эфиром, Козин, сообщай мне новости незамедлительно.
— Есть сообщать, брат-генерал, но уж больно трудно ловить японские станции.
— А ты старайся, я в долгу не останусь.
После ухода радиста Энгельгардт грустно выругался:
— Взял бы за шиво'от этого б'ата, он бы у меня ве'телся волчком.
— А Козин ножки протянет, что тогда скажут наши братья по дружине?
— Вы изменяетесь к худшему, б'ат-гене'ал, вы становитесь гуманистом.
— Сто пятьдесят тысяч золотых рублей! Здорово придется поработать за такую сумму.
— Будем ст'ичь якутских овечек.
— Да, но как бы только не вышло по той пословице: пошли по шерсть — возвратились стрижеными.
За тонкой переборкой зазвенела гитара, послышался голос Дуньки:

Я отчаянной родилась
И собой не дорожу,
Я гуляла, я молилась,
Я ходила по ножу...

— Бесшабашная бабенка,— нежно улыбнулся Ракитин.
— Тиг'ица! Сошелся бы с Дунькой, если бы не ждала меня невеста,— соврал Энгельгардт. — У нас, у Энгельга'дтов, фамильный девиз: «Честь до'оже жизни»...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Ледяные поля лежали вокруг «Ставрополя», в белесой искрящейся мгле маячил силуэт «Индигирки», и ничего больше не было на горизонте. Степан Вострецов надел дымчатые очки, слепящее сияние снега смягчилось. С минуту молчал, не спуская глаз с беспредельной ледяной пустыни, потом спросил вахтенного штурмана:

— Что нового?

— Все по-старому.

— Уже хорошая новость, что нет новостей. Я читал в лоции, будто Охотское море в мае освобождается ото льдов. Май на исходе, а мы в ледяной ловушке.

— Такой скверной ледовой обстановки давно не помню, хотя и плаваю здесь много лет,— согласился штурман.

— Где мы сейчас?

— На траверзе Аяна...

— Во Владивостоке меня предупреждали: Пепеляев-де квартирует в Аяне, но когда это было? Не сидит же генерал сложа руки...

Штурман только пожал плечами. Вострецов достал трубку, покрутил в пальцах, но не закурил. Постоял в раздумье, предупредил штурмана:

— Я буду в каюте. Кому нужен, пусть приходит туда.

В каюте, заваленной оружием, теплой одеждой, Вострецов лег на диван, раскрыл путеводитель «Охотско-Камчатский край», хотелось представить места, куда забросила судьба.

«Охотск основали русские землепроходцы, когда в целеустремленном своем движении вышли на Тихий океан»,— прочитал он и отложил книгу. Не читалось. Сейчас, когда экспедиция находилась на траверзе Аяна, овладевали воспоминания и, как всегда, мелочи заслоняли существенное. Вострецов вспоминал, слушая, как содрогается от ударов льдин корпус «Ставрополя», как стучит собственное сердце. Вспомнил разговор с Иеронимом Уборевичем:

«Это уж самый последний поход, Вострецов. Впрочем, в жизни не бывает ни последних залпов, ни последних походов, жизнь — это вечный бой, сказал поэт. Мне просто некого, кроме тебя, послать в поход за последним тигром русской контрреволюции. На тебя же надеюсь, как на самого себя, ведь вместе штурмовали Спасск, вместе освобождали Приморье от Дитерихса. Так кому же, как не тебе, отправляться в Охотск и Аян? — говорил Уборевич. — Цель экспедиции держи в строжайшем секрете, надо свалиться на Пепеляева как снег на голову. Всех, сдавшихся добровольно, офицер ли, солдат ли, щади, но золото, но пушнину забери».

Поход начался при хорошей погоде: голубело небо, сияли волны. В проливе Лаперуза с интересом поглядывал Вострецов

на японский остров Хоккайдо и черные обрывы южной оконечности Сахалина. В душе он побаивался, как бы японцы не задержали экспедицию. Обогнув южную часть Сахалина, корабли взяли курс на север и вскоре встретили льды. Охотское море обрушилось на экспедицию снежными бурями, начались поломки, задержки. В корпусе «Индигирки» появилась течь, авралы следовали за авралами. Прошло ровно тридцать дней с начала плавания, а Охотск по-прежнему был недосягаем.

На иллюминаторе справа налево передвигался клубок снежинок, глухо терся лед о корпус «Ставрополя», но Вострецов не слышал грозного шуршания льдов за бортом. Он все вспоминал о недавних боях, память отсеивала ненужные наслоения, и важные события становились еще значительнее, на них проявлялся отблеск истории, само время приобретало историчность.

Видел Вострецов дымные поля сражений, небо в седых шарах снарядных дымов, кого-то преследовал, сам убегал от погони, лежал в липкой осенней грязи, крался зверем по темным лесным тропинкам. Нескончаемой чередой проходили красные и белые, генералы и солдаты, министры и комиссары, помещики и мужики.

Приход комиссара Пшеничного оборвал его воспоминания. Комиссар был русоволос, светлоглаз, с тонкими чертами лица.

— Не время ли поднимать андреевский флаг? — спросил он.

— До Охотска еще триста миль.

— Нас могут преждевременно заметить пепеляевцы, а царский флаг введет их в заблуждение.

— Флаг поднимем завтра. Что ты все торопишься? — недовольно сказал Вострецов.

— Летящий камень мохом не обрастает,— ответил пословицей комиссар, он страх как любил народные пословицы, афоризмы, сказывался его юный возраст.

— Написал я приказ о высадке десанта. Прочти, может, добавишь что? — напирая на «р», попросил Вострецов.

— «На нас возложена задача — очищение Охотско-Аянского района. Охотск должен быть наш. Категорически запрещаю расстреливать сдавшихся мятежников»,— прочел комиссар и сказал: — Мне нечего добавить к приказу. Сила птицы — в крыльях, слава солдата — в победе.

— Каждый из нас должен выполнить свой долг,— хмурясь, сказал Вострецов.

— Долг кончается там, где начинается невозможность. Был такой герой Гамлет, он обладал повышенным сознанием долга, но не имел воли для его исполнения. Слышал про Гамлета?

Степан Вострецов не слыхал о принце Датском.

— Тебе еще нет и сорока, Вострецов, надо учиться, и тогда прочтешь не только о Гамлете. Так вот, если Гамлет — сознание долга при отсутствии воли, то у нас избыток ее,— встряхнул комиссар пепельными рассыпающимися волосами.

— Наступает время боя. В который раз наступает оно для меня? — вздохнул Вострецов.

— Великие мгновения всегда за чертой времени,— сказал комиссар. — Сегодня я провожу вечер воспоминаний для третьей роты. Придешь, Степан Сергеевич?

Комиссар был большим мастером по устройству всяких бесед,— он проводил лекции о международном положении, выпускал рукописный вестник экспедиции, устраивал соревнования по стрельбе. Неугомонную свою деятельность он объяснял по-юношески просто: бойцы заскучают от безделья и утеряют боевой дух.

— Что ты всех подгоняешь! — сказал комиссару Степан.

— Я тороплюсь сделать как можно больше при наименьшей затрате энергии.

Комиссар испытывал восторг перед людьми, совершившими что-то необычное. Он преображался, рассказывая о них, глаза горели, голос звенел, но сам о себе рассказывать не умел: мямлил, становился серым и скучным.

Вечером в кают-компании собрались бойцы. Вострецов смотрел на безусых, краснощеких парней, с болезненной остротой чувствуя себя среди них стариком. Бойцы тоже ощущали разницу в возрасте и чаще обращались к комиссару, а не к Вострецову.

— У нас сегодня не просто воспоминания о пережитом. Сегодня кое-кто расскажет нам о необычайном происшествии, которое произошло с ним или с его друзьями,— начал комиссар.— Кто-то кого-то спас, или спасли его самого, или кто-то, несмотря на полную невозможность, выполнил свой долг перед революцией. Нам предстоит схватка с генералом Пепеляевым, и мы обязаны победить и помнить историю наших побед. История учит жизни. Это ведь мы, обмороженные, полураздетые, рвали голыми руками заграждения на сопке Июнь-Корань, мы бежали со штыками наперевес на укрепления Спасска. Вот про что хотелось мне сказать перед вечером воспоминаний.

Бойцам не терпелось послушать Вострецова. Высокий, с властным картавым голосом, командир производил на бойцов сильное впечатление.

— Меня просят рассказать, за что получил три георгиевских креста? — начал Вострецов. — Первый получен за дело под Ригой, а в деле участвовал один я. В шестнадцатом году мы на этом берегу Западной Двины в грязи по уши сидели, немцы — на том небо коптили. Между нами если и было что, то островок на реке да камыши вокруг него. С острова все хозяйство у немцев просматривалось, я возьми и скажи об этом штабс-капитану. Он спросил: «Кто может на остров пробраться?» — «Я, ваше благородие». — «Лодки-то нет». — «Я вплавь, ваше благородие...» А на дворе мокрый снег, а вода в реке — душа замирает. Поплыл, над головой гимнастерку со штанами держал. Доплыл

все же и всю ночь бегал по острову — душу грел, на рассвете наблюдение повел: все как на ладошке — тут пулеметные гнезда, там орудия. Гляжу, подсчитываю, запоминаю. Вдруг немецкий офицер биноклем по острову зыркнул, выглядел меня — и сразу в лодку. Я кубарем в камыши, а лодка уже близко. Офицер приказывает камыши осмотреть. Тут я вспомнил, как в детстве с камышинкой во рту под водой сидел. Соскользнул в воду, притаился, дышу через камышовую дудку, а сердце так и колотится. Обрыскали немцы камыши и отчалили, я к своим возвратился, правда, с воспалением легких. Месяц в лазарете провалялся, туда мне и георгия принесли...

— Георгий-то у тебя самый честно́й! — послышался одобрительный возглас.

— Геройство не в силе, а в правде,— изрек комиссар.

В кают-компанию вошел капитан.

— Началась подвижка льда. В полночь двинемся вперед. Ожидается устойчивая, с норд-остом, погода,— весело сообщил он.

В майскую ночь «Ставрополь» и «Индигирка» вырвались из ледового плена и осторожно вышли на чистую воду. На мачтах зашумели андреевские флаги на случай, если экспедицию заметят пепеляевцы.

Стоял славный денек. Переливалось синевой очистившееся ото льда море. Феона, слушая Козина, не сводила глаз с гремящего прибоя. Василий сидел у стола, скрестив на груди руки, обхватив ладонями локти, на узком, нервном лице его играл солнечный зайчик.

— Что же ты ответил Ракитину?

— Сказал, в Охотск идут японцы.

— И генерал поверил? Не усомнился?

— Так они в самом деле идут, Феона. Ночью я поймал радиограмму: японский миноносец из Хакодате взял курс на Охотск. Я утром доложил генералу.

— Через неделю японцы будут здесь, а где же наши? Где этот «Ставрополь», почему он молчит?

— Возможно, он опасается обнаружить себя...

— А если «Ставрополь» не подойдет к Охотску? Если бросит якорь где-нибудь за мысом Мареканом? Там удобная стоянка, а мы его здесь прокараулим. Давай-ка съездим к Элляю, он пасет оленей у этого мыса.

— Это идея, Феона!

«Альбатрос» мчался по взморью, ветер свистел, от ходкого лёта отбрасывая назад волосы Феоны, пестрый мир развертывался крутыми обрывами, галечными косами, голыми еще сопками.

Приподнятое настроение захватило Козина, все стало прекрасным: и сизые тени скал, и морская, с прозеленью, вода, и пляшущие полоски света. Козин не верил в мистическое пред-

определение судеб, не признавал сверхъестественного вмешательства таинственных сил в жизнь человека, но был мечтателем, верил в необыкновенное, неважно, радость или несчастье приносит оно. Все, что касается народных примет, предсказаний, оборачивалось для него только реальностью выдумки, цветами фантастики. Факты истории, обросшие чудесными узорами народной фантазии, были и реальностью и сказкой. Козин верил, что киевский князь Олег умер от укуса змеи, но в то, что может умереть сегодня сам, не верил. В молодости не допускают мысли о своей смерти, и редко такие мысли омрачают юные души.

Мыс Марекан, похожий на огромный тяжелый утюг, вынырнул из воды, «Альбатрос» с шорохом врезался в прибрежный песок. Из-за скал неторопливой походкой вышел Элляй.

— Ой, как сильно хорошо, девка Феонка, что заглянула к Элляю. Сапсем слепой стал, слышу, морем кто-то идет, а кто — не вижу...

— Капсэ бар, Элляй?

— Бар капсэ, но сильно дурной. Приходил плохой люди от белого начальника, чисто-начисто забрал и белку и соболя.

— Вор силен до рассвета, волк — до капкана,— напомнила, смеясь, Феона. — А что на море?

— Сапсем пусто на море.

— Капсэ есть, Элляй, в Охотск вот-вот придут пароходы, только неизвестно чьи.

— Как же отличить красного нючу от белого?

— У красных нючей на шапках звезды. Не забудешь это отличие?

— Погасшее пепелище имеет угли, старый человек — заветную память.

— Где твоя юрта, Элляй? — быстро спросила Феона, охваченная какой-то новой мыслью.

— Однако, здесь, на берегу.

— Если приеду на день-другой, пустишь переночевать?

— Живи хоть год, девка Феонка.

Козин возвращался все в том же радужном настроении, не испытывая щемящих предчувствий. Феона сидела на корме, отряхивая волосы от морских брызг. «Альбатрос» ткнулся в причал, появился капитан Энгельгардт, кивнул Феоне, строго спросил Козина:

— Куда зап'опастился? Гене'ал уж т'ижды сп'ашивал о тебе. Ступай живей к гене'алу...

В суровой природе Севера часто живут очень суровые, с повышенным сознанием долга люди. Василий Козин был таким человеком,— долг и честь он ставил выше жизни, и если принимал решение, пусть непродуманное, пусть опасное для него

самого, то уже полностью подчинялся ему. И еще Козин постоянно жил мечтой о каком-то смелом поступке, который бы мог послужить на пользу людям. «Геройство не в силе, а в правде» — поговорка эта была для него вроде девиза. Не успел он перешагнуть порог генеральского кабинета, Ракитин накинулся с бранью:

— Где шляешься, скотина? Катер исправлен?

— Мотор барахлит, а я, между прочим, не скот.

— Только что по взморью носился, сам видел.

— Что ж из того? С мотором что-то случилось...

— Сейчас же почини, ночью едем к генералу Пепеляеву...

Козин побежал к «Альбатросу». Вот и наступило то самое, о чем он думал в своем одиночестве. Если генералы соединятся снова, положение в Охотске ухудшится до безобразия. «Я не должен допустить этой встречи. Не должен! А что же делать? Красные корабли неизвестно где, «Ставрополь» на мои позывные не отвечает. Да, может, это и не красные вовсе, а японцы. Что же я могу поделать с генералами? На ихнем катере отправить их к чертовой матери?» Козин добежал до «Альбатроса», так и не решив, что сделает.

Он заколдовал над мотором, зная, что никто в Охотске не разбирался в хитрых премудростях машины. Разрушив мотор, он, сразу отяжелев, уныло побрел к генералу.

— Сколько времени займет починка? — спросил Ракитин.

— Я даже не могу сказать,— пробормотал Козин.

— К утру катер должен быть в исправности.

— Я не починю и за неделю.

— Ты что сказал? Ты наглость сказал, мерзавец!

Козин отступил на шаг и черным, ненавидящим голосом ответил:

— Мотор я развалил к чертовой матери! Ты, кровавый волк, очутился в крепком капканчике. Не вырвешься, скоро с тебя снимут шкуру!..

Ракитин, задыхаясь от вспыхнувшей ярости, вырвал из кобуры наган, разрядил в Козина. На выстрел влетел Энгельгардт.

— Убрать! И выяснить, в каком состоянии катер.

Ракитин опустился на стул, прикрыл веки, с особой остротой чувствуя всю безнадежность своего положения. «Когда же мы, дворяне, перестали понимать русский народ? Как получилось, что каждое, даже пустяковое событие по нынешним временам становится на пользу красным? Сама история обвиняет нас во всем, не оставляя никаких надежд, ничего, кроме кровавой фантастики. Вот и снова я повторяю: кровавая фантастика! Бред! Из Харбина в Охотск, через Якутск на Москву? Что может быть бредовее такой идеи, а ведь шли, оставляя мертвых своих героев на морозных снегах. В любом другом случае подобный поход стал бы героическим фактом народной истории, в на-

шем — он обернулся пошлым фарсом. Я отправился в путь с отчаяния и, кажется, дошел до последней своей черты».

Вернулся Энгельгардт, доложил, что мотор начисто сокрушен и починка невозможна.

— Остается ждать самураев. Я с Индирским ухожу на охоту, вы будете за меня. Наблюдайте за морем,— приказал генерал Энгельгардту.

Ракитин не знал, что из Чурапчи по старому тракту к Охотску идет отряд Алексея Южакова, а к мысу Марекан приближаются два корабля под андреевскими флагами.

Феона поселилась в яранге Элляя, у мыса Марекан. Один за другим уходили из жизни ее близкие и друзья, гражданская война уносила их, словно ветер осенние листья, и не хватало слез, чтобы оплакивать мертвых. Феона замкнулась в себе, каменея от тоски и беды, истаивала и ее надежда на встречу с Андреем, и все сильнее укоренялась мысль: «Если был бы жив, давно был бы в Охотске».

По нескольку раз в день поднималась она на утесы Марекана, напрасно вглядываясь в морскую даль. В невесомом свете весеннего дня было пустынно море, не вставали на горизонте фонтаны корабельных дымов. Феона возвращалась в юрту и погружалась в сонное забытье.

— Проснись, Феонка,— разбудил ее однажды Элляй.— Большие суда пришли, однако...

За мысом Марекан в маленькой бухте стояли на якорях два парохода. «Ставрополь»,— прочитала Феона название первого,— «Индигирка»,— повторила название другого, с замиранием сердца следя за спуском шлюпок.

Элляй, хотя и жаловался на свою слепоту, первым разглядел звезды на солдатских шапках.

Высадившиеся люди задержали Феону и Элляя, привели их к Степану Вострецову. Феона рассказала, что в Охотске стоит отряд генерала Ракитина, а в Булгине, на другом берегу Кухтуя,— елагинцы, и никто не подозревает о пришедших пароходах.

— Спасибо за помощь, я воспользуюсь вашим советом,— ответил Вострецов, с удовольствием оглядывая Феону.— Нельзя победить тех солдат, которым помогают такие девушки.

— Женское мужество возвышает мужчин,— опять изрек Пшеничный.

Вострецов приказал бойцам оставить шинели, вещевые мешки, лишние патроны. Расстояние до Охотска надо было пройти за короткую белую ночь, и десантники, не теряя времени, двинулись в путь.

Феона и Элляй показывали безопасные броды через бурные потоки, вели по горным прижимам — под ними ревело гневное

море. Белая ночь сгущалась, краски тайги гасли, под ногами хлюпала вода, из моховых пластов дыбились грязные фонтанчики, тарыны со звоном рассыпались, когда бойцы вступали на их хрупкий лед.

В предрассветном тумане вошли в спящий городок. Комиссар с частью отряда окружил казармы, Вострецов открыл дверь в одну из комнат — там на кровати, прижав голову подушкой, кто-то лежал.

— Попался, ваше превосходительство! — крикнул Вострецов, наваливаясь всем телом на лежащего.

Офицер проснулся, скинул с себя Вострецова, схватил его за горло, началась молчаливая борьба. Вбежал боец и помог Вострецову связать пленного.

— С добрым утром, генерал Ракитин! — с насмешливым торжеством сказал Вострецов. — А молодцом дрались, словно кузнец! Чуть-чуть меня не придушили.

— Какой я вам гене'ал! Я капитан Энгельга'дт, а гене'ал на охоте...

Вострецов послал Алексея Южакова с бойцами на поиски Ракитина. Бойцы обшарили каждый куст, прочесывали прибрежную тайгу — генерала не было. Только перед обедом один из бойцов заметил в кустах Индирского.

— Стой! — приказал он. — Ты кто такой?

— Денщик своего барина,— соврал Индирский.

— А где барин?

— По соседству на уток охотится.

— Веди...

Индирский лихорадочно соображал, что же делать. Сзади слышались громкие голоса, раздались выстрелы. «На Охотск напали приисковые партизаны, надо бежать в Булгино, к Елагину, иначе...»

Он обернулся, свалил красноармейца и без оглядки кинулся в тальник. «Искать Ракитина нет времени, надо спасаться самому». Индирский пал в тальник и затаился, невидимый, неслышный.

Южаков шел вверх по Кухтую, не прекращая поисков генерала. Из-под обрыва раздался властный, самоуверенный голос:

— Кто такие? Куда идете?

На берег поднимался невысокий, плотный мужчина в пыжиковой дошке и папахе.

— Ищем генерала Ракитина,— сказал Южаков, догадываясь, что перед ним сам генерал.

— Я Ракитин, что угодно?

— Охотск занят особой военно-морской экспедицией. Ваш штаб в плену, сопротивление бесполезно. А я ваш старый противник из Чурапчи Алексей Южаков.

Ракитин вынул из кармана браунинг.

— И вы обещаете мне свободу, господин Южаков?

— Обещаю, генерал.
— И сохраните мне этот ничтожный браунинг?
— Пожалуйста, носите на здоровье.
— Может быть, и моя воинская честь при мне останется? — В голосе Ракитина зазвучала ирония.
— Никто не сохранит вашей чести, кроме вас самих, генерал...
— Мудрый совет. Как мои дружинники не заметили пароходов?
— Они высадились в двадцати верстах от города.
— Кровавая фантастика! Я так долго стою на краю пропасти, что пора заглянуть в нее.
— Генерал! Мы гарантируем свободу и жизнь. Сдавайтесь, и вернемся в Охотск,— как можно душевнее произнес Южаков.
— Вот так сдаются русские генералы! — воскликнул Ракитин и выстрелил себе в грудь...
— У этого человека была воля и решимость,— пробормотал Южаков, склоняясь над генералом: лицо Ракитина уже приобрело серую тяжесть камня.

— Охотск захвачен красным десантом. Генерал Ракитин застрелился, я спасся чудом. Надо готовиться к бою или уходить в тайгу,— говорил Индирский.
— Откуда они свалились в Охотск? — удивлялся Елагин.
— Пошлите разведку, разузнайте. Я советую бежать в тайгу,— паниковал Индирский.
— Бежать, не видя в лицо противника, — этакое не в моем вкусе. Может быть, ваши новости сорока на хвосте принесла,— рассердился Елагин.
Елагинцы сошлись у своего атамана и всю ночь ждали, пока не вернулся из разведки Матвейка Паук.
— Охотск в руках какого-то Вострецова. Прибыл из Владивостока на двух пароходах. Сам Вострецов собирается походом против Пепеляева, против нас направляет отряд Алешки Южакова. У них и пулеметы, и все такое прочее, — говорил Паук, опасливо поглядывая на Елагина.
— Усилить посты, спать не раздеваясь, — приказал Елагин. — Завтрашний бой решит нашу судьбу, господа таежные мстители...
Но елагинцы решили сами распорядиться своими судьбами: ночью большая часть их разошлась по тайге. Утром Елагин с кучкой приверженцев тоже покинул Булгино, только один случайно повредивший ногу Индирский остался в стойбище. Он забрался в старую ярангу и залег.

Генерал Пепеляев не знал ни сна, ни покоя. Под чарующим светом белых ночей размашисто ходил он, осматривая строящиеся кунгасы, раскидывая палкой щепу и стружки. Стоял на мокром песке, не замечая, как прибой обстреливал его брызгами, а пена шипела на голенищах сапог.

То и дело поглядывал генерал на край горизонта: не появится ли дымок, не возникнет ли силуэт корабля. Все думалось, пароходы придут в Аян раньше, чем дружинники построят кунгасы. Тревожило и то, что генерал Ракитин не подает из Охотска вестей.

Но не одного Пепеляева томила бессонница: Андрей Донауров тоже не находил себе места и жил мыслью о побеге в Охотск, но бежать одному и шагать триста верст по весенней распутице было самоубийством.

Андрей ждал счастливой оказии, ее не представлялось, и нетерпение стало почти болезненным. В одну из июньских ночей Пепеляев и Донауров столкнулись на берегу бухты, генерал внимательно посмотрел на Андрея, что-то припоминая, и сказал:

— Зря перебегали к нам от красных. Сейчас мы сами бежим очертя голову, куда глаза глядят. Дружинники боятся попасть в руки Строда, все думают — наказание будет ужасным...

— А ваше мнение, господин генерал? — осторожно спросил Андрей.

— Я больше размышляю о том, как побыстрее покинуть эти проклятые берега. Разумеется, со своими дружинниками, я их сюда привез, я их должен вернуть обратно. Для этого и кунгасы приказал строить.

— На кунгасах плыть по Охотскому морю все равно что в корытах...

— Землепроходцы на кочах в Америку ходили.

— Так то землепроходцы, да и когда дело было.

— Послушайте, Донауров. Вы хорошо знаете здешние места. Предлагаю отправиться в Охотск с моим письмом к генералу Ракитину. Мне совершенно необходимо знать, что у него творится.

— В распутицу идти невероятно тяжело, — ответил Андрей, а сердце заколотилось от радости: «Вот она, счастливая оказия!» — Невероятно тяжело, но все-таки можно...

— Две недели пешего ходу. Ступайте, Донауров, и пусть генерал Ракитин пришлет мне весточку.

— Я уйду на рассвете. Передам ваше письмо, но на этом моя миссия и закончится. Из Охотска я не вернусь, — предупредил Андрей.

— Оставайтесь в Охотске, сделайте милость. Боюсь только, что Строд не простит вам измены: вы же покинули его в самый опасный час.

— Человек — снежинка в снегах Севера, — неопределенно сказал Донауров.

У казармы Андрей встретил полковника Андерса, тот взял его под локоть, отвел в сторону.

— Есть серьезное предложение. Я решил отделиться от Пепеляева и с группой офицеров уйти в тайгу.

— С какой целью? А возвращение в Харбин? — спросил Андрей.

— Возвращение на чужбину с голыми руками все равно что на паперти просить милостыню. На Побережье есть золото, есть пушнина, которая тоже как золото. Пойдем с нами, не пожалеешь...

— Я не гожусь на роль грабителя.

— Подумай хорошенько, Андрей.

— Даже не желаю тебе удачи.

«Индигирка» бросила якорь в Алдомской бухте, в тридцати милях от Аяна, не нарушая первозданной тишины Побережья своими гудками.

Пустынно было море, еще пустынней тайга, даже чайки не вскрикивали над полынной водой бухты. Северный мир казался загадочным еще и потому, что бойцов окружала тайна. Никто не знал о появлении их под Аяном, андреевский флаг на мачте «Индигирки» мог ввести в заблуждение кого угодно.

Высадка происходила в молчании, все жили ощущением предстоящей опасности, только комиссар Пшеничный шутил:

— Двум смертям не бывать, одной не миновать...

Вострецов даже не улыбнулся в ответ на бравую поговорку, он не умел шутить в минуту опасности. Предусмотрительный во всем, он прихватил с собой проводника Элляя, а для переговоров с Пепеляевым — капитана Энгельгардта.

— Итак, до Аяна два перехода. Мы пройдем их форсированным маршем,— резво сказал комиссар.

— Не торопись, нюча, однако. Суетливая белка на стрелу натыкается, — ответил своей поговоркой Элляй.

Он повел красноармейцев тропой, петляющей по гиблым болотам, между кочкарником и зарослями стланика. Распадки были переполнены полой водой, голые обрывы подводили к пропастям.

Сияющий день сменился пасмурным вечером, пошел снег, бойцы промокли до нитки, кое-кто натер мозоли. Лошади, тащившие пулеметы, скользили по льдам, падали, увечились, пока не выбились из сил. Бойцам пришлось нести пулеметы на своих плечах.

На третий день Элляй вывел отряд на вершину бесприютного перевала. На востоке расстилалось Охотское море, на запад, север и юг уходили, громоздясь и чернея тайгой, сопки. Вострецов устроил привал, но выслал на всякий случай разведку. Разведчики вернулись с пленником.

— Пепеляевца заарканили. Принял нас за бандитов,— сказал старшой.

— Что за человек? Откуда? — спросил Вострецов мокрого, обессиленного пленника.

— Я иду из Аяна, зовут меня Андрей Донауров...

— Догор! А я тебя не признал, однако. Капсэ есть? — Элляй обнял Андрея за плечи, протянул ему трубку. — Это мой догор, это красные нючи,— говорил он, поворачиваясь то к Андрею, то к Вострецову.

Как только Элляй замолк, Андрей спросил:

— Где Феона?

— В Охотске Феонка, жива, однако. Сапсем недавно видел...

На глазах у Вострецова Андрей преобразился, глаза загорелись, губы заулыбались, плечи расправились. Перед Вострецовым стоял совершенно иной, светящийся внутренней красотой человек, и сказал он ясным голосом:

— Я готов отвечать на все ваши вопросы...

Андрей быстро, толково сообщил Вострецову, что на аянской тропе нет ни караулов, ни застав, Пепеляев наблюдает только за морем, под Аяном особый батальон строит кунгасы, на которых пепеляевцы собираются покинуть Побережье.

— Сдастся ли Пепеляев без боя? Или будет драться до последнего патрона? — спросил Вострецов.

— Гене'ал — человек сложный. П'едугадать его поступки невозможно, — вступил в разговор Энгельгардт.

— А все же, а все же? — настаивал Вострецов.

— В нынешних условиях невозможно соп'отивляться,— обтекаемо ответил Энгельгардт.

Опять была полная неясного томления ночь, но совершенно измученный Вострецов не мог уснуть. Он сидел на валуне, неподвижный и печальный, ему, русскому мужику, не хотелось напрасно проливать русскую кровь. Откуда-то из полумглы вынырнул комиссар.

— Не спится, Степан Сергеевич?

— А ты почему бродишь?

— Грех спать в такую ночь! Хошь газету читай, хошь стихи пиши.

— Душа просит покоя и мира, а утром снова кровь и опять смерть. И когда же будет конец этому? — вздохнул Вострецов. — Давай напишем ультиматум Пепеляеву — пусть сложит оружие...

— Это ты хорошо сказал, от всего сердца. Только слово, сказанное от сердца, может воздействовать на людей. Почему все-таки добро и зло разделяются одним-единственным ударом сердца? — спросил комиссар.

Ультиматум, написанный в белую ночь, Пепеляеву передать не пришлось. Перед рассветом пал туман, и, воспользовавшись им, Вострецов напал на Пепеляева. Красноармейцы окружили

штаб генерала, дом, в котором спали офицеры. Вострецов долго стучал в дверь комнаты, за дверью покашляли, и сонный голос спросил:

— Кто там? Что нужно?

— Я Степан Вострецов, командир красного экспедиционного отряда. Откройте дверь, и мы поговорим, генерал...

— Что за вздор? Здесь нет и не может быть красных, — ответили из-за двери.

— Тогда послушайте капитана Энгельгардта...

— Б'ат-гене'ал! Господин Пепеляев! Аян занят к'асными. Советую сдаться на милость победителей...

После минутного молчания дверь растворилась, Вострецов переступил порог большой комнаты, заставленной деревянными топчанами.

— Доброе утро, господа! Кто из вас генерал Пепеляев?

— Это буду я, — шагнул навстречу Пепеляев. — Великолепная операция по разоружению противника, ничего не скажешь.

— Нам надо поговорить с глазу на глаз, генерал...

— Прошу! — Пепеляев распахнул дверь в другую, совсем маленькую комнату.

— Стоит ли проливать кровь, когда сопротивление бесполезно и безнадежно, не лучше ли закончить гражданскую войну без залпов? — сказал Вострецов.

— Вы предлагаете закончить гражданскую войну без залпов? Разве с моей капитуляцией конец войне? — спросил Пепеляев. — Да, да, вы правы! Я почему-то не подумал об этом историческом факте. Несколько слов приказа — и наступит великая тишина, великий покой. Не с луны вы свалились на мою голову?

— Пароходом из Владивостока...

— Значит, Владивосток стал красным! А как генерал Дитерихс, японцы как?

— Японцы ушли восвояси, генерал вместе с ними.

— Вот тебе и крестовый поход на Москву!

Через час обезоруженные дружинники выстроились на берегу Аянской бухты. Пепеляев с Вострецовым вышли к ним.

— Братья-солдаты! С начала революции я боролся с властью коммунистов, и была у меня одна цель — спасение России от разрушения. То же чувство любви руководило мною, когда я с вами пошел в далекую и суровую Якутию, чтобы протянуть руку народу, который, как мне казалось, гибнет под властью коммунистов. Я старый солдат и смерти не боюсь. Не боюсь и ответственности. Теперь, когда на краю океана завершается последний трагический акт гражданской войны, я заявляю: нам больше не к чему спасать Россию. Она уже спасена. Из кошмарных лет войны выковалась действительно новая Россия.

И думаю я, это та Россия, о которой мы мечтали в своих бесчисленных военных походах...[1]

Не многим пепеляевцам удалось избежать пленения. Они разбились на мелкие шайки и еще несколько лет бандитствовали в лесах Севера, на морском побережье. Генерал Вишневский дождался прихода японской шхуны и уплыл в Токио.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Андрей был на седьмом небе.

Он наслаждался надеждой — завтра вечером увидит Феону. Надежда казалась неизъяснимо сладостной, и, смакуя ее, он то ходил по палубе «Индигирки», то, перегнувшись через поручни, следил за пенными вспышками волн.

Уже давно растаяли скалистые берега Аяна, пароход держал курс на Охотск, чтобы забрать там пленных пепеляевцев и высадить Донаурова.

Любовь, жившая в сердце Андрея, заставляла говорить о Феоне со всеми, кто мог слушать, но слушателей не было, и он разговаривал сам с собой и приходил в восторг от собственных слов.

«Все перетерпит мужчина, если любит женщину. Не так ли, Феона?..» И отвечал за нее: «Женщина, если не видит любви, то представит ее, если не представит, так догадается...» И опять от себя: «Женщина оценивает любовь сердцем, а не умом. Ведь сердце-то убеждает сильнее, чем рассудок». И спрашивал за Феону: «Не потому ли ум всегда в дураках у сердца?..»

Он смеялся, восхищаясь ее ответами, хотя и знал: Феона не говорила так хитро на любовные темы. Он возвышал ее до того романтического уровня, когда человеком овладевает страсть к писанию стихов.

Он взял чистый листок, но на ум приходили какие-то вялые мысли, скучные рифмы. Он часто испытывает необъяснимый испуг перед бумажным листком: ведь на нем можно написать и «Евгения Онегина», и пустопорожнюю ерунду, и божественные сонеты.

Бумажный листок! Нетронутый, как первый снег, неповторимый, как он же! Андрей увидел, как на листке проступают лесные чащи, дымятся испарениями овраги, висят перья папоротников, в березняке посвистывает рябчик, сохатый пьет из родника, лисица желтым клубком дыма мелькает над травами.

И еще он увидел — высокие осины, березы, тополь, повертываясь вершинами, падают на землю, и там, где была чаща,

---

[1] Дело Пепеляева слушалось в 1924 году в Чите революционным трибуналом Пятой армии. Вместе с ним судили семьдесят восемь белых офицеров. Пепеляев на суде заявил: «Мы, все подсудимые, знаем о необычной доблести красного отряда гражданина Строда и выражаем ему, как военные люди, искреннее восхищение». (*Прим. автора.*)

уже зияет пустынная просека. Рабочие волокут бревна к реке, вяжут плоты, спускают на воду. Крутятся по стремнинам, покачиваются плоты, пока не доплывут до запаней бумажной фабрики.

Бумажный листок — и каллиграфического почерка слово «Приговорить», и дворяне идут в Сибирь, и юная княгиня Волконская спешит к своему каторжанину мужу...

И еще листок! Герцен бьет в набатный «Колокол», поднимая новые поколения на борьбу с самодержавием...

Андрей разволновался и вышел из каюты. На палубе столкнулся со Степаном Вострецовым и Пшеничным, но не заметил их.

— Вот самый счастливый человек среди нас, — сказал Вострецов. — Он влюблен и завтра встретит свою возлюбленную. Прекрасно, а?

— «Я любовников счастливых узнаю по их глазам», — напел Пшеничный. — Кто же это сказал? Пушкин? Тютчев?

— Убей бог, не знаю. Впервые слышу, но что хорошо, то хорошо...

Андрей же со счастливым и от счастья чуточку глуповатым лицом заглядывал во все закоулки парохода, но куда бы ни падал его взор, всюду была Феона.

Она шла навстречу из зеркальных глубин кают-компании, улыбалась из черной, полированной крышки рояля, ее смех слышался в плеске воды за кормой. «Феона, Феона, Феона!» — звучное имя ее наполняло весь необозримый круг океана; Андрей придумывал для Феоны нежные слова, — несказанные, они казались необыкновенными, но как только он произносил их, тускнели и меркли. У него не хватало слов для восхваления своей любви.

— Скоро я увижу тебя, — произнес он так громко, что матрос, мывший палубу, обернулся. — При нашей встрече даже солнце засияет по-иному...

Осталось несколько белых ночей, что стояли между Андреем и Феоной. Он пошел на корму, прислонился к бухте каната и не сводил глаз с пенных бугров, вздымающихся из-под пароходного винта. Бугры превращались в зеленогривые волны, и те, вскипая и вспыхивая пеной, уходили в темную даль. Где-то в конце бурунной зыбкой дороги трепетал странный, таинственный свет: то ли играли сполохи, то ли взблескивало морское свечение. И хотя время северных сияний кончилось, Андрей подумал только о них, и тогда в нем пробудился поэт и он стал мыслить стихами:

Морозным северным сияньем
Ночь осыпалась с высоты,
Ту ночь открыли россияне
За деревянные кресты,
За однйокне погосты
В ущельях голых и гнилых.

По всей тайге белеют кости
Бездомных прадедов моих.
Тебе, любовь моя, неведом
Мир беззаконья и обид,
Который нас приводит к бедам
И от страданий не хранит.
Для подлецов, громил и выжиг
Он может быть еще терпим,
Я в нем каким-то чудом выжил,
Но не склонился перед ним...
Я поборол глухое время
И вот не тайно — на виду,
К тебе как в звездную поэму,
Как в храм торжественный, иду.
Я обниму твои колени
И назову своей судьбой,
Ведь нет мне радостнее плена,
Чем плен, придуманный тобой.

Андрей прислушался к внутреннему ритму стихотворения — он звучал настойчиво, неутомимо, как морской прибой у прибрежных скал, но только что возникшие в уме строки не выражали сокровенной сути его желаний. В них было больше надежды, чем страсти.

Глубоко вздыхал океан, за пароходом двигался неотступно лунный свет, «Индигирка» шла на Охотск.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Тоска Феоны незаметно для нее самой переросла в отчаяние. Все стало безразличным, жизнь казалась пустой и бессмысленной, надежда на возвращение Андрея истаяла. Видно, покойный Козин умышленно лгал, чтобы утешить ее.

«Святой лжи Козина я предпочла бы горькую правду, лишь бы избавиться от неведения», — вздыхала Феона.

Она жила полностью в своем недавнем прошлом. Иногда, рассматривая в зеркале погасшее лицо, уныло повторяла:

— Морщинки под веками, морщинки у губ, глаза будто запорошены пылью. Отцвела я, осыпалась в какой-то год...

Феона всюду искала следы Андрея; она побывала на мысе Марекан: «Здесь он впервые поцеловал меня». Заглянула в комнату, которую он снимал: «Я читала ему тут его стихи». Прошлась по тропинке у берега Кухтуя: «Я обнимала его на этом месте, когда уходил на прииск. Он подарил мне самородок, похожий на Мефистофеля. А куда я его запрятала?»

Она перерыла все шкафы, пока не нашла самородок на дне старого, окованного бронзой сундука. Золотой Мефистофель, выпятив узкий подбородок, ехидно кривил губы, словно заманивал ее в ловушку. «Я все могу, для меня нет невозможного»,— говорил надменный, наглый и умный одновременно взор Мефистофеля.

— Верни мне Андрея, и я продам тебе свою душу, — прошептала Феона, и тоска, теснившая грудь, разрядилась слезами.

Она расстегнула воротник платья, достала с груди материнский подарок — эмалевую иконку на золотой цепочке.

На иконке была изображена богоматерь с младенцем на руках. Младенец растрогал ее, она прижала к губам иконку, и вот, словно молния, пронзили ее память поэтические строки:

Такие дети в ночь под рождество,
Должно быть, снятся женщинам бесплодным!..

Феона выронила из пальцев иконку.

— Ведь это про меня сказано, — поразилась она неожиданной мысли. — Про меня это, про меня! Я бесплодная женщина! Мне бы рожать да нянчить детей, но теперь... Теперь поздно.

Она спрятала иконку и долго стояла у пасмурного утреннего окна, потом надела дошку, сапоги, вышла на улицу.

Небо было завалено серыми тучами, и море было как пепел. Кухтуй, подгоняемый приливом, поворачивал вспять свои воды. Феона остановилась на песчаной косе: ее тень, разрываемая рекой, заметалась по воде. Рядом подпрыгивала на привязи оморочка, Феона достала из куста таволжника весло.

Через несколько минут она шла по левому берегу Кухтуя, в Булгино, и только тогда спросила у себя:

«Зачем я здесь? Что мне тут надо? Одной даже опасно в бандитском логове. Впрочем, елагинцев уже нет,— злорадно усмехнулась она. — Меня привела память, я увозила отсюда больного Андрея».

Она пробиралась мимо почерневших товарных складов, покосившихся, пришедших в запустение, мимо дома Ивана Елагина, но у крыльца его остановилась, потом вошла в большую, замусоренную комнату. Охотничьи ружья, расстрелянные патроны, походные ранцы валялись на скамьях, под столом лежала книга. Феона подняла ее: Оноре де Бальзак, «Утраченные иллюзии».

— Так и не успела я прочесть эту книгу. — Феона отряхнула книгу, села на стул, облокотилась о стол, прижалась щекой к ладони.

Накрапывал дождь, лиственницы сквозь его завесу слились в темные пятна, Феона закрыла глаза: было больно смотреть на дождь, на деревья. Но тогда против ее воли перед закрытыми глазами появились тени — они были осязаемы, но невесомы, как шары созревших одуванчиков,— тени ее друзей и врагов, своих и чужих, красных и белых.

Появился и сразу исчез ее отец, за ним прошли Каролина Ивановна Буш, Илья Петрович, купец Тюмтюмов, полковник Широкий, братья Сивцовы, промелькнул Василий Козин, торопливо, словно куда-то спеша, прошагал генерал Ракитин...

Феона сжалась, затаила дыхание. Из темных углов выступили безликие толпы беглецов, и, как в тумане, Феона увидела опаленных огнем, с веревками на шее, исколотых, искалеченных

мужчин и женщин, услыхала их стон: «Аллах-Юнь, Аллах-Юнь...»

— Господи, господи! — Феона перекрестилась и выбежала на улицу.— Это какое-то наваждение, господи! Никогда не забуду Аллах-Юня. Проклятое место!..

Дождь перестал: всюду блистали капли, словно подозрительные птичьи зрачки. Феоне стало не по себе. Появился липкий, ноющий страх, чудилось — кто-то таится за каждым углом, подстерегает под каждым деревом. Феона оказалась перед ярангой старого Элляя.

«Из нее я увозила Андрея. Он лежал у камелька, на оленьей шкуре...»

Неодолимое желание заглянуть в ярангу овладело Феоной. Она приоткрыла дверь, ее обдало запахом плесени. Сердце опять застучало.

«Закрой дверь и уходи, — шепнул внутренний голос.— Уходи, пока не поздно...»

— Эй, кто тут?

Феона вздрогнула: за камельком на оленьей облезлой шкуре полусидел Индирский.

— Это ты? — шепотом спросила она, и в темном шепоте выплеснулась вся ее ненависть.

— Ты не ошиблась, это я, — тоже шепотом ответил Индирский.

— Как ты здесь оказался?

— Я ранен. Но почему ты смотришь на меня такими глазами? Я виноват перед тобой, но не смотри такими глазами...

Индирский недоуменно посмотрел на свой браунинг, положил на него грязную пятерню.

Напряженно, безмолвно стояла Феона.

Индирский не шевелился, но пятерня все крепче захватывала браунинг. И вот, вскинув на Феону наглые, как у Мефистофеля, глаза, он подался вперед и дважды в упор выстрелил.

Столб рыжего огня вырос перед Феоной, но был он где-то далеко, на краю океана, и не пламя это вовсе, а мыс Марекан. И тогда Феона увидала Андрея, стоявшего на обрыве. Она тихо вскрикнула, протянула руки к Андрею, потом прижала их к окровавленной груди и побежала.

Она бежала-бежала, улыбаясь, смеясь и плача, и в каждом ее движении жила любовь...

Индирский стоял над Феоной, бессмысленно озираясь, не понимая, для чего совершил это убийство. В утомленном мозгу его возникали какие-то дымные мысли, смятенный страх замораживал сердце. «Феона могла выдать меня красным. Я уничтожил опасную улику, теперь она не страшна. Но почему я медлю? Каждую минуту здесь могут появиться красные, надо уходить в тайгу».

Чья-то тень из раскрытой двери упала на Индирского. Он испуганно обернулся, перед ним стоял Матвейка Паук.

— Ты убил Феону? — удивленно спросил он. — Для чего ты ее убил?

Индирский не ответил, пораженный неожиданным появлением нового свидетеля.

— Я вернулся, чтобы взять патронов и продуктов. Все наши уже ушли, Охотск захвачен красными. Если хочешь, пойдем вместе, вдвоем веселее. А может, ты решил сдаться на милость победителей? Не советую, зряшное дело. Уж кому-кому, а тебе и мне пощады не будет,— говорил Паук, собирая запасы провианта и патроны.

Он поднял тело Феоны, вынес из яранги, положил на тропе.

— Ее увидит первый же человек, попавший в Булгино. Надо бы похоронить, да нет времени. Нет времени, — повторил Паук, разглядывая алебастровое, без кровинки, лицо Феоны.

Индирский и Матвейка Паук шли на север, избегая встреч с охотниками, с оленеводами.

Где-то далеко светилась туманная, но привлекательная жизнь, но что могла она дать Индирскому и Пауку? Лучшие свои годы растратили они на кровавые деяния и распутные удовольствия. Совесть, честь, правда как понятия перестали для них существовать, они ненавидели все и всех, страшились друг друга, но в то же время понимали — им нельзя разойтись.

Вечер был серый, промозглый, но теплый. От голых тальников несло горечью, прошлогодние листья сиротели в обледеневших лужах, речка дышала черной тоской.

Стайка синичек проскользнула над потоком, осыпала пушистыми шариками одинокую ветлу, из дупла высунулась белочка. Паук подошел к ветле, скинул с плеча сумку.

— Привал,— прохрипел он и сел, прислонившись к дереву.

— Я натер мозоли,— пожаловался Индирский, стаскивая разорванные торбаса. — Куда мы все-таки идем, Матвей Максимович?

— На реку Маю. Там отряд Елагина, к нему ушли наши ребята.

— На реке Уде скрывается группа Сентяпова. Может, лучше туда податься?

— Один черт, Елагин или Сентяпов! К кому-нибудь да пристанем.

Белка спустилась на нижнюю ветку, с интересом посматривая на людей. Паук выдернул из снега корень стланика и ловко, с размаху ударил по белочке, зверек свалился к его ногам. Паук засмеялся.

Индирский поежился от этого смеха и подумал: «Паук так же спокойно расшибет мне голову».

— Зачем ты убил белочку?

— А почему ты убил Феону?

Паук снова рассмеялся и встал.

— Сейчас не до попреков, надо шагать, пока есть продукты...

Вскинув на спину сумку, он побрел по рыхлому снегу, Индирский догнал его.

— Иди вперед, я пойду за тобой, — остановился Паук.

— Нет, я не могу идти впереди...

Они пошли рядом и уже запоздно развели костер. В темноте шумели деревья, пламя играло на заснеженных стволах, Индирский сутулился у костра, тоскливо поглядывал в ночь.

Напротив сидел Паук и думал о совершенно ненужных вещах. «Ежели положить на снег вошь, скоро ли она замерзнет? Можно ли выдумать такие карты, чтобы я видел у соседа все козыри, а он бы моих не видел? Хорошо бы поставить на наших следах волчьи капканы. Кто за нами погонится, попадет в капкан, а мы пойдем себе». Последняя мысль доставила ему особенное удовольствие, он ухмыльнулся, поглядел на Индирского. «Попал я с ним впросак. А что, если он задумал пакость? Прихлопнет, заберет продукты — и айда, пошел!» Эта мысль так ярко вспыхнула в угрюмом уме Паука, что он приподнялся на корточки, стал раскачиваться над костром.

...Индирский проснулся. Костер погас, было холодно, над сопками багровела луна.

— Матвей Максимович,— позвал Индирский.

Никто не откликнулся на зов.

Индирский вскочил, заметался около костра, пока не заметил цепочку следов, уже полузасыпанную снегом. Паук ушел давно, бросив его на произвол судьбы[1].

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В лужах, оставленных отливом, ползали крабы, заря в западной стороне моря истаяла, зато восточная часть раскалилась необычайно: там из глубины вставало солнце. В небе плыли мелкие продолговатые облака, с берега наносило запахи расцветшего багульника.

Андрей спешил, прыгая через лужи, спотыкаясь о камни на галечной косе: его охватило только одно желание — поскорей увидеть Феону. Желание было всеобъемлющим, при этом Андрей особенно остро видел весь утренний мир.

---

[1] Иосиф Индирский (он же Индигирский) выжил и выбрался из тайги. Он создал из бывших мятежников банду, наводившую ужас на жителей Побережья.

Индирский разбойничал до 1928 года. В том году по заданию ГПУ знаменитый чекист Сыроежкин проехал из Москвы до мирового полюса холода Оймякона, проник в банду Индирского под видом соучастника и застрелил его во время пирушки. (*Прим. автора.*)

Он видел лиственницы с крошечными лиловыми шишками на ветвях, собачьи следы, наполненные розовой от рассвета водой, сонных чаек, сносимых речным течением в море. Замшелые бревна домов сочно лоснились, окна сияли каплями прошедшего дождя, вороны на крестах церкви каркали по-весеннему приятно. Андрей натолкнулся на заржавленную пушку командора Беринга — она была красива и безобидна, обогнул лежавший посреди улицы череп кита — череп походил на праздничную ярангу.

Бородатый красноармеец — часовой у штаба Части Особого Назначения — показался добродушнейшим мужиком, для чего-то надевшим краснозвездный шлем, вывеска «Уездный Совет» поразила своей новизной. Куда бы ни падал взгляд Андрея, все было свежо, молодо, красиво, звучно.

Он пробежал церковную площадь, увидел домик Феоны и с радостью постучал в дверь. На стук не отозвались. Андрей настойчивее забарабанил в дверь. Молчание встревожило его, он присел на крыльцо. «Феона куда-то ушла, подожду, скоро вернется»,— успокаивал себя Андрей, но тревога росла — непонятная, предчувствие чего-то недоброго закрадывалось в сердце, сидеть и ждать Феону было невозможно.

Андрей решил обежать все места, где бы могла она находиться. Заглянул в факторию, на радиостанцию, в магазин, в церковь. Феоны не было. Он стал спрашивать знакомых и незнакомых — никто ее не встречал. Наконец какой-то рыбак сказал, что видел ее в лодке на Кухтуе, Андрей переправился на другой берег Кухтуя, в Булгино. Прошел по улице. От прогнивших яранг несло полным запустением.

Он бродил между ярангами, пока не столкнулся с Элляем. Старик шел опустив голову, сгорбившись, тяжело волоча больные ноги.

— Капсэ бар, Элляй? — обрадованно приветствовал старика Андрей.

Элляй пристально и долго вглядывался в него, не узнавая.

— Худое капсэ у меня. Очень худое капсэ. Постой, погоди, однако, это ты, нюча? Муж Феонки?..

— Что у тебя случилось? — сразу охрипшим, испуганным голосом спросил Андрей.

— Я только что похоронил Феонку. Ее убил дурной люди, но кто, еще не узнал...

Сопки, тайга пошатнулись в глазах Андрея, земля ушла из-под ног, речная волна вздыбилась мутным крылом, пестрый мир развалился на части, обрушилось само небо...

Он упал ничком и замер в беспамятстве. Когда же Элляй привел его в чувство, спросил:

— Где ты похоронил ее?

...Они пришли на свежую могилу, Андрей опустился на колени, прижался лбом к кресту, комкая в пальцах сырую землю.

Над могилой вздымалась лиственница, под обрывом светился необозримый полукруг океана.

— Что же мне делать, Элляй? Для чего жить? — спросил Андрей.

Элляй положил перед ним свой винчестер.

— Если бы меня еще носили ноги, я бы не говорил, для чего жить. Где-то укрылся белый тойон Елагин, где-то прячется Индирский, в тайге ой как много еще плохих нючей, среди них и тот, кто убил Феонку...

Андрей долго, без всякой цели бродил по охотским улочкам, пока не очутился у дома, в котором разместился штаб ЧОНа. Алексей Южаков встретил его как старого приятеля, спросил, что намерен делать.

— Елагин и Андерс скрылись в тайге. Что же мне остается? Или я их, или они меня...

— Мы выступаем на поиски елагинцев. Не успокоюсь, пока не избавлю Побережье от этих бандитов.

— Я пойду с тобой. Пойду, чтобы мстить за Феону,— ответил Андрей.

Они помолчали, и Южаков спросил:

— Вы были на Лисьей Поляне до самого последнего дня?

— Сперва у Строда, потом у Пепеляева. С ним ушел в Аян,— ответил Андрей.

— Это я знаю. Скажите, видели среди пепеляевцев Петра Андреевича Куликовского?

— Конечно, видел. Он отравился.

— И это я знаю. Странны пути человеческие! Я с Куликовским отбывал царскую ссылку, мы даже дружили. Впрочем, дружба не то слово, Петр Андреевич был всем приятель, никому не товарищ.

Только через неделю Южаков напал на след Ивана Елагина и догнал его на озере Ветреном, но окружить не успел. Елагин опять ускользнул. Он переходил с одного берега на другой, прятался в непролазных чащах и чувствовал себя в полной безопасности.

Досадуя на свою нерасторопность, Южаков говорил старому Элляю, ставшему проводником его отряда:

— А изворотлив же Елагин, ну чисто змея. Не зря говорят японцы: змея извивается даже в бамбуковой палке.

— Хитрую птицу ловят за клюв и в одиночку. Много охотников — шуму много, пусть красные нючи отдохнут мало-мало и не мешают охотнику,— посоветовал Элляй.

Южаков устроил привал на берегу Ветреного. Элляй, закинув за плечо винчестер, ушел. Южаков улегся на охапку стланика и, зевая, размышлял обо всем, что приходило в голову. «В чем духовная красота человека? В любви к отечеству? В пре-

клонении перед искусством? А что такое совесть? Может быть, жалость к людям? Но невозможно жалеть дрянь, ничтожество, пошлость. Вот говорят про кого-нибудь: он чертовски талантлив. И опять, что такое талант? По-моему, талант — это способность удивлять людей правдой, к которой они привыкли и перестали замечать».

У соседнего костра кто-то рассказывал байку, Южаков прислушался. Рассказчик врал развязно, бесстыдно:

— Со мной такое приключилось в Сибири, что помилуй господи! Ехал из одного села на тройке, так ехал — снег под полозьями пел! А кони-то были какие, не кони — мысль! Ну, еду, нет, мчусь, скорее, на крыльях лечу, и вдруг — волки. Пять штук! Нет, вру,— десять! Напали, да так рьяно, что на ухабе я вон из саней. Вскочил на ноги, волки рядом. Я на березу: она сломалась, как спичка, я кувырком в середину волчьей стаи...

Рассказчик потянулся за трубкой, кто-то нетерпеливо спросил:

— А дальше-то што? Волки-то што?

— В клочья меня разорвали...

Бойцы дружно захохотали, Южаков тоже улыбнулся: любил, когда люди удивляются чему бы то ни было.

Ночь вошла в озеро косяками лунного света, ноющим стоном комариных туч. Южаков не мог избавиться от чувства какой-то нереальности, овладевшей северным миром. Все было здесь сном — сопки, тайга, синий цветок, раскрывавшийся у ледяного тарына, охотники — доверчивые, как дети, белые ночи, берущие за душу. В этом мире неестественными были только люди, убивавшие без разбору всех, кто попадался под руку.

Южаков положил голову на ладони и уснул. И приснился ему нехороший сон.

Он идет по ночной тайге, спотыкаясь о корни, цепляясь за иссохшие сучья. Сумрачно под старыми елями, но вершины их белы от лунного света. Тайга расступается, Южаков выходит на поляну, заросшую травами, на середине поляны возвышается беломраморный храм. Он поднимается на паперть, открывает тяжелую, окованную медными полосами дверь. Нет ни души в храме, но под сводами вытянулись в бесконечные ряды золотые светильники с хрустальными чашами. Южаков идет между светильниками — одни горят сильно и ровно, другие едва теплятся.

«Почему здесь одни светильники?»— удивляется Южаков.

«Ты находишься в храме жизни, как раз перед собственным светильником. Когда он погаснет, ты умрешь»,— раздался холодный голос.

Южаков вздрагивает от неожиданности, отступает на шаг, стараясь увидеть между светильниками человека. Нет никого, но голос, резкий, неприятный, продолжает:

«В твоем светильнике последние капли эликсира жизни. Как

только они выгорят, тебе конец, но посмотри налево. Рядом светильник твоей матери...»

Охваченный любопытством, Южаков заглядывает в материнский светильник, что горит сильным и ровным светом. В уме Южакова мелькает дымная мысль, он отгоняет ее, мысль вспыхивает с новой силой, становясь еще более соблазнительной.

«Что же ты медлишь? Возьми из материнского светильника эликсир и будешь жить. Матери для того и существуют, чтобы спасать своих детей. Ради них они готовы на преступления, на подвиги, на смерть. Если бы мать была сейчас здесь, она бы сама наполнила твой светильник эликсиром жизни. Бери и живи! Живи!» — с темным торжеством советовал голос невидимого человека.

Подчиняясь страху за свою жизнь, Южаков приподнимается на цыпочки и отливает из светильника эликсир. Хрустальная чаша матери гаснет, зато разгорается его собственная.

С громко стучащим сердцем, без гордости от содеянного, выбирается он из храма. Луна уже закатилась, белый мрамор ступеней почернел.

«Если ты убил мать, то какое принесешь счастье людям? — спросил ледяной голос. — Чем ты лучше меня, убивающего ради своего благополучия? Я — убийца, ты — убийца, только ты опаснее и подлее...»

«Почему ты скрываешься от меня? — спрашивает Южаков, чувствуя к невидимому голосу внезапную злобу. — Боишься, что ли?»

«Я никого не боюсь! Для меня человек — пыль на дорогах истории. И ты — пыль, и сам я — тоже пылинка...»

Из темноты проявляется фигура в охотничьих сапогах, в оленьей куртке.

«Вот и я. Смотри и запоминай...»

Южаков вглядывается в широкоскулое умное лицо, в котором энергия и сила и в то же время обреченность смертника.

«Меня зовут Иваном Елагиным. Ты охотишься за мной как за волком, но пока что...» — Елагин вытаскивает из кармана револьвер.

Южаков хочет бежать — ноги не двигаются, пытается вскинуть руку — не поднимается, зовет на помощь — не слышит своего голоса, но чувствует, кто-то трясет его за плечо.

— Крепко спишь, нюча. Приснилось дурное, стонал шибко, — сказал проводник.

— Где был, Элляй?

— На том берегу выследил волка, но не мог застрелить. Стар я стал, ушел от меня тойон Елагин...

Наконец наступил час, когда они встретились лицом к лицу: их разделяла только узкая лесная протока. Южаков увидел Ивана Елагина и Лаврентия Андерса, стоящих у самой воды.

— Сдавайтесь! — крикнул Южаков, раздвигая кусты и рассматривая своих противников. Можно было двумя выстрелами свалить этих людей, но к чему лишняя кровь, когда война на Побережье окончилась?!

— А что будет, если сдадимся? — спросил Андерс.

— Это дело трибунала.

— А я не считаю себя преступником. Я побежден не красными, а судьбой.

— Сдаетесь вы или нет? — раздраженно спросил Южаков.

— Кому же сдаваться-то? Сами прячетесь за деревьями, а требуете сдачи. Неприлично сдаваться невидимому противнику.

Южаков раздвинул кусты, вышел на берег протоки, и Андерс вскинул к плечу винчестер...

Южаков пошатнулся, но устоял на ногах, не чувствуя ни боли, ни страха, только какая-то дымка появилась перед глазами. Дымка быстро разрасталась в багровый туман, завесы его оседали на деревья, на тусклую протоку, и словно провалились куда-то Андрей Донауров, Элляй, красноармейцы. Веселый весенний мир — от горизонта до горизонта — затягивался красными полосами: они тяжелели, сгущаясь над Южаковым.

Усилием воли Южаков приподнял голову к небу, уже погруженному в оранжевую мглу, и вот из нее возникли вершины, обрывы, пропасти, и лишь тогда до сознания докатился звук выстрела. Южаков услышал гулкое, ломающее таежную тишину эхо.

— Алексей Иваныч, что с тобой? Алексей, Алеша! — Донауров бросился к Южакову, приподнял его голову, расстегнул гимнастерку.

Пуля угодила в правую сторону груди. Донауров перевязал рану, пощупал пульс. Южаков дышал тяжело, прерывисто, задыхаясь от жгучей боли.

— Елагина с Андерсом задержали? — спросил он.

— Они опять ускользнули, но мы догоним. Мы догоним их,— с уверенностью в своих словах ответил Донауров. — Тебе нельзя волноваться, лежи и не шевелись...

Оранжевая мгла рассеивалась, вновь проступали голубые проталины неба, приобретал свои извечные очертания таежный мир.

1975—1976
Москва — Сугуново на Тарусе

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ. *Роман*

НА КРАЮ ОКЕАНА. *Роман*

Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

НА КРАЮ ОКЕАНА

М., «Советскнй пнсатель», 1979 г. 768 стр. План выпуска 1979 г. № 69. Редактор *А. Д. Зеленов.* Худож. редактор *Е. И Балашева.* Техн. редактор *Л. П. Полякова.* Корректоры *С. Б. Блауштейн, Л. И. Жиронкина* н *Т. В. Малышева.*

ИБ № 1603

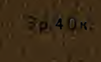
Сдано в набор 08.08.78. Подписано к печатн 24.01.79. А00863. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тнп. № 3. Лнтературная тарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 48. Уч.-нзд. л. 52,89. Тнраж 150 000 экз. Заказ № 151. Цена 3 р. 40 к. Издательство «Советскнй пнсатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революцнн, ордена Трудового Красного Знаменн Ленннградское пронзводственно-техннческое объеднненне «Печатный Двор» нменн А. М. Горького «Союзполиграфпрома» прн Государственном комитете СССР по делам нздательств, полиграфнн н кннжной торговли. 197136, Леннград, П-136, Гатчннская, 26.

6
283
360
474

550
644

ктор
кова.

мага
-изд.
ский
, ор-
объ-
Госу-
овли.


3 р. 40 к.